ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

41-42

А. И. ГЕРЦЕН
II

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 1

ГЕРЦЕН, ОГАРЕВ И «МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ»

I. ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЭМИГРАНТОВ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.— II. К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА с М. А. БАКУНИНЫМ. ПУБЛИКАЦИЯ З. КЕМЕНОВОЙ.— III. К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА с «ЗЕМЛЕЙ И ВОЛЕЙ» 1860-х ГОДОВ. ПУБЛИКАЦИЯ Е. КУШЕВОЙ.— IV. К БИОГРАФИИ И. И. КЕЛЬСИЕВА. ПУБЛИКАЦИЯ И. ЗВЕРЕВА.— V. ЛИСТОВКА А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА ПРОТИВ Н. П. ОГАРЕВА. ПУБЛИКАЦИЯ Ф. ФРЕЙДЕНФЕЛЬДА.— VI. ПИСЬМО Е. В. САЛИАС М. А. БАКУНИНУ. ПУБЛИКАЦИЯ М. КЛЕВЕНСКОГО.— VII. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОКЛАМАЦИИ ЖЕНЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1869—1870 гг. ПУБЛИКАЦИЯ Е. КУШЕВОЙ.— VIII. К ИСТОРИИ НЕЧАЕВЩИНЫ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА и С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВА.—IX. АНОНИМНАЯ БРОШЮРА О ГЕРЦЕНЕ 1870 г. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА

Вступительная статья Б. Козьмина

В шестидесятые годы прошлого столетия состав русской политической эмиграции значительно изменился по сравнению с прежним. На ряду со «старой» эмиграцией, дворянской по своему происхождению, образуется новая эмиграция, «молодая», отличавшаяся от старой по своему социальному происхождению. Она состояла из представителей тех «разночинцев», выступление которых на историческую арену в качестве активной политической силы является характерной чертой этой эпохи. Среди «молодых» эмигрантов мы находим людей, принимавших непосредственное и деятельное участие в революционных событиях, происходивших в России. Некоторые из них были вынуждены скрываться за границу из-за неминуемо грозящего им в России ареста. Другие бежали за рубежи царской империи из тюрьмы и ссылки. В среде «молодой эмиграции» можно было встретить и участников студенческого движения, бурно прокатившегося осенью 1861 г. по университетским городам России (Н. И. Утин, И. И. Кельсиев, Е. К. Гижицкий), и членов крупнейшей революционной организации 60-х гг. — тайного общества «Земля и Воля» (М. С. Гулевич и тот же Утин), и участников казанского заговора 1863 г. (С. Я. Жеманов, А. Я. Щербаков), и людей, привлекавшихся по другим политическим процессам того времени (Н. И. Жуковский, М. К. Элпидин). Эта молодежь воспиталась на сочинениях Чернышевского и Добролюбова и с гордостью называла себя их учениками.

На ряду с эмигрантами, покинувшими Россию в результате своего активного участия в революционных организациях и выступлениях, в кружках эмигрантов можно было встретить людей, легально уехавших из России и не имевших в виду порывать связи с нею и отказываться от возвращения на родину. Это были частью молодые люди, отправившиеся на Запад в целях закончить свое образование в западноевропейских университетах, а частью туристы, покинувшие на время Россию для того, чтобы подышать «свободным» воздухом Западной Европы, познакомиться с ее политическими порядками, а при случае — и без особой опасности для себя — дать исход своему оппозиционному настроению. Такие люди более или менее открыто принимали участие в различных предприятиях эмиграции. По словам одного из тогдашних эмигрантов, впоследствии раскаявшегося и вернувшегося в Россию, К. Маркс однажды сказал про людей этого типа: «Между русскими встречаются странные личности, они живут за границей, называют себя эмигрантами, говорят не иначе как под секретом; несмотря на то, что называют себя эмигрантами, боятся на каждом шагу скомпрометироваться; а потом, смотришь, возвращаются себе в Россию и живут себе там преспокойным образом» [1].

Тяга русской молодежи в заграничные университеты особенно усилилась в 1861—1862 гг. под влиянием закрытия правительством, в связи со студенческими волнениями осени 1861 г., Петербургского университета. Это явление даже обратило на себя внимание следственной комиссии, учрежденной правительством в 1862 г. для расследования дел о политических преступлениях. Председатель этой комиссии, кн. Голицын во всеподданнейшем докладе, поданном царю 30 июня 1862 г. между прочим писал: «Усилившиеся под предлогом усовершенствования в науках поездки

за границу многих студентов и других лиц учебного ведомства составляют для них большею частью... одну лишь возможность быть в личных сношениях с находящимися там русскими и иностранными изгнанниками. Пользуясь сим случаем, они заимствуются от этих людей вредными для правительства идеями и по возвращении в Россию рассеивают здесь различные ложные убеждения»[2].

В приведенную цитату необходимо ввести одну серьезную поправку. Увлеченный мыслью, что источник «революционной заразы» надо искать не в России, а за границею, кн. Голицын чрезмерно преувеличивает значение эмиграции. Подавляющее большинство молодежи, отправляющейся в заграничные университеты, еще на родине успевало проникнуться «вредными для правительства идеями» и приезжало на Запад с более или менее сложившимся миросозерцанием. В идейном отношении русским заграничным студентам нечего было уже брать от эмиграции. К тому же издания герценовской типографии пользовались настолько широким распространением в тогдашней России, что большинство молодежи уже на родине было знакомо с ними.

Несмотря на указанную нами ошибку, приведенная выше цитата из доклада Голицына представляет большой интерес, показывая нам, что уже летом 1862 г. скопление русской учащейся молодежи за границей обратило на себя внимание органов русского политического розыска и что уже тогда этим органам стала известна связь, установившаяся между учащейся молодежью и эмигрантами.

Влияние Герцена и широкая популярность его изданий еще и в эти годы находились в «апогее». Молодые русские революционеры не могли не ценить деятельности человека, посвятившего все свои силы революционной пропаганде. Однако в их среде уже тогда были люди, отнюдь не сознававшие себя полными единомышленниками издателя «Колокола» и сумевшие разглядеть в его деятельности на ряду с сильными и слабые стороны. Молодежь, воспитавшаяся на сочинениях Чернышевского, не могла не ставить Герцену в вину его колебаний между демократией и либерализмом и его упорных надежд в возможности убедить царское правительство в необходимости коренных реформ русской политической жизни. Если в первые годы царствования Александра II, когда курс нового правительства недостаточно еще выяснился, Чернышевский, который, по его собственным словам, «уж имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена и, сохраняя уважение к нему, уж не интересовался его новыми произведениями»[3], был блистательным исключением в рядах русской интеллигенции, то к концу 50-х годов положение значительно изменилось в этом отношении. Резкие выступления Герцена в 1859 и 1860 гг. против Чернышевского и его политических друзей многим открыли глаза. Чрезвычайно характерный в этом отношении эпизод мы находим в «Дневнике» Добролюбова. Известно, как поражен и оскорблен был Добролюбов статьею Герцена «Very dangerous!!!». Бывший до этого горячим поклонником издателя «Колокола», он заносит в свой дневник (5 июня 1859 г.) следующую негодующую тираду по его адресу: «Однако, хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности». Однако не на эти взволнованные строки Добролюбова хотели бы мы обратить внимание читателей, а на следующий за ними рассказ Добролюбова о том, как реагировал на статью Герцена приятель Чернышевского и Добролюбова доктор И. М. Сорокин: «смеется и отзывается неуважительно о всем «Колоколе», попрекая им Герцена. Уверяет, что молодые люди понимают тенденции «Современника» и им сочувствуют»[4]. Эта запись Добролюбова чрезвычайно показательна. На примере доктора Сорокина мы можем убедиться, что еще до выступления Герцена против круга «Современника» в России были уже люди скептически относившиеся к «Колоколу» и его издателю и ценившие тенденции «Современника» больше, чем идеи Герцена. Другими словами, уже тогда в кругах русской революционно настроенной молодежи на ряду с безусловными поклонниками «Колокола» были и его противники. При этом, по мере развертывания революционной борьбы, число их возрастало с каждым годом. Поэтому нас не удивит прямой и резкий выпад против «Колокола» и его издателя, который мы находим на страницах знаменитой прокламации П. Г. Заичневского «Молодая Россия» (май 1862 г.). Несмотря на свое «глубокое уважение к А. И. Герцену, как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу», автор прокламации заявляет, что «Колокол» не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже отголоском их». Указывая на «конституционный» характер «Колокола», Заичневский писал далее о Герцене: «Его надежды на возможность принесения добра Александром или кем-нибудь из императорской фамилии; его близорукий ответ на письмо человека, говорившего, что пора начать бить в набат и призвать народ к восстанию, а не либеральничать[5]; его совершенное незнание современного положения России, надежда на мирный переворот; его отвращение от кровавых действий, от крайних мер, которыми одними только можно что-нибудь сделать, — окончательно уронили журнал в глазах республиканской партии»[6].

В этих словах «Молодой России» в краткой форме выражены все те упреки и обвинения, которые впоследствии пришлось выслушать Герцену со стороны представителей «молодой эмиграции». Однако не надо забывать, что «Молодая Россия» стояла на крайнем левом фланге и что далеко не все русские революционеры того времени были согласны с ее направлением. Нельзя игнорировать и того обстоятельства, что еще летом 1862 г. из среды русской революционной молодежи



ГЕРЦЕН

Фотография 1861 г.

Литературный музей, Москва

раздались голоса в защиту Герцена, травимого агентом русского правительства Шедо-Ферроти. Мы имеем в виду изданную в это время в Петербурге прокламацию студента П. С. Мошкалова «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» и другую прокламацию аналогичного содержания, написанную Д. И. Писаревым, но не увидевшую в то время света в виду разгрома тайной типографии, в которую она была направлена для отпечатания [7].

В дальнейшие годы популярность Герцена среди русских революционных кружков продолжала падать. Не без ехидного злорадства один из политических противников Герцена писал ему в 1864 г.: «Если б только вы могли невидимкою

побывать в России и застать врасплох вашу школу? Вы увидели бы, как 14-летние гимназисты улыбаются, глядя, как еще проступает в Герцене старый человек»[8]. Если в этих словах и имеется доля шаржа, то в основном все же правильно констатируется падение популярности Герцена среди русских революционеров, резко отразившееся в первую очередь на распространении его изданий в России. Молодые революционеры перестают интересоваться тем, что пишет Герцен. Это было жестоким ударом для издателя «Колокола».

Естественно, что анти-герценовские настроения росли не только среди революционеров, остававшихся в России, но и среди эмигрантов. На этой почве между Герценом и «молодыми» эмигрантами произошел ряд столкновений, закончившихся полным разрывом. Однако столкновениям и разрыву предшествовал ряд попыток сблизиться с Герценом на деловой революционной почве и сработаться с ним. На этих попытках мы, в первую очередь, и остановимся.

I. РУССКАЯ ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКАЯ КОЛОНИЯ 1861—1863 гг. И ГЕРЦЕН[9]

В 1863 г. III Отделение, отмечая тягу русской молодежи в заграничные учебные заведения, констатировало, что особенное скопление русских находится в Гейдельберге, Карлсруэ и Цюрихе. По сведениям III Отделения, в Гейдельберге в это время находилось 60 русских студентов (не считая поляков)[10]. Однако, просматривая список этих 60 студентов, мы не находим в нем ряда лиц, о пребывании которых в Гейдельберге нам известно из других источников. Таким образом, действительное число русских студентов в Гейдельберге было значительно больше. Недаром один современник впоследствии писал: «В то время Гейдельберг был город, переполненный русскими, особенно учащейся и неучащейся молодежью. Она встречалась массами на каждом шагу»[11]. Действительно, и на улицах Гейдельберга, и в табль-д'отах гостиниц, и в университете, и в кафе, и в театре русский язык преобладал над всеми другими, даже над немецким.

Выбору русскими именно этого маленького городка способствовали, во-первых, дешевизна жизни в нем по сравнению с более крупными городами, а во-вторых, то обстоятельство, что Гейдельбергский университет славился в то время блестящим составом своих преподавателей. Достаточно указать, что среди его профессоров были такие знаменитости, как физиолог Гельмгольц, химик Бунзен, физик Кирхгоф, историк Шлоссер, юристы Блунчли и Миттермайер.

Вот почему скопление русской молодежи в Гейдельберге в 1862 г. было настолько велико, что этот город стал как бы наполовину русским.

Среди живших в то время в Гейдельберге русских находились люди, еще в России принимавшие участие в революционных конспирациях, как, например, В. И. Бакст — видный деятель студенческого движения, еще в 1861 г. заподозренный в том, что он печатал прокламации в принадлежавшей ему легальной типографии в Петербурге, и В. Ф. Лугинин, состоявший, по сообщениям А. А. Слепцова и Л. Ф. Пантелеева, членом организации, выпускавшей прокламации «Великорусс»[12]. На ряду с этим в Гейдельберге было много людей, приобретших впоследствии известность на различных поприщах, как то: будущий лаврист, сотрудник «Вперед» — А. Л. Линев, Н. Д. Ножин, оказавший большое виляние на умственное развитие Н. К. Михайловского, его друг А. П. Мальшинский, в то время ярый революционер, а впоследствии издатель журнала «Вольное Слово», организованного на средства «Священной дружины», граф П. П. Шувалов, один из организаторов этой самой дружины, известный впоследствии поэт К. К. Случевский, тоже известный впоследствии реакционный публицист, сотрудник «Московских Ведомостей» и «Нового Времени», близкий к кругам политической полиции Г. С. Веселитский-Божидарович, в то время настроенный очень радикально (если только он уже тогда не был провокатором, подосланным III Отделением), будущие видные ученые: В. И. Сергеевич, В. И. Герье, Е. В. де-Роберти, А. О. Ковалевский и др.

Центром, где собиралась вся жившая в Гейдельберге русская молодежь, являлась читальня, организованная весной 1862 года. В этой читальне, на ряду с легальными русскими книгами и журналами можно было найти издания Герцена, малодоступные в России социалистические сочинения и книги немецких материалистов: Бюхнера, Молешотта и Фогта. Читальня, организованная по инициативе братьев Бакстов, Лугинина, Линева, Веселитского и др., была в то же время своего рода клубом, где постоянно собиралась русская молодежь и где устраивались собрания, на которых, по сведениям III Отделения, «произносились демагогические и коммунистические речи».

Сообщая в письме к одному из своих знакомых об открытии русской читальни, Линев писал, что цель ее — «выработка, осмысление либеральных идей, возможное распространение их между приезжающими молодыми людьми». «Читальню эту, — сообщал Линев, — завели несколько действительно развитых людей, принадлежавших к партии так называемых «красных», которые, будучи хорошими знакомыми Герцена и, вообще, всех трех лондонских старичков [т. е. Герцена, Огарева

и Бакунина — *Б. К.*] и видя, какое освежающее влияние делает беседа с такими личностями, как Герцен, хотели и в Гейдельберге устроить такое же общество, дабы поддержать, пропагандировать и укреплять его направление»[13]. Членов читальни было до шестидесяти; в их число, по свидетельству того же Линева, принимались только лица, известные своим либеральным направлением.

Из письма Линева видно, что Герцен пользовался еще значительным авторитетом среди гейдельбергского студенчества. Их уважение и симпатии к издателю «Колокола» ярко проявились, когда Гейдельберг посетил сын Герцена. В честь молодого Герцена был устроен торжественный обед, сопровождавшийся произнесением приветственных речей. Ораторы подчеркивали, что в лице сына они чествуют отца. Таким образом, гейдельбергский обед принял характер политической демонстрации против русского правительства. Но это была не единственная демонстрация, устроенная русскими гейдельбержцами. В 1862 г. в Гейдельберг приехал граф Путятин, бывший министр народного просвещения, по распоряжению которого в 1861 г. был закрыт Петербургский университет. Узнав о приезде Путятина, русская молодежь устроила кошачий концерт перед гостиницей, в которой он остановился. Перепуганный Путятин поспешил покинуть Гейдельберг[14].

Много разговоров в свое время вызвал также суд, устроенный гейдельбергской молодежью над И. С. Тургеневым, по случаю выхода его романа «Отцы и дети», в котором молодежь усмотрела «клевету на молодое поколение». Поставленный в известность о предстоящем суде, Тургенев счел необходимым представить гейдельбержцам свои объяснения и оправдания. В письме к одному из них, К. К. Случевскому, он уверял, что его роман «направлен против дворянства». «Мне очень было приятно слышать, — писал он позднее тому же Случевскому, — что молодые не окончательно меня осудили; я могу сказать только то, что каков я был до сих пор, таков и остался, — и если меня любили прежде, то разлюбить пока еще не за что»[15].

Для характеристики политического настроения гейдельбергских студентов стоит упомянуть также и о том, что, узнав о ране, полученной Гарибальди во время одного из сражений, они обратились к знаменитому хирургу Н. И. Пирогову, жившему в то время в Гейдельберге, с просьбою поехать в Италию и произвести Гарибальди операцию. При этом они собрали между собою тысячу франков на поездку Пирогова, от которой тот, однако, отказался[16].

Если к сказанному выше прибавить, что гейдельбергские студенты производили сборы денег в пользу эмигрантов и на «русское дело» (как они выражались), размножали при помощи литографского камня и от руки адрес царю с требованием конституции, написанный Огаревым, а также письма Огарева по поводу политического и экономического положения России, и, наконец, пользуясь своими связями с родиной, переправляли эти документы туда для распространения, то станет ясно, какую интенсивную в политическом отношении жизнь вела в то время русская гейдельбергская колония.

Несомненно также и то, что члены этой колонии принимали участие в выходившей в то время за границей русской эмигрантской прессе — в частности в изданиях Герцена (например, «Письмо из Гейдельберга», № 169 «Колокола»), в «Свободном Слове» Л. Блюммера и в журнале «Правдивый», издававшемся в Лейпциге книгопродавцем В. Гергардом и выходившем первоначально при ближайшем участии кн. П. Долгорукова, а затем, после ссоры последнего с издателем, переименованном в «Правдолюбивого». Так, например, статья «О петербургских пожарах», помещенная в № 8 «Правдолюбивого», была написана гейдельбержцем С. И. Константиновым[17].

Наладили гейдельбергские студенты и некоторые издательские предприятия. В цитированной выше записке III Отделения от 30 мая 1863 г. упоминается, что студент Н. Л. Владимиров, изучавший в Гейдельберге философию, участвовал в переводе на русский язык и в распространении какой-то книги Л. Фейербаха. Это сообщение дает основание думать, что изданная в 1862 г. в Гейдельберге книга Фейербаха «Сущность религии» (перевод Федоровского) была переведена гейдельбергскими студентами.

В 1882 г. в Гейдельберге вышел первый (и единственный) номер «Летучих Листков». Это — книжечка небольшого формата в 78 страниц. В ней перепечатаны три прокламации «Великорусс», «Ответ Великоруссу» Н. А. Серно-Соловьевича, опубликованный в «Колоколе», ответ на этот «ответ» Огарева (также из «Колокола») и, наконец, известная прокламация Н. В. Шелгунова «К молодому поколению». В предисловии издатели «Летучих Листков», объясняя мотивы, побудившие их перепечатать выпущенные в России прокламации, писали: «Значение этих листков при настоящем положении дел в России так важно, что повторение их не нуждается в оговорке». Кем были изданы «Летучие Листки», неизвестно, но в литературе имеется указание на то, что к изданию их были причастны братья Баксты[18].

Мечтали гейдельбергские студенты и о создании собственного журнала.

В одном из писем А. Л. Линева, к упоминавшемуся выше С. Т. Константинову, рассказывается о попытке гейдельбержцев организовать журнал. Редактором его

намечался проживавший в Гейдельберге Петр Васильевич Новицкий, уже выступавший в качестве литератора в русской легальной прессе [19].

«Друг и приятель Альбертини, — писал Линев про Новицкого, — он имеет связи в Петербурге, в литературном кружке, и в Сибири, где Новицкий служил, и в Малороссии, и по берегам Волги, и в славянских землях. Он задумал журнал славянский, следящий за событиями славянского мира, журнал, знакомящий с практическими выполнениями и осуществлениями жизненных вопросов». Новицкий, по словам Линева, готов, «побывав и поездив около месяца в России, осетить всю ее сетью корреспондентов» [20].

Допрошенный в 1866 г. по поводу этого письма в высочайше учрежденной следственной комиссии, Линев показал: «Во время моего знакомства с г. Новицким он однажды выразил свое неудовольствие на направление заграничной русской прессы, нападая на ее болтовню и философствование, — либеральное без основы в действительных фактах и познания русской жизни. Уж если бы издавать за границей журнал, заметил г. Новицкий, то помещать сведения о русской жизни, злоупотребления и другие пороки в России, не вдаваясь в теоретические вопросы» [21].

Издание журнала, проектированного Новицким, не осуществилось. Линев уверяет, что это произошло из-за отказа упоминавшегося выше издателя Гергарда, которому было предложено принять на себя издание нового русского журнала. Однако можно подозревать, что была и другая причина, помешавшая Новицкому приняться за выполнение своего намерения. Дело в том, что среди эмиграции появились подозрения (основательные или нет, до сих пор не выяснено) относительно связи Новицкого с русской тайной полицией. Л. Блюммер опубликовал его фамилию в своем «Свободном Слове» в списке русских шпионов. Новицкий выразил негодование по этому поводу и пытался оправдываться, но неудачно. Выяснилось, что он возбудил против себя подозрения еще в Петербурге, когда осенью 1861 г. во время студенческого движения, облыжно выдавал себя за депутата одного высшего учебного заведения и пытался на этом основании проникнуть в центральный кружок, руководивший движением. Тогда же его заподозрили в предательстве студенческой сходки, собравшейся 5 октября на квартире Н. В. Альбертини. Конечно, после опубликования этих фактов всякие разговоры о Новицком как о редакторе будущего журнала, должны были прекратиться [22].

Наладить издание своего журнала гейдельбергским студентам удалось только в 1863 г. Однако к этому времени политическая обстановка значительно изменилась, и это отразилось на настроении части русского студенчества в Гейдельберге.

В январе вспыхнуло польское восстание. Среди гейдельбергских студентов было немало поляков. Они поспешили уехать в Польшу, чтобы принять участие в вооруженной борьбе с русским царизмом. Некоторым из них, как, например, Оскару Авейде, Гауке и др., было суждено сыграть видную роль в начавшемся восстании.

Среди русских студентов в Гейдельберге были люди искренне сочувствовавшие польскому делу и желавшие активно помогать восставшим. Студент-медик П. И. Якоби отправился в Польшу, работал там в качестве врача при одном из повстанческих отрядов и был ранен. По сведениям III Отделения, ездили также в Польшу упомянутый выше Н. Л. Владимиров и Ф. Д. Гриднин. Среди оставшихся в Гейдельберге производился денежный сбор в пользу раненых поляков-повстанцев. Подписной лист, вывешенный в читальне, послужил поводом для раскола среди гейдельбергских студентов. В ответ на подписку в пользу поляков несколько студентов, во главе с В. И. Герье, открыли подписку в пользу семей убитых русских солдат.

С этого момента русская колония в Гейдельберге раскололась на две партии. Одна из них, называвшаяся «Петербургской» (или «герценистами»), сочувствовала восстанию, связывая с его успешным исходом надежды на освобождение России. Другая — «Московская» (или «катковисты») — была настроена шовинистически и шумно приветствовала каждую победу русских войск над поляками. Взаимоотношения между этими двумя партиями приняли чрезвычайно резкий характер. Столкновения происходили на каждом шагу. Вскоре партийная борьба обострилась до такой степени, что у «герценистов» явилась мысль об издании полемическо-сатирического органа, направленного против «катковистов». Так возник журнал с двойным французско-русским названием «A tout venant je crache. — Бог не выдаст, свинья не съест».

Номера этого журнала до нас не дошли. По крайней мере, С. Г. Сватиков, специально изучавший историю русской читальни в Гейдельберге, не мог найти ни одного номера. Поэтому, говоря об этом журнале, приходится довольствоваться лишь теми сведениями, которые удалось собрать о нем Сватикову из расспросов современников [23].

Основателями гейдельбергского журнала были известный впоследствии философ-позитивист и социолог Е. В. де-Роберти и его два товарища: А. О. Преженцов, впоследствии сотрудник «С.-Петербургских Ведомостей» и «Северного Вестника» В. Корша, в которых он писал по экономическим и этнографическим вопросам, и один из братьев Сабуровых (повидимому, Я. В. Сабуров, близкий друг А. А. Серно-Соловьевича по Александровскому лицею, а впоследствии — сенатор). Журнал издавался на средства де-Роберти. За отсутствием в Гейдельберге русской типографии он печатался в Лейпциге. Рассылался он всем членам русской колонии в Гейдельберге,

Герцену, И. С. Тургеневу (который упомянул впоследствии об этом журнале в XXVI главе «Дыма») и др.

Сколько вышло номеров «A tout venant je crache», в точности неизвестно. С. Сватиков в двух статьях, в которых он рассказывает об этом журнале, сообщает, что вышло семь номеров [24], а в третьей — шесть [25]. М. Волзовский же, напечатавший в 1864 г. в «Библиотеке для чтения» заметку о русской колонии в Гейдельберге, говорит только о трех номерах [26].

Как видно из самого названия журнала, его издатели придавали ему остро-полемический характер. Основной его целью было высмеивание политических противников.

Круг сотрудников был весьма ограничен. Публицистический отдел взял на себя де-Роберти, а стихи — «очень бойкие, хлесткие и жестокие», по отзыву современника, писал Преженцов. Участвовали ли в журнале другие лица, неизвестно.



ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Литография с гравюры на стали Вормса

Литературный музей, Москва

О политической физиономии гейдельбергского журнала можно судить по одной статье де-Роберти о польском вопросе, предназначавшейся для журнала (была ли она помещена в нем или осталась ненапечатанной, неизвестно). По сообщению Сватикова, нашедшего рукопись этой статьи в архиве гейдельбергской читальни, автор статьи доказывал, что освобождение России невозможно без освобождения Польши.

Не лишены интереса обстоятельства, вызвавшие прекращение журнала. По данным Сватикова, отношения издателей «A tout venant je crache» с «катковистами» обострились до такой степени, что де-Роберти и Преженцов оказались вынужденными послать вызов на дуэль своим противникам. Те согласились драться только на эспадронах (по немецкому студенческому обычаю), а не на пистолетах, как настаивали де-Роберти и его товарищи. Тогда последние вывесили в читальне объявление об отказе «катковистов» от предложенной им дуэли. Вмешалось узнавшее об этом университетское начальство. Оно признало де-Роберти и Преженцова виновными в вызове на дуэль на запрещенном оружии и уволило их на один год из университета. Таким образом, издателям «A tout venant je crache» пришлось расстаться с Гейдельбергом, и их журнал перестал выходить [27].

Конечно, журнал де-Роберти и его товарищей, ограничившийся в значительной мере освещением местных гейдельбергских вопросов, был доступен и интересен только сравнительно узкому кругу читателей.

Раздоры среди студенчества отразились и на судьбе русской читальни. Часть членов, во главе с В. Ф. Лугининым и Л. Модзалевским, стала настаивать на пре-

образовании читальни из закрытого клуба с строгим отбором членов, каким она была первоначально, в открытый для всех желающих кабинет для чтения. Протестантам удалось собрать большинство, и их точка зрения восторжествовала. Недовольные преобразованием читальни Бакст и другие представители левого крыла студенчества отказались принимать участие в ее дальнейшей судьбе [28]. Вскоре после этого читальня, утратившая свое прежнее значение, захирела. А затем, после того как Петербургский университет был вновь открыт, значительно сократилось и число русских студентов в Гейдельберге [29]. Наиболее скомпрометированные в политическом отношении студенты, не решаясь возвратиться в Россию, перешли на положение эмигрантов (Бакст, Якоби и др.) и по окончании курса переселились в Швейцарию.

Из всего сказанного выше выясняется, с каким сочувствием относилось левое крыло гейдельбергской русской молодежи к Герцену и его деятельности. Однако иногда и среди представителей этого крыла можно было услышать разговоры в неблагоприятном для Герцена духе. Слухи о них доходили до самого Герцена. Это видно из его письма к сыну от 21 декабря 1861 г., в котором он, говоря о «гейдельбергских друзьях», передавал: «До меня доходили слухи, что в Гейдельберге говорили о том, что я страшно богат, и о том, что трачу чорт знает как. Из этого делали вроде упрека, что я не больше делаю для общего дела. Ты знаешь все мои дела и можешь говорить. Надобно же какое-нибудь разделение труда, — я вытяну свою лямку, но один за всех не могу» [30]. Таким образом, уже в самом начале существования русской гейдельбергской колонии по адресу Герцена начали раздаваться упреки, которые ему неоднократно пришлось выслушивать и позднее.

II. РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ В БЕРНЕ

В 1862 г. среди русской эмиграции появляется несколько новых лиц. Наиболее выдающимся из них был А. А. Серно-Соловьевич. Вместе с братом своим Николаем он стоял в центре петербургского революционного движения 1861—1862 годов. В 1861 г. он принимал участие в распространении прокламации Шелгунова «К молодому поколению». В том же году он вел агитацию за поддержку студенческого движения настроенными оппозиционно по отношению к правительству кругами петербургского населения. Будучи связанным с Герценом, весной 1862 г. А. А. Серно-Соловьевич ездил в Кенигсберг для налаживания переправки в Россию зарубежной литературы. Как и его брат Николай, он был близок с Чернышевским. Совместно с братом он принимал деятельное участие в организации тайного общества «Земля и Воля». Расстроенное здоровье заставило его весною 1862 г. уехать для лечения за границу [31]. В этой поездке его провожал его друг А. А. Черкесов, также достаточно яркая фигура в революционном Петербурге того времени, хотя его больше знали как издателя и владельца книжного магазина, служившего одним из центров сосредоточения петербургской оппозиционной интеллигенции.

В июне 1862 г. выехал за границу москвич Виктор Иванович Касаткин, которому также суждено было играть довольно заметную роль в делах русской эмиграции. Страстный библиофил, собиратель редких книг, портретов и рукописей, Касаткин был причастен к литературе; в 1858—1859 гг. он принимал деятельное участие в журнале «Библиографические Записки». В Москве Касаткин был близок с сыновьями знаменитого артиста М. С. Щепкина, поддерживал знакомство с Н. Х. Кетчером, профессором И. К. Бабстом, поэтом П. В. Шумахером, исследователем народного творчества А. Н. Афанасьевым, декабристом М. И. Муравьевым-Апостолом. Особенно же он был дружен с И. Е. Забелиным, известным историком, и с сыном декабриста Е. И. Якушкиным, впоследствии известным исследователем обычного права. Встречался Касаткин и с Чернышевским, который в 1857 г. писал о нем И. К. Бабсту: «Особенно понравился мне Касаткин» [32].

Большой поклонник Герцена, Касаткин еще до эмиграции мечтал о том, чтобы наладить правильную и регулярную доставку его изданий в Москву и распространять их по умеренным ценам. Это видно из неопубликованного письма И. Е. Забелина Е. И. Якушкину от 9 января 1860 г. «Виктор Иванович, — сообщал Забелин, — писал ко мне о своем проекте касательно покупки и доставки лондонских изданий и при этом убежден, что его проект вещь вовсе не утопическая. Он нашел какого-то немца, через которого все это будет устроено. Но я понимаю, что все это вздор, что это весьма трудно и опасно. Не знаю, как вы будете думать. Он говорит, что и к вам писал об этом». Несмотря на скептическое отношение Забелина к проекту Касаткина, последний не хотел отказаться от него. Повидимому, стремление осуществить этот проект было одной из причин заграничной поездки Касаткина в 1860 г. Он явился в Лондон, чтобы познакомиться с Герценом и Огаревым, и весьма понравился им своим горячим энтузиазмом к делу вольного русского слова. Из публикуемых в настоящем томе «Литературного Наследства» писем Огарева к Герцену видно, что Касаткин в бытность свою в Лондоне занимался подготовкой вышедшего в 1861 г. под редакцией Огарева сборника «Русская потаенная литература XIX столетия». Большой знаток рукописной русской поэзии, Касаткин, конечно, мог оказать большую

помощь Огареву в работе над этим сборником. Весьма вероятно, что он доставил даже часть материала для него.

Неизвестно, насколько удалось Касаткину наладить регулярное получение лондонской литературы в Москве. Но несомненно, что по возвращении из-за границы он не без успеха занимался распространением портретов Герцена и Огарева и их изданий. Это видно из неопубликованного письма его к Е. И. Якушкину от 14 мая 1861 г., в котором он, между прочим, писал: «На днях к посылке в Ярославль [где в то время жил Якушкин — *Б. К.*] я присоединил вам карточку с лицами А. И. [Герцена] и Н. П. [Огарева]. Это была последняя и я не без труда сберег ее для вас от хищнических нападений разных господ. Читали вы № 89, где статья Огарева, если нет, то я захвачу его с собой: мне страх хочется потолковать с вами об этой статье. Постараюсь захватить и другие новости; любопытного бездна и во 2-м т[оме] сборника и в 6-й книге» [33].

Настоящее письмо свидетельствует, что Касаткин и по возвращении в Москву продолжал поддерживать связь с Герценом. Это подтверждается и тем, что тайно приезжавший в Россию в мае 1862 г. В. И. Кельсиев, будучи в Москве, связался с Касаткиным. Вне сомнения стоит также и то, что Касаткин знал о возникновении тайного общества «Земля и Воля» и, по всей вероятности, перед отъездом за границу в 1862 г. успел примкнуть к нему. Это подтверждается следующими соображениями: в конце весны 1862 г. член центрального комитета «Земли и Воли» А. А. Слепцов предпринял по поручению комитета поездку по России для того, чтобы установить связи с провинцией и организовать там отделения тайного общества. В целях конспирации Слепцов путешествовал под видом агента образовавшегося в Петербурге легального общества для распространения книг для народного чтения и учебных пособий. В бытность в Москве он посетил Касаткина и с рекомендательным письмом последнего направился в Ярославль к Якушкину (это письмо читатели найдут ниже, стр. 49—50). Имеются некоторые основания предполагать, что Е. И. Якушкин отнесся сочувственно к миссии Слепцова и согласился примкнуть к «Земле и Воле».

Как Серно-Соловьевич и Черкесов, так и Касаткин ехали в 1862 г. за границу без намерения эмигрировать. Однако в их отсутствие произошли события, заставившие их остаться за границей. Дело в том, что правительству стало известно о тайном приезде в Россию Кельсиева, и это повлекло за собою многочисленные аресты в Петербурге и в Москве (в числе арестованных был и Н. А. Серно-Соловьевич), закончившиеся так называемым процессом о сношениях с «лондонскими пропагандистами». Сношения А. А. Серно-Соловьевича и Касаткина с Кельсиевым были открыты, и русское правительство предложило им (а также и Черкесову, также замешанному в это дело) вернуться в Россию. И тот и другой отказались сделать это и были заочно приговорены к лишению всех прав состояния и изгнанию из России навсегда. Что касается Черкесова, менее скомпрометированного по делу, то он просил отсрочить ему возвращение в Россию, ссылаясь на расстроенное здоровье. Это дало ему возможность остаться за границей и принимать деятельное участие в делах эмиграции до августа 1865 г., когда он добровольно возвратился в Россию и расплатился за свои заграничные похождения кратковременным арестом и подчинением надзору полиции.

Летом 1862 г. бежали за границу от ареста, грозившего им по делу о раскрытой правительством в Петербурге тайной типографии, организованной студентом П. Д. Баллодом, — Н. И. Жуковский и П. С. Мошкалов, автор упомянутой выше прокламации «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». Что касается Мошкалова, то, пробыв некоторое время в Лондоне, он переехал в Америку, где и прожил до 1871 г., когда получил разрешение на возвращение в Россию. Вследствие этого, в делах русской эмиграции он непосредственного участия не принимал. В ином положении оказался Н. И. Жуковский. Первые годы своего пребывания за границей он всецело посвятил делу транспортирования герценовских изданий в Россию. Для этой цели он, по указанию Герцена, поселился в Германии, Дрездене, и лишь во второй половине 60-х годов переехал оттуда в Швейцарию.

Наконец, надо упомянуть и о том, что в декабре 1861 г. в Лондоне появился бежавший из Сибири М. А. Бакунин, которому, как мы увидим ниже, было суждено сыграть весьма заметную роль в истории тогдашней эмиграции. Человек того же поколения, как и Герцен, Бакунин не примкнул вполне к позиции, занятой Герценом, хотя и поселился на первых порах в Лондоне же. Взаимоотношения Бакунина с Герценом и Огаревым выходят из рамки нашей темы, и потому мы коснемся их лишь постольку, поскольку это необходимо для выяснения роли Огарева в столкновении Герцена с «молодой эмиграцией».

Хотя Бакунин и уверял Герцена и Огарева, что его твердое намерение — «быть третьим» в их союзе, однако он не скрывал, что деятельность издателей «Колокола» не вполне его удовлетворяет. «В целях, — писал им Бакунин, — мы, кажется, совершенно согласны, расходимся только, может быть, в путях и средствах». На эту тему между Бакуниным и издателями «Колокола» не раз происходили разговоры, завершившиеся по обоюдному согласию следующей формулировкой их взаи-

моотношений. «Вы правы, друзья. — Дружеское и союзное «возле». — Вот то отношение, в котором я должен стоять к вам» [34].

Однако такое соглашение оказалось непрочным. Через год Бакунин констатировал, что этот год «прошел в глубокой семейной борьбе». Его письмо к Н. И. Жуковскому отчетливо вскрывает линии разногласий между ним и Герценом. «Герцен, — писал Бакунин, — великолепно поставил и продолжает отстаивать русское дело перед европейской публикой, но во внутренней практике он неисправимый скептик и действует на нее не только не поощряющим, но деморализующим способом».

Бакунин находил направление «Колокола» слишком «отвлеченным, литературным». Он обвинял Герцена в кокетничании с «императорством» и в уклонении от «дела практического» и объяснял это тем, что в Герцене «на революционного деятеля... решительно недостаточно материала» [35]. При этом Бакунин отмечал, что в спорах с Герценом Огарев в ряде случаев становился на сторону его, а не Герцена. Это утверждение Бакунина подтверждается и самим Герценом. Как ни близок и дружен он был с Огаревым, полного единомыслия между ними не было. Герцен был сторонником длительной пропаганды (или «проповеди», как он выражался); Огарев же доказывал необходимость агитации. Герцен, по его собственному признанию, возражал против агитационных статей Огарева, находя в них элемент демагогии [36]. Под влиянием этого его отношения с Огаревым принимали иногда настолько тяжелый характер, что в начале 1864 г. Герцен занес в свой дневник такие полные скорби строки: «Даже те связи, которые длились всю жизнь, подаются. Мы понижаемся в глазах друг друга» [37]. Эти расхождения между Бакуниным и Герценом, а также между Герценом и Огаревым, отразились, как мы увидим ниже, и на истории их взаимоотношений с «молодой эмиграцией».

Подъем революционного движения, наблюдавшийся в России в 1861—1863 гг., возникновение тайного общества «Земля и Воля», пытавшегося раскинуть сеть своих отделений по всей России, широко распространенные среди русских революционеров надежды на то, что весной 1863 г., к тому времени, когда будет закончено составление уставных грамот и крестьянство окончательно убедится в неосновательности расчетов на получение «воли» сверху, в России произойдет неминуемая крестьянская революция, — все это диктовало русской эмиграции необходимость широкого развития деятельности, направленной на подготовку восстания в России и на обеспечение его успешного исхода. Эта деятельность в условиях эмигрантского существования могла развиваться в трех направлениях: во-первых, сбор денег на нужды революционного дела, во-вторых, налаживание постоянных и, по возможности, обеспеченных от провала связей с Россией, в-третьих, создание агитационной литературы в количестве, соответствующем быстро возросшей потребности в ней, ощущавшейся в России. Подпольные типографии, возникавшие в то время внутри страны, по самым условиям своей работы не могли в полной мере обеспечить действующие в России революционные организации потребной для них пропагандистской и агитационной литературой; при таких условиях русский вольный станок за границей приобретал особенно большое значение.

Еще в мае 1862 г. Герцен на страницах «Колокола» заявил «в ответ на несколько писем, полученных из России», о своей готовности учредить при редакции «Колокола» сбор денег, «предназначаемых на общее наше русское дело» [38]. Так возник так называемый «Общий фонд». Средства этого фонда предназначались в первую очередь «для пособия русским эмигрантам, число которых возрастает благодаря безумному террору, царящему в Петербурге» [39], а затем на нужды революционной пропаганды. Поступления в фонд были двоякого рода. Во-первых, предусматривалось самообложение эмигрантов (конечно, имущей части их); предполагалось, что люди с доходом до 2000 р. будут отчислять 5%, а с бо́льшим доходом — 10%; для семейных делалась скидка вполовину [40]. Во-вторых, ожидались взносы от русских людей, живущих за границей или путешествующих по Западной Европе, а также пожертвования из России. Однако поступления в «Общий фонд» притекали слабо. Герцен не раз жаловался, что поступающих денег нехватает даже на помощь нуждающимся эмигрантам [41], а в сентябре 1863 г. с грустью констатировал, что «в Общем фонде не только ничего нет, но дефицит растет с необходимостью поддерживать русских, не имеющих возможности возвратиться в Россию» [42].

В этом слабом успехе «Общего фонда» нет ничего удивительного, если мы вспомним, что наша эмиграция в большинстве своем состояла из людей нуждающихся; посторонние же пожертвования были явлением случайным, а в 1863 г. под влиянием развития реакционных настроений в русском обществе, в связи с польским восстанием, даже явлением редким. Приток денег в «Общий фонд» почти совершенно прекратился, а касса его опустела.

Другим делом, сильно интересовавшим эмигрантов, было налаживание связей с Россией. Мы уже упоминали о том, что Н. И. Жуковский был отправлен для этой цели в Дрезден. С аналогичным поручением в октябре 1862 г. был послан сперва в Константинополь, а затем в Тульчу, на границу с Россией, В. И. Кель-

сиев, к которому в 1863 г. присоединился бежавший из России его брат И. И. Кельсиев, видный участник московского студенческого движения 1861 г. В северной Германии работал В. И. Бакст. В Италии такую же работу вел известный впоследствии публицист, географ и социолог Лев Ильич Мечников. Он с 1858 г. находился вне пределов России, сражался в войсках Гарибальди, но только теперь начал принимать участие в делах русской эмиграции, взяв на себя налаживание морских связей между Италией и Одессой, в чем ему одно время помогал бывший студент Гейдельбергского университета барон А. Ф. Стюарт, уроженец Бессарабии, имевший знакомства в Одессе.

Наконец, М. А. Бакунин, во время пребывания своего в 1863 г. в Швеции, налаживал сношения через шведско-финляндскую границу. Как видим, работа, в



В. И. БАКСТ

Фотография 1866 г. с дарственной надписью Лизе Герцен

Литературный музей, Москва

общем велась довольно интенсивно, и результаты ее на первых порах были весьма благоприятные. Этому способствовало то обстоятельство, что с начала польского восстания, вспыхнувшего в январе 1863 г., русская граница с Пруссией и Австрией оказалась фактически открытой. В результате заграничная русская печать начала в бо́льшем, нежели ранее, количестве проникать в Россию.

В связи с развитием в эти годы широкого революционного движения в России спрос на революционную литературу, изготовляемую за границей, как мы уже отмечали выше, сильно возрос. Как ни велика была продукция герценовской типографии, она оказывалась недостаточной для удовлетворения спроса, поступавшего из России. При таких условиях вполне естественной была мысль о создании за границей еще одной русской типографии.

Эта мысль была приведена в исполнение уже известным нам В. И. Бакстом, основавшим, повидимому, в конце осени 1862 г. русскую типографию в Берне. Как это ни странно, существование этой типографии до сих пор оставалось неизвест-

ным нашим исследователям, хотя некоторые документы, содержавшие в себе упоминание об этой типографии, были давно уже опубликованы. Основываясь как на этих документах, так и на некоторых других, которые впервые печатаются в настоящем томе «Литературного Наследства», мы попытаемся изложить историю этого эмигрантского начинания. Однако необходимо теперь же оговориться, что те сведения, которыми мы в настоящее время располагаем относительно бернской типографии, настолько скудны, что не дают возможности дать сколько-нибудь полную картину судьбы этой типографии.

А. А. Слепцов рассказывает, что, приступив к организации тайного общества «Земля и Воля», Н. А. Серно-Соловьевич обратил особенное внимание на собиравшегося ехать в Гейдельберг Бакста, которому, как добавляет Слепцов, «была обеспечена помощь Лугинина». «Он [т. е. Бакст], — пишет Слепцов, — ехал не столько для научных занятий, сколько для организации доставки лондонских (тогда, в сущности, единственных) изданий в Россию, на что В. Ф. [Лугинин] обещал не пожалеть части своих (вернее отцовских) громадных средств»[43]. И действительно, как мы уже упоминали, Бакст привел в исполнение это намерение, приняв на себя организацию транспортирования герценовской литературы через русско-прусскую границу. Отдав свои силы этому делу, Бакст должен был убедиться в том, что лондонская типография не в силах справиться с выпавшей на ее долю задачей.

Бакст имел опыт в типографском деле. В Петербурге он владел типографией. Естественно, что и за границей ему пришла мысль вновь приняться за знакомое дело. Откуда же он достал деньги на устройство типографии? Повидимому, не от Лугинина, с которым, как мы уже знаем, он в Гейдельберге разошелся в связи с вопросом о роли русской читальни. Имеются основания предполагать, что средствами, необходимыми на устройство типографии, снабдил его другой товарищ по Гейдельбергу, упомянутый выше барон Стюарт, человек весьма состоятельный. За это предположение говорит то обстоятельство, что распорядителем шрифта, оставшегося после ликвидации бернской типографии, в эмигрантских кругах, как это видно из неопубликованных писем Н. И. Утина к Герцену и Огареву, на ряду с Бакстом считался и Стюарт.

Бернская типография, как упомянуто уже выше, возникла в конце осени 1862 г. По крайней мере, С. Тхоржевский в письме к В. И. Касаткину от 4 ноября 1862 г. говорит об этой типографии как об уже существующей[44].

Повидимому, по открытии типографии Бакст встретился с какими-то препятствиями, мешавшими нормальному развертыванию его работы (см. письмо Касаткина к Герцену, стр. 53—55). Возможно, что и денег у Бакста нехватало, а возможно, — и это вероятнее всего, — что он испытывал недостаток в литературном материале. Поэтому среди эмигрантов, живших в Швейцарии, возникла мысль о соединении бернской и лондонской типографий в единое предприятие. Для переговоров по этому вопросу с Герценом и его товарищами отправились в Лондон А. А. Серно-Соловьевич и А. А. Черкесов. В результате переговоров сложился план, который С. Тхоржевский следующим образом излагает в цитированном уже письме к Касаткину: «Из разных предположений, и с вашей стороны и со стороны бернской типографии, вышел на скорую руку план не только соединения двух враждебных типографий, но основания общества издательства всех сочинений и «Колоколов», так что где бы они ни печатались, то все равно будет и для одной и для другой стороны. В обществе примут участие главное: Николай Платонович, Александр Иванович с сыном, Чернецкий, Бакст, я и вы; как книгопродавцы: Серно-Соловьевич, А. А. Черкесов и еще двое или трое денежных людей. Общество будет основано на акциях, т. е. соответственно взносу, барыш от получаемых из «издавництва» «Колокола» и всех нужных книг; люди специальные, как типографы и другие, должны получать жалованье, которое, разумеется, нужно на содержание. Мы, если захотите, будем заниматься и торговлею книжною, которая не взойдет в общество, но это другой вопрос. «Колокол», как и всегда, должен принадлежать А[лександру] И[вановичу], но общество будет печатать и продавать сколько угодно, а редакция будет отдельно вознаграждена, кроме барыша, который редакция будет иметь, как акционерка. Это все — проект составленный вчера мною и Серно-Соловьевичем вечером, за несколько часов перед его отъездом, а утром был только проект соединения типографий, в котором только должны были участвовать А[лександр] И[ванович], Чернецкий и Бакст. В этом проекте я видел всю тяжесть на А[лександре] И[вановиче], а потому мысль этого обширного проекта надобно развить как можно скорее и, разумеется, отдать одному дельному законодателю заметить на параграфы. Что вы об этом думаете и как хотите участвовать?»

Об этом проекте Касаткин узнал не только из письма Тхоржевского, но и от Серно-Соловьевича и Черкесова, которые на пути из Лондона в Неаполь, куда Серно-Соловьевич ехал для лечения, заезжали в Женеву и 7 и 8 ноября вели переговоры с Касаткиным. Сообщая об этом Герцену, Касаткин писал (стр. 53): «Результаты наших совещаний, в виде основных положений проекта, я посылаю Тхоржевскому, который и сообщит вам его. Рассмотрите и обсудите его сообща,

по возможности, во всех отношениях. Все ваши замечания, изменения, соображения потрудитесь сообщить мне или Баксту для уведомления о том С[ерно]-С[оловьевича] и дальнейшей разработки проекта. Пока еще нет денег, но все, в том числе и я, надеемся, что они скоро будут... До тех пор положение обеих типографий и книжного дела должно остаться in statu quo. По моему мнению, Бакст в настоящем положении не может ничего сделать; всякие поддержки бесполезны и ни к чему не приведут. От осуществления же проекта дело принимает, с самого начала его, совершенно другой и, можно заранее сказать, хороший оборот. Так как большинство шансов за то, что деньги будут, то, не теряя времени, следует обсудить и развить проект во всех подробностях, чтобы иметь возможность с начала же нового года приступить к его осуществлению». К сожалению, никаких подробностей относительно содержания проекта, упоминаемого Касаткиным в только что цитированном письме, мы не знаем. Известно только, что в процессе его обсуждения возникло предположение рассматривать задуманное объединенное издательство в качестве заграничного предприятия тайного общества «Земля и Воля», на что ее представитель А. А. Слепцов, находившийся в то время за границей, дал согласие. Известно также, что проект «акционерной компании» не осуществился. Можно предполагать, что одной из причин этого — а, может быть, и главной — было отрицательное отношение к нему Герцена.

Прежде чем говорить об этом, познакомимся с тем, как реагировал на проект слияния типографий Огарев. В письме к Баксту от 15 декабря 1862 г. он писал: «Я прихожу к тому убеждению, что компании и типографии, если будут пути (т. е. связи для транспортирования литературы в Россию), лучше, безопаснее соединить в Лондоне, чем на материке, а в ценах разницы не будет... Большое предприятие вне Англии, где бы то ни было, при предстоящей истории легко подвести под секвестр и разом лишиться и фонда, и типографии на континенте, а, между тем, лондонская типография окажется уменьшенною, так что вместо добра, выйдет худо» [45].

Таким образом, принципиальных возражений против проекта слияния у Огарева не было. Он предлагал только, чтобы всё предприятие было сосредоточено в Лондоне, находя, что политические порядки Англии дают больше гарантий успешного развития дела, нежели порядки других стран.

Иначе относился к проекту Герцен. В этом вопросе он коренным образом разошелся со своим другом. 15 февраля 1863 г. он писал Огареву: «Volo videre, quomodo aedificatis» [хочу видеть, как вы строите]. Пусть же они докажут, что они — сила, что мы с ними и со всеми, кто идет тем же путем, — это они знают. Но, стоя на построенном нами фундаменте одиноко, пока не убедимся, что их прочнее, мы не будем увлечены в fiasco или нелепость. Служить им я буду, но прежде чем брать солидарную ответственность, хочу видеть их журнал, их profession de foi. Ведь «Земля и Воля» — не все, и в «Молодой России» то же было... А потому я не знаю, чего именно ты хочешь от меня. Смешать 0 нашего фонда с 0 их? Можно. С[лепцов] [?] говорит, что мы можем распоряжаться, а С. приедет да задаст такую гонку. Это даже Бакунин не принимает» [46].

Из этого письма видно, что, возражая Огареву, Герцен приводил ряд доводов против предложенного ему проекта.

Во-первых, он выражал неверие в силы представителей молодой эмиграции и в их способность справиться с делами.

Во-вторых, он боялся объединять свою типографию с бернской, чтобы не потерять самостоятельности.

В-третьих, он не хотел ставить свое дело в зависимость, хотя бы и минимальную, от тайного общества «Земля и Воля», не полагаясь на обещания А. А. Слепцова, который не производил на Герцена впечатления серьезного политического деятеля (да и действительно не был им), не вмешиваться в дела издательства и типографии. Поэтому он и выдвигал возражение, что «Земля и Воля» не представляет всего русского революционного движения.

В-четвертых, Герцена смущала материальная сторона дела, так как он знал, насколько недостаточны имущественные средства эмигрантов, и опасался, что в случае проектируемого слияния все материальные тягости лягут на одного или почти одного его.

Отвергнув предложенный ему проект, Герцен, однако, не уклонился от поддержки бернской типографии как материальными средствами, так и личным сотрудничеством.

Посылая в марте 1863 г. Касаткину 50 фунтов стерлингов, Герцен добавлял: «Печатайте без счета, а коммуникации будут вскоре восстановлены. Революция не только не погасла, но увеличилась; вести из России благоприятны, и наши труды не пропадут даром». В другом письме к тому же Касаткину (4 апреля того же года) Герцен писал: «Не уставайте, развивайте наши мысли... торопитесь печатать, — первые оттиски в Лондон» [47].

Эти письма Герцена дают основание предполагать, что Касаткин состоял при бернской типографии чем-то вроде представителя Герцена.

Что касается литературного сотрудничества Герцена с бернской типографией, то оно выяснится для нас, когда мы будем говорить о продукции этой типографии. А пока остановимся еще на материальной стороне дела.

Ниже мы помещаем денежный отчет, который Бакст, в марте 1863 г., послал Огареву (стр. 64). Уже самый факт его посылки свидетельствует о том, что бернская типография в материальном отношении зависела от Лондона. Однако средства ее, естественно, не ограничивались тем, что она получала от Герцена. В числе жертвователей отчет указывает и «барона», т. е. Стюарта, и Лугинина, и гейдельбержцев, приславших деньги через Серно-Соловьевича, и какого-то «М. Ив.», и Якушкина (из сказанного выше об отношениях Е. И. Якушкина с Касаткиным ясно, что именно он упоминается в отчете).

Что же печатала бернская типография? Если мы будем искать в каталогах революционной литературы издания того времени, вышедшие в Берне, то все наши поиски останутся безрезультатными; таких изданий не существует. К счастью, мы имеем и другие пути для установления бернской продукции.

15 декабря 1862 г. Герцен запрашивал Бакста: «Принялись ли вы за Пиотровского и что напечатали. Вы больше пишете об общих вещах, а нам нужны детали» [48]. В письме Бакста к Огареву от 22 марта 1863 г. мы читаем: «Предисловия Пиотровского еще нет, и мне сильно достается за остановку в работе» (стр. 62).

Пересматривая русские заграничные издания 1863 г., мы находим книгу: «Записки Руфина Пиотровского. Россия и Сибирь. 1843—1846. Norrkoeping. Eric Biornström. 1863» [49]. На 4-й странице обложки этой книги мы находим сообщение: «Печатаются: Концы и начала — Искандера».

Далее, в письме от 15 ноября 1868 г. Касаткин писал Герцену: «Ваши «Концы и начала» следовало бы оттиснуть отдельной брошюрой, разрешите это Баксту. Книжечка скоро окупится и доставит многим новое наслаждение» (стр. 54). А в только что цитированном письме Бакста к Огареву мы находим следующие строки: «Статьи Александра Ивановича печатаются, начато с «Концов и начал». Нельзя ли прибавить предисловие А[лександра] Ив[ановича], которое давно обещано» (стр. 63).

Среди заграничной русской книжной продукции 1863 г. имеется книга: «Искандер. Концы и начала. С предисловием автора. Norrkoeping. Tryckthos Eric Biornström. 1863».

Надеемся, что после всего сказанного не может быть никаких сомнений в том, что обе обнаруженные нами книги были отпечатаны в бернской типографии. И ссылка на норвежское местечко Норкепинг, и никому неведомый (а вернее всего и несуществующий) Эрик Бьорнстром были лишь удачными приемами маскировки. Когда это было выяснено, Е. Н. Кушевой путем сравнения шрифтов удалось установить, что кроме указанных двух книг в бернской типографии в 1863 г. был отпечатан ряд прокламаций (что, между прочим, подтверждается упоминанием о «листах», отпечатанных в Берне, в письме Касаткина к Огареву от 12 марта 1863 г. (стр. 60—61), и две брошюры: «Послание» и «Свободные русские песни» (см. публикацию Е. П. Кушевой, стр. 92—102). На некоторых из этих изданий мы также находим следы маскировки: на одних в качестве места печатания указаны Петербург и Москва, другие же имеют ложные даты цензурного разрешения. Некоторые из прокламаций, несомненно, написаны Огаревым.

Все указанные издания вышли в свет в течение первой половины 1863 г. Во второй половине этого года деятельность типографии замирает. И это вполне понятно, если мы вспомним, что весна 1863 г. обманула ожидания русских революционеров на повсеместное восстание в России, что к лету предстоящее поражение польского восстания стало ясно для всякого объективного наблюдателя, что деятельность «Земли и Воли» к этому времени почти совершенно замерла (вспомним, что еще 1 мая 1863 г. Герцен писал Огареву: «Миф «Земли и Воли» должно продолжать потому уже, что они сами поверят в себя. Но что теперь «Земли и Воли» нет еще, это ясно») [50] и что, наконец, под влиянием реакции, восторжествовавшей в русском обществе, спрос внутри России на заграничную русскую литературу катастрофически упал. К сожалению, определить точно время ликвидации русской типографии в Берне мы не имеем возможности. Надо думать, что летом 1863 г. она перестала существовать.

В заключение отметим, что между Касаткиным и другими эмигрантами, причастными к бернской типографии, происходили какие-то недоразумения и столкновения, которые не могли не отражаться и на отношениях эмигрантов к Герцену. Посетив в конце ноября 1863 г. Женеву, Герцен имел случай убедиться, что «Касаткин — мелочный человек» и что эмигранты «страшно озлоблены против него». «Не знаю, — писал Герцен Огареву, — помирил ли я, но, кажется, свел на приличную ногу. Касаткин виделся у меня с Бакстом, при прощании в зале железной дороги я именем Николая, Лондонского миротворца [т. е. Огарева], просил их забыть вздор — обещали постараться» [51]. Однако, как мы убедимся ниже, из этих стараний ничего не вышло.

III. ЖЕНЕВСКИЙ СЪЕЗД ЭМИГРАНТОВ

В 1863 г. в рядах русской эмиграции появился ряд новых людей. Наиболее видным из них по своей роли в революционном движении был Н. И. Утин. Несмотря на свою молодость, он имел уже за собою весьма значительный опыт революционной работы. В 1861 г. Утин был одним из руководителей студенческого движения в Петербурге, за что поплатился арестом. Позднее он вошел в тайное общество «Земля и Воля» и был членом ее центрального комитета. Предупрежденный о грозящем ему аресте, Утин в мае 1863 г. поспешил скрыться за границу. В августе он приехал в Лондон и поселился там. Герцен принял его весьма радушно и оповестил в «Колоколе» об его удачном побеге [52]. Живя в Лондоне, Утин сблизился с редакцией «Колокола». В одном из позднейших писем своих к Огареву он вспоминал: «Я помню ваше общее дорогое для меня предложение участвовать



ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Литография Вишебуа и Вайс по рисунку Шапюи

Литературный музей, Москва

в редакции «Колокола» вместе с моим другом Зрачковым... Но редактировать отказался, как вы помните» [53]. В достоверности сообщаемого Утиным факта, конечно, не может быть никаких сомнений. Очевидно, что в конце 1863 г. Герцен и Огарев, обеспокоенные быстро снижавшимся спросом на издания, решили привлечь в редакцию «Колокола» двух представителей «Земли и Воли», находившихся в то время за границей — Утина и М. С. Гулевича (Зрачкова), в том же 1863 г., что и Утин, покинувшего Россию. Повидимому, они рассчитывали, вступив в более тесные сношения с представителями «Земли и Воли», поднять популярность «Колокола» среди революционеров, действующих в России. Мало этого, существовал даже проект поставить на «Колоколе» девиз «Земля и Воля». Однако Утин (в письме к Огареву от 23 декабря 1863 г.) категорически возражал против такой «ужасной вещи», указывая, что его петербургские «друзья пишут о необходимости переменить открытый образ действий на тайный» и что петербургское правительство может воспользоваться этим девизом для того, чтобы попавшихся в его руки членов «Земли и Воли» «казнить за «Колокол», как за домашние прокламации». «Колокол» с девизом «Земля и Воля», — пояснял свою мысль Утин, — непременно примется за орган тайного общества «Земля и Воля», а об этом обществе друзья умоляют умалчивать». В этом инциденте поистине не знаешь, чему больше изумляться: наивности ли Герцена и Огарева, вознамерившихся опереться на «Землю и Волю», которая, как им было известно, фактически уже не существовала, или

же своеобразной аргументации Утина. Во всяком случае, этот факт лишний раз свидетельствует о растерянности, охватившей русскую эмиграцию в конце 1863 г. под впечатлением роста реакции в России.

Почему Утин отказался войти в редакцию «Колокола» если не в качестве представителя «Земли и Воли», то хотя бы как частное лицо, остается не вполне ясным, но несомненно, что предположенная комбинация не осуществилась именно из-за его нежелания. Это подтверждается свидетельством самого Герцена, приводимым некиим «иркутским купеческим сыном» Николаем Пестеревым. Допрошенный в 1867 г. в следственной комиссии Пестерев, между прочим, рассказал, что в 1864 г. он ездил за границу, где познакомился с эмигрантами, в том числе и с Герценом. При встрече Герцен спросил Пестерева, что говорят о «Колоколе» в России. «Я отвечал, — рассказывал Пестерев, — что последнее время Россия «Колокола» не видит почти, а на смену вас у нас есть свой публицист: это — Чернышевский. «Колокол» ваш уж для нас плох, а главное — мода на вас прошла». — «Да, это я вижу, — ответил Герцен, — ни посетителей у меня последнее время нету и издание совсем не идет. Хоть бросай. Сведений из России тоже не получаю. Даже журналы и газеты запаздывают, да и работаем только вдвоем с Огаревым. Он же больной. Что тут сделаешь? Сын у меня совсем ученый, политики просто не понимает. Предлагал было Утину, тот отказался. Как же тут винить меня. Пусть приедет Чернышевский. Я с руками передам ему мой станок. А что, ведь, от вас [т. е. из Сибири] уйти можно? Бакунин ушел же. Но не всем бакунинское счастье: того ведь сами в порт сдали, да на своей лодке на американский пароход и перевезли» [54].

Известную роль в отказе Утина войти в редакцию «Колокола» могло играть то, что статьи, которые он писал, не получали доступа на страницы «Колокола». В письме от 11 ноября 1863 г. Герцен писал Огареву: «Статья Утина только в конце может быть помещена, т. е. где он говорит о «Земле и Воле»; но лучше подождать» [55]. В результате эта статья напечатана не была. В конце того же года Утин написал для «Колокола» статью «На новый год (Семья гонимых)», в которой, по его словам, разбирал новый университетский устав. Эта статья также в печати не появилась. Это дает основание отнестись с доверием к сообщению Утина, переданному тем же Н. Пестеревым, что причиной его отказа было его несогласие с Герценом «по программе изданий».

Вскоре Утин покинул Лондон и переехал в Швейцарию, которая все больше притягивала к себе русских эмигрантов.

В 1863 г. бежали за границу два видных участника московского студенческого движения 1861 г.: один — И. И. Кельсиев — из тюрьмы, другой — Гижицкий — из ссылки. О Кельсиеве мы уже упоминали и говорили, что он отправился в Тульчу на помощь брату; однако ему недолго удалось поработать в эмиграции: в июне 1864 г. он умер от тифа. Где провел свои эмигрантские годы Гижицкий, в точности неизвестно. В документах, касающихся деятельности русской эмиграции 60-х годов, его имя не упоминается. Однако его упомянутая выше статья в «Московских Ведомостях» показывает, что он был в курсе эмигрантских дел и склок.

Наконец, отметим появление за границей в начале 1864 г. известного впоследствии русско-грузинского публициста Н. Я. Николадзе. Хотя формально он и не был эмигрантом, так как уехал за границу с разрешения правительства, а в 1868 г. свободно возвратился в Россию, в делах эмиграции он играл большую, хотя, как мы увидим ниже, не всегда красивую роль. Революционное прошлое Николадзе исчерпывалось тем, что в 1861 г. он, будучи студентом первого курса Петербургского университета, принимал некоторое участие в студенческом движении, за что и поплатился полуторамесячным заключением в Кронштадтской крепости. Лично знакомый с семьей Чернышевского, Николадзе любил много рассказывать о своей близости к великому революционеру. Это, конечно, весьма импонировало его слушателям [56].

К концу 1863 г. для всех было ясно, что революционный подъем, пережитый Россией в предыдущие годы, находится на исходе. Польское восстание было жестоко подавлено. Надежды на близость крестьянской революции рассеялись. Русские революционные организации частью подверглись разгрому, частью же, как например, «Земля и Воля», сами ликвидировались, не видя возможности продолжать свою работу. Как никогда, процветало ренегатство: те, кто были вчера еще ярыми оппозиционерами, сегодня круто поворачивали вправо, а часто становились открытыми прислужниками реакции.

В таких условиях перед эмиграцией стал вопрос, в каком направлении ей надлежит развивать свою дальнейшую деятельность. В «Колоколе» от 1 января 1865 г. (№ 193) Герцен дал вполне четкий ответ на этот вопрос: «Пропаганда, — писал он, — явным образом разбивается на-двое: с одной стороны, слово, совет, анализ, обличение, теория; с другой — образование кругов, устройство путей внутренних и внешних сношений. На первое мы посвящаем всю нашу деятельность, всю нашу преданность, второе не может делаться за границей» [57]. Таким образом, Герцен ограничивал задачу эмиграции исключительно литературной деятельностью или,

другими словами, печатной пропагандой революционных идей. Естественно, что представители «молодой эмиграции» не могли согласиться с такой постановкой вопроса.

Они не находили возможным обращаться с пропагандой только к случайным русским путешественникам по Западной Европе. Они хотели воздействовать на русское общество. А для этого было необходимо не только издавать революционную литературу, но и изыскивать пути для продвижения ее в Россию. Организацию «внешних сношений» они безусловно считали делом эмиграции. В сущности, с этим не мог не согласиться в глубине души своей и сам Герцен, который и как писатель, и как издатель был заинтересован в том, чтобы его голос доходил до России, в том, чтобы его издания распространялись среди русского общества.

Однако «молодая эмиграция» шла дальше. Учитывая отсутствие в России, после ликвидации «Земли и Воли», центра, работающего над собиранием и объединением революционных сил, имеющихся в стране, представители «молодой эмиграции» считали, что такую задачу эмигрантам приходится взять на себя. Отражая эту точку зрения, Н. И. Утин 9 июля 1864 г. писал Огареву: «На сию минуту, когда в самой России нет центра, вы должны понять, какую важность получает здесь заграничный очевидный [т. е. открыто существующий] центр — это о п л о т с и л ы, о п л о т в е р ы в с и л у... Мы должны сгруппироваться в маленький центр, н и с к о л ь к о н е и м е ю щ и й п р и т я з а н и я р у к о в о д и т ь деятельностью в России, но всегда готовый служить живым узлом для связи не сходящихся между собою кружков и даже личностей»[58]. Если эмиграции удастся создать такой центр, то ясно, что «Колокол» и, вообще, издательство Герцена должны стать в зависимое от него положение, должны из личного дела Герцена с Огаревым превратиться в дело общеэмигрантское. Эмигранты, другими словами, полагали, что Герцен и Огарев должны «принять в общую работу» всех их. 9 июля 1864 г. Утин отправил Огареву программу преобразования «Колокола». К сожалению, эта программа до сих пор неизвестна, но несомненно, что она была составлена именно в только что указанном духе.

Анонимный автор некролога А. А. Серно-Соловьевича, напечатанного в 1869 г. в журнале Утина «Народное Дело» (вернее всего — сам Утин), вспоминал: «В конце 1864 г. он принял энергическое участие в стремлении «молодой эмиграции» создать в Женеве тесный круг, который своею готовностью и положением мог бы служить постоянною помощью нашим друзьям-пропагандистам в России. Это стремление рушилось тогда отчасти вследствие разлада «молодой эмиграции» с «старой», вследствие неумения или нежелания «старой» эмиграции соединить вокруг себя «молодую»; отчасти вследствие бывшей разнородности и недостатка наличных материальных и нравственных сил в самой «молодой эмиграции» для создания самостоятельного органа»[59].

В этой цитате вкратце изложена история женевского съезда русских эмигрантов, состоявшегося в конце декабря 1864 г. — в начале января 1865 г. Прежде чем рассказывать об этом событии, имевшем весьма большое значение в жизни русской эмиграции, необходимо остановиться на том, в каком направлении развивались в течение второй половины 1863 г. и в 1864 г. взаимоотношения Герцена и «молодой эмиграции».

Было время, когда Лондон неудержимо притягивал к себе всех русских, приезжавших за границу. Было время, когда Герцен не знал отбоя от посетителей, жаждавших познакомиться с человеком, имя которого гремело тогда по всей России. Теперь это время прошло. Никому и в голову не приходило заезжать в Лондон только для того, чтобы посмотреть на Герцена. Даже те русские, которых судьба заносила в Англию, не только не стремились посетить Герцена, но, наоборот, всячески избегали его, чтобы не компрометировать себя в глазах русской тайной полиции. Теперь посетители, рисковавшие нарушить покой Герцена, были очень редким явлением. Даже эмигрантов Лондон не привлекал. Они сосредоточивались главным образом в Швейцарии и отчасти, в меньшей степени, в Париже и в Италии.

При таких условиях, а также при все возрастающей дороговизне в Лондоне, на которую неоднократно жаловался Герцен, указывая, что она чрезвычайно затрудняет содержание «Вольной русской типографии», почти переставшей приносить какие-либо доходы[60], у Герцена возникла мысль перенести свою типографию из Англии на континент.

Поездка, предпринятая Герценом осенью 1863 г. по Италии и Швейцарии, способствовала тому, что эта мысль укрепилась в нем.

Во Флоренции Герцен нашел целую русскую колонию, которая устроила в честь его парадный обед. На обеде он встретился с Л. Мечниковым и Стюартом и вел с ними переговоры относительно организации доставки лондонских изданий в Россию[61].

Оттуда Герцен проехал в Женеву. Там он встретился со многими русскими. Некоторые из них специально приехали в Женеву из других городов Швейцарии, чтобы повидаться с ним. В Женеве около него собрался ряд эмигрантов: Бакст, Касаткин, Черкесов, А. А. Слепцов и др. На совещаниях, происходивших между

ними и Герценом, они поставили вопрос о необходимости переезда в Швейцарию Л. Чернецкого, в целях возобновления работы свернутой к тому времени бернской типографии. Тогда Герцен поделился с ними своею мыслью о перевозе типографии на континент. Эта мысль, по выражению Герцена, «сделала фурор» среди присутствующих. Было решено, что в мае 1864 г. лондонская типография переносится в итальянский городок Лугано [62].

Герцен уехал из Женевы весьма довольный. «Всех русских... я нашел лучше, чем ждал», — писал он Огареву [63].

Однако по возвращении в Лондон Герцен начал сомневаться в целесообразности принятого в Женеве решения. Огарев, возражавший против переноса типографии на континент, раздувал в нем скептическое отношение к этому делу. Колебания продолжались более года. Как известно, Герцен расстался навсегда с Лондоном не в мае 1864 г., как было договорено в Женеве, а лишь 15 марта 1865 г.

Какие же соображения заставляли Герцена задумываться вновь и вновь над принятым решением? Во-первых, Герцен боялся торжества реакции в Западной Европе и опасностей, связанных с этим для его типографии. Зависимость от решений и капризов Наполеона III, в состоянии которой оказалась объединенная Италия, с одной стороны, и возрастающее всемогущество Бисмарка, с другой, учитывались Герценом и заставили его признать, что Италия, которая легко может стать ареной военных действий, — место, мало подходящее для устройства русской типографии [64].

Во-вторых, Герцен, несомненно, опасался и того, что переезд его на континент приведет к усилению вмешательства русских эмигрантов в дела его типографии. Недоверие к представителям «молодой эмиграции» все более возрастало в Герцене. Это видно хотя бы по отношению его к Н. И. Утину Когда Огарев однажды указал ему, что в Утине надо беречь представителя «Земли и Воли», Герцен раздраженно ответил: «Не поберечь ли «Землю и Волю» в себе прежде, чем в других?» — намекая, что им с Огаревым «Земля и Воля» обязана бо̀льшим, нежели Утину. И добавил, что не понимает «удовлетворимости» Огарева относительно Утина. В другой раз он писал Огареву про Утина: «Мне не нравится тон институтской câlinerie [лести] его и твоих писем, а ты мне не позволяешь находить, что ты дешево отдаешься... Есть вещь, снимающая разом даль людей, это (если хочешь понять — поймешь) — помазание, его в Утине я не вижу» [65]. Это пока еще не мешало, однако, тому, что внешние отношения Герцена к Утину сохраняли вполне дружественный характер. Даже одну статью Утина Герцен решился напечатать в 1864 г. в «Колоколе»; впрочем, отказать в этом было трудно, так как свою статью Утин посвятил Чернышевскому, отзываясь ею на его осуждение к каторжным работам.

В марте 1864 г. А. А. Черкесов выдвинул проект создания, на ряду с «Колоколом», еще одного русского журнала, желая придать ему общеэмигрантский характер; Черкесов предложил Герцену принять на себя редактирование этого журнала, но Герцен отказался наотрез. Поясняя мотивы отказа, Герцен писал Мальвиде Мейзенбуг: «Как объяснить то обстоятельство, что эти самые молодые люди, живущие дома и за границей, не обладают ни силою, ни талантом, ни любовью, ни настойчивостью, необходимыми для руководства периодическим изданием? Мы дадим статью, мы дадим типографию и Чернецкого, — пусть только начнут. Бесплодие русской литературы поразительно, это — бесплодие пустыни. Скажите Черкесову, что мы согласны сотрудничать, но редактирования (морального и физического) на себя не возьмем» [66].

Из этого письма видно, насколько Герцен уже в это время не доверял русской эмиграции и как низко расценивал он ее силы и способности.

Замедление перевозки лондонской типографии на материк не могло не беспокоить «молодую эмиграцию». В июне 1864 г. Утин сделал попытку убедить в необходимости этого шага Огарева, который, как упомянуто выше, долго противился переезду. Утин писал Огареву: «Я с вами совершенно несогласен в том, что вы пишете о бесполезности для дела своего переезда. Тысячу раз неправда!!! Ваш переезд сюда принесет весьма солидную пользу и нашему делу, и вам лично, т. е. вашему имени, как пропагаторов; а возвращение вашему имени престижа или, простите, того полного уважения, которое было еще недавно, т. е. два года тому назад — это дело нашей общей пользы».

Конечно, и это письмо Утина не могло рассеять сомнений Герцена, а скорее укрепляло их. Указание на утрату «престижа» и «полного уважения» не могло быть приятно ни ему, ни Огареву, и только заставило их еще больше колебаться относительно пользы переезда. Повидимому, они предложили представителям «молодой эмиграции» устроить свою собственную типографию, обещая ей поддержку при том условии, если в ее делах примет участие Касаткин. Такой проект не мог прийтись по душе женевским эмигрантам. Их взаимоотношения с Касаткиным были более чем холодные. Этот раздражительный, придирчивый и мелочный человек успел восстановить против себя всех товарищей по эмиграции. В письме к Огареву (4 августа 1864 г.) Утин указывал, что Касаткин «имеет слишком много скверного самолюбьица и очень много способности причинять сплетни и ссоры». При этом Утин ссылался на Стюарта, признавшего невозможным устройство вместе с Касаткиным типографии. Далее, Утин сообщал, что Стюарт готов предоставить Герцену и Огареву, буде они

пожелают открыть типографию в Женеве, шрифты, очевидно, сохранившиеся у него от бернской типографии, а также кредит, которым он пользуется во Франкфурте.

На следующий день по отправке этого письма Огареву Утин решил писать на ту же тему Герцену. В своем письме он вновь возражал против привлечения Касаткина, настаивая, чтобы заведывание типографией было возложено на Чернецкого, и вновь приводил предложение Стюарта.

Переговоры принимали такой характер, что обе стороны почувствовали необходимость личной встречи для окончательного выяснения своих взаимоотношений. Герцену нужно было вплотную приглядеться к эмигрантской среде в Женеве, чтобы учесть все плюсы и минусы перевозки типографии в этот город. Эмигранты рассчитывали при личном свидании добиться от Герцена того, чего не удавалось достичь



А. А. СЛЕПЦОВ

Фотография

Литературный музей, Москва

путем письменных сношений. Так возникла мысль об устройстве в Женеве эмигрантского съезда. Перед приездом Герцена в Женеву Утин отправил ему обширное письмо, в котором пытался заранее подготовить почву для соглашения. В этом письме он выдвигал четыре задачи, стоящие перед эмиграцией: 1) пропаганда, 2) установление регулярных сношений с Россией, 3) налаживание связей с людьми, могущими принести пользу революционному делу, и 4) конституирование и увеличение «Общего фонда». При этом Утин добавил, что первоочередными он считает первую и четвертую из этих задач.

Коснувшись вопроса о превращении «Колокола» в общеэмиграционный орган, Утин писал: «Вы этим самым указали бы на солидарность партии или, вернее, группы революционной... За каждым словом такого «Колокола» чувствовалась бы и друзьями и врагами сила, не личная, не индивидуальная, а обобщенная, совокупная, сплоченная теперь из десятка или двух людей, а скоро, при положитель-

ном вызове деятельного сочувствия в самой России, — сила, сплоченная из всего, что есть живого и революционного в России, — а с такой силой пришлось бы считаться»[67]. При несогласии Герцена с этим планом женевским эмигрантам, по словам Утина, не останется ничего другого, как основать свой журнал. «Разве не поразительно печально, — писал Утин, — было бы явление двух органов в такой небольшой среде, разве тупоумные враги не торжественно глумились бы над каким-то разрывом между нами, а ведь это был бы, в таком случае, разрыв между учителем и учениками, но учитель не для того мог отдавать свою жизнь на поучение, а ученики не того имели право ожидать».

Переходя к вопросу денежному, Утин писал: «Ваш карман слишком уже достаточно служил общему делу, мы хотели бы все принять равную долю участия и на себя; некоторые из нас имеют большие средства, другие — хоть малые; мы хотим, во-первых, сделать для начала одновременный вклад в «Общий фонд» и затем определить ежемесячный взнос. Этих средств, однако, вряд ли было бы достаточно для прочного обстройства всего». В виду этого Утин предлагал использовать хранившийся у Герцена так называемый «бахметевский фонд». История этого фонда общеизвестна, и мы не считаем нужным говорить о ней. Отметим только, что представители «молодой эмиграции» рассматривали его как достояние «революционного дела» и потому настаивали на употреблении его на нужды эмиграции. Герцен же не находил возможным касаться этого фонда.

Мы остановились на письме Утина потому, что при скудости известий, дошедших до нас о женевском съезде, это письмо приобретает исключительную ценность. Оно позволяет установить, какие именно вопросы дебатировались в Женеве и в каком направлении шло обсуждение их.

Герцен приехал в Женеву 28 декабря. Здесь он нашел уже многих эмигрантов, хотя некоторые из них подъехали позже Герцена. Кто же принимал участие в Женевском съезде?

Утин в цитированном выше письме, указывал, что в Женеву кроме него самого уже собрались следующие эмигранты: Мечников, приехавший из Италии, Якоби, бросивший «свои спешные занятия в Цюрихе для того, чтобы приехать сюда на общий съезд», Серно-Соловьевич, Жуковский, Гулевич, тот, «который привозил к вам летом мужичка» (кого имеет в виду Утин, определить не удалось) и «все остальные» (т. е., очевидно, эмигранты, постоянно проживавшие в то время в Женеве).

Из писем Герцена видно, что в переговорах участвовали также сын Герцена, Касаткин, Усов, Лугинин, Ковалевский, Шелгунова. Возможно, что кроме этих лиц присутствовали Черкесов, близкий друг и неразлучный спутник Серно-Соловьевича, и Бакст со Стюартом, заинтересованные в использовании хранящегося у них шрифта бернской типографии. Наверное, их-то и подразумевал Утин под «всеми остальными». Участвовал ли в съезде Николадзе, остается невыясненным, но вряд ли: в 1864 г. и начале 1865 г. он жил в Париже и не был еще так тесно связан с женевскими эмигрантами, как позднее.

Итак, на съезде присутствовало человек пятнадцать.

Остановимся на тех участниках съезда, о которых нам еще не приходилось говорить, а также на Лугинине (это необходимо, чтобы выяснить его позицию на съезде).

Лугинин знаком уже нам по его деятельности в Гейдельберге. Это был сын богатейшего помещика Ветлужского уезда Костромской губернии (о размерах его имения можно судить по тому хотя бы, что после освобождения крестьян и отвода им земельных наделов у Лугинина-отца оставалось 200 000 десятин земли[68]). В. Ф. Лугинин родился в 1834 г. Он получил прекрасное воспитание, окончил Артиллерийскую академию, участвовал в Крымской войне, на Дунае и в Севастополе, где, между прочим, познакомился с Л. Н. Толстым; затем вернулся в Петербург и вышел в отставку. В Петербурге он сблизился с левыми общественными кругами и был знаком с Чернышевским, который с несомненной симпатией изобразил его в «Прологе» под фамилией Нивельзина. Мы упоминали уже, что Лугинин был причастен к изданию в 1861 г. прокламаций «Великорусс». В марте 1862 г. он уехал в Гейдельберг, чтобы заниматься химией. За границей он прожил до 1867 г. В эти годы он был очень близок к Герцену, который отзывался о нем как об единомышленнике. Полного единства во взглядах между ним и Герценом, однако, не было. Это обнаружилось еще в 1862 г., когда Лугинин, поддерживая И. С. Тургенева, возражал против проекта адреса царю, составленного Огаревым. Лугинин жил за границей не только из-за своих научных занятий, но и из ненависти к диким полицейским порядкам, царившим на его родине. Сообщая своему приятелю проф. Г. М. Цехановецкому о намерении вернуться в Россию весной 1864 г., Лугинин считал нужным оговориться: «Это, впрочем, если дело поправится и дикий московский фанатизм немного уляжется, а то теперь там делать нечего, только праздным протестом испортишь дело в будущем и потеряешь возможность быть полезным»[69]. На ряду с ненавистью к самодержавию, другой характерной чертой Лугинина было высокомерно-пренебрежительное отношение к русскому народу. Об этом можно су-

дить по дневнику А. П. Сусловой, которая встречалась с Лугининым в 1864 г. в Париже. Суслова рассказывает, что однажды у нее был спор с Лугининым и Усовым о русской национальности: «оказалось, что они ее не уважают». При этом Лугинин заявил, что «с большим бы удовольствием послужил бы во Франции или Англии, но остается в России, потому что знает русские обычаи и русский язык, но с русскими ничего общего не имеет, ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов». О космополитизме Лугинин говорил, что это «очень хорошая вещь; не все ли равно, что желать добра русскому, что французу» [70]. Итак, ни социалистом, ни сторонником крестьянской революции Лугинин не был. Его можно причислить скорее к конституционалистам и либералам, более последовательным и менее оппортунистичным, чем большинство русских либералов.

И в дневнике Сусловой, и в письмах Бакунина и Салиас [71], и очень часто в письмах Герцена рядом с фамилией Лугинина стоит фамилия Усова (иногда только У.). Это и есть тот Усов, который присутствовал на женевском съезде. Ни М. К. Лемке, ни другие исследователи, комментировавшие документы, в которых упоминается об Усове, не давали пояснений относительно того, кем был этот Усов. Только А. С. Долинин в примечаниях к дневнику Сусловой, основываясь на упоминании Герценом об уроках по математике, которые брал у Усова Огарев [72], высказал предположение, что этим Усовым был инженер путей сообщения Петр Иванович Усов (1832—1897), автор «Курса строительного искусства» (1860) [73]. Однако это предположение совершенно ошибочно. Интересующим нас Усовым был Степан Александрович Усов (1825—1890). Остановимся вкратце на биографии этого дружески относившегося к Герцену и Огареву человека, чтобы доказать, что именно он упоминается в письмах Герцена и в дневнике Сусловой.

С. А. Усов получил образование в Московском университете; по окончании его поступил в Михайловское артиллерийское училище, из которого вышел в 1848 г., и участвовал в походе в Венгрию. Затем он был преподавателем в кадетском корпусе в Москве, а в 1853 г. по собственному желанию пошел на войну. Командуя Казачьей ракетной батареей, он участвовал в осаде и штурме Карса. После войны он неоднократно ездил в служебные командировки за границу и некоторое время исполнял должность русского военного агента в Англии. В 1862 г. он был назначен членом артиллерийского комитета и редактором «Артиллерийского Журнала». Однако в следующем году Усов оставил военную службу (весьма вероятно, что он не хотел принимать участия в подавлении польского восстания) и уехал за границу. Вернулся Усов на государственную службу в 1867 г., получив должность профессора Артиллерийской академии. В Петербурге он сблизился с редакцией газеты «Неделя», бывшей в те годы органом радикального направления. Он присутствовал на собраниях редакции и оказывал ей материальную помощь. Редактор «Недели» П. А. Гайдебуров отзывался об Усове как о «серьезном, почтенном и широко образованном человеке» [74]. Помимо Артиллерийской академии Усов преподавал физику в Военно-медицинской академии, в Инженерной академии и на Высших женских курсах. В 1880 г. он был произведен в генерал-майоры, а с 1884 г. и до смерти состоял помощником начальника Главного управления почты и телеграфов.

Известный физик О. Д. Хвольсон отзывался об Усове как о «блестящем преподавателе» и как о человеке, соединявшем «в одном лице храброго воина, глубокого ученого, в смысле знатока наук теоретических, и человека практики, прекрасно понимавшего технические применения науки». О годах своего пребывания за границей Усов, по словам Хвольсона, всегда вспоминал с любовью. «В Париже он слушал лекции у таких светил, как Ламэ, и принимал участие в целом ряде классических работ Реньо над теплоемкостью газов, над скоростью звука и т. д.» [75].

Однако Усов интересовался не только физикой, но и политикой. С Герценом он познакомился еще в 1859 г., в бытность свою в Англии. Перечисляя в письме к Огареву от 21 ноября этого года своих посетителей, Герцен упоминает Усова, добавляя «с пушки и Карса» [76]. Смысл этого добавления совершенно ясен для нас, после того как мы ознакомились с биографией С. А. Усова. О политических взглядах Усова мы можем судить по дневнику Сусловой и по письмам Герцена. Из приведенной выше выдержки из дневника Сусловой нам уже известно, что Усов разделял взгляды своего друга Лугинина. В другом месте своего дневника Суслова рассказывает о споре, который однажды произошел у нее между Усовым и Е. И. Утиным, братом эмигранта, известным впоследствии адвокатом-дельцом и либеральным публицистом. В то время, к которому относится рассказ Сусловой (1864 г.), Утин любил рисоваться радикализмом своих взглядов и своими симпатиями к революции. В разговоре с Усовым он отозвался об англичанах, как об узколобой нации. Усов на это возразил, что «в Англии до того распространена свобода, что едва ли где может быть». Тогда Утин сослался на тяжелое положение английских рабочих. Усов отвечал, что рабочие в Англии «живут лучше наших чиновников», что, по его мнению, в Англии «каждый работник может быть собственником» и что, наконец, правительство не должно вмешиваться в отношения между предпринимателями и рабочими. При этом Усов говорил: «Я не поклонник революции, мне кажется, давно было пора бросить эту мысль, что революцией только и можно добиться путей;

конечно, в стране, как Россия, где шестьдесят миллионов жителей невежд, и если между ними один образованный, и ему затыкают горло, — всякое средство хорошо, но там, где есть хоть какие-нибудь задатки, — непростительно... Нам нужна революция. (Я не радуюсь революции, но смотрю на нее, как на печальную необходимость)» [77].

Что касается Герцена, то в одном из писем к Огареву он называл Усова «чистейшим конституционалистом» и сообщал, что Усов «сильно ругает» «Колокол» [несомненно, за проповедь социалистических идей. — *Б. К.*]. В другом письме к тому же Огареву, Герцен писал: «Усов уважает нас лично и tant soi peu [хотя немного] любит, но он ни в чем не согласен с нами, кроме в скептической закраине. Народ, страну он не ненавидит» [78].

Из этого видно, что Усов был не только другом, но и полным единомышленником Лугинина.

В. О. Ковалевский, впоследствии известный геолог и палеонтолог, как и Усов, не был эмигрантом. Из России он приехал незадолго до женевского съезда и был приглашен на него, повидимому, в качестве представителя петербургских революционных кружков, с которыми Ковалевский был связан.

Не принадлежала к числу эмигрантов и Л. П. Шелгунова, жена известного публициста Н. В. Шелгунова. Она жила в Швейцарии не по политическим причинам, а по увлечению А. А. Серно-Соловьевичем. За границей она занималась тем, что содержала пансион сперва в Цюрихе, позднее в Женеве [79]. Не по политическим убеждениям своим, а из привязанности к Серно-Соловьевичу она во всем поддерживала его мнения.

Из всех участников женевского съезда Герцен мог найти себе поддержку только в Касаткине, прозванном эмигрантами «герценовской цепной собакой» [80], Лугинине и Усове. Утин, Серно-Соловьевич, Якоби, Гулевич, Шелгунова, Черкесов, Бакст и Стюарт, несомненно, выступали против него. Не ясна позиция Мечникова, и до и после съезда бывшего постоянным сотрудником «Колокола», Жуковского, об отношениях которого к Герцену нам ничего не известно, и Ковалевского, который относился к Герцену с большим уважением и в 1866 г. переиздал в России его роман «Кто виноват». Во всяком случае, с их стороны Герцен не мог встретить такой резкой оппозиции, как со стороны других участников совещаний.

Вспоминая впоследствии о женевском съезде, Л. И. Мечников рассказывал: «Молодая эмиграция» требовала, чтобы редакция газеты зависела от целой корпорации эмигрантов, которой должен был быть передан и фонд Бахметева и еще сумма, обеспечивающая «Колокол». Герцен, основываясь, главным образом, на том, что «Колокол» есть литературное дело, а из молодых эмигрантов мало кто доказал свои способности к литературе, не соглашался выпустить редакцию «Колокола» из своих рук, хотя обещал печатать подходящие писания эмигрантов, даже платить за них гонорар и допустить постоянных сотрудников газеты в совет редакции, но не соглашался передать газету и фонды в руки корпорации, не представляющей никаких гарантий своей умелости и прочности» [81].

Письма Герцена позволяют внести ряд существенных добавлений в это краткое сообщение Мечникова.

30 декабря Герцен писал Н. А. Огаревой: «Юные птенцы клюют старого пеликана, и хотят все делать так, чтобы делали все мы — это не из дурной цели». На следующий день он вновь пишет Огаревой: «Переговоры об журнале, обо всем идут медленно, и я не знаю, уеду ли я прежде 8-го».

2 января Герцен сообщал Огареву: «Шлюсь на Лугинина и Усова, что я больше уступал возможного и справедливого, но они все что-то хлопочут и интригуют. В последние два дня я увидел, что, несмотря на palazzo, прииcканное Касаткиным [для Герцена и его типографии], Женева невозможна, по крайней мере, почти невозможна от этих праздных интриганов. Может, они и добрые люди, но самолюбие все потемнило».

Письмо от 4 января тому же Огареву показывает, что после длительных переговоров и споров стала намечаться возможность притти к соглашению. Герцен считал даже переговоры законченными.

«Здесь я покончил мирно, — сообщал Герцен. — Молодые люди отказались (откровенно ли или нет) от своих требований и обещали горы работ и корреспонденций к 1 мая. Помощи по типографии и пр. от них ждать нечего, скорее Касаткин сделает что-нибудь. Мне с ними ужасно скучно, — все так узко, ячно, лично и ни одного интереса ни научного, ни, в самом деле, политического; никто ничему не учится, ничего не читает. Утин хуже других по безграничному самолюбию... Не говоря о Касаткине, Лугинин, Усов смотрят хуже меня. Ковалевский гораздо лучше других. После всех переговоров, «заседаний» и пр., родилась следующая программа, которую я тебе посылаю. Такую программу и подобную можно составить mille e tre [тысячу и три] в день. Я на нее совершенно согласился. Что «Колокол» издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр. Но что мы будем делать с милой оравой этой, я не знаю».

К сожалению, программа, о которой упоминает Герцен, до сих пор неизвестна. Впрочем, практического значения она не приобрела. 7 января Герцен писал Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха), — да чорт же с ними, наконец». На следующий день он сообщил Огареву подробности относительно срыва налаженного соглашения: «После ежедневных прений и разговоров, в которых под скрытой симпатией и уважением крылась мелкая оппозиция и желание захватить в свои руки «Колокол» и деньги Бахметева, после программы, которую я послал тебе, — за час до моего отъезда является один из них с заявлением, что цюрихские господа несогласны (Серно-Соловьевич — главный противник наш, Якоби и Шелгунова), что они стоят на своем. «Колокол» издавать по большинству голосов или издавать журнал на Бахметевские деньги. Итак, что предвидел Лугинин, что говорил Касаткин, — все оправдалось. Пора же, наконец, и тебе окончательно вразумиться на их счет. У них нет ни связей, ни таланта, ни образования; один Мечников умеет писать; им хочется играть роль, и они хотят употребить нас пьедесталом. Я доказал им до чего



ЖЕНЕВА

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

идет моя уступчивость. Лугинин и Касаткин дивились мне. Ну, и баста. Ты знаешь, у меня никогда не лежало к ним сердце, — у меня есть свое чутье... Женева, при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы как горькая редька. Au reste, я твоим личным вкусам не хочу препятствовать, но работать с ними нельзя» [82].

Итак, из женевских переговоров ничего не вышло. Герцен уехал из Женевы (6 января), возмущенный несправедливыми, по его мнению, притязаниями эмигрантов. «Молодая эмиграция» негодовала на Герцена за его нежелание пойти навстречу ее законным, как ей казалось, пожеланиям. Это еще не было полным разрывом между «отцами» и «детьми» русской эмиграции, но предвещало его близость. И когда этот разрыв произошел, один из представителей «молодой эмиграции» бросил Герцену в лицо резкий протест против его поведения в Женеве.

«А молодая эмиграция и ваши отношения к ней?.. — писал он. — Когда эти юноши со святыми ранами, о которых вы проливали слезы, сделались вдруг эмигрантами и, спасаясь в Швейцарии от каторги и виселицы, ободранные и голодные, обратились к вам, вождю, миллионеру и неисправимому социалисту, обратились не с просьбой о насущном хлебе, а с предложением общей работы, вы отвернулись и с гордым презрением отвечали: «Что это за эмиграция? Я не признаю эмиграции! Не надо эмиграции!» [83].

IV. РАЗРЫВ И ПОПЫТКИ СБЛИЖЕНИЯ

Во второй половине 60-х годов ряды русской эмиграции увеличились новыми беженцами из России.

В конце 1865 г. в Швейцарии появился М. К. Элпидин, которому предстояло играть заметную роль в делах русской эмиграции. Это был видный участник студенческого движения и революционных кружков Казани. В 1863 г. он был арестован за распространение прокламации «Долго давили вас, братцы». В июле 1865 г. ему удалось бежать из казанской тюрьмы и благополучно переправиться через русскую границу [84].

В 1866 г. из Казани же бежали два товарища Элпидина по революционному кружку — С. Я. Жеманов и А. Я. Щербаков. Оба они были арестованы по делу о казанском заговоре 1863 г. и оба были приговорены к каторжным работам, от которых им удалось спастись бегством.

В том же 1866 г. бежал за границу бывший офицер В. А. Озеров, организовавший в России бегство известного польского революционера, в будущем главнокомандующего войсками Парижской Коммуны, Ярослава Домбровского и его жены. Биография Озерова весьма мало известна, однако несомненно, что это был незаурядный человек. Рекомендуя его Герцену, Домбровский писал: «Ротмистр Озеров принадлежит к числу тех светлых личностей, которые мечтали в России о свободе и с самоотвержением боролись против катковщины... Вы найдете в Озерове честного и мыслящего человека, горячего патриота, предприимчивого конспиратора и смелого агента. Таких, как он, людей немного, и мне остается только поздравить вас с находкой и пожалеть от души, что Озеров не поляк» [85].

Озеров поселился в Париже и до переезда своего в 1870 г. в Швейцарию участия в делах русской эмиграции почти не принимал.

В том же 1866 г. появился в Швейцарии молодой поэт Н. А. Вормс. Эмигрантом он не был и явился за границу для лечения. Однако он сошелся с эмиграцией и имел резкое столкновение с Герценом, о котором будет упомянуто ниже.

В конце 1868 г. или в начале 1869 г. в Швейцарии появились Антон Трусов, супруги Бартеневы и О. С. Левашева, сестра жены Н. И. Жуковского. Все эти лица примкнули к кружку Н. И. Утина и вместе с ним явились в 1870 г. организаторами Русской секции I Интернационала.

Наконец, необходимо упомянуть о переезде осенью 1867 г. в Швейцарию М. А. Бакунина. До этого он провел ряд лет в Италии и с 1863 г. близкого участия в делах русской эмиграции не принимал. В Швейцарии в качестве революционера, пользующегося мировой известностью, он невольно стал центром, вокруг которого группировалась значительная часть русской эмиграции. Появление Бакунина в Швейцарии явилось новым фактором во взаимоотношениях Герцена с «молодой эмиграцией», отнюдь не способствовавшим их оздоровлению.

Как мы говорили уже в предыдущей главе, на женевском съезде между Герценом и эмигрантами едва не состоялось соглашение, осуществиться которому помешал только протест цюрихчан — наиболее непримиримо настроенной по отношению к Герцену части «молодой эмиграции». Поэтому неудачный исход женевских переговоров не повлек за собою полного разрыва между Герценом и «молодой эмиграцией» в целом. С частью эмигрантов Герцен продолжал поддерживать и личные, и литературные связи. Можно сказать более: никогда ранее в «Колоколе» не появлялось столько статей эмигрантов, как в 1865—1866 гг. Л. И. Мечников продолжал, как и раньше, сотрудничать в герценовском журнале. На страницах его появляется ряд статей Н. Я. Николадзе. Вскоре после прибытия Элпидина в Женеву, Герцен напечатал его статью о казанском заговоре. В 1866 г. в «Колоколе» печатаются статьи Вормса [86]. Этим не исчерпывалось сотрудничество «молодых эмигрантов». Несомненно, были и другие статьи, написанные ими, но по недостатку данных мы не имеем возможности установить их авторов. Таким образом, Герцен в известной степени сдержал свое обещание, данное в Женеве, привлечь молодежь к более близкому участию в своем журнале. Но это, как мы увидим ниже, привело лишь к дальнейшему ухудшению его отношений с ними. Иначе обстояло дело с другим обещанием, которое Герцен, повидимому, также делал во время женевских совещаний — относительно превращения его типографии в акционерное предприятие. Немедленно после выезда из Женевы он сообщил Огареву: «Про типографию на акциях я писал, — это пойдет, н о с д р у г и м к р у г о м» [87]. Другими словами, «молодую эмиграцию» Герцен решил отстранить от участия в этом деле. Вместе с этим, несмотря на протест со стороны Огарева, он решил сделать Касаткина своим помощником по типографии: «Заведывать морально буду я, голландской сажей — Чернецкий, Касаткин — associé» [компаньоном]. Герцену хотелось сложить на Касаткина всю экономическую часть дела, как чисто техническую на Чернецкого [88].

Итак, были выпущены акции стоимостью в 200 франков [89]. Как видно из правил акционерного общества, учредителями его были, помимо Герцена и Огарева, Касаткин, Чернецкий, Долгоруков и В. Стрельцов, т. е., повидимому, В. Ф. Луги-

нин (правила эти хранятся в рукописном отделении Библиотеки им. Ленина). Как и следовало ожидать, акции расходились туго; об этом можно судить по следующей фразе Герцена в одном из писем к Огареву: «По очень дельному совету Тхоржевского, посылаю две акции типографии; передай их кн. Долгорукому на всякий случай: может и подвернется кто» [90]. Одна акция была приобретена Усовым.

От превращения в акционерное предприятие дела типографии не пошли лучше. Она не окупала расходов на ее содержание. Пришлось из русской типографии превратить ее в интернациональную; были приобретены польский, сербский, французский и английский шрифты. В «Колоколе» (от 1 января 1866 г., № 211) появилось объявление, сообщавшее, что «типография снабжена новыми шрифтами и может ручаться не только за точное и красивое выполнение, но и за сравнительную дешевизну заказов» [91]. Таким образом, знаменитая «Вольная русская типография» становилась коммерческим предприятием. Герцен передал ее в собственность Л. Чернецкого.

Дела типографии осложнялись еще и тем, что в 1866 г. она утратила свое монопольное положение. В этом году в Женеве же возникла другая русская типография, основанная М. К. Элпидиным.

В еще более жалком состоянии, чем типография, находился «Общий фонд», основанный при редакции «Колокола». Пожертвования и взносы поступали в него очень редко. Особенно после того, как «молодая эмиграция» основала в 1865 г. свою собственную кассу взаимопомощи.

Если верить Гижицкому, поводом для учреждения этой кассы послужило столкновение, происшедшее между Герценом и другим эмигрантом, которого Гижицкий обозначает буквой «Л». Последний просил у Герцена заимообразно 120 франков из «Общего фонда». Герцен отказал, соглашаясь выдать только половину. «Л» передал этот инцидент на суд эмигрантов. «Кровный враг» Герцена Якоби созвал всех эмигрантов, которые и решили создать кассу взаимопомощи особо от «Общего фонда» [92].

История этой кассы известна нам очень мало. Распорядителем кассы был избран Мечников, а кассиром — Николадзе. Поступления кассы состояли из ежемесячных взносов, которыми были обложены все ее члены, и из единовременных пожертвований. Герцен был членом этой кассы и вносил в нее по 50 р. в месяц. Ссуды выдавались срочные и бессрочные. О размерах средств, которыми располагала касса, можно судить по ее отчету с 1 сентября 1865 г. по 1 января 1866 г., напечатанному в № 213 «Колокола» от 1 февраля 1866 г. За это время поступило 613 франков 70 сантимов; израсходовано 434 франка. Были, хотя и незначительные (45 руб.), поступления из Петербурга.

Касса взаимопомощи просуществовала недолго. В ней обнаружилась недостача денег. Судя по брошюре А. А. Серно-Соловьевича «Миколка-публицист» (Женева, 1868 г.), виновником был кассир Николадзе. Неизвестно, как объяснял он случившееся, но в конце концов эмигранты простили ему растрату. Кончилась эта история тем, что Мечников все оставшиеся в кассе деньги передал в «Общий фонд» Герцена. Ко времени ликвидации кассы ее средства составляли 257 франков наличными и 212 франков обязательствами получивших ссуду [93]. Это произошло в сентябре 1866 г. «Общий фонд» не надолго пережил эмигрантскую кассу. В «Колоколе» от 15 мая 1867 г. было помещено объявление о ликвидации «Общего фонда». Причиной этого были какие-то обвинения, возникшие в связи с «Общим фондом» против Герцена среди эмигрантов. В письме к Г. Н. Вырубову Герцен писал, что он уничтожил фонд, «благодаря нахальству эмиграчей» [94]. Это было, конечно, большой неприятностью для нуждающихся эмигрантов. Хотя «Общий фонд» и располагал весьма ограниченными средствами, однако некоторую помощь нуждающимся он все же оказывал. Об этом можно судить по тому хотя бы, что ко времени ликвидации фонда задолженность ему эмигрантов достигала 1400 франков. Надо отметить, что и после ликвидации фонда Герцен продолжал оказывать некоторую материальную помощь эмигрантам из своих личных средств.

Столкновения между Герценом и «молодой эмиграцией» происходили и на почве сотрудничества эмигрантов в «Колоколе». Так, например, Элпидин сделался непримиримым врагом Герцена после того, как Герцен отказался принять его, когда он явился за получением гонорара, предложив ему притти для этой цели в приемный день [95].

Еще более неприятная история произошла между Герценом и Н. Вормсом, не предупредившим Герцена о своем желании получить за напечатанную в «Колоколе» статью гонорар (обычно статьи в «Колоколе» и других изданиях Герцена не оплачивались). Когда Герцен узнал о недовольстве Вормса, он предложил ему 200 франков и несколько экземпляров «Колокола» для сбыта [96].

Столкновения между Герценом и «молодой эмиграцией» происходили не только на личной почве, но и на идейной. Молодежь была недовольна направлением, в котором ведется «Колокол». Некоторые выступления Герцена и Огарева вызывали горячее негодование среди молодых эмигрантов.

Одним из таких выступлений была статья Герцена «Иркутск и Петербург», которой он отозвался на покушение Каракозова на Александра II. Герцен резко вы-

ступил против индивидуального террора. «Только у диких и дряхлых народов, — писал он, — история пробивается убийствами». Каракозова Герцен называл «сумасшедшим» и «фанатиком» [97].

По словам Герцена, после этой статьи он получил ряд анонимных ругательных писем. «Меня, — сообщал он сыну, — хотят опубликовать как изменника... и наказать... за то, что я Каракозова назвал сумасшедшим» [98]. Эмигрант Гулевич, по сведениям III Отделения, обвинял Герцена, говоря, что ему надо было «не выставлять Каракозова сумасшедшим, а писать в таком духе, чтобы кровь кипела и рука не дрогнула взвести курок еще раз» [99]. Обвинения против Герцена проникли и в печать. В Швейцарии появились две прокламации, изданные на французском языке, одна от имени Лондонского, другая Московского комитетов «Космопоэтического Общества Стражей Истинных Познаний». Это были документы бредового характера. В них Дмитрий Каракозов провозглашался «сыном божиим», «истинно-великим Человеком», совершившим «величайший из подвигов». Герцена авторы прокламаций приглашали отречься от своей статьи, предупреждая: «В противном случае он будет объявлен предателем Творца и человечества, как самый ярый защитник политики и монархизма» [100]. Повидимому, эти прокламации вышли из каких-то религиозно-настроенных кругов польской эмиграции, но есть основания предполагать, что некоторое отношение к ним имел и Элпидин. К чести Герцена следует отнести, что он решил игнорировать эти прокламации и ничего не отвечать на них: «на первую минуту это сердит, но потом смешно» [101]. Впрочем, он счел нужным объяснить, что слову «фанатик» он отнюдь не придавал «смысла бранного», а позднее, отзываясь на покушение поляка Березовского на того же Александра II, написать: «Ни вопль безумных крикунов, ни брань сильных мира сего не заставят нас ни превозносить этого рода попыток, влекущих за собою страшные бедствия, ни произнести слова осуждения мученикам, которые обрекают себя на смерть и которых совесть чиста, именно потому, что они фанатики» [102].

Не меньший шум и протесты со стороны польских и русских эмигрантов вызвала статья Огарева «Продажа имений в Западном крае», напечатанная в № 229 «Колокола» и посвященная принудительной продаже русским правительством земель польских помещиков, принимавших участие в восстании 1863 г. Эта мера, направленная на насильственную руссификацию края, не вызывала принципиальных возражений со стороны Огарева, наивно усмотревшего в ней отступления от «религии собственности» и выразившего надежду, что «немного погодя русским дворянам будет приказано продать свои земли не дворянам — и вот осуществится давно желаемая ликвидация сословий». При этом Огарев давал русскому правительству совет передавать польские помещичьи земли не русским дворянам и чиновникам, как оно делало, а крестьянам, или местным, или готовым вследствие малоземелья переселиться из внутренних губерний в Западный край.

Эта статья Огарева вызвала целую «катавасию», по выражению Герцена. «Поляки здешние, — писал он Н. А. Герцен, — ужасно огорчились статьей Огарева, ...назначили комиссию, хотят писать адрес, протест во французских журналах, говорят что мы не лучше Каткова и пр.» [103]. Протестовали не только поляки, но и русские эмигранты Серно-Соловьевич издал брошюру «Question polonaise. Protestation d'un Russe contre le Kolokol», перевод которой на русский язык читатель найдет в настоящем томе «Литературного Наследства». Отсутствие протеста со стороны Огарева против руссификаторской политики и его странная уверенность в том, что русское правительство займется «ликвидацией сословий», не могли не возмутить Серно-Соловьевича. Этим объясняется страстность, с которой он выступил против статьи Огарева. Герцену пришлось взять под защиту своего друга и попытаться завуалировать его более чем неудачное выступление. В статье «Нашим польским братьям» Герцен писал: «Абсолютное, неотчуждаемое право польской национальности было всегда для нас догмой» [104].

Были и другие пункты идейных разногласий, отделявших Герцена и Огарева от остальной эмиграции. Они выяснятся, когда мы будем говорить о резком выступлении Серно-Соловьевича против Герцена, а до этого нам необходимо остановиться на одной попытке наладить совместную работу Герцена с частью «молодой эмиграции». Вопрос вновь возник об издании общего журнала или «Revue», как выражались участники переговоров.

Толчок к началу этих переговоров, быть может, дал сам Герцен, напечатавший в конце 1866 г. в № 222 «Колокола» заметку, в которой он, указывая на тяжелые цензурные условия в России, приглашал русских литераторов и журналистов вспомнить о возможности печатать свои произведения за границей. «Всего лучше было бы, — писал он, — основать большое «Revue», рано или поздно необходимость доведет же до периодического издания за границей» [105].

Инициатива переговоров исходила от Мечникова и Жуковского. Они считали, что создание русского заграничного журнала должно быть делом эмигрантов. Литераторы, живущие в России, могут присылать материалы для этого журнала, но требовать от них, чтобы они сами организовали его — невозможно. Исходя из этого, они в январе 1867 г. вступили в переговоры с Огаревым, предлагая ему и Герцену



Н. И. УТИН
Фотография
Музей Революции, Москва

совместно с ними издать пробный сборник и посмотреть, какой прием будет оказан ему в России. Момент для выпуска пробного сборника они считали особенно удобным потому, что приближалось открытие всемирной выставки в Париже, в связи с чем за границу ожидался большой наплыв русских туристов. К Мечникову и Жуковскому присоединился Н. И. Утин, которому случайная встреча с Герценом в Базеле дала, как он сообщил Огареву, основание надеяться на возможность наладить совместную работу с издателями «Колокола».

Огарев с радостью ухватился за это предложение и поспешил сообщить о нем Герцену, находившемуся в это время во Флоренции. В издании предположенного сборника, который в случае успеха первого номера должен был превратиться в журнал, выходящий четыре раза в год, Огарев видел воссоздание «Полярной Звезды», не выходившей с 1861 г. Он предполагал, что этот сборник сохранит старое название, когда-то столь популярное в России. Огарев был уверен в успехе нового издания. Он считал, что выход его позволит превратить «Колокол» в «газету с политическими статьями и обличительной смесью», новый же журнал станет теоретическим органом «с научно-социальным направлением». «Заметь, — писал он Герцену, — что revue не в пику «Колоколу» пойдет, а напротив того поставит его, как газету, а сама сосредоточит учение, т. е. тут является газета и книга. Я при этой мысли чувствую прибавление силы» [106].

Ответ Герцена чрезвычайно огорчил Огарева. Герцен писал: «Итак... старая штука повторяется: revue будут издавать общими силами, но так, что деньги и статьи будут наши. Да, ведь, если б мы хотели издавать, зачем же было нам спрашивать или ждать Утина? Где доказательство яростного желания читать заграничные издания? И если оно есть, как же не найдут капиталисты in spe, как Утин, кредиту помимо нас? Это была штука, и ты опять попался в нее... Может, и грех, но денег я не могу дать». «Я всегда найду, — добавлял далее Герцен, — сотню человек, которые на даровых прогонах поедут в храм бессмертия и лавров, обернутые «Полярной Звездой» [107].

Огорченный отказом Герцена, Огарев поспешил разъяснить своему другу, что он не вполне точно понял предложение Мечникова, Жуковского и Утина. Последние вовсе не рассчитывали на карман Герцена, они надеются на получение денег из России и предлагают, чтобы каждый автор оплачивал расходы по напечатанию своей статьи. До тех же пор, пока они не получили денег из России, Огарев просил Герцена дать им взаймы 1000 франков из бахметевского фонда [108].

Уступая настояниям своего друга, Герцен согласился дать заимообразно просимую Огаревым сумму, вновь, однако, подчеркивая, что он абсолютно не верит в успех задуманного предприятия. «Затем я спрашиваю, — писал он,—где статьи? чьи статьи?.. Ведь эти милые юноши — большею частью юноши бездарные. Revue не пойдет, потребности на него нет» [109].

Итак, Герцен был согласен дать деньги. Почему же предположенный журнал все же не осуществился? Дело в том, что в переговорах выяснилась одна сторона дела, которую Огарев старательно обходил в своих письмах к Герцену — политическое расхождение между участниками переговоров. В письме к Герцену от 7 февраля Огарев уверял своего друга, что Мечников и Утин «явились с предложением и желанием не выходить из-под нашего флага»[110]. В действительности дело обстояло совершенно иначе. Во время переговоров Утин упорно настаивал на необходимости предварительной выработки программы будущего журнала. При этом он указывал, что у «Колокола» за последнее время нет никакого направления, что он «свелся на личный орган», ведущийся вне связи с современными событиями в России. Не довольствуясь этим, Утин считал необходимым отметить пункты разногласий, существующих между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и «молодой эмиграцией», с другой. Во-первых, Утин возражал против обращений Герцена в «Колоколе» с письмами к Александру II. Мы, писал он Огареву «отвергаем возможность какого бы то ни было обращения к Зимнему Дворцу». Во-вторых, он строго осуждал известную нам статью Огарева о продаже польских имений в Западном крае. Он указывал на недопустимость одобрять петербургское правительство даже в том случае, если бы оно вздумало превратить Польшу в «социалистическую фаланстерию». «Польская земля должна быть свободна от русского ига и только до этого нам есть дело», — писал он. Наконец, Утин настаивал на том, чтобы Герцен и Огарев изменили свое отношение к «молодой эмиграции»: «Пора перестать отвергать с пренебрежением юношей, наоборот, вы должны употребить все силы, чтобы извлечь пользу для вашего органа из каждого из нас». В другом письме к Огареву Утин доказывал необходимость предварительной выработки программы будущего журнала, против чего возражал Огарев, мотивировавший свое предложение тем, что договаривающиеся стороны расходятся друг с другом по направлению на $^{9}/_{10}$.

Конечно, при таких условиях трудно было рассчитывать на успешный исход переговоров. К началу апреля 1867 г. вполне выяснилась безнадежность затеянного предприятия, и переговоры прекратились, приведя только к росту недовольства Герценом и Огаревым среди молодых эмигрантов. «Мечников и все на меня дуются», — сообщал Герцен 25 апреля Н. А. Огаревой[111].

В то время как Огарев вел переговоры с Утиным и его товарищами, в типографии Элпидина набиралась и печаталась брошюра А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», вызвавшая полный разрыв Герцена с «молодой эмиграцией». Эта брошюра была ответом на статью Герцена «Порядок торжествует», напечатанную в № 230, 231—232 и 233—234 «Колокола»[112]. Однако Серно-Соловьевич не ограничивался полемикой против этой статьи, а давал общую — и притом очень резкую — характеристику политической деятельности Герцена.

Написав свою брошюру, Серно-Соловьевич первоначально обратился для напечатания ее в «Вольную русскую типографию», но получил отказ[113]. Тогда он прибег к помощи Элпидина.

Ученика и последователя Чернышевского, Серно-Соловьевича в статье Герцена больше всего затронуло то место, где Герцен говорит о Чернышевском. Упомянув о своем «русском социализме», идущем «от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления», Герцен противопоставлял ему «теории чисто западного социализма», развиваемые «с огромным талантом и пониманием» Чернышевским. «Это раздвоение, совершенно естественное, лежащее в самом понятии, вовсе не представляло антагонизма. Мы служили взаимным дополнением друг друга»[114].

На это утверждение Герцена Серно-Соловьевич и обрушивался с особой силой. «Вы дополняли Чернышевского! — писал он, — нет, г. Герцен, теперь уже поздно прятаться за Чернышевского... Между вами и Чернышевским нет, не было и не могло быть ничего общего. Вы — два противоположные элемента, которые не могут существовать рядом, друг возле друга; вы представители двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую, до того расходитесь вы во всем — от миросозерцания и до отношения к самим себе и людям, от общих вопросов до малейших проявлений частной жизни».

Серно-Соловьевич выдвинул ряд тяжелых обвинений против Герцена. Он упрекал его в неверии в революцию, в преувеличении значения реформаторской деятельности правительства, в неуместности его многочисленных писем к Александру II, в отказе от своих прежних симпатий к польскому делу, в его несправедливом отзыве о Каракозове и т. д.

Многое в обвинениях Серно-Соловьевича представлялось вполне правильным. Так, Герцен действительно до конца своей жизни не понял, что революция является единственным средством изменения существующего социально-политического строя в интересах трудящихся. «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога», — писал он в статье «Порядок торжествует»[115]. Правильно было указание и на надежды Герцена подтолкнуть русское правительство на путь реформ. Правильно было и упоминание о недопустимости писем Герцена к царю, тех его «бесчисленных и слаща-

вых писем», которых, по выражению В. И. Ленина, «нельзя теперь читать без отвращения»[116]. А между тем, последнее из этих писем было написано Герценом еще в 1866 г., после покушения Каракозова. И в нем, как и в предыдущих письмах, Герцен приглашал царя одуматься и отказаться от реакционной политики. Еще в 1866 г. Герцен сохранял остатки надежды на добрую волю Александра II, объясняя его непоследовательность и реакционные меры тем, что он «кругом обманут» окружающими. «Трудно же, — признавался Герцен, — окончательно расстаться с мыслью, что вы вовлечены другими в тот исторический грех, в ту страшную неправду, которая совершается возле вас»[117].

Серно-Соловьевич был прав, нападая на либеральные иллюзии Герцена и указывая на его колебания в сторону либерализма. Но он был неправ в том, что не хотел признать за Герценом ничего, кроме этих колебаний и иллюзий. Ненависть к Герцену не давала ему возможности понять, что, каковы бы ни были разногласия между Герценом и Чернышевским, они, однако, стояли по одну сторону баррикады, сражаясь против общего врага. Он называл Герцена «мертвым человеком» и утверждал, что «молодое поколение» давно опередило его «целой головой» в понимании вещей и событий и «отвернулось с отвращением» от него. «Я давно перестал, — писал Серно-Соловьевич, — если не совсем читать, то, по крайней мере, интересоваться вашим листком: избитые, давно знакомые звуки, риторические фразы и возгласы, старые вариации на старую тему, остроты, иногда довольно удачные, но большею частью пошлые, общие места о «Земле и Воле», — все это слишком приелось, наскучило и даже опротивело... Вы — поэт, художник, артист, рассказчик, романист, вы все, что хотите, только не политический деятель, и еще менее теоретик, основатель школы, учения... Вы захотели сделаться Чернышевским, и с этих-то пор и началось ваше падение».

Таким языком никто и никогда еще не разговаривал с Герценом. Страстность, с которой была написана брошюра Серно-Соловьевича, являлась ее слабым местом. Негодование не давало возможности автору брошюры за слабыми сторонами и недостатками Герцена разглядеть положительные стороны того дела, которому Герцен посвятил всю свою жизнь. Историческая роль Герцена осталась непонятой Серно-Соловьевичем.

Страстный тон его брошюры и то высокомерное презрение по отношению к Герцену, которым она была пропитана, вывели Герцена из себя. Свое негодование на автора брошюры он распространил на всю «молодую эмиграцию», на все молодое поколение революционеров. Тяжело читать в письмах Герцена к его друзьям его злобные выпады и грубые ругательства, которыми он начал осыпать молодых эмигрантов.

«Любезнейший Бакунин, Серно-Соловьевича посылаю, — писал Герцен 30 мая 1867 г. — Он наглый и сумасшедший, но страшно то, что большинство молодежи такое и что мы все помогли ему таким быть... Это — не нигилизм; нигилизм явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в нигилистическом костюме. Это — мошенники, оправдавшие своим сукиносынизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы etc. указывают пальцами. Это — люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чем на Скарятина, говоря просто, что они завидуют, что они хотели бы обобрать и что они не могут переварить художественной стороны статей. Ты и Огарев, вы этих скорпионов откармливали млеком вашим... Им будущности нет, это — меньший венерический брат, который умрет и на его могиле встретится старший с еще более меньшим»[118].

Если, посылая Бакунину это письмо, Герцен надеялся найти сочувствие с его стороны, то эта надежда оказалась ошибочной. Бакунин вполне справедливо указал Герцену на то, что он в своем негодовании на Серно-Соловьевича выходит за пределы допустимого. «Признаюсь, — писал он, — твое письмо испугало меня, не за Серно-Соловьевича, а за тебя. В твоей злости против него слышится что-то старческое. Я готов верить, что Серно-Соловьевич написал против тебя скверную пасквиль и что твое негодование против него справедливо. Но ты ругаешь не одного его и даже не одних его женевских однолетников эмигрантов... Нет, Герцен, каковы бы ни были недостатки настоящего молодого поколения, оно чрезмерно выше Катковых и Погодиных, твоих Аксаковых и Тургеневых, — так выше, что указывание на него пальцем всех этих блудных стариков служит ему в честь, а не в бесчестие, и ничто в мире, кроме самой, естественно и по необходимости, гнусной природы правительства не может оправдать гнусных мер наших правителей»[119].

Упреки Герцена по адресу всей «молодой эмиграции» были тем более несправедливы, что полного одобрения с ее стороны брошюра Серно-Соловьевича не получила. Были среди эмиграции люди, вполне одобрявшие Серно-Соловьевича, как например, Элпидин, напечатавший его брошюру, но таких, повидимому, было меньшинство. В одном из писем к Герцену Огарев сообщал, что М. С. Гулевич, узнав о предстоящем выходе брошюры Серно-Соловьевича, был «взволнован негодованием» и что польский эмигрант Мерчинский высказывался против нее[120]. Л. И. Меч-

ников также относился к ней отрицательно. Герцен писал Огареву: «Предложи-ка Мерчинскому протестовать и Мечникову... Я с своей стороны их молчание приму за согласие с Серно-Соловьевичем и раззнакомлюсь... Быть с нами знакомым и пускать этого мошенника к себе в дом — двуличность» [121]. Н. А. Огаревой Герцен сообщал по поводу брошюры Серно-Соловьевича: «Все здешние [женевские эмигранты] кричат против нее (кроме Элпидина и Николадзе), и никто не осмеливается протестовать» [122]. Автор анонимной брошюры о Герцене, выпущенной по поводу его смерти в 1870 г. в Лейпциге, сообщает, что даже ближайшие друзья Серно-Соловьевича (очевидно, в первую очередь П. И. Якоби) не одобряли его брошюры «в форме» [123]. Но Герцену этого было мало; ему хотелось, чтобы оскорбительная для него брошюра вызвала публичный протест, и, не встречая его, он переносил свое негодование с автора брошюры на всю эмиграцию. Даже отношение Огарева к выступлению Серно-Соловьевича казалось Герцену обидным для него. «Он, как разбуженный лунатик, — жаловался Герцен Мальвиде Мейзенбуг на Огарева, — почти не замечает того, что происходит вокруг него... доброта его может вывести из себя» [124].

Герцен не скрывал своего озлобления против «молодой эмиграции», и это привело к тому, что он и Огарев оказались в полной изоляции; почти всякие сношения между ними и другими эмигрантами были прерваны. Насколько велика была их отчужденность от общеэмигрантской среды, можно судить по такому хотя и маловажному, но чрезвычайно характерному факту: сообщая Герцену о том, что на похоронах Касаткина он встретился с Элпидиным и Николадзе, Огарев добавлял как нечто заслуживающее быть особо отмеченным, что они подошли к нему и поздоровались. Примиренчески настроенный Огарев воспользовался этим, чтобы высказать взгляд на Элпидина и Николадзе. «Что за удивительные нелепцы, — писал он, — а вглядись и увидишь, что право недурные люди, т. е. не злые, благонамеренные, добродушные» [125]. Однако на Герцена сообщение Огарева не произвело желаемого Огаревым впечатления. «В благонамеренность Николадзе и его добродушие не верю; в том, что Элпидин нелеп, согласен» [126].

С течением времени острота первоначального впечатления, произведенного на Герцена выступлением Серно-Соловьевича, постепенно сглаживалась. То изолированное положение, в котором оказались он и Огарев, стало неприятно не только болезненно страдавшему от всего происшедшего Огареву, но и самому Герцену. Этим объясняются две попытки Герцена вновь завязать сношения с «молодой эмиграцией» и наладить в той или иной мере совместную работу с ее представителями. Об этих попытках нам до сих пор известно очень мало, но самый факт их стоит вне сомнения. Попытаемся сгруппировать те сведения, которыми мы располагаем, и мы увидим, насколько важны и показательны для настроений Герцена в последние годы его жизни были эти попытки. Но прежде необходимо напомнить некоторые события, происшедшие в то время в рядах «молодой эмиграции».

В сентябре 1867 г., как нам уже известно, приехал в Швейцарию М. А. Бакунин. Он поселился на берегу Женевского озера, в Веве, в доме, где жили русские эмигранты: Утин с женой, Жуковский с женою и О. С. Левашева. Вокруг Бакунина сгруппировался кружок, в который, помимо перечисленных лиц, вошли супруги Бартеневы, Ант. Трусов, Жеманов, Щербаков и Элпидин. На деньги О. С. Левашевой был организован русский журнал «Народное Дело», первый номер которого вышел в сентябре 1868 г.

В наши задачи не входит изложение истории этого журнала, и мы можем ограничиться лишь указанием на то, что № 1 «Народного Дела», написанный почти целиком Бакуниным, вызвал резкие разногласия среди членов кружка, в результате которых Бакунин, а вслед за ним Жуковский и Элпидин, порвали с этим журналом. «Народное Дело» оказалось в руках Утина, который намеревался продолжать издание это. Однако трудность заключалась в том, что с уходом Элпидина журнал лишился типографии, в которой был отпечатан его первый номер. Благодаря энергии Ант. Трусова это затруднение удалось преодолеть. Группа «Народного Дела» организовала свою собственную типографию. Таким образом, в Швейцарии возникла еще одна русская типография.

Учитывая печальное положение, в котором в это время находилась типография Чернецкого, страдавшая от недостатка работы, Герцен, в середине мая 1869 г. вернувшийся из путешествия в Женеву, обратился к Утину письменно и через Щербакова, который в то время занимался преподаванием одной из дочерей Герцена, с предложением соединить типографию Чернецкого с типографией «Народного Дела». Если принять во внимание, что еще в феврале того же года Герцен в одном из писем к Огареву отзывался об Утине, как о «самом лицемерном из наших заклятых врагов» [127], то важное значение этого шага Герцена станет вполне ясным. Но этого мало: одновременно с этим Герцен направил в редакцию «Народного Дела» какую-то свою статью, которая, однако, осталась ненапечатанной, повидимому, вследствие того, что начатые Герценом переговоры, как сейчас увидим, успехом не увенчались [128].

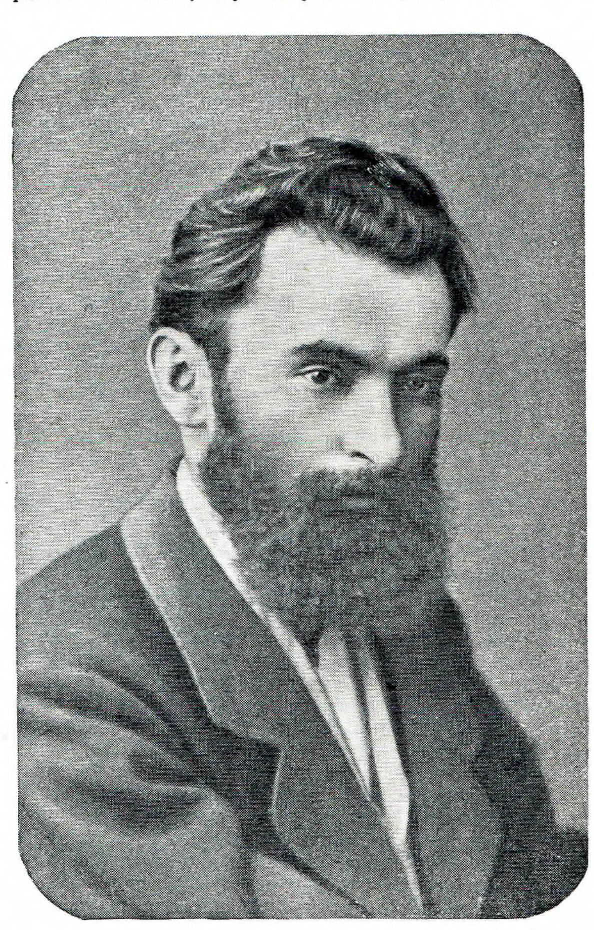
Обращаясь к Утину со своим предложением, Герцен добавлял, что за «Народным Делом» сохранялось бы «право печатать всякую брань против него», Гер-

цена. Отвечая на это, Утин в письме, формально адресованном Трусову, но рассчитанном на то, что Трусов ознакомит Герцена с содержанием этого письма, писал: «Это, конечно, шутка, и ты можешь уверить А. И. Герцена, что мы никогда никакой брани и без того не позволим себе против него; мы ценим его 17-летний труд, мы ценим ту выдержку, которой хватило у него и которой нехватает у других; мы можем итти теперь более резким путем, он сам сознает это, и он чрезвычайно честно и искренне уступает нам ведение пропаганды и высказывает сочувствие нашему делу, — такое отношение не многие умели сохранить к делу и обыкновенно старые деятели относились озлобленно и насмешливо к молодым; это озлобление мы встретили даже в Бакунине, несмотря на его fausse bonhomie, но мы не встретили такого озлобления в Герцене, и это обстоятельство должно еще укреплять наше решение относиться к нему с тем уважением, которое заслуживает 17-летний труд на пользу дела и свободы, хотя бы это дело, или вернее практический путь к совершению этого дела понимался им иначе чем нами, сообразно с ходом времени и обновлением поколений».

А вслед за этим Утин выдвигал вопрос, который постоянно служил одним из поводов для разногласий между Герценом и «молодой эмиграцией».

«При начале дела, — писал Утин, — требуются большие средства, и если б Герцен знал, что стоило устройство путей в Россию, которых до сих пор там тщетно добивались и которых мы, наконец, добились, если б он знал, что стоит завязывание связей на всех пунктах в России и поддержка многих поистине полезных людей, то он увидел бы как мы стеснены еще, несмотря на готовность отдать все свои средства, и как быстрее пошло бы дело на всех пунктах, если бы мы обладали теперь средствами большими, чем все наши».

Конечно, в этих словах Утина фантазия преобладала над действительностью. Никаких серьезных связей с Россией и русскими революционными кругами у редакции «Народного Дела» в это время еще не было. Но дело — не в этом, а в том, что Утин писал приведенные слова в подкрепление высказанного им пожелания об употреблении бахметевского фонда на поддержку «Народного Дела» [129].



Н. Я. НИКОЛАДЗЕ
Фотография
Музей Революции, Ленинград

Поскольку переговоры, завязанные Герценом, наткнулись на этот пункт, неудача их была предрешена. Герцен и на этот раз отказался от использования бахметевских денег, указав, что эти деньги были даны «на полное, безусловное распоряжение» его и Огарева и что он не считает себя обязанным давать кому бы то ни было отчет в них, кроме «давшему господину и своей совести»[130].

О другой примирительной попытке, сделанной Герценом, нам известно еще меньше, чем о первой. В. Ф. Лугинин рассказывал М. О Гершензону о том, что «незадолго до смерти Герцен в Женеве при нем вел переговоры с Якоби, Жуковским и Серно-Соловьевичем о совместном возобновлении «Колокола»[131]. Как ни маловероятно на первый взгляд это сообщение, не верить ему у нас нет оснований. В. Ф. Лугинин был человеком с большим расположением относившимся к Герцену, и в его спорах с представителями «молодой эмиграции» поддерживавшим Герцена. Это одно говорит уже за достоверность его сообщения. Косвенным подтверждением справедливости этого сообщения могут служить следующие слова автора уже цитированной нами анонимной брошюры, посвященной памяти Герцена: «Отрадно заявить, что Герцен в последние дни еще сочувственно говорил об одном честном молодом деятеле, так рано умершем в Женеве, который в свое время высказал ему много горького из-за любви к правде»[132]. Несомненно, что автор брошюры имел при этом в виду А. А. Серно-Соловьевича, умершего в августе 1869 г.

Если принять во внимание, что В. Ф. Лугинин, возвратившийся в Россию в 1867 г., отправился вновь за границу в конце октября 1868 г., а в июле 1869 г. вернулся в Петербург, переговоры, свидетелем которых он был, можно отнести на лето — или, точнее, на июнь — 1869 г.[133].

Эти две примирительные попытки Герцена показывают, что под конец его жизни он понял, что в его столкновениях с «молодой эмиграцией» правда не всегда была на его стороне. В заключение нам остается рассказать об отношении Герцена и Огарева к нечаевской эпопее, омрачившей последние дни жизни Герцена.

V. ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ В НЕЧАЕВСКОЙ ЭПОПЕЕ

1868—1869 гг. были весьма тяжелыми для Огарева. Любимое дело его — издание «Колокола» — гибло на его глазах. Связи с Россией отсутствовали. Своего старого друга, Герцена, он почти не видел, так как тот бóльшую часть времени проводил в разъездах по Западной Европе и в Женеву заглядывал лишь не надолго. Другие эмигранты держались в стороне от него. Они сходились, затевали общие предприятия, налаживали издание книг и журналов, вели ожесточенные политические споры и, убедившись в невозможности договориться, расходились друг с другом, как враги. Сведения обо всем этом доходили до Огарева урывками и с большим опозданием. Достаточно просмотреть его письма этих лет к Герцену, чтобы убедиться, как мало был осведомлен Огарев в делах женевской эмиграции.

При таких условиях он чувствовал себя покинутым всеми, никому не нужным стариком, которому люди следующего поколения отказывают в признании заслуг перед революцией. Но если «дети» не понимали и не хотели понять, как думал Огарев, своих «отцов», то, может быть, новое поколение, «внуки», пришедшие на смену «детей» окажутся более объективными и справедливыми и воздадут должное своим «дедам» по революции? Эту мысль неоднократно развивали как Огарев, так и Герцен.

«Базаровы пройдут... и даже очень скоро, — писал Герцен. — Это — слишком натянутый, школьный, взвинченный тип, чтоб ему долго удержаться... И я глубоко убежден, что мы с детьми Базарова встретимся симпатично, и они с нами — «без озлобленья и насмешки»[134].

Между тем, из России после долгого промежутка глубокой реакции стали доноситься слухи, свидетельствующие о начинающемся общественном пробуждении. В некоторых местах России происходили крестьянские волнения, сведения о которых проникали даже в легальную печать. Оппозиционная пресса («Отечественные Записки», «Неделя», «Дело») заговорила более резким языком, нежели в предыдущие годы. В Петербурге с конца 1868 г. начались студенческие волнения, в марте следующего года принявшие весьма значительные размеры и сопровождавшиеся закрытием ряда высших учебных заведений и высылками из Петербурга десятков студентов. После долгого промежутка вновь появилась в России печатная прокламация; она излагала требования волнующегося студенчества. И Герцен, и Огарев с глубоким интересом следили за событиями, развертывающимися в России. «В Петербурге опять история со студентами, — писал Герцен 12 апреля 1869 г. сыну. — Медицинская академия закрыта; беспорядки были в университете, Технологическом институте и Земледельческой академии. Недурно»[135]. «Заметь, — сообщал Огарев Герцену, слепо поверив в дошедшие до него преувеличенные слухи, — что в Архангельской губернии 600 000 (т. е. полгубернии) взбунтовалось с голода. Пришли солдаты и был карнаж... А это не одно место, а происходит повсюду»[136].

31 марта 1869 г. в жизни Огарева произошло событие, которому он придал большую важность. Вот что он сообщал на следующий день Герцену:

«Вчера пришло на твое имя письмо с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента, только что удравшего из Петропавловской крепости. Послание, может, немножко экзальтировано, но не печатать нельзя; по моему глубокому убеждению оно, во всяком случае, поворачивает на воскресение заграничной прессы... В печать я отдал сегодня, а подробности лучше сообщу с Тхоржевским. Мне так что-то страшно». А через день он вновь писал Герцену: «А студенческое послание... очень юно, очень юно, тем не менее напоминает и свою молодость и подает надежду на новые силы» [137].

Почему же письмо, полученное Огаревым (автором его был С. Г. Нечаев), произвело на него такое сильное впечатление, что он воспылал надеждами на возрождение заграничной революционной прессы? Зная Нечаева, мы можем, без риска впасть в ошибку, предположить, что уже в этом письме он, как это делал впоследствии, выдавал себя не просто за студента, пострадавшего в связи со студенческими волнениями, а за представителя могущественного и таинственного революционного комитета, якобы существующего в Петербурге и руководящего всем студенческим движением. Это давало Огареву основание предполагать, что в лице Нечаева он приобретает связь с самым центром революционного движения в России. Подкупало его и то обстоятельство, что чудесно якобы спасшийся из Петропавловской крепости студент обратился за содействием не к Бакунину, не к «молодой эмиграции», а к Герцену. Очевидно, думал Огарев, «внуки» лучше поняли и справедливее оценили «отцов», нежели «дети».

В начале апреля явился в Женеву и сам Нечаев. Огарев познакомил его с Бакуниным. «Не думаю, чтоб было что очень широкоразвитое, но развита энергия и много узнается и увидится нового», — такими словами Огарев выразил свое впечатление от встречи с Нечаевым и от его рассказов о русских делах. Во всяком случае, разговоры с Нечаевым укрепили в Огареве те мысли, которые уже ранее зародились у него. «Из слов приезжего, — писал он Герцену, — из теперешнего преследования студентов, закрытия Медико-хирургической академии, преследования «Недели» [138] и пр. очевидно, что заграничная печать скоро понадобится» [139].

Несомненно, под впечатлением разговоров с Нечаевым у Огарева зародилось намерение отозваться от лица старого поколения эмигрантов на студенческое движение, и он написал прокламацию, озаглавив ее «От стариков молодым друзьям» [140]. По мысли Огарева эта прокламация должна была выйти за подписями Герцена, его и Бакунина. Но здесь ждало его первое разочарование. Герцен жестоко раскритиковал его прокламацию и посоветовал пустить ее без подписи [141]. Подчиняясь этому указанию, Огарев должен был снять и заголовок прокламации, неуместный при ее анонимном характере [142].

Огорченный всем этим, Огарев не хотел, однако, отказаться от своего намерения и начал писать вторую прокламацию по поводу студенческих волнений. На этот раз прокламация была им названа «Наша повесть» [143]. «Умоляю тебя, — писал Огарев Герцену 28 апреля 1869 г., — прислать согласие на подпись, ибо иначе, по моему мнению, это будет просто позор, ибо вместо вызова значит обессилить юношество... Если мы не поднимем словом дух юношества — это будет просто подло. Неужели же ты и тут не дашь подписи» [144]. «Огарев все шалит, — писал Герцен сыну по получении этого письма Огарева. — Закусил удила да и только — шумит, бранится, еще написал манифест. Что с ним это? Ведает бог, да Бакунин» [145]. Однако, хотя Герцену и вторая прокламация Огарева не нравилась, он, не желая окончательно огорчать своего друга, скрепя сердце, дал согласие подписать ее [146].

Издание этих прокламаций Огарев находил недостаточным. Подстрекаемый Нечаевым и Бакуниным, он считал необходимым организовать целую агитационную кампанию и, пользуясь связями с Россией, которые имелись у Нечаева, наладить широкое распространение женевских прокламаций по России. Но для этого нужны были большие деньги, а деньги находились у Герцена. Огарев считал, что теперь, более чем когда-либо, надлежит пустить в ход бахметевский фонд. Поэтому он с нетерпением ожидал приезда Герцена в Женеву. Он сознавал, что в исходе переговоров о фонде многое зависит от впечатления, вынесенного Герценом от Нечаева при личной встрече с ним. В то же время, он не мог не понимать, что у Нечаева мало шансов привлечь к себе симпатии Герцена и завоевать его доверие. Поэтому он хотел заранее подготовить Герцена к встрече с Нечаевым. «Мой мужичок, — писал он Герцену, — тебе с первого взгляда, пожалуй, не понравится; мы с ним и сблизились только весьма постепенно; манеры у него уже совсем мужицкие. Но ведь выносим же мы бурмистров Плат[она] Богд[ановича] [Огарева-отца], Ив[ана] Ал[ександровича] [Яковлева, отца Герцена], Ал[ексея] Ал[ексеевича] [Тучкова] — почему же не вынести мужика-юношу, который, вероятно, не уцелеет. А останавливать его я без сомнения не стану» [147]. Вряд ли такая своеобразная аргументация могла показаться убедительной Герцену, который с полным основанием мог ответить, что ни ему, ни Огареву никогда и в голову не приходило заниматься революционными конспирациями с бурмистрами своих отцов. Скорее наоборот, приведенные строки Огарева могли заставить Герцена особо насторожиться по отношению к Нечаеву. Надо сказать, что к тому же и прокламация Нечаева к студентам

не произвела на Герцена благоприятного впечатления. «Прокламация к студенчеству не того, просто шлехтердыревато» [т. е. плохо], — писал он [148].

Герцен приехал в Женеву 10 мая, и тут начались переговоры между ним, Огаревым, Нечаевым и Бакуниным о бахметевском фонде. Как и предчувствовал Огарев, Нечаев Герцену не понравился. «Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, — пишет Н. А. Огарева-Тучкова, — как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое» [149].

При этом надо добавить, что Герцен не мог не знать того, что было известно всей женевской эмиграции, а именно, что бывший в то время в Женеве М. Ф. Негрескул (зять П. Л. Лаврова), человек, тесно связанный с петербургскими революционными кругами, категорически утверждал, что Нечаев лжет, выдавая себя за представителя тайного общества, существующего в России. Негрескул, не стесняясь, заявлял всем эмигрантам, что Нечаев — шарлатан, что он арестован никогда не был и потому бежать из Петропавловской крепости не мог, что Нечаева надлежит опасаться и ни одному слову его верить нельзя [150]. Огарев и Бакунин не поверили разоблачениям Негрескула: первый — потому, что боялся расстаться с иллюзиями, которыми тешил себя, второй — из-за желания использовать Нечаева в личных политических целях как представителя основанного Бакуниным Альянса в России. На Герцена же Негрескул произвел впечатление «человека верного» [151], со словами которого нельзя не считаться.

На предложение использовать бахметевский фонд в целях агитации Герцен ответил отказом. Он опасался, что эти деньги послужат в руках Бакунина и Нечаева к бесполезной для дела гибели многих людей в России. Тогда Огарев заявил: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев» [152]. В конце концов Герцену пришлось пойти на компромисс. Он решил предоставить Огареву распорядиться по его усмотрению половиною бахметевского фонда [153].

Таким образом, задуманная Огаревым, Нечаевым и Бакуниным агитационная кампания получила материальную базу. В наши задачи не входит рассказывать подробно о том, как протекала эта кампания. Нам достаточно отметить лишь те моменты ее, которые непосредственно связаны с Огаревым и Герценом.

Прежде всего необходимо констатировать, что участие Огарева в этой кампании было гораздо большим, чем предполагали до сих пор исследователи, касавшиеся этого вопроса. В 1869 г. кроме двух указанных выше прокламаций Огарева были выпущены его брошюра «В память людям 14 декабря 1825», с призывом к русскому войску принять участие в восстании, и листок со стихотворением Огарева «Студент», которое, как известно, по предложению Бакунина, было посвящено Нечаеву, хотя по содержанию своему не имело ничего общего с ним. С большой долею вероятия Огареву же можно приписать еще две прокламации, вышедшие в том же году: «Гой, ребята, люди русские», и «Что ж братцы»! [154].

Не столько эти произведения Огарева, сколько пресловутый «катехизис» Бакунина, листок «Народная Расправа», призывавший к кровавой революции в целях истребления всяких признаков «государственности», и другие прокламации Бакунина вызвали резкий протест со стороны некоторой части женевской эмиграции, а именно: Утина и его группы. В № 7—10 «Народного Дела» (ноябрь 1869 г.) был помещен весьма резкий «запрос» Герцену, Огареву и Бакунину по поводу их причастности к агитационной кампании Нечаева. Отзываясь о названных прокламациях, как о «тупоумных листках», заключающих в себе «непристойную игру с великим, святым делом революции» и способных вызвать «отвращение» во всяком «трезвом и серьезном человеке», авторы запроса писали:

«Дикое невежество рядом с нахальным хвастовством; самовосхваление небывалыми фантастическими подвигами — рядом с завистливым ляганием во все прошлое погибших борцов; нерасчетливые или слишком рассчитанные провокации — рядом с кровавыми посулами и инквизиционными угрозами, и не только отъявленным врагам свободы, но решительно всем и каждому, кто посмеет не поверить этим доблестным рыцарям в их уверениях, что они *берутся* сломать все существующее всеразрушающим кровопролитием, ядом, ножом, петлею, огнем и т. д. и т. д. и кто не пойдет по их приглашению в разбойничий мир, обитающий в лесах, городах, деревнях, бесчисленных острогах империи — в этот единственный, нераздельный, крепко связанный мир, в котором «одном только существует издавна *настоящая революционная конституция*»... — бред беззубого старчества с бормотаньем доморощенных Митрофанов, — вот что мы встречаем в этих листках, очевидно принадлежащих одному и тому же коллективному перу». В заключение авторы запроса спрашивали, солидарны ли старые эмигранты с названными листками, и предлагали им страницы «Народного Дела» для ответа на этот запрос.

Конечно, никто из старых эмигрантов этим предложением не воспользовался. «Прочел я глупый «Запрос» в «Народном Деле», — писал Герцен Огареву. — Тебе и Бакунину будет больно, что мое имя замешано в деле, против которого я протестовал всеми силами. Оно было нелепо» [155]. Действительно, Герцен имел право считать себя непричастным к нечаевской агитационной кампании, против которой он

не раз протестовал, остроумно называя бакунинско-нечаевские прокламации «печатными затрещинами» [156].

Агитационная кампания 1869 г., а также поездка Нечаева в Россию, предпринятая в августе 1869 г., в целях организации тайного общества «Народная Расправа», исчерпали поступившую в распоряжение Огарева часть бахметевского фонда. На продолжение агитации необходимо было изыскать новые средства. Но ставить этот вопрос перед Герценом Огарев не решался. Он выжидал возвращения Нечаева. О том, что делал Нечаев в России, Огарев осведомлен не был. Поэтому в нем вызвали большую тревогу начавшие доходить за границу в конце 1869 г. слухи о многочисленных арестах, производимых в Петербурге и в Москве. Уцелел ли Нечаев, и удастся ли ему спастись — эти вопросы волновали и Огарева и Бакунина, также утратившего связь с Нечаевым. Но вот, наконец, в первых числах января от



Е. В. де-РОБЕРТИ
Фотография
Литературный музей, Москва

Нечаева пришло письмо, а вслед за ним и он сам явился в Женеву. При известии об этом Бакунин «так прыгнул от радости, что чуть было не разбил потолка старою головою» [157]. Несомненно, что и Огарев, искренне полюбивший Нечаева, был рад не меньше.

Еще в письме, предшествовавшем появлению Нечаева в Женеве, Нечаев сообщил Огареву о своем желании видеться с Герценом. Огарев поспешил уведомить об этом своего друга, жившего в то время в Париже. Герцену было не трудно догадаться, зачем он понадобился Нечаеву, и он ответил Огареву: «Я буду очень рад, если Бой [Нечаев] выздоровеет [избежит ареста], но видеться мне с ним не нужно» [158].

Как ни категоричен был этот отказ Герцена от свиданья с Нечаевым, он, несомненно, не остановил бы последнего. Посещение Нечаевым Герцена не состоялось лишь вследствие смерти Герцена.

После смерти Герцена бахметевский фонд поступил в распоряжение его детей, которым, в сущности, было нечего делать с этими деньгами, так как революционной деятельностью они не занимались и заниматься не предполагали. Бакунин,

вслед за Нечаевым, настаивал, чтобы Огарев требовал от детей Герцена выдачи денег. «Это не только твое право, но и твой священный долг и перед этим долгом падают все деликатности отношений. В этом деле ты должен выказать римскую строгость» [159]. Как известно, наследники Герцена согласились передать остаток бахметевского фонда Огареву. Таким образом, продолжение агитационной кампании было обеспечено.

В 1870 г. Нечаев и компания издали ряд прокламаций, адресованных различным слоям русского общества, тем слоям, которые, по мнению авторов этих прокламаций, должны находиться в оппозиции существующему в России политическому порядку. Здесь были воззвания, обращенные к дворянству, купечеству, к «сельскому духовенству», мещанству, студенчеству, к украинцам («Лист до громади») и к женщинам. Прокламации эти носили мистификаторский характер. Прокламация к дворянству, адресованная к фрондирующим из-за отмены крепостного права крепостникам, имела подпись: «Потомки Рюрика и Партия Российского независимого дворянства». Прокламация к купцам вышла за подписью «Конторы Компании вольных русских купцов», а к мещанам — «Думы всех вольных мещан». Прокламация к духовенству была подписана «Истинными пастырями». Все эти прокламации были построены на возбуждении классовых и групповых интересов тех, к кому они были обращены [160]. Помимо этого, на деньги, полученные от наследников Герцена, было решено возобновить издание «Колокола», но об этом нам придется говорить ниже.

Кто был автором этих прокламаций, установить невозможно. Лишь две из них были подписаны авторами: одна — Нечаевым (к студентам), другая — Огаревым («Будущность», посвященная памяти Герцена и по содержанию своему стоящая особняком от других прокламаций 1870 г.). Однако несомненно, что участие Огарева не ограничивалось составлением одной прокламации. Можно утверждать, что самый план одновременного обращения к различным классам и группам русского общества принадлежал именно ему. Дело в том, что такое круговое обращение с рядом прокламаций не было новостью. Оно лишь воспроизводило то, что Огарев пытался сделать еще в 1861—1862 гг., когда им был написан и издан ряд воззваний: «Что нужно народу», «Что надо делать войску», «Что нужно помещикам», «Что надо делать духовенству». — Таким образом, агитационная кампания 1870 г. в расширенном виде воспроизводила попытку, предпринятую Огаревым непосредственно вслед за отменой крепостного права. Нечаев (и Бакунин) только привнес в этот старый план Огарева свойственные ему элементы лжи, мистификации и неприкрытого упора на шкурные интересы тех групп населения, которые были затронуты агитацией. В этом отношении Огарев, лишившийся в лице Герцена благоразумного советчика, оказался всецело в руках Нечаева и того фантастического русского революционного комитета, именем которого, для придания себе большего авторитета, постоянно прикрывался Нечаев.

Помимо издания прокламаций, Нечаев и Огарев, как сказано выше, наладили выход возобновленного «Колокола». Всего ими было выпущено шесть номеров: первый из них с датой «2 апреля», а последний — «9 мая 1870 г.». Возобновленный «Колокол» имел подзаголовки: «Орган русского освобождения, основанный А. И. Герценом (Искандером)» и «Под редакцией агентов русского дела» [161]. В начале первого номера было напечатано следующее письмо Огарева:

«Новой редакции «Колокола».

Передаю вам новое издание «Колокола» с глубоким убеждением, что вы его примете с полной преданностью делу Русской Свободы.

Вы не измените знамени, поставленному Герценом, при котором каждый свободомыслящий человек мог заявлять свое мнение и направление, разумеется, без всякого ущерба для главной цели — освобождения России.

В этом мы никогда не можем разойтись, и я до конца моей жизни остаюсь вашим преданным сотрудником».

Помимо этого письма в редакцию, Огарев поместил в возобновленном «Колоколе» ряд статей: «Памяти Герцена» в № 3, «Проект усиления губернаторской власти в России» в № 5, «Сплотитесь дружно!» в № 6. Все эти статьи шли под его фамилией. Было ли им напечатано еще что-нибудь без подписи, неизвестно. Несомненно, однако, что роль Огарева не ограничивалась простым сотрудничеством. Он принимал участие и в редактировании «Колокола». Документальное подтверждение этого мы находим в донесениях III Отделению его агента Романа, проживавшего в то время в Швейцарии под фамилией гр. Потоцкого и сумевшего втереться в доверие к Огареву. 8 апреля Роман доносил, что Огарев приглашал его сотрудничать в «Колоколе» и «просил написать что-либо о состоянии армии». В другом донесении Роман приводил письмо, полученное им от Огарева. «Разумеется, — писал последний, — присылайте статьи поскорее, только адресуйте не мне, а в редакцию» [162]. Из этого ясно, что Огарев играл в «Колоколе» бóльшую роль, нежели простого сотрудника.

Участвовал в «Колоколе» и Бакунин. Он напечатал там статью о панславизме (во втором прибавлении к «Колоколу», выходившем на французском языке) и письмо в редакцию (в № 2). Живший в то время в Локарно и бывавший в Женеве

лишь наездами, Бакунин не мог принимать постоянного участия в «Колоколе». К тому же, как мы увидим, он был недоволен направлением этого журнала.

Кроме того, по свидетельству Элпидина, в «Колоколе» участвовали, незадолго до того эмигрировавший из России, В. А. Зайцев и Н. И. Жуковский[163]. Первому из них принадлежит статья «Современное положение русской прессы» (в № 5 и 6), а второму можно приписать подписанную буквой «Ж» статью «Беда от царских ласк, или тирольские шляпы» (в № 6). Другие сотрудники «Колокола» до сих пор не выяснены.

Характерно, что К. Маркс, первоначально предполагавший, что руководящую роль в «Колоколе» играет Бакунин, ознакомившись лучше с направлением этого издания, пришел к иному заключению. «При более внимательном знакомстве оказалось, что редактором является Огарев»[164]. Мы уже знаем, что на этот раз Маркс не ошибся. Однако Огарев как редактор был связан необходимостью подчиняться указаниям Нечаева и фиктивного комитета, представлявшего «Русское Дело», в существование которого Огарев слепо верил. Это верховное руководство Нечаева не могло, конечно, не отразиться на характере возрожденного «Колокола» и на его общем направлении.

Программа «Колокола» во многом представляется загадочной, — особенно если ее сравнивать с программными заявлениями указанных выше прокламаций и брошюр, изданных Нечаевым в компании с Огаревым и Бакуниным.

В статье «К русской публике», помещенной в № 1 «Колокола», редакция заявляла, что ее журнал стремится стать органом «всех честных людей, желающих искренно преобразования и освобождения России, всех кто недоволен настоящим порядком и ходом вещей». Все эти люди должны сплотиться для преследования одной задачи — для борьбы против самодержавия. «Теперь для всех людей честной и доброй воли в России предстоит только одно важное дело: изменение существующего порядка». Эта мысль проводится на протяжении всех номеров «Колокола». «Силы должны быть сконцентрированы и направлены на одну точку. Эта точка — империя», — читаем мы в передовой статье № 2. В сплочении всех «честных» людей редакция видит средство избегнуть народной революции, грозящей России. «Никогда еще государство не находилось в такой опасности, как теперь, — пишет редакция в передовой статье № 1... — Нам всем грозит страшная катастрофа снизу. Все чувствуют быстрое приближение этой неминуемой катастрофы... Все с ужасом предвещают беду, а, между тем, никто не делает ничего для того, чтобы спасти себя и Россию от стихийного переворота, от ужасов революции, тем более кровавой и беспощадной, что, по утверждению многих, время парламентаризма прошло, что конституционная монархия отжила или отживает свое время даже на Западе и что представительная система, вообще, должна будет скоро уступить место прямому управлению народа». Однако редакция уверена, что для России еще не наступило время ставить этот вопрос «так глубоко». С ее точки зрения для России представляет важность и интерес совсем другой вопрос: может или не может самодержавие превратиться в конституционную монархию путем мирных, легальных реформ (передовая № 4).

Выдвигая такую скромную и умеренную программу, редакция «Колокола» открыто заявляла: «Особенный радикализм принципов, о котором так хлопочут люди, занимающиеся одними теориями, кажется нам теперь несвоевременной роскошью. Золотые сны и заоблачные мечтания о медовых реках и кисельных берегах не пойдут на ум людям, задавленным императорской лапой. Для всякого серьезного русского в настоящее время первое дело — освобождение от императорского абсолютизма, так или иначе. Дело это так важно и обще, и так насущно необходимо, что положительно исключаются всякие другие вопросы... Вот почему должны мы теперь считать все теоретические разглагольствования о принципах, мало того бесполезными, но и положительно вредными, действующими растлевающим образом на среду лучших русских людей (примечание редакции к письму «одного из корреспондентов старого «Колокола» в № 3). Провозглашая примат практики над теорией, редакция пренебрежительно отзывается о том замечательном умственном движении, которое происходило в России в 60-х годах. «Чего, — пишет она в № 1, — не переболтали мы в течение четырнадцати лет нынешнего царствования? Каких не развили теорий и в науке, и в политике, и в государственной экономии, и в социализме — а сделали что?»

В заключение характеристики направления «Колокола» 1870 г. отметим, что в передовой статье № 4 мы находим яркий панегирик братьям Милютиным. Н. А. Милютин изображается здесь как истый демократ, исполненный самыми благими намерениями, допустивший в своей деятельности лишь одну ошибку: «он хотел освобождать путем императорской власти». Столь же искренним демократом представляется редакции и его брат, военный министр Д. А. Милютин. «Можно сказать, — пишет редакция, — что со времен Петра и Екатерины никто не сделал так много для войска, как Дм. Милютин. Он улучшил положение солдат, освободил их, хоть отчасти, от начальственного воровства и от варварских наказаний; уменьшил расход, увеличил силу армии, дал ей новую, более разумную организацию, вооружил ее

новым оружием и пекся серьезно об образовании способных и дельных офицеров. Одним словом, он поставил на ноги русскую военную силу, оказавшуюся столько ничтожной в Крымской кампании, равно как и польском восстании, но сделавшуюся потом силою действительною благодаря только его усилиям».

Нечаев и Огарев, восхваляющие Д. Милютина, укрепление мощи царской армии, этого оплота деспотизма! Что это могло обозначать? И как, вообще, согласовать программные установки «Колокола» с содержанием прокламаций, перечисленных нами?

Тут — ограничение самодержавной власти царя, как венец всех стремлений и желаний. Там — полное разрушение всякой государственности и создание на ее развалинах вольных общин. Здесь — стремление сплотить все оппозиционные элементы населения России. Там — объявление врагами всех, кто не разделяет полностью нечаевско-бакунинских планов и фантазий. Здесь — насмешливое и пренебрежительное отношение к «радикализму принципов» и к «заоблачным мечтаниям». Там — безудержная революционная фраза и нарочитая рисовка «левизной» своих воззрений. Здесь — стремление предотвратить «ужасы» народной революции. Там — призывы к восстанию и террору. Здесь — гимны в честь либеральных бюрократов типа братьев Милютиных. Там — угроза кровавой расправой всем прислужникам царизма. — Что же означают эти странные противоречия, ставящие в тупик исследователей, которым приходится касаться вопроса о нечаевском «Колоколе»? Нельзя сказать, чтобы те объяснения, которые до сих пор давались этим противоречиям, были бы убедительны.

Ссылались на желание редакции возрожденного «Колокола» поддерживать герценовские традиции и вести журнал в том же направлении, в котором он велся при Герцене. Говорили о влиянии дочери Герцена Натальи Александровны, которую Огареву и Нечаеву удалось отчасти завлечь в свои конспирации. Однако и то и другое объяснение не выдерживают критики. Первое — потому, что направление «Колокола» 1870 г., как мы уже убедились, далеко не было тем, каким было направление герценовского «Колокола». Герцен перевернулся бы в гробу, если бы мог узнать о том, что пишется в возрожденном «Колоколе».

Второе — потому, что Н. А. Герцен отнюдь не была в глазах Огарева и особенно Нечаева таким ценным сотрудником, чтобы ради нее они стали бы вести журнал в направлении, не соответствующем их собственным видам.

Для того чтобы разгадать загадку «Колокола» и уяснить смысл его направления, по нашему мнению, надо рассматривать его не изолированно, а в связи со всей нечаевской агитационной кампанией, частью которой являлся этот журнал. Говоря о прокламациях 1870 г., мы указывали, что они были адресованы к различным классам и группам русского общества. Пересматривая эти прокламации, мы видим, что авторы их, не позабыв о дворянах-крепостниках, купцах и сельских попах, почему-то совершенно игнорировали либеральную часть русского общества, со стороны которой они имели, во всяком случае, бо́льшие основания ожидать оппозиции правительству, нежели, например, со стороны купечества. Под либеральной частью русского общества мы подразумеваем и либерально настроенные слои дворянства, мечтавшие об «увенчании здания» правительственных реформ, то-есть о конституции, и буржуазную интеллигенцию, становившуюся в то время заметной по своему значению общественной силой, и, наконец, передовые слои купечества, умственный горизонт которых не ограничивался интересами кармана и которые понимали необходимость европеизирования русских политических порядков. Взывать к оппозиции этих слоев русского общества, во всяком случае, было больше оснований, чем обращаться к замоскворецким Тит Титычам и сельским попам.

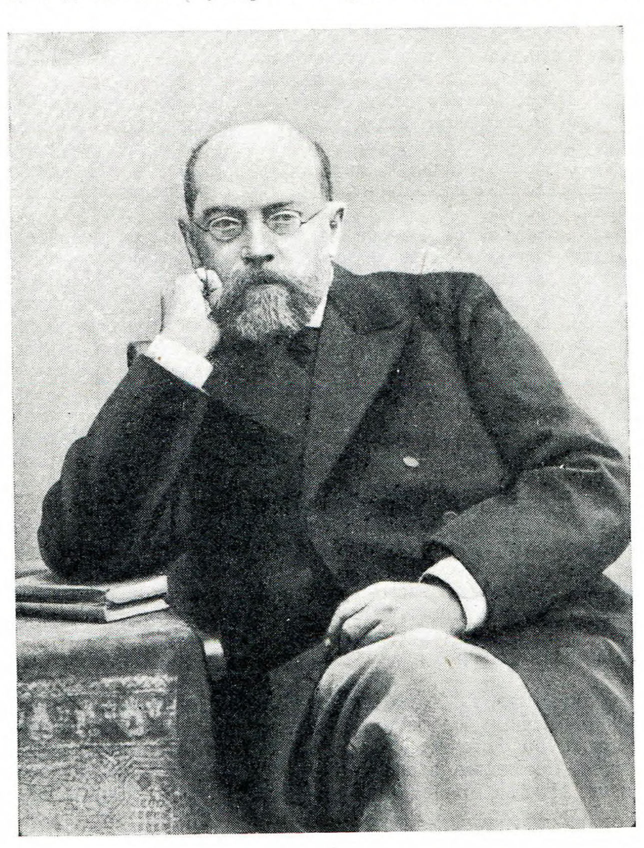
Вот это-то недостающее звено в агитационной кампании 1870 г. и было восполнено «Колоколом». И так как содействие либеральной части общества или, по крайней мере, переход ее от скрытой оппозиции к открытой и действенной представлялся весьма существенным фактором в той «смуте», которую должна была, по мысли ее организаторов, вызвать в России их агитация, то естественно, что они уделили этой части русского общества большее внимание, чем другим, и не ограничились по отношению к ней одной прокламацией, а наладили издание специального журнала. Относительно революционно-настроенных слоев русского общества Нечаев и Огарев заботились менее: эти слои и так находились в оппозиции и потому в агитационном воздействии на них нуждались менее других; к тому же и они не были оставлены без внимания, — для них предназначались два номера «Народной Расправы».

Если стать относительно «Колокола» на такую точку зрения, то становятся вполне понятными все особенности этого журнала, вплоть до восхвалений братьев Милютиных. Программа «Колокола» не была программой Огарева и Нечаева; это была программа, приноровленная ко взглядам и вкусам русских либералов. Редакторы «Колокола», несомненно, были уверены, что их журнал произведет надлежащее впечатление на тот круг читателей, для которого он предназначался.

Когда прокламация, адресованная к дворянству, призывала дворян бороться за установление дворянской олигархии в России, ее автор (или авторы) излагал не свои стремления, а стремления, которые, по его мнению, свойственны адресатам этой прокламации. Когда в другой прокламации мы находим жалобы на недостаточное ограждение интересов купечества существующим таможенным тарифом, то ясно, что этот

прием был специально предназначен для более эффективного воздействия на купечество. При таких условиях и в «Колоколе» надо было говорить о предметах, могущих заинтересовать читателей, а вовсе не о тех, которые интересовали самих Огарева и Нечаева. С каждой группой русского общества нужно было вести разговор о вопросах, ей близких, и языком, для нее понятным. Организаторы агитационной кампании и старались достичь этого. Правда, это им плохо удавалось (надо было обладать большой наивностью, чтобы верить в возможность достижения эффекта при помощи изданных ими прокламаций), но они делали все, что могли, в меру своего понимания.

Как мы уже указывали, № 6 «Колокола» вышел 9 мая, после чего издание «Колокола» приостановилось. Причины этого до сих пор не вполне выяснены. Возможно, что в этом деле известную роль сыграло вмешательство Бакунина.



К. К. СЛУЧЕВСКИЙ

Фотография

Литературный музей, Москва

Еще в № 2 «Колокола» было напечатано его письмо в редакцию, в котором Бакунин, живший в то время в Локарно и потому лишенный возможности принимать непосредственное участие в делах «Колокола», писал: «Прочитав со вниманием первый номер возобновляемого вами «Колокола», я остался в недоумении. Чего вы хотите? Ваше знамя какое? Ваши теоретические начала какие, и в чем именно состоит ваша последняя цель? Одним словом, какой организации желаете вы в будущем для России? Сколько я ни старался найти ответ на этот вопрос в строках и между строками вашего журнала, признаюсь и скорблю, что я ничего не нашел. Что вы такое? Социалисты или поборники эксплоатации народного труда? Друзья или враги государства? Федералисты или централизаторы?»

От этих сомнений Бакунина редакция «Колокола» отмахнулась мало вразумительной фразой: «Редакция позволяет себе думать, что при единодушном ведении борьбы с существующим порядком важность самого дела сгладит и примирит все противоречия между серьезными людьми разных партий». Конечно, эти слова не были достаточным ответом на прямо поставленный Бакуниным вопрос. Однако из самого содержания последующих номеров «Колокола» Бакунин мог точно выяснить

себе программу этого журнала и убедиться, что она не имеет ничего общего с программой самого Бакунина. Это не могло не вызвать горячих протестов со стороны последнего. Он, повидимому, писал по этому поводу Огареву и заставил его серьезно задуматься, правильно ли и целесообразно ли ведется «Колокол». В ответ на его сомнения Нечаев ограничился руганью по адресу Бакунина и насмешками над ним [165]. Однако на Огарева это не подействовало. Он слишком давно и хорошо знал Бакунина, чтобы разорвать свою дружбу с ним, и потому он стал настаивать на необходимости изменить программу «Колокола». Эмигрант С. Серебренников в своей записке о Нечаеве сообщает, что по требованию Бакунина «Колокол» должен был сделаться «открытым и чистосердечным» органом «социализма» [166]. Этим и объясняется приостановление «Колокола». Однако наладить вновь издание этого журнала с измененной программой не удалось.

Попытки Нечаева дискредитировать Бакунина, надо думать, произвели на Огарева тяжелое впечатление. К этому присоединились и другие факты, понизившие авторитет Нечаева в глазах Огарева. Во-первых, не довольствуясь получением бахметевского фонда, Нечаев намеревался требовать от наследников Герцена проценты на него за все время нахождения денег в распоряжении Герцена, обвиняя последнего в «скрытии» этих процентов [167]. Во-вторых, Нечаев стал подговаривать Генри Сэтерленда, к которому Огарев относился, как к сыну, вступить в бандитскую шайку, которую Нечаев намеревался организовать в целях ограбления туристов, путешествующих по Швейцарии.

Под влиянием этих фактов Огарев присоединился к требованию Бакунина (у которого были и свои причины быть недовольным Нечаевым), чтобы Нечаев покинул пределы Швейцарии. Нечаев согласился, но перед отъездом украл у Огарева, Бакунина и Н. А. Герцен ряд документов, которые, по мнению Нечаева, могли компрометировать этих лиц. В сентябре 1870 г. Огарев узнал об издании Нечаевым в Лондоне № 1 журнальчика «Община», в котором было помещено открытое письмо Нечаева к Бакунину и Огареву с требованием передачи ему оставшейся у Огарева части бахметевского фонда. В этом письме Нечаев отказывался «от всякой политической солидарности» со своими бывшими сотоварищами по агитационной работе и выражал надежду, что они никогда более не выступят «как практические деятели русской революции». В передовой же статье «Общины» Огарев прочитал следующие строки:

«Поколение, к которому принадлежал Герцен, было последним, заключительным явлением либеральничающего барства. Его теоретический радикализм был тепличным цветком, пышно распустившимся в тепличной температуре обеспеченной жизни и быстро увядшим при первом соприкосновении с обыкновенным реальным воздухом практического дела. Они критиковали, осмеивали существующий порядок с язвительной салонной ловкостью, утонченным политическим языком. Их занимал самый процесс этой критики. Они были довольны своими ролями».

Вот как любимый Огаревым «внучек» понял и оценил своего «деда» по революции.

В одном из писем к Т. Куно Энгельс писал «Нечаев... либо русский агент-провокатор, либо, во всяком случае, действовал как таковой» [168]. Мы знаем теперь, что агентом-провокатором Нечаев не был, но что он «действовал как таковой», это несомненно. Человек, бесспорно преданный делу революции и отдавший на служение ей всю свою жизнь, Нечаев принес революционному делу больше вреда, чем пользы. Широко практикуемые им ложь и мистификации, его стремление подчинять всех своей воле, его нетоварищеское отношение к тем, с кем ему приходилось работать, вносили дезорганизацию в немноголюдную в его время среду революционных деятелей. Эти черты Нечаева ярко проявились в его взаимоотношениях с Огаревым. В одном из писем к Огареву Бакунин писал о своем и его участии в нечаевской эпопее: «Нечего сказать, были мы дураками, и как бы Герцен над нами смеялся, если бы был жив, и как бы он был прав ругаясь над нами» [169].

К сожалению, Бакунин и Огарев поняли это слишком поздно.

Что же касается Огарева, то на него нечаевская история произвела столь сильное впечатление, что он навсегда отказался от всякого участия в революционной работе, хотя и не перестал живейшим образом интересоваться судьбами революционного движения в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пятидесятых и в начале шестидесятых годов Герцен и Огарев в своей политической деятельности не свободны были от ряда иллюзий. Считая дворянство наиболее развитым, сознательным и просвещенным классом в России, они полагали, что в силу этого именно ему суждено играть руководящую роль в политической жизни страны. Однако глубокая общественная реакция, вызванная в России польским восстанием 1863 г., заставила их пересмотреть свою точку зрения. Первым из них заговорил на эту тему Огарев. Еще в 1863 г. он заявил, что будущее России находится в руках так называемых разночинцев; в силу своей бли-

зости к народу они призваны быть идейными и политическими вождями народной массы. «С понижением дворянства, — писал Огарев, — силою, умственною силою становятся разночинцы» [170]. К этой точке зрения присоединился и Герцен. В 1864 г. в статье «VII лет» он заговорил о «новой России», о «среде, затерянной между народом и аристократией». «Она состоит, — писал он, — из всего на свете — из разночинцев и поповских детей, из дворян-пролетариев, из приходских и сельских священников, из кадет, студентов, учителей, художников; в нее рвутся пехотные офицеры и иной кантонист, писаря, молодые купцы, приказчики... в ней образцы и осколки всего плавающего в России над народным раствором». Этой среде Герцен отводит важную общественную роль. «Ей достается великое дело развития народного быта из неустроенных элементов его зрелой мыслью и чужим опытом. Она должна спасти народ русский от него самого» [171]. «La roture [разночинцы] — единственная гавань, в которую можно спрыгнуть с тонущего дворянского судна» [172].

С представителями этой «новой России» Герцену и было суждено встретиться в 60-х годах в эмиграции. Казалось бы, в них он должен был найти естественных помощников и продолжателей своего дела. Однако этого не вышло. Встреча революционеров из дворянства с революционерами-разночинцами закончилась разрывом и взаимным озлоблением. И общий строй их жизни и их политические убеждения помешали им сблизиться. Разночинцы принесли с собой глубокую ненависть к дворянству и резкое отрицание всей дворянской культуры, а в Герцене и Огареве они обнаружили слишком много черт, напоминавших об их социальном происхождении. Вина в неумении сработаться в видах общей борьбы за дело революции падает на обе стороны. Если Герцен неприязненно, и даже враждебно, отнесся к вполне естественным особенностям того общественного слоя, из которого вышли представители «молодой эмиграции», то и последние также несут ответственность за разрыв, поскольку они, не понимая важного значения идейного «наследства», не хотели взять из дворянской культуры даже того, что было в ней безусловно ценного. При таких условиях мелочи, которые не имели никакого реального значения, на которые не следовало бы обращать внимания, приобретали часто в глазах обеих сторон чрезмерную важность.

«Общее между нами было слишком обще... — писал Герцен в «Былом и думах» о молодых эмигрантах. — О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила. Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но при всей искренности, это было не в самом деле. Они ждали, чтобы мы формулировали их собственное мнение, и только в том случае соглашались, когда высказанное нами нисколько не противоречило ему. На нас они смотрели, как на почтенных инвалидов, как на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них» [173]. Нельзя отрицать наличности в этих словах Герцена большой дозы правды. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить характерное свидетельство Л. И. Мечникова о существовании в молодой эмиграции людей, которые ставили Герцена как писателя ниже... Элпидина... «У Элпидина, — говорили они, — только нет остроумия Герцена, но зато сколько же взятых с крестьян денег истрачено на литературное воспитание Герцена» [174].

«Большею частью они, — писал Герцен про молодых эмигрантов, — не имели той выправки, которую дает воспитание, и той выдержки, которая приобретается научными занятиями. Они торопились в первом задоре освобождения сбросить с себя все условные формы и оттолкнуть все каучуковые подушки, мешающие жестким столкновениям. Это затруднило все простейшие отношения с ними» [175].

И в этих словах Герцена нельзя отрицать доли правды. Хорошо известно, что нарочитой грубостью нравов и выражений разночинцы 60-х годов старались подчеркнуть свое отрицание культуры господствующего класса. Это было явление временное, но для эпохи 60-х годов весьма характерное. Очень показательную, хотя, несомненно, и шаржированную картину нравов русских эмигрантов той поры мы находим в воспоминаниях П. Д. Боборыкина. В конце 60-х годов на одном из конгрессов Лиги мира и свободы он встретился с Н. И. Утиным, которого знал еще по Петербургу. Утин был окружен молодыми дамочками и девицами. «Они все, — рассказывает Боборыкин, — говорили друг другу «ты» и употребляли особый жаргон, окликая себя: «Машка!», «Сашка!», «Варька!». Мне привелось долго вбирать в себя этот жаргон, очутившись с ними в одном вагоне, уже после конгресса. Всю дорогу они желали «épater» (как говорят французы) умышленной вульгарностью своих выражений. Дорогой они ели фрукты. И все эти дамы не иначе выражались, как: «Мы лопали груши» или «Мы трескали яблоки». Немало был я изумлен, когда года через два в Петербурге встретился в театре с одной из этим дам «лопавших» груши, которая оказалась супругой какого-то не то предводителя дворянства, не то председателя земской управы. Эта короста со многих слетела, и все эти Саньки, Машки, Варьки сделались, вероятно, мирными обывательницами» [176].

Герцена не могла не возмущать такая подчеркнутая грубость, и он был склонен придавать ей чрезмерное значение, не понимая, что подобная «болезнь левизны» — явление скоропреходящее. Художнику Н. Н. Ге Герцен жаловался на то,

что в Женеве без всякой надобности эмигранты кричали ему через улицу: «Герцен! Герцен! Будете дома?», чтобы только показать: «Вот как мы его третируем»[177]. А между тем весьма возможно, что у окликавших Герцена вовсе и не было такого намерения, что они и не подозревали о возможности быть понятыми так, как понял их Герцен.

Подобные бытовые мелочи без всякой нужды осложняли взаимные отношения и углубляли рознь, выросшую на почве идейных расхождений. Мы говорили уже о страшном озлоблении Герцена против эмигрантов, доведшего его до ряда глубоко несправедливых отзывов и прямых ругательств по их адресу. Однако, мы знаем и то, что под конец своей жизни Герцен нашел в себе силы преодолеть свое озлобление. Характерно, что при этом он обратился к людям, которых считал самыми заклятыми своими врагами: Утину, Серно-Соловьевичу и Якоби. Такой выбор не был случайным: Герцен хорошо понимал, что эти три человека были наиболее крупными и серьезными людьми в рядах «молодой эмиграции».

С другой стороны, и среди «молодой эмиграции» наметился перелом в отношениях ее к Герцену. Об этом свидетельствует цитированная анонимная брошюра, посвященная памяти Герцена. Автор ее высоко расценивал и личность и политическую деятельность Герцена. Он писал:

«Вся жизнь его представляет удивительно гармоническое целое, угловатости, приходившие извне, сглаживались, перерабатывались и не нарушали цельности характера Герцена... Явятся другие, с горячей любовью к делу, люди честные, энергичные, но того значения, которое имел «Колокол», не будет иметь ни один обличительный орган, какое бы ни имел крайнее направление. Сила влияния Герцена с 1858 по 1868 год заключалась именно в той сдержанности, упругости его мысли, пластичности выражения ее; он таил в душе, подчас, накипавшее негодование, чтобы не истратиться до поры напрасной злобой на лиц, которые держали судьбы народа: во имя этого народа он сдерживал себя, говоря с царем»[178].

Конечно, не все эмигранты и после смерти Герцена разделяли такую точку зрения на него. Тем не менее, анонимная брошюра — явление симптоматическое. Она служит доказательством того, что и среди «молодой эмиграции» начинало складываться более справедливое и объективное отношение к личности и деятельности Герцена.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Русские эмигранты». — «Московские Ведомости», 1873 г., № 12. Автором этой статьи, напечатанной без подписи, был упомянутый выше Е. К. Гижицкий, деятельный участник студенческого движения 1861 г. в Москве, сосланный в связи с этим в Мензелинск и бежавший оттуда в мае 1863 г. за границу. После напечатания статьи «Русские эмигранты», полной сплетен и клеветы на эмиграцию, он получил разрешение вернуться в Россию, о чем ранее хлопотал безуспешно. Его перу принадлежат содержательные и интересные, несмотря на свою тенденциозность, воспоминания о московском студенческом движении 1861 г., напечатанные в 1874 г. в «Гражданине».

[2] Дело III Отделения, I экспедиции, 1862 г., № 239, ч. 10. Доклад следственной комиссии, лл. 53—54.

[3] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890 г., стр. 319.

[4] Н. А. Добролюбов, Дневники. 1851—1859, под ред. В. Полянского, изд. 2-е, М., 1932 г., стр. 256—257.

[5] Имеются в виду «Письмо из провинции» к Герцену «русского человека», напечатанное в № 64 «Колокола» за 1860 г. и до сих пор многими ошибочно приписываемое Чернышевскому, и ответ Герцена на это письмо.

[6] «Политические процессы 60-х годов», под ред. Б. П. Козьмина, М.—П., 1923 г., стр. 263—264.

[7] Отметим, что редакторы «Избранных сочинений» Д. И. Писарева, изд. Гослитиздата, включая его прокламацию в т. I своего издания (стр. 321—326), почему-то сочли необходимым придать ей название прокламации Мошкалова. В действительности же прокламация Писарева не имела никакого заглавия.

[8] Письмо Ю. Ф. Самарина Герцену от 3 августа 1864 г. — «Русь», 1883 г., № 1.

[9] О русской колонии в Гейдельберге см. М. Волзовский, Из Гейдельберга, — «Библиотека для чтения», 1864 г., № 4—5; У. Из Гейдельберга, — «Библиотека для чтения», 1864 г., № 6; С. Сватиков, Русские студенты в Гейдельберге, — «Новый журнал для всех», 1912 г., № 12; Ю. Кашкин, В Гейдельбергском университете, — «Голос Минувшего», 1923 г., № 2.

[10] См. записку III Отделения, датированную 30 мая 1863 г., в деле следственной комиссии № 2. В Политехнической школе в Карлсруэ III Отделение насчитывало русских студентов — 51, но из них с русскими фамилиями было лишь 5—6 человек; остальные же — немцы русского подданства. Студенты Карлсруэ, в отличие от гейдельбергских студентов, не принимали близкого участия в делах эмиграции.

[11] В. И. Модестов, Заграничные воспоминания, — «Исторический Вестник», 1883 г., № 2, стр. 399.

[12] Герцен, т. XVI, стр. 72; Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, ч. I, СПб., 1905 г., стр. 327.

[13] Герцен, т. XV, стр. 475.

[14] Там же, стр. 474—475; «Воспоминания протоиерея Базарова», — «Русская Старина», 1901 г., № 8, стр. 241—242.



МОГИЛА ГЕРЦЕНА В НИЦЦЕ

Эскиз маслом О. Браза, 1898 г.

Литературный музей, Москва

[15] Письма И. С. Тургенева к К. К. Случевскому опубликованы в «Щукинском сборнике», вып. VII, М., 1907 г., стр. 319—322.

[16] Герцен, т. XIX, стр. 80.

[17] См. показания Константинова в деле высочайше учрежденной следственной комиссии, 1866 г., № 311, «о лицах, участвовавших в деятельности русской читальни, устроенной в Гейдельберге», лл. 30—34.

[18] А. Е. Кауфман, За кулисами печати, — «Исторический Вестник», 1913 г., № 7, стр. 110.

[19] В 1863 г. в № 6 «Современника» Новицкий напечатал свои школьные воспоминания «Кое-что из жизни заскамейной». Впоследствии он сотрудничал в газетах «Голос» и «Новости» и одно время был редактором второй из них.

[20] Вышесказанное дело следственной комиссии, лл. 25—27.

[21] Там же, лл. 70 и следующие.

[22] Подробнее о подозрениях насчет Новицкого см. в «Свободном Слове», 1862 г. № 7—8; в № 151 «Колокола», в «Листке, издаваемом кн. П. Долгоруковым», 1862 г., № 2, стр. 14—15 и 1863 г., № 5, стр. 37—38.

[23] См. С. Г. Сватиков, Из воспоминаний о Е. В. де-Роберти, — «День», 1915 г., № 119.

[24] С. Г. Сватиков, там же; его же — «Русские студенты в Гейдельберге», — «Новый журнал для всех», 1912 г., № 12, стр. 76.

[25] С. Г. Сватиков, Студенческая печать с 1755 по 1915 год. Сборник «Путь студенчества», М., 1916 г., стр. 220.

[26] М. Волзовский, Из Гейдельберга, — «Библиотека для чтения», 1864 г., № 4—5, стр. 24.

[27] Иначе передает обстоятельства, предшествовавшие прекращению журнала и увольнению де-Роберти и Преженцова из университета, корреспондент «Библиотеки для чтения». По его словам, на похоронах одного студента «наши соотечественники вели себя, нельзя сказать, чтобы прилично, — они продолжали «борьбу партий». В результате этого три представителя петербургской партии, в том числе и издатель журнала [несомненно имеется в виду де-Роберти. — *Б. К.*] были посажены университетским начальством в карцер, и им грозит увольнение из университета». У. Из Гейдельберга, — «Библиотека для чтения», 1864 г., № 6, стр. 19.

[28] Об этом см. в вышецитированном деле следственной комиссии № 2.

[29] Л. Г., — автор корреспонденции из Гейдельберга, помещенной в № 135 «Голоса» за 1870 г., — сообщал, что количество русских студентов в этом городе резко понизилось по сравнению с началом 60-х годов; русская читальня уцелела, но влачила жалкое существование. Корреспондент с удовлетворением отмечал, что «изданий, вроде полуразбитого «Колокола» или яростной «Народной Расправы», в читальне, конечно, не получается».

[30] Герцен, т. XI, стр. 373.

[31] Революционная деятельность А. А. Серно-Соловьевича подробно освещена в моей статье «А. А. Серно-Соловьевич в I Интернационале и в Женевском рабочем движении», напечатанной в «Историческом сборнике» Академии Наук СССР, кн. V, стр. 77—123.

[32] Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, М.—Л., 1928 г., стр. 322.

[33] Касаткин перечисляет в этом письме: № 89 «Колокола» со статьей Огарева «На новый год», 2-ую книжку «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лондоне» (Л., 1861 г.) и шестую книжку «Полярной Звезды».

[34] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», СПб., 1906 г., стр. 194—195. Подчеркнуто Бакуниным.

[35] Герцен, т. XVI, стр. 230—231.

[36] Там же, стр. 232—233.

[37] Герцен, т. XVII, стр. 15.

[38] Герцен, т. XV, стр. 129. Подчеркнуто Герценом.

[39] Там же, стр. 369.

[40] Там же, стр. 474.

[41] Там же, стр. 369, 474, 545.

[42] Герцен, т. XVI, стр. 489.

[43] Там же, стр. 74.

[44] Это письмо Тхоржевского см. там же, т. XV, стр. 541. Впрочем, М. К. Лемке воспроизводит его с пропусками, которые мы считаем нужным восстановить. После абзаца, кончающегося словами: «без денег etc., etc.» — следовало: «Черкесов вместе с Серно-Соловьевичем уехал [из Лондона] в Париж и с ним в Неаполь. Мих[аил] Алек[сандрович Бакунин] здоров и делен. Насчет записок декабристов, если будут печатать в Лондоне, непременно Чернецкий сделает так, как вам нужно; но вещь еще не решена» [Касаткин просил отпечатать для него несколько экземпляров этой книги на бумаге различных цветов]. После абзаца, кончающегося словами: «продал в Берлин», следовало: «4-ый т[ом] Раскольников на днях выйдет. Я, слава богу, здоров — дай бог только дела как-нибудь устроить и переслать оружие [подчеркнуто Тхоржевским]. Вчера из радости много глупостей я наделал, и потому сильно голова болит. Жду от вас ответа и жму руку вам. Станислав». См. дело следственной комиссии № 67.

[45] Герцен, т. XV, стр. 568.

[46] Герцен, т. XVI, стр. 68—69. Подчеркнуто Герценом.

[47] Там же, стр. 149 и 202.

[48] Герцен, т. XV, стр. 568.

[49] Запискам Пиотровского в этом издании предпослано предисловие, подписанное: «Великоруссы». В этом предисловии объясняется цель издания записки Пиотровского в русском переводе. «Желая познакомить русских читателей с записками польских изгнанников и биографией польских мучеников, мы предприняли перевести или сократить с польского самые замечательные из них... Записки польских изгнанников... дадут понятие о том состоянии, в которое ввергнута несчастная польская нация, угнетенная, задавленная, растерзанная, но не уничтоженная и не порабощенная».

Далее автор предисловия обвиняет русское общество в том, что оно позволяет правительству безнаказанно угнетать поляков.

«Мы, русские, говорим беспрестанно: правительство думает прикрыть отвлеченным и широким словом собственную несостоятельность, слабость, бессознательность и постыдное малодушие. Но что такое правительство? Ведь оно не состоит из

одного Александра Николаевича, который, несмотря на многие свои недостатки, не только не кровопийца и не изверг, но даже добрый человек, неспособный сам рубить безоружный народ, колоть штыками детей и женщин, засекать нагайками до полусмерти. Правительство не состоит также из одних министров, многие из которых люди честные и порядочные. Правительство это совокупность множества людей, занимающих видные и невидные места, следовательно, это значительная часть самого нашего общества». В русском обществе широко распространен один «предрассудок». «Он опирается на мнимом т[ак] наз[ываемом] величии России, кот[орое] понимается совершенно превратно и состоит только в том, чтобы ценою крови, общего презрения и негодования всего образованного мира сохранить неприкосновенно свои прежние завоевания, настоящие свои границы... Как будто из того, что мы проливали кровь, желая захватить чужое, следует опять лить кровь, чтобы сохранить чужое... Пусть рус[ские] чит[атели] не смущаются и умеют понять ненависть поляков к москалям... Поляки не имеют понятия о русских, из русских они знают только начальников, грабителей и извергов, которых им присылает петербургское правительство». «Всякий, у кого в груди бьется честное сердце, — продолжает автор предисловия, — у кого в голове есть ум, не отуманенный теориями солдатского самоуправства, поймет, как унизительны и позорны для всей нашей нации неистовства армии и беззакония и жестокости администрации... Мы бы желали, чтобы молодые люди наши, прочитав страницы, преисполненные любви к отечеству, научились воздавать честь и почет тем, которые безвестно, один после другого, умирали за независимость, свободу и благо родины, чтобы, одушевленные теми же чувствами, приготовились в случае нужды итти бестрепетно на мучения и казнь за то же святое дело».

Кто был автор этого предисловия, неизвестно.

Он упоминает о своем «долгом пребывании в Варшаве» и, говоря о петрашевцах, причисляет себя к «современникам и ровесникам этих благородных сынов России». В рядах тогдашней эмиграции был лишь один «ровесник» петрашевцев — это В. И. Касаткин, родившийся около 1831 г. Жил ли он «долгое» время в Варшаве, неизвестно, так как биография его до сих пор не изучена. Неопубликованные письма его к Е. И. Якушкину показывают, что он владел польским языком. Таким образом, возможно, что предисловие к запискам Р. Пиотровского было написано им. Однако это только догадка, настаивать на которой нет оснований.

50 Герцен, т. XVI, стр. 241.

51 Там же, стр. 538 и 540.

52 Там же, стр. 436.

53 Цитируемые в нашей работе неизданные письма Утина к Герцену и Огареву в фотокопиях находятся в Литературном музее.

54 Дело следственной комиссии, № 302.

55 Герцен, т. XVI, стр. 516.

56 Гижицкий писал о Николадзе: «В Женеве он выдавал себя за какого-то таинственного эмигранта, который даже и словом не может намекнуть на свое политическое преступление. А между тем, все его политическое преступление состояло в том, что он в Петербурге был знаком с одним политическим преступником» (т. е. Чернышевским). «Московские Ведомости», 1873 г., № 14, статья «Русские эмигранты».

57 Герцен, т. XVIII, стр. 3.

58 Подчеркнуто Утиным.

59 «Народное Дело», 1869 г., № 7—10, стр. 110.

60 Герцен, т. XVII, стр. 56, 158.

61 Герцен, т. XVI, стр. 515, 538.

62 Там же, стр. 540, 542.

63 Там же, стр. 538.

64 Герцен, т. XVII, стр. 344.

65 Там же, стр. 63—64, 69.

66 Там же, стр. 144—145.

67 Подчеркнуто Утиным.

68 Герцен, т. XVIII, стр. 150. Об отце Лугинина см. в № 16—18 «Литературного Наследства», 1934 г., стр. 657—678, где помещены отрывки из его дневника, в которых Ф. Н. Лугинин рассказывает о своих встречах в Кишиневе с Пушкиным.

69 Дело следственной комиссии, № 67, письмо от 10 мая 1863 г.

70 А. П. Суслова, Годы близости с Достоевским, М., 1928 г., стр. 87. 26 августа 1866 г. Герцен писал сыну о Лугинине: «Он в крайнем озлоблении против России, хочет поселиться в Париже и «если можно», постарается забыть по-русски». Герцен, т. XIX, стр. 44; почти в тех же выражениях сообщает Герцен о Лугинине в письме Огареву от 27 августа 1866 г. (там же, стр. 45—46): «Лугин[ин] в страшном, фанатическом озлоблении на Россию; назад ехать не хочет и старается забыть по-русски».

71 «Летописи Марксизма», 1927 г., № 3, стр. 92, 94, 97.

[72] Герцен, т. XVII, стр. 333.

[73] А. П. Суслова, Годы близости с Достоевским, М., 1928 г.

[74] П. А. Гайдебуров, Из прошлого «Недели». — Книжки «Недели», 1893 г., № 1, стр. 16.

[75] О. Хвольсон, Степан Александрович Усов, — «Русская Школа», 1890 г., № 8. Об Усове см. также «Исторический Вестник», 1890 г., № 10, стр. 277, и Д. Д. Языков, Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц, вып. X, М., 1907 г., стр. 76.

[76] Герцен, т. X, стр. 154.

[77] А. П. Суслова, Годы близости с Достоевским, М., 1928 г.

[78] Герцен, т. XVIII, стр. 58, 71.

[79] Не лишенное интереса сообщение о пансионе Шелгуновой мы находим в неопубликованном дневнике Ф. Н. Лугинина, который попал в ее пансион в 1865 г., когда она переехала уже в Женеву; в этом пансионе в то время жил В. Ф. Лугинин, на свидание с которым и приехал его отец. Ф. Н. Лугинин, по приезде в Женеву 27 июля 1865 г., отправился на дачу «Oltromare» по адресу сына. «Володи, — пишет он, — я не нашел, он поутру отправился в горы на экскурсию, но я был удивлен, что меня встретили все русские и, именно, один молодой человек Черкесов показал мне прекрасную комнату, приготовленную мне Володей. Оказалось, что это русский пансион, в котором живет несколько приятелей Володи, и где Володя поселился. Дача прекрасная, дом в саду с большими каштанами, грецкими орехами, и другими большими деревьями. Содержит этот пансион одна русская госпожа Щелгунова (sic!), которая теперь в отсутствии, и пансионом этим теперь заправляет одна княгиня Голицына, молодая дама, которой Черкесов и представил меня. Черкесов — русский помещик, давно уже живущий за границей. Мы ходили с ним гулять по даче и в самый город Женеву. Потом меня покормили часу в 7-м и часу в 9-м пили чай под председательством княгини Голицыной: я, Черкесов и еще один русский—Якоби. Часу в 10-м пришел я в свою комнату... Часу в 12-м уже возвратился Володя из своей горной экскурсии... У Володи своя комната вместе с Черкесовым». Далее старик Лугинин сообщает, что кроме перечисленных лиц в пансионе жили поляк Ржонсницкий, одно английское семейство и русский, по фамилии Раевский. На другой день отец и сын Лугинины, в сопровождении А. А. Черкесова, ходили к банкиру и по дороге встретили Герцена. «Володя с Черкесовым остановились разговаривать с ним; Герцен заговорил и со мною и подал мне руку; в разговор с ним я вступил, т. е. перемолвились несколькими словами, но от принятия руки его для... (одно слово неразобрано) уклонился». Характерно, что старик Лугинин, прожив в пансионе Шелгуновой полмесяца, не понял, кто его окружает. Ему осталось неизвестным, что Ржонсницкий — польский эмигрант, что Черкесов называл себя «помещиком» лишь потому, что у его родителей был участок земли в Новгородской губ., и что «княгиня Голицына» — сестра известного сотрудника «Русского Слова», а позднее эмигранта В. А. Зайцева, фиктивно вышедшая замуж за кн. А. С. Голицына (причастного к некоторым предприятиям петербургских революционных кругов того времени), а затем оставившая мужа и сделавшаяся женой П. И. Якоби, вместе с которым она и жила в Женеве.

[80] Гижицкий, Русские эмигранты, «Московские Ведомости», 1873 г., № 14.

[81] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896 г., стр. 530.

[82] Герцен, т. XVII, стр. 431, 432; т. XVIII, стр. 5—6, 8—9.

[83] А. А. Серно-Соловьевич, Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью «Порядок торжествует», Веве, 1867 г.

[84] Об Элпидине и его деле см. Б. Козьмин, Революционное подполье в эпоху «белого террора», М., 1929 г., стр. 11—13.

[85] Сборник «Звенья», кн. 6-я, М., 1936 г., стр. 396—397.

[86] О сотрудничестве эмигрантов в «Колоколе» см. ниже в обзоре М. Клевенского «Герцен-издатель и его сотрудники».

[87] Герцен, т. XVIII, стр. 10. Подчеркнуто нами.

[88] Там же, стр. 14 и 82.

[89] Образец такой акции напечатан там же, стр. 58.

[90] Там же, стр. 57 и 60.

[91] Там же, стр. 305.

[92] «Московские Ведомости», 1873 г., № 12.

[93] Герцен, т. XIX, стр. 64.

[94] Там же, стр. 315, 317.

[95] «Московские Ведомости», 1873 г., № 14.

[96] См. письмо Герцена Вормсу на стр. 273—274, XIX т. сочинений Герцена. М. К. Лемке не удалось установить фамилию адресата этого письма.

[97] Герцен, т. XVIII, стр. 374—381.

[98] Там же, стр. 415—416.

[99] Там же, стр. 218.

[100] Эти прокламации см. Герцен, т. XVIII, стр. 383—386. М. К. Лемке вы-

сказывал предположение, что автором прокламации был эмигрант-маниак А. М. Колобов, который в 1876 г. издавал в Женеве «политико-религиозный» журнал «Вестник Правды». Это предположение совершенно ошибочно, так как Колобов эмигрировал лишь в начале 1876 г., а в 1866 г. находился в России. В 1867 г. он был выслан в Кадников за пропаганду сектантского учения А. Пушкина.

[101] Герцен, т. XVIII, стр. 432.

[102] Герцен, т. XIX, стр. 61, 351.

[103] Там же, стр. 94.

[104] Там же, стр. 96—97.

[105] Герцен, т. XVIII, стр. 429—430.

[106] См. письмо Огарева от 7 февраля 1867 г. — «Литературное Наследство», № 39—40, стр. 429; далее при цитатах из писем Огарева к Герцену, опубликованных здесь, указываем только страницу.

[107] Герцен, т. XIX, стр. 226—227.

[108] См. письмо Огарева от 4 марта 1867 г., стр. 434.

[109] Герцен, т. XIX, стр. 236, ср. стр. 239.

[110] См. стр. 430. Подчеркнуто нами.

[111] Герцен, т. XIX, стр. 275.

[112] Там же, стр. 107—133.

[113] Этот факт устанавливается неопубликованным письмом Н. И. Утина к Н. П. Огареву от 14 февраля 1867 г.

[114] Герцен, т. XIX, стр. 128.

[115] Там же, стр. 126.

[116] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 467.

[117] Герцен, т. XVIII, стр. 406—407.

[118] Герцен, т. XIX, стр. 331—332. Подчеркнуто Герценом.

[119] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 314—315.

[120] Письмо от 25 января 1867 г., см. стр. 426.

[121] Герцен, т. XIX, стр. 192. Подчеркнуто Герценом.

[122] Там же, стр. 293. Подчеркнуто Герценом.

[123] Эту брошюру мы перепечатываем ниже, стр. 165—177.

[124] Герцен, т. XIX, стр. 308.

[125] См. письмо от 1 января 1868 г., стр. 483.

[126] Герцен, т. XX, стр. 128.

[127] Там же, стр. 164.

[128] 11 августа 1869 г. Герцен писал Огареву о Трусове, бывшем секретарем «Народного Дела»: «Вели ему сказать, что за минованием интереса, я прошу возвратить мою статью» (Сочинения, т. XXI, стр. 422—423). В другом письме, от 13 декабря 1869 г., Герцен просил Огарева достать через Жуковского «рукопись моей статьи, которую Утин обещал напечатать, или хоть набор, который я поправлял». При этом Герцен добавлял: «После тридцатилетнего путешествия по блатам и дебрям журналистики, русской и парижской, я в первый раз встретил грубый прием своей статье, идущий до того, что редакция даже не извинилась в непомещении и не отметила, что она имела статью. Это делал Бюлоз, Делеклюз, не говоря о Прудоне. Этого не сделал канцлер редакции Трусов» (там же, стр. 535).

[129] Цитирую письмо Утина по фотоснимку с заверенной Трусовым и пересланной им Герцену копии этого письма. Фотоснимок хранится в настоящее время в Литературном музее.

[130] См. письмо Герцена Утину в собр. соч., т. XXI, стр. 414—415. Публикуя это письмо, М. К. Лемке не установил, кому оно адресовано, и потому напечатал его как письмо «к неизвестному».

[131] М. О. Гершензон, Письма к брату, М., 1927 г., стр. 150—151.

[132] См. стр. 176 настоящего тома.

[133] Сведения о времени заграничной поездки В. Ф. Лугинина заимствуем из неопубликованного дневника его отца.

[134] Герцен, т. XXI, стр. 229 и 231.

[135] Там же, стр. 364.

[136] См. письмо от 30 апреля 1869 г., стр. 554.

[137] Письма от 1 и 3 апреля 1869 г., см. стр. 545—546. Подчеркнуто мною. Послание к студентам, полученное Огаревым и им направленное немедленно в типографию, — прокламация «Студентам университета, Академии и Технологического института в Петербурге», подписанная — «Ваш Нечаев». Эта прокламация перепечатана в «Правительственном Вестнике», 1871 г., № 163, в отчете о процессе нечаевцев и в статье С. Сватикова, Студенческое движение 1869 г., в сборнике «Наша страна», СПб., 1907 г., стр. 228—231. Вопреки предположениям некоторых историков, доказывавших, что эта прокламация была в действительности написана не Нечаевым, а Бакуниным, письма Огарева к Герцену бесспорно устанавливают, что автором ее был Нечаев и что она была написана им до знакомства с Бакуниным.

[138] Газета «Неделя» в это время была приостановлена правительством.

[139] Письмо от 7 апреля 1869 г., см. стр. 547.

140 Проект этой прокламации мы находим в письме Огарева Герцену от 12 апреля 1869 г., см. стр. 548.

141 См. письмо Герцена Огареву 16 апреля 1869 г. (Герцен, т. XXI, стр. 365—366).

142 Эта прокламация («Русские студенты») неоднократно перепечатывалась («Правительственный Вестник», 1871 г. № 163; сборник «Наша Страна», стр. 223—224, и др.). Обычно она ошибочно приписывалась Бакунину.

143 Прокламация «Наша повесть», мало кому из исследователей известная, перепечатывается в настоящем томе «Литературного Наследства», в составе публикации Е. Н. Кушевой, стр. 121.

144 См. стр. 554.

145 Герцен, т. XXI, стр. 372.

146 Там же, стр. 374—375. Подробнее об этом см. в комментариях Е. Н. Кушевой к «Нашей повести», стр. 127—128.

147 Письмо от 5 мая 1869 г., стр. 555.

148 Герцен, т. XXI, стр. 356. М. К. Лемке ошибочно относит этот отзыв к прокламации Огарева «Русские студенты».

149 Н. А. Огарева-Тучкова, Воспоминания, Л., 1929 г., стр. 411. Т. П. Пассек, со слов той же Н. А. Огаревой, пишет: «Нечаев был до того антипатичен Герцену, что он постоянно отдалял его и никогда не допускал в свое семейство. Если же Нечаев появлялся у него в доме, то говорил своим: «Ступайте куда хотите — вам незачем видеть эту змею». Т. П. Пассек, Из дальних лет, т. III, СПб., 1889 г., стр. 143.

150 Подробнее об этом см. Б. Козьмин, С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг., — в сборнике «Революционное движение 1860-х годов», М., 1932 г., стр. 204—216.

151 Герцен, т. XXI, стр. 377.

152 Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, Л., 1929 г., стр. 409.

153 Герцен, т. XXI, стр. 409, 411—412.

154 Обе эти прокламации впервые перепечатываются в настоящем номере «Литературного Наследства». В комментариях к ним Е. Н. Кушевой дано обоснование вероятного авторства Огарева. См. стр. 129—131 и 139—145.

155 Герцен, т. XXI, стр. 534.

156 Там же, стр. 409.

157 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 360.

158 Герцен, т. XXI, стр. 549. По сообщению Г. П. Пассек, Герцен боялся, что Нечаев убьет его, получив отказ в выдаче остатка бахметевского фонда. «Из дальних лет», т. III, стр. 143.

159 «Письма М. А. Бакунина», стр. 369. Подчеркнуто Бакуниным.

160 Ряд этих прокламаций впервые перепечатывается в настоящем номере «Литературного Наследства»; см. стр. 140—141. Прокламация к дворянству (в двух вариантах) была перепечатана мною в «Красном Архиве», 1927 г., т. XXII. Прокламацию Нечаева «Русским студентам» см. в «Красном Архиве», 1929 г., т. XXXIII. «Лист до громади» был воспроизведен в № 2 «Колокола», 1870 г.

161 Все эти 6 номеров были переизданы в 1933 г. Издательством политкаторжан.

162 Р. М. Кантор, В погоне за Нечаевым, 2-е изд. Л.—М., 1925 г., стр. 66 и 78.

163 Библиографический каталог. Профили редакторов и сотрудников, Женева, 1906 г., стр. 12.

164 Письмо Маркса к Энгельсу от 11 мая 1870 г. Сочинения, т. XXIV, стр. 341.

165 «Записка Семена Серебренникова»,—«Каторга и Ссылка», 1934 г., № 3, стр. 42.

166 Там же, стр. 20.

167 Там же, стр. 46.

168 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 208.

169 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 402.

170 См. об этом подробнее в моей вступительной статье к публикации «Из публицистического наследия Н. П. Огарева», в № 39—40 «Литературного Наследства», стр. 310.

171 Герцен, т. XVII, стр. 298—299. Подчеркнуто Герценом.

172 Герцен, т. XXVIII, стр. 106.

173 Герцен, т. XIV, стр. 413.

174 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 322—323.

175 Герцен, т. XIV, стр. 419.

176 П. Д. Боборыкин, За полвека, М.—Л., 1929 г., стр. 335—336.

177 Ч. Ветринский, Герцен, СПб., 1908 г., стр. 406.

178 Автором этой брошюры был, по всем вероятиям, Варфоломей Зайцев; см. ниже мою публикацию «Анонимная брошюра о Герцене 1870 г.» (стр. 164 сл.).

I. ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЭМИГРАНТОВ

Публикация Б. Козьмина

1. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА Е. И. ЯКУШКИНУ

Москва, 11 января 1862 г.

С новым годом и с новыми надеждами, Евгений Иванович. Вручитель моего и прилагаемого письма А. Н. Аф[анасье]ва[1] — один из самых горячих участников образовавшегося в Петербурге общества для распространения нужных народу книг и учебных пособий. Общество состоит в тесной связи с журналом «Народная Беседа». Имя вручителя писем — Александр Александрович Слепцов[2]. Он едет в Ярославль и в Нижний-Новгород со специальною целью найти дельных и нужных обществу комиссионеров и агентов. О подробностях, цели и пр. он расскажет вам лично.

Зная, что вы принимаете горячее участие в деле народного образования, указал ему на вас, как на человека, могущего сообщить ему нужные сведения и указания относительно их дела в Ярославской губернии.

После вашего отъезда разрыв прежнего московского кружка стал еще глубже[3]. Теперь уже не может быть и мысли о каких бы то ни было компромиссах с партией Чичерина и К^0.

Бабст и Соловьев[4] вели себя в Петербурге, как писали оттуда, достойным московских ретроградов образом. Они возвратились в Москву; но чем покончила свои заседания эта пресловутая комиссия, пока еще неизвестно, если не считать кое-каких мелочей.

На днях Кавелин прислал сюда письмо к В. Ф. Коршу, в котором решительно и резко осудив их образ действий, окончательно расходится с ними.

М[ихайло]ва[5] увезли 14 декабря вечером. В дорогу он отправился, впрочем, порядочно и снабженный всем нужным.

Всев[олод] К[остомар]ов[6] оказался дрянью. В Моск[овском] унив[ерсите]те открыты недавно 18 шпионов-студентов. Один из них Петров (сосланный недавно во Владим[ирскую] губ.) признал откровенно, сколько он получал (50 р[уб.] сер[ебром] в м[еся]ц) и что делал. Он назвал еще 3-х по имени. Во главе их оказался ходивший ко мне студент Долженков, сын киевского книгопродавца. Имена 14 еще неизвестны, но некоторых подозревают.

Бени[7] действует снова, хотя привезенные им удостоверительные грамоты далеко не удостоверяют его особых свойств.

«Русская Речь»[8] умерла на 2-м № 1862 г.

На дворянских выборах московское дворянство отличается неслыханным безобразием и тупостью. Вчера магистр Николай Безобразов[9] прочел записку с требованием восстановления крепостного права с еще большими, против прежнего, привилегиями. Первые ряды крепостников и даже прекрасный пол сильно апплодировали этому плантатору. Решено было баллотировать его предложение. Но сегодня оно кассировано, и то только потому, что не оказалось полных ⅔, требуемых по закону. Что будет дальше — печально и думать.

Бывший здесь на праздниках Ровинский[10] сообщил, что дело изменения нашего судоустройства и судопроизводства идет недурно, хотя реформа и должна совершиться довольно медленно.

Завтра будет обед бывших студентов[11]. Что то выйдет из этого обеда, а желательно, чтобы вышло хорошее. Из профессоров за-

писались только 3: Капустин[12], Калиновский[13] и Матюшенков. Знать, видно, кошка, чье и пр.

Цензура, будто бы, должна посмягчиться. Известно, что отсюда вызываются и Питер Катков и Аксаков для пересмотра старого цензурного устава.

Кавелин подтвердил, что против Чич[ери]на было циркулярно запрещено писать[14].

Кладищев [?], уехавший вчера в Питер, говорил, что и вы несколько позднее думаете съездить туда же. Черкните, когда предполагается эта поездка. Я еду в Питер в конце февраля, недели на 2, и очень желал бы там встретиться с вами.

Не забывайте, что в марте я всеми силами постараюсь устроить в Москве книжный аукцион. Если у вас найдется старье в дублетах, то соберите его на досуге и вышлите в магазин Щ[епки]на и К°[15].

Получили ли вы от Е—ва[16] прекрасный портрет д[екабрис]та Анненкова?

Мне бы очень хотелось издать альбом facsimile наших общест[венных] деятелей. У вас же должно быть довольно хороших автографов, и я бы попросил вас, когда найдется время, отобрать наиболее удобные из них для снятия facsimile.

Обрезанные гранки, посланные вам мною, заключают места, непропущенные цензурою[17]. Напишите пожалуйста, какого вы мнения относительно памятника Б[елинско]му[18]. Я, по предложению многих, не желающих общего памятника с Добр[олюбовы]м и употребления денег на что-либо другое, должен вытребовать у К[етче]ра пожертвованные этими лицами на памятник деньги для высылки их в Питер, где хотят окончательно и скоро решить это дело.

На праздниках у Щ[епкин]ых был шпектакль: я разыграл Подколесина, а А[лександр] Н[иколаеви]ч [Афанасьев] — Степана. Видите как мы отличаемся. Затем, все пока обстоит благополучно.

Будьте здоровы и передайте мой глубокий поклон вашей семье.

Душевно преданный вам

Об авторе и адресате настоящего письма см. во вступительной статье. Якушкин в 1862 г. жил в Ярославле.

1 А. Н. Афанасьев (1826—1871) — известный этнограф, изучавший русское народное творчество, служивший в Москве в Архиве министерства иностранных дел. В 1862 г. был арестован по делу о сношениях с эмигрантом В. И. Кельсиевым. В 1864 г. освобожден сенатом от суда по этому делу.

2 А. А. Слепцов предпринял поездку в целях организации в провинции отделений тайного общества «Земля и Воля».

3 Имеются в виду остатки кружка западников сороковых годов, к которому примыкали Касаткин и Якушкин.

4 И. К. Бабст и С. М. Соловьев — профессора Московского университета. Вызывались в Петербург в министерство народного просвещения для участия в обсуждении вопросов о студенческих волнениях, происходивших осенью 1861 г. Оба заняли анти-студенческую позицию, оправдывая репрессивные меры правительства.

5 М. И Михайлов, отправленный на каторгу за распространение прокламации «К молодому поколению».

6 Всеволод Костомаров. — Из настоящего письма видно, что уже в начале 1862 г. предательская роль Костомарова в процессе М. И. Михайлова была широко известна кругам тогдашней интеллигенции.

7 Собирая подписи под адресом царю о введении конституции, Артур Бени облыжно выдавал себя за уполномоченного Герцена.

8 «Русская Речь» — журнал либерального направления, издававшийся с 1861 г. в Москве гр. Е. В. Салиас (Евгенией Тур) и выходивший два раза в месяц.

9 Безобразов Николай Александрович (1816—1867) — публицист-крепостник.

10 Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — судебный деятель, участник работ по составлению судебных уставов 1864 г., автор труда «Русские народные картины» в 5 тт. и других ценных трудов по истории русского искусства.

11 12 января, в «Татьянин день», ежегодно устраивались в Москве торжественные обеды бывших студентов Московского университета.



А. Н. АФАНАСЬЕВ
Литография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

[12] Капустин Михаил Николаевич (1828—1899) — профессор международного права Московского университета.

[13] Калиновский Яков Николаевич (1814—1903) — профессор хирургии Московского университета.

[14] По цензурному ведомству было дано распоряжение не касаться в печати столкновения, происшедшего между Б. Н. Чичериным и его слушателями по Московскому университету, в связи с отрицательным отношением Чичерина к студенческому движению.

[15] Книжный магазин Н. М. Щепкина, сына знаменитого артиста и приятеля Касаткина, был открыт в Москве в 1857 г.

[16] Может быть речь идет о Петре Александровиче Ефремове (1830—1907), известном библиографе.

[17] О каком произведении, пострадавшем от цензуры, идет речь — установить не удалось.

[18] Несмотря на то, что сборы денег на памятник В. Г. Белинскому производились уже давно, поставить его удалось только в 1862 г. Одно время существовал проект сделать общий памятник Белинскому и похороненному рядом с ним Н. А. Добролюбову.

2. ПИСЬМО М. А. БАКУНИНА МИХАЙЛОВУ

22 октября [1862]. Лондон.

Получил все, и за это вам душевное спасибо; наши дела идут быстро, но успех в тумане; но это и заставляет нас удваивать старания. Вы тоже выступаете с предложением И. С. [Тургенева], однако ж вникните в сущность дела и поймите, насколько ваши отношения будут неравны. Он говорит всегда свысока, как маститый, опытный и глубокомысленный старец, а вы проникнуты любовью к делу. Он уверяет, что Паскевич и Безобразов подпишутся под нашим адресом, что ж из этого? Да, это было бы важное дело, и не они одни, — все тверское дворянство подпишет. Если вы с Тургеневым уладитесь быть с нами, неужели вам будет стыдно итти об руку с меньшинством тверского дворянства? Я писал об этом и Владимиру Федоровичу (Лугинину), который ставит Тургенева, как крайнюю необходимость для нашего дела. Всмотритесь лучше в него и увидите, как он воспользовался слухами о предполагаемых правительством юридических и административных реформах [1].

Он и вы за ним говорите, что надо их выждать, а известно ли вам, когда они будут объявлены? Мы будем ждать месяцы, наступит 1863 год! Грянет, может быть, польское, малороссийское движение, а мы будем ждать сложа руки, без цели и средоточия, — ждать и ве-

рить в правительство. Все это смешно. Разве тверское дворянство не высказало смело, что это правительство не в силах выдумать и создать что-либо доброе для спасения Руси. Разве вы забыли слова Унковского?[2] Да и брошюрой своей Кошелев[3] не доказал ли вам, что нет исхода, кроме земского собора. Необходимо создать знамя, вокруг которого могут объединиться, разъединенные теперь, серьезные партии... 5.1 2.2 7.2[4]. Разве из нового юридического известия не видим, что правительство играет в подлую игру, дает два, чтобы после взять десять. Разве при обещанной гражданской децентрализации вы не видите собирающуюся на нас грозу военной централизации — учреждение военных пашалыков[5]. Правительство, решившееся сохранить всю прежнюю бюрократическую и военно-произвольную власть, не может дать и тени свободы. Что ж тут ждать? Другое дело прибавить в адресе, «что публика и народ, проученные долгим опытом, ничего не ждут доброго от обещанных только реформ». Это можно и даже необходимо. Советую займитесь с Владимиром Федоровичем, пригласите Давида[6] и И. С., если они пожелают. Противудействовать этим смешным ожиданиям необходимо и в русских заграничных, и в иностранных — французских и немецких — журналах. Но увлекаться ими самими было бы и смешно и грешно. Тургенев, если не подпишет, оставьте его в стороне. Огарев немедленно пересмотрит старый адрес сообразно новым требованиям и прибавит необходимое, а вы, любезный друг, не смущайтесь и продолжайте необходимое дело. В две-три недели до отъезда гр. С[алиас] все дело должно быть окончено.

Адрес при нем и напечатан.
Иначе мы будем смешны.
(Жгите письмо).

Настоящее письмо было частично опубликовано М. К. Лемке в Полном собрании сочинений Герцена, т. XV, стр. 488—489. Полностью печатается нами впервые. Воспроизводим его по копии, хранящейся в деле следственной комиссии, № 63 (Архив Революции). Адресат письма остался невыясненной личностью для Лемке, сопроводившего его фамилию вопросительным знаком. То немногое, что удалось найти нам относительно адресата письма, сводится к упоминанию Гижицкого в статье «Русские эмигранты» о некоем Михайлове, совершавшем в 1863 г. за границей «чудеса мошенничества», и, в конце концов, попавшем в Берлине «в руки правосудия» и приговоренного к 5 годам тюрьмы («Московские Ведомости», 1873 г. № 12). Очевидно, это был авантюрист, а может быть и агент III Отделения, втершийся в доверие к Бакунину, отличавшемуся неумением разбираться в людях. Во время написания настоящего письма Михайлов находился в Париже. Там же в это время жили упоминаемые в письме Бакунина И. С. Тургенев и В. Ф. Лугинин.

В письме Бакунина речь идет о составленном Огаревым проекте адреса царю с требованием созыва земского собора. И. С. Тургенев и В. Ф. Лугинин отказались подписать его, не соглашаясь с Огаревым в оценке реформы 19 февраля. Помимо этого, Тургенев указывал, что Огарев, стремившийся сплотить вокруг адреса все недовольные политикой правительства слои населения России, составил его так, что его могли бы подписать даже крайние крепостники, фрондирующие из-за ненависти к отмене крепостного права. Бакунина, как и Огарева, не смущало это указание. Как видно из настоящего письма, Бакунин не проводил различия между крепостнической дворянской фрондой и либеральным движением среди дворянства, ярким проявлением которого было упоминаемое Бакуниным выступление тверского дворянства.

[1] В письме к Герцену от 8 октября 1862 г. Тургенев писал: «Насчет адреса скажу одно: мне достаточно того факта, что к нему могут приложить руки М. Безобразов и Паскевич, чтобы не прикладывать моей» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева, 1892 г., стр. 162). Безобразов Михаил Александрович — яркий представитель крепостнического лагеря, автор записки, поданной в 1859 г. царю и направленной против отмены крепостного права; в этой записке Безобразов настаивал на созыве дворянских депутатов для участия в законодательной работе; за эту записку он был выслан к себе в имение в Пермскую губ. Граф Паскевич Федор Иванович — флигель-адъютант царя, сын из-

вестного фельдмаршала, член-эксперт редакционных комиссий, вырабатывавших реформу 19 февраля, один из составителей так называемого флигель-адъютантского проекта, предусматривавшего отмену крепостного права с наделением крестьян землею в размере одной десятины на ревизскую душу за выкуп.

2 Унковский Алексей Михайлович (1828—1893) — выдающийся представитель дворянского либерализма.

3 Кошелев Александр Иванович (1807—1883) — публицист-славянофил. Бакунин имеет в виду его брошюру «Конституция, самодержавие и Земская дума», изданную анонимно в Лейпциге в 1862 г.

4 Бакунин любил пользоваться в своей переписке различными шифрами. Это — образец одного из его шифров.

5 Бакунин имеет в виду «Основные положения преобразования судебной части», утвержденные Александром II в 1862 г. 29 сентября и тогда же опубликованные ко всеобщему сведению в качестве программы предстоящей судебной реформы.

6 Давид — остался неустановленным.

3. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА А. И. ГЕРЦЕНУ

Женева, 15 ноября 1862 г.

9 утром [А. А.] С[ерно]-С[оловьевич] и Ч[еркесов] уехали отсюда в Неаполь. 7 и 8 мы толковали об известном вам деле[1]. Результаты наших совещаний, в виде основных положений проекта, я посылаю Тхоржевскому, который и сообщит вам его. Рассмотрите и обсудите его сообща, по возможности во всех отношениях. Все ваши замечания, изменения и соображения потрудитесь сообщить мне или Баксту[2] для уведомления о том [А. А.] С[ерно]-С[оловьевича] и дальнейшей разработки проекта. Пока еще нет денег, но все, в том числе и я, надеемся, что они скоро будут. Мои надежды должны осуществиться к концу декабря, если дело не встретит особых препятствий. До сих пор положение обеих типографий и книжного дела должно остаться in statu quo. По моему мнению, Бакст в настоящем положении не может ничего сделать; всякие поддержки бесполезны и ни к чему не приведут. От осуществления же проекта дело принимает с самого начала его совершенно другой и, можно заранее сказать, хороший оборот.

Так как большинство шансов за то, что деньги будут, то, не теряя времени, следует обсудить и развить проект во всех подробностях, чтобы иметь возможность с начала же нового года приступить к его осуществлению. Больше пока нечего прибавить к этому, и я буду ждать ваших ответов.

Из России вести мрачнее и мрачнее. В прошлом месяце брали дворника и прислугу дома [Н. А.] С[ерно]-С[оловьевича] для расспросов. Между прочим, спрашивали долго ли был и что делал у них Козлов[3] и что за грек был у них[4]. Ясно, о ком идет речь и это очень скверно. Много еще наделает зла сумасшествие пилигрима. Есть известие из верных источников, что Валуев[5] сказал: «важнейшие аресты и скоро еще впереди». С этим связана и его последняя поездка в Москву и Нижний. По письмам аресты продолжаются; имен не называют, кроме Ковалевского[6], привезенного откуда-то из губернии. Прокламация «К образованным классам»[7] произвела плохое и слабое впечатление, хотя явилась впору. Может быть, вам не писали еще, что возвратившегося Калиновского[8] собственноручно обыскивал и допрашивал кавалер Анны с мечами — Потапов[9]. В кельнской газете было известие, что его велено сослать в отдаленнейший город Астраханской губ. На допросе Калиновский сказал, что был у Вас, но поручений от вас не имел никаких. Предлог к ссылке — будто бы найденные у него листки и какие-то лондонские брошюры. Григорьев[10], офицер Измайловского полка, лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь на поселение. Состоялась ли казнь Яковлева, пока неиз-

вестно[11]. Я боюсь за Москву, и это мне особенно тяжело. Первый допрос [Н. А.] С[ерно]-С[оловьевича] был в конце прошлого месяца. Он бодр духом и спокоен донельзя; судя по его письмам из крепости, для обвинения его и Чернышевского велено составить выдержки из их печатных произведений. Верно уже и компилятора искусника подберут. Проект судебной реформы возбудил в начале чуть не восторг, но теперь его уже поругивают[12]. Носятся слухи, что Громека должен занять место Чернышевского[13]. Это будет уже апофеоз подлости. Есть основание думать, что Кожанчиков[14], взятый a parte, сообщил все подробности путешествия пилигрима, который взял его в проводники вместо Виргилия. Из Петербурга пишут лаконически, что Перетц — шпион[15]. Позволение Аксакову издавать снова «День» досталось недаром[16]. Павлов[17] торжествует: у него около 800 подписчиков. Из 13 ежедневных русских газет в [18]63 г. честных только две. В Подольскую губернию пришел недавно приказ схватить всех представителей дворянства, подписавших адрес, и предать их под суд сената[18]. Брауншвейг — Каменец-Подольский, — не довольствуясь обысками, делал неистовства. Все, кто мог только, разбежались из города. Войска в Варшаве прибавляются, армия переходит в бараки на площадях; гвардия в старые и новые казармы. Обыски и аресты каждый день[19]. В Житомире гораздо больше перехватали и без суда осудили на каторгу и в солдаты, нежели у вас напечатано[20]. Жаль, что добрейший из лентяев, Тхоржевский, не приносит вам краковский «Czas» или не делает из него выдержек для «Колокола». Вести зверства погоняют одна другую. «Проскрипция», как называют поляки конскрипцию, идет быстро: ночью хватают и заковывают избранные жертвы[21]. В «Débats» было известие, что варшавский шеф тайной полиции был найден с обрезанными ушами, заколотым кинжалом на крыльце его дома[22]. Другие журналы промолчали об этом. Когда же разразится грозная Немезида? Мне кажется, что сомнение и отчаяние живут в душе не у одних только поляков. В последнее время у меня завязалась довольно деятельная переписка, но пока «большие и интересные посылки», как пишут, еще в дороге. О деле моем взялся хлопотать Н. М. Щ[епкин][23], — это еще больше ручается за успех его. По окончании его, я думаю, этой же зимой побывать у вас, чтобы переговорить о подробностях, а пока пожалуйста попросите хотя Александра Александровича[24] черкнуть нам об том, что вы присудите. С нашей стороны и готовности, и веры в предприятия много, вот отчего мы все и просим вас устроить непрерывную переписку до приведения всего дела в ясность.

Тхоржевский писал мне, что вы было приостановились печатанием записок декабристов[25], потому что кто-то в Берлине затеял plagiat. Но ничего подобного нет на самом деле. Я постоянно au courant русской немецкой прессы и положительно уверен, что недоразумение вышло из-за 2 тома «Библиотеки русских авторов», изданного, как и 1-й, Гербелем же, где он напечатал собрание стихотворений декабристов[26]. Жаль, что он многое пропустил. У одного меня наберется дополнений на 1/3 такого же тома.

«Записок» ваших святых жду с нетерпением. С кого вы начинаете? Да прилагайте, ради чего хотите, портреты in Stahlstichen (вроде гербелевских) декабристов. У вас должна быть бо̀льшая часть нужных для этого портретов. Выход же записок это не должно задержать. Ваши «Концы и начала» следовало бы оттиснуть отдельной брошюрой, разрешите это Б[акс]ту. Книжечка скоро окупится и доставит многим новое наслаждение[27].

Здесь скучно и, как-то особенно, холодно; это написано на всех

лицах, начиная от Фази [28] и до последнего garçon café du Nord, куда по прежнему стекаются жаждущие чего-то хорошего от газет. Передайте вашим искренний привет.

Душевно преданный вам К.

P. S. Разъясните пожалуйста Тхоржевскому, если это зависит от вас, как сделался Кетлер комиссионером «La Cloche» [29]. Мне Кетлер не пишет, и это заставляет меня предполагать, что он на меня сердится, а рассориться с ним, вообще, не хорошо.

16 ноября

Сегодня прочел, что несколько московских дам обратились в университет с просьбой позволить им слушать лекции. Павлов отвечал на это в своей газете, что университет московский не может этого позволить, потому, де, что и прежде решил не пускать дам, да и дерптский, де, университет находит это неприемлемым. В то же время почти «Nord» (№ 312, 8 ноября 1862) говорит, что такой же вопрос решается в Англии совершенно иначе. Прилагаю подлинное известие «Nord'а». Не признаете ли нужным поместить это сравнение в «Колоколе»? Не одни московские дамы будут Вам за это благодарны.

За убитого шпиона Фелькнера взято в Варшаве еще 60 человек. По городу разъезжают патрули; меры строгости усилены. В России сбнародован трактат 16 ноября 1860 г., по которому Россия с Австрией обязуются взаимно преследовать политических преступников.

Два первых абзаца настоящего письма были опубликованы М. К. Лемке в полном собрании сочинений Герцена, т. XV, стр. 542. Полностью письмо печатается нами впервые, по копии, хранящейся в названном деле следственной комиссии.



С. ТХОРЖЕВСКИЙ

Фотография

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

[1] Об объединении лондонской и бернской русских типографий.

[2] Бакст Владимир Игнатьевич (1835—1874) — о нем см. выше в статье «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[3] Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — участник московских революционных кружков. В 1862 г. привлекался по делу о приезде в Россию В. И. Кельсиева, но от суда был освобожден. Впоследствии профессор философии Киевского университета.

[4] В. И. Кельсиев, приезжавший в Россию с паспортом турецкого подданного В. Яни, в бытность в Петербурге останавливался у братьев Серно-Соловьевичей.

[5] Валуев Петр Александрович (1814—1890) — в 1861—1868 гг. был министром внутренних дел.

[6] Повидимому, речь идет о Владимире Онуфриевиче Ковалевском (1842—1883), участнике революционного движения 60-х годов, а впоследствии известном палеонтологе и геологе, профессоре Московского университета; слухи об его аресте не соответствовали действительности.

[7] Прокламация «К образованным классам», написанная Н. И. Утиным, вышла в Петербурге осенью 1862 г. Это была первая прокламация, появившаяся после многочисленных летних арестов, произведенных в Петербурге в 1862 г. Своим появлением она свидетельствовала, что, несмотря на аресты, революционное подполье было еще не разгромлено.

[8] Калиновский Балтазар Фомич (1827—1884) — экономист, профессор Петербургского университета. За посещение Герцена во время заграничной поездки в октябре 1862 г. был выслан в Астрахань.

[9] Потапов Александр Львович (1818—1886) — деятель политической полиции; в 1861—1864 гг. управляющий III Отделения, в 1874 г. — шеф жандармов.

[10] Григорьев Николай Алексеевич, — подпоручик Измайловского полка, в мае 1862 г. был арестован за пропаганду среди солдат, а в октябре приговорен к ссылке на поселение в Сибирь.

[11] Яковлев Алексей Андреевич — студент Петербургского университета, в мае 1862 г. был арестован за пропаганду среди солдат и приговорен военным судом к расстрелу; впоследствии смертная казнь была заменена ему каторжными работами; умер на каторге.

[12] См. прим. 5 к предыдущему письму.

[13] Громека Степан Степанович (1823—1877) — жандармский офицер; во второй половине 50-х годов и в начале 60-х — либеральный публицист, сотрудник «Отечественных Записок», корреспондент Герцена, впоследствии седлецкий губернатор. Слух о приглашении его Некрасовым, на место арестованного Чернышевского, является необоснованным.

[14] Кожанчиков Дмитрий Ефимович — петербургский книгопродавец и издатель, с которым В. И. Кельсиев встретился во время приезда в Россию. В 1862 г. был привлечен по делу о сношениях с Кельсиевым, но от суда освобожден. «Пилигрим» — В. И. Кельсиев.

[15] Перетц Григорий Григорьевич — усердный посетитель Герцена в Лондоне летом 1862 г. Впоследствии чиновник III Отделения. Имеются основания предполагать, что Перетц и в 1862 г. играл шпионскую роль, подробно сообщая III Отделению о посетителях Герцена, что привело к аресту Н. А. Серно-Соловьевича и др., хотя Герцен не верил в подозрения, возникшие в отношении Перетца.

[16] И. С. Аксаков с 1861 г. издавал в Москве славянофильский еженедельник «День». В июне 1862 г. «День» одновременно с «Современником» и «Русским Словом» был приостановлен правительством. Однако, Аксакову удалось добиться разрешения на возобновление «Дня» до истечения срока приостановки.

[17] Павлов Николай Филиппович (1803—1864) — известный беллетрист и публицист; с 1860 г. издавал субсидируемую правительством газету «Наше Время», в которой нападал на Герцена.

[18] Подольское дворянство, польское по своему происхождению, обратилось к Александру II с адресом, в котором требовало присоединения Подольской губ. к будущей автономной Польше.

[19] В 1861—1862 гг. в Польше происходило интенсивное революционное движение, выразившееся в уличных демонстрациях, покушениях на жизнь представителей русской администрации и т. д. Часть Польши была объявлена на военном положении и русское правительство начало усиленно стягивать в Варшаву войска, но это не предупредило восстания, начавшегося в январе 1863 г.

[20] В № 150 «Колокола» было помещено сообщение о процессе пяти поляков в житомирском военном суде. За участие в демонстрациях, двое из них были приговорены к каторжным работам, двое — к ссылке в войска рядовыми и один — к ссылке на поселение в Сибирь.

[21] Желая удалить из Польши революционно настроенную молодежь, русское правительство объявило набор в войска. Эта мера заставила поляков начать восстание раньше, чем они предполагали.

[22] 27 октября 1862 г. в Варшаве был убит кинжалом начальник варшавской

тайной полиции Павел Иванович Фелькнер. Террорист, оставшийся неоткрытым, отрезал у Фелькнера ухо.

[23] Щепкин Николай Михайлович (1820—1886) — сын артиста М. С. Щепкина, общественный деятель, друг В. И. Касаткина. Щепкин принял на себя хлопоты по делу последнего. Касаткин в это время питал уверенность, что правительству не удастся собрать достаточно компрометирующих его материалов по делу о сношениях с В. И. Кельсиевым и что ему удастся возвратиться на родину.

[24] Александр Александрович — А. А. Герцен.

[25] Печатались в типографии Герцена. Вышло три выпуска: 1-й, включавший в себе записки И. Д. Якушкина, — в конце 1862 г.; 2-й и 3-й в 1863 г.

[26] 2 выпуска, изданные Н. В. Гербелем: 1-й (собрание сочинений К. Ф. Рылеева) — в 1861 г. и 2-й (собрание стихотворений декабристов) — в 1862 г.

[27] Герцен согласился на издание этого своего произведения в бернской типографии. Это издание вышло в 1863 г.

[28] Фази Джемс (1796—1878) — швейцарский политический деятель.

[29] «La Cloche» — французское издание «Колокола».

4. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА С. Т. ТХОРЖЕВСКОМУ

Женева, 7 января 1863 г.

С новым годом и со старыми надеждами, дорогой Тх[оржев]ский. Не знаю, как вы, а я послал прошлый год ко всем чертям. Нагадил он столько, что не исправить и в три года. Для меня пока ауспиции нового года недурны. На днях я получил известие, что мое дело совершенно и благополучно окончено [1]. Теперь и я могу и надеюсь что-нибудь сделать. Я оттого так долго и не отвечал вам, что все это время у меня завязалась деловая беспрерывная переписка.

Освободившись от неприятных ожиданий и томления неизвестности, душевно благодарю вас за высланные вами étrennes к новому году. Я получил их все в исправности, хотя Георг [2] и содрал с меня за доставку книг. Он ваши книги продает по дорогой цене, что мне не нравится. Я поссорился с ним за этот грабеж. Пропаганда должна быть возможно дешевле. Прошу вас выслать, что нужно par la petite vitesse. Речи F. Pyat [3] я вовсе не получил. Каталогов получил только два. Передайте Чернецкому мою живейшую признательность за отпечатанный им для меня экз[емпляр] Записок Якушкина [4]. Но при этом прошу вас и его отпечатать для меня по одному экз[емпляру] следующих записок не на желтой, а на синей, на зеленой и розовой бумаге, так чтобы все экземпляры были на разного цвета бумагах. Цвет[ной] бумаги везде, а особенно в Лондоне, легко найти. Я заплачу за все это с лихвой и благодарностью. С[ерно]-С[оловьеви]ч писал мне, что вы обещали ему выслать «Колокол». Так как я послал ему №№ 151 и 152, то и прошу вас выслать мне эти номера взамен посланных к нему. С 154-го вы будете высылать sous bande (бандеролью) по 2 №№, один из них для С[ерно]-С[оловьеви]ча. Дней через десять у меня есть оказия отправить кое-что в Россию, а потому и прошу выслать мне немедленно (sous bande) 20 экземпляров «Солдат[ских] песен», 8 экземпляров «Цен[тральный] нар[одный] комитет», 3 экз[емпляра] «Народ и госуд[арство]» Мартьянова, 3 экземпляра «Народного дела» Бакунина и 3 экземпляра «Записок Якушкина». Все это я хочу отправить с моим знакомым. Присоедините к этому еще по два экземпляра посланных №№ «Колокола».

Если вышли записки Трубецкого [5] и Десятилетие типографии [6], то прибавьте также их по 3 экземпляра, не забудьте также о речи «Pyat» и каталогах [7]. Все это составит пакет и можно будет отправить с grande vitesse по следующему адресу: Genève, Monsieur Bovand, route de Lyon, 55. Мне будет тотчас передан этот пакет. За каталог Люциана Бонапарта [8], если вы добыли его для меня, моя искренняя признательность. Я с своей стороны отплачу вам каким-нибудь подар-

ком. Если он у вас, то вышлите и его ко мне. Теперь о моем долге вам. Пока еще не получил денег, но все таки могу выслать вам £4. Напишите мне, сколько всего я должен вам. Я постараюсь расквитаться. Прежде я сам думал ехать в Лондон в этом месяце, чтобы лично переговорить о деле с А. И. и Н. П.[9]. Но, судя по их ответам и положению дел, раньше весны, кажется, нечего думать о новом деле. А потому я и отложил поездку до весны. Тогда же, кстати, будет со мной и G[10].

Захотят А. И. и Н. П. участвовать или нет, я все-таки думаю осуществить и надеюсь, что могу быть полезным и вам лично.

Прилагаемую записку передайте тотчас Н[иколаю] П[латонови]чу. Мне нужен ответ, будьте добры.

Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном деле следственной комиссии.

[1] Известие это не соответствовало действительности.

[2] Георг — женевский книгопродавец.

[3] В 1858 г. Тхоржевский издал в Лондоне письмо французского эмигранта Феликса Пиа, оправдывавшее покушение Орсини на Наполеона III. Это привело к аресту Тхоржевского, но присяжные оправдали его.

[4] См. прим. 25 к предыдущему письму. Далее следует перечисление различных изданий герценовской типографии.

[5] Записки Трубецкого были напечатаны во 2—3 вып «Записок декабристов», вышедшем в 1863 г.

[6] Касаткин имеет в виду изданный в 1863 г. сборник «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», заключавший в себе перепечатку ряда ранних прокламаций Герцена, выпущенных Вольной русской типографией, и статей из первых номеров «Полярной Звезды» и «Колокола».

[7] Речь — вышеупомянутое письмо Ф. Пиа. «Рух» — орган польского народного правительства во время восстания. Каталоги — повидимому, объявления о русских книгах, изданных Н. Трюбнером; эти объявления выходили в виде приложения к «Колоколу».

[8] Люциан Бонапарт, кн. Канино (1775—1840) — брат Наполеона I, был большим любителем литературы и искусств и написал несколько сочинений из этой области.

[9] Т. е. с Герценом и Огаревым.

[10] Личность не установлена. О нем упоминается и в следующем письме Касаткина (к А. И. Герцену, стр. 60).

5. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА А. И. ГЕРЦЕНУ

Генф [Женева], 21 февраля 1863 г.

Один из пребывающих здесь русских офицеров хочет к своим товарищам, ставшим за поляков. За искренность его убеждений и стойкость можно ручаться вполне. Средств ему на проезд и паспорт мы добудем здесь. Но ему нужны доказательства (в виде рекомендательных писем) полякам, что он является разделять их судьбу. Мы решились просить Мих[аила] Ал[ександровича] [Бакунина], чтобы он снабдил Р-го[1] письмами, к кому может, из его польских друзей. Поторопите его в этом отношении. А между прочим, если сами имеете возможность, пришлите тоже письмо к кому сочтете за лучшее. Р. говорит, что он не может сидеть сложа руки, когда есть возможность быть полезным полякам. Отговаривать его было бы жалко.

Отсюда проехало более 40 поляков; все молодые. Здесь был и Мирославский[2], задумчивый и печальный. Кажется, что он теперь тоже возле Польши. Судя по энтузиазму здешних поляков, можно думать, что восстание может еще долго продержаться, несмотря на силы русских — немцев. Может быть, к тому времени Англия выразит сильнее свою неприязнь к России.

Гнусное правительство кладет грязные, кровавые пятна на всех русских. Невыносимо тяжело слушать суждения о России, не имея права даже оправдываться.



Л. ЧЕРНЕЦКИЙ
Фотография
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

По последним известиям из России под суд сенату отдано 35 человек [3], в том числе: Тургенев, Борщов, Черкесов, Ал. Серно-Сол[овьеви]ч, Альбертини, я; имена других пока неизвестны. Главное обвинение в сношении с раскольниками и возбуждение их. Приезд К[ельсие]ва послужил для этого основным камнем для следователей. Ничипоренко [4], чтобы заслужить прощение, обвиняет всех кого можно и даже кого нельзя. Реакция во всем ходу. Алекс[андр] Николаевич совершенно очумел и не знает, что делать. А подлецам это и на руку. Извините за бранные выражения: говорится, что думается.

Есть данные, что 3-е Отделение ничего не узнало. От этого и суд не грозит особенными карами для наших друзей. Кажется, что Ник[олай] Ал. [Серно-Соловьевич] один из всех поплатится.

Московская пресса упала до «Московских Ведомостей» Каткова и до 1-х №№ «Дня» Аксакова. Я понимаю, что Катков хоть услаждается своим подвигом, но как Аксаков не поймет всего ужаса своей тупости?

Кетчер [5], Игнатьев [6] и tutti quanti их партии лезли чуть не в драку на городских выборах в Москве, но их забаллотировали.

Вы уже знаете, что перед праздником еще Козлов [7], Трубецкой П. П. [8] и двое О[рфа]но [9] были взяты в 3-е Отделение, где их продержали 5 дней и выпустили.

Теперь Труб[ецк]ой избран в какую-то городскую должность в Москве.

Разбито много, но далеко не все.

В Генфе живет поляк Гордон [10], который послал вам свою книгу. Не получив от вас никакого ответа, он хотел бы знать, дошла ли его книга до вас. Теперь он пишет другую: о русских солдатах etc. Гордон порядочный г[осподи]н и сношения с ним могут пригодиться.

Блистательные подвиги Кетчера с Щепкиным по книжному магазину я передам вам при свидании. Я объясняю их злостью обиженно-

го и униженного самолюбия К[етче]ра. Крупные личности выродились в мелочные [11].

Где бы вы ни поселились эту весну, вы позволите мне вместе с G. навестить вас и перетолковать о многом.

Так как многие из таможен пока еще в руках у поляков, то не мешало бы отправить с Р. то, что сочтете за лучшее для русских. Если это возможно, поручите Тх[оржевско]му выслать мне пакет листов par la grande vitesse и не теряйте времени.

Мой душевный поклон Н. П. [Огареву] и А. А. [Герцену].

Р. S. Объясните пожалуйста, отчего Долгорукий должен был бежать даже из Бельгии? [12]

Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном деле следственной комиссии.

[1] Установить фамилию этого офицера не удалось. Повидимому, о нем писал Герцен Касаткину 27 марта 1863 г.: «Пишите тотчас к Р. в Краков, чтобы не отправлялся в лагерь до получения инструкций».

[2] Мирославский — Мерославский Людвиг (1814—1878). Польский революционер, участник революций 1830 и 1848 гг., эмигрант. Во время восстания 1863 г. — неудачный кандидат в революционные диктаторы; вторгшийся с отрядом поляков-эмигрантов на территорию русской Польши, он был разбит русскими войсками и принужден отступить.

[3] Касаткин имеет в виду дело о так называемых «сношениях с лондонскими пропагандистами», по которому под суд было отдано 32 (а не 35) человек. — Борщов Илья Григорьевич (1833—1878), — впоследствии профессор ботаники Киевского университета, привлекался по этому делу, но от ответственности был освобожден. — Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890), — либеральный публицист, сотрудник «Отечественных Записок», также привлекался по делу 32-х и также был освобожден от ответственности. Впоследствии, в 1866 г., Альбертини был арестован по обвинению в том, что в бытность в 1862 г. за границей, поддерживал сношения с устроителями русской читальни в Гейдельберге. По этому делу Альбертини был выслан в Архангельскую губ. и получил разрешение вернуться в Петербург лишь в 1880 г.

[4] Ничипоренко Андрей Иванович (1837—1863) — журналист; в 1862 г., находясь в Лондоне, посещал Герцена; привлеченный по делу 32-х дал откровенные показания.

[5] Кетчер Николай Христофорович, старый товарищ Герцена по студенческому кружку, а затем по кружку западников, в 60-х годах сильно эволюционировал вправо.

[6] Игнатьев — личность не установлена.

[7] Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — привлекался по делу 32-х; позднее профессор философии Киевского университета.

[8] Трубецкой Павел Петрович, — мировой посредник, привлекался по делу 32-х, но от ответственности был освобожден.

[9] Орфано братья Александр и Алексей Герасимовичи привлекались по тому же делу, но от ответственности также были освобождены.

[10] Гордон — поляк, эмигрант.

[11] Щепкин издавал сделанный Кетчером перевод сочинений Шекспира. Возможно, что на этой почве у них и произошло столкновение.

[12] П. В. Долгоруков в 1862 г. издавал в Брюсселе русский журнал «Листок». В феврале 1863 г. он перенес издание этого журнала в Лондон. Сделать это побудило его бельгийское правительство под давлением Наполеона III, против которого Долгоруков допустил ряд резких выпадов в своих изданиях.

6. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА Н. П. ОГАРЕВУ

12 марта 1863 г.

Ellès [1] должен значительно опередить эту записку, надеюсь, что Б[акст] не задержал его в Берне и что он попадет к вам еще вовремя. Приятель Ellès'а говорил мне, что он плакал от радости, что может быть полезным для дела.

Прилагая сделанную здесь публикацию в пользу поляков, я обращаюсь к вам со следующей просьбой: так как здешние поляки и редакция «Nation Suisse» желают, чтобы в комитете для сбора денег

участвовал кто-нибудь из русских, то нельзя ли будет г. Жуковскому[2] дать свое имя на этот предмет. Нам пока еще сделать это не приходится. В следующем объявлении будет выставлено: pour le comité Gordon et Joukowsky, exilé russe. Никакого беспокойства и никаких гадостей он от этого не потерпит. За действиями комитета вместо него буду следить я.

Любезность эту нужно оказать полякам тем более, что они, в свою очередь, могут быть очень полезны и теперь, и после.

Передав это Ж[уковс]кому, уведомите меня поскорее о его согласии или отказе.

Кстати, Гордон еще раз просил меня узнать, получил ли Ал[ександр] Ив[анович] высланный ему Гордоном экземпляр книги последнего. Если нет, то Гордон вышлет ему другой и надеется, что А. И. отзовется об ней в «Колоколе». Книга, по правде сказать, плоховата, но уже заслуживает снисходительного отзыва ради нападения на общего нам врага.

С мнением вашим относительно здешнего банкетца я совершенно согласен.

Напишите, нужно ли выслать в Лондон готовых уже давно листков[3] и сколько экземпляров. Часть их пойдут, куда только возможно. По листку Б[акста] билеты будут привезены наверное. G. обещался быть «мудр аки змий».

Надеюсь, что друг мой выедет сюда в конце нашего апреля, так что я рассчитываю быть у вас в мае.

Пожалуйста, уведомьте о том, что такое 5-й и 7-й займы[4] и как посредством их сделать перевод? Да сообщите Б[аксту] все, что нужно, относительно предстоящей его поездки, чтобы он не отговаривался неимением нужных от вас известий.

Мой поклон А[лександру] И[вановичу].

Настоящее письмо воспроизводится по копии, хранящейся в вышеназванном деле следственной комиссии.

[1] Ellès — личность не установлена.
[2] Жуковский Николай Иванович (1833—1895) — эмигрант.
[3] Речь идет о прокламациях, отпечатанных в бернской типографии.
[4] Русские государственные займы.

7. ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО А. И. ГЕРЦЕНУ

Женева, 12 марта 1863 г.

Посылка ваша получена здесь в исправности и 7 марта отправлена по назначению в Краков с одним отъезжающим, который намерен пробраться в лагерь Лангевича[1]. Дела идут недурно, охотников тьма-тьмущая; несколько швейцарцев отправилось на днях на поле битвы и подписка продвигается быстро. В наш фонд собрано здесь 28 фунтов, которые получите на днях; русские желают вам успеха[2]. Наше петербургское правительство отжило свой век, — пора и нам действовать. Татарский деспотизм вызвал негодование всей Европы, так что стыдно называться русскими. Из Турина пишут о большом сочувствии в пользу инсургентов, а Гарибальди отправил опытных людей в Краков. Подождем весны, авось и у нас будет жатва. Списки вам доставит К[асаткин], который в исходе марта собирается в Лондон.

Посылаю вам портреты Д.[3] (2 экз.) для вас и Николая Платоновича. Прошу выслать 9 №№ «Колокола» для нас и новости.

Весь ваш П.

А. Д. живет здесь: rue Carouge No. 10 au 3-me chez m-me Latour.

Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном деле следственной комиссии.

[1] Лангевич Мариан (1827—1887) — польский революционер, в 1863 г. был объявлен революционным диктатором, но вскоре разбит русскими войсками и отступил в Австрию, где был арестован австрийским правительством.

[2] Так называемый «Общий фонд», основанный редакцией «Колокола» для сбора денег на революционные нужды и для оказания помощи нуждающимся эмигрантам.

[3] Может быть, Долгоруков Петр Владимирович.

8. ПИСЬМО В. И. БАКСТА Н. П. ОГАРЕВУ

Берн, 22 марта 1863 г.

Отъезд С.[1] стоил мне многих хлопот; поэтому не взыщите, дражайший Николай Платонович, мою неаккуратность за последние дни. С. я дал 320 билетов, больше нельзя было поместить, столько же посылаю ему через верную оказию. Все это С. передает по поручению Виктора Ивановича [Касаткина], остальные сохраняются пока у меня и на днях сообщу их Викт[ору] Ив[анович]у. Поручение Якова Вас[ильевича] я исполнил в точности и третьего дня явился ко мне Alfred[2] с депешею в руках для получения вещей; я думал, что он заберет порядочное количество, а он всего принял 1000 листов. Как хотите, а этак далеко не уедем. Поляк из-за пустяков скачет три раза на неделе из Парижа в Краков и обратно, а мы вот уже сколько раз собираемся съездить на границу, а все еще не собрались. Месяцев 8 принимаются деньги в общий фонд, и до сих пор составленные суммы лежат недвижимо. У меня теперь капиталов мало. Из прилагаемого расчета вы увидите, что сбор не покрыл всего расхода. Если вы не хотите уделить 15.000 франков из вашего фонда, то нельзя ли обратиться к польской партии в Париже насчет капиталов для поездки наших за границу; ведь пока разбудишь русского человека на свое дело домашнее, я думаю, еще много будет хлопот, а для польского дела тут результат прямой, а нам нечего тут церемониться. Мы предлагаем им тут свои труды, отпечатаем материала сколько влезет, и ничего тут обидного для православия, если обращаться к полякам за средствами для перевозки и высылки наших.

Надеюсь, что согласитесь со мной в этом случае, и тогда вам остается только написать в Париж кому следует, чтобы выслали сколько нужно на поездку — на 5 или 6 человек разными путями. А уж за то, что вещи достигнут назначения, я отвечаю десятью жизней[!]. Хоть сквозь землю провалиться, а листки будут в России. Если одобрите, я займусь заготовкой, — в одну неделю у нас можно заготовить сто тыс[яч] и более листов, и чтобы все должны быть перевезены не тем, так другим путем. Хорошо, если сообщите, дорогой Николай Платонович, приблизительное распределение, сколько заготовить каждого листка. На месте я во всем буду совещаться с Вик[тором] Иван[овичем]. Надоел я вам перевозкой, но мне больно видеть, что до сих пор мало сделано. А теперь — последний час, теперь или никогда — не забудьте, что на то, чтоб в России напечатать 100 т[ысяч], на лучший конец, пострадает столько хороших людей, и как еще пострадает. Мы можем и должны пощадить эти жертвы—людей хороших, вообще, мало у нас — не то, что в Польше.

Если найдете нужным, чтоб я поехал в Париж, для переговоров и устройства нашей ложи, то я готов, — только торопитесь с перевозкой. Предисловия Пиотровского еще нет, и мне сильно достается

за остановку в работе[3]. Статьи Александра Ивановича печатаются, начато с «Концов и начал». Нельзя ли прибавить о предисловии А. Ив., которое давно обещано[4].

Вера моя в успех польского дела крепнет; русское движение сильно нуждается в понукивании. Пусть половину русского народа заберут в крепости, другая будет за печкою, а купленные ораторы будут рукоплескать мудрым мерам правительства. Действительно, бабье тесто русский человек, но на [то] есть дрожжи, от которых и



ГЕРЦЕН

Фотография, 1860-е гг.

Литературный музей, Москва

тесто приходит в движение. Для этого нужна народная крестьянско-солдатская пропаганда — надобно основательно приняться за нее.

С нетерпением жду вашего ответа

Ваш ....

Приложение к письму:

Отчет из Берна Огареву

Получено от Якушкина[5]	2000 фр.
От Лугинина	750 »
Через Сер[но]-Сол[овьевича] из Гейдельберга	1500 »
М. Ив.	720 »
Барона[6]	3600 »
	8765 фр.[7]

Послано в Париж

23 декаб[ря]	Сахновскому[8]	400	фр.
27 »	Фен. и Рейнг.	650	»
2 янв[аря]	» »	750	»
14 »	» »	380	»
	в Женеве	260	»
17 »	в Берн Фен. и Рейнг.	260	»
19 »	» » » » »	80	»
	Шили	20	»
	Рейнг.	50	»
	Оттиски и рассылка	350	»
	Фен...	750	»
	Издержано на пособия полякам	2368	»
	В Краков Н. П.	920	»
9 янв[аря] получено от Н. С.		30	фунт[ов]
12 янв[аря] получено от М. О.		35	»
Польским эмигрантам выдано		740	»
2-м полякам из Женевы		80	»
в Hombourg		2500	»
Бакунину		1200	»

[печать]

Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном деле следственной комиссии.

[1] С. и Яков Васильевич — не установлены; возможно — Сабуров Яков Васильевич, в 1861—1862 гг. студент Гейдельбергского университета.

[2] Alfred — личность не установлена.

[3] Т. е. предисловия к запискам Р. Пиотровского, печатавшимся в то время в бернской типографии. См. вступительную статью.

[4] В бернской типографии печатались отдельным изданием «Концы и начала» Герцена. Герцен сдержал обещание и написал вступительную статью к этому изданию.

[5] Якушкин Евгений Иванович; о нем см. во вступительной статье.

[6] Барон — Стюард Александр Федорович; о нем см. во вступительной статье.

[7] Ошибка в подсчете — в оригинале; нужно — 8570 фр.

[8] Сахновский — поляк-эмигрант, принимавший участие в транспортировании в Россию русских заграничных изданий; для этой цели ему и были выданы деньги.

9. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА Н. И. УТИНУ

[Конец марта 1867 г.]

Нет, м[илый] У[тин], к сожалению, вы меня не поняли или поняли иначе. Может я не ясно выразился или какой-нибудь один пункт вас (несправедливо) раздражил и вы все истолковали себе превратно. Ergo сызнова — вы увидите, что я буду ужасно терпелив.

Я к вам писал, что лучше спорные пункты, из которых я с 9/10 не согласен, оставить в стороне, до другого раза, до разговора, а теперь предлагал заняться организацией сборника (что, по-моему, значит Revue) и заняться поскорее, чтоб первый сборник поспел к выставке[1]. Поэтому просил вас определить, кто и что будет писать. Тут, следственно, постановилась бы общая задача и вышло бы разделение труда. Но этот отдел нисколько бы не мешал помещению статей, которые с его задачей нисколько бы не были в противоречии, но затрогивали бы иные научные и политические вопросы. А так как такие статьи у нас имеются и польза их несомненна *, — то покамест они печатаются, отдел особой общей задачи общим трудом составился бы и напечатание первого пробного сборника поспело бы ко времени. Что же тут может быть для вас обидного, с чем бы вы не могли согласиться?

* Так, напр[имер,] статья чья-то: Non possumus[2], лекции Шиф[ф]а[3] и т. д.

Название «Полярн[ая] Зв[езда]» остается, потому что оно, вероятно, привычнее, и весь вопрос был бы в успехе или неуспехе первого пробного сборника. Если он пойдет в ход, то можно решиться на 4 книжки в год, и продажа дала бы средства. А нет — сама судьба, что, ведь, дело оказалось бы невозможным.

Но мне теперь оно кажется возможным — и только опыт докажет, прав ли я.

Что касается до денежного вопроса, то я думал, что вы легко поймете, что Гер[цен] мог ссудить только им занятыми деньгами, ибо своих не хватит, и потому не знаю, что всем показалось оскорбительного в векселе или расписке (ибо я решительно помню, что писал к вам и об расписке, да еще на два года).

Нет, У[тин] — это с вашей стороны не дело, и по старой дружбе я только могу сказать вам, что единственно хороший поступок с вашей стороны — это согласие на это мое совершенно безобидное и единственно возможное предложение.

С прежней дружбой и дальнейшим терпением остаюсь ваш.

P. S. Сверх того, позвольте вам заметить, что вы сухой наукой занимаетесь ради своего продовольствия. Во-первых, (кроме библиографии и простой грамматики) я не знаю сухой науки; а во вторых, ваши занятия слишком близки к вашим убеждениям, чтобы иметь только побочную цель. Так ли это?

Настоящее письмо печатается по черновику, находящемуся в одной из записных книжек Огарева, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Письмо датируется по письму Утина к Огареву от 22 марта 1867 г., ответом на которое оно является.

Огарев писал это письмо в связи с переговорами об издании журнала («Revue»), которые он вел с Утиным, Мечниковым и Жуковским (см. во вступительной статье, стр. 26—28). Утин настаивал на предварительной выработке программы журнала, указывая, что она необходима в виду расхождения договаривающихся сторон между собою на $^9/_{10}$. Огарев возражал против этого.

[1] Имеется в виду всемирная выставка, открывшаяся в Париже весной 1867 г.
[2] Автор статьи не выяснен; напечатана статья не была.
[3] Шифф Мориц — профессор физиологии Бернского университета.

10. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА С. Г. НЕЧАЕВУ

От дедушки внучку

Я с тобой во многом не согласен: кто прав, кто ошибается — это разбирать слишком долго, поэтому я хочу только высказать те возможности, которые мне кажутся практическими.

Мимоходом замечу: мы как-то говорили о поэтах и о влиянии на них среды и времени. Еще раз нарочно перечитывал Гейне и заметил (уже не в первый раз) — человек этот до такой степени ненавидит все, что в его время совершалось в Германии, что, не находя никакого мотива для себя лично, кроме любви и ее измен, составляет себе в общественной жизни идеал из Наполеона I, и только потому, что это не немец, а француз, и что это не дрянь, а сила. Точно также, мой внучек (так как ты больше поэт, чем ты думаешь), ты составляешь себе идеал из Стеньки Разина и Пугачева. Да не в этом дело. Это может быть и не быть. Дело не в разбойничьем восстании (которое никогда не удавалось, кончалось гибелью и не распространяло никакой правды), дело в человеческом, в народном, в открытом восстании. Вот о нем-то, как оно может быть в России, я хочу поговорить.

Россия, в сущности, делится на три полосы, — по крайней мере, приблизительно: западная, где народ поглощен рабством и бедностью до неподвижности; средняя, где народ умен и производителен в мире торговом, но очень сдержан во всяком политическом начинании (характер, доходящий до буржуазности); восточная (а также юго-восточная) полоса, которая, хотя и не имеет производительности, как средняя, но всего готовее на восстание, потому что всего менее способна выстрадать терпеливо свое настоящее.

Следовательно, русское восстание необходимо имеет свою точку отправления в восточной России и самое быстрое присоединение к восстанию средней полосы. В этом (а не в разбойничьем мире) весь залог успеха.

Необходима чрезвычайная гласность народных потребностей (что помимо совершенно откровенного сельского прямого восстания — невозможно).

Итти быстро с Урала с башкирами и с Дона с киргизами на Москву — составляет стратегическую методу. Сибирь и Кавказ позади всегда окажутся верными союзниками.

Вводная стратегическая метода — современное с восстанием ломанье одного рельса железных дорог, по которым могли бы приходить противодействующие войска. Это исполнить не так трудно и не требует такого огромного пространства для ломки, лишь бы она была достаточно рассчитана, чтобы помешать, в известные минуты, передвижению войск.

Но это не все. Главное, чтобы позади движения, т. е. там, где уже восстание было, была бы устроена организация. Под организацией я разумею устройство общин (пожалуй потягольных, ибо это всего ближе к народному пониманию) и рынков, деревенских рынков, сельских рынков, посадских (городских) рынков, где все могли бы сбывать свой товар за променные значки и получать за оные все, что им потребно и настолько, насколько по оценке было сбыто произведений. Таким образом, правительственные ассигнации и монеты были бы устранены, и был бы введен меновой знак вместо ложной ценности денег. Остальное устройство предоставьте народному смыслу.

Внучек! Может, и это все детские мечты. Но убеждение мое в них глубоко и потому обрати на них внимание.

Печатается по незаконченному черновику, находящемуся в записной книжке Огарева № 23, л. 1, 2 и 7.

Это письмо, написанное, вероятно, в начале 1870 г., доказывает, что Огарев не разделял бакунинско-нечаевских надежд на «разбойничье восстание» и понимал, что для действительного освобождения народа необходимо, чтобы восстал он сам.

II. К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА с М. А. БАКУНИНЫМ

Публикация З. Кеменовой

1. ПИСЬМО М. Ф. КОРШ Ю. Б. МЮЛЬГАУЗЕН

[Январь—февраль 1848 г.]

Позвольте поцеловать вашу ручку, Юлия Богдановна, за письмецо которое вы написали мне в предпоследнем письме Марьи Касп[аровны] [1], крайне мне было досадно, что я тогда же не могла на него отвечать, потому что болела головушка до самого мозга. В Италии у меня что-то чаще и сильнее болит голова, вероятно, итальянский кли-

мат негоден для грубой приживалки. А уж как хороша Италия, Юлия Богдановна, так признаюсь! Так бы и перетащила сюда всех людей, которых люблю. Лика[2] наша здесь бы совсем поправилась. Неужели их не пустят к нам, я об этом и думать не хочу. За что же это я надеялась-то по пустякам. Право, наконец, скучно все по пустякам надеяться; а еще, говорят, мирись с жизнью! Как бы не так, было бы из чего мириться; а то, что ни ступишь, то она тебе наперекор идет. Хоть жизнь иногда очень хороша, но тяжело с нею ладить. Одно средство — хотя и это одно только пальятивное — это выйти хорошо замуж. Я потому называю его пальятивным, что вдруг, например, шкворень сломается у дрожек и вместе с шкворнем сломается все счастье в жизни[3]. Больно, досадно, а выхода нет.

Вот позвольте мне послать Вам поклон в раме. А. Герцен

Я за границею сделалась менее жадна к подаркам, а более убедилась в необходимости для женщины выйти замуж; а потому несмотря на то, что сама не получу ни алтына за вашу свадьбу, я все-таки буду очень, очень, очень рада, если какая-нибудь другая сваха вас сосватает.— Я уже дошла до того, что проповедую Марье Касп[аровне] замужество не только по страстной любви, но даже по дружбе, по уважению. Вы скажете — стара стала приживалка; и правда, стара и опытна. Надо много силы, чтобы выносить все невзгоды одиночества. — Я сегодня что-то в припадке мудрости, а вследствие этого напишу вам много глупостей, вы простите приживалку:

Стара, тупеет память, Таня;
А то, бывало, я востра[4]. —

А в самом деле, мне не худо бы полить душу приездом Гранок[5]— боюсь, чтобы она у меня совсем не засохла. Алек[сандр] Ив[анович][6] все нападает на мой романтизм, а мне кажется, что его у меня теперь не осталось ни на волос. И если бы вы знали, как мне жаль его. — Ну что же бы сказать вам хорошенького: Марья Касп[аровна] проводила своего учителя[7], а вместе с тем управителя души, в Ломбардию; но, entre nous soit dit *, она недолго горевала, и теперь уже опять начинает расставлять силки для красивых итальянцев[8]. И если бы вы видели все ее хитрости! Впрочем, вы не думайте, что она ловит только итальянцев, она недавно приманила славянина[9]. Ездила в маскарад, любезничала, и вы можете представить, чем это кончилось. — Жаль мне ее, а плоха на нее надежда.

Ну что же вы поделываете? Богачка эдакая, видает всякий день Лику и Гранку, завидно мне, мочи нет. — Юлия Богдановна, пожалуйста, когда будете опять писать к Марье Касп[аровне], расспросите о Евгении[10] и его семействе, и черкните несколько строчек. Я из Москвы очень давно не имела никаких вестей. — Простите, что затрудняю вас, ну да вы простите. Лику и Гранку поцелуйте так же крепко, как бы я их поцеловала, да скажите Лике, чтобы она во всем слушалась докторов, и ни на волос не отступала от их предписаний!

Целую вас в плечико, ваша М. Корш.

Еще, матушка, попросите Лику, чтобы она взяла у Sophie[11] мой изломанный золотой браслет и привезла его с собою. Я здесь купила

---

* между нами будь сказано

кое-каких безделушек, которые мне хочется отделать для добрых людей.

Как бы мне хотелось прочесть повести друга души [12]. То-то, я думаю, шутит над родом человеческим.

Рукою Н. А. Герцен:

Юлия Богдановна, шлю вам привет искренний — поцалуйте за меня Лику и Гранку, да пишите нам о них подробнее. Попросите Гранку написать мне хоть одну строку.

Н. Г.

Письмо написано из Италии и датируется мартом или апрелем 1848 г., временем пребывания Герценов в Италии (см. «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена», М., 1909 г., стр. 60), и адресовано к Юлии Богдановне Мюльгаузен (18..—1907), сестре Е. Б. Грановской—жены Т. Н. Грановского.

[1] Эрн Мария Каспаровна (в замужестве Рейхель, 1823—1916). В конце 1846 г. выехала с Герценами за границу, откуда не вернулась в Россию. В 1849 г. вышла замуж за Адольфа Рейхеля. До конца жизни оставалась самым близким другом Герцена и его детей.

[2] Лика — Елизавета Богдановна Грановская (урожд. Мюльгаузен, 1824—1857) — близкий друг М. Ф. Корш. С молодых лет очень болезненная, умерла от чахотки.

[3] Этой фразой М. Ф. Корш намекает на падение Т. Н. Грановского с дрожек, у которых сломался шкворень, 3 октября 1847 г. Это падение повлекло перелом подглазной кости и было причиной продолжительной болезни Т. Н. Грановского.

[4] Перефразировка цитаты из III гл. «Евгения Онегина» Пушкина: «Стара, тупеет разум, Таня...».

[5] Гранки — так в кружке Герцена звали Т. Н. и Е. Б. Грановских.

[6] Александр Иванович Герцен.

[7] Адольф Рейхель (1817—1897) — немецкий музыкант и композитор, близкий друг Бакунина и Герцена. С 1849 г. муж М. К. Эрн.

[8] Имеются в виду проводники итальянцы, с которыми М. К. Эрн охотно разговаривала для практики в итальянском языке (см. «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель», стр. 60).

[9] Славянин — имя не установлено.

[10] Корш Евгений Федорович (1810—1897) — брат М. Ф. Корш. Один из наиболее близких Герцену членов западнического кружка 40-х годов.

[11] Sophie — София Карловна Корш (рожд. фон-Рейссиг, 1822—1889), жена Е. Ф. Корша.

[12] Шумахер Данила Данилович (1819—1908). Окончил юридический факультет Московского университета. Служил в министерстве финансов. С 1874 г. московский городской голова. С 1851 г. муж Ю. Б. Мюльгаузен. В неизданных письмах М. Ф. Корш к Ю. Б. Мюльгаузен он называется Митлером.

2. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ

21 Апреля 1863
Orsett House
West. terr.

Рукою А. И. Герцена:

Ты дурно делаешь, набирая от 9 до 11 листов письма — и вместо трех, четырех посылок — посылаешь их брошюрами или летописями. Если б твое письмо, писанное 31 Марта, было отпр[авлено] 1 Апр[еля], а не 15 — я во многом мог бы тебя защитить. Твоя вина, собственно, в том, что ты посторонним сообщил — об экспедиции — без особого права на то, и с посторонними приехал. Остальное, ясно, сделано по вине Цвер[цякевича] [1]. Я, вообще, полагаю, что ты хорошо бы сделал, если б в самом деле — не мешался в внутренние дела поляков — мы союзники en gros *. Зачем нам мирить их партии, зачем советовать де-

* в целом.

легату центр[ального] ком[итета] [2] и полковнику [3] их экспедиции сходить к Чарториж[скому] [4]. Сами возраст имеют.

Зачем ты телеграфировал о быстром приезде меня или Саши [5], я не понял тогда же — но понял по письму, что вся эта торопливость вовсе была не нужна. Ему надобно было съездить в Па[риж] к Брауну [6] — все это кажется напрасный remue-ménage *.

Я был готов ехать — на твое место. Но ты останешься — разве ты не можешь сделать все то — что следует по части финской и типографской. И потому надобно ждать — будет ли война и будет ли экспедиция. В войну сношения будут невозможны через чухонную границу — и уже эта война не польский, внутренний наш семейный вопрос, а чисто внешний. Что же ты воображаешь, что мы можем идти с Напол[еоном] и дведесяти языцами —не сделавшись действительными неприятелями.

Если не будет войны — вероятно, не будет и вашей экспедиции, — тогда ты останешься в Швеции. — Как я не прикидываю, не понимаю — крайности телеграммы и молчание о ней в письме.

Типографию небольшую завести можно, в роде Б[акста] [7] — А он и ее переведет. Но что печатать? Б[акст] в Лондоне. Он и Ж[уковский] едут по делам — а Март[ьянов] [8] плывет по патриотизму в Петербург.

Буду писать на днях еще письмо. Мы здесь затравили шпиона, дейст[вительного] стат[ского] советника и кавалер[а] М. Хотинского [9]. Кн. Долгорук[ов] [10] в сем деле заслужил — набрюшник с надписью «За отличие в деле против шпиона».

Цет. [11] сердит, мрачен — и особенно сердит на тебя.

О страшной вести о Потебне [12] ты верно прочел в «Колоколе» — это нам ножем провело по сердцу. Дружески обнимаю Демонтовича. Затем прощай.

Здесь идет спор — о том, говорил ты в Малмё речь или нет [13] — речь была в Morning Post — явно от имени поляка и Ц[верцякевич] думает, что журнал прав, говорящий, что это ты?

Антонине Ксаверьевне [14] земно кланяюсь.

Рукою Н. П. Огарева:

Primo ** — радуюсь, что твоя жена доехала в целости; я было начинал пугаться — не случилось ли чего. Жму ей руку. — Я пишу наскоро, чтоб сегодня же послать, и тебя прошу лучше пиши наскоро часто, чем изредка много, потому что оставаться без свежих вестей от вас, о которых даже из газет ничего не узнаешь, — нельзя. Пожалуйста не отправляй Финна [15] в Питер — прежде моего следующего письма или присылки Саши, или чего-либо такого очень определенного. Серьёзно требую этого, ибо считаю нужным до поездки Финна некоторые нужные вещи сообщить. От сего числа через неделю буду в состоянии сказать что и как. Посуди сам — теперь идет речь об ответе п[етербургского] п[равительст]ва на европейскую ноту [16]. Война или не война? Если война — то нам ничего не остается, как переждать ее, ибо вмешаться с этой стороны и самому противно и совершенно кредитоподрывательно. — Если не война, то немедленно надо приниматься за сношения. А вопрос решится на днях. Ждут даже завтра решения (т. е. ответа петер[бургского] пр[авительства]); но, вероятно, пройдет времени и побольше. — Но война даст совершенно особое основание для устройства типографии, и для сношений и пр. и пр. — Ergo — подожди отправкой Финна до следующего вашего письма, а покамест обними Демонт[овича], и пожелай ему скорей выздоро-

---

* суматоха.

** Во-первых.

веть настолько, чтоб не свалиться с ног, прежде чем что-нибудь полезное сделает. — К Нордштр[ему][17] я намереваюсь вскоре писать особо, ибо из твоих писем получил к нему большое уважение.

Рукою Н. А. Огаревой:

И я вам обоим кланяюсь; мы очень обрадовались узнавши, что вы счастливо доехали. — Когда же вы к нам обратно? Дайте ваши руки.

Вся ваша Н. Огарева

Публикуемые письма Герцена и Н. П. Огарева являются ответами на письма М. А. Бакунина из Швеции, куда он уехал в феврале 1863 г., чтобы через Финляндию связаться с русской революционной организацией «Земля и Воля», перебраться в Польшу и Литву, и поднять там крестьянское восстание. 22 марта из Саутгемптона на пароходе «Ward Jackson» отправлялась польская повстанческая экспедиция, известная под названием «экспедиции Лапинского», по имени начальника экспедиции полковника Лапинского, имевшая целью высадить повстанцев в Самогитии и оттуда переправиться в Литву. К этой экспедиции и должен был присоединиться Бакунин. В письмах от 31 марта и 9 апреля, о которых упоминает Герцен, Бакунин подробно рассказывает о неудачах экспедиции и дает интересную характеристику ее участников (см. «Письма М. А. Бакунина к Герцену и Н П. Огареву с биографическим введением и примечаниями М. П. Драгоманова», СПб., 1905 г., стр. 221—231).

[1] Цверцякевич Иосиф — польский революционер. В 1862 г. агент повстанческого комитета в Париже. В начале 1863 г. — представитель повстанческого комитета в Лондоне. Цверцякевич вел переговоры о найме парохода для экспедиции с Блезкуд-компанией, издавна находящейся в связи с петербургским морским министерством.

[2] Демонтович Иосиф — деятель польского национально-освободительного движения демократического крыла. Был заграничным представителем варшавского Центрального комитета и комиссаром повстанческой «экспедиции Лапинского». Для снаряжения экспедиции пожертвовал свой небольшой капитал. После неудачи экспедиции был назначен комиссаром Литвы.

[3] Лапинский Феофил — деятель польского национально-освободительного движения. См. о нем работу В. Тренина в настоящем томе «Литературного Наследства».

[4] Чарторижский Владислав, кн. — родственник Адама Чарторижского, польский политический деятель, руководитель аристократической части польской эмиграции. Одновременно с Бакуниным находился в Стокгольме. К нему Демонтович (комиссар экспедиции) и полковник Лапинский (начальник экспедиции) обратились за денежной помощью.

[5] Саша — Александр Александрович Герцен (1839—1906) — сын Герцена.

[6] Браун — польский политический деятель. Находился в дружеских отношениях с Бакуниным (см. письмо Бакунина к Центральному Народному правительству в Варшаве, А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 51).

[7] Бакст Владимир Игнатьевич (1835—1874) — о нем см. в ст. Б. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[8] Мартьянов Петр Алексеевич (1834—1865) — крестьянин, крепостной гр. А. Д. Гурьева. По окончании конторской школы был назначен приказчиком по хлебной торговле. Удачными операциями приобрел небольшой капитал. Выкуп из крепостного состояния разорил его. В 1861 г. он уехал в Лондон. С «Колоколом» был знаком еще в России. В Лондоне познакомился с его издателями. По мнению Герцена, Мартьянов был «человеком необыкновенного ума, энергический, глубоко-страстный пророк-агитатор, аскет и энтузиаст. Он весь сосредоточился на судьбах русского народа...» В 1862 г. напечатал в «Колоколе» письмо к Александру II, монархическое по идеологии, со страстным призывом созыва «Земской думы» с «земским царем» во главе. В том же году напечатал книгу «Народ и государство». Мартьянов разошелся с Герценом и Огаревым в польском вопросе, предсказывая гибель «Колокола». В апреле 1863 г. выехал в Россию, на границе был арестован и заключен в Алексеевский равелин, а затем приговорен к ссылке на каторжные работы, где в 1865 г. умер.

[9] Хотинский Матвей Степанович — член ученых обществ, автор многих статей по химии, астрономии, физическому земледелию и др. Был причастен к III Отделению. Находясь в Лондоне, посещал Герцена. Герцен был уведомлен письмом из Петербурга, что Хотинский агент III Отделения. В гостях у кн. В. П. Долгорукова был разоблачен Герценом. См. статью Герцена «Действительный статский советник и кавалер М. С. Хотинский» («Колокол», л. 215) и письма Герцена к Н. А. Герцен (11 апреля 1863 г.) и к И. С. Тургеневу от того же числа (Герцен, т. XVI, стр. 205—206).

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА К М. А. БАКУНИНУ ОТ 21 АПРЕЛЯ 1863 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

[10] Долгоруков Петр Владимирович, кн. (1816—1869) — эмигрант, публицист.

[11] Цет — лицо неустановленное.

[12] Потебня Андрей Афанасьевич — русский офицер. Один из главных учредителей русского офицерского комитета в Польше и инициатор «Адреса русских офицеров» в «Колоколе», л. 151. По делам организации дважды был у Герцена в Лондоне. Один из первых примкнул к польскому восстанию и был убит в сражении у Песковой Скалы 4 марта 1863 г.

[13] В Мальмё, небольшом шведском портовом городе, экспедиция была встречена жителями с большим энтузиазмом. Для ответных приветствий был выбран Бакунин. Об этом сообщалось в лондонской газете «Morning Post».

[14] Антонина Ксаверьевна — жена М. А. Бакунина (урожд. Квятковская).

[15] Квантен, Э. Ф. — финн, студент, проживающий в Стокгольме. Герцен и Огарев посылали его в Петербург для установления связей по пересылке лондонских изданий.

[16] Европейская нота — вторичное вручение депеш трех держав — Англии, Франции и Австрии — русскому правительству с требованием дать автономию Польше, восстановить гражданские и политические права полякам, дарованные им Александром I. Это вручение депеш через полномочных представителей в Петербурге состоялось 5 апреля. В Европе ждали ответа на эти требования.

[17] Нордштрем — доктор, финляндец, проживающий в Стокгольме. Герцен и Огарев познакомились с ним через письма Бакунина. Нордштрем очень расположил их к себе. Через него Герцен и Огарев надеялись установить связь с Финляндией и Петербургом для корреспонденций в «Колокол» и для распространения его.

3. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ

8 мая [1863 г.]

Рукою Н. П. Огарева:

Эх, какое у этих господ изобилие сплетни, любезный Архангел! А это не к добру. А Европа, кажется, намерена разыграть с Польшей искариотское tempo di marcia *. Все это свелось (как говорилось во время оно) на то, что долею дикий национализм откликнулся и в России и что теперь он в большинстве. Наше дело выдержать твердо знамя до лучшего времени. Если будет война (что̀ становится с каждым днем невероятнее), наше дело не ронять пропаганды и разъяснять вопросы внутреннего преобразования, так, чтоб к концу войны, они могли иметь влияние своей ясностью и снова поставить на ноги дело организации. Если не будет войны — то нам предстоит то же. Польша при этом погибнет на время и терпеливая разработка вопросов и организация сил подымет ее иным способом через несколько лет. Во всяком случае, драться с воздухом нелепо и начинать coup de main **, чтоб показать бессилие рук — глупо и преступно. Не отступая ни шагу — выдержать брожение национализмов и извлечь элементы из самого этого брожения (потому что брожение всегда дает элементы на все), извлечь элементы для организации сил — вот дело огромного терпения, труда и твердости и единственный путь к цели — коренной реорганизации России и прилежащих племен — на новых экономических, а следовательно юридических и административных основаниях. —

Так как ты уже отправил Финна [1] и большей частью дело началось, то — по разным иным соображениям — юниор [2] отправится к вам в 20-х числах сего месяца (20—25). С ним напишу к Нордштрему и к тебе. Но удали его, т. е. удали от него польские сплетни и исключительно займитесь чухонским делом. — О смерти Пот[ебни] ты верно уже знаешь и из «Колокола». Какой она положила на меня глубокий траур — об этом говорить нечего. Из статьи [3] по этому поводу ты узнаешь, что я думаю. — Если я еще на кого смотрю, как на мученика действительного, — это на Демонтовича; мне кажется, что он между ними только о д и н, поэтому и мученик. Обними его крепко. — Русские газеты из

* быстрым темпом.

** оказывать помощь.

рук вон подлы. Катьков [4] унизился ниже подлости. Общественное мнение выражает преданность и готовность отстаивать интегритет империи, на которую никто не нападает. Тут важна привычка к демонстрациям. Вообще Ал[ександр] Никол[аевич] [5] вызывает die Geister, a [Bösen] in die Erde * не спровадить. Но что труд организации сделается не в один день — это ясно как день — не Аксаковский [6], а сегодняшний. — За сим жму руку твоей жене и твою огромную руку и еду в Кью [7] искать квартиру.

Рукою А. И. Герцена:

Здравствуйте, г. региментполковник Михаил Александрович. — — Наконец, все фешионебельное общество из Малмё [8] — перебралось сюда — Мазуркевич [9] и Бобчинский [10]. Жаль, что Добчинский — остался в «Ревизоре», он тоже бы приехал.

Я не понимаю, чего же ты хочешь по части книгопродавческой и чего ты не можешь решить и устроить.

Я Bonin [11] книг послал и писал, что сначала 50% с «Колок[ола]» и 40% с книг — потом, вероятно, надо будет набавить, т. е. 45% с «Кол[окола]», а с книг от 40% до 35%. Ну, о чем же хлопоты и затруднения. За этим С[ашу] по-настоящему посылать не стоит, разве особенные дела по Финляндии.

Цв[ерцякевича] вижу редко — но все же он очень скучный человек. О Тугендгольде [12] я тебе писал.

И. С. Тургенев, говорят, совсем испортился [13].

Если что нужно, пиши сейчас.

Посылаю опять письмо к Ан[тонине] Ксав[ерьевне], оно распечатано потому, что на пакете не было ничего кроме адреса Тхорж[евского] [14].

Ну, а вы кажется что-то нахвастали с вашим вторым Карлом XII [15].

Жук[овский] уезжает с поручениями. Бакст — уехал.

А Март[ьянов] [16] возвратился.

Прощай. Кланяйся жене.

[1] Финн — Квантен Э. Ф.

[2] Юниор — junior — младший — А. А. Герцен.

[3] Статья Н. П. Огарева о Потебне «Надгробное слово» в «Колоколе» л. 162.

[4] Катьков — Катков Михаил Никифорович (1818—1877) — публицист, политический деятель.

[5] Александр Николаевич — Александр II.

[6] Аксаковский «День» — еженедельная славянофильская газета, редактором и издателем которой был И. С. Аксаков (1861—1865).

[7] Кью — пригородное место Лондона.

[8] Участники «экспедиции Лапинского» после ее неудачи вернулись в Лондон.

[9] Мазуркевич Леон — польский эмигрант. Секретарь парижского Польского комитета в 1862 г. Участник «экспедиции Лапинского». В Мальмё, на военном совете, был назначен помощником Лапинского и в отсутствие Демонтовича, находившегося в госпитале в Стокгольме, — комиссаром экспедиции.

[10] Бобчинский (Бабчинский) — поляк, эмигрант. Принимал участие в «экспедиции Лапинского». В Мальмё назначен помощником капитана.

[11] Bonin (Бонен). Повидимому, книгопродавец.

[12] Тугендгольд (Полес) Стефан — виолончелист. Учился в Петербургской консерватории. Затем жил в Париже. В начале 1863 г. приехал в Лондон под фамилией Полес. Познакомился с Герценом и Лапинским. Своим поведением вызвал у Герцена подозрение, но, понравившись Лапинскому, был назначен им адъютантом. Еще до отправки экспедиции Герцен был извещен из Петербурга о шпионе докторе Тугендгольде где говорилось, что у него есть младший брат, занимающийся тем же. Из письма Бакунина к Герцену выяснилось, что Полес и есть брат парижского Тугендгольда. В Мальмё Полес, почувствовав к себе недоверие, покинул экспедицию. Чтобы оправдать себя от обвинения в шпионаже, в Швеции написал брошюру «Польская экспедиция и Стефан Полес» — на французском языке. Отрывки из брошюры

* духов, а [злых] в землю.

напечатаны в «Материалах для биографии М. А. Бакунина по архивным материалам», под ред. В. Полонского, т. II, стр. 585—603.

[13] По всей вероятности до Герцена дошли слухи о трусливом поведении Тургенева, после вызова его III Отделением в Россию для допросов. Об этом вызове Тургенев писал Герцену 12 февраля 1863 г. (см. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, с объяснениями и примечаниями М. Драгоманова», Женева, 1892 г., стр. 178—179). Кроме того, молчание Тургенева на дружеские письма Герцена от 20 февраля и 11 апреля того же года (Герцен, XVI, стр. 105; 205—206) могло служить подтверждением этих слухов.

[14] Тхоржевский Станислав — поляк, эмигрант с 1845 г. Жил в Лондоне, где занимался книжной торговлей. С приезда Герцена в Лондон стал его ближайшим сотрудником по изданию и распространению «Колокола». До конца жизни оставался близким другом семьи Герцена, Огарева и Бакунина.

[15] По поводу приема Бакунина шведским королем Карлом XV. Нам неизвестно письмо Бакунина Герцену с описанием этого приема, но по свидетельству ряда современников, Бакунин действительно был принят Карлом XV, «который заверил его что он спокойно может жить в Швеции, с указанием, однако, держаться в тени».

[16] Известие об аресте Мартьянова при въезде в Россию 12 апреля 1863 г.

4. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА А. А. ГЕРЦЕНУ и ФЕЛИКСУ [1]

11 июня [1863 г.]

Рукою Н. П. Огарева:

Письмо твое от шестого мая, caro mio *, получено. Я читал его внимательно. Но впредь — и это не я один, а многие другие просят — этим способом не писать, потому он хуже всякого другого. Разумеется, из Стокгольма в Лондон всякий способ хорош, а преимущественно самый простой; что же касается до других стран, то опыт доказывает, что твой способ хуже всякого другого. На тангенс [2] и котангенс не рассчитывай, а лучше поскорей приезжай, ибо скоро кто-нибудь настоящий приедет и гораздо лучше знать от тебя что и как, и все устроить viva voce **. На Браун[а] также не рассчитывай, он болен. На обороте найдешь мою записку к Феликсу. — «Opinion Nat[ionale]» [3] напечатала твою речь; Бакун[ин]скую, говорит, напечатает в следующий раз, называя ее субстанциональной. Но ты ему от меня скажи (а длинное письмо ему напишу, когда ты воротишься), что его речь меня глубоко огорчила. Кто дал ему право говорить о местопребывании Зои Владимировны [4] и хвастать ее связями с важными людьми? Это Зое Владимировне будет чрезвычайно неприятно, тем более, что она имеет характер серьезный, сдержанный, расчетливый, выжидательный, а не фейерверкный. О финнах писать будем, но для этого надо, чтоб они доставляли материалы. — Что же еще сказать тебе? Судя по твоим письмам, я тобой очень доволен и крепко обнимаю тебя. На poste restante *** спроси письма; к тебе из Кингсланда [5] писано 4. Я нашел там все благополучно. — Ну — приезжай же скорее, для домашнего дела твое присутствие становится также очень необходимо.

Рукою А. И. Герцена:

Я почти уверен, что это письмо тебя не застанет — Любезный Саша — и пишу только потому, что Ага [6] пишет. Обратили ли у вас внимание на городскую стражу в Москве и Петерб[урге] и на то, что студенты моск[овские] просят составить легион — все это делается с целью показать усердие — но однажды рама если дана — картина может перемениться. Somme toute **** дело расшатывания гнилого зуба идет как по маслу. У Катк[ова] грозили поджечь типографию — и подожгли, но успели потушить.

* друг мой.
** устно.
*** до востребования.
**** В итоге.

Вот пока и все. Хорошо, кабы ты поспел к сдаче дома — Тейлор[7] опять оказывается плутом — а у нас кроме Пени — никого. Пан Тх[оржевский] тоже не способен.

Кланяйся Баку[нину].

Рукою Н. П. Огарева:

От души благодарю вас, любезный Феликс, за ваши теплые строки и за ваш перевод. Из юношей вашего народа вы были одним из тех, которые при первой встрече возбудили во мне самое живое сочувствие. Я надеюсь, что наша взаимная симпатия сохранится, пока я жив, и останется в вашей памяти, когда меня не будет. Крепко жму вам руку

Ваш Н. Ог[арев]

Рукою А. И. Герцена:

И я прибавлю строку и тоже благодарность за то, что вы помянули Потебню и его товарищей. Жму вам руку и прошу дружески поклониться Дем[онтовичу].

Прощайте и будьте здоровы Ал. Герцен

[1] Письмо адресовано А. А. Герцену во время его пребывания в Стокгольме, куда он поехал, по настоянию Бакунина, для налаживания связей «по книгопродавческой части» с Финляндией и Петербургом. Второй адресат — Феликс, поляк, участник «экспедиции Лапинского», секретарь Демонтовича.

[2] Тангенс — список псевдонимов, который велся в «Колоколе» для всех находящихся с ним в отношениях. Расшифрован М. К. Лемке в примечаниях, см. Герцен, т. XIX, стр. 233. Слово котангенс не расшифровано.

[3] Opinion Nationale — парижская газета, поместившая речи А. А. Герцена и Феликса, произнесенные ими на публичном обеде в честь Бакунина в Стокгольме. Речь Бакунина напечатана М. П. Драгомановым в «Письмах Бакунина», стр. 244—250.

[4] Зоя Владимировна — законспирированное название «Земли и Воли».

[5] Повидимому, письма от Шарлотты Гётсон, с которой А. А. Герцен сошелся в Лондоне и от которой у него был сын Александр (Тутс).

[6] Ага — Н. П. Огарев. Так звала его Лиза Герцен (дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой), а потом и другие члены семьи Герцена.

[7] Тейлор — домовладелец, у которого Герцен снимал дом.

5. ПИСЬМО А. А. ГЕРЦЕНА и А. И. ГЕРЦЕНА М. А. БАКУНИНУ

8-го июля [18]63 г.
Elmfield house, Teddington, S. W.

Рукою А. А. Герцена:

Любезный Бакунин,

Я уже вижу как ты и меня ругаешь за то, что я не пишу; но, во-первых, с моего возвращения сюда ничего особенно интересного или важного не случилось, что бы заставило написать quand même*; а кроме того — мы переезжали, и это дело не шуточное, решительно не позволяющее писать, когда нету крайней необходимости. Теперь мы, наконец, устроились и начнем свободно дышать в новом доме. Теперь я и примусь за исполнение всех ваших комиссий.

Первая и важнейшая — деньги — об них припишет отец. Результат остальных сообщу в след[ующем] письме.

Жду я письма от тебя с известием об удаче отправленного куверта — видно ответ не совершенно удовлетворителен, ибо ты не телеграфировал, или неужели его вовсе нет? Ну, тогда мы просто опростоволосились перед теми, которых заставили трудиться из-за этого.

Здесь мы, как и прежде, сидим и ничего не знаем; только, кажется, Бакунин, ты ошибался в важности русского «патриотобесия» —

* во что бы то ни стало.

оно действительно доходит до отвратительных размеров, и никакое правительство никогда не может вынуждать подобных демонстраций; дело в том, что ты не знаешь «сущности предмета» за неполучением русских газет. — Когда Катковы, Аксаковы и Мартьяновы, т. е. шпионы, честные люди и безумные говорят одно и то же и кричат rinforzando * в унисон, это уже перестает быть правительственным обманом — как бы это печально ни было.

Что же у вас там делается? Все речи да статьи, Hasselbacken да Mussabacken [1]..., а что связь между Сток[гольмом], Сёдертельей [2] и Копенгагеном?

Пожалуйста скажи страубовским дамам [3], что я давно отправил их посылку и письмо к Victor Hugo. —

Ну прощай, пиши скорей.

Кланяйся Ант[онине] Кс[аверьевне].

А. А. Г.

Рукою А. И. Герцена:

Мы переезжали и были в хлопотах. Или в этом письме или через два дня ты получишь 50 фунт[ов] — через Ротшильда [4] — остальные пока я оставлю à votre disposition **.

Лапинс[кий] здесь — потолстел и весел. Мы хотим Рейнгар[дта] [5] отправить обратно в Женеву.

Как ни гнусно правительство, а литература и общество еще гнуснее. Что за цинизм? Тосты Муравьеву [6], обед Каткову из рук вон.

В нынеш[нем] «Кол[околе]» мой турнир [7] с Аксаковым за тебя.

Денег твоих остается 23 ф[унта]. Не прикажешь ли продать сундук, баню и еще что. Я пока все твои сдал в магазейн — беречь.

Рукою А. А. Герцена:

Деньги посланы — 50 — можете получить у Michaelson Benedicks, Stockholm.

[1] «Hasselbacken да Mussabacken» — загородные места в Стокгольме.

[2] Сёдертелья — Södertälye — курортный город в Швеции. «Связь между Сток[гольмом], Содертельей и Копенгагеном» — книжная торговля лондонскими изданиями через книгопродавца Штраубе, шедшая очень вяло, о чем писал Бакунин в письме к Герцену от 19 августа и предлагал направить Штраубе в Петербург.

[3] Страубовские дамы — знакомые или родственницы книгопродавца Штраубе.

[4] Ротшильд Джемс (1792—1868) — банкир. В его конторе Герцен держал свои деньги и иногда пользовался его адресом для переписки.

[5] Рейнгардт — русский участник «экспедиции Лапинского».

[6] Муравьев Михаил Николаевич, гр. Виленский (1796—1866) — в 1863 г. виленский губернатор.

[7] Статья Герцена «Колокол и День», — «Колокол», л. 167 (10 июля). Ответ на статью И. С. Аксакова «Из Парижа (письмо 3)» от 11 мая 1863 г., в № 19 «Дня».

6. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ ***

1 сентября 1863 г.
Elmfield house Teddington S. W.

Рукою А. И. Герцена:

Любезный Бакунин.

Книгу [1] твою я получил — а потом получил и дополнение, прочел внимательно и хочу ответить не холодно, а хладнокровно. Целых книг я не умею писать — в подобных случаях, а потому коснусь только

* усиливая.

** в вашем распоряжении.

*** В ломаные скобки взят текст, не вошедший в публикацию М. Л. Драгоманова.



И. ДЕМОНТОВИЧ
Фотография из собрания Н. А. Тучковой-Огаревой
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

главных точек. Защищать самолюбивые замашки моего сына, дерзкий тон, ошибки его я не стану — и уже много отчитал ему выговоров; но когда ты меня хочешь уверить, что он поступал как Картуш[2] и делал комплот, такой хитрый, что Квентен (полубог твоих первых писем), Феликс, Демонтович, Норвегия и Скандинавия — были им надуты, когда ты боишься сообщить адрессы — чтоб он их не переслал твоим врагам, тогда я жму плечами — и думаю: — как ты привык к сварливой жизни с хористами революции — к немецкой манере: уж обвинять, так обвинять — «вор, агент прусского короля, изнасиловал кошку, <выкинул из окна родную дочь> и пр.»

Я не оправдываю — <еще раз> — С[ашу] в том, что он говорил о тебе с другими; знаю также, что и другие говорили с ним. Еще менее оправдываю я, что он говорил с тобой; — с тобой вглаза никто кроме меня и Ог[арева] не говорил откровенно. — С чего же ему, 24 лет, без прав — вчинать речь.

Ваш спор о том, кто из вас законный chargé d'affaires* З. и В. комичен в высшей степени. Что молодой человек мог найти приятным — представлять начинающийся круг молодых людей — я понимаю. Но что ты — тоже будто не прочь иметь помазание с Невы, когда ты его имеешь — из Петропавловской крепости и Сибири — это я не понимаю. Ведь ты не поверил же собственным словам <в твоей речи> — что попы, генералы, женщины, массы, птицы и пчелы — все составляет мощную корпорацию и пр.

Этот колоссальный канар[3] в твоей речи и ведет меня прямо от твоей потасовки С[аши] внутрь дела. Поговорим об ней твердо, откровенно — и коротко. Книга твоя, особенно первая ее часть, ужаснула меня не обвинениями, а пустотой, ненужностью, призрачностью — всех

* уполномоченный.

этих переговоров, сближений, отдалений, объяснений. Мастерски составленные тобою характеристики ex gr * Квентена и его жены — в любой роман идут — но ведь я тебе такую же характеристику напишу Оленицына и его жены (правитель канц[елярии] у Тюфяева [4] в 1837). Если б ты имел художественную цель — это было бы хорошо. Но ты воображаешь, что все это дело — как воображал в 1847, что надобно зондировать Служальского [5] и за этим ходил с rue de Bourbon ** — на железную дорогу.

Оторванный жизнию, брошенный с молодых лет в немецкий идеализм, из которого время сделало, dem Scheine nach ***, реалистическое воззрение — не зная России, ни до тюрьмы, ни после Сибири, — но полный широких и страстных влечений к благородной деятельности — ты прожил до 50 лет в мире призраков, студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков. Не ты работал для прус[ского] кор[оля] — а саксонский король и Николай — для тебя. После десятилетнего заключения ты явился тем же — теоретиком со всею неопределенностью du vague ****, болтуном — (Саша опять тем виноват, что сказал тебе — хотя и нет человека, который не знал бы этого и не боялся) — не скрупулёзным в финансах, с долей тихонького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой не достает революции. Болтовней ты погубил не одного Налбандова [6], а напр[имер] и Воронова [7]; твоя не нужная отметка о нем в письме к Налбанд[ову] — свела его сначала в крепость из Кавказа — а потом в ссылку. После отъезда Цвер[цякевича] — пришло ко мне письмо писанное шифрами; — враг всех конспиратоблудий — я положил его в сторону — но Тхорж[евский] сказал мне, что у него где-то есть твоя книга с «ключами»; — он принес, и <что же> — мы с Огар[евым] обомлели, в одной книжке записаны адреса всех порядочных людей в России — с отметками и подробностями — и эта тетрадь ходила по рукам, была у Цвер[цякевича], у Тхорж[евского], чего добраго у Жил... [8]. Чему же дивиться, что шведы раскусили это и испугались. Ты велик ростом, ругаешься и шумишь — вот почему никто тебе в глаза не говорит: что тот, кто не умеет «ни пожатием плеча, ни качаньем головы» не выдать тайны — тот плохой конспиратор; да и я плохой — но, люб[езный] Бак[унин], я ведь и не напрашиваюсь на сей титул.

Ты, как Милорадович [9], берешь энергией — а не интуицией. На это лучшее доказательство польский союз. Он был невозможен, они поступали с нами не откровенно — результат тот, что ты чуть ли не потонул в нем, а мы сели на мель. Что̀ ты меня упрекаешь, что я видел и не остановил. Ты брат стихия — солому ломишь, как тебя остановить. Я был против печатания адресов офицеров в «Колок[оле]». Я был против жертвоприношения Потебни, против твоей поездки. Но когда ты поехал на деньги Бран[ицкого] [10], но когда адреса были везде перепечатаны — я считал, что ты и офицеры обязаны <были> делом подтвердить ваши слова. И когда ты засел в Шведах — я, боясь за тебя, послал с Ог[аревым] телеграмму. То, что твоя нога была на пароходе, оправдало тебя. За что же ты попрекаешь седьмой раз тем, что <Ог[арев] и я тебя уговорили или утелеграмили>. Тебе не было выхода — без опыта побывать в Польше.

Что польское дело было устроено плохо с нашей стороны, что оно не наше дело — хотя и правое относительно — это доказано тем, что себя, как я сказал — ты доконал им, и умоляю тебя, если что

* например.

** Улица Бурбон.

*** Повидимому.

**** смутного чувства.

будешь печатать — будь мудр, яко змий. Наш принцип социальный, — а с чьей стороны социальные начала? со стор[оны] Демонт[овича] или петербургских сатрапов — отдающих крестьянам в надел помещичью землю? «Да нам нельзя же идти с Муравьевым»? Без сомнения нельзя. Но можно иногда и эклипсироваться — и поработать в тиши — тут нет calamité publique *. Надобно или делать дело — или спокойно ничего не делать. Финн <совершенно> прав, говоря, что иной раз преждевременный гам губит дело. <A propos **>, его письма очень умны. Язык финский, впрочем, уже введен правительством.

Твое письмо в редакцию швед[ского] журнала [11] очень хорошо и хоть Потебня был Андрей, а не Александр, а Николай Павл[ович] [12] был похож на все, кроме Дон-Кихота — рыцарственного, сентиментального, защитника прекрасного пола и всего слабого — но, тем не менее, ее надобно здесь пропечатать.

Жаль, что нет твоего письма в Польский комит[ет].

Письмо Ст. [13] одно, а не два. В письме недост[ает] одной стр[аницы] 14—16.

Ог[арев] все же длинное письмо писать будет, я еду через 10 дней в Италию к детям. Ог[арев] напишет о книгах, предлож[ение] приплачивать 300 фр[анков] смешно. «Колок[ол]» не продается— вся типография снова падает на мой кошт, теперь ничего не сделаешь.

Зачем же тебе сюда ехать, я так ищу куда-нибудь уехать — что ты будешь делать в Италии? Я думаю, все же полезнее жить в Шведах — до окончания польского вопроса.

Прощай — не сердись за откровенность. Пора — ведь полвека прожито — пора знать свою силу.

А. Герцен

P. S. Если правда, что в Киевской губ. крестьяне упорно отказываются от работы на помещиков — то это богатейшая отместка за злодейства Мур[авьева] и пойдет далее (то что у нас было в ст[атье] «А дело идет своим чередом» [14]). Конституция, говорят, — явится скоро — для всей России — тогда и заграничная пресса вас премит (sic). — Затем прощай. Колокола будут посылаться.

Рукою Н. П. Огарева:

А все-таки писать теперь воззвание к крестьянам было бы ридикюльно — потому что это горох в стену, и вредно — потому что убьет с их стороны всякое доверие к нашему брату. Вскоре будет провозглашена в России конституция; через этот фазис надо перейти разумно. Встретить его надо разумно, от этого зависит вся возможность нашего участия в развитии русской мысли и гражданственности. Если я не писал к тебе длинного письма, то это потому, что ужасно внутренно тяжело за него приняться; но я исполню это вскоре. Теперь же тороплюсь сказать несколько слов только о книгопродавческом деле. Предложения S[traube] [15] невозможны: 1) приплатить 300 фр[анков] к его поездке (которую он может предпринять только, если видит в этом свой расчет) — безосновательно; 2) дать ему тысяч на пять фр[анков] книг, с тем, чтоб заплатить за их провоз обратно — idem ***; 3) большая часть изданий Трюбнера [16], а он 45% [не] может и уступит, но не наверное обычно он уступает полгода срока и 33%; спросить теперь нельзя, ибо он в отъезде; 4) дать S[traube] монополь на торговлю в Швеции, Норвегии и Дании — еще куда бы ни шло, но дать монополь на Петербург—

* общественного бедствия.
** Кстати.
*** также.

дело несбыточное, ибо значит лишить себя права торговли через Пруссию. На днях жду известий о торговле вообще — и тотчас напишу.

Письмо от 1 сентября 1863 опубликовано М. Драгомановым с копии черновика в «Письмах М. А. Бакунина...», стр. 250—253 со значительными расхождениями с нашим текстом и перепечатано М. Лемке (т. XVI, стр. 490—493). Впервые публикуется по подлиннику.

[1] Книга — толстое письмо, какие обычно писал Бакунин, от 19 августа 1863 г.
[2] Картуш — Луи-Доминик, известный французский разбойник (1693—1721).
[3] Канар — французское слово canard — утка.
[4] Тюфяев — вятский губернатор во время ссылки Герцена в Вятке.
[5] Служальский — поляк, эмигрант.
[6] Налбандов (Налбандьян) Михаил Лазаревич (1830—1866) — армянский писатель, революционер. В 1859 г. уехал за границу. Познакомился с Герценом и Огаревым. Через него пересылались в Россию лондонские издания. В 1862 г. был арестован в Нахичевани и переправлен в Петропавловскую крепость. В 1864 г. приговорен к ссылке. Умер в Камышине в 1866 г. (По всей вероятности, имеется в виду письмо Бакунина от 6 мая 1862 г.; М. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, стр. 76—77).
[7] Воронов Николай Ильич (род. в 1833 г.) — учитель гимназии. Сотрудник «Журнала для воспитания», «Русского Слова» и др. В 1862 г. был за границей. В том же году вернулся в Россию и был арестован по делу о сношении с «лондонскими пропагандистами», заключен в Петропавловскую крепость. 4 марта 1864 г. отдан на поруки и 10 декабря того же года освобожден от суда.
[8] Жил... — фамилия не разборчива.
[9] Милорадович Леонид Александрович — знакомый Герцена. Секретарь русского посольства в Штутгарте. Весной 1863 г. вернулся в Россию в Черниговскую губ. в имение своего отца. Был под надзором III Отделения до 1870 г. Надзор был снят в 1871 г., когда был выбран киевским уездным предводителем дворянства.
[10] Браницкий Ксаверий — деятель аристократической части польской эмиграции, много пожертвовавший на повстанческую «экспедицию Лапинского»
[11] Статья М. А. Бакунина, напечатанная в три приема в шведских газетах «Aftonbladet» 10, 15 и 18 мая и в газете «Nya Dagligt Allehanda» под заглавием «Бакунин о России». В русском переводе напечатана в «Материалах для биографии Бакунина», т. II, стр. 617—627.
[12] Николай Павлович — Николай I.
[13] Ст... — лицо не установленное.
[14] Статья Герцена в «Колоколе», л. 168.
[15] Штраубе Е. — см. комментарий к следующему письму.
[16] Трюбнер Николай (1817—1884) — английский издатель и книгопродавец. Содействовал Герцену в издании и распространении «Колокола» и др. заграничных изданий.

7. ПИСЬМО А. А. ГЕРЦЕНА Е. ШТРАУБЕ

D. 28 Augus[t] 1863
Elmfieldhouse Teddington S. W.

Herrn E. Straube[1], Stockholm.

Im Anfang dieser Woche habe ich die bestellten NN. Kolokol auf Ihre Adresse via Hull & Gothenburg, spedirt. Es ist dabei ein vollständiges Exemplar der franz[ösischen] «Cloche», welches ich Sie bitte dem Herrn Wieselgren[2], von der Königl[ichen] Bibliothek, zu schicken. — Von den Memoiren meines Vaters ist hier kein einziges Exemplar aufzufinden. — Herr Berger[3] von Hammerfest wollte 10 Ex[emplar] v[on] jedem Kolokol von No. 139 an haben. Ich fürchte, Sie kommen ihm zu spät und es wäre besser ihn erst noch einmal anzufragen, vielleicht nimmt er sie für das Frühjahr (18)64.

Schliesslich erinnere ich Sie, dass am 1-September der dreimonathliche Termin ausläuft, seitdem Sie die ersten Waaren von mir in Besitz nahmen, und da unsre Kosten für die Druckerei sich gehoben haben, so erwarten wir jede Zahlung so pünktlich wie möglich.

Geben Sie gefälligst den eingeschl. Brief an Fr(au) Bakunin ab, und grüssen Sie Ihre Damen von mir. Hat V. Hugo etwas geantwortet?

Ihr ergebener A. Herzen-Jun.



«MICHEL B[AKOUNINE] ET LES INSURGÉS POLONAIS Á LONDRES»
(«МИХАИЛ Б[АКУНИН] И ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ В ЛОНДОНЕ»)

Рисунок карандашом неизвестного художника

Музей Революции, Москва

Перевод:

28 августа 1863 г.
Elmfieldhouse Teddington. S. W.

Г-ну Штраубе [1], Стокгольм.

В начале этой недели я отправил заказанные номера «Колокола» по вашему адресу via Hull & Gothenburg. При них находится полный комплект французского «Cloche» («Колокола»), который я прошу вас переслать г-ну Визельгрену [2] из Королевской библиотеки. — Из мемуаров моего отца здесь нельзя найти ни одного единственного экземпляра. — Г-н Бергер [3] из Гамерфеста хотел иметь 10 экз[емпляров] каждого Колокола, начиная с № 139. Я боюсь, что вы обратились к нему слишком поздно и было бы лучше сначала еще раз запросить его, может быть он примет их на новый [18]64 г.

В конце я напоминаю вам, что 1 сентября истекает трехмесячный срок с того момента, как вы получили от меня в распоряжение первые материалы, и так как наши расходы по печатанию возросли, то мы ожидаем каждого платежа по возможности во время.

Передайте, пожалуйста, прилагаемое письмо г-же Бакуниной и поклонитесь от меня вашим дамам. Ответил ли что-нибудь В. Гюго?

Ваш покорный слуга А. Герцен-jun[ior]

[1] Адресат письма Е. Штраубе — стокгольмский книгопродавец, упоминавшийся в письме А. А. Герцена к Бакунину. Бакунин рекомендовал его Герцену и Огареву, как человека сочувствующего делу пропаганды, «честного, серьезного и педантически осторожного». Советовал авансировать его деньгами и книгами, снабдить надежными петербургскими адресами и, таким образом, наладить настоящую торговлю лондонскими изданиями.

[2] Визельгрен — сотрудник Королевской библиотеки.

[3] Бергер — книгопродавец.

8. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА Н. А. ОГАРЕВОЙ

19 Августа 1869 г. [1] Paris
Grand Hôtel du Louvre № 169

Шесть часов. Все отлично — ничего не ел — бегу обедать к Вефуру [2]. Обнимаю вас. Лиза [3], приготовь три страницы перевода.

[1] Год дается по письму Герцена к Огареву от 15 августа 1869 г., в котором Герцен пишет: «Я еду в Париж 18...» (Герцен, т. XXI, стр. 424).

[2] Вефур — ресторан в Париже.

[3] Лиза Герцен — дочь Герцена и Н. А. Огаревой.

III. К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА с «ЗЕМЛЕЙ И ВОЛЕЙ» 60-х ГОДОВ

Публикация Е. Кушевой

В совместной заграничной деятельности Герцена и Огарева начало 1860-х гг. было временем наибольшего сближения их с тайными революционными организациями в России, особенно с оформившимся в конце 1862 г. обществом «Земля и Воля». Однако, характер и степень этого сближения остаются до сих пор не вполне ясными. Герцен, который шел на сближение неохотно, поддаваясь в этом случае влиянию Бакунина и Огарева, и быстро признал свою уступчивость ошибкой, не раскрыл нам в «Былом и думах» подробностей организационных связей Лондона с «Землей и Волей». Беглые упоминания в немногих дошедших до нас письмах этих лет, заметки и черновые наброски в записных книжках Огарева, несколько объявлений в «Колоколе» и «Общем Вече» и комментарий к т. XVI сочинений Герцена, составленный М. Лемке со слов землевольца А. А. Слепцова и на основании его не оконченных и писанных много лет после описываемых событий записок, — вот основной и далеко не достаточный материал для изучения этих связей. Печатаемые ниже издания общества «Земля и Воля» 1863 г. дополняют имевшиеся сведения как о деятельности общества, так и об участии в ней Герцена и Огарева.

В январе—феврале 1863 г. член центрального комитета общества «Земля и Воля» А. А. Слепцов приехал через Варшаву в Лондон для установления и оформления

связей комитета с Герценом и Огаревым. Одновременно с ним был в Лондоне и А. А. Потебня, член влившегося в «Землю и Волю» комитета русских офицеров в Польше. Как видно из рассказа 13 главы VI части «Былого и дум»[1], Слепцов пригласил Герцена и Огарева «сделаться агентами общества «Земли и Воли», что Герцен отклонил. О дальнейшем «Былое и думы» умалчивают. Однако, какое-то соглашение состоялось. В записных книжках Огарева сохранились черновые наброски условий соглашения, резко противоречащие тому, о чем говорит Слепцов: один из набросков отожествляет «Главный совет общества «Земля и Воля» с редакцией «Колокола», откуда и должны итти «все распоряжения»[2]. По некоторым признакам, эти наброски относятся к более позднему времени, чем первые месяцы 1863 г. Но уже тогда какие-то организационные связи установились, что и отразилось в заметках и объявлениях «Колокола», «Общего Веча» и «La Cloche». В 157 листе «Колокола» от 1 марта н. ст. 1863 г. появилось небольшое воззвание «Совета общества «Земля и Воля» с призывом к денежным пожертвованиям и с указанием, что «путешествующие за границей могут доставлять деньги к издателям «Колокола»[3]. Воззвание это повторялось многократно на страницах «Колокола» и «Общего Веча». В том же 157 листе «Колокола» была напечатана и заметка Герцена «Земля и Воля», извещавшая об организации в России общества под этим названием и приветствовавшая его. Аналогичная заметка появилась в «La Cloche» от 25 февраля н. ст.[4]. В «Общем Вече» от 15 марта н. ст. Огарев напоминал о призыве к пожертвованиям, разъясняя, что «дома живущие» могут доставлять «свои пожертвования прямо в Совет общества...», «а где найти совет общества, кто захочет, сам догадается».

Но, конечно, не только сбор пожертвований был практическим результатом состоявшегося соглашения. «Писать они не умеют. Я пишу и буду писать, ты тоже», говорил Герцен в письме Огареву от 15 февраля н. ст. 1863 г., разумея землевольцев[5]. Имеющиеся в уже опубликованных документах сведения позволяли думать, что именно в выработке программы общества, в пропаганде ее на страницах изданий, выходивших из «Вольной русской типографии», в создании для общества «Земля и Воля» специальной литературы, в организации доставки ее из-за границы в Россию и выразилось преимущественно участие Герцена и Огарева в деятельности общества. В этой связи привлекает внимание ряд появившихся за границей в 1863 г. изданий. Судя по содержанию, они предназначались для практической революционной работы землевольцев — для подпольного распространения в России. Внешне они объединяются тем, что напечатаны одним и тем же шрифтом и выходили или без обозначения места печати или с ложными обозначениями, имевшими целью тщательно замаскировать их заграничное происхождение. Лемке имел в руках три издания подобного рода — три прокламации, которые он и перепечатал полностью в комментариях к XVI т. сочинений Герцена: «Братья-солдаты! Одумайтесь — пока время», «Всему народу русскому, крестьянскому, от людей ему преданных поклон и грамота» и «Офицерам всех войск от общества «Земли и Воли»[6]. По сведениям Лемке, идущим очевидно от Слепцова или основанным на указаниях герценовского архива, они были написаны для общества «Земля и Воля» во время пребывания Слепцова в Лондоне в феврале 1863 г., причем первая и вторая составлены Огаревым «в согласии с Слепцовым». Лемке считал, что все три прокламации были напечатаны в «Вольной русской типографии» в Лондоне.

Последнее указание Лемке неверно: прокламации напечатаны шрифтом, отличным от шрифтов «Вольной русской типографии». Сравнение его со шрифтами других заграничных изданий 1863 г. показывает, что прокламации были напечатаны в той же типографии, из которой в 1863 г. вышли две книги — «Записки» Руфина Пиотровского и «Концы и начала» Герцена — с таинственным обозначением: «Norrkoeping. Tryckt hos Eric Biornström». Печатаемая в этом томе «Литературного Наследства» работа Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» раскрывает это ложное обозначение, как маскировку изданий организованной в Берне в 1862 г. типографии. В этой-то типографии и были напечатаны известные Лемке заграничные прокламации «Земли и Воли» 1863 г. Но если Лемке ошибся в определении места печати, то его указание на лондонское происхождение текста прокламаций и на причастность к нему Герцена и Огарева находит прямое подтверждение в их переписке. «Писать ли к солдатам? Мудреный вопрос. Коли такой стих найдет, можно. Род этот опасен и должен быть страшно силен и поэтичен, чтобы пройти» — говорил Герцен в письме Огареву от 4 февраля н. ст., а в письме ему же от 15 февраля н. ст. упоминал его «адрес к солдатам»[7], т. е. прокламацию «Братья-солдаты! Одумайтесь — пока время». Фразу этого же письма: «Статья твоя хороша, но мне не по сердцу слишком частое поминание немцев. С. [Слепцов?] ждет вторую статью...» Лемке относил к двум другим известным ему прокламациям. Сходство их содержания и стиля с прокламацией к солдатам не оставляет сомнения в том, что они были также написаны Огаревым или при его ближайшем участии. В письме Н. И. Жуковскому от 9 июля 1863 г. Бакунин говорил, что «никто не умел писать» прокламации лучше Огарева, который их «пишет душою, своею кровью и жизнью»[8].

Систематический просмотр нелегальных изданий 1860-х гг. позволяет расширить список изданной для «Земли и Воли» в 1863 г. за границей литературы. Мы можем

назвать еще пять изданий, примыкающих к известным Лемке прокламациям (четыре из них печатаются ниже полностью, одно — в извлечениях): три воззвания, брошюрку «Послание» и сборничек «Свободные русские песни» [9]. На двух прокламациях есть обозначения: «1863 г., февраль. С. Петербург» и «1863 г., февраля 4-го. Москва»; «Послание» по обложке с крестом значится выпущенным в Москве типографией А. Иванова с цензурным одобрением от 4 мая 1863 г., сборничек песен — напечатанным в Кронштадте в типографии главной брандвахты с цензурным разрешением от 3 мая 1863 г. Но подложность этих обозначений и общность происхождения перечисленных изданий с перепечатанными Лемке тремя прокламациями устанавливаются с несомненностью, как по содержанию, так и по внешним признакам: они напечатаны одним и тем же шрифтом — шрифтом бернской типографии. Прокламация «Братья-солдаты, ведут вас бить Поляков» явилась несомненно ответом на высказанное Герценом в уже не раз упомянутом письме к Огареву от 15 февраля н. ст. 1863 г. пожелание: «В твоем адресе к солдатам [т. е. в прокламации «Братья-солдаты! Одумайтесь — пока время»] следует прибавить вариант для находящихся в Польше», что позволяет датировать ее второй половиной февраля н. ст. 1863 г.

В начале 1863 г. два основных практических вопроса стояли перед членами общества «Земля и Воля». Весной этого года кончался двухлетний срок, установленный для повсеместного введения уставных грамот. Среди крестьян были распространены слухи, что по истечении этого срока им будет дана «настоящая воля»; можно было предполагать, что обманутые в своих ожиданиях крестьяне восстанут, и нужно было определить роль общества «Земля и Воля» в этом будущем восстании. Второй вопрос стоял еще острее: в январе 1863 г. вспыхнуло восстание в Польше. Этим двум темам и посвящены названные выше издания. Напечатанные Лемке три прокламации связаны с первым вопросом. Их цель — предотвратить стихийность крестьянского восстания, по возможности смягчить кровавый его характер путем привлечения войска — солдат и офицеров — на сторону народа, дать восстанию руководителей в лице членов общества «Земля и Воля», дать ему программу требований. Программа изложена подробно в прокламации Огарева к крестьянам. Ее главные требования — передача крестьянам земли без выкупа, уничтожение сословий, уничтожение рекрутчины и телесных наказаний, свобода веры, выборное местное управление и созыв бессословного Земского собора, который и должен принять все эти положения, а в дальнейшем контролировать правительство, расходы и наложение податей. В общем, эта утопическая программа действий и требований очень близка к тому, о чем говорили статьи «Колокола» и «Общего Веча» начала 1860-х гг., например, такие статьи, как «Что нужно делать войску» («Колокол», л. 111, 1861 г.), «Что-то будет?» («Общее Вече», 1863 г., № 15), «Надгробное слово» («Колокол», л. 162, 1863 г.) и др. Обращенная к народу агитационная брошюра-прокламация «Послание» (печатается ниже под № 4) очень близка к огаревским прокламациям по программе требований, изложенной в ней особенно подробно, близка и по стилю. Но «Послание» вносит и некоторые новые ноты: в нем есть прямой призыв к восстанию с оружием в руках, в то время как разобранные выше прокламации призывали готовиться втихомолку и ждать дальнейшего оповещения. Резче здесь поставлен и вопрос о царе, как о неверном царе, которого надо заменить выборным; есть совет поступать, как с неверными, с теми, кто будет сопротивляться народу. Может быть, эту разницу надо объяснить не тем, что «Послание» было написано другим автором, а тем, что оно было написано позже: цензурное разрешение на нем явно подложно, но дата его — 4 мая (ст. ст.?) 1863 г. — вероятно совпадала с датой напечатания. Письма Герцена к Огареву конца апреля (начала мая н. ст.) говорят о каких-то разногласиях между ними по вопросу о возможности «сделать восстание». «Ты страстно хочешь, — писал Герцен Огареву, — и не спрашиваешь, достаточно ли для творчества и созидания тех элементов, которые vorhanden» [10]. С другой стороны обострение международного положения, вызванное ходом польского восстания, создавало угрозу европейской войны, а война могла повести и к внутренним осложнениям в России. В этой связи очень интересно письмо Герцена-сына от 3 мая н. ст., вероятно, к одному из землевольцев, выражающее уверенность в неизбежности «падения гольш[тейн]-готорп[ской] династии» в случае войны и сообщающее, вслед за тем, о прибытии в Лондон «наших друзей» — повидимому, для совещания с Герценом и Огаревым [11].

Прокламации «Русские люди», «К русским войскам в Польше» и «Братья-солдаты, ведут вас бить Поляков» (печатаются под №№ 1, 2, 3) посвящены второму вопросу — отношению к польскому восстанию. Они датируются все три февралем — точнее — после 15 февраля н. ст. — и написаны были, по всей вероятности, одновременно, как параллельные воззвания к русскому обществу («Русские люди»), к русским офицерам в Польше («К русским войскам в Польше») и к солдатам русских войск в Польше («Братья-солдаты»). По содержанию все три прокламации примыкают к той позиции, которая в то время была занята «Колоколом» и которой, по выражению Ленина, «Герцен спас честь русской демократии»: они отстаивают справедливость польского восстания, как восстания польского народа за свободу, протестуют против его насильственного подавления, призывают русские войска не итти против

поляков, а русский народ — требовать от правительства прекращения «польской бойни». Вместе с тем прокламации, на некоторых экземплярах которых приложена печать «Земли и Воли», явно обнаруживают связь с этим обществом и своим содержанием: они призывают русские войска помочь русскому народу освободиться «от царских дворян и чиновников» и созвать «Великий Земский собор из людей, народом без розни сословной выбранных».

Сходные по содержанию, прокламации отличаются однако довольно резко по характеру изложения, что заставляет предполагать, что они писаны разными лицами. Уже цитированное письмо Герцена устанавливает для прокламации «Братья-солдаты» авторство Огарева. Для двух других указаний нет, возможны лишь догадки. Как нам представляется, прокламация «Русские люди!» могла быть написана Герценом. Фраза его письма «Писать они не умеют. Я пишу и буду писать...», приведенная выше, показывает, что Герцен писал что-то для землевольцев. Среди известной нам группы заграничных землевольческих изданий наиболее подходящим для Герцена по теме и изложению является именно это воззвание. [12] Не Бакунин ли, с такою страстью окунувшийся в польские дела, писал третье? В феврале 1863 г. он был в Лондоне, откуда уехал в Швецию лишь в 20-х числах в связи с проектом создания русского легиона в помощь полякам. Из трех друзей — Герцена, Огарева и Бакунина — именно последний твердо верил в то, что за польским восстанием последует военно-крестьянское в России, — это соединение дела польского и русского освобождения звучит в последних строках воззвания. О причастности Бакунина к изданию в 1863 г. прокламаций говорит набросок воззвания «Братья-поляки», сохранившийся в одном из его писем к Герцену и Огареву, писанных уже из Швеции [13].

Маленькая книжечка «Свободные русские песни» названа в предисловии издателей «первым на Руси свободным песенником». Это именно песенник — стихотворения, включенные в него, сопровождаются обычно указанием: «На голос... (такой-то песни)» и предназначались для пения в «русских свободных кружках». В песенник вошло 38 стихотворений, напечатанных анонимно [14]. Большинство из них подобрано по лондонскому сборнику 1861 г. «Русская потаенная литература XIX столетия», составленному Огаревым; есть стихотворения, печатавшиеся ранее в «Колоколе» и «Полярной Звезде», в том числе некоторые стихотворения Огарева; 7 песен взяты из выпущенного в 1862 г. «Вольной русской типографией» сборника «Солдатские песни». Есть стихотворения, которые печатались в песеннике впервые, может быть, были специально для него написаны. Участие в песеннике Огарева, как поэта и музыканта, представляется очень вероятным, — может быть, Огарев и был его составителем, а иной раз и автором. Вместе с тем, совершенно ясна и цель издания «Свободных русских песен» — они предназначались для той же подпольной работы землевольцев, для которой печатались и прокламации. В сборнике есть песни, написанные с прямой агитационной целью, — одни из них рассчитаны на пропаганду среди солдат, описывают тяжелую солдатскую службу, призывают солдат к отказу от участия в подавлении Польши и крестьянских восстаний, другие написаны для крестьян; есть песни, призывающие к восстанию. Ниже, под № 5, напечатано несколько малоизвестных стихотворений сборника, характерных своим агитационным содержанием. Как нам представляется, стихотворение «Родина наша», на мотив «God save the Queen», судя по стилю и общему настроению, а также мотиву, указывающему на автора, как на живущего в Англии эмигранта, могло быть написано Огаревым.

Судя по дате фиктивного цензурного разрешения, «Свободные русские песни» были напечатаны одновременно с «Посланием».

Все перечисленные издания, напечатанные за границей для общества «Земля и Воля», подлежали немедленной переброске в Россию для подпольного распространения. В переписке Герцена, Огарева и Бакунина за 1863 г. содержится ряд указаний, иногда неясных намеков, на деятельность в этом направлении Издания попадали в Россию и южным, и северным путем. Энергично действовал из Швеции Бакунин. «Я бросил в север России (в губерн[ии] Архангельскую и Олонецкую особенно) около 7 тыс[яч] экземпляров разных воззваний, между прочими, ваших воззваний к солдатам и офицерам» — писал Бакунин землевольцам 29 августа 1863 г. [15] Поездка Герцена-сына в Швецию в конце мая и в июне н. ст. имела, главным образом, те же цели налаживания транспорта изданий в Россию. Чрезвычайно интересно, хотя и не во всем ясно, письмо Герцена от 27 марта н. ст. 1863 г. находившемуся в Берне и связанному с бернской типографией Касаткину: «На днях едет в Женеву и Берн К. Он вам вручит инструкции и 50 фунтов на расходы. Я думаю пока будет довольно. Печатайте [16] без счета, а коммуникации [т. е. связи с Россией] будут вскоре восстановлены. Революция [польское восстание] не только не погасла, но увеличилась; вести из России благоприятны, и наши труды не пропадут даром... Отпечатайте 300 бланков для окружных [очевидно, для окружных комитетов «Земли и Воли»] по известной форме и тотчас отправьте в Краков — это крайне нужно. В М[оскву], Х[арьков] и К[азань?] вышлем из Лондона через купеческую контору (W. S.), а равно и проекты при первом открытии навигации... Здесь кипит работа, и дело идет исполинскими шагами; но торопиться нечего — переступив рубеж, нет возврата... Старайтесь пользоваться и поддерживать польскую революцию, чтобы,

в свою очередь, они нас поддержали... С весною это примет настоящие размеры»[17]. Есть и другие упоминания, намеки, инициалы, не всегда поддающиеся расшифровке.

Однако, уже к осени 1863 г. стало ясно, что польское восстание будет подавлено, а ожидавшееся крестьянское движение в России не состоится. В 1864 г. общество «Земля и Воля» было ликвидировано, спрос на лондонские издания катастрофически упал. Написанные в 1865 г. главы «Былого и дум» о 1863 г. отражают всю тяжесть перенесенного Герценом удара. Отсюда его скептицизм и осторожность в сношениях с Нечаевым в 1869—1870 гг. Бакунин пережил неудачу 1863 г. совершенно иначе и в 1869 г. так же горячо взялся за поддержку Нечаева, как в 1863 г. — поляков и землевольцев, увлекая за собой и Огарева. Написанные последним для Нечаева агитационные листки, опубликованные в этом же томе «Литературного Наследства», находят себе ряд параллелей именно в материалах 1863 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, т. XIV, стр. 440.

[2] Там же, т. XVI, стр. 93—94.

[3] М. Слепцова в статье «Штурманы грядущей бури» называет автором этого воззвания А. А. Слепцова. «Звенья», т. II, стр. 450.

[4] Герцен, т. XVI, стр. 107—108, 104.

[5] Там же, стр. 69.

[6] Там же, стр. 38—40, 256—259, 40—41.

[7] Там же, стр. 36 и 68.

[8] Там же, стр. 230.

[9] Все эти издания были впервые описаны по подлинникам в библиографическом указателе: «Русская подпольная и зарубежная печать. I. Составлен М. М. Клевенским, Е. Н. Кушевой и О. П. Марковой, под ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина», М., 1935 г. На основании сообщений Лемке, в указателе все они обозначены, как издания «Вольной русской типографии». Исследование Б. П. Козьмина о бернской типографии начала 1860-х гг. помогло исправить ошибку и распутать те приемы ложных обозначений, которыми пользовались издатели.

[10] Герцен, т. XVI, стр. 232—233, 241—242.

[11] Там же, стр. 225.

[12] В «Русской подпольной и зарубежной печати» автором прокламации «К русским войскам в Польше» определен Герцен на основании указания Лемке, что эта прокламация была сокращением брошюры Герцена «Вольная русская община в Лондоне русскому воинству в Польше». Указание это неверно.

[13] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896 г., стр. 121—122.

[14] I. Уж как шел кузнец... — II. — Ай и скучно же мне... — III. Ах, где те острова... — IV. Царь наш немец прусский... — V. Что не ветер шумит во сыром бору... — VI. Долго нас помещики душили... — VII. Из-за матушки за Волги... — VIII. Русский император... — IX. Песня К...ой. — X. Русский бог. — XI. Двуглавый орел. — XII. Михайлову. — XIII. Студентам. — XIV. В память Добролюбова. — XV. В Сибирь. — XVI. Декабристам. — XVII. Боже! вина, вина! — XVIII. Нет, не рожден я биться лбом... — XIX. Родина наша... — XX. Ах ты, сукин сын, проклятый становой! — XXI. Уральская. — XXII. Ослушная песня. — XXIII. Русская кровь льется... — XXIV Как восьмого сентября... — XXV. Как четвертого числа... — XXVI. Эх, солдатское житье... — XXVII. Русскому солдату... — XXVIII. Эх, товарищи любезны... — XXIX. Жил на свете русский царь... — XXX. Что так ветер воет глухо... — XXXI. Братцы! Дружно песню грянем... — XXXII. Дядя, ты в походах... — XXXIII. Славься свобода и честный наш труд... — XXXIV. Современная. — XXXV. Песня бранного воинства. — XXXVI. Боже! Коль благ еси... — XXXVII. Уж опять не бывать... — XXXVIII. О правосудный бог! — Некоторые песни этого сборника появились в 1869 г. в лейпцигской «Лютне», а в пореволюционное время были перепечатаны из нее в изданиях: «Революционные мотивы в русской поэзии», 1921 г. и «Красный декабрь», 1926 г.

[15] Герцен, т. XVI, стр. 496.

[16] Отношу это распоряжение именно к тем изданиям, которым посвящена настоящая заметка.

[17] Герцен, т. XVI, стр. 149—150.

1

РУССКИЕ ЛЮДИ!

Уже целый месяц[1] восстание Польши, вызванное неслыханными жестокостями и произволом русского правительства, поставило наше войско в безвыходное положение. Ему предстоит: или измена присяге

РУССКІЕ ЛЮДИ!

Уже цѣлый мѣсяцъ возстаніе Польши, вызванное неслыханными жестокостями и произволомъ русскаго правительства, поставило наше войско въ безвыходное положеніе. Ему предстоитъ: или измѣна присягѣ и соединеніе съ Поляками, или продолженіе безславнаго дѣла палачества, чтобы по окончаніи бойни покрыть въ глазахъ честныхъ людей всего міра несмываемымъ позоромъ имя русскихъ людей, какъ холопей, рабски исполняющихъ дикіе капризы нѣмца — царя своего!

Все это вы знаете братья, но не всѣ изъ васъ знаютъ какія бѣды и позоръ предстоитъ народу русскому изъ за тупаго упрямства правительства, упорствующаго даже и теперь на перекоръ истинѣ и благу Россіи, въ ненужномъ для насъ, насильственномъ удержаніи Польши, которой не сегодня, такъ завтра, но уже русской не быть. Не быть, потому что мысль объ освобожденіи не умретъ въ польскомъ народѣ, пока останется живъ хоть одинъ Полякъ — а тѣ, которыхъ мы видимъ подъ оружіемъ поклялись не оставлять его, пока они недостигнутъ своей цѣли, или не падутъ до послѣдняго.

И имъ легче достигнуть свободы, нежели это кажется. . . .

Легче потому, что они всѣ проникнуты глубокимъ патріотизмомъ, и уже успѣли выказать такія чудеса храбрости и героизма, которыя невольно заставляютъ имъ удивляться и преклоняться передъ ними.

Легче и потому, что взявъ своимъ девизомъ на знамени: „За нашу свободу и вашу (русскую)" — они тѣмъ самымъ дѣйствуютъ за одно со всѣмъ, что любитъ и хочетъ свободы въ Россіи.

Легко особенно и потому, что сочувствіе всей Европы съ ними. На этотъ разъ оно едвали уже ограничится одними словами, какъ это было въ 1831 г. Англія, Франція, Италія, свободная Швейцарія, Швеція — и даже сама рабская Австрія — наперерывъ высказываются въ пользу возстановленія Польши, собираютъ подписки въ пользу Поляковъ и не прочь даже отъ военной помощи. . .

Всѣ эти страны приняли такую дѣятельную рѣшимость, глубоко возмущенные тѣмъ, что Россія тайкомъ заключила съ Пруссіей оборонительный и наступательный договоръ, не противъ внѣшнихъ враговъ, — а на скорѣйшее истребленіе Поляковъ. . . .

Для насъ же особенно важно, что въ этомъ договорѣ есть секретный пунктъ, въ силу котораго Пруссія „обязуется ввести свои войска въ предѣлы Россіи — въ случаѣ движенія внутри Россіи за землю и волю. И такъ — мало намъ нѣмцевъ-чиновниковъ, полтораста лѣтъ сряду грабившихъ, притѣснявшихъ и разорявшихъ насъ. Царь въ своей неизрѣченной милости хочетъ насъ ознакомить еще и съ прусскими штыками!

Нужно ли говорить, что и въ самой Пруссіи — общественное мнѣніе возмущается противъ такой позорной стачки! . . .

РУССКИЕ ЛЮДИ!

Прокламация бернской типографии, 1863 г.

Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

и соединение с Поляками, или продолжение бесславного дела палачества, чтобы по окончании бойни покрыть в глазах честных людей всего мира несмываемым позором имя русских людей, как холопей, рабски исполняющих дикие капризы немца — царя своего!

Все это вы знаете, братья, но не все из вас знают, какие беды и позор предстоят народу русскому из-за тупого упрямства правительства, упорствующего даже и теперь наперекор истине и благу России в ненужном для нас, насильственном удержании Польши, которой не сегодня, так завтра, но уже русской не быть. Не быть, потому, что мысль об освобождении не умрет в польском народе, пока останется жив хоть один поляк — а те, которых мы видим под оружием, поклялись не оставлять его, пока они не достигнут своей цели или не падут до последнего.

И им легче достигнуть свободы, нежели это кажется...

Легче потому, что они все проникнуты глубоким патриотизмом и уже успели выказать такие чудеса храбрости и героизма, которые невольно заставляют им удивляться и преклоняться перед ними.

Легче и потому, что взяв своим девизом на знамени: — «За нашу свободу и вашу (русскую)» [2],— они тем самым действуют заодно со всем, что любит и хочет свободы в России.

Легко особенно и потому, что сочувствие всей Европы с ними. На этот раз оно едва ли уже ограничится одними словами, как это было в 1831 г. Англия, Франция, Италия, свободная Швейцария, Швеция — и даже сама рабская Австрия — наперерыв высказываются в пользу восстания Польши, собирают подписки в пользу поляков и непрочь даже от военной помощи... [3].

Все эти страны приняли такую деятельную решимость, глубоко возмущенные тем, что Россия тайком заключила с Пруссией оборонительный и наступательный договор, не против внешних врагов, — а на скорейшее истребление поляков...

Для нас особенно важно, что в этом договоре есть секретный пункт, в силу которого Пруссия обязуется ввести свои войска в пределы России — в случае движения внутри России за землю и волю. Итак — мало нам немцев — чиновников, полтораста лет сряду грабивших, притеснявших и раззорявших нас. Царь в своей неизреченной милости хочет нас ознакомить еще и с прусскими штыками! [4].

Нужно ли говорить, что и в самой Пруссии — общественное мнение возмущается против такой позорной стачки!...

Но в этом еще не вся беда. Беда в том, что благодаря этой стачке Россия теперь как бы накануне войны. Соглашением этим Россия и Пруссия нарушили европейское право — и Франция, Англия и Австрия наготове — путем войны требовать от России — восстановления Польши [5].

Если Россию, вследствие этой войны, заставят восстановить Польшу, — то не только у правительства, но и у всего народа русского навсегда уже отнимется честь добровольного ее восстановления — и в воскресшей Польше, вместо поляков — друзей и союзников, мы будем иметь навсегда соседей-врагов, так как обязанные своею свободою не русскому народу, а западным государствам — они не забудут, что у русского народа был случай помочь им, но он не захотел или даже не сумел дать этой помощи, а вместо того продолжал свою бесславную резню.

Итак, чем ожесточеннее будет продолжаться неправая бойня поляков, тем неотвратимее для нас жестокая бесславная война, угрожающая всей России новыми налогами, наборами и раззорением — и все это

в такое время, когда нам преимущественно необходимо хозяйственно устраиваться...

Люди русские! Для избежания всех этих бед, мы единодушно и твердо должны заявить правительству, что мы не хотим продолжения польской бойни, угрожающей нам новым бесславием и позором. Заявим твердо, что мы все желаем немедленного восстановления польского королевства с добровольным присоединением к нему тех из западных губерний, где народ большинством голосов сам этого захочет[6]. Конечно, не одно дворянство, как это было в Минской и Подольской губерниях[7].

Россия ничего не потеряет в своем могуществе и величии — если та часть ее населения, которая удерживается насильственно, отойдет от нее.

Заявим наше нежелание европейской войны, не соглашаясь помогать правительству в прекращении польского восстания. Совершив такое дело, мы уже с чистым сердцем и светлою совестью будем в состоянии приступить к соединению нашему в Земский собор ото всей земли русской, для обсуждения нашего главного дела: об нашей земле и воле.

Москва, 4-го февраля 1863 г.[8]

2

К РУССКИМ ВОЙСКАМ В ПОЛЬШЕ

Настоящие события в несчастной и угнетенной Польше, где петербургское правительство нагло и бесстыдно попирает честь и совесть русского войска, вызывает невольно наш душевный крик, с которым мы и обращаемся к вам.

Бо́льшая часть из вас знаете, или даже были очевидцами, до чего дошло безумное, неперестаеваемое и зверски жестокое преследование поляков. Сеть шпионства, устроенная при пособии французских мастеров этого дела[9] и раскинутая по всей Польше, набиваемые битком казематы, сибирки и подземелья, русские штыки в церквах, на улицах, в домах, обращенных в бараки, терзания с одной стороны хватаемых всюду поляков, с другой, поджигание русских солдат на жестокости и зверства, разные ложные объявления, фальшивые обвинения и т. п. — всего этого казалось еще мало потерявшему голову, ослепнувшему от ярости правительству. Презрев окончательно всякие человеческие права, оно решилось на неслыханный доселе способ набора без очереди, по своему произвольному выбору и по указанию своих шпионов[10]. Набором таким, как казалось ему, оно задушит последние порывы патриотизма и отчаяния поляков. Не сознавая, кроме того, до какой степени такой произвол возмутителен, оно само с наглою откровенностью и торжественно, пред лицом всей Европы, заявило в газетах, что такая мера действительно несправедлива, но, тем не менее, оно предпринимает ее[11]. Вам хорошо известны все отвратительные последствия этой меры. Ловля жертв, словно зверей, вламывание силой в мирные дома, захватывание и битье жен, стариков и детей,[12] спаивание водкой, с целью заставить и солдат и схваченных кричать ура, и, наконец, возмущающие всякую честную душу статьи в газетах, что рекруты-новобранцы не только не сопротивлялись, но даже остались довольны таким набором и славят кротость и милосердие к ним властей[13].

Общее презрение всей Европы, за исключением одной жалкой и холопской Пруссии, было ответом на эти события. У всех в то же время вырвался один вопрос: как отнесется к таким событиям и к неми-

нуемому, справедливому восстанию Польши наше войско, о котором уже давно разнеслись слухи, что оно смотрит с отвращением на роль полицейских ярыг и палачей, которую заставляет играть русские войска немецкая команда?

Известный протест 355 офицеров против столько же известного, благородного адреса других честных офицеров, указывавших великому князю Константину на гибельность его мер[14], доказал только то, что в семье не без урода, что в русском войске, как и везде, есть часть злодеев (хорошо известных солдатам), есть и жалкие люди, не смеющие прямо заявить своего убеждения и готовые запятнать исполнением чего угодно честь всего войска, лишь бы не навлечь на себя гонений правительства.

Неотразимое восстание вспыхнуло действительно и, охватив быстро города и селения, отозвалось всюду, где бьется польское сердце. Сознавая всю огромность своих преступлений, вызвавших это восстание, правительство распускает нелепую басню, что поляки режут безоруженных русских во время сна, сжигают их живьем и т. д.[15] Оно придумывает и пускает в ход все, чем только можно остервенить солдата против поляков и естественно, что, всюду печатая и разглашая выдуманные им басни, отчасти успевает вселить недоверие и затем неприязнь к полякам.

Посылая вас резать, жечь и грабить поляков, немецкая команда возбуждает вас тем, что жертвы осмеливаются отбиваться от вас, дерутся с вами и желают себе успеха. Но неужели никому из тех, кто считает себя вправе бить поляков, потому что они вооружены, не приходило на ум, что, в положении несчастной и благородной Польши, каждый русский сделал бы то же самое, что и поляк. Да, если б Поляки и не защищались, то неужели вы бы сделались мясниками, льющими человеческую невинную кровь?

Царь на разводе в Петербурге сказал, что не совсем доверяет вам и не надеется на вас[16]. Этого мало: за словами явилось дело. Он заключает союз с Пруссией, чтобы немцы не только помогали вам, но и поучали вас, как резать людей за то только, что мера их терпения иссякла от бедствий и всяких гонений на них[17].

Русский царь не постыдился, таким образом, отдать вас в учение немцам на поругание всей Европы, в ученье резать и грабить поляков, за то, что они любят свою отчизну.

Понятно и малому ребенку, чего хочет царь. С помощью пруссаков он, прежде всего, думает во что бы то ни стало задушить поляков. А так как это ляжет черным пятном на всех русских, то и должно породить неудовольствие во всех классах русского общества, вовсе не желающего позорить имя русских участием в бесчестных и гнусных замыслах правительства. Тут же в марте поднимается снова крестьянский вопрос[18] от того, что, как всем известно, наши мужики не хотят воли без земли, да и то еще, если разобрать, воли только на бумаге.

Тогда вас пошлют, с помощью тех же пруссаков, как это уже и заключено в конвенции с Пруссией[19], резать и душить наших крестьян, держать караулы в недовольных городах, одним словом, бить и ловить всех, кто только подымется за правду и волю.

И в награду за это царь повесит кресты немецким командирам и похвалит их за усердие! Он ведь не постыдился недавно заявить благодарность изменнику своего отечества, продажной душе — Вел[ь]епольскому[20]. Этим он ясно заявил, что одобряет вполне все распоряжения, делающие вас палачами, и что на вас он смотрит только — как на слепое орудие воли таких людей, как изменник Вел[ь]епольский и его клевреты.

Нет, вы покажете, что вы далеко не ослепли, что совесть ваша недосягаема неправде, что честь в ваших сердцах не только не умрет, но и не заглохнет даже на время. Вы не станете бить несчастных поляков, вы не захотите быть палачами, вы не позволите мешаться немцам не в их дело, натравливать вас на резню и расстреливать русских, вы не дадите себя на посмеяние всей Европы, вы избавите от общего презрения имя русского, вы покажете нашим властям, что вы не жалкое орудие, поддерживающее русский позор и русское ярмо, что в ваших сердцах, так же как и у поляков, бьется любовь к свободе и правде, и что не только теперь, но и никогда, вы не захотите служить для гибели истины, для бесславья нашей земли и ее неволи[21].

А потому мы и убеждены, что в сердце каждого из вас отзовется светло наш искренний клик:

Да здравствует многострадальная Польша, свободной и независимой!!

Да засияет вместе с ее свободой и наша русская свобода!

С.-Петербург. Февраль 1863 г.[22]

3

[БРАТЬЯ СОЛДАТЫ...]

Братья Солдаты,

Ведут вас бить Поляков.

За что?

За то, что они разбежались от рекрутчины, не по очереди и не по жеребью, а по полицейскому выбору устроенной[23]. Кто полиции не понравился, того и в рекруты. От этой неправды мещанство из города ушло в леса и там выбрало себе начальников и стало защищаться и говорить, что Польша не должна управляться петербургскими немцами, что она может жить в ладу с Россией, а управляться должна по своему, крестьянам землю отдать и свой народ от всякого насильства панского и петербургского избавить[24].

И за это их правое дело вас заставляют по ним стрелять?

Какой срам на имя русское! Какой грех на душу христианскую!

И как же варшавское начальство учит солдат войну вести!

Путного сражения никакого и начать не умеет, а говорит солдатам: «Грабь, бей безоружных, жги села и города, офицеров честных не слушайся, а слушайся только грабителей!»

Да разве это война?... Это разбой!

Что сделали из русских воинов?... разбойников!

Нет же, братья солдаты, кто из вас в бога верит, кто не христопродавец, тот душу свою за начальство антихриста не погубит, грабить не станет, безоружных бить не станет; домы, села и города жечь не пойдет и по полякам, по народу, за свою землю и волю стоящему, стрелять не будет; а подумает о другом, а о чем, про то мы скажем теперь же:

Почему Польша встает? Потому что на то воля господня, потому что слушной час приходит. Народу русскому фальшивую волю дали, облыжные грамоты написали, землю урезали, оброки повысили, подати надбавили; за землю крестьянскую хотят выкуп брать. Дело ваше не поляков бить, а своему русскому народу помочь, чтоб на святой Руси не было розни сословной, ни дворянина, ни мужиков, а был бы один народ русский и в управление себе людей выбирал бы сам, а царских чиновников-грабителей отрешил бы; чтоб земля за ним осталась без выкупа; чтоб воля ему была дана настоящая; чтоб и солдат за свою служ-

бу не побродягой остался, а тоже бы свою землю от мира имел, чтоб служба была короткая, чтоб офицеров своих, и полковников, и генералов солдаты выбирали честных и смышленных из себя же и из людей им известных, а не то, чтоб к ним насылали в начальство воров да палачей, солдат обкрадывающих да засекающих; чтоб рекрутчины не было, а были бы солдаты ополченцы народные — а не опричники царские да разбойники генеральские.

До какого мы срама дожили — царь против поляков вступил в союз с прусскими немцами! [25]. Да разве мы сами-то немцы что ли или нехристи, что нам с ними заодно поляков бить?

Уж если на то пошло, так лучше поляку помочь противу всяких немцев, и своих, и заморских, чем за неправое дело вступаться да разбойничать. Или, братья-солдаты, оставьте поляков в покое устраиваться по ихнему, — а идите освобождать народ русский от царских дворян и чиновников, да клич кличьте, чтобы народ сзывал великий Земский собор из людей, народом без розни сословной выбранных, чтоб учредили они за народом русским землю да волю по божьему, а не по заморскому.

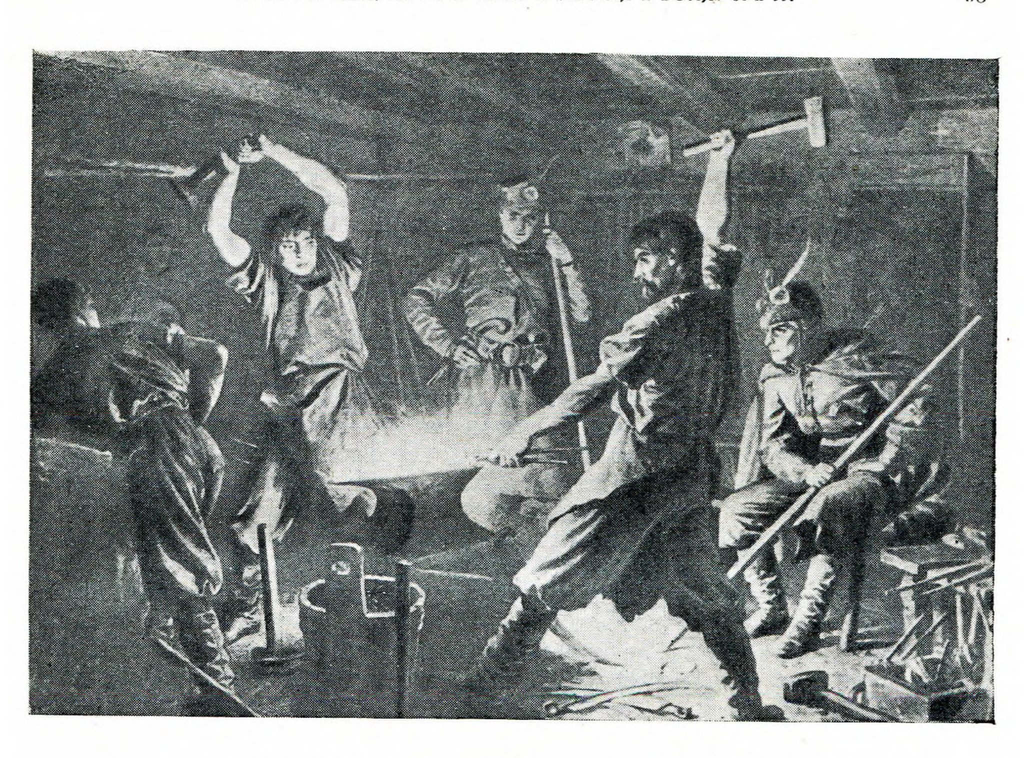
Власть господня наступает, слушный час приходит. Братья-солдаты, слушайтесь тех, кто говорит вам во имя Земли и Воли: не на рабство полякам — сохрани вас господь от этого, а за волю народа русского, крестьянского, встаньте дружно, и да воскреснет бог и расточатся враги его [26]!

4

ПОСЛАНИЕ

Во имя отца и сына и святого духа, аминь.

Народ православный! Отцы твои расчистили всю русскую землю, распахали ее, сделали плодородной своим трудом и потом отстояли ее от неверных своею кровью, — а ты живешь в горькой доле, трудишься день и ночь, работаешь лето и зиму, а у тебя часто и куска хлеба нету. Заработаешь иной раз лишнюю копейку, да и ту не можешь употребить для себя, на свои нужды. А вон, посмотри на господ, на твоих начальников и чиновников, — они ничего не делают, сидят сложа руки, а живут не в пример лучше твоего. Куда же идет твоя копейка, и откуда берут господа деньги? Берут они деньги с тебя, да и не смотрят, есть ли с чего брать, есть ли у тебя промыслы и прибытки, есть ли рабочие руки? Будь хоть шесть человек мал мала меньше, только бы в ревизии были, давай деньги с каждой головы, что только и бывает у неверных, проклятых народов, где подать берут с головы. Прежде подать брали с земли и с прибытков и с промыслов, как у всех христианских народов; теперь же, когда цари онемечились, положили народ в число, как скот, и дерут с каждой головы последнее; есть деньги — деньги давай; нет денег — лошадь, корову берут, последние животы; словом до конца разоряют. А с бар, сколько они ни имей земли, никакой подати нет. У других христианских народов баре-то, напротив, больше всех и платят, так как у них и земли больше, и прибытков, и промыслов в их руках больше; только значит раскладка податей там совсем другая. У нас подать накладывают царь с вельможами; значит такие люди, которые сами не несут никакой подати и дела крестьянского не понимают, и добра народу не желают, а норовят только себе. Сами знаете, люди православные, как бы могли они положить по три, по четыре десятины на душу земли, кабы знали, что этим прокормиться крестьянину нельзя; не заставили бы они выкупать даже эту землю, коли бы желали народу православному добра. А податей накладывают они на



КУЗНЕЦЫ КУЮТ ОРУЖИЕ ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ПОВСТАНЦЕВ
Литография
Музей Революции, Ленинград

народ, сколько захочется, а потом прибирают из казны эти деньги, которые, значит, собирают с народа, да проматывают их на балы, на вино, на карты, да на блядню, да на разные прохлаждения; а чего не достанет, то прибавят на народ же. Вот недавно на народ прибавили подать, а в нынешнем, а нето в следующем году, опять прибавят; им дела нет до того, что народ год от году разоряется и делается беднее. Так вот, братцы, куда ваши подати идут; видите сами, что своими же податями вы содержите своих мучителей и притеснителей. Они превозносятся пред вами, а того не понимают, что без вас они пропали бы с голоду.

В других христианских землях дело это не так идет. Там значит каждое общество — сельское или городское — расчислит с а м о: сколько у каждого общественника доходу с земли или с каких промыслов и прибытков, сосчитает, сколько каждому по доходу платить н е т р у д н о, и пошлет, значит, тогда каждое общество от себя доверенного, что ни-на-есть умного и речистого в столицу. Из этих выборных, доверенных от всей земли, и составляется в столице один сход или З е м с к и й с о б о р. Этот собор и расчисляет все нужное в государстве, — что нужно на войско, на жалованье царю, на жалованье вельможам, чиновникам, на дороги, на гоньбу; и что собор положит — так то дело и делается; того уж не могут переменить ни царь, ни вельможи; и по тому расписанию идет расход денег. На следующий год доверенные опять в столицу и поверяют: по их ли расписанию был расход; и если нет — то тех, которые своевольно распорядились деньгами народа, — долой. Там, значит, трудовая народная копейка не пропадает даром, — потому царю и вельможам транжировать народных денег нельзя. Там и прибавка подати делается самим народом, когда он увидит подлинно сам, что это нужно.

Теперь возьмем повинности. Примерно, рекрутчина. Только это подрастут дети у крестьянина и станут помогать в работах, их забирают в солдаты, гоняют по свету лет двадцать пять, а после пускают на все четыре стороны. Возвращаются они домой хворые, изувеченные, работать не могут, — словом, живут другим в тягость, себе не в радость. В иных землях совсем не так, там рекрутчину несут одинаково все: и бары, и купцы, и чиновники, и крестьяне. — Оно так и бог велит — свой сын всякому дорог — А другие повинности? Давай лошадей на разъезды начальству, ступай поправлять дороги; а то еще: поставят солдата — сам ничего не ешь, а его корми. У других же народов, кроме рекрутчины, повинностей натурою совсем нет. Такой тяги для народа, как у нас, кроме неверных турок, ни у кого нет.

— Теперь и то возьмем еще: в других христианских государствах всем распоряжается и заправляет сам народ. В селах общественники сельские, по выбору; в столицах доверенные всей земли, от всех сельских и городских обществ. Там чиновники состоят в распоряжении у народа, — он сам их определяет, сам и увольняет. Так оно и быть должно. Народ дает деньги на государство, он, значит, должен быть и хозяином всего: чиновники его работники [27]. А у нас, как у неверных турок, вельможи и чиновники всем заправляют и распоряжаются, а народ стал у них работником. — Какая же тут правда? Будет ли чиновник беречь чужие деньги? Он и казну обкрадывает, и с народа дерет. — Мужик и становому дай, и лесничему дай, и судье дай, да и кому еще не дай!

— Не дай же — никакого дела не сделает, ни из одной беды, как бы прав ни был, не выйдешь, — в тюрьме сгноят ни за что, ни про что, и никакого суда нигде не найдешь. — Это вы, православные, сами на себе испытали. — Такой бессудной земли, как наша, кроме турецкой, нет еще на свете. — Зачем же у нас эти чиновники и зачем их так много? Говорят — они должны судить, решать тяжбы. В других землях судит виновных сам народ; он выбирает, значит, умных и честных людей и своих общественников, а они и рассудят каждого, — прав ли, виноват ли, — при всем народе. Кто хочет, приходи и слушай, право ли судят. Дело, значит, ведется, как есть начистоту, — покривить душой нельзя. И суд для всех один: барин ли, купец, мужик ли, становой, окружной ли, губернатор ли, правду на всех можно найти. У нас никакой не найдешь правды не токмо что на губернатора или окружного — на своего брата мужика — побогаче — нигде не найдешь суда. Отчего же это, православные люди, у нас ведется все не так, как бы следовало? Кто причиною тяги нашей? Кто примерно закрепостил нас, отдал в кабалу помещикам? Угодит, бывало, царю, а нето царице (известно чем) какой-нибудь барин, они и подарят ему тысячи две народу. Вот и пошли мучиться в кабале бедные люди. Инда другим государям вчуже становится жалко русского народа. — Французский король Бонапартий, когда кончил с нами под Севастополем войну, велел нашему царю пустить крестьян на волю и дать каждому столько земли, сколько нужно для пропитания. С тем только и войну покончил [28]. А царь обманул Бонапартия — на волю мужиков будто отпустил, а земли вовсе не дал. Какая же это воля? Она хуже неволи! Сколько из-за этой воли народу перестреляли, сколько насмерть засекли, сколько по острогам да в Сибирь разослали? И ныне только и слышно об этом. Хороша воля. Помещикам оставили все, а мужикам не дали ничего; за землю мужик должен платить или отбывать по старому барщину; да еще налогов прибавили, да и тут еще его обманывают! Народ ждет другой воли, настоящей! А царь сам сказал, что другой воли не будет [29].

А от того он другой воли не дает, что тянет руку за помещиков.

Выйдет спор у мужика с помещиком, — помещику ничего, а на мужика посылают солдат, — и все это делается по царскому приказу. Народ думает, что царь ничего не знает и не ведает, как народ-то обижают. — Царь все знает, да молчит. Уж если бы он захотел, то ни за что не дал бы народ в обиду, и помещики ничего не могли бы с ним сделать.

Вот и еще царь написал новый закон о суде [30]; а по новому закону все равно правды не найдешь ни на барине, ни на чиновнике, ни на вельможе; потому — судьи все будут чиновники, поставленные от тех же вельмож. Поди тут, ищи правды. Значит ни на царя, ни на синклит его надеяться нечего. Да от них же вера наша христианская стала теперь в поругании. Теперь никому нельзя старым крестом, которым наши отцы и деды молилися, перекреститься. Нельзя старую книгу, старинную икону в доме держать, — в острог посадят, в Сибирь сошлют [31]. Татарам, немцам дозволяют отправлять их веру, а кто хочет держаться древнего благочестия — тех в острог и в Сибирь. — Прежде за веру и древнее благочестие и за обиду народа заступались архиереи, теперь же архиереи сами заразились латинскою и греческою ересью и онемечились; стали надевать на себя и ордена, и звезды, и ленты разноцветные; живут, как вельможи — обжираются, пьянствуют и блядуют, как они же. Преж сего православные архиереи орденов и звезд не носили. Монашеское ли дело носить ордена? И жития архиереи были кроткого, богобоязненного — за народ смерть принимали, как святой митрополит Филипп от царя Ивана Грозного. — Ныне же архиереи сделались рабами у царя и вельмож. — В старину всякое дело церковное обсуждалось всеми архиереями на соборах; теперь вельможи и немцы придумали вместо соборов синод; посадят туда двух или трех архиереев, у которых больше орденов, — что ни на есть значит худших между архиереями, да к ним и приставят командира из военных, оберпрокурора; что он им прикажет — то и пишут; какое тут может быть святое дело [32]. Попы, поставляемые от таких архиереев, сделались для народа тяжеле самих чиновников. — Народ ничему не учат, норовят только обирать его за требы разные, преследуют держащихся древнего благочестия, ездят сами по домам с обысками; вместо того, чтоб защищать народ от чиновников и бар, — сами каждому чиновнику и барину похлебствуют и ползают перед ними. Оттого, что ни на есть дурное дело, вельможи и чиновники делают через попов; а попы обманывают вас, выдавая всякое их дьявольское дело — за божье. Теперь хоть бы о земле: попы по приказанию царя и по наущению вельмож и архиереев говорят вам, что бог велел платить барам и работать им за землю. А всякому разумному человеку видимое дело — какой тут бог. Разве бог может создать целый народ и отдать всю землю барам, а мужику не дать ничего? В таком рабстве, утеснении, гонении, царь и его чиновники стараются оставить народ навсегда. Нарочно закрывают ему ход к такой науке, где бы он узнал все непорядки и плутни, какие они чинят в русской земле. В школах народ учат только грамоте, да и то плохо, а чтоб показать народу, как сделать, чтобы жить легче было, как дело идет в других землях и как у нас, и раскрыть ему глаза на все зло, которое от них делается ему, так нет. — Этого никому не позволяют. На то и попов в школах приставили, чтоб они обманывали народ, что будто бог велит повиноваться начальникам, которые веру гонят и народ обворовывают и грабят, и доносили бы на тех, кто будет говорить народу правду. Если ж кому из народа, или из поповичей, или из солдатских детей, или из бар добрых — удается произойти всю науку и узнать все зло, которое от бар да от чиновников происходит, и они начнут книжки писать и в тех книжках стоять за народ, начнут говорить, что народу землю дать надо,

надо убавить с народа подати и разделить их между всеми по земле, промыслам и прибыткам, что надо народу правый суд дать, надо избавить его от чиновников и дать ему самому всем управлять через выборных и доверенных от всей земли, — таких царь да вельможи по тюрьмам сажают и в каторгу ссылают, а народу говорят, что они злое умышляют и бунтовщиками их называют. А ведь это радельники твои, мученики за волю твою, народ православный. Ныне стали появляться добрые командиры у солдат, тоже происшедшие всю науку, они учат солдат не стрелять в своего брата мужика, когда вельможи и чиновники будут заставлять стрелять; а царь таких командиров расстреливает, пето в Сибирь ссылает на каторгу [33]. — Больно царю и вельможам не хочется, чтобы народ разузнавал все непорядки, и плутовства, и мошенничества, которые они делают. Теперь им тепло и хорошо, ничего не делают, сладко едят, пьянствуют, веселятся, блядуют на трудовые народные деньги; ну и смекают они, что как узнает все это народ да отчету потребует в своих деньгах, тогда им плохо будет. Видишь, народ православный, что радельников за тебя мало, кругом тебя все вороги, постоять за тебя некому, если сам не постоишь за себя, а постоять ты можешь за себя — потому на тебе все держится и все от тебя зависит; только решись твердо на это дело. Ведь православного народа на Руси — крестьян, купцов, мещан — 50 миллионов, а вельмож, бар, чиновников наберется, может, какой-нибудь миллион; да и нельзя им стоять против тебя; чем они стоят? — деньгами и солдатами; деньги и рекрут они берут у тебя же— значит денег, податей разных платить не надо, рекрутчину не отбывать — до тех пор, пока воли настоящей не дадут, да и не позволят всем что ни-на-есть людям на Руси управлять всеми делами самим, через выборных и доверенных; тогда и податей не пожалеем, дадим последнее на общее земское дело, и живота своего не пощадим за веру православную и матушку в о л ь н у ю Р о с с и ю.

Возьмись же за дело дружно, и ты избавишься от твоих притеснителей. Скажи царю, что если он не возьмет твоей стороны — ты и его не послушаешь. Живут же вон в других землях люди и без царя, своею головою, и живут не в пример лучше нашего. Царское войско тебе не страшно, если ты станешь дружно-дружно заодно. Царь и вельможи берут у тебя рекрут, чтоб защищать твою землю от неверных, а вместо того посылают их избивать народ же, когда он потребует правды; за убийство народа царь жалует генералов орденами и крестами, как будто за какую победу. Так даже и у неверных не делается.

— Итак, народ православный, у кого есть в солдатах сын, внук — закляни их, чтоб не могли поднимать оружие против брата своего, когда мужики восстанут и потребуют правды, — а напротив стали бы за мужиков и били тех командиров, которые будут учить итти против своего брата; закляни твоих сынов, внуков, племянников слушать тебя,— и не давай им своего благословения, прокляни их в сей жизни и в будущей, если не будут тебя слушаться [34]. Они должны пристать к братьям и отцам, и быть заодно с тобой; а там пристанут к тебе все те, из разных сословий, которых так же, как и тебя, притесняют вельможи, и чиновники, и помещики. Есть ведь хорошие люди и между господами, которые живут в такой же горькой доле, в рабстве, как и ты; они примут твою сторону, первые лягут костьми за народную волю. Все дело стало за почином; и тогда все вороги народа православного останутся одни, как раки на мели. — Не будет тогда лихоимцев, дармоедов, и всяк всякому будет равен, и земля, ныне отнятая грабителями, опять перейдет к тебе. Земля эта богом дана тебе, народ православный. Царь, как скоро не радеет о народе, проматывает с вельможами его трудовые деньги, не дает ему земли, отягчает податями, гонит его ве-

ру — неверный царь. Попы и архиереи, ради скверных прибытков своих только обманывают тебя, когда называют его благочестивейшим. Цари, даже и благочестивые, только терпятся богом по слабости и малодушию народа, и есть это не божье установление, а человеческое. Послушайте святого писания; пока у иудеев не было царя, бог сам управлял ими, был всегда с ними; когда же иудеи, увлекшись соседними идолопоклонническими народами, у которых были цари, хотели сами иметь царя, — бог долго отговаривал их от этого преступного намерения, но когда иудеи не послушали его, и ему нельзя было оставить этого народа, потому что в нем только и сохранилась тогда истинная вера, то бог согласился, чтобы они избрали себе царя; но чтоб царь был непременно из народа, — и царем был выбран Саул, из простого народа; он взят был прямо от сохи. Когда Саул испортился, другой царь был выбран также из простого народа, из пастухов, это был благочестивый царь Давид. Выборные цари были лучше у иудейского народа, и царство Иудейское при них было цветущее, и народ благоденствовал, и как начались у иудеев цари наследственные и окружили они себя, подобно язычникам, вельможами, в роде наших, и архиреями, и книжниками, и фарисеями, — царство Иудейское и пошло на расстройство, и потом оставлено богом и пленено язычниками. Иисус Христос царей не устанавливал и был за то распят вельможею римского царя Пилатом Понтийским. Первые христиане поневоле покорялись и терпели от царей неверных, потому что были малочисленны и бессильны. Цари перешли к христианам из язычества; без этого царей никогда бы не было у христиан. По христианству все люди должны быть равны между собою, как братья; а где есть царь на полной своей воле, там непременно заведутся вель-



СОБЫТИЕ 19 СЕНТЯБРЯ 1863 г. В ВАРШАВЕ

Литография из собрания Герцена

Литературный музей, Москва

можи и притеснители, и народ сделают своими рабами, будут его грабить и превозноситься над ним; тут братства не ожидай уж! У христианских народов ныне нет царей на полной воле нигде, кроме нас да неверных турок. У всех христианских народов сам народ дает законы, сам всем управляет, сам судит: цари и короли там только в роде главных управляющих, наблюдающих за исполнением того, что народ постановит и определит. Там нельзя ни царям, ни королям, ни вельможам ни теснить народ налогами, ни обирать его через чиновников, ни обижать, ни веры ругать. Вооружись же, народ православный, поголовно; вставай не маленькими кучками, а целыми волостями, округами, губерниями и требуй от царя: 1) Чтобы каждому мужику без всякого выкупа было дано столько земли, сколько нужно для пропитания, и сколько кто обработать может. 2) Чтобы в селах, городах, столицах, во всей земле заправлял и распоряжался сам народ через своих доверенных. 3) Чтобы подати платили и повинности несли только те, у кого есть чем платить; а кто беден, пока не поправится, — пусть не платит; а вельможи и чиновники, известное дело, должны больше платить, чем народ. 4) Чтобы сам народ, через своих доверенных, делал раскладку всем нуждам в государстве — назначал жалованье царю, вельможам, чиновникам; сам делал раскладку податей и повинностей по земле, по промыслам, по прибыткам, какие у кого есть, и поверял сам расходы, правильно-ли они будут дѐлаться по его назначению. 5) Чтобы рекрутчину несли все: и вельможи, и бары, и купцы, и чиновники, и крестьяне; а служба солдатская длилась три года, да и солдаты не жили бы бог весть где, когда нет войны, а жили бы там, где родились, по волостям. 6) Чтобы сам народ, через своих доверенных, судил всех по всей земле, чтобы суд был для всех один: и для барина, и для купца, и для крестьянина; чтоб на суде правда была для всех одинакова, и суд производился бы открыто перед всем народом. 7) Чтобы всякому вольно было держать ту веру, какую хочет он; чтобы за древнее благочестие не томили по острогам; чтобы архиереев для народа не вельможи посылали, а народ сам доставал их, где найдет чистую веру; и чтобы архиереи не ставили бы в попы своих и барских прихлебателей, а народ сам бы выбирал себе в пастыри людей разумных, знающих писание книжное, жития честного и богобоязливого. — Одним словом, требуй, чтобы не распоряжались его добром, не разоряли его ни царь, ни вельможи, ни чиновники, ни попы. Коли того не послушают и твоего требования не исполнят, особенно если вышлют солдат против тебя, — поступай с ними, как с неверными, греха в том не будет. Потом соберем Земский собор со всей земли и всем миром, по общему согласию заведем новые порядки везде; землю разделим безобидно всем, смотря по нужде; даром жалованья никому давать не станем; тогда и подать придется платить поменьше; да и уж одно слово — тогда все устроим с общего согласия и полюбовно.

С богом за дело, народ православный [35]!

5 [36]

На голос: «God save the Queen».

Родина наша
Нас помяни,
Горестей чаша
Ждет наши дни.

Много ль нас, мало ли,
Что б нас ни ждало,

С братской любовью
Ляжем костьми.

Князь и невольник,
Поп и раскольник
Нашею кровью
Станут людьми.

Уж опять не бывать
Прежней рабской доли,
Ночью, днем — жадно ждем
Мы желанной воли.

Облегчить, свободить
Нас давно сулили,
А пока — лишь бока
Наши колотили.

Коль путем и добром
Не дадут нам воли,
Топором заберем
Мы свое приволье.

Обещать и не дать
Уж теперь не могут,
Нето нам — мужикам
Рученьки помогут.

И плечо — горячо
Раззудится силой,
И хоть раз да горазд
Хватим, что ли, вилой.

И с лихвой — дружный бой
Барщине отплатим,
Не одну голову
Барскую отхватим.

Пусть тогда для суда
Земские наедут,
И по ним, по родным,
Рученьки проедут.

Уж опять не бывать
Прежней рабской доли,
Ночью, днем — жадно ждем
Мы желанной воли.

ОСЛУШНАЯ ПЕСНЯ

На голос: «Marseillaise».

Час ослушной пробил для нас,
Освободим себя со славой!
Злодеи вынудили нас
К расправе дружной и кровавой! (bis).

К оружию, друзья!
Сомкнемтеся в ряды!
Вперед! вперед — нас ждет земля
Да воля за труды.
Пусть, как единый человек,
Вся Русь замученная встанет!
Освободим себя навек!
Земли родной на всех достанет. (bis).
К оружию.......
. . . .
Довольно немцам пировать,
Довольно тешиться над нами!
Солдат да земство угнетать
С кнутом, плетьми и кандалами! (bis).
К оружию........
. . . .
Нас грабежами до сумы
Они довольно доводили!
Крестьянской кровью вдосталь мы
Родные нивы напоили! (bis).
К оружию........
. . . .
Довольно нас терзали зря,
Довольно стригли нас, как стадо...
Не надо больше нам царя,
Чиновной сволочи — не надо! (bis).
К оружию........
. . . .
Без полицейских и дворян
С собой управимся мы сами;
Рассудим все дела мирян,
Как встарь — землей да волостями! (bis).
К оружию........
. . . .
Сходись со всех сторон народ,
Всяк, что за волю — будет с нами.
Солдаты, к нам! Настал черед
Свободу отстоять штыками. (bis).
. К оружию........

На голос: «То не соколы крылаты
Чуя солнышка восход,
Белого царя солдаты
Собираются в поход».

Что так ветер воет глухо,
Али воля отнята?
Нет, то плачет мать-старуха:
Сын попался в рекрута.
В чужедальнюю неволю,
На солдатское житье —
Проклиная злую долю,
Он уходит от нее.
«Ты прощай, моя родная,
От сегодня навсегда!
Умереть тебе — пока я



ГЕРЦЕН
Фотография, 1860-е гг.
Институт литературы, Ленинград

Отслужу свои года!
Горек черствый хлеб солдата,
Хоть труды и тяжелы,
Да и скорого возврата
Нет из царской кабалы!
Для тебя ль навек отселе
Все равно, что умер я,
Не в бою, не на постели
Приключится смерть моя!
Гибнуть я иду без доли,
Но приказ не исполнять,
Ни в крестьян, что ищут воли,
Ни в поляков — не стрелять!
Ты прощай, моя старуха,
Богомолица моя!
Ветер в поле стонет глухо —
Не вернусь в деревню я!»

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Восстание в Польше началось в ночь с 10/22 на 11/23 января 1863 г. Следовательно, стоящая в конце прокламации дата — 4 февраля — дана по старому стилю.

[2] Этот девиз встречаем в обращениях поляков к русским во время польского восстания 1831 г., например, в прокламации к «Русским воинам». На него не раз ссылался Герцен в своих статьях по польскому вопросу, например, в воззвании «Поляки прощают нас» 1853 г.

[3] Как известно, во время восстания 1863 г. поляки возлагали большие надежды на военное вмешательство Европы, особенно Франции. Но дело ограничилось дипломатическими нотами, которые не только не помогли полякам, но еще более осложнили их положение.

[4] Здесь идет речь о так называемой конвенции Альвенслебена, которая была заключена между Пруссией и Россией 27 января/8 февраля 1863 г. по инициативе Пруссии. По этой конвенции русским и прусским войскам разрешалось оказывать взаимную помощь в подавлении польского восстания, переходя границу для преследования инсургентов. Конвенция действительно имела секретный пункт, но смысл его был совершенно иной, чем тот, который приписывает ему прокламация: Россия и Пруссия обязывались взаимно сообщать о всех «политических происках», касающихся как царства польского, так и княжества Познанского. Этот пункт, говоривший в первоначальном проекте только о Познани, был включен по прусской инициативе. Позиция прусского правительства в вопросе о польском восстании с полной ясностью выражена в депеше Бисмарка прусскому послу в Лондоне от 11 февраля н. ст. 1863 г.: «Подавление польского восстания является для нас вопросом жизни, всякая попытка восстановления Польши есть покушение на существование Пруссии, как государства. Мы могли бы скорее согласиться на обладание Францией Бельгии, чем допустить существование независимой Польши» («Die auswärtige Politik Preussens. 1858—1871». 2-te Abt., Band III, Berlin, 1932, стр. 236—237. Там же на стр. 232 текст конвенции Альвенслебена в первоначальной редакции. В окончательной редакции напечатан в книге Нольде, «Внешняя политика», П., 1915 г., стр. 183). Статьи Герцена 1863 г. показывают, что он приписывал заключение конвенции инициативе Александра II.

[5] Слухи о заключении между Россией и Пруссией конвенции по польским делам вызвали большое возбуждение в Европе, что отразилось и в дипломатической переписке этого времени, и в прессе. По заявлению французского министра иностранных дел, сделанному вскоре после заключения конвенции, «более или менее прямое вмешательство Пруссии в вооруженную борьбу меняет характер кризиса, обращая его в европейский вопрос» (F. Charles-Roux «Alexandre II, Gorchakov et Napoléon III», Paris, 1913, p. 341).

[6] Здесь дается именно та постановка вопроса, которой придерживался Герцен. Стремление поляков к восстановлению Польши в границах до 1772 г. сталкивалось с вопросом о белорусских и украинских губерниях с непольским населением. Этот вопрос, вместе с вопросом о наделении крестьян землею, обсуждался во время переговоров Герцена, Бакунина и Огарева с представителями Центрального народного польского комитета, происходивших в Лондоне в сентябре 1862 г. Результатом их явилось опубликование, в 146 листе «Колокола» от 1 октября 1862 г., письма Центрального народного польского комитета издателям «Колокола», в котором содержа-

лась следующая фраза: «Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, совершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбою». Как видно из «Былого и дум», Герцен не очень доверял словам представителей Центрального комитета: «Мне все кажется, что им до крестьянской земли, в сущности, мало дела, а до провинций слишком много» — так передает он свои разговоры с Бакуниным по этому поводу. «Земля крестьянам, воля — областям» — постоянный мотив статей Герцена 1863 г. по польскому вопросу.

7 Выступления польской шляхты Минской и Подольской губерний, примыкавшей к аристократической программе «белых», состоялись осенью 1862 г. 10 октября и 29 ноября подольские и минские дворяне подали всеподданнейшие адреса, в которых высказывали пожелания о присоединении Подольской и Минской губерний к Польше.

8 Прокламация «Русские люди!» печатается по экземпляру из собрания Института Маркса — Энгельса — Ленина, 2 стр., 19 × 13 см.

9 Здесь, по всей вероятности, имеются в виду факты, сообщенные в заметке Герцена «Вспомогательное французское войско в Польше», напечатанной в 156 листе «Колокола» от 15 февраля н. ст. 1863 г. На основании известий «Таймса» Герцен писал о прибытии в Варшаву агента французской тайной полиции для организации в Польше тайной полиции по образцу парижской, добавляя, что французские шпионы появились в Варшаве еще с осени 1862 г.

10 В ночь со 2 на 3 января ст. ст. в Польше был произведен рекрутский набор — не по жребию, а по заранее составленным спискам, который имел целью изъять тех лиц из числа польской городской молодежи, которые были особенно оппозиционно настроены. Эта мера, предложенная Вельепольским, не была, однако, новостью для Польши, но возвращала к порядкам николаевского царствования. Она и послужила ближайшим поводом к восстанию.

11 В таком духе высказывалась одна из февральских статей официального органа «Journal de St-Pétersbourg», перепечатанная в 156 листе «Колокола»: «...прежде, чем требовать от правительства строгой законности, которой оно само очень радо было бы держаться во всех случаях, следовало бы устроить так, чтобы нападения, с которыми приходится ему бороться, не выходили из законных пределов. В одном из чужих краев в критическую минуту сказано было очень меткое слово, полное глубокого смысла: «нас губит законность»... и т. д.

12 Набор производился ночью, с помощью полиции. Так как многие из занесенных в списки были заранее оповещены и скрылись, правительство прибегло к аресту членов их семей в качестве заложников.

13 Именно так описывался набор в составленной Вельепольским статье, напечатанной в № 6 официальной газеты царства польского от 19 января 1863 г. и подхваченной затем русской прессой. В ней сообщалось, что никогда еще в продолжении последних тридцати лет новобранцы не исполняли столь охотно своей повинности, что они бодры и веселы и что многие радуются тому, что, поступив в «школу порядка», оставят прежнюю праздную жизнь. Статья писалась тогда, когда центральным польским народным комитетом уже было назначено на 22—23 января н. ст. повсеместное восстание.

14 В 148 листе «Колокола» от 22 октября 1862 г. появился адрес наместнику царства польского в. кн. Константину Николаевичу «от русских офицеров, стоящих в Польше». Адрес, исходивший из офицерского кружка А. Потебни, говорил о неизбежности восстания в Польше в случае продолжения режима репрессий, убеждал в необходимости «дать Польше учредиться по понятиям и желаниям польского народа», заявлял, что солдаты и офицеры устали быть палачами, и в случае восстания русское войско пристанет к восставшим, не желая позорить «имя русское». В газете «Le Nord» от 27 января 1863 г. появился протест офицеров варшавского гарнизона против этого адреса, перепечатанный и в «Колоколе» от 15 февраля н. ст. (л. 156). В прокламации явно использован текст «Колокола», так как повторяется его ошибка в подсчете подписей под протестом — 355 вместо 364, — что позволяет уточнить стоящую в конце прокламации дату: «Февраль 1863 г.» и относить прокламацию к промежутку времени между 16 февраля н. ст. и 28 старого.

15 Восстание началось в ночь с 10/22 на 11/23 января внезапным нападением на расположенные в разных местах Польши русские войска. Русские газеты рассказывали о происходивших при этом эксцессах. «...Бросаясь на солдат во время их сна, мятежники убивали их в постели; в одном селении, близ Седльца, где солдаты упорно защищались в занимаемом ими доме, мятежники зажгли самый дом, так что солдаты сгорели живые...» сообщали телеграммы из Варшавы от 12 января. «Колокол» защищал поляков от этих обвинений. Однако, сохранившаяся переписка показывает, что эта позиция была занята «Колоколом» не без колебаний и споров внутри редакции. Объясняется это тем, что руководители восстания, не надеясь на то, что члены общества «Земля и Воля» и Комитета русских офицеров в Польше смогут оказать им помощь, не предупредили их о начале восстания, во время которого пострадали сочувствовавшие полякам русские офицеры и распропагандирован-

ные ими солдаты. Герцен, признавая «кондуиту» поляков «глупой и отвратительной», был, однако, против того, чтобы о ней печатать.

[16] На разводе Измайловского полка в Михайловском манеже 13 января ст. ст. Александр II произнес речь, в которой, сообщая о начале восстания в Польше, сказал: «...Но и после сих новых злодейств я не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих грустных событиях работу революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка. Мне известно, что партия эта рассчитывает и на изменников в рядах ваших, но они не поколеблют мою веру в преданность своему долгу верной и славной моей армии...» (С. С. Татищев, Император Александр II, его жизнь и царствование, т. I, СПб., 1903 г., стр. 460—461).

[17] См. прим. 4.

[18] В марте 1863 г. кончался срок повсеместного введения уставных грамот, в связи с чем крестьяне ждали дарования «настоящей воли».

[19] См. прим. 4.

[20] Вельепольский Александр — граф и маркиз, польский политический деятель, один из крупнейших землевладельцев царства Польского. В 1861 г. был назначен царским правительством на пост директора комитета религии и просвещения, в 1862 г. — начальником гражданского управления царства Польского. Его целью было получение автономии Польши путем примирения с Россией, но проведенные им реформы не удовлетворили ни левую, ни аристократическую стороны, а назначенный по его проекту набор послужил непосредственным поводом к восстанию. Во второй половине января н. ст. 1863 г. на него и на всю его семью было совершено покушение (путем отравления), в связи с чем он получил выражения сочувствия от императора и императрицы, которые, вероятно, и имеются здесь в виду. Вышел в отставку в июне 1863 г. и уехал навсегда за границу.

[21] В 1862 г. и в начале 1863 г. среди русских войск царства Польского членами «Земли и Воли» и «Комитета русских офицеров в Польше» велась пропаганда против участия в подавлении будущего восстания. Однако, когда восстание разразилось, лишь единицы выполнили эту программу, перейдя на сторону восставших. Герцен, Огарев и Бакунин объясняли это в значительной степени ходом восстания в первые дни, о чем см. прим. 15.

[22] Печатается по экземпляру собрания Института Маркса — Энгельса — Ленина. 2 стр., 23 × 13,5 см.

[23] См. прим. 10.

[24] Мы уже говорили о том, как ставился вопрос о наделении крестьян землею в переговорах представителей Центрального польского народного комитета с издателями «Колокола» (прим. 6). Однако, публикуя 22 января н. ст. свою социальную программу, Центральный комитет не решился поставить крестьянский вопрос очень резко, чтобы не оттолкнуть от восстания польскую шляхту. В воззвании 22 января заявлялось, что «земля, которой народ владел доселе на правах чинша или барщины, становится с сегодняшнего дня его неотъемлемой собственностью», но вместе с тем оговаривалось, что «пострадавшие помещики будут вознаграждены из средств государственного казначейства». Особенно умеренно был решен вопрос о безземельных крестьянах — воззвание обещало вознаградить участками «отвоеванной у врагов земли» семьи тех «коморников и рабочих», которые погибнут «на поле брани». Передавая в своей прокламации социальную программу восстания, Огарев вкладывал в нее свои пожелания.

[25] См. прим. 4.

[26] Печатается по экземпляру собрания Института Маркса — Энгельса — Ленина. 1 стр., 20 × 17 см. На экземпляре приложена овальная черная печать с изображением рукопожатия и надписью по кругу: «Земля и Воля» — такая же, какая прикладывалась на напечатанном в Вольной русской типографии в ноябре 1862 г. воззвании «Офицерам русских войск от Комитета русских офицеров в Польше».

[27] Проводимое здесь сравнение с «другими христианскими государствами», лишенное конкретных указаний, является, по всей вероятности, агитационным приемом.

[28] Как видно из мемуарной литературы, подобные слухи были распространены среди крестьян после окончания Крымской войны.

[29] Во время своего путешествия в Крым летом 1861 г. Александр II лично говорил крестьянским старшинам, «что никакой другой воли не будет, кроме той, которая дана, и потому крестьяне должны исполнять то, чего требуют от них общие законы и Положение 19 февраля» (из циркуляра министра внутренних дел начальникам губерний от 2 декабря 1861 г., перепечатанного в 122 листе «Колокола» от 15 февраля 1862 г. в статье Огарева «Ход судеб»).

[30] Критическому «Разбору основных положений преобразования судебной части в России» были посвящены 4 статьи Огарева в №№ 151—154 «Колокола» от декабря 1862 г. — января 1863 г.

[31] Герцен говорил о старообрядцах в письме к Гарибальди, напечатанном в 177 листе «Колокола» от 15 января 1864 г.: «Старообрядцы составляют самую энергическую, здоровую часть огромного земледельческого населения России. Закаленные вековым гонением, воспитанные с ребячества в борьбе с существующим порядком

вещей, они никогда ничего не уступали, а приобрели вместе с строгими нравами железную волю. Из этой среды, естественно, выйдут действительные представители народных стремлений...». Особенно много места пропаганде среди старообрядцев уделяло «Общее Вече» Огарева.

[32] Подобные отзывы о высшем духовенстве и синоде см. в статье Огарева «Что надо делать духовенству», в 5 листе «Общего Веча», от 22 октября 1862 г.

[33] О характере пропаганды среди солдат, которая велась в начале 1860-х гг., можно судить по книжечке «Солдатские песни», напечатанной в «Вольной русской типографии» в 1862 г.

[34] Совершенно такие же меры предлагались в статье «Что надо делать войску», написанной Огаревым совместно с Н. Н. Обручевым и Н. А. Серно-Соловьевичем и напечатанной впервые в 111 листе «Колокола», от 8 ноября н. ст. 1861 г., в статье Огарева «Тысячелетие России» в № 4 «Общего Веча» за 1862 г. и в прокламации Огарева к солдатам 1863 г. (перепечатана в XVI т. сочинений Герцена, стр. 38—40).

[35] Печатается по экземпляру собрания Института Маркса — Энгельса — Ленина: обл., 24 стр., 10 × 7 см. На обложке крест и ложное обозначение места печати: «Москва. Печатано в типографии А. Иванова. 1863». На последней странице обложки помета «Одобрено цензурою. Москва 4 мая 1863 года».

[36] Приведенные ниже стихотворения печатаются по сборнику «Свободные русские песни», по экземпляру собрания Всесоюзной библиотеки им. Ленина (обл., 2 ввод. л., 89 + (2) стр.). На первой странице обложки ложное обозначение: «Кронштадт, тип. главной брандвахты. 1863», на последней странице обложки: «Дозволено цензурою. С.-Петербург, 3 мая 1863 года». Сборник имеет следующее предисловие:

«Из песни слова не выкинешь».

«Составляя предлагаемый песенник, мы имели в виду соединить в нем песни наиболее знакомые, наиболее любимые и чаще других раздающиеся в русских свободных кружках. Песни наших славных декабристов пелись на Руси не одним поколением: с них мы и начинаем наш скромный сборник. Само собой, что помещаемые здесь песни не все одинакового достоинства в литературном отношении; но во всех них, более или менее, слышится один и тот же мотив наболевшего русского сердца и глубокой вражды к рабству.

Память о тех часах, в которые мы сами вслушивались в эти песни и пели их в среде молодого и старого поколения, дружно настроенных одною заветною для всех мыслью, дает нам право надеяться на добрый прием этого первого на Руси свободного песенника.

Мы же вместе с ним шлем и наш сердечный привет как нашим личным, так и всем друзьям русской свободы.

Издатели».

IV. К БИОГРАФИИ И. И. КЕЛЬСИЕВА

Публикация И. Зверева

В литературе имеется очень мало сведений об И. И. Кельсиеве — молодом энтузиасте-революционере, участнике студенческих волнений 1861 г. в Москве, который так рано погиб от тифа в знаменитой Тульче. В частности, до нас почти совершенно не дошло его писем... Тем больший интерес представляет печатаемое ниже его обстоятельное письмо к графине Е. В. Салиас, содержащее подробный рассказ об его тюремных скитаниях 1862—1863 гг. и о побеге из Пречистенского арестного дома в Москве. С гр. Салиас И. И. Кельсиев был хорошо знаком. Ее сына, Евгения Андреевича, своего товарища по Московскому университету, Кельсиев считал своим «самым близким товарищем» и часто бывал в доме Салиас, который в дни студенческих волнений 1861 г. был штаб-квартирой студенческой радикальной молодежи. Поэтому, неудивительно, что немедленно же после появления в «Колоколе» сообщения относительно побега И. И. Кельсиева и прибытия его за границу, Е. В. Салиас сделала попытку вступить с ним в переписку. Ее письмо было послано через редакцию «Колокола», и довольно долго задержалось в пути. Как видно из писем Огарева к Салиас, Огарев одно время опасался, что это письмо было вообще затеряно и приносил за это свои извинения. Но вскоре затем выяснилось, что оно было отправлено по назначению — вернее всего с женою В. И. Кельсиева, которая около этого времени выехала из Лондона в Константинополь. Во всяком случае, — как видно из тех же писем Огарева к Салиас, — печатаемое письмо Кельсиева дошло по назначению в начале октября 1863 г. и, следовательно, относится к самым первым месяцам пребывания Кельсиева за границей. Имела ли эта переписка продолжение — установить не удается: среди той части архива гр. Е. В. Салиас, которая теперь хранится в знаменитом Рапперсвильском собрании (куда она передана Коссиловским), других писем И. И. Кельсиева не имеется, но эта часть архива вообще далеко не полна. Во всяком случае хорошее отношение к Салиасам

И. И. Кельсиев сохранил до самой своей смерти. Его брат, — известный эмигрант того времени В. И. Кельсиев, — после его смерти писал Е. В. Салиас: «...вот где пришлось слечь моему брату. Известите его товарищей об его смерти и пожмите за него руку Вашему сыну. Покойный много и часто поминал об Вас и об нем».

ПИСЬМО И. И. КЕЛЬСИЕВА Е. В. САЛИАС

Письмо Ваше, добрый друг мой, — неправда ли Вы позволите мне назвать Вас так? — несказанно меня обрадовало. С тех пор как меня похитили из Москвы, я не получал ни разу положительных известий от Вас, разве только что-нибудь стороной доходило. Писем, о которых Вы пишете, я не получал; сам я писал к Вам из Верхотурья [1] не один раз, но и мои письма, по всей вероятности, не дошли. Последнее, недоконченное письмо к Вам, взято было при вторичном моем похищении и разделило со мной следствие и суд. Впрочем, для Вас в нем не было ничего предосудительного. Потом я писал к вам из московских сибирок, и это письмо, кажется, дошло.

Я был в крепости четыре месяца, в сибирках — шесть. Бежать я решил уже очень давно, еще тогда, когда был в Верхотурье. Я видел ясно, что мне ничего не остается делать в России в том роде, который я избрал для своей деятельности. Но я ждал, что в сентябре будет дана амнистия и это обстоятельство удерживало меня. 8 сентября пришлось мне встретить в Петропавловской крепости: пушки ревели нещадно над самой головой моей, но амнистии никакой не было [2]. Следовательно, нужно было подобру-поздорову убираться. При приезде в Москву, я тотчас же стал собираться, но образование Центр[ального] Ком[итета] [3] остановило меня. Мне стало думаться, что я буду и в ссылке, которая мне предстояла, нужен для дела, так как провинциальные агенты — главная потребность и главная сила Ком[итета]. Я было и успокоился на этой мысли, но потом меня раздумье взяло: От Назарета придет ли нечто доброе — что нам в Верхотурье и что Верхотурью до нас! Если бы мне удалось и весь Верхотурский уезд озарить светом истины, то все же по отдаленности и малолюдности его в том проку большого не было бы, а за границей все же пропасть чего можно сделать. Таким образом, я снова решился бежать и попросил, чтобы мне принесли напильник, что и было исполнено. Я работал в течение двух недель, потому что решетка была очень толста, а коридор, в котором находилось назначенное мною для бегства окно, такой гулкий, что нужно было делать дело с большой осторожностью. Тут же сидел один поляк; я и его подговорил бежать, но он был заперт и потому вся помощь его заключалась только в том, что он караулил. Ночью я пилил до изнеможения, потому что от беспокойства и волнения усталость приходит очень скоро, на день же я замазывал прорез замазкой, выкрашенной чернилами и сажей. Когда работа пришла к концу, и я почувствовал, что решетка свалится при первом толчке, я оповестил своих друзей и назначил им ночь, в которую они должны были ждать меня. Но под вечер пришли полицейские и взяли поляка. Я не успел переговорить с ним и едва имел времени, чтобы сунуть ему в руку напильник. Бегство пришлось отложить на несколько дней. В тот же самый день, который я вторично назначил, около ночи, этот поляк был пойман в Тверской части, куда его перевели, за работой над решеткой. Случай, разумеется, выручил меня: если бы я еще на один день отложил свое бегство, то на утро и ко мне нагрянули бы гости, обыскали бы, осмотрели и все бы нашли; а я, очень естественно, ничего не знал о неудаче моего сотрудника. Отсрочка же очень легко могла произойти, потому что в ночь, когда я был намерен выбраться из тюремного карцера,— тюремщик как на зло не улегся до полуночи. С час времени он не мог



Милой Лизѣ
помни о твоем
старом друге Евгении.
Е. Салиас.
Женева.
1865 год
Август

Е. В. САЛИАС
Фотография с дарственной надписью Лизе Герцен, 1865 г.
Литературный музей, Москва

заснуть, ворочался, вставал, кошку какую-то гонял и т. д.; а я сидел в номере, который приходился как раз у окна, назначенного для бегства, и мне решительно каждое движение его было превосходно слышно. Наконец, он успокоился. Тогда началась какая-то суматоха на дворе, забегали вдруг с фонарями, искали чего-то, кричали так, что я боялся, чтобы тюремщик не проснулся. Около двух часов ночи все успокоилось. Тогда я встал, оделся, отвязал полку с книгами, взял веревку, на которой эта полка висела, и вышел из комнаты; все это приходилось делать в темноте, спотыкаясь и натыкаясь ежеминутно, тогда как не только шум падающих вещей, но даже и собственное дыхание, по невообразимой гулкости коридора, невольно пугает. В окне пришлось выставить два стекла и выломать одну перекладину из ставни. Когда я сделал это, то принялся за решетку, оказалось, что только после долгих усилий мне удалось погнуть подпиленный железный брус. Но можете представить мой ужас: я не был в состоянии ни выпрямить его, ни гнуть дальше! Между тем начало светать и уже все можно было видеть. С полчаса я думаю я бился над решеткой, задыхаясь от усталости и напряжения. Однако упрямый брус поддался и начал гнуться, сначала туго, потом слабее, слабее, потом зашатался как маятник и, наконец, оторвался. Я навязал веревку и спустил ее, потом надел сапоги и стал у окна в ожидании. Вы знаете московских «трещеток», один из них каждую ночь прогуливался около сибирок, и я ждал теперь, когда он зайдет за дом, и я с окном останусь у него за спиной. Но пришлось ждать с полчаса, а он пропал куда-то и не показывался. У меня наконец лопнуло терпение, потому что оставалось несколько минут до четырех часов и было светло как днем (это было 25-го мая). Я пролез до половины в отверстие и почувствовал, что завяз. Повиснув над вышиной в три сажени, я начал барахтаться, силясь повернуться. Наконец удалось. Вышел я на другую сторону окна, попробовал, крепка ли веревка, взялся за нее руками и с богом. Только сил ли у меня не хватило или веревка была очень тонка, но руки мои соскользнули по веревке и я ударился ногами прямо на подоконник окна нижнего этажа. Руки ободрались жестоко; но тут было не до рук. Я соскочил вниз, оглянулся и скорей за сарай, через забор и очутился на чужом дворе. Дом на этом дворе только что строился, и забор, отделявший его от улицы, был сложен на живую руку, какой-то господин, шедший в это время на улице, остановился и стал смотреть в щели. Что тут делать! Я принял серьезный вид и стал расхаживать по двору, словно хозяин, осматривающий строение. Господин посмотрел, посмотрел и ушел. Я тотчас к забору, — ворота-то боюсь отворить. Забор еле-еле держится, — полезть на него — разлетится; не думая долго выломал в нем нижнюю доску и вылез, словно из подворотни. Едва только я отошел шагов с десять, как за мной затрещала трещетка: оказалось, что сторож шел не с той стороны, с которой я его ждал. Ни мало не смущаясь я пошел своей дорогой спокойно и тихо, пока не завернул за угол, откуда я уже пустился бегом и бежал, пока не добежал до первого извозчика. Извозчик довез меня благополучно до квартиры, назначенной мне заранее. Я взошел на двор, но не зная к кому обратиться и не желая подымать со сна весь дом, стал ходить по двору, в ожидании, что кто-нибудь проснется. Через несколько времени открылось окно и какой-то господин, спросил у меня, кого мне нужно. Я назвал имя. «Это я самый» — отвечал он мне. «В таком случае, потрудитесь открыть мне двери». Тот улыбнулся, затворил окно, сбежал по лестнице и впустил меня к себе. Здесь меня вымыли, выстригли, обрили, волосы окрасили в черную краску и облекли меня в офицерский мундир.

Затем, в течение двух недель, пока был справлен пас[порт], меня

передавали по Москве с рук на руки. В эти две недели я только один раз рисковал быть пойманным: переодетый квартальный долго разгуливал на улице и смотрел к нам в окно, он очень хорошо видел меня, но, вероятно, не узнал, так как я и сам себя не узнавал в то время; когда же он отошел, то я незаметно выскользнул из ворот дома и переехал на другой конец Москвы. Чтобы отвесть глаза глупой московской полиции, я написал маленькую записку гр. Крейцу[4] о вещах, которые остались от меня в тюрьме, и попросил одного приятеля своего отправить ее из Петербурга. Полиция бросилась искать меня в Петербурге, а я 8 июня выехал преспокойно в мальпосте в Ярославль, а оттуда пустился по Волге, радуясь своему успеху и глубоко горюя об обстоятельствах, оторвавших меня почти от всего, что мне было дорого...

2-го июля (по старому стилю) я прибыл в Константинополь. Брата своего я нашел здесь совершенно случайно: я думал, что он в Лондоне и ехал в Лондон. В гостинице я случайно услыхал его имя, обратился с расспросами, навел справки, целый день разыскивал его квартиру, и к вечеру снова увидал его, после шестилетней разлуки. Тогда я поселился к Константинополе и живу до сих пор в нем, это изо всех городов препротивнейший город, и я охотно променял бы его на Лондон, если бы только не приковывали нас здесь дела. Жена брата приехала сюда недавно из Лондона и теперь мы живем здесь втроем, не имея ни одной живой души в этом Константинополе, который сделался ненавистен мне, как бог знает что.

Вот вам краткий рассказ моего избавления. Я бежал при помощи денежной Центр[ального] Ком[итета], а прятался в Москве у старых студентов, которых Евгений Андреевич [Салиас] знает и которые соединены с Ц[ентральным] К[омитетом]. Деласт Ком[итет], по моему мнению, очень мало, однако дело все-таки идет. Отсюда я много хлопотал и хлопочу о том, чтобы Комитет энергичнее принялся за работу. Я писал не раз об этом в Лондон, и недавно еще послал длиннейшее послание Комитету, в котором излагаю все, что он не делает, и все, что он может делать. Комитетом я не доволен, как вообще множество членов Земли и Воли недовольны им; но я сознаю, что нужно поддерживать Комитет до последней минуты. Теперь плохо, а еще хуже будет без Комитета: его падение и нас ослабит, и придаст силу нашим врагам.

Вы спрашиваете — имею ли веру в будущее. Могу ли я не иметь ее? Разве н а ш е таково, что может упасть? Я не видел примера, когда бы и с т и н а падала, во всей истории такого примера нет. Это падение может быть только временное, но навеки падает только не стоящее жизни, а жизни не стоит — ложь, истина же стоит жизни. Если бы истина была в плоти, то можно было отрубить ей голову и все было бы кончено; но истина ускользнула от всякой казни, нечем вытравить ее из людского мозга и одно средство избавиться от нее — это истребить все человечество. Омар бессилен в наш век, ибо александрийской библиотеки больше не существует, т. е. и существует, пожалуй, но уже не как библиотека, а как все люди вообще. Для того, чтобы заставить людей позабыть истину, нужно доказать, что истина есть ложь; вы же верите, что истина и ложь не одно и то же, что есть истина и есть ложь, следовательно, для вас и сомнения быть не может: никто не может доказать, что то, что мы говорим, есть ложь. Можно забросать доказательствами, можно ослепить, н о н е о п р о в е р ж и м о доказать, ведь, нельзя же. Поэтому, ясно, что хотя и забыто теперь многое из того, что говорили прежде, но это только временное зло, так как логика истины сильнее логики лжи, и истина не может быть навсегда закована ложными доказательствами; рано или поздно она прорвется, и все снова прозрят. Вот, что я думаю о будущности. Для меня, вообще, вера

в истину неразрывна с верой в будущность, с верой в осуществление истины; и здравый смысл, и история убеждают меня в том, что я прав.

Что же касается до вопроса: не все ли у нас татары и дикие орды? — Я отвечу: почти все. Малые исключения есть, но что же бывает без исключений! Только для меня это многого не говорит: понимание той среды, в которой мы живем, для меня — точка исхода, первая причина, которая толкает меня на дело, и споткнуться, остановиться на этом понимании я не могу: если бы я не знал, я бы не шел. Оттого что я знаю это, — я иду, но не останавливаюсь. Если бы общество было хорошо, и правительство не было бы дурно. Вопрос не в перемене правительства, а в изменении общества, правительство же только продукт, оно по массе: на воре и шапка горит. Выиграем ли, не выиграем ли мы свое дело в течение жизни, это все равно, т. е. оно очень грустно, если не увидят мои очи моего спасения, только руки-то опустить от этого не след: ведь, делать-то больше нечего, жить нельзя — ну и идешь бороться...

До свиданья, добрый друг мой. Пишите ко мне, пожалуйста, подробнее, где и как Вы живете. Где теперь Евгений Андреевич [Салиас]? Когда он напишет мне? Надолго ли Вы за границей и давно ли? Вы мне ничего не написали из вещей лично Вас касающихся. Извините, что я не пишу, как живу я в Константинополе. Вы видите, письмо и так очень длинно вышло. Пока я скажу только то, что я очень занят, пишу день и ночь, скоро, может быть, поеду на бессарабскую границу недели на две, на три. Очень хотелось бы мне побывать в Лондоне, но для меня это немыслимо в настоящее время. Письмо ко мне адресуйте: Constantinople. Pera. Petitchamp. No. 68 Jean Jany. Если можно, то лучше всего пересылать по английской почте, через Марсель, впредь до востребования. Пишите же ко мне.

Крепко жму Вашу руку

Иван Кельсиев.

P. S. На то, что Вы спрашиваете об [Н. И.] Утине, не умею дать Вам никакого ответа, но уверен, что в том, что напечатано в Колоколе, нет ничего невероятного[5]. Евгению Андреевичу передайте мой дружеский привет. Пришлите мне, пожалуйста, Ваши карточки, я очень прошу Вас об этом. Карточка Евгения Андреевича осталась в III Отделении, как и все, что было взято на моей квартире.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В Верхотурье, Пермской губ., И. И. Кельсиев был сослан за участие в студенческих волнениях 1861 г.; постановление об этой высылке состоялось 6 февраля 1862 г. Уже 30 июля того же года Кельсиев был арестован и отправлен для расследования его прикосновенности к революционной пропаганде сначала в Петропавловскую крепость, затем в Москву.

[2] 8 сентября 1862 г. состоялось открытие памятника тысячелетия Руси.

[3] Речь идет о Центральном Комитете общества «Земля и Воля».

[4] Московский обер-полицеймейстер тех лет.

[5] В «Колоколе», л. 169, было напечатано письмо Утина с благодарностью Центральному Комитету общества «Земля и Воля» за помощь, оказанную ему в деле организации побега из России. «Прибыв наконец в Англию, считаю первым и главным своим делом уведомить печатно Комитет Общества «Земля и Воля» об успешном исходе моего путешествия, длившегося так долго вследствие моей случайной тяжелой болезни», — писал Утин. «Благодарю публично Комитет за своевременное предупреждение меня о грозившей мне гибели; благодарю за снабжение меня всем нужным для выхода из России; за средства, как денежные, так и все другие; за пути, которые были мне указаны».

Вопросы Е. В. Салиас, повидимому, были связаны именно с этим письмом.

V. ЛИСТОВКА А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА ПРОТИВ Н. П. ОГАРЕВА

Публикация **Ф. Фрейденфельда**

Александр Серно-Соловьевич принадлежит, несомненно, к наиболее выдающимся представителям молодого поколения русской эмиграции, обосновавшейся в 60-х годах прошлого века в Женеве. В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» ставит имя А. Серно-Соловьевича рядом с именами Чернышевского и Добролюбова («Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму» [1]). Будучи русским эмигрантом, он принимал живейшее участие во всех вопросах русского революционного движения. Убежденный интернационалист, он посвящал одновременно все свои недюжинные силы рабочему движению той страны, в которой ему суждено было окончить свою рано оборвавшуюся жизнь.

Литературное наследство Серно-Соловьевича сравнительно невелико. Несмотря на это, до сих пор не была еще сделана попытка собрать и напечатать все написанные им статьи, брошюры и листовки. До сих пор не разыскан даже ряд работ, имеющих чрезвычайно важное значение для истории русского революционного движения. В своей интересной статье о Серно-Соловьевиче Б. П. Козьмин [2] указывает, например, что русским историкам неизвестны работы Серно-Соловьевича, относящиеся к польскому вопросу. Именно это обстоятельство побудило меня сделать попытку разыскать, по крайней мере, часть работ Серно-Соловьевича, не имеющихся в советских библиотеках. Попытка моя увенчалась успехом. В женевской университетской библиотеке мне удалось найти упоминаемую Козьминым и представляющую большой интерес листовку Серно-Соловьевича «Польский вопрос. Протест русского против «Колокола».

Найденная мною листовка — несомненно, одно из самых ранних произведений Серно-Соловьевича. По своему содержанию она является протестом против статьи Огарева «По поводу продажи имений в западном крае», напечатанной в «Колоколе» 1 ноября 1866 г.

Каких-либо точных указаний относительно того, когда вышел в свет «Польский вопрос», нет. На основании ряда данных можно, однако, приблизительно установить время напечатания этой листовки. Серно-Соловьевич указывает, что у него на руках были корректурные листы статьи Огарева. Возмущенный содержанием этой статьи, он сделал попытку убедить Огарева в неправильности его точки зрения и побудить его сделать существенные поправки. Попытка эта не увенчалась успехом. Свою листовку Серно-Соловьевич написал, наверное, сейчас же после выхода но-



А. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ
Фотография
Литературный музей, Москва

ябрьского номера «Колокола», который окончательно убедил его в неизбежности и необходимости открытого разрыва с Герценом и Огаревым. Некоторое время заняли, далее, переговоры относительно напечатания «Польского вопроса» в герценовской типографии, которые тоже окончились неудачей. Только тогда, когда он убедился в невозможности совместной работы с Герценом, Серно-Соловьевич решил напечатать свой протест на французском языке в форме приведенной ниже листовки. В январе 1867 г. Серно-Соловьевич работал уже над своей старой брошюрой, тоже направленной против Герцена [3]. Можно, поэтому, с уверенностью утверждать, что «Польский вопрос» был напечатан в декабре 1866 г.

Как выяснение этой даты, так и содержание листовки чрезвычайно важно для истории русской эмиграции 60-х гг. Лишь после долгих колебаний Серно-Соловьевич решился на открытый разрыв с Герценом. Только после того, как окончились неудачей все его попытки наладить сотрудничество с «Колоколом», он решился на открытое выступление против Герцена. Листовка «Польский вопрос» является первым этапом в истории разрыва Серно-Соловьевича с редакторами «Колокола». В мае 1867 г. разрыв этот нашел исключительное по своей резкости выражение в известной брошюре «Наши домашние дела».

Как все известные нам работы Серно-Соловьевича, листовка «Польский вопрос» отличается четкостью постановки разбираемого вопроса. Автор глубоко симпатизирует польскому движению в его борьбе за национальное освобождение, в его борьбе против руссификаторской политики царского правительства. «Однако, — пишет он, — ваше дело не есть наше дело, покамест польское движение будет итти под знаменем аристократов и попов, покамест польское движение не сделается движением народным».

Публикуем русский перевод листовки, написанной первоначально по-русски, но напечатанной в Женеве на французском языке. Напечатанные разрядкой слова и предложения подчеркнуты Серно-Соловьевичем.

Сохранилось указание, что Серно-Соловьевич выразил свои взгляды на польский вопрос не только в приведенной выше листовке, но и в какой-то статье, напечатанной в журнале «Le peuple polonais». Статья «Le peuple polonais», пишет Герцен своему сыну в письме от 4 июня 1868 г., «не так дурна, она скорее дерзка и обходит вопрос, впрочем, Бакунин пишет ответ. Писал ее Ченснович с Серно-Соловьевичем» [4].

Найти статью, которую имел в виду Герцен, сравнительно легко. Дело в том, что первый номер журнала «Le peuple polonais» вышел в Женеве 15 мая, а второй 15 июня 1868 г. Так как письмо Герцена написано 4 июня 1868 г., то ясно, что он ссылается на первый номер польского журнала. В этом номере есть действительно статья, к которой подходит характеристика Герцена. Статья эта подписана буквами A. Cz. Под этими буквами скрывается, несомненно, A. Szczesnovicz (Щеснович), один из редакторов «Le peuple polonais». Она является ответом на напечатанную в седьмом номере «Колокола» от 15 апреля 1868 г. статью Герцена «К польскому вопросу» [5]. На чем основано утверждение Герцена, что в составлении этой статьи принимал участие Серно-Соловьевич, неизвестно. Попробуем собрать некоторые данные, на основании которых можно было бы разрешить вопрос о сотрудничестве Серно-Соловьевича.

Не подлежит, прежде всего, никакому сомнению, что Щеснович лично знал и уважал Серно-Соловьевича. Листовка Серно-Соловьевича «Польский вопрос» обратила, конечно, на себя внимание всех поляков-эмигрантов. Тем большее впечатление она должна была произвести на Щесновича, который, подобно Серно-Соловьевичу, был резким противником аристократических тенденций польского освободительного движения и помещал почти в каждом номере своего журнала резкие нападки на Замойского, Чарторыйского и других представителей польской аристократии. Резкая критика поэзии «Колокола» в польском вопросе должна была тоже содействовать сближению Серно-Соловьевича и Щесновича. Их связывала, наконец, и идея активной борьбы, резко выраженная в брошюре «Наши домашние дела», которую упоминает в своей статье Щеснович. Все выступления Серно-Соловьевича должны были убедить Щесновича, что Серно-Соловьевич был тем представителем русской революционной эмиграции, которого можно было привлечь к сотрудничеству в издаваемом им журнале.

Наравне с Чернышевским, Серно-Соловьевич принадлежит к тем русским революционерам-демократам, о которых редакция и сотрудники «Le peuple polonais» упоминают с особенной симпатией. И когда Серно-Соловьевич 1 августа 1869 г. покончил с собою, Щеснович посвятил ему несколько прочувствованных слов. «Последний номер русского журнала («Дело народа»), — пишет он, — содержит своего рода некролог Серно-Соловьевича. Статья эта глубоко прочувствована и тщательно разработана. Приходится пожалеть, что Серно-Соловьевич только после смерти находит надлежащую оценку» [6].

Указание Герцена, что Серно-Соловьевич принимал участие в составлении статьи в «Le peuple polonais», не лишено, таким образом, правдоподобия. Как характер журнала, так и отношение его редактора к Серно-Соловьевичу не дают, во всяком случае, основания для утверждения, что Герцен ошибся, что Серно-Соловьевич

никоим образом не может быть признан сотрудником Щесновича. Степень участия Серно-Соловьевича в составлении вышеупомянутой статьи нельзя, однако, преувеличивать. Сравнительно с брошюрой «Наши домашние дела» статья эта написана в очень спокойном тоне. Тон этот следует несомненно приписать Щесновичу. Негодование Серно-Соловьевича против Герцена навряд ли утихло со времени появления в печати вышеупомянутой брошюры. Участие Серно-Соловьевича в составлении статьи вряд ли носило авторский характер и выразилось, по всей вероятности, лишь в том, что он обратил внимание Щесновича на политические ошибки Герцена. В целом же автором статьи в «Le peuple polonais» следует признать не Серно-Соловьевича, а Щесновича.

Листовкой «Польский вопрос» и участием в составлении статьи «Прискорбные последствия неудавшегося священного союза» в «Le peuple polonais» ограничилась, повидимому, публицистическая деятельность Серно-Соловьевича в области польского вопроса. Его отвлекло от этого рабочее движение в Женеве, которому он посвятил свои последние силы и последние дни своей жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 467.

[2] Б. П. Козьмин, А. А. Серно-Соловьевич в I Интернационале и в женевском рабочем движении. — «Исторический сборник», т. 5, М.—Л., 1936 г.

[3] Герцен, т. XX, стр. 192.

[4] Там же, стр. 307.

[5] Там же, стр. 231—48. При статье дата: 25 марта 1868 г.

[6] «Le peuple polonais», № 31, 20 декабря 1869 г.

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

ПРОТЕСТ РУССКОГО ПРОТИВ «КОЛОКОЛА»

Довольно, довольно уступок с нашей стороны, сделанных по отношению к заслугам прошлого времени. Уступать дальше и все молчать — нам более не позволительно.

Несмотря на то, что я резкий противник поведения господ издателей «Колокола» («Cloche»), я молчал до настоящего времени, так как не мог преодолеть моего отвращения к откровенному освещению раздора в нашем собственном лагере. Я молчал даже тогда, когда в «Колоколе» появлялись письма, достойные верноподданного, адресованные тому, который руководит Муравьевым; когда появлялись статьи, в которых выражалось скрытое презрение к нашим молодым мученикам. Я молчал, потому что я не хотел, чтобы Катковы, Скарятины и их подлая шайка шпионов и доносчиков видели раздор, разделяющий микроскопическую горсть людей, связанных, однако, общим именем русская эмиграция. Я, наконец, молчал, вспоминая ту безграничную любовь, то глубокое уважение, которое я некогда питал к господам Герцену и Огареву. Господа редакторы «Колокола» не хотят, однако, слушать ни совета, ни мольбы людей, принадлежащих к их партии. На все их призывы они отвечают: «Пишите против нас». Они отрекаются, таким образом, от всякой солидарности с нами. Хорошо! Теперь пришла наша очередь разорвать все политические узлы, которые связывали нас.

В 224-ом номере «Колокола» (от 1 ноября) опубликована статья господина Огарева «Продажа имений в Западном крае» (Польше). Имея в руках корректурные листы этой статьи, я напрасно просил г. Огарева вычеркнуть все то, что относится к его проекту колонизации Польши русскими крестьянами. Я ему говорил, что эта идея, неправильная сама по себе, будет наиболее жестоким оскорблением для тех, которым «Колокол» ежедневно повторяет «наши братья поляки». Господа редакторы не захотели согласиться с этой поправкой. Они сослались на свои социалистические теории; они объявили, что этой статьей они продолжают следовать заветам своего прошлого и остаются верны знамени, которое они подняли 10 лет тому назад.

Выступить ныне с публичным протестом именно против этой статьи я считаю своим долгом.

Не будучи никем уполномочен, не выражая мнения какой-нибудь партии или даже какой-либо партийной фракции, я протестую лишь от своего собственного имени.

Я протестую для того, чтобы указать полякам, что в России есть еще люди, которые, стыдясь своей роли палачей и разбойников, искренне и без всякой задней мысли желают освобождения Польши, т. е. отделения всего польского от России. Эти люди думают, что необходимо, чтобы мы, русские, до заключения какого-либо примирения, до организации общего хозяйства на какой бы то ни было основе, совершили акт раскаяния и справедливости.

Я протестую, потому что господа издатели «Колокола» изменили, повидимому, точку зрения на польский вопрос. — Ведь они раньше требовали для Польши право полного внутреннего самоустройства на тех основах, которые она признает наилучшими.

Я протестую, чтобы засвидетельствовать, что «Колокол» не является больше знаменем молодой России, что он выражает только личные взгляды господ Герцена и Огарева.

Я протестую, потому что статья, о которой идет речь, является громадной политической ошибкой. До сих пор мы, наша партия, упрекали всегда поляков в узости их взглядов, в ненависти и недоверии, которые они нам выражали. Мы, правда, русские, но русские, посланные на плаху или на каторгу. Да, но можем ли мы после статьи Огарева требовать еще от них, чтобы они доверяли нам? Простят ли они нам когда-нибудь эту статью и не будут ли они правы? Что касается меня, то если бы я был поляком, то такое обстоятельство удвоило бы мою ненависть ко всему тому, что носит имя русского. Для чего же после этого повторять постоянно полякам: «Наши братья», для чего «протягивать им руку», для чего особенно декламировать громким голосом: «Ваше дело — это наше дело»?

Я протестую для того, чтобы доказать, что громкие фразы г. Огарева относительно вреда, который причинит Польше введение мелкого русского землевладения (шляхта), указывают на полное непонимание вопроса и на полное отсутствие такта у редакторов «Колокола». В самом деле, эта русская шляхта, которая скупит теперь национальные имения, вольется неизбежно в польский элемент. Но если русское правительство, приняв проект «Колокола», наводнит Польшу русскими крестьянами и облегчит им кроме того средства к существованию, тогда можно будет поистине сказать относительно Польши: «Finis Poloniae».

Я протестую, потому что конец статьи Огарева противоречит началу, потому что начало исходит от одного, а конец от другого. Я спрашиваю его: что понимают под руссификацией, полонизацией, германизацией и т. д.? Не есть ли это принудительное внедрение в страну чуждого элемента? Но что это такое, колонизация Польши русскими крестьянами, как не принудительное внедрение в Польшу чужого элемента, как не руссификация Польши. Но помилуйте! «Взаимное соглашение» напоминают нам господа редакторы «Колокола». Мы знаем, что значит взаимное соглашение в устах русского правительства. А если господа редакторы этого не знают, то пусть они потрудятся спросить нас, которые лучше их знают современную Россию. Взаимное соглашение означает, далее, двустороннее соглашение. Я надеюсь, однако, что даже господа Герцен и Огарев не могут серьезно предполагать, что тишайший и чувствительнейший Александр II за-

просит поляков, расположены ли они покинуть свою страну или что поляки согласятся добровольно покинуть свою родину.

Я протестую, наконец, потому, что я понимаю способ осуществления социалистических теорий и обновление социальных форм жизни не так, как это понимают господа редакторы «Колокола». Прежде чем предлагать лекарство, необходимо доказать свою медицинскую способность, быть принятым в качестве медика. Но если мне предлагают лечение на конце нагайки или штыка, то я сам имею право сказать: «Или убирайтесь из моего дома, или признайтесь, что вы разбойники и палачи». Настоящие социалисты не желают, чтобы народы пожирали друг друга как дикие звери. Один из важнейших вопросов, который разрешит социализм будущего, есть нахождение формулы, которая, восстановляя экономические основы общества, даст не только каждой нации, но и каждой местности, каждой общине возможность жить полной и независимой жизнью.

Я не скажу полякам: «Наши дорогие братья», «дадим друг другу руки», «ваше дело есть наше дело» и прочие красивые фразы. Я им напротив совершенно откровенно скажу следующее: я глубоко симпатизирую вам, как нации героев, как нации угнетенной, я особенно симпатизирую вам, как нации, угнетенной народом, которому принадлежу я. Однако, ваше дело не есть наше дело, покамест польское движение будет итти под знаменем аристократов и попов, покамест польское движение не сделается движением народным. До сего дня мы связаны только общей ненавистью к немецким ублюдкам, нашим государям и тиранам.

Во всяком случае, какова бы ни была судьба, которую будущее предназначает Польше, необходимо следующее: сначала отделение ее и всего польского от России, а потом, если это возможно, — свободная федерация; сначала разделение, а позже братский союз.

Я повторяю еще раз, что я говорю только от своего имени. Я, однако, уверен, что русское молодое поколение будет со мной, а не с «Колоколом». Я не могу думать, что могущественные, полные гениальности слова Чернышевского упали бы напрасно на бесплодную почву. Учитель, которого нам теперь недостает! Я отдал бы с наслаждением свою жизнь, чтобы сберечь тебя от мучений, которым тебя подвергают эти подлые убийцы.

А если русское молодое поколение стоит на стороне «Колокола»? Тогда я буду один проповедывать полное отделение Польши, тогда я буду один протестовать против всякого рода руссификации и еще раз прокляну день и час, когда я родился среди рабов.

P. S. Этот протест я послал на русском языке в русский свободный журнал «Колокол». Свободный журнал отказался его напечатать. Я хотел опубликовать его на свой счет в вольной русской типографии. Вольная типография отказалась его напечатать.

«О свобода! Сколько преступлений совершено во имя твое», — сказала г-жа Ролан, ступая на плаху.

«О свобода! Как мало людей, которые в состоянии понять и, особенно, полюбить тебя», — скажу я редакторам «Колокола».

Продается в книжном магазине M-lle Dair

Улица Монблан 16, в Женеве.

Цена 5 сант.

Женева. Типография Пфеффер и Пуки.

VI. ПИСЬМО Е. В. САЛИАС М. А. БАКУНИНУ

Публикация М. Клевенского

Письмо известной писательницы Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (Евгения Тур, 1815—1892) связано с той полемикой, которая произошла в 1867 г. между А. И. Герценом, И. С. Аксаковым и М. А. Бакуниным. По поводу появившейся в № 46 газеты «Голос» заметки, с обвинениями Герцена и Бакунина в принадлежности к тайному обществу поджигателей, Герцен обратился к И. С. Аксакову с письмом, в котором, опровергая эту ложь, просил И. С. Аксакова (которого Герцен называл человеком честным и любящим правду) напечатать данное письмо в своей газете «Москва». И. С. Аксаков поместил письмо Герцена в № 58 «Москвы», но прибавил к нему свой комментарий, с обвинением по адресу Герцена. Он указывал, что если Герцен сам и не участвовал в «обществе поджигателей», то его именем прикрывалась «тульчинская агенция». Герцен, писал И. С. Аксаков, солидаризировался с поляками и с Бакуниным, затеявшим свою экспедицию для военной помощи полякам; он открыл в «Колоколе» подписку в пользу польского народового ржонда. И. С. Аксаков призывал Герцена покаяться в этих грехах перед Россией. Герцен воспроизвел свое письмо и аксаковские обвинения в № 239 «Колокола», а в № 240 напечатал «Ответ И. С. Аксакову», где говорил о своей позиции в польском вопросе и о тех грехах перед Россией, в которых Аксаков призывал его каяться. В зарубежной прессе на эту статью Герцена отозвался Бакунин; его ответ, в виде двух писем к Герцену, появился в № 241 «Колокола». Бакунин указал, что на месте Герцена он не стал бы писать И. С. Аксакову, как «одному из главных поощрителей Муравьева и поборников русского грабежа и палачества в Польше». Поскольку, однако, Аксаков коснулся вопроса об участии Бакунина в неудавшейся польской экспедиции через Балтийское море, Бакунин счел нужным сказать об этом несколько слов — не для И. С. Аксакова, но для «порядочных людей в России». Бакунин дал И. С. Аксакову уничтожающую характеристику; при этом он уделил довольно много внимания его покойному брату Константину Сергеевичу, о котором он говорил с теплым чувством, ручаясь, что если бы он был жив, то, несмотря на свой славянофильский фанатизм, он с ужасом и отвращением отвернулся бы от избиения безоружных поляков.

Статья Герцена, с ее выражениями уважения к И. С. Аксакову, вызвала недовольство не только у революционера Бакунина, но и у некоторых представителей либерального общества. Так, И. С. Тургенев, которому Герцен послал номер «Колокола» со своей статьей, писал ему 22 мая 1867 г.: «Письмо твое к И. С. Аксакову я прочел уже прежде, но с удовольствием перечел его. Я нахожу, что ты делаешь слишком много «Kratzfüsse vor den Slavophilen» *, которых, по старой памяти, носишь в сердце. Мне кажется, что если б ты понюхал то постное масло, которым они все отдают, особенно с тех пор, как Иван Сергеич женился на первой всероссийской лампадке [1], ты бы несколько придержал свое умиление» [2].

Письмо Е. В. Салиас дает еще один отклик из среды «общества» на полемику Герцена — Аксакова — Бакунина. Либерализм Салиас в 60-е годы был самый умеренный и относительный, но по польскому вопросу она не присоединилась к дикому хору патриотов, заглушавших все своими завываниями. Этим объясняется, что она получила полное удовлетворение от статьи Бакунина, говорившего о роли И. С. Аксакова в деле усмирения польского восстания с надлежащей определенностью и прямотой, и отрицавшего за Аксаковым, как за общественным деятелем, право на какое бы то ни было уважение. Таким образом, даже люди совсем умеренные возмущались слишком большим пиететом к славянофилам со стороны Герцена, который никогда не мог отделаться от этой слабости.

Письмо Е. В. Салиас осталось не отправленным. Причина этого выясняется из надписи на конверте, с проставленным уже адресом (Italie, Naples, Monsieur Michel Bakounine). Салиас написала: «Не послано из уважения к Герцену и боязни, что Бак[унин] будет читать его в своей гостиной, в обществе. Оно слишком интимно, чтобы быть читано другим».

Письмо печатается по фотокопии, имеющейся в Литературном музее в Москве. Подлинник, вместе с другими письмами из архива Салиас, хранился в б. Рапперсвильском музее, а ныне находится в Польше.

Versailles, Rue Champs la Garde, 11 bis.
19 Mai 1867

Любезный Бакунин, я прочла нынче письмо ваше к Герцену в «Колоколе» и не могу не взять пера в руки, чтобы написать к вам несколько строк; не хочу молчать и оставить вас думать, что я не от-

* Расшаркивание перед славянофилами.

неслась сочувственно к вашим благородным и правдивым строкам. Некоторые русские были довольны письмом Герцена к Аксакову; я осталась им не только недовольна, но оскорблена им, в особенности за самого Герцена. Мне казалось, заявление его уважения к Аксакову, несколько раз повторенное, неискренним (sic!), или нелогичным, или лишенным чувства собственного достоинства. В самом деле за что Герцену уважать Аксакова? За то, что он хороший сын, добрый муж, любящий отец семейства? Но это добродетели частные, не заходящие в общественную сферу. Император Николай обладал ими и заслуживал в подобной сфере уважения. Или за то уважает Герцен Аксакова, что Аксаков не крал в судах, не брал взяток, — но и Аракчеев не крал и не брал взяток. Разве мы должны уважать его по этой причине? Гер-



М. А. БАКУНИН
Фотография 1862 г.
Институт литературы, Ленинград

цен делает примечание к вашему письму, что Аксаков не ездил в Польшу [3]. Это замечание не только несправедливо, но оно махиавелическое, недостойное Герцена. Ведь и Катков не ездил в Польшу, император Александр II также. Но это ничего не значит. Катков и Аксаков проповедывали палачество в Польше, писали доносы на русских, честнее или милосерднее других поступавших там, и так же виновны, если не более, как Александр II, позволивший совершать те ужасы, которые вызывали негодование всякого порядочного человека. Где разница между этими людьми? Нет, я не могу понять, за что именно уважать Герцену дикого ирокеза Аксакова! И как мог Герцен в ответ на клеветы, на ругательства Аксакова отвечать этим письмом, в котором тот, кто не знает лично Герцена, мог бы подумать qu'il a voulu ménager la chèvre et le chou *. Ужели Герцен не знает, что уступками

* что он хотел сберечь и козу, и капусту.

он не выиграет ничего и только унизит себя. Они, эти люди, забрызганные кровью и грязью, рукоплескавшие пыткам, виселицам, грабежу, не примут во внимание полууступок Герцена. Аксаков может только в глубине души гордиться, а перед людьми побрезгать уважением Герцена. — Вот что я думала и вот каково было впечатление, вынесенное мною из чтения письма Герцена к Аксакову, но мое значение судьи так ничтожно в политических делах, так не значуще, как писателя, тем более, что я не могу ничего печатать за границей ради спокойствия моих детей, что я должна была молчать и молчала скрепя сердце, и это не в первый раз, да и не в последний, разумеется, мне пришлось думать горькую думу втихомолку, не поверяя ее никому, и чувствуя вполне мое бессилие и одиночество. Вы можете себе представить, как я обрадовалась, прочитав ваши строки в «Колоколе». Всякая из них дошла мне до сердца. Я в них узнала вас, ваш благородный порыв, ваше неподкупное чувство правды, вашу способность говорить ее и тогда, когда за нее побивают камнями. Я крепко, дружески жму вашу руку. Если вы делали ошибки (кто их не делал), вы не отрекаетесь от них, вы прямо признаетесь, что сделали то или это, ибо сделали, вы признаетесь, что участвовали, ибо участвовали. Я, быть может, будь я мужчина, не приняла бы участия в экспедиции в Швецию, но вы сочли это нужным, приняли в ней участие и не отрекаетесь [4]. Я не могу не уважать этого рода мужества гораздо больше, чем того, которое вызывает столько похвал на полях битв. Я знаю, что вы любите наше общее отечество, и понимаю, как тяжело было вам. Экспедиция не удалась — теперь всякий находит, что порочить в ней; удайся она, удайся польское восстание и принеси за собой польскую независимость и русскую свободу, все бы рукоплескали. Таковы люди — они падают ниц перед успехом и силою и позором, издеваются над побежденными и уничтоженными!

Герцен, хотя и не прямо, но отрекается от участия в раздаче денег польским эмигрантам, то есть людям, лишенным куска хлеба [5]. Я думаю, что всякий человек обязан помогать людям умирающим с голода, кто бы они ни были, а тем более людям, пострадавшим за любовь к своему отечеству. Всякий, кто любит независимость своего отечества, должен, по-моему, уважать тех, кто любит, как и он, так же свое отечество и пострадал за его независимость. Что бы сказали мы нашим сыновьям, если бы поляки царили в Москве, поставили нам своего короля-автократа и прохаживались бы победителями в Кремле? Вероятно то же, что говорили поляки своим сынам: «Ступай, умри, но выгони русских отсюда!» Я уж не говорю о том, что бы сказали мы, если бы наших женщин ссылали в рудники по этапам, если бы обирали собственность, если бы вешали и пытали всех, кого удалось захватить и на поле битвы, и вне ее, если бы прирезывали раненых и поджигали деревни и дома. При этом не извиняю я, конечно, убийства из-за угла и жандармов-вешателей, но должно сознаться, что при подобных обстоятельствах эти ужасы только месть. Месть, вы знаете, я не оправдываю, не извиняю, не сочувствую ей, но я понимаю, что люди могут дойти до нее. Зверем человек становится по большей части тогда, когда чаша бедствий и так переполнилась и плещет через края. Герцен оклеветал сам себя, повторяя так настойчиво, что он уважает Аксакова, и относясь к нему почти дружески. Я его слишком уважаю, чтобы думать иначе. Я полагаю, что он не взвесил своего письма к Аксакову, написал его с маху, после какого-либо потрясения. При его впечатлительной и страстной натуре это очень возможно. Эффекта его письмо не произвело ни малейшего. Его враги не обратили на него внимания, часть его друзей приняла его с равнодушною по-

хвалою, а некоторые, в том числе и я, с неудовольствием. Тем более обрадовалась я вашему решительному, прямому, без уступок и без робости написанному письму. Окончание его прелестно. Я даже смеялась от души. Оно учтиво, тонко, но убийственно! Нельзя сказать более вежливо, соблюдая формы благовоспитанного человека, что Ив. Аксаков или скот, или дурак [6]. Я, признаюсь, думаю, что он дикарь, то есть отчасти скот, и имею повод утвердительно сказать, что, если он не вполне дурак, то крайне ограниченный человек. В этой-то ограниченности и можно найти circonstances atténuantes * для совершенных им преступлений, хотя они совершены посредством печатного слова. Но печатное слово, в наш век, бывает часто жесточе меча. У всякого один меч, а печатное слово подымает тысячи, десятки тысяч, пожалуй, и сотни тысяч мечей. Да и не одни мечи подымал своим печатным словом Аксаков, а даже готовил орудие пытки и свивал веревки для виселиц. Вот его почтенная деятельность за последние 5 лет! Если за это людей уважать... то это новые права на уважение!..

Ваше суждение о брате Ив. Аксакова, Константине, прочла я также с чрезвычайным удовольствием. Все в этой оценке мне показалось справедливым, прочувствованным и верно схваченным. Да, я сама именно таким знала Константина Аксакова в моей молодости [7]. Человек, сходивший с ума от доблестей и благородства маркиза Позы, любивший читать Фиеско, благоговевший перед Шиллером, гуманный, как вы говорите, прежде всего, не мог бы рукоплескать Муравьеву и, скажу больше, остановил бы, я убеждена в этом, своего брата при входе на тот грязный и кровавый путь, который он совершил перед нашими глазами в последние годы. Константин мог драться и верно дрался бы с поляками, если бы они вступили в наши пределы, но не мог ни мучить, ни позорить их, ни издеваться над ними — за это я ручаюсь. Я вместе с ним читала лучшие произведения поэтов, которые воспевали освободителей наций от чужеземного ига, и помню его восторги, его энтузиазм. Константин Аксаков был добр, благороден, души возвышенной и обладал высоко развитой гуманностью. В нем жило чувство правды и чувство справедливости, которые весьма редко встречаются между нами, русскими. Еще ни в одной нации не замечала я такого отсутствия чувства справедливости и правды, как в нашей. И не мудрено. Века рабства и деспотизма уничтожили их в большей части из нас. Это горькая истина, и я помечаю ее с сердечной болью. Но надо признаться — в последние годы столько пришлось сознать и пометить горьких истин, что и боль сердца притупилась; оно еще ноет, но уже не раздражается, как прежде. Жить стало тяжело. Я мало надеюсь и стараюсь забыть все и всех, кроме друзей. Это самое слово говорит вам, что я вас помню и люблю попрежнему. Мы почти во всем не согласны; мы не из одного стада, но мы из одной земли и разделяем любовь к правде, к справедливости, оба равно желаем свободы отечеству, хотя понимаем эту свободу не одинаково, и, вероятно, оба умрем, оставаясь верны своим убеждениям и сохранив наши чувства и симпатии в области политической и общественной. Итак, amen.

О себе сказать вам много не сумею. Вероятно, мой Утин [8] (я его люблю чрезвычайно), бывший в Неаполе, говорил вам, что сын мой уехал в Россию [9]. Я живу одна и довольно уединенно в Версале. Кроме близких друзей и добрых приятелей, никого не вижу — и не удивляйтесь, это следствие страшной нравственной усталости, всякий вечер играю в карты, когда есть партия. Дом мой красив, в саду; у ме-

---

* смягчающие обстоятельства.

ня птицы, собаки, цветы. Пишу мало, читаю больше, не скучаю, но иногда очень печально гляжу на все, что совершается. Луча солнца нигде не вижу; по крайней мере, он на меня не падает. Победы Пруссии, торжество русского правительства, унижение Франции, всеобщая усталость, равнодушие и эгоизм Англии — все это неутешительно!

Целую вашу милую жену, о которой вспоминаю, как о хорошенькой птичке, пролетевшей на моем горизонте в минуту грозной бури [10]. Что она? Здорова ли? Весела ли? Счастлива ли? Неаполитанский климат, природа, искусство должны были прельстить ее, особенно после Сибири. Если будете писать ко мне, а я надеюсь, что черкнете два, три слова, дайте вести о ней, да пишите разборчиво. А то я вашего письма прочесть не буду в состоянии, я плохо вижу. Зрение мое становится все хуже. Старость. Пора уступать место внучатам, которых у меня уже четверо. Горе мое в том, что они так далеко, и я их не вижу. Одна из дочерей обещала приехать, но не смогла. Приходится ждать, ждать и ждать... Прощайте. Дружески жму вам руку; помните и любите сердечно преданную вам Ел. Салиас.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В январе 1866 г. И. С. Аксаков женился на Анне Федоровне Тютчевой (1829—1889), дочери поэта Ф. И. Тютчева, фрейлине жены Александра II, Марии Александровны и воспитательнице ее младших детей.

[2] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1892 г., стр. 132.

[3] Бакунин в письме к Герцену в «Колоколе» говорит: «Но вот за что отвечаю: как бы сильно, страстно и ложно ни было его [К. С. Аксакова] увлечение, он никогда не сделался бы поощрителем и подстрекателем палача Муравьева, не жал бы рук гвардейским грабителям и шпионам, с негодованием, отвращением и ужасом отвернулся бы он от избиения безоружных поляков и скорее отказался бы от своих, чем позволил бы им надругаться над благородными павшими жертвами. Наконец, после потех он не поехал бы в Варшаву организовать Польшу». К последним словам Герцен сделал примечание: «Когда же ездил И. С. Аксаков?»

[4] Бакунин принял участие в неудачной экспедиции польского отряда, во главе которого стоял полковник Теофил Лапинский. Целью экспедиции было высадить вооруженный польский десант на Балтийском побережье, чтобы оттуда отряд пробрался в Жмудь и там поднял восстание, устроив диверсию в тылу русских войск. (См. ниже сообщение В. Тренина «Полковник Лапинский и его воспоминания»).

[5] В «Ответе И. С. Аксакову» в № 240 «Колокола» Герцен говорит: «Вы говорите, что я открывал подписку в «Колоколе» в пользу польского народового ржонда. Вы не любите «голословных» показаний, а потому не можете ли вы указать лист «Колокола» или чего-нибудь другого, где бы мы открывали какую-нибудь подписку, кроме для «общего фонда» и для общества «Земля и Воля», по просьбе его комитета?» Сообщив затем, что он однажды вручил польскому комитету в Лондоне 2000 франков, полученных через графа Риччиарди от его знакомых из Неаполя, Герцен заключает: «Затем я должен сказать краснея, что, если мне случалось грошовыми деньгами помогать польским братьям по эмиграции, то я гораздо больше получил денег от поляков для русских выходцев».

[6] Второе письмо Бакунина к Герцену кончается словами: «...Несмотря на все это, я готов повторить с вами, что г. Аксаков — человек честный, но только под одним условием, — вы должны согласиться со мной, что все, что мы придаем его честности, будет отнято нами у его способности разумения».

[7] Знакомство Е. В. Салиас, урожд. Сухово-Кобылиной, с К. С. Аксаковым относится к 30-м годам, когда в доме Сухово-Кобылиных, в Москве, собиралось много представителей московской интеллигенции и университетской молодежи.

[8] Утин Евгений Исакович (1843—1894) — впоследствии известный публицист и адвокат. Он находился в оживленной переписке с Е. В. Салиас.

[9] Салиас Евгений Андреевич, де Турнемир (1840—1908), впоследствии известный исторический романист правого лагеря.

[10] Жена Бакунина Антония Ксаверьевна, урожд. Квятковская, сибирячка родом, выехала за границу к мужу в 1862 г., причем для устройства этого выезда пришлось преодолевать много затруднений разного рода. Некоторое содействие в этом деле оказала Бакунину и Салиас, проживавшая тогда за границей. На этой почве и началась в 1862 г. ее переписка с Бакуниным, который до того не был с нею лично знаком.

VII. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОКЛАМАЦИИ ЖЕНЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1869—1870 гг.

Публикация Е. Кушевой

I

НАША ПОВЕСТЬ

(ПОСВЯЩЕНО РУССКИМ СТУДЕНТАМ)

«Но я пророчу не боясь,
Исполненный надежды смелой,
Что новый кряж взойдет у нас —
С стремленьем чистым, мыслью зрелой
И пусть посердит нас и вас,
Но жизни будущего целой
Блеснет в нем яркая звезда —
За тем гнев ваш не беда»...
(Юмор, часть III, отдел первый)[1]

1

Раздался гром севастопольской пушки, и вздрогнули сердца в Петербурге.

Реформа, говорят, реформа, реформа!

Дворянство — просит реформы, вольнодумствует.

Народ — хочет действительной свободы.

Купечество — служит молебны.

Царь — плачет от самообожания.

Давайте — железных дорог!

Давайте — школ народных и высших!

А между тем — все побаиваются — и что ни день, все больше.

Народ боится и чувствует, что действительной свободы ему надолго не выйдет.

Дворянство боится, что вовсе раззорится — помимо рабства и дарового труда, за который отдавало мужику мужицкую землю.

Царь боится, что для обрусения Польши не хватит немцев; что для податей не хватит низшего сословия; что развитие школ народных и высших слишком взволнует непочатые умы; что на развитие железных дорог не хватит бумажек — и мало ли чего еще боится?.. Так что невтерпеж самому себе постоянно казаться добрым. Придется кое-где ввести смертную казнь, кое-где продолжение мысленно уничтоженных телесных наказаний; да вообще, не уменьшение, а увеличение податей и всяких поборов с бедных людей; уменьшение только с богатых и невозложение на тех, кто вовсе не платит.

Почему так?

Что же делать? Необходимость! Необходимость — необъяснимая, но — известно — научная... или, если не научная, то ученая, что, впрочем, далеко не одно и то же.

Из этих исторических современных сопоставлений их существование становится весьма осязательным. То-есть:

1) Народ, при этих порядках, действительного освобождения не получит. Оно невозможно при сословной отдельности и, тем паче, при сословно наложенном налоге, подушном и ином.

2) Дворянство придет в упадок.

3) Купечество постарается уменьшить свои повинности и увеличить, где можно, свои доходы; для этого оно и станет служить молебны, которые скорее ведут к правительственному покровительству, чем бы вело к нему действительное дело. Счастливо то, что у нас купечества мало, меньше чем нужно для торговых возможностей края, и что, следствен-

но, его дело, при всяком действительном освобождении, просится перейти на всех и каждого, без особых гильдейских налогов и без потребности заздравных молебнов.

4) Правительство все больше и больше станет одной рукой спускать с цепи, другой рукой прикручивать; а вместе с тем все больше и больше бояться растущих обстоятельств.

Так наша повесть началась во время оно; так с тех пор и продолжалась.

О будущности заключайте сами!

2

Сначала было понятно, что освобождение крестьян, как скоро оно основано на выкупе себя на волю от помещичества и от казны, сразу не сочинишь. Вопрос сводился на то: нельзя же работать об освобождении — годы — в чиновничьих комиссиях, ничего не заявляя свету о своем великодушии. Это заявление великодушия тем больше было нужно, что для серьезных оценок — не только владения — но просто права владения — оценщиков, ни экономически, ни юридически подготовленных крестьянской жизнию, в чиновничьем мире найти было нельзя. Народ веками рос и сходился между собою своим путем; чиновничество, смешанное с барством, своим путем создавалось правительством *. Хорошо было бы этим двум параллельным никогда не встречаться; но встреча когда-нибудь добровольная и дружная немыслима. Но теперь вопрос в том: что же делать правительству, чтобы выставить свое великодушие, покамест чуждое народу чиновничество сочиняет народу волю?

Просвещать!

Следственно, спустить с цепи, хотя бы на одно звено, гласность и постепенно распространить в народе грамотность.

И вот началися воскресные школы.

Воскресные школы были приняты народом дружелюбно. Тогдашнее учившееся молодое поколение бросилось — в учителя с искренним одушевлением, которое обычно называют фанатизмом.

В самом деле — чего лучше? Для юношества поприще до такой степени народное, до такой степени связующее его с народом, что оно носило в себе зачатки полного выхода из сословностей, полной преданности общинному (социальному) делу. Для народа внезапно открылась возможность обучения детей грамоте или науке, о которой он что-то соображал по слухам; обучения не по церковному, а на самом деле, не для того, чтоб выучиться читать на языке, на котором никто уже не говорит и не пишет, кроме попов, от ума отрекшихся по обязанности, и кое-каких господ от ума отрекшихся по охоте. Открылась возможность обучения детей грамоте или науке, применимой к самой народной жизни. Да еще, вдобавок, таким способом, что обучение не отрывало детей от домашней работы, от постоянного необходимого дела; а для самих детей становилось занятием-отдыхом и вообще было дешево.

Для человека трудового чего лучше? Это был идеал, всегда таившийся и внезапно осуществленный.

Что же помешало?

Правительство испугалось.

Поповщина (не раскол, а православная) испугалась.

Купечество осталось равнодушным и не помогло народу своим заявлением.

---

* Заметьте: в императорской России и в олигархической Польше подобно.

Испуганное правительство и управительство тотчас принялись за дело: долой воскресные школы, в ссылки учителей [2]! Как можно больше привести обучение народа к одному знаменателю, т. е. к богословскому! Пусть он себе поет на клиросе с дьячками, а в остальном ничего не смыслит. Вот вам и завершение в постепенности просвещения народного!

На этом завершении, очевидно, остановиться нельзя — ни правительству, ни народу, ни живым дрожжам учащегося юношества. Очевидно также, что чем дальше все пойдут вперед, т. е. с одной стороны, правительство и управительство, с другой стороны, народ и учащееся юношество, тем больше обе стороны примут друг другу противоположное направление, и тем больше два последние состава, т. е. народ и учащееся юношество, приходя к одному направлению, должны сближаться. Этому исходу никакое правительство не помешает. Он в природе вещей.

На этот раз, имея в виду один вопрос, именно вопрос учащегося юношества, мы едва слегка упомянем о других совершившихся происшествиях в течение «нашей повести», оставляя до иных случаев их более близкие разборы, которые — сколько бы ни казались повторением — не могут не придти к слову еще не один раз [3]. Эти происшествия тесно связаны с вопросом учащегося юношества, и не упомянуть их, хотя бы по имени, мы не имеем права. Вот они:

1) Недоосвобождение крестьян.

2) Восстание Польши.

3) Земские учреждения, плохо повеявшие монархической конституционной системой, едва ли понятной нашему — под спудом с жаждой воли — сложившемуся человеку, которого основная мысль: все или ничего.

4) Новые судебные учреждения, которые, несмотря на введение присяжных, настолько остались в руках чиновничьего мира, что с новыми формами невольно сворачивают на старую дорогу, т. е. лихоимство.

5) Новые цензурные учреждения, которые, по крайней мере, на столько же довели до недогласности, на сколько крестьянское учреждение довело до недоосвобождения народа.

Помянувши эти явления, вернемтесь же опять к нашему вопросу учащегося юношества.

Мы сказали, что правительство и управительство испугались, т. е. правительство-государь и управительство-дворянство, смешанное с чиновничеством. Разумеется, и попы испугались, потому что попы тоже своего рода дворянство и, конечно, своего рода чиновничество, следственно, такое же своего рода управительство.

Чего же эти господа испугались?

Да как бы в самом деле народ не выучился настоящей грамоте да еще каким-нибудь реальным (т. е. точным, опытным, наблюдением доказанным) научным понятиям. А тогда мало ли что ему в голову взойдет действительно человеческого, даже не такого, что обычно под лаком за человеческое выдается высшим сословием.

Что же делать?

Разумеется, воскресные школы долой, но этого недостаточно. Этим юношество огорчишь, пожалуй, но не исправишь.

Стало надо само юношество втолкнуть в лакированную науку. И вот литература, составляющая прямое детище правительства и управительства всякого рода, официозная литература принялась проповедывать почти что уничтожение реальных и размножение классических гимназий и прогимназий. Это значит изгнание всякого знания, применимого к народной жизни (на том странном основании, что такое знание может

составлять потребность только немногих исключительных личностей). Затем заменение его филологией, т. е. даже нето чтобы знанием истории, а больше толкованием литературы древних народов, которая уже ни к какой современной народной жизни не применима и именно может составлять потребность только немногих, исключительных личностей. Вот и завели бесконечное число классических гимназий и прогимназий, куда отцы вынуждены посылать ребят за неимением других лучших заведений по близости. Да кроме того, отцы полагают, что тут само правительство покровительствует, стало-быть выгодно — ради карьеры[4].

Да и этого недостаточно. Надо везде усилить влияние начальства, особенно в этих опасных высших учебных заведениях[5], где направление по реальному науковедению так богопротивно усилилось. Надо впихнуть в них своих стипендиантов[6], которых, кажется, легче образовать в свои чиновники.

Затем, у студентов являются потребности своих сходок, своих касс и т. д.[7].

Что же это доказывает?

Доказывает, что ни правительство, ни управительство, ни официозная литература, ни официозная профессура — несмотря на уничтожение воскресных школ — не могли уничтожить в учащемся юношестве — ни направления по изучению реальных наук, ни сознания своей юношеской общинности, ни сознания своей однородности с народом, а уже, конечно, не с чиновничеством, не с управительством, не с правительством.

Доказывает тоже, что вталкивание правительством и управительством своих стипендиантов в высшие учебные заведения — сделает ли из этих стипендиантов, как говорится, в душе чиновников благодарности ради — это еще вопрос. Да едва ли? Таких благодарностей теперь не много создашь: не те времена. Становится лучше жить правды ради, чем ради благодарности.

Доказывает тоже, что елико возможное закрытие правительством высших учебных заведений или подведение их под управление военного ведомства[8] — также не будет иметь силы превратить юношество в чиновников: не те времена!

Все это доказывает только, что классическая интрига правительства, управительства и официозной литературы и профессуры — не приведет их ни к какому желаемому ими результату. Они дойдут только до того, что будут иметь вид нечестный, но смешной — по целому свету.

А между тем, теперь уже студентов разных высших учебных заведений — человек с 500 пошло в ссылку, человек с 50 остались в крепости[9]. Дело еще не кончилось. Где оно совершается? на долго ли? по какой особой недогласности? Это нам неизвестно. Но во всяком случае оно падет на правительство укором и смехом, а юношество в чиновничью колею не повернет. Не те времена!

Предположимте даже, что высшие учебные заведения закроют? Останутся только богословские и классические.

Лучшего средства раздразнить семинаристов и гимназистов нельзя придумать; следственно, и лучшего средства подвинуть реальную науку.

Без всякого сомнения юношество найдет средство — вне всяких учебных заведений — устроить свои сходки для учения, помимо официальной профессуры. И это учение, конечно, не будет хуже. Даже из ученых лучшие люди больше чем охотно, страстно придут на пособие, если они не чиновники.

НАША ПОВѢСТЬ

(Посвящено русскимъ студентамъ)

"Но я пророчу не боясь,
Исполненный надежды смѣлой,
Что новый кряжъ взойдетъ у насъ —
Съ стремленьемъ чистымъ, мыслью зрѣлой
И пусть посердитъ васъ и васъ,
Но жизни будущаго цѣлой
Блеснетъ въ немъ яркая звѣзда —
За тѣмъ гнѣвъ вашъ не бѣда"...

(Юморъ, часть III, отдѣлъ первый).

1.

Раздался громъ севастопольской пушки, и вздрогнули сердца въ Петербургѣ.

Реформа, говорятъ, реформа, реформа!

Дворянство — проситъ реформы, вольнодумствуетъ.

Народъ — хочетъ дѣйствительной свободы.

Купечество — служитъ молебны.

Царь — плачетъ отъ самообожанія.

Давайте — желѣзныхъ дорогъ!

Давайте — школъ народныхъ и высшихъ!

А между тѣмъ — всѣ побаиваются — и чтò ни день всё больше.

Народъ боится и чувствуетъ, что дѣйствительной свободы ему на долго не выйдетъ.

Дворянство боится, что вовсе раззорится — но мимо рабства и дароваго труда, за который отдавало мужику мужицкую землю.

Царь боится, что для обрусенія Польши не хватитъ нѣмцевъ; что для податей не хватитъ низшаго сословія; что развитіе школъ народныхъ и высшихъ слишкомъ взволнуетъ непочатые умы; что на развитіе желѣзныхъ дорогъ не хватитъ бумажекъ — и мало-ли чего еще боится?.. Такъ что невтерпежъ самому себѣ постоянно казаться добрымъ. Придется кое-гдѣ ввести смертную казнь, кое-гдѣ продолженіе мысленно уничтоженныхъ тѣлесныхъ наказаній; да вообще не уменьшеніе, а увеличеніе податей и всякихъ поборовъ съ бѣдныхъ людей; уменьшеніе только съ богатыхъ и невозложеніе на тѣхъ, кто вовсе не платитъ.

Почему такъ?

Что-же дѣлать? Необходимость! Необходимость — необъяснимая, но — извѣстно — научная..... или, если не научная, то ученая, чтò, впрочемъ, далеко не одно и тоже.

Изъ этихъ историческихъ современныхъ сопоставленій, ихъ существованіе становится весьма осязательнымъ. То есть:

1) Народъ. при этихъ порядкахъ, дѣйствительнаго освобожденія не получитъ. Оно невозможно при сословной отдѣльности, и тѣмъ паче при сословно наложенномъ налогѣ, подушномъ и иномъ.

2) Дворянство придетъ въ упадокъ.

3) Купечество постарается уменьшить своя повинности и увеличить, гдѣ можно, свои доходы; для этого оно и станетъ служить молебны, которые скорѣе ведутъ къ правительственному покровительству, чѣмъ бы вело къ нему дѣйствительное дѣло. Счастливо то, что у насъ купечества мало, меньше чѣмъ нужно для торговыхъ возможностей края, и что слѣдственно его дѣло, при всякомъ дѣйствительномъ освобожденіи, просится перейти на всѣхъ и каждаго, безъ особыхъ гильдейскихъ налоговъ и безъ потребности заздравныхъ молебновъ.

4) Правительство все больше и больше станетъ одной рукой спускать съ цѣпи, другой рукой прикручивать; а вмѣстѣ съ тѣмъ все больше и больше бояться ростущихъ обстоятельствъ.

Такъ наша повѣсть началась во время оно; такъ съ тѣхъ поръ и продолжалась.

О будущности заключайте сами!

2.

Сначала было понятно, что освобожденіе крестьянъ, какъ скоро оно основано на выкупѣ себя на волю отъ помѣщичества и отъ казны, сразу не сочинишь. Вопросъ сводился на то: нельзя-же работать объ освобожденіи — годы — въ чиновничьихъ коммиссіяхъ, ничего не заявляя свѣту о своемъ великодушіи. Это заявленіе великодушія тѣмъ больше было нужно,

НАША ПОВЕСТЬ

Прокламация женевской типографии, 1869 г.

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

Забыть своей близости с народом — учащееся юношество теперь уже не может. Не забудет оно и того, что извощики отстаивали студентов от полиции [10]. Что же, это было в самом деле из-за того, что подчас студенты ездили на извощиках? Нет! Из-за такой причины извощики еще побоялись бы подвинуться. Тут было сочувствие пехтуры по положению, а уж вовсе не скаковое и уже, конечно, не польское.

Учащееся юношество высших сословий — все больше и больше сблизится с народными потребностями, потому что все больше и больше разойдется с отцами и надобностью в их раззоренном имуществе. Учащееся юношество низших сословий все больше и больше почувствует себя на своем месте, т. е. орудием распространения в народе действительных знаний.

На этом зиждется и сочувствие народа и юношества: народная жизнь и опытная наука завершают друг друга. Пока опытная наука не будет иметь той практической шири проповеди и применения, какая дозволена религиозным школам — немецким и православным, до тех пор и народная свобода невозможна.

Очевидно, примененная к жизни наука и народное развитие — друг от друга отстать не могут.

Учите народ по церковному — и у него вся производительность, начиная с паханья полей, может остаться века вечные в одном и том же жалком положении. Не подвинется даже его понимание о возможностях голода и о возможностях предотвращения голода обработкой полей или сбережением или распределением подвозов. И народ очень хорошо знает, что церковная грамота ему не поможет ни в чем, и народ примет всякое опытное знание охотно, да еще внесет в это знание дополнение своей особой, местной опытности.

Правительство думает, что оно невежеством народа, его принуждением знать только ненужности — успокоит народные требования, и не замечает, что оно прямо ведет народ к волнениям, потому что всё положение становится более невыносимым.

Только опытная наука может служить дополнением народной жизни; только народная жизнь может дать новое движение опытной науке. Мы здесь не думаем говорить, чтобы народ или наука остановились, напр[имер], на сельском хозяйстве. Войдя в сношение, они необходимо должны искать определения всех человеческих отношений, всего общественного строя.

Определение общественого строя, конечно, составляет самую сложную из опытных наук. Здесь ни жизнь, ни наука — не могут остановиться только на определении совершившегося обстоятельства; здесь и жизнь и наука должны восстановить и осуществить новое общественное отношение, основанное на новом требовании и новом различном определении и, большей частью, противуположное существующему порядку вещей.

Здесь жизнь чаще всего идет вперед науки и ставит свои требования раньше какого-либо научного определения. Какое напр[имер] научное определение заставило половину крестьян северных губерний или балтийских эстов требовать права переселения [11]: к этому требованию привел их голод, и, конечно, так научный разбор обстоятельств мог стать только со стороны народных требований, а не со стороны стрелявшего в народ храброго воинства [12], принявшего на себя обязанность тайной и явной казенной полиции.

Мы и теперь убеждены, что учащееся юношество настолько знает высказанную нами правду, что при всех ныне неизбежных движениях народных, оно — мало того, что вспомнит, как извощики стали со стороны студентов против полиции и почувствовали в себе ту правду, которая невольно пробудила мозг каждого весьма неученого изво-

щика, — но учащееся юношество во всяком случае, естественно, станет не со стороны полиции, а со стороны народа и, наверно, к народному вопросу не останется равнодушным.

Этим убеждением мы на этот раз и заканчиваем.

Издатели Колокола

Среди первых печатных изданий, вышедших из женевской типографии Чернецкого весной 1869 г. в связи с приездом в Женеву Нечаева, была листовка «Наша повесть» за подписью «Издатели Колокола». Переписка Герцена и Огарева за 1869 г.[13] вполне разъясняет и обстоятельства, при которых эта листовка была написана, и вопрос о том, кому из двух «издателей Колокола» — Герцену или Огареву — принадлежала инициатива ее издания и самое авторство.

Знакомство Огарева и Бакунина с Нечаевым, состоявшееся в двадцатых числах марта ст. ст. 1869 г., заставило этих старых революционеров откликнуться на рассказы Нечаева о студенческом движении в России и о подготовке близкой народной революции двумя воззваниями, которые были отпечатаны в начале апреля ст. ст.: Бакунин написал «Несколько слов к молодым братьям в России», Огарев — воззвание «Русские студенты» (и то, и другое не раз переиздавалось). Огарев писал свое обращение к студентам, рассчитывая, что оно выйдет за тремя подписями: Герцена, Огарева и Бакунина, в знак сочувствия и поддержки движения молодежи со стороны старой эмиграции. Он надеялся также, что такое выступление поведет к «воскресению заграничной печати», т. е. прекращенного в 1867 г. «Колокола». Но Герцен отнесся скептически к предложению друга и, не одобрив текста воззвания[14], отказался дать к нему свою подпись, что заставило Огарева выпустить воззвание анонимно. Однако, он не отказался от мысли напечатать обращение к юношеству за тремя подписями и 17 (29) апреля окончил «вторую статью», которой стремился придать «лучший тон», чтобы не оттолкнуть Герцена. Статья, текст которой был послан Герцену в Ниццу, вызвала переписку между двумя старыми друзьями, обнаружившую их большое расхождение.

Огарев писал Герцену 17 (29) апреля: «Статью мою покончил я только сегодня. Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства изящной словесности. Тут была нужна скорость. Теперь моя статья имеет лучший тон. Умоляю тебя прислать согласие на подпись, ибо иначе — по моему мнению — это будет просто позор, ибо вместо вызова значит обессилить юношество. Содержание моей статьи следующее. Пусть себе закрывают академии или подчиняют их военному министерству (что совершается de facto) — рассыльное юношество должно соединиться с народом... Если мы не подымем словом дух юношества — это будет просто подло. Неужели же ты и тут не дашь подписи. Я послал сегодня статью набирать так, чтоб 1-го мая послать тебе корректуры. А прислал бы ты просто согласие печатать с твоей подписью, было бы гораздо лучше». Но Огарева ждали большие огорчения: Бакунин отказался подписать статью, очевидно находя ее слишком умеренной, Герцену же она снова не понравилась. Он очень скептически отнесся к увлечению Огарева, видевшего в движении молодежи начало серьезного революционного движения, и в письме к сыну от 20 апреля (2 мая) отзывался о нем так: «Огарев все шалит. Закусил удила да и только — шумит, бранится, еще написал манифест. Что с ним это? Ведает бог да Бакунин». Через два дня он писал о «статье» Огареву: «Твоя статья, разумеется, лучше манифеста, но эта статья и может быть подписана только одним: она субъективна по языку, по форме, потому что она — вовсе не воззвание и не манифест. Я думаю, лучше к ней приписать мою adhésion *, что я и сделаю, чем подписываться à la F. Pyat с своими — все это битый путь. Я буду непременно писать и печатать[15]. Сделай, пожалуй, из этого пробный лист «Пол[ярной] Звезды». Но что же будет бакунин[ская] прокламация[16]? Если тебе хочется, для контраста можно. Я в тексте, как ты увидишь, ничего не поправлял. Это лишнее, потому что ты все же не поправишь. Но несколько замечаний все же должен сделать: 1-е. Все жарты о молебнах купцов выбросил бы я. 2-е. Пошлые выражения, в роде два раза повторенных «рассылочек», «пехтуры» и «впехнуть» (это не по русски — от пихать не выйдет впехать), я бы выбросил. Далее. Часть литературы — «СПб. Вед[омости]», «Голос», «Неделя», «От[ечественные] Зап[иски]» etc. отстаивала храбро реальные школы... Кто считал 500 в рассылочку?.. Что за история извозчиков? Мне и заглавие «Наша повесть» не нравится». Как видно из письма Огарева от 23 апреля (5 мая), он был глубоко огорчен отношением Герцена: «Сегодня от тебя письма не было. Два прошедших письма меня глубоко потрясли. Слезы душат, и, действительно, чувствуется, что самое реальное было бы околеть. — Выскажусь как можно короче. Если ты находишь ошибки, можно поправить, можно полемизировать, но на них, еще с высокомерием, которое не заменяет убеждения, отзываться нельзя. — Ты видишь какие-то влияния

* Согласие.

Бак[унина], который мне давно напоминает тему «шумим, братец, шумим», но которого я не стану обвинять... в том, чтобы он поступал не так, как бельгийская интернациональ (о которой ты говоришь). Здесь он в этом случае поступил совершенно так же и останавливает и скорее боится несвоевременных волнений. В русском вопросе он, может, пошел дальше; я не могу сойтись, но и мешать не стану, ибо вред останавливания мне кажется в тысячу раз вреднее чего бы то ни было. Пусть Катков ругает за ошибку — беда не велика; беда была бы, еслиб похвалил .... Останавливать грешно и позорно, и вреднее чем все, что может случиться. На какой же черт мы выставили пять голов на Пол[ярной] Звезде, Герцен [17]... ...Посылаю тебе корректуру статьи, которая до твоего приезда или приказания отпечатана не будет; я поправил все, что нужно, но я не могу понять, в чем ты с ней не соглашаешься, — и печатать хочу не самолюбия ради, а ради того, что в ее правде я убежден и убеждением также не пожертвую. — Бак[унин] подписываться не желает, боясь разойтись в убеждениях. — Мне приходится как-то стоять по середине между элементами шума и элементом консервативного социализма. Как это тяжело, мой, во всяком случае, страстно любимый брат, — ты себе этого представить не можешь. Вот, кстати, подвернулись на столе стихотворения Рылеева...

Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей...»

Брошюра — листовка «Наша повесть» была в конце концов отпечатана за подписью «Издатели Колокола». Повидимому, Огареву удалось уговорить на это Герцена по приезде последнего в Женеву 10 мая н. ст. (11 мая Герцен писал об Огареве Н. А. Огаревой: «Все недоразумения окончились в полчаса»). Как видно из печатного текста, Огарев принял во внимание замечания Герцена и выкинул некоторые из не понравившихся ему выражений. Эта листовка, которую Огарев пытался сделать приемлемой для Герцена, но которую последний подписал не столько из солидарности, сколько из-за желания дать некоторое противоядие бакунинским прокламациям, вышла бледной. Если разочарование в реформах александровского времени выражено в ней вполне ясно, то вопрос о будущих социальных переменах и об участии в них юношества поставлен лишь в очень неопределенных выражениях.

Расхождение Герцена и Огарева, обнаружившееся по поводу «Нашей повести» и прокламации «Русские студенты», в течение ближайших же месяцев 1869 г. пошло еще глубже: Герцен решительно отмежевался от последующей деятельности Бакунина и Нечаева, направленной на то, чтобы вызвать народное восстание с помощью революционного общества, построенного по принципам тайного бакунинского Альянса. Огарев так же решительно поддержал ее. Известен факт передачи Огаревым Бакунину и Нечаеву в июле 1869 г. половины так называемого бахметевского фонда, что обеспечило материальную сторону предприятия Нечаева. Участие Огарева в литературно-агитационной кампании 1869—1870 гг. в полной степени не выяснено. Печатаемые ниже материалы позволяют говорить, что Огарев оказал Нечаеву самую энергичную поддержку и по этой линии.

Листовка «Наша повесть» посылалась из Женевы в Россию вместе с вышедшими в 1869 г. прокламациями Нечаева и Бакунина. В III Отделении она была зарегистрирована в первый раз при перлюстрации 9 мая 1869 г. [18].

В то время, как воззвание Огарева «Русские студенты» неоднократно перепечатывалось, текст «Нашей повести» до сих пор не переиздавался. Здесь он воспроизводится впервые с напечатанного в типографии Чернецкого подлинника (4 стр., 20×10 см).

[1] Третья часть поэмы Огарева «Юмор», написанная в 1868 г., через 27 лет после двух первых, была напечатана в VIII книжке «Полярной Звезды» на 1869 г., вышедшей в Женеве.

[2] Воскресные школы, которые начали открываться в большом количестве с 1859 г., были закрыты в 1862 г., после того как в Петербурге возникло следствие о распорядителях двух воскресных школ, вызвавших подозрение правительства.

[3] Сделанное здесь обещание Огарев не выполнил. По перечисленным пяти вопросам он многократно высказывался ранее, преимущественно на страницах «Колокола».

[4] Устав средних учебных заведений 19 ноября 1864 г., который разделял гимназии на реальные и классические и вводил в классические гимназии, кроме латинского, и греческий язык, первые годы, в части, касавшейся классических гимназий, слабо проводился в жизнь. Усиленное насаждение классицизма, в ущерб реальному образованию, завершившееся введением устава 15 мая 1871 г., началось после каракозовского выстрела, при министре народного просвещения гр. Д. А. Толстом, который видел в классической системе образования средство борьбы с революционным движением. В прессе ярым защитником классицизма был М. Н. Катков.

[5] Здесь имеются в виду правила 26 мая 1867 г., вводившие строгое подчинение студентов инспекции, как внутри, так и вне учебных заведений.

[6] При праздновании 50-летнего юбилея Петербургского университета в феврале 1869 г. Александр II пожертвовал университету 100 стипендий по 300 руб. (см. «Голос», 1869 г., № 56).

[7] Основные студенческие требования во время волнений в высших учебных заведениях Петербурга весной 1869 г. были формулированы в прокламации «К обществу» от 20 марта 1869 г., написанной П. Н. Ткачевым и перепечатанной в «Вести» от 22 марта. Прокламация, текст которой не раз издавался, заключала 3 требования: 1) права иметь кассу, 2) права сходок и 3) отмены правил 26 мая 1867 г.

[8] И то, и другое указание ближе всего относятся к Медико-хирургической академии. Она состояла в ведении военного министерства, и в 1868—1869 гг. были приняты меры к приближению порядков в ней к режиму военно-учебных заведений. Особое возмущение студентов вызывал вновь назначенный инспектор — полковник Смирнов. Для расследования студенческих волнений в Медико-хирургической академии, вызвавших 14 марта 1869 г. ее временное закрытие, была назначена военно-следственная комиссия.

[9] Студенческие волнения весной 1869 г. в Медико-хирургической академии, Технологическом институте и Петербургском университете сопровождались арестами «зачинщиков» и высылкой на родину уволенных; но приведенные здесь цифры преувеличены — выслано было около 100 человек (см. статью С. Сватикова, Студенческое движение 1869 года, в сборнике «Наша страна», СПб., 1907 г., стр. 216 и др.).

[10] Здесь, повидимому, отразились сведения, переданные Огареву Нечаевым.

[11] О переселенческом движении из прибалтийских и северных губерний, вызванном голодом 1868 г., сообщалось в ряде газетных статей и заметок 1868—1869 гг. («Биржевые Ведомости», 1868 г., № 259; «Дело», 1869 г., № 3; «СПб. Ведомости», 1869 г. №№ 72 и 77; «Голос», 1869 г., № 74). Огарев отозвался на них статьей «Голод и новый год», напечатанной во французском прибавлении к «Колоколу» от 15 февраля 1869 г.

[12] См. ниже послесловие к прокламации «Гой, ребята...».

[13] Письма Герцена за 1869 г. опубликованы в XXI т. полного собрания сочинений и писем, изданного под ред. М. К. Лемке. Письма Огарева печатаются в настоящем томе «Литературного Наследства».

[14] См. письмо Герцена Огареву из Ниццы от 16 апреля н. ст. 1869 г. (указ. издание, стр. 365—366).

[15] Очевидно, Герцен собирался сам высказаться по поводу студенческого движения: это намерение не было выполнено.

[16] Речь идет о прокламации Бакунина «Постановка революционного вопроса», которая была отпечатана в тип. Чернецкого в конце апреля или в начале мая ст. ст. 1869 г.

[17] На обложке «Полярной Звезды» были помещены изображения пяти казненных декабристов.

[18] Архив революции и внешней политики (Москва), III Отделение, 3 Экспедиция, 1869 г., № 110, ч. I—III, дело «О воззваниях, полученных из-за границы на имена различных лиц и о собрании по оным сведений». Экземпляр, перехваченный 27 июня и адресованный купцу А. И. Карнаухову в с. Иваново, Владимирской губ., имел следующую надпись: «Просят всех честных людей доставлять корреспонденцию из России для возобновляемого русского издания на следующий адрес: Швейцария (Genève), Suisse, Rue Mont-Brillant, № 123, au 3-me étage, Monsieur Anglais. Надеемся, что не замедлят все, кому дорог успех дела».

2

* * *

Гой, ребята, люди Русские!
Голь крестьянская рабочая!
Наступает время грозное,
Пора страдная, горячая.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу[1] учинить должны,
Суд мирской злодеям ворогам.
А злодеи эти вороги:
Все дворяне, все чиновники.
Люди царские, попы, купцы,
Монастырские, пузатые;
Все они нас поедом едят,
Поедом едят — судом судят,
Обложили нас оброками,

Мы за все про все платить должны,
Про их брюхо ненасытное
Работаем с утра до ночи,
Сами наги, сами голодны
На Руси мы как в Аду живем!
Подмененный царь Александрушка,
С головой пустой, со немецкою [2],
Только пьет да командует
Палачам своим, толстой гвардии,
Чтоб стреляли в нас, чтоб нас вешали,
Чтоб в Сибирь вели людей умных.
Видно, с глупыми легче справиться:
Как ни мучай их, все ура кричат.
А отродье-то его царское,
Дети, внучата, сестры, братчики
В золотых дворцах потешаются,
Только пьянствуют, да распутствуют;
А мы глупые, неразумные
За них молимся, много лет кричим.
От нужды-горя от крестьянскова
Как бы стон стоит на земле Русской;
В деревнях печаль ветром носится,
Сердце рвет у всех, зубы скоркают.
Услыхал о том Стенька Разин сам,
Во горах что спал лет поболе ста.
Он, заступник наш, просыпается,
На помогу к нам собирается.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам.
Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь добры молодцы
На разбой — дело великое!
Мы отплатим нашим недругам
Все злодейства, все мучения;
От рук наших умираючи
Пусть помянут годы тяжкие,
Как тиранили народ простой,
Как поборами нас грабили!
Будут плакать, будут сетовать
Жены их и дети малые;
Не должно для них пощады быть,
Надо всех их нам со света сжить
Города, дворцы огнем спалить,
Чтоб не знали, где главы склонить.
И очистим мы землю Русскую
От всех ворогов да бездельников,
Что наш хлеб едят да нам зло творят.
От попов, купцов, от чиновников,
От дворян, от барь, что кровь нашу пьют.

Мироедам всем карачун дадим,
Все дома их пустим по ветру.
Подставному царю-батюшке,
Александрушке подмененному,
Мы скрутим руки немецкие,
Поведем на площадь Красную,
На Московскую площадь Красную,
Пред мужичий люд, им обманутый;
Там судить его станем миром всем,
Мы допрос ему учиним такой [3]:
«Подмененный царь, Александрушка,
Лиходей земли нашей Русския!
А зачем ты нас обманул, надул?
Вместо волюшки в кабалу отдал [4]?
Ты зачем велел нас рубить, стрелять,
Как хотели мы себе землю брать?
Ты за что про что мучил пытками
Вожаков наших да заступников?
Ты за что рубил, ты за что ссекал
Их разумные, буйны головы?
Подымалися под Архангельском
Мы от голоду, от великого,
Наги, босы, отощалые
В Питер город шли шестьсот тысячей.
Ты послал на нас свою гвардию,
С генералом своим плутом Треповым,
Свою гвардию откормленную,
Откормленную, подпоенную;
Ты велел нас бить, да без милости,
Без разбору безо всякого,
Палить залпами да картечами,
На штыки сажать, конем топтать.
От тое ли от картечи от поганые
Полегло нас много тысячей,
Потекла ручьем кровь мужицкая
По лицу земли нашей Русския [5].
Мы теперь с тобой, подмененный царь,
Поквитаемся, рассчитаемся!
Мы теперь тебя разорвем в куски,
Разбросаем их во все стороны.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам,
Без пощады им поделом воздать,
Чтоб добыть себе волю вольную.

Стихотворение «Гой, ребята...» было напечатано листовкой в типографии Чернецкого в Женеве летом или в начале осени 1869 г. Как и другие женевские прокламации этого периода, оно посылалось по разным адресам в Россию и было впервые обнаружено при перлюстрации заграничных писем 20 августа ст. ст. 1869 г. (или ранее?) [6].

У нас нет прямых указаний на автора этой прокламации, но можно не сомневаться в том, что она написана Огаревым. Бакунин не писал стихами, о Нечаеве В. Засулич отзывалась: «Где ему стихи писать, он и прозой-то плохо пишет». Огареву, как поэту, должна была принадлежать как мысль воспользоваться стихотвор-

ной формой для прокламации, так и ее выполнение. Характерен для Огарева и прием подражания народной форме стиха, которым он не раз пользовался, стремясь сделать свои произведения доступными «для простолюдина». В данном случае взят стихотворный размер, подражающий народной эпической песне или былине (ср. с такими произведениями Огарева, как «С того берега» и «За столом сидел седой дедушка»). Авторство Огарева подтверждается и приведенным в конце прокламации эпизодом о восстании «под Архангельском», усмиренном царской гвардией. Слух о крестьянском восстании в Архангельской губ., связанный очевидно с проникшими и в газеты сведениями о последствиях голода 1868 г. и переселенческом движении, дошел до Огарева весной 1869 г. Слух был, повидимому, неверен — мы не находим ему подтверждений в регистрировавших все крестьянские движения всеподданнейших отчетах III Отделения; весьма возможно, что он был передан Огареву Нечаевым, выдумавшим или преувеличившим его, чтобы убедить эмигрантов в близости крестьянской революции в России. Судя по письмам Огарева к Герцену, слух этот произвел на Огарева очень сильное впечатление. В письме от 29 апреля н. ст. 1869 г. он писал Герцену: «Заметь, что в Архангельской губернии 600.000 (т. е. полгубернии) взбунтовалось с голода. Пришли солдаты, и был карнаж [7]. Неужто юношество не должно принимать участие? А это не одно место, а происходит повсюду». В письме от 5 мая н. ст. он опять возвращается к той же теме: «Ехать в Арханг[ельскую] губернию я скорее готов, чем в какой бы то ни было рай земной. Но если на это сил уже не хватит, то я молодому поколению мешать все же не стану».

По содержанию прокламация резко порывает с умеренным тоном «Нашей повести», призывая народ к кровавой революции в духе бакунинских прокламаций «Постановка революционного вопроса» и «Начала революции», появившихся в мае 1869 г., и напечатанного летом 1869 г. первого номера «Народной расправы». Но ни влияние Бакунина (например, призыв подниматься «на разбой, дело великое», отражающий бакунинскую идеализацию разбойничества, упоминание о Стеньке Разине, о котором писал в своих прокламациях Бакунин), ни резко выраженная в стихотворении «Гой, ребята...» террористическая струя, не противоречат авторству Огарева. О влиянии на него Бакунина не раз говорит в своих письмах этого периода Герцен («Я и с Ог[аревым] во многом расхожусь... На него, странное дело, Бак[унин] имеет сильное влияние» писал Герцен сыну 29—31 июля н. ст. 1869 г.). Не раз упоминает он в это время и о террористических настроениях Огарева. В письме от 2 июля н. ст. Герцен называет его своим «Робеспьером, с одной стороны грозным, с другой — и пасторальным, и сентиментальным» и говорит о «безмерно тихой-тихой и платонически террористической жиле» Огарева; в письме от 3 октября н. ст. Герцен пишет ему: «Ты думаешь, что призыв к скверным страстям — отместка за скверну делающуюся, а я думаю, что это — самоубийство партии и что никогда, нигде не поставится на знамени эта фраза...» Очень сильны террористические мотивы и в двух выпусках «Вольного песенника», небольшого сборничка стихов, напечатанного в типографии Чернецкого в июле 1869 г. и составленного, несомненно, при ближайшем участии Огарева и, возможно, по его инициативе, преимущественно из стихотворений, вошедших в старые издания «Вольной русской типографии» [8].

Прокламация «Гой, ребята...» — одна из целой серии стихотворных листков, напечатанных в типографии Чернецкого в это время. Хорошо известно Огаревское стихотворение «Студент», напечатанное с посвящением Нечаеву летом 1869 г.; летом или осенью было напечатано в виде листовки и посылалось в Россию старое стихотворение Огарёва «Напутствие», вошедшее еще в лондонский сборник его стихотворений 1858 г.; есть упоминания о присылке из-за границы двух стихотворных прокламаций «Мужичкам» и «Встреча. Посвящается духовенству», которые нам не удалось найти [9], но принадлежность которых Огареву представляется наиболее вероятной; наконец, в сентябре 1870 г. уже после разрыва Огарева и Бакунина с Нечаевым было напечатано листовкой стихотворение Огарева «Размышления русского унтерофицера перед походом», также подражающее формам русского фольклора и недавно опубликованное [10].

Небольшие отрывки прокламации «Гой, ребята...» были приведены в статье К. А-ва [К. Алябьева] «Шутовство русской эмиграции», появившейся в 1870 г. в № 154 «Голоса» [11]. Уже после сдачи этой публикации в печать стихотворение было напечатано впервые полностью во втором томе издания: Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы, 1938, стр. 338—341. Здесь оно повторяется по тесной связи с другими включенными в публикацию прокламациями, которые мы считаем также огаревскими.

Прокламация появилась в 1869 г. в двух видах — на 1 стр. в два столбца, 23 × 17 см, в фигурной рамке, и на 2 стр., 26 × 7 см.

[1] Выражение «расправа», которое повторяется ниже несколько раз, здесь не случайно: Нечаев действовал в России от имени «Комитета народной расправы 19 февраля 1870 года»; изданные в Женеве летом 1869 г. и в январе 1870 г. два номера журнала носили название «Народная Расправа».

[2] Немецкий царь — обычный мотив агитационных листков Огарева, написанных для народа (см. его статьи и прокламации начала 1860-х гг.).

[3] В № 1 «Народной Расправы» (стр. 14—15) предлагалось сохранить жизнь царя для «народной расправы», до дня «мужицкого суда».

[4] «Народ царем обманут» писал Огарев в № 101 «Колокола» после опубликования «Положений» 19 февраля 1861 г. Это утверждение постоянно им повторялось в дальнейшем.

[5] Разъяснение этого места см. выше.

[6] В упомянутом уже деле III Отделения 1869 г., регистрировавшем обнаруженные при перлюстрации листовки, прокламация «Гой, ребята...» («стихи без заглавия») была упомянута, как полученная впервые, 20 августа 1869 г., но против этого места на полях карандашом отмечено: «Неправда».

[7] Ср. в прокламации: «В Питер город шли шестьсот тысячей...» и т. д.

[8] «Вольный песенник» составлен, главным образом, по трем сборникам: «Русская потаенная литература XIX столетия», с предисловием Н. Огарева, Лондон, 1861; «Свободные русские песни», Кронштадт [Берн], 1863; «Солдатские песни», Лондон, 1862. Две последние сходны с «Вольным песенником» и своим небольшим размером, приспособленным для подпольного распространения.

[9] Первая из названных прокламаций — «Мужичкам» — была в руках у Nettlau, который описывает ее в своей статье: «Bakunin und die russische revol. Bewegung in den Jahren 1868—1873» — Archiv für die Geschichte des Socialismus, V, Leipzig, 1915, стр. 394.

[10] Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта»), т. I, 1937, стр. 257—258.

[11] Алябьев получил экземпляр прокламации от самого Огарева, которого он посетил в Женеве весной 1870 г. (Архив революции, II секретн. архив, № 85. 1869 г.).

3

МУЖИЧКАМ И ВСЕМ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ РАБОТНИКАМ

Братцы! приходит нам невтерпеж!.. Житье на Руси все хуже да хуже! Свободой нас обманули, только по губам помазали!.. Бог-то земли-то дал для всех, а они забрали под свое владение. Какая же это такая правда на свете! Это кривда, как есть. Прежде земля была общая, кто работал, тот и владел. Не было ни дворян, ни купцов, ни попов, ни мироедов. Жили все в деревнях на великой свободе, все были равны и своими делами сами заправляли. И было великое довольство для всех. Пришли в нашу землю тогда князья из-за моря с войском, привели с собой дворянскую сволочь, — поделали нам чиновников да начальников; стали нашу землю отбирать да под себя подводить. Мы не давали, боролись, да справиться не могли, потому что не все зараз поднимались бунтовать. А эти князья, которые место покорят, сейчас велят себе город построить[1], да тут и засядут, корешки и запустят, да так крепко, что и до сих пор держатся. Придумали законы разные, стали со всех оброки да налоги собирать. Ну, и начали они таким манером жить да пировать, в силу вошли, отъелись нашим хлебушком. Города эти укрепили так, что и подступу нет, разве только красного петуха подпустишь, так стены-то каменные и порастрескаются. Взяли они себе и леса, и пашни, размерили, в книжки записали, сторожей, смотрителей приставили. Это говорят: наше дворянское, это наше поповское, это наше купецкое. А ты, говорят, мужичок, работать для нас должен: так они нас в свои руки и забрали, сели на нас да и поехали, поехали, да и едут до сих пор, и вздохнуть нашему брату не дадут. Ежели ты слово грубое скажешь, тебя как сидорову козу вспорят. Ежели сговоришься с другими да упираться против какого побора начнешь — в Сибирь, а кто поудалее, того под расстрел. Ежели весь мир шибко заговорит, к примеру, по всей России затолкуют, баря тогда со штуками, с хитростями подъезжать станут, прельстят, посулят и то, и другое, и пятое, и десятое, а потом, как успокоится народ, опять попрежнему: так нас свободой надули, как услыхали, что мужики шибко о воле

поговаривают. Царь пьяной сдуру и подписал нам указ, что девятнадцатого февраля читали. Будьте, говорит, мужички, свободны; нет вам ни земли, ни лесу. Хорошо, говорят, что он пьяный подписывал, а то бы еще хуже. Завели цари солдатчину, стали наших же молодых ребят в рекруты забирать, ружья, пушки понаделали и все нашими руками, а все против нас. А нам говорят, что войско против француза али немца, да так нас глупых людей и обманывают. А французскому да немецкому народу так же плохо, что и у нас. Там тоже цари да короли, дворянство, купечество да поповство все в свои руки забрали да войском народ в страхе держат. А французскому али немецкому народу говорят, что войско против русских. А народу за что воевать? Эти же короли-цари перессорятся да войну и объявят, а мы кровь проливай. А воевать им выгодно, потому что они боятся, чтоб народы в соглас не пришли, если в мире будут жить. Ну, а ежели все мужики во всех землях в чем согласятся, так тогда всем нашим злодеям беда неисходная, никакое войско не устоит. А теперь вот, пока этого согласия нет, барству это и ладно: всячески они один народ против другого разжигают да уськают. Особливо это от царя попам препоручено. Они, жеребячья порода *, нам в голову то и вбили: все, дескать, другие народы нехристи. А чего нехристи? Та же самая вера в того же Христа; только французские или немецкие попы иначе обедню служат да набольшого другого имеют. У нас митрополит, а там папа. Вот от этой причины и раздоры между нашими и чужеземными попами. А для простого народа везде они одинаковы, везде на шее сидят, как пиявицы мужиков сосут. Так-то вот и мучаемся мы и терпим от наших злодеев! И чем больше терпеть будем, тем хуже нам будет. Потому мы для них всю свою силушку убиваем, в голоде, холоде, стощали вконец, а они у нас все забирают, ничего сами не работают, отъедаются, словно боровы, погуливают да на нас покрикивают, и разродилось их тьма-тьмущая. Ежели теперь один народ забунтует, то-есть свободы добиваться захочет, тут сейчас другой царь против него войско пошлет. Да нето что один, а со всех земель, как коршунье, налетят, потому чуют беду для себя от народной свободы. Вот, например, поляки забунтовали годов шесть-семь назад. Царь наш войску сейчас приказал рубить, стрелять без пощады, а нашим попам приказано было в церквах говорить, что поляки против русских идут, чтобы в простом народе вражду возбудить. А все потому, что испугалися свободы. Земля наша с польской рядом, как бы там мужики успели своим злодеям головы перевертеть да зажили бы вольной волей, без всякого начальства!.. И у нас бы, русских мужиков, глядя на них, руки бы зачесались, и мы бы за расправу с дворянством да с богачами принялись. Все это баря хорошо понимают, а потому так и действуют искони.

Князья у нас обжились, зажирели, стали царями называться, страх такой на народ нагнали, что и боже упаси. Попы все нам твердили, что царь земной бог, а дворяне ангелы, служители его. Мы так и привыкли им шею-то подставлять. Одно время у нас царь и все его отродье передохло, тогда призвали наши дворяне от немцев одного князька немудрого [2]. Этот у нас стал императором прозываться, его племя теперь нами и владеет. Теперь этой немецкой породы царской расплодилась куча; слыхали чай, как попы в церквах насилу пересчитают всех. Каждому огромное содержание, да за каждым прихлебывателей — дворян — стая. И все они только пьют, едят да потешаются. Вот мы на всех добра и напасись. Серебра и золота на Руси ныне уж почти не видать, все они

* В подлиннике: «народа».



ГЕРЦЕН

Фотография, 1860-е гг.

Институт литературы, Ленинград

спустили в другие земли, все прожили; мало того, цари наши задолжали в другие земли столько, что никогда уж теперь и не расплатятся. Вся царская порода делами никакими не занимается, потому что ума нет, с молоду привыкли все чужим умом пробавляться. И правят нашей землей и нами, глупыми, всё министры, графы разные, больше всё немцы, потому что сам царь из немцев происходит. Ну, и правят нами для того, чтоб только карман набить, как набил так и в отставку. А царь государь с князьями великими по земле русской ездит, прогуливается да любуется, ловко ли мы шапки кверху бросаем да громко ли ура горланим. В этом он толк понимает и очень любит. В которой губернии его лучше примут да лучше употчуют, там губернатору и чинов больше. Таким образом, все наше добро, все оброки, все подушные в царское да барское брюхо и идет; и становятся они все сильнее, жирнее да толще, да все ненасытней. А мы все тощаем да слабнем с голоду да с холоду. Выжимают они из нас последний сок. Ежели который из них поумней да почестней, нашу сторону брать начнет, вступаться за нас будет, сейчас они его бунтовщиком обзовут, в кандалы закуют, в рудники сошлют. Много такого народику, много умных людей в Сибири теперь из-за нашего брата горе мыкают. Книжки они хорошие писали про нашу беду неисходную, про мужицкую печаль тяжкую. Думали этими книжками наших ворогов усовестить. А чего с ними было толковать. Разве их словом проймешь? Разве у них стыд есть? Вот бог даст, как примемся душить их как собак, так небойсь хвост-то подожмут, лисами сделаются. Да не надуют теперь, врут, вера в них вся пропала. Всех метлой сметем. Пощады не будет. Только надо нам согласиться, чтобы в раз подняться да друг за друга стоять крепко, вожаков своих не выдавать и прелестным барским речам и посулам не верить. Было такое времячко, был у нас заступник Степан Тимофеевич, батюшка Разин. Задал он всем им гонку, перевешал всю сволочь благородную; облегчало жить мужикам на Руси, настала воля полная. Земля вся была наша, кто сколько хотел, столько и запахивал, была бы только охота потрудиться, ни поборов, ни подушных не знали, не ведали; ни законов, ни судов, нечего было бояться. Уж больно, очинно хорошо было жить на Руси в то время, как бунтовали мы со Степаном Тимофеевичем. Да не успели мы с батюшкой всех бояр, попов, чиновников со света сжить; не успели мы до Москвы дойти да с царем покончить, в нем вся сила. Потому пока царь будет, и вся барская сволочь и чиновники будут, только имена разные, а то все единственно. Становые, исправники, мировые посредники, мировые судьи — все одна сволочь, друг за дружку заступаются, а вас теснят да жмут. Надо нам их всех вконец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли опять никак. А для того надо нам, братцы, будет города их жечь. Да выжигать до тла. Да места выжженные вспахивать. В городах простова народа совсем мало живет, да и тот живет в услужении, чтобы на подати заработать. А как не будет подушных да поборов, незачем и в городе нашему брату жить, незачем прислуживать, каждый мужик будет сам себе господин. Фабрики-то мы и в деревнях заведем, да и будем работать всё сами на себя да про себя. А ежели города мы оставлять будем, тогда они в них укрепятся, и с ними нам не справиться. У них ведь и пушки, и ружья и всякие хитрости придуманы. Мы их только огнем и можем пробрать. Как городов-то не будет, так им всем передохнуть придется. Ну а который сможет мужиком сделаться, пожалуй, приходи к нам жить — работать, такой нам не помешает [3]. Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждать-то нам нечего, чего зевать? кому подошлось, если какой из наших ворогов

подвернулся * под руку, и кончай с ним. Греха в этом нету, потому мы себя так освобождаем. Ловить если нас будут, в лес. А там по большим дорогам. В деревнях помогут и скроют, ежели надо будет. Как так мы начнем во всех сторонах, так небойсь присмиреют и судить нас забоятся. Главное, надо нам будет остроги да тюрьмы ломать, потому там много хорошева народу из ловких, потому большую нам окажут услугу. Телеграфы, эти проволоки рвать надо, а то беда, теперь ты до уездного города не успеешь дойти, а уж в Питере царь знает и войско шлет, а знает потому, что телеграфы. А вы, мужички, читайте, да умом смекайте. Соглашайтесь, собирайтесь да на злодеев поднимайтесь. Будет им кровь то нашу пить да толстеть от жиру. Пора им всем карачун.

Грамоту эту передавайте один другому, да половчей, чтоб начальству невдомек.

Прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам» была известна до сих пор лишь в отрывках: впервые ее использовал К. Алябьев в своей, уже упомянутой выше, статье в № 154 «Голоса» за 1870 г.; небольшой ее отрывок напечатан в книге Богучарского, «Активное народничество семидесятых годов» (М. 1912, стр. 147—148). Исследователи, относя напечатание прокламации к началу 1870 г., сходятся в том, чтобы признать ее автором Нечаева. Так, Богучарский прямо называл эту прокламацию «продуктом индивидуального» творчества «Нечаева», послужившим «к несправедливому обвинению революционеров... во всякой уголовщине». Считаю, однако, что и датировка, и решение вопроса об авторе неверны.

Прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам» была впервые зарегистрирована в III Отделении при перлюстрации 24 августа ст. ст. 1869 г. По содержанию она местами чрезвычайно близка напечатанной тогда же прокламации «Гой, ребята...!», о которой мы уже говорили, как о стихотворении Огарева. Есть ряд оснований считать Огарева автором и прокламации «Мужичкам и всем простым людям работникам».

В опубликованной недавно заметке Огарева 1875 г. он писал: «Но я опять возвращаюсь к моему заветному вопросу: как нам дойти до слога, понятного вообще для простолюдина. Ведь, вероятно, вы уже усмотрели, что иначе нам в мире человеческом ни до чего добиться нельзя»... («Звенья», сб. 6, 1936, стр. 392—393).

Выше мы приводим попытки Огарева добиться «понятного вообще для простолюдина слога» в произведениях стихотворной формы. Еще более многочисленны такого рода попытки среди огаревской прозы — к ним можно отнести такие произведения его, как брошюра «Ход судеб» 1862 г., воззвание «Всему народу русскому, крестьянскому от людей ему преданных поклон и грамота» 1863 г., прокламации к солдатам того же года, многочисленные статьи в «Общем Вече» 1862—1864 гг., самое основание которого преследовало, по мысли Огарева, цели непосредственного обращения к народу, и т. д. Тем же, подражающим народной речи, языком написана и прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам». Но не только язык и стиль прокламации говорят за авторство Огарева — в ней есть ряд мыслей, близких к тем, которые высказывались им в публицистических и агитационных статьях, — исконная общность земли, отнятой у народа помещиками, царями и чиновниками, города, как опора установившегося несправедливого порядка, воля 19 февраля, как обман царем народа, воспоминание об усмирении Польши русскими войсками, происхождение царя и чиновников от немцев и др. (см. также примечания). Вместе с тем прокламация отражает новые, по сравнению с началом 1860-х гг., настроения Огарева 1869 г., уже отмеченные нами в стихотворении «Гой, ребята...»: она призывает к беспощадному, кровавому уничтожению притеснителей народа и включает мысли, которые мы считаем идущими от Бакунина, — и здесь мы находим идеализацию разбойничества и упоминание о Стеньке Разине[4]; бакунинским можно считать и призыв жечь города и уничтожать документы — «А для того надо нам, братцы, будет города их жечь. Да выжигать до тла. Да места выжженные вспахивать... Надо будет все бумаги огнем спалить...». С этим местом можно сопоставить отзыв о Бакунине в письме Герцена к М. К. Рейхель от 18 июня н. ст. 1869 г.: «Мастодонт Бакунин шумит и громит, зовет работников к уничтожению городов, документов, — ну, Атилла да и только» и фразу бакунинской прокламации «Начала революции»: «Итальянские мужики начали настоящую революцию; они жгут все бумаги, если овладеют городом».

Говоря о влиянии Бакунина, можно подразумевать большее. чем общее идейное влияние. В письме к Огареву от 29—31 июля н. ст. 1869 г. Герцен спрашивал его:

---

* В подлиннике: подвергнулся.

«Не могу ли я получить последнюю печатную затрещину, которую поправлял Бак[унин] в «языке»?» Ставя кавычки, Герцен давал понять, что поправки Бакунина шли дальше стилистических исправлений. Это письмо показывает, что Огарев в 1869 г. позволял Бакунину править свои, предназначавшиеся для печати, вещи, а это не могло не вносить в них элемента того, что Бакунин называл своей «дикой социалистической беспардонностью».

Террористические призывы прокламации поставили ее в ряд тех прокламаций 1869—1870 гг., которые вызывали особенно резкие нарекания на Нечаева и его последователей. Так, Алябьев, получивший эту прокламацию лично от Огарева, приводил в своей статье выдержку из нее, как раз заключавшую призыв жечь и уничтожать города, и писал по этому поводу: «Во всем этом немало напускной жестокости и юношеского задора, тем не менее невозможно относиться легко к этим шутам, играющим в революцию. Довольно сказать, что ими орудуют люди, действительно способные и на поджоги, и на убийство, о чем сами они без гордости объявляют печатно. Что же значат после этого возгласы наших публицистов известного закала о клеветах на «молодое поколение», раздающиеся всякий раз, когда в печати начнут высказываться подозрения в участии наших юродивых в пожарах, истреблявших несколько раз целые русские города и села?» Напомню и известную сцену пожара в «Бесах» Достоевского [5].

Как сообщалось выше, прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам» начала попадаться при перлюстрации заграничных писем с конца августа 1869 г., т. е. тогда, когда Нечаев уже выехал из Женевы в Россию. Есть прямое указание на то, что пересылкой прокламаций в Россию после отъезда Нечаева занимался Огарев. Бакунин писал из Локарно 16 ноября н. ст., сообщая о получении 2 конспиративных писем из России: «Признаюсь, что одного совсем не понял, понял только, что недовольны твоим пакованьем и просят приостановить посылку недели на 2. А из второго заключил, что N должна скоро приехать в Женеву» (Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, Женева, 1896). Последняя фраза имела в виду В. Александровскую, которая приехала с Нечаевым в Женеву специально за печатными изданиями и на обратном пути была арестована 11 января 1870 г. на границе с транспортом их. В нем, среди пачек прокламаций, была и прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам».

В настоящей публикации она воспроизводится впервые полностью, с печатного подлинника (2 стр. 24 × 17,5 см).

[1] Отрицательное отношение к городам входило в теорию «русского социализма» Огарева и не раз им высказывалось. Например, в агитационном письме «К верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви» («Общее Вече», № 1, от 15 июля 1862 г.) Огарев, говоря о захвате помещиками и царями земской земли, прибавляет: «...для поддержания этого устройства наделали города с присутственными местами».

[2] Как я уже указывала, ссылка на немецкое происхождение царей и чиновников — обычный агитационный прием Огарева и в прокламациях и статьях начала 1860-х гг. Здесь идет речь о Петре III. В другом случае Огарев ссылается на Екатерину II. «Уже и рюриковской крови и романовской крови ничего не осталось в императорах, выписанных для наследия престолом из-за моря... Так сто лет тому назад возведена была на престол по убиении Петра III — Екатерина вторая, ангальт-цербстская немецкая принцесса, в которой рюриковой и романовской крови и помину не было». — «Общее Вече», 15 октября 1862 г., № 4, анонимная статья «Тысячелетие России» (написанная, несомненно, Огаревым).

[3] Одно из мест, которое подтверждает авторство Огарева. И раньше, и позже он не раз говорил о наделении помещиков земельным паем наравне с крестьянами и о возможности постепенного слияния дворянства с народом. См., например, статьи «Ход судеб» и «Куда и откуда» в № 122—123 и 134 «Колокола» 1862 г. В 1874 г. Огарев писал Озерову: «Теперь и подумайте же о задачах русской общины. В чем ее задача? В разделении земли по тяглам или, лучше сказать, по числу душ. Будут ли они потом обрабатывать землю сообща или по-семейно? Оставим этот вопрос до будущих годов. А в чем же дело русской революции? В том, чтоб помещики также вошли в потягольный раздел земли и стали работниками наравне с мужиком. Если мы этого вопроса не определим, а станем только строить фразы, то ни до чего не дойдем» («Звенья», № 6, 1936 г., стр. 395—396). О том же в § 2—3 «Будущности» (см. ниже).

[4] Ср. с бакунинскими прокламациями 1869 г. «Несколько слов к молодым братьям в России» и «Постановка революционного вопроса».

[5] «Голос» 1870 г., № 154. Агент III Отделения Роман, живший в это время в Женеве и бывавший у Огарева, рассказывает в своем донесении, что Огарев был чрезвычайно рассержен статьей Алябьева, к которому, видимо, отнесся с доверием, и тотчас по получении номера «Голоса» поместил в «Journal de Genève» заметку о том, что «г. А. — агент III Отделения» (заметка приложена к донесению. См. цитированное дело II секретного архива).

4

Что же, братцы! Старое дело начинается съизнова. Долго ждали, теперь невтерпеж приходится, и нечего ждать. Слушай, что говорят по селам! А говору больше нет иного, как о земле да воле. Давно бы быть вам на воле, по своему дела вершить, землей делить. Стали нам поперек господа от малого до большого; царь пошел с ними, на генералов своих надеючись, а под генералами русское войско... Солдатушки, вы откуда, кто вы? Наш брат мужик. Что нарядили тебя в мундир, да приказу собачьей барабанной шкуры заставили слушаться, а ты все — наш брат; от нас ушел, к нам придешь. Хоть на тебе-то сукно и овечье, а сердце-то чай человечье, и собачьей шкуры не век же слушаться.

Обманывали вас, братцы, века вечные, обманывают и теперь, и ничего-то вы не знаете, что делается у вас же дома в России. Под неволей состоите, да подожди, не долго будем в неволе. Коли сами не возьмете, мы выручим. Когда начали по деревням да по селам говорить, что пришел час мужикам вольными быть, что вся земля наша, что деды и прадеды наши давно ее выкупили потом и кровью, — перепугался царь и ну подольщаться всячески: указы писать, волю обещать, землю сулить мужикам, а солдатам сроки сокращать, паек прибавлять... Теперь, думает, я их ублаготворил. В указах не разберут много, а солдаты мои благодарны будут. Господа пристали к царю: «Что ты, мол, делаешь! нас, дворян, твою, мол, подпору и слуг верных на мужичье меняешь!» А царь подсмеивается да говорит: «Нет, братцы, как же я вас, дворян, на мужиков переменяю, коли я сам первый дворянин!.. Пусть, говорит, попробуют, какова эта воля будет им; а за землю, говорит, выкупы положу, раззорю в конец поборами; а коли зашумят в одиночку, то расстреляю; у меня, говорит, солдатики благодарны, да и дисциплина в войске есть».

Плохо, братцы, царь с господами рассчитывают, перебить всей России нельзя, а коли раз обманул, подавай ответ. Пришло, братцы, время, весь народ знает, что обманул его царь с господами, обворовал и ограбил. Слушай, братцы, во все уши, гляди во все глаза и смекай, когда придет час расправы! Что вам? Ведь без вас кто будет усмирять народ, коли вы все не захотите против народа своего идти, останутся на бобах господа с царем. Ведь что тебе? — Останешься в войске — убьют, поведут тебя на войну, ты ведь обречен на смерть, знаешь ведь, а коли за одно станешь с народом, то кто тебя будет на войну посылать?

Скоро, скоро встанет вся земля русская, развяжутся рученьки скованные, выйдут на волю колодники-мученики. Выйдете и вы из живой тюрьмы — из фрунта! Скажут вам начальники-кровопийцы — «Пори штыками мужика, брата и отца своего, простреливай сердце его!» — Шалишь! не ваша воля больше. Не против мира, а с миром мы, знаем, что нам надобно... Не угодно ли господам начальникам самим без нас усмирить Россиюшку да пострелять мужиков-бунтовщиков, добро же, господа начальники, вы на том и стоите, чтобы, не работаючи, мужицкий хлеб есть, а нам вместе жить с мужиком и умереть вместе. Вам бы все командовать, а как к ответу — то вы сейчас на солдата: ну-ка, пулями разбойников, бунтовщиков... Братцы, в одиночку вам нельзя мысли свои показывать, друг на дружку не надеешься — смелости нет свою волю показать, страх в смерть над тобою... Ну и жди времени, сговаривайся с другим приятелем, да как дело подходящее выйдет, ты и приставай к мужицкой шайке, а где рота дружная, всей ротой отказывайся, да прежде командиров и наушников поподчивай. Все равно, братцы. и так, и так пропадать, уж коли придется пропадать, так со своими,

за своих, а не за собачью шкуру да по приказам начальников проданных, не за царя подменщика.

Ведь коли вас посылают на войну, говорят вам: — «за веру, царя и отечество» — ну и ты думаешь: верно народы чужие пришли наши порядки переменить. Ничего ты не знаешь; как овцу ведут тебя на убой. А дело-то вот как бывает: почти во всех землях плохо живется трудовому человеку и мужику; как только народ какой-нибудь начинает шевелиться да у правителей отчета требовать, сейчас цари и выдумают войну, набирают рекрут, народ обкрадывают поборами и посылают один народ драться с другим, — ведь бьют-то вас, а цари всегда целы, разве для виду приедет только на войну... Так вот и разумей. Теперь, братцы, обезверился царь, нету ему веры от народов нигде; значит осталось одно отечество, — а что отечество? — а там где отцы, и мать, и братья, свои люди. Так вот и послужите отечеству против вековечных грабителей дворян, попов и ихнего голову — царя, что продал народ наш, как Иуда, да еще и похваляется истребить всех бунтовщиков — мужиков, что воли своей и своей земли домогаются. Как ни вертись, а возьмет народ. Его сила, его воля, и его земля и всякие мирские порядки.

В транспорте нелегальных изданий, захваченном 11 января ст. ст. 1870 г. на границе у возвращавшейся из Женевы в Россию В. Александровской, была обнаружена пачка с надписью: «Военные, для солдат». В ней находились экземпляры прокламации «Что же, братцы!..», напечатанной в женевской типографии Чернецкого и до того неизвестной III Отделению. Очевидно, она была отпечатана незадолго до отъезда Александровской в Россию — в конце 1869 г. или в самые первые дни января 1870 г.

Как и в большинстве других случаев, у нас нет прямых указаний на автора прокламации «Что же, братцы!» Можно, однако, с уверенностью говорить об авторстве Огарева, видя в ней один из очень ярких образчиков того подражающего народной речи слога, к которому прибегал Огарев в своих агитационных произведениях, рассчитанных на широкое распространение.

Среди написанных Огаревым в начале 1860-х гг. воззваний были две прокламации к солдатам: «Братья-солдаты, одумайтесь — пока время...» и «Братья-солдаты! Ведут вас бить поляков...», с призывом не итти против поляков и народа, а помочь народу добыть землю и волю. Именно, близкими для Огарева воспоминаниями об этих прокламациях и о пропаганде среди солдат начала 1860-х гг., затем затихшей, нужно объяснять первую фразу прокламации «Что же, братцы! Старое дело начинается съизнова. Долго ждали...». Очень характерны для Огарева и такие черты, как постоянное повторение излюбленного лозунга Огарева — «земля и воля», противопоставление «мира», «мирских порядков» казенному начальству, мотив «обмана» царем и господами-помещиками народа, призыв к поголовному отказу итти против народа и, наконец, язык прокламации, подражающий солдатскому говору.

Среди других прокламаций и брошюр 1869—1870 гг. прокламация «Что же, братцы!» примыкает к листовке Огарева «Размышления русского унтер-офицера перед походом», к его же брошюре «В память людям 14 декабря 1825 г.» и к брошюре Бакунина «К офицерам русской армии», как имевшим целью пропаганду в войсках, которая, впрочем, за слабостью нечаевского кружка, реально не осуществлялась.

Прокламация «Что же, братцы» была описана в справочнике «Русская подпольная и зарубежная печать», т. I, вып. 1, М. 1935. Здесь она воспроизводится впервые, с печатного подлинника (2 стр. 14,5 × 9 см).

5—6

К РУССКОМУ МЕЩАНСТВУ

Братья мещане, мужички городские! что это за жизнь ваша после всех правительственных перемен? Скажите по совести — лучше стало или хуже? Или это все такая же мерзость, как была прежде? Меньше с вас берут поборов или больше? пожалуй, что и больше. Особые вышли земские собрания. Вам туда платить подати [1] — а за что? этого вы сами не знаете. Стало, платить-то выходит больше, а рекрутчина все та же [2]. Да еще хуже. Всякую семью обирают в рекрутчину.

Что же вам тут-то нравится? Надо просто кулаки поднять да и свергнуть все это правительство.

Вот государственным крестьянам, в некоторых уездах, начинают делать льготы насчет рекрутчины; а какие? Три года льготы, а потом недоимки пополнить и взять с 1000 одного человека, потом 4 (например, в Холмском уезде) [3].

Неужели солдаты будут стрелять в вас? Они такие же мещане, мужички городские, как и вы.

Встрепенитесь, да и только, и увидите, что и солдаты-то с вами вместе пойдут; они ведь не полицейские. А вы-то с ними вместе захватите все огородные земли да сплотитесь в один строй.

Иначе вас все раздавят — и купечество, и дворяне, и всякое чиновничество, и полиция. Если уже вам с кем сойтись надо — так это с деревенскими мужичками, там вам будет подмога.

Да помните хорошенько 19 февраля 1870 года

Дума всех вольных мещан

К РУССКОМУ КУПЕЧЕСТВУ

Русские купцы еще верят в императорский тариф и покровительство. Насколько помогает им именно этот тариф? — это еще вопрос, а где же это покровительство [5]?

Вместо того, чтобы купечество могло быть силой — оно становится рабом всякого чиновника, всякого городского головы, всякого старшины, словом, всякого взяточника и грабителя, и всех гласных дворян, которые все-таки сами по себе остаются безгласными [6].

Быть — не то что в зависимости от своих гласных, а распоряжаться их действиями — тогда купечество было бы сила; а быть в зависимости от своего рода рабов — это лишает всякой силы, это подлость и разорение.

Не правительственное покровительство соединит вас в силу; народ создаст из вас силу.

Помогайте народу, господа купцы, иначе вы останетесь ничем, да еще и рухнетесь. Нельзя же работать банкрутства ради.

Встрепенитесь, купечество! Ведь ты — не было бы ты прижато — ведь ты сила русская.

Люди, обращающиеся к вам и искренно желающие вам добра, просят распространять это послание, переписывать и рассылать во все места, чтобы все русское купечество подняло голову, униженно склоненную перед чиновничеством и барством, проживающим на ворованные у вас деньги.

Контора компании вольных русских купцов

Москва. 1870.

Два небольших листка — «К русскому мещанству» и «К русскому купечеству» — отпечатанные в женевской типографии Чернецкого, появились, повидимому, одновременно. Их напечатание надо относить к первым месяцам вторичной поездки Нечаева за границу, точнее — ко времени между 11 января и 19 февраля ст. ст. 1870 г. Первая дата устанавливается отсутствием этих прокламаций в транспорте, который был взят у В. Александровской 11 января 1870 г. и включал все напечатанные до того прокламации, вторая — заключительной фразой листка к мещанству: «Да помните хорошенько 19 февраля 1870 г.».

И русские исследователи, и Неттлау считают оба листка написанными Нечаевым, чему не противоречит их стиль — отрывочный, местами неловкий и сильно отличающийся от тех «народных» прокламаций, которые мы считаем написанными Огаревым. Призывавшие купцов и мещан к свержению правительства от лица совершенно мифических «Конторы компании вольных русских купцов» и «Думы всех вольных

мещан», листки отвечали замыслу вызвать волнение во всех слоях населения России, которое могло бы способствовать намеченному Нечаевым на весну 1870 г. восстанию.

Пропаганда среди купечества и мещанства входила в планы Нечаева и в период его пребывания в России — среди членов основного кружка общества «Народной расправы» она была поручена Кузнецову, который на следствии показал, что получил специальное распоряжение на бланке «Комитета», назначавшее ему купеческую и мещанскую среду.

По своей цели и по своему резко выраженному мистификаторскому характеру листки к купечеству и мещанству аналогичны тем двум прокламациям к дворянству, которые были напечатаны: первая — в 1869 г. от имени «Революционного дворянского комитета» в Брюсселе, вторая — в начале 1870 г. от «Партии независимого русского дворянства» и которые мы считаем написанными Бакуниным [7].

Сведений о том, что листки «К русскому купечеству» и «К русскому мещанству» тем или иным путем проникли в Россию, нет. Второй из них был напечатан Неттлау в его мало доступной литографированной биографии Бакунина (прим. 4009), первый же совсем не перепечатывался. Здесь оба листка воспроизводятся с печатных подлинников.

[1] Земское положение 1-го января 1864 г. давало земским учреждениям право облагать плательщиков новыми налогами, которые и были основным источником земских средств.

[2] После огромных рекрутских наборов времени Крымской войны, с 1856 по 1863 г. рекрутских наборов не производилось; польское восстание вызвало два усиленных набора 1863 г. В дальнейшем, до введения всеобщей воинской повинности в 1874 г., рекрутские наборы производились ежегодно, в 1864—1865 гг. по пять человек с тысячи душ, в 1866—1870 гг. по 4 и в 1871—1874 гг. по 6.

[3] По указу 5 декабря 1869 г. государственные крестьяне Холмского уезда были освобождены от исполнения рекрутской повинности с 1870 г. на 3 года, с тем, чтобы недоимка была пополнена при последующих за истечением трех лет наборах поставкою при каждом одного лишнего рекрута с тысячи душ сверх положенного количества.

[4] 19 февраля 1870 г. кончался установленный положением 19 февраля 1861 г. девятилетний срок, в течение которого крестьяне обязаны были, без права отказа, удерживать отведенную им землю и нести установленные в пользу помещика повинности. С 19 февраля 1870 г. они могли или отказаться от земли, или продолжать пользоваться ею за установленные повинности. В связи с этим Нечаев и его последователи считали весну 1870 г. временем, благоприятным для возбуждения всеобщего крестьянского восстания. «Комитет», от имени которого Нечаев действовал в России, был назван им «Комитетом народной расправы 19 февраля 1870 г.».

[5] В первой половине XIX в. таможенные тарифы носили строго охранительный характер, поощрявший русскую промышленность, который был смягчен при пересмотре тарифов в 1857 и 1867 гг.

[6] Прокламация написана еще до проведения городской реформы по положению 16 июня 1870 г., т. е. тогда, когда в основном действовали городские учреждения, введенные еще при Екатерине II.

[7] Эти прокламации не печатаются здесь, т. к. они уже воспроизводились. Самая идея «дворянских» прокламаций могла быть подсказана полемикой между органом крепостников «Вестью» и Катковым, намекавшим на страницах своих «Ведомостей» на существование особой дворянской партии, действия которой опасны для правительства и общества.

7

СЕЛЬСКОМУ ДУХОВЕНСТВУ

Царь Александр II-й с самого вступления на престол не перестает делать реформы. Ждали от них много добра народу русскому — да обманулись! Прежде всего царь с дворянами-чиновниками задумали дать волю крепостным крестьянам. Мужики ждали этой воли с трепетом и с величайшим терпением. Чего-же дождались они? Обмана, ответим им. Да! царь обманул народ, вместо воли чиновники его сочинили новую неволю, а он утвердил ее своей подписью [1]. Где рука, там и голова, — говорит пословица, головой своей поплатиться должен царь за то, что обманул народ, и поплатится, когда настанет час народного освобождения. Все другие реформы вышли из реформы крестьянской; прямо можно сказать, что и они тоже никуда не годятся, ибо из обмана только и может выйти обман. Чиновники обворовали казну до самого

не́льзя: народ обдирали, а деньги до казны не доходили. Вот и учредил царь Земства по губерниям. — «Ведайте, говорит, делами земскими сами». А как ими ведать, коли к каждому делу приставлена стая чиновников? До народа же царю дела нет; народ хоть пропадай, лишь бы денег для царских потех в казне было много. Да неужели же царь и в самом деле хотел ввести народное самоуправление! Он думал, что Земства лучше станут собирать подати, только для этого и завел их, а вовсе не для того, чтоб крестьянству льготу дать [2]. Опять обман! Так и все царские реформы, всякое царское слово только ложь да обман! Посмотрите на все царские указы, все они ведут к тому, чтоб больше стеснить народ крестьянский, больше и больше отнять у него тяжким трудом заработанных денег. А вы, сельские духовные пастыри, еще молились за этого грабителя-царя да еще внушали мужику, что он «помазанник божий». Ну неужели и в самом деле бог создал мужика на царское поядение да на чиновничье поругание? Ведь бог этот был бы хуже самого сатаны. Вы, сельские пастыри, люди грамотные, понимаете, стало быть, что это дело невозможное, что царя, который грабит народ и ругается над народом, нельзя называть помазанником божиим. Все цари, сколько их ни-есть на свете, все они захватили себе власть силою да грабежом; воры они, а не помазанники божии. Вот вы, сельские пастыри, молились за грабителя-царя, да и народ крестьянский вводили в заблуждение, чего же вы дождались за это? Вы думали, что царь будет вас за это уважать и почитать, думали, что царь улучшит ваше горькое бедственное положение. Ошиблись же вы. Царь и вас стеснил, и вас сдавил точно так же, как теснит и давит мужика.

Дал царь крепостному мужику сипацию [3], оценили землю мужика втридорога, царь подписал эту оценку и, значит, помог барину надуть мужика. Вы, сельские пастыри, и тут не опомнились, все царя за «помазанника божия» выдавали. Вот вас царь за это и взыскал своей царской милостью, он и вас, и детей ваших пустил по миру, вот вам и награда за то, что, исполняя нахальную волю царя-грабителя, вы вводили народ в заблуждение. Опомнитесь же и одумайтесь!

Зачем это царь вмешался в дела церковные, зачем и в церкви затеял реформы свои? А все из корысти ненасытной, все для того, чтоб казне его больше денег оставалось. На содержание сельских священников, хоть им подчас нечего было есть, денег все-таки в сумме выходило много, так нельзя ли поубавить расход.. Вот для того, чтоб убавить расход, царь и велел уничтожить мелкие приходы; священников сельских будет меньше, денег на них будет выходить меньше, останутся эти деньги в царских руках, на царскую развратную потеху да на солдатчину. Что же это делает царь! Ведь он же велит мужику богу молиться, пуще всего за его царское здравие, а сам же приходы мелкие уничтожил. Ведь это для мужика стеснение. За царское здравие мужик, конечно, может и не молиться; ну, а как же он требы будет справлять, как крестить младенца, коли его за 50 верст тащить надо и в мороз трескучий, и во всякую непогоду? Как добыть попа, чтоб исповедаться умирающему? Об этом царь не подумал; детки крестьянские будут умирать от простуды — шутка ли в самом деле тащить ребенка за 50 верст! Но царю до них дела нет; он жаден на деньги и из-за этой проклятой жадности ничего не видит, да и видеть не хочет. Вот кого вы называли «помазанником божиим». Нет! кабы это дело так, то царь не стал бы стеснять крестьянина в исполнении треб да и вас не обидел бы. Показалось царю, что на семинарии губернские много выходит денег, вот и велел он число воспитанников убавить вдвое [4]. Где же будут учиться ваши дети? В семинариях учат плохо, забивают головы детей ваших латынью да еврейщиной, ни к чему непригодными; живой науки, кото-

рая человека разумным делает, в семинарии не найдешь, отцы-ректоры секут детей, рвут им вихры и всячески истязают да оскорбляют их, — это все верно [5]; но все же хоть грамоте научат, и для ваших детей при бедственном вашем положении семинария была единственным приютом. Царь и этого вас лишил, ну какой же он «помазанник божий», сами вы рассудите.

Вы видите, что для царя-грабителя ничего не свято. Ни труд народа, ни воля его, ни даже самая вера. Царь гнетет мужика, давит его поборами, дает своим чиновникам обдирать его, да при этом стесняет его даже в деле совести человеческой, до которой никому нет дела. Вот к чему привела реформа церковная. Царь лучше бы уничтожил синод тунеядствующий, лучше закрыл бы консистории губернские [6], где архиерей велит грабить вас, чтоб было ему на что есть жирных стерлядей да телят. Нет! царь не уничтожит эти вертепы разбойничьи; ему они нужны, ими он и сам держится. Синод и консистории с архиереями и всякими протоиереями, точно так же, как и сенат и губернские правления с губернаторами и всей их чиновной сволочью уничтожить может только сам народ. Невтерпеж стало мужику от всяческого помещичьего, чиновничьего и царского грабежа да нахальства. Встанет народ грозной силою, понесутся скоро по всей русской земле ратники народные, которых грабитель-царь назовет опять ворами, разбойниками, раздастся по лесам их богатырский посвист и молодецкий полет; восстанет крестьянство поголовно и повытурит железные носы помещичьи и пожжет их гнезда проклятые, заплатит и царь головой своей за все обманы и оскорбления. И помните, что анафему произносить вы должны над царем-грабителем, а не над народными ратниками, поборниками воли крестьянской. Войдите в народ, вам это нетрудно; вы и теперь живете его жизнью, зачастую пашете и бороните [7], к труду стало быть вы люди привычные. Труд — дело святое, он-то и спасет вас от гибели, на которую обречены тунеядцы-помещики, а с ними и чиновники, и царь. Вникните и поймете их народные требования, и встаньте вместе с народом. Вера и церковь будут тогда свободны от всяких указов. Совесть будет свободна, всякий будет верить и молиться, как ему укажет совесть, и вы будете свободными совершителями духовных треб свободного русского крестьянства. Опомнитесь же теперь! После будет поздно, и вы подвергнетесь архиерейской и помещичьей участи. Готовьтесь к восстанию, помогайте крестьянству. Ваше дело общее!

Возьмет народ волю и всю землю — и вы будете обеспечены наравне со всяким крестьянином. Прислушивайтесь же, сельские пастыри, к гласу народному, всякий человек, который будет не заодно с народом отстаивать его волю, погибнет помещичьей смертью.

Содействуйте распространению сего искреннего послания, духовные пастыри, читайте его мужичкам вместе с проповедью.

От истинных пастырей.

Напечатанная в женевской типографии Чернецкого прокламация «Сельскому духовенству» была зарегистрирована III Отделением в начале апреля ст. ст. 1870 г.: 3 апреля она была получена в письме из-за границы священником родного Нечаеву села Иванова (Иваново-Вознесенска) Альбицким, который и представил ее по начальству. Выпущена она была во всяком случае после 11 января 1870 г., так как не значится в числе захваченных у В. Александровской прокламаций.

Воззвание к «Сельскому духовенству» надо поставить в связь с теми прокламациями 1869—1870 гг., которые имели целью вызвать восстание среди разных слоев населения (прокламации к дворянам, купечеству, мещанству, к крестьянам, солдатам и офицерам). Обращение к сельскому духовенству, как стоящему близко к крестьянству, было естественным [8]. Ближайшим же поводом к составлению такой прокламации могли быть две передовые статьи Каткова в №№ 2 и 12 «Московских Ведомостей» за 1870 г. Говоря в первой статье о реформах истекшего 1869 г., Катков остановился

и на использованном в прокламации указе 16 апреля 1869 г. об уничтожении мелких приходов и сокращении причтов, упомянув, что «в духовенстве эта мера встречена не без опасений», которые он объяснял «недоверием к собственной среде, на которую главнейшим образом возложено» исполнение указа. Во второй статье, посвященной целиком указу 16 апреля, Катков говорил, что «какие-то темные страхи, напущенные по поводу этих указов на наше духовенство, все еше упорно держатся».

Подробным анализом содержания и стиля прокламации «Сельскому духовенству» вопрос об авторе ее опять-таки решается в пользу авторства Огарева.

Среди агитационных произведений Огарева начала 1860-х гг. было и воззвание к духовенству — статья «Что надо делать духовенству» в № 5 «Общего Веча» за 1862 г., которая содержит ряд мыслей близких прокламации 1870 г. (см. примечания). Типичны для Огарева повторяющийся и здесь лозунг «земля и воля» и язык прокламации, упрощенный и пользующийся взятыми из русского фольклора выражениями («железные носы помещичьи», «богатырский свист и молодецкий полет»). Но в то время, как написанная в 1862 г. статья призывает духовенство, в случаях расправы войск с народом, выходить впереди народа с дарами и крестом, чтобы избегнуть кровопролития, прокламация 1870 г. предлагает сельскому духовенству совсем иной путь — участие в близком крестьянском восстании.

Прокламация «Сельскому духовенству» не только не была до настоящего времени изучена, но и не упоминалась исследователями [9]. В настоящей публикации она воспроизводится с печатного подлинника (2 стр. 18×15 см).

[1] «Когда вышли «Положения», мы сказали, что народ царем обманут... писали его [«Положение»] в Петербурге дворяне-чиновники, а обсуждали его в государственном совете дворяне-чиновники. Царь его не написал, а только подписал» — из статьи «Заговор людей власть имущих против народа» в «Общем Вече» от 1 сентября 1862 г., № 3, написанной несомненно Огаревым.

[2] Именно такую характеристику земским учреждениям, тогда еще проектировавшимся, давал Огарев в своей статье «Губернские и уездные думы», напечатанной в «Общем Вече», № 5 от 22 октября 1862 г.

[3] т. е. эмансипацию.

[4] Нормальные штаты учеников семинарий, введенные семинарским уставом 14 мая 1867 г., определяли общее число учеников в 13 205 человек, между тем как в 1866 г. их было 16 440; но штаты не носили безусловного характера и допускали в ряде случаев увеличение числа воспитанников не свыше 50—55 в классе; если число поступающих превышало эту норму, духовенству предлагалось ходатайствовать об открытии параллельных классов на свои средства. Введение штатов вызвало беспокойство среди рядового духовенства, и часть высшего духовенства резко осуждала эту меру.

[5] Ср. с характеристикой семинарской науки в статье Огарева, Что надо делать духовенству — «Общее Вече», № 5, 22 октября 1862 г.

[6] О Синоде и консисториях см. в той же статье.

[7] «Сельское духовенство должно понять, что его жизнь и его судьба нераздельны от судьбы народа» писал Огарев в той же статье, напоминая, что сельские священники часто являются и земледельцами.

[8] Среди женевских изданий 1869—1870 гг. было еще одно, обращенное к духовенству, — листок «Встреча». Этого листка нам найти не удалось.

[9] Впервые она была описана в справочнике «Русская подпольная и зарубежная печать», т. I, вып. 1, Москва, 1935 г.

8

БУДУЩНОСТЬ

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ А. ГЕРЦЕНА) [1]

«Мы памятник иной тебе поставим. —
Движение народной русской воли!» [2]

Первый лист «Колокола» 1857 года начался программой:

«Освобождение слова — от цензуры!

Освобождение крестьян — от помещиков!

Освобождение податного состояния — от побоев!» [3]

В том же году Александр II, в речи к московскому дворянству, говорил: «Господа, лучше чтоб эти перемены сделались сверху, нежели снизу» [4].

Прошло с тех пор 13 лет.

Много совершилось печального. Перемены сверху оказались ложью; остается только делать перемену снизу.

Главный деятель «Колокола» — Александр Иванович Герцен — сошел в могилу. Я не стану говорить, насколько велика эта потеря. Для этого я посвящу особые статьи [5]. Здесь я скажу только, что русское слово лишилось своего лучшего деятеля. А продолжать его работу я считаю нашей обязанностью.

Теперь главный вопрос в том — какая может быть постановка нашей работы? Ее я и хочу определить.

Русские перемены сверху — оказались такими же ничтожными, как и всякие другие перемены сверху. Перемену или, лучше сказать, — переворот, может сделать только тот, кто его в самом деле хочет, кому он в самом деле составляет потребность, т. е. народ, большинство, масса. Иначе — это всегда выйдет обман. Что подразумевал Александр II под словом — «эти перемены?» — Это были только маленькие надувательства для народа, которые даже не могли удовлетворить и помещиков. Раззорилось все. Увеличились в невероятном объеме — только подушные подати. Их взвалили на все, что возможно. Стало, мужик, — равно помещичий и казенный — ждет еще раз своего освобождения. Но его он может достигнуть уже только снизу. Он же стоит за свое общинное (социальное) владение, между тем как чиновничеству, помещичеству и, вообще, императорству — его хотелось бы разрушить. Это очевидно изо всех правительственных распоряжений и из всех буржуазно-политических газет.

Что же мы поставим во главе нашего начинания?

Мы можем поставить только следующие вопросы:

1) Народ требует земли и воли. Взять он может всю свою землю и всю свою волю — только сам, то есть снизу, а не сверху. Верх — обманщик. Верх — помещик, верх — чиновник, верх — царь. Тот самый царь, который нашего друга — мужика Мартьянова — уморил на каторге за его страшную ошибку, за веру в земского царя [6]. Свою землю и волю отстоять можно только самому народу, то-есть — снизу. А там посмотрим, что будет. Конечно, уже хуже не будет.

2) Вся земля русская — земля народная, земля мужицкая, земля общинная, земля тех, кто на ней работает. А людей, которые живут на чужой труд, — нам не нужно; их надо долой. А не хотят идти вон — пусть сами идут в крестьянскую общину и возделывают такой же поземельный участок, как и все крестьяне.

3) Также и фабричная работа должна быть общинная (артельная). Работай, кто сможет, и получай свой удел. А хозяева пусть сами поступают в рабочие или идут вон.

4) Чиновников нам не надо; старшин, назначаемых правительством, нам не надо; правительства царского или какого иного нам не надо. Управлять могут только выборные народом люди.

5) Судить могут тоже только выборные народом люди.

6) Будет ли Россия сплочена в одно государство или разделена на области, на уделы — это для нас равнодушно. Мы даже лучше хотим, чтоб она разделилась на области, из которых каждая вольна управляться как знает, лишь бы не было царя — императора, а только выборное управление снизу.

7) Рекрутства не надо, а только в случае неизбежной войны — ополченцы. Народ лучше сумеет отстоять свою самостоятельность, чем всякие Суворовы, которые все же войско гнули в полицейский склад.

Мы от выше сказанных правил не отстанем. Примыкайте, кто хочет, и сплотимтесь дружно! [7] Еще раз повторяем воззвание Герцена, что мы зовем живых: vivos voco! [8]

Н. Огарев

Листок Огарева «Будущность», посвященный памяти Герцена, вышел в первой половине апреля н. ст. 1870 г.: он упомянут, как печатающийся, в № 2 «Колокола» от 2 апреля и помещен в списке продающихся в бюро редакции «Колокола» изданий, опубликованном в № 3 от 16 апреля.

Этот небольшой листок очень интересен, так как он дает в сжатой форме политическую и социальную программу Огарева начала 1870-х гг.

В своей положительной части она показывает, что Огарев остался верен взглядам, которые он высказывал в начале 1860-х годов. Земля и воля, общинное землевладение и артельная работа, самоуправление, выборный суд, автономия областей, народное ополчение — все это пункты, которые мы находим и в более ранних программных статьях Огарева. Но пункт первый дает существенно новое и отражает эволюцию, проделанную Огаревым за десятилетие, — вместо надежд на возможность правительственных реформ здесь высказывается убеждение в том, что переворот может быть совершен только снизу, т. е. народом, массой. О своем освобождении от прежних иллюзий, разделявшихся и Герценом, Огарев писал также в статье «Памяти Герцена», напечатанной в № 3 «Колокола» от 16 апреля 1870 г.: «Характерной чертой нашего «Колокола» были некоторые надежды на правительство. Вообще, развитие человека идет тугим путем опыта и только через него приходит к пониманию действительной правды. Нынешнее царствование и доказало нам путем опыта, что царская власть не может дать действительного освобождения, что это освобождение всегда оказывается ложью и что самый испуг перед своими затеянными реформами неминуемо ведет правительство к самым постыдным реакциям».

В «Будущности» Огарев не пояснил, как он представляет себе осуществление «переворота снизу». Сопоставление ряда помещенных выше прокламаций, которые мы считаем огаревскими, с его же статьей «Сплотимтесь дружно» в № 6 «Колокола» от 9 мая 1870 г. показывает, что в 1869—1870 гг. Огарев верил в близкое народное восстание, которое должно произойти под руководством тайного революционного общества.

Листок «Будущность» воспроизводится впервые, с печатного подлинника (2 стр. 16×9 см).

[1] Герцен умер в Париже 21 января н. ст. 1870 г.

[2] Эти две строки находим в одной из записных книжек Огарева (№ 37, л. 3, Рукописный отдел Всесоюзной библиотеки им. Ленина). Повидимому, ими Огарев начал стихотворение памяти Герцена, оставшееся незаконченным.

[3] Выдержка из программной статьи Герцена в № 1 «Колокола» от 1 июля 1857 г.

[4] Известная речь Александра II к предводителям дворянства Московской губ. была произнесена не в 1857 г., а 30 марта 1856 г. В ней Александр II сказал: «Сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда оно само собою начнет отменяться снизу».

[5] Могу указать только небольшую статью «Памяти Герцена», напечатанную в № 3 «Колокола» за 1870 г.

[6] Петр Алексеевич Мартьянов — крепостной А. Д. Гурьева, выкупившийся на волю и познакомившийся с Герценом в 1861 г. в Лондоне, поместил в № 132 «Колокола» от 1 мая 1862 г. «Письмо к Александру II» и в том же году напечатал в «Вольной русской типографии» книгу — «Народ и государство», где развивал идею «народной монархии». В 1863 г. при возвращении в Россию он был арестован на границе, заключен в Алексеевский равелин и приговорен Сенатом к 5 годам каторжных работ с поселением затем в Сибири навсегда. Отправленный из крепости 7 декабря 1863 г. в Сибирь, Мартьянов умер 20 сентября 1865 г. в Иркутской тюремной больнице.

[7] В № 6 «Колокола» за 1870 г. Огарев поместил статью под названием «Сплотимтесь дружно!», где говорил о полезности и необходимости тайного общества для организации общественного переворота и о том, что центр такого общества уже существует в России.

[8] «Призываю живых» — начальные слова надписи на колоколе, взятой эпиграфом к шиллеровской «Песне о колоколе». Этим призывом Герцен окончил свою передовую статью в № 1 «Колокола», а затем он помещался в качестве подзаголовка на каждом номере журнала.

9

ОТ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ЖЕНЩИНАМ

История юридического развития человеческих обществ поставила вас повсюду в положение безусловной подчиненности мужчине. Создавая законы гражданские, имея в виду только свои интересы, мужчина

отвел вам около себя место наложницы и кухарки. Поставленные вне всех сфер общественных, которые дают хоть малейшую возможность развития человеческого, вы сами по себе ничто и получаете значение только тогда, когда церковь и X т. Св. законов припрягут вас к мужчине. Никакой усиленный труд, никакая самостоятельная деятельность не выводят вас из под этой унизительной подчиненности. Все законы написаны в таком духе, что самая талантливейшая из вас поставлена ниже самого глупого мужчины. Вас учат танцевать и вышивать по канве; вас учат уметь льстить и угождать папеньке, дяденьке, мужу и, особенно, жениху; вас учат хитрить, обманывать и нравиться — вас развращают и извращают с самого детства, вот и вся программа вашего образования, вот все знания, которые вы приносите с собой в жизнь. Зная, что вы ничего не знаете, пока вас не пристегнут к мужчине, вы лезете из кожи вон, чтоб кому-нибудь понравиться; вы ищете жениха богатенького, так уж вам с детства и няньки, и гувернантки, и маменьки приказывают. Любовь и привязанность, истинное влечение и правдивая страсть редкость между вами, как и вообще между людьми. Вы лжете, давая клятву жениху, лжете под венцом, лжете потом и целую жизнь. Отношения, основанные на лжи, рано или поздно разрываются, вы ищете выхода из них, ищите удовлетворения. Если, выйдя замуж, вам случится полюбить другого — тогда вас проклинают и закон гражданский, написанный фрачниками, и церковь, управляемая рясниками; общество гонит вас, и гонения эти вы навлекаете на себя именно тогда, когда вы решитесь, может быть, не солгать. Мужчины, судящие вас, начиная с самого развратника Александра II, только о том и помышляют, как бы побольше завести наложниц. Вот место, отведенное вам законодателями в гражданском обществе. Из институтов и пансионов вы выходите совершенными невеждами, вы не имеете даже тех жалких сведений, которые выносят мужчины из царских школ. Становясь матерями, вы приносите страшный вред людям — вы портите детей, потому что не имеете никакого понятия ни об уходе за ними, ни о воспитании; причина тому лежит в вашем невежестве, вам ни слова не говорят об этих предметах, считая их вздорными. От обмана вы ни на шаг не отходите: при людях вы любите мужа и ласкаете детей, а за глаза вы ненавидите мужа и равнодушны к детям. Вы занимаетесь только своей внешностью, своими тряпками, потому что, выйдя замуж, вы не перестаете желать нравиться и щеголяете друг перед другом своими любовниками. Так идет жизнь ваша, если вы принадлежите к привилегированному классу общества. Ну, а бедные что делают? Они умирают от голода и холода с иглой в руках или попадают сначала к какому-нибудь подлецу кавалергарду или другому императорскому опричнику, потом идут, все спускаясь и спускаясь, по мере утраты свежести, пока не попадут, наконец, в публичный дом, где их доконает отчаянный разгул и полиция. Проклятия сыплются на них со всех сторон, редко кто не оттолкнет их от себя с презрением. Совсем другое в аристократическом мире, там вы добиваетесь как бы попасть в наложницы к императору или великому князю, к Шувалову [1] или другому временщику-мерзавцу. Тогда вы становитесь сильными мира, грабительницами и притеснительницами; в этом случае вас не клянут, а, напротив, раболепствуют перед вами. Есть между вами скромные и добрые, любящие и честные, как говорят, обыкновенно, в обществе; но и их участь горькая. Они век свой моют и полощут, варят и жарят на своих мужей-повелителей; они любят детей своих искренно, но, тем не менее, портят их вследствие невежества, которым наделили их и родители, и школа. Вот как вы существуете из рода в род, из поколения в поколение. Сами подумайте и скажите, можно ли назвать такое существование человеческим?

Многие из вас давно уже серьезно задались этим вопросом и ищут себе выхода из общественной и семейной тесноты. Их прозвали нигилистками и стали гнать. За что же? За то, что они отделились от лагеря тунеядствующих эксплуататоров и жадно бросились на науку и труд. Они правы: только трудящийся человек может представлять собой единицу в человеческом обществе и в силу этого требовать себе человеческих прав. В этом отношении между мужчиной и женщиной нет разницы; тунеяды обоих полов обречены на бесправие и на погибель, право на жизнь имеют только работники и работницы. Оставаясь исключительно дочерью или наложницей, женщина не может требовать так называемой эмансипации — такое требование нелепость. Нигилистки наши поняли это и принялись за труд. Заводя ассоциации, они думали достигнуть возможности жить своим трудом и в силу этого стать независимыми от мужчины. Правительство начало их гнать и преследовать — ассоциации не удались[2]; развратный Александр II причислил к публичным женщинам всех тех, которые хотели перестать жить на счет крестьянского труда и велел им выдать желтые билеты[3]. — Итак: учиться вам не позволяют и своим трудом ассоциационным жить не дают. Не возмущайтесь, иначе и быть не может. Как же вы хотите, чтоб эксплуататоры ваши сами дали вам в руки средства освободиться от них? Не ждите от них такой наивности и знайте вперед, что всякая попытка ваша стать на ассоциационный труд будет подавлена ими. Где же искать вам выхода? Ищите его в социальной революции. Только после такой революции, которая уничтожит всякое эксплуататорство, настанет для вас возможность человеческого существования. Ваше дело неразрывно связано с общим делом всего притесненного работающего народа. Разрушайте вместе с ним помещичью империю; разрушайте ее со всем навязанным народу законодательством. Тогда только откроется свободное поле ассоциационному женскому труду, тогда только вы сделаетесь производительными единицами в обществе, тогда только ваши права уравня[ю]тся с правами мужчин. Только уничтожив частную собственность, можем мы уничтожить семью юридическую. Жить вне религии и вне брака народ не помешает никому — много есть всяких сект между ним, есть и безбрачники[4], к которым он относится с полной терпимостью. Нетерпимость и преследование всех проявлений воли идут от царя, помещиков и всяких других эксплуататоров. Народ уничтожит и царя, и помещиков, и всех эксплуататоров, потому что они народу жить не дают. Вся земля, все фабрики и заводы, все мастерские, все орудия труда, все пути сообщения, телеграфы, и пр. и пр. будут принадлежать артелям работников и равноправных с ними работниц. Эти производительные артели устроятся сообразно с географическими и этнографическими условиями каждой местности и все свяжутся между собой федеративной солидарностью.

Вот цель, вот программа великой народной революции. Час народного освобождения близок! Горе и нужда, притеснения и лишения, в которых живет народ, дошли до крайних пределов. Он восстанет и сотрет с лица земли всех своих притеснителей. Но для того, чтоб был успех на стороне революции, нужно организовать наши силы. Приставайте и вы к организации; внесите в нее вашу силу.

Особенности вашей природы, отличающие вас черты характера и ума пополнят нашу деятельность, она сделается тогда всестороннею. Идите же вместе с нами в народ. Ваши интересы тесно связаны с его интересами. Вы не раз уже доказали и свою преданность делу народного освобождения; и свою смелость и свою стойкость. Мы зовем вас

на общую революционную работу и встретимся с вами, как равные с равными. — Гибель тунеядцам и да здравствует артельный труд!

Печатное воззвание «От русского революционного общества к женщинам» было зарегистрировано впервые в III Отделении при перлюстрации 20 апреля 1870 г. Это была, повидимому, одна из последних прокламаций 1870 г., напечатанных в женевской типографии Чернецкого. Неттлау знает ее и причисляет к написанным самим Нечаевым, ссылаясь в подтверждение на слова эмигранта Н. Жуковского. В русской литературе было высказано предположение, что воззвание к женщинам могло быть переработкой одной из набросанных Прыжовым прокламаций. И то, и другое мнение об авторе прокламации представляется мне ошибочным.

В показании от 26 февраля 1870 г. Прыжов говорил, что как-то набросал Нечаеву на клочке бумаги «три яко бы прокламации—к вольным девкам, к школьникам [в стенографическом отчете о процессе нечаевцев — «к вольным женщинам и к чиновникам»] и к Малороссии»[5]. Мысль написать прокламацию «к вольным женщинам» была очевидно связана с попытками пропаганды в низах общества и теми, мало удачными, экскурсиями на Хитров рынок, которые совершали члены прыжовского кружка, Енкуватов и Рипман. Но вряд ли набросанный Прыжовым в России в сентябре или октябре 1869 г. проект прокламации, к тому же совсем иной по замыслу, мог войти в прокламацию, напечатанную много месяцев спустя в Женеве. Авторство Нечаева исключается литературными достоинствами прокламации — известные нам образцы прокламаций Нечаева написаны не просто, напыщенно, местами неуклюже[6].

С прокламациями Бакунина и Огарева этого периода воззвание к женщинам также не имеет сходства. Содержание воззвания, обнаруживающее знакомство с русским женским движением 60-х годов и полемикой по женскому вопросу, заставляет искать автора среди лиц, живших в 60-е годы в России. С другой стороны, воззвание было напечатано в тот период, когда вокруг возобновленного «Колокола» сгруппировались новые литературные силы, не принимавшие ранее участия в связанной с Нечаевым литературной кампании. В этом кругу наиболее вероятным автором воззвания к женщинам представляется нам В. А. Зайцев, уехавший из России в 1869 г. и, после переезда из Парижа в Женеву в январе 1870 г., сотрудничавший в нечаевском «Колоколе». Не противоречит авторству Зайцева и приведенная в конце воззвания программа социальной революции, которая передает решения Брюссельского конгресса Интернационала в бакунинской, анархистской интерпретации: вступив в Интернационал, Зайцев примкнул в нем к партии Бакунина. А с женским движением Зайцев был хорошо знаком не только по журнальной полемике, в которой сам принимал участие (например, в статье «Взбаламученный романист»[7]), но и по своей семье, где «нигилистками» были и сестра Зайцева (по первому — фиктивному — браку кн. Голицына, по второму — Якоби), и мать.

Воззвание «От русского революционного общества к женщинам» является первым русским революционным воззванием, обращенным к женщинам, и представляет несомненный интерес. В настоящем издании оно воспроизводится впервые, с печатного подлинника.[8]

[1] Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), — генерал-адъютант, шеф жандармов, в 1861—1864 гг. управляющий и в 1866—1874 гг. главный начальник III Отделения собственной е. и. в. канцелярии. На страницах герценовского «Колокола» он именовался, за его положение при дворе и влияние на дела, «Петром IV».

[2] Ассоциационное движение, особенно распространившееся после выхода в свет романа «Что делать» — Чернышевского, подверглось гонениям после каракозовского выстрела, когда к следствию по делу Каракозова были привлечены участники двух артельных предприятий — швейной мастерской и переплетной.

[3] Здесь обобщены случаи, имевшие, повидимому, место при следствии по делу Каракозова, — о них сообщало письмо из Петербурга, напечатанное в л. 211 «Колокола» от 1 июня 1866 г., и написанная одним из привлеченных по делу Каракозова брошюра «Белый террор» («Колокол», 1 января 1867 г.; л. 231—232, стр. 1894).

[4] Безбрачники — секта, не признававшая какого-либо оформления брака.

[5] «Нечаев и нечаевцы», М. — Л., 1931, стр. 102. «Правительственный вестник», 1871 г., № 156.

[6] Ср., например, с его прокламацией «Студенты университета, академии и технологического института», которая, как это выясняется из писем Огарева 1869 г., была составлена Нечаевым до его знакомства с Огаревым и Бакуниным.

[7] В. А. Зайцев. Избранные сочинения в двух томах. Т. I. Москва, 1934, стр. 154 и др.

[8] 4 стр., 15×9 см.

VIII. К ИСТОРИИ НЕЧАЕВЩИНЫ

Публикация Б. Козьмина и С. Переселенкова

1. «НАРОДНАЯ РАСПРАВА» и Н. Н. ЛЮБАВИН

В 1867 г. в Петербурге, вокруг известного впоследствии революционера Г. А. Лопатина, сгруппировался кружок молодежи, уцелевший и после того, как в феврале 1868 г. сам Лопатин был арестован. В кружок этот входили: известный впоследствии под псевдонимом Николая — она переводчик на русский язык I тома «Капитала» Маркса Н. Ф. Даниельсон, затем умерший в молодых годах, но пользовавшийся большим авторитетом среди товарищей М. Ф. Негрескул (женатый на дочери П. Л. Лаврова), И. И. Билибин, впоследствии издатель в Петербурге, Н. Н. Любавин, впоследствии профессор химии Московского университета, и др. Члены кружка проявляли большой интерес к рабочему движению на Западе, вступившему в связи с основанием I Интернационала в полосу подъема. Они изучали западную социалистическую литературу и, в частности, сочинения Маркса. Имеется указание на то, что они подготавливали перевод на русский язык его «К критике политической экономии». По выходе в свет I тома «Капитала» они задумали перевести эту книгу на русский язык. У членов кружка имелись связи с известным издателем Поляковым. Возможно, что фирма Полякова служила лишь прикрытием собственной издательской деятельности кружка.

Весной 1869 г. М. Ф. Негрескул поехал за границу. Повидимому, целью его поездки было установление связей с русской эмиграцией. По приезде в Швейцарию Негрескул узнал о чрезвычайно тяжелом материальном положении, в котором находился в это время М. А. Бакунин; по словам Негрескула швейцарский бакунист Ш. Перрон говорил ему, что «Бакунин буквально умирает с голоду», и просил достать для Бакунина какую-нибудь работу («Нечаев и нечаевцы». Сборник материалов, под ред. Б. П. Козьмина, М. — Л., 1931 г., стр. 132—133). При таких условиях Негрескулу и проживавшему в то время в Германии Н. Н. Любавину пришла мысль поручить Бакунину перевод «Капитала».

Списавшись с Поляковым, Любавин обратился к Бакунину с соответствующим предложением. Бакунин принял его.

Было условлено, что Бакунин получит за всю работу 1200 руб.; 300 руб. были выданы ему авансом. Бакунин же обязался присылать работу частями. Однако, принятое на себя обязательство тяготило его. Начатый им перевод подвигался вперед крайне медленно. Он переводил не более 3—4 страниц в день. «А я, брат, — сообщал Бакунин Герцену 4 января 1870 г., — перевожу экономическую метафизику Маркса». Этот своеобразный отзыв о «Капитале» дает основание думать, что Бакунин без особой охоты занимался переводом и что этим-то именно и объяснялась медленность, с которой продвигалась его работа. При таких условиях со стороны Нечаева вряд ли понадобилось много усилий для того, чтобы убедить Бакунина в том, что его занятия переводом «Капитала» мешают практической революционной деятельности и лишают его возможности сосредоточить свои силы на русской пропаганде. Как бы то ни было, доводы Нечаева показались Бакунину достаточно убедительными, и он поручил Нечаеву уладить дело с Любавиным. Знал ли он о том оригинальном и не вполне чистоплотном приеме, который Нечаев решил употребить, чтобы избавить Бакунина от тяготившей его работы, до сих пор не выяснено. Но если даже и не знал, то, не поинтересовавшись, какие меры рассчитывает принять Нечаев, он проявил в этом деле непростительное для политического деятеля легкомыслие, вследствие чего Маркс, безусловно, был в праве возложить на него ответственность за действия Нечаева.

13/25 февраля 1870 г. Нечаев отправил Н. Н. Любавину исключительное по наглости и нелепости предложение освободить Бакунина от выполнения принятых им на себя обязательств по переводу книги Маркса. Предложение это сопровождалось весьма недвусмысленными угрозами. В ответ на это Любавин послал Бакунину резкий протест. Бакунин не нашел ничего лучшего, как ответить отказом от работы под предлогом грубого тона, допущенного по его адресу Любавиным (это письмо Бакунина до Любавина не дошло). При этом Бакунин обязался вернуть полученные им в виде аванса 300 руб., однако, не удосужился это сделать.

В 1872 г., готовясь к решительной борьбе с Бакуниным и решившись настаивать на его исключении из Интернационала за его разлагающую деятельность, выразившуюся в организации тайного Альянса, Маркс решил использовать и вышеизложенный инцидент с Любавиным. На Гаагском конгрессе Интернационала деятельность Бакунина подверглась детальному рассмотрению. Конгресс признал Бакунина виновным, помимо раскольнической деятельности в целях дезорганизации Интернационала, также и в том, что он «употребил нечестные средства с целью присвоить себе целиком или частью чужое имущество, что составляет мошенничество», и в том, что «для уклонения от выполнения принятых им на себя обязательств он или его агенты прибегли к угрозам». В результате Бакунин большинством 27 го-

лосов членов конгресса против 7 при 8 воздержавшихся подвергся исключению из Интернационала.

Ниже мы публикуем следующие документы:

1) пять писем Любавина к известному швейцарскому деятелю I Интернационала Иоганну Филиппу Беккеру 1868—1869 гг.,

2) обращение «Народной Расправы» к Любавину, которое впервые воспроизводится в печати по оригиналу (ср. «Каторга и ссылка», 1934 г., № 3),

3) письмо Любавина к Марксу с изложением истории перевода Бакуниным «Капитала»; это письмо до сих пор было известно только по цитатам, приведенным в работе Э. Бернштейна «Карл Маркс и русские революционеры» (Харьков, 1923 г., стр. 43—48).

4) письмо В. Баранова к Марксу о том же предмете.

Все документы публикуются в русском переводе.

Б. Козьмин

ПИСЬМА Н. Н. ЛЮБАВИНА И. Ф. БЕККЕРУ

1

Лейпциг, 19-го июля 1868 г.

Милостивый Государь,

Будьте добры прислать мне все вышедшие листы вашего журнала «Форботе», как за этот год, так и за прежние [1].

Мой адрес: Н. Любавин, в Лейпциге, Magazin Gasse, 17, на имя г-жи Бадегаст. Уплата наложным платежом, ибо я не знаю, сколько это будет стоить. Я остаюсь тут в Лейпциге только до 15-го августа.

Н. Любавин, из Петербурга

[1] «Форботе» («Предвестник») — журнал, издававшийся Беккером в Женеве в 1866—1871 гг. и являвшийся органом I Интернационала.

2

Берлин, 27 августа 1868 г.

Гражданин И[оганн] Ф[илипп] Беккер.

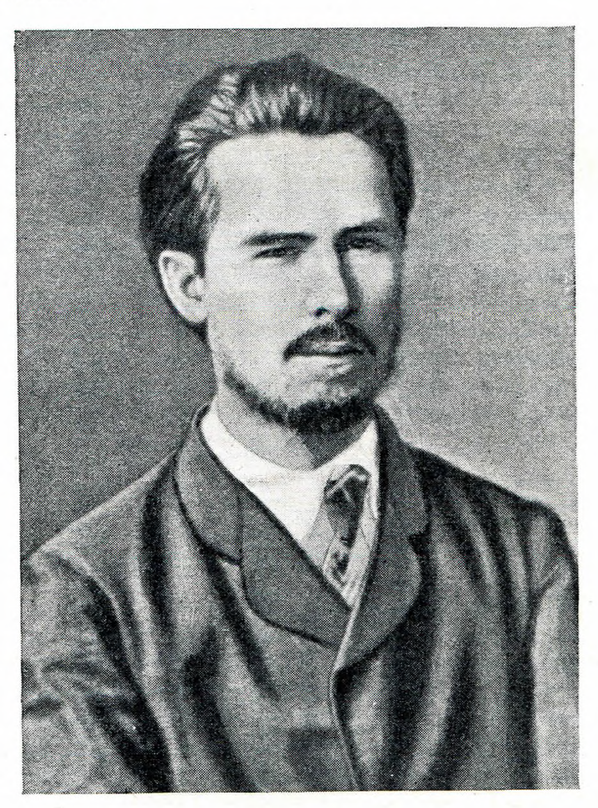
Хотя я давно получил ваше письмо, я тогда же не ответил, ибо предстоял близкий отъезд, и я не знал своего будущего адреса. Теперь я в Берлине, где пробуду всю зиму, и мой адрес:

Oberwallstrasse, 5, третья лестница.

Вы приглашаете меня вступить членом в Интернациональную Рабочую Ассоциацию. После некоторого размышления я решил принять ваше предложение. Я вполне согласен с целью вашего товарищества и вами, и методы ваши считаю целесообразными. Я даже признаю, что освобождение рабочего класса есть общее дело всех народов, но признаю это только в принципе! Я не могу уже теперь применять этот принцип к моей стране, ибо у нас еще не существует никакого рабочего движения, хотя оно так же нужно у нас как где-либо.

У нас нищета рабочего класса даже еще сильнее, чем у вас; последний голод (который, по всей вероятности, будущую зиму повторится) может служить тому хорошим доказательством. Крестьянин настолько обременен различными платежами, что иногда ему приходится платить больше, чем он сам получает. Распродажа крестьянского имущества через полицию — совершенно заурядная вещь. И это одна из главных причин настоящего голода. Положение наших фабричных рабочих много хуже, чем положение западно-европейских (Наше фабричное производство хотя и не так сильно развитое, как в других культурных странах, все же занимает уже довольно большую массу рабочих, напр-

[имер], наши горные разработки, которые занимают полосу страны в Уральской области и южной Сибири). К этому присоединяется еще безграничный полицейский произвол, от которого одинаково страдают все. И все-таки это не помогает; у нас нет еще народного движения. Причины этому, вероятно — 1) апатия наших образованных людей, которая особенно выявляется в последние годы, и 2) неимение политической свободы. У нас нет свободы печати, свободы союзов; всякий, кто неприятен полиции, может быть выслан со своего местожительства без судебного приговора — это зовется в нашем законодательстве административной высылкой.



С. Г. НЕЧАЕВ
Фотография
Музей Революции, Москва

Вследствие всего этого ни мы не можем оказать помощь западноевропейскому рабочему движению, ни вы нам; другими словами, международная солидарность — главный принцип вашего товарищества — для нас, русских, пока не существует. Она появится лишь тогда, когда в России будет вызвано самостоятельное социал-демократическое движение. Итак, вы видите, что для нас, русских, пока нет повода быть в более близкой связи с Интернациональной Ассоциацией. Если же я все же вступаю в эту связь, то лишь потому, что, как член Интернациональной Ассоциации, я буду иметь случай ближе познакомиться с западноевропейским рабочим движением. Изучение этого движения, естественно, очень для нас полезно.

При этом посылаю Вам свой годичный взнос.

Н. Любавин, из Петербурга.

3

Берлин, 29 декабря 1868 г.

Гражданин Беккер.

Я получил вчера от вас воззвание к рабочим относительно стачки в Базеле. Я тотчас же послал несколько экземпляров в Петербург. Позднее я случайно был в редакции «Социал-Демократ[а]», а когда я показал это воззвание, мне сказали, что все уже вернулось к спокойствию. Я обратился потом к здешним газетам и в «Национальной Газете», например, я прочел, что дело отставлено. Но после того я сравнил дату, под которой стояли все такие сообщения, с датой, стоящей на вашей бандероли (25 декабря) и после того, как я прочел в бернской газете «Дер Бунд» сообщение о базельской стачке, я увидел, что стачка еще не окончена. Из бернской газеты, я вижу, что материала, характеризующего (если только он был) стачку, уже нет, но об окончании стачки там не сказано ни слова до 27 декабря включительно.

Зато нашел я в этой газете, что фабриканты Базеля выставили такое требование против рабочих: «Интернациональная Ассоциация должна оставить свои принуждения». А я понимаю это так: (собственно) господа-фабриканты только тогда выполнят пожелания своих рабочих, когда они выступят из Интернацион[альной] Ассоциации; итак, совсем то же обстоятельство (отношение), как в Женевской стачке.

Во всяком случае, вы видите, что здесь в Берлине царит (некоторое) известное несогласие, которое, разумеется, может сильно повредить делу.

С братским приветом

Н. Любавин.

4

Берлин, 9-го января 1869 г.

Гражданин Иог[анн] Фил[ипп] Беккер!

При настоящем письме посылаю вам 23 талера для забастовочных расходов в Базеле, бóльшая часть этой суммы идет из Петербурга: распишитесь, прошу вас, так: через N., из Петербурга. Я не хотел бы печатать своего имени, ибо если русская полиция увидела его хоть раз в «Форботе», то все письма, приходящие ко мне из России, будут вскрываться и прочитываться. Такая практика существует в русской администрации и даже представляет собою необходимое средство самозащиты государства. Ваше дружественное письмо от 3-го этого месяца я получил, но так как еще за день до того «Социал-Демократ» напечатал исчерпывающую поправку к своим прежним сообщениям относительно Базельской стачки, то мои старания в этом направлении оказались излишними.

Я прошу Вас в этом году вместо одного экземпляра «Форботе» высылать два. Помимо того, будьте любезны прислать мне следующее:

5 экземпл[яров] «Манифеста коммунистической партии», выпущенного в Майнце и о котором сообщали в «Форботе» за 1868 г., страница 48.

3 экземпл[яра] Статутов Интернац[иональной] Раб[очей] Ассоц[иации]. — Оплату всех этих вещей будьте добры получить наложным платежом.

Один из моих друзей в Петербурге просил меня у вас спросить:

1) Какие имеются французские органы Интернационал[ьной] Раб[очей] Ассоциации, где они выходят, где можно на них подписаться и каковы подписные цены.

2) Можно ли через Вас получить помимо Манифеста Коммунист[ической] Партии еще другие сочинения Карла Маркса, которые в книжных магазинах не имеются.

С братским приветом

Н. Любавин.

Берлин, 20-го февраля 1869 г.

Гражданин Беккер.

Прежде всего мое большое спасибо за те несколько французских газет, что вы мне прислали. В «Эгалите»[1] мне было приятно прочесть, что, наконец, русская эмиграция начинает тоже принимать участие в Ассоциации Интернационала. Я подразумеваю письмо Бакунина.

При этом письме вы получите:

Мой годичный взнос	тал[ер]	1.—
За 2 экземпл[яра] «Форботе»	—»—	1.10 кр.
	—»—	2.10

Прошу Вас посылать мне вместо 2-х, всего экземпляров «Форботе» 3. Помимо того, прошу вас прислать наложным платежом:

1 экз[емпляр] «Форботе» за 66. 67. 68.

1 экз[емпляр] Вашего сочинения «Где и как».

1 экз[емпляр] вашей и Эсселена[2] «Истории южно-германской майской революции» (1849) и

5 экз[емпляров] «Манифеста Коммунистической Партии».

Пока с братским приветом

Н. Любавин.

Другим почерком:
№ 72
Берлин 20/2—69
Н. Любавин.
Талер. — 2, 10. —

[1] «Эгалите» («Равенство») — газета, выходившая в Женеве с 1869 г. и служившая органом романской федерации Интернационала. В 1869 г. газета эта находилась в руках Бакунина и его сторонников, позднее же перешла к приверженцам Генерального Совета Интернационала и редактировалась Н. И. Утиным. В пробном номере «Эгалите», вышедшем 19 декабря 1868 г., было помещено письмо Бакунина, написанное им в ответ на приглашение сотрудничать в этой газете.

[2] Эсселен Христиан (1823—1859) — немецкий политический деятель радикального направления, участник революции 1848 г.

ПИСЬМО «НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» Н. Н. ЛЮБАВИНУ

BUREAU
DES AGENTS ÉTRANGERS
DE LA SOCIÉTÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
RUSSE
NARODNAIA RASPRAWA
«LA JUSTICE DU PEUPLE»
«VOLKSGERICHT»

25/13 февраля 1870 г.

Русскому студенту Любавину, живущему в Гейдельберге.

Милостивый Государь!

По поручению Бюро я имею честь написать вам следующее:

Мы получили из России от Комитета бумагу, касающуюся, между прочим, и вас. Вот места, которые к вам относятся:

«До ведения Комитета дошло, что некоторые из живущих за границей русских баричей, либеральных дилетантов, начинают эксплоатировать силы и знания людей известного направления, пользуясь их стесненным экономическим положением. Дорогие личности, обремененные черной работой от дилетантов-кулаков, лишаются возможности работать для освобождения человечества. Между прочим, некий Любавин (Heidelberg bei Wittwe Wald, Sandgasse, 16) завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса, и как истинный кулак-буржуа, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему задаток и в силу оного взял обязательство не оставлять работу до окончания. Таким образом, по милости этого барича Любавина, радеющего о русском просвещении чужими руками, Бакунин лишен возможности принять участие в настоящем горячем русском народном деле, где участие его незаменимо... Насколько такое отношение Любавина и ему подобных к делу народной свободы и его работникам отвратительно, буржуазно и безнравственно, и как мало оно разнится от полицейских штук — очевидно для всякого немерзавца ....»

Комитет предписывает заграничному Бюро объявить Любавину:

1) что если он и ему подобные тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силенки, вместо того чтобы изучать химию и готовить себе жирное казенное профессорское место.

2) чтоб он (Любавин) немедленно уведомил Бакунина, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать переводы, вследствие требования русского революционного Комитета

. . . .

Далее идут пункты, которые сообщать вам мы считаем преждевременным, отчасти рассчитывая на вашу прозорливость и предусмотрительность.

Итак, м[илостивый] г[осударь], вполне уверенные что вы, понимая с кем имеете дело, будете так обязательны, что избавите нас от печальной необходимости обращаться в вам вторично путем менее цивилизованным. Мы предлагаем вам:

1) Тотчас по получении сего послания, телеграфировать Б[акуни]ну о том, что вы снимаете с него нравственную обязанность продолжения перевода.

2) Тотчас же послать к нему подробное письмо с приложением сего документа и конверта, в котором он получен.

3) Тотчас же послать письмо к ближайшим нашим агентам (хотя на известный вам женевский адрес), в котором известить, что предложение Бюро за № таким-то вами получено и выполнено.

Строго аккуратные в отношении к другим, мы рассчитываем, в который день вы получите это письмо; предлагаем в свою очередь и вам быть не менее аккуратным и не замедлить выполнением, чтобы не заставить прибегнуть к мерам экстренным и потому немного шероховатым.

Смеем уверить вас, м[илостивый] г[осударь], что наше внимание к вам и вашим поступкам с этого времени будет несравненно более правильным. И от вас самих зависит, чтоб дружественные отношения наши росли и крепли, а не обращались в неприязненные.

Честь имею быть

к вашим, милостивый государь, услугам готовый

Секретарь Бюро Ам....

ПИСЬМО Н. Н. ЛЮБАВИНА К. МАРКСУ

С.-Петербург, 8/20 августа 1872 г.

Милостивый государь!

Я узнал от вашего корреспондента[1] о том, что вы желаете иметь письмо, которое я получил два года тому назад и которое имеет отношение к переводу вашей книги на русский язык[2]. Мои личные счеты с господином Б[акуниным], которому этот перевод был поручен, я полагаю законченными после письма, которое я ему тогда послал и на которое он не ответил. И если я все же иду навстречу вашему желанию, то только потому, что считаю названного господина человеком очень вредным, и надеюсь, что история с переводом будет способствовать его дискредитации. Правда, я должен уже сейчас отметить, что доказательства против него, которыми я располагаю, не настолько очевидного свойства, как вы, быть может, думали. Они, во всяком случае, бросают тень на эту личность, для осуждения, однако, их недостаточно. Этот человек уже был причиной многих несчастий *, но все же он еще окружен известным ореолом в глазах Западной Европы и нашей неопытной молодежи **, так что его дискредитация должна быть в общих интересах.

Это письмо я прилагаю к письму «Бюро», которое вы пожелали иметь, но только с условием — вернуть его мне при первой возможности после того, как вы сделаете из него нужное употребление; оно может и здесь понадобиться. Что касается использования письма, я замечу лишь, что вы ошибаетесь, если думаете, что мое знакомство с этим господином было исключительно коммерческого характера. Он может причинить мне много неприятностей опубликованием моих писем к нему, он это даже прямо обещал, если я снова дам всплыть истории с переводом.

Чтобы эта история была для вас ясна, я должен здесь рассказать следующее:

Летом 1869 г. я узнал в Берлине от моего покойного друга Негрескула, что Б[акунин] находится в большой нужде и что ему нужно как можно скорее помочь. Тогда я еще очень мало знал Б[акунина], однако, считал его одним из лучших героев освободительной борьбы, каким его считали тогда или еще сейчас считают столь многие русские студенты. Я тотчас же послал ему 25 талеров и в то же время обратился через одного своего приятеля в Петербурге к одному издателю с просьбой о работе для Б[акунина]. Было решено поручить ему перевести вашу книгу. За перевод ему было обещано 1200 рублей. Соответственно выраженному им желанию, ему послали через меня целую пачку книг, нужных ему, как пособие для перевода, и — тут же по его просьбе — уплатили 300 рублей вперед. 28 сентября (1869 г.) я послал ему эти 300 рублей в Женеву по адресу Шарля Перрона[4] (я к тому времени переехал в Гейдельберг), а 2 октября получил от Б[акунина] расписку.

2 ноября Б[акунин] пишет мне из Локарно, что теперь он освободился от избытка политической работы и что «завтра» он приступит к переводу. Прошел весь ноябрь, а я еще не получил от него ни одного листа рукописи. Тогда, в конце ноября, или уже в начале декабря, получив письмо из Петербурга, я обратился к нему с вопросом — хочет он переводить или не хочет. К сожалению, у меня не осталось копии этого письма и я не могу точно сказать, что я ему тогда написал. На-

---

* Здесь циркулируют сейчас слухи о том, что нападение банды на У[тина] в Ц[юрихе] было совершено по поручению Б[акунина][3].

** В чем я совсем еще недавно имел случай убедиться.

сколько я помню, мой петербургский приятель, через которого я сносился с издателем, писал мне, что если Б[акунин] не хочет переводить, пусть он об этом скажет прямо, вместо того, чтобы затягивать дело; а что касается 300 рублей, то об этом можно договориться. Я написал это Б[акунину] и получил ответ от 19 декабря. Он начинает письмо с заявления о том, что он «отчасти» потому так долго не писал (последнее полученное мною от него перед этим письмо было от 2 ноября), что я был по отношению к нему очень груб (не в связи с переводом, а по другому поводу). Дальше он пишет: «На каком основании Вы вдруг вообразили, что, взявшись за эту работу и взяв даже за нее вперед триста рублей, я захочу от нее отказаться?». Он заявляет, что на этой работе он построил свой бюджет на весь год. Обстоятельства, от него независящие, помешали серьезно приняться за перевод раньше начала декабря, и, во-вторых, работа оказалась много труднее, чем он раньше думал. А затем речь идет о различных трудностях перевода. Я хочу вам упомянуть только об одной из них, так как я сильно подозреваю, что Б[акунин] здесь солгал. Он приводит фразу из вашей книги: «Стоимость есть застывший труд» и говорит: «М[аркс] просто пошутил — впрочем, он мне сам в этом признался». Он надеется закончить весь перевод к концу апреля 1870 г. и настоятельно просит замолвить за него слово перед издателем, чтобы перевод у него не отняли. В случае же, если издатель отнимет у него этот перевод, мы должны его, Б[акунина] об этом известить как можно скорее, и тогда он позаботится о возврате 300 рублей.

19 декабря он посылает мне первые листы рукописи. «Отныне буду вам посылать через день или через два переведенные и переписанные листы».

31 декабря я получаю еще несколько листов перевода, которые оказались последними. Всего я получил от него один, самое большее два печатных листа.

Наконец, 3 марта пришло ко мне то письмо «Бюро», которое вас теперь интересует. Хотя это письмо и не было написано Б[акуниным] — (по всей вероятности, это было непосредственным делом рук Н[ечае]ва), я все же считал, что Б[акунин] несет за письмо ответственность, потому что его причастность к нему казалась мне тогда бесспорной; я написал ему ругательное письмо. Зимний семестр уже закончился и мне нужно было уезжать. Все-таки я дожидался 2,5 недели после отправки Б[акунину] письма, но ответа не получил. Позднее Б[акунин] писал нашему с вами общему знакомому Л[опат]ину [5], что он послал мне краткое ответное письмо, в котором сообщал, что отказывается от перевода вследствие моей грубости. Я, однако, думаю, что это ответное письмо никогда не существовало, иначе я бы его получил. Тому же приятелю моему он передал также расписку в том, что он, Б[акунин] получил от издателя через меня 300 рублей, которые он обязуется возвратить в кратчайший срок. Это было, однако, совершенно бесполезно, ибо у меня уже имелась его собственноручная расписка, а обещание заплатить в кратчайший срок выполнено не было. До сего времени от него не получили ни одного рубля, однако, недавно он послал к этому же самому издателю одну даму с просьбой дать ему новый перевод; при этом было обещано, что история с «Капиталом» не повторится. Какое бесстыдство!

Скажу вам в заключение, что я теперь думаю о письме «Бюро», полученном мною в 1870 г. Тогда причастность к нему Б[акунина] казалась мне вне сомнения. Я должен сказать, что когда я сейчас хладнокровно обдумываю всю историю, я вижу, что причастность Б[акунина] вовсе не доказана. Письмо могло быть на самом деле послано Н[ечае]-

вым совершенно независимо от Б[акунина]. Одно лишь верно — то, что Б[акунин] проявил полное нежелание продолжать начатую работу, хотя и получил за нее деньги.

Прошу вас известить вашего постоянного здешнего корреспондента о получении этого письма. Письмо «Бюро» я прошу вас вернуть по следующему адресу:

Господину Н. Любавину
С.-Петербург, Невский проспект, 34.

А письмо не откажите обернуть куском бумаги, надписав на нем: для Ник. Ник. Любавина.

Ваш Н. Любавин

[1] От Н. Ф. Даниельсона.

[2] Вышеприведенное письмо «Народной Расправы» Любавину.

[3] Приверженцы Бакунина не могли простить Н. И. Утину того, что он поддерживал Маркса в его борьбе против Бакунина. В связи с этим несколько бакунистов напали на Утина и избили его.

[4] Перрон Шарль — швейцарский живописец по эмали, член Интернационала, один из ближайших сотрудников Бакунина по Альянсу.

[5] Речь идет о Г. А. Лопатине, к которому после отказа Бакунина перешел перевод «Капитала» Маркса. Однако, Лопатин был вынужден приостановить свою работу и поручить ее завершение Любавину, в виду того, что сам он отправился в Сибирь, чтобы попытаться освободить Н. Г. Чернышевского.

ПИСЬМО В. О. БАРАНОВА К. МАРКСУ

Петербург 10/22 июня 1872 г.

Милостивый государь,

Что специально касается проделки Б[акунина], могу вам рассказать следующее: как известно, в России был предпринят перевод вашего труда. Предприниматель хотел поручить перевод Б[акунину], так как он просил о работе. Заказ был дан Б[акунину], если не ошибаюсь, в мае 1869 г. Он обещал (я не знаю точно даты), словом, к осени 1869 г., представить значительную часть 1-го тома, но не сделал этого, тянул, и в итоге в конце 1869 или в начале 1870 г. посредник предпринимателя получил письмо от Н[ечаева], где было сказано, что именем Комитета посреднику запрещается требовать перевод от Б[акунина] и в дальнейшем беспокоить его по поводу аванса в 300 р[уб.] сер[ебром] (талер = 0,90 руб.).

Посредник написал Б[акунину] письмо, в котором упрекал его за эту проделку, так как ему было ясно, что Н[ечаев] без Б[акунина] не мог бы предъявлять такого требования, и сказал ему, что простой, откровенный отказ от работы (во всяком случае) не вызвал бы преследований.

Что касается других его проделок, то ничего точного я сказать не могу, ибо не полагаюсь на свою память, когда дело [идет] о слышанных рассказах.

Свидетельствую вам и вашей уважаемой семье
свое глубокое почтение

В. Б.

Господину А. Вилльямсу

в Лондоне
I, Мейтлэнд Парк Род
Чалд Фарм, Лондон.

Инициалы W. B., которыми подписано настоящее письмо, дают основание высказать предположение, что его автором был некий Баранов, упоминаемый Марксом в одном из его писем к Н. Ф. Даниельсону.

В письме от 28 мая 1872 г. Маркс писал: «Вы очень обяжете меня, переслав прилагаемое письмо доктору В. Баранову по такому адресу: г-же Бaгговут-Гросс. Театральная площадь, дом барона Кистера» («Летописи Марксизма», 1930 г., № 2 (12), стр. 44).

Несомненно, о том же самом лице говорится в письме П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 27 октября (8 ноября) 1871 г.: «Не можете ли вы узнать, в Петербурге ли Владимир Оттомарович Баранов, о котором можно справиться у Екатерины Карловны Багговут, в доме барона Кистера» («Советская Библиография», 1936 г., № 1 (13), стр. 109).

Этим исчерпываются все сведения, которые были известны до сих пор об упомянутом Марксом Баранове.

В 1884 г. в Петербурге вышла книга «Жизнь и счастье. Исследование доктора философии Владимира Баранова». Книга эта — или, вернее, брошюрка — весьма претенциозна. Автор ее, выражая сожаление по поводу отсталости русской философской мысли по сравнению с западной, высказывает надежду, что его работа явится «одним из первых опытов русской мысли... предложить самостоятельную формулировку вопросов, всегда интересовавших человечество». Однако, способности, знания и таланты доктора философии Владимира Баранова далеко уступали его непомерным претензиям и самомнению. Рецензент «Дела», указавший, что ему вряд ли когда-нибудь приходилось держать в руках книгу более бессмысленную («Дело», 1884 г., № 2, стр. 75), имел полное основание для такого сурового приговора. Действительно, произведение В. Баранова лишено какого бы то ни было научного значения. Нет в нем и ни грана оригинальности, если только не считать попытки подкрепить свою аргументацию авторитетом... френологии, которую он считает находящейся в незаслуженном пренебрежении наукой.

Есть ли какие-нибудь основания связать автора неудачной книжки с тем Барановым, о котором упоминает Маркс?

В предисловии к своей книге Вл. Баранов, между прочим, хвастливо писал: «Изложенная на последующих страницах брошюра... появилась первоначально в английском издании (Life and Happiness. London, 1883), в виду того, что лекции по этому предмету были прочитаны в Лондоне и обратили внимание публики настолько, что меня просили издать их в отдельной брошюре». Итак, автор книги — ее английское издание вышло в 1883 г. в Лондоне под названием «Life and Happiness» — жил в Лондоне и читал там лекции. Одако, этого, конечно, еще недостаточно для того, чтобы утверждать, что Баранов, в бытность свою в Лондоне, встречался с Марксом.

В 1889 г. в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (№ 3) была напечатана статья Н. Д. Батюшкова «Связь экономических явлений с законами энергии». По научным достоинствам она мало чем отличалась от брошюры Баранова. Но нас интересует она не с научной стороны, а по упоминанию о Марксе, которое мы в ней находим. Автор статьи рассказывает, между прочим, о своем знакомом, фамилию которого он заменяет ее начальной буквой — Б. Этот Б., по словам Батюшкова, «беседовал в Лондоне с Карлом Марксом еще до издания последним его «Капитала». Предметом их беседы был вопрос о распределении доходов от народного хозяйства. К. Маркс все настаивал на важности распределения [?*Б. К.*]; Б. ему возражал, что все это [?*Б. К.*] прекрасно, если двум человекам приходится распределять два куска. Но если на два рта приходится распределять один кусок, то на первый план выступит уже другая задача: как добиться этого второго куска» (стр. 107). В другом месте своей статьи Батюшков рассказывает: «Беседуя с К. Марксом в Лондоне, мой знакомый Б. доказывал последнему, что в данную минуту уравнение заработков богатых и бедных людей не приведет к какому-нибудь ощутительному результату в смысле подъема благосостояния массы неимущих. Для этой цели Б. брал отчетность какого-нибудь крупного промышленного предприятия, брал сумму заработков всех лиц, участвующих в производстве, не исключая капиталиста-предпринимателя, исключая из этой суммы ходячий процент на капитал, закрепленный в предприятии, и делил остаток на число участников производства. В результате оказывалось средним числом, что такой дележ увеличивал всего на 10% заработок самого бедного, самого дешевого работника. Доходы прочих увеличивались еще менее заметным образом. Терял только предприниматель и те специалисты и администраторы, которые получали большее вознаграждение» (стр. 116—117).

Мы привели эту цитату из статьи Батюшкова потому, что она окончательно разрешает интересующий нас вопрос и позволяет утверждать, что знакомым Маркса Барановым был именно тот Баранов, который издал впоследствии брошюру «Жизнь и счастье». Действительно, если мы развернем эту брошюру в том месте, где автор ее полемизирует против социалистов, то найдем там следующее рассуждение: «Если вы возьмете статистику и рассчитаете, каков будет результат равномерного распределения частной собственности при настоящем положении вещей, то вы увидите, что

№ 7043 / 2

Bureau
des Agents Etrangers
de la Société
Révolutionaire
russe
Narodnaia rasprawa

№ 108
Въ Женеву

7 марта
1870

Узнавъ что фамилія когда то
бывшаго русскаго дѣятеля Герцена
думаетъ начать изданіе сочиненій
покойнаго выпускомъ тѣхъ его ста-
тей которые писаны имъ не за
долго до смерти въ тѣ дни, когда
отдалившись отъ активнаго участія
въ дѣлѣ, началу котораго онъ болѣе
всѣхъ содѣйствовалъ, покойный пере-
живалъ тотъ внутренній разладъ
между мыслью и положеніемъ,
что составляетъ неотдѣлимую
принадлежность предшествующаго
поколѣнія, вышедшаго изъ рядовъ,
хотя и талантливаго но

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА «НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» А. А. ГЕРЦЕНУ
Институт литературы, Ленинград

после равномерного распределения или даже превращения частной собственности в общественную все будут иметь в среднем доход приблизительно лишь на 10% более получаемого в настоящее время минимального дохода» (стр. 81—82; подчеркнуто автором).

Итак, Вл. Баранов в своей брошюре почти дословно повторяет то, что когда-то Б. излагал в беседе с Марксом. А это подтверждает, что Вл. Баранов, автор книжки «Жизнь и счастье», был знаком с Марксом и встречался с ним в Лондоне еще до издания Марксом I тома «Капитала». При таких условиях тождественность этого Баранова с Барановым, упоминаемым Марксом в письме к Даниельсону, вряд ли может внушать какие-либо сомнения.

Очевидно, подготавливаясь к решительной борьбе с Бакуниным и собирая материалы, которые могли бы пролить свет на историю предпринятого Бакуниным перевода «Капитала», Маркс счел нужным обратиться в числе других своих русских знакомых и к Баранову, чьи курьезные — но, увы, далеко не оригинальные — доводы против социализма наверное в свое время не мало позабавили Маркса.

Если это так, то комментируемое нами письмо является ответом как раз на то письмо Маркса к Баранову, которое было переслано при вышецитированном письме Маркса к Даниельсону от 28 мая 1872 г. и которое Даниельсон, как это видно из его ответного письма к Марксу («Летописи Марксизма», 1930 г., № 2(12) стр. 48), передал Баранову.

Известны еще два письма В. Баранова К. Марксу, которые приводим полностью:

Лондон, 1871 [г.] Август 6
London Cathedral Hatel

Глубокоуважаемый господин доктор,

По русски написанное письмо покорно прошу переслать г-ну Лаврову; я надеюсь, что когда я через неделю вернусь в Лондон и буду иметь честь вас посетить, я застану и письмо этого высокочтимого человека.

Извините за назойливость, глубоко вас уважающего

д-ра В. Баранова.

Лондон, 1871 [г.] Август 4

Глубокоуважаемый господин доктор,

Я хотел бы обменяться с вами парой слов по делу Всеобщего Германского Рабочего Союза и поэтому прошу вас написать мне по нижеприлагаемому адресу, застану ли я вас дома в воскресенье 6-го августа (около десяти часов утра).

Cathedral Hatel
bg. St. Paul. Nr. G. Baranoff

С глубоким почтением В. Баранов

2 «НАРОДНАЯ РАСПРАВА» и НАСЛЕДНИКИ ГЕРЦЕНА

Вскоре после кончины Герцена, был поднят вопрос о выпуске в свет сборника его статей, написанных им в последние годы жизни. В связи с этим между Александром Александровичем Герценом и Н. П. Огаревым возникли разногласия относительно плана подготовляемого издания. Огарев считал несвоевременным опубликовывать «Письма к старому товарищу», адресованные к Бакунину. Признавая их «замечательными», он, тем не менее, расходился с некоторыми положениями, высказанными в них (см. замечания Н. П. Огарева на это произведение Герцена, — «Литературное Наследство», № 39—40, стр. 342—351).

А. А. Герцен готов был уже удовлетворить желание Огарева, отложив печатание «Писем» до второго тома «Сборника»... Но кто-то осведомил Нечаева о подготовляемом издании и его составе, а, может быть, и о разногласиях по поводу последнего. В результате — написано было печатаемое ниже письмо от никогда реально не существовавшего Бюро иностранных агентов русского революционного общества «Народная расправа».

Адресованное на имя Огаревой, оно переслано было ею из Женевы во Флоренцию к А. А. Герцену, который, по получении его стал решительно действовать наперекор предъявленным в нему требованиям. Он написал Огаревой, прося ее рукописи Александра Ивановича передать на сохранение своему учителю и другу, известному натуралисту Карлу Фогту, а копии немедленно отправить к нему, чтобы как можно скорее подготовить их с сдаче в типографию для печати. В то же время составлен был им ответ на угрозы «Бюро», который предполагалось послать в некоторые газеты и в котором от его имени сделаны были следующие заявления:

«1) Никто, кроме меня, не имеет права располагать рукописями моего отца; 2) я считаю своим священным долгом опубликовать все его писания, которые представляют общий интерес, философский и политический; 3) я оставляю исключительно за собою право замедлить опубликование некоторых писаний моего отца, которые касаются вопросов чисто личных или семейных; 4) так как деспотизм и предвари-

тельная цензура для нас одинаково ненавистны, откуда бы они ни исходили, — мы совершенно не считаемся с требованием общества; 5) всякого рода угрозы мы презираем; 6) хотя я никогда не имел намерения начать издание посмертных произведений моего отца с тех вещей, о которых идет речь, я напечатаю их немедленно, если получу новую угрозу.

Мое единственное побуждение в данном случае — любовь к правде, простой и чистой. Если в этих произведениях мой отец ошибался, — пусть укажут; если он был прав, — пусть согласятся» («Архив Огаревых», ГИЗ, 1930 г., стр. 79).

Огарева А. А. Герцен известил, что «наглое и нелепое письмо», полученное им от общества «Народная расправа» вынуждает его взять обратно данное им обещание — «отложить издание статей о социализме» (т. е. упомянутых выше писем к старому товарищу») (Там же, стр. 81).

Как реагировали на угрозы «Народной расправы» Огарев и Бакунин — нам ничего неизвестно.

В конце 1870 г. вышел «Сборник посмертных статей А. И. Герцена», напечатанный в Женеве в типографии Л. Чернецкого. В состав его, среди других статей, вошли «Письма к старому товарищу» и не печатавшаяся при жизни Герцена глава из «Былого и дум», посвященная молодой русской эмиграции, представленной на этот раз Герценом в сильно преувеличенном мрачном освещении. Вероятно, эта глава из «Былого и дум» главным образом и имелась в виду Нечаевым при составлении угрожающего письма от «Народной расправы» в редакцию «Сборника». Тем не менее, когда «Сборник» вышел в свет, ни новых угроз, ни «действий менее деликатным образом» со стороны «Бюро» не последовало.

Письмо от 7 марта 1870 г. Н. А. Огарева в девяностых годах передала издателю «Русской старины» М. И. Семевскому, в архиве которого оно хранится в настоящее время в Институте литературы Академии Наук СССР (Пушкинском Доме).

С. Переселенков

BUREAU
DES AGENTS ÉTRANGERS
DE LA SOCIÉTÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
RUSSE
NARODNAIA RASPRAWA

7 марта
1870 г.

№ 108.
В Женеву

Узнав, что фамилия, когда-то бывшего русского деятеля Герцена, думает начать издание сочинений покойного выпуском тех его статей, которые писаны им не задолго до смерти, в те дни, когда, отдалившись от активного участия в деле, началу которого он более всех содействовал, покойный переживал тот внутренний разлад между мыслью и положением, что составляет неотделимую принадлежность предшествующего поколения, вышедшего из рядов, хотя и талантливого, но все таки тунеядствующего меньшинства — барства, знающего соль и горечь русской жизни только из книжек,

Мы заявляем, что эти статьи столько же противоположны его прежним, несомненно, даровитым произведениям, сколько и всему современному настроению молодых умов в России, и что сам Герцен никогда бы не согласился издать эти произведения в настоящее время. Извещая об таком намерении издателей в Комитет русского дела, которому, как и нам, хорошо известно содержание этих остатков мысли сильной, но непоследовательной, мы, имея в виду единственно пользу нашего дела, обращаемся к издателям с просьбой оставить это намерение без выполнения и начать издание рядом других статей, которые, мы глубоко убеждены, составляют славу его имени.

Высказывая наше мнение гг. издателям, мы вполне уверены, что они, зная с кем имеют дело и понимая положение русского движения, не принудят нас к печальной необходимости действовать менее деликатным образом.

IX. АНОНИМНАЯ БРОШЮРА О ГЕРЦЕНЕ 1870 г.

Публикация Б. Козьмина

Перепечатываемая нами брошюра является исключительной библиографической редкостью. Насколько известно, из всех крупнейших московских и ленинградских библиотек, она имеется только во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.

Брошюра эта была издана в 1870 г., вскоре после смерти Герцена. Ни место ее издания, ни типография, в которой она печаталась, на титульном листе не обозначены (она напечатана без обложки). Но имеется указание, что приобретать эту брошюру можно в Париже и Лейпциге в Интернациональном книжном магазине (Librairie Internationale) и в Берлине и Женеве у всех книгопродавцев.

Фамилия автора брошюры также не указана. Чтобы определить кем она была написана, приходится обращаться к ее содержанию. Из брошюры выясняется, что автор ее:

во-первых, не был лично знаком с Герценом;

во-вторых, во время издания брошюры находился за границей; в конце брошюры мы находим прямое указание на место и время ее написания: «Париж, февраль 1870»;

в-третьих, у него несомненно имелись связи с русской политической эмиграцией, вследствие чего он находился в курсе ее дел и был знаком с историей ее взаимоотношений с издателем «Колокола»;

в-четвертых, автор брошюры — человек уже не первой молодости; по его словам, он «воспитан» на Герцене и обязан ему «в лучшие годы студенческой жизни лучшими часами».

Под все эти признаки, из всех русских, бывших за границей в 1870 г. и поддерживавших связь с эмиграцией, ближе всего подходит известный критик и публицист, сотрудник «Русского Слова» В. А. Зайцев.

В марте 1869 г. Зайцев покинул Россию и перешел на положение эмигранта. На первых порах своего пребывания за границей он поселился в Париже. Тогда же он установил связи с русской эмиграцией. На личное знакомство его с Герценом никаких указаний не имеется.

В 1870 г. Зайцеву шел уже 28-ой год, и он действительно мог еще на студенческой скамье познакомиться с изданиями Герцена. Более молодые представители русского революционного движения, начавшие самоопределяться в политическом отношении после 1861—1863 гг., уже мало интересовались Герценом, видя в нем человека, хотя и заслуживающего уважения, но «отсталого».

Продолжал ли Зайцев в феврале 1870 г., когда была написана печатаемая нами брошюра, жить в Париже? К сожалению, мы не располагаем вполне точными данными о передвижениях Зайцева в 1870 г. Его жена, в своих воспоминаниях, указывает, что, поселившись по выезде из России в Париже, Зайцев в мае 1869 г. ездил в Берлин встречать приехавшую из России семью. Затем, убедившись в дороговизне парижской жизни, он переехал в маленький городок Доль близ Безансона. Оттуда в сентябре 1869 г. он ездил в Лозанну на конгресс Лиги мира и свободы. Далее, в январе 1870 г. он вместе с семьей переехал в Женеву, где завязал сношения с русскими эмигрантами и был принят в Интернационал, но в скором времени «ради экономии и своих работ», переселился в Турин и там обосновался на продолжительное время (В. А. Зайцев за границей. — «Минувшие годы», 1908 г., стр. 70—71).

Если исходить из этих сведений, то приходится прийти к выводу, что в феврале 1870 г. Зайцева в Париже уже не было. Однако, этот довод не может иметь решающего значения. Дело в том, что упоминание о Париже, сделанное в брошюре, могло быть фиктивным, рассчитанным на то, чтобы сбить с толка агентов русской политической полиции и затруднить для них раскрытие анонимного автора интересующей нас брошюры. Кроме того, у нас нет никаких оснований считать, что жена Зайцева в своих воспоминаниях дала исчерпывающий перечень всех его поездок по Западной Европе. Наоборот, из других источников мы знаем о некоторых его поездках, ею не упомянутых. Так, А. Х. Христофоров, долговременный сотрудник Зайцева по эмигрантскому журналу «Общее Дело», в написанном им некрологе Зайцева указывает, что еще в 1869 г. Зайцев приезжал из Франции на короткое время в Женеву и именно тогда был принят в Интернационал. Переезд же Зайцева в Турин он относит на весну 1870 г. («Общее Дело», 1882 г., № 47). Далее нам известно, что в № 1 «Недели» за 1870 г. была напечатана корреспонденция Зайцева «Из Италии», посланная им из Турина и датированная декабрем 1869 г. Эта поездка Зайцева в Италию также не отмечена его женою. Все это показывает, что, живя во Франции, Зайцев не раз ездил в другие страны — в Германию, Швейцарию и Италию. Возможно поэтому предположить, что и по переезде в Женеву он не находился там безвыездно, а продолжал свои разъезды, во время которых мог посетить и Париж.

Однако, в виду изложенного, предположение об авторстве Зайцева нуждается в дополнительном обосновании. Поэтому мы вновь обратимся к брошюре и попы-

таемся выяснить политические взгляды ее автора для того, чтобы сопоставить их со взглядами Зайцева.

Автор брошюры с большим уважением относится к деятельности Герцена, признавая его за «одного из лучших людей нашего времени» и преклоняясь перед его ярким писательским талантом. Вполне правильно он признает, что, несмотря на разногласия, существовавшие между Герценом и Чернышевским и несмотря на ошибки, встречавшиеся в деятельности Герцена, он стоял по ту же сторону баррикад, что и Чернышевский. Несомненно полемизируя с брошюрой А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», автор отгораживается от мнения, что «Чернышевский и Добролюбов — люди противоположного элемента Герцену».

Высоко оценивая личность и деятельность Герцена, автор брошюры тем не менее относит себя к числу людей, которые «во многом расходились с ним с самого начала издания «Колокола». Одновременно с этим он называет Чернышевского «величайшим критиком нашего времени» и пишет: «Мы с восторгом приветствовали Чернышевского еще в 1856 году». Несмотря на это заявление, автора брошюры нельзя рассматривать, как единомышленника Чернышевского. Из его брошюры ясно, что он далеко отходит от редактора «Современника» в вопросах философских. Чернышевский был последовательным материалистом, воспитавшимся на сочинениях Фейербаха. Автор брошюры — тоже материалист, но не фейербахианского типа; его материализм имеет механистический характер, своими учителями он называет Бюхнера, Молешотта и Фогта.

Но этого мало, автор брошюры находится под сильным влиянием контовского позитивизма. Он не понимает непримиримой противоположности, существующей между материализмом и позитивизмом, и прямо заявляет: «в сущности позитивизм есть одна из реальных положительных концепций всего сущего, с которой нигилизм, материализм, атеизм совпадают».

Подобный круг идей крайне характерен для писателей группировавшихся вокруг «Русского Слова». Именно они во главе с Д. И. Писаревым стояли в то время на позициях механистического материализма и пытались сочетать материалистическое мировоззрение с идеями позитивизма. Из этого ясно, что автора брошюры надо искать именно среди этих людей, а раз так, то несомненно, что им мог быть именно Зайцев.

Этот вывод подтверждается также и отношением автора брошюры к Бакунину. Несмотря на то, что он считает себя учеником Чернышевского, он не в силах понять несостоятельности идей «социалиста-федералиста» Бакунина. В его главах Бакунин — выдающийся политический деятель, «атлет-мученик». Мы уже упоминали, что Зайцев был принят в Интернационал. Его вступление в эту организацию совпало с жестокой борьбой, происходившей в ее среде, — борьбой между сторонниками Маркса и поклонниками Бакунина. В этой борьбе Зайцев стал на сторону Бакунина. Он сотрудничал в бакунинских «Бюллетенях Юрской Федерации» и одно время, живя вместе с Бакуниным, записывал с его слов его воспоминания.

Полагаем, что все приведенные выше соображения не оставляют никаких сомнений в том, что автором печатаемой нами брошюры о Герцене является именно В. А. Зайцев.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ РУССКОГО К РУССКИМ

> «В словах, идущих от такого убеждения (которое было бы делом жизни, картой, на которой все поставлено, страстью, болью), остается доля магнетического демонизма, под которым работал говорящий, оттого его речи беспокоят, тревожат, будят, становятся силой, мощью и двигают иногда целыми поколениями».
>
> «Колокол», стр. 364 [1].

Александр Иванович Герцен принадлежал к числу тех немногих, которые не нуждаются после смерти ни в избитых похвалах, ни в оправдании.

Жизнь таких людей лучшая похвала, лучшее оправдание. С нетерпением будем ожидать полной биографии Герцена, которая исчерпывала бы все материалы и представила бы полную картину этой богатой событиями, светлой жизни одного из лучших людей нашего времени; «Былое и думы» знакомят нас с той средой, в которой жил Герцен;

биография его раскроет нам его деятельность, как публициста, мыслителя и человека *.

А пока мы хотим, полные скорби о преждевременной утрате, поделиться мыслью и чувством с друзьями и почитателями А. И. Герцена, и уяснить себе ту чарующую силу, которая притягивала к этой личности людей самого разнообразного направления. — Вся жизнь его представляет удивительное гармоническое целое; угловатости, привходившие извне, сглаживались, перерабатывались и не нарушали цельности характера Герцена. Он обладал таким талантом наблюдательности, что вряд-ли найдется другой мыслитель, соединивший глубину понимания с меткостью, рельефностью оттенков в очертании характеров, событий, частностей. Потому-то место, оставленное Герценом, осиротело надолго. Если и без того не богата наша литература талантами первоклассными, то таких «особенностей», которые так высоко ценились почитателями Герцена, не найдешь ни в одном другом публицисте. Явятся другие, с горячей любовью к делу, люди честные, энергичные, но того значения, которое имел «Колокол», не будет иметь ни один обличительный орган, какое бы ни имел крайнее направление. Сила влияния Герцена с 1858 по 1862 г. заключалась именно в той сдержанности, упругости его мысли, пластичности выражения ее; он таил в душе подчас накипавшее негодование, чтобы не истратиться до поры напрасной злобой на лиц, которые держат судьбы народа: во имя того народа он сдерживал себя, говоря с царем; — другое дело Панины, Закревские, Тимашевы, Норовы и другие им подобные камер-лакеи, преданные общественным мнением на позор, таких он не щадил, неистощимые остроты добивали их окончательно; но Герцен не мог ставить серьезной задачей добивание таких мелких личностей; это был необходимый балласт; как умный публицист, он знал, что ему нужна поддержка многих, не одних всецельно преданных ему по единству воззрений и убеждений, ему нужны были и хористы [2], люди, радовавшиеся, когда так беспощадно смеялись над Паниными и Закревскими.

Это было тактом со стороны Герцена, но он пошел далее, видя что приобретает решительную силу, и в нем росло убеждение, что эту силу он может употребить на благо России. Оттого его решимость писать Александру II, Марье Александровне; он не гнушался писать лицам, обитавшим в Зимнем дворце, и было время, когда читали его там, — хоть из-за «моды» — и слово его не пропадало даром; конечно, ради микроскопической пользы не стоило беспокоить себя, но нельзя бросить упрека на такое благородное увлечение; не будь в России Катковского наводнения, не поверни Александр «вместо вправо — влево» — влияние Герцена должно было бы расти и приобрело бы всемирно историческое значение. Но судьбы истории таковы, что отдельная личность, при всей гениальности, — только орудие законов развития. — Еще не наступила пора в России, чтобы люди закала Герцена, Чернышевского и Добролюбова могли иметь продолжительное влияние; на нашем Севере это — светлые метеоры, и «Полярная Звезда», скрывшаяся за тучами Николаевского царствования, — явилась только на короткое время и со смертью Герцена надолго закатилась.

Сделаем несколько выписок из отрывков V и VI ч. «Былого и дум» («Колокол», стр. 2005), чтобы понять характер деятельности Герцена со смерти Николая. До этого времени в России знали Искандера, как автора «Писем об изучении природы», «По поводу одной драмы»,

* Мы уверены, что А. А. Герцен, сын покойного, сочтет святым долгом перед Россией скорее познакомить нас с драгоценными материалами для биографии отца своего, а также выдаст начатые издания его, готовые к печати главы «Былого и дум» — и из прежних статей «Письма об изучении природы», соображаясь с его волей.

«Капризов и раздумья», превосходных «Записок доктора Крупова» и романа «Кто виноват». Люди, как Грановский, Белинский, считали его самым консеквентным, самым энергичным в своем кружке; когда в 1847 он покинул на долгую, вечную, как он сам предчувствовал, разлуку друзей своих, связь между ними не прерывалась.

В России имя Искандера, повторяемое шопотом, тем не менее не было забыто, и поколение, которое шло за людьми конца сороковых го-



ГЕРЦЕН

Фотография, 1868 г.

Институт литературы, Ленинград

дов, все так же любило запрещенного автора. Трудно было достать полных нумеров «Отечествен. Записок» 1842—46 годов. Статьи с надписью И-р вырезались, покупались на вес золота, переплетались в драгоценный переплет, читались с чувством чуть не религиозным, переписывались друзьями счастливых обладателей этого «священного предания», цитировались при случае и без особенного повода, до самого появления «Полярной Звезды» и «Колокола».

Вот что говорит сам автор о своей жизни и деятельности за границей в это время: «По мере того, как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские

начали избегать меня и побаиваться... К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне заехал в карете и с лон-лакеем А. И. Сабуров, я сам смотрел на это, как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852 г. я в Париже встретил кой-кого из русских, — это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы...

«...Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело; к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатая с Чернецким лист за листом и ссылая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Но не продолжать я не мог: русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались. Вера слабела минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было ни одного слова сочувствия из-дома.

«...С Крымской войной, со смертью Николая, настает другое время...

«...За дело! И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве, громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из России. «Полярная Звезда» читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

«...Весной 1856 приехал Огарев; год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола». Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную Звезду»: «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, неискаженного цензурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение; были письма, от которых слезы навертывались на глазах... Но и не одно молодое поколение поддержало нас...

«...Колокол» власть», — говорил мне в Лондоне, horrible dictu, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу.

«...Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде.

«...По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка» Кочубея, подстрелившего своего управляющего.

«...Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей...

«...Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же, говорил он, мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствующих?»

Значение Герцена как мыслителя вообще — без отношения его к политике — дает ему место в ряду первых мыслителей нашего века. Он был сперва гегелиянцем, как Бакунин и Белинский (до 1842 года); но в начале сороковых годов, освободившись от диалектических цепей философии, пошел вслед тому направлению, которое отрицает все школы, которое отрицает философию и религию, как игру праздной детской фантазии, и первый в России стал предвозвестником «нигилизма» в 1842 г., когда еще никто не касался у нас этих вопросов; он подготовлял этим молодое поколение к принятию идей, сделавшихся теперь ходячей истиной благодаря популяризации этих учений Бюхнером, Молешоттом и Фогтом. Герцен еще недавно, в 1868 году в письме своем по-

зитивисту Вырубову* отстаивал этот «нигилизм»[3]: это не нигилизм, который сочинен Катковым, Муравьевым и К°; это нигилизм современной положительной науки, реализм другими словами, — Клод Бернар называет его детерминализмом; дело не в слове, не в названии; дело в понимании. К числу нигилистов, как понимал Герцен это слово, как мы его понимаем, принадлежат Гумбольдт, Прудон, Гольмгольц, Гарибальди и др., всякий честный развитой человек, свободный от религиозных предрассудков.

Один из присутствовавших на погребении Герцена, Малардье, назвал его русским Вольтером[4]; нам кажется, что это название не совсем верно; он не был Вольтером, он был Дидро XIX века, — Дидро, живший не до грозы 1789 г., а после этой грозы и переживший другую — Июньские дни 1848 г. — Книга «С того берега», — лучшее, что писал Герцен, по собственному его сознанию, — доказывает справедливость нашего воззрения. — Подобной книги нет, она стоит особняком, и нигде нет лучшей оценки событий 1848 года. Герцен встретился с Европой лицом к лицу в разгар революции, западником, врагом славянофильства; он отрезвился, он увидал, что европейский строй гнил, не в том смысле, как понимали славянофилы, а потому гнил, потому что господство буржуазии доигрывает свою роль, пирует свою Вальтазаровскую оргию. Это понимание отдалило его от западников, приблизило к славянам, — «течением времени» он развивался, не коснел, как бывшие друзья и враги его, вместо скептического отношения к России, родилась в нем вера в Россию, как к незараженной болезнью Запада стране, и в Америку, как «будущему России» в подорожной современной истории.

Здесь мы должны остановиться и сделать несколько выписок, чтобы словами Герцена обозначить отношение его и его воззрений к воззрениям славянофилов, и другим партиям с претензией на патриотизм. Лучше всего это высказано им в письме к Бакунину, в письме к противнику (И. Аксакову)[5] и статьях «Концы и начала».

«...Когда я спорил в Москве — пишет он Аксакову («Кол.», стр. 1566)[6], — с славянофилами (между 1842—1846 годами), мои воззрения в основах были те же. Но тогда я не знал Запада, т. е. знал его книжно, теоретически и еще больше — я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, западником. Париж в один год отрезвил меня — за то этот год был 1848 г. Во имя тех же начал, во имя которых я спорил с славянофилами за Запад, я стал спорить с ним самим.

«...Обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону ее врагов, — падение февральской республики не могло меня отбросить ни в католицизм, ни в консерватизм, оно меня снова привело домой.

«...Стоя в стану побитых, я указывал им на народ, носящий в быте своем больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы. Я указывал на народ, у которого нет тех нравственных препятствий, о которые разбивается в Европе всякая новая общественная мысль, а напротив, есть земля под ногами и вера, что она его.

«...И вот пятнадцать лет я постоянно проповедую это, слова мои

---

* Герцен не нападал на позитивизм. Вырубов под нигилизмом понимает полнейшее отсутствие положительного содержания. Оттого, естественно, было ему возражать Герцену. Недоумение на словах, в сущности позитивизм есть одна из реальных положительных концепций всего сущего, с которой нигилизм, материализм, атеизм совпадают.

возбуждали смех и негодование, но я шел своей дорогой. Пришла Крымская война, смех заменился свистом, клеветой... но я шел своей дорогой. По странной иронии мне пришлось — на развалинах французской республики проповедывать на Западе часть того, что в сороковых годах проповедывали в Москве Хомяков, Киреевские... и на что я возражал.

«...Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы. Патологическое описание Хомякова верно, но из этого не следует, что я согласен с его теорией и с его объяснениями зла.

«...Мое воззрение отчасти вам известно, я думаю что знаю ваше, а потому точку определить не трудно. Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему (которую я также, как и «День», не смешиваю с больше и больше ненавистной мне добродетелью патриотизма) и желание деятельно участвовать в его судьбах.

«...Любовь наша не только физиологическое чувство племенного родства, основанное исключительно на случайности месторождения, она сверх того тесно соединена с нашими стремлениями и идеалами, она оправдана верой, разумом и потому она легка и совпадает с деятельностью всей жизни.

«...Для вас русский народ преимущественно народ православный, т. е. наиболее христианский, наиближайший к веси небесной. Для нас русский народ преимущественно социальный, т. е. наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той земной веси, к которой стремятся все социальные учения.

«...Не мы перенесли на народ русский свой идеал и потом, как это бывает с увлекающимися людьми, сами же стали им восхищаться, как находкой».

Идеи славянства повторились еще раз, в новой, еще небывалой редакции на Московском съезде — т. н. этнографической выставке [7]. Палацкий жал руки Каткова и Погодина, славянофилы плакали от умиления, никто из славян не понимал друг друга, и хорошо сделали, что не договорились до вопроса:

Славянские ручьи сольются ль в русском море?
Они ль иссякнут?

А то бы дошло и до драки.

Но какая разница между направлением гуманным Герцена и панславизмом московским!

«Я не могу удержаться от улыбки, — пишет Герцен Бакунину («Колокол», стр. 1992) [8], — читая наши стародавние мысли, разбавленные водой из Фонтанки и из Патриарших прудов, повторяемые на тысячи ладов на московских пирах, на петербургских обедах, на сходах и конференциях, в передовых статьях журналов и в речах злейших врагов наших. Иногда, как Тарас Бульба, я их не тотчас узнаю, все они прошли богословием и оделись в стихари, натерлись постным маслом и пропахли ладоном; самые светские из них в мундирных фраках разных ведомств. Согласись, Бакунин, что, помимо великой иронии, есть глубокое наслаждение в этом карнавальном зрелище чиновничьего обсуживания вопросов о Западе и Востоке и православно-революционной пропаганды, имеющей целью поднять славян с хоругвью Кирилла и Мефодия... Вот какую кору пробило семя,.. и нечего сердиться, что на ростках осталась грязь!»

Из этих строк письма Герцена к Бакунину видны их тесные отно-

шения друг к другу. Бакунин был всегда и остался до сих пор оплотом, самым верным защитником славянства; он понимает славянскую федерацию в будущем как цепь безгосударственных союзов рабочих ассоциаций, — союзов, которые зиждутся и растут в среде «Международной ассоциации рабочих», которой он один из деятельных членов. И Герцен сочувствовал идеям этого великого союза.

Мы уверены, что не станут понимать вкривь и вкось сравнение, которое мы сделаем между Герценом и Бакуниным, с одной стороны, — и Гарибальди и Маццини, с другой. — Это не значит, чтобы Герцен мог играть ту же роль в России как Гарибальди в Италии, первый — герой мысли и слова, второй — меча и дела, Бакунин — социалист-федералист, Маццини — централизатор-республиканец и антисоциалист*; с другой стороны, как не заметить сходства Гарибальди как человека с Герценом как человеком — и неутомимого бойца-мученика Маццини с атлетом-мучеником Бакуниным. Но дело в том, что отношения Герцена к Бакунину сходны между собою как отношения Гарибальди к Маццини; подобно тому как многие поклонники первого не понимают значения второго, — и Герцен какою-то особенно ему свойственной мягкостью характера привлекал большее число почитателей, хотя в сущности Герцен сходился с своим другом в воззрениях и не уступал ему в консеквентности.

Подобные отношения были и между Чернышевским и Добролюбовым. Последнего ставил Чернышевский выше себя именно потому, что Добролюбов не был по нутру тем, которые могли еще переносить Чернышевского. Заговорив об этих двух лучших деятелях начала истекшего десятилетия, мы должны сказать, как к ним относилась редакция «Колокола».

Герцен сам ясно определил свои отношения к Чернышевскому. Слова его должны примирить нас совершенно с невольной ошибкой человека, прожившего более 20 лет на чужбине. Мы далеко не того мнения, что Чернышевский и Добролюбов люди противоположного элемента Герцену; мы помним ту лучшую эпоху нашей жизни, когда имена эти повторялись неразрывно и были дороги одинаково всякому честному человеку в России. Чернышевский и Добролюбов обусловливали Герцена, как он их в свою очередь. Самостоятельность Чернышевского — доказательство его гениальной натуры, а не враждебного отношения к Герцену, который относился к «Современнику» самым симпатическим образом; а два, три столкновения между редакциями — невольная ошибка непонимания — из туманного далека. Герцен открыто в 1861 году заявлял свою солидарность с «Современником» и вот что он писал в 1867 г. («Кол.», стр. 1903)[9];

«...Чернышевский не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, середь петербургского броженья вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающихся угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся — что им делать. Его среда была городская, университетская, среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодованья; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья, первые в России звали не только

---

* Это не упрек... Есть лица, заслуги которых так высоки, так святы, что было бы безумно упрекать, что они несовершенны, как боги.

труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании — и в этом одна из величайших заслуг их.

«...Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в самом деле юной Россией — и прикидывающейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» — и «помещиков в оппозиции».

Польский вопрос провел резкую черту в отношениях Герцена к России. Он остался верным знамени своему, — в России злая сила одолела! Герцен и Бакунин прокляли квасной патриотизм, и во имя человечества стали за подавленную Польшу; в России даже «честные» славянофилы не постыдились участвовать в хоре руссопетствующего патриотизма, охватившего правительство, духовенство, литературу, так что в этом смешении языков и наречий, одежд и лиц трудно было найти что-нибудь разумно-человеческое. Филарет [10], отплевывавшийся от Каткова в 1855, «аки от еретика человека», в 1863 г. шлет ему благословение и лик архангела Михаила; Катков, бывший друг Грановского, становится гнусным ренегатом, адвокатом виселицы, публицистом на содержании; Аксаков боится отстать от «западников» во рвении и заявлении верноподданических чувств. — Злая сила одолела и уж не «Галелеянин» победил [11], а просто наглое нахальство и изуверство сиамских братьев «Московских Ведомостей». Немногие остались верны Герцену, и это были лучшие люди на Руси, но и между ними произошло раздвоение.

Между тем как одни были сосланы, запуганы, другие теряли веру в возможность плодотворной деятельности и остановились, выжидая чего-то, часть молодого поколения, измученная, оклеветанная, раздраженная реальными, ею претерпенными, несправедливостями, озлобилась, и на обвинение в «нигилизме» ответила выстрелом 4-го апреля [12]... Герцен, по натуре своей верный своему прошедшему, не мог без оглядки ударить в набат; он разошелся с этой частью молодого поколения, желающей мести во что бы то ни стало; опытность мыслителя не совпадала с горячкой молодых сил, дело шло дальше слова; Герцен понял, что ему лучше остаться наблюдателем, и он замолк; в его намерении однако было выждать, осмотреться, и сколько светлых идей было-бы им брошено снова в мир, если б не глупая случайность, пресекшая эту богатую жизнь!

О начале своего разрыва с молодой Россией он рассказывает сам в № 245 «Колокола»; приводим живой рассказ его. Приезжает молодая девица, посланная к нему для объяснений на счет пожаров в Петербурге; это было летом 1862 г. [13]

— «Скажите бога ради, да или нет, — вы участвовали в петербургском пожаре?

— Я?

— Да, да, вы; вас обвиняют... по крайней мере, говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

— Что за безумие, и вы это можете принимать так серьезно?

— Все говорят!

— Как это все? Какой-нибудь Николай Филиппович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

— Нет, люди близкие вам, люди, страстно любящие вас, — вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут...

— А вы сами верите?

— Не знаю. Я за тем и пришла, что не знаю, а жду от вас объяснения...

— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы сказал вам это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить... Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтобы рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было видно раздумие и сомнение. — Заклеймите печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или...

— Или что? Ну полноте, — сказал я ей, улыбаясь, — играть роль Шарлоты Корде; у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне. Вам стыдно, и нашим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые очень может быть столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

— Так вы решительно не будете оправдываться?

— Нет...

«...В то время, как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами как с о т с т а л ы м и на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни сгубят уплывших далеко, и только часть причалит назад к берегам.

«...Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только-что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров, перед печатными доносами, — это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наушничаний.

«...В то же время радикальная партия, юная и потому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестясь и отплевываясь, бежали зажимая уши и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции.

«...Едва призванная к жизни сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме, она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

«...Наше положение становилось труднее и труднее. Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва.

«...Точно потерянные витязи в сказках, мы ждали на перепутьи. Пойдешь направо — потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево — конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед — все тебя оставят; пойдешь назад — этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынник, который бы снял с нас тяжесть раздумья...» («Кол.», стр. 2002).

Грустно было Герцену причисление его деятельности «Молодой Россией» к категории «отсталой» или по крайней мере «отставшей», между тем, как «пожилая» считала его чуть не опаснее Стеньки Разина, Пугачева. Герцену было больно от этой размолвки с частью молодого

поколения, но это была только одна часть, передовая боевая колонна, которая рвалась на битву, ей не сиделось на месте, она нетерпеливо относилась к речи, жаждала дела. — Герцена нельзя именно обвинить в отсталости, он до последней минуты сохранил свежесть юношеского увлечения, его мозг не начинал еще коснеть, как он сам мог ожидать это лет через 20 или 30. Вспомним слова Полевого, сказанные ему при последнем свидании («Былое и думы», т. I, стр. 214) [14].

Герцен не от усталости перестал звонить в «Колокол», а оттого, что он видел, что благовест к «собору» — проповедь в пустыне; а в «набат» ударить было против его убеждений, против характера всей его деятельности.

Он не ударял в набат, но не помешал другим, никогда не вырвалось у него крика: назад! Он понимал свое призвание и не хотел оставлять своего поста. Он был первым предвозвестником борьбы, глашатаем пробужденной мысли в России, ему и след было оставаться спокойным, бесстрастным наблюдателем, обозревающим вперед идущих, и потом кликнуть первому радостную весть о победе. — Вот его слова в конце 1862 г. («Колокол», 15 авг.) [15]:

«Молодая Россия» думает, что «мы потеряли всякую веру в насильственные перевороты».

«Не веру в них мы потеряли, а любовь к ним. Насильственные перевороты бывают неизбежны; может, будут у нас, это — отчаянное средство, ultima ratio народов, как и царей; на них надобно быть готовым; но выкликать их в начале рабочего дня, не сделав ни одного усилия, не истощив никаких средств, останавливаться на них с предпочтеньем, нам кажется так же молодо и незрело, как нерассчетливо и вредно пугать ими.

«...Кто знаком с возрастом мыслей и выражений, тот в кровавых словах «Юной России» узнает лета произносящих их. Террор революций с своей грозной обстановкой и эшафотами нравится юношам так, как террор сказок с своими чародеями и чудовищами нравится детям.

«...Террор легок и быстр, гораздо легче труда, «гнет, не парит, сломит — не тужит», освобождает деспотизмом, убеждает гильотиной. Террор дает волю страстям, очищая их общей пользой и отсутствием личных видов. Оттого-то он и нравится гораздо больше, чем самообуздание в пользу дела.

«...Мы давно разлюбили обе чаши, полные крови, штатскую и военную, и равно не хотим ни пить из черепа наших боевых врагов, ни видеть голову герцогини Ламбаль на пике... Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы, и если иногда следует перешагнуть их, то без кровожадного глумления, а с печальным трепетным чувством страшного долга и трагической необходимости.

«...К тому же и май смерти, как май жизни, цветет только один раз. Террор девяностых годов повториться не может, он имел в себе наивную чистоту неведения, безусловную веру в правоту и успех, которых последующие терроры не могут иметь. Он развился, как тучи развиваются и разразился, когда был слишком переполнен электричеством; оттого-то в его мрачном характере есть какая-то девственная непорочность, в его беспощадности — детское добродушие. И при всем этом террор нанес революции страшнейший удар.

«Французский террор всего менее возможен у нас. Революционные элементы во Франции стекались из городов в Париж, там троились в клубах и конвенте и шли с мечем и топором в руке проповедывать филантропические идеалы и философские истины до последнего городского вала, до последнего горожанина, редко далее. Крупицы падали и мужикам, но случайно. Революция как стремительный поток захваты-

вала берега полей, подмывала их, но не теряла своего главного, муниципального русла.

«...Децентрализация — первое условие нашего переворота, идущего от нивы, от поля, от деревни и вовсе не в Петербург, откуда народ до 19 февраля 1861 года ничего не получал, кроме бедствий и унижений, и не в Москву, где рядом с мощами почивают и живые, довольные как Симеон богоприемец тем, что увидели нарождающуюся Русь».

Вера в молодые силы России была его заветной мыслью. Он с нею и умер, и ее он завещал молодому поколению.

Не надо потому мерить значения заслуг Герцена по теперешним результатам его пропаганды, надежды его не исполнились, ибо были иногда преувеличены, он тщетно звонил к «Земскому собору»; мирного переворота не суждено было ему видеть, но он умер, не дожив до разочарования.

Если практическая сторона деятельности Герцена по результатам может быть названа делом почти бесплодным в настоящем, то в будущем теоретическая сторона, т. е. семена социальной науки, брошенные им, найдут плодотворную почву. Грустно было бы подумать, что Пушкин прав, говоря:

Свободы сеятель пустынный,
Я рано вышел до звезды:
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя,
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды!
Паситесь добрые народы,
Вас не разбудит чести клич!

Или Аксакова слова и теперь еще имеют смысл?

Бесплодны все труды и рвенья,
Бесплоден слова дар живой,
Безумен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!
Безумна честная отвага
Правдивой юности, и с ней
Безумны все желанья блага,
Святые бредни юных дней!..

И где найти ответ на вопрос Некрасова русскому народу:

Ты проснешься-ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Создал песню, подобную стону
И духовно навеки почил?

Мы удерживаемся от пророчества и не верим ни оракулам, ни предсказателям. — Время даст ответ... Увидим! — Добрая память честному деятелю А. Н. Герцену и с свежими силами вперед, молодое поколение!

Париж, февраль 1870.

* * *

Мы считаем нужным сделать оговорку для проницательного читателя, которому покажется наша простая беседа каким-то панегириком Герцену. Успокойтесь, проницательный читатель, мы не знали лично Герцена, мы любили его и будем неизменно уважать его память оттого, что мы и друзья и товарищи наши воспитаны на нем, мы обязаны ему были в лучшие годы студенческой жизни лучшими часами, теми, которые проводили читая его. Те, которые пристали в Герцену во время его блеска и славы, те не могли ни понять его, ни ценить его,

когда он сошел со сцены. Большая часть бросила его из того, что мода прошла, другие, что уж очень «красным» стал, да нас заденет пожалуй, третьи оттого, что Польшу защищает, — все эти ненужные поклонники отстали и не было бы беды. Но где же те остались, которые любили его искренно; и их осталось немного, потому что большая часть отошла от него, как от человека, отыгравшего свою роль — остались те, которые любили его не за внешний блеск, не за шум, не за успех, а за внутреннее содержание, за его глубокий ум, за его благородный характер, за все его прошедшее; за все это любили его не одни русские, за эти человеческие достоинства любили его лучшие люди нашего века.

Им мы подготовлены и к пониманию Чернышевского. Мы с восторгом приветствовали Чернышевского еще в 1856 году, мы чтим его и будем всегда ему верны так же, как и Герцену. Мы считаем Чернышевского величайшим критиком нашего времени; это наше убеждение, которое смело можем высказать: Герцен и Чернышевский два величайшие мыслителя России и одни из первых нашего века. Здесь, в сфере мысли они были равны друг другу. Проницательный читатель должен понять, что мы в сфере политической деятельности отдаем преимущество Чернышевскому как «из народа вышедшему», но разве не громадная заслуга Герцена, что он, избалованный воспитанием, сумел вынести из среды своей и внешний блеск цивилизации и так близко, таким верным чутьем подойти к пониманию народа?

У нас русских — совершаются странные дела: будь Герцен италиянец, француз, англичанин, и сойди он со сцены и умри тихо, без шума, — заговорило бы народное самолюбие и, несмотря на старые грехи и ошибки, воздало бы честь гражданину, честно послужившему родине. Герцен по уму, таланту, по всему складу жизни выше многих европейских знаменитостей, хоть бы Victor Hugo, Ledru-Rollin и т. п.

А на его могиле при погребении было всего 500 человек, да и большею частью французов! Спасибо Вырубову, что он от лица русских сказал несколько теплых, задушевных слов [16].

Мы ставим выше всего идею равенства, и не любим оваций и триумфальных декораций, но непризнание таланта есть своего рода оскорбление человеческого достоинства, и на Гете и Гумбольдта можно нападать — но кто же осудит невольное желание почтить так или иначе их память?

Мы остались верны Герцену, хотя во многом расходились с ним с самого начала издания «Колокола». Но мы не можем не ценить его как одного из лучших классических писателей наших... Гоголя не забудут как автора «Мертвых душ», несмотря на дикую переписку с друзьями, а Герцен не дал почувствовать ни одного такого диссонанса, который бы оскорбил демократию. Он умер в Париже 21 января, в rue de Rivoli с теми же убеждениями, с какими выезжал весной 1847 года из России. Errare humanum est, ошибался и он, и охотно выслушивал упреки, когда они шли с «левой» стороны. — Упреки эти были, может быть, и основательны; насколько, мы не можем судить, ибо не знаем этих «домашних дел» эмиграции [17]. Но видеть недостатки такого человека как Герцена еще не значит быть гениальнее его, при всей честности убеждений и прямоте характера, всегда достойных уважения. Оттого то нам отрадно заявить, что Герцен в последние дни еще сочувственно говорил об одном честном молодом деятеле, так рано умершем в Женеве, который в свое время высказал ему много горького за-за любви к правде (хотя в форме, не одобренной даже его ближайшими друзьями. Мы ценим благородную деликатность редакции «Народного Дела», только вскользь упомянувшей об этой размолвке) [18].

Смерть нивелирует, примиряет; мы уверены, что могила Герцена не

будет забыта не только ни одним честным русским, но что вообще память его будет чтиться всеми честными людьми — хотя и с различными оттенками во мнениях, принадлежащими к одному великому братскому союзу, называемому Интернациональной Ассоциацией. В этом союзе нет места ни мелкому эгоизму, ни поклонению избранникам, но коллективность как сумма равных личностей любит чествовать тех из среды своей, которые особенно послужили на пользу общую. Internationale заявила в своем органе «Egalité», что она не забудет Герцена, как Герцен не забывал своей связи с ней.

[1] Цитата из статьи «Very dangerous!!!» (Герцен, т. X, стр. 11).

[2] «Хористы» — термин, заимствованный автором брошюры у Герцена. В «Былом и думах» Герцен называл «хористами революции» обывателей, становящихся на сторону революции в момент подъема революционной волны.

[3] Имеется в виду «Ответ г. Вырубову» (Герцен, т. XXI, стр. 287).

[4] Малардье — французский политический деятель, член Учредительного собрания 1848 г. Присутствуя на похоронах Герцена, он бросил в могилу на его гроб букет красных иммортелей, сказав: «Вольтеру XIX столетия».

[5] «Письма к противнику» были адресованы Герценом не к И. С. Аксакову, а к Ю. Ф. Самарину.

[6] Цитата из «Писем к противнику» (Герцен, т. XVII, стр. 369).

[7] В 1867 г. в Москве, в связи с открытием этнографической выставки был организован, в целях панславистской пропаганды, всеславянский съезд.

[8] Цитата из статьи Герцена «Из письма к М. Бакунину» (т. XIX, стр. 383).

[9] Цитата из статьи Герцена «Порядок торжествует» (т. XIX, стр. 123).

[10] Филарет (1783—1867) — московский митрополит.

[11] Намек на статью Герцена «Через три года» (т. IX, стр. 126), которой Герцен в 1858 г. отозвался на царские рескрипты, возвещавшие начало работ по подготовке крестьянской реформы. Эта статья начиналась словами: «Ты победил, Галилеянин!»

[12] Выстрел 4 апреля — покушение Каракозова на Александра II в 1866 г.

[13] Цитата из главы «Апогей и перигей» 6-ой части «Былого и дум».

[14] Н. А. Полевой во время одного спора с Герценом о социализме, на упрек последнего в отсталости, сказал ему: «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь скажет: «ступайте прочь; вы — отсталый человек».

[15] Цитата из статьи Герцена «Журналисты и террористы» (т. XV, стр. 371).

[16] Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913)—философ-позитивист, с 1867 г. редактор журнала «Philosophie positive». Речь Вырубова была единственной речью, произнесенной на могиле Герцена.

[17] Намек на брошюру А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела».

[18] Имеется в виду некролог А. А. Серно-Соловьевича, напечатанный в № 7—10 «Народного Дела» за 1869 г.

[19] «Egalité» — орган женевской секции Интернационала. В 1870 г. редактором «Egalité» был Н. И. Утин.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Н. И. САЗОНОВА

I. ЛИТЕРАТУРА И ПИСАТЕЛИ В РОССИИ.— I. ПРАВДА ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ.— III. ПИСЬМА.

Публикация Б. Козьмина

Эпоха 30-х и 40-х гг. прошлого столетия имела большое значение в истории русского общества. Если в 60-х годах Россия, по выражению В. И. Ленина, сделала первый шаг по пути превращения из феодальной монархии в буржуазное государство, то уже в 30-е и 40-е годы ясно обозначались причины, побуждавшие господствовавший в то время в России общественный класс, ради спасения своего положения и сохранения за собой руководящей роли в государственной жизни, пойти в недалеком будущем на уступки новой общественной силе, нарождавшейся в России в лице буржуазии. Именно в эту эпоху, — в 30-е и 40-е годы, — кризис крепостнической системы, начал проявляться с полной ясностью, а это, естественно, не могло не отражаться и на тогдашней российской интеллигенции.

Однако, несмотря на большое значение, которое 30-е и 40-е годы имели в истории русского общества, люди и события этой эпохи далеко еще не изучены нами в достаточной мере. Правда, мы более или менее хорошо знаем жизнь и деятельность выдающихся тогдашних деятелей: Белинского, Герцена, Грановского. Что же касается второстепенных представителей этой эпохи, тех людей, которые группировались вокруг Герцена, Белинского, Грановского, то с ними дело обстоит гораздо хуже. Их жизнь и деятельность до сих пор изучена нами весьма недостаточно. Их литературное наследство до сих пор не вполне выявлено. Между тем материалы об этих людях интересуют нас не только в личном плане, но и в типовом отношении. Изучение их жизни вводит в научный оборот материал, — подчас весьма яркий и показательный, — для общей характеристики как их эпохи, так и общественной среды, к которой они принадлежали. Поэтому изучение их жизни и деятельности является одной из очередных задач, стоящих перед нашими историками и историками литературы. То же самое можно сказать о литературном наследстве, оставленном ими. Пора вспомнить этих полузабытых людей.

Одним из них является Николай Иванович Сазонов.

Близко знавший его Герцен писал в «Былом и думах»: «Сазонов прошел бесследно и смерть его также никто не заметил, как всю его жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, которые клали на него его друзья».

И далее: «Сазонов был действительно праздный человек и сгубил в себе бездну сил; затертый разными разностями на чужбине, он пропал как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой» [1].

В основном эта суровая оценка Герцена вполне правильна. Действительно, Сазонов далеко не дал всего того, что можно было ожидать от его незаурядных сил и таланта. Однако, это не должно уменьшить нашего интереса к его личности и судьбе.

Сазонов принадлежал к числу людей, о которых тот же Герцен писал: «Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья, из-за своих убеждений». И Герцен был вполне прав, когда при этом добавлял: «Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть» [2]. Но одного этого мало. Самая бесплодность жизни людей, подобных Сазонову, не может не привлекать к себе нашего внимания. Ее нельзя рассматривать как случайный факт, она нуждается в объяснении.

Сазонов был на три года моложе Герцена. Он родился в 1815 г. в Рязани, в богатой помещичьей семье. В 1830 г. он поступил в Московский университет. Несмотря на то, что ему в это время шел только шестнадцатый год, он уже тогда обращал на себя внимание своими дарованиями и начитанностью. Уже тогда проявлялись в нем сильное самолюбие, самонадеянность и стремление играть первую роль. Знавший Сазонова по университету К. С. Аксаков отзывается о нем как о человеке выдающемся. «Сазонов, — пишет он, — был человек умный, но фразер и

эффектер... Сазонов считался первым студентом, я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка — это другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает» [3].

В этом свидетельстве Аксакова особенно интересно указание на увлечение молодого Сазонова французской литературой. Это указание приобретает особый смысл потому, что исходит от человека, предпочитавшего немецкую философию французской политической литературе. Интерес к вопросам политики сближал Сазонова с Герценом и Огаревым, с которыми он, так же как и с Аксаковым, встретился в университете.



Н. И. САЗОНОВ

Фотография

Литературный музей, Москва

До нас дошел написанный Герценом план журнала, который он вместе со своими ближайшими товарищами собирался издавать в 1834 г. В редактировании этого журнала, на ряду с Герценом и Огаревым, должен был принимать участие и Сазонов. Предполагалось, что он будет работать в отделах философии истории и статистики [4].

Сазонова сближала с Герценом общность их политических взглядов. Оба они питали горячую ненависть к существовавшему в то время в России политическому строю. Оба они восторженно мечтали о революции, которая довершила бы дело, начатое декабристами.

«Мы, — писал о себе и об Огареве Герцен, — вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента» [5].

Так составилась небольшая группа университетских друзей, переживавших, по выражению Герцена, «шиллеровский период» своего политического развития и одержимых жаждой прозелитизма.

«Проповедывали мы везде, всегда... — вспоминал Герцен. — Что мы, собственно, проповедывали — трудно сказать. Идеи были смутны. Мы проповедывали дека-

бристов и французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию; мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе; но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу» [6].

В написанной Сазоновым много лет спустя статье о Герцене (см. ее в настоящем номере) он с большой теплотой вспоминал о своем студенческом кружке и, подобно Герцену, отмечал недостаточную зрелость политического сознания его участников и способность их увлекаться всем, что соответствовало их юношескому восторженному настроению.

«Всё, начиная с нашей одежды, — писал Сазонов, — говорило о странном смешении: зимой мы носили черные бархатные береты à la Карл Занд и теплые платки трех французских цветов. На сходках мы декламировали запрещенные стихи Рылеева и Пушкина и распевали наполеоновские песенки Беранже вперемежку с антифранцузскими песнями Арндта, Уланда и Кернера. Книги, которые мы читали, были еще того разноообразнее; мы с одинаковым пылом разыскивали редкие еще в то время книги о французской революции и натурфилософские сочинения Шеллинга и Окена. Все, начиная с мистических измышлений Якова Бема и кончая ямбами г. Барбье и «Шагреневой кожей» Бальзака, все волновало, захватывало и приводило нас в восторг, подчас несколько однообразный и бесплодный, но зато всегда искренний».

И вслед за этим Сазонов делает замечание, крайне важное для правильного понимания и истолкования восторженной революционности членов кружка: «Прибавьте сюда еще общий тон русской жизни и то обстоятельство, что большинство из нас благодаря родительскому состоянию было обеспечено от всяких забот о будущем и училось лишь из любви к науке, без какой либо определенной цели» [7].

Знакомство с идеями западного утопического социализма и в частности с сочинениями Сен-Симона оказало громадное влияние на членов кружка. Их прежние мечты о политическом освобождении родины стали переплетаться с планами социального переустройства.

Позднее в «Исповеди лишнего человека» Н. П. Огарев писал:

«Ученики Фурье и Сен-Симона, —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим соцьялизм».

Два момента, как указывает Герцен, особенно интересовали его и его товарищей в социально-политических построениях Сен-Симона: это — с одной стороны, «освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с равным», а с другой, «оправдание, искупление плоти».

Освобождение женщины и реабилитация плоти были для Герцена и его товарищей «великими словами, заключающими в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый» [8].

Это признание Герцена не надо понимать в том смысле, что члены кружка совершенно игнорировали экономическую сторону доктрины Сен-Симона. Мечты великого утописта о пересоздании людей и человеческого общества при помощи «индустриализации» не могли не поражать воображения юных московских мечтателей. Однако, «общий фон русской жизни», говоря словами Сазонова, отодвигал для них эту сторону учения Сен-Симона как бы на второй план. Свобода человека, — в том числе и женщины, — стояла у них на первом месте.

В письме Сазонова к Кетчеру, публикуемом в настоящем номере, имеется несколько очень интересных строк о сберегательных кассах, в то время бывших новостью не только в России, но и на Западе. Из слов Сазонова можно понять, что он готов был придавать громадное значение этому виду общественного кредита. Чтобы объяснить это, необходимо вспомнить, какое громадное значение придавал организации кредита в деле индустриализации Сен-Симон.

Мечтателю о лучшем будущем человечества, мало знакомому с практической жизнью и с порядками буржуазного общества, — а именно таким был в те годы Сазонов, — могло представляться, что сберегательные кассы, притягивая к себе скромные сбережения тружеников, в дальнейшем своем развитии превратят своих вкладчиков в хозяев народного производства Так могли преломляться экономические идеи Сен-Симона в головах его русских учеников.

Любопытно отметить и другой момент, характеризующий восприятие идей Сен-Симона его русскими поклонниками. Сен-Симон, как и большинство утопических социалистов, был противником революции; он верил в возможность перестроить общественный строй путем развития промышленности и мирных реформ. Русские же «ученики Фурье и Сен-Симона», как отмечает в «Исповеди лишнего человека» Огарев, не переставали быть в то же время и «детьми декабристов». Тут вновь давал себя знать «общий фон русской жизни». Молодые мечтатели слишком хорошо зна-

комы были с гнетом самовластия и вопрос о политическом освобождении родины не мог не интересовать их. Становясь последователями Сен-Симона, они не переставали быть революционерами и врагами абсолютизма.

В этом — специфическая черта «русского сен-симонизма» Герцена и его товарищей.

Характеризуя «социализм» Герцена, В. И. Ленин писал: «В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которую облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия» [9].

Такая характеристика приложима не к одному Герцену, но в равной мере и к другим тогдашним русским «социалистам», в том числе и к Сазонову. На истории его политического развития справедливость ленинской характеристики подтверждается особенно ярко и отчетливо.

В 1834 г. пути Сазонова и большинства его товарищей по кружку разошлись на долгое время. Герцен, Огарев и некоторые другие члены кружка были арестованы и отправлены в ссылку. Сазонов, как и Кетчер, случайно уцелел. Встретиться с Герценом ему пришлось только в 1847 г. за границей.

С конца 30-х годов Сазонов поселился в Париже [10], только на короткое время наезжая в Россию в 1842—1843 гг. И развлечения, которые Париж в таком изобилии доставляет иностранцам, и оживленная политическая жизнь этого города одинаково увлекали Сазонова.

Большой любитель хорошо и весело пожить, человек, не умевший стесняться в расходах и отказывать себе в прихотях, вывезший из крепостной России привычку «большого барина» быть постоянно окруженным прихлебателями и приживалами, Сазонов чувствовал себя в Париже, в его ресторанах и кабачках, среди интернациональной богемы, как рыба в воде. Несмотря на то, что он получал из России от родных значительные суммы денег, их не хватало ему на широкую жизнь, которую он вел. Приходилось входить в долги, и эти долги привели его к тому, что в 1846 г. он очутился в парижской тюрьме Клиши, предназначенной для заключения несостоятельных должников. Срочно приехавшим в Париж сестрам Сазонова пришлось выкупать брата из этого злачного места. Однако и по выходе оттуда Сазонов не нашел в себе силы отказаться от привычной ему жизни не по средствам, не мог отучиться от своих «аристократических претензий, которых сущность состояла в том, что он мог тратить по 100 франков в день» [11]. А средства становились все скромнее, так как хозяйственное положение семьи Сазоновых значительно пошатнулось.

Не меньше ресторанов и кабачков привлекали к себе Сазонова и общественные собрания, и литературные клубы, и парламентские заседания [12]. Он поддерживал связь с деятелями тогдашних французских тайных обществ и с многочисленными в то время в Париже иностранцами — политэмигрантами разных национальностей: немцами, поляками, итальянцами и др. Особенно он подружился с известным немецким поэтом Георгом Гервегом. Познакомился он и с Карлом Марксом, приехавшим в Париж в конце 1843 г.

Как же отразились заграничные впечатления на политических взглядах Сазонова? Что стало с его юношескими мечтами о революции и с увлечением идеями Сен-Симона? Опубликованное недавно письмо его к Огареву, относящееся к 1844 г., дает возможность до некоторой степени осветить этот вопрос. Письмо это было написано в ответ на письмо Огарева, в котором последний сообщал своему другу, как тяготит его жизнь в богатстве, и знакомил его со своим планом посвятить себя народу и жить с ним вместе, жить так же как живет и он. Сазонов резко возражал против желания Огарева «уйти в прелетарии» [13]. Он обвинял Огарева в неискренности и в стремлении затушевать истинные мотивы, обусловившие его мечты об отказе от богатства. «Богатым быть хлопотно, — писал Сазонов, — а употреблять богатство честным образом так, как ты разумеется, хочешь употребить его — еще хлопотнее, даже несносно, — лучше развязаться со всеми хлопотами и жить припеваючи без всякой ответственности. Не так ли?» Сазонов, по его словам, живо и искренно сочувствует положению тех, кто трудится из-за насущного хлеба, но не видит никакой надобности «самому свободно повергаться во власть природной необходимости и случая». «Работа принужденная, — пишет он, — отнимает свободу посредством лишения, так же как богатство отнимает свободу посредством излишества. Богатому человеку можно силой воли достигнуть свободы деятельной, трудящемуся по необходимости, при всех возможных усилиях, остается только свобода резигнации». Конечно, такие мысли могли возникнуть только у человека, выросшего в среде, не знающей «работы по необходимости», и привыкшего свысока относиться к труду не по влечению, а из-за куска хлеба. Труд его крепостных освобождал Сазонова от такой работы.

Сазонов признается далее, что такие слова как социализм, коммунизм теперь ему «кажутся подозрительными». Про коммунизм он пишет: «Если бы даже в нем была какая истина, то надо отложить всякое о нем толкование до отдаленного будущего, потому что в настоящее время эти толкования существенно мешают возможному развитию гражданственности... Но далее, входя в разбор самого дела, я

решительно отвергаю всякую истину в коммунизме». Одинаково отрицательно Сазонов относился и ко взглядам Прудона, и к построениям Луи Блана, и к мечтаниям Кабе, и к проповеди «немецкого портного Вейтлинга». Он иронически отзывается о коммунизме, «принадлежащем портным, сапожникам и пр.». Истинный смысл и значение рабочего движения недоступны пониманию Сазонова. Он отвергает принцип «организации труда», находя в нем начало принуждения, «между тем, как единственное условие всякой усиленной работы — свобода». Он осуждает Маркса и Гервега за их увлечение «крайними теориями» и добавляет: «Вот почему, друг, я тебя уговариваю, прошу, умоляю не отдаваться этим заоблачным теориям»[14].

Глубокое разочарование в идее социализма сказывается в письме Сазонова Огареву. Этой идее он противопоставляет идею индивидуализма, идею свободы. От «прекраснодушной фразы» Сазонов отказывается. Остается неприкрытая «революционность буржуазной демократии». А в том, что эту революционность Сазонов еще сохранял, свидетельствуют и связи его с западными революционными кругами, и, поражавшая в 1847 г. Герцена при его встрече в Париже с Сазоновым, вера последнего в неминуемую близость революции в России[15].

Вера в близость революции в России, — а если и не революции, то по крайней мере революционной ситуации, вынуждающей царское правительство пойти на уступки и принять конституцию, — особенно возросла в Сазонове в 1848 г., когда Западная Европа была охвачена пламенем революции, угрожавшим перекинуться через рубежи николаевской России.

Февральский переворот 1848 г. в Париже, свидетелем которого был Сазонов, способствовал возрождению в нем его юношеских увлечений социализмом. Роль парижских рабочих в этом перевороте показала ему, что «коммунизм портных и сапожников» — дело значительно более серьезное, нежели ему представлялось за четыре года до этого, когда он писал свое вышецитированное письмо Огареву.

В революции 1848 г. Сазонов принимал деятельное участие. Он был в числе организаторов интернационального клуба «Братство народов», одного из многочисленных клубов, возникших в Париже после февральских дней. Он принимал участие в ряде тогдашних демократических газет, но нигде не мог ужиться на более или менее продолжительное время. Он входил в редакцию газеты «Tribune des Peuples», основанной польскими эмигрантами во главе с Адамом Мицкевичем и писал в ней под псевдонимом Волкова, проводя в своих статьях, между прочим, мысль о том, что русская крестьянская община может развиться в ячейку общественного строя будущей России. В 1849 г. Сазонов вошел в редакцию газеты Прудона «Voix du Peuple», «работал сначала с увлечением», по его собственным словам, но вскоре рассорился с ее главным редактором. Затем он перекочевал в газету Ламеннэ «Réforme», ближайшее участие в которой принимали итальянские эмигранты-мадзинисты. В этой газете Сазонов редактировал иностранный отдел.

Не без оснований поэтому Герцен в одном из писем своих называл Сазонова человеком «имеющим вес в европейском движении»[16].

Участие Сазонова в революции 1848 г. не могло не обратить на него внимания русского правительства. Николай I повелел наложить запрещение на имение Сазонова, а самого его вызвать в Россию. Сазонов отказался возвратиться на родину и в 1850 г., по постановлению Государственного совета, был лишен всех прав состояния и изгнан навсегда из России.

В начале 1850 г., когда реакция во Франции окрепла, французское правительство выслало Сазонова из Франции под предлогом, что он «злоупотребил правом убежища, вмешиваясь во внутренние дела приютившей его страны».

Сазонов перебрался в Швейцарию. Поселившись в Женеве, он примкнул к местной эмигрантской колонии и сотрудничал в органе последователей Кабэ «Populaire».

К женевскому периоду жизни Сазонова относится его чрезвычайно интересное письмо к Карлу Марксу (от 2 мая 1850 г.), давшее повод некоторым исследователям объявить Сазонова «первым русским марксистом». С особою категоричностью эта точка зрения была выражена П. Н. Сакулиным, назвавшим Сазонова «убежденным последователем Маркса». «Обширное письмо от 2 мая 1850 г., — писал Сакулин, — свидетельствует, что к этому времени Сазонов уже превратился в настоящего марксиста»[17]. Однако, внимательный анализ письма Сазонова с достаточной убедительностью показывает полную неосновательность этого утверждения, основанного на некоторых отдельных высказываниях Сазонова и игнорирующего основное содержание его письма.

«Серьезный революционер может быть только коммунистом, и я теперь коммунист», — писал Сазонов Марксу. Он отрекался далее от «принципа индивидуальной свободы», находя, что этот принцип исчерпал себя и что всякое расширение его «было бы только призрачным и иллюзорным». Он спешил порадовать Маркса сообщением, что «в оценке людей и событий — почти во всем» согласен с ним. «Вам приятно будет узнать, — писал он, — что я вполне присоединяюсь во всем существенном к тому, что вы высказали в манифесте, опубликованном вами в Брюсселе». Наконец, — и в этом основная цель письма Сазонова, — он приглашал Маркса

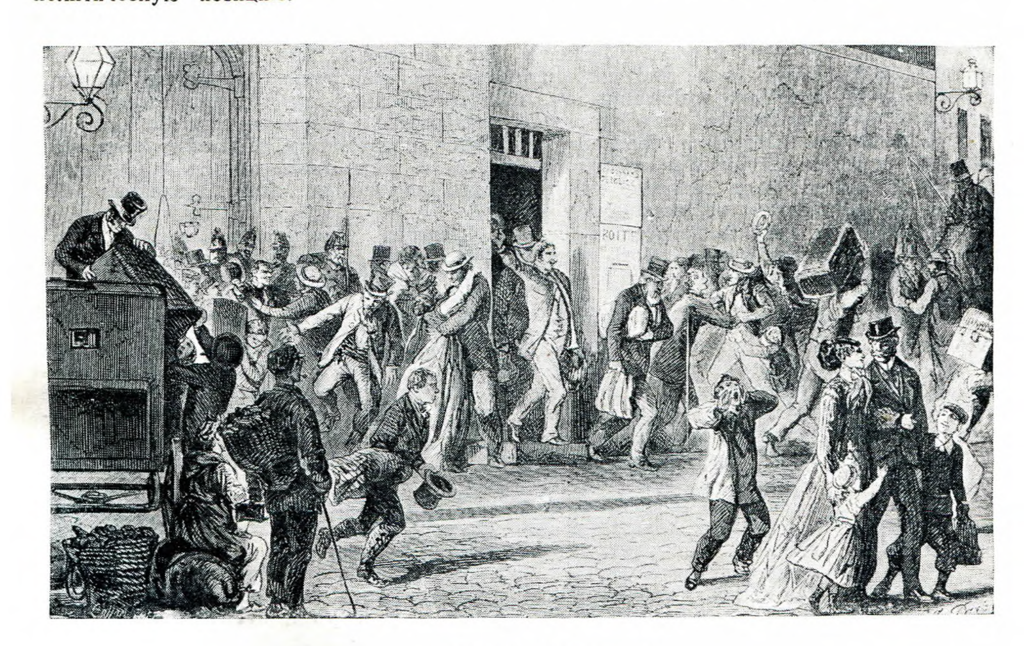
принять участие в журнале, издание которого задумано им, Сазоновым, совместно с некоторыми другими деятелями тогдашней демократии. Задача этого журнала «заключается в том, чтобы создать европейскую силу для реализации коммунизма и указать практические средства для его осуществления». Кого же Сазонов считал нужным привлечь к участию в этом журнале? Чьими руками рассчитывал он «реализовать коммунизм»? Прежде всего он называет мадзиниста Фраполли, рекомендуя его Марксу в качестве «социалиста-пантеиста». Затем он указывает на Герцена, сообщая при этом о нем: «Он скорее человек увлечения, чем убеждения, и человек воображения больше, чем знания, впрочем, очень преданный и очень способный». Далее, среди сотрудников будущего журнала следуют буржуазный демократ Феликс Пиа, прудонист Массель и некий Шарпантье, человек, по словам Сазонова, «малоизвестный, энергичный, преданный, способный и очень прогрессивный».

Таково вкратце содержание письма Сазонова. Как бы усердно не подчеркивал автор этого письма своего согласия со взглядами Маркса, между его «коммунизмом» и коммунизмом Маркса было очень мало общего. Истинный смысл теории основоположника научного социализма оставался скрыт для Сазонова. К своему «коммунизму» Сазонов пришел не путем изучения экономического развития современного общества, а в результате разочарования в принципе индивидуальной свободы, благодаря которому европейская цивилизация, по мнению Сазонова, «прогрессирует только в области промышленности», а во всех других отношениях «все более атрофируется». Не в развитии рабочего движения искал Сазонов пути к «реализации коммунизма», а в литературной деятельности группки интеллигентов-революционеров.

Приглашение Маркса принять участие в проектируемом Сазоновым журнале, объединяющем чрезвычайно разношерстную в политическом отношении компанию, яснее всего показывает, как мало усвоил себе Сазонов политическую позицию Маркса и как смутно представлял он себе отношение последнего к различным группировкам, существовавшим в то время в рядах европейской демократии.

Легко представить себе, что предложение Сазонова могло вызвать со стороны Маркса в лучшем для Сазонова случае только насмешливую улыбку. И как должен был бы рассмеяться Маркс, если бы он узнал, что найдутся историки, которые на основании письма Сазонова будут рассуждать о том, что Сазонов делал шаг по направлению к пролетарскому коммунизму и превращался в «настоящего марксиста»!

Изложенное нами письмо Сазонова с несомненностью доказывает, что его автор «соглашался» с Марксом лишь потому, что недостаточно понимал его взгляды и его политическую позицию.



1848 ГОД ВО ФРАНЦИИ

Заключенные покидают тюрьму Клиши в Париже

(в тюрьме Клиши Н. И. Сазонов находился в заключении в 1846 г.)

Гравюра из журнала «Illustration», 1848 г.

Это подтверждается и дальнейшими публицистическими выступлениями Сазонова, в том числе и теми его произведениями, которые были отпечатаны в герценовской Вольной русской типографии. Но прежде чем говорить о них, необходимо коснуться его сложных и неровных взаимоотношений с Герценом.

Между Сазоновым и Герценом никогда не было настоящей дружбы, такой, например, какая соединяла Герцена с Огаревым. Даже в студенческие годы, когда их взаимоотношения были наиболее тесными, полной внутренней близости между ними не наблюдалось. Герцен был слишком крупным человеком для того, чтобы самолюбивый Сазонов мог искренне привязаться к нему. Анненков в своих воспоминаниях об «идеалистах тридцатых годов» рассказывает, что Сазонов, отличавшийся, по его словам, «в среде товарищей противоречиями их вкусам», «пророчил Герцену, что из него выйдет лихой чиновник»[18]. Не создалось полной близости между Сазоновым и Герценом и во время встреч их в 1847—1849 гг. в Париже, о чем свидетельствуют приведенные выше отзывы Герцена о Сазонове. Однако, внешне их отношения продолжали оставаться дружескими. Разрыв наступил позже, под влиянием позиции, занятой Сазоновым в столкновении Герцена с Гервегом. Сазонов обвинял Герцена в том, что он насильно — «убеждениями, угрозами, одним словом нравственным принуждением» — удерживает свою жену. Герцен же утверждал, что «женщина, по несчастью увлекшаяся, хочет остановиться», а Гервег препятствует этому. Вслед же за этим Герцен узнал, что Сазонов продолжает поддерживать дружеские отношения с Гервегом и оправдывает его роль в семейной драме Герценов. Этого он не мог простить Сазонову и написал ему, что прерывает всякие сношения с ним. Позже, когда Герцен жил уже в Лондоне, а Сазонов получил разрешение возвратиться из Швейцарии в Париж, между ними восстановились письменные сношения. Основав Вольную русскую типографию, Герцен в первые годы ее существования, когда у него еще не было постоянных связей с Россией, испытывал острую нужду в литературном материале и поэтому с радостью принял сотрудничество Сазонова. Герцен напечатал два произведения Сазонова: брошюру: «Родной голос на чужбине» и статью «Место России на всемирной выставке» (во второй книжке «Полярной звезды»).

Эти произведения Сазонова представляют значительный интерес для характеристики его политических воззрений в годы Крымской войны.

Брошюра «Родной голос на чужбине» была обращена к русским пленным, находившимся во Франции. В ней Сазонов обрисовывает резкий контраст между «вольной Францией» (не забудем, что речь идет о Франции Наполеона III) и крепостнической Россией и рассказывает о том, как в 1789 г. французы добились воли.

Вместе с этим Сазонов намечает план реформ, необходимых, по его мнению, для России. Это — во первых свержение «ига немецкого правительства», которое, по мнению Сазонова, «изменило народности и действует только на пользу царской фамилии и ее немецких родственников», во вторых, отмена крепостного права с наделением крестьян землею, и в третьих, восстановление независимости Польши.

Как видим, программа Сазонова отличается большой умеренностью: под нею мог бы подписаться всякий последовательный и искренний либерал. Очевидно, к 1854 г., когда была написана цитированная брошюра, от былого увлечения Сазонова «коммунизмом» не осталось и следа.

О том же свидетельствует и статья Сазонова, напечатанная в «Полярной звезде» и представляющая собою попытку философски осмыслить прошлое, настоящее и будущее России и определить ее место в общей семье цивилизованных народов.

Хотя автор и утверждает, что он принадлежит к числу людей, убежденных, что только наука и промышленность могут привести Россию к завоеванию свободы и что в последующем своем развитии они дадут русскому народу и новые верования, и новое искусство, и новое гражданское устройство (именно в этом месте статьи Сазонова некоторые исследователи пытаются найти отзвуки его былого увлечения идеями Маркса), тем не менее вся его аргументация имеет чисто идеалистический характер: она всецело построена на анализе «русского народного характера».

Вслед за Герценом, Сазонов в своей статье подчеркивает отсутствие в России буржуазии и на этом основании находит возможным мечтать о создании промышленности, лишенной буржуазного характера.

Если автор статьи и расходился с Герценом, то лишь в отношении к западноевропейской цивилизации. Сазонов пишет: «Западу предстоит обновление так же, как и нам самим. Перерожденная Россия займет свое место в Европе преобразованной... Западные европейцы перестанут считать освобожденных русских варварами, а мы не будем более мечтать о скорой гибели гниющего Запада и о всемирном господстве славянского племени. Для всех племен, для всех идей и для всякого труда есть на земле место».

Возможно, что этим заявлением Сазонов стремился отмежеваться не только от славянофилов и панславистов, но и от Герцена, противопоставлявшего Россию



1848 ГОД ВО ФРАНЦИИ

Политический клуб в Париже

Гравюра из журнала «Illustration», 1848 г.

«старому миру» и мечтавшему об обновлении этого мира при помощи общинных начал русской крестьянской жизни.

К тому же приблизительно времени относится еще одно произведение Сазонова. Это — политический памфлет, изданный им анонимно на французском языке в 1854 г. в Париже под названием: «La vérité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vie et de son régne par un russe». Этот памфлет, впервые появляющийся в русском переводе в настоящем номере «Литературного Наследства», является, пожалуй, наиболее ярким и удачным в литературном отношении, произведением Сазонова. Несмотря на ряд фактических неточностей и ошибочных утверждений, имеющихся в памфлете Сазонова, это произведение его выгодно отличается от большинства других вышедших за границей памфлетов против Николая I, большей осведомленностью в русских делах. В годы Крымской войны он был широко использован французской прессой в ее борьбе против русского правительства [19]. Основная черта памфлета Сазонова — глубокая ненависть как лично к императору Николаю I, которого автор считает трусом, лжецом и лицемером, так и к деспотическим порядкам, установленным Николаем в России.

С половины 50-х годов в литературной деятельности Сазонова наступает большое оживление. Насколько мало и неохотно писал он раньше, настолько интенсивно принимается он работать теперь. Может быть, это стоит в связи с резко ухудшившимся его имущественным положением. Привыкший вести обеспеченную жизнь и ни в чем не отказывать себе, Сазонов переживал теперь тяжелые дни. Он узнал, что значит нуждаться в самом необходимом. И это заставило его наконец приняться за регулярную и систематическую работу.

В 1855 г. Сазонов становится одним из редакторов французского библиографического журнала «L'Athenaeum Français», где он — отчасти под своей фамилией, отчасти под псевдонимом К. Штахеля — печатает ряд статей (о русских народных сказках, о чешской литературе и др.). Тогда же он становится постоянным сотрудником «Отечественных Записок» и «С.-Петербургских Ведомостей», где помещает,— также под псевдонимом Штахеля, — ряд статей и корреспонденций, посвященных французской общественной жизни и литературе. В 1859—1860 гг. Сазонов участвует в редакции еженедельника «La Gazette du Nord», издававшегося в Париже некиим Гавриилом Рюминым [20]. Наконец в 1860—1861 гг. он сотрудничает в Московской газете «Наше время», издававшейся Н. Ф. Павловым и субсидировавшейся правительством. К этому следует прибавить, что еще в 1857 г. Сазонов обратился к русскому правительству с просьбой о помиловании и разрешении возвратиться на родину. При этом он ссылался на то, что «опыт зрелых лет» изменил его убеждения и он отказался от «увлечений молодости» [21]. По получении от префекта парижской полиции справки, удостоверявшей, что Сазонов ведет себя хорошо и поступающие о нем сведения благоприятны во всех отношениях, Сазонов был помилован. Однако разрешением возвратиться в Россию он не мог воспользоваться по отсутствию материальных средств. В 1862 г. он умер в Швейцарии. К этому времени

он был уже забыт как своими бывшими друзьями, так и противниками. «Никто не шел за его гробом, — писал Герцен; — никто не был поражен вестью о его смерти» [22].

Сочинения Сазонова, относящиеся к последним годам его жизни, обнаруживают, как далеко отошел он от своих прежних взглядов. Особенно показательны в этом отношении его статьи в «La Gazette du Nord», — в частности серия статей, посвященных готовившейся в то время отмене крепостного права. Их писал либерал, верящий в благие намерения царя и в искреннее желание дворянства поступиться своими привилегиями. Недаром в письме к И. Ф. Беккеру, написанном в 1862 г., Сазонов отзывался о реформе 19 февраля, как о «полном экономическом перевороте в самых основах русского общества». «Будущее этой страны, — писал Сазонов, — отныне может считаться завоеванным для прогресса, и этот прогресс ляжет огромным грузом на весы судеб человечества».

В связи с этим не мешает упомянуть об одном эпизоде, относящемся к 1859 г. В этом году русская колония в Париже устроила литературный и музыкальный вечер в пользу своих нуждающихся соотечественников, живущих в Париже. Участвовать на этом вечере был приглашен и Сазонов. Однако в последний момент устроители вечера вспомнили о революционном прошлом Сазонова и отклонили его участие в вечере. Сазонов ответил на это статьей «По поводу одного русского вечера в Париже», напечатанной в «Gazette du Nord» и содержавшей в себе конспект речи, которую Сазонов намеревался произнести на вечере.

«Да, — писал Сазонов в этой статье, — свободу я люблю больше, чем рабство, право больше, чем произвол, законный порядок больше, чем личный каприз, прогресс больше, чем застой, науку больше, чем суеверия, — словом, Александра II я предпочитаю Иоанну IV. Вот какова моя революционность» [23].

Это заявление и в частности противопоставление Александра II Ивану Грозному с полной очевидностью показывают, что Сазонов под конец своей жизни находился всецело под властью либеральных иллюзий, связанных с личностью Александра II, и веры в его великодушие. Все это особенно ярко проявилось в статьях Сазонова по поводу крестьянской реформы, смысл которых сводился к восхвалению мудрости и справедливости Якова Ростовцева и возглавляемых им редакционных комиссий по крестьянскому делу.

Хотя Сазонов и понимал невозможность безземельного освобождения крестьян, но в то же время он горячо отстаивал права помещиков. Для него право собственности помещиков на землю «столь же священно», как и право крестьян на личную свободу. Поскольку же к крестьянам переходит часть помещичьей земли (крестьянские наделы Сазонов считал собственностью дворян), постольку на крестьян ложится обязанность вознаградить своих бывших владельцев за все убытки, связанные с таким переходом и с прекращением барщины. Предложенный Н. Г. Чернышевским план выкупной операции Сазонов отвергает, находя, что автор его преуменьшает стоимость земли, отрезаемой помещиками крестьянам. «Мы требуем справедливого и достаточного возмещения убытков, понесенных владельцами земли», — пишет он. Он открыто становится на сторону помещичьего землевладения, находя государственный интерес в том, чтобы дворянские состояния не уменьшались бы и чтобы крупные землевладельческие хозяйства могли процветать и развиваться. Наконец, Сазонов подчеркивает, что дворянство, по его мнению, призвано играть руководящую роль в исторической жизни России. «Надо сказать, — пишет он, — что дворянство является наиболее просвещенным сословием русского общества, единственным, членам которого дается основательное образование; именно оно хранит национальные традиции и взращивает ростки прогресса, скрытые в национальной почве или занесенные ветрами с Запада; нет сословия, нет отдельных лиц даже, которые могли бы заменить дворянство... Разоряя дворянство, Россия обезглавит самое себя».

Так Сазонов, «дворянский революционер» 30-х и 40-х годов, под конец жизни превращается в откровенного защитника дворянских прав и привилегий.

По отзыву современников, принадлежащих к различным лагерям, Сазонов был человеком выдающимся и обладал широким образованием. Он знал четыре языка, был хорошо знаком с историей и литературой западно-европейских народов, обладал большими сведениями в области политики [24]. Он умел импонировать окружающим и располагать к себе людей, с которыми ему приходилось встречаться. М. А. Бакунин в своей «Исповеди», рассказывая о своих взаимоотношениях с Сазоновым, писал: «Николай Сазонов — человек умный, знающий, даровитый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Я в дружбу его не верил, но видел его довольно часто, находя удовольствие в его умной и любезной беседе» [25]. «Есть в Париже русский человек необыкновенного ума, по имени Сазонов», — писал в 1841 г. П. Я. Чаадаев А. И. Тургеневу [26]. Н. П. Огарев в 1846 г. сообщал Герцену, что он готов «с гордостью» назвать Сазонова своим другом [27]. Герцен даже после окончательного разрыва своего с Сазоновым признавал, что он «большой был талант» [28]. Наконец, Карл Маркс отозвался о нем, как о «известном русском писателе» [29].

Человек талантливый и умный, выходец из среды весьма обеспеченной части дворянства, получивший широкое образование, Сазонов, казалось бы, имел все данные для того, чтобы увековечить свое имя и оставить после себя заметный след в истории русской литературы и общественной мысли. Однако этого не случилось, и имя его принадлежит к числу имен многочисленных русских талантливых неудачников, не осуществивших тех надежд, которые возлагались на них их друзьями. Жизнь Сазонова сложилась неудачно не только в том отношении, что временами ему приходилось с трудом поддерживать свое существование, отказывая себе в самом необходимом, а порою и голодать, но и в том отношении, что многие начатые им работы ему не удавалось завершить, а многие задуманные им литературные произведения остались в области благих намерений. По условиям своей жизни и воспитания Сазонов не имел представления о том, что такое трудовая дисциплина. С аристократическим высокомерием относился он к регулярной, кропотливой, ежедневной работе. За это ему и пришлось жестоко расплатиться, оправдав жесткую характеристику Герцена, однажды назвавшего его «плодовитой бесплодностью»[30]. И это сделало его одной из колоритнейших фигур в галлерее русских «лишних людей».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, т. XIII, стр. 573 и 577—578.

[2] Там же, стр. 576.

[3] К. С. Аксаков, Воспоминания студентства 1832—1835 гг. СПБ., 1911 г., стр. 30—33.

[4] Герцен, т. I, стр. 135—137.

[5] Герцен, т. XIII, стр. 574. Студентом, приведенным Сазоновым, был Н. М. Сатин.

[6] Там же, стр. 575.

[7] Подчеркнуто мною. — *Б. К.*

[8] Герцен, т. XII, стр. 151—152.

[9] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.

[10] До этого он еще раз был заграницей в 1835—1836 гг. К этой первой заграничной поездке, когда Сазонов посетил Германию, Швейцарию и Италию, и относится его печатаемое нами письмо к К. С. Аксакову.

[11] В кавычках слова В. П. Боткина к П. В. Анненкову от 26 ноября 1846 г. «П. В. Анненков и его друзья», СПБ., 1892 г., стр. 525.

[12] «Если бывало, — вспоминал он впоследствии, — нельзя достать билета на интересное заседание в палате депутатов, то в 9 часов отправляешься ко входу публичной галлереи, где несколько промышленников проводили ночь на тротуаре, и у одного из них покупаешь за пять или, пожалуй, за десять франков место в «хвосте». К. Штахель» (псевдоним Н. И. Сазонова). Парижские новости. «С.-Петербургские Ведомости», 1856 г., № 82.

[13] Письмо Н. П. Огарева к Н. И. Сазонову не сохранилось. Выражение «уйти в пролетарии» заимствуется нами из относящихся к тому же времени писем Огарева к Герцену (см. «Каторга и Ссылка», 1933 г., № 9, стр. 126) и Кетчеру (см. П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПБ., 1909 г., стр. 112).

[14] «Звенья», кн. VI, М., 1936 г., стр. 347—353.

[15] См. рассказ об этом Герцена, Сочинения, т. XIII, стр. 579—580.

[16] Герцен, т. VI, стр. 431.

[17] П. Н. Сакулин, Русская литература и социализм, М., 1922 г., стр. 253.

[18] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПБ., 1909 г., стр. 77.

[19] Е. В. Тарле, не знавший, что автором этого памфлета был Сазонов, указывает, что «Правда об императоре Николае I» оказала прямое и непосредственное влияние на Огюста Ролана, автора изданной в 1855 г. книги: «Histoire politique et anecdotique du czar Nicolas I, empereur des russes». Е. В. Тарле, Самодержавие Николая I и французское общественное мнение. — «Былое», 1906 г., № 10, стр. 155—156.

[20] О характере этого издания можно судить по тому обстоятельству, что оно было беспрепятственно допущено в Россию. Герцен, т. X, стр. 156.

[21] Герцен, т. XIV, стр. 143.

[22] Герцен, Письма к будущему другу. Сочинения, т. XVII, стр. 95.

[23] «La Gazette du Nord». 1859, No. 12.

[24] Герцен, т. XIII, стр. 586.

[25] М. А. Бакунин, Собрание сочинений и писем, т. IV, М., 1935 г., стр. 126—127.

[26] П. Я. Чаадаев, Сочинения, т. I, стр. 240.

[27] «Переписка недавних деятелей». — «Русская Мысль», 1891 г., № 8, стр. 19.

[28] Герцен, т. XV, стр. 568.

[29] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 267.

[30] Герцен, т. V, стр. 48.

I. ЛИТЕРАТУРА И ПИСАТЕЛИ В РОССИИ

ИВАН ТУРГЕНЕВ [1]

Если тот восторженный прием, который русские читатели оказали последним произведениям Тургенева, еще не оправдал бы того, что список писателей его родины мы начинаем его именем, то это оправдание нашлось бы в международном успехе его произведений, в характере его дарования, одинаково ценимого во Франции и в Германии, в Англии и Соединенных Штатах. Это — почетное положение, конечно, но это и опасное положение; впоследствии мы увидим, насколько Тургенев его заслужил; начнем с того, что без всяких преувеличений объясним, как занял он это положение.

Россия внушает Европе и всему миру постоянный интерес, но интерес этот относится не к нации, а к большой силе. Все усердно стараются решить, какое положение займет русское правительство при данных обстоятельствах, не думая о том, что позиция эта часто предопределяется теми интересами и тенденциями, которые в России, как и везде, проявляет общественное мнение. Нет! все, что касается русской национальности, принято игнорировать; никто не хочет отнестись критически к ложным представлениям, созданным и распространенным односторонними польскими патриотами, и если иногда кем-нибудь проявляется видимый интерес ко внутреннему развитию России и ее литературе, то это является лишь предлогом для упрямой критики, для последовательной ненависти и беспощадной войны. Имя Тургенева стало впервые известным во Франции во время гигантского севастопольского конфликта, когда переводчик «Записок охотника», который знал русский язык весьма приблизительно и путал арапник с арапом, издал этот замечательный сборник под поэтическим названием «Записки русского боярина» [2]. Сквозь вольные и невольные ошибки перевода публика все-таки разглядела и оценила несомненный талант автора. Сначала его читали, так как надеялись у него найти, — доверясь некоторым объявлениям, — «разоблачение русских тайн» — тех ужасов, которые творились в этой варварской стране, безумной до такой степени, что она решилась противостоять соединенным силам Англии и Франции. Затем в Тургеневе нашли другое — поразительную правдивость в изображении нравов народа некультурного, но полного нравственной силы и природного ума, увидели воспроизведение картины злоупотреблений крепостного права во всей их безобразной наготе, увидели и близкую возможность освобождения.

Книга эта, которая должна была по расчетам сыграть на руку кампании, поднятой против России, вместо этого заставляла любить эту страну, освещая ее полным светом, обнаруживая то, что до сих пор было неизвестно — русский народ, т. е. существо нации, до тех пор известной лишь поверхностно. Г. Тургенев оказал этим большую услугу своему отечеству; с тех пор он продолжал ему оказывать еще большие услуги, прославляя его рядом произведений, перевод которых пожелали иметь все великие европейские литературы. Три года тому назад г. Тургенев издал собрание своих сочинений под скромным названием «Повести и рассказы». Наиболее ранние произведения, вошедшие в эти три тома, относятся к 1844 г.; значит, на то, чтобы приобрести европейскую известность, ему не понадобилось 30-ти лет. Это тем более замечательно, что автор «Записок охотника» начал не блестяще. Первые опыты г. Тургенева носят печать своеобразного дарования, мысли воспитанной на хороших образцах; читатель постепенно поддается обаянию стиля одновременно строгого и надменного, скупой и четкой обрисовки образов. Ничто неожиданное не поражает его. Это не шумно низвергающийся горный поток, а одна из полноводных русских рек, которые мирно вытекают из окруженного лесом озера. За некоторое время до того

мне случилось встретить г. Тургенева в Париже [3]. Это был высокий элегантный молодой человек, сильного сложения с характерным лицом, темноволосый, с задумчивым взглядом и иронической улыбкой.

То общество, в котором мы с ним впервые встретились, тоже было не совсем обычным. Собралось оно в студенческой комнате, после одной из тех вдохновенных, хотя и несколько причудливых лекций, которыми Мицкевич в ту пору волновал французскую и иностранную молодежь [4]. Сборище это состояло в большинстве своем из русских; все они (по крайней мере те, которые находились в Париже) были в ту пору славянофилами или западниками; славянофилы путешествовали меньше, потому на нашем сборище оказались одни западники. Они, в свою очередь, делились на гегельянцев и социалистов, из которых первые были более положительными и лучше разбирались в действительности, вторые полны великодушных утопий и пламенных, но несколько неопределенных, может быть, мечтаний. Между г. Тургеневым и двумя его соотечественниками разгорелся спор о том, может ли русский при существовавших тогда обстоятельствах быть полезным своему отечеству, оставаясь за границей. Г. Тургенев в ту пору был, сколько мне помнится, гегельянцем, он старался убедить своих друзей в том, что человек всегда работает плодотворнее на родной почве, а не вдали от нее. Возражения его противников тоже не были лишены силы, и спор закончился лучше, чем многие другие, потому что сущность его была сформулирована одним из собеседников, который, обращаясь к г. Тургеневу, сказал: «Ну, хорошо! У вас есть воля и талант, возвращайтесь на родину, работайте, вызовите из этой нездоровой действительности тот идеал, которого мы ждем и жаждем, покажите нам глубины русской души, откройте нам тот национальный гений, который до сих пор, повидимому, употреблял все силы свои на то, чтобы подавлять все живое, убивать всякую свободу! Мы тем временем будем работать здесь, в Европе, мы выясним все основы западной цивилизации, мы примем ее окончательные выводы, ее лучшие и необходимейшие идеи и передадим их России, как только она будет в состоянии их принять». Не наше дело судить о том, насколько произнесший эти слова сдержал свое обещание; но мы можем с уверенностью сказать, что г. Тургенев своей неустанной и живой деятельностью дал больше, чем можно было предполагать. Чтобы судить о значении литературных трудов г. Тургенева, надо вспомнить о той эпохе, в которую он начинал писать. Это было во время того кризиса во внутреннем развитии России, который начался после 1815 г., достиг своей высшей точки к 1850 г. и окончился только в 1856 г., когда император Александр объявил о своем решении освободить крестьян [5]. Этот кризис был жесток, и от него произошли некоторые уклонения в национальном характере, следствие которых Россия будет ощущать еще долго. После революции, произведенной Петром Великим, созданная им империя все время продолжала итти стезей проложенной грозным императором; эта стезя была стезей цивилизации.

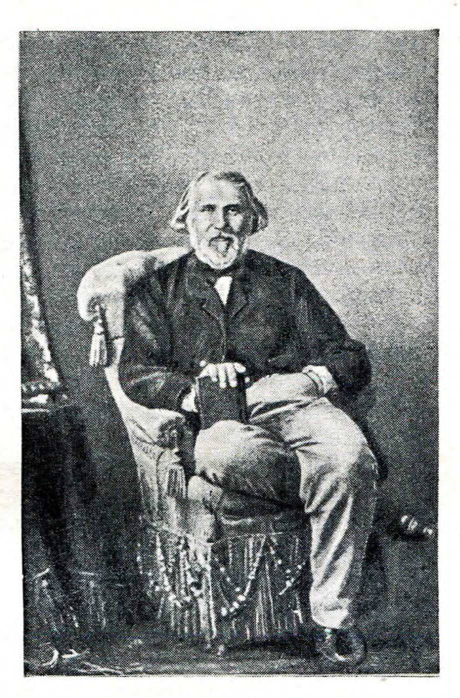
Нигде, быть может, цивилизация не внушает такой глубокой и безрассудной веры, как в России. В основе движения, душой и орудием которого был Петр Великий, лежало два убеждения: цивилизация и сила национального духа. Импульс, данный этими двумя убеждениями, действовал на протяжении всего XVIII века и первых лет XIX, но в 1815 г., после укрепления внешнего политического могущества, Россия почувствовала, что для нее унизительны неумение или невозможность создать внутри себя внутренний прогресс, достойный ее внешнего влияния. С этого времени наступил застой в развитии национального духа,

наступили всеобщие колебания. Положение это лишь ухудшилось в 1825 и 1830 годах. Окончательный разрыв с Польшей, враждебность Европы, суровость режима, установленного императором Николаем I внутри страны, — все это ввергло русскую молодежь и вместе с ней и русскую литературу в крайности разочарования, байронизма, скептицизма, цинизма, действительного или аффектированного. Лучшим выражением этого печального нравственного состояния, этого крушения отвлеченных идей цивилизации являются сочинения Лермонтова, талантливого поэта с нешироким умом, смешивающим в бессознательном подражании аристократические притязания Байрона с революционным пафосом «Ямбов» Барбье. Роман его «Герой нашего времени», неоднократно переведенный на французский язык, дает нам тип одного из таких русских, которые в течение многих лет заполняли страницы романов, изданных в Петербурге и Москве.

В ту же эпоху выступил Гоголь, по иному мощное дарование, единственный быть может из русских писателей владевший божественным даром создания образов-типов. Когда он появился, русская литература шла по дурному пути, и великолепные произведения Гоголя в то время не нашли правильной оценки. Типы, которые он сумел найти среди отечественных характеров, пугали одних, как симптом морального разложения, и радовали других, которые использовали их для доказательства того, что надо еще сильнее ненавидеть порядок вещей, способный породить таких чудовищ. Это было почти то же, что произошло во Франции с романом Бальзака; но французская цивилизация гораздо сложнее и укоренилась гораздо глубже, чем русская; софизмами ее надолго с прямого пути не свернешь. Что же касается России, то давно пора уже понять, что появление такого творца и поэта, как Гоголь, каким бы ни было содержание его творчества, никогда не могло быть признаком национального упадка и что, напротив, оно указывало на поступательное движение национального духа.

Как бы то ни было, г. Тургенев в начале своей деятельности нашел русскую литературу в печальном состоянии; естественно, что он испытал на себе и последствия этого — первые его рассказы носят следы байронических влияний. Вместе с тем влияния эти уже смягчены известной высотой философских взглядов и редкой наблюдательностью. Вскоре молодой писатель нашел основательную опору на родной почве. Страсть к ружейной охоте заставила его непосредственно соприкоснуться с крестьянами, которые помогали ему иногда в поисках дичи и у которых он останавливался, когда заходил слишком далеко от дома. Как только эти отношения установились, ученик Гегеля вскоре полюбил превосходные качества этого народа, который вызывает восхищение даже в узнавших его иностранцах. Тургенев — первый русский писатель, который стал писать о крестьянах, который сумел их представить типическим образом, в точном изображении их нравов и положения, не имея иного пристрастия, кроме любви к справедливости и свободе. Рассказы его написаны не против помещиков и не в их пользу, и, если из них явствует необходимость освобождения, то это не по вине автора. Закалив свое дарование на этих набросках, в равной мере замечательных и совершенством формы, и глубиной содержания, где артистически изученный пейзаж обрамляет столь мастерски обрисованные лица, г. Тургенев вернулся к психологическим этюдам, которые, повидимому, занимали его с самого начала.

В серии романов и новелл он широкими мазками набросал разные стороны русского характера. Французские читатели знакомы с некоторыми из этих произведений по «Revue des Deux Mondes», который напечатал их в переводе. Г. Тургенев до сих пор не был особенно плодови-



И. С. ТУРГЕНЕВ
Фотография, 1862 г.
Литературный музей, Москва

тым; романы его не длинны, и он не печатал их более, чем один или два в год. Это объясняется тем, что он много работает, и тем, что он принадлежит к современным характерам, в которых познание, работа и вдохновение вечно ищут равновесия и часто его находят.

Это умение соединить силу мысли с порывами вдохновения и сделать из упорной работы смысл всей жизни дало г. Тургеневу возможность вывести русскую литературу из того состояния крайнего возбуждения и смятения, в котором она находилась после смерти Пушкина. Г. Тургенев связал цепь национальной традиции; через переходной период он протягивает руку тому поэту, которого мы только что назвали, так же как тот в свою очередь протягивал ее Карамзину, который через Новикова получил непосредственно от Ломоносова бремя современной русской цивилизации. Национальный гений снова обрел себя, отчаяние и колебания исчезли, и в это великое достижение г. Тургенев имеет честь внести свою лепту.

Как он этого достиг? Способ его — необычный способ. Ученый, эрудит, даже проникнутый принципами и методами германской философии, он в начале своего творческого пути разрешал своему вдохновению создавать мысли, образы и типы, тщательно проверенные и приведенные к законам современной эстетики; все должно было приноситься в жертву объективности, автор никогда не должен был проглядывать в своих произведениях. Это были великолепные правила, будто бы открытые в произведениях Шекспира и Гете. Ныне вера в эти правила сильно поколебалась; но г. Тургенев был прав, подчиняясь им в первых своих произведениях; это было суровой и хорошей школой для его мужественного таланта. Если бы он с самого начала стал злоупотреблять лиризмом, как все молодые, и не только молодые писатели, он бы скоро исчерпал драгоценный дар энтузиазма, тогда как сдерживая и покоряя его строгой дисциплиной, он обеспечил себе возможность развернуть его во всем блеске, как это и видно по его более поздним произведениям.

Чрезвычайно любопытно по серии романов Тургенева проследить развитие писательской личности, освобождающейся от тесных пут объ-

ективности. Все сильнее чувствуется дыхание жизни, которое автор сообщает непосредственно своим героям, и все яснее видна индивидуальная оригинальность, которая лишь одна делает произведения искусства бессмертными. Г. Тургенев начал набросками верными, но несколько холодными в «Записках охотника»; волнуемый и серьезностью темы, и очарованием выбранных им моделей, молодой автор отдается иногда лирическим порывам, особенно прекрасным потому, что они никогда не запятнаны преувеличением. Любовь к родине, — эта страсть характеров великодушных, — конечно, всегда была присуща г. Тургеневу; но, подчиняясь правилам германской эстетики, он тщательно прятал это чувство, так же как и многие другие. Быть народным? неприлично, fi donc! патриотом? еще хуже! Это вульгарно до последней степени: нельзя было также показаться гуманным или филантропом — это было отвратительно до ужаса; надо было оставаться объективным, как Шекспир и как Гете.

Г. Тургенев удовлетворял всем этим требованиям; он по мере сил прятал свой патриотизм от читательского глаза, но этот жар и пламя в «Записках охотника» ему удается скрыть не всегда. Теперь, когда талант его достиг полной зрелости и он сознает свою силу, еще молодой, но уже прославленный автор «Дворянского гнезда» (перевод этого романа был напечатан в la Revue contemporaine [6]), умея владеть своими чувствами, уже не держит их в тени и отдает им в своих произведениях то место, которое им принадлежит. Он не стал проповедывать социальных и экономических теорий, не стал писать тенденциозных романов; вдохновение его рисует жизнь такой, как она есть, и в его романах появляются живые люди, отражающие страсти и интересы той среды, в которой они живут, между тем как автор, подчиняя их единому замыслу произведения, вместе с тем ни в чем не умаляет ни многообразия черт их характеров, ни сложности их взаимоотношений.

Чтобы достичь такой мощи в воспроизведении жизни, надо быть большим мастером, и г. Тургенев бесспорно является таковым; он только что доказал это самым разительным образом.

После успеха «Дворянского гнезда» казалось бы, что автору остается лишь опочить на лаврах; но избранным умам и великодушным сердцам успех служит лишь ободрением к началу новых трудов, к достижению новых триумфов. Так поступил и г. Тургенев. В этом году он одержал две новые победы; дважды ему удалось привлечь общественное внимание созданием шедевров, которые изумили даже вполне в нем уверенных друзей его. На литературном вечере в Петербурге, устроенном в пользу только что организованного литературного общества, г. Тургенев прочел философскую работу, посвященную сравнению двух типов — Гамлета и Дон-Кихота [7].

В одновременном появлении этих двух типов в начале новой эры европейского общества русский критик видит ценные указания; в этих двух характерах, дополняющих друг друга в своей контрастности, он видит два полюса морального мира человека — человека веры и человека сомнения, скептика и верующего. Между этими двумя полюсами остается широкая арена для сложной игры современной интеллектуальной активности нового общества. Если принцип анализа в Гамлете доходит до трагизма и если принцип веры в Дон-Кихоте приближается к комизму, то промежуточные пространства открывают широкое поприще сложной игре современного сознания. Обе тенденции заложены в человеческой природе, оба типа представляют из себя двойной идеал современного человека, они в равной мере необходимы для воплощения идей, которые зарождаются сейчас и зарождались после возрождения литературы. Дон-Кихот открывает или придумывает миры, Гамлет их

изучает, исследует и делает их реальностью, частью общего человеческого достояния. Критика редко поднималась на такую высоту; прекрасные замечания Гете о Гамлете и великолепная страница Байрона о Дон-Кихоте не только сплавлены воедино в этом замечательном наброске, но еще освещены внимательным изучением и лихорадочной энергией, основными свойствами современной эпохи.

Овации, устроенные г. Тургеневу по этому случаю, должны были ему доказать, что русской публике доступны все вершины, если она привлечена на них уважением к любимому слову. Эти овации повторились и в Москве, когда прославленный писатель прочел там свою прекрасную работу на вечере, устроенном с той же целью.

Г. Тургенев, таким образом, лишний раз доказал, что лучшими критиками все-таки являются поэты, если им только придет охота заняться этим делом. Но этой славы ему было мало: шумный успех его еще не достиг последних пределов, как он уже самым ярким образом показал, что великий критик скорей, чем кто-либо другой, является превосходным поэтом.

Роман, который он напечатал в «Русском Вестнике» под названием «Накануне», является последним словом его второй манеры письма. Четкость очертаний, которая восхищала в первых его произведениях, стала еще совершенней, рисунок стал более уверенным, чем раньше, яркость красок усилилась, композиция более умелая, чем раньше, поражает все той же благородной простотой, а типы достигают жизненности, невиданной в прежних романах г. Тургенева (за исключением действующих лиц «Дворянского гнезда»), не теряя ничего в своей объективности. Это — внешние, абстрактные качества нового произведения молодого романиста; но главным его очарованием и главным его достоинством является создание такого женского характера, какого не дали читателю ни одна русская поэма, ни один роман. До сих пор тип русской женщины был не по плечу русским поэтам; они делали лишь наброски, как Пушкин в своей Татьяне, в которой мы находим лишь две случайные черты, но неполный характер, или китайские тени, как Лермонтов, или силуэты, как Гоголь. Это было естественно! Русская женщина, как и русский мужчина, впитала в себя те разнороднейшие элементы цивилизаций, под влиянием которых последовательно находилась ее страна; но сверх этого она по физиологическим условиям своей организации сохранила нетронутую печать первоначальной народной сущности. Эти узоры цивилизации на фоне древней сущности были слишком сложны, чтобы мысль могла из них создать какое-нибудь единство, чтобы искусство осмелилось ими завладеть и создать из них литературный тип. Быть может также было нужно, чтобы русская женщина осознала себя сама? Исполнилось ли это? Приходится верить, потому что в последнем романе г. Тургенева мы имеем женский характер, законченный, живой, типический и вполне русский. Глубоким смыслом романа является, по существу, психологическое развитие этого характера, но так как этот характер живой, то он все время остается естественно связанным с той средой, которой он создан. Это — молодая девушка, с детства обреченная на нравственное одиночество, чуждая матери и отцу; она воспитывает себя сама, она развивает свой ум и свое сердце и, когда она чувствует необходимость дополнить жизнь свою любовью, она, после некоторых колебаний, выбирает единственного человека, который ей кажется человеком, — болгарина, решившего отдать жизнь за освобождение своей родины.

То, что мы сейчас сказали, даже не является скелетом этого прекрасного романа, к которому мы хотим привлечь внимание наших читателей. Основой его является гармоническое сочетание строго логи-

ческого анализа с напряженным чувством. Это — правдивость ума, которая освещает красоту души. Последней и важнейшей услугой, оказанной г. Тургеневым своей родине, является это указание русским мужчинам на то, чего от них требуют русские женщины. Исполняются пророческие слова Гете!

Вечная женственность
Сразу бросается в глаза

Г. Тургенев сейчас в том возрасте, когда Гете едва набрасывал первую часть «Фауста» и задумывал «Вильгельма Мейстера»; прославленному русскому писателю предстоит еще долгий путь; пусть же он не сходит с того пути, на котором он стоит: разум и поэзия присудят ему свои пальмовые венки, а родина запишет в своих анналах имя человека, возвеличившего ее в глазах человечества.

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

Этот писатель пользуется в России и за границей большою известностью как публицист, но литературный талант его, по нашему мнению, еще недостаточно оценен. Политическое поприще г. Герцена еще далеко не окончено, поэтому окончательная оценка его была бы в настоящее время и необоснованна и несвоевременна; но как писатель он, повидимому, уже полностью высказался, и в связи с изданием французского перевода его воспоминаний * было бы интересно, думается нам, присмотреться к особенностям его таланта и познакомиться с литературными предшественниками этого писателя, сочинения которого должны все более и более привлекать внимание европейского общества.

В предыдущей статье мы отметили, что одной из отличительных особенностей русской литературы является любовь к цивилизации (страсть абстрактная в отношении объекта, но отнюдь не в отношении своих источников); чувство это проявляется различно, но неизменно сохраняет свои прогрессивные тенденции и свою напряженность. Стремление к цивилизации, восторг перед идеями и установлениями, которые должны осуществить эту цивилизацию на русской почве, порою принимали нелепые формы; отрицать этого нельзя. Как дети, подражающие «большим», русские иной раз вызывали улыбку своим неловким и упрямым подражанием. Началось с того, что, приняв из рук Петра Великого новый совершенно законченный и установившийся порядок вещей, Россия напялила на себя европейский мундир, не задумываясь над тем, впору ли он ей; когда же, несколько позднее, уже сбрив бороду, надев парик и галстух, русский заметил, что ему еще много недостает, чтобы сравняться с иностранцами, которыми окружил себя царь, — он решил, что для полного уничтожения различия нужно овладеть языком, на котором говорят эти иностранцы. Так началось изучение немецкого, потом итальянского и, наконец, французского языка, который с тех пор остался языком русского образованного общества. В русской школе преподавание новых языков опередило преподавание наук и, в то время как в XVIII веке в гимназиях изучение математики ограничивалось элементами счета, на изучение немецкого и французского языка полагалось двадцать часов в неделю.

Это обстоятельство разъясняет одну из особенностей современной русской цивилизации, оно дает ключ к пониманию свойственной русским способности к восприятию всех новейших идей, всех проявлений действительного и мнимого прогресса, и в то же время к пониманию

* «La Révolution et le Monde Russe» éd. Dentu[8].

неспособности их воплощать эти мысли, осуществлять этот прогресс у себя на родине.

Увлечения, внушенные поверхностным чтением иностранных книг, не замедлили вызвать в России реакцию, и со времен Фонвизина и Новикова национальный дух не перестает возражать против засилья многочисленных наносных и изменчивых влияний. Эти два течения так и укоренились и живут уже несколько поколений; до сего времени одно из них все еще слишком отвлеченно, чтобы дать на практике дей-



ГЕРЦЕН

Фотография, 1860-е гг.

Литературный музей, Москва

ствительные и длительные результаты; другое же проявило себя как нечто чисто отрицательное, консервативное и, следовательно, неспособное пробудить мысль к самостоятельной деятельности.

А тем временем народ жил своею жизнью, хотя и бессознательной, но полной, и некоторые избранные натуры, принадлежащие к якобы цивилизованным классам, имели возможность погрузиться и набраться сил в этом источнике свежести и вдохновения: так зародилась в России самобытная литература, несмотря на полное отсутствие оригинальности в умственной жизни русского общества.

Говоря об Иване Тургеневе, мы отметили кризис в жизни России,

обнаружившийся после 1812 г., и на последствия препятствий, которые встретил этот кризис в своем естественном развитии.

После 1825 г. и особенно после 1830 г. Россия приняла совершенно новый, почти зловещий облик, и цивилизация стала там официально считаться лишь средством господства или способом приумножения материальной мощи государства. Не пытаясь отыскать истока народной жизни, в России воспользовались понятием народности для установления и укрепления системы слепого и мелочного консерватизма. Молодежь воспитывали в раболепном уважении к изображенной г. Уваровым формуле: православие, самодержавие и народность, причем каждому из этих понятий придавалось самое узкое и в то же время самое казуистическое толкование, так что возвышенное слово «народность» стало означать «защиту крепостного права — приверженность квасу!»

В те же годы г. Герцен поступил на естественно-научный факультет Московского университета. Почитание цивилизации, привязанность к истинно-народным традициям и современные свободолюбивые идеи нашли себе в этом учреждении последнее пристанище. Пишущий эти строки сидел на студенческой скамье приблизительно в то же время и сожалеет, что не обладает описательным дарованием г. Герцена, чтобы дать живую картину того особого оживления, которое царило тогда среди юных студентов Московского университета и источники которого были весьма разнообразны.

Все, начиная с нашей одежды, говорило о странном смешении: зимою мы носили черные бархатные береты à la Карл Занд и теплые платки трех французских цветов. На сходках мы декламировали запрещенные стихи Рылеева, Пушкина и распевали наполеоновские песенки Беранже вперемежку с антифранцузскими песнями Арндта, Уланда и Кернера. Книги, которые мы читали, были еще того разнообразнее; мы с одинаковым пылом разыскивали редкие еще в то время книги о французской революции и натурфилософские сочинения Шеллинга и Окена. Все, начиная с мистических измышлений Якоба Беме и кончая «Ямбами» г. Барбье и «Шагреневой кожей» Бальзака, все волновало, захватывало и приводило нас в восторг, подчас несколько однообразный и бесплодный, но зато всегда искренний. Прибавьте сюда еще общий фон русской жизни и то обстоятельство, что большинство из нас, благодаря родительскому состоянию, было обеспечено от всяких забот о будущем и училось лишь из любви к науке, без какой-либо определенной цели. Проведя полдня среди отвлеченностей науки и поэтических порывов дружбы, каждый из нас приобщался дома к реальной родной почве, но не становился сильнее от этого, ибо окружала нас не народная жизнь, а только искусственное и большею частью паразитическое существование привилегированных классов. Крепостное право придает в России этому существованию нечто дикарское, понять которое невозможно, не видав его. Г. Герцен прекрасно описал эту внутреннюю, домашнюю русскую жизнь, самым причудливым образом соединяющую в себе старинное благочестие с беспутными нравами XVIII века и с крайностями, основанными на бесправии прислуги.

Однако, живя среди абстракций и варварства, мыслящее меньшинство русской молодежи, воодушевленное любовью к родине и свободе, с неутомимым рвением искало выхода, который примирил бы ее с народом.

Разочарования 1825 и 1830 годов послужили нам полезным уроком, после которого мы стали стремиться к разрешению больших национальных вопросов прежде всего при помощи науки. Приблизительно в то время, о котором идет речь, т. е. после трагического разрешения конфликта, вызванного польским восстанием (роковая эпоха, ознаменовавшаяся временным перерывом, как во внутреннем развитии России,

так и в развитии ее внешней мощи), трое молодых людей, отдававших дань уважения и восторга благородным побуждениям, принялись за изучение польского языка.

Начался отход от абстракции, варварство же мы победили своей любовью к народу. Принимая все это во внимание, легко будет понять, какое впечатление должны были произвести в России занесенные туда сенсимонистские сочинения. Г. Герцен, которому в то время еще не было и двадцати лет, одним из первых испытал на себе влияние этой новой доктрины или, лучше сказать, методы. Политическая экономия никогда не находила в России многочисленных сторонников. Эта наука об отвлеченных взаимоотношениях капитала и труда, буржуа и рабочего не могла укорениться в стране, где не было ни пролетариата, ни буржуазии; но пламенная любовь к народу, вдохновлявшая Сен-Симона, не могла не захватить русскую молодежь, у которой именно это чувство господствовало над всеми остальными. Как мы уже говорили, г. Герцен одним из первых поддался этому благородному увлечению, и это-то и послужило основанием или, вернее, поводом к длительной и жестокой ссылке его на крайний север. В полярных равнинах он значительно созрел и этим он отчасти обязан изучению гегелевой философии. Россия, последнею приобщившаяся к современной цивилизации и брошенная несколько случайно в водоворот европейской мысли, не могла не развернуть свиток до самого конца, не дойти до самых крайних пределов в развитии тех принципов, которые она приняла на веру. Гегель подвел или, по крайней мере, хотел подвести итоги философскому движению, начатому Беконом и Декартом. Пришедшие вслед за ним Сен-Симон и социалисты разрабатывают теоретические основания социального развития, которое началось открытием Нового Света, продолжается ныне в форме учреждения банков, выпуска бумажных денег, постройки больших заводов и паровых машин, и приближается к своему расцвету в связи с развитием сети железных дорог и электрического телеграфа. Только гегелева философия и социализм могли увести Россию от бесплодного подражательства, которым она занималась, и показать ей путь, на котором она может достичь самобытности мысли. Г. Герцену принадлежит высокая честь быть одним из пионеров, открывших этот путь.

Поэтому-то г. Герцен вскоре, и еще до того как прославиться в качестве писателя, приобрел решающее влияние на литераторов и на всю образованную молодежь. В ту эпоху идейное влияние в России не всегда соответствовало официальному, казенному положению тех лиц, которые пользовались этим влиянием. Такими авторитетами, почти неоспоримо господствовавшими в различных кружках, где создавалась боевая литература, являлись в Петербурге и Москве гг. Чаадаев, Аксаков, Бакунин и Герцен. Ни один из них не слыл за крупного писателя, ни один не занимал выдающегося места в политическом мире и, тем не менее, образованная часть русского общества подвергалась их влиянию и не старалась от него уклониться.

Г. Аксакову, в то время уже стареющему, суждено было на склоне лет проявить себя одним из крупнейших и, пожалуй, наиболее самобытным русским писателем. Г. Чаадаев, известный широкой публике лишь как автор письма в несколько страниц, напечатанного в 1836 г. в московском журнале «Телескоп», останется тем не менее в истории умственного развития России как человек, поставивший новые вехи на пути прогресса. Из всех русских он был наиболее смелым и наиболее непримиримым отрицателем и имел редкостное мужество жить сообразно своему образу мыслей. Г. Бакунин стал известен благодаря участию в германских событиях 1849 г.; им написано только несколько газетных

статей и две-три брошюры на немецком языке, его литературный багаж не велик, но к нему надо прибавить, с одной стороны — героизм, а с другой — первоклассный ум, отличающийся мощной, несравненной диалектикой. Г. Прудон, также считающийся могучим диалектиком, вероятно помнит свои споры с Бакуниным относительно применения гегелевой методы к экономической науке; из этих споров г. Прудон не всегда выходил победителем. Что до г. Герцена, то репутация и авторитет, завоеванные им в Европе, в среде независимых умов, освобождает нас от необходимости разъяснять и оправдывать влияние, которым он с молодых лет пользуется в России.

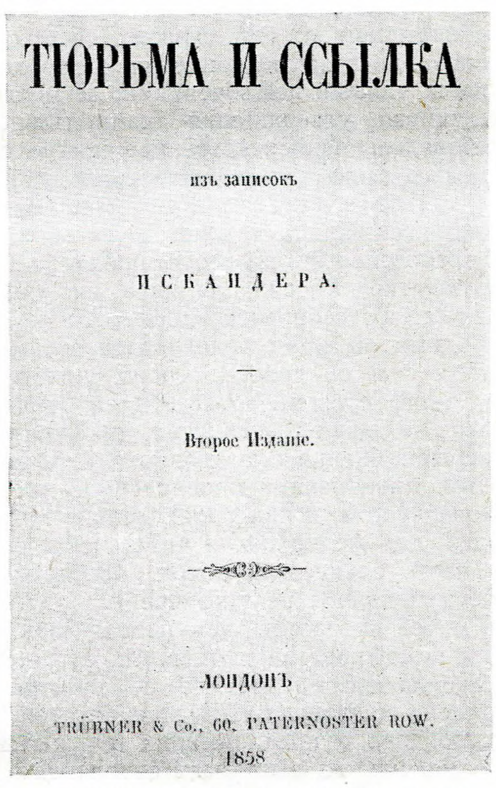
Два человека, оставившие чрезвычайно яркий след своею полезной деятельностью в этот грустный период умственного развития России: Белинский и Грановский (оба умершие преждевременно) в значительной степени обязаны своим развитием и даже направлением своих литературных трудов двойному или последовательному влиянию гг. Бакунина и Герцена. Белинский лет десять представлял в русской критике искренность, честь, гуманные чувства и либеральные убеждения. Он не был ученым, даже не обладал безошибочным вкусом, но его влияние было благотворно, ибо поддерживало в широких слоях публики и в молодежи те чувства, без которых невозможно приобщение к цивилизации. Грановский, являясь профессором, еще непосредственнее влиял на учащуюся молодежь. Он тоже не был ни ученым, ни самобытным мыслителем, но он пронес в сохранности сквозь мрачные годы цивилизующий светоч, зажегшийся в день основания Московского университета. Мы уже говорили, что этими двумя деятелями Россия обязана работе гг. Бакунина и Герцена, тому движению, которое развертывалось вокруг них, в то время как наша родина была приведена в состояние полного умственного застоя.

Страстность характера, непринужденность в высказываниях, твердость убеждений создали г. Герцену многочисленных врагов, ибо в обществе все эти качества считались чем-то порочным и опасным; г. Герцен был снова подвергнут ссылке. Страдания и треволнения падали на благородную почву, и богатая жатва, которую позднее должна была принести эта столь глубоко вспаханная душа, уже всходила в бороздах, проложенных многочисленными испытаниями частной и общественной жизни. Едва освободившись из ссылки и от должности, навязанной ему, г. Герцен решил отправиться за границу, чтобы изучить de visu * социальное положение западной Европы. Еще до отъезда за границу он прославился довольно большим количеством как научных, так и художественных сочинений, среди которых главнейшие: «Письма об изучении природы» и роман, озаглавленный: «Кто виноват?» (Читатели имели возможность ознакомиться с несколькими отрывками из него в этом журнале). Г. Герцен, строго относившийся к себе, стал одним из любимейших писателей молодежи, его сочинений добивались даже наиболее влиятельные журналы, каждое из них являлось событием. Отъезд его из России не только вызвал сожаления многочисленных друзей и всех интересующихся литературой, но открыл новые перспективы для всех тех, кто привык испытывать на себе его влияние; на будущие его работы, отныне освобожденные от всяких материальных препон, возлагались большие надежды. Здесь не место рассматривать вопрос о том, в какой степени г. Герцен оправдал эти чаяния в первые годы своего пребывания за границей; вопрос этот относится к области чисто политической, мы же не хотим выходить за пределы литературы.

В 1850 г. мы застаем русского литератора в качестве французского

* собственными глазами.

и немецкого писателя; за короткий промежуток времени он издает по-немецки: «Письма из Франции и Италии» и любопытную книгу под названием: «С того берега», — и по-французски «О развитии революционных идей в России». В сочинениях этих, на ряду с удачными частями, подаются и более слабые места: «Письма» содержат несколько восхитительных страниц о прекрасных днях, когда Италия впервые попыталась вернуть себе свободу и независимость и объединиться, но тут заметен также след некоторых предупреждений, которые можно бы назвать легкомыслием. «Революционные идеи в России» являются очерком моральной и интеллектуальной истории России, очерком, разумеется, неполным, но отмеченным превосходным умом и правильной оценкой основ русской жизни. Что же



ТЮРЬМА И ССЫЛКА

изъ записокъ

ИСКАНДЕРА.

—

Второе Изданіе.

ЛОНДОНЪ

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 2-го ИЗДАНИЯ КНИГИ ГЕРЦЕНА «ТЮРЬМА И ССЫЛКА»

до странной, красноречивой, страстной, пылкой книги, написанной в пору страданий, причиненных чувствительной душе крушением самых дорогих ей надежд, гибелью самых сокровенных ее верований, — то книга эта, думается нам, останется в мировой литературе как памятник мрачной и грустной эпохи, которая толкала даже благороднейшие умы, если не на крайности вообще, то хотя бы на крайние умозаключения. Это прославление человеческой личности, рассматриваемой как последний уцелевший обломок рушащегося нравственного мира, как единственная ценность, достойная спасения во время всемирного катаклизма, как единственное убежище и единственная цель: omnia mea mecum porto *. В напряженности мысли и даже в неровностях стиля здесь чувствуется нечто болезненное, свидетельствующее о кризисе, но

* все мое достояние находится на мне.

кризисе в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало.

Ему и суждено было вскоре победить и явить нам талант г. Герцена во всем блеске зрелости. «Былое и думы», начатые в 1852 г., являются, по нашему убеждению, лучшим произведением знаменитого писателя (первая часть этой книги была сначала издана под названием: «Тюрьма и ссылка»)[10]. Шедевром не может быть произведение чисто субъективное, хотя личность автора и должна найти в нем живое и неизгладимое отражение, и «Былое и думы» г. Герцена вполне отвечают этим условиям. Выше мы объяснили отношение образованных русских к иностранным литераторам и к западной цивилизации вообще. Ученики, то покорные, то бунтующие, но так или иначе — всегда ученики, — вот чем являлись до сего времени наши соотечественники. Всецело поглощенные Европой и осознающие, так сказать, свое собственное существование лишь в связи, во взаимоотношениях с Западом, и славянофилы, и западники, за весьма малыми исключениями, не могли достигнуть действительного, подлинного утверждения национальной самобытности. Для этого требовалось непосредственное живое соприкосновение с западной Европой: надо было пожить ее жизнью, полной деятельности, волнений, перемен; только в таком случае можно было почувствовать себя свободным как русский, как человек, и заговорить в качестве такового. Прочтите прекрасное и скромное предисловие г. Герцена; он не притязает на «открытие» России для мира, он пишет даже не для иностранцев; он для самого себя воссоздает дорогие ему воспоминания, в образе далекой родины он ищет утешения от горестей изгнания и отрешенности. А между тем он говорит своим читателям больше, чем целые библиотеки книг, посвященных России, начиная с XIII в; он просто рассказывает виденное, пережитое, прочувствованное и в его повествовании слышится биение благородного сердца того, кто завоевал себе под солнцем цивилизации определенное место, и как человек определенной национальности, и как определенная личность. Том воспоминаний, выпущенный для французских читателей г-ном Делаво, содержит лишь первую часть сочинения; с тех пор автор написал еще несколько глав, но весь труд еще не закончен[11].

Новые главы не менее интересны, чем первая часть; те же личные и национальные черты выступают здесь с новых сторон. Рассказ о заграничной жизни г. Герцена и о связях его со многими замечательными людьми нашего времени привлекут внимание читателей, несомненно, не меньше, чем повествование о приключениях и испытаниях его молодости; если, говоря о России, он выступает европейцем, то, напротив, он всегда остается верен своей национальности, когда говорит о западной Европе. В этом великая ценность его книги, его стиля и, скажем даже, его личности; это-то и делает его в истории умственного развития России выразителем существенного перелома, зачинателем новой эпохи.

В среде русских писателей, стяжавших блистательный успех за последнее время, г. Герцен принадлежит к группе наиболее изысканных (au groupe le plus littéraire): он, г. Иван Тургенев и г. С. Т. Аксаков лучше всех пишут русской прозой; они выработали вполне самостоятельный стиль. Г. Тургенев и [С. Т.] Аксаков значительнее как художники, зато стиль г. Герцена более разнообразен. В его воспоминаниях встречаются исторические страницы, которые по благородству своему и простоте не уступают лучшим страницам Маколея; тут попадаются и рассказы о самом себе, взволнованные и волнующие, как самые страстные излияния Жан-Жака Руссо; портреты столь же живые как портреты Теккерея или Луи Блана; полемика, изощренная как у Поля-Луи Курье и Берне; фантазия не менее богатая, чем у Генриха Гейне, — и

ко всему этому присущая автору свежесть чувств, цельность верований, мощность личности. Если нам удалось набросать облик русского общества той эпохи, когда г. Герцен начинал свое поприще, то читателям нашим легко будет уяснить себе достоинства и недостатки, которыми должен отличаться этот писатель.

Разнообразие познаний, острый интерес ко многим сторонам жизни, почти женская впечатлительность — таковы черты, присущие г. Герцену, как и его современникам и соотечественникам; порою, но редко, сюда примешиваются небрежность и дилетантизм обеспеченного человека. Что же до частных и личных свойств этого писателя, — то мы отчасти обрисовали их выше; для завершения портрета скажем, что преобладающим началом в нем является живость чувств и вера в себя. Это последнее свойство, без коего не может быть ни великих писателей, ни выдающихся политических деятелей, всегда сказывается у г. Герцена весьма простодушно и совершенно чистосердечно; отчасти в ней и заключается привлекательность «Воспоминаний», о которых шла речь.

Чтобы занять в русской и мировой литературе подобающее ему место, г. Герцену теперь остается только выпустить полное издание своих воспоминаний, которые долго будут жить как национальный памятник и литературный шедевр.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Первая часть этой статьи, посвященной Тургеневу, была напечатана за подписью: S. S. D. R. в № 13 «La Gazette du Nord» от 31 марта 1860 г.; вторая же часть была напечатана за подписью Сазонова в № 21 той же газеты от 26 мая 1860 г.

[2] Французский перевод «Записок охотника», сделанный Э. Шаррьером, был издан в 1854 г. в Париже под названием «Mémoires d'un seigneur russe».

[3] Описываемый Сазоновым эпизод относится к 1845 г., когда Тургенев прожил в Париже с весны по ноябрь. Из русских знакомых Тургенева там в это время находились Бакунин, Боткин и Сатин.

[4] Имеется в виду курс лекций по славянским литературам, который Мицкевич читал в Collège de France. Находясь в то время под влиянием польского мистика Товянского, Мицкевич выступал на своих лекциях с проповедью обновленного христианства и польского мессианизма; поляки — избранный народ, на долю которого выпадет реформирование христианства и создание новой религии. Несколькими годами позже произошла встреча с Мицкевичем Герцена, описанная им в «Былом и думах» (часть V, глава XXXVI). «Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов, — мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то неприязненное к России», — писал здесь Герцен. — «Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами; притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора. Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумену: уничтожаясь, благоговея, иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим laisseraller».

[5] Имеется в виду речь, произнесенная Александром II в 1856 г. в Москве представителям дворянства, собравшимся на коронацию; в этой речи Александр II заявил, что необходимо приступить к отмене крепостного права «сверху» для того, чтобы оно не было отменено «снизу».

[6] Французский перевод «Дворянского гнезда», сделаный Делаво, печатался в «Revue contemporaine» в 1859 г.

[7] «Гамлет и Дон-Кихот» был прочитан Тургеневым на вечере, организованном 10 января 1860 г. в пользу Общества вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым.

[8] Эта книга вышла в Париже в 1860 г. и заключала в себе перевод семи первых глав первой части «Былого и дум» Герцена.

[9] Отрывки из «Кто виноват?» печатались в №№ 3—6 и 8 «La Gazette du Nord», 1859 под названием: «Qu'en dites-vous? Roman russe en deux parties par Vladimir Beltoff».

[10] Книга «Тюрьма и ссылка» была издана в Лондоне в 1854 г.; она включала в себе главы VIII—XVIII первой части «Былого и дум».

[11] Делаво перевел и издал в 1861 г. в Париже книгу Герцена «Тюрьма и ссылка».

II. ПРАВДА ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ[1].

ИНТИМНАЯ ИСТОРИЯ ЕГО ЖИЗНИ И ЦАРСТВОВАНИЯ, НАПИСАННАЯ РУССКИМ*

ГЛАВА I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО НИКОЛАЯ

ПАВЕЛ I.— СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ГЕНЕАЛОГИИ.— ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ГОЛЬШТЕЙН-ГОТТОРПОВ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ ТОЛЬКО ОБЩИМ ИМЕНЕМ.— ВОСПИТАНИЕ АЛЕКСАНДРА.— ВОСПИТАНИЕ НИКОЛАЯ.—«ЭТО НЕ БАРИН, ЭТО — ГРЕНАДЕР».— НИКОЛАЙ, ШТОРХ И Ж. Б. СЭЙ.— КОНСТАНТИН, ЕГО ЖЕНА И БАРАБАН.— ЗАБАВЫ МОГУЩЕСТВА И ДЕСПОТИЗМА

Есть в истории личности, самая трагическая смерть которых не способна стереть в них смешного: таков был император Павел I.

Происхождение его весьма спорно. Всегда существовало сомнение в том, что он является сыном Петра III; предполагали даже, будто Екатерина не была его действительной матерью и что она только усыновила найденыша, вместо некстати явившейся дочери.

Причудливая фигура Павла, его вздернутый нос, рыжие волосы достаточно оправдывали эти предположения, подчеркивая финское и плебейское происхождение, которое ему приписывалось. В русской императорской семье (под семьей мы разумеем здесь только общее имя, а не кровное родство) очень часто вступают в жизнь черным ходом, чтобы таким же образом оттуда и уйти.

Итак, мы не станем больше заниматься генеалогией Павла I, ограничившись указанием, что сам он весьма добросовестно считал себя сыном своего мнимого отца; именно это и побудило его оставаться враждебным матери во все время ее жизни и попытаться предпринять после смерти Екатерины смехотворную реабилитацию Петра III: Павел повелел вырыть его из могилы и затем вновь похоронил. Екатерина же, прекрасно знавшая, как ей в данном случае себя вести, сначала совершенно пренебрегла воспитанием сына, а затем — тотчас же, лишь только это стало возможным — женила его, чтобы он имел детей.

С момента рождения у Павла первенца императрица безраздельно овладела внуком и воспрепятствовала всякому вмешательству отца в дело его воспитания.

Воспитание это, воспетое русскими поэтами, вызывавшее восхищение философов, для нас представляет интерес только как противоположность другому, подробности которого представлены будут ниже.

В конце жизни Екатерины, Павел I, сильнее чем когда-либо рассорившийся с матерью, проводил время в Гатчине или в Ораниенбауме за игрой в солдаты. В качестве единственного утешения ему оставили батальон гренадеров; Павел предписал им носить тот странный головной убор, украшенный треугольными кожаными бляхами, из какого с тех пор сделали на всех изображениях битв типичную принадлежность русского солдата, потому что сыновья Павла, из уважения к памяти отца, сохранили его для одного из полков своей гвардии.

Павел знал, что мать думает принудить его к отречению от престола в пользу старшего сына; он ненавидел поэтому Александра и не слишком любил своего второго сына.

Константин, бывший всего двумя или тремя годами младше брата, воспитывался приблизительно в одних с ним условиях и испытывал на себе те же воздействия.

Павел перенес всю свою привязанность на двух младших сыновей, Николая и Михаила, появившихся с годичным промежутком один за другим пятнадцатью годами позднее старших братьев, и часто говорил: «старшие сыновья у меня — баре, Николай и Михаил, это — мои грена-

---

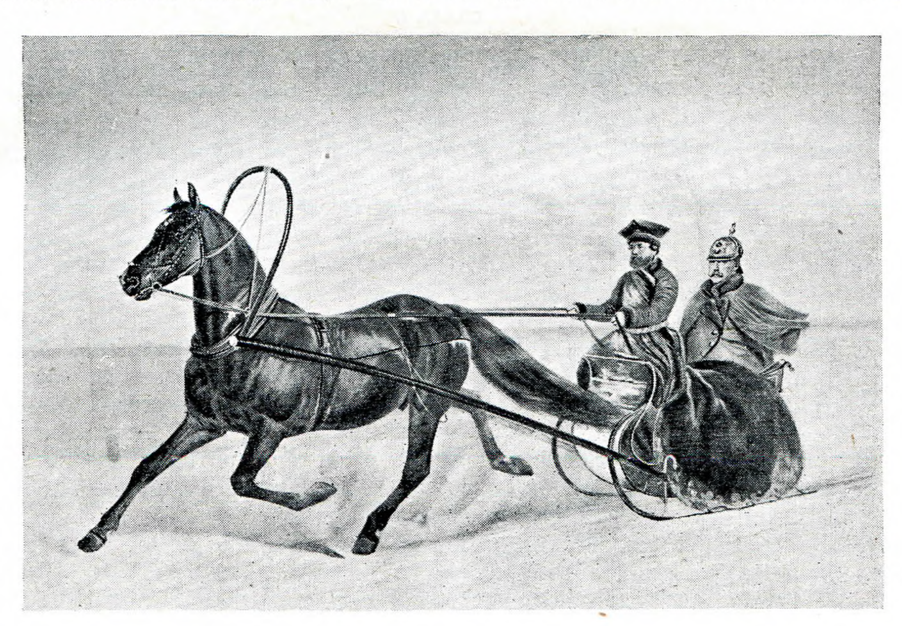
* Перевод с французского под ред. П. П. Щеголева.

деры». Мы еще увидим, насколько подобный прогноз оправдался для Николая, который так и не смог стать дворянином, даже оказавшись императором.

Когда Павел умер — так, как об этом повествует история, — воспитание его сыновей перешло к их матери, императрице Марии, принцессе Вюртембергской, доброй женщине швабского типа, большой, пухлой и белой, которую Екатерина нарочно избрала — с тем, чтобы невестка никогда не смогла перечить ее замыслам, и которая гораздо больше занималась кормлением своих детей, чем их воспитанием.

Было так мало вероятно, чтобы они когда-либо вступили на престол.

Александр, едва женившийся, показал себя во всем блеске молодости и красоты; Константин, следующий за ним брат, также только что женился на молодой принцессе Кобургской; все обещало этим двум



НИКОЛАЙ I

Литография с рисунка Н. Сверчкова
Исторический музей, Москва

великим князьям долгую жизнь и многочисленное потомство и все тем самым ставило в приниженное положение их младших братьев.

Последние, в лучшем случае, могли стать выдающимися генералами. Поэтому едва ли не полезнее всего было им — для обеспечения будущности — обучаться в качестве верных подданных и хороших солдат. Именно таким образом направлялось воспитание молодых великих князей. Среди их наставников был однако и человек высоких достоинств — профессор Шторх, ученый и остроумный экономист, с честью выдержавший ряд споров с Ж. Б. Сэем, уважение которого он сумел завоевать [2].

Политическая экономия — наука, в которой Николай наиболее несведущ, а этим сказано совсем не мало. В финансах, в промышленности, в торговле, одинаково, он во всю жизнь только и признавал что прямую и непосредственную выгоду казны или удовлетворение, доставляемое национальному тщеславию. Здесь, как и повсюду, все более и более оправдывались слова его отца: «Это — не барин, это — гренадер».

Что же касается военных упражнений, то в них Николай отличался с детства и увлекался ими не меньше своего брата Константина, у которого мания солдатчины простиралась так далеко, что он приказывал будить себя каждое утро в пять часов барабаном, специально для этой цели помещенным в его передней. Обычай не был нарушен даже в первый день женитьбы; когда же великий князь увидел свою молодую жену во власти нервного припадка после столь неожиданного пробуждения, он обозвал ее дурехой и ругаясь отправился проверять посты.

Николай, у которого жены еще не было, коротал свое время, разъезжая по кордегардиям и стараясь поймать врасплох солдат и офицеров. Если он находил что-нибудь не в порядке, то солдат карал собственной царственной рукой, а об офицерах не упускал случая доложить кому следует.

ГЛАВА II

СТРАНСТВОВАНИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ.— ПРЕБЫВАНИЕ НИКОЛАЯ В ПАРИЖЕ.— ЕГО СВИДАНИЕ С Г-м ДЕ-ТАЛЕЙРАНОМ.— ПАДЕНИЕ С ЛОШАДИ НА РАВНИНЕ ВЕРТЮ.— ПАДАЮТ ЛИШЬ В ТУ СТОРОНУ, К КОТОРОЙ СКЛОНЯЮТСЯ.— ПРИЕМ В ЛОНДОНЕ.— НИКОЛАЙ — ДОКТОР ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Среди подобного рода забав, потворствующих деспотизму, проходят детство и ранняя молодость Николая. Наступил 1812 год; Александр из осторожности оставался вдали от войска; братья последовали его примеру. Они вышли из-под материнского крылышка лишь тогда, когда все умиротворилось, в 1815 году. Проследовав по Германии, где они были встречены более или менее искренним восторгом немецких дворов, они прибыли в Париж.

Обычно ничего не знают о пребывании Николая в столице мира и он сам никогда об этом не говорил: причина этого та, что поездка не была для него счастливой и в глубине его души она оставила горький осадок.

В Париже с ним произошли разного рода злосчастные случаи.

Когда брат представил его г-ну де-Талейрану, то коварный дипломат спросил Николая, как ему нравится Париж.

— Здесь очень красиво, monsieur, — сказал Николай, — но я предпочел бы вернуться в Петербург.

— Почему же, ваше высочество? — спросил князь.

— Чтобы снова увидеть свою мать, и потом здесь при мне нет моих кадетов (он имел в виду кадетский корпус, главой которого он был).

— Ваше высочество, вы лишены общества младших, но можете быть утешены присутствием старшего *.

Николай широко раскрыл глаза, не понимая шутки г-на де-Талейрана, и все присутствующие разразились единодушным взрывом смеха, чему Александр сам подал пример.

— Николай еще не отвык от родных обычаев, — сказал император, — но мы приобщим к цивилизации этого дикаря.

Однако, казалось, что Талейран не разделяет подобного мнения относительно способностей великого князя воспринять плоды цивилизации.

Другой раз, увидев Николая на каком-то народном празднестве в сопровождении его брата Михаила, который держался на заднем плане, несмотря на то, что был умнее Николая, некий г. де-М. сказал экс-епископу Отенскому.

— Вот молодые орлы Восточной империи.

* Непереводимая игра слов. На франц. языке слово cadet — кадет и cadet — младший пишутся и произносятся одинаково. — Ред.

— Скажите лучше, орлята с птичьего двора, — ответил экс-епископ *.

Злополучное пребывание Николая в Париже окончилось падением с лошади перед лицом всего генерального штаба союзных войск, во время знаменитого смотра в Вертю [3]. Николаю так и не удалось научиться хорошо ездить верхом; в молодости же он еще хуже владел этим искусством. Взобравшись на чистокровную английскую лошадь, которую ему подарил герцог Веллингтон, он не замедлил с нее свалиться. Для г-на де-М. падение послужило поводом сказать:

— Пускай бы он только всегда падал на полях добродетели ** и никогда б не упал в омут порока!

Увы! Увы! добродетельное пожелание, высказанное другом Талейрана, не было исполнено; падают лишь в ту сторону, к которой склоняются!

Все эти маленькие неудачи произвели очень малое впечатление и сохранились только в памяти нескольких близких очевидцев. Николай был еще слишком незаметной фигурой, чтобы привлекать к себе внимание. Между тем, его уже начинали выдвигать в первые ряды.

Александр, женатый уже пятнадцать лет, не имел детей, а Константин, повторяя без конца сцену с барабаном, обратил свою жену в бегство.

В Париже Николая показывали, в Лондоне выставляли, но здесь не было ни Талейрана, ни г-на де-М... чтобы над ним посмеяться, поэтому все прошло весьма благопристойно. Николай принимал участие во всех церемониях; был на всех праздниках и банкетах, устроенных Англией, признательной союзным властелинам и их генералам, и одновременно с князем Блюхером и графом Платовым, казачьим атаманом, получил в Оксфорде диплом доктора гражданского права.

ГЛАВА III

НИКОЛАЙ ГОТОВИТСЯ К ЦАРСТВОВАНИЮ. — ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ МЫСЛИ. — ПЕРЕГОВОРЫ. — ЖЕНИТЬБА. — НИКОЛАЙ ПАЛКИН И ПРУССКИЙ ДВОР ВО ВРЕМЯ ЦАРСТВОВАНИЯ КОРОЛЕВЫ ЛУИЗЫ. — ПЕРЕМЕНА ШКУРЫ. — ОН ВСЕ-ТАКИ ОСТАЛСЯ ГРЕНАДЕРОМ! — ЖУКОВСКИЙ И ШЛЕГЕЛЬ. — НИКОЛАЙ И РУССКАЯ ГРАММАТИКА. — ОРФОГРАФИЯ, УПОРЯДОЧЕННАЯ ОСОБЫМИ УКАЗАМИ

Возвратившись в С.-Петербург, к своим любимым кадетам, Николай снова зажил жизнью унтер-офицера. Но он стал призадумываться, и постепенно честолюбие овладело им. У Александра попрежнему не было детей; Константин, назначенный наместником Польши, сблизился с женщиной, чья любовь должна была лишить его всякой возможности вступить в новый царственный брак, и в неясном будущем Николай видел реющую над собой корону.

Относительно его женитьбы начались переговоры с прусским двором, и вскоре, получив от Константина формальное обещание отказаться от своих прав на престол, король Прусский доверил молодую дочь великому князю.

Это случилось в 1817 году; с этих пор начался новый период в жизни Николая. До тех пор он посвящал себя исключительно военному делу в той части, которая наиболее казенна и наименее одухотворена; жесткий в выправке, ограниченный в мыслях, краткий и сухой в разговоре, он заслужил того, что его брат Михаил, славный и веселый малый, наделил его прозвищем Николая Палкина. Теперь, сделавшись супругом молодой принцессы, воспитанной в чопорном и педантичном кругу своего двора, возле матери, которую немецкие поэты воспевали

* В подлиннике непереводимая игра слов. — Ред.

** В подлиннике игра слов vertu — на французском означает добродетель. — Ред.

как музу своей родины, ему пришлось изменить тон, изменить манеры, переменить, так сказать, шкуру.

Ему не удалось сделать это сразу — в действительности он никогда этого и не достиг; лицемерие, являющееся отличительной чертой его характера, способствовало тому, что мир поверил в его превращение, несмотря на то, что он всегда по существу оставался гренадером, как окрестил его отец.

Перемены в Николае прошли через весьма своеобразные фазы. Принцесса, его жена, непременно должна была выучиться русскому языку; в качестве наставника ей дали г-на Жуковского, одного из наиболее утонченных писателей, какими тогда располагала Россия. Жуковский прилагал все мыслимые усилия, чтобы приобщить будущую императрицу к трудностям русского языка; принцесса не очень в нем разбиралась, несмотря на то, что была покорной и старательной ученицей, и, кроме того, усилия учителя иногда уничтожались объяснениями и советами мужа.

В русском алфавите есть две буквы, совершенно совпадающие по звуку, что дает возможность обозначить этимологическое различие слов. Установлено, что эти две буквы сильно усложняют русскую орфографию, поэтому многие русские ошибаются в правильном их употреблении, и естественно, что иностранцам употребление их представляется еще более трудным.

Принцесса Александра часто мучалась над ними и от времени до времени жаловалась мужу, рассказывая, какие терзания причиняют ей эти две проклятые буквы и какие нарекания они навлекают на нее со стороны ее учителя.

— Жуковский педант, — однажды сказал Николай, — не огорчайтесь, душенька дорогая, пишите то и другое «е» по своему усмотрению, я всегда так поступаю и прекрасно себя чувствую.

Он был правдив!

Жуковский объяснил принцессе, что законы этимологии требуют обоснованного употребления этих двух букв, и принцесса, которая слыхала рассуждения обоих Шлегелей о филологии в салоне своей матери, поняла слова профессора и повторила их мужу.

— А-а! вот как, — сказал он, — ну ладно пусть только стану я когда-нибудь императором, и я тотчас же велю особым указом изъять одну из этих букв, тогда мы посмотрим, что скажет госпожа этимология.

Правдивость этого анекдота доказана подлинными действиями — нарушение орфографических правил, произведенным по приказу Николая, когда он стал императором. Но мы еще поговорим об этом позднее.

ГЛАВА IV
НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСАНДР СТАРЕЕТ. — ПРИПАДКИ И ВИДЕНИЯ. — ПЕТЕРБУРГ НА МИЛОСТИ БОГА И АРАКЧЕЕВА.— НИКОЛАЙ—КОМАНДИР БРИГАДЫ.—СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА.—КОНСТАНТИН И НИКОЛАЙ РАЗЫГРЫВАЮТ КОМЕДИЮ.— ЗАГОВОР.— ИНТРИГИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, СРАЖЕНИЕ.— ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОЛАЯ.— ОРЛОВ И БЕНКЕНДОРФ.— НАКОНЕЦ-ТО ОН ЦАРСТВУЕТ!

В то время как молодой великий князь предавался радостям семейной жизни в обществе жены, читал вместе с нею первые романы Поль-де-Кока, не перестававшие служить им утехой, Александр, с приближением старости, впадал в черную меланхолию. Снедаемый то мрачными видениями, то порывами мистического экстаза, он предоставил управление государством, — государством, которому было дано столько блестящих обещаний в начале царствования, — нелепому и жестокому Аракчееву.

Все классы общества страдали и жаловались; дворянство, ожидавшее некоторых вольностей в награду за преданность, которую оно проявило в 1812 году; армия, принесшая из-за рубежа зародыши либеральных идей; буржуазия, не видевшая себе будущего; народ, положение которого стало еще более тяжелым благодаря устройству военных поселений; само духовенство даже, преследуемое в лице своих наиболее выдающихся представителей из-за подозрений, которые явились у правительства относительно истинных целей библейских обществ.

Все эти элементы могли объединиться в общем стремлении и произвести взрыв, которого Александр страшился, не делая, однако, ничего для его предупреждения, — разве только одобряя грубо притеснительные меры своего любимца.

В стране действительно шла скрытая работа, представлявшая собой попытку сплотить во едино всех недовольных. Александр получил о ней смутные сведения и вскоре покинул Петербург, оставляя столицу и управление на милость бога и Аракчеева.

Николай в глазах царя ничего не стоил; Александр ни разу и не подумал посвятить его в тайны государственного правления; функции великого князя ограничивались командованием гвардейской бригадой, и царский любимец обращался с ним как с подчиненным. Мы еще увидим, насколько он заслуживал подобного обращения.

Александр умирает на юге России; в то самое время, когда к Николаю приходит известие о его смерти, ему сообщают также о существовании грозного заговора в императорской гвардии; страх обуревает Николая. Эта третья основная черта его характера вырисовывается тут со всей отчетливостью.

Николай прекрасно знал, что Константин отказался от своих прав на престол в его пользу; ему известно было, что это отречение согласовано с королем Пруссии и обеспечено его поддержкой; более того, он знал, что подлинник самого акта отречения в двух экземплярах помещен на хранение в синоде и сенате. Ему, таким образом, оставалось только провозгласить себя императором, это было право его как честолюбца, долг его как великого князя.

Страх пересилил честолюбие, Николай трепетал при мысли о том, что ему придется столкнуться со взрывом военного заговора; под предлогом смирения и почтения к старшему брату, он объявил императором Константина и принес ему присягу на верность в надежде, — вскоре обманутой, — что именно Константин возьмет на себя тягость усмирения готовящегося восстания.

Константин также знал о существовании заговора; он был немногим храбрее своего брата и вдобавок очень дорожил безответственным и весьма удобным положением наместника; поэтому он поспешил, с еще большим смирением, чем его брат, вновь подтвердить свое отречение от престола и, с своей стороны, присягнуть Николаю.

Это взаимное отречение, которым восторгалось столько простаков, в действительности было ничем иным, как игрой двух трусов, бросавших друг в друга мяч, поочередно избегая опасной позиции, под предлогом братской любви и смирения.

Недостойной игре суждено было завершиться кровопролитием. В то время как Россия и Европа с волнением ожидали конца этой борьбы между двумя коронованными воплощениями скромности, Николай готовился к другой борьбе, гораздо более серьезной. Даром времени он не терял; вместо смутных сведений у него в распоряжении были теперь достоверные и подробные данные о силах и намерениях заговорщиков.

Предатель, — англичанин на русской службе, по имени Шервуд, —

примкнул к заговору с тем, чтобы его раскрыть; может быть, вместе с ним действовали и другие предатели — история заговора еще ведь не написана. Как бы то ни было, но вот что узнал Николай: около ста офицеров различных полков гвардии составляли ядро заговора, к ним примыкал ряд высших государственных чиновников, а поэты и журналисты служили всему делу возбуждающей революционной стихией.

Множество солдат было охвачено далеко протянувшейся рукой заговора, иные не нуждались даже в специальном обращении, так как сами из последних походов, благодаря продолжительному пребыванию во Франции, принесли идеи свободы, несовместимые с господством палки.

Можно было думать, что заговорщики окажутся в состоянии, пользуясь непосредственным личным влиянием, увлечь за собой четыре или пять полков, что пример этих частей произведет живое воздействие на других и что таким образом половина или даже две трети С.-Петербургского гарнизона выступят по первому призыву вожаков.

Известно было, что эти последние имели выдающихся представителей в сенате и во всех важных органах государственного управления; больше того, — что они насчитывали внушительное число сторонников в частях войск, расположенных на юге,— во 2-й армии.

Таковы были сведения, доставленные Николаю. Что касается его самого, то он мог с некоторой уверенностью опереться единственно на ту бригаду, которой командовал; все остальное от него ускользало — не столько из-за политической вражды, сколько по личной неприязни, у многих доходившей до презрения.

Крупных военных сил Николай таким образом в своем распоряжении не имел; зато у него были власть, деньги, преданность нескольких искусных в интриге и жадных к добыче людей, среди которых на первом месте стояли Орлов и Бенкендорф.

С помощью этих лиц Николаю, постоянно трепетавшему, часами распростертому перед иконами, удалось расстроить восстание, прежде чем оно успело вспыхнуть; когда же вспышка все-таки произошла, недостаток мужества едва не лишил его победы.

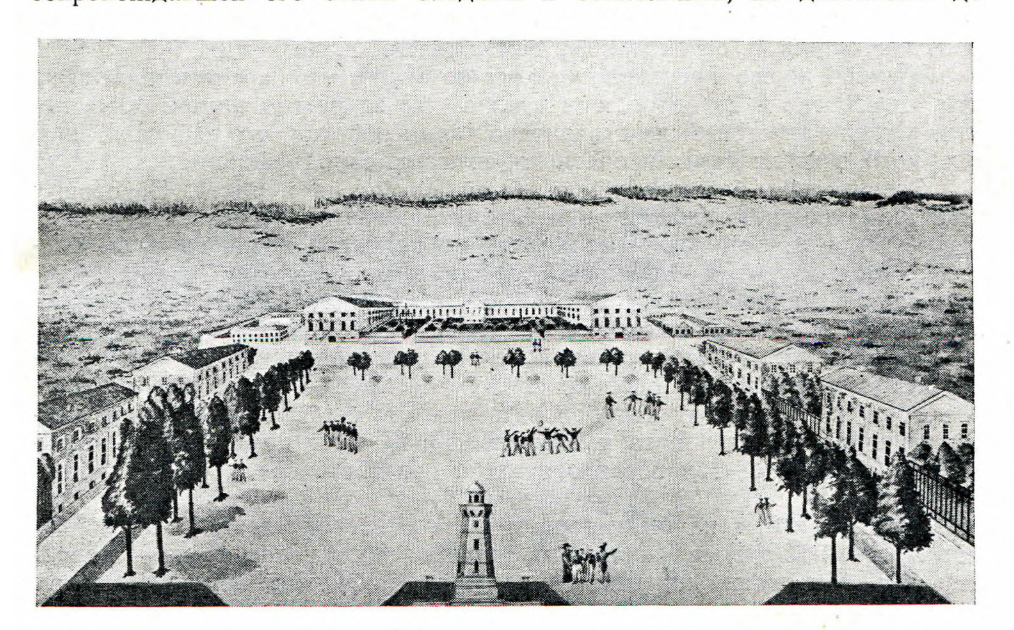
По получении отрицательного ответа от Константина следовало не медля провозгласить Николая. Известно было, что заговорщики, пользуясь удобной обстановкой, собираются выступить открыто. С церемонией торопились. Бенкендорф и Орлов показали себя на редкость неутомимыми: они уговаривали солдат, вели переговоры с офицерами, суля золотые горы со стороны Николая, и достигли наконец того, что привели к присяге ряд полков, которые сначала как будто не были расположены присягать. Но присяга являлась только первым шагом: все знали, что заговорщики ни в коем случае не уступят без боя, и нужно было, следовательно, противопоставить им надежные силы. Это, однако, оказывалось уже делом более трудным.

Николай, с самого утра погруженный в полное уныние, то взывал к святым угодникам, то плача вместе с женой, которую ежеминутно одолевали страшнейшие нервные припадки, хотел, казалось, выжидать нападения заговорщиков в своем дворце или даже в крепости. Орлов и Бенкендорф увлекли его за собой, посадили на коня и явились с ним на площадь, где восставшие стояли, выстроившись в ряды с одной стороны, тогда как другую занимали два полка, приведенные своими полковниками и державшиеся пока безучастно.

Только что стреляли в великого князя Михаила, и покушение это не произвело большого впечатления на собравшиеся войска. Генерал Милорадович, пользовавшийся редкой популярностью среди солдат, уговаривал восставших, призывая их разойтись и обещая, что все их требо-

вания будут удовлетворены. Он ни в малейшей мере не думал затевать боя, как вдруг его сразил злосчастный выстрел из пистолета. Это убийство, по всей вероятности невольное, привело в расстройство сначала ряды самих же восставших и дало затем приверженцам Николая удобный предлог обстрелять противника из пушек. Восставшие пушек не имели, так как артиллерия не была на их стороне, они поэтому оказались вынужденными уступить и кончили тем, что рассыпались в величайшем беспорядке.

В течение всего этого времени Николай держался на коне посреди сопровождавшей его свиты бледный и безмолвный, не двигаясь — до



ОБЩИЙ ВИД ВОЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Фототипия
Исторический музей, Москва

тех пор, пока после пушечной пальбы, рассеявшей восставших и продырявившей стены сената, перед ним не оказалось уже никаких врагов. Тут ему стало понятным, что царствование его действительно начинается. Со слезами на глазах обнял он Орлова и сказал: «Пойдем возблагодарим Николая угодника за покровительство, которым он нас не оставил».

ГЛАВА V

КОРОНОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛОЖЬ.— ПРОЦЕСС И ПЫТКИ.— ПОСТОЯННАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ.— ПРИГОВОРЫ.—ТЕХ, КОГО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЧЕТВЕРТОВАТЬ, ТОЛЬКО ПОВЕСИЛИ!—НИКОЛАЙ В ПОГОНЕ ЗА ПОПУЛЯРНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ОТ НЕГО УСКОЛЬЗАЕТ.—ОТСТАВКА АРАКЧЕЕВА.— КНЯГИНЯ ВОЛКОНСКАЯ И МОСКВИЧИ

Николай царствует; ложь и лицемерие будут царствовать вместе с ним.

И прежде всего нельзя представить себе ничего более забавного и более невероятного, чем официальный отчет о заговоре, опубликованный Санкт-Петербургской газетой [4].

Вот что там можно прочесть:

«Горсть непокорных солдат одной из рот Московского полка, завлеченная своим начальником, собралась на Сенатской площади, испуская

мятежные и бессвязные крики. Эти толпы нижних чинов, со зловещим выражением на лицах, бросились на окруживших их солдат. Все злоумышленники были разогнаны и пойманы нашими верными войсками; теперь они будут обличены следствием и воспримут каждый по делам своим заслуженное наказание».

А все их преступление заключалось в любви к родине и в желании увидеть ее свободной и счастливой.

Следственная комиссия, куда входили все интриганы, помогавшие Николаю взойти на престол, а именно Чернышев, Орлов и Бенкендорф, посвятила себя в течение ряда месяцев инквизиторским допросам, на которых, для того чтобы вырвать у подсудимых признание, употреблялись все средства, свойственные самовластью, даже пытки.

Николай и его приспешники хорошо знали, что арестовывая всех, кто участвовал в заговоре, они взялись бы за невыполнимое дело, поэтому число арестов было ограничено таким образом, что забирали лишь тех, кого считали самыми опасными врагами самодержавия.

Значительно большее число было оставлено в покое. Некоторых пытались подкупать милостями и чинами, другие подвергались действию угроз, наконец, остальные избавились от допросов военного суда, благодаря молодости или обширным связям с влиятельными людьми; они-то и увековечили в России дух протеста и свободы, из-за них Николай никогда не мог спать спокойно.

Как бы то ни было, сотни арестов, произведенных на всем пространстве империи и, в особенности, ужасающее решение следственной комиссии, по приговору которой пять человек были присуждены к четвертованию, двадцать пять к повешению и больше двух сот к каторжным работам — все это посеяло страх и ненависть среди русского дворянства.

Другие классы не были задеты этим непосредственно; но так как моральные побуждения приходят к ним почти всегда от дворянства, то они тоже не были настроены благожелательно к новому императору.

Поэтому, прибыв в Москву для коронования, он, конечно, должен был заметить, что, унаследовав корону, он не унаследовал в народе популярности своего брата. Между тем, Николай сделал все возможное, чтобы ее завоевать. Он с самого начала изменил приговор следственной комиссии таким образом, что тех, кого должны были четвертовать, лишь повесили, а приговоренные к повешению должны были испытать только тяготы каторжных работ.

Общественное мнение не поблагодарило его за такое великодушие. Ежедневно во время приготовлений к коронованию в Москве говорили о новых заговорах, об отдельных покушениях на государя, о клятвах в мести родственников и друзей тех, кого милосердие Николая удушило в куртине Петропавловской крепости или бросило в недры сибирских рудников. Он испробовал и другие способы, чтобы добиться популярности. Он расширил привилегии или скорее вольности дворянства; в одном из манифестов он объявил, что его царствование будет лишь продолжением царствования Александра, и, действительно, кроме Аракчеева, отставка которого была одобрена единогласно, Николай оставил на месте всех крупных чиновников, давая своим ставленникам лишь временные должности возле собственной особы. Все это не помешало московскому населению остаться холодным и равнодушным к молодому императору, и Николаю много раз приходилось с огорчением замечать, что среди всех его придворных единственным человеком, вызывающим сочувствие и симпатию в народе, была старая княгиня Волконская, мать генерала Волконского, приговоренного к пожизненной каторге.

ГЛАВА VI

ВОЙНА С ПЕРСИЕЙ

НИКОЛАЙ, НЕСМОТРЯ НА СВОЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ПРИНУЖДЕН ВОЕВАТЬ.— ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЦАРЯ.— ЕРМОЛОВ И КАВКАЗ.— ЗАВИСТЬ НИКОЛАЯ.— ПАСКЕВИЧ, КНЯЗЬ ВАРШАВСКИЙ, БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ЛЮБИТЕЛЬ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, ЧЕМ КАК ПОЛКОВОДЕЦ. — КНЯЗЬ ВАРШАВСКИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ НАГРАДЫ ЗА ТАЛАНТ И ПОБЕДЫ ТОЛЯ

В конце 1826 года Николай удалился из Москвы с бешенством в сердце: он понимал, что не имел успеха ни у одного из классов русского общества; ему снова пришлось обратиться исключительно к поддержке армии; чтобы иметь подобную поддержку, он должен был затеять войну; поэтому он воспользовался первыми же поводами, чтобы открыть враждебные действия против Персии.

Эта война, которая была для него необходимостью, представляет ту любопытную особенность, что самое начало ее вскрывает перед нами новую и характерную сторону в натуре Николая: это ненависть ко всякому превосходству.

Действительно, война с Персией предшествовала отставке генерала Ермолова. Этот выдающийся человек, самый замечательный (бесспорно) среди всех генералов, командовавших русской армией в течение этого века, был не только военным, но также и дипломатом с несомненным дарованием и администратором столь же искусным, как и энергичным.

Он заключил с Персией договор, один из наиболее выгодных, он усмирил кавказских горцев, он сумел один с небольшим отрядом пройти по местностям, недоступным и поныне самой многочисленной русской армии. Больше того, он так управлял богатым Закавказьем, что ему удалось быстро использовать драгоценные ресурсы края, не оскорбив национального чувства местных жителей. Он сформировал небольшой отряд (около тридцати тысяч человек), прекрасно обученный и дисциплинированный, с офицерами, в равной мере образованными и отважными, которых солдаты любили и которые, в свою очередь, были привязаны к начальнику узами восхищения и благодарности.

В царствование Александра Ермолов, из ряда вон выделяющийся талант и независимый нрав которого стесняли Аракчеева, принял без особого удовольствия, но впрочем и без отвращения, поручение усмирить Кавказ и преобразовать Закавказский край. Мы видели, в какой степени он этого достиг.

После вступления Николая на престол, Ермолов не спешил ни просить нового императора разрешить ему засвидетельствовать свою преданность, ни поздравить его по случаю победы, которую тот только что одержал над мятежниками, — и это начинало беспокоить Николая; но так как высокомерный характер генерала был известен так же хорошо, как преданность ему его войска, Николай не посмел открыто выразить свое неудовольствие и стал ждать подходящего случая.

Случай, которого он ждал и искал, скоро представился. Начиная с первых столкновений с Персией, генерал Паскевич, более известный своею любовью к изящным искусствам, чем военными способностями, был отправлен на Кавказ с поручением двусмысленным и неопределенным, которое должно было принудить Ермолова подать в отставку или же стать на почву открытого возмущения против правительства.

Генерал, который с легкостью мог принять последнее решение, перед лицом войны с чужеземцами, не задумываясь, подчинился, чтобы встать на защиту чести и интересов страны.

С тех пор этот необыкновенный человек всегда жил в совершеннейшем уединении, нисколько не утрачивая своей популярности, безусловно заслуженной, и Николай, избавившись от него, в течение всего

своего царствования остерегался назначать на какие бы то ни было должности людей высокого ума.

Генерал Толь, которому русская армия была обязана всеми достигнутыми успехами, будь то в войне против турок или против поляков, умер главноуправляющим путями сообщения, тогда как Паскевич (признанная посредственность) получил титул фельдмаршала и князя Варшавского.

Если Николай принужден был терпеть и терпит еще в своем министерстве несколько талантливых людей, так это потому, что они ему совершенно необходимы и что они, кроме того, искупают этот недостаток беспредельной угодливостью.

ГЛАВА VII

ВОССТАНИЕ И РАСПРАВА

МИР, ПРИНУЖДАЮЩИЙ К ВОЙНЕ.— ПРОИСХОЖДЕНИЕ СМУТ НА КАВКАЗЕ.— ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ.— НИ ХЛЕБОПАШЦЫ, НИ СОЛДАТЫ.— ЛИЦЕМЕРИЕ И ВЕРОЛОМСТВО.— ОПЯТЬ ОРЛОВ.— ОПЯТЬ ПРИГОВОРЫ И КАЗНИ.— НЕЛЮБОВЬ К НИКОЛАЮ РАСТЕТ И СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЕДИНОДУШНОЙ

Персидская война была закончена крайне неудачно. Мирный договор, не обеспечивая России никаких положительных преимуществ, принес ей новую территорию, бесполезную и опасную, ибо в данном случае расширение границ неизбежно приводило к столкновениям с кавказскими горцами и действительно вызвало несчастную войну, до настоящего момента еще не оконченную, но уже стоившую России стольких храбрецов. После Персидской войны почти немедленно вспыхнула война с Турцией.

Но в промежутке между двумя войнами произошло ужасное восстание военных поселений. Это варварское учреждение, введенное Аракчеевым, принесло наконец свои горькие плоды. Солдаты-хлебопашцы, которые благодаря изъянам навязанного им устройства не могли быть ни хлебопашцами, ни солдатами, после тщетных надежд на освобождение, связанных с заговором 1825 года, где некоторые из них принимали участие, после напрасного расчета на облегчение своей участи вслед за отставкой Аракчеева, решились наконец прибегнуть к оружию. Они восстали, жестоко расправились со своими офицерами, которых считали орудием в руках временщика, которым приписывали всю тягость своего положения, и стали ждать решения государя — носителя высшей справедливости.

Здесь, как и всегда, Николаю нехватило одновременно ни благоразумия, ни мужества, ни прямодушия. Он послал вперед Орлова, который, действуя поочередно то мерами насилия, то средствами убеждения, почти привел восставших к повиновению; самому императору по приезде оставалось только довершить дело, следуя уже установленному пути.

Николай говорил несчастным солдатам: «Вы мне дети, и я буду отечески вас опекать, но вам напрасно захотелось самим добиваться справедливости; начните с подчинения законным властям, власти будут по-настоящему справедливы ко всем».

Несчастные покорились; они верили слову государя, да к тому же были оцеплены верными престолу войсками, вызванными из Петербурга, — войсками, которые, не понимая исключительного положения восставших, принимали их за каких-то чудовищ, ибо те убили своих офицеров.

Людей, добровольно покорившихся властям, разгромили с неслыханной жестокостью. Множество их на месте прошло сквозь строй;

другие были преданы суду специально учрежденной комиссии, подверглись сначала всякого рода пыткам во время следствия и оказались затем приговоренными к наказанию палками или к каторжным работам в крепости; лишь наименее опасные получили милость быть сосланными в Сибирь.

Подобно тому, как жестокий приговор деятелям заговора 1825 года отвратил от Николая сердца дворянства, разгром восставших солдат лишил его народных симпатий; отныне русский император выступает одиноко, не опираясь больше в своей стране ни на какое сочувствие, ни на чьи интересы, — за исключением интересов тех, которые, будучи ему всецело преданными, сами совершенно оторвались от народных масс.

ГЛАВА VIII

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА. ГОЛУБЫЕ МУНДИРЫ

БЕЗ ПОЛЬЗЫ И БЕЗ СЛАВЫ.— ШЕСТЬ ОРУДИЙ, ЗАХВАЧЕННЫХ ТУРКАМИ ПОД НОСОМ У НИКОЛАЯ. — ИМПЕРАТОР ЧУТЬ НЕ ТОНЕТ ПОД ВАРНОЙ.— ЕЩЕ ОДИН НЕУДАЧНЫЙ МИР.— КОРПУС ГОЛУБЫХ МУНДИРОВ.—ОФИЦИАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ.— НИКОЛАЙ, ПОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И КЮСТИН

Война с Турцией, предпринятая без достаточной подготовки, война, где было бесполезно и бесславно принесено в жертву столько людей, еще раз обнаружила неспособность императора Николая к военной и политической деятельности.

Под Шумлой, в 1828 году, когда Николай лично руководил блокадой местности, турки сумели отбить у русских шесть орудий, расположенных почти рядом с царской палаткой.

Под Варной, в 1829 году, император показал себя еще большим невеждой в военном деле, предписав флоту действовать вопреки всем известным правилам и рискуя сам, вместе с тем судном, на котором находился, пойти ко дну под огнем крепостных батарей.

Эта война, подобно Персидской, окончилась также весьма необдуманным по своим условиям миром.

Россия приобретала господство на Нижнем Дунае, — господство, не сулившее ей никакой прямой выгоды, но приводившее к враждебному соприкосновению с могущественными торговыми державами, в частности с Австрией; с другой стороны, русские завладели Анапой и некоторым пространством на восточном берегу Черного моря. Теперь они могли с разных сторон обступить черкесов, но зато обрекали их на постоянную враждебность к покорителям.

Эти приобретения, очень небольшие, единственные, которых добился Николай за все свое 29-летнее царствование, не принесли, таким образом, России ничего, кроме непрерывной войны на протяжении 25 лет, — войны, где в борьбе с непреодолимыми препятствиями бесплодно расточались усилия и кровь лучших русских солдат.

Николай, однако, не взирая на все подобные неудачи и растущее недовольство, входил во вкус царствования; он вскоре засвидетельствовал это, учредив новый корпус жандармов — одно из наиболее верных и самых ужасных средств господства, которые когда-либо были изобретены. Это — наблюдательная полиция, сформированная в полки, носящая свою особую форму; это — доверенные агенты правительства, помещенные открыто при других чиновниках и повсюду среди граждан со специальной прямо признанной обязанностью вести за ними наблюдение и давать центральной власти отчет обо всех их действиях. Одним словом, это — nec plus ultra самого бесстыдного деспотизма, тайная полиция, ставшая явной, официальной.

Таково самое характерное учреждение николаевского царствования. Заведывание полицией поручено особому отделению собственной его величества канцелярии; оно всегда доверялось одному из самых близких любимцев императора. После Бенкендорфа никто иной, как Орлов стал шефом корпуса жандармов, — голубых мундиров, как их называют в России, где всякий, кто имеет отношение к полиции или в этом только заподозрен, обозначается подобным цветом, потому что официальные жандармы носят светлоголубую форму.

Чтобы сделать понятным чудовищное лицемерие, неизменно присущее Николаю, лучше всего было бы привести здесь самый указ об учреждении корпуса жандармов.

В нем только и речи, что об общественном благе, о надлежащем отправлении правосудия, о притеснении слабого, теперь уже невозможном, и т. д. и т. д.; как будто бы в действительности все эти цели не могли быть достигнуты скорее — введением действительной гласности, чем при помощи всех мыслимых видов полиции.

Но русский император неизменно придерживался системы обмана и лицемерия, принятой с самого начала царствования; вскоре он представил тому новое доказательство, отправившись короноваться в Варшаву, на правах конституционного короля Польши.

Принося присягу польской конституции, которую позднее ему заблагорассудилось спрятать в шкатулку у подножья собственного портрета в Московском историческом музее, Николай уж конечно не имел никакого намерения сдерживать данные обязательства; но в тот момент нужно было одурачить Польшу и всю Европу: поэтому он благопристойным образом разыграл роль конституционного монарха — роль, которую позднее имел наглость отвергать в беседах с Кюстином.

ГЛАВА IX

1830 ГОД

НИКОЛАЙ ПРЕДПРИНИМАЕТ НОВЫЕ И БЕСПОЛЕЗНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ.— ЦЕНЗУРНЫЙ УСТАВ, ПРЕВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОЗДНЕЕ В ЗАПАДНЮ. — ПЕРЕВОРОТ ВО ФРАНЦИИ И В ХАРАКТЕРЕ ЦАРЯ.— ОН, НАКОНЕЦ, НАХОДИТ СВОЙ ПРИНЦИП.— НИКОЛАЙ, ДОН-КИХОТ И ЗАКОННОСТЬ.— ДУЛЬЦИНЕЯ НИКОЛАЯ

Мы приближаемся к 1830 году, который должен вызвать в поведении и в характере Николая новые изменения. Вспомним же события, предшествовавшие этой дате.

После вступления на престол Николай старался приобрести популярность всевозможными способами и среди всех классов. Мы указали приемы, которыми он пользовался, но об одном из них забыли; это цензурный устав, в очень либеральном духе изменявший цензурные ограничения и вместе с тем предоставлявший писателям такие преимущества авторского права, которыми они не пользовались еще в других странах Европы [5].

Этот цензурный устав, выполняемый с грехом пополам, ввел в России некоторую свободу печати, которая после потрясений 1830 года должна была для Николая стать ничем иным, как способом опознания опасных людей, чтобы подавлять их своей ненавистью и преследованиями.

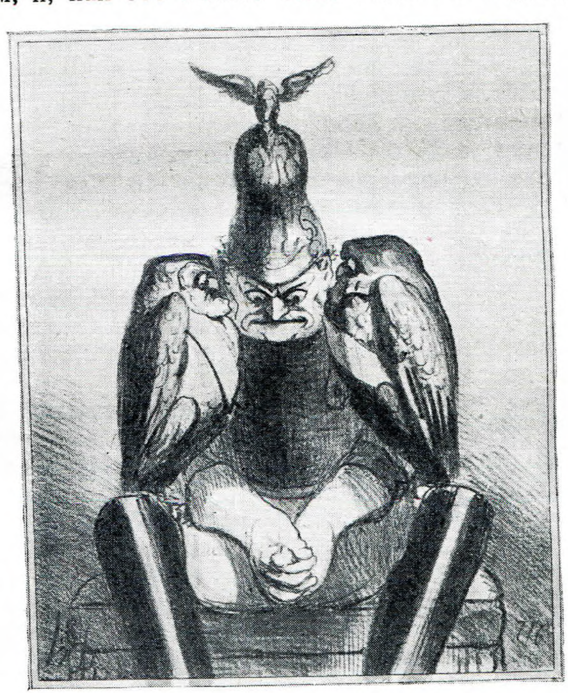
Вся Европа знает, с какой свирепостью он выступал против революции, происшедшей во Франции. Он повсюду искал способов вызвать эмиграцию, подобную той, которая была в 1792 году; но ему пришлось привлечь к своей особе и в свою гвардию лишь нескольких ничтожных авантюристов, и Франция в эту эпоху, как прежде, так и позднее, продолжала итти по своему пути, не заботясь о мнении Николая. Но, если он не должен был и не мог повлиять на судьбу Франции, от этого не

уменьшилось значительное влияние Франции на характер царя, на его стремления и, следовательно, на его судьбу.

С тех пор как Франции было угодно низвергнуть у себя законность, Николай, приведенный в ужас подобным святотатством, превратился в подвижника во имя этой законности. Всем его качествам политика и правителя, перечисленным нами на протяжении рассказа, нехватало принципа, который бы их упорядочил, — Франция дала его Николаю: этот принцип — законность.

С этих пор он во всем и повсюду борется за законность, как Дон-Кихот боролся за свою Дульцинею.

Все, что является древним, для него законно, в противовес всему, что является новым, и, как это можно было видеть в недавно опубликованных дипломатических документах, он намеревался защищать турецкую законность от самих же турок, когда они, ломая предрассудки, захотели ввести усовершенствования, создаваемые гением нашего времени.



КАРИКАТУРА О. ДОМЬЕ НА НИКОЛАЯ I
Музей изобразительных искусств, Москва

Эта смешная страсть, которую сначала породил в нем инстинкт страха, становилась в нем все более и более серьезной. Увлеченный с годами религиозными заботами, он вообразил, что действительно наделен миссией свыше, направленной к защите и восстановлению законности в Европе и во всем мире.

Польская революция, которая поставила его на край гибели, и силой оружия и тем сочувствием, которое она нашла в самой России, особенно способствовала его укреплению на путях законности; с тех пор он никогда не изменил этим тенденциям, и все более и более удаляясь от каких бы то ни было общенародных стремлений, он посвятил себя защите абстрактного принципа, не имеющего никакого отношения к интересам империи, забывая в интригах во имя законности необходимость заботиться о самой драгоценной части наследия Петра Великого: о просвещении и благосостоянии русского народа.

ГЛАВА X

ВОЛОКИТСТВО И ДИЛЕТАНТСТВО

НИКОЛАЙ ПРИМЕРНЫЙ МУЖ.— ОН ПОДДАЕТСЯ ИСКУШЕНИЯМ.— ЖЕНИТЬБЫ АДЪЮТАНТОВ.— МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДЕТИ.— НИКОЛАЙ — ДИЛЕТАНТ.—«МОИ ДВА ХУДОЖНИКА».— ПРАВОСЛАВНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ, ВЫДУМАННЫЙ ДВУМЯ НЕМЦАМИ.—СФИНКСЫ, АНГЕЛ, ЧЕТЫРЕ ЛОШАДИ

Мы не пишем здесь истории России, мы описываем личность самодержца, который ею управляет; и так как со времени польского восстания выдающиеся события в его царствование становятся редкими, мы будем принуждены говорить больше о человеке, чем о государе.

Николай, в бытность великим князем, постарался создать себе репутацию примерного мужа, репутацию, которую он мало оправдал, когда стал императором.

Окруженный, как все монархи, соблазнами и лестью, он не сумел перед ними устоять, поддался им и вызвал даже бо̀льшие толки и скандалы, чем это позволяло ему его положение.

Мы бы избавили себя от необходимости касаться столь щекотливого и интимного вопроса, если бы Николай не примешал к этому, как и ко всему другому, самого недостойного лицемерия. Так, например, именно он отменил закон, позволявший отцам признавать незаконных детей, вступая в брак с их матерями. Именно он много раз вмешивался в расстроившиеся браки, выступая в качестве защитника угнетенных сторон. И, тем не менее, он с ведома и на глазах всего двора женил своих адъютантов на своих же прежних любовницах, а своих незаконных детей, которым давал смешные имена и титулы, воспитывал у высших сановников своего двора.

Наконец, он же за кулисами императорских театров подает пример распущенности в стиле регентства, к тому же весьма дурного вкуса, и на публичных маскарадах не замаскированный компрометирует свое достоинство в обществе самых вульгарных женщин.

Николай слывет обладателем хорошего вкуса в искусстве. В этом тоже видно чистейшее лицемерие. Он слыхал, что все великие монархи покровительствовали искусству, и так как он во что бы то ни стало хочет быть великим государем, он тоже, по-своему, покровительствует артистам и искусству, но так как ничего в этом не понимает, то его покровительство оказывается обычно скорее вредным, чем полезным.

Что касается живописи, то он один раз, случайно, призвал Горация Верне, который охотно согласился написать для Николая несколько картин; но сколько других бесталанных и ничего не стоящих французских, немецких, бельгийских живописцев до и после этого выдающегося художника оплатил и оплачивает еще Николай, чтобы они писали портреты с его гренадеров и зарисовывали бы его смотры!

Из русских художников в его царствовании были обнаружены два замечательных человека — Брюлов и Бруни. Первый умер молодым. Его большая картина, «Гибель Помпеи», была выставлена в Париже. Другой живет поныне и работает в настоящее время над украшением Исаакиевского собора. Оба художника отличаются друг от друга и по характеру своего дарования и по манере, примерно, как Энгр отличается от Делакруа; но Николай не понимает этих тонкостей. Он слыхал, что оба эти художника были из ряда вон выходящими людьми, и он принял их почтительное превосходство, как совершившийся факт, но не умел их ни выделить, ни отличить друг от друга; когда речь шла о них, он говорил: «Мои два художника».

В один прекрасный день это необычайное смешение окончилось забавным случаем: Бруни, находившийся в Риме, послал в Академию Художеств ряд картин, и императора пригласили их посмотреть. Николай

отправился в Академию и после осмотра одной из картин, которая представляла библейский сюжет, где было изображено несколько ангелов, сказал, обернувшись к Брюлову, случайно присутствовавшему во время царского посещения:

«Это хорошо; да, картина хороша; я ее возьму для моего собора, но Бруни развращается в Италии; у его ангелов нет святости во взоре; ты мне их переделаешь».

Брюлов, смущенный и сконфуженный, никогда не переделал этих лиц, и Николай, к счастью, позабыл о них и думать, но одного этого случая достаточно, чтобы характеризовать его понимание искусства.

В архитектуре Николай делает еще большие успехи, чем в живописи. Если в живописи его больше всего заботит святость, то в архитектуре главной заботой является одновременно и святость и национальность. Надо сказать, что никогда не бывало не только национальной русской архитектуры, но что в России ни разу не появилось даже сколько-нибудь значительного архитектора, а то, что могло придать своеобразие русским церквям,— единственным памятникам, сохранившимся в этой стране на протяжении веков, — это требование культа, условия климата и в большинстве случаев невежество строителей. Соединение этих элементов породило массивные храмы, мрачные и плохо освещенные, которые Николай и Тон, немецкий архитектор, приняли за идеал православной и национальной архитектуры, ими выдуманной. Этот стиль они применили, еще больше его изуродовав, при постройке большой церкви в Москве, в память 1812 года, — постройка, на которую уже истрачено миллионов двадцать.

Правда, эта сумма меньше, чем сумма, истраченная на Исаакиевский собор, этот памятник своеобразной архитектуры, который обошелся больше, чем в пятьдесят миллионов, в течение пятидесяти лет, пока продолжалась его постройка, но московский собор окажется еще более уродливым и это не будет даже искупаться колоннами из гранита с бронзовыми капителями, ибо православный и национальный стиль в архитектуре, изобретенный двумя немцами, изгоняет колонны и капители.

В области скульптуры Николай наградил Петербург тремя шедеврами: гранитными сфинксами, которые ему подарил Магомет-Али из Египта, затем колоссальным бронзовым ангелом на Александровской колонне, который, как произведение искусства, стоит сфинксов, и, наконец, четырьмя лошадьми барона Клодта на Аничкином мосту, равноценными ангелу.

ГЛАВА XI

ИСКУССТВО И ФИНАНСЫ

ДВОРЕЦ, СГОРЕВШИЙ В ОДНУ НОЧЬ И ОТСТРОЕННЫЙ ЗА ОДИН ГОД.— МИЛЛИОНЫ И ЛЮДИ.— РОКОКО В БОЛЬШОМ МАСШТАБЕ.— ИСТОРИЧЕСКАЯ ОКРАСКА.— БЕЗУМИЕ ДЕСПОТИЗМА.— ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ В ПОДВАЛАХ КРЕПОСТИ. — ЗАТРУДНЕНИЕ ОТ ИЗБЫТКА.— ЧТО СТАНУТ ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ?— НИКОЛАЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ БАНК.— РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ И НУЖДА

Наибольшим достижением Николая — на путях его карьеры покровителя искусств — явилась переделка царского дворца, сгоревшего в одну ночь и отстроенного затем на протяжении одного года. Работа обошлась в 40 миллионов и стоила жизни не одной сотне рабочих; но Николай сдержал слово, и так, как он обещал своей свите, ровно через год после пожара великолепный банкет ознаменовал реставрацию дворца. Эта бешеная трата, миллионы, брошенные в огонь ради дворца, отстроенного на всех парах, дают меру одновременно и художественному вкусу Николая и самохвальству деспота, не знающего пределов ни своим желаниям, ни своему могуществу.

Дворец этот, который в Петербурге называется Зимним, был построен в сомнительном и малоизящном вкусе века Людовика XV. Это рококо в больших размерах.

Сделанный из кирпича, как все здания Петербурга, облицованный затем мрамором дворец с годами приобрел достаточно гармоничную окраску, счастливо скрывавшую не слишком удачные детали постройки. Николай, швырявшийся миллионами и людьми только ради удовлетворения тиранического каприза, не понимая значения постройки для общего развития искусства в стране, хотел отстроить свой дворец совершенно таким же, каким он был до пожара, без всяких изменений и добавлений: поэтому-то пришел он в истинное восхищение, когда его архитектор отыскал средство придать новому зданию ту самую окраску, которой было обязано действию времени старое.

Возобновление Зимнего дворца стоит в ряду самых значительных событий николаевской эпохи, не только в силу того, что тут перед нами один из наиболее произвольных и тиранических поступков, вообще свойственных этому роковому царствованию, но еще и потому, что оно означает в характере самого Николая новые успехи на путях к злу. Действительно, это лишь первое звено в цепи действий, где деспотизм, пришедший к обожествлению самого себя, граничит с безумием и, впадая в хвастовство и ребяческое тщеславие, производит причудливые и даже чудовищные действия, успевшие уже привести в изумление всю Европу.

Мы не можем приводить здесь всех фактов подобного рода; они чересчур многочисленны, и подробное изложение увлекло бы нас в данном случае далеко; стоит, однако, остановиться еще на одном, самом характерном и всего более нашумевшем.

В один прекрасный день Николаю пришла фантазия собрать в подвалах Петропавловской крепости всю звонкую монету, обращающуюся в империи; количество ее, вообще говоря, не превышает 600 миллионов франков, а так как ровно ту же цифру составляют ежегодно поступающие налоги, не оказалось ничего легче, как заставить металлический запас естественным порядком притекать в государственную казну; Николай поэтому очень скоро мог с полным удовлетворением видеть подвалы своей крепости переполненными золотом и серебром. Он владел приблизительно четырьмястами миллионов франков, потому что 200 миллионов нужно было все-таки оставить в обращении, и при таких условиях уже далеко недостаточном для населения в 65 миллионов жителей.

Что же думал делать Николай с собранными деньгами?

В сущности, по закону, деньги эти ему отнюдь не принадлежали, и он не мог ими располагать; суммы, хранившиеся в крепости, служили обеспечением кредитных билетов, выпущенных государством вместо прежних ассигнаций, и являлись собственностью русского императора не в большей мере, чем металлический фонд французского или английского банка.

Но подобного рода соображения никогда не останавливали Николая. Разве он в свое время на расходы по перестройке дворца не взял у петербургского и московского земельных банков — банков депозитных — всего находящегося в их распоряжении фонда, так что их операции поневоле были на некоторое время прерваны? Точно так же теперь он считал себя совершенно законным собственником — с правом употребления и злоупотребления — фондов, помещенных в крепости; только не знал, что с ними делать.

Можно было предпринять столько мер — благодетельных, справедливых, полезных! Докончить постройку железной дороги из Петербурга в Москву; проложить другие пути сообщения; улучшить положение

солдат; ускорить работу по производству описи земельных имуществ, которая, позволяя изменить раскладу податей, должна была дать возможность отмены крепостничества, — словом на очереди стояло так много дел, что сам Петр Великий пришел бы в затруднение.

Николай ничего этого не сделал; он отыскал зато самостоятельно или совместно со своим министром Вронченко единственный в своем роде способ употребления скопленным миллионам — способ в одно и то же время нелепый, бесполезный и смешной.

Ему, государю страны большой и сильной, но бедной, пришло в голову на удивление всему свету и для вселения веры в свое богатство скупить французские, английские и голландские государственные бумаги, которые котировались тогда по самому высокому курсу[6]. Нашлись в то время малосообразительные люди, которые были восхищены образом действия Николая; с тех пор, однако, как увидели его принужденным поспешно отступить и продать свои бумаги с большим для себя убытком, даже крайние слепцы должны были понять, насколько поведение императора преисполненно было в данном случае мальчишеского тщеславия и безрассудства.

ГЛАВА XII

ТЕАТР

ИМПЕРАТОРСКИЕ ТЕАТРЫ.— ГЕНЕРАЛ ГЕДЕОНОВ И ПОЛКОВНИК РУБИНИ.— ДИСЦИПЛИНА И ИСКУССТВО. — ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ПЬЕСЫ. — НИКОЛАЙ — БАЛЕТМЕЙСТЕР. — НИКАКИХ ВОССТАНИЙ, ДАЖЕ В СЕРАЛЕ.— ГРЕНАДЕР И ЛИТЕРАТУРА.— НЕУМЕЛОЕ И ЛИЦЕМЕРНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, ПРЕСЛЕДОВАНИЯ CON AMORE

В предшествующей главе мы должны были коснуться события, родственного в моральном отношении с историей перестройки Зимнего дворца, но этим не исчерпали еще всего относящегося к области изящных искусств. В ней проявляются такие стороны характера Николая, которые никак нельзя причислить к числу наименее любопытных и наименее странных.

Стремясь к тому, чтобы в империи все точно регламентировалось, он подчинил театры, которые в обоих столицах России все являются императорскими, наистрожайшей дисциплине *. Строгость понимается здесь не с точки зрения нравов, а в смысле повиновения, столь же беспрекословного, как в действующей армии. Артисты распределены, сформированы и обучаются по-военному; нет и речи о задержке или перемене спектакля из-за нездоровья; представление, раз объявленное, должно итти во что бы то ни стало; никакие обстоятельства не принимаются во внимание; в Петербурге еще и теперь, вероятно, помнят о знаменитой танцовщице (г-же Тальони), принужденной явиться на подмостках два дня спустя после смерти любимого существа.

По отношению к театру Николай самолично выполняет всевозможнейшие функции. Прежде всего он — цензор; он предварительно прочитывает пьесы, одобряет их или запрещает к постановке, вымарывает, цензурует, изменяет целые сцены или только одно заглавие: таким образом А н ж е л о, т и р а н П а д у а н с к и й именуется «Венецианкой»,

* В России под императорскими театрами понимается нечто совсем другое, чем во Франции; это — театры, не просто субсидируемые правительством, но прямо подчиненные и непосредственно управляемые чиновниками, которых назначает император и которые имеют свое особое место в общей иерархии государственных должностей. Поэтому и называли в насмешку г е н е р а л о м Гедеонова, никогда не бывшего военным и имевшего не больше прав на этот чин, чем их имел покойный Рубини на чин полковника. Шаривари[7], как известно, утверждал, что Рубини действительно был произведен в полковники. Это смешное заблуждение происходит от того, что у Николая все гражданские должности, в интересах службы, приравнены к военным чинам — так, как это сделано во Франции с чиновниками военного ведомства и с медицинским персоналом армии.

Вильгельм Телль на петербургской сцене превращается в «Карла Смелого» и т. д. Единственно только произведения Клервиля и выходят нетронутыми из рук Николая; для него творчество этого плодовитого водевилиста заменило романы Поль-де-Кока, предмет его увлечения в годы юности.

После цензуры приходит черед распределению ролей и постановке; тут — одно из самых излюбленных занятий Николая. Но в чем он воображает себя особенным знатоком, так это в постановке балетов: лично ему, его стараниям и наставлениям была обязана, например, блестящая постановка балета «Восстание в серале»[8].

Целыми неделями изволил он обучать танцовщиц трудному искусству обращения с ружьем и маршировки в строю под дробь барабана. Нужно сказать, что название балета было и тут изменено, ибо в Петербурге не терпят восстаний даже в серале.

До сих пор мы видели, как тщеславие и лицемерие внушили Николаю притворно-сочувственный интерес к искусству, — черту, совсем ему несвойственную. В том же, что касается литературы и науки, гренадерские замашки всегда пересиливали у него требования, обусловленные его положением: своей ненавистью ко всей серьезной литературе Николай ясно доказал, что никогда не мог быть искренним в кажущейся склонности к искусству.

Действительно, Людовик XIV, например, покровительствовавший Мансару и Лебрену, еще в большей мере почитал Мольера, Расина и Буало; Николай же не сумел даже произвести впечатление, будто имеет вкус к литературе; всякий раз, когда общественное мнение принуждало его вознаграждать литератора или ученого, он делал это весьма неловко и против воли; зато он пускал в ход ловкость и свирепость заправского палача всякий раз, как получал возможность дать почувствовать кому-либо из этих людей действие царской ненависти. Всегда и везде Николай стремился оскорбить человека в его самых нежных и святых чувствах.

ГЛАВА XIII

НИКОЛАЙ И ПОЭТ

ПУШКИН — ИСТОРИОГРАФ И КАМЕР-ЮНКЕР. — ЦЕНА ПРИДВОРНОМУ ЗВАНИЮ В РОССИИ. — НИКОЛАЙ, ЕКАТЕРИНА II И «ДОН-ЖУАН» БАЙРОНА. — ЛЮБОПЫТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В БИБЛИОТЕКЕ НИКОЛАЯ. — ЦАРЬ И КОРОЛЬ САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВОВ. — СМЕРТЬ ПУШКИНА. — НИКОЛАЙ НАКЛАДЫВАЕТ ЛАПУ НА ЕГО БУМАГИ

В начале царствования Николая Пушкин, первый русский поэт, находился в ссылке в своем поместье, где он жил в полном уединении, невыносимом для его подвижного ума и необузданного воображения. Николай вовсе не думал возвратить ему свободу, но вдруг, со смертью Карамзина, оказалась вакантной должность историографа. Ее нужно кем-то заместить. Незадолго до этого Пушкин опубликовал свою поэму «Онегин»; его и так широкая известность еще больше возросла; он стал самым популярным человеком в стране. Император прекрасно видел, что ссылка Пушкина продолжаться не может; он знал, что общественное мнение прочило поэта на должность историографа, но Николай искал способа отравить чем-нибудь вынужденные милости, и он скоро этого достиг.

Пушкин не имел почти никаких средств; он жил лишь с доходов от своих сочинений, покупаемых петербургским книгопродавцем Смирдиным, по 10 франков за стихотворение. Поэт собирался жениться на молодой и красивой женщине, ему нужно было упрочить свое положение, поэтому он был принужден принять все, что правительство ему предлагало.

Николай решил назначить его историографом. Эта должность высо-

ко оплачивалась, но в то же время царь пожаловал ему звание камер-юнкера *, и Пушкин, который столько раз бичевал в своих стихах придворных лакеев, вынужден был сам надеть ливрею. Это было не последнее оскорбление, которое Николай ему приберег. Карамзин в своей истории остановился на эпохе, когда престол перешел к династии Романовых. Пушкину выпала значительно более щекотливая задача — написать историю дома Романовых, на принадлежность к которому претендовал и Николай.



КАРИКАТУРА О. ДОМЬЕ НА ВОЕННЫЕ ФОРМЫ НИКОЛАЯ I

Музей изобразительных искусств, Москва

Работая над собиранием неизданных материалов, относящихся к истории Петра Великого, поэт захотел осветить одно из наиболее интересных и самых неясных событий, случившихся в России в прошедшем веке, — восстание Пугачева; для этого он запросил из государственного архива все документы, относящиеся к этому событию.

Ему выдали их, причем дали понять, что ряд других документов находится в архивах личного кабинета императора, стремясь использовать

---

* Было бы совсем некстати приводить здесь в пример Вольтера, вспомнив, что он тоже был камер-юнкером короля и считал это за честь. Это звание при русском дворе не имеет того же значения, что при дворе Людовика XV: в России число камер-юнкеров неограниченно, поэтому эта должность является мало почетной и ее добиваются лишь очень молодые люди, ради расшитого мундира. Должность камергера, несмотря на то, что она более почетна, также не возвышает еще человека над простым смертным.

эти документы, поэт обратился к кому следовало; ему было отвечено, что ходатайство может быть удовлетворено лишь с особого соизволения императора.

Пушкин не посмел обратиться непосредственно к царю и хлопотал о разрешении через одного из министров; Николай не задумываясь решительно отказал.

«Что ему нужно в этих бумагах? — сказал он. — Они оставались неприкосновенными в архивах кабинета с тех пор, как моя бабушка сдала их на хранение, спрятав бумаги собственноручно; я сам их не читал; г-н Пушкин прекрасно обойдется без них. Что если он ненароком захочет найти в них скандальный материал, чтобы написать нечто подобное песне «Дон-Жуана», где Байрон позорит память моего деда? Так нет же, этому не бывать!» [9]

Министр честно передал слова царя Пушкину, и поэт, привыкший уже к своеобразному деспотическому характеру императора, удивился лишь его осведомленности.

«Я не думал, что царь читал «Дон-Жуана» Байрона», — сказал он. Николай читал стихи, касающиеся Екатерины, так же, как и памфлеты, направленные против его деда, против отца и брата, так же, как все памфлеты, направленные против него самого *, как, наконец, он вскоре прочтет и нашу скромную прозу. Да будет она легка всем, кроме него!

После ряда одинаково неудачных попыток, Пушкин понял, что его должность историографа была лишь синекурой, и стал в поэзии искать утешения, которого нигде не мог найти.

Несчастная дуэль, позорная для тех, кто был ее причиной или орудием, в скором времени похитила благородного поэта у восхищенных соотечественников, оставив неоконченными его произведения. Даже агония не могла уберечь его от преследований Николая. В то время, когда Пушкин, смертельно раненный пулей в нижнюю часть живота, умирал в жестоких муках, Николай послал к его ложу Бенкендорфа, шефа «голубых мундиров», чтобы завладеть бумагами поэта, тотчас же после его смерти, даже раньше, если это будет возможно.

Тиран опасался, что лицемерные преследования зажгли гнев поэта и что поэт обрек его на осуждение потомства одной из своих взывающих пламенных од, как сделал раньше с Павлом и Александром, из-за чего и был сослан в первый раз. Быть может Россия из-за этой преждевременной смерти и низости деспота лишилась прекрасных стихов или красноречивых страниц исторического повествования. Как бы то ни было, после смерти Пушкина все его бумаги были немедленно переправлены в третье отделение канцелярии его величества (тайная полиция), где они и остались, за исключением тех, которые государство само захотело отдать душеприказчикам поэта для издания полного собрания сочинений.

---

* Николай хранил у себя в кабинете полную коллекцию всех работ, книг, брошюр, журналов, в которых идет речь о нем. Последний раз, когда можно было видеть эту коллекцию (в 1849 г.), она состояла приблизительно из ста книг и брошюр и больше двадцати альбомов in folio, переплетенных в красный сафьян, с посвященными Николаю журнальными вырезками: восхваляют ли его, или осуждают, или даже поносят, Николай хочет знать все, что говорится о нем на свете, и чем из большего далека приходит документ, тем более он радуется; поэтому-то царь и пожаловал недавно орден св. Станислава русскому консулу в Сан-Франциско, который прислал номер журнала с Сандвичевых островов, где воспроизводится разговор короля Кимехамеха с консулом Соединенных Штатов, между прочим, и о русском императоре. В порыве чрезвычайного тщеславия, Николай, принимающий шум за славу, подражает провинциальным актерам, которые собирают все газеты тех захолустий, где они бывали и где идет о них речь. Насколько же библиотека Зимнего дворца должна пополняться с 1849 г. и с какой быстротой она пополняется особенно в данный момент! [10]

Поэта хоронили в необычайный час — ночью. Николай хотел избегнуть демонстрации, но, несмотря на все меры, принятые полицией, по крайней мере, десять тысяч человек очутились на похоронах — количество, небывалое для Петербурга, где обычно похороны рассматриваются, как семейное дело.

В Петербурге честолюбцы стремятся к получению придворных званий лишь начиная с чина церемониймейстера, поэтому следует остерегаться и не преувеличивать значения звонких титулов, которые приходится читать на русских визитных карточках: «Камер-юнкер его величества императора всероссийского», — камергер, idem, — так как у Николая несомненно тысячи три камер-юнкеров и тысячи две камергеров! Чин статского советника его величества императора всероссийского стоит еще меньше; этот чин дает ничего не значущее звание, каждый чиновник может его получить после двадцати или двадцати пяти лет службы. В России по меньшей мере десять тысяч статских советников!

ГЛАВА XIV

ИСТОРИЯ ДРУГОГО ПОЭТА

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.— МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЕГО ДУХ.— ПОЛЕЖАЕВ И МАРКИЗ ПОЗА.— НИКОЛАЙ И ФИЛИПП II.— БЕСЕДА МОЛОДОГО ИМПЕРАТОРА С ЮНЫМ ПОЭТОМ.— ПОЭЗИЯ И САМОВЛАСТИЕ.— КАВКАЗ И СЕРАЯ ШИНЕЛЬ

Пушкин был не единственным поэтом, пострадавшим от ненависти Николая ко всякой поэзии; до него еще Полежаев, талантливый, полный высоких стремлений юноша, пал под грубым ударом бессердечного деспота.

Восемнадцатилетний Полежаев учился в Московском университете; * профессора отличали его как ученика выдающегося ума и дарований; товарищи обожали и видели в нем вождя студенческой молодежи: он воспевал гражданские доблести так же хорошо, как умел показывать в них пример.

Николай, явившийся в Москву на коронацию и обеспокоенный настроениями, которые царили в тамошнем университете, потребовал от соответствующих властей на этот счет подробных сведений. Из представленных докладов он узнал о Полежаеве. Царь пожелал его видеть, и юного поэта привели в императорский кабинет.

Полежаев был о свидании предупрежден и заранее к нему приготовился.

Этот юноша с пылким умом и живым воображением, воспитанный на чтении немецких и английских поэтов, проникся убеждением, будто он призван разыграть перед Николаем ту роль, которой Шиллер наделил маркиза Позу при Филиппе II; накануне аудиенции он говорил своим друзьям: «Вы будете свидетелями великих событий: молодой император призывает к себе самого молодого из русских поэтов; для нашего отечества открывается новая эпоха; если я своего достигну, судьбы России совершенно изменятся; если Николай меня не поймет, мы с вами больше не увидимся!... Но я своего достигну».

---

* Управление народным просвещением в России сосредоточено в руках министерства того же названия. Всем делом руководят под высшим начальством министра попечители учебных округов, пребывающие в тех городах, где имеются университеты или академии, т. е. в Петербурге, Москве, Харькове, Казани и др. Университеты состоят из четырех факультетов: философского, с отделениями — естественно-научным и литературным, юридического и, наконец, медицинского. На попечителя возлагается также заведывание средним образованием (гимназии для дворян и купечества) и образованием начальным (уездные училища и приходские школы); под его же наблюдением находятся, наконец, частные преподаватели и воспитатели, не могущие заниматься своим делом без предварительного испытания и тоже относящиеся к числу государственных чиновников.

Император принял поэта со зловещей улыбкой и тотчас же обратился к нему в таких выражениях: «Мне сказали, что у вас есть талант; почему вы им злоупотребляете? Зачем написали вы стихи против блаженной памяти брата моего императора Александра?»

Молодой студент не дал себя, однако, запугать.

«Государь, — сказал он, — мне всего 18 лет; стихи, о которых вы говорите, написаны два года тому назад; я очень сожалею, что они сделались известны вашему величеству, но вы, надеюсь, соблаговолите о них забыть, так же, как позабыл и я сам — теперь, когда Россия с мучительным беспокойством ожидает от своего юного монарха возвещения новой блестящей для себя будущности. Я уверен, государь, что отныне стану обращать к вам только оды, полные восторженного признания — как те, которые Державин обращал к вашей славной бабке».

«Разве вы, сударь, не знаете, что самодержцы связаны круговой порукой — тем более, если они еще братья?»

«Мне это, государь, известно, и я раскаиваюсь в том, что оскорбил ваши братские чувства: да я знаю, самодержцы связаны круговой порукой и потому-то на вас падает ответственность за честь вашего дома. Вы, внук Петра, призваны продолжать его дело, вновь связать прерванную цепь традиций, заставить позабыть о пробелах, могущих служить извинением моей злосчастной поэме, призваны стать обожаемым и благославляемым современниками, чтобы история увенчала вас лаврами бессмертия. Призовите к себе молодежь разумную и прилежную, и мы со всем пылом, со всей преданностью будем под вашим руководством сражаться с двойным бичом, производящим опустошение в народе: с нуждой и невежеством».

«А! Тебе захотелось сражаться! Прекрасно, молодой человек, ты получишь то, чего желаешь; завтра же тебя зачислят в полк, отправляющийся на Кавказ».

Словно во сне слушал Полежаев все эти грубые речи. Николай не дал ему времени на возражения, он позвал чиновника, с которым Полежаев явился во дворец, и приказал ему отправить поэта обратно к попечителю, который должен был затем получить дальнейшие распоряжения императора.

Разговор этот, напоминающий жесткие насмешки, с которыми обращались к своим жертвам Людовик XI или Иван Грозный, передавался потом часто самим несчастным поэтом, которого, через два дня после высочайшей аудиенции, одели в серую шинель русского солдата. Немного лет спустя он умер, не выдержав мучений, причиненных нежной душе и хрупкому телу варварскими требованиями военной дисциплины — как ни была она для Полежаева смягчена сочувствием товарищей и доброжелательным отношением непосредственных начальников.

ГЛАВА XV

ПОЭЗИЯ И ОРФОГРАФИЯ

MORITURI TE SALUTANT.— ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ.— СПИСОК РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ, ПУБЛИКУЕМЫЙ ПОЧТОВЫМ ВЕДОМСТВОМ.— ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕНАВИСТЬ, КОТОРУЮ НИКОЛАЙ ПИТАЕТ К ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТОРАМ?— АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРИНА.— ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РУССКИХ ИМПЕРАТРИЦ.— НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ГРАММАТИКИ ПО УКАЗУ

Если бы нам захотелось подробно рассказать о злоключениях всех поэтов, всех ученых, которым Николай отравил жизнь своими преследованиями; если бы мы пожелали говорить даже только о тех, для которых он явился, прямо или косвенно, виновником преждевременной смерти, — список вышел бы длинным:

Рылеев, погибший на эшафоте;

Бестужев, убитый на Кавказе, после того как он перенес муки каторжных работ в Сибири;

Кюхельбекер, умерший в крепости, где он был заключен;

Соколовский, погибший на Кавказе от последствий продолжительного заключения в казематах Шлиссельбурга;

Лермонтов, павший на Кавказе жертвой бессмысленной дуэли, на которую он пошел от скуки, порожденной ссылкой.

Достоевский, приговоренный к каторжным работам в 1849 году, и много других, менее известных, но не менее достойных сожаления.

Разве призраки всех этих жертв не являются во сне тирану? Разве безмолвие, все более властно воцаряющееся в империи, не кажется ему временами ужасным?

Николай, однако, находит себе утешение и забвение в обманчивой суете официального «света».

Вместо независимых журналов, появление которых сделано невозможным, он создает невероятную массу журналов правительственных: Журнал Министерства народного просвещения, Журнал Министерства внутренних дел, Журнал Министерства финансов, Журнал Министерства государственных имуществ, Горный журнал и кроме того еще бесконечное число провинциальных журналов, издающихся местными властями.

Каждый год почтовое управление Петербурга и Москвы печатает список периодических изданий — отечественных и заграничных, — которые оно берется доставлять абонентам; в этом списке не более ста пятидесяти иностранных названий и столько же приведено русских — с расчетом уверить почтенную публику, будто в России журналов издается такое же количество, как во всех остальных странах цивилизованного мира, вместе взятых.

Если бы Николай не доводил своего равнодушия по отношению к науке и литературе до ненависти и до самых жестоких гонений, можно было бы его извинить, найдя всему объяснение. В самом деле, для него, от природы лишенного вкуса и не имевшего ни способностей, ни времени получить серьезное образование, литература должна была представлять мало привлекательного: человек, так никогда и не сумевший овладеть орфографией, способен был лишь с большим трудом увлекаться художественной прозой и хорошими стихами.

Тут уместно рассказать анекдот, который мы пообещали, когда говорили об уроках русского языка, преподанных Жуковским жене Николая. Императрицу зовут Александрой *; император, по всей вероятности, находит это имя очень красивым, но зато питает отвращение к имени Александрины и ни за что не хочет допустить, чтобы между этими двумя именами произошло смешение. В Петербурге же есть театр, названный в честь императрицы; по-русски, как и по-гречески, всегда можно образовать прилагательное от имени собственного, — поэтому прилагательное, обозначающее театр имени императрицы, звучит совершенно так же, как если бы сама она звалась Александриной. Император не смог вынести подобного оскорбления и приказал, чтобы во всех официальных

* Довольно любопытно то мало известное обстоятельство, что немецкие принцессы, выходящие замуж за членов императорской фамилии, меняя вероисповедание, превращаясь из протестанток в православных, меняют в то же время и имя; так, нынешняя императрица, которую зовут Луизой, приняла имя Александры. Но еще любопытнее и страннее то, что официально изменяют также и имя отца принцессы. В России каждое лицо называется не только своим собственным именем, но и именем отца; нынешняя императрица именуется Александрой Федоровной. Ее отца, однако, звали, как известно, Фридрихом-Вильгельмом, но поскольку подобного имени в русском календаре нет, его перекрестили в Федора.

документах, афишах и пр. злосчастное прилагательное писалось через такую гласную, которой не могут допустить ни правила орфографии, ни русский слух, но которое зато придает всему слову вид весьма отличный от ненавистного имени.

Конечно, литератор такого пошиба в качестве литературы только и может признавать водевили Клервиля или трагедии Кукольника; однако ненависть Николая к писателям идет не отсюда, она имеет гораздо более глубокую основу в одной из коренных черт его характера, очерченной нами выше — в той злобе и зависти, которой император преисполнен ко всякому вообще проявлению умственного и нравственного превосходства.

ГЛАВА XVI

НИКОЛАЙ-ЗАКОНОДАТЕЛЬ

ОН ПОДРАЖАЕТ ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ.— НЕСЧАСТЛИВЫЙ В ВОЙНЕ, ОН НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬ ЗАКОНЫ.— ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.— СПЕРАНСКИЙ.— НИКОЛАЙ И НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ.— НИКАКОЙ КОДИФИКАЦИИ!— СВОД ЗАКОНОВ.— НИКОЛАЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ И ВВОДИТ ИЗГНАНИЕ

Николай пытался во всем подражать великим монархам, прославленным историей: он хотел быть полководцем, покровителем науки и искусства, законодателем, правителем и дипломатом.

Мы видели, каковы были его успехи на войне.

Мы только что изучили его в роли покровителя искусств. Теперь подойдем к нему, как к законодателю, правителю и дипломату.

Если в военном деле он не мог сравниться с Екатериной, несмотря на то, что она была женщиной, не мог дать так много, как дал его брат Александр, который, однако же не был великим полководцем; если, как покровитель искусств, он, император Российский, во многом уступал королю Людовику Баварскому, то мы увидим, что в области законодательства и управления его можно сравнить лишь с Иосифом II Австрийским, который последние годы своей жизни занимался тем, что уничтожал сделанное им в течение первых лет царствования.

Вступая на престол, Николай нашел в завещанных ему Александром планах подготовительные работы комитета, учрежденного для того, чтобы проверить, упорядочить и согласовать между собой все законы империи.

Руководство этим комитетом он поручил Сперанскому, одному из самых выдающихся государственных людей России, автору проекта конституции, представленного императору Александру, который за это поверг Сперанского в немилость во второй половине своего царствования.

Вся Россия с нетерпением ждала результата этих работ; надеялись получить, наконец, простой и доступный всем кодекс законов, подобный кодексу Наполеона, которым Польша пользовалась с 1807 года. Рассчитывали, что судопроизводство, усложненное ненужной многочисленностью различных инстанций и возможностью повторной апелляции к императору и Государственному совету, будет, по крайней мере, упрощено составлением нового свода. Но всем этим надеждам не суждено было сбыться.

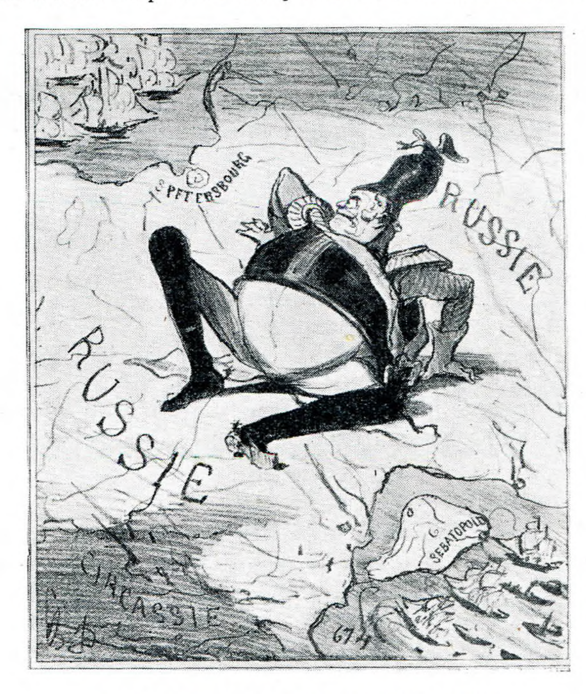
Николай, глубоко невежественный во всех серьезных предметах, имел о законодательстве лишь смутное представление; но инстинкт ему подсказывал, что законы должны главным образом стремиться сохранить и обеспечить права монарха.

Сознавая, что его знания неудовлетворительны, Николай во время одного из своих путешествий в Берлин советовался со своим зятем и шурином, покойным королём и нынешним королем Пруссии; они вполне согласились с тем, что инстинкт подсказал Николаю, и тут же объяснили ему, какие следует принять меры, чтобы обеспечить авторитет государя и даже, если возможно, его усилить.

В эту эпоху в Германии среди юристов господствовала школа, главой которой был профессор Савиньи; школа назвала себя исторической, и основным ее принципом было отрицание кодификации.

Это учение, более или менее логичное в своих схоластических и хитроумных построениях, подходило, во всяком случае, деспотическому государству. Римское право было принято в прошлом как ratio scripta, но современность управляется сводом постановлений обычного права, т. е. целым ворохом законов, постановлений, декретов, которые различные системы управления, сменившиеся в Европе со времени средневековья, накопили во всех странах, подобно последовательным пластам тины, выброшенной большими реками в их устья.

Кодексы законов были революционными и по своему происхождению и по упрощениям, которые они вносили в таинственные извилины правосудия; они несли мерзость запустения в святилище Фемиды.



КАРИКАТУРА О. ДОМЬЕ НА НИКОЛАЯ I

Музей изобразительных искусств, Москва

Николай, быть может, не понял рассуждений немецких ученых, но уразумел вытекающий из них практический смысл и решил заниматься больше составлением свода законов для своей страны. Возвратившись в Петербург, он придал новое направление работе законодательного комитета; комитету не нужно было больше проверять законы, он просто-напросто должен был их классифицировать и изложить на языке, более близком современности, чем их первоначальная редакция; но новое собрание законов должно было постоянно, из-за отдельных деталей, ссылаться на старинные источники.

Когда это собрание появилось под названием «Свода законов», прежде всего поразительным показалось обилие томов; но позднее, увидев, как ежегодно появляется один или два новых тома, все поняли, что ничего не изменилось в русском правосудии и что стало только одним колесом больше в этой, и без того сложной машине.

Спустя несколько лет Николай пришел к другим идеям в области

законодательства, и если он все еще не хотел дать своим подданным гражданского кодекса, то он решил пожаловать их уголовным кодексом.

Этот кодекс отличается от законов, изданных во время царствования его предшественников, совершенно исключительной суровостью и жестокостью. Он, не задумываясь, отменил варварское наказание кнутом, но снова водворил смертную казнь, которая в течение века легально не существовала в России и никогда не применялась на практике в течение царствования Александра (с 1801 до 1825 года). Восстановление смертной казни является еще одной характерной чертой царствования Николая, и когда мы сделаем заключение относительно его деятельности, этому также будет дано надлежащее освещение.

Кроме смертной казни, новый кодекс вводит еще два наказания, неизвестных до сих пор в России — тюремное заключение и изгнание. Заключение никогда не существовало в России как мера наказания, оно применялось только к подсудимым; правонарушения дворян и купцов наказывались штрафами; для низших классов существовали розги и принудительные работы по прокладке дорог *.

Кодекс Николая не отменил телесного наказания, наоборот, он дал ему легальную санкцию, которой, как правило, в большинстве случаев не было; он ввел для правонарушителей тюремное заключение — наказание, несовместимое с славянским характером и с привычками русского народа.

Вводя изгнание, Николай доставил себе удовольствие наказывать тех людей, которые бежали и, таким образом, ускользали от него. Это позволяло ему не ставить себя в смешное положение, приговаривая к каторжным работам или к смертной казни лиц, которых его ненависть и месть не смогли бы никогда настигнуть.

Вот и все большие законодательные работы Николая; мы видим, насколько их результаты ничтожны и нелепы.

Рассмотрим теперь подробно законодательство и систему управления, касающиеся наиболее важных сторон общественной жизни.

ГЛАВА XVII

НИКОЛАЙ — АДМИНИСТРАТОР

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ И СОСТАВЛЯЕТ ЕЕ ГЛАВНУЮ СИЛУ? — КАЗЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ И ПОМЕЩИЧЬИ КРЕПОСТНЫЕ. — ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ И УДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ. — МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ. — ОПИСЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВ И КРЕПОСТНИЧЕСТВО. — НИКОЛАЙ БОИТСЯ ДВОРЯНСТВА

Одним из наиболее важных для России вопросов является вопрос о положении ее земледельческого класса, крестьян, которые составляют громадное большинство народа и на которых основана вся мощь империи.

В этом отношении, как и во многих других, Николай при вступлении на престол воспринял идеи своего предшественника, не слишком, впрочем, в них вникая.

Александр же, воспитанный в духе филантропических идей XVIII века, всегда был склонен к освобождению крепостных и даже постарался соответственным образом подготовить умы, освободив крестьян Прибалтийских губерний. Когда, однако, встал вопрос о распространении этой важнейшей меры на всю империю — ни сам царь, ни те, кто его окружал, не знали, как взяться за дело.

Ко времени воцарения Николая, крестьянский вопрос был уже поставлен в ряде ученых исследований, осветивших отдельные стороны темы.

Установлено было прежде всего полное различие между крестьянами, жившими на государственных землях, и теми, которые обрабатывали владения помещиков.

* Убийство каралось ссылкой в Сибирь, кнутом и каторжными работами в рудниках.

Государственные крестьяне — так назывались тогда первые — составляли больше половины сельского населения в России.

В царствование предшественников Николая земли казны были первоначально смешаны с удельными имуществами императорской фамилии; к тому же государь часто раздавал своим фаворитам имения с крестьянами, причем последние не считали своего положения изменившимся, ибо в их собственном представлении они меняли только хозяев и, вместо того чтобы принадлежать императору, составляли теперь собственность княгини Лопухиной или графа Аракчеева.

Между тем существовала ощутительная разница в положении государственных и помещичьих крестьян. Ее хорошо выражала характерная фраза, бывшая в крестьянском обиходе: «Мы принадлежим господу-богу да государю» — говорили одни в противоположность другим — крепостным, которые принадлежали господину такому-то или такому-то. Последние, действительно, никогда не могли совместить своего рабства с идеей верховного предопределения и всегда знали, что, составляя собственность барина, они отнюдь не принадлежали господу-богу.

Как бы то ни было, но в начале царствования Николая установилось определенное различие между двумя классами земледельческого населения России; с одной стороны — было решено, что государь не станет больше раздавать земель с крепостными, и с другой — возникло особое управление для уделов императорской фамилии, которые не смешивались уже с имениями казны.

Пока шли только подготовительные меры, которые должны были увенчаться и вскоре, действительно, увенчались основанием Министерства государственных имуществ. Это учреждение открывало собой новую эпоху в истории того интересного класса, о котором идет речь.

В самом деле, государственные крестьяне становились свободными сельскими обывателями * и, согласно первому же параграфу указа, которым учреждалось новое министерство, это последнее имело своей задачей управление государственными имениями и заботу об интересах и благосостоянии живших там поселенцев [11]. Так осуществлены были прекрасные обещания начала николаевского царствования, к этому свелись меры, преисполненные либерализма на бумаге, но не сулившие несчастным крестьянам ничего, кроме разорения и нищеты. Плохо исполняемый с самого начала, как и все мероприятия Николая, по внешности имеющие целью общественное благо, — указ этот явился почвой для самого возмутительного беззакония. Так, новый закон ** устанавливал, как мы видели, значительную разницу между помещичьими крепостными и государственными крестьянами: последние отныне должны были рассматриваться как люди вольные, опекаемые специальной администрацией, тогда как крепостные, включая и крестьян императорских уделов, оставались в прежнем положении; однако, в то самое время, когда государственным крестьянам предоставлена была подобная свобода, совершался обмен имениями между казной и ведомством уделов (к полной выгоде последнего), и только что освобожденные крестьяне превращались в крепостных.

Таким-то образом исполняет Николай законы, которые приказывает издавать своему сенату.

---

* В подлинннике colons d'Etat, что не соответствует как подлинному тексту указа 26 декабря 1837 г. об учреждении Министерства государственных имуществ, так и последующему изложению содержания указа в тексте самого Сазонова. — Ред.

** Мы пользуемся здесь без всякого различия терминами закон и указ, потому что в России нет законов в собственном смысле этого слова. Так как единственным источником законодательства является неограниченная власть монарха — никаких других законов, кроме императорских указов, и быть не может. Сенат эти указы только регистрирует.

На первых порах, после учреждения Министерства государственных имуществ, с большим шумом было возвещено о ряде важных мероприятий, между прочим о производстве описи земельных имуществ с целью добиться преобразования податной системы.

Но из всех обещаний ни одно не оказалось исполненным, ибо для Николая дело тут шло только об изыскании средств борьбы с дворянством.

Император почувствовал свой трон поколебленным заговором 1825 года; он понял, что самой большой опасностью для него является союз дворянства с народом; он видел, как проникнутая великодушием часть дворян показала себя готовой на всякие жертвы, думая не только об освобождении крепостных, но даже о безвозмездном наделении их землею. Николай, естественно, поспешил — по примеру Австрии и Галиции — использовать все возможности, чтобы стать между дворянством и народом, чтобы посредством кажущихся реформ воспрепятствовать серьезным преобразованиям, которые намеревалось провести дворянство, чтобы, наконец, поддерживать и разжигать вражду, имевшую для крестьян слишком много основания быть живучей.

Что же касается преимуществ, полученных государственными крестьянами от учреждения нового министерства, то они не только свелись на-нет, но благодаря им положение несчастных еще ухудшилось. Пока крестьяне, оставаясь на оброке и барщине, состояли в ведении Министерства финансов, в их общинные дела почти не вмешивались: раз подати внесены, они могли чувствовать себя достаточно свободными. Новое же, специально учрежденное ведомство, со значительно расширенным штатом чиновников неизбежно должно было дать о себе знать более непосредственным и, в конечном счете, более придирчивым вмешательством. Подати не были уменьшены; они, наоборот, еще возросли за счет побочных повинностей, так что государственные крестьяне, получая легальный и официальный дар свободы, оказывались в большей, чем когда-либо, мере рабами.

Опись земельных имуществ, о которой говорили на протяжении двадцати лет, не получила даже начала в смысле осуществления, и сейчас я сильно сомневаюсь, чтобы крестьяне могли еще говорить, будто они принадлежат богу и государю.

Так отозвался Николай на нужды первой, наиболее значительной части земледельческого населения России; посмотрим теперь, что сделал он для другой — для помещичьих крестьян.

ГЛАВА XVIII

НИКОЛАЙ И КРЕПОСТНЫЕ

ПЛАНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕПОСТНЫХ У ЗАГОВОРЩИКОВ 1825 ГОДА.— ПРОЕКТ АДМИРАЛА МОРДВИНОВА.— АНЕКДОТ, СВЯЗАННЫЙ С ЭТИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ И ЧЕРНЫШЕВЫМ.— ПАЛАЧ НАСЛЕДУЕТ ИМУЩЕСТВО КАЗНЕННОГО.— КНЯЗЬ БОБРИНСКИЙ И ТВЕРСКОЕ ДВОРЯНСТВО.— ВЕРОЛОМСТВО НИКОЛАЯ.— ОН ВОВСЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ КРЕПОСТНЫХ

Заговорщики 1825 года, все без исключения дворяне, наследственные душевладельцы, преследовали две основные цели: освобождение крестьян и улучшение участи солдат.

На этом они все сходились; значительные разногласия, однако, существовали у них по вопросу о путях к достижению цели; если одни, исходя из чисто филантропических воззрений, возмущались особенно унижением, которому крепостничество подвергает человеческую личность, и довольствовались только освобождением, другие, в частности Пестель *, рассматривали вопрос с точки зрения государственных интересов и вовсе не намеревались поэтому создавать столь многочисленный

* Для ознакомления с подробностями см. интересную работу г. Николая Тургенева: Р о с с и я и р у с с к и е.

класс пролетариев, а думали о превращении крестьян в свободных земельных собственников.

Николай познакомился с планами преобразования по бумагам восставших и по их показаниям на следствии; во всем этом он ничего не понял, за исключением разве того, что проекты, выдвинутые дворянством, сильно угрожали его власти. Он решил поэтому, с одной стороны — воспрепятствовать великодушной части дворянства привести замыслы в исполнение и, с другой стороны, прибегнув к обещаниям и кажущимся реформам, самому стать защитником и освободителем крестьян.

Не столько частичными и незначительными мероприятиями, введенными с самого начала царствования для защиты крепостных, сколько бесконечными и умело распространяемыми обещаниями русский император заставил на некоторое время поверить своим мнимым симпатиям к страждущим классам. Со времени вступления Николая на престол не прошло, вероятно, ни одного года, без того чтобы он не получал предостережений, планов, прошений, проектов, касающихся освобождения крестьян.

Проект адмирала Мордвинова [12], члена Государственного Совета, известен всей России *.

Много раз крестьянский вопрос подымался на дворянских собраниях, и в 1838 году князь Бобринский, во главе депутации дворян Тверской губернии, представил императору адрес, с просьбой о скорейшем освобождении крестьян, с указанием средств, способных достигнуть цели.

Николай, как всегда, ответил, что столь важный вопрос надлежит решать только ему одному и что он предлагает дворянам спокойно ожидать императорского решения.

---

* По своему значению этого государственный деятель, столь же честный, как и разумный, известный непреклонностью своих принципов и характера, играл роль, напоминающую ту, которую играл князь Долгорукий во времена Петра Великого, но Долгорукий имел дело с великим человеком, а Мордвинов имел несчастье жить в царствование Николая, что делало для него бесконечно более трудным проявление свойственных ему добродетелей: любви к справедливости и родине. Он был неподкупен и строг в своей любви к справедливости, и много раз интимным советникам Николая пришлось страдать из-за этой поистине римской честности.

Чернышев, сперва граф, потом князь, военный министр и председатель Государственного Совета, а в то время лишь флигель-адъютант императора, рассчитывал быть наследником всего состояния графа Чернышева, которое было конфисковано, когда его самого, как одного из участников заговора 1825 года, приговорили к каторжным работам.

Флигель-адъютант Николая не имел ничего общего с графом, принадлежавшим к старинному дворянскому роду, но уверенный в милости государя, особенно щедрой благодаря положению, которое Чернышев занял в качестве члена комиссии, судившей и приговорившей его мнимого родственника, он представил ложную генеалогию своего рода и добился признания сенатом своего ходатайства. Ему оставалось получить только санкцию Государственного Совета. Николай еще не успел ввести туда своих людей; там заседали пока старые слуги Александра: им не на что было надеяться и тем более нечего бояться нового императора. Поэтому ходатайство Чернышева было принято ими с единодушным отвращением, и после оживленных, но кратких прений решено было просьбу отклонить. На секретаря Совета возложили обязанность представить доклад, подкрепленный соответствующими статьями закона. На следующем заседании доклад был зачитан и представлен на подпись присутствующим членам Совета; Мордвинов, выслушав чтение, заметил секретарю, что он не привел одного закона, благоприятного г-ну Чернышеву. Когда секретарь спросил, какой это закон, Мордвинов велел отыскать его и включить в доклад на следующем заседании.

На другой день, когда секретарь еще ничего не успел найти, Мордвинов встал и торжественно сказал: «Господин секретарь забыл старинный закон царя Алексея, согласно которому наследство казненного принадлежит палачу». Чернышев никогда не сумел снять с себя этой ужасной анафемы, а Николай во веки не простил ее старому Мордвинову, который умер вдали от дел, под постоянным надзором «голубых мундиров».

Дворянство же совсем не было расположено к спокойному ожиданию, ибо вопрос касался одновременно собственных его интересов и будущего России.

Наконец, после долгих колебаний, после многих тщетных обещаний Николай решился действовать, и в 1842 году был издан указ, позволявший и предлагавший дворянам установить новые отношения с крепостными [13].

Помещики могли предоставить крестьянам землю для общинного пользования, а крестьяне, с своей стороны, обязывались, по особому соглашению, работать на барина определенное число дней в неделю или же платить ему оброк. Крестьяне, освобожденные таким образом, назывались уже не крепостными, а обязанными крестьянами. Это было чрезвычайно незначительное, крайне робкое мероприятие, и тем не менее ожидания были столь долгими и напряженными, что даже такая мера, не давая удовлетворения надеждам, должна была принести и принесла в действительности большое оживление.

Крепостные и дворяне не могли поверить, что этот указ является окончательным, и рассматривали его как переход к новому порядку вещей. До этого, однако, не было никакого дела Николаю, который в своем преклонении перед законностью не терпит ничего, хотя бы отдаленно напоминающего революцию. И спустя несколько месяцев в циркуляре, обращенном к губернаторам, он в неясных выражениях ограничил степень освобождения, которая свелась к отдельным попыткам, предпринятым большей частью крупными помещиками в их наименее значительных владениях.

Вот и все, что Николай сделал для благополучия самого многочисленного и наиболее угнетенного класса своих подданных; и нельзя не отметить отсутствия искренности, характеризующего его действия в этом случае, как и в ряде других, в чем мы уже имели возможности убедиться. Действительно, если он имел в виду освобождение крестьян, он мог подать пример, освободив крестьян в своих частных имениях, во всем сходных с имениями помещиков, и, таким образом, обеспечить успех своему мероприятию.

Не так обстояло на деле. Он не только никогда искренне не стремился к раскрепощению, но всячески пытался оттянуть его необходимость. Он нарочно запретил устраивать новые народные школы и в тех, которые уже существовали, приказал строго ограничиваться элементарным образованием, ни в коем случае не расширяя программы.

Мы увидим, был ли он в других отраслях управления более счастливым и более передовым.

ГЛАВА XIX

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

НАЛОГИ В РОССИИ.— ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ.— ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ.— НИКОЛАЙ И ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ.— БОГАТСТВО КАЗНЫ И ЗДОРОВЬЕ НАРОДА.— КАНКРИН.— ИЗОЩРЕНИЯ ЦАРЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. — БЕДСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКИХ ФИНАНСОВ

Налоговая система в России сейчас примерно такая же, какая была в средние века; главной статьей государственного дохода является подушная подать, уплачиваемая всем мужским населением, принадлежащим к податным сословиям (так официально называются в России), иными словами — крестьянами и мещанами.

Купцы первых двух гильдий, оплачивающие большие налоги, освобождены от податей, так же как духовенство и дворяне, которые участвуют в государственном бюджете лишь как берущая сторона. Вслед за подушной податью наиболее важной статьей доходной части бюджета является откуп водки и других спиртных напитков. Правительство

объявило государственной монополией продажу алкоголя, и каждые три года оно сдает на откуп тем, кто больше даст на торгах, право продавать его в розницу в каждом городе и в каждой губернии. Эти два налога существовали до царствования Николая в той же форме, в какой сохранились и теперь, но доход от них значительно повысился: от подушной подати благодаря ее прямому повышению, от винного откупа— из-за неумеренно возрастающего потребления водки и конкуренции откупщиков.



«ВЕЛИКИЙ ЗМИЙ 1848 ГОДА»
Карикатура из журнала «Punch», 1848 г.
Среди изображенных коронованных особ на первом плане Николай I.

Как мы уже говорили выше, в области политической экономии Николай всегда признавал лишь прямую и непосредственную выгоду казны; он был также последовательным, запрещая основание обществ трезвости, потому что они серьезно угрожали наиболее доходной статье бюджета; интересы же бюджета ставились конечно гораздо выше здоровья и благополучия народа.

В бюджете России, по своей важности, третье место занимали доходы с таможенных сборов; здесь Николай особенно отличился своим невежеством и непоследовательностью; в стране, мощь которой зависит исключительно от земледелия, он пытался сначала, когда министром финансов был Канкрин, создать путем особенно строгих заградительных пошлин искусственный промышленный подъем и к тому же в отраслях наиболее чуждых национальному производству, как, например, пряжа бумажной ткани, выделка шелковой материи и т. п. Канкрин был, по крайней мере, логичным и в течение своей жизни сохранил свою систе-

му неизменной; но после его смерти Николай объявил, что желает сам управлять финансами и назначил на должность министра соломенное чучело, что-то вроде приказчика (г. Врончепко, вскоре умершего), который только слепо исполнял распоряжения хозяина.

Тогда-то и начались все невероятные финансовые операции, вроде покупки иностранных бумаг на золото, добытое с таким трудом в условиях стесненного оборота, о котором мы говорили выше, и другие подобные же предприятия.

Запретительная система также претерпела в это время изменения и колебания, не давая ожидаемых результатов; началось то повышение тарифа, то частичное его снижение, мотивированное большею частью политической ненавистью или симпатией, но никогда не основанное на соображениях государственной выгоды. В настоящий момент благодаря Николаю финансы России, как и ее промышленность и земледелие, находятся в самом плачевном положении и, конечно, если дворяне, которых он наказал, и крестьяне, которых он обманул ложными обещаниями, не любят его совсем, — купцы и промышленники, разоренные его политикой, тоже не могут считаться преданными ему.

ГЛАВА XX

КАК НИКОЛАЙ ПРОВОДИТ ДЕНЬ

ЕГО ТРУДОЛЮБИЕ.—НИ ОДНА МЕЛОЧЬ ОТ НЕГО НЕ УСКОЛЬЗАЕТ.— ЧЕМ ЭТО ОБЪЯСНИМО.— МУНДИРЫ, ФОРМА ПАРАДНАЯ И ОБЫКНОВЕННАЯ.— ПРОФЕССОРА СО ШПАГОЙ НА БОКУ.— ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЯЗЫКА В ПОЛНОЙ ФОРМЕ. — ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦЕ. — ОТВЕТ МОЛОДОГО КНЯЗЯ ГАГАРИНА. — ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ДЛИНЫ РОЗОГ. — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСТИНЕ НЕОБЫЧАЙНАЯ

Часто говорилось о том, что Николай много работает, что ни одна мелочь гражданского и военного управления от него не ускользает, что ко всему прилагает он свою руку; в этом есть доля правды. Николай, действительно, работает много, и мелочи тем реже могут от него ускользать, что только их он видит и любит: он сам подбирает и разрисовывает все военные и гражданские мундиры, а это — дело не малое, ибо каждой должности присвоена не только одна особая форма, но часто целые две — обыкновенная и парадная, и все они отличаются разными воротниками, обшлагами, пуговицами и выпушками.

Гражданские чиновники приневолены к форме так же хорошо, как и военные.

Так как Николай имеет обыкновение часто создавать новые должности и изменять круг полномочий уже существующих чиновников, ему приходится также изобретать новую форму, что всегда занимает немало времени: нужно ведь пересмотреть всю имеющуюся коллекцию, дабы избежать повторений и тем не навлечь на себя стыда *.

---

* Нельзя себе представить, не побывав в России, до какой степени доходит у Николая это пристрастие к форме.

Явитесь в госпиталь в тот день, когда там ожидается посещение государя или какого-нибудь официального лица; вы найдете привратников в форме, больничных служителей в форме, врачей и фельдшеров в форме со шпагой на боку.

Войдите в университетский зал, где преподается — все равно — химия или греческая литература, вы увидите, что профессор на кафедре одет по форме, точно так же, как и студенты. Если вам придется присутствовать на академическом торжестве, картина еще более вас поразит: у профессора, произносящего по латыни об очаровании мирных научных занятий, вы увидите сбоку шпагу, а студенты, которые будут выходить за своими дипломами баккалавра или лиценциата, окажутся тоже при шпаге.

Всё, одним словом, подчинено строгой форме, все носят шпагу. Вам захотелось изучать русский язык; вы приглашаете учителя, он приходит в форме. Вы спросите, не является ли он государственным чиновником. «Нет, сударь, — отвечает он вам, — я домашний учитель и ношу форму, присвоенную моему званию».

Одно это составляет уже значительную работу. Затем Николаю ежедневно приходится выслушивать доклад коменданта Петербургской крепости о происшествиях военных; доклад генерал-губернатора и полицмейстера о происшествиях гражданских; наконец, доклад шефа жандармов о происшествиях секретных.

Работа, как видим, не переводится, и это еще не все. Николай каждый день посещает также казармы, школы, храмы и постройки; половина его дня проходит в разъездах.

При посещении школ, когда он встречает ребят большого роста, особенное удовольствие доставляет ему возможность с ними помериться, чтобы определить, кто выше всех.

В казармах его больше всего заботит поддержание показной чистоты.

На улицах он следит за тем, носят ли офицеры головной убор и шинель согласно приказу. По улицам он вообще разъезжает много — во всякое время; потому-то, когда однажды князь Меньшиков повторял своему племяннику, князю Гагарину, выговор, который император поручил передать молодому офицеру, — выговор за то, что он лентяй, ибо Николай постоянно сталкивается с ним на улице, — князь Гагарин ответил: «Но, дядя, если государь встречает меня, я его также встречаю; следовательно...» Ясно, что министр не дал своему племяннику кончить.

Помимо разъездов и высочайших докладов Николаю, который ко всему прилагает руку, приходится каждый день прочитывать большое количество бумаг, представляемых на его одобрение, и так как он любит вникать в подробности, дело не обходится без курьезов. Мы сами видели печатные правила, выработанные для школ царства польского и подписанные министром народного просвещения (генералом Головиным) [14]. Правила эти в свое время должны были быть представлены императору: в числе других более или менее любопытных статей они содержат параграф, определяющий длину и качество розог, которыми следовало пороть учеников в коллегиях.

Таковы многочисленные и утомительные труды, которым беспрестанно предан Николай; если к этому прибавить еще частые смотры и смены караула, где он присутствует, без труда станет понятным, что его деятельность могла быть определена, как поистине необычайная.

ГЛАВА XXI

ДИПЛОМАТИЯ

НИКОЛАЙ ИДЕТ СНАЧАЛА ПО СЛЕДАМ БРАТА.— СОЮЗ С ФРАНЦИЕЙ.— РАЗРЫВ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА.—СОЮЗ С ГЕРМАНИЕЙ.—БРАКИ ЧЛЕНОВ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАДЕТЕЛЬНЫХ ДОМОВ ГЕРМАНИИ.— ЦЕПЬ ОТ БАЛТИКИ ДО РЕЙНА

Мы познакомились с Николаем в качестве законодателя и администратора, нам остается разобрать его как дипломата. В дипломатии, так же как и во всех других видах правительственной деятельности, он не оправдал обещаний и надежд первых лет своего царствования.

Следуя сначала политической линии брата, Николай брал в качестве стержня своей дипломатии союз с Францией; после того как он оказал помощь делу преобразования независимой Греции, ему удалось, опираясь на этот союз, достигнуть окончания тягостной и неудачной войны против Турции почетным с виду миром.

Николай готовился извлечь еще и другие выгоды из уже оказавшегося столь благоприятным союза, когда революция 1830 года вдруг заставила изменить направление политики и отбросила его на тот гибельный путь, с которого он потом никогда не сходил.

Став в позу рыцаря законности, русский император оставался с тех пор скрытым или явным, но неизменным врагом Франции. Эта система-

тическая и постоянная вражда явилась основой его политики не только во вне, но и внутри страны, где он пытался искоренить влияние французских идей и цивилизации.

После разрыва с Францией Николай должен был отыскать другую точку опоры для своей внешней политики; он никак не мог найти ее в Англии, ибо расхождение коренных интересов делало в данном случае невозможным сколько-нибудь прочный и искренний союз; пришлось в конце концов обратиться к Германии, чему благоприятствовали, кроме всего прочего, личные побуждения императора и устремления министра иностранных дел графа Нессельроде.

Германия, разделенная между двумя крупными державами и множеством второстепенных государств, открывала широкое поле для династических и дипломатических интриг; Николай со своим министром горячо принялся за дело, и на протяжении двадцати слишком лет русская политика была почти исключительно политикой немецкой.

Так как интриги, о которых идет речь, опирались в особенности на династические браки, мы сейчас приведем подробные данные относительно родственных уз, связывающих русскую императорскую фамилию с царствующими домами Германии.

Этого рода факты, конечно, известны государственным деятелям и дипломатам; однако, до сих пор общественное мнение недостаточно ими занималось.

Четыре сестры Николая оказались выданными замуж за иностранных государей; две еще живы: вдовствующая королева Голландская и вдовствующая великая герцогиня Саксен-Веймарская; две другие, которых нет уже на свете, были замужем: одна — за нынешним королем Вюртембергским, другая — за великим герцогом Ольденбургским. Нынешний король Голландии так же, как и великие герцоги Саксен-Веймарский и Ольденбургский — племянники Николая; король Вюртембергский — его зять.

Русский император благодаря браку с одной из прусских принцесс стал затем зятем царствующего короля Пруссии.

Жена его брата Константина, принцесса Саксен-Кобургская, сестра Леопольда, короля Бельгии, и тетка принца Альберта, супруга английской королевы.

Путем браков, которые Николай обеспечил своим детям, он еще умножил родственные связи с Германией. Старший сын Николая женился на принцессе Гессен-Дармштатской, второй сын — на принцессе Саксен-Альтенбургской; старшая из его дочерей была выдана замуж за герцога Лейхтенбергского, вторая стала женой наследного принца Вюртембергского, наконец, третья, ныне умершая, — женой принца Гессенского.

При посредстве брака своей дочери с сыном принца Евгения Николай породнился косвенно с фамилией Наполеона I и прямо — с королевой шведской, сестрой герцога.

Из двух дочерей великого князя Михаила одна была выдана замуж за герцога Нассау, а вторая — за великого герцога Мекленбург-Стрелицкого.

Мы, таким образом, видим, что за исключением владетельных домов Германии, исповедующих католичество, все остальные находятся в прямом родстве с Николаем; если же вспомнить, что он сам через своего деда Петра III, герцога Гольштейн-Готторпского, связан с царствующей фамилией Дании, можно протянуть непрерывную цепь от Балтики до берегов и устья Рейна — цепь, которая связывает друг с другом все царствующие дома и концы которой держит в своих руках русский император.

Прибавим ко всем этим родственным узам еще личные связи Николая со всеми немецкими государственными деятелями, — связи, усердно укрепляемые во время частных путешествий императора в Германию (недаром при этом раздается такое количество российских орденов), нам тогда не трудно будет понять влияние русской политики на немецкие дворы и кабинеты. Не нужно только впадать тут в преувеличения, которые, несомненно, допускает сам Николай.

Во-первых, чтобы двигаться по указанному выше пути, русскому императору достаточно было только следовать фамильной традиции; а затем успех подобной политики интриг мог являться сколько-нибудь значительным лишь до тех пор, пока положительные интересы Германии, отражаемые ее общественным мнением, не вступили в прямое противоречие с влиянием Николая. Как только конфликт назрел, русскому императору, уверенному в полной моральной победе над Германией, пришлось сильно разочароваться — тем более, что ради угождения эфемерному союзнику он пренебрег коренными интересами собственного народа.

ГЛАВА XXII

НИКОЛАЙ И ИВАН ГРОЗНЫЙ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ.— СТЕФАН БАТОРИЙ И ИВАН ГРОЗНЫЙ.— ПЕРЕПИСКА ГРОЗНОГО С КНЯЗЕМ КУРБСКИМ.— ПЕРЕПИСКА НИКОЛАЯ С ГОЛОВИНЫМ. ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЕЦ ПОССЕВИН.—ПАСТЫРЬ И ВОЛК.—ЛИТВА И АВСТРИЯ.—СРАВНЕНИЕ НЕ В ПОЛЬЗУ НИКОЛАЯ.— ЦАРЬ И КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР.— КРОНШТАДТ И ГИБРАЛТАР

Два факта, характерных для дипломатии Николая, два стержня его внешней политики, это его ненависть к Франции и стремление управлять Германией; ближайшее будущее, вероятно, подтвердит, насколько это противоречило здравому смыслу и интересам страны.

Что касается дипломатических приемов Николая, то они являются единственными, ни с чем несравнимыми: чтобы найти им пример, нужно вернуться на несколько веков назад.

Около середины шестнадцатого века в России царствовал необыкновенный государь — Иван, прозванный Грозным! Он начал лучше, чем Николай; когда он восемнадцати лет от роду после смерти матери принял бразды правления, ему не пришлось подавлять восстаний; показав себя с самого начала полным смирения, кротости и, в то же время, мужества, он издал новый кодекс; он одержал победу над Казанскими и Астраханскими татарами и покровительствовал нарождающейся цивилизации. По ряду причин, излагать которые пришлось бы слишком долго и которые, кроме того, многократно рассказаны историками, к концу первых лет славного плодотворного царствования, во время которых Иван показал все свои способности и всю доблесть, он изменил резко и окончательно характер поведения.

Мрачный, мнительный, замкнутый, показывающийся на людях только в окружении толпы опричников, которых он набрал среди преступников и проходимцев, он предавался проявлениям дикой ярости, которая находила исход в постоянных и неслыханных по жестокости пытках. Жертвами их становились без разбора, как и без повода все, кто попадался царю под руку.

Это своеобразное занятие, эта кровавая мономания заставила его пренебречь интересами страны, и государь испытал все несчастья, к которым должно было привести подобное пренебрежение.

Разбитый Стефаном Баторием, королем Польши, под постоянной угрозой татар, не имея возможности положиться на кого-либо внутри страны, он злодеяниями и издевательствами осуществлял свою дикую страсть; гордость не позволяла ему ни перед кем склоняться, и в пере-

писке с Баторием и с Курбским мы снова находим образец дипломатии Николая, проявившейся в его корреспонденции с сэром Гамильтоном Сеймуром [15].

Иван Грозный, воспользовавшись беспорядками междуцарствия, завладел областями, которые находились под верховным покровительством Польши. Баторий, избранный королем, потребовал очистить области, которые некогда были заняты меченосцами. Иван ответил, что он не был зачинщиком и что сами рыцари своими набегами на его землю заставили Ивана оттеснить их к их границам.

Позднее, заключив перемирие с Польшей, Иван отправил к Баторию послов, под предлогом переговоров о мире, и во время этих переговоров, которые сам затягивал, закончил военные приготовления, снова занял польскую территорию и задержал послов, которых Баторий со своей стороны послал к Ивану.

Это все та же дипломатия Николая. Переписка Ивана с князем Курбским нашла себе отражение в наше время в корреспонденции Ивана Головина [16] с графом Бенкендорфом, шефом «голубых мундиров», который писал от имени и под диктовку Николая.

Курбский спасся бегством в Польшу, где он мог не бояться гнева царя; Грозный смягчился и в длинных посланиях, полных цитат из библии, старался убедить беглеца, что его долг как подданного и христианина — вернуться на родину покорным, готовым к раскаянию и просить прощения у своего законного государя, помазанника божия.

Курбский отвечал великолепными письмами, где он доказывал помазаннику божьему, что тот не более, как злодей, который нарушил все божеские и человеческие законы и заслуживает со стороны всех христиан лишь презрение и ненависть.

Не будучи настолько же красноречивой и обстоятельной, переписка Головина с шефом «голубых мундиров» носит такой же характер *.

Головин получил приказание вернуться на родину; он не ответил ни согласием, ни отказом. Тогда сперва Нессельроде, потом шеф «голубых мундиров» послали ему несколько вежливых, убеждающих, почти нежных писем, в которых уговаривали Головина возможно скорее повиноваться царскому приказанию. Эти господа знали не хуже самого Головина, какой прием его ожидает в России, если он окажется настолько простодушным, что вернется; но тем не менее они называли себя его преданными и покорными слугами. В этом политика Николая оказалась более лицемерной, чем политика Ивана, потому что Грозный на ряду с увещеваниями наносил оскорбления и не объявлял себя покорным слугой того, кого считал своим рабом. Он же был удостоен на своем политическом поприще честью, которая выпала и на долю Николая — он вел долгие переговоры с папским легатом, преподобным отцом Поссевином, представителем иезуитского ордена. Это был ловкий и тонкий человек, присланный папой, чтобы обратить в католичество московского царя, и Ивану, который стремился к союзу с Римом и чванился познаниями в богословии, приходилось претерпевать жестокие нападки; но когда иезуит на него слишком наседал, Иван пускал в ход оскорбления, которые всегда прекращали спор.

Когда нунций говорил ему о папе, как о верховном пастыре церкви, то Иван, в довершение всех доводов, отвечал: «Ваш папа не пастырь, он — волк!»

Но, что гораздо больше напоминает дипломатию Николая, это недостаточное уважение, с каким Грозный относился к своим влиятельным соседям; так, когда преподобный Поссевин говорил ему

* См. предисловие к книге Ивана Головина: «La Russie sous Nicolas I».

о необходимости приобщиться к римской церкви, чтобы избежать притеснений со стороны других государей, которые все были католиками, когда он обращал внимание Ивана на опасность, угрожавшую ему особенно со стороны Литвы, Иван в апогее своего величия, улыбаясь, ответил:

«О, что касается Литвы, то она у меня в кармане!».

Не кажется ли, что Николай припомнил эти слова своего предшественника, когда говорил об Австрии с Гамильтоном Сеймуром? Мы не хотим больше продолжать нашу параллель; нам нужно было лишь охарактеризовать эту дипломатию, руководимую хитростью, во имя гордости и тщеславия, и мы думаем, что наше сравнение даже слишком лестно для Николая.

Лишь в последнее время, после того как он захотел сам стать собственным министром финансов, он попробовал захватить в свои руки иностранные дела; уже давно, сознавая свое невежество, Николай предоставил графу Нессельроде руководить дипломатией, и последний, не обладая орлиным взором, умел, по крайней мере, держаться в рамках традиций и приличия. Николай никогда не знал этих границ и был несколько раз сурово проучен иностранными послами.

Во время царствования Луи-Филиппа Николай отозвал из Парижа своего посла графа Палена, не назначив ему заместителя. По истечении некоторого времени король Луи-Филипп нашел нужным тоже отозвать г-на де-Баранта, своего посла в Петербурге; последний предупредил императора, что попросит вскоре о прощальной аудиенции [17].

Николай не ожидал такой твердости со стороны французского правительства того времени; и, не зная, что ответить г-ну де-Баранту, он сказал ему резко, тоном оскорбленного:

— Это что — враждебное выступление против меня со стороны вашего правительства?

— Да, нет, государь, наоборот, это проявление снисходительности и уважения.

— Как так, сударь?

— Европейские власти отправляют лишь к китайскому императору своих послов, не требуя с его стороны ответного поступка; правительство нашего короля думало, что такое уподобление, если оно еще продолжится, будет оскорбительным для вашего величества.

Николай поспешил повернуться спиной к послу.

В другой раз, после постройки в Кронштадте двух новых, выложенных гранитом фортов, Николай пригласил английского посла, лорда Дюргейма, осмотреть их; посол принял приглашение и, после смотра флота и освещения фортов, возвращался обратно на царской яхте с Николаем и со всем его штабом.

Николай сиял, лорд Дюргейм был, как всегда, желчен и угрюм; празднество его не развлекло, грохот пушек его оглушил, и когда Николай, радостный точно после одержанной победы, приблизился к лорду, чтобы выслушать его поздравление, английский посол обмахивался носовым платком, отгоняя запах пороха, который распространился в воздухе от последних залпов с судов.

— Итак, милорд, — сказал Николай, — что вы скажете о моем Кронштадте? Он теперь так же неприступен, как Гибралтар?

— Да, но я осмелюсь заметить, ваше величество, что Гибралтар не неприступен; англичане его отлично взяли и сохранили за собой.

Такой резкий отпор со стороны посла облил холодной водой Николая в его энтузиазме.

Наша задача близится к концу. Мы представили жизнь Николая, мы следовали за всеми перипетиями его молодости и зрелых лет; мы

изучили и взвесили его поступки как дипломата, как законодателя, как покровителя науки и искусства. Нам осталось сделать заключение о его жизни и характере, опираясь на те случаи, которые мы здесь привели, и начертить точный портрет его личности, которая, напрасно или справедливо, но привлекает внимание Европы уже больше четверти столетия.

ГЛАВА XXIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НИЗМЕННЫЕ НАКЛОННОСТИ.— НЕБРЕЖНОЕ ВОСПИТАНИЕ.— ЧРЕЗМЕРНОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ.— ПРЕВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА В ЦАРЕДВОРЦА.— ЖЕСТОКОСТЬ И ХИТРОСТЬ.— ЛИЦЕМЕРИЕ, ВОЛОКИТСТВО, СПЕСЬ.— КАК РОЖДАЮТСЯ ПОРОКИ.— НЕИМОВЕРНОЕ ТЩЕСЛАВИЕ.— НИКОЛАЙ И НАВУХОДОНОСОР.— ОН НЕ ТОЛЬКО СМЕШОН.— УСИЛЕНИЕ НАКАЗАНИЙ.— АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

Обладая от природы самыми низменными наклонностями и ограниченными способностями, подготовленный умышленно небрежным воспитанием к спокойному и незначительному уделу младшего из великих князей, Николай в двадцать лет внезапно увидел возможность завладеть престолом.

Он был ослеплен неожиданной милостью судьбы, и его суровый грубый нрав изменился под влиянием пламенного честолюбия. Престол, который был ему обещан, но в котором он не был еще уверен, возбуждал в нем все более и более страстное желание; невежественный и наивный солдат превращался в хитрого царедворца.

Его честолюбие не было страстью благородной души и возвышенного ума, ищущих власти ради осуществления великих идей; он любил власть, как скупой любит золото, не для того чтобы им пользоваться, но чтобы его хранить, копить и в нем зарыться.

Таким был Николай при жизни старшего брата, таким он оставался и после его смерти. Ничто не подготовило его царствовать достойно, ни серьезное образование, ни плодотворные размышления; он думал, что одолевавшего его честолюбия достаточно, чтобы добиваться верховной власти. Когда же он ее достиг после недостойной комедии, разыгранной им и его братом Константином перед всем миром, он решил, что сохранение власти само по себе узаконяет обладание ею.

Он не останавливался ни перед самым бесстыдным насилием, ни перед самой злой хитростью, чтобы сохранить и возвысить авторитет, которым наградил его случай.

Наша эпоха не является уже веком Маккиавели, одного насилия недостаточно для поддержания власти, и Николай, запачкав кровью престол, надел на свое желчное и истощенное в то время лицо маску лицемерия, с которой уже никогда не расставался. Каждый год его царствования развивал в нем каким-то роковым образом новый порок: сперва он стал лицемерным, потом обладание неограниченной властью, связанное с лицемерием, породило в его душе непомерную спесь, гордость сатаны, заставлявшую его ненавидеть и преследовать своим гневом всех людей, не склоняющихся перед его всемогуществом.

Среди наполовину варварского населения, в обществе, в котором он тщательно уничтожил все ростки прогресса, ему было не трудно разбить все виды общего или единичного сопротивления.

Вскоре его спесь не находила уже пищи, и новый порок сменил, по крайней мере на время, предыдущий. Обладая черствым сердцем и не быстрым умом, Николай никогда бы не подумал о волокитстве, если бы не стал императором; но опьяненный всемогуществом, он захотел узнать, оказывает ли оно такое же действие на женщин, как и на мужчин. Так же, как он нашел льстецов среди высоких сановников, так же отыскал он куртизанок среди придворных дам: это было ухаживание без неж-



«РУССКИЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ»
Карикатура на смерть Николая I из журнала «Punch», 1856 г.

ности, любовь, лишенная поэзии, времяпровождение, полное тщеславия, как для него, так и для женщин, принимавших его царские ласки.

Гордость превратилась в тщеславие; оно завладело душой Николая и воцарилось в ней полновластным хозяином, чтобы, пройдя все мыслимые степени и смешавшись со всеми другими наклонностями, поглотить их, создав, наконец, небывалое, сказочное существо, едва сравнимое с мифическими властителями Вавилона и Ниневии: Николай должен был превзойти Навуходоносора и Валтасара!

Но, прежде чем следовать за развитием и видоизменениями его неимоверного тщеславия, осветим некоторые не менее интересные черты интересующего нас характера: Николай ведь не только смешон.

Черствый от природы, Николай в бытность великим князем предвосхитил мелочными, жестокими выходками роль, которую должен был сыграть позднее; со времени вступления на престол он искоренил в себе все человеческие чувства и дошел до такой степени изуверства в нравственных убеждениях, что, единственный из всех современных государей, часто отягчает приговоры военных судов.

Право помилования, это святое преимущество верховной власти, эту, так сказать, священную привилегию, он превратил в право приговора и позволял себе усиливать такие наказания, которые никем до него не считались особенно мягкими. До сих пор осужденный, услышав от судьи приговор, знал, что если решение суда не смягчено верховной властью, то на этом свете ему суждено иметь дело только лишь с палачом. Николай переменил роль, он встал между палачом и жертвой, чтобы отягчать наказание.

После того как Николай принял на себя столь ужасную обязанность, нельзя удивляться, что он держит у себя в руках ключи особого каземата, расположенного в Петропавловской крепости в Петербурге. Этот каземат называется Алексеевским равелином, он расположен под

водой, и несчастные, находящиеся там, известны лишь императору и офицеру, облеченному его особым доверием.

Николай, как мы уже говорили, хранит у себя ключи своих казематов и навещает заключенных два или три раза в неделю. Человек, притязающий на роль палача, с успехом может выполнять обязанности тюремщика.

ГЛАВА XXIV

ХАРАКТЕР. ПОРТРЕТ

VANITAS VANITATUM, ET OMNIA VANITAS!— НИКОЛАЙ БЕРЕТ ПРИМЕР С НАПОЛЕОНА, ПОТОМ С ЛЮДОВИКА XIV.— ЕГО УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ПОДРАЖАНИЯ.— ПОКРОВИТЕЛЬ НАУК.— МЕЦЕНАТ ЛИТЕРАТОРОВ.— СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕСТОРОМ КУКОЛЬНИКОМ В РАБОТЕ НАД ОДНОЙ ИЗ ЕГО ТРАГЕДИЙ.— ГОГОЛЬ, НИКОЛАЙ И ХЛЕСТАКОВ.— ДРУГАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ.— ТРИ ПОРТРЕТА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЛИЦА

Мы не возвращаемся здесь больше к исследованию политических событий николаевского царствования; сейчас Немезида истории произносит высший приговор его поступкам, и при звуках ее мощного голоса нам приходится умолкнуть; но преступления, как и смешные стороны человека, одинаково в нашей власти, и всем им мы сумеем воздать должное.

Никогда еще слова мудреца не находили более правильного и более полного применения; отдавшись демону тщеславия, Николай приносит жертвы только на его алтари. Все служило для него предлогом к тщеславию: законодательство, управление, армия, флот, финансы, искусство, наука и т. п. Николай, не задумываясь ни о том веке, в котором живет, ни о своей стране, выбирал себе один за другим образцы среди великих государей, стараясь не только им подражать, но превзойти их, подобно лягушке из басни.

Сперва его любимым героем был Наполеон; чтобы вдохновиться его гением, он окружил себя изображением великого человека, читал бюллетени великой армии и Мемориал св. Елены [18]; потом сам попытался пойти по стопам современного Карла Великого.

Он хотел иметь гвардию еще более блестящую, чем у первого императора Франции, его гвардия стала более многочисленной. Он хотел издать кодекс более совершенный, чем кодекс Наполеона, и создал значительно более пространный. Он также попробовал лично председательствовать в Государственном Совете, но так как природа отказала ему в даре слова и недостаточное образование лишило его возможности понимать суть дела, ему очень скоро надоела роль немого председателя, и он решил отказаться в этом случае от подражания своему образцу.

Но особенно унизительным для него был моральный удар, испытанный им в Турецкую кампанию (в 1829 г.), — неудача, которая убедила его в невозможности достичь когда-либо военной славы Наполеона и, тем более, превзойти его. Его тщеславие, однако, не могло обойтись без сопоставлений с знаменитостями, и так как война ему решительно не удавалась, он взял за образец короля политикана, дипломата и правителя — Людовика XIV non pluribus impar: этот девиз ему подходил; он уже давно считал себя первым человеком своего времени, он хотел доказать это всему свету.

Что нужно было для этого сделать?

Построить храмы, покровительствовать искусству, литературе и науке, поощрять промышленность, улучшить положение буржуазии и народа, ослабить феодальные силы.

Обо всем этом Николай прочел в «Веке Людовика XIV» Вольтера: там же отыскал он ряд подробностей относительно Ла-Вальер, Монтеспан и Ментенон. Николай определенно стал находить в себе задатки

современного Людовика XIV и, быть может, мечтал о создании нового Версаля, когда случился пожар его дворца.

Это был прекрасный повод; Николай, как мы уже видели, сумел им воспользоваться и по истечении года, восстановив ценою сорока миллионов гигантский особняк в самом скверном стиле рококо, он вообразил себя равным творцу Версаля. Раз устремившись по этому пути, Николай надолго не смог уже остановиться. Нам незачем здесь повторяться, потому что выше было показано, как он покровительствует искусству и любит его; укажем лишь на результаты его покровительства наукам.

Людовик XIV поощрял астрономию; нужно было следовать его примеру; и вот построили обсерваторию, которая стоила около 10-ти миллионов; ее построили в таком месте, где астрономические наблюдения можно производить с некоторым успехом самое большее в течение 70-ти дней в году.

Одержимый тщеславием, далекий от того, чтобы покровительствовать литературе, Николай получал удовольствие, преследуя ее, и достаточно было быть известным писателем, чтобы стать в его глазах подозрительной личностью. Но с тех пор как тщеславие завоевало первое место в его характере, он несколько смягчился; и кроме того, разве пример Людовика XIV не обязывал его стать другом и покровителем поэтов.

Николай преследовал Пушкина, Лермонтова и других; он стал осыпать милостями Нестора Кукольника и Гоголя.

Нестор Кукольник — драматург на редкость плодовитый, обладающий менее чем посредственным талантом; его первая драма, написанная совместно с императором, озаглавлена строкой, заимствованной из старой русской трагедии: «Рука всевышнего отечество спасла». Эта пьеса ставит своей целью доказать в противовес истории, что Романовы не были избраны русским народом, но что сам бог возвел их на престол. Творчество Николая ограничилось тем, что он заставил ядром оторвать голову действующему лицу, ибо тот был против избрания Михаила Романова и поэтому недостоин был жить после того, как Михаил стал царем.

После этой пьесы Кукольник написал бесконечное множество драм, комедий, романов, поэм, и его последнее творение называется: «Морской праздник в Севастополе по поводу победы у Синопа».

Что касается Гоголя, действительно гениального человека, то расположение к нему Николая можно объяснить лишь случайной необычайной причудой, одной из гримас судьбы, которые придумывают в минуту язвительного творчества сатирические поэты, сами в них не веря.

Так как отношение к Гоголю существеннейшим образом касается наиболее интимных сторон характера Николая, то мы войдем в некоторые подробности. Гоголь, прославленный уже несколькими произведениями, полными оригинальности и правды, как раз оканчивал комедию — его первый опыт в этом жанре; комедию читали некоторые друзья автора, о ней много говорили, но знали, что она не будет ни поставлена на сцене, ни издана: цензура этому противилась.

Вот в чем содержание пьесы: молодой человек, уехав из Петербурга в отпуск, чтобы повидаться с родителями, по дороге растратил деньги, очутился в маленьком провинциальном городке и застрял в гостинице, где ему не отпускали больше в кредит. В это же время власти маленького города ожидали прибытия ревизора, объезжавшего губернию, чтобы представить министру отчет об управлении. После ряда смешных qui pro quo молодого вертопраха принимают за ревизора; он с удовольствием берет на себя эту импровизированную роль, и тогда начинается настоящая комедия. Молодой человек, увидев, что за ним ходят, его

слушают, восхищаются им, пускается в лабиринт выдумок, в хаос лжи, в ошеломляющее хвастовство и, увлеченный тщеславием и наивностью окружающих, злоупотребляет как их легковерием, так и кошельком, и уезжает как раз в тот момент, когда приезжает настоящий ревизор. Сюжет обыкновенный, характеры доведены почти до карикатур, и, тем не менее, это хорошая настоящая комедия, потому что характер главного героя по-человечески правдив, действительно правдив, ибо этот тип, всячески видоизмененный, встречается повсюду, в особенности в России, где длительный деспотизм и долголетнее рабство сделали ложь легкой и в то же время более необходимой, а тщеславие более сильным и более наивным.

Николай, услышав разговор об этой неизданной комедии, захотел ее прочесть и, побеседовав с автором, который сумел его уверить, что это — сатира на злоупотребления, встречающиеся в провинциальных учреждениях, разрешил постановку пьесы. Если пьеса Гоголя и была сатирой, то она метила значительно выше, и конечно, придумывая интригу, в которой реальное лицо не могло бы участвовать, автор вовсе не стремился смягчить нравы провинции, он скорее думал смутить зрителя, и его первый читатель попался на уловку.

Теперь, когда Гоголь умер, можно совершенно свободно публично заявить то, что в Петербурге издавна повторяли все, кто знали автора «Мертвых душ»: «Ревизор» — карикатура и герой пьесы сам Николай, превращенный в мелкого чиновника.

Еще при жизни Гоголя было известно его заявление в одном опубликованном письме: «Почему мне лишать себя возможности изображать маленьких людей», говорил он. — «Лишь бы типы были правдоподобны, неважно как они одеты. Переоденьте моего Хлестакова (лже-ревизора) и вы найдете его в кругу, где вовсе не думаете с ним встретиться; в иной одежде, по-иному разговаривающим, но таким же тщеславным, таким же лгуном и таким же взяточником» [19].

Это правда: действительно личность императора точно воспроизведена в типе Хлестакова.

Последний, когда говорит об известных романах, претендует на авторство и с апломбом утверждает, что все имена современных авторов лишь псевдонимы, которыми он пользуется из скромности.

Николай намеревается соединить в своей особе качества и славу Людовика XIV, Петра Великого, Фридриха Прусского и Наполеона; еслиб он знал древнюю историю, — он присоединил бы еще Цезаря, Александра и Рамзеса.

Хлестаков, одалживая по двугривенному то у одного, то у другого, говорит о громадном состоянии своих знаменитых родителей и их обширных имениях. Николай, выманив у русской буржуазии ее последний червонец, принялся закупать ценные бумаги в Париже и Лондоне и делает вид точно спасает французский банк.

Хлестаков играет роль ревизора с редким нахальством. Николай, приезжая в Германию, тоже с большим апломбом делает вид, будто он обследует принадлежащую ему страну. Хлестаков, навирая и хвастая, убеждает самого себя, что по крайней мере половина того, что он говорит, — правда. Николай думает, что вся его ложь и все хвастовство — не что иное, как чистейшая истина.

Гоголь, несмотря на весь свой комический дар, не предусмотрел наиболее странной черты этого характера. Он, вероятно, не решился бы представить Хлестакова, позволяющим высмеять себя в своем же присутствии.

Николай позволил высмеять себя и сам первый хохотал над собственной карикатурой, показанной публике.

Хохотал при этом вполне чистосердечно — вот насколько слепо тщеславие!

Достигнув этого места, наше перо останавливается, все сказано об этом императоре-комедианте, который в мрачные минуты жизни играет трагическую роль, надев красную мантию, обагренную кровью.

Закончим обрисовкой внешнего облика Николая.

Наружность его так же, как и духовный склад, последовательно прошла через три фазы.

Сначала — это молодой честолюбивый солдат, весь словно из одного куска, левша, неуклюжий, с ввалившимися злыми глазами, бледным цветом лица, бесцветными сжатыми губами.

Затем — могущественный император, сильный с виду, тяжелый, но полный достоинства в движениях, крепко затягивающий живот, чтобы лучше подпирал грудь. Суровость взгляда смягчена привычкой к любезности, цвет лица свеж, на губах охотно появляется улыбка, но жесты остаются сухими и резкими — даже в том случае, когда они служат сопровождением льстивым речам. Еще позднее, — теперь уже старик, забывающий молодиться, распрощавшийся с хохлом, который осенял его голову, уже двадцать с лишком лет седую; почти слоновая тучность и спина, сгибающаяся под тяжестью каски; рот вновь приобрел злобное выражение, но взгляд потонул в заплывших жиром веках и дышит удовлетворенным тщеславием, почивающим под сенью воображаемых лавров.

В первой и во второй из этих фаз можно было Николая презирать или ненавидеть; его последнее превращение внушает уже чувство совсем иное, чем ненависть.

На предыдущих страницах мы сказали только несколько слов о Польше; между тем Польша в царствовании Николая играла очень большую роль; можно даже сказать, что ей тут принадлежит главная роль.

Факт тот, что революция 29 ноября 1830 года является наиболее значительным событием в жизни царя; по своим непосредственным и более отдаленным последствиям она приобретает еще большее значение.

С этого времени Польша явилась единственным, исключительным предметом забот Николая; именно она — покоренная, разбитая, измученная продиктовала царю его политику.

Опутывая сетью интриг Германию, Николай добивался утверждения своего господства в Польше; за ту же самую Польшу сражался он на Кавказе. В 1840 году, когда была сделана попытка унизить Францию при помощи эфемерного союза с Англией, в действительности дело шло об ослаблении Польши; венгерская кампания 1849 года была направлена против Польши; Польшу же стремился Николай окончательно поработить, вводя свои войска в дунайские княжества.

В самой России, когда царь препятствует одновременно материальному освобождению крепостных и умственной свободе культурных классов общества; когда он закрывает в университетах кафедры философии и политической экономии; когда ставятся преграды распространению всякой вольной мысли, — все эти меры направлены главным образом против Польши.

И Николай совершенно прав, ибо каждый интеллигентный русский несет в своем сердце братскую любовь к угнетенной Польше. Всякий раз, когда русские бывали, коллективно или индивидуально, осуждены за политические преступления, их польские симпатии служили одной из наиболее серьезных причин осуждения.

Когда казнили в Вильне в 1839 году героя и мученика Конарского, русские наряду с поляками подверглись осуждению за сочувствие его освободительным идеям.

Когда во время Венгерской войны множество офицеров было ночью расстреляно на валу Варшавской цитадели, среди них вместе с поляками погибли и русские; в то же самое время Николай в Петербурге приговорил к каторжным работам и ссылке два десятка отважных молодых людей, также сочувствовавших Польше.

В ходе только что прочитанного вами изложения о Польше было сказано немного слов совсем не из-за безразличного к ней отношения и не по-забывчивости; мы предпочли дать слово самим полякам и собрали в конце книжки забытые или малоизвестные документы, дающие все необходимые сведения по Польскому вопросу.

Изложение фактов заимствовано из брошюры государственного деятеля, окруженного всеобщим уважением, которого он заслуживает по своему таланту в такой же мере, как и по характеру [20].

Объяснение принципов, руководивших польской революцией, находится в манифесте представителей Польши, опубликованном 20 декабря 1830 года, единодушно одобренном обеими палатами и редактированном комиссией в составе сенаторов Почворовского (епископ) и Миочинского и депутатов Лелевеля, Алоиза Бернацкого, графа Густава Малаховского и Сведзинского. Манифест Стефана Батория, публикуемый в заключении, еще в другом отношении связанный с нашим изложением, дает понятие об исторической основе раздоров и войн между Россией и Польшей [21].

Одно мы можем с удовлетворением констатировать; то, что всякий раз, когда представители Польши имели случай высказываться о русском народе, они умели отделять его от его правительства и что Иван Грозный, так же как и Николай, отнюдь не представлялся им олицетворением России.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Памфлет «La vérité sur l'impereur Nicolas par un russe» был издан анонимно в Париже в 1854 г. Авторство Сазонова раскрыто Христином Островским в его книге «Lettres slaves». В примечании к письму Сазонова, русский перевод которого приводится в настоящем издании, Островский указывал, что Сазонов является автором «замечательной работы под названием «Правда о Николае» (Ch. Ostrowski: «Lettres slaves», Paris, 1857, стр. 22). Не доверять этому указанию нет никаких оснований, тем более, что оно было сделано при жизни Сазонова и не было опровергнуто им.

Несмотря на осведомленность Сазонова в русских делах, в его книге имеется немало неточностей, непроверенных данных и ошибок (например, ошибочно его мнение, что Милорадович был убит случайной пулей; не соответствует действительности его сообщение относительно пыток, якобы применявшихся во время следствия к декабристам, и т. д., и т. д.). Мы не считали нужным оговаривать все эти ошибки и неточности. В памфлете Сазонова для современного читателя интересна и важна не фактическая сторона, а общая характеристика личности и государственной политики Николая I, сделанная тогдашним революционером и свидетельствующая об отношении к Николаю революционной среды того времени.

[2] А. К. Шторх — известный экономист начала XIX века, член Академии Наук, популяризовавший в своих сочинениях экономические идеи Ад. Смита.

[3] Смотр русских войск под местечком Вертю состоялся 29 августа 1815 г.

[4] Официальное сообщение о событиях 14 декабря было опубликовано в «Русском Инвалиде», Сазонов приводит из него только краткое извлечение и при этом сильно изменяет его текст.

[5] Сазонов имеет в виду цензурный устав 1828 г., но преувеличивает его либерализм. Дело в том, что этому уставу предшествовал другой, изданный в 1826 г. и по своей суровости далеко превосходивший все цензурные распоряжения предыдущего царствования. Уставом 1826 г. на цензуру в лице руководящего ее органа возлагалось не только наблюдение за печатью, но и руководство ею в желательном для правительства направлении. Устав 1828 г. ввел некоторые смягчения по

сравнению с уставом 1826 г., но и он был далек от какого бы то ни было либерализма.

[6] Эпизод, о котором рассказывает Сазонов, относится к 1847 г., когда русское министерство финансов заключило конвенцию с французским банком относительно покупки на 50 миллионов франков облигаций этого банка. Куплены они были по курсу 115 сантимов, а в 1848 г. курс на них упал до 78. Только в 1849 г. министерству финансов удалось, — да и то с большим трудом, — продать их по 100 сантимов. В том же 1847 г. определено было отделить из разменного капитала экспедиции кредитных билетов до 30 миллионов руб. серебра на покупку иностранных государственных фондов. Эта операция дала не менее печальные результаты, чем предыдущая.

[7] «Шаривари» — французский юмористический журнал, выходивший с 1832 г.

[8] Балет «Восстание в Серале» был поставлен в 1835 г. в Мариинском театре.

[9] Имеются в виду 9 и 10 песни «Дон Жуана».

[10] Намек на обширную литературу о России и о Николае I, выходившую во Франции и в Англии накануне и во время Крымской войны.

[11] В законе 26 декабря 1837 г. говорилось, что министерство государственных имуществ создается «для управления государственными имуществами, для попечительства над свободными сельскими обывателями и для заведывания сельским хозяйством». Эту реформу никак нельзя рассматривать, как «освобождение» государственных крестьян, так как последние были поставлены в полную зависимость от окружных начальников, назначаемых правительством, пользовавшихся на практике неограниченною властью над крестьянами и вмешивавшихся во все дела государственных крестьян и в деятельность органов их самоуправления — волостных правлений и волостных голов.

[12] Н. С. Мордвинов не был сторонником отмены крепостного права, находя, что оно «необходимо для общего спокойствия, для внутреннего благоустройства». По его мнению, освобождение крестьян станет возможным лишь тогда, когда в России возрастет население и у помещиков явятся капиталы, достаточные для найма рабочих рук. Такие мысли были изложены им в записке, составленной в 1833 г. В другой записке, относящейся к более раннему времени (1818 г.), Мордвинов допускал безземельное освобождение крестьян при условии выкупа их по ценам, весьма выгодным для помещиков.

[13] Положение об обязанных крестьянах, изданное в 1842 г., сводилось к тому, что помещикам, желающим освободить своих крестьян, предоставлялось отпускать их на волю (в разряд «обязанных крестьян»), отводя им землю, которая, хотя и оставалась собственностью помещика, не могла быть произвольно отнята им у крестьян; получившие землю крестьяне должны были или отбывать в пользу помещика условленную барщину, или же выплачивать ему определенный денежный оброк. Практического значения закон 1842 г. не имел, так как перевод крестьян на положение «обязанных» был предоставлен всецело воле помещиков.

[14] Речь идет о генерале Головине Евгении Александровиче (1782—1858), с 1828 г. бывшим варшавским военным губернатором. После подавления польского восстания 1830—1831 гг. в 1832 г. была опубликована «уставная грамота», определявшая административное устройство Польши и отношения ее к России. Для управления польскими делами при наместнике была учреждена правительственная комиссия, члены которой ведали отдельными отраслями администрации и носили название главных директоров. В 1834 г. Головин был назначен главным директором внутренних дел, народного просвещения и исповеданий (поэтому Сазонов и называет его министром). В этой должности Головин оставался до 1837 г., когда был переведен на Кавказ. По своим убеждениям Головин, в молодости принадлежавший к хлыстовскому кружку Татариновой, был ханжей и мракобесом. Заведуя народным просвещением в Польше, он проявил себя в качестве усердного обрусителя.

[15] Под корреспонденцией Николая I с Гамильтоном Сеймуром Сазонов разумеет переговоры Николая I, ведшиеся в 1853 г. с английским послом в Петербурге Сеймуром, о необходимости договориться относительно раздела Турции, которую Николай I считал «больным человеком», осужденным на верную и скорую смерть. Эти переговоры, выяснявшие аннексионистские планы русского правительства, произвели большое впечатление в Англии и много способствовали тому, что английское правительство решило принять участие в Крымской войне.

[16] Переписка эмигранта И. Г. Головина с представителями русского правительства, требовавшими от него возвращения на родину, происходила в 1843—1844 гг. и закончилась тем, что отказавшийся возвратиться в Россию Головин был лишен чинов и дворянского звания и заочно приговорен к каторжным работам.

[17] Николай I недоброжелательно относился к Луи-Филиппу, получившему корону в результате революции 1830 г. К этому присоединилось сильное недовольство Николая I политикой французского правительства, настаивавшего в 1840—1841 гг. на том, чтобы международным соглашением была гарантирована неприкосновенность Турции. В конце 1841 г. русский посол в Париже гр. П. П. Пален отбыл в отпуск;

с этих пор и до 1851 г. Россия не имела во Франции посла и петербургский и парижский кабинеты сносились между собою чрез простых поверенных в делах.

[18] Во время заключения на острове св. Елены Наполеон диктовал жившему при нем его приближенному Лас-Казу воспоминания, которые были впоследствии изданы под названием «Mémorial de Sainte Hélène».

[19] Слова, поставленные в кавычки, являются не точной цитатой, а свободной передачей мыслей, изложенных Гоголем в «Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору».

[20] Имеются в виду русские караульные офицеры, охранявшие арестованных по делу С. Конарского: прапорщики Де-Люмне и Бархвиц, подпоручик Литвинов и штабс-капитан Кузьмин-Караваев. Из сочувствия к арестованным они помогали им сноситься с родственниками и оставшимися на свободе товарищами, за что и были «подвергнуты заслуженному наказанию». М. Топильский. — Несколько слов о событиях в Вильне после казни эмиссара Конарского. «Русский Архив», 1870 г., стр. 1194.

[21] К книге Сазонова были приложены обширные выдержки из брошюры видного деятеля революции 1830—1831 гг. А. Бернацкого «L'Autocrate et la Constitution du royaume de Pologne», изданной в Брюсселе в 1832 г., манифест польского революционного правительства 1830 г., манифест Стефана Батория, а также сведения о составе русской императорской фамилии, перечень высших придворных, административных, военных и духовных чинов, список дипломатических представителей различных стран в Петербурге, краткие данные о составе и численности русских войск и статистические сведения о населении России по губерниям.

III. ПИСЬМА

1. К. С. АКСАКОВУ

Женева, 2 февраля 1836 г.

Мне очень мудрено теперь писать к вам, — вот уже более шести месяцев, как мы не видались: что делали в это время, что делаете теперь; попрежнему ли вы царь Саламандров, или переменились; попрежнему ли вы живете в мире мечтаний — или переселились в мир действительности? Как знать, быть может, вы сделались fashionable: борода en collier grec и черепаховая тросточка; быть может, вы стали чиновником: официальные пуговицы и официальные фразы; быть может... но это бы все не мешало, — я думаю, что в человеке таком, как вы, при всех переменах остается нечто не переменяющееся. — Но то беда, что мы отвыкли друг от друга, что вы, как следует, забыли несколько отсутствующего товарища, — и что мне теперь — для того, чтобы изъяснить вам мысль мою — нужно вдесятеро более слов, нежели прежде, когда мы всякий день говорили о том и о сем, переходя от Гофмана к Гегелю, от Гегеля к Снегиреву[1]. Несмотря на это, я решаюсь писать к вам: лучше позд[н]о, нежели — еще позднее.

Когда-нибудь, при свидании, я расскажу вам свое путешествие в отношении личном, теперь пока вы увидите только внешность, так как она мне представлялась. — Разумеется, я начну с Германии, чтобы угодить вам, но это не та Германия, о которой вы мечтаете, не та Германия, которой твердо-каменный слепок хранится в Московском университете[2]; это не та облачная земля, где в сумраке плавала система тождества, блистала иногда поэзия Шиллера и дымились фантазии Жан-Поля: — это Германия реальная, составленная из логики Гегеля, из второй части Фауста, из светлых фантазий Гейне и Лаубе, из лекций Ганса[3] и из прусской.......... *: — Фауст забыл сентиментальную Маргариту, он влюблен в Элену, и она не призрак, — Харон объяснил ему, что мифологические женщины вечно юны и прекрасны, что для них нет времени. И не одна только Элена жива для Фауста, для него живы и мать ее, и отец ее, и вся Олимпийская родня ее;

* Одно слово не разобрано. — Ред.

он сидит с ними на Олимпе, а Геба льет амврозию в его кубок (этой сцены недостает в том издании, которое у вас в Москве). Германия в настоящем ее положении более, нежели когда-нибудь, достойна изучения; она молода и сильна как Россия, учена и умна как Франция.

После Германии я видел Швейцарию, после людей — природу — и природу очаровательную. В Германии я скучал иногда, тосковал иногда об отчизне, но здесь нельзя скучать, нельзя тосковать. — Представьте себе: я пишу вам у окна, перед которым расстилается Леман, небо, чистое, голубое, как глаза вашей любезной (у ней кажется карие), отражается в озере, которое блестит еще лучше, нежели глаза вашей любезной. — Нет, не путешествуйте по Швейцарии, вы совсем растаете, влюбитесь в первую хорошенькую швейцарочку (их здесь множество и все вам посылают поклон) и сделаетесь наверно озерным поэтом[4].

Вот вам мои новости, не совсем новые, теперь я жду от вас московских новостей: расскажите мне все, что делает Миша Топорнин, помнит ли он меня (скажите ему, что я более, нежели когда-нибудь, советую ему развратиться, если он еще не сделал этого); что делает Толмачев[5], витийствует ли уже с кафедры или нет? — Сообщите им письмо мое и скажите, что я жду от них так же, как и от вас, как можно более новостей. Также прошу вас сообщить письмо мое Кетчеру, — он живет близ Покровского собора на казенном инструментальном заводе. Засвидетельствуйте мое почтение вашему батюшке и вашей матушке — и поклон всем, кто меня помнит. — Прощайте, жду ответа.

Николай Сазонов

Мой адрес: à Monsieur N. de Sasonoff, aux soins de Messieurs Hentuch etc. en Suisse à Genève.

Настоящее письмо было написано Сазоновым во время первого пребывания его за границей (с осени 1835 по 1836 г.). Печатается впервые с оригинала, хранящегося в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, в Москве.

Как видно из настоящего письма, Сазонов находился в дружеских отношениях с Аксаковым, был знаком с его семьей и сохранял близость к нему и по окончании университета. Однако, в скором времени после того как Аксаков определился как ярый сторонник славянофильства, пути их разошлись.

[1] Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — филолог, этнограф и археолог, профессор Московского университета.

[2] В 30-х годах К. С. Аксаков увлекался германской философией и литературой и был поклонником Шеллинга и Гегеля.

[3] Ганс Эдуард (1798—1839) — немецкий юрист, профессор Берлинского университета, примыкал к левым гегельянцам, пользовался большой популярностью среди русской интеллигенции того времени, увлекавшейся идеями Гегеля. Лекции Ганса в Берлине слушали Станкевич, Грановский и другие западники.

[4] Озерные поэты — название группы английских поэтов-романтиков начала XIX века: Водсворт, Кольридж, Соути.

[5] Топорнин и Толмачев — товарищи Сазонова по университету.

2. Н. Х. КЕТЧЕРУ

С.-Петербург, 1837, июня 18-го

Я пользуюсь случаем, чтобы напомнить тебе о существовании некоего Николая Сазонова, который нисколько не забывает доброго твоего к нему расположения; впрочем, не в этом дело.

В Петербурге я не нашел того, чего искал, но зато нашел и узнал много неожиданного. Я искал общества, хотел учиться тому, как жить в свете — и не нашел этого; 1-е потому, что здесь общества собственно нет, второе, что вход в круг, который называет себя обществом, невозможен при условиях моего характера, а если бы и был

возможным, то не имел бы для меня никакой существенной пользы. — Вследствие этого, я живу здесь в совершенном одиночестве, никого не вижу и никого не хочу видеть, и бываю с людьми только для того, чтобы не разучиться говорить.

Теперь о том, что я узнал, чему научился: в противность московским предрассудкам я утверждаю, что Россия не в Москве, а в Петербурге. В Москве — прошедшее России, может быть искры будущего, но настоящее — в Петербурге, а в настоящем все. Кто хочет знать Россию, тот должен жить здесь; живя в Москве Россию поймешь столько же, сколько бы понял Францию, живя при дворе Генриха V или в Англии с изгнанными республиканцами. Развивать моих мыслей я не стану, потрудись понять меня, а если не поймешь, то приезжай сам в Петербург и через неделю ты поймешь это не хуже, если не лучше моего. Раз. Еще я узнал, что здесь несравненно более людей, стоящих наравне с веком, не только по уму и знаниям, но и по характеру (характер — я считаю необходимою принадлежностию порядочных людей нашего века), нежели как полагают вообще московские молодые люди. Между этими бедными чиновниками несравненно более знания жизни вообще и жизни русской в частности, нежели между лучшими московскими теоретиками. — Я почел неизлишним сообщить тебе эти замечания; если они несправедливы, то скажи мне свои возражения, я выслушаю их с большим удовольствием, тем более, что это подаст мне случай подробнее развить собственные мои мысли. Заметь, что я не унижаю достоинства Москвы: я люблю ее и понимаю ее не менее кого-либо, но всему свое время.

Ты охотник до действия, до действия полезного, я разумею, — вот тебе мысль, которая мне кажется довольно дельною: Знаешь ли ты что такое caisse d'épargnes? Если не знаешь, то узнай — и подумай хорошенько, не полезно ли бы было завести их в России? Мне кажется, что это могло бы иметь целый ряд самых выгодных последствий. — Подумай об этом, и если моя мысль покажется тебе не совсем нелепою, то напиши мне, и я разовью подробно свой план.

Когда будешь писать к Герцену и к Огареву, также к Сатину [1], то напомни им обо мне. Я не пишу, знаешь почему. — Попроси Астракова [2], чтобы он исполнил, если возможно, мою просьбу. — Кланяйся тем, кто меня помнит. — Adieu.

Настоящее письмо печатается впервые с оригинала, хранящегося в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина, в Москве.

В письме Сазонова к Н. Х. Кетчеру нашли себе отражение те споры, которые велись в то время в кружках московской интеллигенции о значении Петербурга, с одной стороны, и Москвы, с другой, в жизни русского народа. Кетчер, как известно, был горячим поклонником Москвы и утверждал, что Петербург — город чиновников и что жизнь в нем гибельна для умственно развитого человека.

Заслуживает быть отмеченным интерес, проявленный в этом письме Сазонова к сберегательным кассам (caisse d'épargnes); в России их в то время не существовало, да и на Западе они были еще новинкою.

[1] А. И. Герцен, Н. П. Огарев и Н. М. Сатин, во время написания настоящего письма, находились в ссылке: Герцен в Вятке, Огарев в имении отца в Пензенской губернии, а Сатин в Пятигорске.

[2] Астраков Николай Иванович (1809—1842) — друг Сатина и Герцена.

3. КРИСТИНУ ОСТРОВСКОМУ

Милостивый государь и друг.

С искренней радостью я узнал из вашего братского приглашения о возможности присоединиться к вам в этом году, чтобы отпраздновать годовщину вашей революции. Я тем более был тронут этим приглашением, что оно напомнило мне последний польский праздник,

на котором я присутствовал, — тот, на котором мой друг Бакунин взял слово, чтобы сказать от глубины своего сердца, что он горд возможностью повторить вслед за вами: «Польша еще не погибла, раз мы еще существуем». Мой друг впоследствии засвидетельствовал искренность своих слов в Праге, в Дрездене и в тюрьмах Саксонии, Австрии и России. О, конечно, я не осмеливаюсь сравнивать себя с этим, святым для меня, мучеником свободы, но по чистой совести я могу сослаться на его пример в доказательство того, что я не должен быть исключен из вашего патриотического единения. Я помню, что в 1830 г. ваши знамена имели девиз: Za wasza i nasza wolnosc; я помню, что в том же году, едва выйдя из детского возраста, я хотел научиться говорить по-польски, чтобы знать язык этого героического народа, энергичные сыны которого открывали нам будущее, призывая революцию, столь же необходимую для рабской России, сколько и для порабощенной Польши. Убеждения моей юности сохранились и в зрелые годы. Добровольный изгнанник со своей родины, осужденный царем за нежелание возвратиться в Россию по его приказанию, я принес в жертву все, чтобы остаться свободным человеком, чтобы иметь возможность любить независимую Польшу столько же, как и свободную Россию. Да, дорогие сограждане, я говорю вам от всего сердца и с глубоким убеждением: мы можем добиться свободы только совместно, как совместно мы порабощены. Я могу быть не согласен с вами относительно союзников, которых вы себе ищете, чтобы отвоевать вашу независимость; но поскольку вы действуете от имени польского народа, русский народ ответит на ваш братский призыв; заявляю вам об этом от имени своего и всех своих единомышленников в России, и поверьте — их число велико.

Братья, позвольте мне сказать несколько искренних и мужественных слов. Когда непрекращающиеся насилия тирана, угнетающего нас, возбудят в целом мире крик бесконечного негодования, я хотел бы принять участие в этом концерте проклятий, чтобы помочь сокрушить его силою общего осуждения; но было бы ошибкою или пристрастием присоединить к этому справедливому возмущению общественного мнения незаслуженное оскорбление русского народа. Хотят смешать нас, нас русских, нас казаков, нас московитов, с правительством чужеземного происхождения, против которого мы, мы русские, мы казаки, мы московиты, протестуем восстаниями, заговорами, жизнью в ссылке и смертью. Нас обвиняют за нашу религию, за нашу историю, за наши нравы. Ну нет, братья по изгнанию, по страданиям, по убеждениям, я отвергаю все эти оскорбления и протестую перед вами против несправедливого осуждения. Как и вы, мы — христиане; эта религия, в которой нас воспитали наши матери, научила нас практике христианской свободы, путь к которой указывают нам наши праведники и мученики. Наша история, в ее новейшей части, к несчастью, запятнанная жесточайшим деспотизмом, имела однако эпохи всеобщей борьбы и великого отмщения, и мы не отвергаем их, так как свобода находила себе представителей, всегда достойных, хотя часто и несчастных. Нравы нашего народа таковы же, как и нравы всех славянских народов; таким образом, нападая на нас, вы нападаете на самих себя.

Братья! я чувствую потребность выразить все это вам, чтобы укрепить вашу братскую симпатию. Вопль, поднявшийся против России, наносит рану моему сердцу, но не затемняет мой ум, и единственный результат, который он может иметь для искреннего сердца и ума, проникнутого убеждениями, — это вызвать ненависть, еще более глубокую и более полную, к бессердечному деспотизму, который унизил нас в глазах цивилизованных людей до степени диких зверей. Не-

справедливо смешивать народ с подавляющим его правительством. Итак, ненависть, ненависть и месть этому вероломному правительству, столь же антинациональному, сколько и противочеловечному, — правительству, которое, стремясь поработить Европу, губит Россию. Да погибнет навеки деспотизм. Справедливость и возрождение славянам, питающим к нему отвращение.

Позвольте мне прибавить еще одно слово, чтобы продолжить священную традицию. Разрешите мне сказать вам, как говорил Бакунин: Польша еще не погибла, раз мы существуем. Раз мы существуем, русский народ также еще не погиб; он живет для своей свободы, как и для вашей.

Примите и пр.

Париж, 29 ноября 1853 г.

Письмо это, адресованное польскому эмигранту Кристину Островскому, принимавшему участие в польской революции 1830—1831 гг., а по подавлении ее поселившемуся в Париже и выступавшему в качестве публициста и беллетриста, как в эмигрантской польской, так и во французской прессе, было написано в ответ на приглашение принять участие в собрании польских эмигрантов в Париже, устраивавшемся в память двадцать третьей годовщины польской революции. Такие торжественные собрания ежегодно устраивались польскими эмигрантами в день начала восстания 1830 г. 29 ноября (н. с.). В своем письме Сазонов вспоминает речь М. А. Бакунина, произнесенную на аналогичном собрании в 1847 г. В этой речи Бакунин между прочим говорил: «Пока мы были разъединены, мы взаимно друг друга парализовали; вместе мы будем всемогущи для доброго дела. Ничто не сможет противостать нашему общему выступлению».

Письмо Сазонова было опубликовано Кр. Островским в его книге «Lettres slaves» (3 изд. Париж, 1857 г., стр. 219—221). В русском переводе оно появляется впервые в настоящем издании.

4. В РЕДАКЦИЮ «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

[Первая половина марта 1856 г. Париж]

В первых числах апреля н. ст. должно выйти в Париже новое собрание стихотворений Виктора Гюго под названием Contemplations (Созерцания). В Париже и во всей Европе много говорили об этом произведении знаменитого поэта. Друзья его, читавшие бо́льшую часть его стихотворений, помещенных в двух обещанных томах, говорили о новой стороне таланта В. Гюго, о новой силе мысли и о свежести формы. Не без особых усилий удалось мне доставить вам и через вас русским читателям мозможность судить заблаговременно о достоинстве новых стихотворений автора «Осенних листьев». Посылаемая мною поэма принадлежит к лучшим из стихотворений, заключающихся в двух томах «Созерцаний»; при том же она написана весьма недавно и запечатлена новою манерою В. Гюго. Не распространяясь о достоинстве новых произведений этого поэта, замечу только, что весь Париж с нетерпением ждет появления «Созерцаний», за которые издатели (Мишель Леви и Паньер) заплатили автору шестьдесят тысяч франков.....

К письму этому было приложено стихотворение Гюго «Le maitre d'études». Письмо Сазонова — или, точнее, воспроизводимый выше отрывок из него — и стихотворение Гюго были напечатаны в № 63 «С.-Петербургских Ведомостей» от 18 марта 1856 г. в фельетоне «Петербургская летопись». Исходя из этого, нами и дана приблизительная датировка этого письма. Местонахождение его оригинала неизвестно. По выходе из печати книги В. Гюго «Contemplations» Сазонов посвятил ей специальную статью в «Отечественных Записках» (1856 г., № 7). Упоминаемый в письме Сазонова сборник стихотворений Гюго «Осенние листья» (Les Feuilles d'Automne) был издан в 1831 г.

«ИСПОВЕДЬ» В. И. КЕЛЬСИЕВА

Подготовка к печати Е. Кингисепп

Вступительная статья и комментарии М. Клевенского

1867 год был в русской общественной жизни исключительно беспросветным годом. «Белый террор», начавшийся после покушения Каракозова в апреле 1866 г., господствовал вовсю. «Царила всюду тишина, мертвечина, нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной: ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду», — говорит один современник[1]. В 1866 г. были закрыты правительством два руководящих органа передовой мысли — «Современник» и «Русское Слово», и литература была этим обезглавлена. Даже и за границей в 1867 г. прекратился «на полгода», как объявили издатели (в действительности навсегда), «Колокол». Нужно было некоторое время, чтобы русское общество хоть несколько оправилось от разразившегося в 1866 г. «белого террора». Признаки оживления начинаются с 1868 г. В этом году революционно-демократическая литература собирает свои силы и вновь обретает центр в «Отечественных Записках», фактически перешедших в руки Некрасова. Возобновляется и зарубежная периодическая пресса (французский «Kolokol», бакунинское «Народное Дело»). Начинается заметное движение среди молодежи, в Петербургском университете происходят сильные волнения, на революционную сцену выступает С. Г. Нечаев. Но все это — уже 1868 и последующие годы. В 1867 г. все еще было глухо и неподвижно. Если кое-какие революционные организации, составлявшие промежуточное звено между ишутинцами и нечаевцами, и существовали, то они ушли глубоко в подполье, были совершенно незаметны в общественной жизни и слабы по своему личному составу[2].

С общей, крайне реакционной, атмосферой 1867 г. вполне гармонировало такое событие, как возвращение в этом году в Россию раскаявшегося в своем революционном прошлом В. И. Кельсиева. Сдача Кельсиева правительству была первым случаем открытого перехода человека, пользовавшегося репутацией революционера, в лагерь реакции, и поэтому она вызвала большое общественное внимание. В реакционной прессе происходило ликование. Например, в «Современном Листке» (газета, издававшаяся по два раза в неделю при духовном журнале «Странник») возвращение Кельсиева сопоставлялось с возвращением в Россию в 1866 г. иезуита Джунковского, и выражалась надежда, что их пример не останется бесплодным[3].

Сильнейшее впечатление «обращение» Кельсиева произвело на Ф. М. Достоевского. В письме от 9/21 октября 1867 г. он пишет прямо с восторгом А. Н. Майкову, известившему его о новых взглядах Кельсиева и об освобождении его из тюрьмы: «Об Кельсиеве с умилением прочел. Вот дорога, вот истина, вот дело!». И со злобою он продолжает: «Знайте однако же, что (не говоря уже о поляках) [а] все наши либералишки семинарно-социального оттенка взъедятся как звери. Это их проймет. Это им хуже, если бы им носы отрезали. Ну, что им теперь говорить, в кого грязью кидать?»[4]. Кельсиев со своим обращением от революционности к монархизму и панславизму отразился и в художественном творчестве Достоевского: чрезвычайно убедительна высказанная в литературе гипотеза, что в основе образа Шатова в «Бесах» лежит личность Кельсиева[5].

Более углубленное обследование этого эпизода показывает, однако, что восторги реакционной прессы не имели под собою особенно прочной почвы.

Мотивы своего возвращения в Россию и историю всех своих революционных попыток и заграничных злоключений Кельсиев подробно изложил в «Исповеди», писанной им с середины июня по 12 июля 1867 г., под арестом в III отделении. Документ этот не оставляет никакого сомнения в том, что ренегатство Кельсиева не явилось чем либо неожиданным, а наоборот, органически было связано со всем строем его социального поведения. С полной очевидностью «Исповедь» показывает, что эмиграция Кельсиева ни в какой мере не может рассматриваться как следствие его стойких революционных убеждений, что эмигрантом он сделался под влиянием кратковременного увлечения революционными идеями. О том, как поверхностно было у Кельсиева это увлечение, свидетельствует хотя бы тот факт, что революционное фразер-

ство прекрасно уживалось у него с самым откровенным юдофобством, которое сохранилось у него и в годы его эмигрантской жизни и следы которого отчетливо заметны и в «Исповеди». В период общего революционного подъема Кельсиев еще кое-как сохранял свой политический радикализм. Но как только обстановка изменилась, его зыбкость обнаружилась вполне: будучи человеком довольно скромных внутренних ресурсов, Кельсиев со спокойной совестью пошел на капитуляцию. В этом смысле целиком справедлива та характеристика Кельсиева, которая была дана ему Ткачевым в одной непропущенной царской цензурой статье[6]: «...эмигрантом г. Кельсиев сделался не во имя какой-нибудь идеи, не ради какой-нибудь деятельности, не в силу какого-нибудь миросозерцания или, по крайней мере, какой-нибудь гнетущей необходимости, а просто потому, что «ветром в ту сторону подуло», — писал Ткачев. — «По той же самой причине сделался он сперва утопистом, потом отрицателем, дошедшим до отрицания всего мира, рода человеческого, мира чувства, своих воспоминаний и своих надежд, потом руссофилом, доводящим свое руссофильство до обожания кнута и батогов... и, наконец, сотрудником «Голоса» и «Всемирного Труда», наперсником гг. Краевского и Хана. Каковы превращения, каково хамелеонство! Если бы флюгер умел понимать и чувствовать по-человечески, он вероятно позавидовал бы удивительной способности г. Кельсиева применяться к направлению ветров».

Однако интерес «Исповеди» не ограничивается тем, что она очень ясно рисует побудительные мотивы ренегатства ее автора. Если бы дело было только в этом, то она, может быть, и не заслуживала бы серьезного внимания. Но она, кроме того, представляет собою существенный источник по истории русского общества и литературы эпохи отмены крепостного права, той эпохи, когда Россия, по выражению Ленина, делала первый шаг на пути превращения из феодальной монархии в буржуазное государство. В течение этой эпохи, имевшей громадное значение для всей последующей истории России, автор «Исповеди» близко соприкасался с Герценом и Огаревым в их издательской деятельности. Хотя ни Герцен, ни Огарев отнюдь не преувеличивали сил и способностей Кельсиева, они относились к нему с известным доверием, и повседневная жизнь знаменитых эмигрантов была ему известна ближе, нежели их многочисленным случайным посетителям. Кельсиев провел в Лондоне те годы, когда популярность издателей «Колокола» находилась в апогее, когда их имена гремели по всей России, когда чуть ли не каждый русский, попавший в столицу Англии, считал своим непременным долгом посетить Герцена и засвидетельствовать ему свое уважение. В главе «Апогей и перигей» в VI-й части «Былого и дум» Герцен ярко описал эти годы. Первая часть «Исповеди» Кельсиева, посвященная его пребыванию в Лондоне, служит ценным материалом для комментария к «Былому и думам».

Разумеется, относиться к Кельсиеву как к беспристрастному свидетелю было бы грубой ошибкой. Многого в деятельности Герцена и Огарева Кельсиев просто не понимал; порой преднамеренно искажал истину. Иные из его характеристик и оценок стоят на грани клеветы. Чего стоят, например, его слова о том, что Герцен был, по сути дела, не революционером, а реформатором, что его только принимали за агитатора, а в действительности он был «органом оппозиции старому порядку вещей, появившейся и действовавшей в самой России». В этом суждении Кельсиева действительность поставлена на голову: мы знаем, что хотя Герцен колебался порою между либерализмом и демократизмом, «демократ все же брал в нем верх» (Ленин). Таким образом, все сообщаемые Кельсиевым сведения, а тем более высказываемые им оценки, подлежат, конечно, самой тщательной критической проверке. Но при бедности мемуарных материалов, дошедших до нас от эпохи 60-х годов, нельзя пренебрегать и таким источником, как «Исповедь», при всей его порочности.

Много интересных сведений содержит и 2-ой отдел «Исповеди», посвященный описанию тайной поездки Кельсиева в Россию для установления связи с русскими революционерами и со старообрядцами, которых, из-за преследований, выпавших на их долю со стороны царского правительства, Кельсиев имел наивность считать естественными союзниками революционной партии. Революционное движение 60-х годов до сих пор изучено чрезвычайно недостаточно. Отчасти это объясняется опять-таки крайней скудостью материалов, дошедших до нас от этой эпохи. Поэтому второй отдел «Исповеди» Кельсиева, повествующий о событиях, совершенно не освещенных другими источниками, не может не привлекать к себе внимания всех интересующихся революционным движением 60-х годов. Безусловно весьма ценны те данные, которые Кельсиев приводит относительно братьев Серно-Соловьевичей, игравших видную роль в движении тех лет, и относительно других участников этого движения.

Своеобразный интерес представляет третий раздел «Исповеди» Кельсиева, описывающий его деятельность в Константинополе в 1862—1863 гг., имевшую своей задачей объединение элементов, настроенных враждебно по отношению к царскому правительству: старообрядцев, переселившихся из России в Турцию, чтобы избежать преследований за веру, поляков-эмигрантов, черкесов, эмигрировавших из только что завоеванной царизмом их родины. «Исповедь» Кельсиева является буквально единственным источником для ознакомления с этой средой.

После Кельсиева немало революционеров отреклось от своего прошлого и

перешло в лагерь самодержавия. Почти для всех этих ренегатов характерно то, что после своего обращения они отзывались с резкой враждебностью о своих прежних товарищах и руководителях по революционному делу. Конечно, в своем положении «кающегося грешника» Кельсиев не был и не мог быть объективен. Но как в «Исповеди», так и в позднейших высказываниях, он старался не забрасывать грязью всех тех, с которыми раньше шел рука об руку. Короче, насколько это было доступно ему как ренегату, пытался соблюсти видимость порядочности. Он говорит в «Исповеди» о своей искренней любви к Герцену, дает самые хорошие отзывы о братьях Серно-Соловьевичах и др. То же самое мы находим и в «Пережитом и передуманном». О Герцене и Огареве там сказано: «Вражды к ним у меня, разумеется, не было, да и быть не могло: расставаясь с ними в 1862 г., я унес об них самое светлое воспоминание, от которого не имел повода до сих пор отказаться. Если они ошибались и до сих пор ошибаются, как политические деятели, все же я лично не имею повода считать их нечестными или недобросовестными»[7].

Уже через четыре года по возвращении в Россию, в рецензии на книгу Н. С. Лескова «Загадочный человек», Кельсиев решительно восстал против того, что Лесков назвал эпоху 60-х годов «комическим временем». «То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, считаю я своим священным долгом. Мы ошибались: мы думали сотворить в России революцию — но время наше комичным не было. Что значит комическое время? спросил бы я г. Стебницкого. Мне кажется, что и сам Дон-Кихот далеко не только комичен. Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами гороховыми, какими нас старается представить г. Стебницкий, мы не были». Там же говорится о братьях Серно-Соловьевичах и Ничипоренко: «Они целиком, вполне, безвозвратно принадлежали к этому времени, и если они погибли, если по груди их проехала тяжелая телега истории, то я все же не вижу, за что и почему над ними смеяться и за что бросать грязью в их память»[8].

Такое же отношение к революционерам Кельсиев проявлял и в своих устных беседах. По свидетельству одного литератора, познакомившегося с Кельсиевым уже в 1870 г., его отзывы о лицах, с которыми он был близок в период своего эмигрантства, были добродушны и беззлобны, а об иных он отзывался даже с теплым сочувствием[9].

Конечно, не исключена возможность, что этот внешне-объективный тон в отношении к Герцену, Огареву и другим революционерам был продиктован Кельсиеву определенными тактическими соображениями: не надо забывать, что, возвращаясь в Россию, он мечтал о какой-то общественной карьере, которая была невозможна без завоевания известных симпатий со стороны некоторых общественных групп. Вполне вероятно, что, принимая на себя обличие «беспристрастного свидетеля», Кельсиев стремился купить таким путем благожелательное отношение к себе со стороны известных слоев русской общественности.

Рассказ о своей жизни Кельсиев писал в тюрьме III отделения, в ожидании того или иного решения своей участи. Его «Исповедь» должна была послужить доказательством искренности его обращения и раскаяния. При таких условиях совершенно естественно должны были возникнуть и действительно возникли предположения, что «кающийся грешник» неизбежно будет покупать улучшение своего положения ценой выдачи других. В упомянутом письме к Майкову Достоевский говорит об этом: «...Теперь про Кельсиева говорить будут, что он на всех донес. Ей-богу, помяните мое слово». Сделать такое предсказание было не трудно. В «Пережитом и передуманном» Кельсиев говорит: «Помилование мое возбудило много толков и комментариев. Слухи ходили чрезвычайно разнообразные и, как водится, большей частью преувеличенные и фантастические. Причин моего возвращения никто не знал, да и до сих пор никто не знает. Мне удавалось слышать, будто я еще из-за границы условился с правительством и будто сдача моя в Скулянах была вперед подтасованным делом. Говорили тоже, будто я множество лиц запутал в своих делах и будто с о р о к человек — так уверяли, что р о в н о с о р о к — сидят по моей милости в крепости»[10].

Очень трудный момент для Кельсиева создавался тогда, когда следователи III отделения, исходя из показаний «Исповеди», ставили ему дополнительные вопросы и требовали большей конкретности и детальности, добиваясь имен и всего того, что могло быть полезным для целей политического сыска. В общем, Кельсиев придерживался и здесь той же тактики. Написанный им довольно обширный список посетителей Герцена в Лондоне в начале 60-х годов не давал никаких существенных нитей и не был опасен для названных им лиц.

Интересно отметить, что когда зашла речь о поляках-эмигрантах в Галаце, которых Кельсиев мог считать находящимися в полной безопасности от русского правительства, то тут он показал довольно хорошую осведомленность и дал довольно много сведений.

Толки о «сорока лицах», якобы выданных Кельсиевым и арестованных, не имели реальных оснований. Никакого дознания, на основании показаний Кельсиева,

не возникло, и неизвестно, чтобы кто-нибудь был арестован вследствие оговора Кельсиева.

Не всегда, однако, Кельсиев в его положении мог избежать таких моментов, когда ему приходилось оказывать те или иные услуги правительству в деле сыска. Известен такой случай. В начале 1867 г. у вятского купца И. П. Ворожцова при обыске было найдено письмо с подписью «Н. О.». Ворожцов дал неправдоподобное объяснение, что письмо писано некиим Николаем Пестеревым, однако, в III отделении основательно заподозрили, что автор письма — Огарев. Для проверки этого предположения прибегли к экспертизе Кельсиева, еще находившегося в тюрьме III отделения. На допросе 8 августа в следственной комиссии он категорически удостоверил: «Почерк предъявленного мне письма я без всякого колебания признаю почерком Н. П. Огарева, — ошибиться мне в этом невозможно»[11]. В данном случае Кельсиев, конечно, не мог отговориться незнанием, как это часто делал на допросе по своему делу: никак нельзя было поверить, чтобы он не знал почерка Огарева. Поэтому он, стремясь произвести впечатление вполне откровенного человека, признал руку Огарева. Так «раскаяние» Кельсиева, хотел он того или не хотел, неизбежно толкало его на путь осведомительства.

Кельсиев подробно изложил фактическую сторону своего пребывания за границей. Своей жизни до эмиграции он касается в «Исповеди» очень мало. Этот период может быть несколько освещен на основании «Пережитого и передуманного» и других источников.

Василий Иванович Кельсиев, родившийся в 1835 г. в Петербурге, принадлежал к очень обедневшей и давно потерявшей всякие связи с поместным землевладением дворянской семье. По некоторым сведениям, он «принадлежал к роду, вышедшему в Россию с Кавказа при Екатерине II и имевшему право на княжеский титул, с течением времени утраченный»[12]. Сведения эти очень сомнительны. Во всяком случае, уже дед Кельсиева был простым канцелярским служителем в г. Шацке. Отец же его служил старшим помощником пакгаузского надзирателя петербургской таможни и вышел в отставку коллежским асессором. Обстановка детства Кельсиева была семейной обстановкой мелкого служащего, хотя отец его, о котором у нас имеется мало сведений, был не чужд образования[13].

С семи или восьми лет Кельсиев учился в одном частном пансионе, когда же ему минуло десять лет, т. е. в 1845 г., отец отдал его в коммерческое училище, где он пробыл десять лет. Отец содержал его в пансионе на свои средства, но когда отец скоропостижно умер в марте 1852 г., возможность учиться на свой счет кончилась. Мать хлопотала о казенном содержании. О результатах хлопот имеются две разные версии. Брат Кельсиева, Иван, на допросе следственной комиссии в 1862 г. показал: «Так как брат еще в очень молодых летах начал заниматься восточными языками (китайским, манчжурским и т. д.), то Американская компания, имея в виду извлечь впоследствии какую-нибудь выгоду из этих знаний моего брата, приняла на себя издержки его окончательного образования»[14]. Аверкиев же, товарищ В. Кельсиева по учению и близкий к нему человек, утверждает, что Кельсиев, по смерти отца, воспитывался на счет экономических сумм училища[15].

Во время пребывания Кельсиева в училище у него продолжало развиваться то же романтически-мечтательное направление, которое впервые сложилось еще в раннем детстве. «Часто припоминается мне наше училище с его толстыми липами и соснами, как иглы, прямыми березами. Сколько раз, бывало, гуляя по его аллеям в рекреационные часы, начинал я мечтать об разных вычитанных мной рыцарских подвигах, об невероятных путешествиях, о геройских встречах с разбойниками, о тех заключенных в башнях красавицах, которых следовало мне освободить из-за железных решеток, из власти их жестоких похитителей»[16].

Из событий внешнего мира до коммерческого училища доходили отдаленные и очень неясные слухи о революционном движении 1848 г. в Западной Европе. А в 1849 г. ученики узнали об аресте петрашевцев. В мечтательном уме Кельсиева петрашевцы стали представляться, как очень интересные, традиционные романтические заговорщики. «В Петербурге заговор. Какие-то заговорщики, какие-то страшные люди собрались, хотели бунт сделать... Так и представлялись страшные, бледные фигуры с бородами, — а тогда бороды были запрещены еще, — с длинными волосами, в шляпах, надвинутых на брови, в широких плащах с красной подкладкой, с кинжалами и с ядами; клялись они на черепах, расписывались собственной кровью, что-то страшное делалось. Зачем? Для чего делать бунт? Чем и кто их обидел? И в то же время, — воспоминание ли это делало, или дух времени был таков, — сочувствие к этим ужасным заговорщикам все-таки шевелилось в душе. Они были окружены загадкой, они тайну для нас составляли, они были запечатанным письмом. Мысль не могла оторваться от них, и детский ум все работал и работал над вопросами: для чего, зачем, почему люди делают заговоры, чего хотят?»[17].

В 1855 г. Кельсиев окончил училище с чином XIV класса и тотчас же поступил вольнослушателем на филологический факультет Петербургского университета. Средства для жизни он получал от службы в Российско-Американской компа-

нии за двадцать пять рублей в месяц; обязанности его состояли в переводе коммерческой корреспонденции с английского и немецкого языков [18].

Под влиянием патриотических настроений, вызванных Восточной войной, Кельсиев решил было итти на военную службу вольноопределяющимся. Ему уже представлялось, как он в качестве офицера или юнкера ведет свой отряд на приступ, оказывает чудеса храбрости и пр. Но узнавши, что вышло распоряжение не пускать вольноопределяющихся в дело, а оставлять их в резерве, он не стал подавать прошение и вернулся к своим занятиям.

В 1856—1857 гг. с Кельсиевым был близок Н. А. Добролюбов, тогда студент старших курсов Главного педагогического института. Кельсиев производил на Добролюбова очень благоприятное впечатление. 20 января 1857 г. Добролюбов записывает в дневнике: «Это человек серьезно мыслящий, с сильной душой, с жаждой деятельности, очень развитый разнообразным чтением и глубоким размышлением... Он не пугается отвлеченных вопросов, но берет их, не разобщая с жизнью. Одно, что мне в нем не нравится, это излишняя прихотливость в отношении к собственной жизни. Может быть, впрочем, что и это в нем есть следствие внутренних сил, которые ищут себе выхода и рвутся в разные стороны» [19].



В. И. КЕЛЬСИЕВ

Гравюра на дереве

Литературный музей, Москва

В дневнике Добролюбова дальше следует рассказ о различных планах Кельсиева и о его мечтаниях — о том, что Добролюбов называл «прихотливостью в отношении к собственной жизни». Кельсиев имел в виду ехать в Китай; китайский язык он изучил так, что мог свободно говорить на нем, и много читал по-китайски. Но вдруг это все ему надоело, и летом 1856 г. он с головой ушел в изучение естествознания. Этого увлечения хватило на несколько месяцев, Кельсиев опять вернулся к изучению Китая, но вскоре опять решил, что от поездки в Китай он никакой пользы сам не получит и другим не принесет. В январе 1857 г. он расспрашивал Добролюбова о славянской филологии, имея в виду выдержать экзамен на звание учителя русского языка и стать преподавателем. «Надолго ли это, не

знаю», — скептически добавляет Добролюбов. В 1857 г. Добролюбов оставил занятия в университете, не доведя их до конца.

О последнем годе своей жизни в Петербурге перед эмиграцией Кельсиев вспоминает в письме к Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи: «Напиши также, что делают старые петербургские знакомые времен наших поэтических вечеров в доме Юпнера, времен блаженного 1858 года, моих медовых месяцев: Курочкины, Алексей Потехин, Кожанчиков, Максимов, Малиновский, П — н, Шифнер; Люгебиль, Ф. Достоевский, Горбунов, Островский, Березин, проф. Васильев, проф. А... ни, Касаткин московский etc., etc. Шифнер что делает? Всем им поклон»[20].

В перечне этих знакомых Кельсиева обращает на себя внимание упоминание Ф. Достоевского. Очевидно, Федор назван здесь по ошибке вместо Михаила: Ф. М. Достоевский в 1858 г. жил еще в Сибири, и Кельсиев никак не мог встречаться с ним в Петербурге.

Кельсиев начинает свой рассказ с того момента, когда он в 1859 г. появился в Лондоне и вместо того, чтобы ехать на Аляску старшим помощником колониального бухгалтера, сделался эмигрантом. Он в это время представлял собой человека, захваченного радикальными влияниями времени, но находившегося еще в периоде брожения, не устоявшегося. Герцен, характеризуя Кельсиева, особенно подчеркивал в нем элементы критики и отрицания. «С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, но еще не прижился ни к какому делу и обществу: цели не имел... От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведения... Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и, очертя голову, пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверию, к русским порядкам и к порядкам западным»[21].

Становясь эмигрантом, Кельсиев имел в виду, прежде всего, литературную деятельность. В конечном счете, в этой деятельности он потерпел полную неудачу. Его первая статья в «Колокол» по женскому вопросу была решительно забракована Герценом, и Кельсиев позже сам был ему благодарен за это. В «Колоколе» вообще не появилось ни одной значительной статьи Кельсиева; роль его ограничивалась тем, что он просматривал корреспонденцию, приходившую из России, составлял иногда на основании ее заметки, держал корректуру и пр. Это была полезная, но совершенно второстепенная роль. Увлекшись расколом, он начал было писать о нем книгу, но увидел, что это ему не по силам, и ограничился опубликованием материалов о расколе со своими вступительными заметками. В «Общем Вече», казалось бы, Кельсиев должен был играть первенствующую роль (и он на это рассчитывал), однако несколько его статей для первого номера были отвергнуты Герценом и Огаревым, а в последующих номерах он вовсе не участвовал. Разумеется, тут нельзя говорить о каком-нибудь недоброжелательстве Герцена и Огарева к Кельсиеву, а лишь о том, что он оказался неподходящим публицистом для зарубежных органов.

Неудачу своего перевода библии признавал сам Кельсиев. Если прибавить к этому прокламацию 1863 г., изданную Кельсиевым в Константинополе, то этим ограничится во всех смыслах незначительная литературная его продукция за весь революционный период его деятельности.

Обращаемся к непосредственной практической революционной деятельности Кельсиева. Здесь заслуживает внимания то, что он сообщает о пунктах своего расхождения по вопросам тактики с Герценом и Огаревым. Расхождение состояло в том, что Герцен и Огарев ограничивались ролью публицистов-пропагандистов, а Кельсиев указывал на необходимость создания какой бы то ни было организации имеющихся революционных и оппозиционных сил. «Я тысячу раз указывал на это Герцену и Огареву, но они стали на своем... Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а сорганизовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков недоставало, — они не были государственные люди».

Ясно, что настоящим «государственным человеком», в противовес Герцену и Огареву, Кельсиев считал себя. Ему даже казалось иногда, что Герцен и Огарев сами сознают это его преимущество. Когда он впервые собрался в Константинополь, его старшие товарищи высказались против этой поездки, как не имеющей определенной цели. «Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня впереди, и мое имя загородило бы их имена, так что их значение, как публицистов, померкло бы перед моим значением агитатора». Нечего и говорить о том, что представление о себе, как о «государственном человеке», у политически неустойчивого и очень сумбурного Кельсиева было чистейшей иллюзией. Н. А. Серно-Соловьевич на допросе в следственной комиссии в январе 1864 г. дал такую

общую характеристику Кельсиева: «...И с одного раза можно было понять, что это не политический деятель. Он человек, повидимому, с добрым сердцем, но болезненный, нервный, впечатлительный... Он легко возбудит участие лично к себе, но всегда поселит недоверие к делу, за которое берется»[22].

Своеобразие революционной деятельности Кельсиева за границей определяется его стремлением привлечь к революционному движению раскольников и сектантов. Он очень живо рассказал, какое сильное впечатление произвело на него знакомство с документами о раскольниках и об их преследовании правительством: «Я всю ночь не спал за чтением. Я чуть с ума не тронулся. Точно жизнь моя переломилась, точно я другим человеком стал». Герцен, которому он с горячим увлечением рассказал о раскольниках, поручил ему сделать из имеющихся документов извлечения для печати, чтобы осветить деятельность правительства против раскола. Но Кельсиеву этого было мало: «Мне захотелось приманить раскольников на нашу сторону, возбудить в них политическую оппозицию правительству, воспользоваться беспоповским учением, что царь — антихрист, министры и архиереи — архангелы сатаны, чиновники и священники — воплощенные черти. Мне хотелось сделать для раскольников практический вывод из их верований, надоумить их, чего им хотеть, чего добиваться и кого держаться».

Идея о том, что революционеры могут найти себе поддержку у старообрядцев и сектантов, как гонимой правительством части населения, как известно, была очень живуча в истории русского революционного движения. Попытки революционизировать раскольников и сектантов проходят через все 70-е и 80-е годы и не прекращаются до самого конца XIX в. Попытки были обречены на неудачу, но этой идее о раскольниках, как естественных союзниках революционеров, отдали дань очень видные революционеры — такие, как А. Д. Михайлов и др. Родоначальником этого течения революционной мысли является, несомненно, Кельсиев, потративший много энергии на заведение связей с раскольниками и воздействовавший в этом направлении на своих старших товарищей — Герцена и Огарева.

Неустойчивый, легко поддающийся разным влияниям, Кельсиев, мечтавший сначала обратить раскольников к революции, сам, в конце концов, подчинился реакционной идеологии раскольников и сектантов. Он рассказывает о том, как многому его «научило» (т. е. приблизило его к приятию идеи самодержавия) более близкое знакомство с старообрядцами. Характерно, что человеком, с которым Кельсиев советовался о возвращении в Россию с покаянием и который вполне поддержал его в этом намерении, был ясский скопец Константин Степанович.

Следует отметить, что известную наклонность к мистике Герцен заметил в Кельсиеве уже с самого начала: «Особенно оригинально то, что в скептическом ощупывании Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре. Церковный оттенок, наречие и образность остались у него в форме, в языке, в слоге и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противоположных металлов»[23]. О том же вкратце упоминает и Серно-Соловьевич: «Занятия богословскими вопросами положили на него весьма странный отпечаток»[24].

В сложной и запутанной жизни Кельсиева имели немаловажное значение его крайнее самолюбие и честолюбие. Он был уверен в том, что ему предстоит сыграть важную историческую роль, и за что бы он ни брался, в его воображении немедленно возникали самые широкие и блестящие личные перспективы. В «Исповеди» порой очень чувствуется неумеренность его самооценки. Но особенно характерно в этом отношении письмо его к Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи. Письмо писано тогда, когда Кельсиев уже вполне разочаровался в своих прежних путях и претерпел большие жизненные удары. Свои надежды он сосредоточил в это время на литературной деятельности, и деловой целью его письма было желание узнать о возможности печататься в русских журналах. Свои писания Кельсиев охарактеризовал следующим образом: «Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и желчь Данте — и ты придешь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений. Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в оборванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется не продолжаемой никем»[25]. Это звучит совсем уже по-хлестаковски.

О печальной судьбе Кельсиева после его возвращения в Россию немного можно сказать. «Исповедь» его, законченная 12 июля, была доставлена на прочтение Александру II. 3 сентября последовало распоряжение царя о полном прощении Кельсиева, с восстановлением его, таким образом, во всех прежних правах. Царь, кроме того, признал, что Кельсиев «по своим познаниям, знакомству с делами о расколе, об униатах, о западных и южных славянах, действительно, может быть с пользою употреблен правительством»[26]. 11 сентября Кельсиев был освобожден из III отделения и поселился в Петербурге.

Сейчас же по освобождении он попал в герои дня и сделался «модным человеком». На первых порах его тщеславие было удовлетворено, но в дальнейшем он

почувствовал фальшивость этого повышенного интереса к нему. «Что ни говорите, есть своего рода удовольствие обращать на себя общее внимание и служить предметом толков: это как-то щекочет самолюбие, — но быть львом хорошо день, другой, третий, много неделю, но à la longue становится утомительно показывать самого себя и знать, что девять десятых новых и старых знакомых смотрят на вас сочувственно или не сочувственно, а все-таки, как на курьез» [27].

«Интересный» раскаявшийся эмигрант, бывший соратник Герцена, стал предметом усиленного внимания лиц, высоко стоявших на общественной лестнице. На «вечер с Кельсиевым» приглашали крупных бюрократических тузов; он бывал в салоне графа А. К. Толстого, у кн. В. Ф. Одоевского, познакомился с профессором и академиком А. В. Никитенко и пр. Он устраивал приемы и у себя, женившись на З. А. Вердеревской (по первому мужу Агреневой). Жена его была причастна к литературе, помещая статьи в журналах. По словам Никитенко, она была красавица и замечательная музыкантша.

У Кельсиева был ряд широких планов деятельности в России. Из «Исповеди» видно, что он мечтал о роли какого-то посредника между правительством и революционной средой и очень надеялся на себя в этом отношении. Затем он предлагал правительству свои услуги, чтобы вернуть на Кавказ выселившееся в Турцию русское население. Далее, он хотел стать основателем и руководителем газеты «с чисто русским, патриотическим направлением». Все эти планы потерпели крушение.

Уже в мае 1869 г. Кельсиев горько жаловался на свое положение проф. Никитенко, бывшему у него на музыкальном вечере, и говорил, что он в поисках куска хлеба собирается ехать в Америку, чтобы читать там лекции о России [28].

В феврале следующего года на положение Кельсиева обратил внимание гр. Ланской, председатель следственной комиссии, в которой его допрашивали в 1867 г. Он обратился к министру внутренних дел с предложением по поводу Кельсиева. Указав, что последнего не принимают на государственную службу и отказывают ему в разрешении издавать газету, он рекомендовал Кельсиева, как вполне благонадежного человека и основательного специалиста по вопросам о расколе и униатах, и спрашивал, не найдет ли возможным министр внутренних дел принять его на службу в свое министерство [29]. Это ходатайство не имело последствий.

Увлечение Кельсиевым прошло довольно скоро. Если в представлении передовых людей того времени ренегатство Кельсиева с самого начала встречало ту оценку, которой оно заслуживало, то теперь и те люди, которые сначала стремились с ним познакомиться, стали им тяготиться. Он видел возникшую к нему холодность и в обществе больше сидел в стороне и молчал, лишь по временам «с какою-то навязчивостью и апломбом» вступая в общий разговор. Кельсиев до такой степени не понимал своего положения, что в начале пытался возобновить связи с прежними знакомыми из радикальных кругов. Н. К. Михайловский рассказал об одном таком совершенно неуместном визите Кельсиева к Н. С. Курочкину. Поговорив с хозяином очень недолго в кабинете, он вышел оттуда красный, как рак, явно в большом смущении... [30]

Для Кельсиева оставался один только вид деятельности и один способ зарабатывать себе средства к существованию — это литературный труд. Помимо нескольких отдельно вышедших книг, он печатался в «Голосе», «Отечественных Записках», «Всемирном Труде», «Заре», «Ниве», «Семейных Вечерах».

Из всего написанного им за это время наибольший интерес представляет книга мемуарного характера «Пережитое и передуманное»; впечатления заграничных скитаний Кельсиева даны еще в книге «Галичина и Молдавия. Путевые письма». «Пережитое и передуманное» (название это, несомненно, подсказано герценовским заглавием «Былое и думы») частично совпадает по содержанию с «Исповедью», являясь другой редакцией рассказа Кельсиева о своей жизни (конечно, характер этой редакции в значительной степени определялся цензурными условиями). Книга эта (равно как и «Галичина и Молдавия») дала возможность высказаться в рецензиях о личности и судьбе Кельсиева. Самая большая статья о Кельсиеве была написана Михайловским [31]. Михайловский отнесся к Кельсиеву довольно снисходительно. Он писал: «Как фантазер, он видит всегда только одну сторону дела, и именно ту, которая открывает поле для геройских подвигов; как человек энергический и глубоко честный, он отдается односторонне понятому им делу весь, без остатка. В этом его оправдание и глубокое несчастие». Или: «...Каково бы ни было наше личное отношение к тому, чем жил г. Кельсиев прежде и чем он живет теперь, мы не можем отказать ему в нашем, разумеется условном, уважении».

Другие отзывы о «Пережитом и передуманном» были гораздо более резкими, — недаром Герцен писал: «Бросать в Кельсиева камнем лишнее: в него и так брошена целая мостовая». Такова, например, рецензия в «Вестнике Европы» [32]. Несколько раз высказывался о Кельсиеве Д. Д. Минаев [33]. Он писал, например: «В своей книге г. Кельсиев как будто всеми средствами силится доказать свою нравственную несостоятельность, бедность мысли и ту кадетскую болтливость, которая вырисовывает только его собственные комические стороны... Что за смесь школяр-

ства и надутости, простоумья и заносчивости, шарлатанства и переливания из пустого в порожнее!». Минаев сильно обрушился не только на Кельсиева, но и на статью Михайловского о нем, назвав ее «бестактной от первой строки до последней». «На Кельсиева до сих пор смотрели как на человека, который хотя и заблуждался, но все же человека серьезного, с крепкими убеждениями и с положительной целью для деятельности», — писал Минаев в другой статье, анонимной. — «Но вот вышла его книга и все увидели в ней только «записки современного Репетилова», хвастающегося своим «умственным невежеством». Оказывается, что у Кельсиева и не было никаких убеждений и за границу он попал как Репетилов: «шел в комнату, попал в другую». Говорят, что книга Кельсиева очень дорога. Это уж чересчур зло. Продавать собственные карикатуры на самого себя за 2 рубля — слишком дешево, и это показывает большое самоотвержение автора. Стоила бы книга дороже, она была бы менее доступна. А теперь... Бедный г. Кельсиев!.. За человека страшно!..».

В одну из названных статей («Неделя», 1868, № 46) Минаев вставил и свое пятистишие, посвященное Кельсиеву:

Ты сколько в «Голосе» статеек не пиши,
С еврейским племенем войну открывши вдруг,
Решили мы и гласно и в тиши:
Ты в Тульче был к а з а к - б а ш и,
А на Руси — б а ш и - б у з у к.

Если о «Пережитом и передуманном» и «Галичине и Молдавии» в печати было много отрицательных отзывов, то в дальнейшем писания Кельсиева постигла та участь, которая хуже всего для литератора: о нем, как правило, просто молчали. Это совершенно понятно в виду незначительности его произведений.

Нельзя сказать, чтобы Кельсиев сколько-нибудь заметно проявил себя как боевой реакционный публицист. Произведений, где он непосредственно отзывался на злобы дня, у него немного. В статье «Обличитель прошлого века» он старается установить сходство героев фонвизинского «Бригадира» с современными передовыми людьми и отмечает, что когда Тургенев написал «Дым», Лесков «Некуда», а Писемский «Взбаламученное море», то современные «Иванушки» на них обиделись. Такое же возмущение излишней обидчивостью читателей на Тургенева за нарисованные им типы мы видим и в статье «Я. П. Полонский, как юморист».

Кельсиев пробовал свои силы и в беллетристике. Им написаны три исторических повести: «Москва и Тверь», «При Петре» (при участии В. Клюшникова) и «На все руки мастер». Все это чисто ремесленнические произведения, бледные, растянутые и скучные.

Существуют указания на некоторые неосуществившиеся литературные замыслы Кельсиева. Во «Всемирном Труде» за 1868 г., № 12, в объявлении о статьях, которые должны были появиться в первых номерах журнала за 1869 г., значатся «Трущобники и казнимые» Кельсиева, — такого произведения в печати не было. О некоторых своих планах Кельсиев рассказал в начале 1868 г. кн. В. Ф. Одоевскому. Кельсиев, с которым Одоевский познакомился 5 января, заинтересовал последнего не только своей биографией, но и «организацией, склонной к галлюцинациям». Он кратко записывает в дневнике: «Рассказ Кельсиева о его магическом опыте с евреем Хозе в Константинополе. Призрак отца. Душа мира». Кельсиев рассказал ему проект романа о существах (имеющих вид лягушек), достигших высшего совершенства, открывших элексир жизни, философский камень и пр. Через несколько дней он передал Одоевскому содержание целых трех фантастических романов, из которых Одоевскому более или менее понравился «Гном». «Должно, между нами, опасаться, — занес Одоевский в дневник, — что Кельсиев совсем помешается, к тому ведет его нервная его натура» [34].

В конце концов, все жизненные планы Кельсиева рухнули, и вся его жизнь свелась к работе совсем второстепенного литератора из-за куска хлеба. Он не выдержал и стал отчаянно пить — чем он страдал уже за границей после испытанных им тяжелых потерь. На знавших его в последние годы жизни он производил крайне тяжелое впечатление совсем опустившегося человека. В последний год он впал в полную апатию и стал решительно чуждаться всех. Ему хотелось уйти куда-нибудь от людей, окончить свою жизнь где-нибудь в глуши. Таково было логическое завершение его жизненного пути после его «раскаяния» в 1867 г. Ко всему прочему присоединились и тяжелые семейные переживания, — он расстался с женою.

4 октября 1872 г. Кельсиев умер в Полюстрове от паралича сердца, в крайней бедности, на руках у своего старого учителя А. Е. Разина. Знавший его А. П. Чебышев-Дмитриев пишет: «Узнав об этом, я невольно порадовался за него: тяжела была ему в последние годы его бесполезная, никому не нужная, разбитая, неудавшаяся жизнь!».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. П. Сажин (Арман Росс), Воспоминания, М., 1925 г., стр. 19.
[2] См. П. Козьмин. Революционное подполье в эпоху «белого террора», М., 1929 г.
[3] «Современный Листок», 1867 г., № 82, передовая статья.
[4] Достоевский, Письма, т. II, 1930, стр. 47.
[5] Там же, стр. 398—399.
[6] Опубликована А. А. Шиловым в сб. Института литературы Академии Наук «Шестидесятые годы», М. — Л. 1940, стр. 212—218.
[7] «Пережитое и передуманное», стр. 90.
[8] «Заря», 1871 г., VI, 2-й отдел, стр. 1, 11.
[9] См. Экс (А. П. Чебышев-Дмитриев), На полпути, СПБ., 1874 г. (Статья «В. И. Кельсиев»).
[10] «Пережитое и передуманное», стр. 219.
[11] «Красный Архив», 1930 г., т. I (38), стр. 169—170.
[12] «Русский биографический словарь».
[13] «Пережитое и передуманное», стр. 253.
[14] Дело III Отделения I экспедиции (1862 г.), № 230, л. 110.
[15] См. «Современная Летопись», 1862 г., №№ 47 и 50 («Письмо в редакцию» Д. В. Аверкиева).
[16] См. «Пережитое и передуманное», стр. 259.
[17] Там же, стр. 265—266.
[18] Там же.
[19] Н. А. Добролюбов. Дневник, стр. 155.
[20] «Русская Старина», 1882 г., IX, стр. 635—637.
[21] Герцен, т. XIV, стр. 401, 402—403 («Былое и думы», часть шестая, глава XI — «В. И. Кельсиев»).
[22] М. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПБ, 1903 г., стр. 192.
[23] Герцен, т. XIV, стр. 401.
[24] М. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», стр. 192.
[25] «Русская Старина», 1882 г., IX, стр. 636.
[26] Герцен, т. XIX, стр. 395.
[27] «Пережитое и передуманное», стр. 220.
[28] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, 1905, стр. 385.
[29] См. Герцен, т. XIX, стр. 395—396.
[30] Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, изд. 2-е СПБ., 1905 г., стр. 69—70.
[31] «Жертва старой русской истории», — «Отечественные Записки», 1868 г., № 12.
[32] См. «Вестник Европы», 1868 г., VII. Подпись: Д. За этим псевдонимом скрывался А. Н. Пыпин.
[33] «Неделя», 1868 г., №№ 11, 27 и 46; 1869, № 1—4.
[34] «Литературное Наследство», № 22—24, стр. 239—240.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ В. И. КЕЛЬСИЕВА

БИБЛИЯ

Священное писание ветхого и нового завета, переведенное с еврейского, независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся в греческом и славянском переводах. Отдел первый, заключающий в себе Закон, или Пятикнижие. Перевод Вадима. Книги I—V. Лондон, Trübner and C°, 1860 г. Книга первая. С предисловием переводчика. — Книга вторая. Исход. — Книга третья и четвертая. Левит и Числа. — Книга пятая. Второзаконие. С предисловием переводчика.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск первый. Лондон, Trübner and C°, 1860 г. С предисловием Кельсиева.

ГОНЕНИЕ НА КРЫМСКИХ ТАТАР.

«Колокол», лист 117, 22 декабря 1861 г. (без подписи).

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск второй, Лондон, Trübner and C°, 1861 г. С предисловием Кельсиева.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск третий. О скопцах. Лондон, Trübner and C°, 1862 г. С предисловием Кельсиева.

СБОРНИК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О РАСКОЛЬНИКАХ.

Составленный В. Кельсиевым. Выпуск четвертый. Лондон. Trübner and C°, 1862 г.

ДОНОС ИЖЕ ПО ДЕЛАМ ВЕРЫ ФИСКАЛЬСТВУЮЩЕГО КУПЦА СОПЕЛКИНА.
С примечанием В. К., — «Общее Вече», № 1, 15 июля 1862 г.

ПРОКЛАМАЦИЯ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ СЛОВАМИ: „ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ ПОМИЛУЙ НАС, ГРЕШНЫХ...“
Налитографирована в 1863 г. в Константинополе. Перепечатана в № 12 «Общего Веча», от 8 марта 1863 г.

ПИСЬМА ИЗ АВСТРИИ.
«Голос», 1886 г., №№ 190, 218 (подпись: И.-Ж. По ошибке, в № 190: Н. Ж.).

ВЗГЛЯД ЮЖНЫХ СЛАВЯН НА РУССКОГО ЦАРЯ.
Письмо к редактору «Голоса». «Голос», 1866 г., № 253 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЦИИ. I. ПЕРЕМЫШЛЬ.
«Голос», 1866 г., №№ 260, 261, 263, 268 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. ЛЬВОВ.
«Голос», 1866 г., №№ 274, 276, 278 (подпись: И.-Ж.).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. ХЛОПЫ.
«Голос», 1866 г., №№ 318, 325, 333 (подпись: Иванов-Желудков).

РУССКОЕ СЕЛО В МАЛОЙ АЗИИ.
«Русский Вестник», 1866 г., № 6 (подпись: В. Иванов-Желудков).

СЛОВАЦКИЕ СЕЛА ПОД ПРЕСБУРГОМ.
«Русский Вестник», 1866 г., № 7 (подпись: В. Иванов-Желудков).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. ХЛОПЫ.
«Голос», 1867 г., № 3 (подпись: Иванов-Желудков).

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЯССАМИ.
«Голос», 1867 г., №№ 54, 55 (подпись: В. Иванов-Желудков).

К ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ГАЛИЧИНЕ. ПОЛЬСКИЕ ЭМИГРАНТЫ.
«Голос», 1867 г., №№ 62, 63, 68 (подпись: В. Иванов-Желудков).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. ИЕРЕИ И ЕВРЕИ.
«Голос», 1867 г., №№ 90, 91 (подпись: Иванов-Желудков).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА.
«Отечественные Записки», 1867 г., № 1 (подпись: В. П. Иванов-Желудков).

УНИАТСКИЙ АГИТАТОР. ЗАПИСКИ ВТОРОГО ПОКЛОННИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В РИМ И ИЕРУСАЛИМ ПО ИНШИМ МЕСЦЯМ ВОСТОКА, СОВЕРШЕННОГО ПОПОМ СВ. СЛАВЯНСКОЙ-КАФТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ИППОЛИТОМ АНДРЕЕВЫМ ТЕРЛЕЦКИМ, ВРАЧЕВСТВА И СВ. БОГОСЛОВИЯ ДОКТОРОМ.— ЛЬВОВ, 1861 г., Т. I.
«Отечественные Записки», 1867 г., №№ 1, 2 (подпись: В. П. Иванов-Желудков).

СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ.
«Отечественные Записки», 1867 г., № 20.

ИСПОВЕДЬ.
Впервые напечатана в «Архиве Русской Революции», издаваемом И. В. Гессеном; кн. XI, Берлин, 1923 г., стр. 163—310.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. ИЕРЕИ И ЕВРЕИ.
«Голос», 1868 г., №№ 69, 88, 89, 99, 106.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛИЧИНЕ. АРЕСТ В КАРПАТАХ.
«Голос», 1868 г., №№ 133, 149, 157, 162, 190, 191.

НЕЛОВКИЙ ЗАЩИТНИК ЕВРЕЕВ (ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ).
«Голос», 1868 г., № 128.

ОБЪЯСНЕНИЕ.
«Голос», 1868 г., № 166.

О ТОМ, КАК Я ТРУСА ПРАЗДНОВАЛ.
«Всемирный Труд», 1868 г., № 2.

ОЧЕРКИ ТУЛЬЧИ.
«Всемирный Труд», 1868 г., №№ 6, 8, 10.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ, КАК ЮМОРИСТ.
«Всемирный Труд», 1868 г., № 9.

ОБЛИЧИТЕЛЬ ПРОШЛОГО ВЕКА.
«Всемирный Труд», 1868 г., № 10.

ШУЛЕРА (СЛУЧАЙ).
«Всемирный Труд», 1868 г., № 12.

ПЕРЕЖИТОЕ И ПЕРЕДУМАННОЕ.
Воспоминания Василия Кельсиева. СПБ., 1868 г.

ГАЛИЧИНА И МОЛДАВИЯ.
Путевые письма Василия Кельсиева. СПБ., 1868 г.

ИЗ БЫТА ПОЛЬСКИХ ЭМИГРАНТОВ.
«Всемирный Труд», 1869 г., № 1.

ИЗ РАССКАЗОВ ОБ ЭМИГРАНТАХ.
«Всемирный Труд», 1869 г., № 2.

СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ. II. БОЖИИ ЛЮДИ.
«Заря», 1869 г., № 1.

СВЯТОРУССКИЕ ДВОЕВЕРЫ.
«Заря», 1869 г., №№ 10, 11.

ИЗ РАССКАЗОВ ОБ ЭМИГРАНТАХ.
«Заря», 1869 г., № 3.

РАСКОЛЬНИКИ И ОСТРОЖНИКИ.
Очерки и рассказы. Сочинение Фед. Вас. Ливанова, СПБ., 1869 г. «Заря», 1869 г., № 6; 1870 г., № 4.

ЭМИГРАНТ АБИХТ.
«Русский Вестник», 1869 г., № 1.

ПОЛЬСКИЕ АГЕНТЫ В ЦАРЕГРАДЕ.
«Русский Вестник», 1869 г., №№ 6, 9, 11; 1870, № 1.

УСТЬЕ ДУНАЯ.
Очерк. «Нива», 1870 г., № 4, 9.

ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН СВ. КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ.
Очерк. «Нива», 1870 г., №№ 5, 6, 8.

КЛАДБИЩЕ ТАТАРСКИХ ХАНОВ В БАХЧИСАРАЕ.
«Нива», 1870 г., № 6.

МОСКВА И ТВЕРЬ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ.
«Нива», 1870 г., №№ 16—34.

МОИ МЫШКИ.
«Семейные Вечера», 1870 г., № 4. (В конце «Продолжение следует». Однако такового не было).

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ.
«Семейные Вечера», 1870 г., №№ 6, 7.

РУМУНЫ.
«Нива», 1871 г., № 1.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК; ЭПИЗОД ИЗ КОМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ НА РУСИ, С ПИСЬМОМ АВТОРА К И. С. ТУРГЕНЕВУ, ЛЕСКОВА-СТЕБНИЦКОГО.
«Заря», 1871 г., № 6.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР (ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ).
«Семейные Вечера», 1871 г., №№ 11, 12; 1872 г., № 1.

МОСКВА И ТВЕРЬ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ.
СПБ., 1871 г.

ПРИ ПЕТРЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ВРЕМЕН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.
«Нива», 1871 г., №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ.
«Нива», 1872 г., №№ 3, 11.

ЦЫФИРНАЯ СЧЕТНАЯ МУДРОСТЬ.
«Нива», 1872 г., № 8.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ, ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ.
«Нива», 1872 г., № 10.

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
«Нива», 1872 г., № 19.

В. КЕЛЬСИЕВ И В. КЛЮШНИКОВ. ПРИ ПЕТРЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ВРЕМЕН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.
СПБ., 1872 г.

ЗАМЕТКИ О ТАТАРСКОМ ВЛИЯНИИ НА ВЕЛИКОРУССОВ.
«Гражданин», 1873 г., №№ 44, 45.

ПИСЬМА КЕЛЬСИЕВА.
К епископу Кириллу, — «Православный Собеседник», 1867 г., № 2; к О. С. Гончару — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, т. XVII, стр. 282—285; к Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г., — «Русская Старина», 1882 г., № 9; к Н. Ф. Петровскому, И. И. Шибаеву, Н. М. Владимирову, Н. А. Серно-Соловьевичу, О. М. Белозерскому (1862 г.) — Лемке Мих., Очерки освободительного движения шестидесятых годов», изд. 2-е, СПБ., 1908 г., стр. 29—39.

«ИСПОВЕДЬ»

ПИСЬМО В. И. КЕЛЬСИЕВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ ГРАФУ П. А. ШУВАЛОВУ[1]

[24—25 мая 1867 г.]

Граф!

Простите великодушно, что я осмеливаюсь обратиться непосредственно к вам.

Я всегда в жизни действовал по убеждению, по убеждению пристал в конце 1859 г. к русским лондонским эмигрантам, по убеждению отстал от них в половине 1863 г. и 19 мая сего 1867 г.[2], опять-таки по убеждению, сдался добровольно в руки правительства на скулянской таможне.

В три с половиной года моей политической деятельности верования моих лондонских товарищей казались мне чуть что не последним словом человеческой мысли. Я был горд, что верования эти распространяются в России, которую я никогда не переставал любить страстно, — мне казалось, что из России должен истечь свет добра, правды и любви на весь род человеческий. «Подождите, — говорил я иностранцам, — мы, русские, покажем вам пример приложения к делу всех социалистических теорий, к нам будете вы ездить учиться, у нас будете искать истины!». Мне тогда было от двадцати четырех до двадцати восьми лет, Россию я видал только в Петербурге и в его окрестностях; людей знал только по книгам; исполнимое отличал от неисполнимого только по соображению; в политике внутренней я был федералист, в экономических вопросах — социалист. Но кровавая революция мне всегда была противна, — это видно из писем моих, перехваченных летом 1862 г. у бедного Ветошникова[3].

Горячо и искренно веровал я в правоту и в исполнимость нашего дела. Но наступило польское восстание. Все вокруг меня кричало и толковало, что это восстание вызовет и у нас отголосок, что оно послужит краеугольным камнем к воссозданию федеральной России по входящим в состав ее историческим особям. Я плохо доверял успеху поляков, но, будучи последовательным, с горечью в душе должен был поддерживать их сторону, рассчитывая, что уже если потекли реки крови, то пусть же они текут не даром. Скоро пришлось мне окончательно разубедиться, а это было очень больно...

Как наше, так и польское дело — оба не удались по одной и той же причине — по своей непрактичности. Мы упускали из виду, что нельзя одному сословию жертвовать интересами всех других, мы забывали, что у народа есть свои предания, которыми он поступится разве с жизнью. Мы были слишком последовательны — и мы оборвались. Почти что на том же самом и поляки оборвались: они тоже не знали ни своего материала, ни запаса своих орудий. Крестьянство не захотело Польши, Франция не подала помощи.

В досаде, в хандре, убедившись, что столько лет труда и самоотвержения не повели — да и не могли повести — ни к чему, что все, во что я веровал и чему служил, было не более как студенческая мечта, благородная фраза без содержания, я задал себе вопрос: что делать? Ехать на Запад было противно, да и незачем. В Россию вернуться было нельзя, хоть и тогда еще я подумывал о возвращении, но у меня была семья на руках, я не имел права рисковать ею. Я отправился в Добруджу, в Тульчу, где и поселился: там я был все-таки между русскими, мог быть им полезен и мог изучить сектантов и простолюдинов.

Полтора года в Тульче, где я был представителем всех русских выходцев, дали мне понять множество вещей, о которых я прежде и не догадывался даже. Секты наши не носят в себе ничего революционного, наши сектанты — верноподданные до конца ногтей, хоть подчас и считают государя антихристом, а чиновников ангелами сатаны. Про-

стой народ наш на бунт против царской власти не пойдет. Даже русский выходец, бежавший в Турцию или за веру или от каторги, и тот в глубине души — верноподданный государя. Скучно мне было между ними, — там нет ни одного мало-мальски развитого человека, — и я уехал от них, но они заразили меня своею тоскою по родине.

В Галаце, летом 1865 г., меня постигло страшное несчастье: у меня умерли двое детей и жена; брата я схоронил еще в Тульче. В страшном упадке духа провел я зиму, отрицая все на свете, на котором нет ничего прочного. Но душа жаждала исхода, — отрицанием нельзя было удовлетвориться.

Мне наука еще оставалась. Я в Вену поехал и занялся славянскими наречиями, санскритом, зендом, славянскими мифами, которые я лет уже семь изучаю, и познакомился там с представителями славянства, из которых многие были недавно на этнографической выставке[4]. Услышав от меня рассказы о моих похождениях, о захолустьях, куда ворон костей не заносит, а меня любопытство мое заносило, они просили меня описать их земли. Удостойте, граф, пробежать хоть мельком мои статьи в «Русском Вестнике» («Русское село в Малой Азии» и «Словацкие села под Пресбургом»), в «Голосе» за прошлый и за нынешний год «Путешествие по Галичине», «Польские эмигранты», «Наблюдения над Яссами» и прочие мелкие статьи о славянах, о Вене и т. п., — все под псевдонимом В. П. Иванов-Желудков[5]. До сдачи моей в Скулянах никто не предполагал даже, что под этим именем скрывается известный государственный преступник. Удостойте же, граф, пробежать эти статьи, и вы увидите, какое впечатление вынес я из моего знакомства с славянами, а в особенности с галицкими русскими. Результатом всего была томительная зима, проведенная в раздумье в Яссах, и наконец безусловная сдача моя в руки правительства на прошлой неделе *.

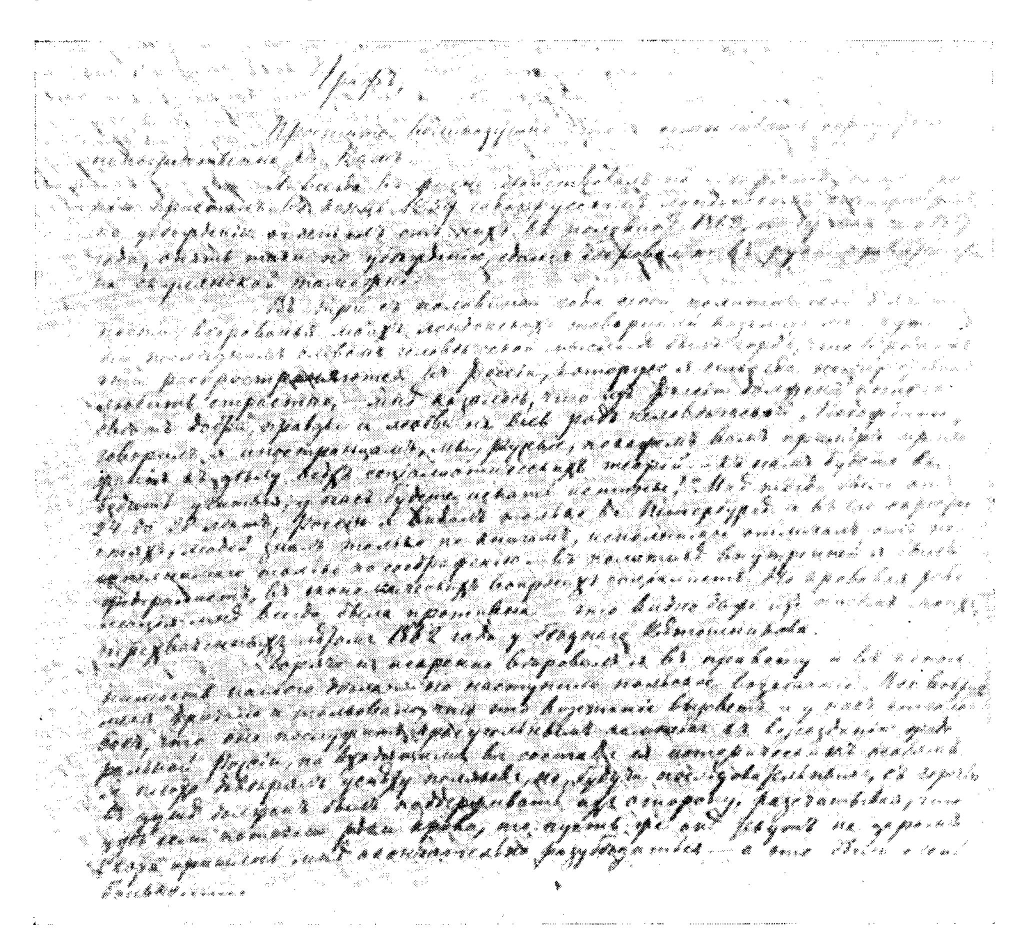
Из юноши, увлеченного общим движением, проявившимся в России в 1855 г., во время наших севастопольских неудач, и сделавшегося революционным агитатором и организатором, я превратился в горячего верноподданного, пламенного патриота, готового на все для царя и отечества, и потому считал бесчестным, — совесть моя мне не позволяла, — долее оставаться за границей. Нынешнее царствование так велико, так превзошло своим величием и блеском, что история России дней наших кажется какой-то сплошной овацией, праздником, торжеством. Самые несчастные и печальные события, случающиеся в России, точно нарочно ниспосылаются провидением, чтобы вызвать новые восторги из груди нашего исполинского народа. Я следил за всем, что совершалось и совершается, и я не выдержал, я не мог оставаться вчуже. Теперь я в тюрьме уже, но во мне нет раскаяния и нет печали в моем поступке. Мое будущее мрачно и грозно, но меня утешает мысль, что я все-таки дома, и лучше ж я буду страдать дома, чем одиноко ликовать среди чужих людей.

Что меня ждет, граф? Я злого ни России, ни правительству ровно ничего не сделал... Я хотел сделать, я делал попытки, я трудился, но все было напрасно, теории мои были неприменимы к практике, и я только воду толок. Зла государству мною не причинено, я виноват только в намерениях и в попытках. Излагать историю их было бы бесполезно и заняло бы несколько месяцев времени, не представляя в сущности ни пользы, ни интереса. Но если правительство мне дозволит, я бы охотно написал и напечатал некоторые эпизоды из моих агитаторских похождений, в поучение юношам, садящимся не в свои сани. По-

* Следующий абзац очерчен сбоку красным карандашом.

куда я прошу вас, граф, об одном: мне крайне хотелось бы видеться и переговорить с вами, мне есть много чего сообщить высшему правительству — вытребуйте меня к себе в С.-Петербург.

Девять лет жизни за границей, в среде революционеров, эмигрантов, сектантов, бродяг и т. п., между простонародьем разных соседних нам племен, дали мне возможность узнать множество отношений, неизвестных ни нашему правительству, ни литературе. То, что правительство узнает иногда, оно узнает из официальных донесений или из следст-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА В. И. КЕЛЬСИЕВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ А. П. ШУВАЛОВУ ОТ 24—25 МАЯ 1867 г.

Архив Революции, Москва

венных показаний, а ни тем, ни другим — я по опыту убедился — нельзя очень доверять. Первые пишутся большею частью по слухам, потому что официальное лицо редко может свести личное, непосредственное знакомство с темными людьми, а вторые представляют только дагерротипный снимок с того, что путал подсудимый. Я же был в другом положении, мне все двери были открыты, все языки были развязаны, я везде был свой человек. Вытребуйте меня к себе в С.-Петербург, мне есть что рассказать вам, а на бумаге писать не все следует. Из рассказов моих вы убедитесь, что я искренний человек, и что так же искренно передаю мои сведения правительству, как и самого себя ему отдал. Обо всем, что вы от меня услышите, вы сообщите государю

императору, даже просить помилования у которого я не дерзаю, и каков последует его приговор, таков я приму безропотно как следует истинному верноподданному.

Граф,

не забудьте вполне положившегося на вас

Василия Иванова Кельсиева

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ *

Прежде чем я приступлю к изложению моей прошлой деятельности против правительства, я должен сделать оговорку, что если некоторые факты или подробности будут упущены мною в настоящем изложении, то это случится никоим образом не из умысла, а или по забывчивости, или потому, что подробности эти кажутся мне не заслуживающими внимания. Я буду стараться не делать подобных пропусков, но если они случатся, то покорнейше прошу высочайше утвержденную надо мною комиссию не ставить мне их в вину, так как я на каждый вопрос и на каждый случай из моей жизни всегда охотно дам отдельное показание или пояснение в виде приложения к настоящей записке. Раскаяние мое искренно, и откровенность моя, как и самая моя сдача правительству, не вынуждены.

Записка моя необходимо — для ясности изложения — должна распасться на следующих пять отделов:

1. Деятельность в Лондоне, с ноября 1859 г. по март 1862 г., когда я занимался изучением раскола, революционных учений и т. п., а равно и изданием «Сборника правительственных сведений о расколе».

2. Поездка в Россию с турецким паспортом на имя Василия Яни, в марте 1862 г., для соединения сектантов с партиею «Колокола».

3. Деятельность в Цареграде, с октября 1862 г. по декабрь 1863 г., когда я старался соединить в одно все противуправительственные элементы: сектантов, черкесов, поляков и т. п.

4. Пребывание в Тульче, с декабря 1863 г. по апрель 1865 г., где я был атаманом русских выходцев и где я убедился фактами в несостоятельности моих политических верований.

5. Пребывание в Галаце (с апреля 1865 г. по апрель 1866 г.), в Вене, в Венгрии, в Галичине (по ноябрь 1866 г.) и в Яссах до 19 мая сего 1867 г., когда я явился в скулянскую таможню с просьбою об моем арестовании.

Затем, приступая к своему рассказу, я обращаюсь к сердцу государя и к доказанному благоразумию его правительства с просьбою, что какая бы участь меня ни постигла, какой бы каре ни был я подвергнут, обратить, во имя России, внимание на причины и обстоятельства, вызвавшие и вызывающие у нас явления вроде нигилистов или эмигрантов. Как деятельнейший член оппозиции, я видел слишком близко многое, что совершенно недоступно официальным лицам, я входил в трущобы, куда не всякий решился бы заглянуть, да мало кто и заглядывал, я изучал — и изучал добросовестно — партии, стоящие за и против правительства... Я кончил тем, что, вследствие этого пристального изучения основных начал нашей и общеславянской народности, я сдался в безусловное распоряжение правительства, которому и представляю теперь мою исповедь.

---

* На первой странице карандашом помета: «Нужное. Препроводить в комиссию. 19 июня».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОНДОНЕ

Я приехал в Лондон в мае 1859 г. Поводом к этому была болезнь моей жены, понудившая меня взять отпуск на шесть месяцев от Российско-Американской компании, в колонии которой я ехал старшим помощником бухгалтера. Жена моя захворала в Плимуте сильным кровотечением после родов; доктора советовали ей ехать на лето в Германию, а для этого нужно было достать паспорт, так как кроме отпуска у меня не было других документов. Это обстоятельство и понудило ехать в Лондон, но поездка, при дурном устройстве английских железных дорог, при чрезвычайно коротких остановках на станциях и при чрезвычайно длинных туннелях, сильно потрясла только-что оправившееся здоровье моей жены и очень дурно подействовала на ребенка, которого она сама не могла кормить грудью. Я приехал в Лондон с больною семьей и должен был остаться там на целое лето, так как паспорт не приходил из Петербурга. Настала осень, ребенок хирел и хирел, жена все была слаба, а между тем срок отпуску выходил, нужно было ехать в Гамбург, сесть на компанейский корабль «Цесаревич» и ехать в Америку, т.-е. пройти весь Атлантический океан с севера на юг, обогнуть мыс Горн и пройти весь Тихий океан с юга на север. Я подал * прошение об отпуске еще на полгода. Компания предложила мне или немедленно ехать или подать в отставку, с уплатою ей сделанных на меня расходов. Я отдал ей в распоряжение всю мою движимость, которая уже была в ее руках, и просил ее, что буде продажа моей библиотеки и моих вещей не покроет моего долга, то чтобы она известила меня об этом, и я приму меры расквитаться с нею. Ответа от нее я не получил, равно как и семейных бумаг, находившихся между моими вещами, так что до сих пор ничего не знаю об моих к ней отношениях. Причину ее молчания я объясняю себе тем, что я вскоре после того объявил себя эмигрантом.

Причины, побудившие меня пойти в генеральное русское консульство в Лондоне заявить, что я отказываюсь от своей карьеры, что порываю с отечеством, с родными, с близкими, заключались в общем тогдашнем настроении русской молодежи. Герцен и Огарев долго и упорно уговаривали меня отказаться от моего намерения, но дух времени сильнее здравого смысла; я остался в Лондоне против их желания, без определенной цели, без выясненной задачи. «Работать нужно, пропагандировать нужно, это священный долг современного русского», — твердил я себе. Мне тогда было двадцать четыре года, Россию я видел только от Петербурга до Новгорода, да и то мельком. Жизнь я вел в Петербурге кабинетную, сведения и теории мои были почерпнуты из книжек и из рассказов таких же юношей, каким я тогда был; занятия мои состояли в изучении китайского, манчжурского, монгольского, тибетского и санскритского языков, да наречий наших финских племен, а лингвистика, разумеется, плохо могла содействовать знанию действительной жизни и общественных отношений. Я даже и общества тогда избегал по крайней застенчивости моего характера: я был человек книжный, кабинетный, я даже в Америку ехал именно для изучения эскимосских и американских наречий, которые меня сильно интересовали, больше даже, чем заманчивая перспектива сделаться современем русским консулом где-нибудь в Кантоне или в Шанхае. И вот, вместо того, чтобы исполнить свое давнишнее намерение побывать в русской Америке, повидать племена, живущие по берегам Тихого океана, изучить их цивилизацию, языки, нравы, предания, верования —

* З а ч е р к н у т о: в отставку

мечта, которую я лелеял с тринадцатилетнего возраста, — я все бросил, от всего отрекся и сделался пропагандистом. А примирение с Американской компанией было возможно, — стоило только обождать выздоровления жены...

Я еще в Петербурге был захвачен тем оппозиционным движением умов, которое началось у нас вследствие неудач крымской кампании. Редкий кто из моих тогдашних сверстников не роптал на правительство; доверие его способности и благонамеренности падало со дня на день, и молодежь, испуганная и оскорбленная за Россию, волей-неволей напрягла все свои силы на изучение зла и на отыскание средств к спасению.

России тогда почти никто хорошо не знал, — она вся, со своим настоящим и прошедшим, была покрыта канцелярскою тайной, — для изучения ее приходилось обращаться к рукописной литературе да к сочинениям об нас иностранцев, т. е. к весьма плохим источникам. Но и эти скудные источники были тогда запрещены, что и давало им огромный вес в наших глазах. «Зачем таят от нас правду? — рассуждали мы. Отчего все, что у нас происходит, покрыто тайной? Разве это не доказательство недобросовестности и даже злоумышленности правительства?» — и правительство становилось в наших глазах партией заговорщиков...

Последствия были такие, каких и ожидать следовало. Все, что только исходило из правительственной среды, вперед не пользовалось доверием; все, что заявляло себя против правительства и его действий, вперед могло рассчитывать на сочувствие и доверие. Запрещенные книги неминуемо стали казаться иногда чуть ли не откровением свыше, и достоинство их стало тоже неминуемо оцениться не по содержанию, а по степени запрещенности. Что же мы находили в этих книгах, которые читались с такою жадностью? Крайние революционные и философские учения! Перед нами открывался новый мир, мир, пожалуй, фантастический, возможный только в теории, но неофиты всегда страстные охотники до теорий, а особенно до теорий, преследуемых властью. Возражать нам, вести с нами полемику, переубедить нас никто не мог, потому что никто или мало кто заглядывал тогда в России в эти книги, потому что изучение этих теорий было тогда крайне затруднено, потому что даже литература не смела говорить об них. Как духовная цензура содействовала развитию у нас всяких религиозных сект, так политическая цензура вызвала — необходимым сделала — возникновение той партии, которую впоследствии стали называть нигилистами. Если ж к этому принять в расчет смелость * русского ума, который крайне последователен в своих выводах и ни перед чем не останавливается как в положениях, так и в отрицаниях, то нигилизм и окажется чисто русским доморощенным явлением. «Русский человек, — говорят наши сектанты, — тем не похож на всех других, что он п р а в д ы и щ е т». И действительно, страсть к последовательности, к развитию каждого положения до nec plus ultra довела простонародье до скопчества, до самосожигательства, до восторженности, а гимназистов, семинаристов и студентов догнала до таких отрицаний, о каких Западу и во сне не снилось. Последовательность — отличительная черта даже самой истории нашей. Владимир из братоубийцы превращается в человека, совестящегося казнить разбойников. Наш народный герой Илья Муромец только-что на ноги встает, как начинает мечтать, что, будь в землю кольцо ввинчено, своротил бы он мать сыру землю, будь столб от земли до неба, стряхнул бы он с места небо синее. Московские бояре задались мыслью собрать землю русскую и подавить орду поганую —

* З а ч е р к н у т о: врожденную дерзость.

и вот не только земля русская, но даже и значительный лоскут Мазовии стал нашим, не только царство Казанское и Астраханское наше, но и Ташкент к нам попал, а Хива и Бухара ждут того же. Никон, патриарх, с его ненужно последовательными исправлениями обрядов, Петр Великий, с его не только ненужным, но даже и вредным предпочтением иностранцев русским и бритьем бород, были глубоко русские люди, как и их преемники по сей день. И эта-то мощь нашей русской государственной мысли приводит в трепет турок в Цареграде, немцев в Вене и мадьяров в Пеште: они предчувствуют, что близок час, когда наша западная граница перешагнет Карпаты и протянется по далматскому берегу Адриатики, когда славянство примкнет к нам в силу собственного его тяготения и в силу нашей исторической миссии, исполняемой нами столько веков с такой ничем не колебимой последовательностью.

Другая причина увлечения молодежи социализмом и атеизмом лежала в весьма плохом устройстве тогдашних средних и высших учебных заведений, в которых учили всему на свете и ничему не выучивали. Энциклопедичность нашего образования, всезнайство наше, способность судить обо всем, не зная ровно ничего толком, давали нам смелость браться за разрешение каких угодно сложных вопросов науки и жизни и ловко отбивать возражения наших противников, забрасывая их мишурой нашей мнимой учености. Наши училища готовили нас вовсе не в полезных подданных и граждан, вовсе не в деловых людей, а в людей светских, салонных, в мастера на все руки и поэтому развили в нас не любовь к труду и к исследованию, а страсть хватать вершки, отыскивать последнее слово науки, — мы и стали материалистами, потому что не были достаточно подготовлены отличать гипотезы от фактов.

В атеизм загнало нас плохое положение православной церкви в то время, — я в этом убедился в бытность мою в Галичине, осенью прошлого года, где я имел случай изучить, какие полезные силы для государства, для нравственности и для науки таятся в православии и как мы сами себя расслабляем, не давая ему ни должной поддержки, ни должного развития. У униатов, как и у протестантов, семинарий нет, — дети духовенства воспитываются вместе с детьми мирян. От этого они вовсе не отрезываются от мира ни своими сведениями, ни приемами, ни костюмом, как у нас. По окончании гимназии желающие посвятить себя духовному званию поступают или на богословские факультеты, или в духовные академии, и только по окончании курса в этих высших учебных заведениях, только по сдаче весьма строгого экзамена получают они право на рукоположение. Но и затем связь их с училищами не прекращается. Они сплошь и рядом занимают кафедры даже вовсе не по богословским наукам, они бывают инспекторами, воспитателями, смотрителями училищ. Церковь не оставляет детей и приучает их смотреть на нее с любовью и с уважением. У нас же было (как теперь, я не знаю) совершенно другое: Петр Великий стеснил духовенство, потому что оно заявляло себя против его антинациональных реформ, Бирон и К⁰ придавили его из отвращения ко всему ненемецкому и непротестантскому, затем иезуиты стали возбуждать правительство против православного духовенства, за ними поляки и те же немцы, за ними сочувствие к духовенству подорвал в нашем обществе дурной пример французских ультрамонтанов, итальянских санфедистов [6] и т. д. Все эти исторические причины свели наше духовенство на minimum его деятельности и сделали из него — к величайшему торжеству сектантства и атеизма — м а ш и н у для исполнения обрядов. Нравственность его пользовалась плохой славой, невежество его было известно всем и каждому, — да и могло ли оно быть образованным, когда можно сделаться священником прямо из семинаристов? Наконец, у него не было свет-

ского лоска, как у ксендза или у пастора, по-французски оно не знало, балы и театры ему заперты, а при таких недостатках, разумеется, ни в одну гостиную священник не входит без зову...

Я поступил в коммерческое училище десятилетним ребенком (в 1845 г.). В нашем доме строго соблюдались все постановления и обычаи церкви. Посты никогда и ни в каком случае не нарушались, углы были уставлены иконами, перед которыми теплились неугасимые лампады, в церковь мы ходили как следует, чуть-что не каждый день, молебны и водосвятия совершались у нас в большие праздники. Я был искренно православным, насколько то было возможно при моем возрасте, но училище сделало меня атеистом.

Дети очень впечатлительны и наблюдательны, а тем более скоры на выводы. Нам твердили наши воспитатели и учителя: «Учитесь, будете людьми, как мы», а они были все более или менее индиферентны. О посте в среду и в пятницу я даже забыл в училище; иконы, которые я так любил и уважал, были в комнатах училища крохотные, загаженные мухами, молитвы перед учением и после учения исправлялись, очевидно, только для формы, закон божий преподавался точно неизбежная излишность. Ничто не дышало тем тихим, ясным, всепроницающим духом христианства, как в английских, в галицких школах. Воспитателей (гувернеров) было у нас восемь человек — и из них только двое русских, а впоследствии даже один. Инспектор и директор также были неправославные. Мы смотрели на них, как на развитейших людей, и догадывались, что развитие и православие, наука и н а ш а вера не ладят между собою. О вере с нами говорил только законоучитель, да и то раз в неделю, а воспитатели иноверцы невольно должны были обходить молчанием эти вопросы. К этому, мы узнавали невольно, что на Западе люди и умнее и лучше нас, что оттуда идут в Россию все истины науки и все правила общежития. Вывод был ясен и неизбежен. К этому явилась на помощь геология с ее гипотезами об образовании земного шара, физиология, география и прочее и прочее, так что сомнение в * истинах веры, которую мы держали и которую нам преподавали убийственно сухо, поневоле стало закрадываться в душу, а разъяснить эти сомнения было некому. Учителя наши отделывались от нас, не желая попасть впросак, воспитатели даже по самому умственному развитию своему не были в состоянии отвечать на наши вопросы, да и увертывались от них, чтобы не сказать чего-нибудь неправославного. Приходилось доходить до всего своим собственным умом. Наш законоучитель разъяснял нам все чересчур схоластически — так, что мы его не понимали, и дошли мы собственным умом кто до молоканства, кто до атеизма, как воспитанники других училищ пошли в нигилизм, как Балабины, Гагарины, Голицыны, Свечины и пр. поделались католиками [7]. И так до тех пор будет у нас твориться, покуда белое духовенство не будет признано сильнейшим консервативным элементом русской народности, пока оно не займет в обществе того же положения, каким оно пользовалось у нас в XVII в., а в Англии и по сию пору. Я решительно не вижу других средств для противодействия всяким фантастическим теориям и учениям, кроме уничтожения семинарий, устройства богословских факультетов при университетах, реформы духовных академий на манер униатской Barbareum в Вене [8] и запрещения ставить в священники или в диаконы лиц, не знающих о с н о в а т е л ь н о латинского, греческого, еврейского языков да одного из новейших западных (славянские наречия все должны быть обязательны), не знающих основательно церковной истории и археологии, и мне кажется, что если не

* З а ч е р к н у т о: уроках закона.

будут приняты деятельные меры, то через несколько десятков лет православие пропадет в России. Его с одной стороны раскол поглотит, а с другой западный протестантизм, а то и другое будет несчастием для нашей политической будущности. В настоящее время вопрос о поддержке православия становится в высшей степени важным ввиду усиленной деятельности против него и против самого раскола иностранных пропагандистов, которые, как мне кажется, скоро возьмут верх, но об этом я расскажу после, покуда скажу только, что изгнание белого духовенства из светского общества и закрытие ему клубов, театров, трактиров, общественных увеселений — политическое самоубийство. Я много и пристально изучал быт православных священников в Болгарии, в Молдавии и в Австрии, и у меня сердце болит при воспоминании, как у нас не умели пользоваться этим сильным рычагом прогресса, сколько талантов гибнет и какое малое число истинно образованных людей выходит из наших училищ. Будь духовенство посредником высших и низших сословий, никакой нигилизм не пустил бы корней, да и грамотность была бы распространена в народе.

Отступления мои, может быть, слишком длинны, но я делаю их по необходимости, так как рассказ о событиях, которые я видел или в которых участвовал, был бы непонятен без объяснения причин этих событий. Перехожу к тому, что делалось в Лондоне.

*

В мае 1859 г., когда я приехал в Лондон, я застал Герцена во всем блеске его славы и авторитета. Через два года влияние его стало ослабевать, через три года звезда его окончательно померкла. Я познакомился с ним по общему порядку, какой не то сам завелся, не то Герценом же был заведен в Лондоне. Каждый приезжий естественным образом прежде всего бежал к Трюбнеру [9] купить «Колокол», «Полярную Звезду» и прочие заграничные издания. При этом выходила вечная комедия, очень льстившая Трюбнеру, — русские жали ему руку, благодарили его за его либерализм, за его деятельность для блага человечества вообще, а русского народа в особенности. Они, в простоте души, принимали его чуть ли не за равного Маццини, а во всяком случае за друга и за помощника Герцена. Трюбнеру это ужасно льстило, он сам на себя начинал смотреть, как на замечательного человека, собирался (и даже совета спрашивал), не будет ли полезно гравировать его портрет для распространения в России. Он думал, что это будет содействовать развитию оппозиции. Я раз, в шутку, выпытал у него признание в надежде, что облагодетельствованный им русский народ рано или поздно поставит ему памятник. В сущности, Трюбнер — добрый малый, ловкий издатель и агент американских книг, человек практически не глупый и очень оборотливый. На лондонских изданиях он нажил большие деньги, единственно умением* распространить их на континенте. Наконец, он имел безусловное доверие к Герцену и Огареву, а потом ко мне, так что брался издавать все безусловно, что только мы ему предлагали. По-русски он не знал ни слова, об России понятия не имел. Про него говорили, будто он много содействовал ввозу в Россию своих изданий — это неправда. Он слишком осторожен, чтобы рисковать своим товаром, посылая его наудалую. Как тогда, так и после «Колокол» и пр. распространялись единственно путешественниками, возвращавшимися из-за границы.

Приезжий в Лондон обыкновенно изъявлял Трюбнеру желание удостоиться счастия познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и при-

* Зачеркнуто: ловко.

глашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание или у себя или у приезжего, если последнему почему-нибудь не хотелось, чтобы его видели в доме Герцена. Такие случаи бывали очень часто. Лица очень высокопоставленные никогда не входили в дом Герцена, и тайна свидания их с ним так и остается тайной на долгое время, когда выйдут в свет неизданные главы его записок «Былое и думы», которые много прольют света на историю этого периода. Собственные имена в доме Герцена не произносились или произносились очень редко. Кто сам не хотел скрывать своих визитов, тот сам себя называл; кто конфузился или просил, чтобы его не выдавали, того имя или мы переменяли, что было, впрочем, редко, или обыкновенно отделывались от нескромных вопросов тем, что не помним, не знаем, трудное имя и т. п. Да и трудно было помнить всех приезжавших на поклонение, так много их было. Они мелькали один за другим, входили с трепетом благоговения, слушали и врезывали себе в память каждое слово Герцена, сообщали ему сведения словесно или в заранее приготовленных записках, выражали ему свое собственное сочувствие и сочувствие своих знакомых, благодарили за пользу, приносимую обличениями России, и за страх, который «Колокол» навел на все нечестное и нечистое, затем раскланивались и исчезали. Кого только ни перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он видался с глазу на глаз. Много раз, стоя у камина в его кабинете в Fulham'e [10], я хохотал в душе, смотря на какого-нибудь капитана в отставке, который нарочно поехал в Лондон из такой глуши, как Симбирск или Вологда, заявить свое сочувствие, объяснить, что он не ретроград, как и сосед его Степан Петрович и как кум его Петр Степаныч. «Это все, доложу вам, золотой наш Александр Иванович, люди благородные, свободомыслящие-с, да-с, этими людьми вся губерния наша может гордиться! И если б правительство умело выбирать людей, ценить бы-с умело благородство характера — давно бы-с они важные места занимали в государстве! Но у нас-с, как вы и сами изволили заметить, больше на низкопоклонстве можно выехать? Вот, например, наш исправник — уж вы его отделайте в «Колоколе», вам за это весь уезд благодарен будет, мне даже поручено просить вас об этом... Человек развратный, жену свою бьет, проиграл в карты прокурору четыре рубля и не платит!». Являлись дамы с дочерьми и с сыновьями, просили написать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах. Какой-то господин, отправляясь в Иерусалим, писал письмо с известием о своем намерении и с изложением своего взгляда на ничтожество жизни. Все это, разумеется, сильно надоедало Герцену и Огареву и постоянно ставило их в самое неловкое положение. Печатать всего, что присылалось или что сообщалось, не было возможности: «Колокол» должен был бы принять размеры «Times», а содержание его состояло бы из невероятных процессов, сплетен и всякой дряни, он потерял бы мигом все значение, превратясь в орган личных неудовольствий бог знает кого, бог знает против кого. Клевета и так в него попадала, а что было бы, если бы все печаталось?

Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева. Свидания и приемы несерьезные делались раз в неделю (впоследствии два раза), в назначенный день, обыкновенно в воскресенье, с пяти часов вечера. Тут-то и была каторжная работа обоим издателям «Колокола» — занимать гостей, быть любезными со всеми, выслушивать всякий вздор и не показывать вида, что скучно. А не принимать тоже было нельзя, — каждый приезжий все-таки привозил какие-нибудь но-

вые сведения, да и в интересах пропаганды необходимо было знакомиться с каждым, ищущим знакомства. Эти люди все-таки были передовыми в своих кружках, были смелее других, решаясь являться публично в общество изгнанников, и, воротясь домой, могли усились свой авторитет известием, что они обедали у Герцена, указали ему на некоторые злоупотребления, дотоле ему неизвестные, и вообще говорили с ним о важных государственных делах. Но, в сущности, сколько я мог заметить, мало кто из них понимал ясно, чего добивается «Колокол». Гости наши в простоте души считали нас революционерами, тогда как мы были реформаторами, они принимали Герцена за агитатора, а он был * органом оппозиции старому порядку вещей, начавшейся и действовавшей в самой России. С кем можно сравнить Герцена и Огарева, по их взгляду на вещи и по их направлению, это скорее всего с Брайтом и Кобденом [11]. Обстоятельства принудили их, против их воли, сделаться агитаторами, но на этом агитаторстве и подорвалось их влияние.

Здесь я опять должен сделать отступление, так как считаю долгом разъяснить правительству силы и взаимные отношения так называемой партии беспорядка. Официальные сведения об ней неверны, потому что составители официальных записок всякого рода (как я убедился, сличая изданные мною официальные записки о расколе с тем, что есть на деле) всегда преувеличивают опасность, по весьма естественному ** желанию и отличиться перед начальством усердием и подделаться под его личный взгляд, а, пожалуй, еще и из страха навлечь на себя ответственность, если из партии, которая поручена им для исследования, вдруг и в самом деле возникнет что-нибудь опасное. То же надо заметить и о показаниях, даваемых обвиненными при следствиях, — они запутывают дело или по незнанию или умышленно, чтоб отвертеться. Фанатики из них преувеличивают опасность из хвастовства или из желания стяжать мученический венец; малодушные, блудливые, как кошка, и трусливые, как зайцы, попав в руки правительства, пугаются своей участи и, чтоб спастись, начинают каяться в тюрьме — а это уж самый неблаговидный мотив раскаяния — и плетут на своих товарищей все, что попало, из страха и из желания подслужиться следователям и судьям. Затем, сочинения и прокламации самих деятелей оппозиции также не заслуживают доверия, это я уж по личному опыту знаю. Когда мне пришлось сделаться агитатором, как это расскажу впоследствии, я сплошь и рядом должен был привирать о располагаемых мною средствах; я должен был, как это ни было мне противно, туманить глаза людей, на которых приходилось действовать, преувеличенными рассказами о силе и значении нашей партии в России. Политические и религиозные агитаторы, революционеры, социалисты, иезуиты, молокане, спириты — все прибегают к этому способу; послушать любого из них, то мир только его сторонниками и держится, а будущность цивилизации только его секте или партии и принадлежит, тогда как на деле-то оказывается, что история человечества идет по диагонали двух сил: силы предания или привычки и силы толчка, даваемого ей новыми учениями, поэтому ни одна партия и ни одна секта никогда не достигают своей цели.

Я стоял слишком близко к лондонской партии, оставил ее по убеждению, воротился в Россию по доброй воле и потому надеюсь, что показание мое не может быть заподозрено в умышленном искажении фактов и что мне нет никакой выгоды преувеличивать или уменьшать их значение.

---

* Зачеркнуто: не более как.
** Зачеркнуто: чувству.

Приехав в Англию вскоре после декабрьского coup d'Etat, Герцен, как и сам он рассказывает в «Былом и думах», примкнул к существовавшему тогда Европейскому революционному комитету [12]. Комитет этот состоял из представителей всех народностей и всех партий и, естественно, не замедлил распасться на веки вечные. Во времена первой республики (1789 г.) догмат оппозиции был чрезвычайно прост: все люди родятся одинаково — да будет же в человечестве братство, равенство и свобода! Эту логическую посылку мог одинаково исповедывать и француз, и англичанин, и самоед, но с падения республики, а тем более с реставрации, вопрос осложнился. Прогрессисты принялись за серьезное изучение наук экономических, исторических и словесных, и из этого изучения возникли партии социалистов, поборников исторического права и поборников национальности. Волнения начала 30-х годов уже показали, какое направление примет история, а 1848 год окончательно разрубил гордиев узел и определил характер нашей эпохи. Принципы 1789 г. убиты им были наповал в Париже, в Вене и в Берлине, потому что каждому стала ясна их несостоятельность и неприменимость к практической жизни. В Италии борьба кипела за национальность, в Германии — тоже, в Венгрии — за историческое право. В разгаре борьбы и в переполохе от реакции предводители движения искренно верили, что между ними нет никакой разницы, что они одинаково думают, чувствуют и к одному и тому же стремятся, поэтому они так легко и сошлись в эмиграции, никак не предполагая, что сближение необходимо должно было их перессорить.

Между французами было две партии: революционеры (Ледрю-Роллен) и социалисты (Луи Блан). Одна сторона обвиняла другую в проигрыше дела, в непрактичности, в пристрастности. Маццини не мог простить французам взятия Рима, которое погубило итальянское дело [13], а французы не могли понять, что Италия не может же на веки вечные оставаться расчлененной из вежливости и из уважения к Франции. Франция — передовая страна Европы, Франция — родина и очаг мысли, наук, вкуса, Франция для блага человечества должна преобладать над Европой, и без ее санкции ни один народ не только своей внешней политикой, но даже и внутренней распоряжаться не должен, а тут Маццини признает Италию чуть ли не выше Франции, благоговеет только перед Dio e popolo [14], да еще имеет нахальство заявить, что Italia fara da se!!! [15] С мадьярами также никто не мог сладить. Мадьяры были аристократы, гордые своим происхождением, генеалогиями, историческим правом на словаков, словенцев, хорватов, сербов, русских; либеральные принципы, провозглашенные ими, очевидно, были взяты на реквизицию, чтобы * произвести восстание. Немцы никак не могли ни мадьярам простить их бунт против Вены, ни итальянцам их нечувствительность к благам немецкой культуры, ни французам их необходимость исправить границу присоединением зарейнских земель. Про поляков и говорить нечего. Они были разбиты на три главные партии, не считая множества мелких, и никак не могли убедить немцев, что Данциг, Кенигсберг и Бранденбург входят в состав Польши; на итальянцев они были злы, да и злы до сих пор, что итальянский вопрос отвел глаза Европы от польского; только с французами они как-то ладили и ладят, но и то не с эмигрантами, а с бонапартистами, от которых ждут действительной помощи.

Кроме розни в принципах, распадению Центрального европейского революционного комитета помог еще финансовый вопрос. Каждая партия, каждая народность считала свое дело неотлагаемо важнейшим в

* Зачеркнуто: поддержать.

Прежде чѣмъ я приступлю къ изложенію моей преступной дѣятель-
ности противъ правительства, я долженъ сдѣлать оговорку, что если
нѣкоторые факты или подробности будутъ упущены мною въ на-
стоящемъ изложеніи, то это случится никакимъ образомъ не изъ желанія,
а или по забывчивости, или потому, что подробности эти казались
мнѣ не заслуживающими вниманія. Я буду стараться не дѣлать подоб-
ныхъ пропусковъ, но — если они случатся — то покорнѣйше прошу Высо-
чайше утвержденную надъ мною Коммисію, не ставить мнѣ ихъ въ вину,
такъ какъ я на каждый вопросъ и на каждый случай изъ моей жизни
всегда охотно дамъ отдѣльное показаніе или положеніе въ видѣ при-
ложенія къ настоящей запискѣ. Раскаяніе мое искренно и откровенность
моя, какъ и самая моя сдача правительству — невынужденны.

Записка моя необходимо — для ясности изложенія — должна рас-
пасться на слѣдующихъ пять отдѣловъ.

1) Дѣятельность въ Лондонѣ съ Ноября 1859 по мартъ 1862 года, когда я занимался изученіемъ раскола, революціонныхъ ученій и т. п., а равно и изданіемъ „Сборника правительственныхъ свѣдѣній о расколѣ“.

2) Поѣздка въ Россію съ турецкимъ паспортомъ на имя Василія Яни, въ мартѣ 1862, для соединенія сектантовъ и партіи Колокола.

3) Дѣятельность въ Цареградѣ, съ октября 1862 по декабрь 1863 года, когда я старался соединить въ одно всѣ противуправительственные элементы: сектантовъ, черкесовъ, поляковъ и т. п.

4) Пребываніе въ Тульчѣ, съ декабря 1863 по апрѣль 1865 года, гдѣ я былъ атаманомъ русскихъ выходцевъ и гдѣ я убѣдился фактами въ несостоятельности моихъ политическихъ воззрѣній.

5) Пребываніе въ Галацѣ съ апрѣля 1865 по апрѣль 1866, въ Вѣнѣ, въ Венгріи, въ Галичинѣ (по ноябрь 1866) и въ Яссахъ до 19 мая сего 1867 года, когда я явился въ Скулянскую таможню съ просьбою объ моемъ арестованіи.

Засимъ, приступая къ своему разсказу, я обращаюсь къ сердцу Государя и къ доказанному благоразумію его правительства, съ просьбою, что какая-бы участь меня не постигла, какой бы карѣ ни былъ я подвергнутъ, — обратить, во имя Россіи, вниманіе на эти причины и обстоятельства, вызвавшія и вызывающія у насъ появленіе въ родѣ нигилистовъ или эмигрантовъ. Какъ дѣятельный членъ оппозиціи я видѣлъ слишкомъ близко многое, что совершенно недоступно оффиціальнымъ лицамъ, я входилъ въ трущобы, куда не всякій рѣшится заглядывать, да мало кто и разглядывалъ, я изучалъ — и изучалъ добросовѣстно — всѣ партіи русскія за и противъ правительства. Я кончилъ тѣмъ, что въ сознаніи этого пристальнаго изученія основныхъ началъ нашей и общеславянской народности, я сдался на безусловное распоряженіе правительства, которому и представляю теперь мою исповѣдь.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ «ИСПОВЕДИ» В. И. КЕЛЬСИЕВА

Архив Музея Революции, Москва

Европе, и каждая уверяла, что выиграй она, то и все другие выиграют, а капитал был небольшой — Герцен чуть ли не больше всех пожертвовал, — да и большинству эмигрантов жить было нечем, за работу же эмигранты принимаются очень неохотно, в ожидании, что не сегодня — завтра снова заварится каша, тунеядничают, интригуют и кончают обыкновенно очень плохо.

Комитета теперь нет, и едва ли когда-нибудь он возобновится, но эмигранты все-таки состоят в связях между собою. С французами, с немцами Герцен почти совсем разошелся, так что в мое уже время ни те, ни другие почти и в доме у него не бывали, а кто и бывал, то не из замечательных (Девиль, ... *, Альтмауэр, Майзенбуг, ... *)[16]. С мадьярами он точно так же разошелся, видаясь изредка только с Кошутом и с Пульским[17]. Отзывы его об них обо всех — о французах, немцах и о мадьярах — были вообще не в их пользу. Только с Маццини и с его друзьями был он в хороших отношениях. Он очень уважает итальянцев за их способность быстро понимать каждый вопрос и беспристрастно отзываться даже о враждебных им партиях. Маццини нравится ему за его железную волю, за ловкость, смелость и последовательность. Это действительно необыкновенный человек, ему все покоряется. Английская аристократия тысячи фунтов стерлингов давала ему на итальянское дело; каждый год раза по два, по три ездил он в Италию, где был приговорен к смертной казни, и ездил обыкновенно без паспорта. Он всем пожертвовал во имя единства Италии и вот почти добился его. Остается еще сделать из Италии республику. Программа его: Dio e popolo!

Итак, от Европейского комитета осталась только приязнь некоторых из его членов и готовность сделать друг другу разные мелкие услуги. Англичанин, едущий в Италию, может получить от Герцена письмо к Гарибальди. Кошут может дать русскому, представленному Герценом, рекомендательное письмо в Пешт, но далее этих приятельских отношений связи нынешних предводителей политических партий не идут.

Другое происходит в массе эмиграции, в этих хористах революции, как Герцен их назвал. Это народ совсем особенный и ничуть не похожий на вожаков. Большинство их составляют бывшие гимназисты, недоучившиеся студенты, прапорщики и поручики, мелкие чиновники, солдаты, мастеровые, которые из фразы, из увлечения пошли на баррикады или в повстанье и унесли свои головы в эмиграцию. Работать они не любят, потому что «мы, дескать, крови своей за свободу не жалели», да и головы у них чересчур экзальтированы, чтобы за что-нибудь дельное приняться. В политических, экономических и социальных вопросах они ровно ничего не смыслят. Задолбили себе, что свобода вещь очень хорошая да что без революции свободы добиться нельзя, что цари, дворяне и попы — враги свободы, что всякое восстание есть дело и благородное и полезное, — на том и конец, дальше и спрашивать их не о чем. Газет они почти не читают, а что и читают, того толком не понимают, легковерны до крайности, волнуются при каждом нелепейшем слухе, подыскивают нелепейшие объяснения непонятным для них действиям передовых политических деятелей, приписывают им намерения и дела, каких у тех и в помысле не было. Один из таких господ взвалил на Герцена и Маццини поджигательство в южной России через мое посредничество, при помощи скопцов и липован![18] Это так же верно, как то, что Каракозов был подослан дворянством (по словам «Nord»'а)[19] или что покойный цесаревич Николай Александрович[20] жив и что его видают в Новороссийском крае. Переслушать нет возможности всех нелепиц, которые болтают эмигранты и все интересующиеся политикой, но

* Пропуск в подлиннике.

не следящие за ней толком. Они врут для того, чтобы задать тон, показать, что и они кое-что знают, что они пользуются доверием у людей сведущих и имеющих связи. Предположение, догадка в их неразвитых, но тщеславных умах мигом превращается в истину.

Эти хористы — вечные и неизменные участники каждой революции или инсуррекции. Они дерутся в Италии, в Америке, в Польше, в Кандии, в Перу и в Чили. Где только потасовка, там без них не обходится. Держатся они вместе, невзирая на национальность, а партий меж ними не водится. Но союз их не страшен, потому что они не имеют ни авторитета, ни связей, ни капитала. Опасность от них может быть другого рода: услышит какой-нибудь из подобных господ, сосланный в Казань или в Рязань, что поджоги приписываются революционерам и совершаются ими во имя благоденствия рода человеческого, станет об этом раздумывать и, чего доброго *, сообразит, что и он обязан сделать такую же услугу прогрессу. По крайней мере, настолько, сколько я знаю противуправительственные силы современной Западной и Восточной Европы, я не могу допустить — представить себе не могу самой возможности — общества политических поджигателей. Я знаю, что правительство имеет другой взгляд на этот вопрос, но я могу то только заметить, что если б что-нибудь подобное существовало в Добрудже, в Молдавии и в молдавской Бессарабии, то это не могло бы не быть мне известным, а если б мне было известно, то — пусть мне на слово поверят — я бы или остановил безумцев или сам бы указал на них правительству. Липованы и скопцы сами бы растерзали на месте каждого, кто явился бы к ним с подобным предложением, а когда я сообщил им, что русские газеты обвиняют их в поджигательстве, они только хохотали на это обвинение, даже не обижаясь им, так дико оно им показалось. Наконец, наши консула в Галаце, в Измаиле и в Тульче должны были бы что-нибудь слышать о поджигателях и об их агентуре в Добрудже. Старообрядческий епископ тульчанский Иустин находится теперь в Москве, где он принял единоверие, в Москве же, кажется, теперь живет и инок Иоасаф из Славского скита, — пусть правительство наведет справки, если оно все еще верит этой сплетне, которая могла зародиться только в умах эмиграционной черни да следящих за нею полицейских агентов, обыкновенно очень плохо знакомых с делом и тоже излишне сообразительных [21].

Итак, Революционный комитет распался. Герцен остался один с приятелем своим, поляком графом Ворцелем, предводителем польской демократической партии и редактором газеты «Demokrata Polski» [22]. Типографию свою он поместил вместе с типографией Ворцеля и начал печатать свои повести, воспоминания («Тюрьма и ссылка»), «С того берега» и т. п. сочинения, которые в строгом смысле слова были вовсе не революционные и даже совершенно безвредные, хотя тогдашние цензурные правила и не могли допустить появления их в России. Но другой русский эмигрант, бывший тогда в Лондоне, Энгельсон [23], не удовлетворялся этой чисто литературной деятельностью. Он стал печатать известные памфлеты: «Письмо Емельки Пугачева», «Видение святого Кондратия» и т. п. Что это за человек был, можно судить по его сочинениям, лишенным не то здравого смысла, не то понимания нашей народности [24]. В «Видении святого Кондратия» он предлагает не хоронить мертвых, а сожигать их! Точно об тогдашнем положении дел нечего было сказать дельного и точно одного подобного предложения народу не было бы довольно внушить ему раз навсегда суеверное отвращение к либералам![25] Герцен печатал его статьи нехотя[26] и кончил тем, что порвал

* Зачеркнуто: решит.

с ним. Из его собственных памфлетов того времени замечателен только один «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству», с знаменитою фразой: «К топорам, братцы!»[27]. Нет сомнения, что этот памфлет был толковей и дельней энгельсоновских. Кроме того, Герцен ни за что не соглашался делать пропаганду в России при помощи иностранцев, тогда как Энгельсон настаивал, что следует воспользоваться Крымской войной для распространения лондонских брошюр в России. Если не ошибаюсь, это и была одна из главных причин их размолвки[28].

Начал Герцен «Полярную Звезду», самая обертка которой показывает его глубокое благоговение к прежним поборникам свободы в России[29]. Ни про одного из них не позволит он худо при нем отозваться. Но ни «Полярная Звезда», ни памфлеты — ничто не указывало на определенный план его деятельности, хотя уже и тогда он поставил себе задачею добиваться 1) освобождения крестьян с землею, 2) отменения цензуры и 3) отменения телесного наказания, — требования, как я и выше заметил, вовсе не революционные, — о республике, о династии не было ни слова, равно как и не было ни одного слова в пользу восстания, сколько я помню.

Огарев, друг детства Герцена, его alter ego, приехав в Лондон, основал «Колокол»[30] и дал более правильный ход пропаганде. Герцен уступил ему все финансовые, экономические и юридические вопросы, оставив за собой только общие статьи и смесь, где было более простора его широкому перу и его врожденному юмору. С этого же времени начинается и эпоха его огромного влияния на всех образованных людей в России.

Заговоров он не делал, тайных обществ не основывал. «Пусть в самой России заводят оппозиционные и реформистские лиги, — твердил он каждому приезжему, — нам из-за границы этого делать неудобно, да и нечестно бы было толкать людей на гибель, зная, что сами ничему не подвергаемся. Наше дело быть органами движения, путь ему и цель указывать, высказывать то, о чем цензура заставляет молчать...» И действительно, несмотря ни на просьбы, ни на какие убеждения, Герцен и Огарев не решались выступить агитаторами на манер Маццини. Так было до лета 1862 г.

Это — смотря на дело с тогдашней точки зрения — было большой ошибкой. Вся Россия волновалась лондонскою пропагандой, все готово было действовать против правительства, но никто не знал, как и с чего начать; даже чего хотеть, не знали. Люди приезжали в Лондон с полною готовностью служить делу, они отдавались в безусловное распоряжение Герцена, они команды ждали, им нужна была формула, катехизис, чего хотеть и чего не хотеть, и в ответ не получали ничего определенного. Я тысячу раз указывал на это Герцену и Огареву, но они стояли на своем: «Ну, хоть устав лиги сочините, — говорил я, — напишите его по параграфам; ваши слова, ваш приказ будет иметь силу и авторитет. Укажите точно и ясно, чего следует добиваться, а то ведь хаос идет вопиющий между прогрессистами». Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а сорганизовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков недоставало, — они не были государственные люди.

С самого Парижского мира[31], когда с наплывом русских за границу так быстро стали расходиться их издания, а вместе с тем и авторитет их приобрел такое огромное значение, им чуть не каждый приезжий, чуть не каждое письмо предлагали деньги на поддержку пропаганды и на основание капитала для тайного общества, — они не принимали, а собрать могли бы сотни тысяч. «Наших собственных средств доволь-

но, — отвечали они, — для ведения пропаганды, приемом денег мы навлечем на себя и большую ответственность и, чего доброго, набросим тень на чистоту наших целей. Употребите эти деньги в России, там они более нужны, потому что там нужно дело делать». Жертвователи пожимали плечами, спускали деньги в Париже или в Баден-Бадене, а кто и не спускал, кто и желал бы отдать их кому-нибудь в России, тот не знал, к кому обратиться. Даже когда [уже] авторитет пропаганды стал падать, один юный офицер, только-что получивший по наследству что-то около ста тысяч рублей наличными, не считая огромного имения (Казаков, помнится, его звали) [32], привез свой капитал (в 1862 г.) в Лондон и отдавал его Огареву, обещаясь отдать и то, что выручится от продажи имения. «Мы заводим теперь общий фонд [33], — сказал Огарев, — и мы решили, что у кого меньше пяти тысяч рублей серебром (если не ошибаюсь) дохода, тот пусть пять процентов своего дохода вносит, а у кого больше, тот десять процентов, а таких пожертвований мы не можем принять». Это мне сам Казаков рассказывал в Париже, ругаясь на чем свет стоит и, очевидно, переменяя убеждения. Сколько я, с самого начала моего знакомства, ни убеждал Герцена и Огарева в необходимости иметь капитал на непредвиденные обстоятельства, нельзя было их уломать. А последствия показали, что я был прав и что сила Лондона, главным образом, состояла в том, что тамошних деятелей считали людьми очень деловыми и что никто не мог допустить, чтобы они, волнуя Россию, не были готовы стать в данную минуту во главе восстания. Энтузиасты думали, что у нас не только несметные капиталы, но что у нас есть даже склады пушек, пороха, ружей...

Горько мне разоблачать ошибки людей, которым я некогда слепо веровал и которых до сих пор искренно люблю, особенно Герцена... Мне тяжело писать разъяснение их неудач *, но разъяснение это необходимо сделать. Государь и правительство его сделали столько добра России в эти тринадцать лет, они так сумели перегнать нас, тогдашних прогрессистов, что долг лежит на каждом добросовестном русском раскрыть им прошедшее и настоящее — все, что может облегчить им труды их в будущем.

Еще что погубило нас — это нападки Герцена на русских литераторов и журналистов. После войны все журналы наши и вся литература приняла оппозиционный характер, все образованные люди сочувствовали возникновению русской типографии за границей, и если кто и роптал на лондонскую пропаганду, то только в том смысле, что она недостаточно ловко ведет дело, бьет не туда, куда следовало бы. Удовольствие, что у нас явилась оппозиция, было общее, и вся журналистика ее поддерживала. Вместо того, чтобы воспользоваться таким благоприятным настроением умов, Герцен и Огарев стали нападать на Каткова, на Краевского, на Усова [34] — да почти что на всех без исключения — за их обмолвки или за их взгляды, в которых они не сходились с «Колоколом». Если б эти мелочи оставить без внимания, не требовать от людей невозможного единомыслия по всем второстепенным вопросам, то едва ли бы возникла такая вражда к нам сначала «Московских Ведомостей», а потом и всех прочих журналов. Герцен с Огаревым, как и Чернышевский с Благосветловым [35], не сумели справиться с свободою книгопечатания, потому что были излишне приучены к строгой цензуре. Они совершили самоубийство, вызвав без малейшей нужды оппозицию своим принципам. Они дотравили своих противников до перемены убеждений из-за наносимых им оскорблений, а известно, что убеждения и взгляды людские всего легче меняются из-за личных неудовольствий. Я злился, что

* Зачеркнуто: точно я операцию делаю над собой.

русские публицисты стали нападать на «Колокол», а Герцен и Огарев радовались; им казалось, публичные возражения на их принципы только распространят эти принципы в обществе, — так глубоко верили они в правоту своего дела.

В 1860 г. каждый приезжий слушал их с благоговением, в 1861 г. начали робко возражать им, в 1862 г. с ними уже спорили и прямо в глаза им говорили, что они забыли Россию. Даже мне наедине жаловались на промахи и на политическую несостоятельность Герцена и Огарева. А Герцен все острил да шутил, хоть иногда и со слезами на глазах, в силу своего глубокого юмора и сильно любящего сердца, и никак не мог удержаться от статей вроде той, где говорилось, будто его хотят похитить [36]. Что письмо об этом действительно к нему пришло, это положительно; и что почерк лица, которым оно было писано, был знаком, хотя никто не знал, кто этот тайный друг пропаганды, — все это верно. Но, во-первых, не следовало обращать внимания на такую несбыточную угрозу, а во-вторых, следовало догадаться, что если и был такой умысел, то он никак не принадлежал самому правительству, а если даже и принадлежал, то существовал, как проект, как предположение, об осуществлении которого даже и не думали, потому что и в секрете его не держали. Статья эта тоже сильно скомпрометировала Герцена, сделав его смешным... Впрочем, трудно даже и перечислить все причины, поведшие его к падению с той высоты, на какой он стоял до 1861—1862 гг. Довольно того заметить, что в то время, когда я выступил агитатором, наш кредит был уже сильно подорван, а наше бессилие в финансовом отношении, как и недостаток в слепо преданных последователях, и излишек в врагах и в критиках окончательно подорвали наше влияние, и, как я ни бился, я уже не мог восстановить его.

*

Я сказал, что я остался в Лондоне с больною семьей и без средств. По счастью, мне попались уроки [37], которыми я пробился кое-как целое лето. К осени один книгопродавец, Williams, сделал мне предложение перевести библию с церковного на русский для одной высокопоставленной особы, имени которой он объявить мне не вправе и которой в настоящее время нет в Лондоне.

— Я и условий даже не знаю, сколько эта особа заплатит за ваш труд, но мне поручено найти способного переводчика, если можно лингвиста, а как вы именно такое лицо, какое нужно, то я вам сообщу условия, когда эта особа возвратится.

В тот или в другой день я передал этот разговор Трюбнеру. Трюбнер нахмурился:

— А, так его высочество так со мной поступает!!! Не через меня ищет переводчика, не через меня, издателя русских книг и друга русских, а через Вильямса!!!

— Какое его высочество?

— Lucien Bonaparte [38], известный дилетант лингвистики... Так вот он как! Я этого от него не ожидал. Я уже раз нашел ему переводчика для «Песни песней» *, а он вот как со мной!.. — расходился Трюбнер.

— Да зачем же ему этот перевод?

— А! у него вечные фантазии. Он занимается сравнением европейских языков...

* Напечатано в ограниченном числе экземпляров. кажется, не больше двадцати пяти. Переводил какой-то эмигрировавший офицер, по фамилии Т... [так в подлиннике]. Он впоследствии служил у Гарибальди. Я его не застал в Лондоне [39]. [Примечание Кельсиева].

— Жалко, — сказал я, — а я думал предложить ему перевести библию не с церковного — это труд скучный да и не занимательный, — а с еврейского.

Глаза Трюбнера засверкали:

— А вы знаете по-еврейски? Неужели вы знаете?

— Не скажу, чтобы я был гебраист, но понимаю свободно почти все, что читаю...

Трюбнер подпрыгнул:

— Тогда вот что. Переводите библию для меня. Это будет и памятник русской литературы и будет иметь цивилизующее влияние на Россию и, наконец, — наконец, это должно будет пойти...

На другой день мы подписали контракты, и я сел за работу. В этот же день у меня умерла моя первая дочка. Трюбнер предложил мне начать с труднейшей книги, с пророка Исаии, чтобы посмотреть, как у меня пойдет дело и в силах ли я справиться с этим трудом. Вознаграждение он дал мне крохотное, судя по английским ценам за литературный труд, — десять фунтов стерлингов (около шестидесяти рублей) за книгу. Работал я усердно, даже страстно, пользуясь при этом преимущественно рационалистическими комментаторами, которых выводы как нельзя более согласовались с моим тогдашним атеизмом и приводили меня в восторг разъяснением последних моих сомнений. Перевод мой и сделан был в таком духе, т. е. темные и спорные места я переводил не так, как они понимаются церковью и как утверждены ее преданием, а так, как их объясняют рационалисты — на основании одних законов еврейской грамматики. Разумеется, во мне возникло при самом начале моей работы желание облагодетельствовать русский народ истинами, в которых я был убежден, как не знаю в чем.

Перевод Исаии не напечатан, — Трюбнер отложил его до того времени, пока я переведу исторические и учительные книги, и я принялся за «Пятикнижие» моисеево [40], которое и издано с нелепейшим предисловием, образчиком сумбура, сидевшего в моей голове. Перевод мой вышел плох. Во-первых, мне трудно было подыскивать русские слова на каждое еврейское, а я задал себе задачу сделать перевод таким точным, чтобы каждое еврейское слово во всем моем труде передавалось только определенным раз навсегда русским. Для точности же я не изменял еврейского синтаксиса, жертвуя верности красотой слога. Из-за этого у меня вышла маленькая неприятность с Герценом. Когда набран был первый лист, он ахнул неизяществу перевода и наотрез объявил, что он ни за что не допустит печатания в Лондоне такого безобразия, которое скомпрометирует репутацию «Вольной русской типографии». Как я ему ни объяснял разницу перевода литературного с ученым, он стоял на своем, хоть и был совершенно неправ, как человек, никогда не занимавшийся филологией и не понимающий ее требований: перевод для исследователей, для ученых, какой я предпринял, делается всегда на условиях, совершенно отличных от перевода, назначаемого для легкого чтения и для публики. Но делать было нечего, пришлось уступить принципалу, как его в шутку называл Огарев, и сделать из перевода по одной системе перевод по двум, что его окончательно погубило. К этому надо прибавить еще опечатки тогда еще очень неисправной лондонской типографии, из которых некоторые вышли даже очень забавны: вместо «и передал ему бог свой дух» напечатано: «и дал ему бог свой передух». Строгая, но в сущности верная рецензия этого труда была тогда же сделана в «Православном Обозрении» [41] и перепечатана во многих светских журналах. На книгах моисеевых перевод мой и остановился. Трюбнер хотел посмотреть, как он пойдет в продаже, а пошел он плохо и по высокой цене трюбнеровских изданий и по общему равнодушию

нашей читающей публики ко всему, что касается религии. Причины этого равнодушия я указал выше.

Во время работы над переводом я сблизился с Lucien Bonaparte. Меня познакомил с ним Трюбнер, и Lucien дал мне доступ в свою библиотеку, богатую собранием старопечатных библий на разных славянских наречиях, которыми я и пользовался. Принц — большой любитель лингвистики, много работает, но взгляды его на науку и знакомство с современными научными приемами отстали века на два. Намерения своего перевести библию с церковного на русский он не оставлял, но, почему-то вообразив, что острожское издание представляет лучший славянский текст, он хотел сделать перевод с острожского, да еще с первого, которого нет в Лондоне и которое он искал где-нибудь купить. Так это дело и не состоялось. Видались мы часто, много спорили о лингвистической классификации языков, не убедили ни в чем друг друга и расстались с его отъездом в Париж, где он заседает в сенате. Принц тогда занимался кельтийскими наречиями, но никак не мог совладать с звуком «ы». Есть кельтийское слово dym, которое выговаривается совершенно как наше д ы м; принц никак не мог произнести его. О политике у нас не было сказано ни слова.

[В это же время издан был в Лондоне «Стоглав» [42]. Русские журналы приписывают мне это издание, в чем я совершенно неповинен. Его напечатал беглый дьякон нашей афинской миссии Агапий [43], грязная личность, оклеветавшая в «Колоколе» своего архимандрита, наделавшая пропасть подлостей в Лондоне и уехавшая на Восток. В Бейруте Агапий был униатом, но и там перессорился с отцом Гагариным [44], потом в Александрии сделался он почтальоном, кажется, а где он теперь, не знаю. Рукопись «Стоглава» подарил ему князь Петр Владимирович Долгорукий [45].] *

Мой перевод библии, несмотря на всю его неудачность, принес однако своего рода пользу. Лондонское библейское общество стало перепечатывать «Осьмикнижие» издания 20-х годов, а в России духовные академии принялись за самостоятельные переводы. Странное дело, все, что в настоящее царствование замышлялось во вред правительству и церкви, все пошло им на пользу!

Уроки мои продолжались, библейское общество пригласило меня корректировать его издание «Осьмикнижия» и «Нового завета» на весьма щедрых условиях, досуг был у меня большой, так что я мог возвратиться к моим любимым занятиям сравнительным изучением языков. Изредка я составлял также для «Колокола» экстракты из процессов, неправильно решенных в России, и вообще разные маленькие извлечения из больших дел, как, например, из кипы бумаг по делу о выселении в Турцию крымских татар [46]. Рукописей и дел привозилось и присылалось в Лондон несметное множество — одних нефранкированных писем получал Герцен шиллингов на десять в день (рубля на три), и у него положительно не было возможности самому перечитывать всю эту груду бумаг, приходивших в его руки.

Раз вечером, отдавая мне на пересмотр разные бумаги, он вдруг остановился и сказал: «Да постойте, вы, богослов, — как он меня шутя называл с тех пор, как я принялся за библию, — просмотрите-ка заодно и документы о раскольниках. Они у меня давно валяются, прочесть их я все не соберусь, а мне говорили, что они очень интересны. Я, признаться сказать, в богословских вопросах ничего не смыслю, стало, это по вашей части. Посмотрите, может, что и найдется извлечь из них для «Колокола». И он вытащил мне огромнейший тюк рукописей, о котором

* Квадратные скобки — в подлиннике.

он бы и не вспомнил до сих пор, думаю, если б не шум, наделанный незадолго перед тем книгою Щапова о расколе[47].

Воротясь домой, я стал перебирать записки о раскольниках и не мог оторваться от них. Я всю ночь не спал за чтением. Я чуть в уме не тронулся. Точно жизнь моя переломилась, точно я другим человеком стал. В самом деле, не дай Герцен мне этих документов, может-быть, я до сих пор был бы революционером и нигилистом. Они спасли меня.

Мне казалось при чтении их, что я вхожу в неведомый, таинственный мир, в мир сказок Гофмана, Эдгара По или «Тысячи и одной ночи». Скопцы, с их мистическими обрядами и их исполненными поэзии «распевцами» и «страдами», хлысты, с их причудливыми верованиями, мрачные типы беспоповцев, интриги старообрядческих вожаков, существование русских сел в Пруссии, в Австрии, в Молдавии и в Турции — все это неожиданно открылось мне в эту ночь; секта сменяла секту, образы неслись передо мною один за другим, точно в волшебном фонаре, я читал, читал, перечитывал, голова кружилась, дух спирался в груди. Я убил бы того, кто помешал бы мне читать, я за всю Калифорнию не* выпустил бы из рук этих записок. Как сумасшедший, выбежал я из дома в полдень, чтобы освежить голову, которая не могла переварить всего прочитанного, и чтобы поделиться моим восторгом с Герценом, с Огаревым, с Чернецким, нашим типографщиком, с Трюбнером, наконец, с первым встречным. На меня смотрели, разумеется, с недоумением, не понимали, чему я так радуюсь, и изо всех моих рассказов о верованиях наших сектантов заключили только, что они очень глупы. Словом, меня никто не понял.

«Ерунда! — говорили мне, — дураки эти раскольники! Как можно из-за формы креста или из-за перстосложения спорить, навлекать на себя гонения, вздор, мелочь делать догматом, упускать дух учения церкви из-за обрядности? Как можно сочинять и веровать в Христов Иван Тимофеевичей или в богородицу Акулину Ивановну, матушку царицу небесную?..».

Но я видел совсем другое. Эти мужики-сиволапы, эти бородатые купцы, поруганные и осмеянные Европой и нашими образованными людьми, эти невежды, варвары, погрязнувшие в грубом материализме, мигом поднялись в моих глазах. Не плох тот народ, который при всех общественных неурядицах и под страшным гнетом XVII и XVIII в. сумел не заснуть как западный paysan или Bauer или как польский chłop, а, напротив того, думал и думал о высших вопросах, могущих занимать ум человеческий — о правде и неправде, о Христе и об антихристе, о вечности, о душе, о спасении, короче — о тех мировых вопросах, над которыми бились и доселе бьются лучшие подчас — вина не его; он додумывался, до чего мог, толковал и понимал как умел, — не отсутствие таланта мешает даровитому маляру стать великим художником, а незнание техники, перспективы, анатомии, законов освещения и гармонии красок. Раскольничество делает честь русскому народу, доказывая, что он не спит, что каждая умная мужицкая голова сама хочет проверить догматы веры, сама промышляет о истине, что *русский человек правды ищет*, а какую найдет, по той и пойдет, не пугаясь ни костра, ни пещеры с заваленным входом, ни оскопления, ни даже человеческих жертв и людоедства. На Западе простой народ слеп. Западные секты сочинены для него учеными богословами, а русский человек сам, один-одинехонек, на свой салтык и на свою ответственность правды ищет, как сам и Сибирь завоевал, и русское царство отстоял, сам свою архитектуру даже создал и свое искусство, и — я твердо верую — сам

---

* *Зачеркнуто*: отдал бы.

создаст и свою науку и общественный быт и перещеголяет ими шумливый и гордо презирающий нас Запад. Задатки этому — даже и больше, чем задатки — уже положены реформами настоящего царствования.

Другое, что меня так заинтересовало в расколе, — это оригинальность, или, лучше сказать, вычурность его учений, не похожая ни на что в целом свете, такая же самобытная, как архитектура Василия Блаженного, как обделка икон в фольгу, как резьба берестяных бураков для соли, как раскраска деревянных чашек, — словом, его, несомненно, русское происхождение и исключительно русский характер. И вот я поставил себе почти задачею жизни разгадать сущность этого явления, докопаться до его источников и проникнуть в его тайны. Я, как тогда, так и до сих пор, ничем так не интересовался, как всем загадочным, вычурным, таинственным. Это меня в детстве заставило одолеть китайскую грамоту, в юношестве отняло несколько месяцев на изучение египетских и мексиканских иероглифов, втянуло меня в изучение буддизма, конфуцианизма и других восточных религий, метало меня и в философию, и в астрономию, и еще не знаю куда, наконец, завлекло изучением раскола и, наконец, побудило меня посетить и исследовать такие захолустья Турции и Австрии, по которым (грубое, но меткое народное выражение) сам чорт в семь лет только раз пробегает.

Наконец, меня возмутила несправедливость стеснения наших сект, тогда как иностранные пользуются у нас полной свободой. Католичество, с канонической точки зрения, — более раскольничья вера, чем старообрядчество, которое почти ничем не отличается от православия, а католичество у нас в почете и «бискупы» не должны прятаться, как «владыки». Лютеранство — ересь, а беспоповство только раскол. Лютеранство в чести, а беспоповство еле-еле терпимо. Всевозможные иностранные протестантские секты терпимы в России, а наши собственные протестанты, у которых и догматы толковее, чем у западных, которые и библию признают нашу целиком, не отвергая ни одной из ее книг, которые и имена одинакие с нами носят, старого стиля держатся — молоканы — чуть что не преследуются. Такое неуважение к своему и потачка чужому меня оскорбила, как русского, а как человеку, мне стало жалко теснимых, и я не мог не понять, что стеснение это, в каких бы размерах оно ни происходило, может вести только к развитию в бедном народе фанатизма и восприимчивости ко всякого рода фантастическим учениям.

Я решился помочь горю, а помочь ему, по тогдашнему настроению умов в России вообще, а у нас в Лондоне в особенности, можно было только протестом, резкими выходками против правительства и обличительными нападками на него. По-тогдашнему, самым верным и самым действительным средством сделать что-нибудь путное было усиление оппозиции и слияние всех недовольных элементов воедино. Предполагать, что правительство и само искренно желает добра России, что его собственный интерес состоит в освобождении народа от всяких утративших надобность стеснений, тогда казалось безумием. Слова п р а в и т е л ь с т в о и з л о были чуть не синонимы. Надежды России возлагались на молодое поколение... Теперь все это кажется странно, а тогда, право, в это искренно верилось, и каждый мальчишка искренно считал себя и способнее, и опытнее всех государственных людей Европы. Опытность, практика, привычка к делам ни во что не ставились; осторожность и обдумывание казались недобросовестностью. Это была какая-то лихорадочная пора: все метались, будто спросонья, разбуженные севастопольским погромом; глаза не были приучены к свету, ум — к пониманию, руки — к работе.



ГЕРЦЕН

Фотография, 1850-е гг.

Институт литературы, Ленинград

— Ну, — сказал мне Герцен, выслушав мои панегирики расколу,— вам и книги в руки. Я в вероучениях мало понимаю, но, само собой, раскольникам следует помочь. Нельзя ж оставаться равнодушными, когда людей теснят за их, хоть и нелепые, верования. Составьте что-нибудь из этих записок и напечатайте, надо ж вывести эти дела на свежую воду.

Но мне мало было вывести на свежую воду. Мне захотелось приманить раскольников на нашу сторону, возбудить в них политическую оппозицию правительству, воспользоваться беспоповским учением, что царь — антихрист, министры и архиереи — архангелы сатаны, чиновники и священники — воплощенные черти. Мне хотелось сделать для раскольников практический вывод из их верований, надоумить их, чего им хотеть, чего добиваться и кого держаться. На беду мою, я до тех пор не был лично знаком с нашими сектантами, хотя у меня даже родных много между старообрядцами; все, что я знал об них, я знал только по доставшимся мне документам. Знай я раскол, как я теперь его знаю, я бы и не подумал рассчитывать на его помощь оппозиции.

Принялся я писать книгу по этим документам, но книга моя не удавалась. Во-первых, документы эти не имели почти никакой связи между собой, во-вторых, в Лондоне ничего почти не было из книг, изданных о русских сектах, да и в самой России мало что было о них печатано. Побился я, побился и решил, не мудрствуя лукаво, напечатать мои материалы целиком, не опуская и не изменяя ничего. Так я и сделал, — я напечатал все, что у меня было, кроме статей отрывочных, неясных, сокращенных и т. п.[48]. Г. Мельников[49] впоследствии обвинял меня печатно, будто я умышленно исказил его записку, поданную его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу, которая напечатана у меня в первом выпуске[50]. У меня было три списка этой записки, и все совершенно одинаковые: я не только не искажал и не переделывал ничего, мне даже интересу на это не было; я бы не посягнул на это уже и потому, что я библиофил и антикварий, а уж никто, как библиофилы и антикварии, не имеет такого слепого благоговения к письменным памятникам. Старообрядцы тоже ропщут на меня за помещение «Синаксаря»[51] — пародии на их сказания, а самое помещение этой пародии доказывает, что я составлял сборник беспристрастно, а не подбирая документы, как это утверждает автор «Раскола, как орудия враждебных России партий» («Русский Вестник»), который, впрочем, и самое дело излагает и неполно и неверно[52].

Предисловия мои к обоим выпускам «Сборника правительственных сведений о раскольниках» вполне выражают мой тогдашний взгляд и тогдашние тенденции, а равно и показывают мое полное незнакомство с расколом и мой пристрастный взгляд на действия людей, с которыми я не сходился по убеждению, — отсюда мои * резкие отзывы о Надеждине, Мельникове, даже о Шафарике и Гакмане[53].

Печатая «Сборник» и изучая раскол, я решился ехать в Белую Криницу, в Молдавию, в Турцию для личного ознакомления с русскими выходцами и для заведения, при их помощи, сношений с их единоверцами в России. Мне думалось устроить у них склады наших изданий, предложить им завести у нас типографию для печатания их собственных сочинений и вообще ознакомиться с ними. Герцен и Огарев наотрез отказали мне в разрешении ехать, и пришлось слушаться, потому что я сам напросился в эмиграцию, сам остался в Лондоне, против их желания, потому что всякая разладица между мною и ими

---

* Зачеркнуто: несправедливые.

повела бы только к ослаблению моих сил действовать для блага России. Возражения их были те, что подобная поездка не имеет определенной цели, что если раскольникам нужно, они и сами приедут, сами попросят завести типографию с церковным шрифтом, сами заведут у себя склады. Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня впереди, и мое имя загородило бы их имена, так что их значение как публицистов померкло бы перед моим значением агитатора. А я еще был слишком молод (25—26 лет), да и недавно стал им известен. Кто мог поручиться, что легко приобретенная известность не вскружит мне голову, не толкнет меня злоупотребить своим влиянием и не наделает бед разделением лагеря? Чем я мог обеспечить их, что я не наговорю лишнего, не затею вздора, что, в случае ареста, не выдам из малодушия людей, которые мне доверятся?.. Разумеется, мне не было это высказано, но не понять их мотивов было нельзя. Я проглотил пилюлю, как она ни была горька, и покорился. «Выдержите искус, Кельсиев, — говорил мне часто Герцен, всегда более расположенный ко мне, чем Огарев, — знаю, что вам тяжело, знаю, что не легко, но крепитесь, закалите свою волю, — даже монахом нельзя сделаться, не побывав послушником, даже в офицеры не иначе производят, как из кадетов или из юнкеров. Терпи казак — атаман будешь». И я терпел, выносил безропотно свое послушание, но атаманом не стал, или и стал (казак-баши), но уже совершенно другого рода.

Мысль о причинах и о сущности раскола не давала покою мне. Я бросил на время лингвистику и принялся за изучение истории России, за предания, за сказки, за народную поэзию, за мифологию. Мифология и сделалась с того времени моей специальностью, и хоть я ничего не писал по этой части, но мне кажется, что я нашел средства и метод восстановить вполне наши языческие верования, что и сделаю, если когда-нибудь буду на свободе и буду иметь возможность посещать императорскую публичную библиотеку [54]. Занятия эти все более и более ознакамливали меня с верованиями, преданиями и обычаями нашего народа, но я все-таки его не знал, потому что не живал с ним. Впрочем, и это был уже большой шаг вперед, — это был выход из отвлеченной созерцательной жизни в жизнь практическую, и этим шагом я обязан был своим документам о расколе. Они же выгнали меня и из моего кабинета. Изучая русские секты, я не мог не сравнивать их с западными, а я жил в отечестве западных сект, и мне пришлось взяться за их изучение. Но тут книги составляли для меня только пособие, комментарий, а сектанты были у меня живые. И я начал, в первый раз в жизни, шататься по разным моленным, митингам, изучать обряды, заводить знакомства с мормонами, с квакерами, с масонами, с old fellows [55] и со всеми прочими ненормальными явлениями английской жизни. Это возбудило во мне охоту ознакомиться с людьми на деле, а до тех пор я знал их только из книги, а знакомиться мне было всего любопытней с простонародьем, так как все наши верования и все социалистические системы стремились к улучшению быта низших классов, и я, переломив в себе раз навсегда и брезгливость, и застенчивость, стал посещать всякие трущобы, куда прячется и беда, и порок, заслуженное и незаслуженное горе. Я стал ходить туда, как ботаник ходит собирать растения, или как орнитолог забирается с вечера в чащи леса подслушивать и подсматривать, какая птица встает раньше, а какая позже, как какая кричит и с чего начинает день свой.

В тавернах, в питейных домах, на дешевеньких представлениях я сближался с кем попало, с кем только удавалось заговорить, гово-

рил на всевозможные темы и — и потерял веру в социализм, или, по крайней мере, в прелесть его для бедняков. Оборвыши, люди, дня по три не евшие, защищали так же горячо право собственности, как любой купец или землевладелец. Сначала мне казалось это дико, я стал добиваться причин и добился: в человеке индивидуальность слишком сильна, чтоб безусловно жертвовать ею долгое время интересам массы. Но социализм все-таки возможен и, я думаю, даже неотвратим, но только никак не в французской его форме, а вроде английских Collaborative Associations [56], с таким успехом и с такой пользой распространяющихся теперь повсюду без шума, без нарушения чьих-либо интересов и без противодействия личному обогащению их собственных членов. Подобный социализм, разумеется, заслуживает и сочувствия, и поддержки каждого честного человека и каждого правительства. Социализм же французский, по программе «Молодой России»,— фантазия, могущая занимать головы разве шестнадцатилетних отцов отечества.

Итак, я перешел на реальную почву, задор мой стал улегаться, но еще не проходил. Нужно было побольше видеть и побольше узнать, чтоб окончательно отрезвиться от оппозиционной горячки. Но отрезвление это давалось не вдруг, болезнь была хроническая.

Каждого приезжего я расспрашивал о сектантах и каждого просил собирать и высылать мне материалы, разъясняя ему, разумеется, всю важность и полезность сближения нашей партии с раскольничьими согласиями и проповедуя необходимость этого сближения. Материалы, действительно, стали присылаться, и между ними, к величайшему моему восторгу, я нашел и книгу Надеждина «О скопцах» [57]. Ее я давно желал видеть, списка ее у меня не было, а понятие я имел об ней только по извлечению из нее, ходившему по рукам. Книга эта была кем-то прислана Герцену — все посылки шли ему — с просьбой возвратить ее владельцу в сохранности. Стало-быть, печатать с нее было нельзя, — в типографиях необходимо разбирать оригинал на листы для раздачи работникам. Пришлось переписать всю книгу от первой до последней страницы, и, нечего делать, я переписал, с соблюдением даже орфографии Надеждина. Вышла она, впрочем, не при мне, — я уже был в России. «Скопцы» был третий выпуск моего сборника, а четвертый, составленный, как и два первых, из разной смеси, вышел, когда я был в Цареграде, и потому очень дурно прокорректирован *. На этом и кончилась моя издательская деятельность за границею. Мне приписывают издание «Собрания постановлений по части раскола» [58], — оно вышло, когда я был тоже в Цареграде, а издавал его Огарев. Кто сочинитель и кто издатель «Исповедания молоканов» [59], дрянной книжонки, вовсе не дающей понятия о молоканстве и которая, наверно, не молоканами и писана, я не знаю **.

Заключаю некоторыми подробностями из нашей внутренней жизни, которые, я думаю, не будут лишены интереса, а, во всяком случае, послужат к разъяснению многих отношений, о которых мне придется упоминать в следующем отделе.

Нас было трое в Лондоне: принципал Герцен, его alter ego Огарев и их послушник — я. К нам примыкали два поляка, которые, впрочем, вращаясь около нас, сильно обрусели. Это был типографщик Герцена, Чернецкий [61], уроженец Люблинской губернии, эмигрант 1848 г., участвовавший в венгерской кампании, человек очень тихий, работящий, исправный, пользовавшийся общим уважением и сочувствием. Выбрав

---

* Зачеркнуто: Огаревым.

** «Грибуль», сказка Жорж Санда, — перевод моей жены; больше она ничего не печатала [60]. [Примечание Кельсиева].

себе скромную роль управителя типографии, он исполнял ее усердно, с образцовою точностью, ни во что не мешался, никаких претензий не имел и довольствовался своей скромной долею. Другой [62] был уроженец тоже Царства польского, не помню, какой губернии, действительный студент Московского университета, участвовал в Познанском деле 1846 г., дрался на баррикадах в Париже и в Берлине, пока судьба не занесла его в Англию, где он какими-то судьбами и сделался поверенным Герцена по его частным делам. Впоследствии Тхоржевский открыл небольшую книжную лавочку и летучую библиотеку, занимался разными комиссиями, вечно хандрил, вечно жаловался на нездоровье и на попусту прожитую жизнь, плакался, что холост и что жены себе по вкусу подобрать не может, но, впрочем, был очень добрый и услужливый человек, так же искренно и глубоко привязанный к Герцену, как и Чернецкий. Все мы жили тихо, смирно, дружески, никогда не ссорились, и все признавали авторитет Герцена, даже и сам Огарев.

В 1860 г. к компании нашей прибавился иеродиакон Агапий, о котором я поминал, но войти в наш тесный кружок ему не удалось, по его тяжелому, мнительному и скрытному характеру.

В конце 1860 г. явился Дубровин [63], простодушный и очень симпатичный мальчик, прямо со школьной скамейки... * (бывшего дворянского полка), который прошел пешком всю Финляндию, Швецию и часть Норвегии, с переполоху, что его арестуют за какое-то письмо политического содержания. Я не понимаю, что он мог написать политического, должно-быть, какие-нибудь бредни тогдашней молодежи. С Герценом он как-то не сошелся, мучился тоской по родине и кончил тем, что, не пропущенный во Францию, поехал в Норвегию, чтобы пробраться через нее в Россию, и пропал без вести.

При нем же явился в Лондон князь Николай Платонович Трубецкой [64], который скрыл от нас причину, почему он оставил Россию. Он много настрадался, пока решился обратиться к нам за помощью... Впрочем, его история должна быть лучше известна правительству.

Был еще английский подданный, не знавший ни слова по-английски, уроженец Нижнего, Владимир Эберман [65], гимназист, бежавший из России, потому что испугался слов своих, сказанных им из мальчишеского желания себя показать квартальному, звавшего его в свидетели по какому-то делу («Что мне ваша повестка! Что мне ваши законы! Что мне ваш царь! Я — английский подданный, так мне ваш царь все равно что китайский богдыхан»). И он много натерпелся. Спустил небольшие деньги, какие у него были (помнится тысяча рублей серебром), связавшись тоже с выходцем из России, каким-то Левестамом, бывшим комиссариатским чиновником во время Крымской войны и приговоренным по суду к расстрелянию, как он сам хвастался, не объясняя, впрочем, за какие добродетели. Левестам обчистил бедного мальчика, как липку, тот с голоду предложил русскому посланнику себя в шпионы, нам об этом сообщили из Петербурга — тот же таинственный почерк, о котором я упоминал. Чернецкий вышвырнул его из типографии, и с тех пор он как в воду канул, пока я вдруг не встретил его в Тульче учителем в молоканской школе. И там ему не повезло, отчасти по моей вине и по требованию Герцена сбыть его с рук куда-нибудь. Уже в кишиневском тюремном замке я узнал, что он добровольно воротился в Россию, просидел десять месяцев в том самом карцере, где мне, по счастью, провелось пробыть только двое суток, и что тот же унтер-офицер Марков, который до-

---

* Пропуск в подлиннике.

ставил меня в III отделение, отвозил Эбермана из кишиневского острога в нижегородский в марте нынешнего года.

Все эти выходцы были наборщиками у Чернецкого, и если что можно об них прибавить, то разве то, что иеродиакон Агапий и князь Трубецкой были отличные наборщики и бывали приняты у Герцена, а что Дубровин и Эберман были ленивы и у Герцена, который их не взлюбил с первого разу, приняты почти не бывали.

О князе Юрии Николаевиче Голицыне[66] и о его спутниках я не считаю нужным здесь рассказывать. Его невероятные приключения и так довольно известны.

Князь Петр Владимирович Долгоруков бывал в Лондоне наездом. Отношения наши с ним были довольно натянутые. Мы расходились с ним в принципах, да и, наконец, — надо правду сказать — неловко себя чувствовали в присутствии претендента на императорский престол — и претендента очень обидчивого. Князь нигде не составил себе партии, он был всем чужой, и при нем всякий как-то стеснялся из вежливости, — тогда как без него все были свободны, и каждый чувствовал себя в нашем кружке, будто дома.

Наконец, и бывший апостольский викарий полярных стран Северного полюса, Джунковский[67], был у нас. Первый раз, кажется, летом 1860 г., второй раз осенью 1861 г. Во второе его посещение я, никогда не покидавший мысли завести церковный шрифт, сговорился с ним об устройстве в его типографии, в северной части Норвегии, в нескольких верстах от Норд-Капа, в городе... * отделения для печатания старообрядческих книг[68]. Я не скрывал от него своего атеизма и моего отвращения к католицизму.

— Я должен прямо объяснить вам, Степан... *, — сказал я ему,— что уговор лучше денег. Я ни слова не скажу, не только что не напишу, в пользу исповедания, глава которого не в России, которое повлекло бы к расслаблению русской народности. Помогать расколу всех сект я готов потому, что раскол, прежде всего, наше доморощенное произведение и что каждый раскольник, прежде всего, русский; он даже верует только в те догматы, которые сочинены в России. А про последователей иностранных исповеданий этого нельзя сказать, — какие ни будь они русские патриоты, а богословие их все-таки чужого ума дело, и догматика их вырабатываться всегда будет не у нас, а за границей, где она волей-неволей будет принимать оттенок, враждебный нашей национальности. Будь поляки и немцы православными, или поди они в наш раскол, не было [бы] у нас бестолковой резни с одними, да и другие бы давным-давно обрусели и языком, и именами, и самыми чувствами. А то поляки тянутся к Франции, а немцы на Пруссию глядят, — у них в Швабии свой король.

— Я очень уважаю и ценю вашу откровенность, — отвечал Джунковский, — и вам не покажется парадоксом, что я имею большое сочувствие к атеистам...

Я глаза вытаращил от такого оборота дела.

— Да, я признаю только два последовательных учения — атеизм и католицизм, есть бог и нет бога. Если нет — ну и нет, и это может войти в умную голову. А если умная голова признает, каким бы то ни было путем, что бог есть, то я не вижу, как ему не допустить проявления этого бога на земле пророчествами, чудесами, чудотворными иконами, мощами и всем, над чем смеются протестанты **, при-

* Пропуск в подлиннике.

** Я покорнейше прошу особ неправославного исповедания, в руки которых может перейти эта записка, не ставить мне в вину многих подобных отзывов, ко-

знавая возможность их во времена ветхого завета и отрицая их в новом, со времен смерти последнего из учеников христовых. Атеиста я понимаю, а их я не понимаю...

— Ни я. Я тоже нахожу их непоследовательными. Мормон или скопец мне понятней, — отвечал я. И в самом деле, стоило мне убедиться (путем новейших открытий в астрономии) в существовании разума в природе, которую я считал бессмысленной игрой вечной материи, я пошел в церковь. Это случилось вскоре после того, как Джунковский вышел из костела в ту же церковь.

— Делайте, что хотите, печатайте, что хотите, — продолжал Джунковский, — и не работайте в пользу католицизма. Наш интерес, интерес католиков, весьма прост. Нам нужно добиться полной свободы вероисповедания на всем земном шаре и уничтожения монархий. Нам республики выгодней монархии. Вы скажете, что в Риме иначе на это смотрят — да, правда, там в большой силе старая партия, там, как и повсюду, пропасть отсталых, которые силятся сохранить отжившие учреждения и тем бросают тень на самую веру. А мы, новые, мы сами ищем союза с революционерами, — я * искал знакомства с Герценом, а не он со мной. Мы в революционерах всех цветов, даже в крайних коммунистах и фурьеристах, видим естественных союзников. Они — наши пионеры. Пусть они очистят землю от этих монархий, пусть они с лица земли сотрут все, что препятствует развитию свободнейших учреждений, и тогда на земном шаре будет едино стадо и един пастырь!

— Един пастырь, т. е. папа, я, пожалуй, допускаю, — говорил я,— но чтобы стадо единым стадо — это, уж воля ваша, сомнительно!..

— Нет, не сомнительно, Василий Иванович, — горячился Джунковский. — Теперь прогресс, наука вперед идет, невежество исчезает, а с ним исчезнет и сектантство. Протестантизм не выдержит критики, православие поймет, что оно гибнет от своего раскола с престолом князя апостолов, а про язычество да про магометанство, иудейство и прочий вздор и толковать нечего.

— Ну, теперь я понимаю, куда вы бьете, — решил я, — и я поеду в... ** работать в помощь бедным сектантам с чистой совестью. Я убежден, что ни политическая, ни религиозная свобода не спасут католицизма, который тоже не состоятелен...

— Он нуждается в реформах — и в радикальных, я не скрываю.

— Положим и так. Но вопрос наш сводится на то, что вы в нас нуждаетесь и предлагаете нам свои средства, не обязывая нас ни к чему. Я еду в...**. И мы ударили по рукам.

Я бы и уехал в...**, куда каждое лето ходят с хлебом наши беломорцы, которые все — безпоповцы поморского согласия. Но ехать надо было с шрифтом, а словолитня приготовила нам его не в две недели, а в два месяца, когда уже прекратилось сообщение с Норвегией. Мы обменялись с Джунковским не совсем дружескими письмами, — он довольно резко упрекнул меня, что я не держу своего слова, — и с тех пор я почти забыл о нем, как вдруг в Вене узнал из газет об его женитьбе и обращении в православие.

Но был еще эмигрант, над которым стоит остановиться, — Мартьянов [69].

Мартьянов явился в Лондон летом 1861 г., когда Герцен был на

торые мне придется делать об иностранных исповеданиях и об лицах иностранного происхождения. Я вполне уверен, что они первые оценят мою искренность с ними. [Примечание Кельсиева.]

* Зачеркнуто: сам добился.

** Пропуск в подлиннике.

даче. Он узнал это в нашей типографии, куда приехал справиться об адресе; спросил, когда Герцен воротится, и вышел. Об нем и забыли, как вдруг он опять явился, дождавшись возвращения принципала. Он был крепостной графа Гурьева, который его обидел и разорил, по его словам, и он явился в Лондон просить предать это дело гласности. Это был человек сильного ума и характера, гордый, честолюбивый, мстительный даже, но лишенный серьезного образования. Развитием своим он был исключительно самому себе обязан, — он образовал себя чтением русских книг. Языков он не знал, но что он читал, читал не без пользы. К несчастию, у него, как у всех parvenus, выбившихся на свет божий своими силами, осталась в душе затаенная вражда — зуб на обижавших его в былое время и на его графа, по милости которого он (опять-таки по его словам) потерял и капитал в двести тысяч и общественное положение. На Волге, где он торговал хлебом, он, очевидно, пользовался большим уважением и влиянием, как человек энергический и умный. В Лондоне он производил на всех тяжелое впечатление своей мрачностью, озлобленностью и неумением прощать ни малейшей обиды. С первого же дня его знакомства с нами его самолюбие пострадало. У него было наготовлено пропасть статей для «Колокола» и «Полярной Звезды», и Герцен не принял ни одной. Он писал что-то по социальным вопросам в полной уверенности, что его работа будет принята с восторгом, а Герцен и тут отказал. «Жалко мне этого Мартьянова, — сказал мне как-то Герцен, — хочется ему работать с нами, помещать статьи у нас, а что ж я сделаю, если все, что он пишет, выходит или не ново или, еще хуже, слабо». Не знаю, почему этот отзыв остался у меня в памяти, но он важен для объяснения личности Мартьянова, оскорбленной даже и у нас.

Стал он и у меня бывать, а я в это время готовил к печати мой третий выпуск («О скопцах») и прослеживал в русской истории, что такое именно ц а р ь в глазах нашего народа, откуда у нас этот глубокий, досадовавший меня тогда, монархизм, доводящий до веры самозванцам и проявляющийся в обоготворении Петра III под фантастическим образом его императорского величества господа нашего Иисуса Христа батюшки-искупителя Петра Федоровича. Копался, копался и докопался до тех выводов, которые у меня изложены в предисловии к этому выпуску. Их я считаю и до сих пор верными, так как я имел возможность проверить их в долгих беседах с простонародьем. Разумеется, что в помянутом предисловии они не имеют должной полноты и сильно разбавлены тогдашними тенденциями, приведенными «в пику и в нравоучение» правительству.

Как бы то ни было, но исследования мои привели меня к тому, что у нас и думать нечего проповедывать республику, что на подобную проповедь мужики крикнули бы: «Режь публику!» — все, что не принадлежит к низшим сословиям. Выводы свои я высказывал не раз Мартьянову, на которого я смотрел, как на человека, близко знающего народ. Мартьянов сначала не совсем соглашался со мной, но я ему указал на историю наших бунтов, прочел с ним вместе койкакие источники, и вдруг Мартьянов повеселел, — он нашел исход своим чувствам. Всю любовь своей сильной и страстной натуры он излил на царя и на простонародье, да так излил, что без слез не всегда говорить об них мог. Всю же ненависть свою, годами накипавшую у него на сердце злобу, он опрокинул на дворянство и на чиновничество. «Всякий, кто не сын народа по происхождению, по воспитанию, да погибнет!» — провозглашал он. Ненависть так его обуяла, что он ненавидел не сословия, не классы общества, а даже личности.



М. А. БАКУНИН
Фотография
Литературный музей, Москва

Я как-то заставил его договориться до того, что, по его мнению, и величайшего врага его, графа Гурьева, и лучшего его приятеля в Лондоне, Огарева, следовало бы на одну * осину — за то, что оба родились дворянами. Такова последовательность удалой русской мысли! Он проповедывал вырезку всего немужицкого, даже купечества он не щадил, — вырезку с женами и с детьми, чтоб и на семена не оставалось. Много нужно было выстрадать его бедной душе, чтобы находить себе утешение в таких диких грезах, а найди он исход своим мыслям и силам, какой бы полезный человек из него вышел!

Но если теория вырезки всех не-мужиков так и осталась теорией, то монархизм наш пошел в ход. Огарев, постоянно советовавшийся с Мартьяновым о крестьянском вопросе и очень его уважавший, задумался над его словами, что крестьянам царь нужен, но что царь должен быть предан исключительно интересам низших сословий, что он должен жертвовать для большинства меньшинством и так далее. И вот, развилось у нас в Лондоне учение о земском царе..., но уже было поздно, надо было раньше высказаться в пользу монархизма и не дать повода считать себя революционерами и баррикадистами, за каких нас принимали в России, благодаря необдуманным фразам, не имевшим в наших глазах особого смысла, но которые молодежь принимала за сущность нашей пропаганды, тогда как сущность-то была вовсе не революционная, хотя и была вышита по революционной канве.

Поляков Мартьянов тоже не терпел и один из всех нас предвидел печальный исход польского дела.

*

Несколько слов о Михаиле Александровиче Бакунине. За что этот человек пользуется такой высокой репутацией в революционных

* Зачеркнуто: веревку.

кругах и как ему удалось сделаться диктатором саксонским, для меня загадка. Это колоссальнейшая неспособность изо всех, мною виданных: тупой бунтовщик, вроде тех хористов революции, о которых я говорил выше. Его пустота и непонимание вопросов поразили меня с первого свидания [70].

Герцен и Огарев никогда не отзовутся дурно о человеке, который служил правому (или ими считаемому за правое) делу. Самопожертвование, риск, готовность на все — все искупает в их глазах, отсюда их благоговение к памяти «мучеников 14 декабря», отсюда признавание Рылеева поэтом coûte que coûte, отсюда издание книги Радищева [71], пропасть недомолвок в «Былом и думах» о революционных знаменитостях 1848—1849 гг. и т. п. Я никогда не мог добиться, за что Герцен в ссоре с Ледрю-Ролленом, а неохотные его отзывы о Бакунине я приписывал тоже личной размолвке, считая Бакунина все-таки недешевою личностью, хотя знавшие его лично отзывались всегда не в его пользу. Много у меня было споров с Герценом и с Огаревым о том, что подвиг не выкупает глупости или мелочности характера, что дело — делом, а человек — человеком, но Герцен остался при своем, а я при своем.

Ждали Бакунина в Лондон. Настал день его приезда. Мне не терпелось видеть его, но, не желая мешать его встрече с старыми друзьями, я отправился к Герцену попозднее, дав им наговориться и высказать друг другу то, чего, может-быть, им не хотелось бы говорить при новичке. Я застал их при разговоре, какой обыкновенно ведется между старыми знакомыми, не видавшимися долгое время. Бакунин расспрашивал, что делает такой-то, этот жив ли, тот где и т. п. Разговор, наконец, перешел на современную политику.

— В Польше только демонстрации, — сказал Герцен, — да авось поляки облагоразумятся, поймут, что нельзя ж подыматься, когда государь только что освободил крестьян. Собирается туча, но надо желать, чтоб она разошлась.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

— Что ж тогда делать? — сказал в недоумении Бакунин. — Неужели ж ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь, — я без дела сидеть не могу.

Это, я думаю, достаточно рисует личность Бакунина. Идей своих я у него ни одной не заметил. Все, что он проповедует, обыкновенно взято у него напрокат у первого встречного. Он вечно под чьим-нибудь влиянием. Пел он и с моего голоса, и с Мартьянова, и с Лучинина [72] (артиллерийского офицера, представителя создавшейся тогда умеренной партии). Это мешок, в который что положишь, то и несет, только бы не мешали ему рисоваться, да и не отнимали возможности составлять бог знает с кем и бог знает для чего разные тайные общества. Как-то он объявил, что исключительно займется славянскими делами, и давай откапывать откуда-то разных сербов, чехов, болгар, уполномачивать их вести пропаганду в их краях. Видал я у него пропасть таких агентов.

— Да что вы, Михаил Александрович, ведь вы себя осрамите с этим парнем! Куда ему в агенты, он трех слов путем не свяжет, как пробка, глуп. Кто его там в чехах послушает?!.

— Толкуйте, толкуйте! Много вы понимаете! Значит, у вас нет

способности людей разбирать, если вы так судите. Я, батюшка, опытный революционер, меня учить нечего! — Ну, разумеется, и махнешь, бывало, рукой, потому что, и действительно, учить было нечего.

Настроил я его собирать капитал для пропаганды, да и сам был не рад. Бакунин стал просто контрибуцию налагать на каждого приезжего, а тут наш погром начинается, — «Молодая Россия» да пожар Толкучки пали нам, как снег на голову [73]. Молодежь кричит, что она без предводителей. Бакунин принял этот пост. Какие-то студенты написали ему письмо, чуть ли даже диплома не прислали на предводительство движением в России.

Кутерьма шла невероятная, неудача шла за неудачей, арест Ветошникова поразил нас, как громом, а меня пуще всех. Все мои начинания лопнули, я уехал на Восток, оставив Бакунина предводительствовать какими-то непонятными тайными обществами, даже разбалтывать их тайны, что за ним также водится; и с тех пор не знаю, что он делал и кем предводительствовал. Во всяком случае, никак не славянами, которые его не терпят за то, что он не в ладах с русским правительством.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ПОЕЗДКА В РОССИЮ *

Постоянно работая над изучением России и раскола, я все ждал отзыва раскольников на мое издание, отзыва не было. Они ни одной статьи даже на обиды свои не посылали. Хоть бы поклон от них удалось услышать, хоть бы «спасибо» за труд в их пользу, я и тем был бы бесконечно доволен. Сборник хорошо шел в продаже, но кто его раскупал, определить было нельзя, как нельзя было и заметить особенного стремления к сближению с расколом в приезжих. Никто не был с ним знаком близко, да никто и не рассчитывал на большую пользу от этого сближения. Образованные люди у нас слишком офранцузились и онемечились, чтобы понимать все русское, и какие-нибудь ультрамонтаны ближе к ним, чем старообрядцы. О Франции у нас знают лучше, чем о России. Петровская реформа так отрезала нас всех от народа, что мы разошлись с ним не только понятиями, но даже образом жизни, столом, языком, платьем, интересами. Английский лорд или французский барон далеко не так чужды своему простонародью, как наши образованные люди; жизнь первых — усовершенствование народной, а наше — подражание заграничной.

Приведу ** одно обстоятельство, в сущности, пустое, но, вот уже полтораста лет с лишком и правительство ставящее в вечно неприятное положение и народ оскорбляющее до глубины души, — я говорю о б о р о д е. Петр обрил солдат и чиновников, презирая народные предубеждения, и обязательное бритье так и осталось у нас по привычке, как раз заведенный порядок, о существовании которого даже и забыли, потому что он в обычай вошел. Чтобы сделать нас по наружности похожими на европейцев, запрещено у нас солдатам в отставке даже запускать волосы и бороду. Затем, если не ошибаюсь, для солдат посты отменяются почему-то. Что же из этого выходит? Борода у нас — народный обычай, которому огромная масса простонародья, миллионов с десяток, придает даже догматическое значение, а про посты и говорить нечего. Иной сектант, да даже и не сектант, душой бы рад служить государю, уме-

---

* На первой странице помета карандашом: «нужное. Препроводить в комиссию. 28 июня».

** З а ч е р к н у т о: один пример.

реть готов за него, но совесть претит ему воздать кесарю то, что следует богу. И вот до сих пор из-за этих пустяков при каждом наборе тысячи бегут в Молдавию и в Турцию. Я со многими из них толковал и от многих слышал, что, не трогай правительство бороды, они завтра бы доброй волей пошли в солдаты, потому что все же лучше быть солдатом, чем мыкаться на чужой стороне. Много можно бы привести таких примеров недоразумения между образованными людьми и простонародьем... А на этом недоразумении правительство очень выиграло. Сумей наша партия сойтись с сектантами, умей говорить с ними, не погнушайся изучить их догматы, да и вообще богословие, пойми значение их привязанности к обрядам — и было бы дело в шляпе. Но мы были пустозвоны, верхохваты, мы изучали только мировые вопросы да революционные теории, мы спорили о преимуществах и недостатках разных конституций, затевали создать храм свободы, не позаботясь ознакомиться с материалом, из которого приходилось строить этот храм. И вышла ерунда, — рабочих было пропасть, но ни один не был знаком с материалом, да и плана-то общего не было, и пошло вавилонское столпотворение, своя своих не познаша.

Понимал я и предчувствовал всю эту неурядицу, толковал об ней Герцену и Огареву, указывал им на нашу несостоятельность, но они стояли на том, что они публицисты, а не агитаторы и что их дело только пропаганду вести, а никак не движение. Что было делать? Сидеть у моря и ждать погоды. Я и сидел и ждал, с отчаянием следя, как время уходит и как наш авторитет падает. Наконец я и в самом деле дождался, — дождался, что раскольники завели с ними сношения.

*

Как-то вечером, в ноябре 1861 г., я был у Герцена. Посторонних не было. Я стоял у камина в зале и грелся. Ко мне подошел Тхоржевский.

— А у меня для вас новость! Раскольник какой-то есть в Лондоне...

— Вот! — и я вздрогнул от радости.

— Как же! Сегодня заходил ко мне, молодой еще человек, говорил, что хочет познакомиться с Герценом и с вами, только жалуется, что жизнь здесь дорога. Он остановился в одном отеле на Picadilly. Я хотел ему продать ваш «Сборник», «Библию», «Стоглав», только он не купил, а купил «Потаенную литературу»...[74].

— Эх вас, Тхоржевский, дернуло! Ведь это только библиофилам следует показывать...

— А мне что? Она везде продается, — не у меня, так у другого купит.

— Да почем же вы знаете, что он раскольник?

— Сам он сказал. Он — липован, купец из Молдавии, молодой еще человек...

*На другой день я отправился разыскивать Петрова *, — так звали* липована, — и нашел его в указанном отеле. Его вызвали. Это был человек лет тридцати, невысокого роста, рябоватый, худой, с реденькой русской бородкой. Одет он был по-европейски и вообще походил на приказчика со Щукина или из Перянной линии. Лицо его было бледно и даже зеленовато.

— Вы господин Петров?

— Я, — отвечал он как-то пугливо, точно ожидая беды или ареста.

* Епископ коломенский Пафнутий, белокриницкого поставления. В 1865 г. он обратился в единоверие и находится теперь в Москве, где обращает старообрядцев [75] [Примечание Кельсиева.]

— Я пришел познакомиться с вами. Тхоржевский мне говорил, что вы из Молдавии, а в Молдавии живет много русских старообрядцев. Не будете ли вы добры сообщить мне о них кой-какие сведения? Я — Кельсиев, издатель «Сборника правительственных сведений о раскольниках».

— А! знаю! — сказал он так же угрюмо и неприветливо. — Только мне теперь времени нет (его, кажется, обедать звали, или он ехал куда; не помню).

— Когда же можно вас видеть? Долго ли вы пробудете здесь?

— Дня с три. Здесь нельзя оставаться, цены страшные...

— Тогда вот что, приезжайте ко мне, и я вам отыщу на сколько хотите времени и дешевую и удобную квартиру. Вас здесь обирают, как всех иностранцев. Когда вы у меня будете? Сегодня, может быть?

— Могу.

— И прекрасно. Я вас жду часа в два. Вот мой адрес.

Тут же подвернулся один смоленский поляк Гилевич, упражнявшийся в факторстве, в нищенстве, в мошенничестве и еще не знаю в чем, и обещался проводить Петрова ко мне. В назначенное время мой липован явился, просидел у меня часа три и оказался очень милым, живым и веселым человеком, а вдобавок и замечательно умным, да таким умным, каким дай бог всякому быть. С трех слов понимал он какой угодно вопрос, отвечал на него всегда подробно и основательно, разбирая его со всех сторон, что называется, по косточкам. Одна особенность его ума меня поражала. Он никогда не отвечал прямо, что бы вы у него ни спросили, а подходил к вопросу издалека, как будто говоря о чем-то совсем другом, и только через полчаса вы замечали, что он именно то изъясняет вам, что вы хотели, и что он вам выставил все pro и contra дела, сделал им оценку и вывел из них заключение. Какую же силу ума [sic] и какие огромные диалектические способности у этого человека, не получившего никакого образования, а развившегося единственно на чтении церковных книг!!!

Мы мигом подружились и искренно привязались друг к другу. По его словам, он был купец, торговал сначала красным товаром, потом бросил торговлю, спасался в Славском скиту (в Добрудже), где провел несколько лет в молчальничестве; потом объездил все центры поповщины, был секретарем у Павла Белокриницкого[76], наконец, посвятил себя исключительно интересам старообрядческой церкви, для которой и трудится непрерывно, как богослов и начетчик. За монаха или за духовное лицо он себя не признавал, хотя мне всегда казалось, что он, по крайней мере, архимандрит.

Понятно, что такого дорогого гостя, который мог мне сообщить бездну нового, я не хотел выпустить от себя, да и он, кстати, не мог выехать из Лондона, потому что его сильно пообщипали дорогой и в отеле. Я предложил ему взять в нашем же доме небольшую комнатку в верхнем этаже, подле моего кабинета. Она ему понравилась, тотчас же я сторговался с хозяйкой в цене*. Поликарп Петрович поселился со мной, и начался мой праздник, длившийся целых шесть недель.

Читать или писать уже не было возможности. Чуть я вставал, Поликарп входил в мой кабинет и начинались бесконечные беседы о догматике старообрядчества, о духе раздорнических и беспоповных сект, о введении и распространении белокриницкой иерархии, о затруднениях, встречаемых ею доселе, о непривычности ее деятелей к делам, о надеждах на будущее. И все это он рассказывал так толково, так увлека-

---

* Зачеркнуто: и на другой день.

тельно и образно, что всякому, слушающему его, казалось, будто сам присутствует при описываемых событиях. Образы деятелей, как живые, возникали перед глазами, и впоследствии, когда мне лично пришлось перезнакомиться с ними, я не раз был поражен верностью характеристики их, данной мне в Лондоне Поликарпом.

Память его — даже невероятно, чтобы человек мог иметь такую память. Он так изучил отцов церкви, что знал, на какой странице, на какой строке какого издания находится данный текст. В полемическом богословии он, разумеется, был непобедим при таких способностях, и не раз, рассказывал он, его противники — беспоповцы, нетовцы и раздорники — открещивались от него, полагая, что сам сатана явился разбивать их заветные верования, — так поразительна его начитанность и знакомство с писанием, давшая ему возможность обращать тысячами к белокриницкому священству разных, не признававших его, старообрядцев.

И изувером он не был, да и не мог быть при таком * уме. Он не боялся табак брать в руки, не боялся сложить правой рукой трехперстное знамение, даже сказал при переезде ко мне, что если приготовление для него постного неудобно или затруднительно для хозяйки дома, то он будет и скоромное есть — «по нужде и закону пременение бывает», «предлагаемое да яждьте». Вообще, эта личность могла дать самое выгодное понятие о старообрядчестве; в Поликарпе не было ни нетерпимости, ни каких-либо резкостей или особенностей, отличавших его от обыкновенного благочестивого православного купца, — разве что он не ел и не пил ничего, не осенив себя крестным знамением, по старинному русскому обычаю.

Немедленно свозить его к Герцену было нельзя. Во-первых, Бакунин ** приехал, помнится, 15 декабря[77], *** как-то вскоре по переселении ко мне Поликарпа, и в ожидании его в доме Герцена была поэтому суматоха: нужно было приискать Бакунину квартиру (вместе с ним жить Герцену не хотелось), дать ему средства существования; к работе какой-нибудь Бакунин неспособен, писать не боек, да что и пишет, то выходит крайне неладно: послание его к полякам, так обидевшее их проектом хлопской Польши[78], раз десять переделывалось по настоянию Герцена, — и пришлось положить ему пенсию... Чуть ли не по пяти фунтов стерлингов (около тридцати рублей серебром) в неделю определил ему Герцен из своих собственных средств, — так велика его привязанность ко всем старым приятелям и**** к деятелям свободы! Во-вторых, нужно было выбрать свободное время для свидания их с таким замечательным человеком, как Поликарп, чтобы посторонних не было, чтобы кто не помешал. Словом, прошло довольно долгое время, пока устроилось это свидание, — дней с пяток.

Разумеется, что я уже успел высказать Поликарпу мою заветную мысль о союзе нашем с сектантами, об устройстве у нас печатания их сочинений, об организации в одно целое всех сект, с целью дружного наступа на правительство. Революционного я ему ничего не проповедывал, потому что и сам уже давно понял, что у нас революция невозможна, а возможен бунт на маневр пугачевщины, который разрешился бы не только вырезкой всего немужицкого, но даже уничтожением школ, сожжением библиотек, который отдал бы нас в руки иностранцев, как в смутное время самозванцев, и, наконец, посадил бы

---

* Зачеркнуто: логическом.
** Зачеркнуто: только что.
*** Зачеркнуто: на другой день.
**** Зачеркнуто: сочувствие.

на трон какого-нибудь проходимца, не лучше тушинских царьков*. Я бил именно на необходимость спасения России от грозящей ей неурядицы организованием правильной оппозиции, которая, вынудив у правительства разумные уступки, сама бы слилась с ним и стала бы его поддержкой. В сущности, оно так и вышло впоследствии, хотя и без моего содействия, — правительство последовало указаниям общественного мнения и создало умеренную партию, которая сама подавила революционную. Поликарп вполне соглашался с моим взглядом, хотя и он, как все наши сектанты, плохо понимал общественные дела. Умы сектантов, жизнь их, их интересы чересчур стеснены насущными потребностями их согласий; далее они ничего не видят и ни за чем не следят. Россию они все страстно любят, как и нынешнего царя-освободителя, но головы их так заняты их собственными дрязгами и нуждами, что им некогда заботиться о государственных вопросах, — тяжущиеся ни о чем не думают и не говорят, кроме как о своих тяжбах... Но, как бы то ни было, Поликарп не мог не сочувствовать моему взгляду, потому что и он знал о брожении умов в России. Он сам говорил мне, что старообрядцы хорошо знают о существовании «Колокола», почитывают его и, в ссорах между собой, грозятся** отделать друг друга в его столбцах. Он понял также выгоду их от союза с нами, — мы дали бы им вес и политическое значение, по крайней мере, prestige, которого у них до тех пор не было. Наконец, он был вполне убежден, что полная свобода книгопечатания, как наша лондонская, много помогла бы белокриницкой церкви расшириться на счет беспоповцев и раздорников. Особенно хотелось ему, чтобы беспоповская литература вышла на свет. «Беспоповцы упрямятся, — говорил он, — а сами скрывают, на чем они держатся. Книг у них много, да они их не показывают, знаючи, что супротив истины им не устоять. Да! Так вот, это если б их писания вывести, значит, на свежую воду, мы и знали бы, на чем они основание свое полагают, и могли бы обличать их с успехом. Да».

Прибавлю, что у него душа также больна, что «просвещенная Европа ничего не знает о нашей церкви, точно нас и на свете нет, точно мы и не вера и не церковь! Да! А у нас одних все по уставу, как святые отцы на семи вселенских соборах положили; у нас все, как было при благоверных царях и благочестивых патриархах, а нас не знают. Оттого прочие веры всякие, не ведаючи, где искать света истины, и блуждают во тьме. Так нам, выходит, пора теперь выступить со светильником на позорище народов и обличить языки в их заблуждениях. Вот тогда*** истинная церковь и совершит свое назначение, — в России нас во тьме держат, а мы бы прославили Россию».

К этому же, Поликарп и не скрывал от меня, что главною целью его путешествия было познакомиться с нами и извлечь из нас какую-нибудь пользу для старообрядчества.

Свидание устроилось. Вечером — Герцен обыкновенно работает до четырех, а в пять встает из-за обеда — мы явились с Поликарпом. Поликарп и их обворожил своим умом и своим умением держать себя. В самом деле, казалось, он век свой выжил между литераторами и светскими людьми, — так просто и ненатянуто себя он вел, так ни по чему нельзя было заметить, что он попал в новый ему мир. Ясно и сдержанно отвечал он на все вопросы, жаловался на несправедливость правительства, которое и терпит и не терпит их церковь, что их ставит в вечно фальшивое положение относительно мелких властей, рассказал пропасть

---

* Зачеркнуто: Напротив того.
** Зачеркнуто: поместить.
*** Зачеркнуто: наша.

фактов в подтверждение своих слов и опять заявил, что сами старообрядцы ищут познакомиться с нами, потому что им не к кому более прибегнуть.

— Мы такие же православные, как и великороссийская церковь, — говорил он. — Вся разница наша только в том, что мы держимся только старого обряда и старых книг, и даже я сам скажу, держимся не по разуму упорно, да, делать нечего, народ у нас такой жестокий стал в эти двести лет, что нас гонят; надо ему уступать, не вводить в соблазн. Сказано: «аще кто от вас соблазнит единого от малых сих, уне есть ему да обесится на выю его жернов осельский»... Вот и остерегаемся испугать невежд, чтобы в беспоповские сети не попали. А великороссийская церковь признает переделанный обряд и нашего не хулит, потому что у единоверцев один обряд с нами, да только ей хочется нас под свое начало подвести. А нам этого и нельзя, оттого, что не можем признать ни ее обряда, ни того, чтоб один епископ, или священник, или диакон мог на два разных манера священная * действовать. Нас за это и жмут, а беспоповцы радуются и смущают народ своим ехидным учением. Да и мы — православные, и мы — первые враги всяких сект. Только мирская-то власть об этом не знает.

Тут он рассказал пропасть вещей о придирках к ним консисторий, с целью сорвать с них, что можно, о духовных увещаниях, об отдаче их на покаяние, об оскорбившем их аресте двух их епископов, Аркадия и Олимпия[79] (во время последней войны, в Тульче), который наделал столько шума и возбудил такое неудовольствие против правительства. Рассказал о закрытии их моленных, о затруднительности совершать требы, о необходимости хитрить, обманывать и подкупать начальство, чтобы оно не лишало людей возможности исполнять предписания и установления церкви. О политике и об социальных вопросах говорилось мало, — сразу видно было, что эти стороны русской жизни ему мало знакомы и вовсе его не интересуют. О типографии он сказал, что посоветуется с своими московскими друзьями, но необходимость денежного пожертвования их на это заставляла его сильно задумываться, хотя он этого и не высказывал, равно как и не показывал удивления, что у нас нет фондов.

Нужно ли говорить, что Герцен и Огарев не могли не удивляться его уму и такту и что он произвел на них такое же выгодное впечатление, как и на меня.

Мартьянов тоже познакомился с ним, и знакомство это оставило в душе моей тяжелое впечатление, — мне было жалко Мартьянова. Он, как enfant du peuple, думал, что он лучше всех раскусит загадочного Поликарпа и что Поликарп не может не разделять его воззрений. Заговорил он с ним что-то о вере, ссылаясь на Иисуса, сына Сирахова, и понес такую мистическую околесицу, которой ни я, ни Поликарп не поняли. Как теперь вижу их, состязающихся в моем кабинете. Мартьянов с не вероятными усилиями доказывает что-то о душе, о духе, о назначении человека, а Поликарп обстоятельно излагает ему, какой святой отец, в таком-то издании, на таком-то листе, так-то толкует этот текст. Путались они, путались, пока чай не явился на выручку, как deus ex machina, и я не поспешил переменить тему, от слушания которой у меня даже голова начинала трещать, так замудрствовался бедный Мартьянов. Разговор повернул на политику, — это все-таки было легче, чем метафизика и мистицизм, — и я задел Мартьянова за его теорию о царе и народе: мне хотелось знать, как взглянет на нее Поликарп. Поликарп отозвался с большим сочувствием к идее царя, который делает все для

---

* Так в подлиннике.

народа, о чем народ просит, который ведет его по пути прогресса и которого народ почти боготворит, как своего отца, представителя, знамя, как выражение самого себя. Но с тем, что народом следует признавать только мужика и отчасти купца, а что все остальное подлежит избиению, он не согласился. Это его возмутило и привело в негодование: он чуть-чуть не рассердился и привел Мартьянову множество текстов и примеров из священной истории в пользу высших сословий. Мартьянов бледнел, кусал губы, становился язвителен и не мог простить мне и одному весьма юному правоведу, присутствовавшему при этой сцене, что он оборвался при первом же столкновении с этим народом, органом которого он себя выдавал. Правовед же, уже и тогда выздоравливавший от революционной горячки, не мог воздержаться, чтобы не подтрунивать над бедняком, не понимая по своей юности его страшной внутренней драмы. Много мне было хлопот в этот вечер, чтоб унять моих расходившихся гостей и не дать им поссориться.

Такие сцены повторялись не раз, а между тем дружба моя с Поликарпом росла и росла, хотя ни он мне, ни я ему — мы друг другу не сделали ни одной уступки в своих убеждениях. Я не скрывал от него, что я — закоренелый атеист, но отказался наотрез объяснить причины моего неверия, сказав ему, что он не в силах будет бороться со мною, потому что незнаком ни с теми науками, ни с теми системами, на которых я основываюсь, и, стало-быть, ему придется беззащитно отдаться мне в руки, а пользоваться своими преимуществами над беззащитным противником было бы нечестно. Довольно того, что я ему открыто говорю, что не верю, и он должен оценить мое уважение к нему, что я не хочу его обманывать в таком важном вопросе. А * еще, почему я не хотел изложить ему системы атеизма, — это была боязнь погубить его. Образованный человек, отрицавший бога, не опасен: нравственность его основывается не на страхе ада и не на любви к богу, как у простолюдина, которому довольно начать только сомневаться, довольно слегка вольнодумствовать, чтоб разрешить себе все. Я видел множество таких печальных примеров и потому всегда осторожно обхожусь с народными верованиями. И были мы хорошие и крепкие друзья с Поликарпом, и толковали мы с ним о догматах. Он с большою охотой отдавал мне их на суд, как человеку беспристрастному, и сам указывал на многие несостоятельности старообрядчества (например, на перемазывание), которые, по его словам, терпелись их церковью единственно, чтоб не раздразнить изуверов и не испугать беспоповцев.

— Хороший ты человек, Василий Иванович, — вырывалось у него по временам, после задушевной беседы, — и сказал бы я тебе одну вещь, да не приходится...

Фраза эта врезалась у меня в памяти, — он ее раза четыре повторил в шесть недель, что он у меня выжил, — но я не считал деликатным выманивать у него его тайну: очевидно, его тяготила неоткровенность со мною, кто он именно, а нельзя было не догадываться, что такой умный и начитанный человек не может не разыгрывать огромной роли между своими. Другое, что лежало у него на душе, — как я после узнал, — его московские неприятности, дрязги между его товарищами, происки богачей, да и чуть ли любовь сюда не замешалась, а любовь следовало ему подавить...

Бакунин явился посмотреть любопытного старообрядца, которого я, признаться, прятал, чтоб избежать разгласки, а тем более из боязни, что он, посмотря на пустозвонство наших приезжих, вынесет чрезвычай-

---

* З а ч е р к н у т о: главное.

но дурное мнение о нашей партии. Сколько помню, я не мог утаить его только от князя Голицына, который, впрочем, мало им интересовался, да от живших тогда в Лондоне Альбертини[80] и помянутого выше восемнадцатилетнего правоведа Ковальского [?] *, изучавшего английское право[81]. Ковальский приехал в Лондон очень красным, но — мальчик не глупый, наблюдательный и остроумный — он чрезвычайно скоро подметил нашу несостоятельность, а сближение с Бакуниным окончательно опошлило в его глазах все революционное. Бакунин на этот счет золотой человек, — он хоть кого вылечит от охоты потрясать престолы. Если б его пустить в кружок самых рьяных нигилистов, в какой-нибудь комический «Ад» или в «Организацию»[82], страдавшую отсутствием всякой организации, он бы в месяц довел их до ненависти к нигилизму. Альбертини — личность бесцветная: у него убеждения меняются, смотря по тому, с кем он говорил последний раз. Придет, бывало, ко мне революционером, выйдет от меня реформатором; зайдет к Мартьянову и убедится во вреде высших ** сословий; а ляжет спать легитимистом, потолковав с Лугининым, приверженцем идей, которые теперь проповедует «Весть» ***[83]. Альбертини, если его взять в руки и никуда не пускать, чтоб **** его кто не сбил с толку, может быть чрезвычайно полезным публицистом. Пишет бойко, ясно и, главное, чрезвычайно проворно. Ему только намекнуть, — он сам разовьет мысль и разовьет отлично.

Явился Бакунин. Он и прежде видался с Поликарпом у Герцена, но у Герцена, у п р и н ц и п а л а, державшего его на узде, ему нельзя было так развернуться, как у меня, и показать все свои таланты. Помню, что он поднялся ко мне в кабинет, распевая во всю глотку какой-то тропарь, — это было captatio benevolentiae у старообрядца. Затем, он стал как-то приторно-дружески просить Поликарпа разъяснить ему в назидание, какая разница между старообрядчеством и православием, намекая, что и он сам не прочь сделаться старообрядцем, буде Поликарп убедит его в правоте старой веры. Не понять этой грубой ловушки Поликарп не мог, но, человек крайне деликатный, он пустился рассказывать ему обстоятельно о древнерусском обряде *⁵, о реформах Никона. Бакунин ахал, удивлялся сведениям Поликарпа, поддакивал ему, приходил в негодование на никоновские нововведения и, наконец, сам утомленный этой ненужной и позорной комедией, стал просить Поликарпа давать ему уроки русской истории. Я даже фразу его запомнил: «Да у вас, батюшка Поликарп Петрович, я буду брать уроки русской истории! Вы знаете такие вещи, каких и в книгах не найдешь!».

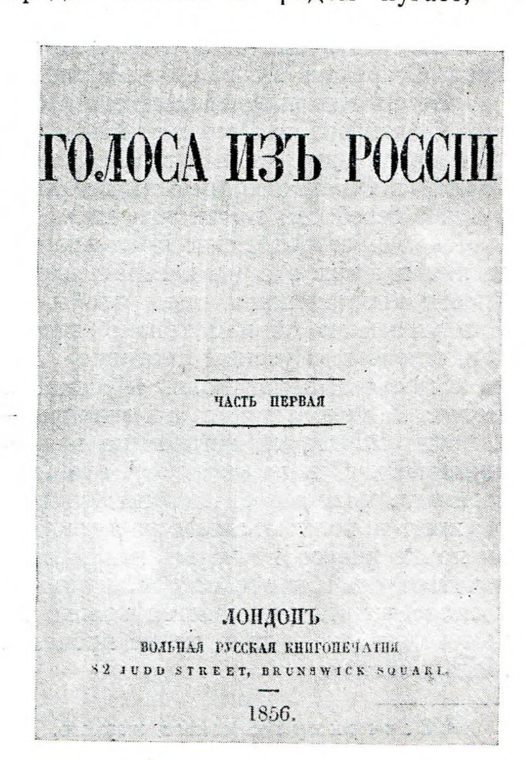
— Нет, — отвечал вечно спокойный и обстоятельный Поликарп, — это напечатано в «Истории о древних стригольниках и новых раскольниках» Иоанна Охтенского, на страницах таких-то первой части, потом в книжке господина Берга «Царствование Алексея Михайловича»[84], на странице такой-то, и еще в «Истории церкви» Павла Белокриницкого... — и т. д., и т. д., с перечислением всех источников, по его обыкновению.

— «Непременно прочту. У вас, Кельсиев, наверно, есть все эти книги, ведь вы много над этим копаетесь, дайте мне; надо, в самом деле, приняться за изучение этого вопроса, — ведь это дело не пустяковое, о спасении души идет, этим шутить нельзя!..» — не унимается Бакунин

* Так в подлиннике.
** З а ч е р к н у т о: классов.
*** З а ч е р к н у т о: и полным консерватором.
**** З а ч е р к н у т о: он не сбился.
*⁵ З а ч е р к н у т о: до времени Никона.

и тут же, думая, что уже расположил к себе Поликарпа, начал так же топорно рисовать ему какую-то картину восстания, путал сюда и Пугачева, и Стеньку, и стрельцов, и Никиту Пустосвята и еще не знаю чего, сделал какой-то винегрет, а из винегрета вышло торжество старообрядчества над православием, так что и государь сделался старообрядцем, и орденские кресты приняли осьмиконечную форму и... ну, и вышло что-то совсем невероятное и неожиданное — какие-то туманы непроглядные.

Я краснел, Поликарп хлопал глазами, как в чаду, маленький Ковальский посмеивался в кулак, прячась за книгой, — словом, выходило скверно, а управы на Бакунина не было: я был слишком моложе его, чтобы его останавливать, да и в материальном отношении он от меня не зависел, как от Герцена. Наконец он убрался, взяв с Поликарпа слово притти к нему на чай. Как ни было это мне не по сердцу, а пришлось отправляться, и в назначенный день мы отправились. Небольшая квартирка его уже полным была полна гостей: тут был и Мартьянов, и Ковальский, и еще, кажется, кто-то, чуть ли не Альбертини. Накурено было донельзя, разговор шел о политике, о народе, о революции, о монархии и о республике; все говорили, никто не слушал, спорили, горячились, проводили с задору самые крайние мнения. Поликарп только руками разводил и как-то удивленно восклицал по временам: «Да здесь судьбы мира решаются!», «Да! Каково! Судьбы мира решаются!», «Судьбы мира!» Ему в первый раз в жизни случилось тогда присутствовать при подобной беседе, и он никак не мог отличить фраз от дела. Он привык спорить о догматах, но споры о догматах у людей верующих производятся чинно, без шуток, без острот, без поминания на каждом слове чорта, а тут вдруг его непривычные уши услышали самое бесцеремонное трактование политических вопросов, с которыми обходились запросто. Вдобавок, горячность спора из-за теорий и принципов новичков и простонародье сплошь и рядом пугает, —


ГОЛОСА ИЗЪ РОССІИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛОНДОНЪ
ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ КНИГОПЕЧАТНЯ
82 JUDD STREET, BRUNSWICK SQUARE.
1856.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ «ГОЛОСА ИЗ РОССИИ», ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

им все кажется, что спорящие перессорятся; они вовсе не понимают, что спор ведется вовсе не серьезно, а как препровождение времени, и что решения, к которым пришли спорящие, не обязывают их ни к чему; что от тоста революции, от* проекта баррикады построить и гильотину завести до дела ее больше чем далеко. Эти споры — отдушники, предохранительные клапаны; накричатся люди, напетушатся, отругаются всласть, — ну, и легче им станет на неделю, на две, благо душу отвели и благо утомились. А там опять накипит всякой ерунды в голове, опять «соберутся, поговорят и — разойдутся», как сказал Грибоедов. Кто много наблюдал за такими периодическими словоизвержениями приятельских кружков, тот хорошо знает, какую оценку следует давать этим буйным возгласам, дерзким планам и отчаянным решениям, которые на них высказываются, и хорошо тоже знает, какие мокрые курицы на деле и в практической жизни эти террористы в четырех стенах. А было время, и весьма недавно, когда либералы 1825 и 1849 гг. каторгой платились за фразы, срывавшиеся у них в таких приятельских словопрениях.

Поликарп был крайне смущен. Ему казалось, что он присутствовал чуть не в конвенте, что приговор миру и порядкам его произнесен был не на шутку, и удивлялся моему равнодушию, когда мы возвращались домой. Дня два я не мог убедить его, что тут нет ничего серьезного, а что люди упражнялись в споре только от скуки и чтоб проверить свои взгляды, что никто из них и не думает даже об осуществлении высказанных желаний и что еслиб кто и затеял это, то средств к тому не найдет. Поликарп только удивлялся. Наконец я нашел argumentum ad hominem, который его успокоил. Я сравнил Бакунина и его гостей с теми старообрядцами, которые, не понимая писания, кричат, спорят, откапывают небывалые ереси и мутят народ, сами не зная ничего и ничего не только не собираясь, но даже и в силах не будучи устроить. «Вот и между нами тоже есть раздорники, горланы, которые на нас тень бросают. Нас они в грязь тянут своей глупостью, а сами людей смешат и в соблазн вводят». Это он понял и тут же объявил, что, кроме Герцена, Огарева и меня, ему в Лондоне никто не понравился.

Затем, мне кажется, нечего более прибавить к рассказу о пребывании Поликарпа в Лондоне. Мы с ним ничего не решили насчет типографии, потому что ему нужно было переговорить об этом с его приятелями в Москве и достать там капитал на подъем дела (шесть тысяч рублей серебром, высчитали мы). Толковали мы, правда, о заведении в Лондоне старообрядческого подворья, с перенесением туда их митрополии, но, как это ни казалось нам обоим и полезным и выгодным, проект был слишком смел, чтобы мы сами считали его исполнимым. Я и упоминаю об нем только потому, что об нем последнее время говорилось в «Русском Вестнике». Это была мечта, но никак не больше, хоть мечта и заманчивая. «Русский Вестник» рассказывает еще, будто Поликарп резко спорил с Герценом, — этого я что-то не помню; а что я хотел скрыть от него наше направление, не давая ему «Полярной Звезды» и «С того берега»[85], это значит, что я давал Поликарпу только те книги, которые он мог понять по его образованию. Библиотеку мою он имел в полном своем распоряжении, мог читать все, что хотел, но он почти ничего не читал, ничем не интересуясь, кроме богословия. Да и читает он, как все старообрядцы, очень медленно, — искусство легко и скоро читать развивается только на романах, а роман он всего один, кажется, прочел, да и то не прочел, а выслушал от меня, — «Гришу» Мельникова[86].

---

* Зачеркнуто: самого жаркого.

Наконец пришли ему деньги из Москвы. Вексель был обернут в клочок бумаги, на которой стояли цифры:

80	200	2
100	20	40
10	70	70
5	5	200
7	8	20
7		2
1		400
8		
300		
5		

— Понимаете этот счет? — спросил он меня.

Я подумал, подумал и догадался, что эти цифры должны означать церковные буквы. Выходило: «Приезжайте скорей в Москву». Поликарп стал собираться и прощаться.

Упустить его значило потерять все надежды. Оставить дело на его одного я боялся: кто мне отвечал, что он * не передумает, что проект наш найдет в Москве сочувствие? Я объявил ему, что я сам поеду в Москву подвинуть дело; он сказал, что это, пожалуй, будет не худо. Затем, взяв с него слово писать с дороги и из Москвы, я проводил его на железную дорогу, мы обнялись, и поезд двинулся. С тех пор я его не видал, а расстались мы искренними друзьями, и я был в полной уверенности, что у нас есть в России ловкий и надежный друг и пособник. Таково же было и убеждение Герцена и Огарева, при которых я говорил с Поликарпом о моей предполагаемой поездке. Бывал он у них не часто: во-первых, я не хотел, чтобы пошли толки об его присутствии в Лондоне; второе, не хотел ставить его в неловкое положение человека, слушающего и не понимающего, что говорят; а третье, я очень боялся, что какой-нибудь красный, каких тогда развелось уж чересчур много, нападет на него и заспорит о вере. Проще сказать, я инстинктивно понимал, что у нас неладно, но усердие и фантазия заглушали голос рассудка еще почти целых два года и толкали меня на ** отчаянные предприятия.

Поездка в Россию сделалась моею любимою мечтою, отказаться от нее *** было выше моих сил. Тоска по родине меня душила, незнакомство с бытом народа и с его истинными желаниями меня оскорбляло. Я очень хорошо перезнакомился в Лондоне с представителями либеральной партии, но общее заключение мое об них было не в их пользу. Ни от них, ни от Герцена с Огаревым я никак не мог добиться, чего именно нужно России и каким путем следует **** достичь этого нужного. Слово «свобода» слишком широко, чтобы у него было определенное значение, и поэтому оно, в сущности, не имеет решительно никакого смысла. Крестьянский и финансовые вопросы я плохо понимал, и до сих пор они как-то мало меня интересуют, но и в них было большое разногласие между Огаревым и приезжими. Свобода слова, гласный суд, уничтожение телесного наказания, веротерпимость, естественное разделение губерний на исторических и этнографических основаниях были мне доступны; а главное, что меня побуждало ехать, это — желание своими глазами убедиться в наших силах и в возможности союза с нами сектантов; с тем вместе, слыша постоянно от молодежи, что подготовка революции у нас идет такими быстрыми шагами, что народ,

* Зачеркнуто: сам.
** Зачеркнуто: пропасть.
*** Зачеркнуто: как месяц тому назад от возвращения.
**** Зачеркнуто: добиться.

бессомненно, на нашей стороне, я решился или предотвратить взрыв, или, если уж поздно, то направить его как-нибудь потолковее. Вообще говоря, во мне засело страстное желание посмотреть на Россию.

Герцен меня не отговаривал, поняв, что я уже не в силах выносить долее мой искус, но ехать мне все-таки нельзя было, за неимением ни паспорта ни денег. Паспорт, впрочем, скоро явился: еще с год назад я просил одного нахичеванского купца-армянина, имевшего какие-то дела в Лондоне, достать мне паспорт при помощи его цареградских соотечественников. Просил я его об этом мимоходом, на всякий случай, и даже забыл, что он обещался мне устроить это дело, как вдруг, несколько дней спустя по отъезде Поликарпа, я получил с почты пакет и в нем паспорт на имя цареградского уроженца sieur Vasili Jani, Яни — греческое сокращение моего отчества Иванов. Осталось денег достать, а у меня, как на грех, тогда рублей более ста не было. Просить у приезжих духу нехватало. Скрепя сердце, обратился я к Бакунину, великому мастеру собирать революционные контрибуции, и дня через три Бакунин объявил мне, что он обделал дело: триста рублей серебром будут переданы Ничипоренке [87] в Петербург. Говорил мне Бакунин, от кого он достал эту сумму, и видел я этого господина, даже благодарил его во имя «дела», но, признаться, на радостях тут же забыл его имя, нерусское и очень мудреное. Впрочем, оно должно быть в показаниях Ничипоренки [88]. Затем, я отправился в турецкое посольство просить переменить мой паспорт, данный только в Англию, но годный для разъездов по целой Европе. Мне надписали на нем: «Bon pour les continents», — этого было больше чем нужно. В нидерландском консульстве я визировал его на Голландию, думая в Амстердаме визировать на Россию, так как я боялся иметь дело с нашим консульством в Лондоне.

Из Лондона я отправился в Роттердам, из Роттердама в Амстердам. В Амстердаме русский консул сказал мне, что он не имеет права визировать паспорт и что мне за визой следует ехать в Гаагу. Гаага была мне не по дороге, я визировал у прусского консула и взял билет до Берлина, где в русском консульстве мне визировали без всяких расспросов и остановок. Я поехал далее и, помнится, 2 марта (1862 г.) прибыл в Вержболово. В Вержболове тоже никто не обратил на меня внимания, но, как у меня в саке нашлись две французские книжки о Нидерландах, то их отобрали и хотели препроводить в цензурный комитет. Во избежание хлопот, я знаками заявил мое желание досмотрщику, чтобы он разорвал их, что и было немедленно исполнено. По-русски я не говорил в Вержболове, выдавая себя за иностранца, а именно за арнаута, — я был уверен, что никто не поймает меня в незнании этого языка. Из Вержболова мы двинулись в Ковно, где и остановились, так как сообщение с Динабургом еще не было открыто. Покуда всевозможные факторы предлагали нам свои услуги и мы дожидались дилижанса, ко мне подошел один англичанин и предложил, не хочу ли я доехать с ним до Динабурга на курьерских за половинные прогоны. Я, разумеется, согласился. Это был курьер Foreign office *, а меня он выбрал потому, что слышал, как я с одним попутчиком разговаривал по-английски. На следующий вечер мы были уже в Динабурге, и я потерял его из виду на станции железной дороги, где взял билет третьего класса, чтобы иметь случай потолковать с простым народом. Вагон был почти весь занят этапными солдатами, возвращавшимися в Петербург из Польши; с ними было несколько писарей. О поляках они отзывались если не с сочувствием, то с состраданием, не одобряли поведения наших войск в царстве, которые грабили на улицах Варшавы прохожих, под предло-

* Министерство иностранных дел.

гом срывания запрещенных уборов, — это я своими ушами слышал. Но тут же они заметили мне, что мужики чрезвычайно были довольны демонстрациями, потому что панов за это арестовали. «Когда мы вели арестантов, — говорил мне солдат, — то мужики с ума сходили от радости и только одно и толковали: «Дай боже, чтоб и наш пан во что-нибудь замешался».

Витебский еврей, очень почтенный седой старик, пришел в негодование, когда я сказал ему, что в Европе ходит слух, будто евреи держат сторону поляков.

— Зачем нам поляки? Зачем нам Польша? — сердился он. — Русский исправник меня грабит, становой меня грабит, каждый писарь меня грабит, но у меня голова цела и у жены моей голова цела, и у сына моя * голова цела и у дочери моей голова цела. — И он в подтверждение своих слов стучал себе пальцами в голову на весь вагон. — А будет Польша, станут жидов вешать, жидовок вешать, детей станут вешать. Зачем нам Польша? Нам не надо Польши! Мы не хотим Польши!

Я ему заметил об участии евреев в демонстрациях, он расхохотался:

— И вы этого не понимаете?

— Не понимаю...

— И не понимаете? Ну, я же вам скажу, как это было. Пришел наш раввин и первые люди, богатые купцы, к князю Горчакову [89]. Пришли и говорят: «Позвольте, ваше сиятельство, бунтовать нам с поляками». А князь Горчаков говорит: «Зачем, говорит, вам бунтовать? Ну, зачем же вам бунтовать?» А они говорят: «Позвольте нам бунтовать, ваше сиятельство, нас поляки зовут бунтовать, ну, если мы не пойдем бунтовать с поляками, они нас бить будут и жен наших, и детей наших, и внуков наших; так позвольте же нам, ваше сиятельство, бунтовать. Мы побунтуем, а вреда правительству этим не сделаем, всегда останемся за правительством». — «Ну, бунтуйте!» — сказал князь Горчаков. Вот они теперь и бунтуют, а поляков все-таки не держатся...

Передаю этот рассказ почти слово в слово, так он хорош и так ясно очертил мне тогда взаимные отношения евреев и поляков во время демонстраций.

В Петербурге я думал остановиться не больше как дня на два, чтоб взять от Ничипоренки деньги и допросить его, нет ли в Петербурге замечательных раскольников, с которыми стоило бы сойтись, да сверх того, что делают петербургские либералы. Адреса его я не знал, но знал, что его можно найти в редакции «Экономического Указателя» [?] **, куда и отправился, найдя себе, после долгих поисков, чистенькую комнатку на углу Большой Морской и Синего Моста, у какой-то немки, державшей chambres garnies. В гостиницах я не рискнул остановиться, — чистые номера были страшно дороги, а которые подешевле — отвратительно грязны, так грязны, что человеку, обжившемуся в Европе, даже войти в них страшно.

Ничипоренки я не застал и, чтобы не терять времени, отправился к его другу и приятелю Бени [91]. С Бени мы до сих пор не были особенно близки, — я познакомился с ним в Лондоне, когда он был еще секретарем у какого-то лорда [92], потом виделся с ним, когда золотопромышленник Томашевский вывез его из Парижа, и они вместе принялись составлять в Лондоне компанию для разработки какого-то прииска; простился с ним так же, провожая его в Сибирь. В Сибирь Бени не попал, потому что не поладил с Томашевским, который приятельское обращение с ним за границей, тотчас по приезде в Петербург, изменил на высо-

* Так в подлиннике.
** Так в подлиннике.

комерно-хозяйское, и Бени, одаренный от природы необыкновенною легкостью изучения языков, сделался русским литератором, чем бы и до сих пор был, если б мой приезд не погубил его вместе с другими. Даже и забыли мы в Лондоне о существовании Бени, как вдруг осенью 1860 * г. он вдруг ** очутился в Лондоне [93]. Случилось дело такое. Бени, только-что приехав в Россию, прямо попал в кружок студентов и подобных им горячих голов и, разумеется, не мог не увлечься их делом, — ему же было тогда что-то не больше двадцати двух лет. В азарте своем он тотчас же решился выступить агитатором, написал адрес государю с просьбой о конституции или о чем-то вроде конституции [94] и отправился путешествовать по России для собирания подписей. Выставить впереди имена неизвестные, каких-нибудь студентов, было бы неловко, надо было, чтоб люди с весом подписались, а эти люди с весом боялись довериться неизвестному мальчику, которого никто не знал и который, не будучи сам русским, никак не мог объяснить, почему он принимает такое участие в русских делах. А объяснение-то было очень просто: *** он был крайне юн, **** у него не было национальности, и ему очень хотелось пристать к какой-нибудь. В самом деле, отец его был итальянец, но сын, кажется, испанки; мать была немка, но дочь француженки; а Артур Бени родился в Польше, жил в Англии, занимался медициной в Париже и сделался русским публицистом и агитатором в Петербурге, где его так обласкали, что он в душе полюбил Россию, как свою родину, которой именно у него и недоставало [95]. Никто не соглашался подписать его адреса, пока Катков не подпишет, а Катков тогда был большим конституционистом, и либералы смотрели на него, как на главу и на предводителя, — за то-то Катков и повел такую ожесточенную борьбу против Герцена и Чернышевского, что они впоследствии свергли его с этого пьедестала. Партии образуются только из-за личностей. Бени явился к Каткову; Катков задумался. «Ведь не от себя же вы действуете, наконец?» — спросил он Бени. «Я агент Герцена», — приврал Бени, рассчитывая на поддержку в Лондоне. «Есть у вас на это документ какой-нибудь? Если есть, то я сейчас подпишу...» Документа у Бени не было, а если б был, то, я думаю, адрес бы состоялся. Пришлось бедняку ехать в Лондон за полномочием, и полномочия он не получил, по нелюбви Герцена вести какую-нибудь агитацию. Положение интернационального юноши стало весьма не завидно, — до самого изгнания из России на него не переставали смотреть, как на агента III отделения, и никакие усилия его друзей не могли вывести его из этого двусмысленного положения.

Мы бросились на шею друг другу, когда я вошел к нему, и разговор наш сейчас свелся на «ты». Я так был истомлен страхом, притворством, тоской, что мне необходимо было отвести душу с кем-нибудь, сочинить себе друга, за неимением настоящего. Оказалось, что Бени знал о моем приезде, так как Ничипоренко, его большой приятель, не скрыл, что ждет меня в Петербург, да и вообще Ничипоренко был, как оказалось после, человек весьма ненадежный: тщеславие было главной пружиной всех его действий, и он вечно рисовался. Была мода на либеральничание и на поношение действий правительства, и он франтил своим революционерством, играя роль какого-то заговорщика. Я знал его еще с коммерческого училища, где он шел несколькими классами ниже меня. За границей я узнал, что он посещает университет, славится между товарищами умом и

* Зачеркнуто: или 1861.
** Зачеркнуто: опять.
*** Зачеркнуто: во-первых.
**** Зачеркнуто: и во-вторых.

краснотою своих убеждений; потом он сделался постоянным корреспондентом «Колокола», и вообще его считали в Петербурге одним из столпов нашей партии. Только связь с Бени бросала на него тень, но, к чести Ничипоренки, он не порывал ее в угоду общему мнению. С Ничипоренко мы увиделись вечером; он зашел к Бени и тут же стал звать меня ехать с ним по разным его знакомым. Я отказался. На риск я был готов, но рисковать из-за чего-нибудь и рисковать pour passer le temps — две вещи разные. Я просил Ничипоренку собрать сведения о петербургских старообрядцах; он уговорил меня ехать к Максимову [96], известному путешественнику по Архангельской губернии и по Амуру, который, по его мнению, мог мне сообщить много любопытного. О Максимове я был высокого мнения, как об этнографе, и, признаюсь, не мог не поддаться соблазну знакомства с ним. Кажется, в тот же вечер мы и поехали к нему с Ничипоренкой.

Пять лет прошло с тех пор, обстоятельства переменились, даже дух общества стал совершенно другой, поэтому я не вижу причины бояться, что правительство захочет подымать старые дела, что наделало бы столько тревоги лицам, видевшимся тогда со мною. С полной верой в правительство, в гуманность его, я откровенно излагаю все, что было.

Я строго запретил Ничипоренке называть меня Кельсиевым. Довольно было, что я — Яни, исследователь раскола, только-что возвратившийся из-за границы и собирающий сведения о петербургских и вообще северных сектантах. Еще мог он говорить, что я прожил несколько времени в Лондоне, знаю хорошо Герцена, Огарева, Бакунина, что видел в Лондоне какого-то старообрядца, ищущего завязать сношения с партией «Колокола» и т. п. Так мы и явились к Максимову и так провели у него вечер; разговор вертелся преимущественно на его путешествиях, но сведений о раскольниках он сообщил мне очень немного, потому что именно на политическое-то значение раскола он меньше всего обращал внимание, как человек, по преимуществу не политический. «Если вас это, впрочем, так занимает, — сказал он, — то самое лучшее, обратитесь к Кожанчикову [97]. Он теперь занимается изданием книг о расколе и поэтому должен быть в сношениях с представителями разных согласий». Я поморщился на это новое знакомство, но Ничипоренко засуетился, затараторил и тут же решил за меня, что мы завтра же вечером едем к Кожанчикову. Отказаться было и неловко, да и надо же было добиться искомых сведений. Сильно я сомневаюсь, что Ничипоренко не удержался разболтать и Максимову и Кожанчикову о том, что я эмигрант. Так мне казалось по изысканно-натянутому обращению со мной и Максимова и Кожанчикова, в котором видна была смесь страха с любопытством, и по некоторым словам, какие у них прорывались, что мне нечего бояться, что меня никто не выдаст и тому подобное. Разумеется, я не втягивал их ни в какие предприятия, а просил только разузнать все, что можно, о расколе и о раскольниках. Вообще говоря, эти сведения были так неважны, что даже подробности их плохо сохранились у меня в памяти, заслоненные другими, имевшими для меня несравненно больший интерес.

На третий день моего приезда, зашел ко мне Ничипоренко и объявил мне, что я сегодня же переезжаю к Серно-Соловьевичам [98].

— Зачем? — спросил я, уже донельзя утомленный его суетливостью.

— Они этого хотят, они обидятся, если ты этого не сделаешь. Здесь небезопасно. Им нужно с тобой переговорить... — трещал Ничипоренко.

— Да почем же они знают, что я здесь?

— Ну, вот еще! От них-то еще скрывать!

Проклял его в душе и все-таки покорился. Долгое напряжение

силы воли в дороге, переезд границы, при въезде в Петербург, страх быть узнанным на улицах кем-нибудь из знакомых, которых у меня множество, вечное беспокойство, что каждый, кто на меня смотрит, следит за мною, — все это произвело реакцию, напряжение исчезло и явилась какая-то покорность каждому внешнему толчку или внушению. Я рассчитался с хозяйкой, записал ей свое имя и какой-то адрес, куда переезжаю, и двинулся.

Николая Серно-Соловьевича я видал года два перед тем в Лондоне. Он был очень восторженный человек, очень не глупый, энергический, всегда готовый на все честное и благородное и страстно любивший Россию. Понятно, что при таком характере и при крайней молодости лет (ему было, кажется, всего двадцать четыре года) он не мог не увлечься тогдашним направлением, но он увлекся им откровеннее и толковее других. Он и не скрывал от правительства, что принадлежит к числу недовольных, подавал записки государю, печатал брошюры в Лейпциге под своим именем [99], а на это не у каждого хватило бы духу в то время, когда все и каждый прятались друг за друга и показывали кукиши в кармане. Наконец, он изучал пристально экономические вопросы России, а это самое изучение исключало его из ряда тогдашних крикунов, которые ничего не знали, кроме своих утопий, и давало надежду, что из него выйдет со временем полезный государственный деятель. Надежду эту я сохраняю до сих пор, несмотря на его ссылку, причиненную * гостеприимством, которое он мне оказал. Я твердо уверен, что рано или поздно он будет возвращен и сделается одним из полезнейших членов правительства по министерству финансов или внутренних дел. Брат его, Александр, был человек больной, нервный, мрачный, не менее даровитый, но более мягкий по характеру: в нем не было той неукротимой отваги Николая говорить правду в глаза и не скрывать своих убеждений.

Оба брата приняли меня с упреком, что я не приехал прямо к ним, и предложили считать дом их своим на все время пребывания моего в Петербурге. Я рассказал им, что побудило меня сделать эту поездку и чего я ищу. Александр тотчас же сказал, что он сам уже сошелся с петербургскими беспоповцами и что непременно и меня сведет с ними, чего я не мог добиться ни от Ничипоренки, ни от Максимова, ни от Кожанчикова. Разговор естественно перешел на Герцена: «Что он делает? — спрашивали меня. — Как смотрит на нынешнее движение, как ведет его, что организует и кого поставил в предводители?» Словом, они, как и все либералы того времени, смотрели на Герцена, как на агитатора, и думали, что он основал тайное общество, к которому они если и не принадлежат, то единственно по недостатку доверия с его стороны. Я долго не мог их разубедить в этой иллюзии: нужно было подробно определить им характер и взгляды Герцена, его направление, чтобы они поняли, почему он не хочет браться за «практическую деятельность», а ограничивается ролью пропагандиста и руководителя общественным мнением.

— Но это ужасно! — вскричал Николай, поняв наконец, что я его не обманываю. — Тогда и мы погибли, и, чего доброго, Россия погибнет с нами.

Я побледнел, услышав эти слова. Серно-Соловьевич формулировал в ясных и простых словах мысль, которая мне давно уже не давала покою, но которую я сам боялся себе высказать. Он сразу пришел к тому выводу, до которого я не мог дойти годами, — что движение, поднятое Герценом, вредно, потому что совершается без плана.

---

* Зачеркнуто: мною.

— Что же это значит? — продолжал он, как бы с самим собою, откинувшись на диване. — Это значит, что «Колокол» вызвал к политической деятельности пропасть лучших сил образованного меньшинства, эти силы просят дела, работы, направления и ничего не находят, потому что Герцен не хочет или не умеет обуздывать их и править ими. Теперь и понятно, почему у нас такая разноголосица, что нет двух человек, согласных в принципах или в цели. Теперь и понятно, почему молодежь бросается в нелепые теории и фантазии, никого слушать не хочет, несет чушь и только компрометирует либералов, нося с ними одно название. Это ужасно! Покуда весь этот хаос еще сдерживается * верою в Герцена и готовностью итти в огонь и в воду по его слову, а потеряй имя Герцена это обаяние, как оно уже и теряет, тогда что выйдет? Выйдет, что мы между собой передеремся и тем потеряем силу, а потеряй мы силу, все отсталое, тупое, ретроградное подымет голову и начнет разрушать даже и то немногое хорошее, что теперь сделано правительством! А чего доброго, как от этого распадения нашего какая-нибудь горсть дураков или энтузиастов затеет революцию — что тогда будет? Тогда пиши пропало всему! Революция еще не совсем беда, когда ее ведут умные и честные люди, люди знакомые с нуждами государства, ну, а пусть во главе ее станут дураки и интриганы, тогда и государство ** исчезнет.

В этих словах весь Серно-Соловьевич, каким я его видел пять лет тому назад, и за эти слова я почувствовал к нему глубокое уважение, — это не был пустозвон в роде Ничипоренки и тысячи других, бессмысленно, по моде, увлекавшихся движением. Он был прежде всего государственный человек, то-есть рассчитывал, что полезно и что вредно, не увлекаясь ни фразами, ни обаятельными призраками, ни фактическою надеждою, что стоит только уничтожить все старое, чтобы все пошло, как по маслу. Правда, он был раздражителен, даже озлоблен, сгоряча и у него срывались тогдашние модные фразы, вроде знаменитой, что «нужно все похерить», но стоило с ним поговорить часа два, чтобы увидеть глубокое понимание вопросов под этой кажущейся революционной диалектикой.

— Ведь что бесит? — говорил он. — Бесит то, что, при всем желании сделать что-нибудь путное, ничего сделать не можешь, потому что у нас кто в лес, кто по дрова. Правительство и радо б радехонько последовать указаниям общественного мнения, а мнения этого никак не уловишь. Все перепуталось, никто друг друга не понимает. Требуют от правительства таких крайностей, каких оно даже выполнить не может, например, отмены брака, которая даже человеческого смысла не имеет. А правительство, прислушиваясь к этим толкам и пугаясь революционной декламации, становится втупик и теряет доверие и уважение к общественному мнению. Оно и радо бы итти вперед, да его пугают, и оно со страху вдается в периодические реакции. Экая досада, что Герцен не понимает своей роли и губит дело неуместным церемонничанием, что он вне всякой опасности!

После многих толков и даже споров по отдельным вопросам, мы пришли с Николаем к следующему заключению. В государстве, как Россия, где нет ни свободы книгопечатания, ни конституции, правительство не может знать, куда ему итти и что делать. Нужно какое-нибудь учреждение, которое доводило бы до него сведения о потребностях народа и общества, но было бы в то же время вполне от него независимо, так как зависимость исключает искренность. Это же учреждение

* Зачеркнуто: только.
** Зачеркнуто: само.

должно руководить общественным мнением, подталкивая остальных и сдерживая забегающих вперед. Прежде чем заставить общество говорить о каких-нибудь нуждах, например, о потребности гласного судопроизводства, о свободе вероисповеданий и т. п., оно само должно убедиться, действительно ли такая потребность существует в народе, а чтобы убедиться в этом, оно должно было наводить справки, пуская слух, будто правительство само думает ввести данное преобразование. Если слух хорошо примется, следовало его поддерживать, разрабатывать вопрос, сделать его предметом толков так, чтобы он, прежде, чем правительство приступит к его обсуждению, уже облекся бы в положительные формы, выработанные общественным мнением. А если слух произвел дурное впечатление, если задуманная мера противоречит инстинктам народа, то и оставить его в покое; на этом я думал разом покончить с коммунистическими, революционными и атеистическими утопиями.

Ведь, правительство, говорили мы, вовсе не прочь послушать дельного совета и даже, в первое время «Колокола», было отчасти благодарно Герцену за высказываемые им горькие истины. Оно вовсе не консервативно по своим преданиям, оно — вечный революционер, только ведет революцию сверху, а не снизу. Отчего оно теперь начинает пятиться? Оттого, что пугается итти за общественным мнением, которое мечется во все стороны, сбивая его с толку и теряя его уважение к себе с каждым днем. Вот почему даже для правительства * легче было бы иметь дело с толковой оппозицией, с серьезными, даже придирчивыми цензорами его действий, чем с этой бессмысленной толпой крикунов и свежеиспеченных доморощенных революционеров. Правительство выиграло бы от умной оппозиции; лучше с умным потерять, чем с глупым найти, — ведь у него нет собственных сословных или династических интересов, как в Пруссии или во Франции; оно у нас состоит из царской фамилии, о правах которой никто и не спорит, да из людей, достигших высокого положения в силу своих действительных или предполагаемых заслуг; а стать в ряды этих людей никому у нас не закрыта дорога, по крайней мере de jure. Стало-быть, по духу наших учреждений, правительство — это лучшие люди того же самого общества, которое мы сами составляем, а будь это общество толково в своих требованиях, члены его, входящие в состав правительства, не могут не поддерживать этих требований.

Разумеется, во всем этом было много идеализации и теоретичности, но, сколько помню, ни от одного из тогдашних либералов я не слышал плана дельнее и толковее сочиненного нами с Николаем Серно-Соловьевичем. Да они даже ничего не сочиняли, их беспокоили больше всего их теории да громкие фразы, а серьезно подумать о государственных отношениях им и в голову не приходило. Государь разбудил общество от долгого сна, он сам вызвал его к обсуждению государственных вопросов, но больше он не мог сделать. Люди, никогда не думавшие, не умели справиться ни с мыслью, ни с словом и заметались спросонья, как птицы, разбуженные молнией в глухую ночь. Много лет пройдет еще, пока наше общество станет таким же трезвым и умеренным, как английское.

Из проекта нашего вытекало само собой следующее. Нужна была крепкая организация множества существовавших тогда мелких кружков, с безусловным подчинением их кружкам губернским, которые, в свою очередь, должны были слепо повиноваться петербургскому, московскому, киевскому и еще не помню теперь каким, но помню, что эти центры

* Зачеркнуто: выгоднее.

предполагалось устроить, сообразуясь с географическими и этнографическими условиями. Тогда в сильном ходу было учение «почвенников», которое и я принимал, соглашаясь, что потребности разных частей государства не могут быть одинаковы*, хотя Серно-Соловьевич держался французской школы, что, что разумно в одной данной местности, то пригодно и для всего земного шара. Затем все эти центральные кружки должны были ** подчиняться одному общему для всей России, как бы он ни сложился, в виде ли периодических съездов или в виде постоянного комитета, заседающего в Петербурге; главою же и диктатором его должен быть Герцен.



АРТУР БЕНИ и Н. С. ЛЕСКОВ
Фотография
Институт литературы, Ленинград

Только Герцен и мог занять этот пост. Его имя пользовалось безграничным уважением, на него все привыкли смотреть, как на вождя, ему каждый мог подчиниться, не считая это унижением. Он был вне моды, которая тогда выносила на пьедестал то Сухомлинова, то Павлова, то Костомарова [100], и свергала их так же неожиданно, как и возносила. Он не принадлежал ни к какой школе, как Чернышевский, Благосветлов, Достоевский, Щеглов [101]. Он был слишком далеко от России, чтобы с ним можно было иметь личности ***. Он был в безопасности, стало, никакие аресты или преследования не могли отнять его у партии. Решено было, что я употреблю все меры для убеждения Герцена принять на себя эту должность и что не отстану от него до тех пор, пока он не согласится. Я должен был представить ему всю опасность положения России, в которой вызванное им же самим движение

* Зачеркнуто: тогда как.
** Зачеркнуто: покоряться.
*** Так в подлиннике.

грозило принять необузданный характер и произвести или бессмысленную революцию, или, что не лучше, превратить прогрессивное правительство в ретроградное. Кто ручался нам тогда, что правительство, поняв наконец, что над нигилистами нет никакой управы, одним почерком пера не усилило бы цензурных строгостей, не закрыло бы всех комитетов о реформах, словом, не отняло бы всего, что дало или хотело дать, и не возвратилось бы к страшной системе 1849—1853 гг.? А это и было бы, еслиб «Молодая Россия» и пожары не повернули бы общественного мнения в другую сторону, разом уничтожив потребность в предпринятой нами организации либералов. Я не приверженец и не поклонник Каткова, у меня в душе все-таки осталась, может-быть, невольная, rancune за его слишком бесцеремонное обхождение с нами, за его неджентльменские поступки с своими литературными врагами, но надо отдать ему честь, что он спас Россию и от нигилистов, и от реакционеров, заменив предполагаемое тайное общество «Московскими Ведомостями», которые долгое время были в самом деле тем посредником между народом и правительством, каким мы хотели сделаться. Самый факт огромного влияния «Московских Ведомостей» показывает, что в 1862 г. была действительно потребность в укрощении необузданных либералов и в разъяснении истинных стремлений и желаний людей трезвых и понимающих государственные вопросы [102]. Мы с Серно-Соловьевичем чувствовали это раньше, говорили об этом, когда никто еще даже и не думал, и если хотели достичь этого путями незаконными, то только потому, что не видели другого исхода. Журналистикой до катастрофы нечего и думать было пособить горю, — журналистика вся тогда превратилась в какое-то гнусное поле для личной перебранки и литературных доносов. Все принципы осмеивались в ней, ни одна редакция не уважала другой и считала каждую дельную идею, появившуюся в чужом издании, чуть не личной обидой. Положение было действительно «ужасное», как выражался бедный Серно-Соловьевич, и исход из него виделся только в диктатуре Герцена. О диктатуре Каткова тогда и в голову не могло притти, да и она никого не прельщала, потому что Катков, делавший литературные доносы и вырабатывавший принципы не по убеждению, а из ненависти к нападавшим на него нигилистам, был вовсе не симпатичной личностью. Не мы с Серно-Соловьевичем были виноваты в наших планах и в совещаниях, а дух времени нас толкал и горячая любовь к России руководила нами — страх за ее будущность, недоверие к своим и к чужим, запутанность положения, опасность катастрофы. Он стоял очень близко к петербургским либералам, я так же близко к лондонцам, и мы оба видели, что дело идет из рук вон плохо и грозит правительственной реакцией. Мы и протянули друг другу руки для спасения будущности России, потому что, кроме нас, никто не заботился горячо об этой будущности, по крайней мере, мы не видели, чтобы кто-нибудь серьезно искал исхода из тогдашнего неопределенного положения. Перед законом мы — преступники, но совесть у нас чиста; мы хотели спасти Россию и от революции и от реакции, и история нас оправдает, хотя нам не удалось осуществить нашего начинания [103].

«Осуществим ли был наш замысел?» — спрашивал я себя впоследствии, перебирая дела минувших дней, и пришел к отрицательному ответу: тайные общества в больших размерах кажутся мне невозможными, если цель их не так проста, как, например, отделение Польши от России, которую можно формулировать одним словом: «независимость» (Niepodległość), и если цель эта не поддерживается сочувствием хоть мещан, ремесленников, мелких чиновников и мелкой шляхты. У нас же дело другое: вопросы юридические, социальные, экономические туго

понимаются большинством, а оно никогда не станет рисковать за то, чего ясно не понимает и в чем, вдобавок, один столько же теряет, сколько другой выигрывает. За Кузьмой Мининым шли, как за каким-нибудь расколоучителем Антоном Петровым[104], потому, что знамя их было общедоступно, а за Пестелем не пошли. Нужно было понять, чего хочет Пестель, подумать нужно было, а понимать и думать дело не легкое, да к тому же мысль исключает увлечение. Что верно относительно восстаний, то верно и относительно тайных обществ. Откуда набрать понимающих агентов и членов для пропаганды таких сложных идей, как современные принципы, на которых зиждутся реформы? Как заставить их действовать в такт, отказаться от любимых коньков, безусловно повиноваться центрам? Чем контролировать их действия и карать в случае неповиновения или предательства? Легко было полякам завести жандармов, — у них дело ясно: патриот — живи! изменник — умри! А у нас где критерий? И где исполнители, если б даже и нашелся критерий или был бы какой высший суд? Сложные догматы, доступные только пониманию, несовместны с фанатизмом, потому что где мысль, там нет увлечения, исследование убивает религиозную восторженность. Самая лучшая форма тайных обществ — масонство; но масонство опять-таки — секта, с катехизисом, с посвящениями, с традициями; оно неприменимо у нас в политике, потому что у нас нет тайных учений, и нельзя брать клятвы с доктринера, что он не станет славянофилом, почвенником или социалистом. Иезуитская система послушания и взаимного надзора тоже неприменима при общем критическом настроении умов и при стремлении к свержению всяких общественных уз, так резко высказавшемся в нигилизме. Да наконец, иезуиты все состоят на жаловании ордена, что очень важно для подчинения их генералу, а догмат их тоже не хитер. Я, признаюсь, много бумаги перемарал на проекты устава тайного общества, и ничего не вышло хоть мало-мальски практического. Вот у Маццини ловко выходило. Dio e popolo! Долой немцев! Долой тиранов! Да будет Италия едина! — и не мог даже сам Маццини дать совета, как устроить у нас то, что так легко устраивалось в Италии. Кто у нас не думал в те времена о тайном обществе, — лучшие умы трудились над этим, не мы же одни с Серно-Соловьевичем измышляли устав, — и все ничего не вышло. Кружки человек в десять, много в пятнадцать, возможны, и их было да, я думаю, и теперь есть — множество. Но они бессильны уже просто потому, что в каждом из них разрабатываются свои собственные принципы и что они теоретически расходятся между собою. Авторитет Герцена мог их подчинить себе каждого порознь, но заставить их действовать совокупно, значило бы перессорить их. Они все ненавидели фантастических консерваторов (я сильно сомневаюсь, чтоб у нас были настоящие консерваторы-ретрограды), но еще больше ненавидели друг друга, доктринеры — почвенников, а нигилисты — тех и других. Ничего нельзя поделать в России незаконным путем! — не такое оно государство, и не так идет ее странная история, которая самые несчастия ее обращает в ее же пользу, как нарвское поражение, Наполеона, Севастополь, пожары, польское дело! Судьбы России — загадка, и, может-быть, не совсем не правы наши сектанты, утверждающие, что мы «род избранный, земля пророческая»...

Дней с пять я прожил у Серно-Соловьевичей, задержанный ожиданием случая познакомиться с беспоповцами, и отправился в Москву разыскивать своего друга Поликарпа, на которого я возлагал такие надежды и о настоящем имени которого я узнал только в Петербурге от беспоповского инока — знаменитого Павла Прусского. Поликарп Петрович оказался его преосвященством епископом Коло-

менским, владыкою Пафнутием!!! Эпизод моего знакомства с беспоповцами я расскажу ниже, по изложении всего, что я делал до выезда из России.

*

Без Ничипоренки дело и тут не обошлось. Кожанчикову нужно было ехать в Москву по своим книгопродавческим делам. Ничипоренко устроил, чтобы мы вместе ехали. Не знаю, как Кожанчикову, а мне это было крайне неприятно, потому что я имел право рисковать собою, но подводить кого под беду без всякой надобности было бы даже нечестно. Но пришлось покориться. Кожанчиков был уже на станции, а Ничипоренко взял за меня билет и отдал ему. Приехав вместе в Москву, пришлось и остановиться вместе в Челышевских номерах, против Большого театра, где Кожанчиков пробыл дней пять, а я четыре недели. Все разговоры мои с Кожанчиковым вертелись на его издательской деятельности, на книжной торговле да на «литературщиках», как он * окрестил либералов, которых презирал и ненавидел до мозга костей своих за их пустозвонство. Простолюдин по происхождению, он знал жизнь не из книг, а по опыту, — он без всякой посторонней поддержки из крепостного сделался книгопродавцем-издателем — и смотрел на вещи прямо. Падение нигилистов он предвидел и ждал его с нетерпением, вовсе не будучи по своим взглядам человеком отсталым или враждебным прогрессу.

Первый визит мой в Москве был сделан Ивану Ивановичу Шебаеву [105], лабазнику в Лефортовской части, о котором мне много говорил Поликарп, как о человеке современном, сочувствующем новому движению. Еще до поездки моей в Россию я дал знать брату моему, находившемуся тогда в Москве, чтобы он познакомился с Шебаевым, — это было мое чуть ли не единственное письмо к брату из-за границы. Ответа на него я не имел, но после я узнал, что брат завязал знакомство и очень понравился кружку Шебаева, хотя ничего в нем не сделал.

Отыскав дом и выслушав замечание лабазников Гаврикова переулка, что господина Шебаева нет, а есть тут купец Шебаев, я поднялся во второй этаж и спросил Ивана Ивановича. Вышел высокий молодой человек, в долгополом сюртуке, брюки в голенищах, большая русая борода и светлые голубые глаза. Наружность у него была нервная, мягкая, — это был поэт, мечтатель, человек, способный увлекаться всем загадочным и выходящим из ряду обыкновенного. Я сразу понял, с кем я имею дело.

— С Иваном Ивановичем Шебаевым имею честь говорить?

— Я-с.

— Очень рад познакомиться. Мне нужно сказать вам несколько слов наедине, потрудитесь притворить двери.

Мы были в зале. Иван Иванович вздрогнул и молча пошел затворять двери.

— Скажите, пожалуйста, где и как бы мне повидаться с Поликарпом Петровичем, то-есть с владыкой Пафнутием...

— Как-с? Я не знаю-с...

— Иван Иванович, вы все знаете. Владыка вам все говорил, где он был последнее время, у кого жил, что затеялось, — довольно того, что я и об вас через него знаю, он сам поручил мне обратиться к вам когда я буду в Москве. Меня зовут Василий Иванович...

— Господин Кельсиев!

— Честь имею представиться!

Что сделалось с Шебаевым, трудно рассказать. Он зашатался. Страх

---

* Зачеркнуто: называл.

и радость с быстротой молнии сменялись на его нервном лице. Он всплескивал руками, бродил из угла в угол, сажал меня, обнимал, жал мне руки, — словом, не знал, что делать. Наконец, вдруг исчез и явился с орехами, изюмом, пряниками и бутылкою хереса, сказав, что сейчас и самовар будет. Эти хозяйственные хлопоты привели его в себя, и он объяснил, что владыка уехал по делам в Киев, сообщив ему и его приятелям все, о чем мы говорили в Лондоне. Что замысел этот почти никому неизвестен в Москве, что даже и открывать его опасно старикам, которых «умы не досягают такой высоты», и что все надо обделать втихомолку, а для этого самое лучшее будет переговорить с его приятелями, которых он завтра и пригласит к себе.

Шебаев — человек небольшого ума и не особенно сильного характера. Это энтузиаст, фантазер, вечно способный на увлечения, вспыхивающий, как солома, при каждой новой и честной мысли, а особенно при каждом трудном и необыкновенном предприятии. Пафнутий и он были для меня первыми образчиками того нового поколения сектантов, которое покуда не имеет еще голоса, но которое лет через двадцать не преминет* занять важную роль в судьбах России, и потому нелишним будет сказать о нем несколько слов.

Основатели первых наших сект, деятели XVII в. были невежды. В их сочинениях мало дельного и определенного. Они одно только знали, что с падением Цареграда главенство над православным миром перешло в Россию вместе с двуглавым орлом и с царским титулом. Народ и до сих пор верит, что Москва — т р е т и й Р и м (в Италии — в е т х и й Р и м, Цареград — н о в ы й Р и м, а Москва — т р е т и й) и что ч е т в е р т о м у Р и м у не быть. От этого Россия — Н о в ы й И з р а и л ь, р о д и з б р а н н ы й, з е м л я п р о р о ч е с к а я, в которой должны исполниться все пророчества ветхого и нового завета, из которой даже антихрист должен выйти, как Христос вышел из п р е ж н е й святой земли. Представитель православия, русский царь, — законнейший государь на свете, потому что он занимает престол царя Константина. Один древний народный стих, до сих пор распеваемый нищими, так говорит о России и о ее царе:

Святорусь земля — всем землям мати.
Оттого Святорусь земля всем землям мати —
Исповедует веру крещеную,
Христианскую, православную.
Святорусский царь — над царями царь,
Оттого святорусский царь над царями царь —
Он строит церкви соборные,
Соборные, богомольные.
И все цари, короли, мурзы ему поклонятся,
Все царства подойдут под руку его.

И народ наш в это сильно верит и вовсе не в шутку считает себя первым народом на свете. В этом-то и лежит причина раскола. Никон и Петр, вырывая плевелы, стали вырывать и пшеницу и оскорбили народную гордость. Неужели ж нам, толковали первые старообрядцы, русскому народу, царству третьего Рима, исправлять наш обряд и книги по греческим образцам, когда эти самые греки отвергнуты богом за их нечестие и наклонность к латинству, так что даже римская власть их перешла из Цареграда в Москву? Неужели же нам, православным, одеваться и жить по-немецки, когда немцы не только еретики, да еще сами не умеют дома у себя управиться, а к нам на наши хлеба лезут? Трудно судить теперь Никона и Петра, но, несмотря на все их усилия, нельзя не видеть, что ни церковь наша не

* З а ч е р к н у т о: играть.

похожа ни в чем на греческую, ни быт наш государственный и общественный не сформировались по-немецки. Борода до сих пор запрещается, национальный наш крест, знамя русской народности от Авачи до Львова, до сих пор в забвении, наши народные праздники, обычаи, уборы в пренебрежении, но борода все растет да растет, как ни брей ее, а народ все помнит да помнит свои особенности, как ни заглаживай их. Раскол взял на себя защиту всего старого и народного, ударился при этом, разумеется, тоже в крайности, доходя в одну сторону до «странничества», а в другую — до молоканства, жидовства и скопчества. Пока православное духовенство и чиновничество, теснившее его, было невежественно, и он не заботился об учености; но когда гонители его оказались людьми сведущими в писании, и он пустился в исследования, произведшие огромную рукописную литературу. Чем его били, тем и он отражал удары, слагаясь под ними в выработанные системы и развивая свои учения в подробностях. Так наступил нынешний век, царствование Александра Благословенного, вызвавшее тоже пробуждение умов в России. Политика пошла в ход, либеральные идеи проникали в общество, угрюмые сектанты прислушивались к ним, но мало им сочувствовали, считая их навождением диавольским и не видя, к чему бы их применить. Но новое настроение общества не прекращалось, идеи лились и лились и проникали силою в массу сектантов. Настали 40-е годы, министерство Перовского приняло суровые меры для уничтожения раскола[106]; сектантов теснили; кто мог, бежал за границу; озлобление их было доведено до крайности, и новые идеи принялись мигом. Счастие правительства и России, что тогда не было у нас либералов и революционеров: «мы бы все поголовно встали тогда», — говорили мне раскольники, эмигрировавшие в Молдавию и в Турцию в это тяжелое для них время. Но общество не откликнулось на их либерализм, даже сочувствовало гонениям, благо они изуверство искореняли, и раскольники покорились, тайком устраивая белокриницкую митрополию. Прошла война, настало новое царствование, свежим воздухом пахнуло на всю Россию, всем стало вольней, легче, старая система * исчезала с каждым днем, как листья осенью, и прежние либералы-сектанты мигом успокоились и примирились с правительством; так довольны они были немногим, что им дано, и так счастливы, что не подвергаются уже большой опасности за соблюдение своих обрядов. Но молодежь иначе стала смотреть на дело. Выросшая и воспитанная под влиянием этих самых либералов и критиков распоряжений правительства, она не могла удовольствоваться теми немногими послаблениями сектантам, которые даже ничего им не гарантировали, потому что зависели от секретных циркуляров, то-есть имели, очевидно, только переходное значение. Молодое поколение слишком проникло современными учениями, чтобы не стремиться к приобретению тех же гражданских прав, какими у нас пользуются иностранные исповедания. Антихристианские учения и нигилизм не принялись в нем, но понятия о гражданской свободе, о веротерпимости, об одинаковых правах всех русских, без различия вероисповедания, на государственную службу — все это принялось близко к сердцу. Со временем из этого поколения образуется весьма сильный и полезный консервативный элемент в государстве, нечто в роде английских dissenters, но в 1862 г., когда я столкнулся с ним, он был в переходном положении. Шебаев и его немногочисленные товарищи были слишком небогаты и слишком молоды, чтобы иметь решительный голос между своими, и потому стояли между двух огней: правительством,

---

* Зачеркнуто: падала.

которое * их терпело на условии, чтоб не делали «открытого обнаружения ереси», и стариками, которые, покоясь на лаврах прежнего «мученичества и страдания за древнее благочестие», увеличивали свои капиталы и допускали кое-кого из молодежи вмешиваться в общественные дела, на условии не вводить их в хлопоты и не навлекать на «христиан» новых гонений. Стало-быть, ни на правительство, ни на стариков считать было нечего. Оставались одни прогрессисты, которые толковали вечно о свободе, о правах человека, которые заискивали сближения с простым народом и казались молодым сектантам реальною силою. «Мы, наша партия, наш голос, наше влияние, — слышалось на каждом шагу, — мы сделаем переворот, мы заставим правительство уступить нам!» — и сектанты, скромные и робкие, как все наше купечество, невольно дались в обман и приняли эти кружки за силу в государстве. Пафнутий, представитель ** поповщинской молодежи, точно так же принимал нас за всемогущих деятелей и потому заискивал нашей помощи, Шебаев и прочие пошли по его следам.

Итак, появление мое в Москве произвело на них хорошее впечатление. Я казался им пророком, призванным разрубить гордиев узел их недоразумений, и они собрались слушать меня, но их было всего трое: Шебаев, Семен Семеныч, знаменитейший из тогдашних богословов поповщинского согласия[107], и Александр... *** С... ***, **** человек ничем не замечательный, вялый, сантиментальный, платонически любивший науку, прогресс и свободу, одетый по-европейски и выражавшийся изысканно. С первых слов я увидал, что они ровно ничего не понимают в политике, даже не знают, о чем дело идет. Они, например, спрашивали у меня, когда назначена революция в России, кто будет президентом русской республики и тому подобные нелепости или наивности. Сначала я думал, что они хитрят, выведать у меня хотят, «какова я птица есмь и какого духу человек», но вскоре пришлось убедиться, что они просто-напросто слышали, что звонят, да не знали, в котором приходе. И революции они вовсе не сочувствовали, они боялись ее, но им казалось, что уж если человек приехал из Лондона, подвергаясь опасности, толковать о политике с ними, то уж не иначе, как подбивать их на бунт. Я был для них зверь морской, птица-юстрица, и они меня созерцали со страхом, с любопытством и с надеждой поживиться чем-нибудь в пользу их церкви.

Крепко удивились они, когда я объявил им, что революция не будет и не должна быть и что главная цель моего приезда и знакомства с ними — предупреждение взрыва ***** устройством правильной оппозиции старым порядкам. Систему мою я им тут же изложил, но им она в головы не лезла: они ожидали, что я буду вопить о крови, о цареубийстве, выну и разорву портрет государя, — словом, они ничего не понимали по своей неподготовленности к политическим вопросам. Затем я поднял вопрос о печатании их книг; они сейчас же снабдили меня рукописями, но крайне удивились, что у нас нет средств на заведение типографии. «Да, ведь, у вас в Лондоне миллионы-биллионы должны быть», — говорили они мне, и сильно потерял я в их глазах, намекнув, что может-быть, им придется раскошеливаться. «Мы

* З а ч е р к н у т о: только.

** З а ч е р к н у т о: новопоповской.

*** Пропуск в подлиннике.

**** Я совершенно забыл отчество и прозвище этого человека, — моя память очень пострадала от солнечного удара (coup de soleil) в Цареграде. Можно справиться об его имени у автора «Раскол, как орудие враждебных России партий» — «Русский Вестник», апрель 1867 г. Впрочем, этот Александр С. — преничтожная личность. Пафнутий тоже хорошо его знает[108] [примеч. Кельсиева].

***** З а ч е р к н у т о: организацией.

люди небогатые, нам это не по силам, кой-как торговлишкой своей промышляем; надо за таким делом к вельможам обратиться, это только они могут устроить». И таким вельможей, человеком с понятием и просвещением, был, по их мнению, Кузьма Терентьевич Солдатенков; но он выехал незадолго перед тем за границу [109].

Много труда и терпения нужно было мне, чтобы растолковать им, чего нам нужно от них, и сильно я сомневаюсь, поняли они меня или нет, хоть я битых четыре недели употребил на это втолковывание. Главное, чего я добивался от них, как от людей, все-таки близко стоящих к народу, — какие реформы будут народу «приятны», и какие нет. Не помню теперь хорошенько, но мы остановились на семи статьях: 1) свобода вероисповедания, 2) свобода слова, 3) гласный суд, 4) сокращение срока военной службы, 5) борода, 6) усиление выборных учреждений и 7) кажется, земский собор, с голосом совещательным, но не решительным, как в западных конституциях, которые именно все и страдают антагонизмом верховной власти с народною и которые, будучи выкроены по английскому образцу, нигде не привели ни к чему путному, за исключением самой Англии, конституция которой имеет смысл, потому что развилась исторически.

На второй неделе моего пребывания в Москве я познакомился с четвертым членом их кружка, с Александром Богомоловым (Боголюбовым? Богохваловым? — что-то в этом роде) [110]. Я сидел у Шебаева, — к другим я не ходил, и все переговоры происходили, преимущественно, у Шебаева, с ним да с Семен Семенычем, который, впрочем, уж и совсем не интересовался ничем, выходящим из сферы полемики с беспоповцами, — сидел я у Шебаева и пил чай. Вошел какой-то купец, высокого роста, рябоватый, с строгим и приятным выражением лица. Я сейчас же сделал вид, что я какой-нибудь писарь или канцелярист, пришедший писать прошение или принесший справку по делу, — это была моя постоянная уловка при появлении кого-нибудь чужого. Набралось еще гостей, посидели, покалякали и ушли. Остался только Шебаев, я и высокий купец. Он внимательно всматривался в меня.

— Долгом считаю объясниться с вами, Василий Иванович, — вдруг заговорил он, — меня зовут Александр... * Богомолов, может, вы обо мне слышали в Лондоне от владыки Пафнутия?..

— Слышал и очень рад познакомиться с вами...

— А я-с не хотел знакомиться с вами и до сих пор бы не познакомился, но меня уверили, что вы вовсе не хотите крови и даже в Москву инкогнито изволили приехать именно затем, чтобы кровь не пролилась. Правда ли это?

— Само собой разумеется, правда! — отвечал я, сильно удивленный таким приступом.

— Позвольте же пожать вашу руку и попросить вас к себе завтра вечером...

— С величайшим удовольствием.

— Ну-с, а покуда — до свидания. Надеюсь, что все останется втайне. — И он вышел, оставив меня в крайнем недоумении.

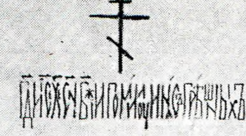
Я явился в назначенное время. Самовар уже ждал меня на столе, — без самовара слова не было сказано между мною и старообрядцами.

— Позвольте спросить вас, — сказал Богомолов, — какая есть сокровенная цель вашего приезда сюда и обращения к нашей нации (т.-е. согласию).

---

* Пропуск в подлиннике.

ПРОКЛАМАЦИЯ В. И. КЕЛЬСИЕВА К СТАРООБРЯДЦАМ
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва



Гди Ісхе Сне Біи помилуй насъ грѣшныхъ

Последняя пора приходитъ, положенный срокъ вышелъ, и народъ по разнымъ мѣстамъ сталъ пошевеливаться. Не сегодня такъ завтра и христолюбивое воинство наше пойдетъ на Москву выборныхъ отъ народа на земскій соборъ скликать со всей земли, а лиходѣевъ за границу къ нѣмцамъ прогонять. Принимайте же воинство съ честью, съ хлѣбомъ съ солью и съ колокольнымъ звономъ, каждый по своей вѣрѣ, потому что и вѣрамъ всѣмъ можно будетъ полную утвердить волю. За всѣхъ вышедшихъ ратовать за васъ молитесь Богу и помогайте кто чѣмъ можетъ. Гдѣ нельзя будетъ тотчасъ подняться, выбирайте тамъ себѣ тишкомъ военное начальство: десятниковъ, сотниковъ, полковниковъ, воеводъ, какъ в старину. Тоже оружіе припасайте, какое кто можетъ. И другъ съ другомъ сговоритесь осторожно. Крови лишней не проливайте, безъ нужды людей не избивайте, въ пьянство и въ грабежъ никому вдаваться не позволяйте. А вставайте честно, отецъ съ сыномъ, тесть съ зятемъ, братъ съ братомъ, и стойте дружно, за Землю Святорусскую, за Міръ Народъ Божій: не торопко, да и не мѣшкотно. Чтобы завести у насъ порядокъ по-Божьему, а не по-нѣмецкому, и не по-французскому, и не по-англійскому: Чтобы Земля Святорусская немедленно вышла изъ подъ рабства, и досталась своему законному испоконному владѣтелю Народу Святорусскому, безъ урѣзки, и безъ вымучиванья у него выкупа. Чтобы управлялся, судился и расправлялся, и подати раскладывалъ народъ самъ собой, своими людьми: а не чиновниками грабителями и притѣснителями. Чтобы досталась народу и земля и воля. Чтобы войско впредь набиралось только изъ охотниковъ, а теперешнимъ бѣднымъ солдатамъ [illegible] домой идтить, кто пожелаетъ. Чтобы царствовала у насъ своя правда, а не чужая кривда. До кого это дойдетъ, и кто это пойметъ, и Міръ за собой поведетъ, тотъ людямъ великое добро сдѣлаетъ, а себѣ заслужитъ отъ Гда праведное воздаяніе, ибо за ближнихъ своихъ душу свою полагалъ. Крестьяне и мѣщане, дворовые и міряне, купцы и попы, казаки, солдаты и офицеры, старовѣры и всякіе разновѣры: казенная мироѣдная власть проходитъ, мірская народная приходитъ, иностранная исчезаетъ, святорусская наступаетъ. Имѣющіи уши слышати да слышитъ. аі числа мца Февруарія текущаго года. Аминь.

Я рассказал ему о положении России, о духе партий, об общей неурядице, — словом, все, к чему я пришел в Лондоне и в Петербурге, и затем объяснил ему роль, какую мог бы играть раскол, как уже готовая организация (чего, именно, недоставало православным), в деле указания правительству путей, по которым ему следует итти для блага и величия России. Я изложил ему мои семь пунктов, он обдумал их и сказал, что это — дело возможное и хорошее.

— Мы это можем сделать, дело благое и для правительства и для народа, только, уж вы, Василий Иванович, не обидьтесь, сделаем мы это, но без всяких сношений с Лондоном...

— Отчего так?

— Не приходится-с. Дело больно опасное, да и народ загалдит, что мы с вами спознались.

— Да ведь лучше же действовать сообща?

— Лучше оно точно, только не приходится-с. Россию-то мы с вами оба крепко любим, и оба видим одинаково, чем она больна, да ваши-то не тем ее лечат; только дело путают, сами ж вы это изволили заметить. Так вот оно и подходит, кажись, время, когда опять Кузьма Минич Сухоруков понадобится, вон и картина у меня висит, как он князю Пожарскому меч подает, — вам эта история, полагаю, известна. Так вот вам и спасибо, что вы не похожи на других, а страху не побоялись, сами пришли опасность указать; за это вас вся-

кий похвалит, честь вам и слава! А делов с Лондоном вести все-таки нельзя.

Чего я ни говорил, как я ни убеждал, Богомолов стоял на своем и отказался от всякой переписки с нами, даже не хотел больше видеться со мною. Признаюсь, я до сих пор питаю огромное уважение к этому истинно русскому и истинно благородному человеку, готовому голову положить, на риск свиданья пойти с «инкогнито» для предупреждения междоусобицы. Вот такими-то людьми вся земля и держится. Если они не перевелись, значит есть у нас еще и Сухоруки, и Сусанины, значит мы здоровый и крепкий народ. О свидании с Богомоловым и что произошло в это свидание, знал до сих пор только я, Герцен и Огарев.

На этом и кончаются мои сношения с московскими старообрядцами. Других знакомств я не заводил, опасаясь наткнуться бог знает на каких людей, да и все мне говорили, что старое поколение, как огня, боится политики, а молодое слишком зависимо от него, чтобы действовать самостоятельно. И так, большого труда стоило провести свои идеи в кружке Шебаева, чтобы пытаться пропагандировать их далее. На этот кружок я рассчитывал, как на зерно, из которого образуются другие в том же направлении, и, поручив Шебаеву стараться об этом, а равно действовать и на беспоповцев в том же смысле, я обещался ему переписываться с ним, основать в Лондоне газету для поддержки старообрядцев в их борьбе с притеснениями полиции, взял с них обещание достать денег на типографию и уехал в Петербург, в полной надежде, что поездка моя, во всяком случае, была не напрасной, если даже такие люди, как Богомолов, взялись за дело, хотя бы и помимо нас. Мне не столько думалось о личном влиянии или о влиянии Лондона, сколько о том, чтобы осмыслить движение и сделать его полезным. Ничто меня так не печалило, как доктринерство, порождавшее нигилизм. Я тогда был почвенником и до сих пор остаюсь им: я слишком много потерся между простонародьем, чтобы не убедиться, что многое, прекрасное для России, никуда не будет годиться для Турции. Я слишком хорошо изучил Молдавию, чтоб не понять, как она бедствует именно от тех порядков, которые французы считают лучшими и которых добиваются их либералы. Будущность России зависит от пристальнейшего изучения нашего народного быта, со всеми его предрассудками, предубеждениями, и мудрость нашего правительства, как и всякого другого, может выразиться только в разумных уступках этим «отеческим преданиям» и умении пользоваться ими для ведения нас вперед. Не на бреднях своих оборвались наши нигилисты и доктринеры принципов 1789 г., а на том, что учение их было непопулярно, что оно вразрез шло с нашим народным характером, изучить который они даже не постарались, и великое мое счастье, что документы о раскольниках заставили меня приняться за это изучение.

*

Но не с одними раскольниками пришлось мне возиться в Москве. Еще в Лондоне, как я и говорил, было у меня задумано связать людей нашей партии с сектантами, для * взаимного обмена идей, новостей, для того, чтоб подвигать вперед сектантов и обуздывать пыл наших. В Москве был у меня брат, которого я думал сделать моим агентом, по сношению с старообрядцами, но в Петербурге я услышал, что его подозревают, будто он агент III отделения, что меня поста-

* Зачеркнуто: устройства.

вило в тупик; а в Москве я узнал, что накануне моего приезда его увезли в Верхотурье за вмешательство в студенческую историю, и увезли безжалостно строго: полицийместер Сечинский не позволил ему захватить ни шубы, ни белья и отправил его за Урал в марте месяце в одном ватном пальто!!! [111]

Но был у меня в Москве знакомый, человек, слывший очень умным и одним из передовых, — известный библиофил Виктор Иванович Касаткин [112]. На другой день по приезде в Москву, я отправился к нему. Он еще спал, я подождал, пока он выйдет из спальни, и сильно боялся, что его слуга заметит его изумление и испуг при виде меня. Дверь отворилась, Касаткин в лице даже не изменился, глазом не моргнул, спокойно протянул мне руку и только спросил, как будто мы вчера виделись: «А, здравствуйте! как поживаете?» Уже потом, когда мы остались одни, он дал волю своему волнению. Не всякий имеет такую завидную способность самообладания.

Я рассказал Касаткину о Поликарпе, о цели моего приезда, о переговорах с Николаем Серно-Соловьевичем. Он не одобрил ни того, ни другого. По его мнению, мне вовсе не следовало ездить в Россию, а просто написать ему о желании старообрядцев сблизиться с нами; он даже заговорил, что я могу теперь возвратиться в Лондон, так как он уже знает, что мне было нужно. Я не мог согласиться с его взглядом. Написать в Москву я и сам умел, но я не был уверен, что сближение устроится так же ловко помимо меня, уже несколько лет думавшего об нем, и что не примет ложного и даже вредного характера. Мое намерение не уезжать из Москвы, пока не увижу, что дело пошло на лад, обидело Касаткина. Он начал говорить, что я на себя навлекаю опасность и другими рискую, толковал мне об осторожности и тут же пригласил обедать у Кокорева, в его ресторане, и советовал побывать на публичных чтениях. Насчет диктаторства Герцена он также неблагосклонно отозвался, говоря что из-за границы невозможно вести русских дел, что есть на это и в самой России люди деятельные, способные, что дело идет и без того как нельзя лучше, но я никак не мог добиться, как оно идет, куда, с какою целью...

Может-быть, я не прав в отношении Касаткина, может-быть, я дурно понимаю его, но он показался мне, и до сих пор кажется, человеком, страдающим болезненным самолюбием. В жизни ли что-нибудь ему не удалось, или желчный темперамент его заглушал голос рассудка, или просто он был избалован общим поклонением * его уму и сведениям, только Касаткин был очень высокого о себе мнения и ни с кем себя не равнял. Все предводители кружков считали себя призванными некогда управлять судьбами России, я не видал ни одного предводителя хоть бы трех-четырех человек, который не метил бы хоть в министры, и ни одного кружка, который бы не считал себя влиятельнейшим в России, но в Касаткине это самолюбие доходило, как я сказал, до болезненности. Мой приезд был ему личным оскорблением, посягательством на его авторитет, мое старание сосредоточить движение в руки Герцена было бунтом в глазах Касаткина. Он не преминул порисоваться мною, возил меня зачем-то к князю Трубецкому, мировому посреднику [113], и к Афанасьеву (собирателю сказок) [114], которые оба были его поклонники, но едва ли серьезно мешались в политику; по крайней мере, я не слыхал от них ничего особенного, да и разговоры мои с ними ограничивались общими фразами, бывшими тогда в ходу. Оба они сильно переконфузились, когда Ка-

* Зачеркнуто: знакомых.

саткин представил им меня, и ничего мне не высказали, кроме * сочувствия прогрессу и всему либеральному. Я согласился на знакомство с ними, ожидая видеть в них бог знает каких деятелей и какие умы, а оказалось, что Трубецкой думал только о честном и щедром применении к дворовым людям положений 19 февраля, а Афанасьев весь был ** пропитан jusqu'aux bouts des ongles сказками, редкими рукописями и редкими изданиями. Кажется, Касаткин просто-напросто эксплоатировал этих людей своим нравственным перевесом над ними, силой ума и силой характера: князь Трубецкой был ему нужен по своей популярности между дворовыми, а Афанасьев, как обладатель драгоценного собрания редких книг и рукописей, мог удовлетворять библиофильской страсти Касаткина. Больше он ни с кем меня не знакомил, а знакомство с князем Трубецким и с Афанасьевым едва ли не было сделано с целью возвысить в их глазах свой собственный авторитет. Впрочем, быть-может, я дурно понимаю Касаткина.

— Мы все сделаем, мы ничего не упустим, — говорил он мне, когда я приставал к нему, чтоб он и его приятели немедленно бы начали действовать, а, между тем, никто ничего не делал. Я познакомил их с Шебаевым и с Семеном Семеновичем. Семен Семенович тут же просил их похлопотать о его паспорте, который был у него как-то не в порядке, как обыкновенно у крестьян. Небольшой труд было сделать ему эту услугу, которая разом бы показала им нашу силу и поставила бы их в зависимость от нас. Обещали они и ни шагу не сделали для Семена Семеновича. Касаткин был вечно занят своим изданием; он вовсе не был деятелем, он только себе и другим казался политическим человеком; а про князя Трубецкого и про Афанасьева и говорить даже нечего — они уж решительно ни к чему не были причастны.

Пребывание мое в Москве злило Касаткина. Самолюбивый и мнительный, он все думал, что я подкапываюсь под его авторитет, что я хочу сделаться главою движения, и не раз я замечал, как страшная внутренняя буря искажала черты его обыкновенно очень красивого лица. «У нас, — едко замечал он, — все хотят быть головами, а никто не довольствуется оставаться в хвосте». Намек был ясен, но я принял за правило делать вид, что не понимаю; мне нужно было сближать людей, и потому я считал себя обязанным делать все уступки для избежания личных разрывов. А тяжело было ладить с этой самолюбивой и завистливой личностью: это он распустил слух, что Бени и брат мой — агенты III отделения; он не прощал никого, осмелившегося высунуться вперед [115].

Было у него какое-то дело в Петербурге, он уехал, я вздохнул свободнее, хоть и остался без той помощи, которую от него ожидал. В раздумье я обратился к князю Трубецкому, — тот, для того ли, чтоб от меня отделаться, или чувствуя себя несклонным к исполнению моих замыслов, познакомил меня с Козловым [116].

Козлов был тоже кандидат в министры, кружок его тоже состоял из двух человек (какие-то Софони, Софиони, Софати, два брата греческого происхождения [117]), но характер козловцев оказался совсем другим. Это были гегелисты в поддевках, говорили ужасно темно, к каждому вопросу подступали свысока, разбирая его субъективно и объективно, так что уши вяли. Чего они хотели и чем были недовольны, также остается втайне, по крайней мере для меня. Говорили они много о своем значении, о популярности, намекали на свое влияние и связи, — словом, несли

---

* Зачеркнуто: общего.

** Зачеркнуто: поглощен.

ту же околесицу, что и Касаткин и все тогдашние кружки, и ровно ничего не делали. Одним только они заслужили тогда мое искреннее уважение и мою еще более искреннюю благодарность, — они напрямик объявили, что неспособны толковать с старообрядцами, потому что боятся испортить дело, не будучи в состоянии скрывать своих высших взглядов и отстать от мудреных выражений. С проектом моим действовать умеренно, в видах предотвращения революции и сближения с правительством, они тоже не сошлись, потому что я вел дело уж очень просто, не вдаваясь ни в какие логические построения и упуская субстанции an sich и für sich; но, опять-таки, решились мне помогать всеми средствами и тут же обещали мне добыть человека, годного быть связью между образованным меньшинством и старообрядцами, — Петровского [118].

Петровский, по своему характеру, — двойник Шебаева: та же готовность на все честное, та же способность увлечься всем, выходящим из ряда обыкновенного, та же мягкость и податливость в присутствии более сильной натуры. Эти люди редко живут своей самостоятельной жизнью, они слишком скромны и чисты, чтобы * давать отпор чужому влиянию. Все мистики таковы; таковы последователи разных фантастических учений — масоны, мормоны, хлысты, скопцы. Опасное, загадочное магнетизирует их, и они не в силах устоять против увлечения, — они даже сами сплошь и рядом вызывают таинственные силы, чтоб отдаться безусловно в их распоряжение. Библейская Ева, гетевская Гретхен, мотылек около свечки, дитя над озером — повторение одного и того же типа, исполненного неудержимым влечением ко всему загадочному.

Петровский в восторг пришел, узнав, что я эмигрант, и тут же отдался в мое распоряжение, безусловно, беззаветно, душою и телом, не требуя ни награды, ни выговаривая себе уступок. Идеи мои он принял и поставил себе в закон. На другой же день я повез его к Шебаеву, они сошлись, понравились друг другу, и дело было сделано: у меня был в Москве специальный агент, проводник между мною, старообрядцами и всевозможными кружками, агент, который ни на шаг не вышел бы из моих предписаний.

Оставалось сделать еще одно. У старообрядцев всех толков огромным влиянием пользуются келейницы. Келейницы — это девушки, отрекшиеся от брака, посвятившие себя молитве, богоугодным делам, пожалуй, сплетням, пересудам, разноске вестей и всему прочему. Купчихи смотрят на них с большим уважением, откровенны с ними, посвящают их во все свои тайны и руководствуются их советами. Я просил Шебаева познакомить меня с ними, но Шебаев объявил, что «как же они будут знакомиться с посторонним мужчиною, — ведь они — девушки, невесты христовы». Пришлось опять обратиться к философам, и они тотчас же познакомили меня с Марьей Александровной Челищевой [119], которую я и свозил к Шебаеву, выдав ее перед его матерью и братом (вовсе не посвященным в наши замыслы) за мою жену. Челищева показалась мне очень не глупою девушкой, немножко экзальтированной, но вполне способной к делу я ее не считал, — она тоже чересчур вдавалась в философию, по примеру своего наставника, Козлова. Но делать было нечего — пришлось пользоваться теми средствами, какие под руками были.

*

Итак, все было сделано, даже с простонародьем успел я вдоволь наговориться, посещая харчевни, пивные, кабаки. Я ничего не проповедывал, я больше выпытывал, что народ думает, и это опять убедило

---

* Зачеркнуто: бороться.

меня, что всякое восстание у нас будет гибелью для образованного класса. Ненависть к студентам границ не знала, — народ принял их за сыновей помещиков, бунтовавших против государя, зачем он отнял у них крестьян. «Подымись они еще раз, — говорили мне мои кабацкие знакомые за косушкой водки, — народ их всех перебьет, жен и детей их не пощадит» — и это без всякого вызова с моей стороны, без высказывания мною какого-нибудь мнения. Я выдавал себя обыкновенно за дворового человека, бывшего камердинером у барина и приехавшего в Москву искать места: «Барин мой не в силах теперь держать такую большую дворню, какая у нас прежде была, вот мы теперь и ищем себе хлеба». Меня в этой беде утешали; говорили, что царь дал такие права дворовым, что хочешь бери землю, хочешь не бери, а когда понадобится, так барин все равно должен будет надел дать и двор на свой счет поставить; это меня один дворовый утешал, советуя мне детей моих приучать к сохе. Он сам собирался тоже приняться за землю и не сегодня-завтра думал итти за этим к посреднику. Слушатели поддакивали ему и одобряли его совет.

На страстной приехал Касаткин, уже окончательно злой, и привез неутешительное известие, что III отделение знает о моем пребывании в Москве и что за мной следит какой-то господин с огромною русою бородой. Этому-то я плохо верил, но и дело было у меня кончено и Касаткина врагом делать не следовало, да, наконец, и в самом деле, дальнейшее пребывание в Москве было и не нужно и опасно: государственные люди in spe были народ преболтливый. Я простился со всеми и уехал в Петербург, где пробыл дня два, чтобы попасть на границу в самый разгар праздников, когда таможенные чиновники должны быть побеззаботнее. В Петербурге я виделся только с Серно-Соловьевичем и с неизбежным Ничипоренко. Серно-Соловьевич одобрил мой образ действия в Москве, хотя и не сходился со мною по каким-то мелким вопросам, и взял с меня слово, что я настою у Герцена в принятии им звания предводителя. Что сам Серно-Соловьевич делал, я не знаю, потому что не считал полезным спрашивать. Анонимная система все-таки самая лучшая в подобных делах, и невмешательство одного члена в дела другого — единственная гарантия безопасности. Ему нужно было действовать в Петербурге, мне в Лондоне, стало-быть, всякие расспросы и откровенности были тут не у места.

На этом и кончается рассказ о моем пребывании в России. Я ничего не утаил, я изложил подробно и замыслы мои и средства, к которым я прибегал для осуществления их, но я думаю, что показания моих участников, добытые следственной комиссией по этому делу, сильно разнятся от моих. Допрашиваемые скрывали факты, выгораживали друг друга, оправдывали себя, — дело было слишком свежо, кара грозила им за сношения со мною. Теперь, когда я пишу это, уже пять лет прошло со времени моей поездки, дух общества, идеи, стремления переменились, переисследование дела было бы даже бесполезно, по крайней мере не принесло бы практической пользы... Но если оно необходимо, чего я не думаю, потому что даже польские дела уже преданы забвению, если правительство сочтет нужным проверить мои показания, пусть оно сделает это, не тревожа моих бедных соучастников, которые и так уж трепещут теперь, узнав из газет о моей явке с повинною головой. Они слишком много настрадались за свою вину, их родные и друзья набрались слишком много страху за них; пусть правительство через агентов своих не шумно, не гласно проверит это старое дело. Мне легко было писать об нем, надежда на гуманность правительства побуждала меня назвать ему по имени каждого, с кем я был в сношениях, но теперь, невольный страх щемит почему-то мне душу, и только

вера в бесконечную доброту государя удерживает меня от искушения уничтожить эти листы, пока они еще в моих руках. Молю я государя и правительство, пусть они пощадят этих бедных, а если нужно покарать кого, пусть вся кара обрушится на мою буйную голову!

*

Мне остается еще рассказать о моих сношениях с знаменитым беспоповским наставником Павлом Прусским[120], об устройстве контрабандного ввоза лондонских изданий в Россию и о происшествиях в Лондоне до последних чисел августа 1862 г., когда я уехал в Турцию; на этом кончится настоящий отдел, самый длинный в моей исповеди.

*

Я сказал, что я долго пробыл в Петербурге, потому что искал случая познакомиться с беспоповцами. Александр Серно-Соловьевич еще до моего приезда как-то сошелся с одним беспоповцем из того нового поколения наших сектантов, которое стыдится дикости и отсталости своих стариков и ищет случая показать, что оно вовсе не враждебно ни прогрессу, ни новым идеям. Сношения Александра с этим человеком не имели никакого политического характера, — он был приказчик в Гостином дворе, у купца Бородина (Бородулина? или что-то в этом роде, — жалею что не могу припомнить имени этого честного человека), тоже беспоповца, торговавшего, кажется, шляпками. Приказчик этот заходил в книжный магазин Серно-Соловьевичей позаимствоваться новостями и достать книжку какую-нибудь для услаждения ума и сердца в часы досуга. Когда я приехал в Петербург и высказал мое намерение познакомиться с старообрядцами, Александр тотчас же вспомнил об этом приказчике и стал у него расспрашивать о петербургских влиятельных беспоповцах. Приказчик сообщил ему, что в настоящее время находится здесь великий учитель, инок Павел, человек, которому слепо повинуется большинство федосеевцев. Не теряя времени, Александр, при помощи приказчика сошелся с этим Бородулиным и сказал ему, что он хотел бы его познакомить с одним молодым человеком, который долго жил за границею, изучал там богословие и все веры наперечет знает, т. е. со мною. Бородулина заинтересовала моя личность, и он назначил день, когда нам к нему приехать.

Это был человек полный, вялый, неразговорчивый, жил холостяком, но одевался по-европейски. Чтобы занять нас, он велел своим приказчикам (в пиджаках, с английскими проборами!) петь по крюковым нотам разные тропари, кондаки и стихиры, мотив которых показался мне тогда диким; надо к нему очень прислушаться, чтобы понять, отчего им так восторгаются старообрядцы. Хозяин был меломан, пришлось покориться и часа с два выдержать его пытку. Александр, однако, не вытерпел. Он очень нервный, страдает вдобавок желчью, в этот день ему и так нездоровилось, а пение окончательно подкосило его. Ему стало тошно, голова разболелась, лицо покраснело, и он уехал. Я воспользовался этим минутным замешательством, чтобы свести разговор на веру, с веры на наставников, а с наставников на «великого учителя, слава которого прошла по всей вселенной и мир наполнила своими трубными звуками, к восхищению его последователей и к великому горю и обличению его противников, ибо имя Павла Прусского даже детям малым стало известно во дни наши!». Это я у Пафнутия выучился старообрядческому стилю.

Ивана Васильевича (так, помнится, звали хозяина) сильно заинтересовало, что мне известно не только существование, но даже и учение и жизнь его любимого наставника, и он не утерпел, чтобы не вывести его из задней комнаты. Вошел человек высокого роста, худой, черно-

волосый, лет сорока на вид. Он был одет по-монашески, т. е. в черном подряснике, в мантийке (черная пелеринка с красною оторочкой) и в камилавке, круглой шапочке с мохнатым околышем, — в первый раз увидел я тогда наше монашеское облачение дониконовских времен.

— Войди, отче, войди, сядь, — говорил Иван Васильевич, — вот его милость про тебя тут рассказывает. — Это самый и есть у нас отец Павел Прусский, — добавил он, обращаясь ко мне.

Я с большим вниманием вглядывался в этого человека, с умным, вечно улыбающимся лицом и с черными, сверкающими глазами, полными жизни и мысли. Мы разговорились. Разговор, естественно, пошел об учении Павла, что теперь не чувственный антихрист правит миром во образе государя, а только мысленный (духовный, идеальный, прообразовательный), а что чувственный еще придет при конце света. Затем он опровергал учение о переселении душ (метампсихоза), так сильно развившееся в беспоповских толках и составляющее основание догматов божьих людей (скопцов и хлыстов), а отчасти и духовных (духоборов и молокан); потом толковал, что с тех пор, как священства нет на земле, потому что оно взято на небо за отступничество русской церкви от православия при Никоне патриархе, таинство брака все-таки существует, так как оно состоит не в обряде венчания, а в самом акте супружеского сожительства. И этот разговор вел не туда, куда мне было нужно, — мне нужно было прямо высказать Павлу, кто я и чего я хочу, но за дверьми и в дверях стояла толпа приказчиков, сидельцев и мальчиков, созванных нарочно хозяином послушать Павла и наш диспут о вере. Иван Васильевич поставил меня в пренеловкое положение, вообразив, что я так же основательно знаю святых отцов, как старообрядцы, и что я в силе поддерживать разговоры с Павлом.

Пришлось менять тему, сводя ее с богословия на политику, на свободу вероисповедания, на значение старообрядцев в России... Хозяин и Павел довольно сдержанно высказывались на этот счет. Я сообщил им, что поповцы уже меры принимают к этому, и помянул им, что мне в моих путешествиях случилось встретиться с каким-то Поликарпом Петровичем (приказчиков уже не было, когда я это сказал), который говорил мне, что поповцы очень озабочены ходом нынешних событий.

— Какой это Поликарп Петрович? — спросил Павел, пристально смотря на меня. — Маленький, худенький, бледный такой? Многоглагольный?

— Ну, вот этот самый, — обрадовался я, видя, что наконец найду разгадку моему таинственному гостю.

— Так это, я тебе скажу, он так себя по-мирскому назвал, а он у них епископ, владыка Пафнутий его зовут! Вот он что! Только ты на него не полагайся и ему не верь! Я всех — и наших и ихних — знаю! Не такие мы люди, чтобы и думать об государственных делах, нам и того довольно, что нам теперь малую малость дали. Наше дело больше о наживе думать, чем о вере да об ее пользах! Вот что! А Пафнутий молод, горячка, крутить-мутить любит, а его никто не слушает...

Я принял эти слова за вражду между согласиями, но дело было сделано, разговор принял нужный мне оборот, и хозяин попросил нас в заднюю комнату, поняв, что я неспроста добивался свидания с Павлом. Было уже поздно, часов о десять вечера; завтра нужно было ехать в Москву; я пошел наудалую.

— Отец Павел, — сказал я, — я поведу дело начистоту. Ты ведь здесь тайком, с чужим паспортом, на чужое имя, да еще и не русским подданным, хоть и в России родился. Ты мне этого не говорил, отче, да ведь это само собой понимается. Так я тебе и скажу, что и я здесь на таком же положении: я не Яни, а Кельсиев, с турецким паспортом, а

живу я в Лондоне, где печатается все, чего в России нельзя печатать и где добрые люди, стараются, чтоб не только верам, но и народу всему свободней стало. Вот я и приехал повидаться с последователями древнеправославного благочестия и посоветоваться с ними, что нужно, как сделать, чего хотеть и куда гнуть.

Затем я развил мои взгляды на роль, какую могли бы занять в нашем движении старообрядцы, как уже готовые организации. Павел выслушал меня внимательно.

— Ты искренний человек, — сказал он мне, — и добра ты людям хочешь, это я вижу и понимаю. Только вот что я тебе по совести скажу, и не думай ты и не считай ты на наших. Первое дело, мы не такие люди, чтоб занимались царскими делами и понимали их, у нас первое дело — карман себе набить, а там хоть весь свет пропадай; мы о мамоне больше, чем о вере христовой думаем. А другое, и леригия наша не позволяет нам против начальства итти...

— Да постой, отче, не ты ли ж сейчас говорил, что нынешнее начальство предотечи антихристовы? Ведь и в писании сказано, что в «нынешние последние времена верные будут на антихриста брань вести».

— Говорил и говорить буду, да только все это понимать надо. Духовное духовным, а мирское мирским; кесарево кесареви, а божие бого-

СТАРЫЙ МІРЪ

И

РОССІЯ

Письма Искандера къ редактору "The English Republic", В. Линтону.

(1854 г.)

Переводъ съ Французскаго

LONDON

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ГЕРЦЕНА «СТАРЫЙ МИР И РОССИЯ», 1858 г.

ви. Мы и ведем с ними брань, где веры коснется, а в мирские дела их мы не мешаемся. В житиях нет примера, чтобы христиане бунтовали, да и святые отцы тому не учат.

— Отец Павел, да, ведь, и я не на бунт же зову.

— Понимаю я это, друг, что не на бунт, а все же противление властям выйдет, это нам не приходится, да и не нашего ума дело понимать, хорошо или не хорошо царь правит.

— И даже полноправия веры вашей с иностранными исповеданиями не хотите? — спросил я, видя, что ничего не поделаешь.

— Хотелось бы, да покуда и того довольно, что теперь дали. Благо хоть не круто поступают с нами, — отвечал Павел.

— А я вот что скажу, — заговорил Иван Васильевич, уклонявшийся до тех пор от всякого прения, из уважения к Павлу. — Я скажу, что оно и для нас хорошо, что есть в России господствующая церковь: это в нашу пользу идет.

— Это как? — такого вывода я уж никак не ожидал.

— А не будь ее, тогда бы безбожники верх взяли и нашу бы даже веру разорили в конец. Вон их сколько теперь, этих фармазонов, развелось. Покуда есть синод, все, хоть и не правая, да почитай христианская вера держится, а отменить его, так тут безбожникам, — да что безбожникам! — одним немцам, что святых-то не чтят, иконоборцам этим, будет такое приволье, что все веры в конец разорят и последнее благочестие на земле переведут.

С каким бы уважением пожал я т е п е р ь руку этому Ивану Васильевичу!

*

Ни в Москве, ни в Вержболове я не забывал о Павле, которому обещал — без всякого с его стороны вызова — побывать у него в Пруссии. Перейдя границу и добравшись до Столыпян, я отправился на юг, к Янсбургу (Johannisburg), и доехал до филипонских сел, находящихся всего в двадцати пяти верстах от Сувалок. Всех этих сел восемь; постройка дворов полунемецкая, полумазурская; язык — смесь русского с мазурским [122], так что с непривычки филипонов даже понимать трудно, но одежда русская. У них в первый раз понял я, какую огромную силу распространения русской народности носит в себе раскол! Большинство филипонов, а особливо филипонок, вовсе не русские, а мазуры, даже литвины и даже немцы, которых наши раскольники перекрестили в беспоповство. Целые семьи лютеран и католиков переходят в раскол, потому что простолюдина не удовлетворяет ни безобрядная, лишенная поэзии, кирка, ни костел с латинскою мессой и с высокомерным распутным ксендзом. Обращения совершаются постоянно, и я видел множество таких прозелитов, в русском происхождении которых каждый бы присягнул. Дай правительство поддержку расколу в западном крае, он бы там чудес наделал; ведь он ближе к нам, чем католичество и лютеранство, он только ветвь православной церкви, и ветвь прежде всего русская. А у нас было запрещено даже евреев крестить в старообрядчество, не говоря уже об немцах или поляках! Англичане, напротив, не пренебрегают своими dissenters в деле усиления своего влияния и колонизации где-нибудь в Индии или на мысе Доброй Надежды...

Три дня пробыл я у Павла в его монастыре, подле села Онуфриевки, и три дня толковали мы с ним то о наших стремлениях, то о беспоповщине. Я на него сильно не наступал, поняв сразу, что он не выйдет из своей, чисто богословской, сферы, я довольствовался дать ему правильное понятие об нас, настолько примирить его с нашими тенденциями, чтобы он, по крайней мере, не был врагом их, остальное я откладывал в не-

определенное будущее, никак не ожидая, чтобы падение наше было бы так близко. Павел — личность чрезвычайно симпатичная, я не мог к нему не привязаться. Всю жизнь свою он посвятил борьбе с изуверами, которые считают царя воплощением сатаны и отвергают законность и возможность брака, заменяя его развратом. Много сделал и делает этот человек доброго. Беспоповство его не имеет ничего мрачного, отталкивающего, его любящее сердце сглаживает все шероховатости раскола, и последователи его, сколько я их видал, невольно приняли от него эту гуманность и мягкость. Много рассказывал он мне о своих трудах и борьбах с изуверами, о* затруднениях приобрести первое время последователей, о недоверии, которым его встречали; слезы навертывались у него на глазах, и ни одного резкого слова не высказал он о своих противниках; он жалел их, но вражды и злобы к ним у него не было. Никогда не забуду я этих трех светлых дней, проведенных мною в его келье, которая служит ему и библиотекой, и кабинетом, и из которой я мог смотреть, сколько мне угодно, на все, происходившее в смежной с нею моленной.

Удивительные иноки молились в ней. Смотря на них, невольно забывалось, что живешь в XIX в. и находишься хоть и в захолустье, а все-таки в Пруссии. Устав иноческого жития соблюдается в этом монастыре во всей первобытной строгости: не только пьянство, разврат, мясная пища изгнаны из этих стен, — белья там не меняют, пока оно не сгнивает на плечах, и меняют впотьмах, оборотясь лицом в угол, чтобы самым взглядом на свое собственное тело похоть не зародилась в сердце. Штанов не носят, чтобы не касаться голого тела! Не моются и не чешутся из презрения к плоти, для умерщвления ее. Спят на голых досках, подкладывая полено под голову. Зато и лица у них у всех какого-то маслянисто-зеленоватого цвета, волоса покрыты облаком пыли, от них самих идет какой-то особенный горький запах, по которому я и теперь за сажень узнал бы присутствие такого монаха. И опять-таки, это вовсе не изуверы, это добрые и благочестивые люди, которые, возложив на себя обет, долгом считают нести его как следует, не делая себе ни малейших послаблений. Изуверство и строгое соблюдение буквы устава несовместны; изуверство — каприз, увлечение фантазией, презрение правилами, а в этой иноческой жизни, какую вел Сергий Радонежский, Зосима, Савватий, Валаам[123], нет ничего фанатического. Свободное время иноки павловы читают святых отцов и изучают беспоповских писателей. Часть их отливает также медные кресты, которые так употребительны у старообрядцев, столярничают, переплетничают.

Переплетное заведение в монастыре вызвано монастырской типографией в Янсбурге, которою заведует молодой ученик Павла, Константин Константинов Голубов[124]. Павел завел ее, кажется, в 1859 г. на остатки от подаяний, получаемых монастырем. Количество шрифта не велико, и он печатает им небольшие сочинения собственного пера, святцы, азбуки, а последнее время завел даже газетку; к несчастию, слог его крайне тяжел и напыщен, так что понять даже трудно, о чем у него идет дело. Типография эта помещается у известного Гонсеровского[125], поляка-лютеранина, врага шляхты и приверженца Пруссии, который из ненависти к католикам объявляет, что мазуры даже и не поляки, и силится заменить их славянский язык немецким!

Капитала на развитие этой типографии у Павла не было, и он с большим сочувствием отнесся к моему намерению завести печатание старообрядческих сочинений в Лондоне. «Все, пожалуйста, печатай, — го-

* Зачеркнуто: трудности.

ворил он, как Пафнутий, — и за нас и против нас. Надо же знать, на чем другие основываются и из-за чего церковь христова разбита на расколы да ереси. Бьешься-бьешься, чтоб узнать хоть про ваших никониан, на чем вы стоите, а попы ваши ничего дельного не написали, а что и написали, так неосновательно. Доброе дело ты затеял, выводи все на свежую воду, ничего не таи. Я сам буду посылать тебе всякие рукописи, хоть и противу нас писанные...»

Вот до какой степени и тогда еще, в 1862 г., чувствовалась нужда в изучении России, в народном самосознании, как теперь выражаются. Действительно, ни православная церковь, ни старообрядческие согласия, ни духовные, ни божьи, ни правительство с обществом, никто не может добиться толку, во что верует наш народ, разбитый на секты. Отрывочных фактов собрано пропасть, но они именно по отрывочности-то своей ровно ничего не объясняют, как показания нигилистов и революционеров, тоже своего рода сектантов, не дают верного понятия ни о характере наших кружков, величаемых тайными обществами, ни о их стремлениях. Счастлив был бы я, еслиб дожил до такого времени, когда правительство разрешило бы написать историю этого движения, начиная с 1855 г. и кончая хоть тем же 1862 г., а я бы справился с этим трудом, потому что сами участники этого движения не утаили бы от меня подробностей дела [126]. Я так хорошо знаю их jargon, их манеры и замашки, что самое мое понимание их заставит их признаться мне в том, что никакой бы страх наказания у них не вынудил.

Итак, хоть в печатании старообрядческих книг я сошелся с Павлом, и он мне тотчас же дал «Поморские ответы» [127] для печатания. Стало, и эта моя поездка была не даром сделана, стало, я не напрасно рисковал, вертясь около русской границы с паспортом не в порядке. В том, что типография будет у нас в Лондоне, я не сомневался; значение Шебаевского кружка тогда еще не утратило в моих глазах свою важность, и я был вполне уверен, что через месяц, много через два, деньги на шрифт будут высланы, что, может, и было бы, если б не пожары и не арест Ветошникова. Впрочем, надо и то сказать, что старообрядцы не чувствовали и не чувствуют особой надобности в заведении типографии. Литература у них большая, но они любят печатать только то, что, по их мнению, может вполне выдержать критику, поэтому каждый их писатель, прежде чем выпустить из рук свое сочинение, раз двадцать пересмотрит его с своими приятелями и раз двадцать сократит и удлинит его по их совету. Несмотря на такой античный способ издания, в редком их сочинении нет какой-нибудь главы, которую все согласие не признавало бы еретическою, а из-за этой одной главы все сочинение остается под спудом, во избежание соблазна. От того, при всем богатстве их литературы, в ней очень мало классических сочинений, и хоть очень легко * завести печатание в Яссах, в Цареграде, во Львове, в Чернёвцах, но они редко пользуются этим удобством, чтоб не «сконфузиться». Поэтому мой план печатания в Лондоне вовсе не был вызван их собственными потребностями, а был искусственно создан мною, и хоть был во всяком случае полезен, как средство к изучению России, но мог легко не найти себе сочувствия в капиталистах, а без «вельмож» ничего и поделать нельзя было; все это, разумеется, я понял уже гораздо после.

Тепло простились мы с Павлом. Мы шли разной дорогой, наши верования были диаметрально противуположны, но любовь к людям была у нас у обоих единственной пружиной всех действий. Мы оба на все были готовы, только б доброе сделать. Серенький весенний день стоял на дворе. В почтовую карету лошадей закладывали, мы стояли

---

* Зачеркнуто: и было и есть.

с Павлом, опершись на забор, и потихоньку разговаривали о трудах и борьбе, которую нам обоим приходилось испытывать и с которою я уже так познакомился в Москве. Горько мне стало, как я припомнил всю эту бестолочь. В руках у меня было красное яйцо.

— Знаешь что, отче, — сказал я в тоске, — кто хочет услужить людям, согнуться в три погибели должен перед ними. Голоден человек, мало что ты принесешь ему яичко! Нет, ты же его испеки, да ты же облупи, разрежь, посоли, в рот положи и в ножки поклонись, попроси, чтоб скушал!

— Правда твоя, святая правда! — сказал Павел, — ты [до] этого по себе дошел, а я тоже по себе. В разные мы стороны идем, а, видно, сердца-то у нас одинаковые... — И у него навернулись слезы.

До сих пор не могу я забыть этого инока с огненными глазами, с насмешливым лицом и с сердцем, каких немного на свете...

*

Иностранец, въезжающий в Россию, отдает свой паспорт русскому правительству и получает от него вид на жительство, а когда нужно — на выезд за границу. В марте 1862 г., когда я приехал в Россию, разнесся откуда-то слух, что этот порядок отменен, а что иностранцы могут и у нас, как повсюду в Европе, проживать с своими национальными паспортами и с ними же выезжать за границу. Все, кого я об этом ни спрашивал, подтверждали этот слух, а я был очень рад не являться в канцелярии с.-петербургского или московского генерал-губернатора, так как у них, слышал я, служили мои товарищи по училищу, которые уж никак бы не преминули броситься мне на шею и назвать меня по фамилии. В Петербурге паспорт мой не был в полиции, в Москве тоже не был, а просто полежал в конторе Челышевских номеров, и я выехал с ним назад, совершенно уверенный, что задержки не будет *. К великому моему ужасу и смущению, на Вержболовской станции я увидел, что у всех пассажиров — наш вагон был весь из иностранцев — паспорты русские, а только у меня, да еще у какого-то немца-подмастерья — национальные. Покуда я с немцем объяснял члену таможни свое неведение в законах и просил его снисхождения, поезд ушел, а член объявил, что он не виноват, сделать ничего не может и советовал нам с первым поездом отправиться в Ковно и там исправить нашу оплошность. Не знаю, как для немца, а для меня не было ничего привлекательного в такой поездке, я и так уже измучился ожиданием, что меня каждую секунду арестуют, а арест был бы для меня сигналом смерти. Я твердо решился никого не выдавать, а как это не совсем легко сделать и как мне заодно грозила бы или вечная тюрьма или вечная каторга, то я был намерен первым осколком стекла, заостренною оловянной пуговицей, чем попало, проколоть себе артерии в постеле под одеялом; а если б и это меня не убило, то доканать себя животным магнетизмом (гипнотизмом), что, при моем нервном темпераменте, дня в два может довести меня до ** удара. Стало, выезд из России как можно поспешней был для меня вопросом жизни и смерти, гамлетовским to be or not to be. Поэтому я с большим участием обратил внимание на какого-то солдата-еврея, который во все время моих сознательно ненужных объяснений с членом как-то удивительно подмигивал мне, не шевеля ни одним мускулом лица, ни даже веками; так

* Фантастические страхи, которые я испытал при выезде из России, рассказаны мною почти без изменений в моей статье «Психологические заметки», — «Отечественные записки», февраль, 1867 г. Я там выставил себя бегущим нигилистом. [Примечание Кельсиева.]

** Зачеркнуто: первого.

подмигивать, должно-быть, только он один и умеет, я других подобных фокусников не видал.

— Drei Rubel geben Sie? — спросил он меня неслышно и не шевеля губами, когда я подошел к нему, будто не обращая на него внимания.

— Jawohl!

— So, warten Sie nur.

И я остался ждать, отдаваясь в руки судьбы со всею покорностью усталого.

Станция мало-помалу опустела. Остался я, подмастерье да еще какой-то господин в бобрах, в золотых очках, с бесконечными русыми баками. Еврей шнырял из двери в дверь, издавая как-то беззвучно: «Warten Sie, nur warten Sie!». Господин в бобрах обратился ко мне по-немецки.

— Вас тоже задержали?

— А вас задержали?

— Помилуйте, — заговорил он чуть не со слезами. — Я гамбургский купец, у нас большой торговый дом, векселя, сроки. Я спешу, меня уверяли, что менять паспорта не нужно, а теперь в Ковно, я не знаю, сроки...

— Да, скверно, — подтвердил я, — я тоже спешу.

— А вы кто такой?

— Кельнер, спешу в Лондон на выставку, может-быть, лон-лакеем удастся сделаться...

Уж не знаю, почему мне вздумалось назвать себя кельнером.

— Ах, какое счастье, что вы кельнер! Вы, стало-быть, разные языки знаете! If you do speak English, pray, let the people do not understand us...

— I do.

И разговор пошел по-английски.

— Предлагал вам этот солдат перевести вас за границу?

— Три рубля просит, — отвечал я.

— А вы решаетесь?

— А само собой: все же лучше чем терять время.

— Я не знаю, может он обманет, может это опасно, поймают, тюрьма, неприятности. Я не знаю, на что решиться. А вы решились?

— Разумеется, решился! Что ж больше делать? Поневоле прибегнешь к его помощи...

— Я не знаю, сроки, так это неприятно, мне сказали, что не нужно менять паспорт. Варварская сторона и варварские порядки! А вы так-таки решаетесь? Может-быть, у вас есть кинжал или револьвер?

— Ничего, кроме перочинного ножа.

— Да как же без оружия? — окончательно растерялся бедный купец.

— Да что ж я сделаю оружием? Из маленького дела — уголовное. Попадусь я просто, посадят в тюрьму и выпустят, а попадусь вооруженный, только подозрение возбужу...

— Правда, но я не могу решиться!

Так он и не решился и отправился куда-то ночевать.

Стало меркнуть. Зажгли лампы. Чиновники приходили пить чай и опять ушли... Часам к десяти буфет опустел, огни погасли, только сальная свечка горела на стойке. Повара, кельнеры, меняла вышли выпить на сон грядущий. С ними явился какой-то человек угрюмого вида, одетый, как наши немцы-колонисты.

— Вы отправляетесь тоже? — спросил он меня, пошептавшись с подмастерьем.

— Jawohl.

— Drei Rubel.

— Gut.

— Etwas später.

— Gut.

— Вы не бойтесь, — заговорили повара, кельнеры и меняла, — у нас это дело привычное, он — хороший человек и знает это дело. У нас это каждую почти ночь...

Я отвечал, что вполне полагаюсь на его опытность и бесконечно обязан им за одобрение. Явился еврей, знаками показал, чтобы мы брали вещи и чтобы следовали за ним. Он двинулся вперед; за ним подмастерье, за подмастерьем я, за мной немец. Тихо, чуть слышно шагая, прошли мы таможенное зало, какой-то коридор, какую-то комнату, держась друг за друга в темноте; вышли на другую сторону станции, спустились с пристани и молча пошли по железной дороге, переступая с бревна на бревно. Ночь была темная, ветряная, облака клочьями неслись по небу, кое-где мерцали звезды. Я оглянулся, огоньки Вержболова умалились, а эйдкуненские становились с минуты на минуту ярче. Шли минут с десять.

— Geld, bitte! Drei Rubel! — прошептал вдруг еврей.

Я подал ему три ассигнации; подмастерье сделал то же самое. Еще несколько шагов прошли мы.

— Кто идет? — послышалось в темноте, но как-то негромко. Я поднял голову и различил часового в тулупе и с ружьем. Еврей бросился к нему:

— И тише! И зачем кричать! Вот тебе рубль за одного; вот тебе рубль за другого. Сам видишь — только двое, я по совести...

— Поди ты к чорту, — * ругался солдат, — и вы все пошли! Ничего мне не надо.

И он взял ружье на перевес, штык пришелся прямо против моей груди. Я стоял и ждал, что дальше будет, делая вид, что не знаю по-русски. Ворочаться было бы хуже, чем погибать на мосту.

— И отчего ж не надо? И что тебе за польза не пускать?

— Провались ты, анафема! Жид проклятый! Только в беду попадешь с вами. Покою ни одну ночь не даете. Пошли, пошли!

— И некогда с тобой говорить, — трещал еврей. — Вот тебе рубль, вот другой. И конец. Marsch! Gehen Sie! Gute Nacht!

Но часовой все еще не переменял положения, хотя еврей и всунул ему в руки две бумажки. Евреи всегда насильно покупают и людей, и товары, всовывая деньги так проворно, что и опомниться не дадут.

— Ишь, проклятый, знаешь, что в темноте не разберет человек, какие ты бумажки дал, может и вовсе не деньги. Хоть бы серебра...

Я, чтобы кончить дело, выхватил из жилетного кармана несколько мелочи и сунул часовому.

— Ну, идите, пропадет человек за доброту свою, — ворчал он, сторонясь к перилам, — ни за грош пропадет! Вот анафемская-то служба!!!

И тут же ноги мои услышали, что круглые русские балки, по которым я ступал, кончились и пошли тесаные прусские, и стало мне грустно. «Прощай мать земля русская, — сказал я себе, — когда-то и как-то я опять увижу тебя!». И вот через пять лет я не выдержал и явился в нее арестантом, как ни страшно было решиться на это.

Я нарочно подробно рассказал этот эпизод моей истории. Мне хотелось показать, как бессильна наша сложная и дорогая паспортная система, а с ней вместе и охранение границ наших против каждого, даже и не смельчака, имеющего интерес в нарушении их. Тысячи поляков, сектантов, бродяг, мошенников, контрабандистов шныряют из

* Зачеркнуто: проворчал.

России за границу и из-за границы в Россию, не принимая, как я, никаких особых предосторожностей. Мелкие мошки, разумеется, вязнут в паутине, но крупных она не удерживает. Если она и удерживает кого, то разве турецких и австрийских славян, особенно галичан, от сближения с нами и от переселения в Россию, а больше я не видал от нее пользы. Я не умею сказать, что нужно сделать и чем заменить этот традиционный порядок, но замеченный мною факт его несостоятельности я считал обязанностью указать правительству.

Огоньки Эйдкунена все светлели да светлели. Я шел за проводником, одетым по-колонистски, еврей вернулся в Вержболово. Я невольно раздумывал, как это легко и дешево делаются у нас подобные дела. В уме у меня немедленно мелькнула мысль воспользоваться этой кажущейся строгостью наших пограничных порядков. Я не мог не смекнуть, что паспорты, заставы, стража — декорации, холщевые кулисы, которые только издали кажутся лесами дремучими, горами непроходимыми, и что в сущности они только от публики загораживают актеров и машинистов, давая им возможность разучивать роли втихомолку да подготовлять разные эффекты и превращения.

— Вы кто же такой? — заговорил я с этим * колонистом, пока мы пробирались уже полями к Эйдкунену.

— Кирпичный мастер, при постройке станций работаю.

— И часто вам приходится переводить путешественников через границу?

— Часто.

— Я удивляюсь, как это удобно и хорошо у вас заведено! — подделывался я к нему. — Ведь этак можно, я думаю, и товары разные переправлять на русскую сторону?

— Можно. Warum nicht! Только здесь это не совсем удобно.

— Отчего же?

— А вам нужно что-нибудь переправить?

— Г-м, н-да, если бы я нашел верного человека...

— Большая вещь? Большие вещи здесь тем неудобно, что русская таможня целых пять станций осматривает товары...

— Нет, у меня были бы сундуки или ящики так фута в два длины, в фут ширины и в фут вышины.

— А поменьше нельзя?

— Можно и поменьше, по футу длины...

— Тогда кондуктору можно отдавать. А вам куда посылать?

— Г-м, в Петербург, например.

— Жаль, что не в Ковно; впрочем, из Ковно можно будет пересылать в Петербург. А что у вас будет в этих ящиках? Оружие, Должно-быть, порох?

— Ой нет! Книги, газеты. Вы, знаете, какая цензура в России.

— Так это пустяки, и я за это возьмусь.

— И прекрасно, мне очень приятно вести с вами дело, я уж имел случай убедиться в вашей благонадежности. Обдумайте, что вы возьмете за ящик, а мне по два в месяц нужно будет высылать, и скажите мне завтра, а покуда выпьем по кружке пива для начала знакомства.

И мы вошли в гостиницу, где залы были полны всевозможными немецкими пограничными и непограничными чиновниками. Никто не обратил на меня внимания, а сердце все-таки было не на месте.

Утром мы сторговались. Выходило что-то около десяти процентов, если не меньше, с огромнейшей кипы «Колокола» и прочих изданий. Это было все же дешевле тогдашней цены их в России и да-

---

* Зачеркнуто: предполагаемым.

вало возможность распространять их сколько душе угодно. Я условился с Германом, — так, помнится, звали его, — что он по первому вызову моему явится в Кенигсберг, куда я собирался вызвать Серно-Соловьевича, так как улаживать это дело в маленьком городке значило бы обращать на себя внимание; написал письмо жене, что я выехал из России, но должен провести с месяц в Пруссии, и поехал в Столыпяны, чтоб оттуда направиться к Павлу. Из Столыпян я написал Серно-Соловьевичам письмо по женскому адресу, что я напал на великолепный случай дешево купить кружева, блонды, мантильи и т. п., по цене втрое дешевле петербургской, и, что, если бы (эта дама) захотела открыть модный магазин, то она могла бы, приехав к такому-то числу в Кенигсберг, найти в отеле Deutsches Haus человека, который просил меня * известить ее об этом. Затем я побывал у Павла и к назначенному числу уже был в Кенигсберге.

Дня три-четыре проскучал я в этом городе, от скуки изучая тамошних сектантов (Freievangelische Gemeinde), и уже думал, что придется ехать в Лондон, не устроивши контрабанды, как вдруг получил из Эйдкунена депешу от того же неизбежного Ничипоренки: «Я еду в Берлин. Будь готов на станции в таком-то часу».

Стало-быть, Серно-Соловьевичи поручили ему дело, и мне остается только ехать далее; я покорился судьбе: нельзя же было устраивать контрабанду, не сговорясь с получателями ее в Петербурге.

Ничипоренко ободрительно пожал мне руку и объявил, что он отправляется закусывать.

— Да постой, что ж мне? Брать билет в Берлин и ехать с тобой?

— Ну, разумеется... — и он с напускным видом закаленного агитатора отправился в столовую.

Я только руками развел.

Вагон полон был русскими, никто не был мне знаком, Ничипоренко ораторствовал и удивлял всех умением каждый пфенниг и зильбергрош перекладывать на копейки, с вычислением даже курса... Переговорить с ним удалось только на шестой или седьмой станции.

— Да Серно-Соловьевич-то что же?

— Приедет, будь покоен.

— Куда же он приедет?

— Сначала в Кенигсберг, как ты назначил, а потом в Берлин.

— Так зачем же ты меня вытащил из Кенигсберга?

— Да ведь тебе все равно надо в Берлин!

— Серно-Соловьевич поручил тебе телеграфировать и увезти меня?

— Нет, он этого не поручал, я думал...

— Я, Андрей Иванович, думаю, что ты или глуп непроходимо, или непроходимо неспособен, и лучше бы ты не совался, куда тебя не просят...

Пришлось телеграфировать в Кенигсберг, что я в Берлине. Воротиться я не мог, потому что денег нехватило бы доехать до Лондона.

Прошло дней пять. Явился Александр в Берлин и, разумеется, с упреками. Больной, занятой, он все бросил по моему письму, даже денег мало с собою взял, только до Кенигсберга...

Поехали мы с ним в Кенигсберг, телеграфировали Герману, ответа не было. Серно-Соловьевич злился, сомневался в успехе, винил меня,— словом, мне пришлось очень жутко: и прусской полиции страшно и с Александром ссориться нельзя. Я сделал другой маневр: завел себе фактора. Под видом изучения Кенигсберга, в качестве любознатель-

---

* Зачеркнуто: войти с нею в сношения.

ного путешественника, я узнал от него все, что было нужно, о контрабандистах.

Контрабанда в Россию устроена в этой части Пруссии на таких прочных и широких основаниях, что не то удивительно, если я затеял применить ее к нашей пропаганде, а то, как нераспорядительны были все наши кружки и агитаторы, что в семь лет (1855—1862) своего существования и словоизвержения не воспользовались ею для ввоза в Россию запрещенных изданий, которыми только и дышали. Я недаром утверждаю, что эти люди виноваты только в фразерстве, и история заклеймит их названием «неспособных», тогда как правительство, о «неспособности» которого столько кричали мы эти семь лет, оказазалось очень ловким и очень деятельным.

Целые улицы нового города заняты в Кенигсберге конторами под вывесками Expedition & Kommission. В окнах этих контор выставлены модели нагруженных фур с погонщиком и шестеркою лошадей. Конторы устроены очень прилично, тут и бухгалтер, и кассир, и экспедитор, и писцы, касса, пресс, прейскуранты, — словом, все как следует. Я перебывал в десяти, я думаю, подобных заведениях, и разговор мой с конторщиками или с хозяевами был неизбежно следующий:

— Я бы желал поговорить с вами наедине...

— Вам переслать что-нибудь нужно?

— Да. Только наедине...

— О, не беспокойтесь, у нас нет секретов, это наша профессия.

— Понимаю, только товар мой...

— Оружие, может-быть, или порох? Мы привыкли к этому, вы можете прямо говорить.

— Книги и газеты, — решаюсь я наконец, оглядываясь по сторонам. А на меня никто внимания не обращает, так к этому привыкли.

— На какую сумму?

— Первый раз талеров на сто.

— Мы сделаем сейчас же контракт, дадим вам залог, с тем, чтобы при доставке на место было уплачено нам столько-то процентов. Дом наш известен своей аккуратностью, пользуется отличною репутацией и доверием негоциантов, вы можете совершенно смело войти с нами в дела. Если еще тень сомнения остается у вас, извольте просмотреть наши книги и корреспонденцию, справиться об нас у таких-то негоциантов, и вы сами убедитесь, что имеете дело с порядочными людьми. Да кроме того, нам даже очень лестно содействовать вам в просвещении этих русских свиней (я был тогда поляком) и в разрушении их варварских законов о печати...

Я ничего не преувеличиваю. Пусть кто-либо из особ, которые прочтут мою исповедь, нарочно, проездом через Кенигсберг (или Тильзит), зайдет в первую Expedition & Kommission и попробует сделать предложение провезти в Россию что угодно, — он непременно услышит все это; от него не потребуют рекомендаций и не будут стесняться, условливаясь с ним, никем, ни даже полицией. Контрабанда совершается в гигантских размерах, она сложилась в правильный промысел, и если приискивать средства унять ее, — об уничтожении и думать нечего, — то разве только изучением ее на месте. Но для этого нужны ловкие люди, люди бывалые, тертые, а таких мало на службе... Тут волонтеры нужны, а где у нас их набрать? У нас переводятся с каждым днем отважные люди, вроде казаков, завоевателей Сибири, и прежних купцов, добиравшихся до Индии и до Калифорнии. Характеры заметно мельчают, удаль и сметка убывает, а существуй теперь старое поколение удальцов, сослужили бы они службу правительству. Удалых голов на вольных плечах мало осталось после Петра, отвыкли люди

от самостоятельной деятельности, а если и спасло это нас от революции, то и губит трудностью добыть то, чему учат нас столько лет немецкие, французские и польские публицисты, — русских агентов за границею, агентов на всякое дело, на все руки, которым бы и указывать было не нужно, что делать и как делать, которые бы, попав в беду или ошибку сделав, не вводили бы правительство ни в хлопоты, ни в ответственность — сами бы из воды сухи выходили. Будь у нас такие люди, — а их даже искусственно создать можно, — не было бы польского вопроса, да и Австрия с Турцией едва ли бы существовали, не говоря уже о какой-нибудь контрабанде, фабрикации фальшивых бумажек, католической пропаганде и тому подобных мелочах. Нет у нас человека, который сумел бы отыскать и направить на путь таких деятелей...



КЕНИГСБЕРГ
Гравюра
Музей изобразительных искусств, Москва

Контракт был сделан, Александр успокоился, и мы разъехались. Он отправился в Петербург, где должен был устроить склад и приискать адрес, куда контрабандисту доставлять посылки, а я прямо в Лондон, через Берлин и Гамбург. Этим и заключилась моя поездка, не принесшая никакой пользы делу и погубившая стольких человек...

*

В Лондоне уже почти все узнали, что я ездил не в Италию, а в Россию. Герцен, Огарев и жена моя, разумеется, молчали, но Бакунин не выдержал, — нужно было шику задать нашей деятельностью и ловкостью. Он разболтал по секрету Мартьянову и Альбертини. Мартьянов только пуще озлился на меня, узнав, что я в самом деле в связях с народом, а Альбертини надулся, что я не рассказал ему, с кем я виделся в Петербурге. Альбертини, как и все тогдашние дилетанты политики, чрезвычайно легко относился к делу и молчание об именах, знать которые ему не было ни малейшей нужды, принимал за

недоверие. С Бакуниным мы тоже не поладили, — как было открывать все человеку, который ничего скрывать не умеет?

Но Герцен и Огарев отнеслись серьезнее к моей «Одиссее», как они назвали мои похождения. Они ясно поняли, что хотя, строго говоря, и ничего не было сделано, но задатки были положены прочные и что движение, * поддерживаемое ими, грозит ** или революцией или реакцией, если не будет приведено в систему. Я горячо адвокатствовал за диктаторство — это было sine qua non при тогдашнем положении дел — и указывал им, что если они не возьмутся управлять, то все их значение попадет в руки первого удальца, более смелого, чем толкового, который поведет молодежь на улицы, отдаст ее на убой черни и заставит правительство распорядиться по-французски — расстреливать en masse. А что такой господин мог явиться тогда, было вне всякого сомнения: все кружки чувствовали потребность в организации и в солидарности; одного ловкого человека нужно было, чтоб *** подчинить их себе каждый порознь и ****, не раздражая самолюбия и честолюбия вожаков, заставить их всех плясать по своей дудке. Будь наши тогдашние вожаки порасторядительней, займись делом организации как следует, разъезжай по России из конца в конец, отыскивая всех, кто петушился на правительство, и соедини их всех воедино уже простым личным знакомством с ними, — и было бы дело сделано. Неделовитость, теоретичность, распущенность, тяжесть на подъем — вот что уходило ***** их, этих псевдореволюционеров и микроскопических великих людей.

Герцен задумался, долго не соглашался, после трех или четырех приступов сдался. Но «ступает старость осторожно и осмотрительно глядит». Огарев, еще вовсе не старый по летам, во всех действиях своих так же тяжел, как его слог. Осторожность его до того медленна, что даже неосторожна бывает: он никогда не станет ковать железо, пока горячо, а Герцен ничего не сделает без его санкции.

Огарев стал обдумывать, придумывал по частям, останавливался над подробностями, — словом, время шло, а дело не двигалось. Только одну (первую и последнюю) посылку «Колокола» удалось мне отправить в Кенигсберг, а что с нею сделалось, до сих пор не знаю; арест Ветошникова всю мою паутину разорвал.

Нужно было напечатать на листах, не больше игорной карты каждый, семь пунктов, о которых было условлено в Москве. Эти листки распространить бы в народе без всяких комментариев, чтобы знали, по крайней мере, о чем думать, чего хотеть от правительства; чтобы самому правительству дать возможность узнать, к чему ему следует готовиться. Огарев ссылался на свои «Что нужно народу?», «Что нужно духовенству?», «Что нужно войску?» — брошюрки, написанные им по настоянию и моему да и всех приезжих, так как никто не знал, чего хотеть, хоть и всякий лез в реформаторы [128]. Но брошюрки эти были и чересчур длинны, да и высказанных в них требований нельзя было исполнить одним указом, тогда как вся-то задача в том и состояла, чтобы добиваться у правительства уступок, которые оно может сделать, не затрудняя себя особыми комиссиями и приготовительными работами, или даже и затрудняя, то не на долгое время. Думал, думал Огарев о моих пунктах, колебался, не решался, я так и из Лондона уехал, ничего не дождавшись.

---

* Зачеркнуто: поднятое.

** Зачеркнуто: опасностью.

*** Зачеркнуто: сплотить их.

**** Зачеркнуто: ловко.

***** Так в подлиннике.

И поповцы и беспоповцы просили меня завести для них газетку. Мой план, ими самими одобренный, состоял в том, что газетка эта будет наполняться преимущественно их богословскими полемическими статьями, не разбирая, от какой секты или толка они идут, а затем, рассказывалось бы о притеснениях, которые терпят сектанты, и уже затем проводились бы политические взгляды. Такую газетку все бы согласия читали, все бы ею интересовались и обогащали бы статьями. Она стала бы связью их между собою и приучила бы их смотреть на нас, как на людей беспристрастных в их спорах, а главное, поставила бы нас в близкие сношения с ними и понемногу развила бы у них наши политические взгляды. «Дайте подумать, Кельсиев, дайте подумать. Еще успеется, — надо все хорошенько обсудить», — говорил Огарев. А между тем Трюбнер, поняв, в чем дело, чуть не плакал от нетерпения быть издателем нового органа, который мог бы доставить ему хороший барыш...

Наконец надумался Огарев и решил, что газета непременно должна будет состоять под их цензурой. Я охотно согласился на это, твердо решась своим собственным примером поддерживать их диктаторство и вполне убежденный, что солидарность с ними есть необходимое условие успеха нашего дела.

Покуда я подготовлял статьи к первому номеру, Огарев приговорил эту газету быть приложением к «Колоколу». Что я ни толковал, что ни язык, ни направление, ни содержание «Колокола» недоступны простому народу, упрямый Огарев стоял на своем; пришлось покориться да и отказаться от помещения богословских полемических статей.

Половина моих статей была забракована. Статьи самих старообрядцев догматического содержания тоже не прошли цензуры. Первый нумер вышел бесцветным, а во втором я уже и не участвовал [129]... Мартьянов из себя выходил, нападал на слог, на обороты, на направление, не знаю на что и почти видеться со мной перестал.

Над названьем газеты долго думал Огарев и наконец придумал: «Общее Вече». «Назвать «Вечем» нельзя, — говорил он, — слишком сильно выйдет; а эпитет «Общее» хоть повидимому усиливает, а в сущности ослабляет»... Меня часто потом спрашивали старообрядцы, что значит слово «вече», а мы в Лондоне и не знали, что у них совершенно забыты удельные времена!

Узнал я, что Кузьма Терентьевич Солдатенков в Лондоне, — он приезжал на всемирную выставку, и я решился познакомиться с ним. Мне казалось, что такой меценат, издатель, человек, во всяком случае, понятливый более прочих своих единоверцев, не может уклониться от такого выгодного для них дела, как печатание их книг. Трудно было свидеться с ним, но я настоял, и свидание наше устроилось.

— Да какая же польза будет от этого печатания? — спросил он меня, когда я изложил ему дело и рассказал о Пафнутии и о моей поездке в Москву.

— Поставит вас в самостоятельное положение, привлечет к вам сочувствие образованных людей, нас поддержит... — развивал я ему.

— Ах какой этот Пафнутий с Шебаевым горячий и неосторожный! — отозвался Солдатенков. — Я боюсь, чтобы такое дело не поссорило нас хуже с правительством!

Я опять начал толковать ему в том смысле, как тогда было принято говорить о правительстве и как на него тогда смотрели.

— Я так боюсь, — говорил как-то беспокойно Солдатенков. — Вы знаете, что я под строгим надзором. За мной всюду следят. Ведь вы это знаете?

— Знаю, — отвечал я, чтобы не уронить в глазах его нашего пресловутого лондонского всеведения, о котором тогда говорили столько чудес.

— Ну вот видите, вот и вы сами знаете, ведь у вас все известно! Следят! Даже в Париж отправлены за мной агенты; куда ни выеду, уж так и знаю, кто-нибудь стоит из них и смотрит на меня, и смотрит, так и смотрит! Меня даже знакомые предупреждают все, чтоб я осторожней был.

Он, кажется, несколько * тронут на этом пункте; по крайней мере, когда он мне толковал, что за ним следят, он мне показался мономаном. Кончили мы на том, что он поговорит в Москве, посоветуется, надо подумать; короче, я понял, что с его стороны ждать нечего без энергического содействия Пафнутия и его кружка.

Нужно было писать им. Обыкновенно переписка шла через приезжих, возвращавшихся в Россию; каждый за честь почитал отвезти письмо от нас; даже просили нас давать поручения. Но я все остерегался, все боялся доверить свое дело первому встречному: ** обыск по подозрению на границе мог все погубить. Я ждал верного случая и, на беду мою, дождался...

Тихий и скромный этот человек, Ветошников, никогда и ни во что он не мешался. Был он исправный чиновник прежде, потом стал исправным и толковым помощником агента пароходного сообщения между Петербургом и Гулем, заведывал всеми делами этих пароходов и жениться собирался осенью. С восторгом рассказывал он мне и жене моей о своей невесте, о планах на будущее... Боже мой! Как мне тяжело писать о нем, я столько помучился в эти пять лет, думая об нем...

Он приехал в *** Англию почти хозяином парохода и так же выезжал из Англии. Капитаны, матросы, таможенные чиновники — все его знали, кто стал бы его обыскивать? Он принял корреспонденции, как всякий тогда принял бы; он такой мягкий, такой любящий человек, он не в силах бы был отказаться, если бы захотел отказываться. Он покорился духу времени; что он сделал, то тысячи других делали, он виноват только тем, что подвернулся в недобрый час, когда правительство было так раздражено «Молодой Россиею» и пожарами. Впрочем, я сам вижу, что я несвязно пишу. Мне тяжело об нем думать [130].

Несколько дней я как убитый был, когда пришло известие об его аресте. Все было потеряно, и все на нас опрокинулось с упреками, с нравоучениями. А тут в России шел крик на нас. Было душно, невыносимо тяжело. Бежать стало потребностью, бежать, куда глаза глядят; нужно было за дело какое-нибудь взяться, чтобы в борьбе забыть горе. Нужно было все заново начинать, и я уехал в Турцию, я не выдержал.

*

Сделаю одно маленькое замечание. Мы, в Лондоне, не думали, что появление «Молодой России» и пожары были поворотною точкою общественного настроения. Они нам крепко досадили, как и журнальные статьи, вызванные ими, но мы приняли это за минутный испуг, за колебание, и нам в голову не приходило, что история уже сдала нас в архив, что мы заживо похоронены — привидения прошлого. Я понял это только через год, Герцен же и Огарев год тому назад веровали еще в «Колокол» (я уже год как не переписываюсь с ними и не

* Зачеркнуто: помешан.
** Зачеркнуто: первый арест.
*** Зачеркнуто: Лондон.

вижу их изданий). Я упоминаю об этом обстоятельстве, так как иначе не будет понятен следующий отдел о моем пребывании в Цареграде.

Взгляд наш на «Молодую Россию» высказан был Герценом в «Колоколе»[131]. Она, действительно, более смешна, чем страшна, но испугала она потому, что и умеренные люди так же не понимали общественных дел, как нигилисты. Она представилась им манифестом огромного тайного общества из людей, которые могут исполнить свои угрозы, а мы, в Лондоне, разом поняли, что это — произведение полдюжины мальчишек, не понимающих даже, о чем они говорят (религия! брак! императорская партия!). «Молодая Россия» была необходимым следствием неурядицы наших кружков и распущенности их вождей, — в ней, как и во всех тогдашних прокламациях и задорных статейках, все есть, кроме практического знания жизни, людей, а в особенности России. Нынешняя свобода книгопечатания и самоизучение народное навсегда покончили с подобными * последствиями долгого бюрократизма и цензуры, подрывавшими веру и в правительство и во все писанное и печатанное не тайком.

О пожарах я уже говорил. Прибавлю еще, что я не видал даже ни одного нигилиста и ни одного поляка, который даже намекнул бы, что считает пожары средством поднять народ или радуется им, а со мной-то уж и те и другие говорили по совести, ничем не стесняясь. Что пожары у нас принимают страшные размеры, нет ничего удивительного. Вся Россия деревянная, как вся Англия и Франция кирпичные. Давно ли у нас были законы, что крестьяне летом ни стряпать в избах не смеют, ни бани топить? Вся история России — история пожаров, и именно от деревянных построек да от плохого устройства пожарных команд. Общество поверило, что нигилисты поджигают, а прежде верило, что поляки, и что поляки даже колодцы отравляют, чтоб холерой нас выморить. Народ наш только в крайности может забуянить, а пожар доводит его до этой крайности, и сложилось во времена самозванцев верованье, что так как полякам выгодна у нас неурядица, то они и поджигают — «взбунтовать нас хотят»; а слово бунт у нас вовсе не означает восстания или революции, а просто суматоху, неурядицу, беспорядок, бессмысленное мотание со стороны в сторону (отсюда говорится: козел бунтовщик, пьяница бунтует, бунт и гвалт, как в школе жидовской). Верование в поджигателей поэтому у нас просто-напросто «отеческое предание», воспоминание о Смутном времени.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ **

ЦАРЕГРАДСКИЕ ДЕЛА

Я сказал, что как я ни ожидал катастрофы, но все-таки я не принял происшествий лета 1862 г. за нашу чистую отставку из роли деятелей русской истории. Мне все казалось, что мы еще живы, что мы не призраки прошлого, не тени, что приговор наш еще не произнесен, и потому с полною верой, хотя и с разбитым сердцем, снова пустился в омут политической жизни и ***, забывая, что люди живут не только умом но и преданием, привычкой ****, стал добиваться от них невозможного и даже подчас и вредного для них самих. Вредное — это была поддержка, которую мы давали полякам.

---

* Зачеркнуто: явлениями.

** На первой странице помета карандашом: «Препроводить в комиссию 4 июля».

*** Зачеркнуто: снова.

**** Зачеркнуто: снова.

В правительстве и обществе полагают, что поляки много содействовали развитию у нас революционного духа: это крайне ошибочный взгляд. Возникновение наших кружков и учения их ни в чем не зависели от польской инициативы; движение, начавшееся в Крымскую войну и дошедшее до своих геркулесовых столпов в 1862 г., было совершенно самостоятельным и неизбежным произведением русской истории и русского народного духа. Постороннее влияние на нас — фантазия.

Десять лет тому назад, когда я посещал С.-Петербургский университет, поляки не сходились с нами, как мы — наш тогдашний кружок — ни старались сблизиться с ними, чтобы позаимствоваться у них всякими запрещенными сведениями. Они так противились этому сближению, что грозили исключением из своей среды каждому, кто только стал бы посещать нас, а мы все тогда были довольно красные. Такое удаление от нас оправдывали они боязнью потерять свою национальную индивидуальность и ослабить ненависть к русским дружбой, общностью интересов и вопросов. Расчет их был верен; замкнувшись в свой мир, они искусственно раздразнивали в себе польский патриотизм и искусственно возбуждали в себе непримиримую вражду к нам, устраняли от себя возможность* усомниться в верности своих принципов и, главное, отлично подготовляли себя в будущие агитаторы и повстанцы. Мы же, как ни лестно было нам сойтись с ними, не чувствовали к ним большого уважения за их ханжество, за их легитимизм,— они вечно толковали о договорах XVII и XVIII вв., а нам было это просто смешно. Мы переварить не могли, как в наше время, когда вопросы революционные, социальные и философские не могут не поглощать внимания всех и каждого, когда все кумиры, знамена, алтари попраны в прах мыслью человеческой, как можно в такое время быть легитимистами, толковать о старых границах, о генеалогиях магнатов, о правах папы, о пользе унии, о необходимости благоговеть перед Наполеоном и считать Францию путеводной звездой целого мира. Короче, ни мы поляков не понимали, ни они нас; и это непонимание было так сильно, что даже общая вражда наша к правительству не могла нас соединить. Наше пренебрежение к историческому праву и к народностям казалось им святотатством, а рассуждения о перестройке человеческих обществ, просто-напросто, если не безумием, то лишнею тратою времени.

Что происходило в Петербургском университете, то самое делалось и во всех прочих, даже во времена студенческих историй, которые вовсе не сблизили поляков с русскими, а скорей перессорили. Русские требовали от них деятельной поддержки, а поляки соглашались дать ее только, когда убедятся, что наши готовы на революцию и имеют средства произвести ее. «Czas», «Gazeta Narodowa», «Dziannik Poznanski», «Rzeglad Rzeczy Polskich», «Demokrata Polski» и прочие тогдашние польские органы — все в один голос обвиняли нашу молодежь, будто она была сознательным орудием правительства для погубления польской; будто она хотела подбить поляков на студенческие демонстрации, чтобы скомпрометировать их перед правительством!..

То же самое происходило и в эмиграции. На «Колокол» поляки смотрели, как на правительственный орган, издаваемый с целью показать Европе, что и у нас есть либералы, что мы не совсем-таки варвары, а главное, чтоб поддеть на это поляков: помирить их с нами на либерализме, чтоб потом заставить забыть их свою polskosc. Казалось

* Зачеркнуто: проверить.

им тоже, что либералы русские заманивают их в общее восстание для того, чтобы «русская республика» подавила бы только-что освобождающуюся Польшу. Вообще, поляки и за ними французы и tutti quanti убеждены, что все наши реформы только для того и совершаются, чтобы задобрить общественное мнение Европы, привлечь этим к себе Запад, а затем притти и tout bonnement завоевать его...

Взгляд Герцена на польский вопрос был ясно высказан в первых номерах «Колокола» и возбудил сильное негодование в польской печати. Поляки никак не могли помириться с мыслью, что союз с свободной Россией будет для них благодетелен, что дело состоит не в историческом праве, а в экономическом быте общества, что все равно, где ни будет центр государства, в Москве или в Варшаве. Так же враждебно относились они к князю Долгорукому и к Бакунину за его «Хлопскую Польшу», и редко, очень редко кто из поляков проезжих или из эмигрантов заглядывал к нам. Мы были совершенно чужды друг другу, — и, я думаю, издатели «Колокола» и теперь должны быть чужды полякам, — по крайней мере, польские журналы очень враждебно к ним относятся.

Но между тем движение в России шло смелей и смелей и уже начало заявлять себя прокламациями. Поляки хоть и не сочувствовали его принципам, но не могли не следить за ним с сочувствием: всякий переворот в Европе ведет к перемещению границ, а переворот в России и подавно не мог бы произойти без влияния на участь Польши. Вдруг, неожиданное явление ободрило их окончательно.

Известно, с каким сочувствием относились в России к Гарибальди. Вопрос о народностях, дотоле незнакомый нам, вошел в моду, сделался предметом исследований и отразился, прежде всего, в теории, что русская народность не одна, а три — великорусская, белорусская и южнорусская. При тогдашней горячности молодежи и при отсутствии всякого государственного смысла в обществе, немедленно явилось заключение, в высшей степени справедливое и в высшей степени не приложимое к делу, что так как нас три народности, то пусть же будет три государства, каждое с своим языком, законами, войском. Эти три государства могут составлять один общий союз, а если им не понравится, то каждое может жить по себе. Новая выдумка, при русской последовательности, пошла дальше: Сибирь по себе, Кавказ по себе, Новгородские земли по себе, бывшее великое княжество Рязанское, Казань, Астрахань, Владимир, Пермь по себе,— словом, вся Россия должна была распасться на исторические группы, с полною автономией каждой, с правом выхода из общего союза когда угодно.

Теория эта была так увлекательна, что я в числе множества других уверовал в нее от всей души. В самом деле, устройся Россия в такую федерацию, уничтожь Турцию и Австрию, все государства Европы исчезли бы мигом, как они исчезали во время первой республики, и вся Европа стала бы одной федерацией естественных групп, которым уже нечего бы было резаться из-за границ или из преобладания, потому что границы их определялись бы этнографически, а недоразумения решались бы европейским конгрессом. Войны быть уже не могло, а стало-быть, и войско становилось лишним, вместе с таможнями, паспортами, консульствами и пр., и пр. И радовались мы от глубины сердца, что мысль эта возникла в России, что Россия покажет пример ее применения и внесет ее в Европу, считающую ее варварской, — патриотизм наш был задет за живое.

Понятно, что при таком учении польский вопрос разрешался сам собою. Польша должна была составить также одну естественную

группу, а к ней ли примкнут белоруссы и малоруссы или к нам, это уж их было дело. Нам казалось, что они именно за нами останутся, потому что они не любят поляков и потому что наши стремления и наши учреждения не могут не превзойти польских.

Но, покуда мы сочиняли эту теорию и обсуждали ее в кружках, поляки решились немедленно привести ее в исполнение. Во-первых, они уже начали верить в искренность нашего либерализма, доказанного ссылками и каторгой, потом они ободрились смелостью нашей печати и прокламаций, да наконец, и сильно заразились нашим оппозиционным духом. Молодежь польская последовала примеру нашей и * мигом превратилась в государственных людей, в дипломатов, в отцов отечества и вождей народа. Но наши не выходили из скромных пределов революционерствования на словах и делания восстаний в мечтах; наши не были годны ни к [ка]кому предприятию по своей распущенности (и даже трусости), а поляки взросли на преданиях о демонстрациях, о битвах, о заговорах: редко у которого в родстве нет ссыльного или эмигранта. Мы готовили себя в философы, поляки — в деятели. Мы были болтливы, как дети, поляк каждый умеет молчать. Для нас фраза шибкая да идейка новая — величайшее удовольствие, и дальше мы ничего не хотим, только бы удалось порисоваться, а у поляка вся мысль сосредоточена на восстановлении Польши в границах 1772 г.: это завет отцов его; этому мать на смертном одре закляла его служить; за это его kochanka руку ему отдаст; и, покуда мы собирались делать, он уже принялся за работу и поднял, ни к селу ни к городу, демонстрации, которые, вместо того, чтобы ободрить, образумили нас, и вместо того, чтоб восстановить его Польшу, окончательно ее погубили [132].

Тяжелое впечатление произвели они на нас в Лондоне. Телеграмма о первой свалке в Варшаве пришла к нам в утро праздника, который Герцен устраивал в честь освобождения крестьян. Не будь демонстрации, мы бы давно воротились с повинной... [133]

*

В польской эмиграции началось движение. Вожди ее, привыкшие считать себя вождями народа, были крайне обижены, что Польша зашевелилась без их спроса и что центральный комитет состоит из молодежи, по образцу наших кружков, людей ни родом не именитых, ни заслугами известных. Чарторыйским, Замойскому [134], Мерославскому [135] пришлось заискивать у центрального комитета расположения и полномочий, чтоб не утратить своего влияния, а центральный комитет относился к ним так же презрительно и свысока, как наше «молодое поколение» к старшему, опытность которого, знание жизни и навык к делам оно в грош не ставило. События в Польше были подражанием тому, что происходило в России, но подражанием ** энергическим и не ограничивавшимся фразами.

Польская эмиграция начала делать попытки к сближению с нами. Первым явился полковник Сигизмунд Иордан, краковский уроженец, выходец с 1846 г., участвовавший в Венгерской и Крымской кампаниях, брат агента Чарторыйских в Цареграде, Владислава, о котором мне много придется говорить ниже. Сигизмунд Иордан имел большие связи при разных дворах, особенно при стокгольмском, где он впоследствии делал демонстрации против России, и приехал к нам разузнать наши взгляды и, если возможно, сойтись с нами. Герцен и Огарев изложили ему свою систему, он возразил на нее только то,

* Зачеркнуто: тоже.

** Зачеркнуто: более.

что для приведения ее в исполнение надо, прежде всего, справиться с правительством, что поляки потому и не предпринимают никаких внутренних преобразований, что лишены возможности * совершить их так широко, как бы хотелось. А из этого выходило, что, будь Польша восстановлена, она мигом бы приложила к практике все новейшие теории и сделалась бы рассадником всех идей и свобод для человечества, — короче, он говорил то самое, что можно услышать от каждого серба, чеха, венгерца, покуда они добиваются политической само-



К. Т. СОЛДАТЕНКОВ

Фотография

Исторический музей, Москва

стоятельности, и чего никогда не видно у народов, недавно добившихся ее, у румунов ** или у греков с теми же сербами. Говорил он ловко, толково, судил о современных вопросах без всяких предубеждений и, намекнув, что польское дело и наше — дело общее, уехал куда-то, оставив в нас очень выгодное по себе впечатление.

За Иорданом другие стали являться — Браницкий [136] с *** Хоецким [137], Падлевский [138], наконец, Владислав Чарторыйский [139]. Более

* Зачеркнуто: приложить.

** Так в подлиннике.

*** Зачеркнуто: Хоевским.

всего интересовало их знать, готовы ли мы на революцию, сильна ли наша партия и как мы смотрим на польский вопрос; мы ничего не скрывали, потому что и скрывать было нечего. Вести из России, доходившие до нас, были вообще тревожные. Крестьяне не хотели подписывать уставных грамот, ждали «полной воли», искали «золотую грамоту». В войсках было брожение, офицеры сходились с солдатами и с народом, и со всех сторон неслись слухи, что за таким-то целый уезд, а за таким-то и целый город встанет. Молодежь наша из себя выходила, толковала о революциях и баррикадах; «Молодую Россию» никто не хвалил, но думавших одинаково с нею было множество; ей только в вину ставили, что она разболтала то, о чем молчать следовало. Польские демонстрации находили себе первое время большое сочувствие. Русским было стыдно, что у них нет такой смелости и влияния, как у поляков, что они не могут двинуть толпы, но общее мнение говорило, что, дойди у поляков до дела и придвинься их ожидаемое восстание к границам наших великорусских губерний, то и мы встанем. Полякам самим никто не доверял, на их либерализм мало рассчитывали, но довольны были их почином, который давал возможность произвести взрыв и направить его к разрешению экономических вопросов. Вообще по всему, что до нас доходило, мы не могли не притти к заключению, что революция неотвратима и что на ее стороне будет войско, мещанство и крестьянство, не считая уже образованного меньшинства. Революция эта нас не радовала, — я выше сказал почему, — но мы понимали, что, в случае ее взрыва, нам нельзя будет ограничиваться прежней пропагандистской ролью, и я опять настаивал, чтобы Герцен выступил вождем, — он смягчил бы ее ужасы *, предотвратил бы лишнее кровопролитие и ** направил бы ее к возможно лучшему исходу.

Герцен с Огаревым раздумывали, Бакунин не утерпел и поехал в Париж знакомиться с поляками [140]. Поляки сообщили ему, что они сами побаиваются взрыва и что одна у них надежда и есть — сочувствие к ним наших офицеров и солдат в Царстве Польском, между которыми уже завязался революционный комитет, состоящий в связях с их «центральным». Трое из членов этого русского комитета (Фенин [141],...***и...***) бежали перед тем в Париж, и они сообщили Бакунину, что наши войска ждут не дождутся восстания... Я видел проездом через Париж, в сентябре 1862 г., этих трех юношей, — старшему было едва ли более двадцати лет; это были почти кадеты, да вдобавок и очень недальние. Бакунин немедленно выписал в Лондон главу этого русского комитета — Потебню [142], скрывавшегося тогда в Познанском воеводстве, но разъезжавшего постоянно по всему Царству Польскому для организации восстания русских войск.

Я видел его только раз. Он приехал в Лондон, когда я сидел у Бакунина, и слышал его **** рассказы о происходящем в Польше. Он говорил, что положение русского комитета в крайней степени затруднительно, потому что он почти не в силах удержать восстания наших войск. Недовольство правительством, говорил он, превосходит всякое вероятие. Солдату совесть запрещает разгонять толпы, идущие за духовенством с крестами, со свечами, с пением молитв. Начальство держит его всегда наготове, это его раздражает и заставляет желать, чтоб поляков не вынуждали к демонстрациям, а неумеренные и неосторожные офицеры внушают ему, что не будь начальства, не будь

* Зачеркнуто: остановил.
** Зачеркнуто: привел бы.
*** Пропуск в подлиннике.
**** Зачеркнуто: первые.

у правительства прихоти насилием держать в подданстве поляков, то и солдатам было бы легче и наборов было бы у нас меньше. Да и многие тогда говорили: «Не полякам нужно от нас освободиться, а нам отвязаться от них»...

Рассказы Потебни окончательно убедили Герцена и нас всех, что дело идет положительно не на шутку; это окончательно решило вопрос о предводительстве. Он вошел в сношения с центральным комитетом [143] и с русским, получил от них известные адресы, возбудившие такую полемику [144], и стал организовывать общество под названием «Земля и воля», как окрестил его Огарев [145]. Что это было за общество, где оно было и насколько имело влияния, я ничего не умею сказать, хоть и был его агентом в * Цареграде, был уполномочен собирать на него вклады, на что у меня и квитанции даже были, очень красиво отпечатанные, распространял его прокламации и, вообще, считал себя обязанным ему повиновением. Оно сорганизовалось по моем отъезде, и все мои сношения с ним ограничивались перепискою с Герценом и с Огаревым.

Установившаяся, таким образом, связь наша с поляками, которую они покупали за весьма тяжелые для них уступки **, обратила внимание и прочих благоприятелей России. По случаю всемирной выставки приехала в Лондон та особа, которую я назвал перед высочайше учрежденной комиссией, но имя которой считаю лишним передавать бумаге (litterae trahunt), и изъявила желание видеться с Герценом, Огаревым и Бакуниным ***. Устроился завтрак, на который были приглашены и польские знаменитости; за завтраком много толковалось о прогрессе, о священных принципах 1789 г., о мученичестве поляков, о свободе и, словом, обо всем, как следует. Затем было ясно выражено, которое именно правительство держит сторону прогресса, содействует ему всеми зависящими средствами и готово помогать делу цивилизации Восточной Европы, даже при помощи своих консулов, которым будет п р е д п и с а н о передавать наши прокламации, кому мы укажем, а посылать их, равно как и всю нашу корреспонденцию, мы можем через министерство иностранных дел. Герцен благодарил за обязательность, Огарев, по обыкновению, молчал и конфузился, Бакунин ораторствовал и развивал какие-то экономические и революционные теории [146].

— Ну, что ж вы сделаете с этим предложением? — спросил я Герцена вечером того дня.

— Ничего не сделаю. Поблагодарил и довольно, нельзя же мешать в нашу домашнюю распрю с правительством иностранцев.

— Само собой разумеется, — отвечал я, — свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Дать возможность чужим запускать лапы в наши домашние дела, это значит готовить себе участь всяких индейцев и турок.

Замечу кстати. Мы никогда и ни в чем не прибегали к помощи иностранных правительств; это делалось не скажу, чтобы по расчету, а как-то **** инстинктивно. Нас отталкивало от них та pruderie, которая заставляет честного человека молчать о своих семейных дрязгах и не позволяет ему допускать посторонних мешаться в домашние ссоры. Бени как-то устроил, что «Колокол» можно было пересылать ему через английское посольство в Петербург, — мы не посылали. Если мы

* З а ч е р к н у т о: Константинополе.

** Адрес центрального комитета Герцену и полемика по этому адресу [примеч. Кельсиева].

*** И с князем Долгоруковым, если память мне не изменяет [примеч. Кельсиева].

**** З а ч е р к н у т о: по инстинктивному отвращению.

с поляками входили в сношения, то только потому, что принадлежали к одному государству с ними и искренно желали сбыть с рук это несчастное Царство Польское, стоившее нам бездну крови, денег, неприятностей и вечно вводившее нас в столкновение с Западом. Царство Польское — как вытягивающая наши лучшие силы мозоль, которая шагу нам ступить не дает. И западные правительства очень хорошо знают это; они никогда не решатся сделать нам ампутацию этой язвы, они знают, что мы бы разом вдесятеро здоровей и сильней тогда стали; поэтому им и выгодно растравливать наше больное место и поддерживать в нем болезненное воспаление. А отступить нам от него нельзя, отдача его Пруссии была бы уголовным преступлением против нашей истории, изменою славянству; отдача Австрии только запутала бы дело, потому что мы стоим накануне раздела Австрии, как сто лет тому назад стояли накануне раздела Польши. Это может покажется фантазией, но ведь и в 1767 г. каждого, кто * предвидел неизбежность раздела великого королевства польского, назвали бы сумасшедшим.

Я говорю слишком смело, — это, может-быть, окончательно меня погубит, но было бы бесчестно с моей стороны утаивать от правительства те заключения, к которым я пришел в эти долгие пять лет пристального изучения наших отношений к нашим соседям. Если я погибну за мою откровенность с ним, то пусть же я погибну с сознанием, что я исполнил свой долг. Придет время — лет через сто, через полтораста, — моя исповедь вынырнет из архивов и явится на суд тогдашних историков. Может-быть, они найдут, что я ошибался, что я не понял событий нашего времени, но они признают за мной, что я искренно хотел блага России и что, находясь в четырех стенах этого № 4, за железной решеткой, я меньше о себе думал, чем об разъяснении правительству путей, которыми оно, по моему крайнему разумению, может вести ко благу наше огромное государство. В этих трех последних отделах мне почти исключительно придется говорить об его недосмотрах и ошибках; может-быть (люди всегда люди), даже между судьями моими я за это найду врагов, но зато совесть моя будет чиста, долг будет исполнен, а поколения, которых я не увижу, помянут меня именем честного человека.

Сбыть с рук Польшу нельзя, немечить ее вредно, обрусить невозможно, а оставить как была даже немыслимо, — остается, волей-неволей, одно: сделать ее истинно славянскою, т. е. повернуть стремления ее образованных классов к слитию с нами [в] одно всеславянское государство. Препятствие к этому, [как] и правительством уже замечено, состоит в католическом духовенстве. Но зачем же это духовенство набирается у нас исключительно из поляков? Разве нельзя замещать вакантные места хорватами, словаками и чехами, которые все панслависты? Иосиф II с большим успехом прибегал к этой мере с целью германизации Австрии, а мы могли бы этим же самым славянить Польшу, что было бы и разумнее и выгоднее онемечивания ее, которое теперь совершается зачем-то на левом берегу Вислы, так что славяне-протестанты лишаются даже права молиться по славянски. В Польше католицизм, и отменить его нельзя; но в католицизме есть пропасть разных обрядов, кроме латинского, и правительство, не трогая веры, может понудить Рим предписать заменение этого обряда если не нашим, то хоть глагольским, существующим до сих пор в Далмации[147]; а глагольский обряд все же славянский и все же шаг к слиянию с нами и с прочим славянством, которое будет крайне довольно

* Зачеркнуто: предсказывал.

этою мерою, о которой уже сами хорваты (в лице епископа Стросмайера[148]) сильно мечтают. Что же касается холмской ехархии и наших западных губерний, то правительство может уже без церемонии превратить все тамошние костелы в униатские церкви, провозгласив, что где сельское население русское, там и обряд должен быть русским. Все дворянство западных губерний из православия через унию перешло в католичество, воротим его в унию, и оно из католичества перейдет в православие; оно само будет радо предлогу развязаться с Польшей, не насилуя своей совести. Уния в западных губерниях разом заставит тамошних католиков забыть польский язык и польские интересы и разом разрешит вопрос о русских землевладельцах в этом крае, разрешит прочнее и вернее, чем грозящая нам опасностью— в случае войны с Пруссией — продажа тамошних имений немцам или колонизация Жмуди немцами. Пусть правительство отрежет от Польши Западный край и начнет славянить Польшу — повстанья сделаются сами по себе невозможны: крохотная Мазовия не в силах будет одна бороться против целого славянского мира, она сама будет искать возможности утонуть в славянстве. Ниже мне не раз придется обращаться к этому плану, выработанному мною при помощи самих же поляков и католического духовенства австрийских славян *.

*

Тревожные ожидания, необходимость заводить новые связи и расширить наше влияние на старообрядцев, надежда заинтересовать в нашем деле липован, наконец, желание осмотреть, на что можно и на что нельзя рассчитывать, — все это, вместе с досадой на неудачный исход поездки в Россию, заставило меня ехать в Турцию и в дунайские княжества, где живет огромное множество русских и откуда я надеялся устроить сношения с Петербургом и с Москвой. В конце августа 1862 г. я отправился через Булонь в Париж, где и остановился, чтобы собрать кой-какие предварительные сведения о том, что меня там ожидает. Бакунин дал мне письмо к капитану Косиловскому, секретарю польской батиньольской школы, приближенному Чарторыйских, Замойского, бывшему в англо-польском легионе и показавшемуся Бакунину почему-то очень важной особой. Косиловский сообщил мне все, что мог, рассказал мне об черкесских и липованских отношениях к Hôtel Lambert[149], и я отправился в Марсель, не сделав и не видев в Париже ничего, что бы могло быть упомянуто в этих листах. Разве то могу рассказать, что какой-то крайний социалист затащил меня к Мерославскому, у которого я просидел с час и вышел от которого пораженный его ничтожеством. Вот что отвечал Мерославский моему приятелю на предложение пропагандировать в Польше не историческое право, а коммунизм — в этих словах Мерославский рисуется весь, со всем его пошлым тщеславием и вопиющим самолюбием. Недаром поляки говорят про него, что, давай ему даром Польшу, он ее взять не захочет, — для него Польша — средство показать свои военные дарования. Итак, этот великий военный писатель, вечно разбиваемый в деле, отвечал следующее:

— Э, что вы говорите! Разве я не разделяю взглядов коммунистов? Разве я не хочу сделать Польшу коммунистической общиной? Только пропагандой ничего сделать нельзя, пропаганда — вздор. Вот другое дело, когда я на коне, около стремени моего все эти князья, графы, магнаты, а сзади меня пушки и штыки, — тогда я вам мигом, в один день, сделаю экономический переворот. А пропагандой ничего

* Приложение I.

сделать нельзя, с ней трата времени, — как прикажете вдалбливать в голову всем этим аристократам новые принципы? А будь я на коне, и вейся они около моего стремени — дело другое. Пушки убеждают удивительно, они проповедуют красноречивей всяких Демосфенов, и когда они стоят за вами, а эти магнаты лебезят около стремени...

Я не утрирую. Мне врезалась в память эта лелеемая им мысль быть на коне и видеть у своего стремени магнатов. И это предводитель! Вот до какого отупения доходят в эмиграции.

Из Марселя я выехал 20 сентября и 4 октября был уже в Цареграде, побыв в Спарте, на острове Сире и в Смирне. Капитан парохода и пассажиры считали меня за черкеса и научили, как пробраться в город, не показывая паспорта (на имя Яни, с которым я был в России), так как я не был уверен, что наше посольство не примет мер к моему арестованию и так как поляки мне ужасы рассказывали об его деятельности. Первый визит мой был сделан полковнику Владиславу Иордану, тогда агенту Чарторыйских, а впоследствии посланнику «народного правительства» (Rzada narodowege). У меня было письмо к нему из Парижа, от его брата Сигизмунда, и он меня ждал.

Полковник Иордан был тип польского эмигранта-дипломата. Он участвовал в Краковском деле 1846 г. [150], потом в Венгерской кампании; в Крымскую войну вступил в турецкую службу и оставался в ней, кажется, до 1863 г. Он имел состояние, построил себе дом в одном из предместьев Перы (Фери-Кей) и был хорошо принят в французском и английском посольствах, хотя у него я не встречал никого из членов этих посольств. В Париже мне отзывались об нем, как о человеке, пользующемся большим влиянием на Порту, а в Цареграде много шептали об его связях и значении. Сам он держал себя * высоко, намекал на важность дел, которые ведет, имел секретаря для ведения переписки, и мое первое впечатление было в пользу ловкости и распорядительности поляков. То же самое испытывает каждый новичок, входящий в круг эмиграционных деятелей.

Прежде всего, Иордан дал мне совет быть как можно осторожней. «Русское посольство окружит вас шпионами, если узнает, кто вы, — говорил он мне. — Начнете вы что-нибудь делать, вам подошлют отравителя или наймут первого грека из Галаты (нечто вроде Сенной), и он вас приколет на улице. Ночью остерегайтесь даже мимо ворот посольства и консульства проходить, — вас могут схватить и потом отправить в Россию...» Не верилось мне, но, на всякий случай, я стал осторожней. «С поляками, ради бога, не сближайтесь, — это все дрянь, одичавшая в эмиграции, болтуны, интриганы...». Я и в этом послушался, вполне полагаясь на опытность моего Виргилия в цареградских делах.

У поляков были сношения с черкесами и с старообрядцами; нужно было узнать, в чем они состоят и нельзя ли воспользоваться ими для успеха нашего, тогда уже ** революционного дела. Для ясности я расскажу сперва, как мне не удалось ничем воспользоваться от черкесов, а потом уже, как я ничего не мог сделать с старообрядцами, хотя даже и поселился потом между ними в Добрудже.

*

Начну с первых польских шагов на Востоке ***.

Очутясь в 1833 г. эмигрантом, князь Адам Чарторыйский [151] ску-

* Зачеркнуто: довольно.
** Зачеркнуто: почти.
*** Вместо зачеркнутого: Начну с первых связей польской эмиграции с Кавказом.

чал и досадовал, что ничего не может сделать для Польши. Талейран надоумил его. «Князь, — сказал он, — дело Польши — дело Западной Европы. У нас и у вас враг общий, но мы плохо знаем его средства вредить нам. Очевидно, что он силен преобладанием своим на Востоке, но что он там делает и что затевает, мы никогда не можем понять, потому что мы знаем Восток только по донесениям наших консулов и послов, а вам известно, что большею частью эти люди попадают на свои посты по протекции и по случаю, без всякой предварительной подготовки. Чтобы следить за русскими интригами, мало быть * хорошим французским патриотом и исправным чиновником, надо знать коротко русских, их манеры, привычки, цели; надо знать их самих, как вы, поляки, их знаете; а чтоб бороться с ними, нужны люди, закаленные в борьбе и привычные к ведению тайной агитации. Вот, по-моему, миссия польской эмиграции, и пусть она, au nom de la civilisation et de sa propre cause, возьмется за дело».

Совет был дельный, оставалось найти агентов. Чарторыйский сблизился с турецким посольством, и его ** креатура, Решид-Эффенди[152], стал быстро подвигаться по службе, пока не сделался, при поддержке европейских дипломатов, великим визирем. Молодой бердичевский помещик, русский по происхождению, униат по вере, литератор, фантаст, Михаил Чайковский[153] выпросился в агенты на Восток.

— Я приехал в Цареград, — рассказывал мне Чайковский (ныне Садык-паша), — без всяких рекомендаций, а взял драгомана и отправился прямо к тогдашнему великому визирю. Меня приняли, у турок принимают всякого, я сел и сделал такое заявление о себе: «Польский шляхтич не нуждается в рекомендациях, являясь к турецким министрам. И мы и турки — народ воинственный, рыцарский, благородный, а враг у нас один: подлый, деспотический, интригующий москов. Я приехал сюда помогать моим братьям-туркам в их святой борьбе против этой змеи, поэтому и явился к вашей светлости предложить мой союз».

Великий визирь удивился, согласился, и Чайковский был официально утвержден в звании польского агента с жалованьем от правительства, которое он и до сих пор получает, хотя уже пересорился с поляками и не мешается в их затеи против нас. Его честолюбие удовлетворилось, кажется, командованием двух польских полков — казацкий и драгунский, — да и мечты его быть гетманом в Малороссии или, по крайней мере, в Добрудже, *** я думаю, разлетелись. Но в прежнее время, до 1850—1851 гг., он был чрезвычайно досужлив. Он первый ввел поляков в французские консульства, в службу Messagerie Impériale, и ввел так удачно, что едва ли есть в Турции одно французское консульство или одна контора Messagerie, при которых бы не было поляка, если не секретарем, то рассыльным, домашним учителем, другом дома — чем бы то ни было. Французский консул редко знает турецкий язык и местные отношения, редко он и способным человеком бывает, потому что нет возможности набрать способных людей на эти места. Но поляк, который им руководит, всегда человек бывалый, прошедший огонь и воду и медные трубы, участвовавший в десятках заговоров, бегавший из тюрем, близко знакомый с недостатками паспортных систем и с слабостью надзора над границами. Понятно, что скромный чиновник, мирный гражданин, какими бывают обыкновенно консула, не преминет быть орудием в руках опытного и отважного эмигранта, который ничем не дорожит, потому что

* Зачеркнуто: способным.
** Зачеркнуто: друг.
*** Зачеркнуто: очевидно.

и терять ему нечего, потому что он привык и к потерям и к кочевой жизни. Все местные сведения собираются через эмигрантов и невольно приходят в Париж в смысле, враждебном России; зато и все сведения о современных политических событиях сообщаются болгарам, сербам, грекам и даже туркам в таком же искаженном виде: Франция представляется единственной охранительницей угнетенных народностей; она бы сильнее стояла за них, если бы ей не мешала Россия, которая подбивает их против турок, чтоб обречь их на участь Польши. Наполеон Европою управляет, он запрещает России завоевать Турцию, он предписал России освободить крестьян, он ждет только удобного времени, чтоб объявить ей войну для освобождения Польши etc. etc. etc. ... Простонародье, веками привыкшее смотреть на нас, как на своих освободителей, не волнуется этими россказнями, но они сильно действуют на передовых людей из болгар, сербов и греков. Газет они сами не читают, о Европе понятие имеют смутное, двери русских консульств им обыкновенно заперты, чиновники русские избегают их, чтобы не навлечь на себя неприятностей из Петербурга, стало-быть, волей-неволей приходится верить полякам. Доверие к России теряется, молодежь едет учиться в Австрию и во Францию, потому что получение паспорта на Запад не навлекает подозрения в симпатиях к России, а кто прожил несколько лет между французами и поляками, тот уже неизбежно становится нашим врагом. Да, наконец, даже и другом-то нашим быть опасно. Доброе слово за нас мигом доходит до французского, австрийского и иногда до английского консула, а от них препровождается в официальном отношении паше, с укором ему, что он не блюдет за интересами Турции, терпя русских агентов и русскую пропаганду; и обвиненному не избежать, по меньшей мере, неприятностей.

Мер против такого порядка дел наше правительство не приняло и не принимает никаких; а между тем, мы живем в веке, когда хорошие отношения между правительствами вовсе уже не обусловливают хороших отношений между народами. Прежде дело дипломатов было очень просто, — стоило расположить к себе такой-то двор, чтобы обеспечить в нем союзника или добыть у него провинцию. Но, с тех пор, как возникла мысль о народностях, как suffrage universel был не раз приложен к делу, обстоятельства совершенно переменились. Теперь мнение об нас каких-нибудь молдавских лавочников, болгарских огородников и сербских каменщиков и свинопасов вовсе не так мало значит, как в прежнее время. Запирая им двери в наши консульства во имя трактатов и из вежливости к Порте, мы силой заставляем их прибегать к помощи французов, которые если и ничего не делают для них, то, по крайней мере, обещают им сделать, а люди в нужде слепо верят всяким обещаниям. Сторонясь от них, не вступаясь за них, «потому что из Петербурга нет на это предписаний и полномочий», наши консула возбуждают горький ропот на наше правительство в единоверных нам населениях. «Что они у вас за трусы, за эгоисты, — говорят славяне, — чего они открещиваются от нас, как от нечистой силы! В гости к нам не ходят, к себе не принимают! Отчего французский консул, к которому придешь за делом, всегда и расспросит, и посоветует, и обещает сделать, что может, а к русскому идешь как-то даже со страхом, точно к судье или к начальнику; с турками легче иметь дело, чем с русскими консулами!». И этот упрек можно слышать и в Австрии, и в Англии, и где угодно, даже вовсе не от каких-нибудь угнетенных народностей, а просто от русских же. Тогда как всякий американец, итальянец, пруссак, заброшенный случаем на чужбину, смело входит в свое консульство, зная, что в нем

он всегда найдет и помощь и поддержку; русского в нашем консульстве принимают свысока, даже грубо, и шага лишнего для него не сделают, особенно если он в беде и незнатен.

Разумеется, что поляки пользуются этой чопорностью наших дипломатов, которые не удостаивают никого своим знакомством, и сочиняют про них, что душе угодно, вперед зная, что тем не предписано действовать самостоятельно в пользу России. И вот, умри какой-нибудь поляк или болгарин-католик, действовавший во вред нам, — русский консул его отравил; сделайся пожар у Иордана или у Чайковского, — русское посольство подожгло; крикни пьяный грек на улице против турок или случись в Яссах демонстрация (как 3 апреля прошлого года) [154], — русские подбили. И ширится пропаганда против



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ ПОДЖИГАЮТ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

нас, против православия, ширится с таким успехом, что нас и защищать никто не осмеливается, — словом, дело идет точь в точь, как шло в западных губерниях до повстанья. On nous traite en canailles, а мы важничаем, соблюдаем церемонии! Турция с давних времен смеется нам под нос, укрывая и поддерживая наших отъявленных врагов, а мы в острог сажаем каждого болгарина, сербина или грека, который дерзнет бежать в Россию без паспорта, укрываясь от политического преследования. Французы, англичане, немцы ругают нас, на чем свет стоит, в газетах, издаваемых в Турции, болгаре обязаны ругать нас в своих газетах, а мы даже подумать не удостоили о заведении в Цареграде нашего органа. Православие чуть что не преследуется католической и протестантской партией, костелы и кирки распространяются повсюду, а мы не только ни одной русской церкви не завели (я не считаю домашних), даже поддерживаем фанариотов [155], даже католическую пропаганду в Боснии терпим, а в Болгарии униатскую. Я далек от обвинения в этом нынешних деятелей нашей дипломации, вина не их, — они унаследовали эти порядки от не-

мецкого министерства графа Нессельрода, которое было совершенно иностранным для России, как и предшествовавшие ему министерства Каподистрии [156] и князя Адама Чарторыйского, убившие с таким успехом все, что было сделано Петром для нашей морской торговли и Екатериной с Потемкиным для нашего влияния на Востоке. Зло входит в привычку, делается незаметным, и легче указать его, чем исправить, я и указываю на него вовсе не в укор, а в надежде и в полной вере, что правительство оценит побуждения, руководящие меня быть с ним откровенным.

Зло покуда исправимо. Пусть консулам нашим будет предписано не стеснять себя старыми инструкциями, а делать все, что покажется им выгодным, для привлечения к нам православных и прочих славянских народностей Турции и Австрии. Пусть им будет разрешено позволять себе все, что позволяют французские и австрийские консула, а чиновникам их пусть вменено будет даже в обязанность сближаться с местным населением. Пусть повышения в чинах и в службе хоть по принципу будут производиться за действительную пропаганду любви к нам, а не за умеренность и аккуратность, — и дело отлично пойдет. Нам нечего быть застенчивыми, — французы и прочая братия вовсе не церемонятся с нами, и чем скромнее мы держим себя, тем нахальней они становятся.

Из наблюдений моих над недостатками нашей современной консульской и посольской деятельности я вывел несколько правил, которые и прилагаю на отдельном листе * в надежде, что правительство не оставит их без внимания.

*

Чайковский не ограничился этим введением поляков в французский дипломатический корпус, он занялся ** созданием федераций всех враждебных нам элементов, начиная с черкесов.

Черкесы издавна были в тех же отношениях к Турции, как поляки ко Франции. Улицы Цареграда вечно кишели горцами, князья их ездили в Цареград, как *** в Париж, учились там мусульманству, собирали политические новости и заискивали покровительства дивана. Чайковский сошелся с ними, растолковал ****, что поляки — их естественные союзники, стал посылать в горы своих агентов. Трудно было дикарям понять разницу между урус и лехли: пленных они одинаково обращали в рабство, не разбирая их происхождения и разницы между православными и католиками, а лучший из агентов Чайковского, знаменитый Le Noir (не помню его настоящего имени), был ранен в горах каким-то армянином, вероятно, хотевшим его ограбить, по словам же Чайковского подосланным русскими. Но наущения турок и обещание помощи поляками все-таки поддерживали в горцах надежду отстоять себя от нас; изредка им посылалось оружие, складчины делались в их пользу... Мало-помалу связь эта так окрепла, что, если не ошибаюсь, в 1848 г. черкесы посылали адрес за адресом князю Адаму Чарторыйскому с просьбою или самому сделаться их султаном или дать им в султаны кого-нибудь из своих сыновей. Эти адреса, равно как и пропасть других, я сам видел в архиве Hôtel Lambert. Но Чарторыйский мало ценил связь с черкесами, не дал им султана и — что, может-быть, величайшая его ошибка — не отправил на Кавказ ни легионеров 1833 г., ни корпус Бема 1849 г. [157]. Почему все

* Приложение II.
** Зачеркнуто: организацией.
*** Зачеркнуто: мы.
**** Зачеркнуто: им.

эти выходцы попали в Алжир, а не на Кавказ, я не знаю, и никто не мог мне объяснить. Иордан, Чайковский, Костельский (Сефер-паша)[158], Михайловский, Жуковский, Косиловский и прочие поляки, коротко знакомые с ходом цареградских предприятий, как-то глухо отзываются, что в Париже мало верили в пользу и в практичность поддержки Кавказа. В Крымскую войну, как поляки ни настаивали, чтобы союзники заняли горы, их не послушали. Экспедиция Лапинского[159] тоже не принесла толку как по своей малочисленности, так и по желанию участвовавших в ней венгерцев подслужиться русским сдачею им гор...

Чайковский разошелся с Hôtel Lambert, Костельский * оказался почему-то неспособным к службе, и Владислав Иордан сделался представителем польских интересов. Человек самолюбивый, мстительный, интриган по склонности, — словом, польский выходец, заматоревший в сплетнях и в дрязгах, он оказался на поверку неспособным ни к чему серьезному и навлек на себя ненависть всех цареградских поляков, с которыми обходился с высоты своего дипломатического величия. Но с черкесами ему удалось сойтись, может-быть, потому, что он имел мало личных столкновений с ними. Князья черноморских племен бывали у него часто, и ему удалось убедить их в необходимости союза между собой. Из убыхов, абадзехов, абазы, натухайцев, шансулов... из **с е м и** племен этого берега было предложено составить федерацию по образцу швейцарской, и для этого даже конституция швейцарская была переведена на турецкий, в руководство будущим федералистам...

Дело, впрочем, не клеилось. Горские князья вечно интриговали друг против друга, а будущие кантоны резались напропалую изо всяких пустяков. Но, тем не менее, ** уже начинало проникать в массы сознание пользы союза, для которого даже и герб был сочинен, три белых стрелы и семь звезд на зеленом поле, что выходило очень красиво, и во время повстанья уже присоединялось к польскому орлу, литовскому всаднику и украинскому Михаилу Архангелу, в знак *** союза двух утесняемых нами народностей.

Во время демонстраций, которые, очевидно, вели к восстанию, Иордан стал энергичнее вести дело. Он придумал отдать черкесское дело на суд Европы и ввязать нас в неприятности с Англией, рассчитывая, что Англия не упустит занять горы, эту естественную нашу крепость, и затеет с нами войну. Известно, чем окончилось подписание его protégés адреса королеве Виктории, — в парламенте пошумели, в газетах поговорили, и черкесский вопрос забылся в Европе[160]. Но на Кавказе он произвел впечатление: наши войска стали действовать решительнее, и весной 1863 г. все интересовавшиеся в Цареграде политикой сходились в редакцию либеральной (и потому антирусской) газеты «Courrier d'Orient» смотреть записки, прибитые гвоздями к груди повешенных черкесских стариков по взятии какого-то аула. На этих окровавленных лоскутах было написано: «Отправляйтесь к английской королеве!». Криков и ужасов было много, особенно со стороны французов, которые au nom de la civilisation то же самое, даже и почище, делали в Алжире, и я тогда же понял, что Иордан заслуживает Станислава на шею от нашего правительства за то, что понудил

* Костельский — уроженец познанский, выдает себя за графа и за побочного сына покойного прусского короля. Человек в высшей степени светский, он учит турок европейским манерам, устраивает праздники для посланников, jokey cloob для пашей и т. п. [Примечание Кельсиева.]

** З а ч е р к н у т о: идея необходимости союза.

*** З а ч е р к н у т о: искренности.

нас ускорить покорение Кавказа. Летом того же 1863 г. он отправил на Кавказ экспедицию из поляков и французов, нелепейшим образом составленную, но стоившую огромных денег. Предводителем ее был полковник Превлодский (Przewlocki), а секретарем ее — некто Сливовский, впоследствии сделавшийся моим приятелем [161]. Он теперь в Молдавии и пишет для меня рассказ о похождениях их партии в горах. Если я буду иметь возможность, я доставлю и его исповедь правительству, — она тоже пояснит быт политических трущоб, в которые высокопоставленные лица даже и возможности не имеют заглядывать.

Перейду к моим сношениям с горцами. Иордан познакомил меня вскоре по приезде моем в Цареград с Измаил-беем, сыном некогда знаменитого Сефер-паши, добрым, но очень глупым малым, жалким потомком славных отцов. Затем явились и депутаты, возившие адрес королеве Виктории.

Идея адреса мне была не по вкусу. Я был федералист, и если признавал право горцев на независимость от нас, то никак не мог согласиться на их подчинение Англии. Я это им прямо высказал, объясняя, что англичане не даром же, не для преграждения русских завоеваний дадут им чаемую помощь. Оказалось, что они об этом и не подумали.

— Да как же нам быть? — толковали они. — Нас сгоняют с гор, а на наше место казаков переводят. И мы этого не хотим, и казаки не хотят, — казаки даже бунтовать с нами собирались и предлагали в союз войти, чтобы только не переселяться ни им, ни нам; они сами нас просят, чтобы мы не сходили с гор. Мы уже думали войти в союз с ними против русских, да у нас, у натухайцев, война была с убыхами, из-за пустяков: один убых украл корову у натухайца, натухаец его убил в драке, — ну, и пошло дело. А тем временем «девять казацких генералов(?)» было в Сибирь сослано, а один расстрелян, — так и остановилось.

Этот рассказ породил в моей голове план помирить наши федералистские принципы с выгодами русского народа, а равно и воспользоваться горами для образования в них гнезда нашей агитации.

— Послушайте, — толковал я им, — чем вам вязаться со всякими англичанами и французами, не выгодней ли будет просто-напросто сойтись с казаками и принять их в ваш союз, благо они сами этого хотят. Тогда и народу у вас в горах стало бы больше, много русских и поляков перебралось бы к вам, завели бы у вас станицы и стали бы вас защищать от нападений... — и т. д.

Нелепость этого я скоро понял, но черкесы увлеклись ею и даже собирались предложить мне сделаться их султаном, если только соглашусь на обрезание! Для этого они пошли советоваться с Иорданом, тот в ужас пришел. «Да как же вы не понимаете, куда он ведет вас? — сказал он им. — Ведь, согласитесь вы на его предложение, Кавказ и без войны сделается русским; он вас подчинит вашим новым союзникам — казакам, а русские станицы в горах будут вас держать в повиновении».

С этих пор отношения наши с Иорданом стали холоднее, но мы все-таки виделись каждый день, и он не переставал мне расписывать свое влияние на черкесов.

Был у него агент в горах, поляк, молодой человек, посланный именно для устроения союза. Ахнул я, когда увидал его потом в Цареграде. Это был мальчик не старше девятнадцати лет, крохотный и умом и ростом, который напроказил что-то в полку и бежал из Одессы в Цареград без всяких целей — просто по глупости. Есть ему было нечего, Иордан приютил его из сострадания в своем доме, Козерадский из благодарности чуть сапог ему не чистил; между ними образовалось сочувствие, и ребенок был произведен в политические деятели. Потом он как-

то попал под гнев своего покровителя и отправился в Россию участвовать в восстании; где он и что он теперь, не знаю.

Другой такой же господин, Заборовский[162], сын поляка и русской, саратовский уроженец, православный и ни слова не знающий по-польски, вдруг, ни с того ни с сего, просто со скуки быть канцелярским служителем (образования он нигде не получил), вдруг воспылал любовью к Польше и бежал вместе с ссыльными поляками, братьями Сливовскими и Сташевским. В Цареграде ему и делать было нечего, а главное — есть нечего. Он тоже подделался к Иордану и к покойному князю Витольду Чарторыйскому, бывшему тогда в Цареграде. Иордан из удовлетворенного тщеславия, Витольд по свойственной всем чахоточным слабохарактерности согласились на его просьбу отправить его агитатором в Новороссийский край! Доехал он с турецким паспортом до Одессы, прожил в ней три дня, ничего, разумеется, не делая, — его арестовали и выпроводили обратно, не объясняя даже поводов. Он не унялся, опять сел на пароход и отправился в Таганрог подымать Дон! Слышно было, что его арестовали при самом сходе на берег, и что он сидел где-то в остроге. Ему было всего лет восемнадцать, образования он не имел никакого, а ума был очень ограниченного. Тысячи таких анекдотов мог бы я привести в доказательство, что и польские агитаторы ничуть не мудреней наших.

Приведу пример, каким образом появляются в иностранных газетах всякие нелепости о России. Встречаю я на улице одного знакомого татарина, учившегося в Цареграде мусульманскому богословию. Он сказал мне, между прочим, что ходят между его товарищами-студентами слухи, будто в Казанской губернии случился какой-то бунт. Я передал этот слух Иордану,* не придавая ему особенного значения, но Иордан задумался. «Это, — стал он комментировать, — по всей вероятности, или демонстрации или начисто восстание татар против вашего царизма. Не могли же они забыть царства Казанского...» и т. д. Тут он развил целую теорию о царстве Казанском и Астраханском, о значении у нас татарского элемента и понес такую ахинею, что я уже из одной вежливости не возражал. От меня он пошел в редакцию «Courrier d'Orient» и сообщил новость и пояснения к ней редактору, доброму, но ограниченному корсиканцу Джам-Батисту Петри. Дня два спустя и я завернул к Петри, он пересматривал корректуры, и я увидел между ними уже положительное известие о Царстве Казанском.

— Que diable, cher Piétri! Откуда вы это взяли?

— Le colonel m'a dit...

— Да ведь это только предположение...

— Ah, tant pis pour les tartares! Quant à nous, nous n'avons qu'encourager la cause polonaise...

Сказать против этого было нечего. Мы похохотали и расстались, а «важная новость» с новыми пояснениями явилась уже и в турецких газетах. Перепугались татары в Казани, которым в голову даже не приходило бунтовать pour les beaux yeux de Царство Казанское, и подали адрес государю с заявлением своего верноподданничества!

Не знаю, каким образом, Иордан высчитывал, что на Кавказе есть около сорока тысяч поляков — солдат и офицеров. Он был вполне уверен, что при первой вести о восстании в Польше они тоже подымутся, соединятся с черкесами и сделают по меньшей мере демонстрацию. Это, по моему мнению, все же было выгодней, чем отдача Кавказа англичанам, благо с поляками рано или поздно мы помиримся, да и лучше же видеть Кавказ в руках славян, чем бог знает чьих. Мне тогда при-

---

* Зачеркнуто: тоже.

слали огромный ящик прокламаций «Земли и воли», экземпляров, я думаю, тысяч до восьми. Девать их некуда было, — читать их никто не хотел; я после, в Тульче, целых полтора года изводил их на самовар и на печи и все не мог одолеть. Один старообрядец, Григорий Михайлов Разноцветов, поручик турецких казаков и большой друг поляков, достал случайно с полсотни экземпляров и прибил их в Тульче по всем посещаемым им кабакам. Я думаю, они там и до сих пор торчат на стенах, но я не видал ни разу, чтобы их кто читал, хотя меня этот вопрос и мало интересовал в период моего разочарования. Кто и останавливался над ними, тот, наверно, ругал поляков, — так сильна уверенность в нашем простонародье, что все, что пишется против правительства, непременно должно быть польскими кознями. Иордан взял их у меня с сотню и отправил на Кавказ, поручив черкесам распространение их. Сколько знаю, кое-где их поприбивали к деревьям, а большая часть погибла бесследно. Впечатления они тоже ровно никакого не произвели на наши войска, и солдаты-католики даже не думали переходить к черкесам. Все это был мираж, фантазия, и я * начал догадываться, что наше дело неисполнимо и наши верования не выдерживают критики. Уже как-то пассивно, по привычке к агитированию, а не из веры в успех, налитографировал я первую и последнюю прокламацию моей собственной работы, в заголовке которой поставлен русский крест и которая начинается словами: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас, грешных», написанными вязью. Она точно так же пошла на самовар [163].

Близкое знакомство с поляками подорвало во мне веру в их способность и в возможность успеха их дела, а внимательное чтение газет заставило меня признаться себе, что мои золотые грезы о возможности федерации так и следует признавать грезами. Какая ж федеративная Россия может выйти подле Польши, основанной на историческом праве, Германии с его тогдашним Nationalverein и Франции с централизацией? Какая домашняя сделка могла выйти с поляками, когда они всю Европу на нас тащили? Можно подавить в себе патриотический эгоизм, но как же мог я, русский, равнодушно смотреть хоть на введение унии у болгар, единственно затем, чтобы поссорить их с нами и чтоб, разделив их, обессилить их народность?

Кстати, об этой унии. Она тем же Иорданом была затеяна. Высшее греческое духовенство развратно и корыстолюбиво так, что поверить нельзя, не поживши самому в Турции. Оно грабит народ на свои гаремы не только из девушек, но — писать даже противно — из мальчиков, из послушников и молодых дьяконов! Понятно, какую ненависть должен был возыметь к нему возрождающийся болгарский народ, особенно когда оно стало преследовать славянское богослужение. Болгаре заявили протест против этого преследования, греки обвинили их перед турками, будто они хотят подчиниться нашему синоду, будто все движение идет из России за наши деньги. Синод наш — загадка для меня — почему — стал поддерживать греков и в посланиях цареградскому патриарху признавал его первенствующим в православной церкви, хотя первенство это перешло к нам, вместе с двуглавым орлом, при бракосочетании Ивана Васильевича III с Софиею Палеолог и с принятием им царского титула. Болгаре стали между двух огней, когда мы их так жестоко отринули, а мы-то именно одни и имеем право поставить им патриарха, хотя, по застенчивости нашей, и отказываемся от этого права. С тайного соглашения Порты, высшего греческого духовенства и поляков, при помощи болгар, воспитывавшихся в Париже и в французских цареградских школах (русских мы там не завели), явилась мысль об

---

* Зачеркнуто: скоро.

унии. Греки поддерживали ее из ненависти к нам за наше первенство в православии и за сочувствие славян к нам. Им захотелось разделения болгар на два враждебных стана, чтобы облегчить дело восстановления византийской империи, — им выгодней видеть болгар католиками, протестантами, кем угодно, только бы нашими врагами и врагами нашего синода. Проклятия сыпались на нас от болгар в 1862—1863 гг., когда я был в Цареграде, за нашу политику, которая разбудила их при Петре и при Потемкине к политической жизни и вдруг сделалась какой-то таинственной, немецки-чопорной, старчески-легитимистской, не давала им итти ни взад, ни вперед, и сделала из Турции игрушку западных держав. Они понять не могли, чего мы хотим, за них мы или против них, отчего мы так высокомерно держим себя в отношении их и более соблюдаем какие-нибудь венские или парижские трактаты, чем их интересы, тогда как эти-то их интересы, в сущности, наши, потому что они не могут не предвидеть образования всеславянского государства.

Уния плохо принялась, — это мне говорили сами миссионеры — Мальчинский, уроженец нашего Холма, и дьякон Лавросевич, тоже из холмских. Этот дьякон бежал в Турцию за демонстрации, в Цареграде явно действовал против православия и России, за что ему болгаре глаз вышибли, а умер в Кракове священником униатской церкви, содержавшейся на н а ш и деньги и состоящей под ведением холмской епархии. С каким правительством можно поступать таким образом? И не прав ли я, так жестоко отзываясь о нашем дипломатическом корпусе? Когда этот Лавросевич умер, то из бумаг его оказалось, что он был краковским поверенным народного правительства!!! Народ ненавидел этих миссионеров, явно презиравших восточный обряд и * проповедывавших ему не столько унию, сколько Польшу и Францию, и народ не пошел за ними, что заставило и передовых людей оставить унию. Уния, кажется, погибла, но ненависть болгар к фанариотам (выше под словом «греки» я только фанариотов и понимаю) надоумила американцев, и они взялись за распространение методизма. Болгаре обращаются, потому что надо ж куда-нибудь уйти от фанариотов, поддерживаемых н а м и в интересах славянства и православия. Таким образом, неведение правительством внутреннего быта подвластных и соседних ему племен тяжко отзывается на его собственных интересах. Паспортная и таможенная система, бюрократические приемы воспрепятствовали заселению нами Калифорнии и вынудили нас продать нашу Америку Соединенным Штатам, а лучшую часть мурманского берега — норвежцам [164]. В западных губерниях русские поделались поляками, а пограничные места наши день ото дня теряют русский характер и делаются немецкими. Славянство мечется во все стороны, находит сочувствие только в иноплеменниках и, вместо того, чтобы сближаться с нами, вынуждено от нас отделяться.

Оставляя мало-помалу антиправительственную деятельность, я стал искать себе поля, на котором мог бы быть полезным. О возвращении в Россию и думать было нечего; надо было примкнуть хоть к болгарам, благо они все же родные нам. Я перезнакомился со всеми их предводителями (с Чумаковым, Экзархом, Стояновичем, Дановым и пр.). Болгаре сильно заботятся о поднятии своей литературы, но, по неопытности, не знают, как взяться за дело. Я посоветовал им завести периодическое издание, вроде нашего «Русского Вестника», «Отечественных Записок» и т. п., где помещались бы преимущественно переводы русских, польских и чешских романов, за невозможностью иметь оригинальные, затем была бы критика, ученые и политические новости. Мысль моя им очень понравилась, смета показала, что две тысячи подписчиков будет загла-

* З а ч е р к н у т о: явно.

за довольно для покрытия издержек и для содержания редакции, даже и фирман на право издавать журнал «Цареградските Книжицы» отдавался мне, но нужно было добыть согласие Порты на мое редакторство. Болгаре просить об этом не решались, потому что я русский, хоть и эмигрант; мне самому тоже не приходилось * хлопотать; Аали-паша [165] мог бы сразу осадить меня вопросом, почему я так ** усердствую развить болгар. Да, наконец, всякие фанариоты, французы, американцы, англичане затравили бы меня своими интригами, как впоследствии в Тульче. Я вздумал посоветоваться с *** князем Витольдом, а мы с ним были в довольно хороших отношениях. Покойник был человек не глупый, умеренный и принадлежал к той партии, которая в глубине души хотела только восстановления Царства Польского с западной Галичиной и с Познанским воеводством, не задевая западных губерний. Pia desideria их была союз с Россией и кровавая месть Западу за его обманы и интриги. Этого желают все поляки мазурских провинций России, Пруссии и Австрии, а о границах 1772 г. только наш Западный край да восточная Галичина мечтает, поэтому-то энергическое изгнание оттуда латинского обряда и замена польских имен соответствующими русскими (Казимир — Владимир, Франц — Феодор и т. п.) — мера, без которой мы не обойдемся рано или поздно.

Витольд в восторг пришел от моего проекта, но сказал, что его личное ходатайство у Аали-паши едва ли подвинет дело. Турки ни в чем не отказывают, но обещаются подумать, сообразить и **** затягивают дело на десятки лет.

— Я обращусь к де Мутье [166], — сказал он, — этот мигом заставит признать вас редактором.

— Да, князь, это хорошо, но, ведь, тогда «Цареградските Книжицы» волей-неволей сделаются каким-то официозным органом французского посольства.

— Нет! Зачем же? Этого не потребуют.

— Понимаю я, что не потребуют, но все же, хоть из благодарности, надо будет подкуривать Наполеону.

— Все же, по крайней мере, не au Tsar.

— Я бы, князь, хотел и о том и о другом умалчивать, мне дороги интересы самих болгар. Ведь, вот и вы соглашались, что уния вредна для них, потому что она их разделяет, и что лучше бы было и не затевать ее, а ведь маркиз не будет доволен, если я что скажу против унии...

— Зачем же вам писать против унии? Ведь, не можете же вы не признать, что православие годно было только для средних веков Восточной Европы, что католицизм не что иное, как то же православие, но развитое, усовершенствованное, прогрессивное, и что уния благодетельна сама по себе. Взгляните на армян-униатов, как бесконечно далеко обогнали они грегориан.

— Я думаю, что католицизм сам по себе, а православие само по себе. Отсталость его ничего не доказывает; наши школы скверны вследствие политических обстоятельств; у нас бог знает каких уродов приходится ставить в священники, за неимением образованных людей, но это вовсе еще не означает, чтобы православие было ниже латинства, как неразвитость славянских наречий не доказывает превосходства над ними германских. А что до армян-униатов, то, при всем их образовании, нельзя не заметить, что они больше католики, чем армяне, и что им ин-

* Зачеркнуто: просить.
** Зачеркнуто: сочувствую.
*** Зачеркнуто: Владиславом.
**** Зачеркнуто: откладывают.

тересы какой-нибудь Франции дороже интересов своих соплеменников. Спросите любого носильщика-грегорианца, кто он такой, он вам ответит: бенэрменииим — я армянин; а униат скажет: католыкым — я католик...

— Да, да, оно, пожалуй, и можно найти во всем темные стороны; только если вы так смотрите, то я право не знаю, как мне быть...

И пришлось отказаться от дела честного и полезного. И не будь я эмигрантом, все равно пришлось бы отказаться, — наше посольство не стало бы хлопотать за меня без особого предписания из Петербурга.

Кончаю этот рассказ о влиянии поляков на восточные народы следующим замечанием. В мою бытность в Цареграде Иордан и братья уже начинали входить в сношения с хивинцами, кокандцами и бухарцами



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ В ЛИТОВСКИХ ЛЕСАХ

Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

против нас, а турецкие офицеры из горцев сильно подумывали о поездке в Среднюю Азию для организации тамошних войск на европейский манер. Высшие кружки польской эмиграции лелеют еще одну мысль — устройство агентуры в Пекине и в Иеддо. И это будет посерьезней их цареградских дел. Гордоны и Лефорты из поляков при китайских и японских Петрах Великих, движимые местью к нам, не пропустят случая насолить нам в Монголии, Манчжурии и в самой Сибири. Китай и Япония вовсе не дряхлая Турция. У них есть народность, образованный класс, уважение к науке и охота учиться. Ближе нас никто не заинтересован судьбой этих двух действительно великих держав, а мы равнодушно смотрим на распространение там католичества и протестантства, запрещаем проповедь православия. Немцы и американцы уже образовывают тамошние войска по-европейски, а русских офицеров там нет. Я мало следил последнее время за тамошними делами, но имена поляков уже начинают попадаться в списках тамошних деятелей. Неужели же правительство не примет никаких мер к привлече-

нию к себе симпатий тамошних населений? А, ведь, нам ничто не ручается, что Сибирь вечно останется в покое. Сибирь же в руках иноплеменников, будь они даже нашими подданными, убьет Россию.

*

И с некрасовцами [167] сошелся Чайковский в одну из своих поездок в Добруджу. Он толковал им о казачестве, о военной славе, о Доне и о Запорожье и старался возбудить в них мысль об образовании в южной России казацких республик в союзе с Польшей. Дикие и подозрительные некрасовцы втупик стали от его посещения и перепугались насмерть, — их пугает каждый незнакомый человек и каждое новое предложение; им все сдается, что против них кто-то интригует, ведут подкопы под них, — словом, они очень высоко о себе думают. Для переговоров с Чайковским, испытать, «какого он духу человек есть» отрядили они Осипа Семенова Гончара, или Гончарова [168]. Этот замечательный человек родился в первых годах нынешнего столетия на Кара-Бурну, мысе между Босфором и Черным морем, где тогда существовал маленький казацкий поселок; потом, в 1829 г., переселился с частью некрасовцев в Бессарабию, где сделался поверенным по делам своего общества, хлопотал для него у губернатора Федорова, даже до покойного государя добирался в Варшаве и в Петербурге, но, соскучась по Добрудже, бежал опять в Турцию, где до Парижского мира, или, верней, до 1859 г., был главою некрасовцев. Человек удивительно деятельный, трезвый, бескорыстный, он всецело предан интересам старообрядчества и ценит все события мира по их выгодности и невыгодности для его церкви. Память у него удивительная, дипломат он от природы, несмотря на то, что не получил ровно никакого образования; он пишет свои мемуары, в высшей степени любопытные для истории Добруджи и некрасовцев. Стихотворения его плохи, хотя он и в них упражняется.

Сойдясь с Чайковским, Гончар понял одно, что Чайковский — человек сильный, что он в связях с разными царями, королями, князьями, пашами и всякими большими господами и что надо ему поддакивать и угождать, потому что он может пригодиться. Восстаний, республик, Польши Гончар, разумеется, не понимал, хоть и печалился об горькой участи больших панов, которых «Россия по целому белому свету разогнала», наравне с последователями древнего благочестия. Чайковский же видел в Гончаре человека влиятельного, толкового и деятельного, который, повидимому, понимал его планы, сочувствовал поэзии казачества и обещал ему посылать эмиссаров на Дон, на Урал, на Линию, что и делалось, но, разумеется, крайне осторожно и совершенно безуспешно. Тогда старообрядчеству было не до того, — министерство Перовского закрывало моленные, силой вводило единоверие, и хотя недовольство было и сильно, но восстание все-таки могло произойти уж никак не в пользу Польши или Турции и никак не по иностранному наущению.

Тем не менее, русские старообрядцы не пренебрегли желанием Чайковского сблизиться с ними и послали к Гончару известного Павла Белодворского и Олимпия Милорадова [169], чтобы он, при помощи Чарторыйских, помог им отыскать архиерея. Чайковский исполнил это дело блистательным образом. Великий визирь и греческий патриарх, Чарторыйский и Меттерних — все вместе были вовлечены в этот заговор, отыскали и дали старообрядцам митрополита * Амвросия, утвердили его в Белой Кринице и положили основание нынешнему старообрядческому духовенству [170]. Цель в этом была—сделать Россию менее православ-

---

* Зачеркнуто: Арсения.

ной и тем лишить ее права вмешиваться в дела Турции и цареградской патриархии. Торжествовали поляки, устроив эту штуку, и сильно рассчитывали на сочувствие к ним старообрядцев, но год 1846 прошел так же мирно, как 1848, как Крымская война и как последнее восстание; даже мало кто из старообрядцев и подозревает, что белокриницкое священство полякам обязано своим происхождением.

Деятельное участие Гончарова и Чайковского в этом похищении Амвросия еще более сблизило обоих деятелей, и Гончаров не мог не заразиться от Чайковского ненавистью к России, — Чайковский и его поляки были единственные образованные друзья дикого старообрядца и сильно действовали на его воображение своими связями и аристократизмом. Он же, кстати, нуждался в их поддержке, потому что в Добрудже, в среде некрасовцев, не замедлила образоваться партия «раздорников», т. е. не признающая нового священства, и завязала борьбу с «гончаровою верой». Начались обоюдные преследования, покушения даже на жизнь Гончара; в тюрьму его засадили, как тайного благоприятеля православия, потому что он от православных сманил митрополита и, стало-быть, замышлял передать некрасовцев русским и т. п. нелепости. Борьба тянулась до крымской войны. Чайковский успел превратиться в Мехмеда Садык-пашу и стал серьезно помышлять о восстановлении казачества. Порта разрешила ему сформировать казацкий полк из охотников, и Гончар деятельно помогал ему в наборе всяких забулдыг из старообрядцев. Чайковский еще усердней стал помогать своему другу и его партии. Опираясь на него, Гончар, Егор Нос, Шмарчун и прочая знать некрасовская стали хозяйничать по селам, как хотели. Плети отсыпались в неограниченном количестве всем их врагам и противникам, раздорников стеснили до-нельзя, и все это именем Садыка и его поляков. Постановили некрасовцы ополчение, поляки стали учить их новым приемам. Это была смертельная обида казакам, которые и из России-то ушли потому, что их там учить хотели. Начальство у них было прежде свое, поляки стали назначать им атаманов и пороли их за малейшее ослушание. Наконец, открылись и военные действия. По старым фирманам казаки не * несли никаких повинностей, а во время войны турки стали брать у них на реквизицию сено, хлеб, заставляли их давать подводы, — словом, сравняли их с раей [171]. Война кончилась, вознаграждения они за эти несправедливости не получили, а медали за войну Гончар с Носом, своим приятелем, роздали только своим приверженцам. К этому прибавились еще стеснения: местные власти землю у них обрезали, наложили на них некоторые повинности; откуп на рыбные ловли, главный промысел казаков, стал грабить их хуже прежнего, а Садык обещал им помочь только с тем, что они будут давать ему рекрутов в его полки. Кончилось все тем, что возродилась непримиримая ненависть к Садыку с Гончаром, а равно и ко всему, что бы они ни предпринимали; в 1864 г. мне удалось, по их просьбе, окончательно добиться у Порты обращения их в обыкновенную раю, на чем и оборвалося всякое вмешательство поляков в дела их.

Заветной мечтой Садыка было сделаться гетманом всех казаков. Парижский мир уничтожил эту надежду, и Садыку осталось одно — сделаться гетманом хоть Добруджи, для которой можно было выхлопотать у Порты полную автономию, и поставить ее [в] такое же независимое положение, как дунайские княжества. Но его приязнь и покровительство ненавистному Гончару, поведение его поляков, грабежи его солдат сделали то, что нечего было и рассчитывать, что некрасовцы и прочее русское население этого края подпишут просьбу о назначении его

* Зачеркнуто: платили.

пашою в Тульчу. В этом он лично убедился, побывав в Добрудже в 1857 или 1858 г. Тогда он силой захотел принудить к этому русских и сам с Гончаровым начал надоумливать турок стеснять их в расчете, что они покорятся и с горя попросят его в гетманы. Но, как я уже сказал, это * ухудшило дело, и он мог ограничиться только посылкою туда своих агентов, в какие и я попал без моего ведома.

Приехав в Цареград, все еще не теряя надежды на выигрыш нашего дела, я бросился разыскивать старообрядцев. Случай свел меня скоро с Семеном Ильичем Васильевым, поверенным Вилкова [172]. Он хлопотал о правах своего посада на рыбные ловли, отрезанные трактатом 1856 г. Турции, тогда как сам посад достался Молдавии. Вопрос был международный, и я мигом поручил Иордану хлопотать о нем у де Мутье, у Бульвера [173], а сам, почти против воли, сделался чем-то вроде секретаря, переводчика, делопроизводителя при этом поверенном. Чуть не каждую неделю составлял я ему записки и прошения Аали-паше и дипломатическому корпусу, ходил с ним и в Порту и в посольства, за что получал от него гонорарий, которым и жил. Мне хотелось убедить фактом турецких русских в нашем влиянии, захватить их дела в наши руки, быть им полезными и таким образом сделать их орудием наших планов. Дело тогда шло о сборе денег на типографию и о посылке старообрядцами адреса ** Герцену, вроде адреса русских офицеров в Польше. Семен Ильич совершенно склонился на эти планы, но стоило ему съездить домой, и все мои труды оказались напрасными. В Вилкове ему сказали, что это — дело неподходящее, что из-за границы такого дела и начинать не следует, потому что неизвестно еще, как московские «вельможи» на это посмотрят, что поляки все-таки бунтовщики и что с русским правительством ссориться опасно. Насчет типографии обещали подумать, столковаться, и на том дело и оборвалось.

До этого еще я съездил в Малую Азию к тамошним некрасовцам, первое, чтобы познакомиться с ними, второе, попробовать, как они смотрят на нас и на мои предприятия. Подробности этой поездки напечатаны в июньской книжке «Русского Вестника» 1866 г., опущено только то, что некрасовцы не могли понять, с чьего я благословения буду печатать, когда теперь уже нет ни благоверных царей, ни благочестивых патриархов, остальное все верно.

Скоро после моего возвращения от них, Семен Ильич привел ко мне Гончара, часто бывающего в Цареграде по торговым делам. Гончар был в высшей степени любезен и рад познакомиться со мною, рассказывал о своих связях, о поездке в Париж, где он представлялся Тувенелю [174], прося его настоять у русского правительства о выдаче тульчинского епископа, арестованного во время войны.

*

Арест Олимпия и Аркадия был делом мести двух русских офицеров, которые не хотели заплатить старообрядцам за провиант, и личного оскорбления генералу Ушакову [175], которого один из этих епископов не пустил ко кресту, как иноверца. Арест этот, совершенно ненужный, крайне оскорбил всю поповщину, и особенно заграничную, и помог полякам и К° вводить правительство наше в неприятности, а старообрядцев наталкивать на сближение с французами. После долгих хлопот Гончар решился съездить в Париж, где Hôtel Lambert выхлопотала ему аудиенцию у Тувенеля. В «Русском Вестнике» рассказывается, что он был у Наполеона [176], это неправда; я знаю дело *** от него самого и от его

---

* Зачеркнуто: только.

** Зачеркнуто: русскому правительству.

*** Зачеркнуто: из очень достоверных источников.

переводчика, вышеупомянутого Косиловского. Тувенель, расспросив его о подробностях дела и обещав ему помощь Франции, задал ему следующий вопрос:

— Ну, а что там, в Добрудже и в России, все старообрядцы знают о императоре? Вообще, как они смотрят на нас?

— Ваше превосходительство, господин Тувенелий, только на одну Францию мы и полагаемся, только за его величество и бога-то молим. У нас самые махонькие дети знают, кто такой и Наполеон и его супруга Ивгенья [177]. Энто у нас, ваше превосходительство, в каждой хате образа есть, такой обычай у нас, так подле образов-то на одной стороне его патрет, а на другой — ейный. (Все это, разумеется, * вранье).

— Ну и пусть же веруют в нас, — отвечал Тувенель, — Франция докажет, что она недаром взялась быть покровительницей слабых и угнетенных [178].

К характеристике этого французского savoir-faire, которого именно не достает у нас, замечу, со слов Косиловского, что в то самое время французский же консул из Александрии не мог добиться аудиенции у Тувенеля и так и уехал, не повидавшись с ним, а Гончар был принят и обласкан. Вот и льнут все угнетенные к Наполеону, и едут в Париж всякие марониты, друзы [179], армяне, курды...

*

Гончаров одобрил и адрес и типографию, взялся немедленно переговорить с кем следует и списаться с Москвою и уехал, обнадежив меня во всем. Потом он часто наезжал в Цареград, все обнадеживая, съездил еще раз в Париж по торговым своим делам, и даже в Лондон смахал познакомиться с Герценом и воротился очень довольный тамошним приемом, особенно же знакомством с князем Долгоруковым. Он и в Лондоне все обещал, хоть ничего не понял, о чем идет дело; все, что выходит за пределы интересов старообрядчества, ему решительно недоступно и чуждо [180].

Короче сказать, ничто не удавалось, ничего придумать даже нельзя было в пользу нашего дела. И, что всего мучительней было, в душе начали возникать страшные сомнения в его правоте и полезности. Очевидно со дня на день становилось, что наши чистые и честные верования были утопией, неприложимой к делу теорией, что на зов наш не только никто не откликался, да никто и не мог откликнуться. Как ни боролся я против этих «черных дум», чем я ни старался заглушить их — археологией, историей, даже вином подчас, — черные думы не унимались, а одна за другой возникали в уме, как какие демоны, явившиеся мучить мою душу. Я обратился к Герцену за разрешением этих страшных загадок, я высказывал ему мои сомнения, я просил убедить меня, воротить к прежним идеалам; он мне на все отвечал, но ответы его только усиливали мое неверие. Я метался от книги к книге, я магию даже стал изучать, спиритизм; я цареградские трущобы стал исследовать, чтобы как-нибудь забыться, — ничто не брало.

Я верил в равенство. Турция, страна без аристократии, разбила это верование. В ней жить нельзя, потому что нет независимых людей, потому что там никакие фамильные предания не удерживают личность от подлости; там все из-за денег, и каждый рыцарский поступок бывает смешон. Я был атеист; благодаря фанариотскому духовенству, там масса атеистов — лавочников, мастеровых, и я возненавидел атеизм, хотя не мог еще признать существования божия. Я был за поляков, но вот я почти с утра до вечера был с ними и кроме презрения ничего к

* Зачеркнуто: ложь.

ним не чувствовал. Я был за народность, а на деле оказывалось, что народность ведет только к отуплению, к патриотическому эгоизму, к несправедливости. Я верил, что людей можно убедить логикой, а оказывалось, что их привычки и предания заглушают в них голос разума. Словом, я во все потерял веру, все человеческое стало мне чуждо и отвратительно.

Мир казался мне ерундой и был мне так противен своим бессмыслием, что сама жизнь становилась в тягость. Мне не раз приходила мысль покончить свое существование, и, может-быть, я бы сделал это, если б не был семейным человеком и если б глубокая привязанность к жене и к брату не мирила меня несколько с жизнью. Брат в июле (кажется) 1863 г. попал в Цареград в бегстве своем из России [181]. Я никак не ожидал его появления и вовсе не знал, что он снова попал под суд. Его приезд был для меня праздником; только я знаю, как я был к нему привязан! Он хотел ехать в Лондон, но мы решились не расставаться, да и не могли бы расстаться. Будь он жив, он или бы не пустил меня теперь в Россию, или бы последовал моему примеру. Тогда он был весь проникнут так называемым нигилизмом, хотя не в такой безобразной форме, до которой доходили другие, и горячо защищал возможность привести в исполнение все, что было задумано и нами и нигилистами. Мои отрицания глубоко оскорбляли его юную верующую душу, и он настаивал, чтобы я продолжал начатое. Я не мог, — он сам взялся за работу и стал писать письма влиятельным старообрядцам с изложением наших стремлений. Ответа, разумеется, не было ни от кого, но, не дожидаясь их, он поехал в Добруджу ускорять заведение обещанной Гончаром типографии. Жена и дочь приехали ко мне в Цареград недель шесть после его приезда. Я не хотел возвращаться на Запад и потому, что там падала наша издательская деятельность, и потому, что мне Запад стал ненавистен, — мне хотелось бежать куда-нибудь от людей, исчезнуть, провалиться сквозь землю, так, чтоб обо мне никто больше не слышал. Все мое честолюбие, если это честолюбием можно назвать, сосредоточилось на одном желании — поселиться в какой-нибудь глуши и сделаться мирным гражданином, хорошим отцом семейства, зарыться в науку и в философию и добиться до крайних пределов отрицания своих прежних верований, казнить которые уже стало моим высшим наслаждением.

Но беда никогда не приходит в одиночку. Мало было нравственных страданий, материальная нужда стучалась в двери, и начались два с половиною года каторги, во время которой я похоронил брата, сына, дочь, жену и чуть с ума не сошел. Не знаю, удастся ли мне в двух следующих отделах дать хоть приблизительное понятие об этом ужасном для меня времени, расстроившем мое здоровье, давшем мне преждевременную седину, да и, может-быть, духу нехватит рассказывать подробно.

Вилковское дело, за которое мне так хорошо платили, рассчитывая, что я могу чего-нибудь добиться при помощи моих связей с поляками, плохо подвигалось вперед, — поляки оказались всемогущими только в доносах, в клеветах, а никак не в ведении серьезных дел. Их неудачи в России сильно подрывали их прежний кредит в Цареграде. Вилковцы потеряли на меня надежду, и доходы мои прекратились почти немедленно по приезде моей жены и дочери, т.-е. когда деньги были всего нужней. У малоазийских некрасовцев был тоже процесс, за который их же старики предлагали мне взяться, но с их «кругом» ничего нельзя было столковать. Других дел, как нарочно, не случалось в то время, — Гончаров только обнадеживал типографией, из России вестей от Солдатенкова и от шебаевского кружка не было, болгарский журнал не удался. А зима

подходила. Стал я искать службы, хоть бухгалтером, писарем, я бы кельнером сделался, — нигде ничего.

Я не в силах рассказывать, как я жил...

Оставалось одно — принять предложение Садыка сделаться казацким головою (казак-баши), атаманом в Добрудже[182], за * пять турецких лир в месяц (почти тридцать рублей серебром), и, разумеется, я с радостью ухватился за эту должность, которая меня спасала от нищеты и давала мне возможность жить все-таки между русскими, изучать наше простонародье и быть ему полезным. Предложение это вышло по следующему случаю.

*

Садык, как я выше сказал, умышленно теснил турецких русских, чтоб заставить их просить его у Порты в своего гетмана. Познакомясь с ним по вилковскому делу, я постоянно ходатайствовал у него заступничества за них, доказывая, что даже в его собственных интересах было бы выгоднее помогать им. Он начал колебаться и высказал мне свой план насчет Добруджи, который мне понравился не с политической точки зрения, а просто потому, что и в самом деле недурно бы было для нашего брата опального иметь хоть какую-нибудь Русь, куда можно было бы укрыться в добровольную ссылку после политических треволнений и разочарований. Все было бы у нас пристанище, угол, где мы считали бы себя дома и где могли бы жить, не подвергаясь ни надзору, ни преследованиям за прошлое, а моя усталая душа именно и нуждалась тогда в подобном пристанище.

Сидел я раз у него в гареме со старухой Снядецкой, единственной его женой по мусульманскому закону, как вдруг он вошел взволнованный, раздраженный и прямо обратился ко мне:

— Ну, вот ваши protégés! Вот они наши друзья! Поздравляю вас, поздравляю!

— Что такое, mon général? Я ничего не понимаю...

— Помилуйте, вы заставили меня хлопотать за них, а они русскому правительству подали адрес против поляков! Аали-паша зол, Фуад[183] бесится — это скандал! Это измена оттоманскому правительству! Это в газетах уже появилось! Наряжена будет следственная комиссия, и тогда не сдобровать ни этому старому плуту Гончару, — я давно чувствую, что он нас всех за нос водит, — ни епископу Аркадию[184]. Зададут им теперь! Как просидят года три в кандалах, тогда и поймут, что значит писать адресы.

Я побледнел, — мне все стало мигом понятно! Мои советы подать адрес за поляков надоумили Гончара, епископа Аркадия и весь их кружок подать адрес против поляков, чтобы выслужиться в глазах русского правительства и показать ему, что даже заграничные старообрядцы любят его[185]. Я понял, почему Гончар, приехав месяца с два тому назад в Цареград, отдал адрес на почту, не показав мне его предварительно и не дав с него копии в «Колокол», хоть и хвастался, что адрес его разбесит весь Петербург. Припомнились мне и слухи, ходившие в Цареграде, о нелестных для поляков, для турок и для нас отзывах епископа Аркадия, о его симпатиях к России. Беда им грозила страшная: они погибли бы в тюрьмах.

Досадно мне стало видеть себя так грубо обманутым, но делать нечего, надо было выручить Аркадия и Гончара.

— Это дело следует ** замять, — сказал я Садыку. — Виноваты не

* Зачеркнуто: шесть.
** Зачеркнуто: немедленно.

они; притеснения местных властей озлобили их против турецкого правительства...

— Следствие раскроет эти притеснения, а изменники все-таки будут наказаны!

— Следствие, генерал, ничего не раскроет, — возражал я, — следователи ограбят правых и виноватых и только усилят это озлобление, вместо того, чтоб его подавить. Да и кто будут эти следователи? чиновники Порты, которые ни Добруджи, ни тамошних отношений, ни даже языка не знают. При всем желании раскрыть правду они волей-неволей попадут в руки местных интриганов, собьются с толку и только запутают дело.

— Ну, уж все же лучше турок послать, чем поляков, те окончательно неспособны * ни к чему...

— Я о поляках и не говорю. По-моему, лучше всего было бы сделать секретное дознание, без шума, без арестов, что именно колеблет верноподданнические чувства некрасовцев к султану. Тюрьмы, преследования, наказания не исправляют зла, — зло предупреждать нужно, предотвращать. Я даже радуюсь отчасти, что они подали этот адрес; нам благодарить их за это следует, иначе мы никогда бы не догадались, что на них нельзя рассчитывать. Болезнь обнаружилась и перестала быть тайной, теперь можно и за леченье приняться.

Долго мы беседовали, и мне удалось доказать Садыку, что к наказаниям следует прибегать только в случае крайней надобности, когда единственно удалением вредного человека можно спасти общество от гибели, а без нужды преследовать личности и нерасчетливо и опасно.

— Знаете что, — сказал он наконец, — мне кажется, что кто всего лучше устроит это дело — и секретное следствие над виновными и секретное дознание о нуждах края, — так это единственно вы. Вы хорошо понимаете вопрос, вы осторожны и, наконец, вы сами же говорите, что желали бы сделать[ся] гражданином Добруджи. Что вы скажете, если я помогу вам сделаться казак-баши?

— Скажу, что буду как нельзя более доволен и как нельзя более обязан вам.

Через неделю я уже ехал в Добруджу, в полной уверенности, что я состою в коронной службе и что мои пять лир в месяц назначены мне Портою, которая снабдила меня эмирнаме (предписанием, полномочием, повесткой) к губернатору Добруджи. Садык-паша вел дело за меня, хлопотать мне самому не хотелось при тогдашнем моем мрачном настроении духа, и я никак не подозревал, что, доверяясь ему, я почти обязываюсь быть его послушным агентом и соблюдать его интересы более интересов тамошних русских.

Гончар за несколько дней до моего отъезда приехал в Цареград. Еще неуверенный, что дело можно будет замять, я сообщил об нем вилковскому поверенному, чтобы он предупредил Аркадия и Гончара о грозящем им следствии и посоветовал им или приготовиться к ответу, или убраться подобру поздорову в Молдавию. «Я сделаю все, что могу, — сказал я, — я ручаюсь, что владыка будет на воле, но не знаю, будет ли он в Турции». Много неприятностей наделали мне потом эти слова, которые старообрядцы поняли выражением моей мести Аркадию за его сочувствие России; и чего я ни делал потом, чтобы сойтись с ним, — все было напрасно: он не переставал смотреть на меня, как на человека, приставленного Садыком следить за его действиями. Меня долгое время старообрядцы принимали за турецкого шпигона (шпиона), просто по ложному толкованию, которое они придали этим словам, и —

* Зачеркнуто: к делу.

странное дело — обращались со мной с большим уважением и делали комплименты моему уму: «Значит ты, Василий Иваныч, большого ума человек, коли тебе такую должность дали!». Мало было мне внутренних страданий, нищеты, — еще и это почетное оскорбление повисло мне на шею!

Гончара я немедленно свел с Садыком, надоумив его, как выкручиваться из беды; они помирились, а Гончар сделался моим врагом, не будучи в состоянии мне простить, что ему же пришлось подписать просьбу о моем назначении в «казак-баши».

*

Прощание с Цареградом в декабре 1863 г. было * разрывом с противуправительственной деятельностью, как прощание с Яссами в мае



ПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ НАПАДАЮТ НА КАЗАЧИЙ КОНВОЙ
Гравюра из журнала «Illustration», 1863 г.

1867 г. было разрывом с эмиграционною жизнью. И тогда и теперь я кончал с своим прошлым, перерождался нравственно, с полной надеждой, что буду полезен, что разочарование мое принесет пользу тем, к кому я еду. Не знаю, что меня теперь ждет, но тогда — тогда я горько ошибся. А море было так тихо, небо ясно, на душе было легко, и я весело выезжал из Кюстенджи в степи Добруджи, покрытые курганами, с которых смотрели на мою повозку орлы и из-за которых то и дело выплывали верблюды ногайцев и буйволы болгар. Порой мелькала русская телега с дугой и с колокольчиком, и некрасовцы с недоумением посматривали на проезжего, которому судьба привела сделаться их защитником перед правительством.

С этих пор я ничего не замышлял и не предпринимал против правительства. В двух следующих отделах мне не придется ничего рассказывать о моей политической деятельности, — она кончилась, разбив мои

* Зачеркнуто: прощанием.

верования и погубив мою будущность. Я агитировал, потому что любил Россию и хотел быть ей полезным, своекорыстных видов у меня никаких не было, совесть моя в этом отношении чиста, и, если я заблуждался, я заблуждался честно, я собой и дорогими мне рисковал во имя своей любви к людям, а когда пришло время разубедиться в правоте моего дела, я сложил оружие, низверг кумиров своих и ушел в пустыню доживать дни свои между дикарями, с целью помогать им и материально и нравственно.

Если государь не помилует меня, а велит отдать под суд, эти три отдела моей исповеди — достаточный материал для составления надо мною приговора: в следующих двух будет только рассказ о моих нравственных терзаниях и о моем возрождении в искреннего его верноподданного.

Я верую в сердце государя, — это сердце не может не понять моей исповеди и не быть моим лучшим адвокатом. Да будет же надо мной то, что оно подскажет ему! Я готов на всякую участь, какая бы меня ни постигла, но я молю о помиловании, которое если еще не заслужил, то заслужу, выпущенный на волю.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕРЫ К ОБРУСЕНИЮ ЗАПАДНОГО КРАЯ

§ 1. Все костелы, как в девяти западных губерниях, так и внутри России находящиеся, обращаются в униатские церкви.

Рим признает, что все обряды равны, и он сам разрешает, хотя с некоторыми ограничениями, переход с одного обряда на другой. Помещики западных губерний — почти все потомки униатов. Переход на православие сочли бы они ренегатством, тогда как переход на унию, веру отцов их, сближающую их, хоть по обряду, с простым народом, примется ими без больших колебаний; они даже будут льстить себя надеждою, что уния со временем сделается популярной и пособит отделению их от России. Между тем, переход на унию заставит их забыть польский язык и освободит их из-под влияния ксендзов-поляков, а сверх того порвет связь их с самими поляками, которые не преминут поносить их национальную веру.

§ 2. Обряд униатский должен различаться от православного единственно поминовением папы на эктениях.

Орга́ны, звонки, бритье бород духовенством, принятие святых таин на коленях и прочие нововведения в унии не допускаются. Но употребление скамеек в церквах должно быть терпимо на первое время. Все это будет охотно принято большинством, которое радо будет возможности, не насилуя своей совести, сделаться хоть наружно русским.

§ 3. Униаты пользуются совершенно одинаковыми правами с православными, по службе и по праву владеть недвижимыми имениями. Не желающие принять унию пользуются правом переселения в Царство Польское.

Уния разом покончит с затруднительным вопросом введения русских землевладельцев в Западный край, потому что она переделает поляков в русских, а лет через двадцать сама собой падет и сольется с православием.

§ 4. При наречении младенцев разрешается им давать только имена святых, чтимых одинаково православною и униатскою церковью.

Адольфы, Феликсы, Казимиры, Болеславы и тому подобные имена невольно напоминают носящим их связь их с Польшею и с Римом. Та же мера должна быть принята и в правописании * тамошних имен русскими буквами. Глембоцкий, Венгржинович, Заремба, Паржницкий, Ржевусский, Радзивил, Дзедзицкий в официальных бумагах и вообще в печати должны стать попрежнему русскими: Глубоцкий, Угринович, Заруба, Парьницкий, Ревусский, Радивил, Дедицкий.

Та же мера должна быть применена и в отношении евреев: Шмуль — Самуил, Ицек — Исаак, Шулем — Соломон, Лейба — Лев, Абрум — Авраам, Мошко — Моисей и т. п. Равно было бы очень не лишним предложить им заменить добровольно свои немецкие фамилии русскими.

§ 5. Униатские священники набираются преимущественно из галицких и из угорских русских; первое, потому что они не большие приверженцы унии, а во-вторых, они сумеют, по своей высокой образованности, благодетельно влиять на дворянство, напоминая ему о его русском происхождении.

---

* Зачеркнуто: польских.

Митрополитом униатским, таким, какого * нам нужно, всего лучше было бы поставить или перемышльского каноника Гинилевича или Юзечинского.

§ 6. Католические семинарии и монастыри обращаются в униатские, равно как и все католические имущества (иезуитские и т. п.) переходят в их ведение, вместе со всеми богадельнями, приютами, школами, общинами сестер милосердия и т. п.

Правила эти распространяются на всю империю, за изъятием Царства Польского.

§ 7. Все торговцы и ремесленники Западного края обязываются на каждого сидельца или подмастерья из иноверных исповеданий (еврейского и лютеранского) ** брать по одному православному или униату, преимущественно из мальчиков крестьянского происхождения.

Этим лет через пятнадцать Западный край был бы снабжен средним классом одной веры и одного языка с народом, что много содействовало бы быстроте его обрусения и освободило бы его от монополии евреев и иностранцев. Правило это должно быть применено и ко всем прочим промыслам — к агрономии, к лесоводству, к железным дорогам, винокурению, фабрикам и т. п.

МЕРЫ К УСИЛЕНИЮ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

§ 1. Молодым людям, вступающим на службу министерства иностранных дел, всем вменяется в обязанность изучение *** пяти главных славянских наречий (польского, чешско-словацкого, словенского, сербского и болгарского), хоть настолько, чтобы могли свободно следить за славянской печатью.

Министерству иностранных дел надо знать все, что делают и думают славяне. Оно может не иметь видов на присоединение их к России и не верить в возможность его, но необходимо ему во всем его составе, от министра до последнего канцеляриста, следить за всем, что делается у славян, синего пороху не упуская.

§ 2. Никто не получает должности при посольствах или при миссиях, кто три года не прожил между славянами, не ознакомился с их бытом, литературой, представителями, — словом, кто не знает их так коротко, как и русских.

Только тогда наша политика примет национальный характер и станет опираться на массы, что теперь, когда прошло время кабинетной дипломатии, более чем необходимо ****. Понятно, что эти три года практического изучения вопросов считаются действительной службой.

§ 3. Секретари, атташе и прочие члены посольств должны ежегодно совершать поездки для сближения с влиятельными лицами в славянстве и должны доставлять в министерство отчеты о своих наблюдениях.

§ 4. Закон *5, что посольство и консульства обязаны защищать русских, находящихся за границей, и содействовать им в изучении чужих краев, перестает быть мертвой буквой. Дипломат, отказывающий русскому в своем содействии, должен письменно изложить ему причины своего отказа, приглашая апеллировать в надлежащее ведомство.

§ 5. Из способных лиц средних и низших сословий, которым обычай и условия дипломатической деятельности преграждают путь к службе наравне с лицами высших сословий и с людьми богатыми, образуется «Общество русских путешественников», которые сообщают министерству, через своего председателя, все собранные ими сведения и получают вопросы и наставления для ведения разного рода негласных дел, для собирания сведений от лиц, с которыми члены дипломатического корпуса не могут входить в сношения (от простонародья, от лиц компрометированных), для переговоров с польскими и русскими эмигрантами о примирении их с правительством и т. п.

Общество это устроится под покровительством кого-нибудь из высочайших особ, не навлекая на себя подозрений, а содержание его мало или почти ничего не будет стоить правительству, так как самыми *6 деятельными его членами будут литераторы и корреспонденты, всегда получающие пропасть сведений, которые не знают куда девать и кому сообщить, и имеющие пропасть связей, которыми не считают теперь нужным пользоваться. Председатель, его помощник и секретарь одни будут посвящены в тайную цель общества и одни будут в связях с правительством, доставляя ему ответы на его вопросы и любопытные показания. Не завися же от него ни по службе, ни по содержанию, они не будут бояться показывать ему истину во всей ее, иногда нелестной для правительства, наготе, а, между тем, оцепят для него всю Европу своими друзьями.

---

* Зачеркнуто: именно.

** Зачеркнуто: иметь у себя.

*** Зачеркнуто: семи.

**** Зачеркнуто: для нас.

*5 Вместо зачеркнутого: правило.

*6 Зачеркнуто: ловкими и.

*7 Зачеркнуто: невыгодной.

Стоит правительству приложить к делу эти ничего ему не стоющие правила, и оно вдесятеро более будет значить в Европе. Пусть же недаром кричат о русских агентах, — не наша будет вина, что они навели нас на мысль завести их. Если они * их боятся, значит, мы можем и должны их иметь, этого требует долг соблюдать выгоды государства.

§ 6. Достоинство правительства требует, чтобы его придворный и дипломатический язык был исключительно русский. Неуважение к этому языку, распространяющемуся от Адриатического до Японского моря, от Венеции до Нагасаки, навлекает упреки со стороны славян и насмешки от немцев, а на Россию действует пагубно, внушая обществу мысль, что все французское лучше нашего, что и доводит до увлечения социализмом, до мечтанья о баррикадах; до небрежения нашими преданиями и православием, ** которое мы особенно видим в высших сословиях, переселяющихся во Францию и совращающихся в католичество. Пример Англии лучше всего доказывает, как выгодно для правительства держаться народного языка.

§ 7. Представители России за границей должны быть преимущественно русские по вере и по имени.

Порта может, по недостатку образованных турок и по общей их неспособности, прибегать к *** фанариотам и перотам [186] для ведения своих иностранных дел. У нас же ничто не оправдывает предпочтения потомкам наших бояр, князей и прочих родовитых людей, оказываемого нашей нерусской и неправославной знати. Отстранение ее от дипломатического поприща оскорбляет нашу народную гордость и наши предания. Русская знать собрала Россию в Московское государство; русская знать отбила его от татар и от поляков; русская знать дала поддержку великим преобразованиям Петра и Екатерины, — за что же она упала в доверии у правительства со времен несчастных для нас венских конгрессов? Народ наш ей верит, как верил в московские времена, славяне гордятся ею, а между тем, кроме Игнатьева [187] **** наши представители при главных европейских дворах не русские: д'Убриль, Бруннов, Будберг, Штакельберг, Сфенберг (в Варшаве Берг и в Гельсингфорсе Адлерберг). Неужели же нет другого средства привязать к престолу остейцев? Предпочтение их *5 русским возбуждает ропот, навлекает на правительство упреки в пристрастии к немцам, *6 подрывает кредит дворянства и, следовательно, ослабляет народную самоуверенность.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ *7

ТУЛЬЧА

При трех губернаторах был я атаманом турецких русских, и так как с переменою их менялись и мои обстоятельства, то рассказ мой о Тульче распадается сам собой на три части.

*

Первым из этих трех губернаторов, при котором я приехал в Добруджу, был Рашид-паша, человек очень не глупый, вполне европеец, — он семь лет в Париже выжил, — и, что главное, искренно желал сделать что-нибудь путное для края. Знакомы мы были с ним еще с Царе-града, где я бывал у него по вилковскому делу, и приезд мой в Тульчу приятно поразил его. Явившись к нему с визитом, я откровенно рассказал ему, кто я, зачем приехал и что хочу сделать.

— И прекрасно, — сказал он. — Поселясь здесь, вы будете полезны и для края и для правительства, а особенно для меня. Я, признаться, путаюсь с здешними казаками. По-казацки *8 я не знаю, честных переводчиков у меня нет, а казаки так скверно говорят по-турецки, что я, против воли, часто решаю их дела невпопад и, при всем желании

---

* Зачеркнуто: нас.
** Зачеркнуто: что.
*** Зачеркнуто: грекам.
**** Зачеркнуто: все.
*5 Зачеркнуто: нам.
*6 Зачеркнуто: ослабляет.
*7 На первой странице помета карандашом: «Препроводить в Комиссию 10 июля».
*8 Казакчэ. Турки с умыслом не называют наш язык в Добрудже русским (московчэ), чтобы порвать нашу связь с Россией». [Примечание Кельсиева.]

сделать им добро, даже, я думаю, зло им иногда делаю. Будьте же моей правой рукой и помощником в делах ваших соотечественников.

Я объяснил ему все, что знал об обидах, претерпеваемых русскими, и на вопрос его об адресе отвечал то же, что и Садыку, с просьбою замять дело и обратить его даже в шутку, если возможно. Он понял меня и дал слово не подымать истории, — таким образом, в первое же мое свидание с пашой мне удалось спасти моих земляков; начало было хорошее.

— Ну, — смеялся Рашид, — уж если вы так держитесь правила, что преступления надо не казнить, а предотвращать, в чем я с вами вполне согласен, то возьмите ж вы на себя труд, чтоб у нас не было фальшивых монетчиков, а их много; чтоб конокрадство ослабло; чтобы меня бестолковыми и грязными процессами не мучили, а главное, охраняйте наш край от заграничной пропаганды. Здесь что-то странное творится; на-днях здесь было несколько венгерцев, как говорят, и они распространяли между болгарами какие-то прокламации; я ничего не мог понять, а вы добьетесь, что это такое, и найдете средства, как предупредить.

— Все сделаю, — сказал я, — и ручаюсь вам, что с поселением моим здесь я делаюсь истинным гражданином и патриотом Добруджи и, как гражданин и патриот, не допущу никого вводить мою вторую родину в какие-нибудь политические дрязги. Пусть этот край ни во что не мешается, — довольно с него быть убежищем для спасшихся от политических крушений и нуждающихся в покое и в отдыхе. Здесь столько разных народностей, что смешно и думать о политическом его значении. Будьте покойны, все будет тихо; я докажу, что умею быть благодарным вашему правительству за его гостеприимство нам.

В тот же день случай дал мне возможность перезнакомиться лично со всеми тульчинскими монетчиками и принудить их * прекратить свое производство. Через неделю и прочие неблаговидные промыслы пресеклись, так что в полтора года моего атаманства ни один русский не был замешан ни в одном уголовном деле. В тюрьме они постоянно сидели, но по делам относительно мелким — за драку, за буйство, за мелкую кражу, бродяжничество, по подозрению иногда; в каторгу ни один не пошел. Моя система предупреждения была очень хитрая, и, разумеется, приложить ее можно было только в Добрудже и только при патриархальности ** тамошних нравов. Узнав, что такой-то на руку нечист или в каком-нибудь «художестве» упражняется, я зазывал его в трактир или в корчму, распивал с ним пару чая или оку *** вина, вел с ним разговор по душе, заставлял его рассказывать свои похождения и расставался с ним лучшим его другом. Это удивительно действовало на них, — им как-то совестно становилось продолжать прежнее, они меня щадили, огорчить боялись; мое сочувствие к их бедам и страхам исправляло их. А я никогда не давал им советов и нравоучений не читал. Я просто интересовался их психологическим бытом, и мои расспросы, что они чувствовали, когда резали, грабили, сидели в остроге, шли сквозь строй или плети пробовали, заставляли их заглядывать в свою душу и задумываться над своим нравственным и умственным состоянием; и стоит человеку взяться за свой психический анализ, и он спасен. Я же относился к ним сочувственно, без упреков, без проповедей, я не унижал их в их собственных глазах, не корил их своим превосходством, и исповедь их передо мною исправляла их. Они помнили, что есть на свете человек, который их понял, дорожили моей дружбою и делались людьми, как все люди. И как же я изучил этот трущобный мир в Тульче! Каких ис-

* Зачеркнуто: оставить свою фабрикацию.

** Зачеркнуто: турецких.

*** Две бутылки шампанского составят одну оку. [Примечание Кельсиева.]

поведей я ни наслушался! Там понял я, что такое наш мужик и наш преступник и как мало нужно * нашему преступнику, чтобы спасти его на всю его жизнь. Сочувствие, доверие, уважение [к] его нравственным болям все из него сделают, а пропаганда, какая бы она ни была, никогда его не прошибет. В этих грязных трактирчиках и корчмах я узнал людей и научился любить их, не идеализируя и не требуя от них принятия моих теорий. Страсть к падшим развилась у меня в Тульче, я нарочно отыскивал самых закоренелых злодеев, я посещал разбойничьи вертепы даже в молдавской Бессарабии, я не раз жизнью рисковал для сближения с этими выродками человечества и всегда расставался с ними дружески и никогда не слышал, чтобы кто из новых моих друзей попадался или был замешан в какое темное дело. А, между тем, они вовсе не считали меня самого каким-нибудь безупречным человеком или учителем их. Не от одного из них слышал я д у р а к а за то, что бунтовщик, что против царя иду, что с поляками дружу, и ни один из них не пошел бы за мною на «баррикады» **. Дружба была дружбой, а «отеческое предание» их так и оставалось «отеческим преданием», о разрушении которого даже и думать было нечего.

И с тяжбами я завел такой же порядок. Являлся кто с *** иском ко мне, прося доложить дело паше, я требовал, чтобы он привел мне свидетелей и доставил документы, говоря, что не могу же я беспокоить пашу, не разобрав толком дела. Когда он доставлял мне все, что было нужно, я брался за противника и с него требовал доказательств, чтоб не вводить его понапрасну в убыток и чтоб греха на совесть не брать, подымая неправое дело. Результат выходил всегда блестящий: дело разъяснялось само собой, да так разъяснялось, что тяжба становилась невозможной; и в полтора года моего атаманства не было ни одной тяжбы русского с русским, — все решалось за самоваром или за графином вина (без вина в Добрудже ничего не делается, его пьют, как воду, да оно и не крепкое там).

Политических дел, разумеется, никаких не случалось. Венгерцы оказались выдумкою полиции и неумеренно ревностных друзей правительства, а прокламации были те самые, которыми несколько месяцев тому назад Разноцветов украшал кабаки. Паша посмеялся, тем дело и кончилось.

Добился я права посещать тюрьму; настоял, чтоб ее почище держали, уничтожил преследование беспаспортных, не имеющее уже никакого смысла в этом краю, где девяносто девять процентов населения — беглые; пьянство немножко присмирил, — словом, делал все, что мог, не жалея ни трудов, ни времени.

Каждое утро, часов в девять, я являлся в кабинет паши с списком русских дел и с докладными записками по тем из них, которые были посложнее, **** мы вместе разбирали их и, что можно было, тут же и решали. От паши шел я, атакованный просителями, в ч а й н у ю, — так называют на юге трактиры, в которых, кроме чая, ничего не подается,— и там, усиживая стакан за стаканом, решал споры, *5 выслушивал жалобы и сообщал решения. Чайная эта была самым удобным местом для *6 меня, по близости своей к присутственным местам, я же жил далеко, да и неприятно было бы делать из своего дома сборное место всяких крикунов и спорщиков. В час я заходил домой пообедать и приготовить вечерние доклады, в два был опять у паши, а в пять, когда

* З а ч е р к н у т о: каждому.
** З а ч е р к н у т о: как выражались нигилисты.
*** З а ч е р к н у т о: жалобой.
**** З а ч е р к н у т о: и тут же.
*5 З а ч е р к н у т о: получал.
*6 З а ч е р к н у т о: моих русских.

кончается присутствие,* уходил домой изнуренный и оглушенный до-нельзя. А бывали дни, что дел по тридцати проходило через мои руки, что раз шесть нужно было входить к паше, не считая беготни в чайную, посещения тюрьмы, любезничания с полицеймейстером и с русским купечеством, выслушивания всяких сплетен, городских и политических новостей. И такая жизнь мне как нельзя более нравилась, — она наводила на меня самозабвение, заглушала горечь моего разочарования. Я чувствовал себя полезным и был счастлив.

И домашние мои дела шли хорошо. Понемножку я обзавелся мебелью, посудой; являлась даже возможность завести правильную канцелярию и заложить школу для детей тульчинцев. У брата моего была уже школа. Приехав в Добруджу раньше меня, он ничего не добился от Аркадия, кроме обещаний, и сел без денег в такое время, когда и я** ничего не мог ему выслать. Староста руснаков — так там малорусов называют — предложил ему устроить школу, и он с радостью ухватился за это предложение. Но школа его шла плохо: детей было мало, — всего человек десять, плата за каждого в месяц — около шестидесяти копеек (десять пиастров), так что ему жить*** было нечем. А работа была каторжная, — с раннего утра до позднего вечера должен был он мучить их азбукой, складами, часословом и псалтырем. Руснаки, от которых он был в зависимости, никак не соглашались позволить ему учить по более рациональной методе и строго требовали, чтобы он не вводил ни истории, ни географии. География-то особенно им не нравилась: «Мы не мериканцы, мы землей живем, чого ж детей заводити будете в пучины морские и чого им знати про те пучины? Як они их узнают и земли не захочут орати. А ну ее к бесу, гограхвию, мы православные! не мериканцы!» Обидно, невыносимо тяжело было брату подчиняться этим дикарям и**** сознательно отуплять своих учеников. Приезд наш, которого он не ждал, был большой для него радостью, мое значение при паше сильно и его подняло в глазах руснаков, а вскоре удалось мне добыть ему место в миссионерской американской школе, о которой мне придется говорить ниже. Жалование там было семь червонцев (двадцать один рубль серебром), преподавание более обширное и с поползновением на рациональность. Таким образом, доходы наши увеличились, и мы*5 стали затевать принять к себе еще какого-нибудь бедствующего эмигранта, который мог бы заменить брата в американской школе, а брат стал бы или моим помощником при паше, или завел бы свою собственную школу. Мы предложили Герцену эту высылку к нам эмигрантов, в которых мы, сверх того, еще потому нуждались, что в Тульче не с кем было даже умного слова сказать. Ни по сочувствиям, ни по убеждениям мы не могли сойтись ни с кем из консулов или из адвокатов, медиков, агентов и прочих образованных людей в Тульче. Их фразы о Франции, о конституции или республике были нам нож острый, а их самодовольствие возмущало нам душу. Русских людей нам нужно было, с умом, любящим анализ, людей без предрассудка и без политического катехизиса. Эберман, единственный наш приятель тогда, хоть был и неглупый малый, но не удовлетворял нас по недостатку сведений, да и Герцен, узнав, что он в Тульче учителем молоканской школы, требовал его изгнания, как шпиона. Жалко мне и Эбермана было, да и Герцену, которого я искренно любил, как человека, нельзя было отказать. Эберману и тогда хотелось ехать

* Зачеркнуто: снова.

** Зачеркнуто: тоже.

*** Зачеркнуто: даже.

**** Зачеркнуто: чувствуя, что может делать хорошее.

*5 Зачеркнуто: уже.

в Россию, я начал было устраивать ему складчину, но она не удалась, а тем временем он имел неосторожность перессориться с молоканами, остался без куска хлеба, и пришлось взять его к себе. Занятия ему я не мог найти, — он языков не знает; так то у меня, то бог знает где и чем прожил он все время в Тульче, где я его и оставил в апреле 1865 г.

Никогда мне так хорошо не жилось, как в начале этого 1864 г. Усталый от трудов, но довольный, что и этот день мне удалось, хоть кому-нибудь, сделать добро, приходил я домой, где меня ждали брат, жена и дочь, где я мог отдохнуть за дельным разговором или вместе с ними помечтать об устройстве нашего будущего. Эмигранты, которых мы ждали в товарищи, должны были примкнуть к нашей семье, и жалование свое, — были тогда места в Тульче при телеграфе, при конторах и т. п., — они вносили бы в * общую кассу. Вместе работая, разве не могли бы мы поднять уровень просвещения Добруджи? Разве не могли бы открыть там гимназию? Ввести правильное пчеловодство и садоводство? Болгарский журнал заложить? Легко было нам на душе, рады мы были нашему удалению от политических бурь, будущность была светла... Герцен, впрочем, не был доволен моим разочарованием, дружески упрекал меня в нем и, боясь моего влияния на брата, звал его в Лондон для свидания. И я и брат, мы оба радовались этой поездке. Брату хотелось посмотреть Европу и Герцена, я радовался за брата. Хорошо жилось, — я не помню, чтоб когда-нибудь мне было так хорошо в жизни, а никогда не забуду этих вечеров в нашей хате, этих дружеских споров, песней брата и Эбермана, у которых были славные голоса, толков о будущем. Казалось, что счастье наше прочно, что наш кружок, — мы так любили и уважали друг друга, — никогда не разрушится... Впереди было светло — и вдруг... А это было благоуханной южной весной.

Вышел я утром из дому и зашел в чайную, поджидая просителей. Голова что-то была тяжела, стало ломить руки и ноги. Я пощупал пульс, он бил лихорадку. Через полчаса я уже с большим трудом добрался до дому, а вечером ** лежал без памяти. Что происходило эти две недели тифа, я ничего не знал; медики не надеялись меня спасти, но героические их средства или сама природа подняли меня на ноги. Выздоровление шло медленно, но через месяц я уже совершенно оправился, а брат стал слабеть. Он чувствовал какое-то одеревянение во всех членах и поминутно засыпал. Как ни боролся он с болезнью, которая *** медленно к нему подходила, тогда как меня разом сшибло с ног, — свалился и он. Доктора не придавали большой важности его болезни, и он, действительно, не был так страшен, как я, и поправляться даже начал. Ухаживая за ним, мы с женой дежурили по ночам у его постели, — одну ночь она сидела, другую я.

— Вставай, — разбудила она меня одно утро, — я устала сидеть и вздремну немножко, а ты пойди к брату. Это, должно быть, последний раз мы не спим по ночам, ему сегодня гораздо лучше.

Я взял книгу — какую-то беспоповскую рукопись — и перешел в комнату брата. Ему в самом деле было лучше; я принялся за чтение. Метаться он стал, точно его подергивало; я сначала ничего не подозревал. Подергивания становились сильней и сильней, он вздрагивал всем телом. Страшная мысль мелькнула у меня в голове; я послал за доктором, доктора не могли добудиться. Послал за цирульником — тоже не добудились. Я сам открыл ему **** жилу, — кровь не пошла...

---

* Зачеркнуто: нашу.

** Зачеркнуто: уже.

*** Зачеркнуто: так.

**** Зачеркнуто: кровь.

Он умер на моих руках. Он умер, и с ним все пошло прахом. Злоба и отчаяние закипели у меня на сердце. Мне не верилось, что я переживу его. Я ходил, как помешанный. Я никого так не любил, как брата. У меня слов нехватает и силы нехватает рассказать об этом ужасе.

*

Рашид-паша оставил Тульчу во время моей болезни. Его отозвали в Цареград и сделали генерал-губернатором Смирны. На его место поступил Сабри-паша, его приятель и товарищ по парижской жизни.



МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИЙ — МЕХМЕТ-САДЫК-ПАША
Литография
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Это был тоже превосходный человек, но он был прислан в Добруджу на время, до введения вилайетов (генерал-губернаторств), которые тогда замышляло правительство и которые должны были Добруджу — доселе самостоятельный пашалык — подчинить Рущуку. Поэтому Сабри не смотрел серьезно на наши дела и не затевал ничего нового, стараясь только не утратить и не разрушить того, что было сделано его предшественником.

Было лето, рабочая пора, дел стало мало. Жалование мое не приходило из Цареграда, только раз я его и получил. Я писал Садыку

и Алеону, его приятелю и банкиру Порты; мне ответили сухо, что во мне не нуждаются. Я ничего не понял, но у меня была семья, пришлось искать работы, и я, скрепя сердце, занял место брата в американской школе, хотя совершенно не гожусь быть учителем. Уже не бедность, а нищета начала меня преследовать, нищета неизлечимая, которая, как бездонная кадка, поглощала все мои маленькие доходы.

Все * пропало — верования, брат, надежды, самая возможность жить по-человечески. Тоска щемила сердце, и тоска эта тем была страшна, что ум не мог приискать исхода. Агитаторство стало так же невозможным, как воскрешение брата, потому что нельзя же агитировать без веры, а как было верить, когда кругом все говорило, что моя прошлая деятельность была не только ошибка, но просто-напросто водотолчение, когда русские люди, между которыми я жил и которых я в первый раз в жизни изучал, не только воспринять, но даже понять не могли наших учений. Я в Лондоне рассчитывал сделать их пропагандистами нашего дела, а они твердо убеждены, что всякое вмешательство их во внутренние дела России было бы преступно: «Мы здесь за границей живем и тамошних делов не понимаем. Коли там что нужно сделать, так там найдутся люди и сами сделают, — им там видней». Простонародье ни за что не возьмется за какую-нибудь пропаганду: «Мы люди маленькие, где нам о таких делах думать! Да и кто нас послушает!» А «вельможи» заняты своими торговыми и промышленными делами и ни за что не хотят впутываться в политику, чтоб не расстроить этих дел. Без согласия же «вельмож» народ ни шагу не сделает. Буржуазия — аристократия и у нас, и будь побольше этой буржуазии в Добрудже, не были бы так дики тамошние русские, потому что был бы у них высший класс, проводник хоть каких-нибудь идей и манер. В России считают раскол орудием купечества, но то же самое происходит и в Англии и в Америке. Масса везде подчиняется богатым людям, которые дают ей работу и у которых можно, в случае нужды, призанять. Независимому человеку все льстят, и все к нему подделываются. Поэтому его слово становится законом, и его мнения, собственные, или заимствованные, — обязательной религией. Будь я миллионер, будь у меня заводы или фабрики в Тульче, может быть, и удалось бы мне найти последователей, как польским аристократам, но бедняку ** ничего нельзя сделать. Впрочем, если б и был я богат, я уже не в силах был агитировать: вера пропала, а с нею и сила и энергия. Только вера может чудеса творить, скептик бессилен.

Убитый, мрачный, злой, учил я ребятишек всяким ценным правилам, географии, языкам. Тоска давила, говорить только с женой мог, но и она была тоже подавлена этой ужасной потерей, как вдруг явился к нам русский эмигрант из Парижа. Чуть ему на шею не бросился, когда он мне подал письмо от Герцена, — я думал, что будет у меня хоть с кем слово сказать...

Михаил Семенович Васильев [188] говорил, что он — поручик какого-то пехотного полка из стоявших в Варшаве; убеждения не позволили ему итти против поляков, и он эмигрировал. Вот и все, что он о себе рассказал. Языков он не знал, но занимался ими, равно как и всеми науками, а особенно астрономией, технологией, агрономией, и, вообще, отзывался, что кто, как он, десять лет походил с полком, тот всему научится. И началась моя пытка: то он просил меня *** посмотреть его астрономические вычисления — основанные на показаниях академического «Месяцеслова»! — во сколько дней, часов, минут и секунд зем-

* Зачеркнуто: рухнуло.

** Зачеркнуто: да еще скептику.

*** Зачеркнуто: проверить.

ля обращается вокруг солнца. Целую неделю он делал какие-то выкладки, и в один день сообщил мне, что истинный год состоит из 339¼ дней, а на другой день извинялся в ошибке и объявлял, что земля обращается в 375 дней, 9 часов, 3 минуты, 10 секунд, 20 терций... и унять его нельзя было. Спорил о французском языке и уверял, что в Париже сам слышал, как французы спрягают être: он был — il était, а она была — elle éta (или état — не знаю, как это и написать). «Я все знаю, все умею, — говорил он при каждом случае, — меня уж нечего учить! Кто десять лет с полком выходил...» И, вот, пришлось выслушивать проекты изменения русской азбуки, — а он* ять не умел поставить, — и просматривать его пробы писания по-русски то польскими, то собственного изделия буквами. Жене моей хозяйничать не дал, сам взялся; перегноил пропасть мяса, огурцов, дынь. Ваксу не позволил покупать, а сам стал делать, перепачкал сажей и дегтем весь дом; перебил пропасть посуды... чернильную фабрикацию открыл. Мы с женой все терпели, все спускали, мы** надломлены были до бессилия, но он взялся за воспитание моей дочери (я все знаю, я все умею), а этого я не мог позволить и восстановил свои хозяйские права. Побунтовал он, поворчал, но признал мою власть и пошел удивлять Тульчу своими советами и проектами реформ. За что только ни брался этот человек! И новые секты какие-то сочинял, и рыбой торговал, и буфетчиком в чайных делался, и новые костюмы проектировал, и детей учить принимался. Не знаю, где он теперь, но уверен, что не унялся. И ко всему этому он был крайне скуп, скрытен, жаден, во все мешался, как его ни обрывали, и довел меня впоследствии до того, что я его выгнал из дому; а я — человек в высшей степени снисливый и уступчивый.

Понятно, что приезд такого товарища только хуже сделал. Прошло еще месяца с два. В августе, я думаю, явился в Тульчу Сливовский, о котором я поминал выше. Это человек неглупый, довольно образованный, без претензий, и мне весело было, что он у меня поселился и занялся уроками музыки, — было хоть слово с кем сказать. В одно время с ним явился и другой эмигрант, артиллерийский штабс-капитан Петр Иванович Краснопевцев,[189] один из участников адреса Герцену русских офицеров в Польше. Тогдашнее настроение и личная ссора с начальником (Борозда? Бороздин?) побудили его бежать из полка и сделаться повстанцем, — он, кажется, адъютантом был у Крука[190]. Это был человек, по крайней мере, умный, с которым можно было слово сказать и который мог толково возражать на мучившие меня вопросы. Оживилось у меня опять, как-то легче стало, как-то и будущее стало светлей казаться, — опять возникли надежды, и опять стали планы строиться. Заведение гимназии в Тульче было моей любимою мечтой, и Сливовский с Краснопевцевым отнеслись к ней с сочувствием. Но нас троих было мало для начатия этого дела, Краснопевцев же ни одного языка не знал, а языки в Турции — условие необходимое. Нужно было пополнить нашу общину. Я поехал в Галац поискать между поляками, которых там было около сотни в то время, не найдется ли кого-нибудь, желающего сделаться нам братом и полезным помощником. Если б нашелся, то гимназия на всю Добруджу и Бессарабию мигом бы устроилась. Дом можно было нанять рублей за десять, да рублей на десять устроить столы и лавки, и насчет спален и т. п. нравы в тех краях так невзыскательны, что рогожка на полу удовлетворит любого русского или болгарина. Потребность же

---

* Зачеркнуто: даже.

** Зачеркнуто: истомлены.

в хорошем училище, не носящем ни малейшего пропагандистского характера, очень велика.

В Галаце я нашел много студентов-поляков, а в то время для меня слово студент еще не утрачивало своего обаяния. К полякам же я обратился и между ними искал товарищей вовсе не по особому сочувствию к ним, — русских там нет, французов и немцев я не совсем люблю, да они бы и не годились для славянской гимназии, а поляки, что бы они ни думали о русских, никогда бы не могли действовать против моих планов уже просто потому, что я был и их начальником, — все выходцы из России были мне подведомственны, в том числе даже евреи. Сверх того, новая польская эмиграция в то время не начинала еще разлагаться. Ненависти к русским в ней не было, как не было и упорной веры в принадлежность Польше Западного края, что в старых эмигрантах доходит до мании. В повстанье участвовали не столько по принципу, сколько из удали, по общему оппозиционному духу, охватившему тогда Россию. Пройдет еще два-три года, и новая эмиграция, разумеется, освирепеет до ненависти к нам, потому что не будет в столкновении с русскими и потому что нужда и тоска по родине заставят ее видеть в каждом русском личного врага. Исключения везде есть, но en masse новые эмигранты далеко еще не потерянные люди, и, будь я не опальным, я давно бы довел их до уступок правительству. Я коротко знаю поляков и совершенно убежден, что мы могли бы не только примириться с ними, но даже воспользоваться ими как пропагаторами * всеславянского государства. Теперь они на Австрию молятся — отчего ж нельзя заставить их молиться на нас? А из них одним ласковым словом можно сделать что угодно. Если я когда-нибудь буду помилован и если правительство доверит мне, я войду в переговоры с эмиграцией, что мне легко сделать при множестве связей с нею и при знании ** ее быта, ее верований и ее jargon'a. Предводители ее, разумеется, станут ломаться и заявлять невозможные требования, но большинство мигом можно отвлечь от них. А чуть это большинство будет на нашей стороне за разные пустые уступки, которые можно им сделать, не нарушая ни нашего достоинства, ни нашего государственного единства, ни наших прав на Западный край, то, во-первых, и предводители потеряют влияние, а, во-вторых, и Царство Польское успокоится, потому что оно вечно фантазирует, будто эмиграция хлопочет за него на Западе, да и тоскует по ней, так как у каждого есть в ней друзья и родные. Время ж для этого теперь благоприятное: главный пособник поляков, Наполеон, вынужден искать в нас опоры. Если б я мог, оставаясь изгнанником, войти с ними в серьезные переговоры, я бы не воротился покуда в Россию. Одним из моих главных побуждений к этому возвращению была именно невозможность быть полезным ей в опале. Я много мог сделать при моих связях и при моем знании всех этих mystères d'Europe, но без согласия правительства нечего и затевать было, а согласие нужно было заслужить, нужно было доказать мою искренность; я и сдался ему в залог своего чистосердечия.

В Галаце выбрал я двух: киевского студента Станкевича [191], украинофила в польском смысле, который принадлежал к отряду казаков полковника Вылежинского, и чеха Шварца, натуралиста, технолога, кончившего курс в Праге и бежавшего за границу от преследований немцев. Этих двух было заглаза довольно, но, на беду, к ним прицепилось еще двое, галицкий русский Левицкий и чех Дауша, тоже технолог [192]. Они ехали в Тульчу искать хоть каких-нибудь занятий и

* Зачеркнуто: интересов нашего.
** Зачеркнуто: как нельзя лучше.

просили позволить хоть несколько дней пожить у меня, пока что-нибудь не сыщется. Я отговаривал их от этой поездки, зная, что в Тульче им ничего не найти, но они настаивали, а в гостеприимстве я никому еще не отказывал.

Приезд их в ноябре 1864 г. совпал с приездом нового губернатора Ахмед Расим-паши, уже зависевшего от рущуцкого вали (генерал-губернатора) Мютад-паши, который в настоящее время стал известен своими зверствами над восставшими болгарцами. Пошли реформы, смены чиновников, сделалась неизбежная путаница, и явился невиданный и неслыханный в Турции формализм и бюрократизм. Ни чиновники, присланные нарочно из Цареграда, ни паша-реформатор, ни наш брат, смиренный рая — никто не мог толку добиться в этом хаосе. Мне и всем русским стало положительно хуже: по старому, патриархальному порядку, все дела решались словесно, по совести и по крайнему разумению паши или кади, а если ни тот, ни другой не могли добиться толку, что у нас часто бывало по незнанию русскими турецкого языка, то советом наших же стариков. Несправедливостей и злоупотреблений, разумеется, было много, но они искупались быстротой делопроизводства, тогда как новый порядок, при всей его сложности, ничем не гарантирует против злоупотреблений. Прежде решали по совести да и по здравому смыслу, а теперь — по закону, которого никто не знает, не уважает и которому не верят. Будь турецкие чиновники люди образованные, может быть, и была бы возможность управлять Турцией по закону, но так как (за исключением нескольких пашей, развитие которых состоит в знании французского языка, в умении полькировать да отпускать гуманные фразы) все они не развитее наших лабазников или волостных писарей, то и не могут способствовать введению европейских порядков, недоступных их пониманию и противуречащих их привычкам и преданиям. Как бы то ни было, но участие мое в управлении края необходимо уменьшилось.

Едва ли я воротился из Галаца с своими гостями, как один из них, Шварц, схватил тиф. Не успел он поправиться, Дауша и Станкевич свалились с ног. Тиф или что-то вроде тифа постигает всех новичков в устьях Дуная, состоящих из огромных заливных лугов, называемых плавнями. Дочка моя тоже захворала, да и я был нездоров, — от моей болезни у меня осталось какое[-то] странное поражение ног, обнаруживающееся одеревянением, а тогда открывшееся язвами. Пришлось сидеть дома, но Шварц занял мое место в школе, а Краснопевцев еще и прежде был моим помощником в ней. Болезни эти окончательно расстроили наши финансы, а мои товарищи напали на меня, зачем я не открываю гимназии. Я ходить не мог и просил их осмотреть указанные мною дома, сторговаться, заказать мебель, но ни один не двинулся. Они до того привыкли смотреть на меня, как на своего вожака и начальника, что у них энергии даже нехватало шаг самим сделать в каких бы то ни было пустяках. Они верили в меня, как в бога, а как у меня отнялись ноги и я не мог бегать по делам всей нашей общины, как пришлось ей стесниться в денежных делах, так они и духом упали и обвинили меня в недеятельности, хотя сами на боку лежали. Кончилось все тем, что в одно прекрасное утро они оставили меня и расселились по Тульче врассыпную, существуя занятиями, которые я же им доставил, в том числе и учительством, главнейшим моим доходом. Оставили меня, как нарочно, в такой именно день, когда в доме не было ни копейки денег, ни полена дров.

Глубоко оскорбил нас с женой этот бесчеловечный поступок, эта черная сторона человеческого характера, существования которой мы даже не подозревали в людях, а уж тем более в этих. Жену мою

это так потрясло, что даже здоровье ее поколебалось, и с этой минуты она начала таять и таять. Делишки я свои скоро опять поправил, но оскорбление вошло вовнутрь, и тоска стала душить пуще прежнего. Пуще прежнего мысль моя сосредоточилась на убеждении, что с людьми ничего нельзя сделать путного, даже будь они развиты как угодно. Мизантропом я не сделался, но я стал смотреть на человечество, как на неизлечимого сумасшедшего, который не ответствен за свои поступки и которому ничем не пособишь. Я решился, не мудрствуя лукаво, быть с людьми осторожнее, сколько можно меньше связываться с ними, но все же помогать им, чем могу, для облегчения их страданий, которые они сами навлекают на себя своей беспутностью. Это скоро пришлось приложить и на практике. Рассыпавшиеся товарищи мои, не поддерживая друг друга, бедствовали до невозможности, ссорились и по очереди валились в тиф. В болезни я их не оставил посильной помощью, это примирило их со мною, хотели они было опять перебраться ко мне, но я уже потерял веру в последний мой золотой сон. Между тем, Шварц, Сливовский и Станкевич получили возможность кой-какого существования. Дауша с Левицким куда-то уехали, а Краснопевцев сдержал свое слово, которое мы все принимали в шутку, — он удавился на ремне от брюк. Еще в Париже он собирался удушить себя окисью углерода, но товарищи, с которыми он там жил, выломали дверь и привели его в чувство; а у него уже нога обгорала, свесившись с постели прямо на жаровню с угольями. В Тульче он, как и Васильев, сильно ошибся, — он думал, что я завожу там какой-то революционный очаг, и ехал прямо в унтер-агитаторы, а пришлось работать, да еще не зная языков. В американской школе его обидели. Полуграмотный учитель низшего класса получал там одиннадцать червонцев (тридцать три рубля серебром) в месяц за то только, что он молокан, а Краснопевцеву, который не мог содействовать обращению русских в методизм, дали всего четыре червонца, да и то покуда молокан не воротился к своим занятиям. Это, а равно и бесценность жизни, сознание своей ненужности, усталь — все наводило его на мысль о самоубийстве. В воскресенье (как-то великим постом) он зашел ко мне очень веселый, много шутил и, по обыкновению, толковал о том, что повесится.

— Что ж! Доброе дело, Петр Иванович, — смеялся я, как обыкновенно делается при подобных разговорах, — я могу даже веревкой вас снабдить, вон в саду какая длинная и крепкая протянута у меня для белья...

— Э, нет-с, позвольте-с, на веревке не следует-с. И больно, и неопрятно. Я вот на этом ремне сию операцию совершу, аккуратней выйдет.

Мы посмеялись над его предусмотрительностью, еще о чем-то потолковали, и он ушел. Где он пропадал целый вечер и ночь, неизвестно. Видали его в разных концах города, но утром Сливовский и Шварц, с которыми он жил, бросились его разыскивать, — за ним никогда не водилось опаздывать в школу или ночевать не дома. Я тоже пустился в поиски, как вдруг один знакомый сказал мне, что какой-то еврей повесился на крыле ветряной мельницы. Я понял, что это был бедный Краснопевцев, которого многие принимали за еврея по его совершеннно еврейскому типу лица [193].

Горько меня поразила смерть этого неглупого и честного человека, которого я очень любил. Перенес я тело к себе, похороны справил, и тут же мы окончательно решили с женой бросить этот несчастный для нас город и воротиться в Западную Европу, где я мог бы жить своим пером. Смерть брата потрясла меня так глубоко, что я совер-

шенно переродился. До того у меня не было способности писать прямо начисто, как я теперь пишу, — я все обдумывал, перечеркивал... Если б я в Лондоне или в Цареграде вздумал писать эту исповедь, я бы в год не справился с нею, а теперь — сегодня двадцать второй день, что мне дали бумагу, перья и чернила, и у меня уже почти двенадцать печатных листов написано. Горе по брате, сильное нравственное потрясение вдруг породило во мне потребность писать и способность писать складно. Первое, за что я принялся, были мои «Черные думы», отрицание всех революционных и философских положений, отрицание полное, не заменявшее ничем опровергаемого и страшное по пустоте, которую оно оставляло на месте разбитых идеалов. В этих «Черных думах» даже поэзия своего рода была, и поэзия сильная; у меня желчь от бешенства клокотала, сарказм сменялся сарказмом; проклятие миру, его законам, людям, жизни и смерти, небу и аду кипело на каждой строке, и мои товарищи в Тульче в ужас приходили, когда я им читал эти вдохновенные строки, в которых отчаяние мое высказывалось в таких смелых образах и в таких дерзких аллегориях. Эти «Думы» никогда не появятся в печати, они потеряны в Галаце, а писать что-нибудь в этом могучем роде, который только мне и принадлежал, я больше не в состоянии. Дарование вспыхнуло во мне бурею, пламенем, и неожиданно явилось, и постепенно погасло. Последнее время — последний год — я уже ни разу не ощущал в себе этих некогда знакомых мне приливов вдохновения и исступления, да и нравственное состояние мое теперь совершенно другое: у меня снова есть и вера, и надежда, и идеалы, для которых я могу работать. Кроме «Черных дум», я принялся за повести, но до сих пор не был вполне доволен тем, что у меня было написано, и ничего не печатал, хотя, если буду иметь возможность, я думаю написать один роман из быта подобных мне эмигрантов и в этом романе не поцеремонюсь раскрыть все ужасы и всю нелепость этого быта. Уверенный в своих способностях, я писал письма в разные редакции и старым знакомым, спрашивая, не возьмут ли моих статей, и никто не отвечал. Таким образом, поездка в Европу стала необходимостью, — где-нибудь в Париже, в Вене я мог или от первого знакомого или от первого русского литератора узнать, как добиться сотрудничества в наших журналах. Ехать же без семейства, которое тогда увеличилось рождением сына, и думать было нечего: после опыта с товарищами я уже ни на кого не мог положиться, да и невозможно было расстаться с существами, которые одни привязывали меня к жизни. Наконец, ехать и потому еще стало необходимым, что меня начали уже заметно теснить в Тульче, где мое пребывание и деятельность многим не приходились по вкусу; пашу стали заметно вооружать против меня, а в Цареграде выхлопотали секретное предписание о непозволении мне завести гимназию, тогда как в Турции даже и позволения спрашивать не нужно для заведения хоть университета. Был у меня один знакомый купец в Галаце, грек, с которым мы были приятелями и которому раз я помог в одном деле с турецкими таможенными; я обратился к нему с просьбой дать мне в долг триста рублей серебром на год, чтоб доехать с семейством до Парижа и перебиться там кое-как первое время. Он охотно согласился и сам же торопил меня перебраться в Галац, откуда австрийские пароходы идут вплоть до Базиаша, Пешта и Вены, обещая мне даже проезд мой устроить даром или, по крайней мере, очень дешево. Лучшего и желать было нечего; сборы мои были невелики, паспорт мне был выдан в Тульче, и хоть тамошний австрийский консул отказал мне в визе, потому что я эмигрант, но мне удалось визировать его у галацкого. Словом, я земли под собой не слы-

шал от восторга, вырываясь из этой пустыни, разбившей окончательно мое и так настрадавшееся сердце, из пустыни, где нет ни книг, ни журналов, ни людей, которая для меня даже прелесть неизвестности утратила. Я уже знал русский народ и его раскол, как, кажется, и знать короче нельзя, пропасть пережил и перечувствовал, знаком был как нельзя ближе с загадочным для большинства миром политических и неполитических авантюристов, приобрел чутье разгадывать их с первого свидания и умения обращаться с ними. Мне хотелось тогда писать и писать, войти в полемику с нашими революционерами и нигилистами, чтоб разбить их на их же собственной почве, доказывая им, что их отрицания и критика общественных отношений вовсе не ведут к тем идеалам, которые они создают себе, а просто-напросто вынуждают каждого мыслящего человека или удавиться, как Краснопевцев, или сложить руки и отказаться от всякой деятельности, как я. Я слишком горячо веровал в эти идеалы, чтобы относиться к ним безучастно, и мысль о разрушении их стала моею любимою мечтой. Я «отпел», заживо похоронил себя, но, как человек, я не мог отказать себе в свирепом, пожалуй, удовольствии заставить и других быть отпетыми. Нигилисты и К° в ужас бы пришли от моих выводов из их учений, от моей последовательности, которая одним только развитием их же диалектических приемов довела бы их или до отречения от всего, или до признания всего, потому что как в религии, так и в философии и во всякой теории средних нет, а есть или единица или нуль. И теперь, когда я холодней отношусь к ним, потому что сам пришел к единице, т. е. к положительному, я все-таки льщу себя надеждою, что мне когда-нибудь удастся завести с ними полемику и добить их до последовательных выводов. У меня зуб есть на всех этих, впрочем, честных, мечтателей; я бы хотел сцепиться с ними хоть за социализм и коммунизм, в который они так веруют, за республику, за равенство, даже за выборное начало. Переделала меня Добруджа, поставив лицом к лицу с жизнью, да и всякого переделает она, кто там проживет годика полтора. Жалко, что у нас не ссылают туда на исправление всех этих юношей, членов организаций и адов. Там воля вольная и говорить и делать что угодно; в Соединенных Штатах едва ли такая свобода, как в Добрудже; пусть бы они попрактиковались там в пропаганде, хоть даже и революции, и в заведении артелей, — ручаюсь за их радикальное излечение от недуга переделки человеческих обществ по кабинетным рецептам. Добруджа хоть кого вылечит от febris revolutionaris.

*

На этом я мог бы и кончить этот отдел, но будет нелишним рассказать кое-какие подробности о Добрудже и о сложившихся в ней отношениях. Это пояснит многие обстоятельства моей тамошней жизни, а может быть, расположит правительство обратить внимание на эту Задунайскую Русь, которая может одинаково быть и полезна и вредна нам в политическом отношении. Я буду, по возможности, краток и опущу все лишние подробности, чтобы резче выставить то, что действительно заслуживает внимания.

Я сказал, что меня и паша и русские приняли очень хорошо и что я делал все возможное для блага последних, а, между тем, я не могу похвастаться, чтобы русские дорожили мной и относились ко мне с особенным сочувствием. Теперь другое дело, — они сильно жалеют, что меня больше нет и что за них некому стоять, но тогда они не очень ценили мои труды, даже врагов я нажил между ними. Вина в этом моя. Будь я понаглее, да умей прижимать их в беде, у меня давным бы

давно и капитал составился, и я бы царьком был между ними; но я застенчив, жалостлив, уступчив, враг всяких перебранок и не могу, духу нехватит, принуждать должников моих платить мне свои долги или требовать условленного вознаграждения за труды. Говорят, что это слабость воли; сознаю, что я слаб, но как я ни силился, а переделать себя не могу. Из этого вышло очень плохо. По обычаю, имеющему силу закона, я пользовался за каждый доклад паше гонорарием в пять пиастров (тридцать копеек серебром) с просителя, что могло бы доставлять мне средним числом рубля полтора дохода в день, а с этим можно было бы хорошо жить в Тульче. Но требовать этой платы с каждого мужика или бабы у меня духу нехватало, и они привыкли пользоваться мною даром, а известно, что если сам не ценишь своих трудов, то их и другие не ценят. Другое, я все дела их кончал проворно, не запугивал их, не заставлял кланяться мне по нескольку дней, не доводил их до процессов, которые им же дорого бы стоили, а это опять-таки побудило их смотреть на мои услуги очень легко, благо разом кончал и не вводил ни в хлопоты, ни в издержки; стало быть, заключали они, и дела-то наши пустяковые, если их можно так скоро вершить. Доходы мои поэтому сводились на весьма малое: кто хотел платить, тот платил, до и то большею частью не деньгами, а курами, поросятами, серной, рыбой и т. п...

Моя беспристрастность не позволяла мне пристать к какой-нибудь партии, держать руку одних против других или помогать им «проучивать» своих противников. Прекращая несправедливые иски в зародыше, я навлек на себя немилость всяких сутяжников; а старосты, у которых я невольно отбивал доходы, были моими заклятыми врагами. Я, как собака в басне, сена не ел и другим не давал. К этому, у меня были постоянные столкновения с представителями других народностей, с болгарским, с греческим, еврейским; адвокаты, наживавшиеся интригами, возненавидели меня, губернский землемер (тапуджи) злился, что я мешаю ему грабить руснаков; раздаватель паспортов (тескереджи) был недоволен, что я принуждаю его брать пошлины не выше таксы,— словом, я у всех был бельмом на глазу. К этому надо прибавить, что поляки (агент Messagéric Жуковский и секретарь французского консульства Ворона-Воронич, не считая других) были насмерть обижены моим значением в крае, который они привыкли считать своим достоянием. Французский консул, «естественный защитник и покровитель всех угнетенных и преследуемых русским варварством», уже прямо считал меня агентом и шпионом русского правительства. Владыка Аркадий с Гончаровым считали меня турецким шпионом и из себя выходили, что я забрал в руки их прежнюю власть над старообрядцами и не даю им теснить раздорников, тогда как до меня турецкое правительство давало им на это полное право; оно не знало, что липованы состоят из разных сект, и потому силой заставляло их подчиняться «липованскому епископу». Ко всему этому, руснаки, бежавшие в Турцию по большей части от своих панов, разом объявили, что я хочу пановать над ними, потому что я пан, да еще фармазон. Что такое значит фармазон, никто из них не знал, но ужас к фармазонству так велик в Добрудже, что пришлось наконец сделать смешным это слово. «Эй, ты, фармазонище, поди сюда!» — перекликались мы с братом на улицах, и руснаки замолчали. Не перечесть всех этих смешных рассказов и предположений на наш счет, а они тогда сильно досадовали и мешали сделать что-нибудь путное, — на сходку боялись являться, ни на какое полезное дело нельзя было их согласить, а уж как я бился, чтоб русские крепче держались друг за друга! Не знаю, как идет в России сельское самоуправление и самосуд, но в Добрудже, кроме вреда, я от них ни-

чего не видел. Лет еще с двадцать такой анархии и апатии к общественным интересам, и руснаки положительно одичают. И теперь ими как угодно помыкают греки, молдаване, евреи, а чем дальше, еще хуже станет. Малорусское племя, кажется, вовсе не способно ни к организации, ни к самоохранению. У старообрядцев немножко получше идет, потому что у них умы привыкли работать хоть над догматикой, да, сверх того, они в сношениях с своими единоверцами в России, что очень благодетельно действует на их умственное развитие. «Русский человек», т. е. пришелец из России, там всегда в чести, и в чести совершенно заслуженной, потому что он всегда развитее и отесанней тамошнего уроженца.

Другой мой неприятель, мягко, вежливо, но очень чувствительно меня допекавший, был миссионер американского епископального методистского согласия, Феодор Иванович Флокен. Флокен — сын баварского подданного, доктора Флокена, живущего в колонии Грослибентале *. Воспитывался он в одесской гимназии, но в 1847/48 г., когда ему нужно было явиться в Баварию, чтобы отслужить свой урок в войске, он, вместо того, чтобы сделаться русским подданным, предпочел уехать в Америку, что все же не так унизительно для русского немца. В Америке был он и машинистом, и конторщиком, и еще не знаю чем, а кончил тем, что сделался пастором. Когда в Болгарии поляки с французами стали вводить унию, американцы вздумали открыть в ней проповедь протестантства, точно для этой бедной народности недоставало еще религиозного разъединения. Флокен поехал в Варну, где выучился по-болгарски; при знании русского языка это было ему не очень трудно. Но в Варне проповедь не пошла, он перебрался в Тульчу, где столько русских и где, главное дело, есть сорок дворов молокан, большей частью тамбовцев. На них он и налег, да налег в такое время, когда у них выходил великий скандал.

В 1861 г. ** явился в Тульчу великий «настоятель» «духовного христианства» Иван Кондратьич. Учение его сходствовало несколько с методизмом; он тоже признавал, что дух святой нисходит на избранные личности, почиет на них и делает их почти непричастными греху. Красноречивый, ловкий, начитанный, Иван Кондратьич сорганизовал в одно целое всех молокан, распадавшихся на кружки, разнившиеся между собою в мелочах, подружился с тогдашним американским консулом в Тульче, Грином (Green), чуть-чуть не сделал всех молокан американскими подданными и поехал в Цареград хлопотать у английского, американского и прусского посланников заступничества за молокан в России, которых там преследуют. А заступничество это возможно на тех же основаниях, на которых эти державы требуют свободы вероисповедания для протестантов у Испании. Посланникам очень понравился Иван Кондратьич, расспросили они его об верованиях «духовных христиан», убедились в тождестве их с протестантскими и обещали ему помощь. Он возвратился в Тульчу, упоенный своими успехами, и еще решительней стал учить о благодати духа святого, которая делала его непричастным греху. «Я духом скопец, — проповедывал он, — благодать освобождает меня от похоти плоти и освящает меня так, так руководит мной, что я даже грешить не могу». И вдруг, к величайшему соблазну и позору целомудренной, непьющей, даже «красным словцом» не бранящейся молоканской общины, забеременела дочь богатейшего тульчанского молокана, купца Владимира Михайловича Шлюхина, горячего последователя Ивана Кондратьича,

* Под Одессой. [Примечание Кельсиева.]

** Зачеркнуто: если не ошибаюсь.

который у него же в доме и жил!!! Скандал вышел на всю Тульчу, Аккерман и Одессу. Девушку поколотили и проворно обвенчали с одним приказчиком ее отца, а скопец по духу скрылся в Россию, куда-то на Волгу, где снова его признали великим учителем церкви. Последние слухи об нем, слухи достоверные, говорят, что он признал себя Христом и выбрал себе двенадцать ангелов-хранителей из девушек, с которыми вседу разъезжает, днюет и ночует. В Тульче произошел раскол: одна часть молокан, под предводительством купца Алексея Васильевича Никитина и настоятеля (пастора) Семена Федорова, объявила себя «постоянными», т. е. буквально следующими учению Семена Матвеева Уклеина, русского Лютера, основателя молоканства в последних годах царствования Екатерины II, а другая, под руковод-



БОСФОР

Гравюра

Музей изобразительных искусств. Москва

ством настоятеля Ивана Ивановича Л... * и того же купца Шлюхина, признала учение о благодати, введенное Иваном Кондратьичем. С этою последнею партией сблизился Флокен и стал вводить в нее методистские учения о необходимости крещения и причащения, о действии благодати и о церковном благочинии. Пропаганда, однако, плохо принималась: разница между молоканством и протестантством так же велика, как и между самими восточной и западной церквами, породившими эти секты. Не догмат разделяет, не ** учения, но быт, практика, manière d'être препятствуют сближению и взаимному пониманию; русский крестьянин чужд немецкому, как русский купец чужд купцу-немцу; инстинктивное отвращение отталкивает друг от друга, и не одна сотня лет пройдет, пока все перемелется и мукой станет. Видя, что с молоканами ничего нельзя поделать, Флокен пустился на обыкновенную уловку католических и протестантских иезуитов — завел шко-

* Пропуск в подлиннике.

** Зачеркнуто: отвлеченные.

лу, устроенную довольно прилично, где преподается не только история и география, но даже французский, английский и немецкий. Открыта она для всех желающих, без различия народностей и исповеданий, учение даровое, пропаганды в ней никакой не совершается, преподавание идет по-русски и по-немецки; учителем низшего класса приглашен помянутый Иван Иванович Л... *, человек очень влиятельный, потому что он и настоятель молоканский и член губернского совета. Дети молокан его «собрания» (согласия, церкви, кружка) все учатся у Флокена, и, когда выучатся, им будет предоставлено право съездить для окончания курса в Америку на счет методистской миссии. Таким образом, благодаря нашему небрежению и стеснению наших сектантов в России, русский раскол вынужден будет превратиться в иностранный, а с этим вместе пошатнется и политическое единство нашего народа. Мы уже хорошо знаем, какие плоды приносит нам тяготение наших католиков к Риму, протестантов к Пруссии и вообще к «немецкому отечеству», а евреев к их папе Ротшильду, который может, если ему угодно, потребовать от нас расширения прав своих единоверцев и покарать нас в случае ослушания. К чему же вовлекать себя в устранимые покуда неприятности с дружественными нам Соединенными Штатами?

В Тульче уже есть экземпляр русского методиста, Гаврило Васильевич Лебедь, уроженец Тамбовской губернии, бывший крепостной откупщика Рюмина; проходил на житейском поприще своем разные веры. Родился он ** православным, сделался поповцем, а потом беспоповцем, потому что православные священники «от писания не сильны», потом молоканом сделался, начитавшись евангелия, и перешел в методизм за ласковое слово и за человеческое участие, оказанное ему Флокеном. Лавку ему Флокен устроил, дав ему, «как брату во Христе», кредит, поддержал его, в чем можно, даже французским подданным его сотворил; в Тульче французское консульство и в этом упражняется: человек двенадцать русских мужиков состоят в подданстве у Наполеона. Лебедь теперь уже и русским себя почти не считает. Про протестантов говорит мы, дни считает и праздники соблюдает по новому стилю, немцев и англичан русским предпочитает, — словом, настроился так, что, случись у нас война с теми или с другими, он не за нас будет молиться. И это совершенно: для массы религия — национальность; принятие католичества западным русским дворянством сделало его поляками, как обращение немца в старообрядчество или в скопчество, чему я знаю много примеров, делает его русским.

«Постоянные» молокане очень хорошо видят, чем кончится флокеново предприятие, и ничем защититься не могут. Завести свою школу, способную конкурировать с американскою, у них нет средств. Гимназия моя, которой они так сочувствовали, не удалась, и за одно намерение завести ее я навлек на себя немилость Флокена, который и то был зол на меня, что я не скрывал от молокан квакерских и гернгутерских догматов и текстов, на которых эти догматы основываются, что дало опору им против методистской пропаганды. Делал я это *** именно для поддержки молокан. У нас смотрят на это, может быть, иначе: бироновщина приучила нас благоговеть перед **** чужими выдумками в ущерб своим, но где же справедливость? Западное протестантство может у нас и кирки строить, и богослужение совершать публично, и последователи его принимаются в государственную службу, а

* Пропуск в подлиннике.

** Зачеркнуто: старообрядцем.

*** Зачеркнуто: единственно.

**** Зачеркнуто: всякими немецкими.

свое собственное молоканство топчется в грязь, обязано прятаться, и * это полупреследование доводит его в одну сторону до методизма, а в другую фанатизирует до прыгунства, хлыстовства, до Христов — Лукьянов Петровичей и Иванов Кондратьичей! Пьяница русский народ — очень жалко! Но уж если таков его норов, пусть же пьет он водку с своих винокурен, а не с чужих. Нельзя отнимать хлеба у детей и бросать его псам.

*

До двадцати тысяч дворов считается русского населения в Добрудже. Пользы от него России нет, а вред со временем может выйти. Положение его год от года становится хуже, — земли у него отняли, новые порядки его теснят, татары, ногайцы и черкесы тяготят его. Если б правительство позволило мне, я бы в один год передвинул эту массу русских людей на правый фланг Кавказа, который так нуждается именно в русском, даже в исключительно русском населении. Польза от этого переселения была бы тем значительнее, что тысяч до пяти дворов живут рыбным промыслом, и все — отличные моряки. В несколько лет у нас создалось бы естественным путем каботажное мореходство на Черном море, и русский флот был бы навсегда обеспечен хорошими матросами. Если же к этим двадцати тысячам (minimum) дворов взять еще тысячу дворов гуцулов, этих русских горцев из Галичины или из Буковины, которые чуть с голоду не мрут под гнетом податей и евреев, они на вершинах Кавказа завели бы тонкорунное овцеводство, составляющее их главный промысел в Карпатах. Содействие правительства переселению турецких русских ограничилось бы только назначением военных судов для перевоза их из Кюстенджи и из Сулина в порты правого фланга, в закупке для них ** скота, потому что им *** выгодней будет купить его у правительства, чем у барышников, а свой придется продать в Добрудже; потом в закупке для них виноградных лоз, фруктовых деревьев, в устроении, на всякий случай, складов хлеба и т. п. Затем, мировые учреждения, исправники и прочие власти **** должны быть введены на общих положениях империи, но — conditio sine qua non — там надо допустить публичное совершение обрядов, словом, всю ту религиозную свободу, которою они пользуются теперь. И правительство может допустить это смело, вреда от этого не выйдет *5, если оно, в условиях приема их в Россию, обяжет их заводить школы и посылать в них всех детей, без исключения. Школы ослабят значение раскола, а что не ослабнет, то волей-неволей примет безвредные формы.

За двадцать тысяч дворов для Кавказа я могу смело поручиться, а это составит до ста станиц или сел, считая по двести дворов на село. Если ж и этого не будет достаточно, можно будет из Молдавии двинуть такую же, если не большую, массу старообрядцев, можно из Добруджи до пятнадцати тысяч дворов молдаван взять, — они охотно пойдут (только расселять их надо между русскими). Болгар можно будет *6 иметь такую же цифру, если не больше: теперь, когда европейская Турция пылает в восстании, переселенцев найдется маломало до ста тысяч семей, считая, разумеется, и молдаванских. Начать приготовления нужно с осени, пока не начали еще сеять озими: за

* Зачеркнуто: запрещение проповеди.
** Зачеркнуто: рабочего.
*** Зачеркнуто: дешевле.
**** Зачеркнуто: могут.
*5 Зачеркнуто: особенно.
*6 Зачеркнуто: взять.

зиму желание переселяться на Кавказ (и в Крым) дойдет до мании, и трудно будет не отыскивать, а удерживать охотников. Народ же пойдет хороший, с деньгами, хозяева; только из особого снисхождения можно будет принимать людей, которые, садясь на пароход, не представят, что у них есть с собою не менее ста рублей серебром звонкой монетой. Бродяг, бурлаков брать, разумеется, не стоит, разве в самом ограниченном количестве. Правительство, разумеется, не откажет дать переселенцам амнистию во всех преступлениях, которые они или отцы их совершили до выселения в Турцию и в Молдавию.

Чем проще и короче будут написаны правила для переселенцев и чем меньше формальностей потребуется от них при вступлении на пароходы и на берег, тем лучше будет — спокойней и дешевле — для правительства и для них. Места для сел они сами выберут и сами же разобьются на сельские общества; неудачи в этом деле не должны падать на правительство, деятельность которого на все первое время должна свестись на мировое судопроизводство и на обыкновенный полицейский надзор. Иначе неизбежно выйдет путаница между начальством, привыкшим к мертвящему формализму, и поселенцами, освоившимися только с простотой турецких порядков. Неудача заселения Крыма турецкими русскими и болгарами именно оттого и произошла, и потому Крым пользуется у них крайне дурной репутацией.

*

Переписка моя с Герценом оборвалась во время расстройства моей общины [194]. Мне так горько стало, что даже делиться своим горем не хотелось. Вся эта переписка сводилась на то, что Герцен и Огарев убеждали меня не покидать старого знамени и упрекали за малодушие, но я не находил в их письмах серьезных возражений на мои сомнения и потому не мог притти к старой вере. Да если б я и пришел к ней каким-нибудь путем, все равно ничего нельзя было бы сделать. Они не верили в это; я звал их хоть посмотреть наш край, но они слишком европейские люди, слишком русские баричи, чтобы заглядывать куда-нибудь, кроме Италии, Франции, Рейна и прочих проторенных мест. Я же совсем другое. Еще с детства вдался я в изучение всего неизвестного, в китайский и прочие восточные языки, потом в раскол, тогда никому почти неизвестный; страсть к необыкновенному увлекла меня в Россию и в Турцию. Я первый из русских побывал у малоазийских некрасовцев, первый отважился поселиться в Добрудже, первый рискнул объездить Галичину. Книга и кабинетная тишина не удовлетворяют меня, мне нужно стать лицом к лицу с фактом во что бы то ни стало, иначе я никогда не умею успокоить своих сомнений; я слишком добросовестен, чтобы изучить дело понаслышке, и эта добросовестность убедила меня, что теоретики и кабинетные люди, при всем их желании делать добро, ничего никогда не сделают, потому что они не знают материала, из которого хотят строить. Если бы каждый кабинетный реформатор, нигилист, социалист, революционер решился расстаться на время с удобствами и удовольствиями спокойной жизни, а забрался бы в эти неведомые миру страны, бродил бы пешком от села к селу, ночуя в чистом поле, с кем попало, не разбирая, надежный или ненадежный товарищ встретился; разъезжал бы по тому же Дунаю на рыбацкой лодке в обществе раскольничьих монахов, которые его заставляли самого бы грести и держали бы за шиворот в бурю, на стрелке прижатого ко дну лодки Михаила Семеновича, который, не умея ни грести, ни править, ни плавать, во все мешался и чуть-чуть не опрокидывал челнок, в полной уверенности, что десять лет пехотной службы делают человека на все годным; если бы, вместо прений с товарищами, каждый

забирался бы в среду скопцов, молокан, цыган, в села уходил бы искать правды, с простонародьем чернорабочим знакомился бы в больших городах Европы, посещал бы не только Вену, но и Пряшов (Epreis) [195], не только Берлин, но и Ухту с ее отцом Павлом, — иначе смотрел бы он на людей и иначе бы понимал, что возможно сделать для них и что невозможно. Вот в этом-то и виноват Герцен, Огарев и за ними все прочие русские эмигранты, не решавшиеся заглянуть в пустыню, а загляни они, она бы хорошо заплатила им за их посещение, — она бы переродила их. Теперь —

Еще одно, последнее, сказанье,
и «Исповедь» окончена моя.

*

В предыдущем отделе я опустил два обстоятельства:

1. Я писал письмо к епископу Кириллу, приглашая его перейти в старообрядчество. Я слышал, что ему грозит извержение из сана, и потому предлагал ему устроить церковь для «раздорников». Ответа я не получил. Письмо это было писано в Цареграде, когда я, видя, что наше дело падает, хватался в отчаянии за всевозможные меры, чтоб поддержать его; сверх того, мне хотелось устройством хоть какой-нибудь церкви вывести беглопоповщину из ее глубокого нравственного падения [196].

2. В то же время я поместил известное письмо в «Courrier d'Orient» [197]. Оно тоже было следствием отчаяния.

Привожу эти обстоятельства здесь, боясь, что опущение их в третьем отделе будет сочтено умышленным. Цареградские дела мои шли так бессвязно, и так влияло на нас наше падение, что систематическое изложение их было мне решительно невозможно, а без системы пропуски неизбежны.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ *

ОБРАЩЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Галац мы перебрались в апреле 1865 г., думая прожить там не более двух недель и пуститься в Париж. Грек, обещавший ссудить триста рублей, уезжал на время в Одессу; пришлось его ждать; а когда он воротился, пришлось еще ждать, потому что у него дела как-то запутались и не было свободных денег. Прошел месяц, он начал жаться, конфузиться, просил подождать, поискать других средств, — словом, раздумал и, как все неоткровенные, слабохарактерные люди, предпочитал водить меня за нос, вместо того, чтоб объясниться прямо. Я долго подавлял в себе сомнение, но наконец страшная истина обнаружилась, — поездка в Европу оказалась невозможной.

Опять, как в Цареграде, бросился я искать хоть какой-нибудь работы, и опять, куда я ни обращался, все было напрасно. Обещаний давали пропасть, каждый сочувствовал моей крайности, но работа легко не отыскивается. А, между тем, здоровье жены моей все слабло да слабло после тульчанских несчастий; а сын мой хирел с каждым днем, — он родился от чахоточной матери. Чахотка была наследственной болезнью моей жены, но туберкулы до Тульчи ничем не обнаруживали своего присутствия, и она жила бы до сих пор, если б не этот ряд неудач и потерь, сокрушивших ее здоровье.

Приходилось плохо — хуже, чем в Тульче; май и июнь я еще коекак пережил, занимая то у того, то у другого копеечные суммы, но так

* На первой странице помета карандашом: «Препроводить в комиссию. 15 июля».

жить было невозможно: надо было решиться, и я решился. Верстах в трех от Галаца проводилось шоссе в Букарешт; за битье щебня платили два рубля пятьдесят копеек серебром с кубического метра. Сербы-каменщики выбивали в день по метру, поляки-эмигранты — солдаты, чиновники, студенты, офицеры, помещики — выбивали, кто наловчился, полметра. Пошел и я. На небе не было ни облачка, солнце жгло, пыль висела в воздухе, слезы крупными каплями падали на камень и тут же высыхали, ладони стирались в кровь, — более четверти метра не набил я...

Дня через три мне нашлось место. Подрядчики и смотрители работ при шоссе рекомендовали меня в контролеры подрядчику при мощении двух галацких улиц — Callea Fecuciului и Strada Pontu Vecchiu. Должность моя состояла в счете возов песку и камня, доставляемых на место работ, и за это назначено мне было восемь червонцев (двадцать четыре рубля) в месяц. С раннего утра до заката солнца должен я был стоять на улице, считать возы, наблюдать, чтобы они были хорошо нагружены, и, в случае спора, перемеривать их четвериком (banita), а так как извозчикам нельзя было поручить этой операции, потому что много зависит от того, как насыпан четверик, то сплошь и рядом приходилось работать самому. Но я был рад этой работе, — она думать мне не давала; физическая усталь все же легче нравственной; по крайней мере, я приходил домой изнуренный и спал ночь, как убитый.

Через неделю после того, как я стал контролером, сын у меня умер; здоровье жены стало еще хуже, так хуже, что нужно было пригласить доктора, а на доктора нужны средства! Как мне ни больно было, как ни возмущала меня мысль, но пришлось согласиться на поступление ее в гошпиталь. Не желаю я ни одному семейному человеку испытать, что значит отдавать кого-нибудь из своей семьи в больницу; нет ничего унизительней, как не быть в состоянии помогать своим: в лицо никому взглянуть не смеешь, сказать об этом совестишься, точно преступление совершал, точно какое подлое дело сделал! Городской доктор и его подлекарь были мои знакомые и устроили все, как можно было лучше, даже позволили ей держать при себе нашу дочку, девочку лет пяти, красавицу собой, умную и добрую, как ее мать. Одна она у нас и оставалась, об ней об одной мы и мечтали. Все любили этого * ребенка, к которому перешло и мощное сложение, и несокрушимое здоровье моего отца. Горько мне было, я усердней взялся за работу. Подрядчик Фламм разорялся, бестолково распорядясь в начале предприятия, и терял голову; я один пользовался его доверием, что не украду ни копейки, и он взвалил на меня управление работами. Хлопот стало больше, но зато и легче стало на душе, да, кстати, и жена начала быстро оправляться, так что можно было надеяться на ее скорое выздоровление, а, между тем, завелось у меня много знакомств, и мне стали делать разные выгодные предложения, между прочим, быть редактором закладывавшегося тогда «Jurnalul din Galati», что меня очень соблазняло и что мне могло дать средства на приличную жизнь в Галаце. Словом, все пошло лучше, если б только не досадовали остановка работ, вследствие расстроенных дел Фламма, да холера, так испугавшая наших мостовщиков-сербов, что они побежали из Молдавии. Холера их, впрочем, сильно перебирала по свойственной простонародью неосторожности: лучший наш мастер в промежутки между пароксизмами ел арбузы, а другой — купаться ходил в Дунай, чтоб остановить рвоту и корчи, и оба умерли у меня на руках. Но мое

* Зачеркнуто: здорового.

присутствие между ними, мои советы, доверие, которым я у них пользовался, все-таки помогло делу, — они стали разборчивей в пище, приняли предложенные им мною меры предосторожности и опять сформировались в артели. Работы начались, холера слабела, здоровье жены поправлялось.

Было холодное осеннее утро. Я вышел на работы, как вдруг один молдаван сказал мне, что меня ищут, что в гошпитале кто-то у меня умер. Как сумасшедший, бросился я, думая, что с женой что-нибудь случилось. Я вбежал к ней; она сидела в слезах: «Василий Иваныч, Малуши (так мы дочку звали) у нас нет! Она уж в мертвецкой!». Я



КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Акварель Джиганти

Эрмитаж, Ленинград

зашатался, — удар был слишком неожидан, еще вчера моя девочка была здорова.

Она и спать легла здоровая. Часов в девять вечера она расплакалась и стала жаловаться: «Мама, мама! У меня ротик болит!». Рвота пошла, корчи, — в пять часов утра ее уже не стало, несмотря ни на какие пособия медиков. Посмертное вскрытие оказало, что смерть произошла от холеры. Кроме бешенства и проклятий, у меня на сердце ничего не было. Железное здоровье, ум, характер, красота моего ребенка приучили меня даже мечты о будущем моем соединять с нею; ее воспитанию жизнь я хотел посвятить; я на нее, как на каменную гору, считал; она одна виделась мне впереди моим другом, моей Антигоной, и все разбилось в одну ночь.

Через несколько недель и жена моя умерла, завещая мне ехать на Запад, — она верила в мой ум и в мой талант. Ее смерть Малуши убила... Она умерла на моих руках. Я сам снес труп этой святой женщины

в мертвецкую, сам в гроб положил, сам в могилу опустил [198]. Я не плакал; злорадство какое-то овладело моей душой; мне приятно было иметь новое доказательство, что в мире нет ничего прочного, что все труды и привязанности человека ничего не стоят в этом безначальном и бесконечном океане времени, пространства и свойства. Все суета сует, все преходящее — и люди, и идеи, и человечество, и сам шар земной. Все это вечный калейдоскоп непонятных нам сил и целей, если есть какие-нибудь цели в этой природе, загадочной, беспощадной, в этом вечном сарказме над всем святым, что только таится в груди человеческой. А вечер, когда я ее хоронил, был так тих, запад горел зарей, восковая свеча, воткнутая могильщиками в землю, горела, не колыхаясь, и Дунай сверкал под горой. А я был один, один в целом мире, всем чужой и всему чуждый, вольный, как птица, и не знающий, куда волю девать, что с жизнью делать. Давиться не стоило того, потому что бежать было не от чего; но и жить было не для чего, потому что не к чему было стремиться. Ни веры в душе, ни идеала, ни мечты о будущем, ни даже сожаления о прошедшем не было во мне, пока я помогал пьяным могильщикам засыпать этот уже последний гроб. Я был зверь, а не человек; мне было все равно, что делать и как делать, только бы с голоду не умереть, а для этого даже и трудов больших не надо: фунта два хлеба в день совершенно довольно и заработать их нехитро. И я спустился в потемневший город, импровизируя страшную песню, песню отчаяния, которую я пел целую эту зиму 1865/66 г. По привычке я пошел на другой день опять на работы — мерить песок, считать квадратные сажени мостовой и слушать болтовню каменщиков-сербов и извозчиков-молдаван.

Дела Фламма шли плохо. Он ввязался во множество разных спекуляций, и неудача одной губила другую. В отчаянии он хотел бросить подряд и уехать в Индию искать счастья. Почти силой я заставил его не терять духа, кончить во что бы то ни стало мощение улиц, чтобы спасти кредит и добрую славу. Время было позднее, сербы спешили домой, перевозка песку затруднялась распутицей; Фламм, потеряв голову, сбивал рабочих бестолковыми приказаниями. Мы с ним спорили, даже бранились, даже чуть не подрались раз, а все-таки я настоял на своем, — против его воли сделал нужные запасы песку и камня и кончил работу до зимы. Фламм с ума сходил от радости. Кредит его восстановился, когда увидели, что он — надежный человек и что даже в убыток себе исполняет чему обязался, и предложили ему новый подряд, зная, что у него нет ни копейки. Мы уже мечтали с ним работать сообща, как вдруг он объявил, что нам нужно прекратить всякие сношения. Наш генеральный консул в Букареште, барон Оффенберг, узнав, что я в Галаце, объявил Фламму, что если он будет держать при себе такого scélérat, как я, то он порвет с ним всякие сношения и вынужден будет отказать ему даже в паспорте в Россию, буде таковой Фламму потребуется. Грустно нам было расстаться. Я привык к своему взбалмошному хозяину, который мне нравился своей кипучей предприимчивостью, а он дорожил мною, как человеком, не имеющим даже поводов быть корыстным и жалеть свою жизнь или здоровье для чего бы то ни было. Апатия была во мне безграничная, целей в жизни никаких, а привычка к Фламму и необходимость вести какую-нибудь деятельную жизнь, чтоб забыться в ней, делали меня полезным работником.

Мы расстались. Искать новых занятий было и бесполезно, после угрозы Оффенберга и приданного им мне эпитета, да и лень было. Кто привык трудиться для семейства, тот не понимает личной нужды: одна голова не бедна. Я повел праздную жизнь, дела не делал, от

дела не бегал. Случалось достать какую-нибудь работу, перевод, счет, я работал; не случалось, я не искал. Предложил мне один беглый русский половой пироги вместе с ним печь на продажу, и мы пекли; запил он и бросил дело, и я бросил. Даже квартиры не было у меня постоянной, ночевал, где попало — в корчме на лавке, у скопцов в бане или на мельнице, у приятеля на голом полу, в трактире на биллиарде, не умывался по целым неделям, белье менял чуть не раз в месяц, да и менять нечего было, — у меня все разокрали. Словом, я стал и по теории и на практике Диогеном, и это диогенство было моим единственным тогда принципом. Я все презирал — и мир, и людей, их стремления, верования, условия общежития; я публику при них составлял: смотрел, что они делают, как радуются и горюют, а сам принимал не больше участия, как зритель, в том, что происходит на сцене. Если я не пал, если разврат и порок не коснулись меня в эту зиму, я обязан моим покойникам. Каждую ночь снились они мне; я хоть во сне жил в их святом кругу, толковал с братом, с женой и с сестрой (умершей в Москве в 1862 г.; я ее очень любил, мы выросли вместе), с Малушей играл, и остался чист, как при них, хотя кругом меня все было падшее и растленное.

Так и весна настала. Грязный, оборванный шлялся я по Галацу, а деревья зеленели, и птицы тянулись вереницами на север. Я все смотрел на птиц, прислушивался к их голосам, и меня стало тянуть куда-то. Куда деваться? Я и сам сначала не знал, но жена завещала мне ехать на Запад, отдаться перу и науке. Думал я, думал, откладывал со дня на день, наконец пошел на пристань. Серб, капитан одного буксирного парохода, отходившего на другой день в Базиаш[199], обещал дать мне место даром. Я собрал свои статьи, завернул их в старенькое пальто и явился на пароход; больше у меня вещей и не было. Поплыли мы; денег у меня было всего с полтинник; пароход шел тихо, таща против течения две, а иногда три баржи; есть было нечего, кроме сухих запасов, которые я закупил на дорогу; кельнеры пригласили за свой стол. В Оршове, на австрийской границе, мой капитан передал меня другому, шедшему до Пешта; кельнеры шепнули и там кельнерам, и я опять был сыт. Но, к ужасу моему, на пароходе этом ехал мой знакомый цареградский банкир Pervilegio, я стал от него прятаться. Мне не хотелось, чтоб он, видавший меня в хороших обстоятельствах, узнал о моей нищете, да и боялся я, что, назвав меня по имени и сболтнув, что я эмигрант, навлечет на меня арест, а арест этот повел бы к выдаче меня в Россию, где меня ничего хорошего, разумеется, не ожидало. На пароходе было пропасть русских. Один инженерный полковник, услышав, что я разговариваю по-сербски с матросами, заговорил со мною по-русски. Я выдал себя за студента-этнографа, возвращающегося из Турции в Европу для окончания своих филологических занятий и для приведения в порядок своих исследований по славянской мифологии. Было уже совершенно темно, когда мы разговаривали на палубе с полковником, очень довольным, что во втором классе нашелся наконец человек, с которым можно слово сказать, а он знал только по-русски, прочие же русские — генерал Свечин с Кавказа, дочь графа Коцебу из Одессы, доктор Вагнер тоже из Одессы, какой-то помещик-меломан Криворотов и еще какие-то — ехали все в первом. Мы стояли и разговаривали, мне тоже было отрадно поговорить с русским не из простонародья.

— Mais oui! C'est vous enfin, monsieur Janni, positivement c'est votre voix!.. — раздалось за мною. Меня передернуло, — я попался.

— Taisez-vous, Alphonse, — сказал я, сжимая руку Pervilegio. — Не говорите никому, кто я и как вы меня знаете, мы в Австрии.

Альфонс поклялся всеми богами. Я рассказал ему все, что со мной было и что еду сам не знаю куда на Запад заняться филологическими науками, так как, кроме науки, у меня нет никаких интересов в жизни. Альфонс назвал меня сумасшедшим.

— Наука и литература плохо кормят, — сказал он, — а деньги — первое дело. Воротитесь в Цареград, я вам дам сейчас же место у меня в конторе в десять лир (шестьдесят рублей) в месяц; вот вам задаток, а за дорогу я плачу.

— Спасибо, Альфонс, — отвечал я, — но мне силы нет видеть этот спящий Восток, я до ненависти дохожу к нему за отсутствие в нем всякой умственной жизни. Мне наука нужна, если и она меня не спасет, я погиб окончательно. Я хочу мыслить, я хочу добиться до разрешения некоторых вопросов по мифологии, археологии и истории славянства. Я рад, что хоть это может еще занимать ум мой, и я ни за что, ни за какие блага не откажусь от науки. Путешествие мое — отчаяннейший риск, оно вам безумием кажется, но мне надо душу свою спасти, мне свежий воздух нужен, вопросов гибель у меня в уме, а на всем Востоке, от Галаца до Цареграда, мне никто на них не ответит, и никто не сумеет подметить ошибку в моих выводах. Я бегу от сна, от невежества, от застоя — бегу наудалую, очертя голову, но мне необходимо добраться до людей, которые поймут, что у меня наболело на душе, откуда я взял мои страшные отрицания, почему я дошел до моего диогенства. Мне надо высказаться, выспориться, — я нравственно болен; мой ум расстроен, сердце разбито, я слышу в себе болезнь, но не могу остановить ее развития. Я — диалектик, мыслитель, мне нужно сразиться с равными мне, а равных мне на Востоке нет. Я титанов вызываю на бой, а на Востоке одни пигмеи, да обезьяны...

Альфонс плохо меня понял, но ему жалко меня было. Карьера философа, ученого и литератора, которую я себе избрал, была ему не по сердцу, — он слыхал, что она не кормит.

— Послушайте, monsieur Janni (я знал ваше настоящее имя, только теперь не помню), тогда вот как сделайте. Воротитесь в Цареград, год-два побудьте на конторе, заработайте денег и поезжайте на Запад...

— Лучше в Дунай брошусь, под колеса парохода, — отрезал я. — Мне, Альфонс, нет другого выхода, кроме этого сумасшедшего путешествия. Я не поляк, чтоб удовольствоваться фразами, и не кабинетный человек, чтобы успокоиваться на теориях, выработанных в четырех углах. Вопросы и сомнения мои могут разрешиться только в столкновении с жизнью, а жизни на Востоке нет. Да, наконец, я — вольная птица, сам себе барин; если я и пропаду, крепко обо мне никто плакать не будет, да и мысль о гибели меня не страшит, мне терять на свете ничего не осталось. Но если уж погибать, так погибать прилично, не в Цареграде; на людях и смерть красна.

Альфонс не унялся. Он составил против меня заговор и познакомил меня с русскими из первого класса. Они очень удивлялись, как это ученый путешествует не на казенный счет, и убеждали меня послушаться Альфонса или воротиться в Россию. Я отвечал, что без диссертации не явлюсь домой, а что добиться значения славянских мифов и истории славянских богов я могу только в Вене, где пропасть славян и где всего удобней можно изучить славянские предания. Мысль остановиться именно в Вене * пришла мне только по дороге. В Галаце у меня не было никаких определенных планов.

Со мной спорили, не соглашались, но заинтересовались мной. Я назвал себя Ивановым-Желудковым: на паспорте у меня было написано

---

* Зачеркнуто: и заняться специально мифологией.

Vasilii Ivanoff, но как Иванов фамилия, не внушающая доверия к человеку в исключительном положении, потому что ее надевает на себя каждый, кто не найдется придумать себе имени повероятнее, что я замечал в Добрудже и в Молдавии над бродягами, то я прилепил к ней фамилию моей матери, которая была из Желудковых. «Иванов-Желудков» именно по странности своей обеспечивало меня от всяких подозрений, а когда в Вене, в Галичине, у словаков я рассказывал, что я по происхождению старообрядец или хлыст, и рассказывал это с мельчайшими подробностями, то сомнений в моей личности окончательно не могло возникнуть. Это расчет, вынесенный мною из трущобной жизни.

Между тем, участие, которое принял во мне Первиледжио, и его готовность помочь мне возбудили во мне мысль попросить у него в заем рублей с пятьдесят, чтобы хоть костюм сделать себе приличный. Покуда я колебался и затруднялся, капитан парохода объявил мне от имени русских пассажиров первого класса, что они просят принять меня сделанную ими для меня складчину. Положение мое вышло крайне неловкое, я отказывался, на меня наступили, потребовали, чтоб я принял деньги во имя самой науки, которой себя посвящаю, и я должен был согласиться, скрепя сердце и дав себе слово отдать впоследствии эти деньги (рублей около восьмидесяти) первым нуждающимся, что уже и сделано. Сверх этого, капитан взялся устроить для меня даровой проезд до Вены. В Пеште я расстался с русскими, пересел на другой пароход, а через неделю уже посещал лекции старославянского языка, санскрита и зенда в Венском университете, а свободное от них время проводил в императорской королевской библиотеке, изучая славянские сказки, песни, древнюю историю славянства и народные обычаи. Месяца в два мне удалось проверить мои прежние выводы и убедиться, что открытый мною метод может повести к колоссальным результатам, что есть возможность определить домашний и политический быт и верования славян в VII, VIII и IX вв., а равно и указать на связь нашу с Индией в какие-то, до сих пор неизвестные мне, времена. По крайней мере, я нашел в Ведах и в Пуранах прямые указания, что санскриты знали о нашем существовании на северо-запад от Индии и что были очень высокого мнения о нашей образованности. Затем я невольно пришел к заключению, что предания и сказания наши древнее германских и сохранились в более первобытной чистоте; что сказки, которые у нас каждый ребенок знает, суть отрывки из древней, всем индоевропейцам общей, поэмы о сотворении мира, которая даже у санскритов и греков не сохранилась в такой первобытной форме, как у нас. В связи с этими исследованиями, я занимался сравниванием славянских наречий и быта отдельных племен, что дало мне возможность разъяснить их древнюю историю и указать на происхождение каждого. Так, я имею теперь положительные данные, что мы, великоруссы, вовсе не происходим от финнов и татар, как утверждают поляки, и что в быте нашем татарщина не оставила никаких резких следов, а что, напротив того, нигде славянство не сохранилось в такой чистоте, как у нас, о чем и думаю написать серьезное исследование в ответ Духинскому [200], Мицкевичу [201], Henri Martin [202], Viquesnel [203] и прочим шарлатанам науки.

Но занятия в библиотеке и в кабинете были недостаточны. Я хорошо знал быт южных славян, болгар и сербов, а равно и соседних с ними румунов и греков. Надо было ознакомиться и с западными славянами; я начал с словаков. Коротенькая моя заметка об них, с указанием на мой метод, помещена в «Русском Вестнике» прошлого года, под названием. «Словацкие села под Пресбургом» [204]. Для таких же

исследований я предпринял трудную, а для меня даже и опасную, поездку по Австрии и начал с Галичины для изучения тамошних русских, а затем думал забраться в Угорщину, в Семиградье, Банат, Воеводину, Хорватию, Истрию, Далмацию, или же в Чехию и Моравию и потом в Саксонию и Пруссию для посещения лужицких сербов, мазуров и кашубов.

Поводы к этой поездке были такого рода. Одним из первых моих шагов в Вене было вступление в Славянский клуб (Slovanská Beseda), где каждый вечер собираются проживающие в Вене славяне, преимущественно чехи, где поляков никогда не бывает и куда русские путешественники даже и заглядывать не изволят. Там можно читать все славянские газеты, а также «Московские Ведомости», «Инвалид», «Голос», «Петербургский Листок» и т. п. Я вошел в «Беседу» смиренным студентом, познакомился кой с кем из членов, преимущественно из галицких русских, и очень не понравился им. Мои «беспристрастные» суждения о поляках и о малоруссах сильно их рассердили, так что они стали упрекать меня в украинофильстве и в полонофильстве. Я спорил, говоря, что каждая народность должна иметь права на независимое существование, развивать свой язык, жить по своим обычаям, — короче, я говорил то же самое, что проповедывала наша литература в 1862 г., когда я, с отъездом моим в Цареград, перестал следить за нею. Галичане и русские угры держались другого мнения. Русское государство, говорили они, вырабатывает язык и право, обязательные для всего славянства, а тем более для русских племен. Оно одно представляет реальную силу славянства, и как всякие швабы, фризы, тирольцы стремятся к слитию с Пруссией, создавшейся на границах германского мира, так и славяне не могут не тянуть к России, возникшей на крайнем рубеже славянства. В этом одно их спасение от ненавистного славянскому духу германизма, и потому всякое слово против расширения языка, права и границ России — измена славянству, а поляки и украинофилы — преступники против него, так как они стремятся к сепаратизму. Взгляд этот разделяли все славяне, даже и партизаны Австрии, мечтавшие о славяно-мадьярско-румынской дунайской федерации, т. е. о распадении славянского мира на две группы: на русскую и на австро-турецкую. И я не мог не признать, что доводы их верны, а как только я сделал эту уступку, так и перестали быть мне чуждыми дела человеческие: это был шаг первый. Туман стал рассеиваться, повязка спала с глаз.

Другой шаг я сделал, научившись у них глубоко уважать наше правительство и гордиться им, хотя первые уроки в этом я взял еще в Тульче у беглых и в Галаце у скопцов. Не знает наше правительство, как его любят и ценят за границей, как даже отвергаемые им люди не могут без слез говорить об нем! С каким волнением читал я в Галаце о смерти старшего сына государя; я понимал, что государь должен был почувствовать, и его горе примирило меня с ним, но потом мои собственные беды и апатия, в которую я впал, как-то затерли это впечатление. В Пеште я узнал о выстреле 4 апреля[205], он произвел на меня мрачное впечатление. Я сразу понял, что это могло быть делом какого-нибудь безумца или фанатика, а никак не партии, но я испугался за Россию, которой грозила страшная реакция. Испуг этот подействовал на меня целебно. Адресы читал я с сочувствием[206], и вдруг вместо реакции явился гласный суд[207]: славяне поздравляли меня. За гласным судом приехало американское посольство[208]; я стал бороться с собой, боясь что «снизойду» до * уважения к правитель-

* Зачеркнуто: любви.

ству. Война началась[209]; я сравнивал Петербург в Крымскую войну с Веной в эту семинедельную и понял разницу между живой и здоровой Россией и умирающей Австрией; я написал об этом в «Голос»[210].

Чем я больше читал газеты, чем ближе сходился с славянами и чем глубже вдавался в изучение славянства, тем сильней и сильней развивалось во мне примирение с жизнью:

Я сжигал все, чему поклонялся,
И склонялся пред всем, что сожег[211].

Каждые пустяки, каждая мелочь возбуждали во мне любовь к России и к нашему правительству, которое то и дело сыпало реформы за реформой. Точно праздник какой-то шел *, — не кончились еще торжества американцам, начались приготовления к свадьбе цесаревича[212]. В Вене хлопотали о собрании костюмов для выставки, меня из Москвы Попов[213] просил указать Демидову, откуда и как достать костюмы некрасовцев, и приглашал меня, как этнографа Иванова-Желудкова, побывать у кашубов, мазуров, силезцев и лужичан. Обычное право славянское стал я изучать; один дубровницкий (Ragusa) серб, Богижич[214], занимался сравнением славянских обычаев; я ему сообщил пропасть сведений о русских юридических воззрениях, и мы оба пришли к убеждению, что у нас, у великоруссов, славянское право сохранилось в первобытной чистоте, так что минорат уцелел только у нас, и т. п. Исследования наши напечатаны по-сербски в загребском (Agram) журнале «Kni evnik»[215]; они опять так заставили меня гордиться, что я русский, а в Галаце я недавно проповедывал, как немец: ubi bene ibi patria!..

Переписку, завязавшуюся у меня с Герценом тотчас по приезде в Вену, я прекратил. В последних письмах своих он очень ** негодовал на «этот несчастный выстрел», который, по его мнению, оттягивал созвание земского собора, предлагал мне довольно выгодные условия за сотрудничество в «Колоколе» и в «Полярной Звезде». Он по письмам моим заметил, что у меня слог несколько выработался, и хотел войти со мною в полемику[216]... Но уж было поздно, — блудный сын находил дом отчий. Я отказался и от сотрудничества, и от получения «Колокола», и от переписки, под предлогом опасности со стороны австрийской полиции, а в сущности для того, чтоб спокойнее обсуживать наедине возникавшие во мне чувства и мысли. С тех пор, как я остался один, я отвык делиться с людьми своими мыслями и замыслами, я весь ушел в самого себя.

В Вене же я и работать начал. Повестей своих и «Черных дум» я не послал в Россию — и мода на произведения в этом роде прошла, да и я сам не был отрицателем. Я написал на пробу «Русское село в Малой Азии» и «Словацкие села под Пресбургом». Катков отвечал, что ждет от меня еще статей. Но сношения с «Русским Вестником» были затруднительны: писаря редакции отвечали как-то бестолково, неаккуратно; я написал корреспонденцию Краевскому, мы с ним мигом сошлись; он предложил мне даже передовые статьи посылать, что я и делал; и, таким образом, имея в месяц до двухсот, а если захочу, то и до пятисот рублей дохода ***, я не только вышел из нищеты, но мог даже жить с некоторою роскошью.

* Зачеркнуто: в России.

** Зачеркнуто: жалел.

*** Эта «Исповедь» составит пятнадцать печатных листов «Русского Вестника», который меньше сорока восьми рублей серебром за лист не платит. Начал я ее 13 июня, а кончу послезавтра — 11 июля. Если б она назначалась для печати, она принесла бы мне за месяц работы почти семьсот пятьдесят рублей серебром. [Примечание Кельсиева.]

Одно меня мучило — двусмысленность моего положения. Славяне просили меня не только писать за них, но даже и хлопотать, и мне постоянно нужно было лгать и отделываться от них, что было отвратительно. С правительством я совершенно примирился и несколько раз порывался просить у государя помилованья, но меня удерживал польский вопрос. Что мне ни говорили галичане, какие ужасы они ни рассказывали про поляков, мне все как-то не верилось, потому что между эмигрантами я много наслышался о любви народа к шляхте, об участии мужиков в повстанье и никак не мог согласить их рассказов с известиями наших газет и с тем, что слышал от галичан. Если эмигранты были правы, если Польша возможна и может быть безвредна для нашего Западного края, тогда наше правительство, разумеется, неправо, и тогда примирение мое с ним было бы невозможно: нельзя же было б обманывать его насчет своего образа мнений. Долго я ломал голову над этой дилеммой, пока не решился исполнить просьбу моих приятелей галичан — объездить и описать их край. Предприятие было трудное, они сами этого не скрывали: в Австрии каждый русский, хоть бы и с турецким паспортом, принимается за правительственного агента и подстрекателя, а в Галичине и без того вся власть в польских руках, русских оттуда попросту выгоняют, а в Венгрии даже и колотят, чему я примеры знаю; наши же посланники не сходят с высоты своего величия для защиты чести русского паспорта. Мне же грозила опасность быть узнанным и выданным в Россию, но надо было уяснить себе правду о поляках и по возможности помочь галичанам изданием книги об них. Дело предстояло честное, и стыдно было бы не ходить в лес из боязни волков. Я поехал, рассчитывая пробыть до рождества в Галичине (Г а л и ц и я * в Испании, а в Австрии Г а л и ч и н а), оттуда объехать славян в Пруссии и в Саксонии, в Лейпциге напечатать мою предполагаемую книгу и, если выводы из моих наблюдений оправдают действия правительства, поднести ее государю с просьбою о забвении старого. О том, что я эмигрант, никто, разумеется, в Австрии не знал; как и в Галаце, никто не знал, куда именно я уехал, а, сверх того, я распустил слух о своей смерти в Джуджеве. Выдавал я себя за раскольника, некрасовца по происхождению, путешественника по страсти и ученого по призванию. Неприятно было морочить честных людей, но иначе ничего узнать нельзя было, да и скажи я им, что был когда-то самым деятельным из всех врагов русского правительства, они бы **, не говоря худого слова, скрутили мне руки и препроводили меня к начальству для выдачи, хоть бы следствием этой выдачи была моя казнь. Я славян хорошо знаю; они вовсе не фразу говорят, что истинных друзей нашего правительства и *** лучших русских патриотов надо между ними искать, в ущельях Татров и на берегах Адриатики. Их нет в русской службе, а они были бы в сто раз надежнее и полезнее немцев.

Итак, второй раз в жизни пришлось мне переродиться. Цареград, бывшая столица восточной Римской империи, заставила меня покинуть борьбу против правительства; Вена, бывшая столица западной Римской империи, сделала меня бойцом за него. Как одиночество в Галаце ввело меня в апатию и вынудило к отчаянному бегству в Вену, чтобы спасти себя наукой, так в той же Молдавии, ровно через год после этого бегства, такое же одиночество привело меня к возвращению в Петербург, с просьбою о дозволении мне быть полезным России.

---

* З а ч е р к н у т о: как у нас пишут.
** З а ч е р к н у т о: сейчас.
*** З а ч е р к н у т о: настоящих.

Еще сомнения были на душе, когда я очутился в Кракове. Там я прожил день, мне хотелось взглянуть на этот город, и я пошел осматривать древние костелы. В соборе, где венчались на царство короли, я просидел часа с два; тени прошлого Польши мелькали передо мною. Самозванец и Марина, Скарга и Потей, Баторий и Понятовский[217] бывали здесь, — неужели же Польша в самом деле умерла? Что-то торжественное было на душе, как-то невольно закрадывалось в душу благоговение к этой, некогда блестящей, цивилизации, совестно становилось думать, что она так же пала, как Египет, Ассирия, Рим... Я выходил из собора...

— A pan nie chce popatrzyc sklep? — обозвал меня сторож.

— Pokaz, — отвечал я машинально, весь погруженный в думы. Он зажег свечку, поднял люк, и мы спустились. У стены стояла гробница, и на ней крупными буквами было высечено одно слово, — это слово было Kościuszko.

У меня колена вздрогнули, сердце похолодело, — я этого не ожидал. Я опустился на помост перед гробницей и зарыдал, как женщина: «Костюшко, Костюшко! Что, если и ты так же был неправ, как я в былое время? Что, если ты понапрасну рисковал собой и другими? Если и ты верил в возможность невозможного? Я должен буду итти против твоих, если уверюсь в эту поездку, что они неправы и что идеалы, за которые они лучшую кровь свою льют, неосуществимы! Ты был честный человек, ты поймешь меня, и ты сам благословишь меня на честное дело!..» И я почувствовал, выходя из собора, что у меня камень свалился с совести. Мне стало легко добиваться страшной правды.

Путешествие мое почти все напечатано в «Голосе»[218], остается,



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ» НА РОМАН А. Ф. ПИСЕМСКОГО «ВЗБАЛАМУЧЕННОЕ МОРЕ»

Главы XVI—XIX шестой части романа посвящены сношениям его героя Бакланова с лондонскими эмигрантами

может, прибавить листа с три печатных, чтобы издать его отдельною книгой, — из него видно, к чему я пришел. Здесь же следует только рассказать, как и за что граф Голуховский [219] счел меня русским агентом и выпроводил меня в Молдавию, а польские газеты сбились с толку в предположениях на мой счет.

В Галичине заведен порядок, что на Краковской и на Львовской станции железной дороги у незнакомых полиции личностей спрашивают паспорта. Голуховский сделал распоряжение, чтобы сельские войты (старосты) задерживали всех сомнительных людей и представляли их в станы (Bezirksamt). Распоряжения эти вынуждены были жалобами нашего правительства, что Галичина становится притоном эмигрантов и агитаторов. Надо было успокоить нас и не вводить в хлопоты Вену; надо было сделать вид, что в Галичине все тихо, прилично, что сами польские администраторы не только не покровительствуют эмигрантам, но даже выдают их России. Приведенными мерами эта цель вполне достигается, и комедия разыгрывается к общему удовольствию и русских, и немцев, и поляков. Беспаспортных или запасшихся неправильными паспортами эмигрантов из простонародья, дезертиров, канцелярских служителей и прочую мелкую пешку хватают, арестуют и выдают. Ее никому не жалко, потому что она вечно служит орудием, и убыли в ней никогда не будет. Теперь восстания нет и не предвидится даже, рядовой бесполезен. Он за одно обречен на гибель, — не загородил собою русские штыки от предводителей восстания, то пусть снесет за их спокойствие каторгу или ссылку, служа декорацией их закулисной работе. Все политические партии вынуждены приносить такие гекатомбы правосудию, которое и удовлетворяется обыкновенно этим bydlem, принимая его за настоящих деятелей. С них снимают показания, удивляются их необыкновенным похождениям и изуверству *: сведения их о главных деятелях, собранные ими понаслышке, так как их никогда не посвящают в тайны, принимаются за чистую монету; следственные комиссии составляют отчеты, публицисты делают выводы, публика обморочена, внимание ее отведено в сторону, а настоящая интрига ведется своим чередом под шумок неведомо где, кем и для чего. И все это без особых усилий и ухищрений, одной выдачей властям всех недостаточно ловких, чтоб отвертеться от них, а кто не умеет отвертеться, тот значит не способен и, стало-быть, не стоит сожаления. Пускай хоть раскаивается он под арестом, — ведь, он все равно ничего серьезного не может показать, и чем искренней будет его покаяние, тем больше он отведет глаза правительству, сам искренно принимая за деятелей людей, которые даже и доверием не пользуются.

Чарторыйский, Мерославский, Босав, Лангевич [220] и прочие вожаки никогда не будут выданы, потому что они сумеют не навлечь на себя подозрения полиции, а если и попадутся ей какими-нибудь судьбами, — на грех мастера нет, — то или проведут ее, или замнут дело при помощи разных влиятельных лиц. Как же правды добиваться? — спросят меня, и как узнать, что затевают поляки? На это, отвечу я, надо, во-первых, чтоб у правительства было побольше друзей, а во-вторых, поменьше врагов, — иначе оно опять сядет в такой же просак, как в 1862 г. Все в его руках, все оно может сделать, была бы только охота да ловкие агенты; в противном случае, поляки устроят ему нечто похуже повстанья.

В Кракове меня на станции остановил полицейский комиссар и потребовал у меня паспорт. Я отдал; он велел мне зайти к нему в

---

* Зачеркнуто: рассказы.

контору, куда я и явился, когда разошлась публика, спрятав, разумеется, рекомендательные письма в такое место, где их нашли бы не ранее, как года через два, через три, если б даже и нашли. Узнав, что я намерен пробыть в Кракове сутки, комиссар дал мне карточку и велел явиться в полицию за паспортом. В полиции, после тысячи извинений, спросили, кто я, откуда, зачем, женат, холост, на чей счет еду, где родился, где живу, где бывал и пр. и пр., так что составился обо мне огромнейший протокол. Мне отдали паспорт и сказали, что препятствий к моему путешествию по Галичине быть не может.

В Перемышле меня не тревожили. Во Львове пригласили в полицию только через две недели по приезде и сделали тот же допрос, с тем же разрешением ездить, где хочу, для археологических исследований, что я исполнил.

В конце октября я отправился в Карпаты, — мне хотелось видеть очень любопытное русское племя гуцулов, которое по своему типу, костюму и по образу жизни так разнится от всех прочих русских племен, что заслуживает особенного изучения. До сих пор никто еще не описал этих загадочных «руснаков», а изучение их пролило бы много света на историю Восточной Европы во II и III вв. по Р. Х. Мне очень хотелось собрать их предания и поверья. В Коломые также паспорта не спросили, и я поехал в местечко Печенежин, при подошве Карпатов, куда у меня было рекомендательное письмо к священнику Петрушевичу, брату знаменитого историка[221], и тоже ученому. Он не пустил меня ехать далее в тот день, заставил ночевать у себя, что и мне и ему наделало пропасть неприятностей впоследствии, и отпустил в горы на другой день только после обеда, дав мне письмо к священнику в одном селе, часах в четырех от Печенежина. Дорога была худа, ночь захватила нас в горах, и извозчик мой объявил, что надо будет заночевать у попадьи села Акрешоры. Я отказался, — муж ее недели две тому умер, и неловко было проситься на ночлег в незнакомый дом, да еще в такое время. В корчму не пустили, я заехал к одному мужику. Утром явился войт и потребовал паспорт. Паспорт написан был по-французски, в селе прочесть никто не мог. Попадья, к которой он обратился, объявила его французским... «Як же вы, пане, кажете що вы сте з Туретчины, а пашпорт ваш хранцузской? — усомнился пан войт. — Та, чего же вы, пане, хочете ту, в наших горах, чого вы сте приехали до нас?»

Что было отвечать безграмотному властелину гор? Я стал толковать о костюмах, о древностях, он не поверил: «Як же то бути може, щоб вы с такого далека только попатрити (посмотреть) на нас ехали?» — и решил, что пошлет за жандармами. Жандармы явились, начались те же допросы, то же непонимание научных интересов, и наконец решили осмотреть мои вещи. Ящик с фотографическим аппаратом привел их в ужас, бинокль тоже. «Дивитесь! Дивитесь, добры люди! — кричали они в ужасе, — та пан е инжинир, наши горы мерити и описувати приехал! От и машина инжинирска! От и труба, котра за двадцать миль все покаже! Та вы, пане, шпег (шпион)! Ой, повесят же вас, пане! повесят!». Все были бледны, бабы чуть не плакали, мужики готовы были исколотить меня на закуску перед петлей. Надо было все присутствие духа, чтоб сдерживать ошеломленную толпу. Войт и жандармы были в восторге, что поймали такого необыкновенного преступника, и с рвением рассматривали мои книги, рукописи, перья, чернильницу, конверты, зубочистку, гребень, белье, платье; в горах было чрезвычайно любопытно видеть все эти диковины, даже употребления которых они не могли объяснить. А без жандармов мне плохо бы пришлось, и я поблагодарил бога, что в Австрии в каждой

волости они есть, — с солдатом все лучше дело иметь, чем с мужиками. Решено было представить меня в стан, и я покатил с гор, везя с собой двух жандармов, штыки которых великолепно блистали на солнце.

Становой (Bezirksvorsteher) растерялся и начал тоже пересматривать мои бумаги, книги и вещи; операция продолжалась часа с два. Затем начался протокол, составлявшийся часа четыре.

На каждую старуху бывает проруха. Собирая материалы для моей книги о Галичине, я набрал много русских стихотворений против поляков и, как на грех, одно из них, на польском языке, написано было против Голуховского, и становой приложил его к делу, — ему нужно было отличиться. Шестьсот гульденов жалованья человеку, у которого шесть дочерей и который вдобавок немец, хоть кого заставят кланяться. Весь мой протокол составил он в польском духе: галицкие и сербские книги напечатаны стали у него «московитскими буквами», и на это обстоятельство он налег очень усердно, равно как и на письма и на рукописи на «московитском» языке неизвестного содержания. Точно так же пачка конвертов, перья, бумага, краски, фотографический аппарат получили под его пером какое-то мрачное значение, и порадовался я не на шутку, что со мной не было ни револьвера, ни стилета. Это было бы уже явной уликой моей злоумышленности. Загладив таким образом вину своего немецкого происхождения перед Голуховским, он стал снимать с меня показание, кто я, где родился, женился и т. д. Я показал то же, что в Кракове и во Львове.

Я — некрасовец, родился в Петербурге, учился у домашних учителей, посещал петербургский университет, поехал за границу во время войны, потому что не хотел делаться русским подданным, воротился в Россию после Парижского мира, женился, опять поехал путешествовать, бывал в Англии и во Франции, Турцию посетил, в Добрудже жил, овдовел, поехал в Вену, изучаю археологию в Галичине.

— Да какая ж тут археология? — допытывался Етмар. — Археологию изучают в Италии, в Шварцвальде, а не у нас...

Пришлось объяснить, почему галицкие древности важны для истории восточной церкви и для определения древнего быта славян.

— На чей счет вы ездите?

— На свой собственный.

— Где ваше состояние?

— В Петербурге, в акциях и в государственных бумагах.

— Где эти бумаги?

— Не возить же их с собой; они у моего поверенного, у одного купца, который ведет мои дела и высылает мне нужные суммы по востребованию.

— Как зовут его?

— Андрей Александрович Краевский, живет на Литейной, в собственном доме, за номером 38.

— Велико ли у вас состояние?

— Сто тысяч рублей серебром..., — брякнул я.

— Mein Gott! Mein Gott! — бедный Етмар только руками всплеснул.

Протокол кончился. С величайшими извинениями и с сожалениями препроводили меня к канцелярскому сторожу, у которого я поместился в квартире. Етмар охал, пенял, зачем я, ночуя в Печенежине, не прописал у него паспорта, что предотвратило бы все беспокойства и четырехчасовое составление моего протокола, а равно и поездку его завтра в Коломыю. Вина в непрописке была собственно не моя, а гостеприимного священника Петрушевича, но дело было сделано, скан-

дал арестования моего был так велик, что Етмар не вправе был не задержать меня unter Aufsicht, а не unter Arrest, как он утешал меня.

Насчет Краевского и мнимого капитала у меня был расчет довольно верный. Я писал ему, с какими трудностями сопряжена моя поездка и что ареста мне не миновать ни в каком случае. Весть об этом аресте, рассчитывал я, хорошо зная польские и немецкие нравы, не может не дойти до него через газеты прежде, чем ему сделают запрос, потому что дело пойдет через множество инстанций. Вины за мной нет, пропаганды я в Австрии не делал, стало-быть задержание мое будет непродолжительно и нестрого. Время, во всяком случае, я выиграю, а это даст мне возможность черкнуть две строки в Петербург или бежать. Если ж бы ни то, ни другое не удалось, и меня выдали бы головою в Россию, с которой я тогда уже вполне примирился, так как хорошо изучил поляков, я бы в этом же III Отделении написал бы, не задумываясь, такую же полную и чистосердечную исповедь, а затем судьбу свою предоставил бы на волю божию, стараясь уходить себя чем-нибудь, чтоб не мучиться понапрасну в каторге или не умирать со скуки в ссылке.

На другой же день местные власти стали мне делать визиты с оправданиями и соболезнованиями. Мои сто тысяч рублей серебром подействовали так на них, что захоти я поручить любому из них бросить письмо на почту, он бы за счастье почел оказать мне эту услугу. А Етмара в Коломые распушили за неполноту показания, заставили его допросить войта, жандармов, мужиков, у меня узнать, какое именно ехидство разумею я под коварным названием филологии и археологии и еще какой-то подобный вздор. Дело же обо мне было немедленно отправлено Голуховскому. На четвертый день пришло телеграфическое предписание из Львова выслать меня из Австрии, как человека, путешествующего без определенной цели (ohne Zweck) и без визированного паспорта. Высылку эту произвести на мой собственный счет и непременно через Синёвцы (Mihaleni) в Молдавию. Как я после узнал, уже в Яссах, меня во Львове сочли за русского агента, умышленно снабженного турецким паспортом, чтобы отвести глаза полякам; а выслали меня именно в Молдавию и именно на мой счет в пику русскому правительству. Я принял это решение с радостью, хотя и показал себя недовольным, обещал возвратиться в Печенежин по разъяснении дела, — что, если буду помилован, и исполню, — и отправился в Коломыю, unter Aufsicht (doch nicht unter Arrest) того же канцелярского сторожа.

Ohne Zweck und ohne Visa! — это была вопиющая несправедливость. По какому праву ученую поездку считать бесцельною? Да, наконец, разве допускает австрийское законодательство воспрещение путешествия для собственного удовольствия, без всякой определенной цели? Разве Австрия замкнута для иностранцев, как Китай? Я должен был молчать, потому что протест мой мог или погубить меня, или, что еще хуже, оправдать Голуховского, но зачем же посольство наше в Вене не настоит, чтобы русским можно было ohne Zweck путешествовать по Австрии? Преследование русских — оскорбление нашему правительству и всему народу; неуважение к русскому паспорту австрийских властей — неуважение к выдающим этот паспорт.

Наше правительство слишком скромно и уступчиво, оттого с ним и не церемонятся.

Ohne Visa — даже нелепость. Я приехал в Австрию с визированным паспортом, но как ему вышел срок, то я переменил его в турецком посольстве, и, разумеется, мой новый паспорт не мог быть визирован: в Австрии австрийских консулов не водится. В посольстве мне

сказали, что его нигде не нужно прописывать, то же я слышал в краковской и в львовской полиции, стало-быть, что же приходится думать о галицких порядках и о польских администраторах?

Денег у меня было очень мало. Я ждал высылки из редакции, когда меня арестовали, и принужден был продать в Коломые часы, а в Чернӧвцах шубу на поездку и на содержание себя с провожатыми сторожами. В Чернӧвцах начальник полиции пришел в негодование, что меня везут на мой счет, спросил у моего провожатого, не * готтентоты ли управляют Галичиной, и отправил меня на обывательских. В первой же волости пришлось заночевать, потому что обывательских как-то налицо не было. Ночевать пришлось в сенях арестантской, — пьяный войт перевел меня ночью в арестантскую, где я и проспал на одних нарах с каким-то конокрадом и в компании крыс. Это побудило меня ехать всю дорогу на свой счет, во избежание ненужных остановок, и таким образом я добрался до Синёвец. Там подивились моей истории, пожалели меня и пропустили в Молдавию, где я уж был и в безопасности и почти дома. 7 ноября 1866 г. я приехал в Яссы, где и прожил безвыездно до самого возвращения в Россию, 19 мая, когда я с полной воли перешел unter Arrest.

Целую зиму обдумывал я этот шаг и только по зрелом размышлении решился сделать его.

Невольное переселение в Яссы меня радовало отчасти. Была зима, время неудобное для этнографических поездок; все равно нужно было где-нибудь дожидаться весны и заняться приведением в порядок массы накопившихся сведений и наблюдений. Кроме того, и сама Молдавия имела для меня интерес в научном и в политическом отношении. Изучение ее этнографии и древностей необходимо для пояснения многих темных вопросов в истории славянства, а соседство ее с Россией возлагает на нас обязанность следить за ее общественным настроением: к нам она тянет, к Франции или к Австрии. Тишина и непривлекательность ясской жизни, казалось, гарантировали мне успешное окончание моего «Путешествия по Галичине» и опровержения учений Духинского, имеющих такое колоссальное влияние на действия против нас поляков и на отношения к нам Западной Европы. Вступить в борьбу с ним я чувствовал себя в силах, благодаря моему близкому знакомству с славянским бытом, языками, преданиями, летописями, а также и знанию восточных языков и цивилизаций, сект, вер, физического отличия урало-алтайского племени от индо-европейского и т. д. Ответ мой я издал бы, как и «Путешествие по Галичине», на русском, польском и французском языках. «Путешествие» нанесло бы удар польской практике, «Ответ» — их теориям, а как то и другое вышло бы из-под пера человека, хорошо им известного и пользующегося их уважением, то и не преминуло бы произвести на них должное ** впечатление.

Усердно принялся я за работу, но работа шла плохо, перо валилось из рук, мысли и слова не клеились, — тяжелые думы засели в уме моем и так завладели им, что писать не стало возможности...

Прав ли я, честно ли я поступаю, что остаюсь эмигрантом безо всякого повода, когда мои убеждения ни на волос не расходятся с правительственными? Имею ли я право писать под чужим именем и ослаблять тем самым значение всего, что я пишу, когда открытое, гласное заявление моего обращения придало бы *** вес защищаемому мною русскому делу?

---

* Зачеркнуто: вандалы.
** Зачеркнуто: влияние.
*** Зачеркнуто: серьёзный.

Опальный, я могу писать только намеками, недомолвками, я должен прятаться за свои строки, я не смею сказать всей правды, чтобы не изобличить себя, а сказать можно и должно многое. Простой рассказ о моих прежних крамольных делах многих направит на путь, многих спасет от увлечений и ошибок, а богатый запас сведений и опыт, вынесенные мною из моей скитальческой жизни, сделавшись достоянием всего читающего мира, разве не послужат к общему благу русских да и тех же самых поляков? Я, некогда один из светочей и надежд этой оппозиционной молодежи, деятельнейший и отважнейший из русских эмигрантов, разве не отрезвлю я моих товарищей и поклонников открытым обличением наших утопий? Не страх, не личная выгода, не * нужда привела меня к отречению от моей прошлой жизни: лета, опыт, наука обратили меня, и мне одинаково знакомы доводы как правительственной партии, так и революционной. Кто ж из русских публицистов может сравняться со мной в борьбе с утопистами и с поляками? Кто из них знает этот мир не понаслышке, не по догадкам, не по натянутым выводам из арестантских показаний? У кого из них есть инстинкт отличать возможные заговоры от невозможных, исполнимые предприятия от неисполнимых? Выступление мое в битву под моим собственным именем, без необходимости умалчивать и скрывать подробности дела, принесло бы неоспоримую пользу и правительству и обществу.

Мало этого. Самый факт моего покаяния и обращения нанес бы чувствительный удар нашим. Вздрогнули старообрядцы при вести о переходе в православие моего друга, владыки Пафнутия, вздрогнут и издатели «Колокола», нигилисты, революционеры, поляки от моего возвращения в лоно исторической русской жизни. Пример Пафнутия нашел подражателей, мой не замедлит их вызвать. Пафнутий и я, мы — страшные противники наших бывших друзей и учителей, мы силы их знаем, их приемы, и мышцы наши приучены владеть их оружием. В клубах, в гостиных, на публичных чтениях мог бы я вести борьбу; студенческие квартиры не замкнулись бы передо мною, и ни одно «тайное» общество не сложилось бы втайне от меня. Год-два жизни в Петербурге и в Москве помогли бы мне создать кружок ловких бойцов против утопий, я передал бы им свои приемы, опыт, инстинкт и застраховал бы общество от новых увлечений и ошибок созданием в нем же самом поколения людей, знающих дело и умеющих пользоваться этим знанием для ** блага России.

По славянским и по румынским делам могу я быть полезен: частный человек может сделать много такого, что невозможно дипломату или вообще официальному лицу; но опять-таки, чтобы и на этом поприще служить России, необходимо быть в мире с правительством и пользоваться некоторым его доверием. У эмигранта же руки на все хорошее связаны, — кто войдет в серьезные переговоры с изгнанником?

Ясно было, что ни долг, ни честь не позволяют вести прежнюю жизнь, что надо во что бы [то] ни стало выйти из фальшивого положения, но как это сделать? И начались для меня новые мучения, отбившие меня от работы, от еды и от сна, доведшие до сильного раздражения нервов и чуть-чуть не до нервной горячки.

Как сделать? Как добиться, чтобы на меня посмотрели иначе, чтобы забыли мое прошлое, оправдать или извинить которое могу только тем, что не был связан присягою государю?

---

* Зачеркнуто: бедность.
** Зачеркнуто: внутреннего.

Писание у меня не шло, как я себя ни принуждал. Статьи мои выходили бледны, вялы, перо не двигалось по бумаге, — меня давила мысль, что мне нельзя всего высказать, как бы хотелось, потому что я — псевдоним. Страх преследовал меня, что, узнай как-нибудь правительство, кто такой так горячо пишет за галичан, галицкое дело потеряет его доверие; достаточно моего участия, чтобы скомпрометировать в его глазах самое благое начинание. Ложь для меня невыносима.

Как сделать?

Обыкновенно люди в моем положении входят в переговоры с правительством и выторговывают у него прощение. Это, пожалуй, самый благоразумный путь, но он был мне не по душе. Русские так не делают, конституции противны нашей натуре, — у нас или все, или ничего, мы середины не любим. Да и совестно было итти на переговоры с государем, к которому я со дня на день сильней и сильней привязывался. То он в маскараде для кандиотов участвует, и греки мне на шею бросаются за то только, что я его «подданный» (а мне это, как нож по сердцу: я стыжусь признаться им, что я в опале). То читаю в газетах, как его в театрах приветствуют, как он участвовал в бале на Неве; наконец, когда опять настала весна и когда опять птицы потянулись вереницами и стали звать меня за собой на север, он славян принимает!.. Терпения у меня не ставало: весело за Россию было, а за себя тоска грызла. Да и что выхлопотал бы я переговорами? Точно так же нужно бы было написать исповедь и отправиться затем в моральную каторгу ссылки, в физическую — сибирских заводов, что, в сущности, сводится на одно и то же, так что даже сказать трудно, которая легче. Сверх того, ни частные, ни правительственные лица никогда не могут ни уважать виновного, примирившегося с ними на условиях, ни питать доверия к нему. Худой мир лучше доброй ссоры, говорит пословица, но я, по несчастию, принадлежу к тому разряду широких натур, которые не любят ни давать, ни принимать наполовину. Полупрощение, полудоверие, полунаказание для меня * хуже открытой опалы, а именно такое-то двусмысленное положение и ожидало меня, если б я стал переписываться из-за границы и извиняться наполовину. Стало-быть, оставалось одно: повести дело начистоту, сдаться безусловно на суд и на милость. По крайней мере, тогда был бы один конец, правительство не могло бы заподозрить в неискренности человека, отдавшего ему в залог самую свою свободу. Или пан или пропал, смелым бог владеет.

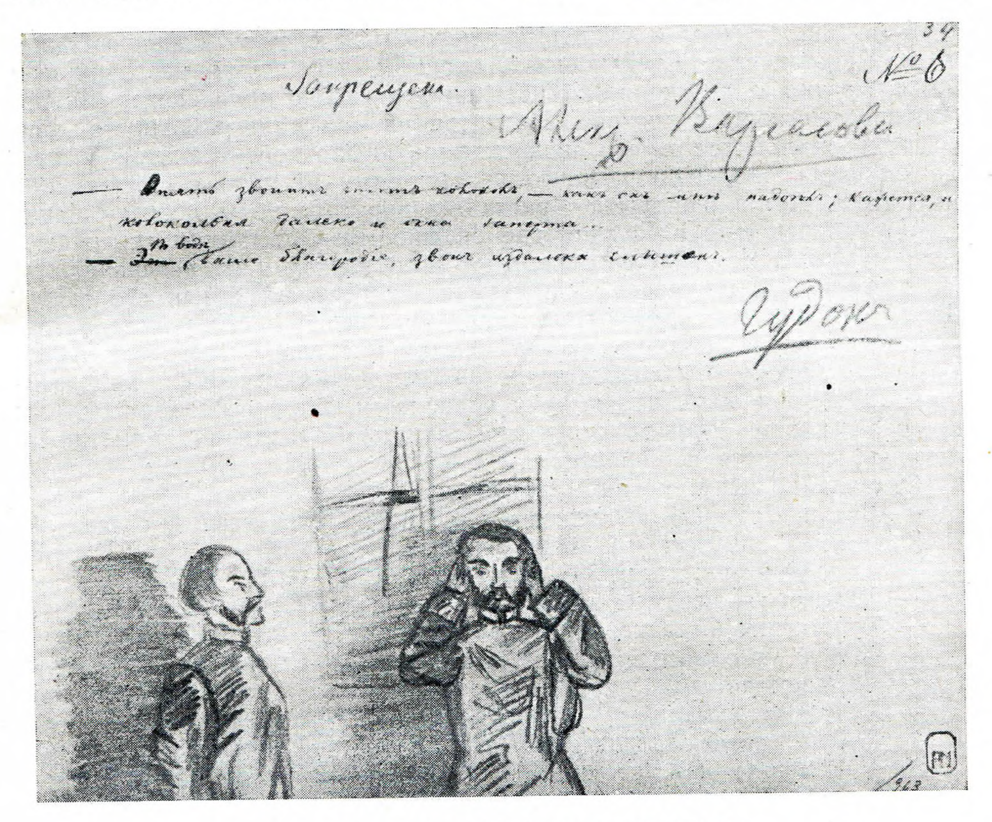
Лет шесть тому назад Погодин предсказывал **, что рано или поздно Герцен, как настоящий русский человек, явится с повинной. Так все русские бродяги и преступники делают, писал он, погуляют, пошалят, да вдруг ни с того, ни с сего явятся к становому и бухнут ему в ноги. Тогда я смеялся над этим, а теперь пришлось не на шутку обдумывать, как и куда понести свою повинную голову.

Первый план мой был следующий. Поеду в Россию, проживу неделю-другую в Москве, осмотрю этнографическую выставку, которая меня сильно интересовала, как специалиста, и поеду в Петербург. В Петербурге подкараулю государя где-нибудь на прогулке и всенародно бухну ему в ноги, называя себя и прося помилования; или же, если его почему-нибудь не будет в Петербурге, явлюсь к шефу жандармов и попрошу арестовать меня. Этот способ очень мне нравился, потому что мне хотелось как можно торжественней заявить государю

---

* Зачеркнуто: немыслимо.
** Зачеркнуто: Герцену.

моé глубокое уважение и мою искреннюю к нему привязанность, но, к несчастью, он не выдерживал критики. Уже самый въезд в Россию с молдавским или турецким паспортом прибавил бы новую вину к моим старым, и вину тем более тяжелую, что именно в последние четыре года я ни в чем не провинился. Сверх того, самая эффектность такого поступка, театральность приема, заставила бы и правительство и всех честных людей принять меня за шарлатана, рассчитывающего на производимые им впечатления. Упасть к ногам государя на улице очень можно, но никак не обдуманно, как можно упасть в обморок,



РУССКИЕ ОТКЛИКИ НА ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

Карикатура неизвестного художника для «Гудка», запрещенная цензурой

Русский музей, Ленинград

заплакать и т. п. Словом, и этот способ не годился, потому что был мошенническим.

Как я ни вертел, чего ни придумывал, осталось одно и самое простое: явиться в ближайшую таможню и объявить свое имя.

Но решиться на это было трудно. Всю зиму я не мог собраться с духом, думал, передумывал, старался даже заглушить в себе эти мысли, разубедить себя в необходимости возвращения и ничего не мог сделать с своей совестью. Ни чтение, ни занятия, ни общество — ничто не помогало. Нужно было посоветоваться с кем-нибудь, — может-быть, постороннему будет яснее, что мне делать. 12 мая, в субботу, я пошел к русскому консулу, Петру Викентьевичу Корчевскому. Он удивился моему визиту, выслушал меня и, одобрив мое намерение воротиться в Россию, сказал мне, чтобы я написал ему письмо об этом, которое он и препроводит в министерство иностранных дел; о безу-

словной сдаче, которая меня самого страшила, я ему не заикнулся. Мы условились, что письмо это я принесу ему в середу, 16 мая.

Не хитрое дело, кажется, написать письмо, но я даже за перо взяться не мог. Сомнения и колебания еще сильнее пошли после разговора с ним. Переписка бы завязалась, дело бы затянулось, и как еще примут в Петербурге... Всю середу я пролежал на боку; даже сходить извиниться в своей неаккуратности не мог, даже физически и нравственно обессилел.

Четверг прошел точно в таком же отупении; я даже не помню, что я делал и где был в четверг.

В пятницу утром я пошел посоветоваться с моим большим приятелем, Константином Степановым *, скопцом, городским извозчиком в Яссах. Крепко я люблю этого истинно религиозного человека, безукоризненно честного и чистого. Несмотря на его малограмотность, както легко становится в его присутствии; сердечной теплотой дышит его каждое слово, и он резко отличается этим от прочих поклонников искупителя Петра Федорыча Христа — анпиратора. Мы познакомились и подружились еще в Галаце, где он мне много сообщил сведений о своей секте. В Яссах то у меня, то у него изучал я их верования, за что должен был сообщать ему, что делает государь и как его любит народ. Он горд государем, горд успехами России в его царствование, горд, что славяне, заходившие при нем ко мне, так благоговели перед Россией, — короче, мы с ним сошлись на общих глубоких привязанностях. Он один знал, что я хочу воротиться, но я не заводил с ним разговора, каким образом хочу это сделать. В пятницу Константин Степаныч стал мне необходим.

Он мыл коляску, когда я вошел во двор.

— Вот в Скуляны собираюсь, одного боярина везу, — сказал он.

Я воскрес: энергия моя возвратилась.

— А далеко до Скулян? — спросил я.

— Недалече — верст с двадцать.

— Константин Степанович, я с вами поеду на козлах.

— Что ж, мне веселей будет сидеть. Посмотреть, что ли, хотите на русскую землю?

— Хочу сдаться...

— Доброе дело сделаете, бог вас за это не оставит...

Но тут я вспомнил, что нельзя же выезжать из Ясс, не покончив всяких счетов и прочих мелочей. Скопец ехал сейчас же и не мог меня ждать; мы условились совершить поездку на другой день, в субботу.

Точно камень у меня с сердца свалился. Легко, весело, в отличнейшем расположении духа провел я день, улаживая дела, не объясняя, впрочем, никому, что я затеваю, и ни с кем не прощаясь, во избежание лишних сцен, которых вообще не могу терпеть. Намекал только, что через несколько дней еду в Париж на выставку и что жду покуда кое-каких писем, которые меня одни и задерживают.

Утром в субботу, 19 мая, я проснулся совершенно довольный, что наконец покончил с своими колебаниями, взял с собой «Сравнительную грамматику славянских наречий» Миклошича, изучение которой сократило бы время моего заключения, два платка, две пары носок, два ковра, годные заменить постель в тюрьме, а все остальное — чемодан, платье и т. п. — оставил на попечение моего камердинера, честного и преданного мне молдавана, позволив ему распорядиться этим хламом

---

* Настоящее его имя в моей записной книжке; редкий русский живет в Молдавии под своим именем, а он за веру бежал. [Примечание Кельсиева.]

по усмотрению, если через три месяца не получит обо мне известий. Брать платье и белье с собой я считал лишним, предполагая, по моему незнанию внутренних порядков России, что меня немедленно закуют и облачат в арестантское платье, — стало-быть нечего понапрасну отдавать свой гардероб на съедение моли и сырости. Димитраки сбережет его лучше; если я буду помилован, он привезет его в Петербург; если придется погибнуть, пусть он в нем щеголяет. Я был доволен его службой, и не грешно сделать маленький подарок честному парню.

Напился я чаю у скопца, закусили мы на дорогу, помолились; я стал на колени, он благословил меня образом Николая-чудотворца, обнялись, поцеловались и отправились. Из Ясс я вышел пешком, как гуляющий, чтобы не спросили паспорта, — дорога вела на Скуляны, а паспорт мой не был визирован в нашем консульстве, в которое я так и не заходил с середы.

Через час езды Константин Степаныч указал мне серенькую полосу земли на горизонте: «Россия!». Мы оба перекрестились, стало еще светлей на душе. Мне вспомнилась ночь, когда я уходил из Вержболова в Эйдкунен и думал, когда-то судьба приведет опять увидеть землю русскую.

Скоро и Скуляны показались. Я вошел к караульному офицеру и показал мой паспорт.

— Но вас не пустят в Россию без визы, — сказал он.

— С стороны молдавского закона нет препятствий? — спросил я.

— О нет, мы — свободный народ, но в Россию вас не пустят...

— Если только за этим дело стоит, то пустят. Мне всего часов на шесть нужно, у меня там приятели есть...

— Извольте, я подпишу, — и он сделал какую-то надпись.

Я выпил рюмку водки для храбрости, обнялся с Константином Степанычем, поручив ему сообщить консулу о моем поступке, и стал на паром. Через две минуты я уже был на русской стороне Прута.

— Пас! паспорт! — сказал мне досмотрщик. — Нельзя, извольте назад, визы нет.

— Знаю, что нет, господин офицер, — я совершенно сбился при виде пальто и кепи с кокардой, — но управляющий таможней — мой хороший знакомый, дайте мне написать ему несколько слов, и он меня пустит.

— Нельзя-с, у нас закон.

— Да полноте, офицер, я тут же подожду.

Польстила ему, должно-быть, моя ошибка, но он позволил, и меня провели в какую-то канцелярию, где сидел другой досмотрщик. Я махнул, по обещанию, платком скопцу, думая, что все кончено. На клочке бумаги я написал управляющему таможней:

Милостивый государь,
Сергей Григорьевич,

Неосужденный государственный преступник Василий Иванов Кельсиев сдается в руки правительства и просит вас принять меры к его арестованию.

В. К.

Затем я отдал эту записку солдату и принялся за только что вчера полученные номера «Голоса». Дело было сделано, и я был спокоен как нельзя более. Тысячу раз я замечал, что с первым решительным шагом колебания и беспокойства исчезают и заменяются каким-то даже довольством.

Прошло с полчаса, пока вернулся солдат, схватил мои вещи и пригласил меня на паром. Он не посмел сказать управляющему, что

я в России, и мне пришлось переправиться опять в Молдавию, чтобы не выдать его перед его начальством. Нечего было делать, я воротился на молдавский берег и стал дожидать управляющего; но молдавский сержант потребовал, чтобы я шел опять в караульню.

— Я говорил, что вас не пустят, — начал офицер, — вы мне не поверили; поезжайте в Яссы: здесь вы ничего не дождетесь, да и ждать нельзя...

— Сейчас пустят, господин офицер; солдат, которого я послал с запиской, перепутал дело. Дайте мне подождать с четверть часа, и если мне откажут, чего я не могу даже представить себе, то я сам сообщу вам об этом.

Офицер согласился, и я опять стал у парома с моим скопцом. С русского берега спустился штатский и военный. Я немедленно переправился к ним.

— Вы писали ко мне записку? — спросил штатский.

— Я — и покорнейше прошу арестовать меня.

— Да в чем же вы себя обвиняете?..

— Эмигрант, политический преступник, у меня пропасть вин.

— Странно. Что ж вас побуждает сдаться?

— Раскаяние и желание загладить прошлое.

— Что же тут делать? — спросил себя вслух военный, становой пристав Папандопуло.

Им обоим было крайне неловко.

— Исполняйте долг ваш — зовите кузнеца... — отвечал я, вполне уверенный, что меня ждут кандалы.

— О нет! Зачем же! Странно. Но если вы приняли такое прекрасное решение, с которым вас только поздравить можно, то пожалуйте...

На горе стояла бричка. Я еще раз махнул платком моему другу; и мы покатили в таможню. Там я продиктовал одно показание, в стану — другое, поподробнее. Позвали двух понятых из крестьян, обыскали меня, отобрали карманный нож, ножницы для ногтей и спички, затем становой, голова, калараш (род сторожа) и я — мы покатили в Бельцы к исправнику. Нечего и говорить, что со мной обошлись, как я и не ожидал, — гуманно, мягко, дружески, стараясь успокоить меня. В Бельцах исправник Леонарди оставил меня в собственной квартире, — было поздно ехать в Кишинев. Со всех сторон сыпались приветствия и обнадеживания.

Но я не в силах был ехать на другой день. Моральное потрясение высказалось бессонной ночью и сильной нервической дрожью, — я насилу мог говорить... К вечеру, впрочем, все прошло, и в понедельник утром я отправился под конвоем канцелярского Малкоча и пожарного солдата в Кишинев.

Приехали мы часов в одиннадцать ночи прямо к губернатору г. Антоновичу. Он тоже обошелся со мной приветливо, расспросил вкратце о моем прошлом и о поводах к возвращению и обещал завтра же писать в Одессу. Я пришел в ужас.

— Так вы не завтра же отправите меня в Петербург?

— Без предписания [генерал] губернатора я ничего не могу сделать.

— Но вы можете же телеграфировать в III Отделение?

— Не могу... — он удивлялся моему неведению русских порядков и удивлялся различию их от турецких.

— Но неужели же дело пойдет по инстанциям? Тогда мне придется загоститься в Кишиневе, а мне хотелось бы скорей в III Отделение; я именно на то и рассчитывал, что там мое дело пойдет без проволочек и что там его всего лучше поймут...

— Ничего нельзя мне без генерал-губернатора. Мне жалко вас от души, тем более, что не знаю даже, куда деть вас на время...

— В острог, куда же больше! Только сделайте мне снисхождение, генерал, позвольте написать письмо графу Шувалову, чтобы он не оставлял меня здесь.

— Прекрасно сделаете, я велю дать вам бумагу и перьев. Полицеймейстер отвез меня в полицию, дал мне ужинать, и я переночевал в дежурной. На другой день, во вторник 22 мая, меня перевели в секретную тюремного замка и не только курить не дали, но даже грамматику не дали читать — я и до сих пор без нее, и мне без книг и без пера хуже, чем без пищи. В среду я написал письмо графу, а в четверг 24-го мне объявили, что министр внутренних дел вытребовал меня телеграфическою депешею в Петербург, — я даже прискочил от радости.

Вечером того же дня я отправился на почтовых, под конвоем двух жандармов, проехал Белоруссию, по тамошним костюмам проверял дорогой мнение Шафарика о выходе оттуда сербов и нашел его вполне верным. В субботу 2 мая [222] прибыл в III Отделение и 13 июня представился комиссии.

12 июня 1867 г.

*

Исповедь моя кончена, прибавить к ней нечего. Я не скрыл ни одного моего проступка, не смягчил фактов, я объяснил все, что было. Если правительство сомневается в моей искренности, проверка моих показаний докажет, что я писал правду.

Моя прошлая жизнь теперь известна правительству, равно и мои мнения и взгляды, — я ничего не утаил и показал ему себя без маски, таким, каким сделала меня моя странная жизнь. Я объяснил ему мотивы всех моих поступков, я сделал критику их и указал, чем хочу и могу загладить увлечения моего прошлого.

Государь, нравственными страданиями и дорогими мне потерями искупил я все, что предпринимал против вас, — я страшно наказан; у меня теперь одно стремление — посвятить жизнь мою и силы мои вам, посвятить их всецело на службу России. Не оттолкните же, государь, от ступеней престола вашего некогда крамольного, а теперь искренно преданного вам подданного и прикажите мне быть вам полезным. Как стрелец с плахой на шее, так я с повинной головой вам сдался. Повинную голову меч не сечет, — дайте же мне возможность отслужить вам за ваше помилование.

В надежде на вашу милость, государь, преступный Кельсиев ждет покорно своего приговора.

Середа 12 мая* 1867 г.

[ОТВЕТЫ КЕЛЬСИЕВА НА ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ]

1867 г. июля 24-го дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии государственный преступник Василий Иванов Кельсиев на предложенные ему вопросы объяснил:

Вопрос 1:

В первом отделе вашей «Исповеди» (стр. 7) встречается следующее заявление: «сочинения и прокламации самих деятелей оппозиции также не заслуживают доверия, это я уж по личному опыту знаю. Когда мне пришлось сделаться агитатором, как это расскажу впоследствии, я сплошь и рядом должен был привирать о располагаемых мною средствах; я должен был, как ни было мне противно, туманить глаза людей, на которых приходилось действовать, преувеличенными рассказами о силе и значении нашей партии в России».

* Исправлено карандашом: «июня».

Не найдя в последующих отделах вашей исповеди разъяснения вышеприведенного заявления, высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам восполнить этот пробел с возможною подробностью.

Ответ.

Агитатором в полном значении этого слова я сделался только с приезда в Лондон Пафнутия и был им до половины лета 1863 г., когда я бросил всякого рода пропаганду и старания заводить с кем бы то ни было политические связи.

То, что я назвал «привираньем о наших средствах», значит собственно преувеличение их, невольное пускание пыли в глаза выражениями «мы», «наши связи», «наше значение», «наше влияние». Делалось это не из желания обмануть, а искренно думалось, что мы и действительно много значили, и хотелось возвысить наше значение в мнении других. Мы верили сами в правоту нашего дела, и нам казалось, что мы не одни его ведем. Каждый намек на сочувствие казался нам полным согласием с нами. Так думают и поступают все партии на свете. Рассказ о моей агитаторской деятельности изложен во II и III отделе моей «Исповеди».

24 июля 1867 г.

Вопрос 2.

В первом отделе своей «Исповеди» (стр. 6), вы, между прочим, говорите: «Кто только ни перебывал при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики, студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился... Являлись дамы с дочерьми и сыновьями, просили написать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах». Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам поименовать всех известных вам лиц, посетивших Герцена в бытность вашу в Лондоне, с обстоятельным изложением о заявлениях и суждениях каждого из них.

Ответ.

Точно водопад лился — одно лицо сменялось другим, так что нет возможности припомнить десятой части всех, кто перебывал, а тем более, кто что говорил. Лица позначительней и позамечательней виделись с Герценом глаз на глаз, и о том, что они бывали, я знаю только с его слов. Имена у нас вообще опускались в разговоре, мы обходились вообще без них, и вопрос, как зовут гостя, нам всегда казался неприличным. Я обращал преимущественно внимание на литераторов, но заявлений и суждений их не могу привести уже и потому только, что в пять лет не мог не перезабыть их, а, сверх того, в гостях, где человек пять или шесть посторонних, никто не высказывал явно, что думает. Приезжали большею частью вовсе не заговоры делать, а посмотреть на издателей «Колокола». Знаменитости всегда влекут к себе публику. К Гарибальди многие едут, но не всякий готов итти за ним или служить его делу. Сколько помню, приведу список бывавших, но он будет во всяком случае не полн:

Писемский, Скарятин, Потехин, Островский, Горбунов, Цвет, Альбертини, Перец, Сухомлинов, Тургенев, Толстой (Тульский), Кусаков, Ковальский, оба Серно-Соловьевичи, Михайлов, Гербель, Жемчужников, Лугинин, г-жа Пасек, Казаков, Дубовицкий, Боборыкин, Обручев, Сераковский (1860 г.), Ничипоренко, Боткины, Белохвостов, Владимиров, Трувелер, Ветошников, Богатырев, Смирнов, Сорокин-Щербина [223].

Из них Цвет и г-жа Пасек сильно настаивали на катковских взглядах и нарочно приезжали в Лондон, чтоб отклонить Герцена от его пути.

Сераковский [224] только и толковал, что об уничтожении телесного наказания; ничто не подавало повода думать, что он сделается доводцем.

Лугинин проповедывал конституцию и защищал права дворянства.

Дубровский[225] и еще юношей с десять держались мнений «Молодой России» и просили разрешения на каракозовский подвиг; им это было запрещено. Знаю только имя Дубовицкого, потому что я с ним возился; других унял сам Герцен. Такие господа стали появляться только с 1861 г.

Кавказских генералов было человек пять; лица помню, но имен не знаю.

Запасник, финансист[226]. Он много спорил с Огаревым по выкупному вопросу и по устройству банков.

Тургенев, Писемский, Островский и вообще все литераторы более или менее склоняли Герцена быть умереннее в его нападках на них. Еще в 1860 г. не раз слышалось, что он забыл Россию и не понимает русских отношений, в 1861 г. это уже перешло в упреки, а [в] 1862 г. даже в укоры. Литераторы бывали у Герцена, как у собрата по журналистике, но мне не раз казалось, что одна из главных побудительных причин их посещений была та же, что вообще у всех его гостей, так быстро сменявшихся, что даже и заметить их было невозможно, — страх быть осмеянными. Приговор «Колокола», при тогдашней цензуре и при невозможности возражать ему, не выдавая себя в получении его, был безапелляционным. Всякий искал случая задобрить его издателей.

Граф Толстой говорил только о педагогии. Он заводил школу в своем имении[227].

Владимиров, Ветошников, Трувелер и множество подобных им молодых людей ничем себя не заявляли. Больше молчали и слушали.

Вообще надо сказать, что ни имена не произносились, ни особенных заявлений не делалось. Разговор сводился на анекдоты из литературной жизни, на отвлеченные споры о теориях. Герцен — отличный рассказчик, его слушали. Собрания у него ничем не отличались от бывающих у каждого литератора; если кто и задумывал что, то при третьем не высказывал. Сам Герцен и Огарев вообще тяготились этими посещениями и не раз жаловались, что они наводят на них скуку, не принося ни малейшей пользы. Оказалось даже, что они вред им приносили: нельзя было одинаково занимать и выслушивать каждого приезжего, а приезжие этим обижались, и неудовольствие их накипало. Я думаю, что это обстоятельство много помогло Каткову низвергнуть издателей «Колокола» с их пьедестала. Личные неудовольствия, оскорбленные самолюбия — верный залог в перемене убеждений, а не раз, выходя от Герцена, приезжие роптали на холодность его приема.

В доказательство, что на этих вечерах ничего особенного не говорилось и нельзя было узнать, кто что думает или делает, приведу только то, что я решительно не ожидал, чтобы Михайлов стал печатать прокламации или чтобы Трувелер стал раздавать матросам «Что нужно народу?». Владимиров сослан за сношения с Лондоном; для меня загадка, какие мог он иметь сношения и с кем. Обручев и Николай Серно-Соловьевич тоже ничем не выдавались, и только теперь я узнал, что последний был «постоянным корреспондентом» «Колокола».

То же надо сказать о «красных». Много было юношей с трескучими фразами, но от них ничего нельзя было услышать, кроме теорий, а как я теории-то знал лучше их, то меня вовсе не занимало их собеседничество. Один такой — имени его не помню — был в Лондоне во время моей поездки в Петербург и упрекал Герцена, что он держит лакея, а Бакунина, что он поздно встает, что, дескать, революционерам неприлично[228]. Дубовицкий, вольнослушатель Харьковского университе-

та, явился под именем Семенова (или Симонова), целый вечер преследовал Герцена просьбой дать ему случай поговорить наедине, а меня мучил своим сочувствием и восторгами перед Фурье. «Будьте отец родной, — сказал мне Герцен, усталый от гостей, — допросите этого дурака, что ему нужно; вероятно, какой-нибудь нелепый проект хочет предложить; у меня и так голова кругом идет от этих недоносков». Я зазвал его к себе; оказалось, что он как-то несчастно влюблен, жизнь не мила, хочет пожертвовать собою на благо общее и приехал нарочно, чтоб предложить свои услуги... Я его начал урезонивать, успокаивать, сказал, что это вовсе не входит в программу, — словом, говорил все, что только может притти в голову при подобном нелепом разговоре. А говорить с ним было дело нелегкое, — он был непроходимо глуп, многоречив и охотник рисоваться. От фразы своей он не хотел отступиться и, думаю, из ложного point d'honneur не отступился бы и от затеи. Чтобы не раздразнить зверя, что всего опасней, — бранью, резкостью, запрещением можно заставить человека поставить на своем, как и принято в иезуитской системе, — я пошел на хитрость и дал ему слово, что когда будет нужно, то мы ни к кому, кроме его, не обратимся. Это ему польстило, он сказал, что теперь имеет цель в жизни и будет дорожить ею, и уехал. Герцен жаловался, что к нему много являлось таких молодцов, но, как он отбояривался от них, не знаю. Ему, впрочем, можно было прямо ругать их, — ему верили и полагались вполне на его приговор, но кто именно делал ему предложения подобного рода, я не спрашивал. Кстати, повешенный в Варшаве наборщик нашей типографии Абихт[229] тоже затевал это и храбрился не раз, но колебался между нашим государем и Наполеоном. Бомбы и яды какие-то он изучал... Вообще, мы знали, что все это — фраза, хвастовня, желание порисоваться, и не относились серьезно к этим господам, в полной уверенности, что из десяти тысяч крикунов ни один ничего не предпримет, а тем более никто не отважится предпринять без нашего одобрения, которого мы никогда бы не дали[230]. Нас считали агитаторами, ждали всего от нас, и потому никто ничего не хотел предпринять.

Больше мне нечего ответить на этот вопрос. Если еще припомню какие-нибудь имена, я их сообщу после. Крупных же фактов или замечательных фраз, суждений, заявлений, таких, чтобы врезались в память, не было.

Подчеркнутые слова «п р и м н е» я написал в смысле «в мою бытность в Лондоне», а вовсе не «в моем присутствии».

24 июля 1867 г.

Вопрос 3.

В п е р в о м же отделе вашей «Исповеди» встречаются следующие заявления: н а 6-й с т р а н и ц е: «Печатать всего, что присылалось или что сообщалось, не было возможности: «Колокол» должен бы был принять размеры «Times'а...» На 3-й с т р а н и ц е: «Изредка я составлял для «Колокола» экстракты из процессов, неправильно решенных в России, и вообще разные маленькие извлечения из больших дел... Рукописей и дел привозилось и присылалось в Лондон несметное множество — одних нефранкированных писем получал Герцен шиллингов на десять в день, и у него положительно не было возможности самому перечитывать всю эту груду бумаг, приходивших в его руки...». Далее вы говорите, что Герцен передал вам о г р о м н ы й т ю к р у к о п и с е й, из которого вышло четыре изданных вами тома «Сборника правительственных распоряжений о раскольниках».

Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить, из каких процессов и дел вы составляли экстракты и извлечения для «Колокола». Кто именно доставлял Герцену все эти сведения и кто были постоянными его корреспондентами в России и других местах? Кем присланы были рукописи о раскольниках? Неизвестны ли вам также и случайные корреспонденты Герцена? Каким путем и по какому адресу пересылалась Герцену корреспонденция?

Ответ.

Сколько мне известно, постоянных корреспондентов у Герцена не было. Сведения доставлял ему каждый, интересовавшийся «Колоколом» и желавший его поддержки. Письма и статьи вывозились отъезжавшими за границу и сдавались на почту в Берлине, в Дрездене, в Штеттине на адрес Трюбнера, Тхоржевского и одного дрезденского банкира, приятеля Герцена, которого имя теперь не припомню. Кто именно писал и посылал статьи, Герцен никогда не говорил, а приличие не позволяло его об этом спрашивать, да и надобности в этом



РУССКИЕ ОТКЛИКИ НА ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

Карикатура Н. Иевлева для «Искры», запрещенная цензурой

Русский музей, Ленинград

не было. Сам я ни с кем в России не переписывался до своей поездки и потому всегда сторонился от вмешательства в это дело, которому пособить ничем не мог. Правильной почты и корреспонденции не было, сношения шли исключительно через приезжих, и все сосредоточивалось в руках Герцена.

24 июля 1867 г.

Вопрос 4.

На 16-й странице первого отдела своей «Исповеди» вы говорите, что каждого приезжего вы расспрашивали о сектантах и каждого просили собирать и высылать вам материалы. «Материалы, действительно стали присылаться...».

Дополните это заявление поименованием лиц, которых вы просили о высылке вам материалов относительно раскола, а равно и тех, которые их доставили.

Ответ.

И на этот вопрос не сумею дать полного показания, какого бы хотел, потому что приезжих было слишком много, и нет возможности припомнить, с кем именно я говорил. Предлагаемою мною мерой мало кто интересовался, а к сердцу ее никто близко не принимал, равно как никто не мог мне ничего сообщить о сектантах за целые два года моих расспросов. Материалы стали высылаться потому, что в России узнали о «Сборнике» и потому, что разнесся слух о запросе на них, но кто их высылал, я не знаю: все посылки шли к Герцену, спрашивать его, от кого он получает, было неприлично, он мне просто передавал все, что приходило по этой части, без объяснений, от кого и откуда. Касаткин более всех доставил, если не ошибаюсь, но и того не могу сказать наверное: как библиофил, он более других был сведущ в этом деле и заодно собирал всякие редкие документы.

Поименовать прочих лиц, которых я просил о высылке, не могу, потому что боюсь ошибиться, кто обещал и кто не обещал. Кажется, все обещали, — тогда все всему сочувствовали, а просил я всех.

Помнится, Островского я особенно просил о высылке, рассчитывая на его связи с купечеством...

24 июля 1867 г.

Вопрос 5.

Предъявляя вам два экземпляра воззвания общества «Земля и Воля» к офицерам русских войск от комитета русских офицеров в Польше, высочайше учрежденная комиссия предлагает вам объяснить, кем составлено это воззвание и кем сделаны на обороте каждого экземпляра надписи с обращением к кавказским офицерам, солдатам и казакам. Если надписи сделаны вами, то изложите, откуда, когда и в каком количестве получили эти воззвания, а также, где и каким путем они были распространяемы.

Ответ.

Подробности об этих воззваниях я изложил в IV отделе моей «Исповеди», а равно и способ распространения. Там же рассказываю, откуда, когда и в каком количестве я их получил. Печатаны они были в Лондоне, это я вижу по бумаге и по шрифту, но где и кем составлялись, я не считал себя вправе спрашивать у Герцена. По всей вероятности, это работа русских офицеров в Польше, потому что у них у первых завязалось правильное общество по инициативе Потебни. Надписи сделаны мною в то время, когда я уже хватался за все, чтобы как-нибудь поддержать наше предполагавшееся движение. Это было время отчаяния, последних усилий, породивших во мне сомнение в самой пользе нашей деятельности. Я делал эти надписи, как в бреду, агитаторствуя по привычке, а не по убеждению.

1867 г. июля 31-го дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии государственный преступник Василий Иванов Кельсиев на предложенные ему вопросы объяснил:

Вопрос 1.

В дополнение и разъяснение 2-го пункта показаний от 24 сего июля, высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить:

Как имя и отчество вольнослушателя Харьковского университета Дубовицкого, откуда он родом, кто его родные, каких он лет и какие его приметы?

В котором году и с какою целью Дубовицкий приезжал в Лондон? С кем он там жил?

Каким образом он познакомился с Герценом и вами, часто ли вы с ним встречались, где именно и о чем говорили? Кто, кроме вас и Герцена, был еще знаком с Дубовицким?

По какому случаю вам известно, что Дубовицкий приезжал в Лондон под именем Семенова или Симонова? Для какой цели он переменил свою фамилию? На чье имя и откуда был выдан ему заграничный паспорт?

Когда и по какому поводу у него родилась мысль о цареубийстве? Какими способами и где он предполагал привести этот замысел в исполнение?

Не было ли у Дубовицкого сообщников этого злоумышления и кто они?

В чем заключался подробный разговор ваш с Дубовицким в тот вечер, когда вы зазвали его, по просьбе Герцена, к себе? В какой форме он высказывал свою готовность на цареубийство?

Видели ли вы тех юношей, которых, по словам вашим, было до десяти человек и которые, подобно Дубовицкому, предлагали посягнуть на цареубийство? Кто эти юноши, какого они звания или сословия, когда и зачем приезжали в Лондон, долго ли прожили в нем, и часто ли бывали у Герцена? Были ли эти юноши знакомы с Дубовицким и какие имели с ним сношения?

Когда именно и в каких выражениях Герцен жаловался, что к нему много являлось таких молодцов? Были ли эти последние те же юноши или же другие личности?

Долго ли Дубовицкий пробыл в Лондоне, когда и куда из него выехал и не известно ли вам, где он теперь находится?

Сверх того, комиссия, имея в виду, что по вашему заявлению подобные Дубовицкому личности стали являться в Лондон только с 1861 г., обязывает вас показать: часто ли являлись такие личности как в 1861 г., так и в последующих годах; к какому они принадлежали сословию и чем было вызвано такое явление?

Ответ.

Помню только, что он, кажется, был рязанским уроженцем. Лет ему было около двадцати пяти, худой, высокий, говорил нараспев, вяло и бестолково. Примет его описать не сумею, но могу указать на одного жандарма, имеющего поразительное с ним сходство. Волоса темные, реденькие, веки треугольником.

Весной 1862 г., перед открытием лондонской всемирной выставки, приезжал один и жил, сколько знаю, один.

Я сидел у Герцена и что-то читал, гостей было много. Мне нездоровилось, — я тогда мигренем страдал и как-то не обращал внимания ни на что, что кругом происходило.

— Вы это меня одного оставили занимать гостей? — сказал Герцен. — Допеку же я вас; тут есть какой-то дурачок, который со мной секретничать хочет...

Он вышел в гостиную, — я в кабинете сидел, — и привел ко мне высокого, тощего господина с длинными волосами.

— Я обещал господину Семенову познакомить его с вами, — усадил его подле меня на кушетку и ушел.

Пришлось занимать Семенова. Он вздыхал, охал, ораторствовал что-то о судьбах человечества и расспрашивал о наших лондонских взглядах на систему Фурье. Скука была с ним смертная; он говорил много, бестолково, тянул слова и ни до какого конца не доходил. Я несколько раз порывался уйти от него, он не отставал, — он привязчив, как муха, это вернейшая его примета, — и все намекал, что он хочет просить у Герцена совета в каком-то важном деле. Я попробовал сбыть его Герцену.

— Господин Семенов хочет вам что-то сообщить, Александр Иванович, — сказал я, когда Герцен проходил мимо нас.

— Батюшка мой, Семенов, — сказал Герцен, — извините меня, ни секунды времени нет, и завтра целый день по горло занят. Вот вы Кельсиеву сообщите, что нужно, это наш человек...

И он ушел, довольный своей проделкой, и подсмеивался надо мной целый вечер.

— Как жалко, — тянул Семенов, — что Искандеру нет времени, мне так хотелось бы открыть ему душу, я так несчастлив в жизни, мне хотелось бы кончить с собою, меня ничто не влечет, все мне чуждо, мое сердце разбито. Все так пошло, мелко. Развитому человеку жить нельзя... Я хотел бы спросить его совета, его благословения на решительный шаг.

— Вы самоубийство затеваете? Вперед вам скажу, что Герцен ничего не сумеет вам посоветовать...

— Да, да, почти что самоубийство, но, впрочем, видя его полное доверие к вам, Василий Иванович, и успев в это короткое время вполне оценить ваш ум, ваше сердце и ваш характер, я решаюсь обратиться к вам за помощью. Я вас крепко полюбил, вполне сошелся с вами, — и т. д. и т. д. до бесконечности, ничего не объясняя, ни к чему не приходя, а упражняясь только в сердечных излияниях.

Уже на улице, садясь в кабриолет, он объявил мне, что завтра откроет, что у него на душе; я должен был пригласить его к себе.

Он явился часа в четыре пополудни и просидел у меня до семи. Вошел он как-то торжественно, сбросил «инвернес» и объявил, что, ценя мою дружбу и т. д. и т. д., — он страшный говорун, — он решился признать, что его зовут Дубовицким (или Дубровницким), что он из предосторожности назвался Семеновым, что эта предосторожность может рекомендовать его за надежного человека. Пошел, пошел рассказывать о какой-то любви, как его оценить не хотели, как друзья ему изменяли, — и все это убийственно длинно, скучно, фразисто, так что голову ломило от слушания его. Наконец, я не выдержал:

— Жалко мне вас, — сказал я, — тем более жалко, что не знаю, чем вам помочь и что вам посоветовать.

Он стал рассыпаться в изъявлении дружбы, благодарности, преданности, говорил, что начинает мириться с жизнью, потому что нашел любящее сердце, живую душу и т. д. на эту тему.

— Но вы говорите, что на что-то решились.

— Да, мой друг, открою вам свой замысел, я решился нанести удар злу в самом его корне, пожертвовать собой для человечества, для этого несчастного и ничтожного человечества, не стоящего нас с вами. Один удар, только один, и завтра же вспыхнет революция, и громкая песнь свободы раздастся в порабощенной доселе России...

Меня покоробило.

— Вы это как же? Насчет государя?

— Жертвую собой. Я погибну для блага людей...

— Погибнете, но блага людям не принесете, вас народ в клочья разорвет, а за вами и всех, кто не мужик. В России теперь все, худо ли, хорошо ли, а есть прогресс, а тогда выйдет или страшная правительственная реакция, или, что еще хуже, простая пугачевщина. Наш государь все же не худой человек и далеко не ретроград. Реформы совершаются не по-нашему, не так проворно и не так последовательно, как бы мы хотели, но все-таки совершаются, и все-таки спасибо ему за инициативу: без него и того бы не было. Убить его не трудно, но трудно судить, каков будет его наследник. Революции не выйдет никакой, потому что ей и выходить не из чего, но очень вероятно, что народ не простит этого дела образованным классам, на которых давно зол и в которых не разбирает ни правых, ни виноватых, ни друзей, ни врагов... — и т. п., все, что говорится при обсуждении этого рода затей.

Дубовицкий спорил, фразерствовал и рисовался своей отвагою. Что было делать? Назвать его дураком и указать ему дверь было опасно. Он был крайне самолюбив, а самолюбивого человека стоит только задеть, чтобы он на стену полез. Он бы с досады привел в исполнение свой дикий замысел.

Дать знать в посольство или в Петербург также нельзя было. По его скрытности видно было, что он болтун, — только болтуны откровенничают с большими приступами, — вероятно было, что он не мне первому рисовался в своей затее, что он многим другим хвастал ею. Арест и всякого рода преследование его за страсть рисоваться окружили бы его ореолом мученика, возбудили бы толки и повели бы

к пропаганде его затеи, а тогда это было небезопасно. В 1861—1862 гг. движение, начавшееся с Крымской войны, шло в гору и в гору, с каждым днем красней, нелепей, уродливей, принимая характер «Молодой России». Стоило одного из таких красных погубить за фразы, чтоб натолкнуть десятки на совершение злодейства, тем более, что авторитет Герцена начинал уже упадать, стало-быть, некому становилось сдерживать этих господ.

Сообразив все это, а тем более характер моего гостя, я ударился в такое же фразерство, сантиментальничанье, заявления дружбы, сочувствия и выиграл, что было нужно. Он не озлился, самолюбие его не было оскорблено, предложение не было объявлено бессмысленным. Его оценили, ему высказали участие к его бедам и к его «благородным порывам». Мы напились чаю и расстались нежными друзьями, давши слово друг другу, что если придет время и явится надобность, то никто другой, как Дубовицкий, не пожнет лавра спасителя отечества и человечества.

Хорошо ли я сделал, что именно этим, а не другим способом отвлек от государя руку этого безумца, судить не мне; но вот уж пять лет, что об нем не слышно, и значит мой труд не пропал попусту, а тем более, если и он, как большая часть тогдашних фразеров, одумался, покаялся и стал снова полезен в своем кружке.

В Лондоне он не долго пробыл, что-то с неделю, и уехал опять, кажется, прямо в Россию. Сообщников у него не было, по крайней мере, не видно, чтоб были, и, вообще, сколько мне известно, таких предложений никто не делал сообща. Герцен смеялся над такими господами, и только по его презрительным отзывам об них знаю я, что и к нему являлись с такими предложениями, но кто именно, я его не спрашивал, потому что у нас всякие вопросы считались неприличными, а следовательно ничего не могу сказать о сословиях. Судя по общему характеру того времени, лица эти не могли быть в сообщничестве между собою и должны были быть из студентов.

Более не нахожу, что сказать на этот вопрос.

31 июля 1867 г.

Вопрос 2.

Объясните возможно подробнее, каким образом вы добыли себе паспорт на имя турецко-подданного Василия Яни и кто вам способствовал в этом? Какие приготовительные меры предшествовали вашей поездке в Россию, с кем вы совещались об этом и на какие средства совершили поездку? Кому в России было известно о предпринятой вами поездке?

Ответ:

Объяснения, подробнее сделанного в моей «Исповеди», дать не могу, потому что к нему прибавить нечего.

31 июля 1867 г.

Вопрос 3.

При личных объяснениях в комиссии, вы, между прочим, заявили, что в настоящее время в Львове существует «Народовый жонд». Комиссия предлагает вам дать подробнейшее объяснение о составе, целях и деятельности «Жонда», а равно о связях и сношениях его вообще и с царством польским в особенности.

Ответ:

Сколько знаю о галицких русских, президент «Жонда» во Львове— Пятковский (Piatkowski), фабрикант медных и жестяных изделий. В его руках сосредоточиваются все революционные силы и замыслы поляков. Уважением пользуется он огромным. Граф Голуховский, по приезде в октябре 1866 г. на наместничество, сделал ему немедленный визит. Состав «Жонда» мне неизвестен, и я не думаю, чтоб он был правильно организован, но наверное знаю, что в него входит ре-

дакция «Gazety Narodowej» (Добрянский и Костецкий), которая и служит органом «Жонда» и Голуховского. Лично знаю я двух членов этой партии — Робельницкого и Михайловского, с которыми виделся в Яссах в декабре 1866 г. Кто Робельницкий, мне неизвестно, а Михайловский — уроженец юго-западных губерний, студент Киевского университета, повстанец; во Львове он живет под чужим именем, но под каким, не знаю. Познакомился я с ним еще в 1864 г. в Галаце, где он был с прочими эмигрантами этих губерний.

От них и преимущественно от галицких русских, также из польских газет, я знаю, что «Жонд» сильно хлопотал о назначении Голуховского в наместники через Сапегу и Романа (?) * Чарторыйского (рыженький, невысокий, лет тридцати пяти), бывших в тесных связях с венским двором. Задача его — образовать из Галичины такое же независимое королевство, как Венгрия, а затем, короновав императора Франца-Иосифа в Кракове, заявить его историческое право на Подолье, поднять новое восстание в пользу искреннего присоединения всех земель королевства польского к Австрии. Тогда Австрия стала бы федеративным государством поляков, малоруссов, венгров, чехов, румунов, болгар и сербов и спаслась бы от нас. Так и было до последнего времени, когда венгры начали предъявлять свое историческое право на Галичину и Подолье, что очень испугало и обидело поляков, а Бейст [231] сверх того почему-то топит их в своей Передлитавии. Теперь все их надежды снова возлагаются на Наполеона.

В Вене, впрочем, очень популярна мысль о восстановлении Польши под габсбургским скипетром, как и в Берлине — о присоединении к Пруссии левого берега Вислы. У поляков в эмиграции развивается чувство мести к нам, и они хоть погибнуть готовы, чтобы расплатиться с нами; в Галичине же и в Познани желали бы такого отторжения этой части нашего государства, чтобы укрепить свои силы за границей. Отдай мы часть Польши тем или другим, поляки подымут на нас Австрию или Пруссию, — они рассчитывают, что если Пруссия завладеет всей Польшей, то она не откажет им в автономии, а, кроме автономии, они ни о чем не мечтают. Сверх того, теория Духинского, как она ни нелепа, нашла себе сильную поддержку и у них, и у французов, а эта теория проповедует любовь к немцам, и они радуются, что большинство покупателей их имений на прусской границе — немцы и что господствующий элемент в администрации царства — тоже немцы. «Благо не москали, — говорят они, — немцы — все-таки европейцы, и мы по опыту знаем, как легко можно их полячить. На них прикрикни, сами конфедератки наденут (как теперь в Галичине) и даже фамилии свои изменят на местные, как в Венгрии (Schwarz — Feheté) или в Хорватии (Tischler — Teslar), в Чехии (Rieger — Riegr), и из них выходят лучшие патриоты. Евреи, и без того льнущие ко всему немецкому и враждебные всему славянскому, точно того же хотят; доказательство — австрийская журналистика, которая вся в руках евреев, распространение немецкого языка в нашем западном крае: Ковно — немецкий город. Сами немцы не прочь от содействия полякам: это и Бисмарк и Бейст торжественно заявляли в камерах, а Nationalverein, кстати, не знает, куда девать свои силы и чем заняться; со скуки он теперь раскидывает свою сеть в Дании, которая уже поплатилась за покровительство ему Шлезвиг-Голштейном, в Голландии, где вся торговля и финансы в руках евреев и немцев, и, как ходят слухи, у нас, в Прибалтийском и в Западном крае. Так, по крайней мере, толкуют между собой поляки в эмиграции, так славяне расска-

* Так в подлиннике.

зывают, пеняя на нашу оплошность, так галицкие и угорские русские говорят, и так же объясняют наши газеты упадок финансов зависимостью от берлинской биржи. Все это я слышу уже четвертый год от Иордана, от Чарторыйских, от Робельницкого и Михайловского, от моих знакомых славян и галицких русских, которые, зная, что я публицист, просили меня Христом-богом обратить внимание правительства на эту грозящую опасность, которую они возводят на степень заговора. Указывать по именам, от кого я это слышал, было бы и невозможно, потому что в Австрии или в эмиграции каждый об этом вслух говорит, — это не тайна; и бесполезно, и даже вредно, писать имена людей, преданность которых нашему правительству может погубить их и которые могут быть нам полезны сообщением множества * важных сведений. Удерживаю я их имена за собою не из прихоти и не из упрямства, но потому, что люди эти побоятся войти в сношения с правительством, а чиновников его русского происхождения, с русскими именами или православной веры, между ними нет; путешественники же наши не посещают этих глухих сторон, боясь неприятностей от поляков, мадьяров и немцев; до меня никто не объезжал Галичины, а в Угорскую Русь, куда я рассчитывал съездить нынешним летом, я не попал, предпочтя воротиться в Россию и просить позволения быть ей полезным. В Вене у нас также нет ни одного лица, пользующегося доверием, кроме русского священника отца Михаила Раевского, который мог бы сообщить бездну полезных сведений о славянах и о немцах, но он не сообщит ничего, потому что боится, что потеряет место. Одно верно, что интрига существует, что узел ее во Львове, а разветвления идут от Парижа до Петербурга. Нить к ней покуда у меня в руках, и я надеюсь, что мне не поставят в вину мое упорство сохранить ее у себя; я могу вверить ее только человеку, за которого совесть моя будет спокойна, что он ее не упустит, а сумеет так же ловко воспользоваться, как я. Молчание же мое о моих собственных связях и агентах нисколько не может мешать правительству раскрыть дело и проследить его — я уверен, что Погодин, Ламанский [232], князь Черкасский [233], профессор Попов, Аксаков и все прочие так называемые славянофилы знают не менее меня и точно так же получают сведения из верных источников, лучшего же они ничего не желают, как сообщать их правительству. Я отличаюсь от них только тем, что могу получить сведения от самих поляков, чему, как я уже изъяснял комиссии, мое возвращение не воспрепятствует. Я всегда откровенно говорил им, что думаю, и, если захочу поехать хоть во Львов, они меня примут, как старого приятеля, хорошего человека, но только тронувшегося в уме во всем, что касается русского правительства (zwariowat na Moskwie).

Два-три сообщения я мог бы теперь прибавить, но весьма уважительные причины, которые объяснить пока не могу, побуждают меня отложить их до решения моей участи, какая бы она ни была. Только по произнесении надо мною приговора я сообщу комиссии несколько фактов, которые мне кажутся немаловажными. Лично они меня не касаются, промедление сообщением их не будет вредно, а моя полная откровенность по всем другим вопросам может служить порукою, что я горячо желаю доставить правительству средства бороться с его врагами и что не утаиваю их от него. Уже самое это показание не преминет навлечь на меня нерасположение многих из окружающих государя инородцев и, весьма вероятно, дурно повлияет на мою будущность, а я писал его, вполне сознавая, чем я рискую, удовлетворяя требова-

* *Зачеркнуто*: полезных.

нию быть откровенным: я наживаю себе личных врагов в правительстве, а их у меня еще не было до сегодняшнего дня; я рискую шансами на помилование, на возможность немедленно стать полезным. Последнюю надежду ставлю на карту. Как же еще быть искреннее?

Зная поляков лучше, чем русских, я должен сказать, что только два средства вижу к подавлению раз навсегда этой неурядицы: присоединение к нам Галичины, так, чтоб в Австрии ни клока польских земель не оставалось, и возвращение эмиграции без требования с нее присяги и с полным прощением даже жандармов-вешателей.

1. Когда в Австрии не будет поляков, тогда разрешится сам собой вопрос на Западном крае, — Русь станет Русью и найдет себе крепкую поддержку в галицкой интеллигенции, а поляки перестанут мечтать о праве хозяйничать в ней. Голуховские же в шестидесяти верстах от нашей границы станут положительно невозможны.

2. Возвращение эмиграции безопасно, — что они могут теперь сделать нам? Они разорены, измучены, им покою хочется, и они сами проклинают восстание, хоть храбрятся и петушатся попрежнему. Воротясь домой (только не в Западный край), они волей-неволей сделаются мирными гражданами и поймут, что так как плетью обуха не перешибешь, то выгодней вести себя так же мирно в России, как до сих пор, с 1848 г., вели себя в Австрии. Заграничной пропаганды тогда не будет, а она больше всего сбивала их с толку, а предполагаемое основание в Варшаве всеславянского университета окончательно переменит их образ мыслей. Если же дастся им к этому та свобода слова, которой они теперь пользуются в Австрии, что будет совершенно безопасно при отсутствии польского элемента за границей, и хоть тень автономии, они сами поймут, что без России им было бы плохо, потому что на Западный край рассчитывать нечего, а без него нельзя и мечтать о самостоятельном государстве. Присяги не нужно требовать; практической пользы она не приносит, как это и доказало повстанье, а примириться с правительством и возвратиться мешает; поляки — фразеры, придиры, закричат об убеждениях, о долге отечеству и т. п. и останутся за границей, что именно для нас вредно. Пусть все, без исключения, воротятся. Пусть государь даст амнистию даже неполитическим преступникам: не стоит труда разбирать, кто за что бежал. Все прошлое покрыто манифестом, все чисты, все правы, но кто затем попадется, пусть не пеняет.

Этой мерой, я уверен, правительство покончит польский вопрос. Если б можно и от Пруссии присоединить Познань, еще бы лучше было, а поляки благодарны были бы государю, уничтожившему р а з д е л Польши, за Западным краем они бы не погнались. Короняжи вовсе им не дорожат.

31 июля 1867 г.

Вопрос 4.

Высочайше учрежденная следственная комиссия предлагает вам объяснить все, что известно вам о выделке и сбыте русских фальшивых кредитных билетов за границей, а равно о лицах, занимающихся этим предметом, и о связях их с Россией.

Ответ:

Польская эмиграция, состоящая преимущественно из недоучившейся молодежи и из ремесленного сословия, плохо понимает финансовые вопросы и интересы своей собственной родины, а потому очень склонна к выдумке разных нелепых планов против правительства. За границей, где она брошена на произвол судьбы и оторвана от всякой почвы, не имея связей ни с своим купечеством, ни с помещиками, она

с большим сочувствием относится к мысли о расстройстве наших финансов выпуском фальшивых бумажек. Рассказывают, что лучше всех делает их Франковский где-то в Бельгии и что вся первая контрибуция была заплачена этими произведениями его мануфактуры.

На Западе действительно сильно понравилась мысль об искусственном расстройстве наших финансов, и немецкие газеты громко ликовали, что мы вынуждены были продать за бесценок Америку, что



РУССКИЕ ОТКЛИКИ НА ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

Карикатура Н. Степанова для «Искры», запрещенная цензурой

Русский музей, Ленинград

продаем железную дорогу в Москву, и ждут, что мы продадим часть Царства Польского Пруссии, т. е. дадим тамошним полякам все удобства вести против нас пропаганду под эгидой Пруссии.

Нельзя предположить, чтобы не было связи между систематическим покровительством французских и бельгийских судов нашим монетчикам, постоянно увеличивающеюся зависимостью нашей от берлинской биржи и противудействиями в Париже продаже железной дороги. Если же сопоставить эти обстоятельства с изложенными в предыдущем ответе о взаимности действий и целей «Жонда» с National-verein'ом, то придется невольно притти к заключению, что заговор действительно существует, что коноводы его принадлежат к числу высокопоставленных лиц при западных кабинетах. За разгадкой этого

дела проще всего обратиться к австрийским славянам и русским, — они много света могут пролить на заграничные интриги против нас и ловчее, чем кто-либо, будут сыщиками. Относительно действий в России этого предполагаемого заговора никто столько не поможет правительству, как молоканы, субботники и скопцы. Первых считают большими друзьями всего протестантского и еврейского, а последние имеют своих собственных царей, — стало-быть, им легче доверяться, чем кому другому, а они, кстати, очень привычны к ведению всякого рода секретных дел; патриотизм же их не может подлежать сомнению. Сколько мне известно, за границей у нас нет сыщиков из средних сословий, а те, на кого указывает общее мнение эмигрантов, — лица крайне неспособные и более компрометирующие правительство, чем служащие ему *.

* * *

Само собой разумеется, что подобные сыщики по делам, изложенным в этих двух показаниях, должны быть совершенно независимы от наших посольств, консульств и местных властей в России, которым даже и знать не следует их; и что всякое снабжение их письменными инструкциями и полномочиями только повредит делу.

Не буду я заподозрен в злом умысле, если сделаю следующее замечание?

Политических преступников у нас ссылают в Сибирь или в каторгу, т. е. делают их только безвредными. Мне давно кажется, что, будь они изгоняемы из России за границу, они были бы ей полезны. Умных и способных людей между ними много, вся их вина в том, что они зафантазировались, зарапортовались и затеяли ерунду. Перемена местности уже сама собой подействует благодетельно, а если изгнание будет продолжаться до тех пор, пока осужденный не заявит себя полезным России, чего-нибудь не сделает для правительства, то девять десятых из них вылечились бы от заблуждений. Турция, Румуния, Австрия, Восточная Пруссия могли бы быть превосходными местами для такой ссылки. Там революционеры наши отлично бы изучили народ, увидели бы слабые стороны наших порядков, озлились бы, что так легко делать нам зло, наследили бы на множество отношений, которыми мы можем воспользоваться, завели бы полезные связи и воротились бы в Россию полезными деятелями, чего именно у нас недостает. Всякий нигилизм и революционерство разлетятся в месяц от жизни между западными славянами, и все симпатии к полякам лопнут. В Турции, в Молдавии и в Восточной Пруссии можно отлично изучить хоть еврейский вопрос, контрабанду и настроение тамошних масс и правительств в отношении к нам. Разумеется, в такую ссылку можно посылать только умнейших из преступников (Чернышевского, Серно-Соловьевича, Обручева и подобных им) и никоим образом поляков. В ссылке им следует предоставить полную свободу переезжать с места на место в пределах государства или провинции, в которую они сосланы, а злоупотребление этим правом для ведения какой-либо пропаганды или самовольное переселение в другую страну наказывать в е ч н ы м изгнанием. Хуже и страшней этого наказания нет.

---

* В Молдавии, в Добрудже, в Вене, во Львове я знаю несколько человек, готовых служить правительству, но не через посредство представителей нашей дипломатии, а через III Отделение собственной его императорского величества канцелярии или через другое подобное учреждение. [Примечание Кельсиева.]

1 августа 1867 г.

Вопрос 5.

В IV отделе своей «Исповеди» (стр. 81) вы говорите «Уверенный в своих способностях, я писал письма в разные редакции и старым знакомым, спрашивая, не возьмут ли моих статей, и никто не отвечал».

В какие редакции, когда и к кому из старых знакомых вы обращались с просьбою о напечатании ваших статей?

Ответ.

В «Современник», в «Отечественные Записки», Кожанчикову, Д. В. Аверкиеву, моему школьному товарищу [234].

1 августа 1867 г.

Вопрос 6.

В IV же отделе своей «Исповеди» (стр. 81) вы говорите: «Наконец, ехать и потому стало еще необходимым, что меня начали уже заметно теснить в Тульче, где мое пребывание и деятельность многим не приходились по вкусу; пашу стали заметно вооружать против меня, а в Цареграде выхлопотали секретное предписание о непозволении мне завести гимназию».

Кто и по какому поводу теснил вас в Тульче, кому ваша деятельность пришлась не по вкусу, в чем состояла эта деятельность, кто и с какою целью вооружал против вас пашу и кто выхлопотал секретное предписание Порты о недозволении вам открыть гимназию?

Ответ.

К объяснению, сделанному в «Исповеди» и в вопросе № 6, не нахожу что прибавить.

1 августа 1867 г.

Вопрос 7.

Далее, в том же IV отделе «Исповеди» (стр. 81) вы продолжаете: «Был у меня один знакомый купец, в Галаце, грек, с которым мы были приятелями и которому раз я помог в одном его деле с турецкими таможенными; я обратился к нему с просьбой дать мне в долг триста рублей на год, чтоб доехать с семейством до Парижа» и т. д.

Кто этот грек-купец и в чем заключалась оказанная ему вами услуга?

Ответ.

Барба-Яни, торгующий хлебом и рыбой. У него есть свои «кирганы» в плавнях. Таможенные наложили секвестр на соль, объявляя ее контрабандой, — им хотелось собрать с него на «рамазан». Барба-Яни, человек застенчивый и не знающий по-турецки, обратился ко мне; я объяснил наше дело, показал ему накладные, и секвестр был снят.

1 августа 1867 г.

Вопрос 8.

В IV же отделе своей «Исповеди» (стр. 82) вы заявили, что «поляки — Жуковский, агент Messagéric, секретарь французского консульства Ворона-Воронич, не считая других, были насмерть обижены моим значением в крае [Добрудже]...».

Объясните, что за личности Жуковский и Ворона-Воронич, и если они эмигранты, то откуда они родом, когда и по какому случаю оставили Россию и при чьем содействии заняли означенные места? Кого именно вы разумеете под словами «не считая других»? В каких отношениях вы были с иностранными агентами и консулами в Тульче, не исключая и русского?

Ответ.

Майор Жуковский и полковник Ворона-Воронич — эмигранты 1832 г., оба из юго-западных губерний. В Тульче поселились еще до Крымской войны и заняли свои места во французской службе, как все поляки-эмигранты. Я в «Исповеди» своей объяснил их отношения к французам. Жуковский и Воронич — люди, впрочем, смирные и безобидные, мало во что мешаются, оба они — больные старики, и им не до интриг. На меня только косо они смотрели за то, что я в один день veni, vidi, vici всех русских выходцев, а они предполагали, себя

уверяли, что они руководят ими, хоть ничего для них не делали. Это простые, бесхитростные старики, зажившиеся в провинции, в глуши и составляющие ее аристократию, за неимением другой.

Английский консул оставил Тульчу вскоре по моем приезде, так что между им и мною не могло даже сложиться каких-либо отношений. Об австрийском я в «Исповеди» сказал, что он не согласился визировать мой паспорт, — стало-быть, отношений тоже не было, кроме взаимных поклонов при встрече. Он же, кстати — серб (Вискович), а довольно быть врагом или считаться врагом нашего правительства, чтобы навлечь на себя личную ненависть каждого серба, даже католика.

С французским консулом было иначе. Он сначала очень лестно об нас отзывался, но, когда мы с братом решили раз навсегда не мешать в наши дела иностранцев и инородцев, он стал дуться и выдавать меня за агента русского правительства. На Востоке, кто не ищет покровительства французских консулов, естественных покровителей всех угнетенных и защитников их от русских интриг, иначе и не называется, как русским агентом.

С нашим вице-консулом, Александром Николаевичем Кудрявцевым, я познакомился вскоре по его приезде в Тульчу, летом 1864 г. Он отказал почему-то в визе паспорта одному русскому, помнится, за молоканство, а мне любопытно было посмотреть, каков мой официальный враг, и я отправился к нему объясняться в качестве казак-баши. Он очень удивился, увидев во мне не мужика; я ему сообщил, кто я, и он, оправившись от удивления, начал советовать мне возвратиться в Россию, просить помилования, предлагал писать обо мне в Петербург. Вообще, он был очень гуманен со мной и делал все зависящее от него, чтобы убедить меня просить амнистии, но я упирался, соблюдая честь знамени, в которое хоть и потерял уже веру, да и озлоблен я был против всего. Тогда Кудрявцев повел дело иначе, — он стал убеждать меня оставить Тульчу, говорил, что в Европе мне больше простора, что там я писать могу, заниматься своей мифологией и т. п., — словом, ему было не понутру мое пребывание в Добрудже, а тем более мое влияние на дела. Бывал я у него раз с пять. Это очень способный человек и даже при мне сумел заслужить общее уважение в Тульче, — русские любят его за то, что он ходит в церковь и соблюдает царские дни, что им льстит, напоминая Россию.

«Не считая других» — разных стряпчих, ходатаев по делам, общественных старост, сутяг и т. п. личностей, неизбежных в маленьком городе.

1 августа 1867 г.

Вопрос 9.

В постскриптуме к IV отделу своей «Исповеди» вы говорите, что писали к епископу Кириллу, приглашая его перейти в старообрядчество, и что в то же время поместили и з в е с т н о е п и с ь м о в «Courrier d'Orient».

Объясните, когда именно и по какому случаю вы обратились с письмом к епископу Кириллу и кто он такой? В чем заключалось письмо ваше, помещенное в названной газете, и когда оно было напечатано?

Ответ.

Кажется, летом 1863 г. Он был послан святейшим синодом в Иерусалим начальником русской миссии. Сношений ни до того, ни после того я с ним не имел, а обратился к нему потому, что слышал что-то о его ссоре с правительством и думал воспользоваться ею.

Письмом моим, помещенным в «Courrier d'Orient», я высказывал сочувствие полякам. Тогда мне казалось, что дело их правое и исполнимое. Кроме заявления сочувствия и пожелания успеха, ободрений,

в этом письме ничего не было. Я помянул об нем во избежание упреков, что утаиваю что-нибудь из своих поступков.

Епископа Кирилла уже на свете нет, он умер в Казани этой зимой.

3 августа 1867 г.

Вопрос 1.

В V отделе своей «Исповеди» (стр. 80), говоря о том, что эмигранты занимались в Галаце битьем камня для шоссе, вы, между прочим, отозвались: «сербы-каменщики выбивали в день по метру, поляки-эмигранты — солдаты, чиновники, студенты, офицеры и помещики — выбивали, кто наловчился, полметра».

Комиссия предлагает вам поименовать всех известных вам эмигрантов по каждой из упомянутых категорий, занимавшихся битьем камня для шоссе, и вместе с тем изложить подробности о них.

Кто именно бил камень, трудно теперь припомнить; почти все, о которых я буду говорить, за исключением Вылежинского и Шица, вынуждены были приняться за эту работу. Я постараюсь указать на главнейших из эмигрантов и на тех, с которыми я был короче знаком. Все они были из юго-западных губерний.

Адам Вылежинский, помещик, кажется, Бердичевского уезда, богатый человек, лет 45, bon vivant, охотник, салонный господин, поэт, аристократ, считался главой выходцев и был «батькой-атаманом украинских казаков», имевших несколько стычек с нашими войсками, в особенности, помню, под Радзивиловом. Он, как и все прочие, был сильно увлечен украинофильством и казацкими преданиями, не терпел кровных поляков, хлопотал больше о равенстве по идеалу, завещанному Хмельницким, а за это навлек на себя недоверие и гонение «национального правительства» («Жонд народовый»), которое велело ему удалиться с своими казаками в Австрию и отстраняло его от участия в повстанье. Из долгих и дружеских разговоров с Вылежинским я пришел к убеждению, что не вспыхни демонстраций, вызвавших повстанье, украинофильское учение довело бы до окончательного разрыва между нашим юго-западным дворянством и Польшей. Оно благодетельно на них действовало, заставляя любить все русское (хоть и малорусское), с его преданиями, песнями, языком и ненавистью к ляхам. Еще бы несколько лет этого движения, и они даже и с нами, великоруссами, помирились бы. Католицизм служил, по их собственному мнению, поводом к их разладу с нами, но они надеялись выхлопотать у правительства разрешение восстановить для них унию, т.-е. превратить тамошние костелы в церкви, чтобы сблизиться с народом даже обрядом богослужения и скончательно забыть польский язык. Одни из них хотели унии с задней мыслью — распространить ее и на крестьян, другие же хотели введения ее только для того, чтобы не резко перейти в православие, чтобы не заслужить названия ренегатов. Указываю на это обстоятельство с покорнейшей просьбой обратить на него внимание. Унией они ополячились, унией же мы и располячить их можем, что нам даст огромную массу образованных русских дворян в юго-западном крае и положит конец навеки польским увлечениям. Правительство же русское имеет полное право заменить латинское богослужение славянским, не насилуя ничьей совести, так как Рим позволяет переходы с обряда на обряд, считая формы делом второстепенной важности. Уния, принятая сначала неискренно, с умыслом втянуть в нее крестьян, все-таки выучит тамошних католиков нашим молитвам, текстам священного писания и отец * церкви, пристрастит к нашему богослужению и затем так же легко исчезнет по первому указу, как исчезло у крестьян в прошлое царствование. Как поляки поступали, так и нам надо поступать; что им

* Так в подлиннике.

помогало, то и нам поможет лучше всяких насильственных продаж имений и затруднений вступать в коронную службу. Настоящие поляки, из Царства, знают эту опасность для них унии и очень боятся, что мы догадаемся заменить ею католичество в Западном крае. Я бы попросил правительство обратиться к г. Головацкому, ныне находящемуся в Москве, который, как сам униатский священник и как человек глубоко преданный России и коротко знающий поляков, лучше меня может указать, что следует сделать и как следует сделать. Он разделяет мой взгляд на унию; мы с ним еще во Львове об этом говорили, так как мне любопытно было узнать от тамошних русских, насколько осуществим этот проект наших украинофилов-католиков. В Галичине, при польском гонении, крестьяне и мещане католики делаются униатами, т.-е. русскими. Я знаю там одного священника, имя которого не считаю себя вправе писать, который чудеса делает над обращением мазуров в русских. Если б его водворить в Каменце или в Житомире, он лет в десять один-одинехонек сотни дворян-католиков сделал бы русскими. В Россию же он поехал бы с радостью, да и указал бы правительству, кого еще можно пригласить из подобных ему людей, способных на это дело.

Вылежинский жил в Галаце широко, как все эмигранты на первых порах, держал что-то с десяток собак, с пять не то секретарей или есаулов, купил дом, завел экипажи для извозчичьего промысла, но был слишком барин, чтобы что-нибудь удалось, так что он совершенно разорился и теперь живет где-то в Галичине простым лесничим у одного магната.

Шиц (Альфред), лет 35—40, тоже богатый помещик, добрый малый, кутила, пользовался уважением тоже, потому что у него водились кой-какие деньги. Теперь он в Париже. Про него, как и про всех остальных, даже и сказать нечего, — до того незамечательные личности.

Васицкий, недоучившийся студент (киевский, как и прочие), лет 25. Франт, давал какие-то уроки, ничего толком не зная, ни даже арифметики; по словам товарищей, дрался отлично в повстанье.

Голайховский, лет 20, какой-то чиновник или писарь. Теперь кузнец.

Поплавский, жандарм-вешатель. Кроткий и чрезвычайно добрый малый, но неразвитый. Не помню, кто он был в России, а теперь он служит ломовым извозчиком у какого-то боярина и сделался совершенным молдаваном; кажется, скоро и по-польски забудет. С ним есть брат, которого я, впрочем, не видал, какой-то полоумный, как говорят.

Северин Кульчицкий, в повстанье не участвовал, а был замешан в развоз или в рассылку писем и прочей корреспонденции. Святей, благородней, безукоризненней и чище этого человека я не встречал. Родись он несколькими веками раньше, из него бы вышел Кузьма Бессеребренник или Сергий Радонежский, — святость жизни и непоколебимость убеждения. На беду его, он родился поляком и католиком; он во имя Польши наложил на себя долг — нести нужду в эмиграции и чуть с голоду не умирает. Я его встретил нынешнюю зиму в Яссах; у него страшная чахотка. Воспитывался он в одесском лицее, знает много языков, очень не глуп и погиб за фантазии с полной верой, что исполнил свой долг. С ним брат, по рассказам тоже оригинал, но тот кончает хуже. Отлично образованный инженерный капитан, он не сумел или не захотел ни за что взяться; был одно время ломовым извозчиком, а теперь держит у какого-то боярина (кажется у Муруди) корчму в селе; связался с простой бабой, таскавшейся до сих пор по казармам, где ей щеку разрубили; привязался к ней до отупения; она его спаивает... Страшно даже подумать об этих двух молодых людях.

Ореховский (Orzechowski), лет 35. Был посессором, а теперь фельдшером сделался; он когда-то готовился в медики.

Серковский, лет 25, уланский офицер. Не мудрствуя лукаво, он с первого же дня принялся за черную работу, — камни бил, кули таскал, был извозчиком.

Парницкий (Parznicki), студент, лет 25, брат подававшего в 1856 г. жалобу государю на содержание студентов в медико-хирургической академии и сосланного в Финляндию[235]. Православный, но сильно ополяченный. Телеграфные столбы ставил.

Розенберг, лесничий; тоже столбы ставил. Умер от холеры в 1865 г. Был добрый и честный малый.

Кульчицкий, фотографом из чиновников сделался. Больше ничего нельзя про него сказать.

Петрушевский, лет 25, чиновник. Вялая, бесхарактерная и грязноватая личность. В 1865 г. он с голоду просил русского консула выхлопотать ему право возвратиться в Россию. Ему пришло позволение, но с ссылкой на два года во внутренние губернии. Ссылке он был рад, потому что в ней все же лучше, чем в эмиграции, но не воротился, потому что не было у него приличного костюма, — ему хотелось явиться во фраке и в белых перчатках, произвести эффект интересного политического преступника! По-французски даже для этого начал учиться! В 1866 г. он был где-то в молдавской Бессарабии и держал там кондитерскую; деньги он доставал от интересовавшихся им женщин.

Станкевич, о котором у меня говорится в «Исповеди». Он теперь телеграфистом в Малой Азии.

.... * лет 25, киевский студент. Телеграфист в Галаце.

Серко (псевдоним), доводца, полковник и нечто в роде Кречинского. Был когда-то сослан в Оренбург, прощен, предводительствовал отрядом, бежал за границу и сделался в Галаце курьером (рассыльным) при французском консульстве. Получив это место, он съездил в Польшу (уже французским подданным), женился там и привез женукрасавицу в Галац, где обходился с нею так, что я в гостях у него не мог бывать из сострадания к этой несчастной 19-летней женщине. Вечно пускался в аферы и сделался управителем какого-то имения в Молдавии.

Домбровский, Быхацкий, Куликовский и еще какие-то уже окончательно незаметные личности, составлявшие двор и свиту батьки-атамана Вылежинского.

Наконец, множество, человек до пятидесяти, разных солдат, ремесленников, даже один крестьянин (но только один), у которых даже фамилий не было, а звались просто Адольфами, Казимирами, Феликсами, Янами и т. д. и т. д.

Заключая это показание, еще раз убедительно прошу не оставить без внимания мысль об унии и прилагаю сюда краткий проект, что и как следует сделать для создания православного дворянства, так необходимого для нас в Западном крае.

*

В 1864 г. эмигранты живо еще помнили Россию и дружески к ней относились. На повстанье смотрели, как на революцию, на дело домашнее, на случай показать свою удаль. В 1866 г., оторванные от всякой почвы, поставленные вне практической деятельности и замкнутые в свои кружки, они стали ожесточаться против всего русского, а на

---

* Пропуск в подлиннике.

беду их наши представители за границей теснят их, русские же путешественники от них сторонятся, а русская печать на них клевещет, т.-е. все их отталкивает от желания примириться с нами и заставляет поддерживать Францию, Австрию и даже Турцию. Если б наше правительство разрешило им всем, без исключения даже вешателей, кинжальщиков и монетчиков, возвратиться в Польшу, не требуя никаких от них обещаний и формальностей, и обнадежило бы их, что оно будет стараться присоединить к России польские владения Австрии и Пруссии, людей верноподданней их ему не найти.

Сознательные и бессознательные агенты Drang nach Osten Verein'а подают правительству мысль об уступке Польши Пруссии. Если даже и имеет правительство право отторгать от России наше государственное достояние, что весьма сомнительно, и тогда отдача Польши Пруссии будет великим злом. Короли польские, Гогенцоллерны, не преминут заявить свое право на все земли до Двины и Днепра, сами эмигранты будут их об этом молить, как теперь они молят наш царствующий дом, своих королей польских, уничтожить раздел их королевства присоединением к России Познани и Галиции.

Уния в западных губерниях положит конец притязаниям на них короны Пястов, которая сведется тогда на земли, заселенные мазурами, а поляки достаточно умны, чтобы понять невозможность существования государства в восемь миллионов жителей, без моря, без естественных границ, в соседстве германской и всероссийской империи. Половина прав, данных Финляндии, удовлетворит их, честолюбие понудит их создать из России государство всеславянское. Они сами указывают нам на эту политику, они повстанья делают потому, что мы ей не следуем...

Пусть только правительство разрешит нашей печати и своим агентам сообщить полякам, что оно в п р и н ц и п е разделяет их стремление уничтожить раздел короны Пястов, и польский вопрос будет кончен. Вопль радости и заявления глубочайшей любви посыплются от эмигрантов. Vive la Pologne! — они будут кричать, но уже не с укором «царю польскому». Александра Благословенного они именно за то и любили, что ждали от него уничтожения раздела. Александр Освободитель, следуя национальной русской и польской политике, разрубит гордиев узел польского вопроса. Одно слово, одно сожаление в «Journal de St.-Pétersbourg» о разделе Польши — и новый алмаз в его славной короне, и нет более опасности России и всему славянству от Drang nach Osten!!!

Пусть и этих врагов государь сделает своими друзьями, — Чарторыйский, Замойский, Иорданы, Браницкий, Босак лучше ничего не желали и не желают. «Czas» будет на стороне государя, провозгласившего, что вся Русь должна быть русской, а вся Польша польской под его славянским скипетром. Славянство благословит его и еще более к нему привяжется, убедясь, что он будет так же в е р е н короне Вячеслава и святого Стефана, как венцу Мономахов и Пястов, что он ревниво собирает их земли.

3 августа 1867 г.

Вопрос 2.

В том же V отделе «Исповеди» (стр. 91) вы говорите, что русский генеральный консул в Букареште, барон Оффенберг, узнав, что вы в Галаце, объявил подрядчику, мостовщику Ф л а м м у, у которого вы состояли на службе контролером, что если он будет держать при себе такого злодея (scélérat), как вы, то он, барон Оффенберг, п о р в е т с Фламмом в с я к и е с н о ш е н и я и вынужден будет отказать ему в паспорте в Россию, буде таковой ему понадобится.

Объясните, какое влияние имел барон Оффенберг на Фламма и какие сношения он грозил порвать с ним.

Ответ.

Дипломатические агенты вообще не любят, чтоб кто-либо из их знакомых сближался с врагом правительства и прибегал бы к их услугам. Явный приятель эмигранта на их глаза сам чуть не эмигрант: они смотрят на это, как на личное оскорбление, как на неуважение к их званию.

Сношения барона Оффенберга с Фламмом были прежде всего просто приятельские. Но Оффенберг мог ему сильно повредить, потому что он один из членов европейской дунайской комиссии, а Фламм, вечно спекулирующий, берет у нее подряды на поставку камня.

*

Говоря о наших дипломатических агентах в Соединенных княжествах, считаю себя обязанным упомянуть, что молдаване очень обвиняют их в неблюдении русских интересов, в бездействии и в робости. В Молдавии есть огромная и сильная партия сепаратистов, предводимая боярами Роснованом, Муруди и Лацеско (он же издатель газеты «Moldova», органа этой партии). Они добиваются автономической самостоятельности Молдавии и негодуют на интриги, деспотизм и политическую безнравственность валахов, которыми теперь порабощены. Мечтают они о присоединении Молдавии к нам на правах Финляндии, что дало бы нам устье Дуная и географически сблизило бы с болгарами. Зная коротко молдавское простонародье и средний класс, я могу прибавить, что suffrage universel был бы решительно в нашу пользу. «Мы понять не можем, — говорил мне Лацеско, — чего спит ваше правительство и каких неспособных или враждебных ему людей посылает оно нам сюда в консула. Французские и австрийские консула из кожи вон лезут привлечь нас на свою сторону, а мы сами к вам льнем, и ваши агенты даже разговаривать с нами боятся, не говоря уже дать нам какую поддержку или совет. Бестолковость вас политическая поразила, как в ваших западных губерниях, или же правду говорят, что Drang nach Osten Verein заставляет вас поддерживать здесь Гогенцоллернов? Будь мы к Австрии так расположены, как к вам, она давно бы нас поддержала и помогла бы устроить suffrage universel, да это, кажется, и будет, потому что наше доверие и уважение к вам начинают колебаться...».

Присоедини Россия к себе Молдавию, говорят они, Валахия должна была бы последовать ее примеру, а Трансильвания от них бы не отстала. Тогда под русским скипетром были бы все три румунские княжества, каждое с своим наместником. О конституции они не очень хлопочут, сознавая свою крайнюю политическую незрелость.

Есть ли на свете еще правительство, которое имело бы такое влияние, будущность, возможность бескровных завоеваний и представители которого так плохо бы ему служили, что даже наши русские сектанты в Молдавии смеются над ними и обижаются их нерадивостью к русским пользам?

Общий голос винит в этом инородческий состав министерства иностранных дел, враждебный всему восточному, православному и славянскому по семейным и кровным преданиям.

Надеюсь, что правительство оценит мою смелость говорить ему правду в такое для меня время, когда эта правда может нажить врагов моему помилованию. Но я вернулся для того, чтобы быть полезным, и, если мне не позволят далее трудиться для России, пусть хоть собранные уже мною сведения пойдут ей впрок. В Молдавии у меня устроена пропаганда присоединения к России. Я решился действо-

вать *, видя, что если не я, то никто не поддержит русских интересов. Славяне и наши сектанты в Молдавии проповедуют теперь средним и низшим классам о присоединении к России. Остановить теперь эту проповедь нельзя, да, кстати, она ни копейки не стоит нашим финансам. Год-два еще подождать, и Молдавия совершенно будет готова к подчинению себя государю без всяких с его стороны условий, особенно если правительство расположит ее к себе в ее борьбе с евреями, т.-е. с австрийцами и вообще с немцами.

*

Спешу оговорку сделать.

Вина не в личностях наших агентов, — о г. Корчевском, братьях Романенко никто худого не скажет, — а вина в том, что, по нашим порядкам, они чересчур связаны инструкциями, так что всякая самостоятельная деятельность для них невозможна. Руки им развязать надо и не столько требовать от них исполнения разных формальностей, сколько усиления во что бы то ни стало нашего влияния и доказательств, что действия их привлекают к нам симпатии масс.

Вопрос 3.

Кто тот серб, капитан буксирного парохода, который, как вы говорите в V отделе своей «Исповеди» (стр. 91) предложил вам даровое место на пароходе от Галаца до Бавнаша? Когда и по какому случаю вы с ним познакомились? Объясните также, какие свои статьи вы взяли тогда с собой?

Ответ.

Капитан Циоцович, парохода «Austria». Познакомился я с ним через Барба-Яни, а Барба-Яни был с ним знаком потому, что оба они знали русский язык, что в тех краях достаточно, чтобы сделать людей приятелями. Знакомство мое с ним началось вскоре по приезде моем в Галац. Разумеется, я не сообщал ему, что я эмигрант.

Статьи, которые я взял с собой, уничтожены в Вене, перед поездкой в Галичину, из опасности выдать себя и потому, что взгляд, выраженный в них мною, переменился. Это был ряд философских этюдов — «Черные думы» и неоконченный философский роман «Гномы». Сверх того, были разные заметки о славянских божествах, о языке и т. п.

3 августа 1867 г.

Вопрос 4.

На 92-й и 93-й страницах V отдела «Исповеди» вы, между прочим, говорите: «На пароходе было пропасть русских». «Первиледжио составил против меня заговор и познакомил меня с русскими из первого класса. Они очень удивлялись, как это ученый путешествует не на казенный счет, и убеждали послушаться Альфонса Первиледжио», предлагавшего вам место в своей конторе, или воротиться в Россию. «Я назвал себя Ивановым-Желудковым...». Капитан парохода объявил мне от имени русских пассажиров первого класса, что они просят меня принять сделанную ими для меня складчину (рублей восемьдесят)... я отказывался, на меня наступили, потребовали, чтоб я принял деньги во имя самой науки, которой себя посвящаю...».

Комиссия предлагает вам поименовать всех русских пассажиров, с которыми вы познакомились во время плавания по Дунаю от Орсовы до Песта, а также объяснить, было ли им известно, что вы эмигрант, и почему они советовали вам возвратиться в Россию.

Ответ.

Кроме дочери г. Коцебу и генерала Свечина, был еще какой-то меломан г. Кривошеев (или Криворотов), д-р Вагнер из Одессы, какая-то г-жа Новикова и еще несколько дам и мужчин, имена которых я не полюбопытствовал узнать, избегая всякого сближения и всяких

---

* Зачеркнуто: одни.

расспросов. Все они советовали мне возвратиться в Россию, потому что моя поездка казалась им безумием, или же поступить в контору Первиледжио. По тону их разговора со мной мне казалось, что Первиледжио не утерпел намекнуть им, что я замешан в политику, но расспрашивать его или их было неудобно.

Возвратиться в Россию они мне советовали в смысле не продолжать рисковую поездку à la Ломоносов, воротиться домой, не ездить за границу.

3 августа 1867 г.

Вопрос 5.

На 95-й странице V отдела вашей «Исповеди» встречается следующее заявление: «русских оттуда [из Галичины] попросту выгоняют, а в Венгрии даже и колотят, чему я примеры знаю».

Комиссия обязывает вас привести все известные вам примеры подобных поступков с русскими подданными в Галичине и Венгрии.

Ответ.

Профессор Нил Попов и магистр Дювернуа[236] были выгнаны из Венгрии. Один русский офицер, имени которого не упомню, провел там несколько дней в сырой и грязной тюрьме, подвергаясь всякого рода угрозам и грубостям местных властей, по подозрению, что он — агент русского правительства. Недавно трое русских путешественников были арестованы и обысканы в Галичине. В Вене, где хорошо знают мадьярские и польские порядки, мне очень не советовали ехать в эти края, потому что я, хотя и турецкий подданный, а все же русский.

Более подробные сведения об оскорблениях, наносимых русскому имени в Австрии, правительство может получить от нашего посольства в Вене, в архиве которого должны же храниться жалобы ему наших путешественников. Французы и англичане удивляются этой терпеливости нашего правительства, а славяне объясняют ее личной антипатией нашего дипломатического корпуса ко всему славянскому.

*

Как нужно поступить для усиления нашего значения за границей, изложено у меня во II Приложении к моей «Исповеди», которое и присоединяю к этому показанию.

*

В Галичине есть русский консул в Бродах, но и тот не русский. Галичане крайне недовольны его бездеятельностью и невниманием к их положению.

*

Корреспондентам иностранных газет их посольства устраивают связи, представляют их ко двору и т. п., отчего иностранная печать так богата сведениями о заграничных делах. От нашего корреспондента русские посольства, как от чумы, откуриваются.

3 августа 1867 г.

Вопрос 6.

На 97-й странице того же V отдела вы рассказываете, что когда полицейский комиссар в Кракове потребовал вас в свою контору, то вы явились, спрятав предварительно рекомендательные письма в такое место, где их нашли бы не ранее, как года через два, через три, если бы даже и нашли.

К кому и от кого были эти письма? По какой причине и куда вы их спрятали?

Ответ.

От одного издателя сатирической газеты в Вене, г. Ливчака, к его брату, священнику униатской церкви в Кракове (а теперь в Холме), к г. Головацкому, к г. Бачинскому, директору галицкого рус-

ского театра, к г. Дедицкому, издателю «Слова», к каноникам Куземскому и Петрушевичу. Спрятаны они были мною в отхожем месте при станции.

3 августа 1867 г.

Вопрос 7.

На 104-й странице V отдела «Исповеди» вы, между прочим, говорите, что в Бельцах исправник Леонарди оставил вас в своей квартире, так как поздно уже было ехать в Кишинев, и что «со всех сторон сыпались приветствия и обнадеживания».

Объясните, в чем заключались приветствия и обнадеживания и кем они были заявлены?

Ответ.

Я был сильно изнурен и взволнован. Гости г. Леонарди, принимая мою взволнованность за страх, ободряли меня, уверяли, что добровольное возвращение в Россию заглаживает все мое прошлое, что правительство поступит со мною так же рыцарски, как я с ним, что мне не будет отказано в возможности быть полезным России в качестве публициста, что правительство наше бесконечно милостиво и благородно. Со всех сторон я слышал заявления доверия к правительству и сочувствия к государю, все хвалили мой поступок и мою решимость, но краткость пребывания в Бельцах не дала мне возможности сблизиться с тамошними жителями, постоянно бывающими у г. Леонарди, как у самого богатого тамошнего помещика и хлеботорговца. Более всего беседовал я у него с каким-то молдавским бояриным, сильно интересовавшимся последними событиями в Яссах.

11 августа 1867 г.

Вопрос 1.

Как фамилия того нахичеванского купца-армянина, который, как говорите вы на 27-й странице II отдела своей «Исповеди», достал и выслал вам паспорт на имя турецко-подданного Василия Яни? По какому случаю вы с ним познакомились, когда и где просили его достать вам паспорт?

Ответ.

Обыкновенная армянская фамилия, что-то в роде Назарианц или Григорианц. Я его встретил у Трюбнера, куда он зашел, чтобы отыскать русских. Мне любопытно было потолковать с армянином об их делах, а ему хотелось душу отвести с русским и найти переводчика для его сношений в Сити. Мы провели целый день вместе, побывали в нескольких конторах, с которыми он хотел войти в сделку по торговле шелком, и я сильно ему понравился за мое сочувствие к восстановлению в Турции армянской народности от Арарата до Средиземного моря. В этот день и в две недели, что он был в Лондоне, я не раз высказывал ему желание побывать в Азии, пожалел, что у меня нет паспорта, а он, как все его земляки, хвастался влиянием армян на дела мира сего, уверял меня в их всемогуществе и обещал достать мне через них паспорт.

Это было в начале 1861 года. Он уехал на Кавказ, я об нем позабыл, не придавая никакого веса его обещанию, как вдруг он снова появился в январе 1862 года и торжественно вручил мне паспорт.

Больше про него нечего сказать, — это простой торговец, ни приметами, ни развитием не отличающийся от всех прочих наших армян.

Звали его Давид Георгиевич или Георгий Давидович... Роста небольшого, плечистый, глазастый, лет 40 от роду.

11 августа 1867 г.

Вопрос 2.

На 27-й странице того же II отдела «Исповеди» вы заявили, что очень хорошо перезнакомились в Лондоне с представителями либеральной партии, но ни от них, ни от Герцена с Огаревым вы никак не могли добиться, чего именно нужно России. Комиссия предлагает вам поименовать этих представителей либеральной партии.

1867 года іюля 31-го дня въ Высочайше учрежденной въ С.Петербургѣ Слѣдственной Комиссіи государственный преступникъ Василій Ивановъ Кельсіевъ на предложенные ему вопросы объяснилъ

Вопросы	Отвѣты
1. Въ дополненіе и разъясненіе 2-го пункта показаній отъ 24-го сего іюля, Высочайше учрежденная Слѣдственная Комиссія предлагаетъ вамъ объяснить: Какъ имя и отчество бывшаго попечителя харьковскаго университета Дубовицкаго, откуда онъ родомъ, кто его родные, какихъ онъ лѣтъ и какія его примѣты? Въ которомъ году и съ какою цѣлью Дубовицкій пріѣзжалъ въ Лондонъ? съ кѣмъ онъ тамъ жилъ? Какимъ образомъ онъ познакомился съ Герценымъ и [illegible] часто-ли вы съ нимъ	6. Дубовицкій [illegible] Весной 1862, передъ [illegible] Лондонской Всемирной Выставки [illegible] Я [illegible]

СТРАНИЦА «ОТВЕТОВ» В. И. КЕЛЬСИЕВА НА «ВОПРОСЫ» СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Архив Революции, Москва

Ответ.

Представителями либеральной партии я называю наших лондонских посетителей; кого мог, я всех их поименовал, в одном из предшествовавших показаний.

11 августа 1867 г.

Вопрос 3.

На 33-й странице II отдела «Исповеди» вы говорите: «Кто у нас не думал в те времена о тайном обществе, лучшие умы трудились над этим, не мы же одни с Серно-Соловьевичем измышляли устав, — и все ничего не вышло. Кружки человек в десять, много в пятнадцать, возможны, и их было — да, я думаю, и теперь есть — множество».

Объясните: кто еще, кроме вас и Николая Серно-Соловьевича, трудился над уставом тайного общества, и из каких лиц состояли известные вам кружки.

Ответ.

Трудно теперь припомнить, кто именно высказывал эту потребность. Я говорил по впечатлению, оставленному во мне тем временем, когда каждый из бывавших у Герцена сожалел, что у нас нет тайного общества, когда я не слышал почти ни одного слова за правительство. Будь это исключительным явлением, я, разумеется, больше бы помнил, но оно было для меня таким же общим, как для живущего теперь в России патриотические заключения, речи, адресы и т. п.

Говорил я с Обручевым, с Михайловым, с Касаткиным.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Кельсиев обращается к гр. Шувалову Петру Андреевичу (1827—1889), назначенному в 1866 г. после покушения Каракозова, шефом жандармов и главным начальником III Отделения. На этом посту Шувалов оставался до 1873 г. Влиятельность Шувалова в самых высших сферах выразилась в кличке, данной ему Герценом — «Петр IV». Обращение писано в Кишеневской тюрьме.

2 Здесь, как и в конце «Исповеди», Кельсиев ошибочно говорит о 19 мая. В действительности он явился на скулянскую таможню 20 мая, как об этом и сказано в «Пережитом и передуманном» (стр. 85). И в «Исповеди» и в «Пережитом и передуманном» Кельсиев называет днем своей сдачи субботу, но в 1867 г. суббота приходилась на 20-е число, а не на 19-е.

3 Ветошников Павел Александрович (род. около 1831 г.) — сын чиновника, учился в Петербургском коммерческом училище, где был товарищем Кельсиева. Служил в министерстве внутренних дел, затем, выйдя в отставку, поступил в торговый дом Фрум, Грегори и К°. Весной 1862 г. был в Лондоне у Герцена, уезжая в Россию, взял для передачи письма от Герцена, Огарева, Бакунина и Кельсиева. Арестован в начале мая 1862 г. при возвращении из-за границы. Найденные при нем письма дали возможность привлечь к делу о сношениях с лондонскими пропагандистами целый ряд лиц. Ветошников по этому делу был приговорен к восьми годам каторги, с ходатайством о замене каторжных работ ссылкою на поселение в Сибирь. Ходатайство суда было удовлетворено. Найденные у Ветошникова пять писем Кельсиева (к Н. Ф. Петровскому, И. И. Шибаеву, Н. М. Владимирову, Н. А. Серно-Соловьевичу и О. М. Белозерскому) напечатаны в «Очерках освободительного движения шестидесятых годов» Мих. Лемке, стр. 29—39. Письма эти совсем не говорят о том, чтобы Кельсиев уже в 1862 г. был противником революции.

4 Русская этнографическая выставка была открыта 23 апреля 1867 г. в Москве, в здании манежа, и продолжалась до 18 июня. Она была связана со славянским съездом в Москве, происходившим 16—26 мая. На этом съезде, конечно, не было представителей Польши. Сведения о выставке и съезде, текст произносившихся речей и пр. можно найти в книге «Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 г.» (М., 1867). Герцен отозвался на эти официальные славянские торжества несколькими статьями в «Колоколе»: «Славянская агитация» (лист 241), «Этнографическая агитация в Москве» (лист 242), «Мазурка» (лист 243, «Из письма к М. Бакунину» (лист 244—245). Характерен отзыв Тургенева о московских проявлениях славянолюбия, данный им в письме к Герцену от 4 июня: «Представь себе, я даже радуюсь, что мой ограниченный западник Потугин [из романа «Дым». — *М. К.*] появился в самое время этой всеславянской пляски с присядкой, где Погодин так лихо вывертывает па с гармоникой под осеняющей десницей Филарета» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», с примечаниями М. Драгоманова, Женева, 1892 г., стр. 195).

5 Список статей Кельсиева см. в приложении.

[6] Санфедисты — члены шаек, организованных в Неаполе в первые годы XIX в. кардиналом Руффо. Они вербовались из невежественного населения деревень, проникнутого озлоблением к городам с их либеральным духом. Шайки Руффо назывались «армией веры»; члены их были защитниками принципа светской власти пап. Они действовали преимущественно такими средствами, как убийство политических противников, грабежи, поджоги и пр. Санфедисты были ожесточенными врагами карбонариев (Сорен Эли, История Италии, СПБ., 1898 г., стр. 43).

[7] Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882), Голицын Дмитрий Дмитриевич (1770—1841), Свечина Софья Петровна (1782—1859), Балабин Е. П. — представители русского дворянства, увлекшегося католицизмом.

[8] Barbareum — распространенное название для «Императорской генеральной греко-католической семинарии», учрежденной в 1774 г. императрицей Марией-Терезией при церкви св. Варвары в Вене для униатов всей монархии. Эта семинария имела большое значение для униатской церкви в Австро-Венгрии. Почти все видные представители униатского духовенства были воспитанниками этого заведения.

[9] Трюбнер Николай (1817—1884) — английский издатель, немец по происхождению. Он широко развил свою издательскую деятельность, укрепив связи с европейским континентальным и американским книжным рынками. Сыграл большую роль в издании и распространении сочинений Герцена и многих других русских книг.

[10] Fulham — предместье Лондона.

[11] Кобден Ричард (1804—1865) — английский экономист и политический деятель. Горячий сторонник свободы торговли, вождь фритредеров. В 1838 г. основал «Лигу борьбы против хлебных законов», направленную против крупных землевладельцев. С 1847 г. несколько раз избирался в парламент, где вел борьбу за всеобщее разоружение. — Брайт Джон (1811—1889) — английский политический деятель, друг и соратник Кобдена. Вместе с ним был основателем вышеназванной «Лиги» и вождем фритредерского движения. С 1843 г. несколько раз избирался в парламент, где являлся одним из признанных лидеров либеральной партии. Отождествление деятельности Герцена и Огарева с деятельностью чистых либералов Кобдена и Брайта, конечно, неправильно, несмотря на все срывы издателей «Колокола» к либерализму. Может быть, в данном случае Кельсиев не столько выражал свое глубокое убеждение, сколько старался несколько «примирить» правительство с Герценом и Огаревым.

[12] «Центральный демократический европейский комитет единения партий без различия национальностей», организованный в Лондоне в середине 1850 г. Первоначально руководство комитетом принадлежало Ледрю-Роллену, Мацини, А. Руге, А. Дарашу (Польша). В дальнейшем Руге заменил Струве, Дараша — Ворцель, и прибавились Кошут и Братиано. Первая прокламация была выпущена комитетом в середине 1850 г. Комитет обращался в своих воззваниях как ко всей европейской демократии, так и к отдельным нациям. Комитет вскоре закончил свое существование, не оказавши никакого влияния на ход политических событий.

[13] В ноябре 1848 г. папа Пий IX бежал из Рима после того, как его реакционный министр Росси был убит в палате. Учредительное собрание на первом же заседании своем, 9 февраля 1849 г., провозгласило республику и объявило светскую власть папы в Риме отмененною. Тогда на помощь папе пришел президент Французской республики Людовик-Наполеон, когда-то заигрывавший с карбонариями, а теперь старавшийся вызвать расположение к себе клерикальных и консервативных кругов. Несмотря на противодействие значительной части Законодательного собрания, Наполеон отправил в Рим войска. 3 июля 1849 г. Рим был взят французами. После этого все меры, принятые недолго просуществовавшим республиканским правительством, были отменены.

[14] «Dio e popolo!» («Бог и народ!») — известный лозунг Маццини.

[15] «Italia fara da se!» («Италия справится сама!» — т. е. освободит себя от Австрии без посторонней помощи). Таков был в 30-е и 40-е годы общий лозунг Италии — и революционеров, и умеренных.

[16] Давиль — французский врач, высланный Наполеоном из Франции после декабрьского переворота. Имел в Лондоне хорошую врачебную практику. В 1861 г. психически заболел, в следующем году увезен во Францию и помещен в сумасшедший дом, где вскоре умер. Был в хороших отношениях с Герценом и состоял постоянным врачом его семьи. Алтгауз (а не Альтмауэр, как ошибочно назвал его Кельсиев) Фридрих (1829—1897), немецкий историк литературы. Попав в эмиграцию, был в Лондоне профессором немецкого языка и литературы. Написал несколько статей о Герцене.

Мейзенбуг Мальвида-Амалия фон (1816—1908) — немецкая писательница. По рождению связанная с придворно-аристократическими кругами, она горячо приветствовала революцию 1848 г. и была в сношениях с рядом ее деятелей. Окончательно порвала с семьей и сделалась преподавательницей высшей женской школы в Гамбурге. В 1852 г., во избежание ареста, уехала в Англию. Жила в Лондоне уроками, переводами и другими случайными заработками. Имела много друзей среди

немецкой демократической эмиграции. В 1853—1856 гг. была воспитательницей дочерей Герцена и жила у него в доме. Оставила его дом после приезда Н. А. Огаревой, с которой она решительно не сошлась. В 1856 г., по просьбе Герцена, взяла на себя воспитание его дочери Ольги и поселилась с нею в Париже. Заменила Ольге Герцен мать, жила с нею во Франции и Италии. Находилась в постоянной переписке с Герценом. Напечатала «Воспоминания идеалистки» в трех томах, в значительной степени посвященные отношениям с Герценом и его семьей.

[17] Пульский Франц (1814—1897) — венгерский политический деятель и литератор. Принимал участие в венгерской революции 1848 г., после поражения которой эмигрировал в Англию. Был в эмиграции ближайшим сотрудником Кошута и сопровождал его в агитационной поездке в Америку. В 1860 г. поселился в Италии, в 1866 г. получил амнистию и возвратился в Венгрию. Поддерживал политику умеренно-либеральной буржуазии и стоял за соглашение с Австрией. После возвращения на родину вообще больше занимался археологическими исследованиями, чем политикой.

[18] Липованы (иначе Тилипоны) — название, применявшееся к русским старообрядцам, жившим вне пределов России — в Буковине, Румынии, Восточной Пруссии — а также и на окраинах России, как Прибалтийский край и Польша.

[19] Газета «Le Nord» (полное название: «Le Nord, journal quotidien. Edition de la poste») выходила в Брюсселе с 1 июня 1855 г. Первым ее редактором был Н. П. Поггенполь. Газета имела целью знакомить западно-европейское общество с русскими делами в желательном для русского правительства духе. Она существовала на правительственную субсидию; первое время ее финансировал также известный откупщик В. А. Кокорев. Сотрудниками в разное время были Н. И. Греч, Я. Н. Толстой, Д. Н. Толстой, М. П. Погодин, Ю. Маврин, В. В. Скрипицын и др. Руководители газеты старались уверить всех, что «Le Nord» — совершенно независимый «орган русского народа», но рептильный характер издания был разгадан всеми с самого начала.

[20] Николай Александрович — старший сын Александра II (1843—1865). После его смерти наследником стал следующий за ним брат — Александр Александрович, будущий Александр III.

[21] В 1865 г. в реакционной русской прессе появился ряд статей об «агентстве» Герцена в Тульче, занимающегося, между прочим, устройством с революционной целью поджогов в России. См. например, «Русский Инвалид» от 6 августа, «Виленский Вестник», № 170, и особенно «Московские Ведомости», поместившие несколько статей на эту тему. Важнейшая из них — в № 183, где сообщаются разные подробности о братьях Кельсиевых, как главных деятелях и организаторах «Тульчинского агентства». Герцен ответил на эти обвинения рядом негодующих статей и заметок в «Колоколе» («Агентство Герцена в Тульче и «Московские Ведомости», л. 204; «Первая ретирада», там же; «Письмо к издателю «Отголосков» и «Ответ на предложение «Московских Ведомостей», л. 205; «Лжецы», л. 206; «Агентство в Тульче», л. 207 и др.). В последней заметке говорится: «То, в чем мы не сомневались ни одной минуты, подтвердилось письмом В. И. Кельсиева. Само собой разумеется, что В. Кельсиев столько же был удивлен, как и мы сами, прочитав клевету русских шпионов о не знаю каком участии его в поджигательствах». Это письмо Кельсиева неизвестно.

[22] Ворцель Станислав-Габриэль, граф (1799—1857) — деятель польского революционного движения. Происходил из богатой аристократической семьи. Принял участие на Волыни в восстании 1830 г.; был избран депутатом в сейм. После взятия Варшавы русскими войсками эмигрировал. В Париже сначала примкнул к аристократической части эмиграции, но постепенно сближался с демократами и окончил полным разрывом с аристократической партией. Имел сношения с тайными французскими республиканскими обществами. В 1833 г. выслан из Франции, в 1934 г. — из Бельгии, после чего поселился в Лондоне. Принимал участие в организации первой польской социалистической группы «Люд польский»; социализм Ворцеля носил утопический характер, имел религиозную и филантропическую окраску. В 1840 г. Ворцель вступил в более широкую демократическую организацию «Объединение», став во главе ее социалистического крыла. В 1845 г. переехал в Брюссель; с 1849 г. до конца жизни вновь жил в Лондоне. Был членом «централизации» (т. е. ЦК) «Польского демократического общества»; проводил линию последовательного демократизма и разрыва с «белыми». Был в ближайших отношениях с руководителями международной демократической эмиграции. Оказал большую помощь Герцену при организации последним «Вольной русской типографии». Герцен посвятил Ворцелю в «Былом и думах» несколько исключительно теплых страниц.

[23] Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857) — эмигрант. Учился в Александровском лицее, вышел оттуда в 1839 г., не окончив курса. Был дружен с петрашевцем Спешневым. Посещал в середине 40-х годов собрания у Петрашевского, но сколько-нибудь заметной роли там не играл. В 1849 г. был арестован по делу Петрашевского, но вскоре освобожден. В 1850 г. выехал за границу и больше не вернулся в Россию. Был сначала очень близок с Герценом, затем у них начались

недоразумения, приведшие к полному разрыву. Написал в 1854 г. несколько прокламаций, изданных Герценом: «Первое видение святого отца Кондратия», «Второе видение святого отца Кондратия», «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон», «Емельян Пугачев честному казачеству и всему русскому люду вторично шлет низкий поклон». Статья его «Что такое государство» напечатана в 1-м выпуске «Полярной Звезды» (1855 г.).

24 Кельсиев не знал Энгельсона лично: он поселился в Лондоне тогда, когда Энгельсона уже не было в живых. Он судил о нем по его статьям да, вероятно, по упоминаниям о нем Герцена и близких Энгельсону лиц. В связи с пренебрежительным отзывом Кельсиева об Энгельсоне, интересно отметить, что Герцен в своем позднейшем очерке «В. И. Кельсиев» находил много сходства между этими двумя своими сотрудниками: «...Он мне напоминал... всем существом своим Энгельсона, — и, действительно, он очень многим был похож на него... Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей шеренге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился до тла, читал всякую всячину, и надо всем ломал довольно бесплодно голову» (Герцен, т. XIV, стр. 401).

25 По поводу странной идеи Энгельсона, пропагандировавшей в прокламации сожжение трупов, Герцен писал: «Он зацепил тут церковные постановления (похороны), — не до того теперь дело, чтоб учить уму-разуму, а учить злобе да непослушанию...» (письмо к М. К. Рейхель, — Герцен, т. VIII, стр. 11).

26 Совершенно неверно, что Герцен печатал статьи Энгельсона нехотя. Уже сильно испортившиеся их личные отношения не мешали тому, что Герцен находил в его прокламациях, рассчитанных на самые широкие массы, большие достоинства. «Первое видение Кондратия» он называл шедевром. Несмотря на некоторые критические замечания, Герцен находил очень хорошей вещью и «Второе видение». По поводу первого письма Пугачева Герцен находил, что оно хорошо, хотя об ассигнациях сказано много, а о крепостном состоянии мало: «Конец и начало очень красивы». Герцен просил даже передать Энгельсону совет написать катехизис для мужика: «у него решительно талант языкомерзия антихристовского» (Герцен, т. VIII, стр. 11). О статье Энгельсона «Что такое государство» Герцен писал в «Полярной Звезде»: «Писатель необыкновенного таланта и резкой диалектики прислал нам, только-что разнесся слух о «Полярной Звезде», превосходную статью под заглавием «Что такое государство». Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора».

27 Воззвание «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» напечатано в «Вольной русской типографии» особым листком с датою 20 июля 1853 г. В том месте, о котором упоминает Кельсиев, Герцен говорит, обращаясь к дворянам: «Мы еще верим в вас, — вы дали залоги, наше сердце их не забыло, — вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим, для того, чтобы сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтобы сказать им: «Ну, братцы, к топорам теперь! Не век вам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе: постоимте за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших, довольно обломали палок об ребра стариков... Нутка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!».

28 Кельсиев не точно излагает этот пункт расхождения между Герценом и Энгельсоном. Последний во время Восточной войны предлагал, для ускорения победы над Николаем I, сбрасывать с воздушных шаров свои прокламации против царя. Герцен указывал ему не только на химеричность этой затеи, но и на политическую неблаговидность активной поддержки императора Наполеона III. Энгельсон остался при своем и обратился даже с официальной запиской к французскому военному министру, излагая свой проект и предлагая французскому правительству снабжать его соответственными прокламациями. Записка осталась без последствий.

29 На обложке «Полярной Звезды» были помещены портреты пяти казненных декабристов.

30 Герцен неоднократно указывал на инициативную роль Огарева в деле основания «Колокола». Например, в статье по поводу десятилетия «Вольной русской типографии» он говорит: «В начале 1857 года Огарев предложил издавать «Колокол» (Герцен, т. XVI, стр. 134).

31 Парижским миром закончилась Восточная война 1853—1856 гг. Он был заключен 30 марта 1856 г. Россией — с одной стороны, Францией, Англией, Турцией и Сардинией — с другой, при участии Австрии и Пруссии.

32 Сведений об офицере Казакове по другим источникам не имеется. Не исключена возможность, что в данном случае Кельсиев перепутал или намеренно измыслил фамилию.

33 В 133-м листе «Колокола» (от 15 мая 1862 г.) было помещено заявление Герцена и Огарева, датированное 12 мая, что они готовы учредить при редакции «Колокола» сбор денег, «предназначенных на общее наше русское дело», беря на

себя обязанность не только хранить деньги, но и распределять их. Капитал, составленный из этих пожертвований, и является «общим фондом». Тратился он исключительно на помощь нуждающимся эмигрантам. В 241-м листе «Колокола» Герцен поместил объявление о прекращении с 15 мая 1867 г. всяких сборов в «общий фонд» при «Колоколе».

[34] П. С. Усов с 1860 г. был издателем-редактором газеты «Северная Пчела», прекратившейся в 1864 г.

[35] Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — известный литературный деятель. Сын священника, учился в саратовской духовной семинарии. По окончании в 1851 г. юридического факультета Петербургского университета был преподавателем в военных учебных заведениях в Петербурге. В 1855 г. был «по высочайшему повелению» уволен от преподавания в Пажеском корпусе за неблагонадежность, а в 1856 г. «за вредный образ мыслей» ему воспрещено было служить по учебной части. В середине 1857 г. поехал в Лондон; там сблизился с Герценом, был одно время учителем его дочерей, оказывал ему некоторую помощь в его издательской деятельности, например, перевел с английского «Записки Е. Р. Дашковой», изданные Герценом. После жизни в Лондоне слушал лекции в Сорбонне в Париже. Вернувшись в Россию, стал в 1860 г. редактором, а потом и издателем радикального журнала «Русское Слово»; помещал в нем свои статьи. После закрытия в 1866 г. «Русского Слова» Благосветлов до конца жизни был издателем и негласным редактором радикального журнала «Дело».

[36] Герцен получил 9 октября 1861 г. два письма, в которых неизвестный его доброжелатель предупреждал, что III Отделение решилось «похитить его или убить». По этому поводу Герцен в 109-м листе «Колокола» (от 15 октября) поместил статью «Бруты и Кассии III Отделения», написанную в форме письма к русскому послу в Лондоне барону Бруннову. По поводу похищения Герцен говорит: «Первое из этих предположений слишком смешно, чтобы быть возможным. Рассудите, барон, сами, что я за Прозерпина с бородой и что Шувалов за Плутон с аксельбантом?» Остальная часть статьи посвящена угрозе смерти; автор говорит, что если с ним что-нибудь случится, то все обвинят в этом русское правительство. Статья эта вызвала много насмешек по адресу Герцена во враждебной ему части прессы.

[37] Кельсиев получил урок в семье Герцена; он занимался со старшей дочерью Герцена, Натальей.

[38] Бонапарт Луи-Люсьен (1813—1891) — сын Люсьена Бонапарта, племянник Наполеона I. В 1849 г. выбран членом Законодательного собрания, в 1851 г. поддерживал политику своего двоюродного брата, Луи-Наполеона Бонапарта, сделавшегося в 1852 г. французским императором. В награду он получил от Наполеона III звание сенатора и титул принца императорского дома. При империи не играл никакой политической роли, после крушения Наполеона III уехал в Англию. Люсьен Бонапарт увлекался вопросами лингвистики, писал исследования о языке басков, о шотландских и английских диалектах и пр. (см. «Langue basque et langue française», Londres, 1862).

[39] «Песня песней царя Соломона» (первый перевод на русский язык, Лондон, 1858 г.).

[40] «Пятикнижием» называются в совокупности пять библейских книг: книга Бытия, Исход, Левит, книга Числ и Второзаконие. Перевод Кельсиева вышел в издании Трюбнера в 1860 г. Титул книги таков: «Библия. Священное писание ветхого и нового завета, переведенное с еврейского, независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся в греческом и славянском переводах. Отдел первый, заключающий в себе Закон, или Пятикнижие. Перевод Вадима». С предисловием переводчика.

[41] «Православное Обозрение», 1860 г., т. III, стр. 381—391. «Об издании библии в русском переводе в Лондоне». Подписано: Русский.

[42] «Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)». Лондон, «Вольная русская типография», 1860 г. С предисловием И. А., т.-е. иеродиакона Агапия Гончаренко.

[43] Гончаренко Агапий (Андрей) — украинец по происхождению, бывший дьякон при русской миссии в Афинах, эмигрант. В 1860 г. не поехал в Россию по вызову начальства, а явился в Лондон в мае этого года и стал наборщиком в типографии Герцена. Оставил типографию в сентябре 1861 г., «наделав разных сплетен и гадостей», как писал Герцен в письме к П. В. Долгорукому. После тех его скитаний, о которых упоминает Кельсиев, он перебрался в Северо-Американские Соединенные Штаты. В 1868—1873 гг. редактировал газету «Alasca-Herald» на английском и русском языках. В 1873 г. издавал в Сан-Франциско русскую газету «Свобода», ничтожную по своему содержанию. Умер 5 мая 1916 г. в Калифорнии. Существует его автобиография, изданная в 1894 г. в Коломые, «Споминки А. Гончаренко, украинского козака-священника». См. также его автобиографию в газете «Прогресс» (Нью-Йорк), 1892, №№ 15 и 18.

[44] Гагарин Иван Сергеевич, — князь (1814—1882), иезуит, писатель. Сын члена Государственного Совета. В молодости некоторое время служил по дипло-

матической части. В 1843 г. принял католичество и вступил в орден иезуитов. Написал на французском языке ряд книг в защиту католичества и иезуитов. Заветною его мыслью было соединение восточной церкви с западною. Учредил славянскую библиотеку в Париже. Поддерживал сношения с Герценом и своими прежними русскими знакомыми. В течение довольно долгого времени неосновательно подозревался в том, что был автором известных анонимных писем, приведших Пушкина к роковой дуэли.

[45] Долгоруков Петр Владимирович — князь (1816—1868) — писатель, эмигрант. В 1843 г. уехал за границу и напечатал под псевдонимом гр. Альмагро «Notice sur la principales familles de Russie», где разоблачал русские аристократические роды. По требованию правительства вернулся в Россию и был сослан в Вятку. В 1859 г. вновь тайно уехал за границу и в 1860 г. выпустил книгу «La verité sur la Russie» (на русском языке в 1861 г.: «Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым»). Отказался вернуться на родину по требованию правительства и был объявлен изгнанным из России. Издавал несколько политических журналов и газет («Будущность», «Правдивый», «Листок»). Выпустил много книг на французском языке (по-русски, еще до эмиграции: «Российский родословный сборник» и «Сказание о роде князей Долгоруковых»). В 1934 г. вышло собрание его статей под заглавием «Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта» (М., изд. «Север»). В политическом отношении был поклонником дворянской конституционной монархии. Чисто дворянские тенденции Долгорукова резко отличали его от прочих эмигрантов; в его публицистике было много сумбурного, как и в его поведении. В последние годы очень много вероятия получило давно высказанное предположение, что именно Долгоруков был автором безыменных писем, вызвавших дуэль Пушкина с Дантесом.

[46] Очевидно, статейка «Гонение на крымских татар» в 117-м листе «Колокола» (22 декабря 1861 г.), стр. 973—977.

[47] А. П. Щапов. Имеется в виду книга: «Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII в. и в первой половине XVIII в. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола», Казань, 1859 г. Другая известная книга Щапова о расколе «Земство и раскол» вышла уже позже, в 1862 г. в издании Д. Е. Кожанчикова.

[48] «Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Выпуски I—IV, Лондон, «Вольная русская типография». Первый выпуск вышел в 1860 г., второй — в 1861 г., третий и четвертый — в 1862 г.

[49] Мельников Павел Иванович (1819—1883) — беллетрист (псевдоним — Андрей Печерский), автор известных романов «В лесах» (1871—1875) и «На горах» (1875—1881), исследователь раскола, державшийся официальной точки зрения. Как чиновник, славился суровыми преследованиями раскольников и сектантов.

[50] «Записка о русском расколе, составленная Мельниковым для в. к. Константина Николаевича по поручению Ланского (1857)», — «Сборник», вып. I, стр. 167—198.

[51] «Синаксарь о подвигах страдальцев Покровского монастыря, Климовского, Зыбковского и Злынского посадов, совершившихся в 1791 году. По переселении из Вятки», — «Сборник, вып. II, стр. 221—244.

[52] Статья «Раскол», как орудие враждебных России партий», за подписью Г. была помещена в «Русском Вестнике», 1866, №№ 9 и 11, 1867, №№ 4 и 5. Автор — известный раскиловед Н. И. Субботин. Статья эта в 1867 г. вышла отдельным изданием, с фамилией автора.

[53] Шафарик Павел-Иосиф (1795—1861), словак, один из родоначальников сравнительного изучения славянских языков. Много содействовал росту национального движения в славянских землях. Выступал на съезде славян в Праге в 1848 г. — Гакман Евгений, буковинский митрополит, занимавший кафедру в Черновицах. Сообщал Н. И. Надеждину разные сведения о заграничном старообрядчестве, о чем Надеждин и упоминает в своей книге.

[54] Здесь проявляется в высшей степени характерная для Кельсиева склонность к увлечению и к созданию широчайших планов, за какую бы новую деятельность он ни брался.

[55] Old fellows — члены тайного общества благотворительности и взаимопомощи, возникшего в Англии в первой половине XVIII в. По своей обрядности общество имело много общего с масонством; девиз его — «Дружба, любовь и правда». В 1850 г. общество легализировалось. Цели общества: умственное и нравственное усовершенствование, развитие филантропических стремлений, помощь бедным, поддержка молодых людей, стремящихся к образованию, и пр. Общество, располагающее большими средствами, существует и поныне в разных странах (преимущественно в Англии и Америке).

[56] Collaborative Associations — производительные товарищества.

[57] Книга «Исследование о скопческой ереси» была написана в служебном порядке известным Н. И. Надеждиным (1804—1856), бывшим редактором «Телескопа». Она была напечатана в 1845 г. по особому распоряжению министра внутренних дел

и в продажу не поступала. К исследованию были приложены таблицы рисунков, тоже воспроизведенных в лондонском издании.

[58] «Собрание постановлений по части раскола». Том первый: Постановления министерства внутренних дел. Выпуски I—II. Лондон, «Вольная русская типография», 1863.

[59] Книжка «Вероисповедание духовных христиан, обыкновенно называемых молоканами» напечатана в Женеве, в «Вольной русской типографии» в 1865 г. На основании некоторых архивных данных, возможно думать, что автором ее был некий Н. А. Шевелев. Этот Шевелев участвовал в составлении книжки «Землеописание для народа», Женева, «Вольная русская типография», 1868.

[60] Жорж Санд, Похождение Грибуля (перевод с французского), с предисловием Искандера, Лондон, «Вольная русская типография», 1860.

[61] Чернецкий Людвиг — был управителем типографии Герцена с самого ее основания. В 1863 г. в предисловии к сборнику, посвященному десятилетию «Вольной русской типографии», Герцен писал: «Помощь, которую вы мне сделали упорной, неустанной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это»... В 1865 г. Чернецкий переехал вместе с Герценом из Лондона в Женеву. В 1866 г. Герцен передал ему в собственность перевезенную из Лондона типографию; в ней продолжали печататься герценовские издания. В 1872 г., по смерти Герцена, Чернецкий был принужден продать типографию, так как дела ее шли очень плохо. Умер Чернецкий 18 июня 1872 г.

[62] Тхоржевский Станислав, польский эмигрант. Был вынужден оставить Россию под угрозой ареста в 1845 г. В начале 50-х годов поселился в Лондоне и открыл там небольшую книжную лавку для нужд польской эмиграции. Вместе с Чернецким был ближайшим помощником Герцена по изданию и распространению русской зарубежной литературы. В 1865 г. переехал в Женеву вместе с Герценом и поселился там в его доме. После смерти Герцена не переставал поддерживать связи с его семьей. Умер в Женеве, повидимому, в 80-е годы.

[63] Дубровин — под этим именем скрывается Михаил Степанович Бейдеман, о трагической судьбе которого рассказал П. Е. Щеголев в своей работе «Таинственный узник». Бейдеман, дворянин по происхождению, родился около 1840 г. в Бессарабской губ. По окончании Константиновского военного училища произведен в поручики драгунского полка. Летом 1860 г. эмигрировал из России через Финляндию и Швецию. Явился в Лондон в конце 1860 или начале 1861 г., был наборщиком в типографии Герцена. В июле 1861 г. был арестован в Улеаборге при попытке возвратиться в Россию. Открыл свое имя и 23 июля был заключен в Алексеевский равелин. При нем найден подложный манифест от имени Константина, возбуждавший крестьян к восстанию. Сидя в равелине, подавал заявления, поражавшие своей смелостью; сообщал о бывшем у него намерении цареубийства, от чего, впрочем, потом отказался. По личному распоряжению Александра II от 27 октября 1861 г. оставлен в равелине «впредь до особого распоряжения». Замурованный в равелине на долгие годы, Бейдеман, в конце концов, сошел с ума. 3 июля 1881 г. переведен в больницу для умалишенных в Казани, где и умер 5 декабря 1887 г.

Остается под вопросом, было ли известно в окружении Герцена подлинное имя Бейдемана. Во всяком случае, при своем появлении в Лондоне он назвался Дубровиным. В письме к И. С. Тургеневу от 4 февраля 1861 г. Герцен просил его навести справки о бывшем гвардейском офицере Н. П. Трубецком, добавляя: «Есть и еще офицер, с неба свалившийся: Дубровин, тоже экспатриировавшийся. Естественно, что Тургенев ответил ему: «О Дубровине никто ничего не знает» (Герцен, т. XI, стр. 29—30).

В. И. Кельсиев довольно подробно говорит о Бейдемане-Дубровине еще в другом месте — в статье «Из рассказов об эмигрантах» («Заря», 1869 г., III). Он называет его здесь Буровиным (переделка фамилии Дубровин). Статья эта, оставшаяся неиспользованной лицами, писавшими о Бейдемане, заключает в себе некоторые детали его биографии, которые мы здесь и приводим. Буровин был, «как будто», сын исправника, родился где-то около Очакова. Окончил курс в кишиневской гимназии, «потолкался около Киевского университета» и переехал в Петербург. По окончании курса в константиновском военном училище, был произведен в офицеры драгунского полка. Бейдеман только что сшил себе мундир и фактически не был еще офицером, так как, испугавшись репрессий за какое-то перехваченное его письмо, сбежал через Финляндию. Шел пешком через Швецию, подвергался задержанию в Оребро. По прибытии в Лондон на другой же день стал наборщиком в типографии; набирал «Колокол» и «Сборник правительственных сведений о раскольниках». Объявил, что едет в Италию к Гарибальди, но, доехавши до Булони, не был пропущен во Францию и вернулся в Лондон. Стосковавшись по родине, хотел тайно вернуться в Россию, чтобы заняться пропагандой среди раскольников, от чего Кельсиев его отговаривал. Но Бейдеман остался тверд и решил воспользоваться старым своим путем, через Торнео, чтобы потом пробраться в какие-нибудь северные скиты. Он проехал в Гуль, сел там на пароход и от-

правился в Берген, — без копейки денег и без паспорта. «Что с ним случилось с тех пор, не знаю; но я слышал, что он погиб...» (стр. 89). Нет никакого сомнения, что все здесь рассказываемое может относиться только к М. С. Бейдеману.

64 Сведения о князе Николае Платоновиче Трубецком крайне недостаточны и отрывисты. Он был поручиком гвардейской артиллерии, состоял адъютантом герцога Мекленбургского. Уволен от службы в чине штабс-капитана. В конце 1860 г. явился в Лондон. Был около года наборщиком в «Вольной русской типографии». На положение эмигранта, повидимому, не переходил. В конце 1861 г. арестован в Турине, как подозрительное лицо, и посажен в тюрьму; в январе 1862 г. освобожден. По сведениям М. К. Лемке, источника которых он не указывает, «вскоре вернулся в Россию, где в 1862 г. принимал участие в организации «Земли и Воли», помогая Падлевскому (Герцен, т. XI, стр. 30). В 1866—1867 гг. жил за границей, поддерживая сношения с Герценом; намеревался ехать в Россию (повидимому, уехал). В апреле 1872 г. был прислан по этапу в Орел из Севска, как бродяга. К этому остается добавить, что по сведениям Лемке, во время пребывания за границей в начале 60-х годов оказывал помощь Гарибальди, обучая его артиллерийскому делу.

65 К тому, что сообщает Кельсиев об Эбермане, можно добавить не много. Эберман Владимир Михайлович — сын английского подданного, родился в 1842 г. Учился в нижегородской гимназии, откуда в марте 1861 г. уволен по прошению. Живя в Тульче, учил детей, служил в лавке и даже в трактире. Весной 1866 г. уехал без разрешения в Россию. В 1869 г. было постановлено выслать его из России. В августе того же года доставлен в Ригу для отправления в Англию, но английский консул решительно отказался способствовать его возвращению. Эберман просил, чтобы его оставили в России; III Отделение в январе 1870 г. ответило, что не имеет к этому препятствий. В своих показаниях после ареста Эберман заявил, что в Лондоне он часто бывал у Кельсиева, но совсем не бывал у Герцена.

66 Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872) — музыкант-дирижер. Устроивши хор из своих крепостных, в 40-е годы давал концерты в Петербурге и Москве. Был тамбовским губернским предводителем дворянства. В 1858 г., будучи за границей, познакомился с Герценом. За его сношения с Герценом, ставшие известными III Отделению, он по возвращении в Россию был лишен придворного звания, устранен от должности предводителя и выслан под надзор полиции в город Козлов. В феврале 1860 г. с чужим паспортом уехал за границу. Отказался исполнить требование правительства о возвращении, после чего был объявлен изгнанником навсегда из России с конфискацией имений. В Лондоне Голицын устраивал концерты, пользовавшиеся большим успехом. Испытавши крайнюю нужду и не имея принципиальных побуждений к эмиграции, Голицын просил у правительства позволения вернуться в Россию и получил его, с обязательством жить под надзором полиции в Ярославле. Позже получил разрешение вновь устраивать концерты. В 1870 г. в Петербурге вышли его мемуары под названием «Прошедшее и настоящее». Им написано много музыкальных пьес, в том числе в Лондоне 1862 г. вышла его «Фантазия освобождения». О колоритной фигуре этого барина-самодура и о его злоключениях за границей довольно много говорится в «Былом и думах» Герцена. Под «спутниками» Голицына Кельсиев подразумевает увезенную им с собой в качестве жены дочку его управляющего и несколько человек его служащих.

67 Джунковский Степан Степанович (1821—1870) — один из русских приверженцев католицизма. Сын тайного советника, он в 1842 г. окончил курс Петербургского университета по юридическому факультету. Получив командировку за границу, изучал философию в Германии. Был в это время ярым сторонником православия, в защиту которого печатал брошюры и статьи на разных языках. В 1845 г. в Риме принял католичество и поступил в иезуитский орден. Проведя 6 лет в иезуитской коллегии в Риме, принял сан священника, вышел из иезуитского ордена и поселился в Париже, где работал в различных благотворительных обществах и развил широкую проповедническую и публицистическую деятельность. Подал проект об уничтожении для католического духовенства целибата. В 1854 г. назначен начальником миссии на крайнем севере Европы; заводил церкви, устраивал католические епархии в Швеции, Норвегии, Исландии, Шотландии и на Ферророких о-вах. Получил от папы сан префекта апостольского престола в арктических странах, с полномочиями епископской власти. Снова входил к папе с представлениями о необходимости существенных реформ в католической церкви. Стал изобличителем католической церкви, жил в Италии и Германии, женился на англичанке. В 1866 г. в Штутгарте вернулся к православию и получил разрешение вернуться на родину. В том же 1866 г. напечатал в «Русском Инвалиде» ряд статей под заглавием «Письма русского после 24-летней заграничной деятельности». В 1867 г. напечатал «Энциклику против Рима». Был членом учебного комитета при синоде, членом миссионерского общества, сотрудничал в разных духовных и светских изданиях. По поводу его возвращения к православию Герцен в статье «Ответ И. С. Аксакову» («Колокол», л. 240) писал: «Для нас нет задних дверей, в которые стучатся утомившиеся грешники; пусть ими проползают со своим покаянием двойные ренегаты

и изменники, как этот ничтожный, дрянной Джунковский, которого чудотворное обращение в православие из папских агентов de bas étage наполняет благоуханием крина сельного благочестивые души в Москве и Петербурге» (Сочинения, т. XIX, стр. 287). Отметим одно замаскированное упоминание о Джунковском, на ряду с Кельсиевым, в литературе. В известном романе И. А. Кущевского «Николай Негорев или благополучный россиянин», вышедшем в 1871 г., на последних страницах говорится о брате героя, Андрее, женевском эмигранте: «Брат как-то написал мне, что хочет воротиться в Россию, и я имел неосторожность спросить — не à la ли К. и Д. хочет он воротиться. Этот невинный вопрос послужил поводом к целому граду ругательств, которые Андрей высылает из Женевы, по мере накопления, на имя сестры». Под К. и Д. здесь, конечно, подразумеваются Кельсиев и Джунковский.

68 У нас нет сведений о типографии, устроенной Джунковским в Норвегии. Нет никаких оснований предполагать, чтобы это была русская типография. По всей вероятности, типография была заведена Джунковским для нужд католической пропаганды.

69 Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865) — крепостной гр. Гурьева. Из старообрядцев «нетовского» согласия. Окончил помещичью школу, много занимался самообразованием. Был у Гурьева приказчиком по хлебному делу. Выкупившись у помещика незадолго до освобождения крестьян, был купцом по хлебной части, но разорился, после чего служил в пароходном обществе. В 1861 г. приехал в Лондон, имея в виду добиться путем печати от своего бывшего хозяина возмещения убытков. Познакомился с Герценом, напечатал в 132-м листе «Колокола» (от 8 мая 1862 г.) «Письмо к Александру II», проникнутое идеями «демократической монархии» и антидворянскими настроениями. В том же духе написана и выпущенная в конце 1862 г. в Лондоне брошюра «Народ и государство». По вопросу о поляках разошелся с Герценом, Огаревым и Бакуниным, решительно осуждая симпатии к восстанию, выражавшиеся в «Колоколе». При возвращении в Россию Мартьянов был арестован на границе 12 апреля 1863 г. В мае осужден сенатом на пять лет каторжных работ и на вечное поселение в Сибири. Умер в сентябре 1865 г. в Иркутской больнице. Герцен посвятил Мартьянову в «Колоколе» статью «П. А. Мартьянов и земский царь» (л. 175) и краткую некрологическую заметку (л. 224). Кельсиев изобразил Мартьянова под именем Петра Александровича Артемьева в очерке «Из рассказов об эмигрантах» («Заря», 1869 г., кн. III).

70 В литературе о М. А. Бакунине можно указать много враждебных отзывов о нем. Но мнение Кельсиева, что он был «колоссальнейшая неспособность» и «тупой бунтовщик», является единственным и свидетельствует лишь о полной неспособности Кельсиева понять что-нибудь в Бакунине.

71 «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева было издано в Лондоне в 1858 г. с предисловием Герцена. В одной книге с «Путешествием» было напечатано сочинение кн. М. М. Щербатова, О повреждении нравов в России.

72 Лугинин Владимир Федорович (1834—1911) — известный химик. В молодости — артиллерийский офицер, участник Севастопольской кампании. В 1861 г. состоял членом тайного общества «Великорусс». В начале 1862 г. уехал за границу, где занимался химией. Сблизился с Герценом, Огаревым и Бакуниным. Долгие годы прожил за границей, работал по термохимии. С 1890 до 1906 г. читал лекции в Московском университете, сначала в качестве приват-доцента, затем профессора. Пожертвовал Московскому университету устроенную им на свои средства термохимическую лабораторию.

73 Прокламация «Молодая Россия» была написана П. Г. Заичневским, при некотором участии его товарищей (достоверно известно участие И. И. Гольц-Миллера). Напечатана она была в тайной типографии московского кружка Заичневского и Аргиропуло в первой половине мая 1862 г. Появление ее совпало со знаменитыми петербургскими пожарами 1862 г., продолжавшимися в течение двух недель. Пожары начались 16 мая. Высшего предела они достигли 28—30 мая, когда сгорели Апраксин и Щукин дворы с тысячами находившихся там мелких лавок. Среди обывателей с самого начала пожары приписывались поджогам. Больше всего винили в поджигательстве студентов-революционеров. Эти слухи проникли и в печать. На только-что вышедшую и широко распространявшуюся прокламацию «Молодая Россия», с ее призывами уничтожить до основания весь существующий строй, ссылались в доказательство того, что поджоги в Петербурге идут из революционной среды.

74 «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел 1-й. Стихотворения. Часть 1-я». С предисловием Огарева. Лондон, «Вольная русская типография», 1861.

75 Пафнутий Коломенский (до монашества Поликарп Петрович Овчинников) — старообрядческий деятель. Родился в 1827 г. в Стародубском уезде Черниговской губ. Сын купца третьей гильдии, придерживавшегося беглопоповства. Смолоду отдался уединенной жизни и изучению старообрядческой литературы. Придя к ряду сомнений, как относительно беглопоповщины, так и относительно беспоповщины, отправился в 1851 г. в Белую Криницу искать «истины» в Австрийском согласии. Был убежден Павлом Белокриницким, принял монашество. В 1853 г. посвящен в архидиаконы. В 1855 г. временно удалился «на безмолвие» в Тисский мо-

настырь (в Молдавии). В конце 1857 г. отправился в Москву, где сначала был рукоположен в священники, а в сентябре 1858 г. поставлен старообрядческим епископом на Коломенскую кафедру. В 1865 г. обратился к митрополиту московскому Филарету с просьбой о присоединении его к православной церкви. В том же году присоединение было совершено. В конце 70-х годов снова ушел в раскол. Умер в Белой Кринице 23 февраля 1907 г.

[76] Павел Белокриницкий (до монашества Петр Васильевич Великодворский) — главный деятель по учреждению белокриницкой иерархии. Родился в 1808 г. в Валдайской подгородной слободе. Был волостным писарем, затем поселился в Лаврентьевском старообрядческом монастыре Могилевской губ. По предложению известного старообрядческого деятеля, петербургского купца Громова отправился на Восток, для отыскания нужного старообрядцам-поповцам епископа. После долгих поисков и хлопот уговорил бывшего босно-сараевского епископа Амвросия пойти в митрополиты к старообрядцам. Написал устав Белокриницкого монастыря и еще несколько сочинений для нужд старообрядчества. Умер 5 мая 1854 г. Письма Павла Белокриницкого напечатаны в «Переписке раскольнических деятелей», изданной Н. И. Субботиным, выпуск 1-й, М. 1887 г.

[77] М. А. Бакунин приехал в Лондон, действительно, 27 декабря 1861 г., нового стиля, как об этом говорит краткая заметка в «Колоколе», лист 118.

[78] Статья Бакунина «Русским, польским и всем славянским друзьям» была напечатана в виде приложения к листу 122—123 «Колокола» (1862). В этой статье Бакунин обращался к полякам с предложением союза для совместной борьбы с царским правительством. О «хлопской Польше» там говорится, что аристократическая Польша не в состоянии противостоять крестьянской России: белорусским, лифляндским, литовским, курляндским, украинским крестьянам нет никакого дела до исторических воспоминаний и исторических границ. Как и русскому народу, им всем нужны земля и воля. «Обернитесь спиной к прошедшей истории; объявите хлопскую Польшу; тогда многие из этих племен, — а если от вас Россия отстанет, пожалуй, и все — пойдут за вами».

[79] Перед Крымскою войною в турецких владениях было два старообрядческих епископа — Аркадий и Олимпий. Генерал Ушаков, командир русских войск, расположенных во время войны в Добрудже, распорядился арестовать обоих епископов; основанием к этому он указывал жалобы жителей крепости Исакчи на «липован», т.-е. старообрядцев, которые, якобы, возбуждали турок против русских. Арестованные были немедленно отправлены в заточение в знаменитый Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь. В 1857 г. ходатайство турецкого правительства об их освобождении было отклонено. Олимпий и умер в заточении (в августе 1859 г.), Аркадий же, «по высочайшей милости», был освобожден в 1881 г. и умер во Владимире в 1889 г.

[80] Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890) — публицист 60—70-х годов, принадлежавший к умеренно-либеральному направлению. Окончил юридический факультет, был преподавателем в московском кадетском корпусе, с 1859 г. поселился в Петербурге, занимался литературною деятельностью. Сотрудничал в «Отечественных Записках», «Голосе» и других изданиях. В 1861 г. принимал участие в кампании либеральной и консервативной прессы против Н. Г. Чернышевского. В том же году был арестован во время студенческих волнений в Петербургском университете, вследствие того, что в его квартире происходило студенческое собрание. В 1862 г. ездил за границу, в Лондоне бывал у Герцена. В следующем году привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, но от суда был освобожден. В 1866 г. привлекался к новому дознанию по делу о Гейдельбергской читальне и приговорен к высылке в Архангельскую губ. В 1872 г. получил разрешение переехать в Ревель, где служил по вольному найму в губернаторской канцелярии, продолжая в то же время сотрудничать в «Голосе». В 1880 г. ему позволено возвратиться в Петербург. Вызывает сомнение утверждение Кельсиева (да еще сделанное с оговоркой), что Альбертини присутствовал при свидании Бакунина с Пафнутием: Альбертини приехал в Лондон только в конце марта 1862 г. (Герцен, т. XV, стр. 78), а Пафнутий, поселившийся у Кельсиева около 10 декабря 1861 г., по собственным словам Кельсиева, прожил у него шесть недель, — следовательно, ко времени приезда Альбертини его уже не было в Лондоне.

[81] Можно думать, что здесь Кельсиев умышленно или неумышленно искажает фамилию, говоря о Ковальском вместо Ковалевского. В числе лиц, посещавших Герцена в 1862 г., помимо известного ученого В. О. Ковалевского, капитана Петра Ковалевского, статского советника Ю. М. Ковалевского и д-ра медицины О. Ю. Ковалевского, повидимому, был и какой-то правовед Ковалевский. По крайней мере, в одном агентурном списке посетителей Герцена упоминается «Ковалевский (кажется, правовед)» (Герцен, т. XV, стр. 381). Конечно, не исключена возможность, что агентом фамилия была переврана.

[82] «Организация» и «Ад» — революционные кружки, созданные в Москве Н. А. Ишутиным и его товарищами. Из ишутинского кружка вышел Д. В. Каракозов, решившийся произвести покушение на Александра II.

83 Лугинин не был сторонником крайней дворянской реакции, выразительницей которой являлась газета «Весть». О его взглядах см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и молодая эмиграция».

84 Кельсиев ошибочно говорит здесь об Иоанне Охтенском. Книгу «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках» (в 1855 г. было 5-е издание) написал известный историк старообрядчества, священник Журавлев, более известный под именем «Андрей Иоаннов» (1751—1813). Сначала сам старообрядец, он потом принял православие и был сделан священником охтенской церкви в Петербурге. — Книга плодовитого писателя Василия Николаевича Берха (1781—1834) «Царствование царя Алексея Михайловича», в двух частях, вышла в 1831 г.

85 Имеется в виду упоминавшаяся выше статья Субботина «Раскол, как орудие враждебных России партий». Там говорится, что Кельсиев из изданий Герцена давал читать Пафнутию «Колокол» и прокламации «Что нужно помещикам?», «Что надо делать духовенству?», «Что нужно народу?», но «Полярную Звезду» и «С того берега» он остерегался ему давать: «Надо полагать, что опасались, как бы наивный старообрядец не смутился некоторыми из сделанных там замечаний, вроде того, например, что апостол языков, сделавшись Павлом, нанес гораздо больше вреда христианству, нежели когда был Савлом — гонителем христиан, или что святые отцы не больше как «византийские растлители ума», писавшие разные «бредни» («Русский Вестник», 1867, IV, стр. 716—717).

86 «Гриша» — не роман, а очерк или рассказ из раскольничьего быта П. И. Мельникова-Печерского, первоначально появившийся в «Современнике», 1861 г., № 3, и в том же году вышедший отдельным изданием.

87 Ничипоренко Андрей Иванович (1837—1863) — чиновник, участник революционного движения. Учился в петербургском коммерческом училище, где был на несколько классов моложе Кельсиева. Был корреспондентом «Колокола», членом общества «Земля и Воля». В 1862 г. был у Герцена в Лондоне, получил от него некоторые поручения. В марте этого же года имел сношения с Кельсиевым, тайно приехавшим в Петербург. Привлеченный к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, дал «откровенные» показания. Умер в Петропавловской крепости. Крайне враждебное и пристрастное изображение Ничипоренко дано в очерке Н. С. Лескова «Загадочный человек». Он же выведен Лесковым в романе «Некуда» под именем Пархоменко.

88 Лицо, давшее деньги — маркиз де Траверсе, Николай Александрович (1829—1864). Служа в Сибири, он познакомился с Бакуниным. В Лондоне в 1862 г. виделся с ним и познакомился с Герценом и Кельсиевым. Привлеченный к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами и поселенный в Алексеевский равелин, он заболел психически и вскоре умер.

89 Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — известный дипломат. Советник посольства в Вене (1833—1838), посланник в Штутгарте (1841—1850), посланник при Германском союзе (1850—1854), посланник в Вене (1854—1856), министр иностранных дел (1856—1882). С 1867 г. носил звание государственного канцлера.

90 Журнала «Экономический указатель» в 1862 г. уже не существовало, но вместо него тем же профессором И. В. Вернадским издавался «Экономист».

91 Бенни Артур-Вильям Иванович (род. около 1840 г.) — участник общественного движения 60-х годов. Сын пастора местечка Томашова, Варшавской губ.; учился в петроковской гимназии; в 1857 г. уехал в Англию, где принял великобританское подданство. В Лондоне познакомился с Герценом. В 1861 г. вернулся в Россию, сотрудничал в газетах. Предпринял вместе с А. И. Ничипоренко путешествие по России, с целью собирать подписи под адресом Александру II, а также для изучения русской жизни. Был заподозрен в кружках передовой интеллигенции, как шпион III Отделения. Был привлечен к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Судом сената в декабре 1864 г. за недонесение о приезде в Россию Кельсиева приговорен к трехмесячному тюремному заключению и к высылке за границу. В октябре 1865 г. выслан из пределов России. Жил в Швейцарии и Италии. Отправил в Россию Шувалову прошение о принятии его в русское подданство. Как корреспондент английской газеты, участвовал в походе Гарибальди. При невыясненной обстановке был ранен в битве под Ментаной и умер 27 декабря 1867 г. В новейшей литературе биография Бенни дана наиболее полно в книге: Рейсер С., Артур Бенни, М., 1933 г.

92 По другим сведениям, Бенни служил в арсенале в Вульвиче.

93 Здесь Кельсиев ошибается: приезд Бенни в Лондон, о котором он дальше рассказывает, никак не может быть отнесен к осени 1860 г., — ведь, Бенни возвратился в Россию только в 1861 г. Довольно подробно говорит Кельсиев о Бенни в обширной рецензии на известную книгу Н. С. Лескова «Загадочный человек» («Заря», 1871 г., VI, отдел библиографии, стр. 1—31). Здесь он утверждает, что Бенни приехал в Лондон, со специальной целью получить от Герцена удостоверение в своей политической безупречности, летом 1861 г. (стр. 20). Это тоже ошибка: данная поездка Бенни в Лондон могла иметь место только в 1862 г.

94 Проект адреса царю был составлен еще в 1860 г. Бенни совместно с И. С. Тургеневым (см. названную выше книжку: Рейсер С., Артур Бенни, стр. 29).

95 В упомянутой выше рецензии на «Загадочного человека» («Заря», 1871 г., кн. VI) Кельсиев дает совсем уж фантастическую генеалогию Бенни: «Отец его был протестантский пастор еврейского происхождения, сын, кажется, испанки, внук чуть ли не итальянки и правнук, если не ошибаюсь, португалки; жена этого пастора была англичанка, но как-то опять дочь немки и внучка шведки» (стр. 7). Сам Бенни в заявлении графу П. А. Шувалову писал: «Я родился в Царстве Польском от отца полунемца, полуитальянца и матери англичанки».

96 Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — известный писатель-этнограф, автор книг: «Год на Севере» (СПб., 1859 г.), «На Востоке. Поездка на Амур в 1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания» (СПб., 1864 г.), «Тюрьма и ссыльные» (СПб., 1862 г. В дополненном виде — «Сибирь и каторга», СПб., 1871), «Лесная глушь» (СПб., 1871 г.), «Бродячая Русь христа ради» (СПб., 1877 г.), «Крылатые слова» (СПб., 1890 г.) и др. Идеологически Максимов примыкал к «почвенникам». В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию, но от суда освобожден.

97 Кожанчиков Дмитрий Ефимович — книгопродавец-издатель, открывший книжную торговлю в Петербурге в 1858 г. В 60-е годы издал ряд книг, относящихся к расколу: «Житие протопопа Аввакума» (1862), «История Выговской пустыни» и др. Привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию, от суда освобожден. Умер в 1877 г.

98 Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866) — видный участник революционного движения 60-х годов. Окончил в 1853 г. Александровский лицей, служил в государственной канцелярии, в министерстве внутренних дел и в главном комитете по крестьянским делам. Выйдя в отставку, открыл в 1861 г. в Петербурге книжный магазин и библиотеку. Участвовал в организации воскресных школ, сотрудничал в герценовских изданиях и в составлении огаревских прокламаций, был одним из организаторов общества «Земля и Воля». Арестован 7 июля 1862 г. по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами и заключен в Алексеевский равелин. В декабре 1864 г. приговорен сенатом к каторге на двенадцать лет; государственным советом каторга заменена ссылкой на поселение в Сибирь. Умер в Иркутске на пути в ссылку. Был человеком исключительной прямоты и мужества. — Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838—1869), революционер 60-х годов. В 1862 г. выехал за границу и больше не вернулся в Россию. За границей сблизился с Герценом, но потом стал во главе борьбы «молодой эмиграции» с Герценом. В 1867 г. выпустил резкий памфлет против Герцена «Наши домашние дела». Принимал участие в редакции «Народного Дела», в деятельности I Интернационала, в швейцарском рабочем движении. Впал в душевное расстройство и покончил самоубийством.

99 Н. А. Серно-Соловьевич в 1861 г. выпустил в Берлине (а не в Лейпциге) в издательстве Ферд. Шнейдера, под своим именем брошюру «Окончательное решение крестьянского вопроса».

100 Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901) — известный литературовед. С 1852 г. — адъюнкт Петербургского университета по кафедре русской литературы. С 1860 г. — экстраординарный профессор, с 1864 г. — ординарный профессор того же университета, с 1872 г. — академик. В совершенно ровной академической карьере Сухомлинова был кратковременный период, когда он пользовался некоторой популярностью среди петербургского студенчества. Это было в 1856—1857 гг., т.-е. как-раз тогда, когда Кельсиев был вольнослушателем университета. В воспоминаниях А. М. Скабичевского по этому поводу говорится: «Древне-русскую литературу читал М. И. Сухомлинов суховато и вяловато, и студенты не засыпали на его лекциях благодаря лишь либеральным фейерверкам, о которых говорит Писарев в своей статье [«Наша университетская наука» — *М. К.*], характеризуя Телицына. Надо, впрочем, отдать справедливость Сухомлинову, фейерверки эти производились искренно, от всей души, и почтенный профессор пользовался вполне заслуженною репутацией среди студентов, тем более, что в 1857 году оказался впереди студенческого движения...» («Литературные воспоминания», 1928, стр. 89). В 1857 г. Сухомлинов принял большое участие в издании студенческого сборника статей. На собрании студентов 20 апреля по поводу сборника он произнес весьма патетическую речь. Несмотря на всю свою банальность, она вызвала взрыв аплодисментов. «Замечательно, что вместе с сборником стушевался и Сухомлинов», — говорит Скабичевский (стр. 91). — Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — профессор истории. С 1847 г. читал лекции в Киевском университете; был инициатором открытия в Киеве первой воскресной школы. В конце 1853 г. переведен в Петербург на службу в археографическую комиссию. В 1860 г. подвергался аресту в связи с делом харьковских студентов. Его речь о тысячелетии России, произнесенная на публичном вечере 2 марта 1862 г., произвела фурор. Павлов был арестован и выслан в Костромскую губ., с запрещением выступать впредь с публичными лекциями. В 1866 г. получил разрешение вновь жить в Петербурге. В 1875—1885 гг. был профессором

по кафедре теории искусства в Киевском университете. См. «Дело профессора Павлова» М. К. Лемке в его «Очерках освободительного движения шестидесятых годов». Костомаров Николай Иванович (1817—1885), русский историк. Как один из основателей Кирилло-Мефодиевского общества, арестован в марте 1847 г. в Киеве и приговорен к одному году заключения в Петропавловской крепости и высылке в Саратов под надзор полиции. В 1855 г. получил разрешение жить в Петербурге. В начале 60-х годов пользовался громадной популярностью среди студентов. Его публичные лекции в городской думе, которые он читал после закрытия университета в 1861 г., имели исключительный успех и посещались не только студентами, но и посторонней публикой. Когда в марте 1862 г. был выслан из Петербурга профессор П. В. Павлов (см. выше), студенты в виде протеста против этой меры решили прекратить чтение лекций. Костомаров отказался подчиниться этому решению, за что на ближайшей его лекции студенты устроили ему шумную обструкцию. Этот инцидент положил конец прежней популярности Костомарова среди радикальной молодежи.

101 Щеглов Дмитрий Федорович (умер в 1902 г.) — педагог и писатель. Учился в педагогическом институте в Петербурге, где был товарищем Добролюбова. Был в это время радикальных взглядов и влиял в этом смысле на Добролюбова в начале их знакомства. По окончании института занимался некоторое время публицистикой, причем отказался от прежних убеждений. Впоследствии был директором гимназий в Новочеркасске и Одессе. Написал «Историю социальных систем» (1883), представляющую некоторый интерес по фактическому материалу, но крайне реакционную.

102 Это рассуждение о роли Каткова — самый яркий показатель того политического сумбура, который образовался в голове Кельсиева в 1867 г. Катков, как спаситель России не только от «нигилистов», но и от реакции, «Московские Ведомости» в качестве посредника между правительством и народом — все это показывает полную беспомощность его мысли и его политических концепций. У него выходит так, что та роль, на которую он в 1862 г. прочил Герцена, была с успехом сыграна Катковым.

103 Более чем сомнительна солидарность Н. А. Серно-Соловьевича с изложенным здесь Кельсиевым «планом» диктатуры Герцена и пр. Свои собственные настроения и измышления Кельсиев задним числом приписывает и Серно-Соловьевичу.

104 Петров Антон — крестьянин с. Бездна, Казанской губ., старообрядческий начетчик, руководитель крестьянского восстания в с. Бездна, происшедшего в связи с объявлением манифеста об освобождении крестьян. По приговору военно-полевого суда расстрелян 17 апреля 1861 г.

105 Шибаев Иван Иванович (род. около 1835 г.) — московский купец-старообрядец. В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву. Содержался около двух лет в Алексеевском равелине. Судом сената приговорен в декабре 1864 г. к трехмесячному заключению в смирительном доме за недонесение о сделанном ему Кельсиевым предложении печатать в Лондоне недозволенные в России старообрядческие книги. Ввиду его раскаяния суд ходатайствовал о вменении ему в наказание предварительного содержания в крепости. Ходатайство суда удовлетворено в марте 1865 г.

106 Л. А. Перовский был министром внутренних дел с 1841 до 1852 г. Нельзя сказать, чтобы при нем относительно старообрядцев началась какая-нибудь, по существу, новая политика: систематическое преследование старообрядцев началось уже с 1826 г., с самого начала царствования Николая I, и в этой области было сделано очень много уже до 40-х годов. Во всяком случае, при Перовском преследования старообрядцев продолжались очень энергично. В 1841 г. был обращен в единоверие последний значительный иргизский монастырь — Верхний Спасо-Преображенский, «и солнце православия зашло на Иргизе». В том же году был строго подтвержден фактически почти не исполнявшийся указ 1838 г. об отобрании детей у раскольников для крещения их по православному обряду. Тогда же были отобраны все колокола, а с 1842 г. правительство стало усиленно запечатывать молитвенные здания старообрядцев. У старообрядцев были отняты в 40-х годах Преображенское и Рогожское кладбища в Москве, Волковская и Малоохтинская богадельни в Петербурге. Под влиянием всех этих гонений у старообрядцев стали развиваться эсхатологические настроения: старообрядческие проповедники настойчиво предсказывали, что на пасхе 1842 г. произойдет конец света.

107 Семенов Семен (1829—1867) — известный начетчик австрийского согласия у московских старообрядцев. Уроженец Серпуховского уезда, бывший крестьянин гр. Орлова-Давыдова.

108 Сивов Александр Львович.

109 Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — известный книгоиздатель, сын купца-старообрядца. С 50-х годов начал собирать картинную галлерею, которую завещал Румянцевскому музею. Издал много ценных книг по истории, литературе, этнографии и пр. В 1862—1864 гг. давал деньги на издание «Общего Веча».

110 Возможно, что это был А. Боголепов, раскольник австрийского согласия, пользовавшийся большим влиянием на Рогожском кладбище (см. исследование: Марков В. С., К истории раскола-старообрядчества второй половины XIX столетия, — «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1915, I (252), стр. 837).

111 Кельсиев Иван Иванович (род. около 1841 г., ум. 9 июня 1864 г.) — брат В. И. Кельсиева. О нем см. в предисловии к его письму к Е. В. Салиас.

112 Касаткин Виктор Иванович (1831—1867) — литератор и революционер. О нем см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и молодая эмиграция».

113 Трубецкой Павел Петрович, князь — отставной поручик лейб-гвардии конной артиллерии, мировой посредник. В 1855 г. произведен из камер-пажей в корнеты с прикомандированием к михайловскому артиллерийскому училищу. В 1857 г. окончил курс в училище и переведен в гвардейскую конную артиллерию. Назначен мировым посредником в Москву 21 апреля 1861 г. В связи с приездом Кельсиева в Москву привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Освобожден от ответственности.

114 Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — известный фольклорист и историк русской литературы, автор исследований «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 3 тома, 1866—1869) и «Русские сатирические журналы 1769—1777 годов» (М., 1859), издатель «Народных русских сказок» (М., 8 выпусков, 1855—1863) и «Народных русских легенд» (М., 1859). Привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Россию. Освобожден от суда, но уволен от службы в московском архиве министерства иностранных дел. Позже служил секретарем в московской городской думе и в мировом съезде.

115 Заявление Кельсиева голословно и ничем не подтверждается.

116 Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — писатель по философским вопросам. Окончил Московский университет в 1856 г. В молодости увлекался французским утопическим социализмом. В 1858 г. был под надзором полиции по делу «вертепников» (П. Н. Рыбников и др.). В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву; от суда освобожден. Позже был близок с некоторыми членами ишутинского кружка. В 1866 г. привлекался к дознанию по делу Каракозова; запрещено жить в столицах. С начала 70-х годов стал интересоваться философией и совершенно отошел от революционного движения. С 1876 по 1887 г. был в Киевском университете сначала приват-доцентом, потом профессором философии.

117 Орфано Александр Герасимович (1834—1902) и Алексей Герасимович (1837—1891). Оба они в 1862 г. привлекались к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву, а в 1866 г. — по делу Каракозова.

118 Петровский Николай Федорович — отставной штабс-капитан, преподаватель Александровского кадетского корпуса в Москве, сотрудник воронежских «Филологических Записок». В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву. Приговорен 10 декабря 1864 г. к годичному заключению в крепости, причем суд, ввиду выраженного Петровским раскаяния, ходатайствовал о вменении ему в наказание предварительного содержания под стражею. Ходатайство удовлетворено царем 30 марта 1865 г. Обращает на себя внимание характер высказываний Кельсиева о Петровском: «В восторг пришел, узнав, что я эмигрант», «Отдался в мое распоряжение безусловно, беззаветно, душою и телом», «Идеи мои он принял и поставил себе в закон». Чем объяснить такую откровенность, вовсе несвойственную Кельсиеву в «Исповеди»? К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба Петровского, после утверждения приговора. Является вопрос: не умер ли он к этому времени, так что Кельсиев не мог ему повредить своими заявлениями?

119 Челищева Мария Александровна (родилась около 1841 г.) — дочь помещика. В начале 60-х годов была гражданскою женою А. А. Козлова, который придавал гражданскому браку принципиальное значение. В 1862 г. привлекалась к дознанию по делу о приезде Кельсиева в Москву; за хранение у себя запрещенных сочинений приговорена к десятидневному аресту. В 1866 г. привлекалась к дознанию по делу Каракозова.

120 Павел Прусский (до монашества Петр Леднев) — известный старообрядческий деятель. Родился в 1821 г. в Сызрани. Лет восемнадцати был «перекрещен» по обряду федосеевцев-беспоповцев. Жил некоторое время в Москве на старообрядческом Преображенском кладбище. Затем в 1848 г. уехал в Пруссию (откуда его прозвище) и основал там близ Гумбиннена монастырь. До 1867 г. стоял во главе этого монастыря. Пользовался большой известностью, как один из вождей раскола. В феврале 1868 г. в Москве присоединился к единоверию и поселился в Никольском единоверческом монастыре. Был потом архимандритом и настоятелем этого монастыря. Вел в литературе энергичную борьбу с расколом. Умер в апреле 1895 г. Биографические сведения о нем см. в книге: Субботин Н. И., Павел Прусский, М., 1895 г.

121 Иоганнесбург — городок в Восточной Пруссии, в ста тридцати километрах от Гумбиннена.

[122] Мазуры — польское племя, живущее в Мазовии (область по рр. Висле, Бугу и Нареву) и Мазурии (в Восточной Пруссии). Среди других поляков мазуры представляют особую диалектическую группу и имеют свои бытовые особенности.

[123] Здесь у Кельсиева какое-то недоразумение. Валаам — не имя какого-нибудь инока, а название острова на Ладожском озере, на котором находился известный монастырь.

[124] Голубев (или Голубов) Константин Ефимович (а не Константинович, как ошибочно пишет Кельсиев) — религиозный писатель, ученик и помощник Павла Прусского. Изучил типографское дело у Гонсеровского и был наборщиком. Журнал «Истина», издававшийся Павлом Прусским, наполнялся, главным образом, статьями Голубева. Настоящий самоучка, Голубев интересовался не только религиозными, но также философскими и политическими вопросами. Находился в переписке с Огаревым и свои письма-ответы Огареву помещал в журнале «Истина». Называл себя в этой полемике «мужиком»; старался опровергнуть материалистические и республиканско-социалистические тенденции «Колокола». Летом 1867 г. Голубев принял единоверие — даже раньше Павла Прусского, примеру которого он следовал. Местом жительства ему после этого был назначен Псков. Был единоверческим священником. Издавал с 1867 по 1886 г. в Пскове журнал «Истина» (в 1887 и 1888 гг. издал «Миссионерские статьи под названием «Истина» в двух выпусках). К. П. Победоносцев и его постоянный корреспондент, известный специалист по вопросам раскола Н. И. Субботин, относились к этой литературной деятельности Голубева довольно пренебрежительно (см. «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1915, I). Личностью Голубева в 60-е годы очень заинтересовался Ф. М. Достоевский. 11/23 декабря 1868 г. он писал из Флоренции А. Н. Майкову: «А знаете ли, кто новые русские люди? Вот тот мужик, бывший раскольник, при Павле Прусском, о котором напечатана статья с выписками в июньском номере Русского Вестника. Это не тип грядущего русского человека, но конечно один из грядущих русских людей» (Достоевский, Письма, II, 1930, стр. 149). Достоевский здесь ошибается, говоря об июньском номере: статья Субботина «Русская старообрядческая литература за границей», которую он имеет в виду, помещена в июльской и августовской книжках «Русского Вестника» за 1868 г.). В черновых набросках «Бесов» Ставрогин встречается с Голубевым и подпадает под его влияние, т.-е. ему отводится та роль, которая позже была дана Достоевским Тихону Задонскому (см. Достоевский, Сочинения, изд. «Просвещение», т. XIII, стр. 471—472).

[125] Гонсеровский — владелец типографии в Иоганнесбурге. С ним вступил в соглашение Павел Прусский, выписавший из Праги славянский шрифт.

[126] Очевидно, мысль о написании, с дозволения правительства, истории революционного движения в России за 1855—1862 гг. была одним из главных мечтаний, с которыми Кельсиев возвращался в Россию. Он, как видно, плохо представлял себе свое будущее положение ренегата в России и наивно думал, что участники революционного движения будут с ним откровенничать.

[127] «Поморские ответы» — выдающееся произведение старообрядческой письменности, излагающее очень полно учение старообрядцев по разным пунктам. Книга эта построена в виде ответов на 106 вопросов, которые были поставлены иеромонахом Неофитом, посланным «для увещания» в Выговскую обитель. Составлены «Поморские ответы» в 1723 г. Главный их автор — знаменитый Андрей Денисов, виднейший расколоучитель поморского толка, основатель Выговской пустыни; некоторое участие в составлении принимали также Семен Денисов и другие лица.

[128] Прокламация Огарева «Что нужно народу?» напечатана в «Колоколе» от 1 июля 1861 г., лист 102; в том же году вышла отдельной брошюрой. «Что надо делать духовенству?» напечатано с подписью Огарева в «Общем вече», № 5, от 22 октября 1862 г. Прокламация «Что надо делать войску?», написанная Огаревым и Н. Н. Обручевым, напечатана в «Колоколе» от 8 ноября 1861 г., лист 111; в следующем году вышла отдельным изданием.

[129] Первый номер «Общего веча» вышел 15 июля 1862 г. в качестве приложения к 141-му листу «Колокола». Вот содержание первого номера: От издателей.— Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви (с подписью Н. Огарева). — Хромцы. — Купцы Сергиевского посада Московской губернии: Пролубщиков, Агапов, Мальцов и Прокофьев. — Дело Сурнина. — Уральское дело. — Донос иже по делам веры фискальствующего купца Сопелкина (с примечанием В. К., т. е. Кельсиева). — Еще от издателей.

[130] В своей брошюре 1868 г. «Миколка-публицист» А. А. Серно-Соловьевич высказал о Кельсиеве такое предположение: «Уже не он ли сам и выдал-то Ветошникова?» (стр. 13). Это тяжелое обвинение против Кельсиева совершенно ни на чем не основано, и никто, кроме Серно-Соловьевича, ничего подобного не высказывал. Объяснить эту несправедливость Серно-Соловьевича можно лишь тем тяжелым душевным состоянием, в котором он находился в 1868 г., и большим его возмущением против Кельсиева, как ренегата.

[131] О «Молодой России» Герцен в «Колоколе» высказывался в статьях «Мо-

лодая и старая Россия» (лист 139) и «Журналисты и террористы» (лист 141). В первой из этих статей он говорит: «...По совести признаемся, не понимаем ни белой горячки правительства, ни хныканья добросовестных журналов, ни душесмешения платонических любовников прогресса... Маловерные, слабые люди! как мало надобно вашим женским нервам, чтобы испугаться, бежать назад, схватиться за фалду квартального; как мало надобно, чтобы ваши парные чувства простыли и свернулись; как мало — чтоб и вы, туда же, пустили свой камень в преследуемых». Герцену пришлось отвечать на обвинения в отсталости, предъявленные ему в «Молодой России». Он писал: «Вы нас считаете отсталыми — мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали сердцем, а сердце дает такт. Не сердитесь же и вы, когда мы дружески обратим ваше замечание и скажем, что ваш костюм Карла Моора и Гракха Бабефа на русской площади не только стар, но сбивается на маскарадное платье».

132 Демонстрация в Варшаве, которую имеет в виду Кельсиев, произошла 8 апреля 1861 г.; поводом к ней послужило закрытие правительством Земледельческого общества, последовавшее 6 апреля. При усмирении войсками этой демонстрации было более ста жертв. Кельсиев неправильно называет демонстрацию 8 апреля «первой свалкой»: демонстрации начались в Варшаве еще в 1860 г.; оружие применялось войсками уже 27 февраля 1861 г. Но демонстрация 8 апреля резко выделялась по количеству жертв. В Лондоне о ней стало известно из телеграмм 10 апреля. Как-раз на этот день Герцен назначил празднование освобождения крестьян в России, на которое собрались не только русские, но и многие представители международной эмиграции. Герцен имел в виду предложить тост за Александра II. Известие о событиях 8 апреля в Варшаве, конечно, сделало невозможным этот тост и придало всему собранию мрачный характер. По этому поводу Герцен поместил в 96-м листе «Колокола» статью «10 апреля 1861 года и убийства в Варшаве».

133 Конечно, никаких оснований не имеет утверждение Кельсиева, что, если бы не свирепая расправа с поляками, Герцен и Огарев тоже воротились бы с повинной. Свое ренегатство он старается оправдать тем, что и другие, якобы, были склонны к отступничеству.

134 Замойский Владислав, граф — польский политический деятель, родственник и ближайший единомышленник Адама Чарторыйского. Принадлежал к аристократической части польской эмиграции. Во время Восточной войны ездил в Турцию с неосуществившимся планом организации польских легионов для борьбы с Россией.

135 Мерославский Людвиг (1814—1878) — известный польский революционер. Участвовал в польском восстании 1831 г., эмигрировал и был лектором во французской политехнической школе. В 1845 г. получил от Демократического общества поручение организовать восстание в Познани и в следующем году был там арестован. Освобожден из тюрьмы, вследствие революции 1848 г. В 1849 г. руководил восстанием сицилийцев против неаполитанского короля, командовал революционной армией в Бадене. Участвовал в гарибальдийском движении, организовал артиллерийскую школу для подготовки офицеров к будущему польскому восстанию. Во время восстания 1863 г. выдвигался на пост диктатора; однако, диктатором был избран Лянгевич, так как «белые» видели в Мерославском слишком левого. В феврале 1863 г. Мерославский потерпел неудачу на русской границе и бежал в Познань.

136 Браницкий Ксаверий Владиславович, граф (1812—1879) — польский политический деятель. Представитель богатейшего аристократического рода. В молодости был гвардейским офицером в России, флигель-адъютантом Николая I. В 1848 г. уехал за границу и перешел на положение эмигранта. Занимал выдающееся положение среди польской аристократической эмиграции, связывавшей свои надежды с наполеоновской политикой. Во время Восточной войны 1853—1856 гг. ездил в Константинополь для организации польских легионов. В 1863 г. финансировал известную морскую экспедицию Лапинского. В том же году принял французское подданство и вскоре был назначен сенатором. Написал ряд брошюр по социально-экономическим вопросам.

137 Хоецкий Карл-Эдмунд (1822—1899) — франко-польский литератор, политический деятель (во французской литературе известен под псевдонимом Шарль Эдмонд). С 1841 г. писал в варшавских изданиях, в 1844 г. поселился в Париже и с тех пор писал, главным образом, по-французски. В 1848 г. принимал участие в славянском съезде в Праге. Сотрудничал в изданиях Прудона; был посредником между Герценом и Прудоном при организации последним газеты «Voix du peuple». В 1851 г. должен был покинуть Францию, но в конце 1852 г. вернулся в Париж. По выражению Герцена, приспособился к условиям бонапартовской монархии. Во время Восточной войны служил в турецких войсках, действовавших против России. Был личным секретарем либеральничавшего принца Наполеона («Плон-Плон»). Много работал в органе французских крупных промышленников «Temps». Продолжал поддерживать отношения с Герценом, хотя они и сильно разошлись политически. Опубликовал большое количество драм, романов, путевых очерков и пр., пользовавшихся успехом у французской публики. Имя Хоецкого часто упоминается в «Былом и

думах», также в письмах Герцена. Одиннадцать писем Герцена к нему опубликованы во втором томе сборника «Звенья».

[138] Падлевский Сигизмунд (1835—1863) — польский революционер. По окончании военной академии в Петербурге, был поручиком гвардейской артиллерии. В 1861 г. уехал в Париж и стал эмигрантом. В 1862 г. преподавал тактику и стратегию в эмигрантской польской военной школе. В сентябре того же года, вместе с Гиллером и Миловичем, от лица Варшавского центрального народного комитета, вел переговоры о восстании с Герценом и Огаревым. После этого руководил в Варшаве подготовкой восстания. В конце года ездил в Петербург, для переговоров с русскими и польскими революционными организациями. После начала восстания принял в нем активное участие, командуя отрядом повстанцев, стремившихся взять Плоцк. 21 апреля 1863 г. взят в плен, осужден военным судом и 15 мая расстрелян.

[139] Чарторыйский Владислав — сын Адама Чарторыйского. Как и его отец, был представителем и деятельным участником правой части польской эмиграции, группировавшейся около Отеля Ламберт.

[140] Поездка Бакунина в Париж, предпринятая им с намерением познакомиться и сговориться с лидерами польской эмиграции, состоялась в августе 1862 г.

[141] Фенин — офицер стрелковой бригады, расположенной в Варшаве. Участник военного кружка Арнгольдта Сливицкого в 1862 г. Бежал за границу (имеются сомнительные сведения, что он принимал участие в восстании 1863 г.). Умер, по-видимому, в начале 900-х годов.

[142] Потебня Андрей Афанасьевич — революционер. Год рождения не установлен, сын офицера. По окончании кадетского корпуса в Петербурге служил подпоручиком в войсках, расположенных в Польше. Был организатором военной революционной группы. Создал в Варшаве офицерскую организацию «Земли и Воли». Был заподозрен в соучастии в террористическом покушении на наместника Польши Лидерса (15 июня 1862 г.), после чего перешел на нелегальное положение. Один из инициаторов и авторов «Адреса русских офицеров», напечатанного Герценом в «Колоколе». В 1862 г. по делам военной организации два раза ездил в Лондон к Герцену. Примкнул к восстанию и в сражении с русскими войсками убит под Песчаной Скалой 4 марта 1863 г. В 161-м листе «Колокола» был помещен его краткий некролог, в 162-м статья Н. П. Огарева «Надгробное слово».

[143] В конце сентября 1862 г. в Лондоне к Герцену явились представители варшавского центрального комитета — Падлевский, Гиллер и Милович, привезшие с собой письмо центрального комитета с изложением его революционной программы. После переговоров делегатов комитета с Герценом, Огаревым и Бакуниным, заявление комитета было напечатано в 146-м листе «Колокола». Комитет, скрепя сердце, приноровил свою программу ко взглядам русских революционеров. Суть программы выражена в следующих словах: «Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, совершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своею судьбою». Декларация комитета и состояла в подробном развитии этих двух пунктов. Издатели «Колокола» поместили свой ответ на заявление варшавского комитета в листе 147 «Колокола». Они подчеркивали в ответе, что новая программа комитета совпадает с требованиями русских революционеров: «Что касается до нас, нам легко с вами итти, вы идете от признания прав крестьян на землю, обрабатываемую ими; вы признаете право всякого народа располагать своей судьбою» (Герцен, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 508).

[144] Под адресами здесь подразумеваются: «От центрального народного польского комитета в Варшаве гг. издателям «Колокола» («Колокол», лист 146; перепечатано: Герцен, т. XV, стр. 503—505); «Его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу от русских офицеров, стоящих в Польше» («Колокол», лист 148); «Офицерам русских войск от комитета русских офицеров в Польше» («Колокол», лист 151). По поводу этих адресов в европейской прессе и в «Колоколе» было много статей.

[145] Совершенно неверно, что организатором «Земли и Воли» был Герцен в 1862 г. «Земля и Воля» — тайное общество 60-х годов, возникшее в кругах, близких к «Современнику», по инициативе Н. А. Серно-Соловьевича, А. А. Слепцова и Н. Н. Обручева. Летом 1861 г. эти лица вели переговоры с Герценом и Огаревым; статья Огарева «Что нужно народу?» рассматривалась, как программа будущего общества. Центр общества был создан в России. Окончательно оформилось оно и приняло название «Земля и Воля» к августу 1862 г. Во главе его стоял русский центральный народный комитет. Несколько местных комитетов было организовано в губернских городах. А. А. Потебня создал в Варшаве довольно многочисленную офицерскую организацию «Земли и Воли». Организация выпустила под своим именем несколько прокламаций и два листка под названием «Свобода». «Земля и Воля» рассчитывала объединить как буржуазно-либеральные элементы, так и революционные. После польского восстания деятельность «Земли и Воли» стала замирать, и к 1864 г. общество совершенно распалось. Кельсиев уехал в Констан-

тинополь к моменту окончательного оформления общества, но все предварительные разговоры велись и первые организационные шаги делались еще во время его пребывания в Лондоне. Поэтому сомнительно, чтобы он был до такой степени не осведомлен о «Земле и Воле», как он это говорит. Его, между прочим, мог осведомить о деятельности общества уже в константинопольский период его брат Иван, в организации побега которого принимала участие «Земля и Воля».

[146] Лицо, о котором вели переговоры Герцен, Огарев и Бакунин,— по всей вероятности, принц Жером Бонапарт (См. «Каторга и Ссылка», 1926, № 5 (26), стр. 256). Об этой попытке французского правительства оказать, в своих целях, содействие развитию герценовской пропаганды в России ничего не известно из других источников. Весьма возможно, что посредником в сношениях Герцена с принцем служил Хоецкий, бывший личным секретарем принца Наполеона. Бонапарт Наполеон-Жозеф-Шарль-Поль (1829—1891), известный под именем принца Жерома, по прозвищу «принц Плон-Плон», — племянник Наполеона I. После Февральской революции 1848 г. был избран от Корсики в учредительное собрание, где примкнул к умеренным республиканцам. После декабрьского переворота 1851 г. держался в стороне от двора и считался вождем «левых» бонапартистов. Произносил либеральные речи в сенате. После падения второй Империи жил в Швейцарии, в 1875 г. вернулся во Францию. Избранный в 1876 г. в палату депутатов, выступал там против ультрамонтанов и иезуитов. После закона об изгнании из Франции принцев ранее царствовавших фамилий, принятого в 1887 г., жил сначала в Швейцарии, а потом в Италии, где и умер.

[147] В Далмации сербо-хорватское население, католическое по религии, пользовалось издавна правом слушать богослужение на славянском языке, по требникам глаголического написания. В 1904 г. это право было существенно ограничено. Глаголица — сложный и своеобразный славянский алфавит: неясно, возникла ли глаголица раньше или после получившей широкое распространение кириллицы.

[148] Штросмайер Иосиф-Георг (1815—1905) — хорватский деятель. В 1849 г. назначен католическим епископом в Дьяковаре. На ватиканском соборе 1869—1870 гг. боролся против провозглашения догмата папской непогрешимости, но подчинился, когда догмат был принят. Был главою кроатской национальной партии в Хорватии. Содействовал основанию славянских учебных заведений, собиранию и изданию произведений устного народного творчества и исторических памятников. Добился введения церковной службы на хорватском языке.

[149] Hôtel Lambert — историческое здание в Париже, построенное в 1604 г. для президента Ламберта де Торииньи. Этим отелем последовательно владели разные лица, в том числе князья Чарторыйские. Дом Чарторыйского был центром деятельности аристократической части польской эмиграции.

[150] На 1846 г. намечалось восстание во всех частях бывшего польского королевства. Центром восстания должен был сделаться Краков — вольный город по венскому трактату 1815 г. В Кракове революционеры образовали временное правительство, которое начало призывать к восстанию все части прежней Речи Посполитой. В конце концов, австрийское войско вступило в Краков, а затем подоспели русские и прусские отряды. По венскому соглашению в ноябре 1846 г. правительства Австрии, России и Пруссии, несмотря на протесты Англии и Франции, включили Краков в состав австрийских владений.

[151] Чарторыйский Адам-Юрий, князь (1770—1861) — польский политический деятель. Участвовал в военных действиях против русских в 1792 г., после чего эмигрировал. В 1795 г. появился при дворе Екатерины II в качестве заложника; сблизился с вел. кн. Александром Павловичем. Был назначен Павлом I послом к сардинскому двору — для удаления его от Александра Павловича. В 1801 г. вернулся в Россию, был близким другом и советником Александра I, членом «негласного комитета». Назначен попечителем виленского учебного округа и помощником государственного канцлера Воронцова. В 1804—1807 гг. — министр иностранных дел. В 1810 г. выехал навсегда из Петербурга; дружеские сношения его с Александром I продолжались. Присутствовал на Венском конгрессе. В Польше получил звание сенатора-воеводы и члена административного совета. Постепенно потерял доверие Александра I и в 1823 г. совершенно устранен от участия в управлении. Во время польского восстания 1830 г. занял пост президента сената и национального правительства. Являлся вождем умеренной, аристократической партии. После поражения восстания эмигрировал и до смерти жил в Париже, в «Hôtel Lambert». Был главой аристократической части эмиграции («белых»), которая видела в нем будущего короля Польши. Делал неудачные попытки к объединению польской эмиграции; уже в 1833 г. демократическая часть эмигрантов объявила его в манифесте «недостойным доверия» и «врагом эмиграции». Чарторыйский пользовался известным влиянием при некоторых европейских дворах, с которыми вел дипломатические переговоры, но в развитии революционного движения в Польше его партия никакой роли не играла. Им написан ряд книг.

[152] Решид Мустафа-паша (1802—1858) — турецкий государственный деятель. В 30-х годах был послом в Лондоне и Париже. В 1837 г. назначен министром

иностранных дел, но уже в следующем году смещен по проискам старотурецкой партии; опять был послом Турции в Лондоне, Париже и Берлине. В 1839—1841 гг.— снова министр иностранных дел, в 1841—1843 гг. — посол в Париже. С конца 1845 г. — вновь министр иностранных дел, в 1846—1852 гг. — великий визирь, в 1853 г. — в четвертый раз министр иностранных дел, в 1856—1857 гг. — опять великий визирь. Видный представитель антирусской политики Турции.

153 Чайковский Михаил Станиславович (Илларионович) (1804—1886) — польский политический деятель и писатель. Родился в Житомирском уезде, происходил из древнего польского рода, униат по религии. Принимал участие в восстании 1830—1831 гг.; после его разгрома эмигрировал, жил в Париже, где был близок к партии Чарторыйского и начал литературную деятельность. В качестве агента Чарторыйских отправился в Константинополь, с целью образовать постоянное казацкое войско для поддержки польского дела. Создал польскую агентуру в Турции, Австрии, Болгарии, Сербии. После 1848 г., по предложению султана, принял магометанство с именем Садык-паши; получил от султана пожизненную пенсию и большое поместье близ Константинополя. В 1853 г. с началом крымской кампании, призван в ряды действующей турецкой армии и назначен начальником всего казацкого населения Порты. Сформировал регулярный «казацкий» полк из славян («славянский легион»). Командовал авангардом турецкой армии, а потом корпусом, расположенным на рр. Серете и Пруте. По заключении мира назначен начальником султанской кавалерии. В течение двух лет искоренял разбойничество в Фессалии и Эпире. Произведен в генералы султанской гвардии. К польскому восстанию 1863 г. относился отрицательно. Мечтал о восстановлении Польши при помощи казачества и о слиянии ее с другими славянскими народами. Польской прессой рассматривался как изменник народному делу. В конце 60-х годов подал в отставку. Получил от русского правительства разрешение вернуться в Россию, куда прибыл в конце 1872 г. Принял православие и поселился в Киеве. Последние годы жизни жил в своем имении в Черниговской губ. Покончил самоубийством на почве семейных недоразумений. Не отличаясь художественным талантом, напечатал на польском языке много повестей, рассказов и пр. Сочинения его были изданы в двенадцати томах в 1862—1873 гг. По возвращении в Россию помещал свои произведения в русской реакционной прессе («Русский Вестник», «Московские Ведомости», «Киевлянин»). Его автобиографические записки помещены в «Русской Старине», 1895, XI, XII; 1896, I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII; 1897, II, V; 1898, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; X; XI, XII; 1900, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII; 1904, VI, VIII, IX. Кроме того написаны им «Заметки и воспоминания Михаила Чайковского», — «Русская Старина», 1904 г., X, XII.

154 3 (15) апреля 1866 г. в Яссах произошло вооруженное кровопролитное столкновение между сторонниками соединения Молдавии и Валахии и сепаратистами-молдаванцами, противившимися соединению и кандидатуре Карла Гогенцоллерна. Во главе сепаратистов стоял митрополит. Против демонстрантов-сепаратистов действовали валашские войска, присланные бухарестским временным правительством. В румынской прессе устройство демонстрации приписывалось России.

155 Фанариоты — греческие обитатели квартала Фанар в Константинополе, представлявшие привилегированную часть греческого населения в Турции. Благодаря своей близости к константинопольскому патриарху, фанариоты эксплоатировали в финансовом отношении христианское население Балканского полуострова. В XVIII—XIX вв. представители фанариотских родов играли заметную роль в государственной жизни Турции: очень часто они назначались на более видные посты в турецких посольствах за границей и являлись представителями власти в придунайских княжествах — Молдавии и Валахии. После турецкой революции фанариоты потеряли всякое значение.

156 Нессельроде Карл Васильевич (Карл-Роберт), граф (1780—1862) — русский государственный деятель. Ученик и поклонник Меттерниха, проникнутый идеями «Священного союза». С 1816 до 1856 г. — руководитель министерства иностранных дел. — Каподистрия Иоанн, граф (1776—1831), русский и греческий государственный деятель. В 1816—1822 г. был одним из руководителей русской иностранной политики, являясь ближайшим помощником Нессельроде. С 1827 г. — правитель Греции.

157 Бем Иосиф (1795—1858) — деятель польского национально-освободительного движения, талантливый полководец. Служил в польских войсках, после 1825 г. был уволен. Во время восстания 1830 г. командовал артиллерией восставших и произвел ряд удачных военных действий. После подавления восстания эмигрировал во Францию. В 1848 г. отправился в Вену и руководил обороной Вены от войск Виндишгреца. В 1849 г. командовал по назначению Кошута венгерскими революционными войсками в Трансильвании.

158 Косцельский Владислав, граф (род. в 1820 г.) — польский эмигрант, сторонник Адама Чарторыйского. Был дивизионным генералом польских войск в Турции под именем Сефер-паши. По характеристике Чайковского (Садык-паши), «человек весьма способный, понимавший славянство и Восток, имевший прекрасные

связи в свете и в дипломатическом кругу». В 70-е годы находился на службе у египетского вице-короля.

159 Лапинский Теофил — полковник, деятель польского национально-освободительного движения. Родился в Галиции, служил в австрийских войсках. В 1848—1849 гг. принял участие в венгерской революции и сражался в венгерских войсках. После подавления венгерской революции эмигрировал из Австрии. В 50-е годы несколько лет принимал участие в войне горцев на Кавказе против России. Выпустил на немецком языке книгу о войне на Кавказе («Die Bevölkerung des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen Russland». (Hamburg, 1863). Находился в связи с партией Чарторыйских. В 1863 г. был военным начальником неудачной морской экспедиции польских повстанцев против России на пароходе «Ward Jackson».

160 Делегация от черкесов и абхазцев с целью подать английскому правительству петицию о помощи против России явилась в Лондон в конце 1862 г. Возглавлял делегацию и представлял ее Пальмерстону полковник Теофил Лапинский, вызванный известным политическим деятелем Давидом Уркартом. Делегация не добилась никаких положительных результатов.

161 Более подробные сведения о Сливовском Кельсиев дает в своих тульчинских записях. В 1846 г., во время краковского восстания, Сливовский был гимназистом в Плоцке и вместе со своими товарищами-гимназистами собрался уйти за границу. Был арестован и по этапу отправлен в кантонистский батальон в Ярославле. Из кантонистов его перевели в учебный батальон. На одном ученье он бросился со штыком на обругавшего его майора. По военному суду его сослали в Иркутск, куда он шел пешком целый год, с 25 февраля 1849 г. по 25 февраля 1850 г. Десять лет Сливовский провел в Сибири, где усиленно занимался самообразованием и не опустился. После производства в офицеры вернулся в 1860 г. на родину — на Волынь. Участвовал в первых демонстрациях и был отправлен в Саратов. Бежал из Саратова вместе со своим братом Ксаверием, молодым поляком Сташевским и канцелярским служащим Заборовским. Попал в Константинополь. Принял участие в экспедиции на Кавказ, организованной полковником Иорданом; был секретарем экспедиции. Через 8 месяцев вернулся в Константинополь, потом жил в Измаиле; переехал в Тульчу и поселился с Кельсиевым.

162 Заборовский Константин — бывший писец саратовского уездного казначейства. В апреле 1863 г. вместе со Сливовским и Сташевским (или Станкевичем?) отправился в Константинополь, где имел сношения с Кельсиевым и польскими эмигрантами. В июне 1863 г. арестован в Одессе с турецким паспортом на имя Яна Костанди и выслан обратно в Константинополь. Вторично арестован в октябре того же года в Керчи с революционными изданиями; имел паспорт турецкого подданного Ивана Николо. Был предан уголовному суду.

163 Прокламация Кельсиева была напечатана литографским способом славянским шрифтом. Русским шрифтом она напечатана в «Общем Деле», № 12, и в «Европейце», 1864 г., № 1. Славянским шрифтом воспроизведена в сочинениях Герцена, т. XVI, стр. 105.

164 Русские владения в Америке уступлены Россией Северо-Американским Соединенным Штатам по договору 28 мая 1867 г. за семь миллионов двести тысяч долларов. Часть мурманского берега отошла от России к Норвегии в результате пересмотра и уточнения границ между этими двумя государствами по трактату 1826 г.

165 Али-паша Магомед-Эмин (1815—1871) — турецкий государственный деятель. В 1854 г. назначен президентом учредительного собрания. С 1855 г. несколько раз назначался великим визирем (в последний раз с 1867 г.). В 1856 г. был на Парижском конгрессе представителем Порты. Очень влиятельный сановник, единомышленник Фуад-паши.

166 Мутье Франсуа-Рене, маркиз (1817—1869) — французский дипломат. В 1861—1866 гг. был посланником в Константинополе. В 1866—1868 гг. — министр иностранных дел.

167 Некрасовцы — потомки участников булавинского бунта 1707 г., переселившиеся под руководством атамана Игната Некраса в Турцию. Были поселены турецким правительством в Добрудже. Жили в селах Дунавец и Сериклой, не платя податей и имея лишь обязательство воевать с Россией по требованию турецкого правительства. По вероисповеданию — старообрядцы-поповцы.

168 Гончар или Гончаров (сам он подписывался «Ганчар») Осип Семенович (1796—1880) — старообрядческий деятель, один из главных руководителей некрасовцев. В 1823—1837 гг. жил в г. Измаиле, избранный некрасовцами своим представителем для переговоров с русскими властями. Вернувшись в Турцию, занимался торговлей. С 1837 по 1859 г. был старшиной общины некрасовцев. Являлся одним из организаторов белокриницкой иерархии. Во время Крымской войны организовал вместе с Чайковским в помощь Турции особый казацкий полк из русских выходцев. По делам некрасовцев находился в сношениях с турецкими властями, французским правительством, с поляками, а также с русскими лондонскими эмигрантами. В 70-е годы несколько раз приезжал в Россию. В 1870 г. получил раз-

решение поселиться в России. Его автобиография в передаче А. Б. Никитина напечатана в «Русской Старине», 1883, № 4.

169 Павел Великодворский ошибочно назван здесь Белодворским. О нем см. выше, примеч. 76. Олимпий Милорадов, старообрядческий монах, до пострижения — Афанасий Зверев, мещанин посада Крылова, Полтавской губ. Принял монашество в Серковском монастыре, оттуда бежал за границу; здесь принял фамилию Милорадова. Очень смелый человек, горячо преданный старообрядчеству, он вместе с Павлом Великодворским отправился в 1845 г. в «великое странствие», в поисках лица, подходящего для поставления его старообрядческим епископом; они побывали в Сирии, Палестине, Египте и пр., представлялись австрийскому императору Фердинанду. Олимпий был участником славянского съезда, открывшегося в Праге 1 июня 1848 г. Из русских на этом съезде был еще М. А. Бакунин. Когда 12 июня 1848 г. в Праге неожиданно вспыхнуло восстание, подавленное через два дня, Олимпий принял в нем некоторое участие. В 1862 г. Бакунин безуспешно пытался письменно возобновить свое знакомство с Олимпием, чтобы через него вовлечь старообрядцев в революционное движение.

170 Энергичные хлопоты старообрядцев-поповцев об учреждении собственной иерархии в 40-е годы XIX в. увенчались успехом. Для этой цели был использован старообрядческий монастырь в Белой Кринице (в Буковине, входившей тогда в состав Австрии). В 1849 г. императором Фердинандом был дан указ, разрешавший белокриницким старообрядцам иметь своего епископа. Им согласился быть бывш. босно-сараевский епископ Амвросий, отрешенный от епархии константинопольским патриархом, вследствие его столкновений с турецкими властями. Амвросий был перемазан в Белой Кринице 27 октября 1846 г. и тотчас же посвятил в преемники себе белокриницкого монаха Кирилла. Вследствие происшедших дипломатических осложнений, австрийское правительство арестовало Амвросия и подвергло его заключению, но старообрядческая церковь уже имела архиереев — в лице Кирилла и нескольких других лиц, рукоположенных Амвросием.

171 Райя — немусульманское население Турции, платившее государству подати, но пользовавшееся известной самостоятельностью в области гражданских обычаев и суда.

172 Вилково — селение на левом берегу Дуная, на песчаном мысе, в Килийском рукаве.

173 Бульвер Вильям-Генрих Литтон (1801—1872) — английский дипломат. В 1857—1866 гг. был послом в Константинополе.

174 Тувенель Эдуард-Антуан (1818—1866) — французский дипломат. Призван в министерство иностранных дел после переворота 2 декабря 1851 г. Занимался там преимущественно делами Востока. В 1860—1862 гг. — министр иностранных дел.

175 Ушаков Александр Клеоникович (1803—1877) — генерал от инфантерии, участник Восточной войны на турецком фронте. Командовал русскими войсками, введенными в Добруджу.

176 Статья Г. (Н. И. Субботина) «Раскол, как орудие враждебных России партий», — «Русский Вестник», 1866 г., № 11, стр. 50—51.

177 Евгения (1826—1920) — дочь испанского графа Монтихо, с 1852 г. — жена французского императора Наполеона III.

178 Герцен в главе «Былого и дум», посвященной Кельсиеву, говорит о Гончаре: «В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону: от него я этого не слыхал». В «Жизнеописании Осипа Семеновича Гончарова», написанном А. Б. Никитиным, говорится, что Гончар имел аудиенцию у Наполеона III, который его расспрашивал о жизни некрасовцев в Турции и приказал показать ему «все древности» («Русская Старина», 1883 г., кн. IV, стр. 188). Скорее дело ограничилось свиданием с Тувенелем: ссылка Кельсиева на переводчика довольно убедительна.

179 Марониты — ветвь сирийских, с течением времени арабизировавшихся христиан, живших в горах Ливана. По религии близки к католичеству, хотя с отличиями в обрядах. Находились в половине XIX в. под покровительством Франции. Друзы — сирийская народность и секта, жившая в Южном Ливане и на Антиливане. Религия их представляла смесь различных элементов (магометанского, еврейского и христианского). В половине XIX в. друзы номинально подчинялись Турции. Вследствие интриг французов и англичан между друзами и маронитами происходили сильные трения, разрешившиеся в 1861 г. отчаянной резней, которую произвели друзы среди маронитов. Воспользовавшись этим, Франция послала на Ливан оккупационный корпус.

180 Гончар прожил в Лондоне у Герцена с 14 до 19 августа 1863 г. Герцен рассказал об этом посещении в «Былом и думах», часть VI, глава XI. О цели его приезда Герцен говорит: «Ему хотелось разузнать, какие у нас связи с раскольниками и какие споры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности, для него было все равно: он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией и с Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев» (Герцен, т. XIV, стр. 409).

[181] И. И. Кельсиев прибыл в Константинополь 27 июля ст. ст. 1863 г.

[182] Добруджа — область, обнимающая дельту Дуная и плоскую возвышенность к югу от нее. Население отличается чрезвычайной пестротой. С начала XV в. до 1878 г. Добруджа была подвластна Турции, входя в состав Болгарии. По Берлинскому трактату 1876 г. северная Добруджа присоединена к Румынии. Южная Добруджа была захвачена Румынией в 1913 г. ударом с тыла по обессилевшей от Балканских войн Болгарии. По сепаратному миру Румынии с Германией, подлежала возвращению Болгарии, но по договору в Нели (27 ноября 1919 г.) Добруджа была оставлена за Румынией. В 1940 г. южная часть Добруджи была возвращена Румынией Болгарии.

[183] Фуад-паша Магомед (1814—1869) — турецкий государственный деятель и писатель. В 1840 г. состоял при Али-паше, отправленном в Лондон для переговоров. В 1848 г. назначен правительственным комиссаром в дунайских княжествах. В 1852—1853 и 1858—1860 гг. — министр иностранных дел. Был сторонником реформы во внутренней жизни Турции, поклонником европейской образованности и врагом России. В 1860 г. подавил восстание в Дамаске в качестве правительственного комиссара. В 1861 г. назначен великим визирем, в 1862 г., кроме того, и заведующим финансами Турции. С 1867 г. — вновь министр иностранных дел, каковым оставался до смерти.

[184] Аркадий, до монашества Андрей Родионович Шапошников — старообрядческий епископ. После Павла Белокриницкого — наиболее замечательное лицо в Белокриницкой иерархии. Уроженец Черниговской губ., позже переселился в Кременчуг. Еще молодым постригся в старообрядческом Лаврентьевском монастыре в Могилевской губ. Был настоятелем этого монастыря. По закрытии Лаврентьевского монастыря поселился в Славском скиту, в Добрудже, где пользовался громадным уважением и влиянием. В 1847 г. был единогласно выдвинут от Славского скита кандидатом в епископы, но митрополит Амвросий отказался посвятить его, так как Аркадий в молодости был женат на вдове, а это по старообрядческим правилам являлось препятствием для посвящения. В январе 1854 г. был все-таки посвящен и в том же году, после занятия Добруджи русскими войсками, бежал с Гончаром в Царьград. Потом вернулся в Добруджу. Носил звание экзарха Славского. Умер в ноябре 1868 г. Этого Аркадия не следует смешивать с другим старообрядческим епископом Аркадием (по фамилии Лысый), который в 1854 г. был арестован русскими войсками в Добрудже вместе с епископом Олимпием.

[185] Текст обращения к Александру II от группы старообрядцев-некрасовцев помещен в комментариях М. К. Лемке к сочинениям Герцена (т. XVI, стр. 166—168). Обращение было подано вопреки советам Гончару Герцена и Огарева. Составители петиции ходатайствовали о веротерпимости для старообрядцев в России; тон ее относительно Александра II подобострастный и льстивый. Нельзя сказать, чтобы петиция была направлена «против поляков». О поляках там говорится следующее: «Великий государь, просим мы все, заграничные старообрядцы, просит и польский народ, удиви на них милость свою! Даруй отеческое прощение, если Христос, спаситель мира, молил отца своего за распинающих его, поревнуй его щедротам, отпусти польскому народу оказанную ими грубость, останови потоки крови». Письмо Огарева к Гончару, где он дает оценку прошению, см. в сочинениях Герцена, т. XVII, стр. 132—133.

[186] Пероты — уроженцы Перы, торгового квартала в Константинополе, населенного по преимуществу европейцами.

[187] Игнатьев Николай Павлович, граф (1832—1908) — государственный деятель. С 1864 г. был послом в Константинополе. В 1881 г. назначен, вместо Лорис-Меликова, министром внутренних дел для борьбы со «смутой». Издал «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». В 1882 г. вышел в отставку, в связи с составленным им проектом созыва «земского собора».

[188] Других биографических сведений о М. С. Васильеве, кроме тех, которые сообщает Кельсиев, не имеется. В «Пережитом и передуманном» Кельсиев изображает Васильева под именем Семена Михайловича Мудрова.

[189] Краснопевцев Петр Иванович — сын штаб-доктора смоленского военного училища. В 1854 г. окончил курс в дворянском полку (впоследствии Константиновское военное училище), поступил в 5-ю артиллерийскую бригаду 5-й пехотной дивизии 2-го пехотного корпуса и отправился по собственному желанию в Севастополь, где пробыл с 22 июля по 27 августа 1855 г., т.-е. до очищения русскими войсками южной стороны города. Стоял затем со своей бригадой сначала в Подольской и Волынской губ., а затем в Царстве Польском, преимущественно в Люблинской губ. С 1857 г. начал читать «Колокол» и другие заграничные издания и вести пропаганду среди своих товарищей. В 1862 г. находился в Варшаве, будучи временно прикомандированным к 6-й артиллерийской бригаде. Участвовал в панихиде, устроенной офицерами по казненным Арнгальдте и Сливицком. В то время, как других участников панихиды разослали по разным полкам внутри России, Краснопевцев остался в Варшаве, так как состоял в это время под судом за «неуважение к начальству», т.-е. за ссору с полковником Зайцевым. В конце апреля 1863 г. он,

видя невозможность продолжать прежнюю пропаганду, отправился в Люблинскую губ. для вступления в какой-нибудь повстанческий отряд. В продолжение четырех месяцев был в одном из маленьких отрядов под начальством Зелинского; с ним участвовал в четырех сражениях, в том числе при Жиржине. Все время надеялся поднять простой народ и увлечь на сторону восстания русских солдат (из них в его отряде было пять человек). По разбитии отряда, поняв слабость восстания и невозможность перекинуть его в Россию, Краснопевцев принял предложение отправиться в Галицию для формирования кадров из солдат австрийской службы. В Галиции его арестовали и заключили в крепость Ольмюц. Освобожденный, он, не теряя еще надежды на развитие восстания, направился в Краков, но увидев, что дело вконец проиграно, уехал в Париж, где сильно бедствовал. Через несколько месяцев он отправился в Тульчу к Кельсиеву. Приведенные сведения, очень пополняющие существующие скудные данные о биографии Краснопевцева, взяты нами из «выписки из журнала русского эмигранта Кельсиева, доставленного в азиатский департамент вице-консулом в Тульче». Это показывает, что Кельсиев в конце 1864 г. вел в Тульче какие-то записки, из которых тульчинскому вице-консулу, конечно, «агентурным» путем удалось добыть выписку. Выписка сохранилась в деле о Кельсиеве в архиве III Отделения. Довольно много говорит Кельсиев о Краснопевцеве в «Пережитом и передуманном», называя его там его настоящим именем. Оттуда можно извлечь некоторые дополнения к сообщениям его в «Исповеди», например, о том, что Краснопевцев был большим приятелем А. А. Потебни и входил в «центральный комитет русских офицеров в Польше» и пр.

190 Сообщения Кельсиева о том, в чьем отряде сражался Краснопевцев, противоречивы. В своих тульчинских записках, о которых см. предыдущее примечание, он называет Зелинского, в «Пережитом и передуманном» — Бóссака.

191 Станкевич Павел Платонович — украинец, студент Киевского университета.

192 Левицкий Андрей Андреевич — воспитанник военного училища в Галиции. Принимал участие в польском восстании 1863 г. Дауша — чех, воспитанник политехнического училища в Праге. Тоже участник восстания 1863 г.

193 По донесению тульчинского вице-консула А. Кудрявцева, Краснопевцев покончил с собой в ночь с 7 на 8 февраля 1865 г. (см. Герцен, т. XIV, стр. 640).

194 Писем Кельсиева к Герцену и Огареву в печати не появлялось. Из писем к нему издателей «Колокола» напечатаны: письмо Огарева с припиской Герцена от 3 июля 1865 г. (Герцен, т. XVIII, стр. 160); письма Герцена: от 29 октября 1865 г. (там же, стр. 241—242), от 13 декабря 1865 г. (с припиской Огарева, — там же, стр. 281), от 9 мая 1866 г. (там же, стр. 388—389), от 24 мая 1866 г. (там же, стр. 405—406).

195 Пряшов — славянское название города Эперьеш в Венгрии, на левом берегу реки Гарцы, со смешанным мадьярско-славянским населением.

196 21 октября 1863 г. Кельсиев написал письмо в Иерусалим к русскому архиерею Кириллу (числившемуся мелитопольским епископом), который несколько лет стоял во главе русской духовной миссии в Иерусалиме и в это время отзывался обратно в Россию. До Кельсиева дошли неправильные слухи, что Кирилла в России ждет опала и чуть ли не ссылка, и он в своем письме уговаривал Кирилла перейти в старообрядчество и стать в с. Майносе, в Малой Азии, епископом той значительной части старообрядцев-поповцев, которая не желала признавать белокриницкой иерархии из-за греческого происхождения первого белокриницкого митрополита Амвросия. Кельсиев думал, что если бы нашелся епископ-великоросс, то эти «раздорники» признали бы его. Кирилл игнорировал это предложение. Письмо Кельсиева напечатано в «Православном собеседнике», 1867, № 2, стр. 114—120; перепечатано в «Русском Вестнике», 1867, № 3, стр. 405—409.

197 Газеты «Courrier d'Orient» мы не могли отыскать в московских библиотеках, и статья Кельсиева в этой газете нам неизвестна. О редакторе газеты, корсиканце Петри, Кельсиев упоминает выше, в отделе «Цареградские дела».

198 Кельсиева Варвара Тимофеевна (родилась около 1840 г., умерла в октябре 1865 г.) — жена В. И. Кельсиева. Урожденная Щербакова. До замужества была гувернанткой при дочерях гр. Ореуса. В некрологической заметке о ней в 208-м листе «Колокола» Герцен писал: «Безропотно, самоотверженно, кротко, без фраз вынесла эта твердая, превосходная женщина добровольную ссылку, страшную бедность и всевозможные лишения. Ей едва ли было двадцать пять лет» («Две кончины», Герцен, т. XVIII, стр. 249).

199 Базиаш — городок в Венгрии, на Дунае, на сербской границе.

200 Духинский Франциск (1817—1893) — польский историк и публицист. Уроженец Украины. Эмигрировал за границу, был сначала профессором польской школы в Париже, а потом хранителем известного польского музея в Рапперсвиле. В 50-е и 60-е годы напечатал ряд работ, в которых доказывал, что великороссы не являются арийцами и принадлежат не к славянскому, а к туранскому племени. В качестве политического вывода из своей теории Духинский предлагал восстановить польское государство с присоединением к нему Белоруссии и Украины. «Тео-

рия» Духинского подверглась в русской литературе резкой критике. Главная работа Духинского называлась «Nécessité des réformes dans l'exposition de l'histoire des peuples aryas-européens et tourans, particulièrement des slaves et des moscovites» (Paris, 1864). По поводу этой книги Герцен 18 августа 1867 г. писал Огареву: «Я читаю теперь Духинского и иной раз перечитываю, чтобы убедиться, что такую белиберду можно так серьезно писать» (Сочинения, т. XIX, стр. 439).

201 По всей вероятности здесь имеются в виду лекции по истории славянской литературы, которые Адам Мицкевич читал в Париже в 1840—1844 гг. Там можно найти некоторые мысли того порядка, который здесь интересует Кельсиева. Так, в 22-й лекции говорится, что великороссы представляют потомство славян и финнов, «потерявшее чистоту своего языка и крови и забывшее свои нравы». «После распадения финского племени его дух продолжал жить и перешел в новое тело». Мицкевич доказывал, что история России потеряла славянский характер, что это история мрачная и безумная; рядом с ней история Польши — блестящая история чисто славянского народа. Петр I, по определению Мицкевича, — «отатаренный москаль» и пр.

202 Мартен Бон-Луи-Анри (1810—1883) — французский историк, публицист и общественный деятель. Автор известной «Histoire de France», законченной в 1854 г. и затем многократно перерабатывавшейся и дополнявшейся. В 1871 г. — член Национального собрания, где он примкнул к левым республиканцам; с 1876 г. — сенатор. Автор многих публицистических статей и книг, в т. ч. «Pologne et Moscovie» (1863), «La Russie et l'Europe» (1866). В последней книге, имеющей эпиграфом слова: «Europe aux européens», Мартен призывает Европу изгнать в Азию русских, как «туранцев»; цель его — создание европейской федерации против России. По поводу этой книги Герцен 1 июня 1866 г. писал сыну: «...Анри Мартэн издал теперь книгу «L'Europe et la Russie», — так и руки чешутся» (т. е. хочется выступить полемически против Мартена). Этого своего желания он не привел в исполнение.

203 Viquesnel (если Кельсиев правильно передает это имя), повидимому, какой-то французский публицист. У нас о нем нет сведений.

204 «Словацкие села под Пресбургом». — «Русский Вестник», 1866, № 7. Подпись: В. Иванов-Желудков.

205 Выстрел 4 апреля — неудачное покушение Д. В. Каракозова на Александра II в 1866 г. За этим покушением последовал взрыв реакции.

206 Покушение Каракозова вызвало целый поток верноподданнических адресов и заявлений, которыми были наполнены все газеты. Конечно, чаще всего они составлялись и подавались просто, чтобы не навлечь подозрений в отсутствии царелюбия.

207 Новые суды вводились постепенно. Было постановлено, что 17 апреля 1866 г. новые судебные учреждения будут открыты в двух округах — петербургском и московском. После выстрела Каракозова 4 апреля в реакционных кругах выражалось мнение, что введение новых судов нужно отсрочить. Однако, этой отсрочки не последовало, и 17 апреля новые суды были открыты в обоих столичных округах.

208 В июле 1866 г. в Россию приехало чрезвычайное посольство от Вашингтонского конгресса для принесения поздравлений Александру II с благополучным для него исходом покушения Каракозова 4 апреля. Посольство было как бы ответом на то, что за три года до этого эскадра адмирала С. С. Лесовского стояла у американских берегов, в чем выражалось благоприятное отношение русского правительства к Северу в его междоусобной борьбе с Югом. Во главе посольства стоял Дж. В. Фокс, второй секретарь морского департамента (товарищ морского министра) США. 27 июля посольство представлялось Александру II, причем Фокс вручил царю поздравительный адрес, утвержденный конгрессом, и произнес речь. На следующий день Фоксу и американским офицерам был дан обед в Кронштадте русскими моряками, и Александр II посетил американский монитор «Миантонома». 11 августа посольство выехало в Москву, 17 августа — на нижегородскую ярмарку. 1 сентября посольство отправилось обратно.

209 Имеется в виду австро-прусская война, предлогом для которой послужил шлезвиг-голштинский вопрос. Пруссия была в Союзе с Италией, на стороне Австрии были южно-германские государства. Война формально началась 17 июня 1866 г. 3 июля пруссаки нанесли Австрии решительное поражение при Садовой. Уже 27 июля был заключен прелиминарный мир в Никольсбурге, а 23 августа окончательный — в Праге. Результатами войны были образование Северо-Германского союза, устранение Австрии из Германии и территориальное расширение Пруссии.

210 «Письма из Австрии. Следствия войны», — «Голос», 1866, № 218.

211 Кельсиев здесь приводит строки из стихотворения Михалевича в «Дворянском гнезде» Тургенева:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

212 Наследник престола Александр Александрович (будущий Александр III) вступил в брак с дочерью датского короля Христиана IX, Софиею-Фредерикою-Дагмарою (Мария Федоровна) 28 октября 1866 г. Принцесса Дагмара была сначала невестою старшего брата Александра, Николая Александровича, умершего в 1865 г.

213 Попов Нил Александрович (1833—1891) — историк и славист, профессор Московского университета по кафедре русской истории с 1860 г., автор исследований «Татищев и его время» (1861) и «Россия и Сербия» (1869). Много писал по вопросам славянской жизни и политики. В качестве секретаря Славянского благотворительного общества в Москве, имел ближайшее отношение к организации славянской этнографической выставки.

214 Богишич Балтазар (1840—1908) — уроженец Далмации, известный славянский юрист-этнограф, исследователь славянского права, кодификатор Черногории. С 1862 г. — библиотекарь императорской библиотеки в Вене. В 1869 г. занял кафедру истории славянских законодательств в Новороссийском университете.

215 Журнал «Knizewnik» со статьей Кельсиева и Бошшича мы не могли найти в московских библиотеках.

216 Герцен, действительно, находил, что Кельсиев, как писатель, идет вперед и видел в нем публициста своей школы. 29 марта 1867 г. он писал Огареву «Желудкова статья хороша; mon école, как говорил Чаадаев обо мне и Грановском. Но я немного подожду и сделаю ему печатный divertissement. Всего мерзее богоблудие с православием и нападки на вольтерианизм в Румынии» (Герцен, т. XIX, стр. 256). Статья Иванова-Желудкова (Кельсиева), о которой идет речь, это, очевидно, «Наблюдение над Яссами» («Голос», 1867, №№ 54, 55). Свое намерение о печатном предостережении Кельсиеву Герцен привел в исполнение: в 243-м листе «Колокола» помещена его заметка «Первое предостережение».

217 Скарга Петр (1536—1612) — иезуит, знаменитый польский церковный оратор. Окончил Краковскую академию. Ректор Виленской академии, придворный проповедник при Сигизмунде III. Главное его сочинение — «О единстве церкви божией» (1577). Энергично боролся с польскими диссидентами. Умер в Кракове. — Поцей (или Потей) Игнатий (1541—1613), церковный деятель. Учился в Краковской академии. Был одно время кальвинистом, затем снова вернулся к православию. В звании епископа Владимиро-Волынского был одним из главнейших деятелей по проведению унии. В 1599 г. назначен униатским киевским митрополитом.— Баторий Стефан (1533—1586), князь семиградский, с 1575 г. — король польский, ведший упорную борьбу с Москвою. — Понятовский Станислав (1676—1762), польский магнат. Поддерживал Карла XII шведского в его борьбе с Россией, состоял его адъютантом. Участвовал в Полтавской битве, после которой бежал с Карлом XII в Турцию. По смерти Карла признал Августа II и служил ему; с 1731 г. был воеводой мазовецким. Август III назначил его каштеляном краковским.

218 «Путешествие по Галичине» напечатано в «Голосе», 1866, №№ 260, 261, 263, 268, 274, 276, 278, 318, 325, 333; 1867, №№ 3, 90, 91. Уже после написания «Исповеди», в 1868 г., печатание продолжалось в №№ 69, 88, 89, 99, 106, 133, 149, 157, 162, 190, 191. В 1868 г. вышла отдельная книга «Галичане и Молдавия, путевые письма Василия Кельсиева».

219 Голуховский Агенор, граф (1812—1875) — австрийский государственный деятель. По происхождению поляк из Галиции. В 1849—1859 гг. был наместником Галиции. В 1859 г. назначен министром иностранных дел, но уже в следующем году сменен. В 1866—1867 гг., затем с 1871 г. вновь состоял наместником Галиции. Усердно стремился к полонизации края.

220 Лангевич Мариан (1827—1887) — польский революционер. Участвовал в экспедиции Гарибальди против Неаполя. В 1862 г. был назначен вождем повстанцев Сандомирского района. В марте 1863 г. провозглашен польским диктатором. После поражения восстания отступил в Галицию, где был арестован. Умер в Турции.

221 Петрушевич Антоний — униатский священник, каноник во Львове, исследователь церковной истории Галичины, также филолог и этнограф.

222 Май вместо июня назван Кельсиевым по ошибке. Ошибочно он говорит и о числе; в действительности он был доставлен в III Отделение не 2, а 3 июня. Об этом Кельсиев дважды говорит в «Пережитом и передуманном», это же явствует и из официальных источников. Верно он запомнил только день: 3 июня в 1867 г. приходилось в субботу.

223 Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) был у Герцена в июне 1862 г. 14 июня Герцен писал сыну: «Мне Писемского вообще не очень хочется видеть: он писал дурные вещи, в самом гадком смысле и направлении» (Сочинения, т. XV, стр. 209). 21 июня он сообщает Н. А. Огаревой: «С Писемским и Коршем были сильные и сильно неприятные объяснения» (там же, стр. 220). В 1863 г. Писемский напечатал в «Библиотеке для чтения» пасквильный роман «Взбаламученное море»; XVI—XIX главы шестой части романа посвящены сношениям героя его Бакланова с лондонскими эмигрантами. Приведенный в негодование Герцен коснулся Писемского и его романа в статье «Ввоз нечистот в Лондон» («Колокол», лист 175). О характере разговоров при свидании Герцена с Писемским дает пред-

ставление следующая сценка «Подчиненный и начальники», находящаяся в этой статье (подчиненный — Писемский, начальники А. и В. — Герцен и Огарев:

«Подчиненный. — Находясь проездом в здешних местах, счел обязанностью явиться к вашему превосходительству.

Начальник А. — Хорошо, братец. Да что-то про тебя ходят дурные слухи?

Подчиненный. — Невинен, ваше превосходительство, все канцелярская молодежь напакостила, а я перед вами, как перед богом, ни в чем-с.

Начальник В. — Вы не маленький, чтобы ссылаться на других. Ступайте...».

Кроме того, Герцен привел в статье отрывок из письма, полученного им от Писемского летом 1862 г., перед их свиданием. — Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист, известен как издатель с 1863 г. крайне-крепостнического органа — газеты «Весть». До того Скарятин был умеренным либералом с англоманским оттенком. Об этом периоде его деятельности говорится в очерке: Пантелеев Л. Ф., В. Д. Скарятин, — «Минувшие годы», 1908, XII. — Потехин Николай Антипович (1834—1896), драматург, участник «Искры», позже — режиссер, актер и театральный рецензент. В 1862 г. привлекался к дознанию по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, сидел в крепости, но от суда был освобожден. У Герцена Потехин был в мае 1862 г. (Сочинения, т. XV, стр. 128). Показание его на допросе об этом свидании см. в книге: Лемке М. К., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908, стр. 108—110. — Островский Александр Николаевич (1823—1886) был в Лондоне с 20 по 26 мая 1861 г. (Синюхов, Г. Т. Труды и дни Островского. — Сб. «Островский», «Труды Пушкинского Дома» 1924, стр. 341). О его визите Герцену до сих пор в литературе не было сведений. Горбунов Иван Федорович (1831—1895), артист, известный автор и рассказчик юмористических бытовых сцен. Был спутником Островского в заграничной поездке. Цвет, по всей вероятности, Семен Николаевич, окончивший одесский Ришельевский лицей. Служил по удельному ведомству, затем определился ученым секретарем в отряд из трех корветов, отправлявшийся в Тихий океан под начальством адмирала А. А. Попова. За выступления Цвета против телесных наказаний матросов и вообще за его «свободомыслие» адмирал высадил его в Англии. Возвратившись в Россию, Цвет был чиновником разных ведомств и дослужился до чина действительного статского советника. Пребывание его в Англии, повидимому, относится к концу 1861 г. См. письмо к нему А. П. Марковой-Виноградской в «Минувших годах», 1908, № 10. — Перетц Григорий Григорьевич (1823—1883), чиновник и литератор. С 1849 г. был учителем русского языка в разных петербургских учебных заведениях; с 1862 г. бросил службу и занялся литературной деятельностью, главным образом, по библиографии и критике. Еще в 1845 г. выпустил книжку стихов под псевдонимом Петра Штавера. В 60-е годы некоторое время заведывал внутренним отделом «Правительственного Вестника», потом стал постоянным сотрудником «Голоса». В 1873 г. поступил на службу в министерство внутренних дел и несколько раз был командирован за границу для изучения вопроса о подделке наших ассигнаций. У Герцена Перетц бывал в июне 1862 г. 20—24 июня Герцен писал о нем Н. А. Серно-Соловьевичу: «Знаете ли вы Г. Перетца? Он, кажется, очень хороший и образованный человек» (Сочинения, т. XV, стр. 219). Когда арестовали Ветошникова, явно выданного каким-то шпионом, пробравшимся к Герцену, то стали падать подозрения на Перетца. По этому поводу Герцен писал 5 сентября 1862 г. В. В. Стасову: «Очень благодарен за ваше письмо, — тем больше, что я, наконец, убедился, что перец чист. Странное дело перца, что не он щипал нам язык, а наш язык пощипал его. В Петербурге вы его непременно оправдайте» (там же, стр. 467). Значительное правдоподобие подозрения против Перетца приобрели в 1866—1867 гг., когда он, по словам М. К. Лемке, «официально служил в 3-й экспедиции (разведочной и справочной) III Отделения» (там же, стр. 381). — С И. С. Тургеневым Кельсиев мог встречаться у Герцена в мае 1862 г., когда он приехал на три дня из Парижа в Лондон для свидания с Герценом и Бакуниным (19 мая Тургенев уехал). Перед тем он был у него в августе 1860 г. — О Л. Н. Толстом см. дальше. — Кусаков — товарищ В. А. Панаева, был в Лондоне вместе с последним весною 1859 г. Он приводил Герцена в восторг своим исполнением русских песен. См. воспоминания В. А. Панаева («Русская Старина», 1902, кн. V, стр. 323). — Михайлов Михаил Илларионович (1829—1865) — известный поэт-переводчик, беллетрист и публицист. В 1861 г. при его участии Н. В. Шелгунов составил прокламацию «К молодому поколению»; Михайлов отпечатал ее в типографии Герцена и в августе 1861 г. привез в Россию. Арестованный 14 сентября, он принял авторство на себя и был приговорен к каторге на шесть лет. — Гербель Николай Васильевич (1827—1883), поэт-переводчик, отставной офицер. Был близок с М. И. Михайловым и Н. В. Шелгуновым, имел некоторое отношение к обществу «Земля и Воля». в 1861 г., проживая в Лондоне, был в близких отношениях с Герценом и Огаревым. Привез материал для печатавшегося Огаревым сборника «Русская потаенная литература XIX столетия» и участвовал в корректуре этой книги (см. Герцен, т. XXII, стр. 128—129). — Жемчужников Николай Михайлович познакомился с Герценом летом 1860 г., явившись к нему с рекомендательным письмом от И. С. Тургенева.

В 1862 г. часто бывал у Герцена. Вернулся в Россию в сентябре 1865 г. по случаю смерти своего отца. — Пассек (урожденная Кучина) Татьяна Петровна (1810—1889), писательница, родственница Герцена, друг его детства и ранней юности, автор известных воспоминаний «Из дальних лет», посвященных, главным образом, Герцену и его кружку. — О Казакове см. выше, примеч. 32-е. — О Дубовицком см. дальше. — Неизвестно, о каком Боборыкине говорит здесь Кельсиев. Известный беллетрист Петр Дмитриевич Боборыкин впервые познакомился с Герценом, мельком встретившись с ним, лишь осенью 1865 г. в Женеве (см. его «Столицы мира», М., 1911 г., стр. 495). Он довольно близко сошелся с Герценом и часто бывал у него только в зиму 1869—1870 гг. — совсем перед смертью Герцена. — Обручев Николай Николаевич (1830—1904) — в начале 60-х годов профессор военной статистики. Был близок к Чернышевскому, входил в тайное общество «Великоросс»; был одним из организаторов общества «Земля и Воля», в 1861 г., командированный на службу за границу, довольно долго жил в Лондоне, где сошелся с Герценом и Огаревым. Вместе с Огаревым принимал участие в составлении прокламации «Что нужно народу?» и «Что надо делать войску?» Впоследствии — видный военный деятель, начальник главного штаба, член государственного совета. — О Сераковском см. дальше. — В 1862 г. в Лондон приезжали два брата Боткина: известный литератор, член кружка людей 40-х годов Василий Петрович (1811—1896) и профессор медико-хирургической академии знаменитый врач Сергей Петрович (1832—1889). Последний был со своей женой; может-быть, под «Боткиными» Кельсиев подразумевал именно супругов Боткиных? — О личности Белохвостова нам ничего неизвестно. Можно было бы предположить, что Кельсиев забыл фамилию и назвал Белохвостова вместо Белоголового, но дело в том, что доктор Николай Андреевич Белоголовый, сотрудник «Колокола», приехав летом 1861 г. в Лондон специально для свидания с Герценом, не застал его дома, так как он на несколько дней уехал в Париж. Белоголовый немедленно отправился в Париж, и свидание состоялось там. Значит, Кельсиев в Лондоне не мог встречать Белоголового. — Владимиров Николай Михайлович (родился в 1839 г.), потомственный почетный гражданин. Окончил петербургское коммерческое училище, где был несколькими классами моложе Кельсиева. Торговой конторой Скворцова, в которой он служил, был командирован в Лондон, где познакомился с Герценом. Арестован в июле 1862 г. в Москве по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами. Судом сената приговорен в декабре 1864 г. «за пособничество лондонским пропагандистам в сношениях с соумышленниками и за распространение их изданий» к каторжным работам на восемь лет. В виду его «раскания», каторжные работы по ходатайству суда заменены ссылкой в Сибирь на поселение. В 1866 г. он поселен в с. Оёке. Дальнейшая судьба его неизвестна. — Трувеллер Владимир Николаевич (родился около 1842 г.), юнкер 29-го флотского экипажа. В июне 1862 г. арестован на фрегате «Олег» за приобретение за границей прокламаций «Что надо делать войску?» и «Что нужно народу?» и за попытку распространения их среди нижних чинов фрегата. Морским генерал-аудиторнатом приговорен к трем годам каторги; по конфирмации 19 февраля 1864 г. каторжные работы заменены ссылкой на поселение в Западную Сибирь. В 1865 г. возвращен из Тобольской губ. и поселен под поручительством матери в ее имении в Новгородской губ. В 1877 г. выехал в Швейцарию. — О последних лицах в списке Кельсиева — Богатыреве, Смирнове и Сорокине-Щербине у нас не имеется сведений. Весьма возможно, что «Сорокин-Щербина» нужно читать как «Сорокин и Щербина».

Сорокин Иван Максимович (род. в 1833 г.) — доктор, приятель Чернышевского и Добролюбова; в 1860—1863 гг. проживал за границей для научных занятий. Впоследствии был профессором судебной медицины и токсикологии в Военно-медицинской академии.

Щербина Николай Федорович (1821—1863) — известный поэт; в 1861 г. был за границей и посещал Герцена. Два сохранившихся письма к нему Герцена напечатаны в XI т. собрания сочинений последнего.

224 Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) — капитан генерального штаба, видный русско-польский революционер начала 60-х годов. В 1845 г. поступил в Петербургский университет; в апреле 1848 г. был задержан при попытке перейти австрийскую границу и по распоряжению Николая I отправлен рядовым в Оренбургский корпус. В 1856 г. произведен в первый офицерский чин. Потом окончил академию генерального штаба. Вел энергичную борьбу с телесными наказаниями солдат. Играл выдающуюся роль в революционных кружках конца 50-х — начала 60-х годов. Близко стоял к обществу «Земля и Воля». Принимал участие в подготовке польского восстания. В марте 1863 г. стал во главе одного из важнейших повстанческих отрядов. Взятый в плен, был по распоряжению М. Н. Муравьева повешен. Н. Г. Чернышевский, относившийся к Сераковскому с глубокой симпатией, вывел его в романе «Пролог пролога» под фамилией Соколовского.

225 Других сведений о Дубовицком, кроме того, что сообщает о нем Кельсиев, в литературе не имеется.

226 Запасник Александр, писатель по финансовым вопросам. В ноябре 1860 г.

Огарев писал П. В. Анненкову, что он все читает проект выкупа крестьян, составленный Запасником. Это книга: «Études financières sur l'émancipation des paysans en Russie, sur l'impôt foncier, le système monétaire et le change extérieur par Alexandre Zapasnik», Paris, 1860. «Проект очень практичен, по всем правилам науки и в должных границах науки, но все же он слишком умен для комитета и потому не пройдет» («Звенья», III—IV, 418). Этому же Запаснику принадлежит магистерская диссертация «О погашении государственных долгов» (СПб., 1857). Об этой книге говорится в библиографическом обзоре Чернышевского в «Современнике», 1857, № 8. В 1861 г. Запасник, живя в Лондоне для изучения постановки банкового дела, познакомился с Герценом и Огаревым. См. Герцен, т. XI, стр. 361.

227 Об отношениях Герцена с Л. Н. Толстым см. сообщение Н. Гусева в настоящем томе «Литературного Наследства». Разумеется, слова Кельсиева, что Толстой говорил с Герценом исключительно о педагогии, совершенно не соответствуют действительности.

228 Живой рассказ об этом изобличителе Бакунина находится в «Былом и думах» Герцена:

«Бакунин вставал поздно: нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Очень рад.

— Что вы это так поздно встаете? а еще демократ.

... Молчание... слышен плеск воды, каскада.

— Михаил Александрович!

— Что?

— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

— Да.

— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности; вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить примером.

— Что вы за вздор несете!

— Да вы, скажите, по любви женились?

— Вам что за дело?

— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата.

— Что вы это, допрашивать меня пришли? Ступайте к чорту!

— Ну, вот, вы и рассердились, а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

— Хорошо, хорошо, только будьте умнее». (Герцен, т. XIV, стр. 432—433).

229 Абихт Генрих, — польский революционер. Учился в гимназии, курса не окончил, был почтовым чиновником. Эмигрировал и около года (в 1858—1859) был наборщиком в «Вольной русской типографии» Герцена в Лондоне, потом уехал в Париж. Принадлежал к польским социалистам. Принимал участие в июльском восстании 1863 г., взят в плен и казнен в Варшаве вместе с ксендзом Макаром Конарским. Кельсиев написал о нем статью «Эмигрант Абихт» («Русский Вестник», 1869, I).

230 Об одном молодом офицере, который в 1863 г. говорил Герцену о своем намерении убить М. Н. Муравьева, Герцен рассказал в 1868 г. в статье «Нашим врагам» в 14-м — 15-м листе французского «Колокола» (Сочинения, том XXI, стр. 206). К тому же 1863 г. относится, по словам Н. А. Огаревой-Тучковой, разговор Герцена с тремя русскими, повидимому, о цареубийстве: «Они казались еще очень молоды, едва кончившие курс в каком-то университете. Герцен был так поражен их разговором, что не спросил их имена, а, впрочем, говорил позже, что и не жалел об этом. Вот что он рассказывал о свидании с ними: они начали с того, что рассказывали Герцену, как с польского восстания стали теснить учащихся, как все светлые надежды России мало-помалу померкли. Конечно, Герцен слышал уже обо всем этом; он возразил: «Что же делать, надо выждать; когда реакция пройдет, тогда Россия опять будет развиваться и исполнять свои исторические задачи.

— Но это долго, — возразил один из них, — в молодости терпения мало; мы приехали затем, чтобы слышать ваше мнение; мы хотим пожертвовать собой для блага отечества и для того решились на преступление...

— Не делайте этого, — возразил с жаром Герцен, — это будет бесполезная жертва, и она поведет к еще большей реакции, чем июльское восстание. Обещайте мне честно оставить эту мысль; помните, что этим поступком вы принесете только большой вред отечеству. Возьмите любую историю, и вы найдете в ней подтверждение моих слов.

Они сознались в незрелости их мысли и уехали убежденные». (Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, М., 1903, стр. 210—211).

[231] Бейст Фридрих-Фердинанд, граф (1809—1886) — саксонский и австрийский государственный деятель. С 1849 г. министр иностранных дел в Саксонии, с 1853 г., кроме того, и министр внутренних дел. Вдохновитель контрреволюции 1849 г. и последующей реакции. С 1867 г. австрийский министр-президент. Достиг соглашения с Венгрией и создания дуалистического государства Австро-Венгрии. В 1871 г. получил отставку.

[232] Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — известный славист, профессор Петербургского университета, академик.

[233] Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878) — славянофил, видный общественный и государственный деятель времен Александра II. Участвовал в подготовке освобождения крестьян, в 1863—1864 гг. проводил крестьянскую реформу в Польше. В 1868—1870 гг. — московский городской голова. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. ему было поручено гражданское политическое устройство Болгарии.

[234] Письмо Кельсиева к Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. из Тульчи с вопросом о возможности для него участвовать в русской журналистике опубликовано в «Русской Старине», 1882 г., кн. IX.

[235] Паржницкий Игнатий Иосифович был недолго студентом Главного педагогического института, а затем перешел в Медико-хирургическую академию. В 1856 г. он был во главе депутации к царю от студентов академии, которые жаловались на президента академии. Паржницкий за это был отправлен в качестве фельдшера в Тавастгус. После он поступил в Казанский университет, но за участие в студенческих волнениях исключен. Через некоторое время уехал в Берлин. Дальнейшая судьба его неизвестна. Игнатий Паржницкий был близок с Н. А. Добролюбовым и оказывал на него влияние. У него было два брата — Александр и Поликарп. Неизвестно, кто именно из них попал в Галац. О братьях Паржницких см. «Дневник» Н. А. Добролюбова, 1931 (по указателю).

[236] Дювернуа Николай Львович (1836—1906) — юрист, впоследствии профессор гражданского права Петербургского университета.

ИЗ БИОГРАФИИ В. С. ПЕЧЕРИНА

Сообщение А. Сабурова

В. С. Печерин, его личность и его творчество, его жизненный путь заслуживают самого пристального внимания исследователя. Это была чрезвычайно своеобразная фигура, отличавшаяся исключительной идейной насыщенностью, со своим, крайне индивидуальным путем идейного развития. Вся его жизнь — непрерывный ряд душевных и житейских конфликтов с собою, с окружающим миром, — конфликтов, сопровождавшихся постоянным внутренним разладом и завершавшихся бегством из одного окружения, из одной среды в другую. Печерин — постоянный беглец. В юности, порвав всякие связи с семьей, он из глухой провинции прибыл в Петербург незадолго до 14 декабря 1825 г. Проведя короткое время в мелкой чиновничьей среде, он порвал с ней всякие связи и «бросился в казеннокоштные студенты». Окончив университет в 1831 г., он рвется за границу, в чудный, неведомый край, о котором привык мечтать под обаянием шиллеровской лирики. В 1833—35 гг. он за границей, в Берлине, где должен приготовиться к профессорскому званию. Однако, германская наука не дала прямого ответа на его запросы и стремления. За эти два с небольшим года он дважды бежит в Швейцарию и Италию, стремясь разрешить свои растущие душевные тревоги. Революционные идеи, мысли о разрушении старого мира в эти годы всецело овладевают его волей и сознанием. Но при этом он остается одиноким мятежником, не видящим перед собою прямого пути. Ко времени возвращения в Россию его внутренний разлад обостряется до крайности. Он возвращается с чувством полной непримиримости к оседлому пребыванию на профессорской кафедре и с первых же дней копит деньги для вторичного и окончательного бегства. Летом 1836 г. он вновь за границей — уже навсегда. Он возобновляет попытки завязать связи с швейцарскими и итальянскими революционерами, предпринятые им еще в 1834 г., пытается обосноваться в Лугано, в Цюрихе, но вскоре, из-за полного безденежья с перспективой долговой тюрьмы, бежит из Цюриха, где ему не удалось осуществить свои тайные намерения, заставившие его бежать из России. Через несколько лет пора нищенства и скитаний, сопровождавшаяся чередованием самых разнообразных профессий, сменилась внезапным разрывом всех прежних демократических и революционных связей, полным изменением всей идейной и практической ориентации, и недавний протестант, замышлявший возглавить борьбу за всемирное разрушение, становится католическим монахом, а затем патером-миссионером ордена редемптористов (1840 г.). Но это было не последнее его превращение. Менее чем через 10 лет оживает в Печерине чувство внутреннего разлада, перерастающее в сознание полной личной катастрофы. В течение 50-х годов, в период блестящей миссионерской деятельности, стяжавшей ему самую широкую известность в католическом мире, зреет в нем твердое решение порвать с монастырем, уйти из католического окружения. И вот, когда, вызванный в Рим в 1859 г., он был поставлен перед перспективой блестящей карьеры, но ценою отказа от личных убеждений, неприемлемых для католической иерархии, он решительно разрывает новый узел противоречий и бежит из Рима с таким же чувством, с каким двадцать три года тому назад он бежал из России. Два года спустя Печерин уходит из монастыря, и начинается его совершенно одинокая жизнь, посвященная исключительно умственным интересам. Он превращается из ревностного монаха-миссионера в активного атеиста, в течение десяти лет готовит огромный ученый труд в обоснование атеизма, возобновляет свои русские связи и пишет мемуары, которые по своей идей-

ной направленности были проповедью атеизма. Умственная деятельность Печерина 60-х—70-х годов — это полная и решительная ревизия романтического идеализма, который был основой его идейных интересов и поведения в 30-х годах и который послужил почвой для его превращения в католического монаха.

Первым из русских людей, к кому обратился Печерин после разрыва с монастырем, был Герцен. Герцен не был знаком с Печериным до эмиграции. Первая встреча между ними состоялась в 1853 г. в монастыре С.-Мери Чапель в Клапаме близ Лондона. Этой встрече посвящена особая глава «Былого и дум». Вслед за двукратным посещением Герцена Печерин обменялся с ним несколькими письмами, которые Герцен приложил к рассказу о своем свидании с ним. В 1861 г. в «Полярной Звезде»[1] и в «Русской потаенной литературе»[2] была напечатана поэма Печерина «Торжество смерти»[3], а год спустя Печерин после выхода из монастыря возобновил свою переписку с Герценом. В 1863 г. он обменялся несколькими письмами с Огаревым[4]. Такова несложная история внешних отношений Герцена и Печерина. Внутреннее содержание их, однако, несравненно серьезнее, чем можно предположить по этому краткому перечню. Их встреча и переписка отличались глубокой полемичностью, свойственной обоим и объясняющейся огромной силой личного убеждения, отличавшей не только Герцена, но и Печерина на всех этапах его противоречивого жизненного пути.

Герцен, будучи в Лондоне в 1853 г., не предполагал завязывать с Печериным серьезные идейные связи: он навестил его как эмигранта, как соотечественника, с которым его могли связывать общие воспоминания — прошлое, а не настоящее, чувства, а не мысль, личные симпатии, а не деятельность. Для Герцена Печерин был человеком из иного стана — из стана «победителей», а не «побежденных». Но у Печерина в эти годы назревал глубокий внутренний перелом, он рвался к мысли, перед ним заново вставали тревожные вопросы, от которых он отвернулся тринадцать лет тому назад. Встреча с Герценом была для него тревожным событием, всколыхнувшим заглушенные мысли. Он не удовлетворился посещением Герцена и послал ему письмо, вызывавшее на обмен мнений. Но для Герцена с его решительной политической принципиальностью не могло быть двух мнений. Приняв вызов Печерина, он отказался от ложной деликатности и всей силой своего красноречия обрушился на религиозные заявления своего корреспондента. Письма Герцена к Печерину — блестящие образцы его критической мысли, яркие страницы его беспощадной революционной диалектики. Составив представление о Печерине как о «иезуите», Герцен до конца не изменил своего мнения о нем. С той же полемичностью и непримиримостью встретил он и в 1862 г. его попытку возобновить переписку. На обращение Печерина, сопровождавшего свои письма денежными взносами в фонд «Колокола», Герцен реагировал крайне скупо или отмалчивался, попрежнему считая его «иезуитом», с которым у него не может быть ничего общего.

Помимо самой переписки Печерина с Герценом, связь между ними имеет несомненно большое значение. Так, например, следует думать, что именно Герцен был для Достоевского проводником сведений о Печерине. А это тем более интересно, так как личность Печерина отразилась на важнейших образах романов Достоевского, начиная с конца 60-х годов. Поэма Печерина «Торжество смерти», буквально воспроизведенная в «Бесах», несомненно стала известна Достоевскому со слов Герцена, издавшего ее всего за год до встречи с ним, — недаром Достоевскому удалось схватить такие существенные детали, как например то, что поэма эта была напечатана «там, то-есть за границей, в одном из революционных сборников и совершенно без ведома Степана Трофимовича». Встреча Достоевского и Герцена состоялась как раз в период второго тура переписки Герцена с Печериным. Письма Печерина к Герцену относятся к маю и августу 1862 г., а посещения Герцена Достоевским — к июлю и октябрю 1862 г. Сочетание этих хронологических дат убедительно отвечает на вопрос, возникающий при сопоставлении жизни и литературных опытов Печерина с творчеством Достоевского — откуда Достоевский почерпнул первоначальные сведения об этом мало известном в 60-х годах русском эмигранте-католике, который вскоре потом заявил себя решительным безбожником.

Публикуемый здесь документ относится к одному из наиболее интересных периодов в жизни Печерина. Он уехал за границу летом 1836 г. с определенным намерением примкнуть к европейскому революционному движению, очаг которого находился в это время в Швейцарии. «Ты хорошо понимаешь, — писал он впоследствии Ф. В. Чижову, — что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано» (мемуарный отрывок «Лугано и как я туда попал»). Еще в Москве он часто заходил в швейцарскую кондитерскую читать европейские газеты и жадно глотал встречавшиеся в них сведения о Маццини, организаторе «Молодой Европы». Печерин прожил в Швейцарии до мая 1838 г. Сначала его местопребыванием был Лугано, затем, с декабря 1836 г. — Цюрих, хотя он неоднократно выезжал из него и мы встречаем его в этот период и в Брюсселе и в Берне. Особенно важно то обстоятельство, что серьезных революционных связей за это время Печерин завязать не сумел и в числе своих знакомых-республиканцев не упоминает сколько-нибудь значительных лиц из представителей тогдашнего революционного движения. И вот, среди всякого рода разочарований и неудач, преследовавших Печерина с самого момента вступления его на почву Швейцарии, у него возникает совершенно фантастический, крайне нелепый проект, поражающий своей практической беспочвенностью. «Будучи в Цюрихе, — писал он впоследствии в своих мемуарах, — я предложил было нескольким русским ехать в Америку, и там основать образцовую русскую общину и издавать при ней русский журнал. Для этого предприятия у нас кое-чего недоставало, а именно: сметливости, предприимчивости и капитала! Excusez du peu!» (мемуарный отрывок «Льеж (1838—1840)»). Сообщение это подтверждается замечанием в одном позднейшем письме Ф. В. Чижова к Печерину [5], который напоминал своему другу, что он и его друзья составили целый план переселения в Америку и просил его рассказать об этом намерении поподробнее. Оценить стиль этого проекта можно только представив себе характер печеринских фантазий, которые сам он расценивал как политические планы. Наивная вера в собственное призвание, продиктовавшая ему дерзкие строки его поэмы «Вальдемар», романтическое увлечение идеей всемирного переворота, мечта о героическом подвиге, о борьбе с насилием и неправдой — все это вело не к практически обдуманной деятельности, а к смелым порывам, не к организованному сближению с людьми, а к предельному житейскому индивидуализму. Не имея никаких связей, никакого практического организационного опыта, Печерин с фанатической убежденностью говорил о себе:

Сам бог с младенчества меня избрал,
Да буду я вождем его народу:
Его десница привела меня
На стогны, в жизнь кипящую столицы;
Он дум божественных открыл мне тайны,
Мне очи прояснил, да вижу я
Неправды сильных, скорбь его народа
И переполненную меру зла...
Ринусь в дикое веков боренье!
Лавр меня победный обовьет;
Я паду — но песню искупленья
Надо мной столетье пропоет!

(«Вальдемар»)

Тот же мотив личного призвания, развивающийся на почве наивного романтического вдохновения, не уравновешенного мыслью и опытом, повторяется и в поэме «Торжество смерти».

Свобода и доблесть у всех на устах,
И песня лихая на звонких струнах.
И каждый орлиным полетом летит
И смело грядущему в очи глядит;
И к богу кричит: «Я не хуже тебя!
И мир перестрою по-своему я!».

Вдохновляемый своими грандиозными замыслами, Печерин неизбежно должен был запутаться в лабиринте житейской повседневности, как только сделал первый шаг к осуществлению своих намерений. Но возвращаться назад было не в его характере.

Первые четыре года пребывания его за границей характеризуются непрерывной сменой одних фантазий другими, причем некоторые из них восходили к самым задушевным его мечтам о личном призвании.

Печерин в своих мемуарах очень метко охарактеризовал себя в этот период времени, сравнивая свои похождения с похождениями Дон-Кихота. Вот в этой-то связи, в цепи неожиданно возникавших донкихотовских фантазий, не имевших под собой никакой почвы и уступавших место другим, столь же неожиданным, столь же непрактичным, и возник проект основания «образцовой русской общины», известный ранее лишь по одному намеку в упомянутом выше мемуарном отрывке. Настоящее письмо, впервые раскрывая существо этого проекта, подтверждает характеристику, которую дал себе Печерин, сравнив себя с Дон-Кихотом. Это было не преддверие будущих демократических организаций, не первая, хотя и слабая попытка тайного политического союза, предвещающая организации 60-х годов, — это была любопытная русская робинзонада эпохи Кабэ и Фурье, говорящая о том, как глубоко идея Утопии проникла в умы русских людей 30-х годов. Останавливает на себе внимание прежде всего наименование этого «общества»; это — не революционно-политическое, не коммерческое или промышленное, нет, это — «поэтическое общество». Его задача — оторваться от привычного быта, расквитаться со всем грузом домашних впечатлений, воспоминаний и обычаев и начать жизнь своим личным трудом — «обрабатывать землю или заняться торговлей» и трудиться во имя «свободного книгопечатания». Последний штрих особенно усиливал в проекте Печерина черты донкихотства; свободное книгопечатание предшествует в программе широким организационным связям, а организационные связи исчерпываются десятком, другим знакомых по московскому и петербургскому университетам; естественно должен возникнуть вопрос: на кого же должно ориентироваться это свободное книгопечатание?

И однако фантазия эта в своем возникновении подчинялась некоторой закономерности. Путешествие в Америку, не как практически обдуманный и взвешенный план, а как своеобразный символ разрыва с прежней жизнью, не было случайным капризом фантазии одного Печерина. Типичность этого мотива подчеркнута в упомянутом выше романе Достоевского, — там, где говорится о путешествии в Америку Шатова и Кириллова, которые «отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и, таким образом, личным примером проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». И когда Шатов, пренебрежительно вспоминавший этот эпизод своей жизни, охарактеризовал себя, Кириллова и подобных им словами: «люди их бумажки», — рассказчик отвечал твердой и решительной репликой: «Ну, однакож, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы с целью «узнать личным опытом» и т. д. — в этом ей-богу есть как-будто какая-то великодушная твердость...» (ч. 1, гл. IV). Во всем поведении Печерина, бежавшего за границу и, без всяких средств, отдавшегося на произвол судьбы, была та же самая «великодушная твердость», чего не было у его корреспондента. Чижов и за себя и за своих друзей категорически отказался бросить насиженное местечко и отправиться странствовать, вверив свою судьбу неизвестности.

Публикуемое здесь письмо — черновик, написанный в первой половине 1838 г. Цюрихский период жизни Печерина, к которому относится американский проект, продолжался полтора года, с декабря 1836 г. по май 1838 г., а в конце письма говорится, что Чижов писал Печерину «весною прошедшего года». Этим «прошедшим годом» мог быть только 1837-й, так как Печерин уехал из России лишь 23 мая 1836 г. Таким образом, датировать это письмо удается довольно точно. Особенно интересен адресат этого письма. Фамилия его устанавливается по упоминаемому выше позднейшему письму Чижова от 25 февраля 1871 г. Это некто Лахтин, по всем данным русский, посвященный в планы Печерина. К сожалению, никаких све-

дений о нем до настоящего времени собрать не удалось. Но самый факт, что Печерин пытался переписываться с друзьями через третье лицо, посвященное в его планы, заставляет предполагать какую-то конспирацию, наличие некоторых организационных начинаний. Черновик извлечен из архива Ф. В. Чижова, разбор которого далеко еще не закончен. Черновик находился среди ранних тетрадей дневника Чижова. Никаких аналогичных ему материалов обнаружить не удалось. Архив Чижова является важнейшим источником по изучению жизни Печерина. Переданный после смерти владельца в 1877 г. в Румянцевский музей, архив, согласно завещанию, только 40 лет спустя мог быть вскрыт и использован для изучения. Поэтому Гершензон в своих работах, касающихся Печерина, написанных и напечатанных до 1917 г., не мог использовать этого фонда.

Личность Печерина на основании знакомства с неопубликованными рукописными материалами выступает в новом свете. Печерин — не тот светлый идеалист-мечтатель, как изображал его Гершензон на всем жизненном пути от ранней юности до могилы. Это человек крайне тяжелых противоречий, особенно характерных для его времени. Исключительная одаренность ученого и мыслителя — и полная бесплодность всех начинаний; оригинальнейшие поэтические замыслы, тончайшие лирические и драматические импровизации — и полнейшая художественная бесформенность и неоконченность литературных опытов; благороднейшие гражданские стремления, сопровождаемые самой самоотверженной решимостью — и позорнейшая капитуляция; вечные скитания, искания и стремления, полная бескорыстность всех побуждений и поступков — и решительное неумение найти применение своим силам и интересам; исключительная идейная насыщенность всей жизни на протяжении 60 лет сознательного существования — и полная безыдейность во все поворотные, решающие моменты жизни; полный скептицизм и атеизм последних лет — и образ жизни монаха и патера, оставляющего по себе память «назидательного благочестия» — таковы те чудовищные противоречия, совершенно бесплодные при исключительной личной одаренности, которыми так характерна и ценна для истории личность Печерина.

Сам Чижов, автор настоящего письма, заслуживает несравненно большего интереса, чем он пользовался до настоящего времени. Как и Печерин, он привлекает к себе исследователя все той же характерной противоречивостью жизненного пути. Математик, блестящий кандидат Петербургского университета, автор ряда печатных трудов, успешно читавший лекции студентам, он внезапно в 1840 г. бросает начатое поприще и начинает свои длительные заграничные скитания, становясь диллетантом-искусствоведом, обозревающим европейские галереи и снабжающим русские журналы более или менее талантливыми корреспонденциями. Внезапно увлекшись славянским движением, он бросает историю искусства так же, как и математику, но вскоре (в 1847 г.), при возвращении в Россию, его арестовывают на границе русские жандармы по доносу австрийского правительства. Вслед за тем Чижов всей душой отдается шелководству, которое ему удается наладить в Киевской губернии, ставшей его вынужденным местопребыванием после освобождения из-под ареста. За шелководством начинается полоса бесконечных промышленных и организационных предприятий Чижова, и из недавнего лишнего человека, буквально осуществлявшего обломовское «утро» за десять лет до появления в печати первого отрывка гончаровского романа, он становится строителем железных дорог, организатором промышленных компаний, учредителем обществ, председателем банков, зачинателем северных промыслов, издателем журналов и т. д., неутомимо работающим круглый год по 15 часов в сутки, не оставляющим для своих личных нужд ничего из своих огромных доходов, кроме жалованья, полагающегося по штату.

Дружба Печерина с Чижовым была многолетняя. Она тянулась с самого начала 30-х годов до последних дней жизни Чижова, умершего в 1877 г. К Чижову обращена главная часть последних корреспонденций Печерина и мемуарных отрывков. Со стороны Чижова он всегда пользовался самой высокой оценкой. Но в период, наступивший после его бегства из России и особенно после принятия католичества, Чижов резко и откровенно осуждал его. Имеется ряд интересных свидетельств самой беспощадной критики, которую встречал Печерин со стороны Чижова и его

друзей в начале 40-х годов. Это отразилось и на публикуемом письме. Правда, горячее дружеское чувство к Печерину все же прорывается в нем. Но текст его оказался результатом взаимодействия целого ряда самых противоречивых побуждений.

Письмо написано под впечатлением нескрываемого испуга. В этом отношении интересен как окончательный его текст, так и первоначальные зачеркнутые редакции. Сличение тех и других показывает, что Чижов боролся между личным влечением к потерянному другу и осуждением избранного им пути, но над тем и другим довлел страх быть привлеченным к ответу за связь с беглецом и участие в его секретных намерениях. Он не успевает написать: «священное для меня» чувство дружбы Печерина, как пугается написанного и зачеркивает опасные слова. Он не хочет скрывать, что его ставит в затруднительное положение не предложение Печерина само по себе, но письмо, как таковое, и мысль о том, что ему делать с письмами такого рода. И вот он решается, делая вид, что отвечает с максимальным беспристрастием, говорить так, чтобы его письмо послужило не столько ответом Печерину, сколько тому агенту III Отделения, которому оно может попасться. И начинается очень прозрачная попытка одурачить предполагаемого перлюстратора, который как бы узнает из вскрытого им письма, что адресат Печерина не только не заговорщик, а самый верноподданный сын отечества, и что он не донес правительству о печеринских письмах только потому, что все это дело никак не относится к благосостоянию России и вообще не касается правительств, ибо все предприятие Печерина — всего лишь игра юного пылкого воображения. Сам Чижов рисуется в этом письме далеко не в тех подлинных чертах, которые выясняются по его неопубликованным дневникам. Чижову были свойственны бунтарские взгляды и настроения. Вот, например, характерная запись его дневника, сделанная в то время, когда он впервые читал памфлет Ламеннэ, сыгравший огромную роль в формировании взглядов Печерина, и делал из него выписки. Услышав один рассказ о том, как Николай I безуспешно пытался подвергнуть строгому административному взысканию профессора медицины Хотовицкого, не явившегося по зову его камердинера, Чижов восклицает: «Дай бог побольше таких вещей, авось-либо понакопится, авось и мы услышим, когда к чорту пойдут ети [sic!] императорские короны с их венчанными главами».

Однако, если письмо в целом и ориентировано на перлюстрацию, оно не теряет своего исторического интереса. Оно является ярким документом, отражающим колебания людей 30-х годов, стоявших на перепутье между смелыми дерзаниями и спокойным, обеспеченным пребыванием в привычной колее, проторенной предшествующими поколениями.

Публикуем письмо по черновику, хранящемуся во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина, с сохранением основных орфографических особенностей оригинала.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] 1861 г., № 6, стр. 172—192.

[2] 1861 г., стр. 308—332. В 1874 г. эта поэма была напечатана в «Лютне» (Лейпциг), стр. 322—342.

[3] Под таким названием эта поэма известна в литературе. Печерин в одном из неопубликованных писем к Ф. В. Чижову говорит, что ее настоящее название «Pot-pourri или чего хочешь, того просишь».

[4] Переписка Печерина с Герценом и Огаревым 1862 и 1863 гг. готовится к печати Государственным литературным музеем по фотокопиям, снятым с подлинников, хранящихся в Русском историческом архиве в Праге. Ранее печаталась в заграничных журналах: «Jahrbuch f. Kult. u. Gesch. d. Slav.», Bd. IX, H. IV, 1933, стр. 508—517 и «Путь», №№ 47—48, стр. 41—50. Письмо Огарева к Печерину от 29 марта 1863 г. напечатано в «Звеньях», сб. 6, стр. 380—383.

[5] Из неопубликованных материалов, хранящихся в архиве Института литературы Академии Наук СССР.

Милостивый государь!

Если бы письмо Ваше не было столь важно, если бы я не полагал, что я введу Вас в сомнение моим молчанием и, наконец, если бы поводом к нему не было [священное для меня] чувство дружбы Печерина,— я бы не решился Вам отвечать на него. Не буду скрывать, [что] оно меня поставило в самое затруднительное положение, — я не говорю о [Вашем] переданном Вами предложении Печерина; но [о том, что я должен делать с письмом такого рода] самом письме Печерина. Я [его] знаю давно, читаю [его] яснее нежели он сам себя и для меня не странно подобное предложение с его стороны и подобное предприятие особенно при его настоящих обстоятельствах [1]. Не желая приобретать незаслуженного уважения [ни выиграть в мнении людей] я считаю как бы обязанностию высказать вам полную исповедь чувств [и мыслей] наполнявших [меня при] меня при чтении письма Вашего и писем Печерина [2], и мыслей, которые гнали одна другую, и, наконец, чтоб Вам понятны были и те и другие, — я [без Вашего позволения] выскажу Вам быт мой и [всех] тех людей, которых имена входят в письмо Печерина.

Мне предлагает он, хотя не прямо, оставить отечество и переселиться в Северо-западную Америку, — там [основа] поселиться и жить для чего? для прекрасной цели составить новое, юное, живое, поэтическое общество, — прекрасно; но какую же роль [буду] могу играть я в этой поэтической фантазии? Характер счетчика или дряхлого, больного человека, казалось мне, вовсе не шел к романтической [пиесе] картине, написанной такими живыми красками, он, по моему понятию об изящном, мешал бы единству фантазии. Вот первая мысль, какая родилась, когда я мельком пробежал и Ваше и его письма; но потом вижу записку о колониях, читаю еще раз письма и, наконец, понимаю, что это не шалость и не мистификация Печерина, желающего доставить мне сюжет для журнальной повести. Не говорю о самом предприятии, и его подробностях, предположим, что я не могу понять его, что почему бы то ни было я не понимаю и что оно не есть бредни пылкого воображения Печерина. Ему можно согласиться на все и предпринимать все, что ни придет в голову, он поставил себя в такое положение, в котором, как в воде, чтобы спасти(сь), хватаешься за все. Но вопрос, к чему мне [не только] предпринимать подобные путешествия, и с чего придет мне это в голову? Впрочем еще раз предприятие это для меня дело решенное; ошибаюсь ли я или нет, но я и до сих пор всетаки убежден, что он и Вам рассказывал и мне писал, в одну из тех бессонных ночей, в которые природа берет свое и [награждает нас снами] если уже не может принудить нас спать, по крайней мере заставит грезить с открытыми глазами. Я все отвлекаюсь от главного дела, Ваших писем, они [мне важн] самый важный факт в настоящем положении дела: — Вот уже более трех писем получаю я от него, самого странного содержания, цель их для меня не понятна, если они пишутся с целию, — чего, благодаря сохранившемуся чувству прежней нашей дружбы, я ему не приписываю. К чему, писав подобные вещи, наводить на меня подозрение правительства и людей, с которыми я слился совершенно. Признаюсь Вам, — [не будь] первая мысль, мелькнувшая в голове моей, была представить эти письма правительству; но минуты через две я сам постыдился ее. Будь это какое-нибудь дело, сколько-нибудь относящееся к благосостоянию России, или даже касающееся сколько-нибудь правительств, я бы не колебался ни минуты. Пускай свет меня щитает, чем хочет, лишь бы я был чист пред самим мною, — вот девиз мой, — это заставило бы меня представить письма, еслиб они были другого содержания, — это остановило меня теперь, когда я увидел в предприятии

Печерина шалость осьмнадцатилетнего молодого человека[3], увлекшего за рюмкой вина 5 или 10 молодых людей ему подобных. Представить письма значило бы навлечь на них подозрение, тем еще более, что [этому подозрению, могло] обстоятельства как будто бы нарочно скопились, чтобы увеличить такого рода подозрение. Я был в университете в то самое время, когда [одно начало] новая французская школа свирепствовала во всей Европе. То же начало, какое явилось в уродливых романах Занд, Сю и Бальзака[4], в фантастических характерах Тренмора, Сафи и героя — la peau de chagrin[5], должно было непременно явиться и в действительной жизни. К нещастию мы подпали под эту струю истории и заплатили дань времени; многие из моих товарищей сформировались по образцам героев французских романов, как это бывало и всегда, [и не] обстоятельства помогли им увлечься еще более, и самоубийство двух — Попова и Калмыкова[6], — неслыханные скверности одного — Александрова, и поэтическое заблуждение Печерина были данью этому времени. Не могу вам сказать, что спасло меня, может быть, мои положительные занятия науками математическими[7], может быть, бездарность, а всего вероятнее, — то, что, имея одного идола, я не мог уже служить другому. Я получил воспитание на руках матери, все, что имею в нравственном быту ее, — все передала мне она, — и, вам покажется может быть смешно, я отдался ей безусловно: нет чувства, в котором она не была бы первым действующим лицом; нет мысли, в [произведении] рождении которой она бы не участвовала, нет факта, — где бы она не была первою [побуд] пружиной. После нее всем обязан я [правительству] моему отечеству, — не любить его, значило бы не любить моей матери, не любить ее и не жить для меня одно и то же. Мать моя предана России, я предан ей совершенно. Вот Вам данные в отношении ко мне — из них уже легко вывести результаты. Живя уединенно, посвящая три четверти дня изучению человечества и современных понятий в различных формах, я ознакомился с идеями Европы, я ими не увлекался[8]. Печерин, как и многие, знают Россию по наслышке, я знаю ее собственными глазами и [свобода книгопечатания не владеет потому] нахожу, что, не выезжая из нее, можно найти все елементы жизни. Быт литературный существует для нас, точно так же, как и для нового фантастического общества, — [мы не имеем свободного книгопечатания; но, признаюсь, не знаю я, будет ли оно свободно там, где немного останется времени, чтоб и читать, не только писать и печатать] свобода? для меня она существует и здесь, — привыкнув с детства жить в том обществе, в каком живу и теперь, я, право, чистосердечно Вам говорю, не вздыхаю ни о какой свободе, особливо о той, с которою соединена потеря всего, составляющего и нравственную и физическую жизнь мою.

[Кроме того, что Печерин ставит своим письмом в затруднительное положение меня, он не менее]

Я с намерением передаю Вам мой быт и мои понятия, — чтоб показать, как вредны для меня письма Печерина, — и я повторю Вам еще раз, что я не представляю их правительству, единственно из полного убеждения в ничтожности предприятия и из полной уверенности, что оно [есть] ни больше ни меньше как игра юного пылкого воображения. К тому же мне еще жаль, что в письмах упомянуты имена многих особ[9], на которых [правительство] они тоже могли бы [нагнать] навлечь подозрение. Ни одному из них не покажу я ни Вашего, ни Печеринского письма, — они останутся между мною и Вами [я бы даже сжег их, если б был уверен] К Печерину я не могу отвечать ничего, перепискою с ним я мог бы [навес] компроментировать [sic] себя, тем более что и нечего мне написать к нему утешительного. Не думаю, чтобы отец[10]

его согласился дать ему что-либо. Он всю свою жизнь посвятил на службу отечеству, — [как же ему] вы можете судить, как смотрит он на сына, добровольно отказавшегося и от отечества, и от него, и от матери [11], — согласитесь, что, судя по человечески, нельзя требовать, чтоб он дал что-нибудь своему сыну. Впрочем нынче летом я надеюсь быть в Крыму, там я верно увижу [Печерина отца, — Адрес его 14-й пехотный п] его, поговорю с ним и тогда буду писать к Печерину, — до той поры, если Вы с ним ведете переписку, потрудитесь послать ему это письмо. Мне горько думать, что, может быть, различие наших понятий, разорвет узы нашей дружбы; — но я [говорю и] [готов с] говорю [и] ему и [готов] скажу каждому, что я готов пожертвовать всеми узами прежде, нежели решусь действовать, даже думать что-либо, [против] могущее отделить меня от моего отечества, в котором только я и могу найти все елементы жизни и нигде больше.

Я было кончил письмо мое, но еще раз прочел Ваше, — [тон его и выражение уважения, о котором Вы говорите, заставляют меня несмотря на затруднительное положение в] и мне совестно, что, увлекшись моим положением, я несколько резко отвечал на [такое дружеское предложение] него. Не хочу переменить моего ответа, он [будет Вам] даст Вам понятие обо мне более, нежели [что либ] всякое обдуманное письмо. Вы увидите из него, как я принимаю вещи в первую минуту, как настроены мои чувства, — не забудьте — главные правители воли; [теперь позвольте мне. Но в отв] До сих пор я смотрел на предприятие Печерина просто как на безрассудное, — видя из тону Вашего письма, что Вы не не одобряете его, — я [уже не имею права] считаю обязанностию [дать отчет] показать Вам причины, почему я принимаю это так, а не иначе.

Согласитесь, что и чувства, и понятия каждого есть результат его индивидуального существования, его воспитания, положения в обществе и вообще всех окружающих обстоятельств. Кто из немцев не согласится, что гостеприимство есть одна из высоких добродетелей, но заставьте немца быть гостеприимным, — и между тем это нисколько не мешает всем прекрасным чертам его характера. [После этого] Я, как уже и говорил Вам, воспитан в России, нет у меня ни воспоминания, [которое бы не соединялось с тысячами в] которое бы [Россия] не соединялось с понятием о русском, [нет настоящего наслаждения] нет надежды, [которая бы не вылу [?] которая и] не основанной на русском быте, да и не может быть, — для лучей ее, одна только существует призма, призма прошедшего и настоящего, следовательно, всего русского. Это одно невольно сливает мою будущность с моим отечеством. Далее, по моему настоящему положению в России я так хорошо обставлен, [как нигде не могу быть] что мне трудно и даже невозможно было бы найти подобной обстановки. Теперь я получаю от службы до 3000 рублей, при небольших трудах, приносящих мне наслаждение, — [от] журнальная работа и вообще труды литтератур [12] дают мне около 4000, — всего 7000, доход даже изобильный для одинокого человека, ведущего жизнь самую уединенную. Надежда в будущем — полное обеспечение и меня, и моего семейства, — я не говорю уже Вам о том еще, что по убеждению моему нигде я не буду поставлен так на своем месте, как здесь. Занимаясь с любовию наукою в моем кабинете, я хожу в университет, только как бы для отдыха, — дружески беседовать с студентами о том, что я делаю, и передавать им плоды трудов моих. Сыщите, если можете, положение, — которое было бы лучше моего. [я говорю ни] Теперь приезжаю я в Америку, я должен бросить все и обработывать землю или заняться торговлею, — ни в том, ни в другом

роде занятий я ни на грош не смыслю, и вместо спокойных занятий кабинетных трудиться целый день за что же? [чтобы] как я могу судить из вашего письма, [приобрести] более всего за свободное книгопечатание. Во-первых, вы на меня не сердитесь, при этом у меня невольно родится [смешная] мысль, да для чего же мне тогда оно, [когда я цел] целый день проработал за сохою, — не только писать да и читать [будет] уже не захочется, особливо мне, в жилах которого лениво течет кровь славянская. [Оставя] Потом, оставя шутки, я скажу Вам, — для чего мы пишем, и для чего печатаем? чтоб передать наши понятия другим, чтоб ими поделиться. Скажите, могу ли я делиться с людьми, для которых уже и Западная Европа — обветшалая старушка? и что я скажу им такого, что бы не было для них старо и пошло? Между тем как здесь я еще много, или, по крайней мере, многим, могу сказать новое, — [могу передать какую-либо, мало этого могу полюбоваться, как усвоится эта новость и пр.] я могу делиться с ними моими чувствами и встретить отголосок в их собственных чувствах, — мы не обогнали друг друга целыми столетиями, мы поймем один другого, — поэтому здесь только и нигде больше может существовать для меня деятельность литтературная. В страдательном же литтературном существовании, т. е. в приемлемости чужих понятий, я ничего здесь не теряю, — мне, как члену университета, позволено и получать и читать все книги без ценсуры. Наша ценсура меня, [говоря не] — принимайте как хотите, но я говорю вам чистосердечно, вовсе не по внушению обстоятельств, — наша ценсура меня нисколько не сковывает, — я пишу для всех, эти все у нас чрезвычайно различны, [я не знаю] часто, очень часто, я могу не знать ни степени их понятия об излагаемом мною предмете, ни их требования, — что же выйдет из того, если бы я передал им и прекрасные понятия, но не соответствующие им вовсе — или бы они меня не поняли, или бы поняли превратно, — ни то, ни другое неприятно для человека благонамеренного, — и от того, и от другого избавляет меня наша ценсура. Согласен, что часто эти люди, которые назначены быть посредниками между людьми пишущими и требованием страны, не понимают своего назначения, — да где же этого нет? И не смешно ли бы было, если б 10, 20 злоупотреблений заставили меня переменить и убеждение и вооружиться против страны, которой я обязан всем, за то что из моего сочинения вычеркнули несколько строк. Часто это выведет из себя, это горько, сильно горько, но виноваты люди, а не страна, а люди везде люди. Сколько могу я сообразить, Печерин, верно, говорил о всех лицах, упомянутых в письме его, — если Вы судите о них по словам его, позвольте Вас вывести из заблуждения, — поверьте, что их понятия [и их] и чувства, все [перелились] перешли сквозь призму поэтического воображения Печерина, и до вас дошли уже лучи преломленные, раскрашенные, — вот истинный белый цвет их: [Docteur Noir] Жобар, — это Гебгардт,[13] человек служащий в иностранной коллегии, [имеющий в виду] сын генерал-майора Гебгардта, [человек] отец его имеет здесь дом, пользуется общим уважением, — [что] сын умный и притом очень расчетливый человек, — ему надобно сойти с ума, чтоб променять [жизнь, обещает уже] быт обеспеченный в настоящем, представляющий будущее, — бог знает на какое-то поэтическое существование, [прекрасное в воображении, которое по глупому устройству головы по положению его в черепном] даже и в воображении поэта не [обрисо] обставленное теми удобствами, каким он пользуется в действительности. Docteur Noir [это доктор Иноземцев [14], профессор Московского университета] — это доктор Иноземцев [14], Редкин [15], Крюков [16], Барщев [17] — все это люди приобретшие [уже] здесь собственное уважение, некоторые уже женатые,

все они, благодаря правительству, живут хорошо, — благодаря своим благонамеренным целям и понятиям о человечестве, несколько отличным от понятий Печерина, — [наслажд дыш] живут в дружбе с собственным убеждением.

Жаль мне, что я потерял или может быть и не оставил у себя вовсе, копии с письма, писанного мною к Печерину весною прошедшего года и посланного чрез мое начальство, — [в нем я пишу] и еще более жаль, что он, кажется, не получил его, — там, кажется, я ему ясно высказал настоящие наши отношения, и показал, что все отношения между нами [могли бы] должны были бы ограничиться его личным существованием. Он может быть мне врагом, [потому что он] как Русскому, врагом как егоист все меряющий собственным положением; но а я не могу отвыкнуть любить моего Woldemar'a [18]. Денег от отца его я [надеялся] получил 400 рублей; [но на расписке я] которые и послал ему сполна, — может быть ничтожную [вещь] сумму придется получить из Енциклоп. словаря [19], но во-первых это безделица,—во-вторых, и послать я не имею права, без позволения, которого не могу просить, не компрометируя себя в глазах правительства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Настоящие обстоятельства» Печерина — крайние денежные затруднения, о которых он сообщал Чижову в конце 1836 и в 1837 гг., умоляя о помощи.

[2] После своего бегства из России Печерин писал Чижову неоднократно. В архиве Чижова сохранилось несколько из этих писем 1836—37 гг.: от 9/21 декабря 1836 г. из Лугано, в котором упоминаются, повидимому, утраченные письма от 9 и 16 ноября н. ст., отправленные из Италии; от 15/27 декабря 1836 г., также из Лугано, и от 18 июня 1837 г. из Цюриха, где Печерин спрашивает, получил ли Чижов его письмо от 2 июня, которое также до настоящего времени не найдено. Из письма от 18 июня 1837 г. видно, что Чижов писал Печерину 23 ноября 1836 г. Письма Чижова к Печерину этого времени не сохранились. Письмо Печерина к Чижову от 2 июня 1837 г. содержало в себе какое-то важное предложение. По его словам, это был для него вопрос «быть или не быть», сделать дело своей жизни или «умереть, оставивши после себя неразгаданную загадку». По этому делу Печерин просил Чижова посоветоваться с Жебаром, т. е. Гебгардтом, членом университетского кружка А. В. Никитенко.

[3] Печерину было в это время 30 лет.

[4] Любопытно, что Печерин, неоднократно упоминавший об огромном значении, которое имела для формирования его взглядов Ж. Санд, ни разу не ссылается на Бальзака, которого он не мог не знать. Следует думать, что натуралистический характер не только поэтики, но и творческого мышления знаменитого французского романиста был ему настолько чужд, что он не мог чувствовать внутренней связи с ним. В высказанных здесь суждениях Чижова о влиянии Сю и Бальзака на Печерина, несомненно, большая натяжка. Сам же он вовсе не относился отрицательно к творчеству названных писателей, которых не раз сочувственно цитировал в своем дневнике.

[5] Тренмор Вальмарино — один из главных героев романа Ж. Санд «Лелия», писавшегося в 1832—1833 гг. и имевшего большое влияние на Печерина. История Лелии, — страстные искания восторженной героини, завершившиеся ее уходом в монастырь с самым строгим уставом и приведшие ее к полной катастрофе, — несомненно отразилась на биографии Печерина. Цитируя строки этого романа, он неоднократно говорил, что его идеалом было всегда «Régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs» *. Фигура Тренмора исключительно характерна для Ж. Санд. Бывший развратник, убийца своей возлюбленной, каторжник, он оказывается впоследствии другом человечества, стоящим во главе таинственной ложи карбонариев, задача которой — спасти свою любимую родину. Но руководимое им тайное общество раскрывается, и Тренмору приходится бежать. Похоронив Лелию и потеряв своих друзей, он с посохом в руках отправляется странствовать.

Рафаэль, герой повести Бальзака «Шагреневая кожа».

[6] О самоубийстве Петра Попова, учителя Пажеского корпуса и I гимназии, застрелившегося 23 лет 23 сентября 1832 г., имеется подробный рассказ в дневнике А. В. Никитенко от 8 октября того же года. О самоубийстве Калмыкова, также

* Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами.

члена университетского кружка Никитенко, упоминается в позднейших неопубликованных письмах Печерина к Чижову.

[7] По окончании университета Чижов завершал свое образование под руководством известного математика Остроградского, с 1832 по 1840 г. читал лекции в университете, с августа 1833 г. пользовался в течение трех лет ежегодным пособием по 1500 руб. В 1832 г. предполагалась его заграничная командировка для завершения образования. В 1836 и 1837 гг. были напечатаны его научные труды по теории равновесия и о паровых машинах.

[8] Чижов говорит это не искренне. Среди слов этого предложения несколько тщательно зачеркнутых строк, которые не представляется возможным разобрать, говорящих о том, что он очень колебался, когда писал это место. Особенно заметно в его дневнике увлечение социально-утопическим мессианством в духе Ламенnэ. Иногда эти мысли перерастали у него в идею личного призвания. Так, напр., он писал: «Кто знает — может быть, судьбою предназначено мне быть Апостолом веры всеобщей, веры Единого Мироправителя — Единой святой природы, и смею ли я сбросить с себя высокое назначение?» (Дневник 1836 г., 28 марта, лл. 16—16 об.).

[9] См. ниже, примечания 13—17.

[10] Печерин Сергей Пантелеймонович (1781—1866), офицер, обрисованный в мемуарах В. С. Печерина чертами грубого, невежественного деспота.

[11] Печерина Пелагея Петровна (ум. в 1858 г.).

[12] Чижов участвовал в «Библиотеке для чтения», в «Сыне отечества» и в «Журнале министерства народного просвещения» и переводил с английского «Историю европейской литературы» Галлама.

[13] Гебгардт Иван Карлович, приятель А. В. Никитенко, постоянный участник его литературного кружка.

[14] Иноземцев Федор Иванович (1802—1869), профессор хирургии в Московском университете. В 1833—35 гг. он был одновременно с Печериным в заграничной командировке и сблизился с ним в Москве в 1835—36 гг.

[15] Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), профессор юридического факультета Московского университета. Он сблизился с Печериным во время заграничной командировки и особенно в дни совместного путешествия по Швейцарии и Италии в 1833 г.

[16] Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), профессор римской литературы в Московском университете. Он был одновременно с Печериным в заграничной командировке в 1833—35 гг.

[17] Баршев Сергей Иванович (1808—1882), профессор юридического факультета Московского университета, одновременно с Печериным бывший в заграничной командировке и вместе с ним путешествовавший по Швейцарии и Италии в 1833 г.

[18] В. С. Печерин. Этим именем он назвал героя своей поэмы, который был литературным выражением личности автора.

[19] В «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара была напечатана статья Печерина об археологии, за которую ему следовало получить деньги.

ПИСЬМО А. Л. ВИТБЕРГА ГЕРЦЕНУ

Сообщение Н. Машковцева

Вятка 24 мая 1838 г.

Поздравляю, поздравляю, поздравляю! и еще раз поздравляю от всей души, от всей полноты моей любви. Я не мог дочитать сам письмо ваше от 11 с[его] м[есяца] — вторая строка, о 9 числе, наполнила глаза мои слезами радости; я плакал и смеялся; и в этом виде с письмом в руке сзываю к себе в кабинет жену, Праск[овью] Петровну и Верочку. Жена читает с восторгом; все прослезились, все радуются с живейшим участием чисто родственной любви и дружбы. Да благословит господь союз ваш, любезные друзья! Да мир его, согласие и единство будет всегда с вами! Да поможет он вам теперь довершить дело детской обязанности, любви и покорности относительно Батюшки. Ради бога, не увлекайтесь опрометчивостью, не раздражайте родителя, которому и без того уже довольно прискорбно то, что дело сделано не вполне согласно с его волею. Поберегите ж старика, это обоюдная обязанность ваша. В этом случае я еще особенно обращаюсь к вам, любезнейшая Наталья Александровна, ибо я уверен, что вы столько благоразумны, столько милы, что сумеете это сладить. Когда я прочту, что у вас с Иваном Алексеевичем все хорошо и мирно, тогда радость моя о Вас, любезные мои, будет еще больше; и этого я с нетерпением буду ожидать. Также буду ждать подробностей о бракосочетании вашем, которое весьма меня интересует.

В особенности прошу вас, любезнейшая Наталья Александровна, не увлекаться за пределы и не придавать мне таких наименований, которых я не заслуживаю. Скромность есть необходимое чувство в дружбе и в любви. Я уверен, что вы понимаете меня; не заставляйте меня краснеть от вашего слова: великого. Простите, будьте благополучны, друзья мои, столько, сколько это в сей бренной жизни возможно; впрочем так, чтоб это благополучие могло составить счастье ваше и в вечности.

С полной любовью

Друг Александр Витберг.

Приписка Е. В. Витберг:

Поздравляю вас, друзья, от всей души поздравляю и желаю, — но что может желать душа, исполненная любви к вам, она предоставляет вам, и вы ее поймете (если брат Александр не забыл 30 ноября). Друг и брат Александр! сделай счастливою этого Ангела неземного; это пришлец из мира высокого, чистейшего — для нее земля чужда. — Вот искреннее желание преданнейшей Вашей.

Помолитесь за Виктора, он очень болен.

Приписка В. А. Витберг:

Как я была обрадована, любезные друзья, когда услышала весть о вашем соединении. Я не могла удержать слез радости, да и к чему

удерживать, это мое удовольствие. Долго после этого думала я о вас и молила бога, да пошлет он вам все блага. 9 мая день был точно прекрасный, и души наши, как бы предчувствуя радость, были также светлы; не зная вас лично, я уже люблю вас как сестру; любите и вы меня также. Прощайте!

Ваша Вера

Приписка А. Л. Витберга:

Знакомые не хотели вдруг поверить новости о вас; а Эрна нет, он в командировке. Добрым Корниловым не удалось сообщить вашу радость, они за два дня перед тем уехали. Я очень был занят ими последнее время. По общему (т. е. благомыслящих) желанию я подарил Вятке портрет Александра Алексеев[ича], он отослан уже для литографирования в Петерб[ург]. Также нарисовал я Софью Дм[итриевну]. Это был сюрприз мужу. Оба чрезвычайно были рады. Прислали нам почти всю остальную свою провизию — рублей на 400. — Что Величко женат — вы знаете? — Также что Егор Петрович помолвлен.

Публикуемое письмо является ответом на сообщение Герцена от 3 июня 1838 г. о состоявшейся свадьбе с Н. А. Захарьиной. Патетико-чувствительный тон, в котором выдержано данное письмо, вообще характерен для писем Витберга. Иронический и мало склонный к созерцательному покою ум Герцена уже давно подметил основные свойства своего «великого», как он именовал друга, особенно ярко сказавшиеся в письмах. Он писал из Владимира Н. А. Захарьиной: «Витберг — все Витберг; высок, хорош; целое письмо и ни строки о делах. Чувства и мысли... Быть юношей в 50 лет прелестно». Конец письма содержит упоминание ряда имен, входивших в ближайшее окружение Герцена и Витберга в Вятке. Это прежде всего новый вятский губернатор А. А. Корнилов, товарищ Пушкина по лицею (ум. в 1856 г.). Несмотря на кратковременность своего пребывания в Вятке (1837—1838), Корнилову удалось сделать многое и для Герцена, и для Витберга. К нему попало (или было адресовано?) письмо Жуковского, рекомендовавшее губернатору обратить особенное внимание на Герцена и способствовать его освобождению. О близости Герцена к семейству Корнилова говорит также и тот факт, что свой отъезд из Вятки Герцен вынужден был отложить из-за прощального обеда, данного Корниловым.

В своем письме Витберг сообщает о портрете Корнилова и его жены, им нарисованных. Оба эти портрета находятся в настоящее время в Кировском областном музее. В публичной библиотеке имени Герцена в Кирове имеется упоминаемый Витбергом литографированный портрет Корнилова. К сожалению не установлена личность Величко. «Егор Петрович» — Машковцев (1812—1855), товарищ Герцена по Московскому университету и политическому процессу. Он был женат дважды: первый раз на Серафиме Ивановне Репиной, умершей в Вятке в 1840 г., второй раз — на А. В. Аршауловой. Семейство Репиных было близко знакомо как Герцену, так и Витбергу. Из Владимира Герцен в одном из писем рекомендовал сблизиться с Репиным. Платон Иванович Репин впоследствии стал одним из преданнейших друзей Витберга. Вслед за Витбергом Репин переехал в Петербург, и когда Витберг умер, то Репин похоронил его на свой счет на Митрофаньевском кладбище.

Вятский период жизни Герцена продолжает оставаться недостаточно освещенным. Поэтому все материалы, относящиеся к тому времени, представляют несомненную ценность, тем более — такой документ, как письмо А. Л. Витберга, которое, несмотря на кажущуюся скупость содержащихся в нем фактических данных, по-новому подтверждает уже известное и обогащает биографию Витберга некоторыми новыми фактами.

Архитектор А. Л. Витберг (1787—1855) — живописец по образованию и зодчий по призванию, автор знаменитого неосуществленного проекта храма христа спасителя на Воробьевых горах в Москве, был безосновательно обвинен в неправильном расходовании отпущенных на строительство сумм, осужден и затем сослан в Вятку. Он прибыл на место ссылки в ноябре 1835 г. и вскоре затем поселился в доме будущего художника Д. Я. Чарушина (1813—1901), в квартире, нанятой Герценом, куда вскоре поселился и сам Герцен.

Уже 25 декабря 1835 г. Герцен сообщает Н. А. Захарьиной о своем намерении просить Витберга сделать его портрет. Вскоре портрет, предназначаемый для отца Герцена, И. А. Яковлева, был исполнен Витбергом, а несколько позднее, в 1836 г.,

Витберг нарисовал другой портрет, предназначенный специально для Н. А. Захарьиной. Вятский период биографии Герцена и Витберга устанавливает глубокую общность их занятий и интересов, несмотря на всю разницу возраста (Герцену было 22—25 лет, а Витбергу 48—51 год) и различие и даже противоположность темпераментов и культурных традиций. В Вятке в 1836 г. Герцен начал, очевидно со слов Витберга, составление «Записок», опубликованных в «Русской Старине» за 1871 г. Рукопись «Записок», теперь исчезнувшая, на последней странице была помечена «Владимир, ноябрь 1838 год», следовательно для окончательной редакции Герцен взял ее с собой во Владимир. В конце 1836 г. в Вятке была открыта публичная библиотека. На торжестве открытия Герцен произнес свою известную речь. В то же время Витберг сделал проект (утраченный) здания библиотеки. Из писем к Захарьиной видно, что Герцен посвящал его во все подробности своей душевной жизни и искал у него совета в таких трудных и запутанных делах, как отношения с П. П. Медведевой, героиней краткого романа А. И. Герцена, вскоре доставившего ему тяжкие угрызения совести.

К ИСТОРИИ ТЕКСТА ПОВЕСТИ ГЕРЦЕНА «СОРОКА-ВОРОВКА»

Сообщение А. Крестовой

«Сорока-воровка» представляет собою пересказ эпизода из жизни актера М. С. Щепкина. Повествованию предшествует эпиграф. Он заимствован Герценом из хвалебной эклоги, посвященной неизвестным автором графу Сергею Михайловичу Каменскому. Из эклоги этой, напечатанной в «Украинском Вестнике» (1816 г., № 1, стр. 343—348), Герцен привел строки:

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт,
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией гостит.
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор...

Однако, эпиграф этот в «Сороке-воровке» употреблен автором в глубоко ироническом смысле. Герцен не только не прославляет «болярина русского, знаменитого, вельможу титлом и душой..., стезя которого благотворенья», как поступает автор эклоги, но делает то же, что делал впоследствии Л. Н. Толстой: срывает маску с мнимого ревнителя искусства и показывает подлинный облик театрала-крепостника С. М. Каменского, установившего тюремный режим для подчиненных ему актеров.

Темой повести является положение крепостной интеллигентки. Одаренная актриса Анета, прошедшая западноевропейскую школу, крепостная графа Каменского. Ее судьба — типичная судьба крепостной интеллигентки. До Герцена эту же тему затрагивали писатели-разночинцы: Белинский в пьесе «Дмитрий Калинин», Н. Ф. Павлов в повести «Именины» (1836 г.). Все свое внимание Герцен сосредоточивает на защите прав одаренной и поруганной женщины и одновременно, как показывает изучение текста, доводит нападки на крепостное право до предельной, возможной в условиях николаевского режима, резкости.

Первоначально повесть предназначалась Герценом для альманаха, задуманного Белинским. Прочитав «Сороку-воровку», Белинский в феврале 1846 г. писал автору: «Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь, всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды» («Письма», т. III, стр. 103).

Несмотря на эти опасения, повесть появилась в журнале «Современник» (1848 г., кн. II). «Сорока-воровка» напечатана и прошла с небольшими изменениями, — несмотря на них мысль ярко высказывается», — сообщал о судьбе повести Белинский («Письма», т. III, 338). При жизни автора «Сорока-воровка» перепечатывалась еще два раза: в сборнике «На несколько часов» (вып. I, СПб., 1870 г.), с подписью, и в сборнике «Раздумье» (М., 1870 г.). Затем она вошла в женевское собрание сочинений Герцена (т. III) и в русские издания: Павленкова (СПб., 1905 г., т. I), и в «Полное собрание сочинений», редактированное М. К. Лемке. Печатая «Сороку-воровку», последний писал: «Подлинник не найден: текст дан по «Современнику»; в Женевском и СПб. изданиях есть несколько небрежных пропусков, но

там же и три-четыре небольших отступления от текста, которые, однако, ввиду общей небрежности обоих этих изданий, я не решаюсь повторить, предпочитая избрать текст, сданный Герценом в оба указанные сборника при своей жизни».

Утрата подлинника, на которую ссылаются издатели повести, и в том числе М. К. Лемке, не является, однако, непоправимой потерей. Дело в том, что первая, так называемая черновая рукопись «Сороки-воровки» не исчезла совершенно. Она осталась в бумагах покойного брата Герцена Егора Ивановича, позднее последним была подарена Т. П. Пассек, а та, в свою очередь, передала ее в журнал «Русская Старина», где в № 4 за 1889 г. повесть и была напечатана. Эта первая

СОРОКА-ВОРОВКА.

ПОВѢСТЬ.

(посвящено михайлу семеновичу щепкину)

Твой домъ, украшенный богато,
Гостямъ-согражданамъ открытъ
Тамъ Терпсихора и Эрато
Съ подругой Талiей гоститъ;
Хозяинъ, ласковый душою
Склоняетъ къ нимъ привѣтливый взоръ.

Украинскiй вѣстникъ на 1816 годъ.

— Замѣтили ли вы, сказалъ молодой человѣкъ, остриженный подъ гребенку, продолжая начатой разговоръ о театрѣ: — замѣтили ли вы, что у насъ хотя и рѣдки хорошiе актеры, но бываютъ; а хорошихъ актрисъ почти вовсе нѣтъ, и только въ преданiи сохранилось имя Семеновой: не безъ причины же это.

— Причину искать не далеко: вы ея не понимаете только потому, возражалъ другой, остриженный въ кружокъ: — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнетъ выходить на помостъ сцены и отдаваться глазамъ толпы, возбуждать въ ней тѣ чувства, которыя она приноситъ въ исключительный даръ своему главѣ; ея мѣсто дома, а не на позорищѣ. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; за-мужемъ — она покорная жена. Это естественное положенiе женщины въ семьѣ если лишаетъ насъ хорошихъ актрисъ, зато прекрасно хранитъ чистоту нравовъ.

Т. VII. Отд. I. 10

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЖУРНАЛЬНОГО ТЕКСТА ПОВЕСТИ ГЕРЦЕНА «СОРОКА-ВОРОВКА», В «СОВРЕМЕННИКЕ», 1848, КН. II

черновая редакция, помеченная 23 января 1846 г., является единственно полным текстом повести, свободным от каких бы то ни было цензурных искажений; в ней имеется целый ряд деталей, не встречающихся ни в печатном тексте «Современника», ни в заграничных изданиях «Сороки-воровки». Так, начальный период биографии Анеты дополняется в рукописной редакции следующей характерной деталью. Если в печатном тексте говорилось, что после смерти первого хозяина-помещика «труппа перешла в другие руки», то в рукописи сказано гораздо более резко и определенно: «Нас продали с публичного торга и князь купил всю труппу».

Дальнейшее развитие сюжета в печатном тексте несколько затемнено. «Я стала замечать, — говорит Анета, — что один из любимцев князя особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и возмутилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю; он счел за нужное высказывать

яснее и яснее свои намерения; наконец, он подослал ко мне своего поверенного с разными обещаниями и условиями. Я прогнала поверенного и на время преследования прекратились». Далее в печатном тексте представлена сцена чтения Анетой пьесы Шиллера «Коварство и любовь», во время которой появляется соблазнитель — «он», называющийся также «посетителем», «смешным стариком», «плешивым селадоном». Оба эти места по-иному и гораздо выразительнее звучат в черновой редакции. Так, поверенный, подосланный к Анете с разными обещаниями и условиями, как это видно из рукописи, не кто другой, как управитель князя, жестокий и деспотический человек, нрав и обращение которого изображались в предыдущем эпизоде повести, когда управляющий грубым голосом грозил наказаниями «молодому человеку с завязанными руками, босому, в сером кафтане не из очень толстого сукна». Именно этот управитель, а не какой-то поверенный, был подослан к Анете «с разными обещаниями и условиями», которые пояснены в рукописи: «Сулил отпускную на том условии, чтобы я на десять лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях». Соблазнителем Анеты в рукописном тексте является не кто иной, как сам князь. «Я стала замечать, что князь (в печатной редакции «один из любимцев князя») особенно внимателен ко мне». Вместо фразы «это был он», имеющийся в печатном тексте, в рукописной редакции написано «это был князь»; вместо слов «посетитель», «он», «старик» везде в рукописи имеется тоже слово «князь». Оба вышеуказанные эпизода звучат гораздо выразительнее в рукописной, чем в печатной редакции. Значительно проигрывают в печатном тексте и отдельные детали столкновения Анеты с князем. В ответ на наглые предложения князя Анета восклицает: «Вы меня можете отослать в деревню на поселенье», на что возмущенный князь (в печатной редакции) кричит: «Я тебя научу забываться. Кому ты смеешь говорить этим языком? Ты воображаешь, что ты — актриса». В женевском издании добавлено «Ты прачка». В черновой же рукописи это место еще более усилено: «Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса. Кому ты смеешь говорить этим языком. Да ты знаешь ли, кто я — твой помещик. Я, дескать, актриса, нет, не актриса, ты прежде всего то, что я захочу».

Вышеприведенная реплика князя, вскрывающая все бесправье крепостной актрисы, занимала одно из основных мест в произведении. Недаром после фразы: «Я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами» в рукописи стояло: «Хуже всего этого были последние слова князя, они врезались в голову, в сердце, я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них, я не могла отделаться от них, забыть». Восстановленный по рукописи контекст повести уясняет и непонятную вне их реплику Анеты по печатному тексту: «Поживу еще года два с князевыми словами: их бы вырезать на моей могиле».

Образ Анеты, пережившей на зло князю роман, дополняется в рукописном тексте еще одной трагической подробностью: страданиями актрисы относительно будущей судьбы ожидаемого ею ребенка. «Одно нехорошо и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову — малютка будет его... он ему скажет: «прежде всего ты — мой». А впрочем, я так слаба, так больна, что, бог милостив, приберет и его».

Наконец, рукопись повести вскрывает гораздо сильнее и резче, чем в напечатанном тексте, симпатию рассказчика к бедной Анете. Так, исповедь ее заключалась в черновике следующими строками: «Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящна казалась она мне в эту минуту признанья».

Отсутствие в печатном тексте повести отдельных эпизодов, выброшенных самим автором из цензурных соображений или же непосредственно зачеркнутых цензором, значительно притупляет социальную остроту повести «Сорока-воровка».

Эти эпизоды должны быть восстановлены, и повесть «Сорока-воровка» должна предстать перед советским читателем в таком виде, в каком она была первоначально задумана автором, с сохранением всей политической и социальной заостренности этого первоначального авторского замысла [1].

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] «Сорока-воровка» несколько раз переиздавалась за последние годы. В 1937 г. она была переиздана трижды: в сборнике художественных произведений Герцена под ред. Л. А. Плоткина, в избранных произведениях Герцена под ред. Я. Е. Эльсберга и в избранных же произведениях под ред. И. С. Новича, подготовка текста и примечания С. Я. Штрайха. Однако, никто из редакторов не восстановил подлинного текста «Сороки-воровки», ограничившись перепечаткой текста М. Лемке (Эльсберг), текста женевского издания (Плоткин) и в лучшем случае введя в примечания, по совершенно непонятным причинам, две незначительные поправки рукописи — относительно сочувствия художника Анете и ее размышлений о ребенке (Штрайх).

Даже явная опечатка механически переходит из издания в издание: «Князь [дело происходит в конторе. — *А. К.*] важно отправился в бюро» вместо «к бюро». Не говорим уже о том, что «султаны и вельможи» нигде не заменены «царями» рукописной редакции.

ГЕРЦЕН И ТОЛСТОЙ

Сообщение Н. Гусева

I

Художественное дарование Льва Толстого было высоко оценено Герценом еще при первом появлении Толстого в литературе.

«Из новых произведений, — писал Герцен в 1856 г. во второй книге «Полярной Звезды»,— меня поразила своей пластической искренностью повесть графа Толстого «Мое детство» [1]. Как видим, Герцен не вполне точно называет первую повесть Толстого, появившуюся в сентябрьской книжке некрасовского «Современника» за 1852 г. под данным ей редакцией названием «История моего детства».

К тому же 1856 г. относятся и другие сочувственные отзывы Герцена о Толстом. Так, 17 апреля этого года Герцен писал М. К. Рейхель: «Есть новый очень талантливый автор — граф Толстой» [2]. И в другом письме к тому же адресату, от 16 июня того же года Герцен писал: «Получил новые журналы русские — много интересного. Маленький рассказ гр. Толстого («Метель») — чудо, вообще движение огромное» [3]. (Рассказ Толстого «Метель» был напечатан в мартовской книжке «Современника» за 1856 г.).

Наконец, в третий раз пишет Герцен о Толстом тому же адресату 8 мая 1857 г.: «Читали ли вы Толстого повести и рассказы? Достаньте непременно — удивительно хорошо» [4].

В третьей книге «Полярной Звезды» за 1857 г., под названием «Две песни крымских солдат», Герцен напечатал сложенную Толстым сатирическую песенку на неудачное сражение при реке Черной 4 августа 1855 г., и другую песню, начинающуюся словами: «Как восьмого сентября»... и представляющую результат коллективного творчества севастопольских офицеров. Печатая песни, Герцен не знал, что первая из них сложена Толстым; обе песни он считал произведениями народного творчества и снабдил их следующим примечанием: «Эти две песни списаны со слов солдат. Они не произведение какого-нибудь особого автора, и в их складе нетрудно узнать выражение чисто народного юмора».

К апрелю 1858 г. относится письмо Герцена к немецкой писательнице М. Мейзенбуг, переводившей выдержки из рассказа Толстого «Севастополь в декабре месяце». Объяснив переводчице значение некоторых непонятных для нее русских выражений, Герцен прибавляет: «Не легко переводить такие страницы, даже очень трудно. Другие вещи Толстого легче; жалко также, что это лишь отрывок. Весь характер правдоподобен, изображен реально и верно» [5]. Суждение Герцена относится, очевидно, ко всему рассказу Толстого.

Забегая вперед, укажем два упоминания о Толстом в письмах Герцена за 1868 год. В письме от 3 февраля 1868 г. к С. Тхоржевскому Герцен передает, что его просили для издательства железнодорожной библиотеки указать, какие произведения русской литературы он рекомендовал бы для перевода на французский язык, Герцен сообщает, что он рекомендовал три вещи: «Детство» Толстого, «Героя нашего времени» и «Мертвые души» [6].

В другом письме того же года находим высказанное мимоходом замечание о «Войне и мире». Это замечание было сделано Герценом в письме к Н. П. Огареву от 1 августа 1868 г., когда вышло из печати всего четыре тома (из шести) первого издания романа. В конце своего письма Герцен писал: «Ты, кажется мне,

просмотрел хорошую сторону Толстого романа и преувеличил черную сторону Кельсиева. Сам ты или по наговору Мерчинского? Он Тате говорил и о Толстом и о Кельсиеве» [7].

Из текста письма Герцена не видно, говорит ли он о каком-либо устном высказывании Огарева о «Войне и мире» или отвечает на его письмо. В письмах Огарева за 1868 год, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной публичной библиотеки имени Ленина, упоминания о «Войне и мире» нет.

II

Что касается Толстого, то первое свидетельство, касающееся его отношения к Герцену, должно отнести к 1855—1856 г. Известный в свое время романист Г. П. Данилевский, вспоминая в 1886 г. о своих встречах с Толстым, писал: «Я познакомился с Толстым в Петербурге, в конце пятидесятых годов, в семействе одного известного скульптора-художника. Тогда автор «Севастопольских рассказов» только что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером... Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, вошел тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями, и говорил с такой искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена. Надо вспомнить, что это суждение было сказано задолго до поры, когда русское общество, а под конец и сам Герцен разочаровались во многом, чему так от души поклонялись» [8].

Упоминаемый Данилевским «известный скульптор-художник», — это, несомненно, вице-президент Академии художеств гр. Федор Петрович Толстой, двоюродный дядя Л. Н. Толстого. Толстой приехал из Севастополя в Петербург 19 ноября 1855 г., а 27 мая 1856 г. уехал из Петербурга в Ясную Поляну; следовательно, рассказанный Данилевским случай мог произойти в декабре 1855 г., а более вероятно — в первые месяцы 1856 г. С семейством Ф. П. Толстого Лев Николаевич был хорошо знаком; сохранилось его письмо к жене Ф. П. Толстого, гр. Анастасии Ивановне Толстой, от 7 февраля 1856 г. [9]. По характеру своему, засвидетельствованное Данилевским отношение Толстого того времени к Герцену вполне правдоподобно; оно вполне гармонирует с той «невольной оппозицией всему общепринятому в области суждений», которую Фет, по его словам, заметил в Толстом «с первой минуты его появления» в петербургских литературных кругах [10].

В то же время собственная запись Толстого в дневнике о чтении им Герцена, относящаяся к тому же 1856 г., противоречит его суждению о Герцене, записанному Данилевским. 4 ноября этого года Толстой записывает: «Дочел «Полярную Звезду». Очень хорошо» [11]. Ко времени этой записи вышли, как известно, две книги «Полярной Звезды». Из произведений самого Герцена в них были напечатаны: письмо к Александру II, несколько глав «Былого и дум», статья о книге Мишле «Renaissance», заметка «К нашим» и несколько ответов на письма.

29 января 1857 г. Толстой уехал за границу. В Париже он встретился с Тургеневым; у них явилась мысль проехать в Англию и повидаться с Герценом. 16 (28) февраля 1857 г. Тургенев писал Герцену: «Толстой тоже будет в Англии; ты его полюбишь, я надеюсь, и он тебя» [12]. Герцен отвечал Тургеневу 2 марта: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым. Поклонись ему от меня, как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его «Детство», не зная, кто писал, и читал с восхищением, но второго отдела не читал вовсе, нет ли у него. Если ему понравились мои «Записки», то я вам здесь прочту выпущенную главу о Вятке и главу о Грановском и Кетчере» [13]. Здесь под «вторым отделом» Герцен разумеет повесть Толстого «Отрочество», появившуюся в № 10 «Современника» за 1854 г., а под «Записками» — свои «Былое и думы».

Тургенев отвечал Герцену 5 марта 1857 г. Он писал: «Толстому я передал твой привет; он очень ему обрадовался и велит тебе сказать, что давно желает

с тобой познакомиться и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он N3 далеко не красный)» [14].

В позднейшем письме от 11 августа 1857 г. Герцен опять пишет Тургеневу: «Жду Толстого и тебя» [15]. Но Толстой в эту свою заграничную поездку в Англию не поехал, и знакомство его с Герценом в то время не состоялось.

III

Следующее упоминание о чтении Герцена находим в дневнике Толстого под 4 августа 1860 г., когда Толстой во вторую свою заграничную поездку жил в Киссингене. «Читал Герцена, — пишет Толстой, — разметавшийся ум, больное самолюбие. Но ширина, ловкость и доброта, изящество русские».

У нас нет сведений о том, что именно читал тогда Толстой из сочинений Герцена; но почти безошибочно можно предположить, что речь идет о сборнике «За пять лет (1855—1860). Политические и социальные статьи Искандера и Н. Огарева. Первая часть», вышедшем именно в 1860 г.

В марте следующего 1861 г. состоялось и личное знакомство Толстого с Герценом. К сожалению, во время своего пребывания в Англии, Толстой не вел дневника, и потому сведения о его беседах с Герценом очень скудны. 15 апреля 1904 г., отвечая своему биографу П. И. Бирюкову о своих встречах с Герценом, Толстой писал: «С Герценом я видался в бытность в Лондоне... почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные» [16].

Толстой приехал в Лондон, вероятно, 2 марта 1861 г. (нов. ст.), а уже 7 марта Герцен сообщал Тургеневу: «Толстой — короткий знакомый; мы уж и спорили; он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек; даже Лиза Огарева его полюбила и называет «Левстой». Что же больше? Только зачем он не думает, а все как под Севастополем, берет храбростью, натиском...» [17]. В следующем письме от 12 марта Герцен опять писал Тургеневу о Толстом: «Гр. Толстой сильно завирается подчас: у него еще мозговарение не сделалось после того, как он покушал впечатлений» [18].

Кроме этих писем Герцена, имеется еще несколько воспоминаний, в том числе и самого Толстого, о его встречах с Герценом. Н. А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях рассказывает: «Незадолго до отъезда из России, Огарев и я читали с восторгом «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого, его рассказы о Крымской войне. Огарев постоянно говорил об этих произведениях и об их авторе. Приехав в Лондон, мы спешили поделиться с Герценом рассказом о новом, необыкновенно даровитом писателе. Оказалось, что Герцен читал уже многое из его сочинений и восхищался ими. Особенно удивлялся Герцен его смелости говорить о таких тонких, глубоко затаенных чувствах, которые, быть может, испытаны многими, но которые никем не были высказаны. Что касается до его философских воззрений, Герцен находил их слабыми, туманными, часто бездоказательными.

«Толстой у нас в доме, — думали мы с Наташей, — и спешили в гостиную, чтоб взглянуть на замечательного соотечественника нашего, которого читала вся Россия. Когда мы вошли, граф Толстой о чем-то горячо спорил с Тургеневым. Огарев и Герцен тоже принимали участие в этом разговоре... Конечно, Толстой и не воображал, с каким трепетом мы пожали его руку, и не говорили даже с ним, а только слушали его разговоры с другими. Он ездил к нам ежедневно. Спустя несколько дней, стало очевидно, что как писатель он гораздо симпатичнее, чем как мыслитель, потому что он был иногда нелогичен; сторонник фатализма, он часто имел горячие споры с Тургеневым, в которых они говорили друг другу весьма неприятные вещи. Когда споры прекращались, Толстой был в хорошем настроении, он пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, сочиненные им в Крыму во время войны» [19].

Когда Толстому 26 июня 1904 г. передали содержание этой записи Огаревой о его разговорах с Герценом и Тургеневым, он «сказал, что помнит многое, о чем они говорили, а этого разговора не припоминает». — «Может быть, она просто со-

чинила разговор, как это часто делают авторы всяких мемуаров и записок», — прибавил Лев Николаевич [20].

Толстой был совершенно прав в своем скептическом отношении к записи Огаревой. Споров с Тургеневым в доме Герцена у него быть не могло, так как Тургенева в Лондоне в то время не было.

Кроме воспоминаний Огаревой, есть еще записанный П. И. Бирюковым, со слов дочери Герцена, Натальи Александровны, которая была в то время девушкой шестнадцати лет, рассказ об одном свидании Герцена с Толстым. По ее словам, в это свидание разговор шел только о петушиных боях и о состязании боксеров, которые Толстой видел в Лондоне [21].

Гораздо интереснее и значительнее воспоминания самого Толстого об его встречах с Герценом, хотя воспоминания эти и записаны не самим Толстым, а другими лицами. Так, П. А. Сергеенко со слов Толстого, слышанных им в январе



ТОЛСТОЙ У ГЕРЦЕНА В ОРСЕТ-ГАУЗЕ в 1861 г.

Рисунок С. Визеля

Толстовский музей, Москва

1908 г., рассказывает, что Толстой, никогда не любивший выставлять себя, сначала хотел посетить Герцена просто как один из приезжих русских, но его не приняли. Тогда он послал свою карточку. «Через некоторое время на верху послышались быстрые шаги, и по лестнице, как мяч, слетел Герцен. Он поразил Льва Николаевича своей внешностью небольшого, толстенького человека и внутренним электричеством, исходившим из него.

— Живой, отзывчивый, умный, интересный, — пояснил Лев Николаевич, — Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своею личностью. Я ни у кого уже потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей... Он сейчас же, это я хорошо помню, повел меня почему-то не к себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного достоинства. Помню, меня это даже несколько шокировало. Я был в то время большим франтом, носил цилиндр, пальмерстон и пр. А Герцен был даже не в шляпе, а в какой-то плоской фуражке. К нам тут же подошли польские

деятели, с которыми Герцен возился тогда. Он познакомил меня с ними, но потом, вероятно, пожалел, потому что сказал мне, когда мы остались вдвоем: «Сейчас видна русская бестактность. Разве можно было так говорить при поляках?» Но все это вышло у Герцена просто, дружественно и даже обаятельно. Я не встречал больше таких обаятельных людей, как он. Он неизмеримо выше всех политических деятелей того и этого времени» [22].

Судя по печатаемым ниже письмам Толстого к Герцену, главным предметом их разговоров было — внутреннее положение России и освобождение крестьян. Но Толстой признавал, что он в то время не вполне использовал возможность личного общения с Герценом.

Г. А. Русанов, бывший в Ясной Поляне 4—6 декабря 1890 г., в своих воспоминаниях со слов Толстого записал:

«Лев Николаевич видел Герцена в Лондоне, и тот произвел на него сильное впечатление. Но политика тогда не занимала его, он увлекался другим.

— На мне были тогда надеты шоры, — говорил Толстой, — и я видел только то, чем увлекался тогда» [23].

IV

17 марта (нов. ст.) 1861 г. Толстой уехал из Лондона в Брюссель.

«Герцен, — вспоминал Толстой в письме к Бирюкову от 15 апреля 1904 г., — когда я уезжал в Брюссель, дал мне туда письмо к Прудону, которого я видел в бытность там и который мне очень понравился» [24]. «Герцен, — рассказывал Толстой тому же Бирюкову 27 декабря 1904 г., — дал мне письмо к Прудону, поставил меня с ним в самые близкие отношения, и к Лелевелю...[25] Я ему [Лелевелю] привез поклон от Герцена, он меня принял, рассказывал мне про старину» [26]...

В этих воспоминаниях Толстого, повидимому, есть небольшая неточность: из публикуемого ниже первого письма Толстого к Герцену видно, что перед отъездом он должен был зайти к Герцену за письмом к Прудону, но не зашел, и Герцен, очевидно, послал ему свое письмо к Прудону в Брюссель по почте. (О посещении Толстого Прудон известил Герцена в письме от 11 апреля 1861 г., в котором он писал: «Enfin j'ai eu ces jours derniers M. Tolstoï, un savant qui s'est présenté à moi d'autre part». О том, что Толстой приехал к нему с рекомендательным письмом Герцена, Прудон не упоминает) [27].

Герцен подарил Толстому записку Джузеппе Маццини, которую Толстой просил у него себе на память[28]. Кроме того, Герцен снабдил Толстого адресом мужа своего друга М. К. Рейхель, Альберта Рейхеля, дирижера Дрезденской оперы (его адрес записан Толстым в записной книжке).

20 марта Толстой уже пишет Герцену первое письмо. Письмо это не преследовало никаких практических целей; Толстому хотелось только продолжать общение с Герценом. Из письма Толстого видно, что у него установились с Герценом простые, дружеские, откровенные отношения. Вот это письмо, впервые (как и два следующих) появляющееся в нашей печати (подлинники писем хранятся в фонде М. Драгоманова в Русском историческом архиве в Праге; в Толстовском музее в Москве имеются фотокопии).

20 марта 1861.

Чувствую потребность написать вам словечко, хотя, собственно, нечего мне сказать вам, любезный Александр Иваныч. Хочется сказать, что я очень рад, что узнал вас, и что несмотря на то, что вы всё искали меня на том конце, на котором бы не должен быть никто по всем вероятиям, мне весело думать, что вы такой, какой есть, т. е. способный сбегать за микстурой для Тимашева и вследствие того способный написать то, что вы написали. Дай-то бог, чтобы через 6 месяцев сбылись ваши надежды. Все возможно в наше время; хотя

я и возможность эту понимаю иначе, чем вы. — Тесье вам сказал, верно, что я уехал только вечером и не успел зайти к вам, что бы мне даже нужно было сделать для письма Прудону. Тесье милый человек, но как он невозможно льстит в глаза. Я пробыл с ним долго, но не знаю его, такого он напустил льстивого дыму-чаду, что ничего разобрать нельзя. Как-то сошла ваша иллюминация. Здесь же, к удивлению моему, старые русские, как князь Дундук, похваливают государя за его твердость. Влияние совершившегося факта будет страшно сильно. Все будут либералы теперь, когда интересы будут натыкаться только на стеснения, а не поддерживаться ими.

Я буду здесь, должно быть, около недели, ожидая писем и посылок из Лондона, Парижа и России. Ежели захотите написать мне, то адресуйте в Hôtel d'Angleterre, place Monnau.

Жму руку всем вашим. Всё я хотел спросить у вас, что за человек ваша непонятная англичано-ненавистница гувернантка; и не успел. Вы к ней привыкли, а она престранная. Николай Платонычу жму руку и имею честь донести по его части, что вчера, слушая Фауста Гуно, испытал весьма сильное и глубокое впечатление, хотя не мог разобрать, произведено ли оно было музыкой или этой величайшей в мире драмой, которая осталась так велика даже в переделке французского либретто. Но музыка в самом деле не дурна.

Письмо Толстого требует некоторых пояснений. «Микстурой для Тимашева» Толстой называет едкую статью Герцена, напечатанную в новогоднем номере «Колокола» на 1861 г. под заглавием: «Тимашев, сидите дома, как Бейст, — не ездите, как Гайнау!» Статья написана по поводу приезда в Лондон начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III Отделением Тимашева; Герцен напоминает ему судьбу австрийского фельдмаршала Гайнау, который, после подавления рабочего движения в Вене, также приехал в Лондон. Здесь он посетил одну фабрику, на которой рабочие его узнали и избили. С Тимашевым, однако, этого не случилось, но по возвращении из-за границы он был смещен с занимаемой им должности и назначен губернатором в Пермь.

Упоминаемые в письме Толстого лица: Мари Эдмон Тесье дю Мотель, французский химик, участник февральской революции, друг Герцена; «князь Дундук» — князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1792—1869), вице-президент Академии наук, в семье которого Толстой часто бывал в Брюсселе. Толстой называет его «князь Дундук» вслед за Пушкиным, написавшим на него известную эпиграмму: «В Академии наук заседает князь Дундук...» Остроумие этой эпиграммы всегда, даже в его старые годы, вызывало у Толстого добродушный смех. Эпиграмма появилась впервые в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», отпечатанном в Вольной русской типографии в Лондоне в 1861 г., с предисловием Огарева, и потому Герцену было вполне понятно, о каком «князе Дундуке» идет речь.

Самое интересное в публикуемом письме Толстого это — его фраза: «Дай-то бог, чтобы через шесть месяцев сбылись ваши надежды». Известно, что Герцен в то время еще не преодолел окончательно надежд на либеральные реформы Александра II, особенно на освобождение крестьян. Толстой лучше, чем Герцен, проведший несколько лет в эмиграции, знал правительство Александра II, с которым ему приходилось иметь дело, и был далек от всяких иллюзий. Достаточно вспомнить его письмо к брату министра народного просвещения Е. П. Ковалевскому от 12 марта 1860 г., в котором он писал, что народное образование «не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведывать им» [29]. И в фразе о «надеждах» Герцена, которую читаем в письме Толстого, звучит сильно выраженная нота скептицизма, переходящая в прямое недоверие. Несмотря на это, Толстой интересуется предположенной Герценом «иллюминацией» — банкетом по случаю освобождения крестьян.

Вероятно, в тот же день, как и Герцену, Толстой писал и Тургеневу (это его письмо, как и большинство его писем к Тургеневу, неизвестно). В своем письме Толстой излагал свое впечатление от Герцена, указывая, между прочим, на его старость; это видно из ответного письма Тургенева от 22 марта, в котором есть такая фраза: «А Герцен, точно, очень стар, бедный» [30].

Герцен вскоре ответил на письмо Толстого, но ответ его неизвестен и вряд ли сохранился до нашего времени. Едва ли Толстой повез с собой в Россию письма Герцена; быть может, он передал их кому-либо из знакомых, бывших в то время за границей; во всяком случае каких-либо следов этих писем до сих пор не обнаружено.

Следующее письмо Толстого к Герцену помечено 26 марта. Приводим текст этого письма:

Только что собирался вам писать, любезный Александр Иваныч, как получил ваше письмо. Писать же собирался вам о «Полярной Звезде», которую теперь только прочел всю как следует. Превосходная вся эта книга, это не мое одно мнение, но всех, кого я только видел. Вы все говорите — «полемику давайте». Какую полемику? Ваша статья об Овене, увы, слишком, слишком близка моему сердцу. Правда quand même, что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека. Много есть людей, и русских 99/100, которые от страху не поверят вашей мысли (и в скобках буде сказано, что им весьма удобно, благодаря слишком легкому тону вашей статьи). Вы как будто обращаетесь только к умным и смелым людям. Эти люди, т. е. не умные и не смелые, скажут, что лучше молчать, когда пришел к таким результатам, т. е. к тому, что такой результат показывает, что путь был не верен. И вы немного даете право им сказать это — тем, что на место разбитых кумиров ставите самую жизнь, произвол, узор жизни, как вы говорите. На место огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и т. п., этот узор ничто — пуговка на место колосса. Так лучше бы было не давать им этого права. Ничего на место. Ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов.

Кроме того, эти люди — робкие — не могут понять, что лед трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идет; и что одно средство не провалиться это — итти не останавливаясь. Вы говорите, я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки. Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева может быть в [18]25 г. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого.

Как вам понравился манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний [31].

Кроме общего интереса, вы не можете себе представить, как мне интересны все сведения о декабристах в «Полярной Звезде». Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. — Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик и христианин, возвращающийся в 56-ом году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. Скажите пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я читал

начало, понравились первые главы. — Кланяюсь всему вашему милому (по правилу Тесье и по собственному размышлению) орсетскому подворью и посылаю вам и Огареву обещанные карточки, ожидая в замен ваших.

26 марта.

Л. Толстой

Пожалуйста, ежели вам не хочется, не отвечайте мне. Мне просто хотелось болтать с вами, а не вызывать на переписку знаменитого изгнанника. Вздумается, напишите строчку. Главное, боюсь быть indiscret с вашим временем.

В этом письме Толстой называет «превосходной» шестую книгу «Полярной Звезды», вышедшую в 1861 г. Главное содержание этой книги составляли материалы о декабристах и о Пушкине и главы из «Былого и дум». В числе этих глав была и статья о Роберте Оуэне, — одна из самых ярких обличительных статей, направленных Герценом против западноевропейского буржуазного общественно-политического строя. Толстой пишет, что статья эта «слишком, слишком близка» его сердцу, что это — «правда», которую может сказать только русский человек; но он не сочувствует «слишком легкому тону» статьи, повидимому, потому, что предмет показался ему слишком серьезным, чтобы писать о нем в «легком» тоне (сам Толстой ни в то время, ни позднее никогда в таком тоне не писал). В то же время Толстой возражает и против общей мысли герценовской статьи, — именно против того ее места, где Герцен говорит: «Человек живет не для совершения судеб, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился для (как ни дурно это слово) для настоящего... Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначение, не заданный урок, а последствия той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями. И это не все, мы можем переменить узор ковра. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни одинехоньки».

Выраженная в этих словах точка зрения Герцена кажется Толстому недостаточной. На место разрушенных фантасмагорий религии и метафизики, — говорит он Герцену, — бессмертия души, вечного совершенствования, исторических законов, держащих человека в своей власти, вы ставите одну только личную жизнь человека. Одно не соответствует другому; это — маленькая пуговка на место колосса. На место разрушенного колосса, — говорит Толстой, — нужно поставить ту силу, которая этот колосс свалила; такой силой Толстой в то время считал человеческий разум. Вторая надежда Толстого — русский народ, «субъективная Россия», как он выражается. Эту свою «субъективную Россию» Толстой, по его словам, знает, знает так же хорошо, как Рылеев в 1825 г. знал Россию своего времени. (Упоминание о Рылееве объясняется тем, что в той книге «Полярной Звезды», о которой Толстой писал Герцену, были напечатаны материалы о Рылееве). Из недр народной жизни Толстой ожидает ростков какого-то нового сознания, которое заменит разрушенные кумиры.

Само собою разумеется, что эти возражения нисколько не нарушили общего дружественного отношения Толстого к «орсетскому подворью» (так он назвал дом Orsett House, в котором жил Герцен в Лондоне).

Далее, в письме Толстого обращает на себя внимание его отзыв о манифесте 19 февраля. Он недоволен ни слогом, ни содержанием манифеста. Ему кажется оскорбительным то, что «тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу». Мы же, — говорит Толстой, имея в виду образованных людей, — «ни слову не поверим» из того, что в нем написано». Так далеко уже тогда простиралось недоверие Толстого к русскому правительству. Известно, что Герцен на первых порах, до ознакомления с «положением», иначе относился к манифесту об освобождении крестьян: в письме к Тургеневу от 28 марта он точно так же, как Толстой, по-

рицал слог манифеста, но не выражал недовольства его содержанием. В № 95 «Колокола» от 1 апреля 1861 г. появилась его восторженная статья «Манифест!», в которой он «из далекой ссылки» приветствовал Александра II «именем освободителя». Из письма Толстого Герцен должен был увидать совершенно противоположное отношение его к этому правительственному акту.

Кроме выяснения личных и идейных отношений к Герцену, письмо Толстого имеет значение также и для истории его творчества. Для биографов и исследователей Толстого до сих пор оставался неясным вопрос о времени начала его неоконченного романа из эпохи декабристов. Сам Толстой в неоконченном и ненапечатанном при его жизни предисловии к «Войне и миру», написанном в декабре 1864 г., писал, что он «в 1856 г. начал писать повесть..., героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию». Однако, ни в дневнике Толстого за 1856 г., который он вел почти ежедневно, ни в его многочисленных письмах этого года нет ни малейших упоминаний о работе над этим произведением. То же следует сказать и относительно 1857 г. Исследователи (Грузинский, Цявловский) справедливо полагали, что к 1856 г. может быть отнесен только самый замысел романа, но не его осуществление; осуществление же этого замысла исследователи и биографы относили к 1863 г., т. е. ко времени начала работ над «Войной и миром»[32]. Из публикуемого письма Толстого, датированного 26 марта 1861 г., мы узнаем, что роман был начат «месяца четыре тому назад», т. е. в ноябре 1860 г., когда Толстой жил еще в Гиере. Упоминание Толстого о чтении им начала романа Тургеневу находит свое подтверждение в письме Тургенева к Анненкову из Парижа от 15 (27) февраля 1861 г.: «На днях приехал сюда из Италии Толстой Л. Н. ...Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него еще большая будущность»[33].

Получив от Толстого его карточку, Герцен сейчас же послал ему свою карточку с Огаревым (эта карточка с датой 28 марта 1861 г. воспроизводится ниже, стр. 511). В тот же день он писал Тургеневу: «С Толстым мы в сильной переписке и портретами обослались, а только у него в голове не прибрано еще, не выметено, а что мебель-то, может, и того-с»[34]. Герцену, вероятно, показались неясными и неубедительными те возражения против общих положений его статьи о Роберте Оуэне, которые изложил ему Толстой в своем письме. Быть может, ему было не по душе также и отрицательное отношение Толстого к манифесту 19 февраля, столь противоположное его собственному настроению того времени. Повидимому, однако, судя по ответному письму Толстого, самому Толстому Герцен не написал того, что писал о нем Тургеневу; а на вопрос Толстого о том, продолжать ли ему свой роман о декабристах, ответил похвалами его таланту. Толстой 9 апреля ответил Герцену следующим письмом, написанным уже не из Брюсселя, который Толстой называет в этом письме «брабантскими кружевами», а из Франкфурта на Майне, в первый же день по прибытии в этот город:

В тот самый день, как я получил ваше письмо, любезный Александр Иваныч, я получил письмо от Тургенева, обещавшего через два дня приехать в Брюссель. Tremendous light sir и т. д. и меня так пленило, что я намеревался по приезде Тургенева предложить ему съездить на ваш пир. Но приезд этот, к несчастью, не последовал по случаю кашля и наклеенной мушки, над которой я не могу смеяться, ибо сам в то время был оклеен мушками. — Потом, почему-то два или три письма, в которых я писал к вам про Лелевеля и про впечатленье, произведенное им на меня, я разорвал. — Теперь, чтобы не случилось того же, не буду писать и про это. Пишу только, чтобы вас поблагодарить за «Колокол» и добрый совет о романе. За слишком лестное мнение о мне не благодарю. Оно вредно. Огарева воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христи-

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ГЕРЦЕНУ ОТ 26 МАРТА 1861 г.

Первая страница

Русский исторический архив, Прага

т. е. мужчины и женщины
Эти господа скажут, что лучше
молчать, когда пришел к удо-
влетворительным результатам т. е. к [illegible]
[illegible] такой результат показ-
ывает, что путь был истинен.
И [illegible] более прав [illegible] скаж-
ет — [illegible], что на место [illegible]
[illegible] [illegible] стал [illegible]
[illegible], [illegible], удар [illegible]
говорит. На место [illegible]
[illegible] [illegible], вечная совершен-
ствования, исторических законов [illegible]
[illegible] — пуговка на место [illegible]
[illegible]. Так лучше бы было не да-
вать им даром права. Ничего на
место — ничего, исключая [illegible]
которая [illegible] [illegible]. —
Кроме того эти господа — редки
не могут понять, что [illegible]
[illegible] под ногами — [illegible]
доказывать, что человек [illegible]
а что одно средство и [illegible]
это [illegible] не останавливаться.
Вы говорите, что я не знаю
России. Нет знаю свою субъектив-
ную Россию, глядя на нее с своей
[illegible]. Ежели [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ГЕРЦЕНУ ОТ 26 МАРТА 1861 г.
Вторая страница
Русский исторический архив, Прага

и для меня, то это тоже до-
казательство, что мы уже над-
уваем новый пузырь, котор-
ый сами не видим. И этот
пузырь есть для меня твердое
и ясное
знание моей Россіи, такое яс-
ное, как знание Россіи Ры-
леева положим в 25 году.
Нам людям практическим нель-
зя жить без этого. —
Как вам понравился манифест?
Я его читал нынче по русски
и не понимаю для кого он напи-
сан. Мужики ни слова не поймут,
а мы ни слову не повѣримъ. —
Еще не нравится мне то, что
тон манифеста есть великодуш-
ное благодеяние народу, а сущ-
ность его даже ученому ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ничего не представляет
кроме обещаний.
Кроме общего интереса вы не
можете себе представить, как
интересны мне все сведения
о декабристах в П. З. — Я затеял
месяца 4 тому назад роман,
героем которого должен быть
возвращающийся декабрист.
Я хотел поговорить с вами

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ГЕРЦЕНУ ОТ 26 МАРТА 1861 г.
Третья страница
Русский исторический архив, Прага

объ этомъ, да такъ и не уехали. — Декабрист мой должен теперь быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. — Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, кот. я читал начало, понравились первые главы. — Кланяюсь всему вашему семейству (по правилу Тевы и по собственному решительному) особенному подвернулось и посылаю вам и Огареву обещанные карточки отдан. в залоги ваших. —

Л. Толстой

26 марта. —
Пожалуйста, ежели вам не хочется и отвечать, и проч. Мою просьбу карточек выслать от вас, а не выставлять на переписку знаменитого изгнанника. Будьте здоровы, напишите адресок. Главная забота ваша [illegible]

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ГЕРЦЕНУ ОТ 26 МАРТА 1861 г.
Четвертая страница
Русский исторический архив, Прага

анский мистицизм. Из брабантских кружев я вчера вырвался и нынче ночую в Ейзенахе, день в Иене, 2 дня в Дрездене и в Варшаву, которая все больше и больше интересует меня. Ежели найду случай, напишу вам из Варшавы. Читали ли вы подробные положения о освобождении. Я нахожу, что это совершенно напрасная болтовня. Из России же я получил с двух сторон письма, в которых говорят, что мужики положительно недовольны. Прежде у них была надежда, что завтра будет отлично, а теперь они верно знают, что два года будет еще скверно, и для них ясно, что потом еще отложат и что все это «господа» делают. Кланяюсь вашей дочери, Николай Платонычу и его жене, и вам дружески жму руку, надеясь так или иначе до свиданья.

Ежели захотите мне прислать что-нибудь, то в Дрезден poste restante, а то через Киснена.

Л. Толстой.

9 апреля.
Франкфурт.

Письмо это было вызвано тем, что Толстой, в числе многих других русских, получил от Герцена приглашение приехать к нему на праздник по случаю освобождения крестьян. Толстому захотелось еще раз повидаться с Герценом; он поджидал Тургенева, с которым вместе и предполагал поехать в Лондон. Но Тургенев заболел, о чем и уведомил Толстого письмом[35]; одному же Толстому ехать не хотелось и вторичная его поездка к Герцену не состоялась. «Пир» Герцена, происходивший 10 апреля, как известно, был омрачен полученным в тот же день известием о расстреле 8 апреля мирной манифестации в Варшаве. «Преступленье было слишком свежо, раны не закрылись, мертвые не остыли, имя царя замерло на губах наших», писал Герцен на другой день в статье «10 апреля 1861 и убийства в Варшаве». Таким образом, недоверчивое отношение Толстого к либеральным реформам «царя-освободителя» оправдалось полностью.

Повидимому, Герцен в своем письме в качестве материала для романа Толстого о декабристах указал ему на воспоминания Огарева «Кавказские воды», напечатанные в шестой книге «Полярной Звезды». Толстой отвечает, что он читал эти воспоминания, и отмечает в них одно место, в котором видит подтверждение своей догадки о «христианском мистицизме», свойственном декабристам. Он имел в виду страницы 346—347, где Огарев писал, что религиозный мистицизм был свойственен многим декабристам еще до разгрома восстания 14 декабря 1825 г., т. е. до их ссылки в Сибирь.

Далее Толстой в том же отрицательном духе, в каком он раньше высказывался о манифесте 19 февраля, высказывается теперь и о «Положении об освобождении крестьян». Он находит, что положение это — «совершенно напрасная болтовня». Подтверждение своему взгляду он видит в двух письмах, полученных им из России «с двух сторон» (т. е., повидимому, одно от барина, другое от мужика). Письмо от мужика, вероятно, от яснополянского приказчика — не сохранилось, а письмо от помещика — это письмо от брата Толстого, Сергея Николаевича, владельца имения Пирогово, Тульской губернии, в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны. Письмо это, от 12 марта 1861 г., сохранилось; в нем С. Н. Толстой писал брату: «У нас теперь время интересное. Манифест о воле прочитан, народ еще ничего хорошенько не расчухал, и нельзя ни о чем судить, скорей все недовольны, чем довольны. Но главное, народ еще ничего не понимает, что там написано, да и кажется очень равнодушным к содержанию его. Я предлагал яснополянским крестьянам, покуда я здесь, объяснить им кое-что, но никто не пожелал этого, и сколько я мог понять из речей Резуна, который ходит мирским старостой, и Матвея Егорова, то выходит, что нечего, мол, о пустяках толковать, а что будет, про то мы и сами узнаем от попа либо от целовальника, а от тебя, окромя пустяков, ждать нечего»[36].

Вышеприведенное письмо Толстого к Герцену, повидимому, было последним. Писал ли ему Герцен в Дрезден, неизвестно.

V

12 (24) апреля 1861 г. Толстой вернулся в Россию.

Приехав в Ясную Поляну, он занял место мирового посредника и вступил в ожесточенную борьбу с крапивенскими крепостниками, отстаивая интересы крестьян. Вторым делом, которому он вновь предался со всей свойственной ему страстностью увлечения, были занятия с крестьянскими детьми. Он всецело погрузился в свою «субъективную Россию» — в мир крестьянских нужд и интересов. В школе он преподавал только то, что соответствовало ясно выраженным требованиям народа. Все то, что выходило за пределы интересов и требований трудящегося крестьянина или противоречило им, представлялось ему излишним и ненужным.

Не нужен оказался и Герцен с его общественно-политической борьбой и с его мечтаниями о будущем социальном устройстве.

В рапорте жандармского полковника Дурново начальнику III Отделения князю Долгорукову от 14 июля 1862 г., по поводу обыска в Ясной Поляне 6—7 июля 1862 г., сказано, что при обыске у одного из приглашенных Толстым народных учителей, студента Сердобольского, оказалось письмо к нему Толстого из Москвы от 25 января 1862 г., в котором Толстой жаловался Сердобольскому на другого учителя, студента Соколова, «осуждая его за то, что он любит заниматься литографией и слушает бредни Герцена, но делом не занимается»[37]. Хотя точности жандармского донесения особенно доверять не следует, но в данном случае изложение содержания письма Толстого можно считать более или менее правильным, так как оно подтверждается упоминаниями о Герцене в статьях и письмах Толстого того времени. Так, в статье «Воспитание и образование», рисуя отрицательными штрихами облик русского студента того времени, Толстой замечает: «Главное занятие [их] — чтение запрещенных книг и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается все не по достоинству, но по степени запрещения»[38].

Около 20 июля 1862 г. Толстой писал в Петербург своей двоюродной тетке А. А. Толстой по поводу произведенного у него обыска: «Я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю эти прелести — прокламации и «Колокол», и я так и отдал не прочтя. Мне это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а от всей души»[39]. Если известную долю раздраженного тона этого письма отнести за счет того возмущения, которое вызвал в Толстом акт произведенного над ним полицейского насилия, то все же остается бесспорным факт равнодушного отношения его в то время к сочинениям Герцена. Это подтверждается и следующим письмом Толстого к тому же адресату от 7 августа 1861 г., написанным в более спокойном тоне. Рассказывая о студентах учителях, работавших в народных школах под его руководством, Толстой говорит: «Каждый приезжал с рукописью Герцена в чемодане, и *каждый* без исключения через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал евангелия на дом». В том же письме, говоря о своем намерении эмигрировать за границу, Толстой заявляет: «К Герцену я не поеду: Герцен сам по себе, я сам по себе»[40].

Это отдаление от Герцена не мешало, однако, Толстому хранить у себя его запрещенные сочинения. В неопубликованном месте «Воспоминаний о графе Л. Н. Толстом» брата его жены С. А. Берса, выправленном в рукописи рукою С. А. Толстой, рассказывается, что во время обыска в Ясной Поляне «Дуняша, горничная тетеньки Льва Николаевича, зная о существовании в доме портфеля с запрещенными книгами и карточкой Герцена и Огарева, который хранился особенно, успела взять его и бросить в канаву». Другой рассказ со слов сестры Толстого М. Н. Толстой записан Д. П. Маковицким под 26 августа 1909 г. в его

неопубликованных «Яснополянских записках». М. Н. Толстая рассказывала, что во время обыска яснополянцы «командировали Николеньку Петерсона [Н. П. Петерсона, одного из народных учителей, занимавшихся в школах под руководством Толстого] в Ясенки к учителю спрятать письма Герцена. Они были не ко Льву Николаевичу, а Лев Николаевич взял их у кого-то прочесть»[41].

VI

С 1863 г. в жизни Толстого начинается период создания и попыток создания больших романов, закончившийся лишь в 1879 г. За все это время ни в произведениях Толстого, ни в его письмах, ни в дневниках (очень немногочисленных) не находим ни одного упоминания о Герцене.

В конце 70-х годов в миросозерцании Толстого происходит перелом. По его собственным словам, для него «все, что было справа, стало слева, и что было слева, стало справа». «По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и в своих последних произведениях обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху до низу пропитывают всю современную жизнь»[42].

Последние тридцать лет жизни Толстого отмечены усиленным вниманием к сочинениям Герцена, неоднократным их перечитыванием и многочисленными упоминаниями о Герцене в произведениях, дневниках, письмах и разговорах. Во взглядах Герцена Толстой находил много общего со своим миросозерцанием.

Первое упоминание о Герцене у Толстого этого периода находим в его письме к Н. Н. Страхову около 14 марта 1882 г. Толстой писал, что он «восхищен» статьями Страхова о Герцене[43]. Главная мысль статей Страхова состояла в указании на то, что Герцен «пришел к тому убеждению, что нет живого духа на Западе, что все его мечты обновления не имеют внутренней силы, что одно верно и несомненно — смерть, духовное вымирание, гибель всех форм тамошней жизни, всей западной цивилизации». «Эту мысль, — говорит Страхов, — Герцен проповедывал упорно и постоянно до конца своей жизни. На эту тему написаны лучшие, остроумнейшие и глубокомысленнейшие его статьи. И наибольшее поучение, которое можно извлечь из Герцена, конечно, заключается в том анализе явлений западной жизни, которым он подтверждает свою мысль о падении Запада». Другая характерная черта Герцена, по мнению Страхова, это — вера в Россию. «Мысли Герцена о России, — говорит Страхов, — если взять их в целом, представляют образец глубокой проницательности и заслуживают серьезного изучения».

Эти две особенности миросозерцания Герцена — потерю веры в западную цивилизацию и его веру в Россию, в русский народ, Толстой, в своих позднейших высказываниях о Герцене, считал самыми близкими себе сторонами его взглядов. Кроме того, разочарование Герцена в западноевропейских революциях Толстой воспринимал, как разочарование его в революционном пути вообще, и потому в писаниях Герцена он находил общее со своим отрицательным отношением к насилию. И, наконец, Герцена, как художника, Толстой ставил в один ряд с лучшими русскими писателями.

В феврале 1888 г. Толстой вновь перечитывает Герцена — быть может, под влиянием рассказов о нем своего друга, художника Н. Н. Ге, который был очень дружен с Герценом, написал его портрет и высоко ценил его произведения. 9 февраля этого года Толстой писал В. Г. Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий — нужно только читать

Герцена, как казнится всякое насилие именно самым делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь. И хороший, искренний человек. Человек и люди могут исправиться только тогда, когда их ложный путь заведет в болото, и он сам увидит, ахнет и станет вылезать и другому закричит: не ходите! А наше правительство задерживает людей, идущих в болото, тогда, когда они еще не дошли до него, когда они идут по ровной, веселой дороге. Мало того, один человек, выдающийся по силе, уму, искренности, случайно мог без помехи дойти по этой дороге до болота и увязнуть и закричать: не ходите! И что ж? Оттого, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывались от тех, которые идут за ним. Чудно и жалко»[44].

О том же писал Толстой и Н. Н. Ге 13 февраля 1888 г.: «Все последнее время читал и читаю Герцена и о вас часто вспоминаю. Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние двадцать лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган»[45].

Теперь Толстой уже вполне определенно причисляет Герцена к великим русским писателям. В декабре 1890 г. он говорит Г. А. Русанову: «У нас кого читать, много ли у нас великих писателей? ...Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Достоевский, ну... я (без ложной скромности), некоторые прибавляют Тургенева и Гончарова. Ну, вот и все. И вот один из них выкинут, не существует для публики — невознаградимая утрата»[46].

Однако, Толстой признавал, что несмотря на запрещение, Герцен все-таки оказывал свое влияние на русских людей. П. А. Сергеенко передает следующие слова Толстого, относящиеся к концу марта 1893 г.:

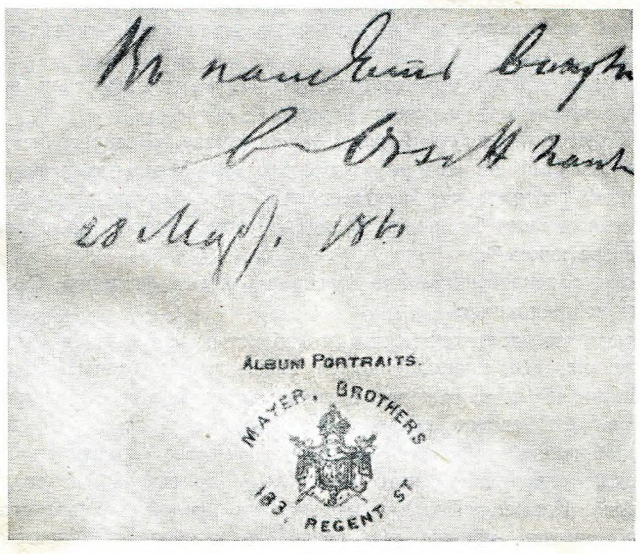
«Ведь если бы выразить значение русских писателей процентно, в цифрах, то Пушкину надо бы отвести 30%, Гоголю — 20%, Тургеневу — 10%, Григоровичу и всем остальным — около 20%. Все же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубок, блестящ и проницателен. И будь он доступен русской молодежи, не было бы первого марта»[47].

Теперь уже Толстой в своих сочинениях и письмах охотно цитирует то или другое место или отдельное выражение Герцена. Так, в своем дневнике под 11 июля 1890 г. он записывает: «Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингис-хан уж не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий, все это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и т. п. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России»[48]. Почти то же самое писал Толстой и Б. Н. Чичерину 31 июля того же года: «Не даром Герцен говорил о том, как ужасен был бы Чинчис-хан с телеграфами, с железными дорогами, с журналистикой. У нас это самое совершилось теперь»[49].

И еще раз вспоминает Толстой эту фразу Герцена в своей большой работе «Царство божие внутри вас», написанной в 1891—1893 г.г. Здесь он говорит: «Правительства в наше время — все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, — сделались тем, что так метко называл Герцен: Чингис-ханом с телеграфами, т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей».

В этих цитатах Толстой вспоминает следующее место из письма Герцена к Александру II по поводу книги барона Корфа о декабристах: «Если бы у нас весь прогресс совершался т о л ь к о в правительстве, мы дали бы миру еще небывалый пример самовластья, вооруженного всем, что выработала свобода, рабства и наси-

MAYER, BROTHERS



ОГАРЕВ И ГЕРЦЕН

Фотография с дарственной надписью Герцена Толстому, 28 марта 1861 г.

Литературный музей, Москва

лия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто в роде Чингисхана с телеграфами, пароходами, железными дорогами»...[50]

В последней главе той же работы «Царство божие внутри вас», говоря о неизбежности коренного изменения того насильнического общественного строя, который существовал в то время, при внешнем различии форм, во всех странах, Толстой приводит следующую большую выдержку из третьей главы цикла статей Герцена «С того берега»:

«— Что будет там, за стенами оставляемого нами мира?

— Страх берет — пустота, ширина, воля... Как итти, не зная куда, как терять, не видя приобретений?...

Если бы Колумб так рассуждал, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали от одного готового hôtel garni в другой, еще лучший, — было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане — ничего нет, — оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, — старайтесь его сохранить, он очень хил, и надолго его не станет; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных средневековых сводов на свой страх. Я очень знаю, что это не легко. Шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди готовы на страшные жертвы, но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность образованной дряхлости, сломать свой наследственный за́мок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо лучше после нас?»

Приведя эту большую выдержку, Толстой прибавляет от себя:

«Так говорил почти полстолетия тому назад русский писатель, своим проницательным умом уже тогда ясно видевший то, что видит теперь уже всякий самый мало размышляющий человек нашего времени: невозможность продолжения жизни на прежних основаниях и необходимость установления каких-то новых форм жизни».

В том же 1893 г. Толстой поощряет Н. Н. Ге писать свои воспоминания о Герцене[51], а осенью сам перечитывает Герцена[52].

Не забыл Толстой помянуть Герцена и в романе «Воскресение». В последней части романа умирающий на каторге революционер Крыльцов говорит:

— Да, Герцен говорил, что когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников[53].

В черновиках «Воскресения», где Крыльцов носит фамилию Семенов, эти его слова имеют такую редакцию:

— Ты смотри, что делается: были декабристы; как Герцен говорил: их извлекли из обращения, все приподнявшиеся выше толпы головы срубили[54].

Семенов вспоминает и выражение Герцена: «Чингис-хан с телеграфами»[55].

Вкладывая в уста своего героя слова Герцена о том, что после изъятия декабристов из обращения уровень русского общества понизился, Толстой, очевидно, имел в виду следующее место из письма Герцена к Александру II по поводу книги барона Корфа: «После ссылки этих людей температура образования видимо у нас понизилась, меньше ума сделалось в обороте, общество стало пошлее, потеряло возникающее чувство достоинства; с тех пор язык подъячих и манеры кантонистов получили право гражданства в гостиных, в литературе»[56]...

Лишь изредка у Толстого 90-х годов проявляется скептическое отношение

к Герцену, о чем свидетельствует его запись в дневнике от 17 мая 1896 г. Здесь Толстой высказывает мысль, что Герцен, если бы у него было более определенное миросозерцание, мог бы дать больше того, что он дал. «Несмотря на свой огромный талант, что же он сказал нового, нужного?» — спрашивает Толстой [57].

VII

Вышеприведенный скептический отзыв Толстого о Герцене представляет исключение среди многочисленных сочувственных, часто прямо восторженных суждений его об этом писателе.

В 1899 г. В. Г. Чертков в своих «Листках Свободного Слова», выходивших в Англии, напечатал отдельные мысли Герцена, выбранные из его «Писем к старому товарищу». Как известно, В. И. Ленин в своей статье «Памяти Герцена» отмечает, что Герцен в этих «Письмах» «обратил свои взоры не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал «собирать полки» пролетариата, объединять «мир рабочий», покидающий мир пользующихся без работы» [58]. Из этих же самых статей Герцена Чертков извлек ряд мыслей, близких к миросозерцанию Толстого. Получив «Листок» Черткова, Толстой писал ему 6 октября 1899 г.: «О листочке с выписками Герцена не помню, писал ли. В то время, как я получил его, я только что перечел «Письма к старому товарищу» и восхищался ими и читал всем вслух» [59].

Одну из мыслей Герцена, выбранных Чертковым из «Писем к старому товарищу», Толстой впоследствии (в 1908 г.) поместил в составленный им сборник изречений под заглавием «На каждый день». Мысль эта следующая: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Помещая эту мысль в свой сборник, Толстой перед словом «освобождать» вставил от себя — «силою» [60].

Толстой был склонен считать Герцена своим единомышленником по основным вопросам. К тому же 1899 г., когда Толстой перечитывал «Письма к старому товарищу», относится следующая запись одного разговора с Толстым, сделанная его единомышленником П. П. Николаевым: «Зашел разговор о Герцене, и Лев Николаевич очень хвалебно о нем отзывался. Между прочим сказал, что вера Герцена в возможность и полезность насильственного переустройства социальных форм жизни не была в нем органической верой, но наносной и преходящей. Часто пробивалось в нем религиозное искание. «Думается, что он был бы теперь с нами», прибавил Лев Николаевич» [61].

Вместе с тем, статьи Герцена представлялись Толстому образцом политической литературы, настоящим «свободным словом», смело, беспощадно и остроумно обличающим злодеяния правительств и правящих классов. Получив номер журнала «Свободная Мысль», издававшегося в Женеве П. И. Бирюковым, Толстой 1 августа 1899 г. писал ему: «Есть изюминка Герценовская. Так и нужно. И тут нужен большой такт, чтобы была изюминка, а между тем не уходили бы все кислые щи пеной, чтобы не было пресно и не была одна пена» [62]. Относительно современного ему английского политического писателя Моррисона Давидсона, автора книги «A new Book of Kings», Толстой замечал, что он пишет «как Герцен, блестяще, смело, остроумно» [63]. Наоборот, в журнале «Свободное Слово», издававшемся Чертковым в Англии, Толстой, очевидно, не нашел герценовской «изюминки», и как бы в утешение Черткову писал ему 23 декабря 1901 г.: «Ваш листок «Свободное Слово» мне очень понравился. Боюсь, что это впечатление — особенно выгодное — он производит на меня, которому все, что он содержит, особенно близко. Интересно, какое он произведет впечатление на людей, чуждых нам. Сколько я замечал, всегда делают сравнение с «Колоколом» Герцена и не могут привыкнуть к тому, что основы другие» [64].

В августе 1901 г. в разговоре о русской литературе Толстой как «наиболее значительных» назвал только пятерых русских писателей: Пушкина, Лермонтова,

Гоголя, Герцена и Достоевского, причем упрекнул «либералов» за то, что они «забыли» Герцена [65]. Через год, 28 июля 1902 г., в разговоре о значении и роли формы в искусстве, Толстой высказал мысль, что «каждый большой художник должен создавать и свои формы». Он вспомнил, как много лет тому назад (в 1857 году) они с Тургеневым «припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная». Они перечисляли это «лучшее» и назвали, кроме Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Записки охотника» Тургенева, «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Детство» самого Толстого, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Былое и думы» Герцена [66].

В 1903 г. в разговоре с тифлисским педагогом С. Н. Шульгиным Толстой опять порицает правительство за запрещение сочинений Герцена [67]. В сентябре этого года в Ясную Поляну приехал великий почитатель Герцена и такой же восторженный почитатель Толстого, художника и обличителя самодержавия, — музыкальный критик В. В. Стасов. Приехавший вместе со Стасовым скульптор И. Я. Гинзбург впоследствии так вспоминал об этом свидании Толстого со Стасовым:

«После обеда... Лев Николаевич прочел некоторые места из Герцена. — «Что это был за ум, острый и глубокий! — сказал Лев Николаевич. — Как он верно и метко поражал врагов своих! От его талантливого пера жутко доставалось его врагу. А помните, как он в немногих словах отметил характер двух императоров?..»

И Лев Николаевич стал наизусть приводить избранные места из сочинений Герцена. Владимир Васильевич весь сиял от восторга. Он, в свою очередь, припомнил некоторые мысли и изречения великого публициста. Точно в перегонку, эти два старца хвастались знанием и пониманием Герцена, и приятно было видеть, как в этом вопросе они совершенно сошлись» [68].

Впоследствии сам В. В. Стасов в письме к Толстому от 7 июля 1906 г. вспоминал: «Вы нам читали и рассказывали ту сцену, как на параде в Вене император русский делал учтивости императору австрийскому, и Александр I подъезжал маленьким коротеньким галопцем к Францу I и серьезно и усердно салютовал ему, словно невесть какое мировое дело выполнял. Ах, как вы читали, ах, как вы хохотали! Я от роду такого хохота и не видал и не слыхал. Ах, как мы радовались и восхищались — уже не то что одним Герценом, а целыми двумя. Вы да он» [69].

К 26 июня 1904 г. относится следующая запись в дневнике А. Б. Гольденвейзера: «Заговорили о Герцене. Лев Николаевич читал вслух отрывки из его книги (сборник статей из «Колокола» [70])... Он говорил о несчастной личной жизни Герцена и о той драме, которую он должен был пережить, когда от него отшатнулись и перестали его понимать представители (особенно молодые) той партии, для которой он работал всю жизнь» [71].

Далее к 18 июля того же 1904 г. относится воспоминание М. О. Гершензона, посетившего в этот день Ясную Поляну. Толстой, рассказывает Гершензон, «заговорил о Герцене, о котором он очень высокого мнения; сказал, что читает теперь собрание его статей из «Колокола» и с интересом следит, какие глубокие перемены произошли за это время во взглядах Герцена. Когда я упомянул, что есть польская книжка, доказывающая близость его идей к идеям Герцена, он сказал: «Конечно, у меня много общего с ним, и главное, в чем я ему близок, это в его любви к русскому народу, и именно в его любви к *характеру* русского народа». Он ставит в упрек Герцену его любовь к остроумию: для красного словца многого не пощадит; и согласился со мною, что Герцен утомительно блестящ» [72].

Последнее замечание, касающееся стиля Герцена, вполне согласуется с тем упреком, который Толстой деликатно сделал Герцену в письме к нему от 26 марта 1861 г., по поводу того «легкого тона», в каком, по его мнению, написана статья Герцена о Роберте Оуэне.

В 1905 г. Толстой получил все десять томов собрания сочинений Герцена, выпущенного в Женеве издательством H. Georg. Общественно-политические события того времени в России, — надвигавшаяся революция, — способствовали усилению в Толстом интереса к сочинениям Герцена. Подробнейшая летопись жизни

Толстого с 1905 по 1910 г. — «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, из которых до сих пор издана очень незначительная часть, рассказывают об усиленном чтении Толстым Герцена летом и осенью 1905 г. Под 15 июля 1905 г. Маковицкий записывает следующие слова Толстого [73]:

— Герцен был самобытный. Кончил славянофильством. Прошел через все то, что теперь делают революционеры, и к концу — нравственное совершенствование, уважение к русскому народу... Его писания меткие, блестящие, сверкают юмором... Если бы не дурацкое отношение правительства к Герцену, не было бы половины того революционного движения, какое было и есть.

26 июля Толстой предложил прочесть вслух рассказ Герцена «Долг прежде всего», сказав при этом:

— Ничего подобного нет в русской литературе. «Кто виноват?» — робкое, а это — бойкое.

Вечером того же дня Толстой «растроганным голосом» прочел первую часть этого рассказа, сказав:

— Эта первая глава — превосходная, удивительная. Вот что читать теперешней молодежи.

Вторую главу Толстой не стал читать, сказав, что «далее скабрезно».

29 июля Маковицкий записывает: «Вечером читали вслух Герцена «Доктор, умирающие и мертвые». Первую главу прочел А. Б. Гольденвейзер, остальные — Лев Николаевич. Он читал медленнее, чем обыкновенно, и с большим воодушевлением».

В записи следующего числа, 30 июля, у Маковицкого читаем: «Лев Николаевич прочел какой-то рассказ Герцена, начинающийся воспоминанием детства, и сказал:

— Герцен и Тургенев — сверстники, их воспоминания доходят до времен Екатерины, наши — до Александра. Все это удивительно хорошо и просто рассказано».

Здесь, несомненно, идет речь об одной из первых глав «Былого и дум».

31 июля Маковицкий записывает: «Лев Николаевич прочел нам из Герцена с юмором написанную характеристику революционеров (профессиональных). Смеялся на название Герценом революционеров консерваторами в революции.

— Точь-в-точь наши консерваторы либерализма, — сказал Лев Николаевич. — Они набрались европейского духа и остановились».

Под 14 августа у Маковицкого записано: «Вчера ночью Лев Николаевич читал Герцена, хочет из него что-нибудь выбрать для «Круга Чтения». Сегодня Лев Николаевич сказал:

— Герцен не уступит Пушкину. Где хотите откройте, везде превосходно.

29 августа: «Лев Николаевич читал вслух Герцена.

— Он разочаровался в европейской цивилизации, — рассказывал Лев Николаевич, — и пришел к тому, что в России есть одно — общинное владение землей, взгляд на землю, что она не может быть частной собственностью, и другое — отсутствие косности во взглядах, искания, готовность принять новое. Герцен сорок лет тому назад видел главный вопрос русского народа — земельный... Герцен — это поэтическая натура и философская.

Лев Николаевич прочел вслух рассказ Герцена «Поврежденный» и восхищался им.

— В мыслях «поврежденного», — сказал Лев Николаевич, — Герцен высказывает свои мысли, которые он не берет на себя, чтобы прямо высказывать, а это так можно кидать необдуманно, смело. «Поврежденного» надо всего поместить в «Круг Чтения».

Потом Лев Николаевич, чередуясь с А. Н. Дунаевым, читал из Герцена о славянах и немцах».

В последней записи речь идет, вероятно, о статье Герцена «Война», напечатанной в № 44 «Колокола» от 1 июня 1859 г. [74]

5 сентября Толстой читал вслух какую-то статью Герцена (у Маковицкого не сказано, какую именно) и по окончании чтения сказал:

— Как Герцен писал в 67 году! Как предвидел то, что будет!

В тот же вечер одна гостья по желанию Толстого прочла вслух статью Герцена «Император Александр I и В. Н. Каразин». На другой день, 6 сентября, Толстой предложил прочесть вслух из Герцена «два разговора в разное время разных лиц с Гете» (вероятно, из раннего рассказа Герцена «Записки одного молодого человека»). В тот же день он прочел вслух рассуждение об ученых из статьи Герцена «Концы и начала» и затем сказал про Герцена вообще:

— Какое уважение к духу русского народа и разочарование в западной цивилизации, где земельный пролетариат и священность собственности. Он вполне разочаровался. (Здесь Толстой почти буквально повторил то, что говорит Герцен о Западе в своей статье «Концы и начала»: «Перед нами цивилизация, последовательно развившаяся на безземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностию» [75]).

Статья «Император Александр I и В. Н. Каразин» помещена в десятом томе женевского издания сочинений Герцена. В том экземпляре, по которому Толстой читал эту статью, он отчеркнул карандашом на полях два места. Первое (стр. 136—137) изображает атмосферу русской придворной жизни: «Кровь отравлена в жилах до рождения, воздух, которым тут дышат люди, тлетворен, каждый вступающий вовлечен, хочет он или нет, в омут нелепостей, гибели, греха. Пути ко всему злому раскрыты во всю ширь. Добро невозможно. Горе тому, кто остановится и подумает, кто спросит себя, что он делает, что делают вокруг его, — он сойдет с ума; горе тому, кто в этих стенах допустит человеческое чувство в своем сердце, — он сломится в борьбе». Другое место (стр. 189) — то, в котором Герцен упрекает русскую интеллигенцию в незнании народа и пренебрежительном отношении к укладу его жизни: «Мы делаемся легко и последовательно либералами, конституционалистами, демократами, якобинцами, но не русскими народными людьми» и т. д.

В том же томе Толстой отметил целый ряд мест в статьях «Концы и начала». Кроме выписанного выше места о западной цивилизации (стр. 215), им отмечены еще места об идейном одиночестве автора (218), о «святых Дон-Кихотах» (223—224), о «мучительном сознании ненужной правоты своей» и «величайшей скорби в мире — старца, юного душою, окруженного более и более мельчающим поколением» (224—225), о том, что «в мозгу современного человека недостает какого-то рыбьего клея» (231), о том, как «садится» западный мир с Парижем и Лондоном (232), о бесплодном согласии с мыслью, не переходящем в дело (234), об ученых пауках и ученых пчелах (236—237), о том, что несмотря на все варварство русских, на то, что «у нас бездна лукавства диких и уклончивости рабов», мы все-таки «отстали в разъедающей, наследственно-зараженной тонкости западного растления», и что у нас «умственное развитие служит чистилищем и порукой» (240—241), о значении нашествия варваров на древний мир (250), о жизни «вверху» и «внизу» (т. е. о жизни привилегированных классов и народа) (251), о том, что «честный союз науки с религией невозможен» [76] и о господствующем в буржуазном обществе правиле: «думай, как знаешь, но лги, как все» (253), о «языческом патриотизме» и «чести знамени» (255), о несовместимости «гусарской удали» с «ровным и тихим развитием» (263). Кроме того отмечено NB следующее рассуждение Герцена (стр. 248): «Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него не достает духа ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным. Тягость современного состояния основана на том, что на сию минуту деятельное меньшинство не чувствует себя в силах ни создать формы быта, соответствующего новой мысли, ни отказаться от старых идеалов, ни откровенно принять выработавшееся по дороге мещанское государство за такую соответствующую форму жизни германо-романских народов, как соответственна китайская форма — Китаю».

В том же томе в статье «Лишние люди и желчевики» на стр. 300 подчеркнуто рассуждение Герцена о пропасти между народом и правящими классами в России: «Петр I таким клином вбил нам просвещение, что Русь не выдержала и треснула на два слоя. Едва теперь, через полтораста лет, мы начинаем понимать,

как раздвинулась эта трещина. Ничего общего между ними; с одной стороны — грабеж и презрение, с другой — страдание и недоверие. С одной стороны — ливрейный лакей, гордый своим общественным положением и надменно показывающий это; с другой — обобранный мужик, ненавидящий его и скрывающий это. Никогда турок, резавший, уводивший женщин в гаремы, не теснил так систематически и не презирал так нагло франка и грека, как шляхетская Русь — Русь крестьянскую. Нет примера в истории, чтобы единоплеменная каста, взявшая верх, сделалась бы до такой степени чужестранной, как наше служилое дворянство».

Ряд отчеркнутых Толстым мест имеется также в других статьях этого тома: «Aphorismata», «Еще раз Базаров» и особенно в статье «Княгиня Екатерина Рома-

— 58 —

парламентской болтовнѣ, не въ филантропическихъ разглагольствованiяхъ, а на самомъ дѣлѣ — пролетарiй, работникъ съ топоромъ и черными руками, голодный и едва одѣтый рубищемъ. Этотъ „несчастный, обдѣленный братъ,“ о которомъ столько говорили, котораго такъ жалѣли, спросилъ наконецъ, гдѣ-же его доля во всѣхъ благахъ; въ чемъ *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступомъ улицы Парижа, покрыли ихъ трупами и спрятались отъ *брата* за штыками осаднаго положенiя, спасая *цивилизацiю и порядокъ!*

Они правы, только они непослѣдовательны. Зачѣмъ-же они прежде подламывали монархiю? Какъ-же они не поняли, что, уничтожая монархическiй принципъ, революцiя не можетъ остановиться на томъ, чтобъ вытолкать за дверь какую-нибудь династiю. Они радовались какъ дѣти, что Людовикъ Филиппъ не успѣлъ доѣхать до С. Клу, а ужъ въ Hôtel de Ville явилось новое правительство и дѣло пошло своимъ чередомъ; въ то время какъ эта легкость переворота должна имъ была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народъ не былъ удовлетворенъ, народъ поднялъ теперь свой голосъ, онъ повторилъ ихъ слова, ихъ обѣщанiя а они какъ Петръ троекратно отрѣклись и отъ словъ и отъ обѣщанiя, какъ только увидѣли, что дѣло идетъ не на шутку — и начали убiйства. Такъ Лютеръ и Кальвинъ топили *анабаптистовъ*, такъ Протестанты отрѣкались отъ Гегеля, и Гегелисты отъ Фейербаха. Таково положенiе *реформаторовъ* вообще, они собственно наводятъ только понтоны, по которымъ увлеченные ими народы переходятъ съ одного берега на другой. Для нихъ нѣтъ среды лучше какъ конституцiонное сумрачное ни-то, ни-сё. И въ этомъ-то

— 59 —

мiрѣ словопренiй, раздора, непримиримыхъ противорѣчiй, не измѣняя его, хотѣли эти суетные люди осуществить свои pia desideria свободы, равенства и братства.

Формы европейской гражданственности, ея цивилизацiя, ея добро и зло развитыя по другой сущности, развились изъ иныхъ понятiй, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но какъ все живое измѣняемы до *нѣкоторой степени*, организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенiя, прилаживаться къ влiянiямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненiя не отрицаютъ его особности, его индивидуальности, то что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода влiянiя, дѣлается борьба и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленiе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль, онѣ не пропадаютъ, пропадаетъ личность, а онѣ вступаютъ въ рядъ совсѣмъ другихъ отношенiй, явленiй.

Государственныя формы Францiи и другихъ европейскихъ державъ — не совмѣстны по внутреннему своему понятiю ни съ свободой, ни съ равенствомъ, ни съ братствомъ, всякое осуществленiе этихъ идей будетъ отрицанiемъ современной европейской жизни, ея смертью. Никакая конституцiя, никакое правительство не въ состоянiи дать феодально-монархическимъ государствамъ истинной свободы и равенства — не разрушая до тла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христiанская и аристократическая, образовала нашу цивилизацiю, наши понятiя, нашъ бытъ; ей необходима христiанская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно съ духомъ времени, съ степенью образованiя, сохраняя свою сущность въ

ПОМЕТЫ ТОЛСТОГО В ПЯТОМ ТОМЕ ПЕРВОГО РУССКОГО ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ГЕРЦЕНА
Толстовский музей, Москва

новна Дашкова». В последней статье отмечено много подробностей, касающихся русской придворной жизни XVIII столетия. Так как Толстой читал этот том Герцена в сентябре 1905 г., а в ноябре того же года он начал свои оставшиеся, к сожалению, незаконченными «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», то очевидно, что такого рода пометы делались им в виду своей будущей повести. Весьма вероятно, что и самая мысль об осуществлении давно задуманного им сюжета об Александре I родилась у Толстого именно благодаря чтению этой статьи Герцена.

В той же статье Толстым, кроме того, были еще отчеркнуты места о мнимой несокрушимости императорской власти в России (стр. 315) и о действительной непрочности ее (316), а также суждение Дашковой о реформах Петра и мнение самого Герцена о губительности семейных несчастий (372): «Семейные несчастия оттого так глубоко подтачивают, что они подкрадываются в тиши и что борьба с ними почти невозможна; в них победа бывает худшее. Они, вообще, похожи на

яды, о присутствии которых узнаешь тогда, когда болью обличается их действие, то-есть, когда человек уже отравлен». Для Толстого, как и для Герцена, рассуждение это имело не только отвлеченный, но и кровный личный интерес.

24 сентября 1905 г. В. В. Стасов писал Толстому о том, что он очень радуется выходу в свет в России сочинений Герцена (в издании Павленкова) и прибавлял: «Если бы у Герцена ничего другого не было написано, кроме «Роберта Оуэна» и «С того берега», то одно уже это было бы для меня чем-то громадным и беспредельным, греющим и животворящим»[77]. Толстой отвечал Стасову 18 октября: «Ваше упоминание о Герцене побудило меня перечесть «С того берега». И я благодарю вас за это напоминание»[78]. 12 октября Толстой записывает в дневнике: «Читал и Герцена «С того берега» и тоже восхищался. Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их»[79].

Этот восторженный отзыв Толстого об одном из главнейших произведений Герцена вполне подтверждается его пометками на том экземпляре пятого тома женевского издания Герцена, по которому он читал это сочинение. Отметки Толстого трех видов: 1) подчеркивания и отчеркивания; 2) знак NB, иногда вместе с восклицательным знаком; 3) пометки на полях. Начнем с последних.

Пометки на полях указывают устанавливаемое Толстым сближение взглядов Герцена с его собственными взглядами. Быть может, пометки эти были сделаны Толстым в виду той статьи о Герцене, которую он, как мы видели из его записи в дневнике, хотел написать, но не написал. Пометки эти следующие.

Стр. 17 (против слов: «я искал только истины, посильного пониманья»): «внутреннее знание». Стр. 18—19 (против длинного рассуждения, начинающегося словами: «Наша жизнь — постоянное бегство от себя»): «Паскаль» (Толстой, очевидно, хотел указать на подобное же высказывание его любимого мыслителя Паскаля в его «Мыслях»). Стр. 20—22 (против слов: «Страдание, боль — это вызов на борьбу» и до конца абзаца): «устройство мира». Стр. 23 (против слов: «Какое колдовство нужно на то, чтобы растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить» и т. д.): «как растолковать». Стр. 23—24 (против слов: «Все эти учения и проповеди по большей части неверны» и до конца абзаца): «забежали вперед оттого, что не внутри, а вне». Стр. 25 (против слов: «нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану»): «не по нашему плану». Стр. 26 (против слов: «Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой»): «Все внутри». Стр. 27 (против слов: «Судьба молодых людей... спасая себя, вы спасете будущее»): «Живите для себя — религиозно». Стр. 29 (отчеркнута вся): «Они мечтали о внешнем» (речь идет о Руссо и его учениках). Стр. 30—31 (против слов: «Впрочем, цивилизации не гибнут» и до конца абзаца): «изменится цивилизация». В этом же абзаце в фразе: «ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях — в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы» подчеркнуты слова: «катакомбах, где прятались гонимые христиане». Стр. 34 (против слов: «она ничего личного, индивидуального не готовит впрок» и до конца абзаца): «Все в настоящем». Стр. 36—37 (против слов: «Цель для каждого поколения — оно само» и до конца абзаца): «В настоящем духовное». Стр. 37 (против слов: «Одностороннее развитие всегда влечет за собою avortement других забытых сторон... Она стала для нас невыносима»): «Уродство наше». Ниже, в этом же абзаце, на полях помечено: «Поврежденный» (т. е. Толстой находил сходство изложенных здесь Герценом мыслей с его же мыслями в рассказе «Поврежденный») и подчеркнуты слова: [человек] «одной ногой совсем вышел из естественного быта — сделал он это потому, что он свободен». Стр. 38 (против отчеркнутых 1—21 строки): «Жизнь в том, что она творится». Стр. 49 (против предложения: «Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о

гражданине и его отношениях к другим и к государству»): «Одно разумное». Стр. 51 (против первого абзаца): «Ламене» (о котором здесь упоминает Герцен). Стр. 54 (против слов: «Мне было жаль их откровенное заблуждение» и до конца страницы): «Несостоятельность государственных форм». В этом абзаце, кроме того, подчеркнуто: «будут, как теперь, ждать всякий день огромной перемены, водворения их республики — принимая предсмертные муки умирающего за страдания, предшествующие родам».

Знаком N3 отмечено всего восемнадцать мест. Они следующие.

Стр. 28: «Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане — в Риме перестали быть римлянами — этот внутренний отъезд полезнее» (последняя фраза, кроме того, подчеркнута). Стр. 35: «Для меня легче жизнь, а следственно и историю считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения». Стр. 50: «Все элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. Что вы уважаете? Народное правительство, что ли? Кого вам жаль — может быть Париж?» (речь идет о подавлении революции 1848 г.). Стр. 55: «Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него. Зачем они не знают этого? Роковая ошибка их состоит в том, что увлеченные благородной любовью к ближнему, свободе, увлеченные нетерпением и негодованием, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились, они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни». Здесь же подчеркнуты два куска текста: «не могут выйти... миру прошедшему» и «нетерпением и негодованием... стены тюрьмы остались». Далее на стр. 55—56 отмечены два абзаца, в которые входит и большая выдержка, ранее включенная Толстым в его трактат «Царство божие внутри вас». Многие строки здесь подчеркнуты; конец второго абзаца: «Это вопрос безумного, скажут многие. Его делал Христос иными словами» — подчеркнут и отмечен на полях N3 с восклицательным знаком. Стр. 58: «Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же его доля во всех благах; в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от *брата* за штыками осадного положения, спасая *цивилизацию* и *порядок*». Стр. 58: «конституционное сумрачное ни то, ни се» (эти слова, кроме того, подчеркнуты). Стр. 58—59: «И в этом-то мире словопрений, раздора, непримиримых противоречий, не изменяя его, хотели эти суетные люди осуществить свои pia desideria свободы, равенства и братства». Стр. 59: «Государственные формы Франции и других европейских держав несовместны, по внутреннему своему понятию, ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства — не разрушая дотла все феодальное и монархическое». Этот отрывок отмечен N3 с двумя восклицательными знаками, и весь абзац до конца страницы отчеркнут карандашом с двух сторон. Продолжение этого абзаца на стр. 60 отмечено двумя последовательно проставленными знаками N3, причем, кроме того, подчеркнуто: [люди] «нигде не могут быть свободны и равны, пока существует *эта* гражданская форма, пока существует *эта* цивилизация». Стр. 60—61: «Нам еще жаль старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам. Он только для нас и был хорош, мы воспитаны им, мы его любимое детище, мы сознаемся, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе». Стр. 65 (Герцен говорит о будущих народных движениях): «Или вы не видите новых христиан, идущих стран, новых варваров, идущих разрушать? — они готовы, они как лава тяжело

шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот» (все продолжение этого абзаца подчеркнуто). Стр. 76 — от начала второго абзаца до слов «нет целей шире»; здесь, кроме того, подчеркнуто: «почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, а не свою, именно в это время, а не в другое? Уверены ли вы, что средство, вами придуманное, не имеет неудобств; уверены ли вы, что он понимает его, уверены ли вы, что нет другого средства, что нет целей шире?» Стр. 80: «Однако, не мешало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, в чем именно вы находите мой революционный консерватизм» (отмечено Толстым, повидимому, из-за выражения: «революционный консерватизм»). Стр. 81 — от начала первого абзаца, кончая: «надобно понимание, а не слезы». Стр. 83 — от слов: «Не вы ли мне рассказывали» до конца абзаца. Стр. 85: «Теперь начинают понимать несовместность братства и равенства с этими капканами, называемыми асизами, свободы и этих бойнь, под именем военно-судных комиссий; теперь никто не верит в подтасованных присяжных, которые решают в жмурки судьбу людей, без апелляции; в гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей в виде меры общественного спасения, содержащее хоть сто человек постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде. Вот польза реакции. Сомнения бродят, занимают умы, заставляют задумываться; а не легко было дойти до них». Стр. 85: «Европа догадалась, благодаря реакции, что представительная система — хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать». Стр. 89: «Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостию после смерти последнего врага; демократы только знают (говоря словами Кромвеля), чего не хотят; чего они хотят, они не знают». (Все это предложение Толстым подчеркнуто, отчеркнуто на полях и снабжено N3 с восклицательным знаком).

Наконец, в книге имеется целый ряд мест, отчеркнутых Толстым на полях карандашом без каких-либо других пометок. Из них мы остановимся лишь на следующих. На стр. 33 в фразе: «Он сердится на жизнь, видя, что в пятьдесят лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать» — подчеркнуто слово «звонкости»; Толстой, очевидно, отметил здесь удачный художественный образ. На стр. 61 обведено карандашом со всех сторон: «Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих». На стр. 62 отчеркнуто карандашом со всех четырех сторон следующее рассуждение: «Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину — и тогда она их не теснит: но когда они однажды поняли, что их истина вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым». Всю эту мысль целиком Толстой впоследствии включил в свой сборник «Круг Чтения» [80]. На стр. 77 подчеркнуто: «Я согласен, что пора выходить из нашей искусственной, условной жизни, но не бегством в Америку. Что вы там найдете? Северные Штаты — последнее, опрятное издание того же феодально-христианского текста, да еще в грубом английском переводе». На стр. 143 отчеркнуто на полях двумя чертами: «Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество, себя освобождать — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека». Это изречение Герцена Толстой также включил в свои сборники: «Круг Чтения» [81] и «На каждый день» [82].

Кроме этих мест, отчеркнутые Толстым куски имеются еще на следующих страницах: 34 (последний абзац), 35 (второй и шестой абзацы), 36 (от слов: «Утомленные падают» до конца), 39 (3 первые строки и четвертый абзац), 41 (2 первые строки), 42 (абзацы первый, второй и четвертый), 48 (первые 9 строк и далее от

слов: «между тем люди» до «террора и логики»), 61 (вся страница), 62 (вся страница), 63 (два первые абзаца), 77 (строки 3—8), 79 (последние 11 строк), 80 (первые 9 строк, а также второй и третий абзацы снизу), 82 (строки 4—19), 86 (почти целиком), 87 (от слов: «С обеих сторон рабство» — до конца), 88 (первые 4 строки, второй абзац и последние 4 строки; в них подчеркнуто: «недоношенная демократия»), 90 (до первого абзаца), 91 (строки 2—8), 93—94 (от слов: «Ответственность скорее» до «не понимать и казнить»), 94—96 (от слов: «Презирать за то» до конца 96 стр.), 97 (от слов: «Ищите в таком случае» до конца абзаца), 98 (первые 11 строк), 99 (последние 9 строк), 102—103 (от слов: «Кому придет в голову», кончая: «за преступление гениальности»), 103 (строки 2—9 снизу), 107 (последние 15 строк), 115—116 (от слов: «в четыре столетия борьбы», кончая: «освобождающее человека»), 142—144 (от слов: «Я не говорю», кончая: «которые называют преступлениями»), 147 (строки 4—8), 168 (от слов: «Наконец маски упали», кончая: «стреляй в твоего ближнего»). Мы не излагаем более подробно всех этих мест, так как из описанных выше пометок Толстого вполне ясно, какие именно мысли Герцена в этих статьях особенно привлекали его внимание.

Пометки Толстого, относящиеся к статьям «С того берега», не оставляют сомнения в том, что многие в этом произведении Герцена он считал близким его собственным взглядам. Ни разу не отмечено им несогласие с Герценом. Это подтверждается также и следующей записью Д. П. Маковицкого под 9 октября 1905 г.: «Лев Николаевич... сказал, что Герцен в статьях «С того берега»..., говорит то, что должны бы читать в наше время; но Герцена не знают... У Герцена уже можно прочесть о том, что внешнее движение — тщетное, только внутренней работой освобождается человек. У Герцена только другие слова: вместо бог у него — «природа», вместо религия — «наука», вместо церковь — «христианство...» [83].

В том же пятом томе женевского издания Герцена, где напечатано «С того берега», помещена также статья «Русский народ и социализм». Здесь Толстым отмечены следующие места. На стр. 195 — первый абзац — о значении общины; на стр. 196 — третий и четвертый абзацы — характеристика русского царизма; на стр. 203: «После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение». На стр. 208—209 — сравнение русских законов с западноевропейскими («Различие между вашими законами и нашими указами заключается только в заглавной формуле» и т. д.). На стр. 211: «День действия, может быть, еще далеко для нас; день сознания, мысли, слова уже пришел. Довольно жили мы в сне и молчании; пора нам рассказывать, что нам снилось, до чего мы додумались». На стр. 203 отчеркнуто и отмечено N3: «Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование — в этом его единственная вина» (в этих словах Герцена Толстой, очевидно, увидал подтверждение своего взгляда о сознательном «неучастии» русского народа во власти). На стр. 208 также отчеркнуто и отмечено N3 следующее место: «И можем ли мы по совести довольствоваться вашею изношенной нравственностию, не христианскою и не человеческою, существующей только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах?»

Далее в статье «Крещеная собственность» на стр. 234 Толстой отмечает три абзаца, первый из которых начинается словами: «Мне всякий раз становится не по себе, когда говорят о народе. В наш демократический век нет ни одного слова, которое бы так мало понимали и так употребляли во зло». На стр. 236 отмечены последние 14 строк — рассуждение о том, что было бы, если бы крестьяне были освобождены без земли. На стр. 237 (три последние абзаца) и 238 (два первые абзаца) отмечено сравнение психологии «пролетария полей» и «работника больших торговых и политических центров», а далее — рассуждение о значении общины; на стр. 240 (два последних абзаца) и 241 (до первого абзаца) — сравнение Запада с Россией; на стр. 243 — первый абзац: о значении общины; на стр. 246 — седьмой абзац: о раздаче Екатериной крепостных крестьян своим любовникам. На стр. 241 подчеркнуто: [англичанину], «которого свобода основана на вежливой антропофагии»,

[и русскому мужику] «отданному в крепость и в силу того служащему съестным припасом барину».

Наконец, в статье того же тома «Старый мир и Россия» отмечены следующие места. Стр. 253 от слов: «Мне кажется, что роль т е п е р е ш н е й Европы совершенно окончена; с 1848 года разложение ее растет с каждым шагом» — до конца следующей страницы, на которой подчеркнуто: «Все отношения общества к частным лицам и частных лиц между собой должны быть совершенно изменены»; на стр. 256 абзацы 2—6 — сравнение России и Европы; на стр. 257 от второго абзаца до конца — о судьбах славянских народов; на стр. 256: «Действительно, ежели социализм не в состоянии будет пересоздать распадающееся общество и довершить его судьбы — Россия довершит их. Я не говорю, что это н е о б х о д и м о — но это в о з м о ж н о»; на стр. 277 абзацы третий и четвертый — о славянских народах; на стр. 278 — до второго абзаца и 279 — до первого абзаца: о будущем развитии России; на стр. 289: «Освобождение крестьян, дело столь простое в прочих государствах, невозможно у нас б е з у с т у п к и к р е с т ь я н а м з е м л и; а о с в о б о ж д е н и е с з е м л е й — лишение значительной собственности дворянства» [84].

В октябре 1905 г. Толстой читал «Письма из Франции и Италии». У Д. П. Маковицкого под 22 октября 1905 г. записано: «Лев Николаевич читал вслух из «Писем из Франции и Италии» Герцена письмо одиннадцатое (IV том сочинений Герцена, изд. Georg). По поводу прочитанного Лев Николаевич сказал:

— Как Герцен полвека тому назад писал о том, что теперь нужно! ...Под «социалистом» он понимал не что-нибудь определенное, вроде нынешних социал-демократов, но человека, который видит несправедливость экономического положения и хочет равенства.

Особенно понравилось Льву Николаевичу следующее место (стр. 339): «Уничтожение авторитета — начало республики. Первое условие ее — свободные и самобытные люди; авторитет убивает независимость разума. Республике нет нужды в других началах, как в необходимых началах всякого общежития; она основана на тех существенных и необходимых условиях, без которых всякое общество делается невозможным» и т. д.

— Письмо это Герцен писал после переворота Кавеньяка, — сказал Лев Николаевич. — Герцен говорил про свободных людей пятьдесят лет тому назад: а теперь они воображают себя свободными, добиваясь права выбирать представителей; готовы подчиняться всем тем законам, которые издадут избранные ими представители, не зная вперед, какие это будут законы. Они, связанные законами по рукам и по ногам, воображают себя свободными!..

Читал Лев Николаевич быстро и выразительно. Читая Герцена, он высказал и свою мысль, что как Герцен пишет, что в 1789 году нельзя было быть гугенотом, а в 1848 — республиканцем, так и в 1905 [г.] нельзя быть конституционалистом» [85].

В тексте «Писем из Франции и Италии» Толстым отмечено только одно место (стр. 342—343): «Нас пугает воля, оттого что мы боимся людей, мы их считаем несравненно хуже, нежели они есть — к этому нас приучила монархия» и т. д. до конца следующего абзаца.

28 октября, как это записано у Маковицкого, Толстой второй раз читал вслух «Поврежденного». «Читая то место, — рассказывает Маковицкий, — где Герцен говорит о народе, что это — настоящее человечество («То, что вы называете толпой, это-то и есть человеческий род»), у Льва Николаевича к горлу подступали рыдания.

— Есть основание той жизни, к которой народ привык, — сказал он.

По словам Маковицкого, Толстой выразил намерение поместить «Поврежденного» с некоторыми выпусками в свой сборник «Круг Чтения», и написать к нему предисловие. (Включив этот рассказ в «Круг Чтения», Толстой в корректурах произвел в нем большие сокращения. Он выпустил целиком первую и последнюю главы; из главы второй выпустил 6 абзацев, а из главы третьей — 14 абзацев. По словам А. Б. Гольденвейзера, Толстой находил, что в этой вещи «конец слабее остального — искусственен и сантиментален» [86]. Очевидно, с такой оценкой рассказа и связана произведенная Толстым правка.

На другой день, 29 октября, читая уже не Герцена, а другого писателя — декабриста М. А. Фонвизина, Толстой все-таки вспомнил Герцена. Он сказал:

«— Как Герцен прав, отзываясь с таким уважением о декабристах!.. Как они относились к народу!.. Они как и мы (Лев Николаевич упомянул и Кропоткина) через нянек, кучеров, охотников полюбили народ...» [87].

Усиленное чтение Герцена нашло отражение и в переписке Толстого этого периода. Так, в письме к дочери М. Л. Оболенской от 15 октября 1905 г., высказав свое отрицательное отношение к русской беллетристике того времени, Толстой прибавляет: «То ли дело Герцен, Диккенс, Кант» [88]. В письме к В. В. Стасову от 24 декабря 1905 г., отвечая на его вопрос о греческом искусстве, Толстой вспоминает отношение к греческому искусству Герцена, называя его при этом «наш дорогой Герцен» [89].

12 августа 1906 г. Толстой опять высказывает мысль о том, что «для России большое несчастие, что Герцен не жил здесь и что писания его проходили мимо русского общества. Если бы он жил в России, его влияние, я думаю, спасло бы нашу революционную молодежь от многих ошибок» [90].

В своей статье «О значении русской революции», подписанной им 3 сентября 1906 г., Толстой, говоря о ложности того пути, по которому, по его мнению, идут народы Западной Европы, с сокрушением указывает на то, что «голоса живших среди них мудрых людей... не оставляют никакого следа в сознании людей, бегущих к погибели и не хотящих видеть и признавать этого». Он перечисляет целый ряд таких «мудрых людей», называя среди них и Герцена.[91] В письме к В. В. Стасову от 20 сентября 1906 г., высказав свое отношение к русской революции, Толстой прибавляет: «Тот Герцен, которого вы так любите, наверно был бы согласен со мною»[92]. В письме к китайскому писателю Ку-Хунг-Мингу, законченном около 24 сентября 1906 г., Толстой вновь вспоминает изречение Герцена о «Чингис-хане с телеграфами» [93].

17 октября 1906 г. в разговоре со своим английским переводчиком и биографом Э. Моодом Толстой, по записи Д. П. Маковицкого, сказал:

«— Герцен — вот писатель, который был скрыт от русского общества, а теперь всплыл. На нем, как на даровитом, искреннем человеке, видна эволюция передового человека. Он поехал на Запад, думая, что найдет там лучшие формы. Там перед его глазами прошли революции, и у него появилось разочарование в западном строе и особенная любовь и надежда на русский народ. Правильно ли это или нет, но у него была эта надежда. Русские политики могли бы с него пример брать, чтобы не повторять той же ошибки увлечения западными реформами... Он был в глубине религиозный...»

В декабре 1907 г. Толстой получил статью о Герцене своего единомышленника В. А. Лебрена, содержавшую ряд сочувственных Толстому цитат из Герцена. Вечером 3 декабря он, по запискам Маковицкого, читал вслух из этой рукописи мысли Герцена о русской общине, об «ортодоксальности демократизма, консерватизме революционеров и о либеральных журналистах» и о подавлении европейских революций военной силой. Маковицкий спросил Толстого, не напишет ли он предисловие к статье Лебрена. Толстой ответил, что желал бы написать. 22 декабря того же года Толстой с приехавшими из Москвы гостями опять заговорил об этой статье и сказал про Герцена:

«— Как его мало знают и как его, особенно теперь, полезно знать. Вот и трудно воздержаться от негодования против правительства — не за то, что оно собирает подати, а за то, что оно изъяло Герцена из обихода русской жизни, устранило то влияние, которое он мог иметь...»

Несмотря на то, что Толстой в январе 1908 г. опять говорил, что он намерен написать предисловие к статье Лебрена [94], предисловия этого он не написал, и статья Лебрена напечатана не была.

Летом 1908 г. Толстой получил от В. Е. Чешихина (Ч. Ветринского) его новую книгу: «А. И. Герцен» (изд. «Светоч»). Он с интересом принялся за ее чтение. Однако, несмотря на то, что во многих местах книги он мог прочесть самое высо-

кое о себе мнение (например, что Герцен близок «с таким же революционным в существе своем умом, как у Льва Толстого» (стр. 140), что «доныне смелый скептицизм Герцена не превзойден ни одним русским писателем, только Лев Толстой идет рядом с ним, подрывая самые глубокие основы традиции и отживающего социального строя» (стр. 217), что Герцен, Толстой и Гете «не могли примкнуть к застывшей доктрине» (стр. 230 и др.), книга Ветринского все-таки не удовлетворила Толстого. «Читал о Герцене. Автор — узкий социалист», — записал он в своем дневнике 17 июня 1908 г.[95] 19 июня он кончил чтение[96].

Толстой отметил в книге Ветринского целый ряд приводимых автором выдержек из Герцена: на стр. 141—142 — из статьи «Капризы и раздумья», на стр. 224 и 228 — из «С того берега», на стр. 225—226 — из «Писем из Франции и Италии», на стр. 434—435 — из «Писем к старому товарищу». На стр. 220 отчеркнуты те самые мысли из статьи Герцена «Роберт Оуэн», которые в 1861 г. вызвали возражения Толстого (в сознательном изменении людьми «узора ковра» мировой истории).

Секретарь Толстого Н. Гусев в своем дневнике под 10 июня 1908 г. записал о том, как утром этого дня он прочитал Толстому из книги Ветринского (стр. 223—224) большую выдержку из Герцена, начинающуюся словами: «Наша жизнь — постоянное бегство от себя»... с следующим заключением автора: «Ко скольким страницам Льва Толстого эти строки подошли бы в качестве самого выразительного эпиграфа!».

«У Льва Николаевича, — рассказывает Гусев, — блестели слезы на глазах, когда я, кончив чтение, взглянул на него, и он сказал:

«— Я помню, я это читал, но когда это вместе со всем остальным, его рассуждениями о своей жизни, это не производит такого впечатления; а нужно взять эту мысль отдельно, как бриллиант...»[97].

Впоследствии эта выдержка была включена Толстым в его сборник «На каждый день»[98].

Как это всегда бывало с Толстым в тех случаях, когда он читал что-нибудь такое, что его сильно захватывало и вызывало на размышления, чтение книги Ветринского нашло свое отражение в его разговорах и письмах. Так, 12 июня у него были два студента, увлекавшиеся философией Владимира Соловьева, к которой Толстой относился совершенно отрицательно. Рассказав своим домашним о разговоре с этими студентами, Толстой прибавил:

«— Людям нужно пройти известные этапы в жизни, которых они не могут миновать. Разумеется, такой человек, как Герцен, не проходит их; он скачет стремглав, он даже перескочит то место, где ему нужно остановиться»[99].

18 июня Толстой по поводу той же книги Ветринского так говорил о Герцене:

— Его все новые нигилисты бранили. Он был несчастлив и в личной жизни. Я на нем вижу, как ужасно в старости без религиозного чувства. Он с разных сторон, стараясь объяснить смысл жизни, подходил к религиозному сознанию, но он не пришел к нему. Вы не знаете продолжение «Доктора Крупова»[100]? Очень сильно, остроумно, но с еще большим пессимизмом[101].

В том же месяце Толстой получил письмо из Нижегородской губернии, от крестьянина И. М. Кокунина, который просил Толстого разъяснить ему следующий вопрос. В нашей деревне, — писал он, — уже несколько лет крестьяне разделились на две группы, которые собираются и спорят между собой по вопросу о том, от кого родится и какой вид будет иметь антихрист. Односельчане поручили ему за разрешением этого недоумения обратиться к Толстому[102]. Толстой продиктовал своему секретарю следующий конспект ответа на это письмо: «Лев Николаевич по случаю вашего письма вспомнил шутку Герцена, которая подходит как раз к этому случаю, так как для него вопрос об антихристе не существует». Здесь Толстой имел в виду, приведенную в книге Ветринского (стр. 122) выдержку из дневника Герцена от 8 января 1843 г. по поводу споров о преимуществах православия над католичеством: «Тип этих споров один: откуда ведьмы — из Киева или из Черни-

гова? Для неверящих в ведьм остается зевать и жалеть расточения сил. Есть и протестанты, улыбающиеся над теми и другими, как над отсталыми, смеющиеся над невеждами, утверждающими, что ведьмы из Киева или Чернигова; сами они знают наверное, что ведьмы идут из Житомира».

В своей статье «Неизбежный переворот», подписанной им 5 июля 1909 г., Толстой в качестве эпиграфов поместил, между прочим, два изречения Герцена из его статей «С того берега», ранее включенные им в «Круг Чтения»: «Когда бы люди захотели...» и «Пока развитое меньшинство...», причем в последней мысли к словам Герцена: «Тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым» — Толстой прибавляет от себя: «и то только на самое короткое время» [103].

ЗАПИСЬ О ГЕРЦЕНЕ В ДНЕВНИКЕ ТОЛСТОГО ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1905 г.
Толстовский музей, Москва

Прочитав в журнале «Былое» письма Герцена к разным лицам, в том числе к Прудону [104], Толстой 26 мая 1909 г. высказал мысль о близости Герцена с Прудоном:

«— Оба они чувствовали, что мешают одинаково обе стороны — правительство и революционеры, действующие во имя власти, успеха, выгод и т. д. Оба борются во имя идей социализма и часто близко подходят к религиозной основе, особенно Герцен, говорящий об общине и артельном начале, как основе социализма в русском народе; они только как бы боятся договаривать до конца. Они говорят о социализме, забывая, что социализм это только одна сторона христианства — экономическая. Надо просто сказать, что в русском народе еще живо настоящее религиозное чувство, которое на Западе, отчасти благодаря влиянию католицизма, совсем почти исчезло [105].

В другой раз, в разговоре 12 августа 1909 г., Толстой сближал Герцена с Шопенгауэром:

— Они оба, — говорил Толстой, — благодаря своему уму и силе непосредственного чувства, высказывали общечеловеческие истины, несмотря на то, что эти истины, казалось бы, идут вразрез у Герцена — с его взглядами политического деятеля известной партии, а у Шопенгауэра — с его философскими взглядами атеиста [106].

6 декабря 1909 г. Толстой заканчивает статью «Пора понять», первоначальное заглавие которой было — «Чингис-хан с телеграфами». В этой статье он говорит: «В настоящее время русское правительство находится вполне в том положении, с котором с ужасом говорил Герцен. Оно теперь тот самый Чингис-хан с телеграфами, возможность которого так ужасала его. И Чингис-хан не только с телеграфами, но и с конституцией, с двумя палатами, прессой и политическими партиями et tout le tremblement» [107].

Это любимое им изречение Герцена вспоминает Толстой и в своем письме к редактору газеты «Новая Русь» К. П. Славнину от 27 февраля 1910 г. Письмо было написано по поводу того, что Славнин был привлечен к суду за напечатание в своей газете выдержек из сборника Толстого «На каждый день» — о преподавании в школах, так называемого, «закона божия». Высказав свое отношение к этому постановлению о предании Славнина суду по обвинению в «богохульстве», Толстой заканчивает письмо словами: «Извините, если, может быть, неточно отвечаю на ваш вопрос, но незатихающее негодование и ужас перед деятельностью царствующего в наше время Чингис-хана с телефонами и аэропланами, облекающего свои злодеяния в форму законности, — негодование это при всяком таком случае, как ваш, просится наружу» [108].

Это — последнее упоминание о Герцене в писаниях Толстого.

Общее отношение Толстого к Герцену в последние годы его жизни было таково, что все разногласия с Герценом в его молодые годы совершенно изгладились из его памяти, — он не помнил их. «Перед Герценом я всегда преклонялся», — говорил он в 1908 г. [109].

Герцен представлялся Толстому в известных вопросах его единомышленником, хотя и не вполне сознавшим свое единомыслие, идущим по одной с ним дороге к одной и той же цели. Толстой, разумеется, понимал, что у него «основы другие», чем у Герцена, как писал он Черткову 23 декабря 1901 г. Толстой, положивший в основу своего миросозерцания религиозный принцип и идею нравственного совершенствования, как мы видели, считал, что Герцен «с разных сторон стараясь объяснить смысл жизни, подходил к религиозному сознанию, но не подошел к нему». Но это не мешало Толстому находить в социальных взглядах Герцена — точнее, в том, что составляло слабую сторону миросозерцания Герцена, — нечто общее с своими взглядами и высоко ценить Герцена как художника и политического писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Ответ» Герцена на напечатанное в той же книжке «Полярной Звезды» не подписанное письмо. См. Герцен, т. VIII, стр. 292.

2 Там же, стр. 277.

3 Там же, стр. 318.

4 Там же, стр. 508.

5 Герцен, т. IX, стр. 227.

6 Герцен, т. XX, стр. 152.

7 Герцен, т. XXI, стр. 33. Упоминаемые здесь лица: Василий Иванович Кельсиев (1835—1872), бывший эмигрант, получивший разрешение вернуться в Россию, автор книги «Пережитое и передуманное»; Мерчинский — один из русских эмигрантов, посещавших Герцена; Тата — дочь Герцена, Наталья Александровна.

8 Г. Данилевский, Поездка в Ясную Поляну, — «Исторический Вестник», 1886 г., № 3, стр. 531.

9 Письмо не опубликовано; хранится в Рукописном отделе Толстовского музея.

10 А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, М., 1892 г., стр. 105.

11 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, Гослитиздат, т. 47, 1937 г., стр. 98. В дальнейшем ссылки всюду по этому изданию.

[12] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену». С объяснительными примечаниями М. Драгоманова, Женева, 1892 г., стр. 106.

[13] Герцен, т. VIII, стр. 398.

[14] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 108.

[15] Герцен, т. IX, стр. 9.

[16] «Письма Л. Н. Толстого», собранные и редактированные П. Сергеенко, т. II, М., 1911 г., изд. «Книга», стр. 222 (письмо напечатано с неточностями).

[17] Герцен, т. XI, стр. 43—44.

[18] Там же, стр. 49.

[19] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, Academia, Л., 1929 г., стр. 294—296.

[20] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого. Записи за 15 лет, изд. Центрального товарищества Кооперативного издательства и издательства «Голос Толстого», т. I, М., 1922 г., стр. 135.

[21] П. И. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, т. I, 1923 г., стр. 194—195.

[22] П. Сергеенко, Толстой и его современники, изд. В. М. Саблина, М., 1911 г., стр. 12—14.

[23] Проф. А. Г. Русанов, Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронежское областное издательство, 1937 г., стр. 166—167. Цитированное воспоминание здесь ошибочно датировано 1889 г.

[24] «Письма Л. Н. Толстого», собранные и редактированные П. Сергеенко, т. II, стр. 222.

[25] Иоахим Лелевель (1786—1861) — польский историк, профессор Виленского и Варшавского университетов, в 1830 г. член Временного правительства в Варшаве.

[26] Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, вып. I, изд. «Задруга», М., 1922 г., стр. 55.

[27] Н. Мендельсон, Герцен — Прудон — Толстой, — «Литературное Наследство», № 15, стр. 284.

[28] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 230.

[29] П. И. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, т. I, стр. 218.

[30] «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928 г., стр. 56.

[31] Справедливость предположения Толстого о том, что «мужики ни слова не поймут» в Манифесте, написанном митрополитом Филаретом кудрявым и запутанным слогом, подтверждается, между прочим, следующими словами письма Н. А. Белоголового к родным о чтении в церквах манифеста 5 марта 1861 г.: «Никто этого не ожидал: церкви за ранней обедней были совершенно пусты... Но зато к поздней обедне бросились все от мала до велика, выслушали манифест, осенили себя крестным знамением и вышли из церкви, словно в тумане: больно хитро написано... Словом, русский народ, по крайней мере в Москве, не выказал ни особенной радости, ни особенного неудовольствия, потому что ничего не понял, и вот теперь только начинает мало-по-малу раскусывать» (Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 2, М., 1939, стр. 50).

[32] Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, изд. Academia, М., 1936, стр. 152; М. А. Цявловский, Декабристы. История писания и печатания романа — Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 17, 1936 г., стр. 469.

[33] П. Анненков, Литературные воспоминания, СПб., 1909 г., стр. 533—534.

[34] Герцен, т. XI, стр. 57—58.

[35] Письмо Тургенева к Толстому о своей болезни от 23 марта (4 апреля) 1861 г. напечатано в книге: «Толстой и Тургенев. Переписка», стр. 60.

[36] Письмо С. Н. Толстого не опубликовано; хранится в Рукописном отделе Толстовского музея.

[37] «Дело (1862 г.) 1 экспедиция № 230 III Отделения о графе Льве Толстом», изд. «Всемирный Вестник», СПб., 1906, стр. 53.

[38] Герцен, т. VIII, стр. 232.

[39] «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского музея в Петербурге, СПб., 1911 г., стр. 162—163.

[40] Там же, стр. 164—165.

[41] Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, 1846—1862» (изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1925 г., стр. 123) также рассказывает, что в портфеле хранились письма Герцена.

[42] Ленин, Толстой и современное рабочее движение, — Сочинения, изд. 3, т. XIV, стр. 404.

[43] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 63, 1934 г., стр. 93. Толстой читал статьи Страхова в его книге: «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки», СПб., 1882 г.

[44] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 86, 1937 г., стр. 121—122.

[45] Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге, «Переписка», изд. Academia, Л., 1930 г., стр. 109.

[46] Проф. А. Г. Русанов, Воспоминания о Л. Н. Толстом, стр. 166.

[47] П. Сергеенко, Толстой и его современники, стр. 16.

[48] Дневник Толстого за 1890 г. не опубликован; хранится в Рукописном отделе Толстовского музея.

[49] «Письма Толстого и к Толстому», ГИЗ, 1928 г., стр. 29.

[50] Герцен, т. IX, стр. 27.

[51] Письмо к Н. Н. Ге от 10 июля 1893 г. Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. «Переписка», стр. 162.

[52] В письме к Толстому от 16 октября 1893 г. Лесков писал: «Вы, говорят, недавно читали Герцена» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 152).

[53] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 32, 1933 г., стр. 408.

[54] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 33, 1935 г., стр. 214—215.

[55] Там же, стр. 213.

[56] Герцен, т. IX, стр. 31.

[57] «Дневник Л. Н. Толстого. 1895—1899», М., 1916 г., стр. 29—30.

[58] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.

[59] Письмо не опубликовано; хранится в Рукописном отделении Толстовского музея, Москва.

[60] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 43, 1929 г., стр. 31.

[61] Из неопубликованной части «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого,

[62] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 72, 1933 г., стр. 164.

[63] Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, вып. I, стр. 30 (запись от 29 октября 1904 г.).

[64] Письмо не опубликовано; хранится в Рукописном отделении Толстовского музея в Москве.

[65] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 66.

[66] Там же, стр. 93.

[67] С. Н. Шульгин, Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом — «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М., 1911 г., стр. 102.

[68] И. Я. Гинзбург, Стасов у Толстого — там же, стр. 107—108.

[69] «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», изд. «Прибой», Л., 1929 г., стр. 248.

[70] «Колокол». Избранные статьи А. И. Герцена (1857—1869). Вольная Русская Типография. Женева, 1887.

[71] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 135.

[72] М. Г., Воспоминания о Л. Н. Толстом — «Новые пропилеи», под ред. М. О. Гершензона, т. I, ГИЗ, М., 1923 г., стр. 98.

[73] Все приводимые ниже неоговоренные выдержки из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого взяты из их неопубликованной части.

[74] Герцен, т. X, стр. 1—10.

[75] Герцен, т. XV, стр. 256.

[76] Это место в статье Герцена было отмечено NB также Г. В. Плехановым. См. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сборник VI, Соцэкгиз, М., 1938, стр. 102.

[77] «Лев Толстой и В. В. Стасов», стр. 375.

[78] Там же, стр. 378.

[79] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 55, 1937 г., стр. 165.

[80] «Круг Чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении», т. I, изд. «Посредник», М., 1906 г., стр. 451.

[81] Там же, стр. 523.

[82] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 43, 1929 г., стр. 331.

[83] «Голос Минувшего», 1923 г., № 3, стр. 12 (цитата приводится нами в исправленном виде).

[84] Укажем, между прочим, что Н. Н. Апостолов в своей статье «Толстой и Герцен» («Лев Толстой и его спутники», М., 1928 г., стр. 44—46) называет ряд мест в различных статьях Герцена в женевском издании его сочинений, будто бы отмеченных Толстым при чтении этих статей. На самом деле все места, указанные Н. Н. Апостоловым, за исключением цитат из статей «Концы и начала» и «Старый мир и Россия», были отмечены не Толстым, а другими лицами. Много ошибок в описании отметок Толстого на экземпляре сочинений Герцена сделано также в рукописном «Описании Яснополянской библиотеки» В. Ф. Булгакова, хранящемся в Рукописном отделении Толстовского музея, в Москве.

[85] «Голос Минувшего», 1923 г., № 3, стр. 25 (даем цитату в исправленном виде).

[86] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. II, стр. 377.

[87] Эта и все дальнейшие выдержки из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого взяты из их неопубликованной части.

[88] «Печать и революция», 1928 г., № 6, стр. 122.

[89] «Лев Толстой и В. В. Стасов», стр. 391.

[90] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 182.

[91] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 36, 1936 г., стр. 330—331.

[92] «Лев Толстой и В. В. Стасов», стр. 411.
[93] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 36, 1936 г., стр. 294.
[94] П. А. Сергеенко, Толстой и его современники, стр. 15.
[95] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 56, 1937 г., стр. 134.
[96] Там же, стр. 135.
[97] Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, изд. Толстовского музея, М., 1928 г., стр. 181.
[98] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 43, 1929 г., стр. 227.
[99] Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, стр. 182.
[100] «Aphorismata. По поводу психиатрической теории доктора Крупова. Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского» (Герцен, т. XXI).
[101] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 213.
[102] Письмо не опубликовано; хранится в Рукописном отделении Толстовского музея, в Москве.
[103] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 38, 1936, стр. 86 и 95.
[104] М. Гершензон, Западные друзья Герцена. — «Былое», 1907 г., № 4, стр. 63—82; № 5, стр. 205—207.
[105] А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, стр. 263.
[106] Там же, стр. 287.
[107] Л. Н. Толстой, Сочинения, т. 38, 1936 г., стр. 161—162.
[108] «Толстой и о Толстом. Новые материалы», 2, редакция В. Г. Черткова и Н. Н. Гусева, изд. Толстовского музея, М., 1926 г., стр. 79.
[109] Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, изд. «Посредник», М., 1912 г., стр. 223 (запись от 27 ноября 1908 г.).

ИЗ АРХИВА ГЕРЦЕНА

I. ПИСЬМО П. А. БАХМЕТЕВА ГЕРЦЕНУ. II. ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЖИЗНИ ГЕРЦЕНА

Сообщение Н. Анциферова

I. ПИСЬМО П. А. БАХМЕТЕВА ГЕРЦЕНУ

Лондон
31 августа нов. ст. [1857 г.]

Милостивый государь, Александр Иванович.

Вверяя Вам 800 фунтов стерлингов для закупки для меня канадских билетов, гарантированных британским правительством, уполномачиваю Вас:

1) продавать эти билеты и покупать другие — по Вашему усмотрению;

2) в случае смерти моей употребить весь вверенный Вашему распоряжению капитал и состоящий в настоящее время из 800 фунтов стерл. со всеми процентами, которые на оный будут причитаться, помимо всех моих наследников — так, как лично теперь между Вами, мною и г. Огаревым условлено.

С глубоким уважением остаюсь Вам, милостивый государь, готовый к услугам

Павел Бахметев

Происхождение этого письма, хранящегося в Государственном литературном музее, исчерпывающе объяснено Герценом на страницах «Былого и дум» [1] и, вместе с тем, служит полным подтверждением всего там рассказанного. В августе 1857 г. Герцен «получил записку, очень короткую» с просьбой о свидании. Он сам зашел к обратившемуся к нему незнакомцу в Саблоньер-отель. Оказалось, записку написал «молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых, восьмых сыновей степных помещиков». Молодой человек объяснил Герцену, что он, несмотря на всю свою любовь к родине, решил навсегда покинуть Россию, для того, чтобы на Маркизовых островах «завести колонию на совершенно социальных основаниях». После этих объяснений незнакомец, назвавший себя Бахметевым, предложил Герцену большую сумму в 20 тысяч франков на дело революционной пропаганды, желая сделать что-нибудь полезное для покидаемой им родины. Герцен не сразу принял это предложение. В конце концов он уступил, но поставил Бахметеву свои условия: 1) получающий дает доверителю расписку; 2) деньги вверяются не только Герцену, но и Огареву; 3) в доверительном письме Бахметева не указывается, на какие цели даются деньги. Герцен решительно заявил при этом, что без крайней нужды денег на цели пропаганды не возьмет, а будет беречь их, приобретя на полученную сумму «бумаги, гарантированные английским правительством» до возможного возвращения Бахметева с Маркизовых островов. После посещения банка и Ротшильда для оформления передачи «решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; на дороге заехали в кафе, я написал расписку; Б[ахметев], с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огарева восемьсот фунтов» [2].

Нет никакого сомнения, что публикуемый нами документ и является тем письмом, которое по настоянию Герцена написал ему Бахметев. Здесь совпадает и переданная сумма — 800 фунтов стерлингов. Согласно указанию издателя «Колокола», здесь отмечено, что на данные деньги приобретаются ценные бумаги (канадские билеты), и повторяется фраза «гарантированные английским правительством». Далее, согласно требованию Герцена, назван, как доверенное лицо, и Огарев. Цель передачи не определена. Выполнено и условие об ограничении прав издателей «Колокола» — капитал поступает в их распоряжение «в случае смерти» доверителя. Оговорено также, что деньгами располагают лондонские издатели «помимо всех... наследников». В «Былом и думах» Герцен приводит слова Бахметева: «Делайте что хотите, но... не отдавайте ничего моим наследникам» [3].

ПИСЬМО П. А. БАХМЕТЕВА ГЕРЦЕНУ ОТ 31 АВГУСТА 1858 г.

Литературный музей, Москва

На основании всего этого мы в праве заключить не только то, что счастливо уцелел тот самый документ, который упомянут в воспоминаниях Герцена, но и то, что Герцен пользовался им, когда писал главу «Молодая эмиграция». Трудно допустить, чтобы все эти детали в такой точности сохранились в его памяти в течение десяти лет [4]. Наконец, особенно важно то, что это письмо окончательно устанавливает личность Бахметева.

Подпись под документом — Павел Бахметев — не оставляет никаких сомнений в том, что это был Павел Александрович Бахметев, о котором писал знавший его лично саратовский старожил Д. Л. Мордовцев в статье «О Рахметове» («Северный Курьер», 1900 г., № 164): «Я его знал очень хорошо, потому что в конце 40-х годов учился с ним в одной гимназии в Саратове. Жил с ним на квартире рядом». Д. Л. Мордовцев характеризует Павла Бахметева того времени, как избалованного барчонка. Далее автор заметки сообщает: «Способности Бахметева были не блестящи, и я часто помогал ему решать математические задачи, переводить с латинского трудное место. Но то, что он усвоил с трудом, то держалось в его убеждении так крепко, что и клещами не вытащить. Любил он французский, за что товарищи издевались над ним». По окончании гимназии П. А. Бахметев поступил

в Горигорецкое сельскохозяйственное заведение, взяв с собой на свой счет своего товарища — Августа К. Мордовцев переписывался со своим товарищем по гимназии, и письма Бахметева сохранялись в его архиве. В 1857 г. Бахметев появился у Мордовцева с небольшим дорожным саком, в котором хранились деньги, полученные за проданное дяде своему Свиридову имение. Оказалось, что он отправляется в Новую Зеландию (а не на Маркизовы острова, как утверждал Герцен). Там он думал «основать независимое общество, чуть ли не государство». Он договорился с Д. Л. Мордовцевым о переписке, собирался пригласить последнего в редактора предполагаемого журнала вольной общины. Тут же П. А. Бахметев сообщил, что перед отъездом побывал в Петербурге у другого саратовца — Н. Г. Чернышевского. «Перед отъездом сюда я провел с Чернышевским всю ночь в беседе, гуляя по набережной Фонтанки». Вероятно, он поделился своим смелым замыслом с Николаем Гавриловичем и выслушивал от него советы, а может быть, получал от него директивы.

Вспоминая впоследствии о Бахметеве, Н. Г. Чернышевский говорил С. Г. Стахевичу: «В своем романе я назвал особенного молодого человека Рахметов, в честь именно вот этого Бахметова» [5].

II. ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЖИЗНИ ГЕРЦЕНА

Париж Флоренция 908 35 28 5/40
Герцену Гранд Отель Лувр Париж

Приезжай без колебаний возможно скорее — Натали сильно нездорова и очень хочет тебя видеть — Телеграфируй мне каза Фуми день твоего выезда — Ответ оплачен — Александр

По получении этой телеграммы от сына Герцен в ответ запросил сына о состоянии дочери, после чего им была получена следующая телеграмма:

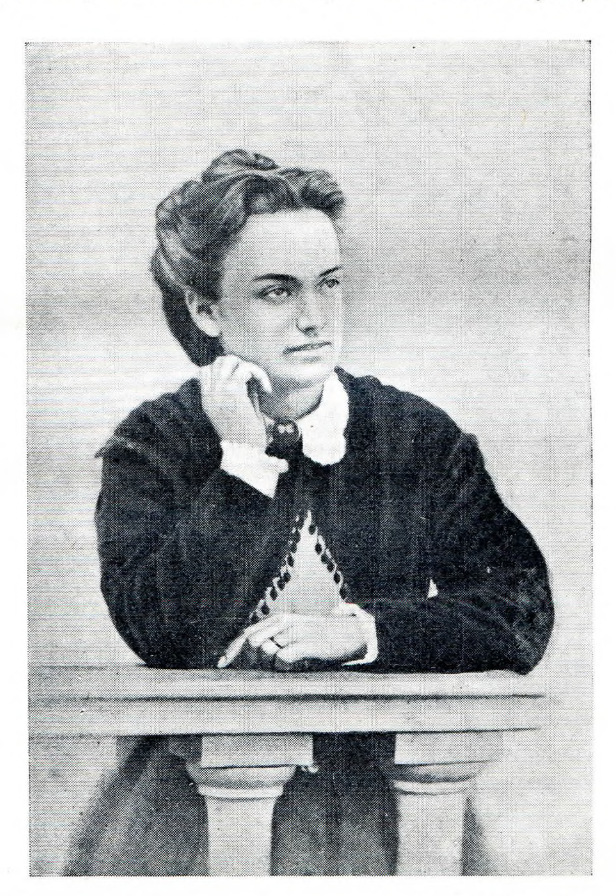
Париж Флоренция 17 39 29 3 15
Герцену Гранд Отель Лувр Париж

Она может путешествовать но с сопровождающей — Отдаление отсюда было бы даже полезно — Это спокойное безумие — Устройся чтобы провести с ней пару недель в уединенном месте — Александр

Публикуемые здесь впервые документы, хранящиеся в Государственном литературном музее, сыграли в жизни Герцена особую и весьма тяжкую роль. После переезда из Лондона в Швейцарию издатель «Колокола» уже нигде не живет подолгу. Остатки его семьи распались. Старшие дети — во Флоренции, Наталья Алексеевна с Лизой — то в различных уголках Швейцарии, то в Ницце. Сам Герцен то во Франции, то в Бельгии, то в Швейцарии, то в Италии. Положение своей семьи он характеризует словами «membra disjecta», а себя сравнивает с Агасфером, у которого нет ни очага, ни крова [6]. 19 августа 1869 г. он перебирается в Париж. Наполеоновская Франция производит на него впечатление страны, находящейся накануне великих событий. «Здесь хаос и мы бродим на вулкане», — писал он Огареву 21 октября 1869 г. [7]. Вместе с тем Париж снова влечет его к себе. Двумя месяцами раньше он пишет Н. А. Огаревой: «А все же следовало бы жить здесь, что ни толкуй, только Париж да Лондон» [8]. В нем крепнет стремление при вечерних огнях своей жизни восстановить свой домашний очаг. 28 октября он пишет Огареву: «Я думаю, что повертевшись во всем мире, все же надобно разбить где-нибудь свой инвалидный дом и в нем поместить больших и детей» [9]. В тот же день он вызывает телеграммой М. Мейзенбуг с просьбой не откладывая выехать из Флоренции в Париж с его дочерьми. Казалось, что Герцен был накануне осуще-

ствления своего заветного, в плане личной жизни, замысла. Но в тот же день 28 октября была выслана публикуемая здесь первая телеграмма, а через два дня за ней последовала вторая.

Прежде всего эти телеграммы дают нам возможность внести поправку в «Канву биографии Герцена», составленную М. К. Лемке, в которой под 1870 г. значится: «31-го получил телеграмму от сына о болезни Таты». Откуда М. К. Лемке взял эту дату — непонятно. Может быть, он отправлялся от даты первого письма Герцена из Флоренции, помеченного 2 ноября? Во всяком случае, теперь ясно, что



ДОЧЬ ГЕРЦЕНА, НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Фотография, 1869 г.
Литературный музей, Москва

Герцен, получив 29 октября телеграмму, послал запрос сыну и, получив от него ответ 30-го, выехал во Флоренцию, быть может, в тот же день. Во Флоренцию он «ехал почти всю дорогу молча, внутренняя тревога, нетерпение виделись на его измученном лице» [10].

Наталья Александровна (Тата) была любимой дочерью Александра Ивановича. Посвященные ей в разных местах «Былого и дум» строки полны горячей и нежной любви. Не в сыне, не в других дочерях видел Герцен преемницу своего духа, а именно в ней, в своей Тате. Он хотел, «чтобы молодое поколение в новом и преображенном виде изящно продолжало хорошую сторону» его жизни. «Отчего же все уйдут и затянутся мелкой западной жизнью, и не будет никакого представителя нашей русской деятельности. Я на Тату надеялся» [11], и позже в дневнике записал: «Я имел в Т[ату] веру, основанную на симпатии и психологическом сходстве с N

[Н. А. Герцен] [12]. Способная художница, Наталья Александровна училась живописи во Флоренции, где ее брат Александр, ученик физиолога Шиффа, читал лекции. Тата жила со своей младшей сестрой Ольгой и воспитательницей Мальвидой Мейзенбуг. Во Флоренции встретилась она с талантливым итальянцем из Сицилии, графом Пенизи — слепым музыкантом. Герцен писал о нем Лизе: «Слушай же, он композитор, играет превосходно на фортепьяно и поет. Говорит сверх своего языка совсем свободно по-французски, по-немецки и по-английски, пишет (т. е. диктует) стихи и статьи; знает все на свете: естественные науки, историю и пр. Я еще такого чуда не видывал. Его водит человек по улицам; очень красиво одет» [13].

Пенизи увлекся Натальей Александровной, всеми средствами добивался любви и довел ее до помешательства. При встрече с отцом «Тата сказала с грустью — Вот и я нашла своего Гервега» [14]. Герцен был глубоко потрясен всем случившимся.


Télégramme
Rep. payée REP PAYÉE
PARIS FLORENCE 908 35 28 5/10 SR = A HERZEN GRAND HOTEL DU LOUVRE PARIS = VIENS SANS HESITER LE PLUS TOT POSSIBLE = NATALIE EST TRÈS INDISPOSÉE ET DESIRE BEAUCOUP TE VOIR = TELEGRAPHIE MOI CASA FUMI LE JOUR DE TON DEPART RÉPONSE PAYÉE / ALEXANDRE =

ТЕЛЕГРАММА А. А. ГЕРЦЕНА ОТЦУ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ТАТЫ

Литературный музей, Москва

В нем ожили все страдания 1851 и 1852 гг. Он и сам отмечал в письме к Огареву от 13 ноября 1869 г.: «это — совершеннейшее повторение истории Гервега» и далее: «кандидат в самоубийцы явился холодным палачем и злодеем» [15]. Однако, в ответ на предложение Огарева обратиться к своим итальянским друзьям Квадрио и Маццини для воздействия на Пенизи он ответил отказом с указанием, что не хочет повторять опять суда над Гервегом. Наталью Александровну он увез в затишье Специи, в горы, к морю. Больная стала поправляться, и Герцен 19 декабря вернулся в Париж. По пути в Ниццу он сделал одну из своих редких записей в дневнике: «Я думал, что новых ударов не будет... Жизнь, словно утомленная порогами, пошла покойнее, и вдруг новый обрыв и какой» [16]. Это были последние строки его дневника. Потрясенный всем пережитым, Герцен уже не оправился. Он простудился на митинге протеста, созванном в связи с убийством оппозиционного журналиста Нуара принцем М. Бонапартом. Надорванный организм Герцена не перенес болезни, и он скончался 21 января 1870 г., написав за несколько дней перед смертью Огареву: «Что будет не знаю, я не пророк, но что история совершает свой **акт** здесь, и будет ли решение по + или по —, но оно будет здесь — это ясно до очевидности» [17]. Так предвидел Герцен Парижскую Коммуну.

Публикуемые здесь телеграммы — возвестившие ему о новом обрыве его жиз-

ни — разрушили все его планы на восстановление «своего дома» и явились первым звеном в цепи тех событий, которые подорвали последние силы Герцена.

Его дочь Наталья Александровна совершенно оправилась от перенесенной болезни. Она прожила долгую жизнь, посвятив ее семье брата. Скончалась она в Лозанне осенью 1936 г. на 92-м году жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, т. XIV, стр. 414.
[2] Там же, стр. 416.
[3] Там же, стр. 415.
[4] Глава «Молодая эмиграция» написана в 1867 г.
[5] Стахевич С. Г., Воспоминания. «Н. Г. Чернышевский. Сборник статей, документов и воспоминаний», М., 1928.
[6] Герцен, т. XIX, стр. 70.
[7] Герцен, т. XXI, стр. 505.
[8] Там же, стр. 426.
[9] Там же, стр. 508.
[10] Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, Л., 1928, стр. 415.
[11] Герцен, т. XXI, стр. 413.
[12] Там же, стр. 532.
[13] Герцен, т. XIX, стр. 204.
[14] Герцен, т. XXI, стр. 515.
[15] Там же, стр. 523.
[16] Там же, стр. 532.
[17] Там же, стр. 553.

ПИСЬМО Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА Н. П. ОГАРЕВУ

Публикация С. Переселенкова

В мае 1860 г. Н. А. Огарева, со своей дочерью Лизой, которой тогда не исполнилось еще двух полных лет, покинула Лондон и отправилась в Дрезден, где должна была встретиться с Сатиными, ради нее прибывшими из России. Проведя с ними лето в Германии, она, по отъезде их на родину, переехала в Швейцарию и порешила обосноваться на зиму в Берне. Не хотела она возвращаться обратно в Лондон из-за семейной разладицы, принявшей за последний год особенно острый характер и доставлявшей много страданий как ей самой, так и Герцену, а особенно Огареву.

В начале зимы этого года она написала Герцену, что в их семейные дела «вмешался» Н. А. Серно-Соловьевич; что такое «вмешательство» для нее «больно, но все-таки с ним [т. е. с Серно-Соловьевичем] нельзя поступать, как с посторонним»; что он «не хочет видеться с ними, прежде чем они узнают его взгляд на все это». А взгляд свой на «все это» высказал Серно-Соловьевич в письме к Огареву, которое она долго не решалась переслать по назначению. Когда же, наконец, письмо было послано в Лондон, она умоляла Герцена «отстранить», насколько возможно, Огарева «от всего неприятного» и «не печалить» его. «Боже мой, — писала она в отчаянии, — когда же я перестану даже невольно быть казнью для него?»

Письмо, о котором говорит Огарева, до сих пор не было опубликовано. Подлинник его, хранящийся в настоящее время в Институте литературы Академии Наук СССР (Пушкинском Доме), написан чрезвычайно неразборчивым почерком, трудно поддающимся чтению. Неразборчива и подпись под ним. Тем не менее на принадлежность его Н. А. Серно-Соловьевичу указывает отмеченное нами ниже совпадение одного места в нем с воспоминаниями Огаревой. Кроме того, две первые, несомненно прописные, буквы подписи очень похожи на Н. С. Наконец, самое содержание его указывает, что это именно то самое письмо, о котором извещала Герцена Огарева.

Когда в начале 1860 г. Н. А. Серно-Соловьевич впервые познакомился с Герценом и Огаревым, он уже пользовался широкою известностью, как человек, имевший мужество два года тому назад подать лично Александру II записку, в которой резко «объяснял ему, что дело освобождения не идет». «Наш последний маркиз Поза», как назвал Серно-Соловьевича Герцен, произвел на него и Огарева глубокое впечатление своим открытым «необыкновенно благородным» характером и горячею преданностью общественному делу. «Н. А. Серно-Соловьевич, — характеризовал его несколько позже Герцен, — принадлежит к числу тех избранных на мученичество лиц, которые спокойно идут своей дорогой и ясно смотрят в глаза беснующимся судьям; перед этими людьми власть срезывается и потому неохотно поднимает на них руку. Их нельзя, по поучительному примеру Тиверия, осквернить в тюрьме, чтоб сделать достойным казни» [1]. По своей нравственной красоте он напоминал Герцену Грановского [2].

Несмотря на большую разницу в летах, знакомство Н. А. Серно-Соловьевича с Герценом и Огаревым быстро перешло в дружеские отношения, что дало право ему вмешаться в их семейные дела. Как видно из письма к Огареву, он и на этот раз остался во многих отношениях верным себе — таким же, каким представляется

нам в характеристике Герцена и каким является перед своими «врагами, заклятейшими консерваторами по положению, членами Государственного Совета, которых он поражает доблестью, простотой и геройством» [3].

Какое впечатление произвело письмо Серно-Соловьевича на Герцена — нам неизвестно; неизвестно даже, показывал ли его Герцен Огареву. Достоверно только то, что оно послано было в Лондон уже после того, как в семье Герцена — Огаревых уладились семейные раздоры или, справедливее сказать, заключено было перемирие [4]. Вот что писал Герцен своему сыну и Огаревой от 16 ноября 1860 г.: «Саша, дай твою руку, — я тебя благодарю за благородное, юное, прекрасное письмо. Ты мне доставил минуту полного счастья, — я уважаю в тебе уж не только сына, но друга в глубоком смысле. Я благодарю тебя за эту минуту гордости тобой. Все кончено, все прошедшие вины и недоразумения стерты. Я, чтоб тебя наградить, тебе пишу эти строки. Святое, полное примирение с Natalie — и начнем свежими силами новую жизнь. Natalie, я тебя зову от чистого сердца, тронутый и потрясенный, но с полным сознанием. Я тебя зову к нам. Все забыто. Не поминай и ты. Я и Ог[арев], мы рыдали над Сашиным письмом, да, рыдали. Ог[арев] вышел на воздух, я схватил перо тебе написать, что я умоляю тебя, прошу тебя именем Лизы: ни словом, ничем не поминая прошедшего, возвратись в твою семью, — и больше не могу сегодня написать» [5].

Остается открытым вопрос, зародилась ли у А. А. Герцена мысль написать отцу о примирении с Натальей Алексеевной самостоятельно и не явилась ли она у него под влиянием Н. А. Серно-Соловьевича, войти в близкие отношения с которым Александр Иванович не раз настойчиво рекомендовал своему сыну [6]?

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Русские Пропилеи», т. IV, М., 1917 г., стр. 261.
2 Герцен, т. XVIII, стр. 165.
3 Там же, стр. 375.
4 3 декабря 1860 г. «Русские Пропилеи», т. IV, М., 1917 г.
5 Герцен, т. X, стр. 457—458.
6 Там же, стр. 233 и 303.

Ахен, 19 ноября 1860 г.

Дорогой друг! Решаясь писать вам это письмо, я долго взвешивал все данные за и против; следственно оно дело не увлечения, не вспышки, не сентиментальности, а серьезного зрелого размышления. Предвижу могущие встретиться возражения и постараюсь заранее дать на них ответ; сознаю возможность неудовольствий, но не боюсь итти им навстречу, исполняя то, что считаю долгом совести. Вы уже, конечно, догадались по этому приступу, что речь идет о Наталье Алексеевне. Мне можно на первых же порах заметить, что я мешаюсь не в свои дела, не имея на то никакого права. Это весьма важное, если не единственное возражение против меня, и потому я особенно налягу на него. Вы первый дали мне имя друга, и я счел это не пустой фразой, тем более что уже давно, прежде чем вы даже знали о моем существовании, мы были свои по чувствам, убеждениям и цели, достижение которой поставили главной задачей жизни; это родство добровольное, по моему, гораздо важнее случайного, по крайней мере дает большие взаимные права и налагает крупнейшие обязанности. Вот мой первый довод. Второй, это что ваше положение не подходит под общую рамку. Вы сами и ваша деятельность не принадлежат вам одним; у вас в руках знамя, следственно вы связаны ответственностью перед всеми, которые пришли под это знамя. Эта ответственность простирается не только на публичную, общественную жизнь, но и на частную, домашнюю. Такой контроль был бы невыносим для людей старого берега, но мы, пустившиеся вплавь, должны видеть в нем свою истинную силу и

одно из коренных оснований нового порядка. Мы разрушаем и создаем, следственно от нас могут требовать отчета и приверженцы старого и друзья нового; нам могут верить только тогда, когда мы неуклонно следуем тем правилам, которые хотим сделать господствующими. Но рожденные в предрассудках, всосавшие их с молоком, воспитанные в них, прожившие с ними молодость, мы невольно и часто не замечая того, отклоняемся от пути: поэтому, мы необходимо должны контролировать друг друга, чтоб немедленно подать руку помощи в трудные минуты. Взвесьте, дорогой друг, все эти побуждения, разберите их пристально, развейте — чего всего нельзя сделать в письме — и вы верно скажете, что я прав.

Вот что я передумал много раз прежде чем принялся за перо; теперь расскажу, что слышал, видел, перечувствовал, что привело меня к таким мыслям.

На пути в Италию я узнал, что Наталья Алексеевна в Германии. Это нисколько не удивило меня, так как поездка могла быть объяснена многими соображениями. Возвратясь в Женеву, поехал к Фогту. Там говорят мне, что Н[аталья] А[лексеевна] в Берне, что вы зовете ее в Лондон, но она упрямится. Это просто ошеломило меня: выбор Берна зимним местопребыванием, в то время как вы в Лондоне, не мог быть ровно ничем объясним, разумно, как семейной разладицей. Возможность последней, никогда мне и в голову не приходившая, потрясла меня до глубины души; высшего несчастия и придумать трудно. Я положил себе, при свидании с Н[атальей] А[лексеевной] разубедить ее, доказать, какой триумф она доставляет нашим врагам. Первая наша встреча была на террасе; сильно студило, она дрожала в легоньком бурнусе. Зная уже как я объясняю себе ее присутствие в Берне, она принялась доказывать мне неосновательность моего предположения, и это с таким мужеством и самообладанием, что непременно достигла бы своей цели, если б была хоть малейшая возможность логически объяснить совершенно противологический факт; на все ее доводы и уверения рассудок отвечал мне — это не так. Я ушел с прежним убеждением, только уже не виня ее. Вечером пошел к ней — этого вечера я долго не забуду. Если бы вы могли быть, невидимкой, с нами, дорогой друг, вы крепко досадовали [бы] на себя. Сидя в этой комнате, перегороженной на двое, я в какой-нибудь час измерил сердцем и головой сколько должна тут страдать несчастная женщина. Она не только не жаловалась, но напротив, продолжала утреннюю роль, говоря что вовсе не особенно несчастна здесь, что разлука временная, что это послужит к лучшему в будущем, что видит многие свои ошибки и т. п. — но глаза изменяли ей и несмотря на все ее усилия владеть собой, слеза беспрестанно пробивалась сквозь ресницу. — То что Герцен писал императрице, а вы относили в Предисловие к VIII кн. «Голос[ов»] к государю, я, перефразируя, повторю вам обоим: вдумайтесь ради всего в жизнь, на которую осуждена теперь эта женщина и дайте себе отчет, спрося только собственное сердце, что она должна выстрадать в течение каждых суток. Дайте себе ясный отчет, умоляю вас, что за невыносимая жизнь женщине, одной, в чужой стороне, среди чужих! Нескончаемые, холодные, сырые дни тянутся беспрерывной вереницей, принося один как и другой одиночество, тоску, грусть, горе, физические лишения, душевные терзания, оскорбленное и быть может оскорбляемое самолюбие. Да всех страданий и не перечтешь. Будучи в Лондоне, я часто подмечал у вас обоих тоску по России... Подумайте же, если вы, мужчины, погруженные в дело, имеющие призвание, знающие, что каждый час вашей работы приносит громадную пользу, чувствуете как зачастую щемит сердце — что же должна ощущать женщина, оторванная от родины, дважды от

семьи, одна, без призвания, без всякого дела? Страшно подумать, если бы самому пришлось быть в таком положении! Близость молодого Герцена не большой рессурс, так как он занят с утра до ночи; Фогтовская семья, бесспорно, великолепна, но все же своей не заменит. К тому же, вероятно, Н. А. и не ищет особенно бывать с ними; для женщины в таком неестественном положении должно быть невыносимо всякое постороннее общество, потому что во всяком взоре она должна встретить или обвинение или сожаление — и то, и другое равно оскорбительно. Вдобавок: незнакомый язык, неизбежные пересуды и сплетни окружающих, быть может отражающиеся в обращении — право есть с чего сойти с ума! Я решительно не могу придумать преступления, за которое можно было бы, при наших убеждениях, осудить женщину на такие страдания. Разумеется, ни она не намекнула мне, что страдает сверх сил, ни я не показал ей, что мне ясно ее положение, но вам, дорогой друг, не могу не сказать, что до сих пор не могу вспомнить подобной участи без того, чтобы сердце не наполнилось горечью.

Возьмем теперь другую сторону медали. Конечно, для наших врагов не может быть большего торжества и сильнейшей причины радоваться и ликовать: у них в руках положительный факт, чтобы громить нас. Отсутствие Н[атальи] А[лексеевны] из Лондона разумеется не может остаться тайной; сотням людей, посещающих вас, оно непременно должно броситься в глаза, да к тому же, если в обществе беспрестанно передаются семейные и другие сплетни о людях неизвестных и ему совершенно незнакомых, как же может быть, чтобы не знали, что происходит у вас, за которыми следят сотни тысяч глаз. В комментариях этому отъезду недостатка не будет, те которые уже распускали о вас тысячу нелепиц, которые сторожат малейший повод, чтобы швырять в вас каменьями и грязью, разумеется не упустят такого великолепного случая, тем более, что в сущности — чуть только отсутствие Н[атальи] А[лексеевны] продлится несколько времени — невозможно и придумать никакого вероподобного объяснения ему, как семейные неприятности. Пойдут бесконечные отвратительные сплетни, действие которых будет тем сильнее, что они будут опираться на факт. Черня лично вас, будут клеветать и марать нашу общую святыню — наши убеждения и начала. И нам только нечего будет отвечать, потому что при каждом слове будет приправа: «Огарев бросил жену и ребенка», «жена Огарева не была в состоянии выносить жизнь с ним» и т. п. Что ни возражай, как ни объясняй дело — за них будет факт вашей разлуки.

Наконец — чтобы уже высказать вам разом, дорогой друг, все что так тяжело давит сердце — в тысячу раз больнее и гибельнее всех возможных клевет и сплетень то горькое и тяжелое чувство, которое должен испытать каждый в нашем небольшом лагере, видя у вас семейную разладицу. Я, по крайней мере, не знаю вашего несчастия. До тех пор пока мы непоколебимо верим друг в друга, нам не страшны никакие обвинения; но как только в собственных сердцах пошатнется вера — все пропало. А вера может пошатнуться, потому что пьедестал, на котором вы так чудно стоите, оббивается теперь не врагами, а вами самими. В семейных делах судей быть не может, но наверно всегда есть доля вины на обоих сторонах; можем же ли мы равнодушно видеть, что всю тяжесть неприятностей несет одна, слабейшая? Как бы вина ни была велика, и наши социальные понятия, и исключительность положения, и простое благоразумие предписывают снисхождение и великодушие для того, чтобы быть последовательным и не доставить торжества врагам; если же нет ничего особенно серьезного — такой образ действий был бы непростителен даже людям деспотизма. Поверьте мне, дорогой друг, если б даже право было безусловно на ва-

шей стороне, в глазах ваших друзей вы не можете быть правы нравственно. Я сужу по себе. Конечно, сильнее любить вас, быть с вами более заодно как я — невозможно. И до чего меня коробит, как подумаю о Н[атальи] А[лексеевне], я и сказать не умею. Что же скажут другие, более или менее равнодушные? Умоляю вас, во имя всего, что вам дорого, во имя наших убеждений и того дела, за которое вы уже столько страдали и страдаете — прекратите это несчастное положение. Быть может, время еще не ушло, но оно летит на крыльях — а чем дальше в лес, тем больше дров. К тому же, по моему, страданий было уже столько, что надо спешить не днями, а часами, чтобы прекратить их.

Мне скоро пора домой, но конечно, прежде возвращения увижусь с вами: если хотите, Н[аталья] А[лексеевна] могла бы возвратиться к вам со мной, мы условились бы съехаться в Париже. — Как бы ни было, ваш ответ пожалуйста пришлите ей скорее: из этого письма вы поймете до чего мне тяжело и до чего я люблю вас. Не сомневаюсь, что сердце и рассудок ваши будут согласны со мной? — Крепко, крепко жму руки.

Ваш Н. Серно-Соловьевич.

По вине автора публикации «Пародия на стихотворение Ф. Н. Глинки „Тройка“» и по недосмотру редакции не указано, что автором этой пародии является П. А. Вяземский.

ПАРОДИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ Ф. Н. ГЛИНКИ «ТРОЙКА»

Сообщение Б. Козьмина

ТРОЙКА

1

Вот мчится тройка удалая,
Бакунин, Герцен, Огарев,
И колокольчик, дар Валдая,
Гремит как сто колоколов.

2

Беснуясь, тройка рвёт и мечет,
Валяет и все ва́лит с ног:
В кого легнет, кого увечет,
Иль переедит поперёг.

3

Любуются зеваки тройкой,
Снимают шапки перед ней,



РЕАКЦИОННАЯ КАРИКАТУРА НА ГЕРЦЕНА, ОГАРЕВА И БАКУНИНА
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

И колокольчик дробью бойкой
Им всяких песней был милей.

4

— Но вскоре тройка приустала,
Знать худо вскормлена была:
Она замялась, захромала,
И спотыкаться начала.

5

Задору много — силы мало!
С полупути надорвалась,
А в колокольчик — запевало —
Забилась вплоть густая грязь.

6

Уж им не тешатся зеваки,
Бегом за тройкой не бегут
И кони, звери, забияки,
Теперь уж клячами слывут.

7

Где прыть? — где звон всех оглушивший?
И ваш Валдайский громобой,
Теперь, язык свой прикусивши,
Гудит уныло под дугой...

Приписка.

А Долгоруков в одиночку
Пошел с кляченкой на извоз:
Он в полночь сваливает в бочку
Чужой и собственный навоз.

А паче собственный!.. Богато
Господь им наделил его,
И раздает он таровато
Нагар желудка своего.

С своей кляченкой колченогой
В журнальном деле он профос,
И где с ним встретишься дорогой,
Там крепче зажимаешь нос.

Ф. Глинка

Печатается по рукописи, написанной рукою неизвестного; внизу подпись «Ф. Глинка» другою рукою. Рукопись хранится в ГАФКЭ, где по описи значится, как стихотворение Ф. Н. Глинки. Однако, вряд ли можно считать его автором этого стихотворения, являющегося пародией на его же известное стихотворение. «Вот мчится тройка удалая».

Стихотворение это написано, несомненно, в 1862—1864 гг. Это видно, во-первых, из указания на падение популярности герценовского «Колокола» и, во-вторых, из упоминания об издательской деятельности П. В. Долгорукова, которая, как известно, закончилась в 1864 г., когда перестал выходить его «Листок».

Стихотворение это написано в связи с тем походом против Герцена, который, с благословения правительства, был начат реакционной прессой во главе с Катковым летом 1862 г. Публикуется с сохранением орфографии подлинника.

ПОЛКОВНИК ЛАПИНСКИЙ И ЕГО МЕМУАРЫ

Сообщение В. Тренина

I

12 сентября 1863 г. Маркс писал из Лондона Энгельсу: «Самый интересный человек, с которым я здесь познакомился, это полковник Лапинский. Это безусловно самый умный поляк и при том homme d'action [человек действия] из всех, которых я знаю. Все его симпатии на стороне немцев, хотя он по своим манерам и языку француз» [1].

Кроме этой характеристики известны отзывы о Лапинском, принадлежащие Бакунину и Герцену.

Бакунин познакомился с Лапинским в марте 1863 г., когда Лапинский приехал в Швецию во главе морской экспедиции польских повстанцев. Первое впечатление Бакунина о Лапинском было очень благоприятным, как видно из его письма к Герцену: «Сначала Лапинский мне очень и почти безусловно понравился и я вам сказал это в нескольких письмах» [2].

К сожалению, эти письма до сих пор не опубликованы, если только они, вообще, сохранились. Зато сохранилось письмо Бакунина к Герцену, свидетельствующее, что Бакунин вскоре изменил свое отношение к Лапинскому: «Лапинский храбрый, ловкий, смышленый, но бессовестный или, по крайней мере, широкосовестный кондотьер, патриот в смысле непримиримой и непобедимой ненависти к русским, как военный по ремеслу ненавидящий и презирающий всякий, даже свой собственный народ» [3].

Герцен ответил Бакунину шутливым упреком: «За что же, шер ами, ты о нас бедных судишь по себе и думаешь, что мы, видевши раз пять часов по пяти Лапинского, не оценили его вполне?» [4]

Впоследствии сам Герцен посвятил Лапинскому целую главу в своих мемуарах, причем его характеристика в значительной степени следует за отзывом Бакунина, но еще усиливает его отрицательную окраску:

«Лапинский был в полном смысле слова кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог итти с «белыми» и «красными», с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе» [5].

Сводка высказываний Маркса, Бакунина и Герцена о Лапинском дает достаточно ясное представление об авантюристических наклонностях полковника, но для правильной оценки его идеологической позиции и той роли, которую он играл в рядах революционной эмиграции, необходимо обратиться к фактам его биографии.

Только таким путем можно проверить утверждение Герцена о политической беспринципности Лапинского и расшифровать в высшей степени своеобразные воспоминания самого Лапинского, в которых он рассказывает о своем знакомстве с Марксом, Бакуниным и Герценом.

II

Биография Теофиля Лапинского дает богатый материал для авантюрного романа. В период 1857—1863 гг. имя Лапинского встречается во многих европейских газетах[6]. Вполне понятно, что газетные сообщения о Лапинском в своем большинстве очень недостоверны: ему приписывали несовершенные им подвиги, присваивали ему титул графа и т. д. Но и биографические сведения о Лапинском, сохранившиеся в научных изданиях, представляют собой сумму ошибок.

В крупнейших европейских справочниках: в Encyclopaedia Britannica, в немецких словарях Брокгауза, Гердера и Мейера, во французских Grande Encyclopédie и словаре Лярусса имя Лапинского, вообще, отсутствует. Нет его и в русских словарях.

Небольшие биографические заметки о Лапинском имеются в следующих изданиях: в пяти польских энциклопедиях (издания 1901, 1910, 1927, 1931 и 1934 гг.), в двух мадьярских энциклопедиях, в двух чешских энциклопедических словарях и в австрийском биографическом лексиконе доктора К. Вурцбаха.

Самые неожиданные сведения мы можем найти, как это ни странно — в польской «Всеобщей энциклопедии С. Оргельбранда»[7]. Здесь Лапинский попросту раздвоился.

Первая заметка о нем сообщает: «Лапинский Теофиль, родился в Галиции, получил образование в Венской академии Терезии, был артиллерийским офицером. В 1848 г. сражался против [sic!] венгров с Шандором Нодь. Потом переселился в Турцию и принял имя Таффик-бея. В 1850 г. был на Кавказе. После Крымской кампании возвратился в Турцию, а после 1863 г. переселился во Францию. Издал «Поход главной венгерской армии в 1849 г. Пережитое». (Гамбург, 1850), «Горцы Кавказа и их борьба с русскими за свободу» (2 тт., Гамбург, 1863)».

Вторая заметка: «Лапинский П. [sic!] автор, проживавший в Галиции, написал: «Морская экспедиция повстанцев на Литву (Львов, 1878)».

Таинственный инициал «П.», введший в заблуждение автора заметки и действительно стоящий на титульном листе книги Лапинского, повидимому, расшифровывается следующим образом: это начальная буква слова «pułkownik» — «полковник».

Эти же неточные сведения повторяются и в другой польской энциклопедии: Wielka Encyklopedja Ilustrowana[8].

В чешской энциклопедии[9] внесена поправка, что Лапинский сражался не против венгров, а за венгров, под начальством венгерского генерала Нодь-Шандора, но дата пребывания Лапинского на Кавказе отнесена также к 1850 г. По данным венгерской энциклопедии Паллаша[10] Лапинский в 1858 г. появляется в Вене и затем уже через Константинополь едет на Кавказ; по сведениям другой мадьярской энциклопедии Синьэйя[11] и по австрийскому словарю Вурцбаха[12] Лапинский находится на Кавказе во время Крымской кампании, т. е. в 1853—1855 гг. По «Алфавитному указателю венгерских эмигрантов 1848—1864 гг.», составленному К. М. Кертбени [Бенкертом][13], Лапинский сражался в Черкессии в 1855 г., а в 1863 г. он, якобы, уже получил чин польского генерала.

В этом разнобое дат чрезвычайно трудно разобраться; но все эти указания неверны.

Только новая польская энциклопедия Trzaski, Ewerta i Michalskiego[14] благоразумно воздерживается от точной датировки событий и правильно намечает их последовательность:

«Лапинский Теофиль (Таффик-бей), полковник и писатель. Сражался в 1849 г. в Венгрии, потом эмигрировал в Турцию, руководил экспедицией на Кавказ, имевшей целью помочь горцам в войне против России; в 1863 г. был начальником неудачной морской экспедиции, которая из Лондона должна была достигнуть до округа Полангена; издал на немецком и польском языках ряд сочинений и воспоминаний».

И, наконец, в новейших словарях тех же Trzaski, Ewerta i Michalskiego[15] впервые указаны даты рождения и смерти Лапинского: 1826—1886.

К сожалению, и здесь кажется сомнительным год рождения Лапинского. По его собственному указанию, он родился 19 декабря 1827 г. (см. следующее место из его книги: «Горцы Кавказа и их борьба с русскими за свободу»: «В ночь с 19 на 20 декабря [1858 г. — *В. Т.*] я остановился у Пшимаф Омера, уорка [черкесского дворянина] на реке Шипс. Был мой тридцать первый год рождения») [16].



ТЕОФИЛЬ ЛАПИНСКИЙ

Портрет из книги: A. Lewak «Dzieje emigracji polskiej w Turcji», 1935.

III

С юных лет призванием Лапинского было «военное ремесло».

Окончив курс в Венской военной академии имени императрицы Терезы, Лапинский вступил в австрийскую королевскую артиллерию.

В 1849 г., в возрасте 22 лет, Лапинский, как и многие другие поляки, служившие в австрийской армии, перешел на сторону мадьяр, восставших против власти австрийского императора.

В качестве артиллерийского офицера в I корпусе венгерской революционной армии под командой генерала Нодь-Шандора Лапинский проделал весь поход и участвовал в нескольких сражениях. Несмотря на свою молодость, Лапинский в конце похода был фактическим командиром корпусной артиллерии, которая даже по русским отзывам представляла собой лучшую часть венгерской армии.

В то время, как главнокомандующий венгерской армией Артур Гергей сложил знамена перед русской интервенционной армией у Виллагоша, Лапинский находился в крепости Коморн, начальником которой был генерал Георг Клапка. В этой крепости соединились последние военные силы венгерской революции.

После того как генерал Клапка подписал договор о капитуляции Коморна, Лапинский в числе других «коморнских капитулянтов» получил паспорт на выезд

в Турцию. Из Константинополя Лапинский, в начале 1850 г., переехал в Гамбург, где в том же году выпустил свою первую книгу: «Поход главной венгерской армии в 1849 г.»[17].

Деятельность Лапинского во время венгерской революции привлекла внимание Карла Маркса. В своем замечательном памфлете «Господин Фогт»[18] Маркс, в то время еще не знавший лично Лапинского, характеризует события последних дней венгерской революции, пользуясь, главным образом, материалом его книги.

Так, например, полемизируя с утверждениями Карла Фогта (в его книге «Studium zur gegenwärtigen Lage Europas», Genf, 1859), Маркс противопоставляет им цитату из книги «Поход главной венгерской армии».

«Несчастьем венгров» — говорит польский полковник Лапинский, дравшийся против русских сперва, до сдачи Коморна, в венгерской революционной армии, а затем в Черкессии, — «несчастьем венгров было то, что они не знали русских» (Theophil Lapinski; Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849, Hamburg, 1850, S. 216). Венский кабинет был всецело в руках русских... по их совету были убиты главари... всяческими способами снискивая себе симпатии, русские руководили с таким расчетом Австрией, чтобы сделать ее более ненавистной, чем она когда-либо была» (там же, стр. 188, 189)[19].

Глава X памфлета Маркса посвящена разоблачению деятельности бывшего президента венгерского революционного правительства Лайоша Кошута и генералиссимуса венгерской армии Артура Гергея.

Начало этой главы необходимо привести полностью, так как оно характеризует не только точку зрения Маркса на виновников неудачи венгерской революции, но и дает представление о политических взглядах Лапинского в молодости. Маркс пишет:

«В качестве свидетелей своего «good behaviour» [«хорошего поведения»] экс-имперский[20] Фогт выставляет «Кошута» и «двух других мужей — Фази, воссоздателя Женевы и Клапку, защитника Коморна», которых он «с гордостью называет своими друзьями» («Главная книга», стр. 213). Я называю их его патронами.

После битвы при Коморне (2 июля 1849 г.) Гергей узурпировал верховное командование над венгерской армией, вопреки приказу венгерского правительства, сместившего его. «Если бы во главе правительства стоял энергичный человек, — пишет полковник Лапинский, продолжавший еще быть в этой своей работе приверженцем Кошута, — то уже тогда был бы положен конец всем интригам Гергея. Кошуту стоило только явиться в лагерь и сказать несколько слов армии, и вся популярность Гергея не спасла бы его от падения... Но Кошут не явился. У него нехватило силы выступить открыто против Гергея и, тайком интригуя против генерала, он публично пытался оправдать его поступок (стр. 125, 186. Th. Lapinski, Feldzug der ungarischen Hauptarmee u. s. w. — Т. Лапинский, Поход венгерской главной армии и т. д.). О преднамеренном предательстве Гергея Кошуту, по его собственному признанию, некоторое время спустя формально донес генерал Гюйон (см. David Urquhart, Visit to the Hungarian Exiles at Kutayah [Давид Уркарт, Посещение венгерских эмигрантов в Кутайе]. «Кошут, правда, сказал в одной прекрасной речи в Сегедине, что если бы он знал о каком-нибудь предателе, то убил бы его собственными руками, причем он, может быть, имел в виду Гергея. Но он не только не исполнил этой несколько театральной угрозы, но ни одному из своих министров ни разу даже не назвал человека, которого он подозревал; и в то время, как с некоторыми из них он строил жалкие планы против Гергея, он всегда с величайшим уважением говорил о нем и даже писал ему нежнейшие письма. Пусть поймет, кто хочет, но я не понимаю, как можно видеть спасение отечества в падении только одного опасного человека, пытаться дрожащей рукой его убрать и в то же время поддерживать его другой рукой, создавая ему своим доверием приверженцев и почитателей и передавая ему таким путем в руки всю власть. В то время, как Кошут был таким жалким в своих действиях,

то в пользу Гергея, то против него, Гергей, более последовательный и твердый, чем он, выполнил свой черный план» (там же, стр. 163—164)» [21].

Несколькими страницами дальше Маркс пишет:

«Было бы совершенно несправедливо на один уровень с Кошутом ставить второго патрона Фогта, генерала Клапку. Клапка был одним из лучших венгерских революционных генералов... Клапка не обладает особенным талантом в выборе своих друзей. Одним из его близких друзей в Коморне был полковник Ассерман. Послушаем об этом полковнике Ассермане полковника Лапинского, служившего под начальством Клапки до сдачи Коморна и отличившегося потом в Черкессии своей борьбой против русских:



РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. в ВЕНГРИИ

Национальная гвардия покидает Будапешт

Гравюра из журнала «Illustration», 1849 г.

«Вилагошская измена, — говорит Лапинский, — вызвала сильнейший испуг среди находившихся в Коморне и ничего не делавших многочисленных штабных офицеров... Эти надушенные господа с вышитыми золотом воротниками, из которых многие не умели держать ружья в руках и неспособны были командовать и тремя солдатами, бегали в панике друг к другу, придумывая способы любой ценой спасти свою шкуру. Отделившись под всевозможными предлогами от главной армии, чтобы в уютной безопасности неприступной крепости сидеть без всякого дела и только ежемесячно расписываться в правильном получении жалования, они пришли в ужас от мысли, что придется защищаться не на жизнь, а на смерть... Эти негодяи лгали генералу, рисуя ему страшные картины внутренних беспорядков, бунтов и пр., чтобы склонить его, как можно скорее сдать крепость при условии сохранить их жизнь и собственность. Последнее условие многие особенно близко принимали к сердцу, так как все их помыслы во время революции были направлены только на то, чтобы разбогатеть: кое-кому это и удалось. Отдельным лицам такое обогащение удавалось очень легко, так как многие отчитывались в полученных суммах не раньше, чем через полгода. Это создавало благоприятные условия для плутней и обмана и иные, вероятно, запустили руки в кассу гораздо глубже, нежели спо-

собны были возместить... Перемирие было заключено; как же теперь его использовали? Из находившихся в крепости припасов, которых достаточно было на целый год, большое количество без всякой необходимости было вывезено в окружающие деревни, откуда, однако, не было ввезено никакого провианта; было даже оставлено в ближайших деревнях сено и овес у крестьян, которые умоляли эти корма у них купить; несколько недель спустя казацкие лошади поедали крестьянское достояние, в то время как мы в крепости жаловались на недостаток фуража. Значительная часть находившегося в крепости убойного скота была продана за город под тем предлогом, что для него нет достаточно корма. Полковник Ассерман, вероятно, не знал, что из мяса можно сделать солонину. Значительная часть зерна была также продана под тем предлогом, что оно становится затхлым; это делали открыто, еще больше — тайно. В таком окружении, которое состояло из Ассермана и подобных ему субъектов, Клапка, естественно, должен был отказываться от всякой хорошей мысли, приходившей ему в голову; они умели настоять на этом» (Lapinski, там же, стр. 49).

Мемуары Гергея и Клапки одинаково убедительно свидетельствуют об отсутствии у Клапки твердого характера и политической проницательности. Все совершенные им во время защиты Коморна ошибки вытекают из этого основного порока. «Если бы у Клапки, при его познаниях и патриотизме, была еще собственная твердая воля и если бы он действовал по собственному разумению, а не по внушению окружавших его тупоумных и трусливых людей, то защита Коморна блеснула бы в истории как метеор» (там же, стр. 209).

3 августа Клапка одержал блестящую победу над осаждавшим Коморн австрийским корпусом, совершенно разгромил его и надолго сделал небоеспособным. Вслед за тем он взял Рааб и мог взять без труда даже Вену, но бесцельно и в бездействии пробыл восемь дней в Раабе и вернулся затем в Коморн, где его ждало письмо от Гергея и известие, что он сложил оружие. Неприятель просил о перемирии, чтобы сконцентрировать у Коморна разгромленный австрийский корпус и продвигавшихся с Римы-Изомбата[22] русских, а затем преспокойно окружить крепость. Вместо того, чтобы напасть на собравшиеся только вражеские силы и разбить их порознь, Клапка стал опять беспомощно колебаться, но все же отказывал австрийским и русским парламентерам в перемирии. Тогда, — рассказывает Лапинский, — «22 августа в Коморн прибыл адъютант императора Николая... Вы ведь не откажете нам, генерал, в двухнедельном перемирии, сказал русский Мефистофель медоточивым голосом; всемилостивейший мой повелитель, его величество, просит вас об этом! Это подействовало как сильный яд. Что, несмотря на все усилия не удавалось австрийским и русским парламентерам, того добился продувной адъютант немногими словами. Клапка не мог устоять перед его комплиментами и подписал двухнедельное перемирие. С этого дня и начинается падение Коморна». Самое перемирие, как уже было упомянуто, Клапка использовал через полковника Ассермана, чтобы в две недели убрать из крепости собранный в ней годовой провиант. По истечении перемирия Граббе стал окружать Коморн со стороны Ваага, в то время, как австрийцы, постепенно увеличившие свою армию до 40.000 человек, расположились на правом берегу Дуная. Гарнизон Коморна был деморализован праздной жизнью за окопами и стенами города. Клапка не предпринял ни одной вылазки против русского корпуса, еще не участвовавшего ни в одном сражении и насчитывавшего только 19.000 человек. Неприятелю ни на минуту не помешали в его подготовительных работах к осаде города. Со дня подписания перемирия Клапка фактически подготовлял все не для обороны, а для капитуляции. Вся развиваемая им энергия была полицейского характера и направлена была против храбрых офицеров, которые противились капитуляции. «Последнее время, — говорит Лапинский, — стало опасным говорить что-либо об австрийцах, ввиду возможного ареста».

Наконец, 27 сентября произошла капитуляция. «Если принять во внимание наличные силы, отчаянное положение страны, возлагавшей свои последние надежды

на Коморн, общее положение в Европе и бессилие Австрии, которая принесла бы величайшие жертвы ради Коморна, то условия капитуляции были исключительно жалкие. Они «помогли лишь скорее удрать из Коморна за границу», но не выговаривали никаких гарантий ни для Венгрии, ни даже для находившихся в руках австрийцев революционных генералов. К тому же они были в чрезвычайной спешности составлены так неясно и двусмысленно, что впоследствии облегчили Гайнау их нарушение»[23].

Целый ряд исторических документов[24] подтверждает справедливость общей оценки событий в Коморне и характеристик Гергея, Клапки и его приближенных, данных Марксом на основе записок Лапинского.

Полемическая резкость отзывов Лапинского объясняется тем, что в Коморне он принадлежал к самой крайней группе, так называемых «красных республиканцев» или «ультра-мадьяр», отличительным знаком которых было красное перо на шляпе. Лидером этой группы был военный инженер полковник Жигмонд Тали, начальник крепостной артиллерии.

«Красные республиканцы» открыто называли изменником генерала Гергея, сдавшегося русским, и на многочисленных офицерских собраниях требовали защиты крепости Коморн до последнего выстрела. В этом решении «красных республиканцев» поддерживала надежда на помощь со стороны еще боеспособных армий генералов Бема и Гюйона и на возможность английской интервенции.

Сохранилась стенографически точная запись одного из самых бурных заседаний совета артиллерийских офицеров в здании гостиницы «Оронь шош» («Золотой орел») 19 сентября 1849 г. На этом заседании капитан пехотной артиллерии Лапинский проявил себя как темпераментный оратор.

Приведу характерный отрывок из его речи: «...Мадьярская революция не имеет подобия в мировой истории. Среди других народов сто, двести, самое большое тысяча человек могли бы поднять знамя восстания и выступить против племени тиранов, но нация, которая вдохновила тысячи героев выступить на поле кровавых боев с деспотизмом и повела их от победы к победе, сумеет скорее добиться своей цели. Весть о погибших в бою гонведах на крыльях славы летит по всему миру. И теперь, когда сорная трава интриг и предательства вырвана там снаружи — в нашей армии, мы здесь трусливо и позорно предаем сами себя. Это преступление, которое ничем нельзя искупить, которое никогда не простит нам народ. Наша крепость держится потому, что еще не сломлена наша родина!»[25].

Генерал Клапка был чрезвычайно обеспокоен настроениями и замыслами «красных республиканцев» и, как справедливо замечает Маркс, проявил большую энергию в их преследовании.

Воспользуемся материалом, имеющимся в книге вождя ультра-мадьяр полковника Жигмонда Тали «Крепость Комаром (Коморн) во время войны за независимость Венгрии»[26]. Нужно отметить, что когда Энгельс занимался историей венгерской революции, Маркс в письме советовал ему прочесть эту книгу (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, М. — Л., 1929 г., стр. 389).

Тали пишет:

«Клапка посадил под арест Стефана Фрибейса, редактора коморнской (правительственной) газеты, за то, что тот написал передовую статью об обороне крепости...

...Патриотический энтузиазм расценивался как фанатизм и высокое сознание своего долга — как неподчинение...

...Чтобы пресечь все оппозиционные настроения, была создана военная полиция под начальством полковника Банди. Задачей ее было рассеивать все группы больше чем в пять человек на улицах, препятствовать всяким совещаниям, затрагивающим положение крепости, и, особенно, следить за тем, чтобы подобные разговоры не происходили в гостиницах и кофейнях».

Таким образом, создалась парадоксальная ситуация, когда генерал революционной армии начал преследовать офицеров, настроенных наиболее революционно.

Планы «красных республиканцев» действительно были очень рискованными.

Сам Лапинский рассказывает следующее: «25 сентября в 9 часов вечера собралась группа офицеров на квартире одного товарища. Совещание было очень серьезное, предметом обсуждения было положение крепости... Убедить генерала защищать крепость было невозможно, не только потому, что его окружало множество эгоистов, но и потому, что переговоры с неприятелем зашли настолько далеко, что Клапка, будучи последовательным человеком, уже не мог повернуть вспять. Бурно высказанное мнение большинства офицеров сводилось к тому, чтобы внезапно арестовать генерала со всем его штабом, ввести в крепости военное положение и избрать новое командование, — это должно было произойти мгновенно, чтобы на следующее же утро можно было сделать вылазку гарнизона под другим командованием и опрокинуть неподготовленного неприятеля, не давая времени своей собственной армии обдумать то, что произошло ночью. План был хорош, но он мог вызвать очень плохие последствия, потому что если бы хоть одному из арестованных удалось бежать и оповестить какой-нибудь батальон, то в Коморне началось бы сражение, которое карауливший нас неприятель заметил бы и сумел бы использовать. Конечно, это никого не страшило, но когда был брошен вопрос о том, кто должен взять верховное командование в крепости, то все смолкли...» [27].

Зная дальнейшую карьеру Лапинского, легко можно представить, что он сам рискнул бы пойти на такую авантюру, но этому воспрепятствовала крепостная полиция.

Лапинский рассказывает дальше:

«29-го сентября в 4 часа утра многие офицеры были внезапно арестованы по приказу генерала и предстали перед военным судом по обвинению в мятеже. Некоторые из арестованных присутствовали на собрании офицеров, происходившем 25-го, и какой-то негодяй, который хотел на этом что-то заработать и боялся за свою шкуру, донес об этом собрании генералу, присовокупив различные неверные и невероятные показания» [28].

Об этом же аресте с теми же подробностями вспоминает в своей книге Жигмонд Тали, а венгерский офицер Даниэль Гамари в своем дневнике «Коморн» [29] пишет, что в числе арестованных были главари движения: «полковник Тали и капитан Лапинский с товарищами».

«Военный суд, — пишет Лапинский, — на котором не выступил ни один обвинитель и, следовательно, обвинение не было поддержано никакими доказательствами и подробностями, был вынужден отпустить на свободу офицеров, и только некоторые, быть может, наименее виновные, но болтавшие больше других, оставались под арестом до вступления австрийцев» [30].

На этом заканчивается эпопея Коморна.

После сдачи Коморна (6 октября 1849 г.) Лапинский выехал через Болгарию и Сербию в Турцию в составе польского отряда, вступившего под командование генерала графа Владислава Замойского [31].

Некоторые эмигранты, опасаясь, что их выдадут австрийскому правительству, приняли ислам и поступили на службу к султану Абдул-Меджиду (генерал Гюйон под именем Хуршид-паши, генерал Кмети под именем Измаил-паши, генерал Бем под именем Мурад-паши, генерал Штейн под именем Фергад-паши и т. д.)[32]. Остальные эмигрировали в разные страны Европы, преимущественно в Англию, Францию и Германию.

Лапинский, в числе многих других эмигрантов, поселился в Гамбурге. Изгнанники венгерской революции были чрезвычайно приветливо встречены гамбургским обществом. В их честь устраивались банкеты и собирались большие денежные пожертвования [33].

Как уже было упомянуто, в Гамбурге Лапинский выпустил свою первую книгу у известных издателей Гоффмана и Кампе, издававших сочинения революционных писателей (в том числе и Герцена).

В Гамбурге Лапинский снова встретился с полковником Иоганном Бандей, тем самым, который был начальником полиции у Клапки и арестовывал мятежных офицеров в Коморне.

Полковник Бандя сыграл своеобразную роль в дальнейших взаимоотношениях Лапинского с Марксом и поэтому он заслуживает здесь краткой характеристики.

Иоганн Бандя, собственно Янош Бандя (Bandya János), принадлежал по рождению к старой дворянской венгерской фамилии. Он родился 2 декабря 1817 г. в поместье Апьён (в Прессбургском комитате).

По свидетельству одного из современников «Бандя владел небольшим поместьем вблизи Прессбурга, но благодаря слишком щедрому гостеприимству значительно уменьшил свое состояние» [34].



ЛАЙОШ КОШУТ

Фронтиспис книги: Kossuth L. «Meine Schriften aus der Emigration», 1880 г.

Как и Лапинский, Бандя получил военное образование и прослужил 7 лет в армии (с 1834 г. по 1841 г.) [35]. С 1841 г. он перешел на гражданскую службу в канцелярию окружного суда в Зибенбюргене, где и служил до 1845 г.

В 1845—1846 гг. Бандя совершил путешествие по Германии, Франции, Испании и Алжиру и, возвратившись в конце 1846 г. в Венгрию, женился на Антонии Виталь. В 1847—1848 гг. Бандя присутствовал на заседаниях венгерского парламента в Прессбурге и издал комментированный немецкий перевод законоположения о парламенте [36].

В 1848 г. Бандя вместе со своими друзьями предпринял издание в Прессбурге газеты на немецком языке и был ее редактором до августа 1848 г., после чего стал соредактором журнала «Мадьяр» в Пеште.

С начала венгерской революции Бандя вступил в революционную армию, получил в 1849 г. чин майора и, впоследствии, как мы уже знаем, был назначен

Клапкой на пост начальника «революционной полиции», в цитадели и городе Коморне [37].

Поселившись после капитуляции Коморна в Гамбурге, Бандя возобновил свою журнальную деятельность. По его собственным словам, «содержанием его статей была революция и война в Венгрии».

В 1850 г. Бандя переселился в Париж, где и прожил до конца 1853 г., часто наезжая в Лондон. Оставив свою первую жену в Венгрии, Бандя в Париже вступил в гражданский брак с молодой француженкой.

В 1851 г. Бандя организовал в Париже издание литографированного журнала.

К 1850 г. относится история знакомства Банди с Марксом. В своем памфлете «Господин Фогт» Маркс рассказывает, что в эмиграции Бандя был связан со «всевозможными партиями — орлеанистами, бонапартистами и т. д.», а также с полицейскими агентами всякой национальности. Чтобы объяснить Марксу столь широкий диапазон своих связей, Бандя показал ему «подписанный собственноручно Кошутом приказ, в силу которого он, бывший уже временным шефом полиции в Коморне при генерале Клапке, назначался шефом полиции in partibus (за границей). Тайный шеф полиции на службе у революции, он, конечно, должен был оставить для себя «открытым» доступ к полиции на службе у правительства» [38].

В своих беседах с Марксом Бандя выставлял себя отнюдь не последователем Кошута, а сторонником левой группы венгерской эмиграции (Семере и др.), к которой сочувственно относился Маркс.

Благодаря своим связям Бандя имел возможность сообщать Марксу интересные политические новости и пользовался его доверием. Поэтому, когда в апреле 1852 г. Бандя предложил Марксу [39] написать памфлет против лидеров немецкой «демократической» эмиграции и обещал издать его анонимно в Берлине, Маркс, списавшись с Энгельсом, ответил согласием.

Памфлет «Великие люди эмиграции» был написан, и Маркс передал Банде рукопись. Однако, ее издание оттягивалось под различными предлогами. Только через семь месяцев Марксу удалось узнать, что издателей Эйзермана или Кольмана, на которых указывал Бандя, вообще нет в Берлине. Еще позднее (в феврале 1853 г.) Маркс получил сведения, что Бандя продал рукопись агентам прусской полиции, уверив их, что это документ, полученный им из архива «тайного общества» коммунистов [40].

Так как оправдательные письма Банди были явно неубедительны, Маркс разоблачил Бандю, как полицейского шпиона, письмом в «Нью-Йоркскую уголовную газету» («New York Criminalzeitung»).

Несмотря на то, что даже после разоблачения Банди Кошут и его сторонники не отказались от его сотрудничества, Бандя все же был вынужден прекратить свою деятельность в Европе.

22 декабря 1853 г. Бандя приехал в Константинополь с рекомендательными письмами от партии Кошута, принял ислам и под именем Мехмед-бея вступил в турецкую армию в чине полковника генерального штаба (в феврале 1854 г.).

Во время Крымской кампании Мехмед-бей — Бандя сначала был в азиатской армии, а затем принимал участие в экспедиции турецкой армии, оккупировавшей Сухум-Кале и Анапу и завязал там сношения с черкесскими вождями.

Маркс продолжал следить за каждым действием Банди в Турции, как видно из писем Маркса к Энгельсу (Соч. т. XXII, стр. 19, 21, 52). 19 апреля 1854 г. Маркс писал: «Бандя в Эрзеруме, полковником; разумеется, называется Мехмед-беем, дал себя обрезать и принял магометанство. Возможно, что он прикомандирован в качестве шпиона к генералу Гюйону.» Энгельс ответил в письме около 21 апреля: «Бандя в Эрзеруме и будет посылать русским прекрасные донесения». В письме от 8 августа того же года Маркс писал: «Читал ли ты в газетах, что двух турецких офицеров, посланных от азиатской армии к «великому» демократу Шамилю-бею, сопровождал полковник Бандя?».

Наконец, Маркс в письме к Энгельсу от 18 марта 1857 г. так охарактеризовал деятельность Банди на Кавказе:



«ПРОХОДА НЕТ!»
Карикатура из журнала «Punch», 1849 г. на недопущение Кошута во Францию

«Этот самый Бандя с 1855 г. является подручным Сефер-паши. Он женился на дочери черкесского вождя (что должно одинаково обрадовать и его законную жену в Будапеште и его незаконную в Париже) и теперь сам стал черкесским вождем... Парень, видя что его роль на Западе уже сыграна, начал новую — на Востоке. Снова ли в качестве демократического шпиона или же bona fide [по убеждению] — вопрос другой» [41].

Хотя документальные сведения о браке Банди не сохранились, по ряду косвенных данных представляется вполне вероятным, что Бандя женился на родственнице Сефер-паши, бывшего владетельным князем черкесского племени шапсугов. В венгерской энциклопедии Синьэйя о жене Банди сообщается только, что она была очень красива и что ей было всего 15 лет от роду.

Черкессия того времени по своей социально-политической структуре представляла собой переходный тип от родового к феодальному обществу. Крупнейшие племена шапсугов и натухайцев распадались на четыре сословия: пши — князей, уорков — дворян, тхвохотлей — «свободных людей» (земледельцев) и пшитлей — рабов. В Черкессии были еще очень сильны пережитки родового быта, но страна уже была втянута в мировой оборот благодаря торговле с Турцией. Социальная борьба внутри племен определялась столкновением интересов двух партий: феодально-дворянской и земледельческой.

Сефер-паша, принадлежавший к древнему роду князей Заноко, был выразителем интересов дворянской партии. Ему противостоял Мохаммед-Эмин, выходец из Дагестана, наиб, назначенный Шамилем. Он был вождем племени абадзехов и по образцу своего учителя установил в их стране мусульманскую диктатуру. Мохаммед-Эмин был талантливым политиком и блестящим оратором. Один из современников назвал его «кавказским Демосфеном». В отличие от него Сефер-паша во всех исторических материалах [42] характеризуется как человек ограниченный, безвольный и сластолюбивый. Он долго жил в Турции, приобрел все привычки османского паши и злоупотреблял спиртными напитками. В год знакомства с полковником Бандей ему было около 60 лет.

Естественно, что Бандя, став ближайшим советником Сефер-паши, фактически направлял всю внешнюю политику черкесского князя.

Здесь линия действий Банди снова пересекается с линией Лапинского. Лапинский приехал на Восток на месяц раньше чем Бандя (в январе 1854 г.) вместе с графом Владиславом Замойским.

Племянник князя Адама Чарторыйского и лидер польской аристократической партии — граф Замойский во время Восточной войны был генералом английской службы и получил от лорда Пальмерстона разрешение на формирование польских легионов, которые должны были выступить вместе с союзниками против России. В то время в Турции уже были отряды поляков, украинцев и русских, носившие название «казаков султана Абдул-Меджида» и находившиеся под начальством Мехмед-Садык-паши (принявшего ислам польского эмигранта Михаила Чайковского). Граф Замойский при содействии английского посольства добивался отделения части этих отрядов от дивизии Чайковского для создания англо-польского легиона.

Во время Крымской войны в Стамбуле происходила борьба между тремя главными партиями польской эмиграции. В меньшинстве находилась республиканско-демократическая партия, к которой принадлежал поэт Адам Мицкевич. Ей противостояла партия монархически настроенного дворянства, видевшего в князе Адаме Чарторыйском будущего короля восстановленной Польши. Особое место занимала партия Садык-паши (Михаила Чайковского), политическая программа которой была основана на романтической идеализации вольной казацкой старины.

Чайковский мечтал об объединении славянских племен на началах казацкой вольницы [43].

В борьбе между этими партиями Лапинский принял участие, как агент партии Чарторыйского.

Переход Лапинского из лагеря республиканцев — «ультра-мадьяр» к представителям аристократической партии может на первый взгляд показаться странным, но надо принять во внимание, что уже в это время Лапинский успел превратиться в типичного военного профессионала, которых было так много среди польских и венгерских эмигрантов, служивших в турецкой армии.

У этой группы людей не было четкой политической программы. Их объединяли только негативные моменты и, в первую очередь, патриотическая ненависть к царской России.

Характерно, что в своей книге «Морская экспедиция повстанцев на Литву» сам Лапинский называет себя «революционным авантюристом».

Условия службы в турецкой армии способствовали тому, что у эмигрантов постепенно вырабатывалась психология наемных солдат, склонных к различным авантюристическим предприятиям.

Еще в 30-х годах XIX в. великий визирь Хозрев-паша, желавший перестроить османскую армию по европейскому образцу, открыл в нее широкий доступ иностранным офицерам. Этой же политики придерживался и сменивший его великий визирь Решид-паша. Даже главнокомандующий турецкой армией во время Восточной войны — Омер-паша принадлежал к этим иностранным выходцам (хорват по национальности, он в молодости бежал из австрийской армии и принял мусульманство).

Эта политика покровительствования иностранцам спасла много эмигрантов, не имевших на чужбине никаких средств к существованию, кроме «военного ремесла», но условия службы в османской армии, несомненно, оказывали на них деморализующее влияние.

Бывшие демократы и республиканцы нередко действительно становились ренегатами и утрачивали свои прежние убеждения. Карьеризм и интриги сделались обычными явлениями в этой среде.

Именно к этой части эмигрантов относятся резкие, но справедливые слова Маркса (в письме к Энгельсу от 26 августа 1854 г.):

«Насколько можно видеть из газет, венгерские и польские эмигранты только и делают в турецко-азиатской армии, что занимаются устройством скандалов, по-

гоней за должностями и мелкими интригами. Toujours les mêmes. [Всегда верны себе]» [44].

Моральный облик самого Лапинского достаточно ясно охарактеризован его начальником и покровителем графом Владиславом Замойским в письме к князю Адаму Чарторыйскому от 5 февраля 1854 года: «К сожалению Лапинский при его исключительных способностях дает различные доказательства нечистоплотного и легкомысленного отношения к деньгам» (оригинал письма в Архиве кн. Чарторыйских в Кракове; перевод дан по цитате из книги L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej, Warszawa, 1934, str. 178).



СЕФЕР-ПАША

Портрет из «Кубанского Сборника», т. X

Весной 1854 г. по приказу своего непосредственного начальника генерала Владислава Замойского Лапинский отправился в Бухарест в штаб-квартиру генералиссимуса турецкой армии Омер-паши. Вскоре Лапинский был назначен начальником генерального штаба 2-го армейского корпуса, стоявшего на Дунае и Серете под командой генерала Ахмед-Бюльбюль-паши [45].

В течение 1854—1855 гг. Лапинский принимал участие в военных действиях турецкой армии против русских на Дунае и позже сражался под Евпаторией и Севастополем в бригаде Искендер-паши (польского эмигранта Илинского).

Тогда же Лапинский получил турецкое имя Тевфик-бей, хотя и не перешел в мусульманство. В турецкой армии было принято давать европейским офицерам магометанские имена, так как произношение и правописание европейских имен было для турок затруднительно.

В конце 1855 г. Лапинский возвратился к генералу Замойскому и вступил в

его легион в чине «бин-баши» (майора). Однако, организация польских легионов в Стамбуле настолько затянулась из-за раздоров между различными партиями польской эмиграции, что полякам так и не удалось выступить на фронте.

1 февраля 1856 г. было заключено перемирие, а 30 марта был подписан Парижский мирный договор.

Еще в начале 50-х годов у Лапинского было намерение пробраться на Кавказ — к Шамилю или к черкесам. В этой идее не было ничего неожиданного. Польские эмигранты давно пытались наладить связь с горцами, среди которых всегда было много польских и украинских перебежчиков. В начале 40-х годов партия Чарторыйского направила к черкесам своих эмиссаров: Гордона и Зверковского (Ле Нуара), но оба кончили неудачно: Гордон был убит горцами, подкупленными русским военным командованием, а Зверковский был тяжело ранен [46].

В 1855 г. в Сухуме и Анапе одновременно с полковником Бандей находился агент Чарторыйского поляк Иордан-бей.

Во время восточной войны Лапинский пытался войти в переговоры с приезжавшим в Стамбул Мохаммед-Эмином, а после заключения мира встретился с Мехмед-беем — Бандей, вернувшимся с Кавказа.

В конце 1856 г. Лапинский совместно с Бандей и турецким генералом Фергад-пашей (австрийским ренегатом бароном Штейном) выработали план военной экспедиции в Черкессию [47]. Этот план встретил поддержку со стороны польской аристократической партии, так как диверсия на Кавказе составляла часть ее общего военного плана [48].

Денежные средства и военные припасы, необходимые для экспедиции, шли из двух источников: от генерала Замойского, т. е. из фонда бывших англо-польских легионов, и от черкесских патриотов, проживавших в Турции, Сирии и Египте, через посредство некоего Измаил-паши, директора оттоманской почты, черкеса по национальности [49]. Он поддерживал непосредственные связи со своей родиной, так как помимо государственной службы занимался торговлей невольницами. Существенную помощь оказал экспедиции английский посол в Стамбуле, яростный руссофоб лорд Стрэтфорд де Рэдклифф. Он был вдохновителем различных диверсий против России и еще раньше посылал на Кавказ своих агентов: Уркарта, Бэлла и Лонгуорта.

В политических кругах Высокой Порты лорд Стрэтфорд де Рэдклифф пользовался неограниченным влиянием. По свидетельству Вамбери султан Абдул-Меджид называл лорда Рэдклиффа «своим отцом и лучшим другом». По отзыву генерала Бема могущество лорда было так велико, что по его приказу в Константинополе «шел дождь или светило солнце» (письмо Бема от 8 мая 1850 г., цитируется в книге: Lewak A. Dzieje emigracji polskiej w Turcji, Warszawa, 1935, str. 88).

Несомненно также, что экспедиция не состоялась бы, если б ей не попустительствовали высшие турецкие сановники во главе с великим визирем Решид-пашей и военным министром Мехмед-Али-пашей [50]. Для закупки оружия и амуниции Бандя отправил в Европу своего друга полковника Стефана Тюрра.

17 февраля 1857 г. из Стамбула отправился английский пароход «Кэнгуру» под командой капитана Нэггса. На борту корабля находился отряд поляков и мадьяр — всего 75 солдат и 10 офицеров. Начальником отряда был полковник Мехмед-бей (Бандя), артиллерийский дивизион находился под командованием полковника Тевфик-бея (Лапинского).

В составе отряда было кроме поляков и мадьяр несколько турок, русских и украинцев, три молодых черкеса, один еврей и один американец.

Вслед за пароходом был отправлен турецкий парусник «Аслан» с транспортом пороха, снарядов и артиллерийских орудий.

Самое интересное в этой экспедиции — ее двойственный характер. Поляки приняли в ней участие с субъективным намерением помочь черкесам и создать свою военную базу на Кавказе, тогда как венгерские эмигранты (Бандя и Фергад-паша) преследовали совершенно особые цели.

Фергад-паша, находившийся в тайных сношениях с военным атташе русского посольства капитаном Франкини, сообщил ему о предполагавшейся экспедиции и

назвал имена лиц, замешанных в ее организации. В результате возникла резкая дипломатическая переписка между русским правительством и Высокой Портой. Ряд лиц, в том числе сам Фергад-паша, и директор почты Измаил-паша были арестованы по приказу султана. Материалы следствия, на котором выступал в качестве свидетеля граф Замойский и другие польские эмигранты, выросли до размеров огромного фолианта [51].

Еще до отплытия польско-венгерского отряда из Константинополя русский посланник в Турции Бутенев сообщил о готовящейся экспедиции наместнику Кавказа кн. Барятинскому, но русские крейсера не сумели задержать пароход «Кэнгуру» в пути и 23 февраля 1857 г. отряд благополучно высадился в Туапсе [52]. Здесь Сефер-



ОМЕР-ПАША

Портрет на титуле книги: Oliphant L. «The Trans-Caucasian Campaign of the Turkish Army», 1856 г.

паша устроил торжественную встречу Мехмед-бею (Банде), вручил ему знамя пророка (флаг зеленого цвета с изображением белого меча, полумесяца и звезды) и объявил его начальником вооруженных сил Черкессии [53].

7 мая начались первые стычки русских войск с черкесами на реке Адагуме (приток Кубани). Впервые со стороны черкесов начала действовать европейская артиллерия под начальством Лапинского.

В письме, отправленном из Черкессии Измаилу-паше весной 1858 г., Лапинский писал: «Сначала русские были ошеломлены гулом орудий; теперь же они смеются над ними; там, где я ставлю две пушки, они выдвигают двадцать, и если у меня не будет регулярного войска, чтобы оборонять мои орудия, русские захватят их, так как черкесы не умеют их защищать и мы сами будем взяты в плен» [54].

Русские выстроили на реке Адагум укрепление и в течение всего лета и осени 1857 г. совершали вылазки, не приносившие, впрочем, серьезного ущерба черкесам.

К отряду Бандя — Лапинского ежедневно присоединялись перебежчики из русской армии (главным образом, поляки, татары и украинцы). По сообщению Лапинского число их к концу года дошло до 800 человек.

Несмотря на эти внешние успехи, положение польского отряда в Черкессии было очень опасным. Русское командование мобилизовало лазутчиков и назначило премию в 3000 руб. за выдачу головы Лапинского.

Лапинский пытался провести в стране ряд нововведений: он потребовал освобождения русских перебежчиков, которых черкесы сделали рабами, и организации сборов зерна и мяса для содержания отряда.

Все это озлобило партию дворян и князей, приближенных к Сефер-паше. Одновременно Мехмед-бей — Бандя начал проводить свой план. Он вступил в тайную переписку с русским генералом Филипсоном, начальником правого крыла Кавказской армии.

В своих письмах Бандя, несомненно с ведома Сефер-паши, предлагал русским присоединить Черкессию мирным путем, признав ее подчиненной черкесскому князю под протекторатом русского царя. По его собственному выражению, Бандя хотел «сделать из Черкессии вторую Грузию». Точнее было бы сказать, вторую Абхазию, так как уже в то время абхазский князь Михаил Шервашидзе был верноподданным русского царя.

Так как Лапинский успел сблизиться с демократическими вождями черкесов и говорил только о продолжении партизанской войны с русскими, Бандя решил устранить его предательским путем. Под предлогом защиты турецко-черкесской морской торговли, страдавшей от набегов русских крейсеров, Бандя приказал Лапинскому выставить батарею в Геленджике и немедленно сообщил русским о том, что батарея Лапинского не имеет достаточного прикрытия.

Русские устроили морской набег и захватили батарею, но Лапинскому удалось спастись благодаря помощи прибрежных черкесов [55].

Лапинский все время следил за действиями Банди. Недоверие Лапинского к своему начальнику было пробуждено письмами польских эмигрантов из Константинополя и, несомненно, что главную роль во вторичном разоблачении Банди сыграли статьи Маркса. Сам Маркс рассказывает в гл. X «Herr Vogt»: «Я оповестил о прошлой карьере этого освободителя [разрядка моя. — *В. Г.*] в лондонской «Free Press», которая в большом количестве номеров расходится в Константинополе».

Вскоре Лапинский перехватил письмо Банди к генералу Филипсону, изобличавшее измену, и польские офицеры арестовали Бандю и двух его венгерских адъютантов (Ромера и Кёлера). В письме от 29 апреля 1858 г. Маркс сообщал Энгельсу: «Друг Бандя, as it seams [как кажется] был уличен сыном Сефера-паши в недозволенной переписке с русским генералом Филипсоном. Это значит, что он вместе с несколькими своими венгерскими и польскими сообщниками has been shot [расстрелян]» [56].

3 января 1858 г. в польском лагере в ауле Адерби началось заседание военного суда под председательством полковника Лапинского. Суд признал обвинение в измене доказанным и приговорил бывшего «главнокомандующего вооруженными силами Черкессии» к расстрелу.

Однако приговор не был приведен в исполнение, потому что Бандя был полковником турецкой армии и расстрел его мог бы повести к осложнениям в Турции.

В апреле 1858 г. Бандя был выслан вместе с женой и детьми на турецком паруснике в Константинополь. Здесь он возбудил письмом в газету «Presse d'Orient» от 26 апреля 1858 г. контр-обвинение против Лапинского в интригах и измене.

Для того чтобы парализовать эти обвинения, Лапинский отправил в Лондон

своего лейтенанта Штоха с обширными материалами заседания суда, заключавшими в себе письменное признание полковника Банди, копию перехваченного письма и свидетельские показания.

Эти материалы попали в распоряжение Маркса и были опубликованы в газете Уркарта «Free Press» 1858 г., VI, № 16 под общими заголовками «Новое предательство в Черкессии» и «Русский агент в Черкессии» [57].

Одновременно Маркс дал краткий очерк черкесской авантюры Банди в двух статьях в американской газете «New-York Daily Tribune» [58].

В первой статье Маркс подчеркивает, что роль Банди в черкесской экспедиции с самого ее начала была провокационной: «Для тех, кто знал предшествовавшую деятельность этого венгерского освободителя Черкессии, не было никаких сомнений, что он отправился в эту страну с одной только целью: продать ее России».

В своих письменных показаниях, данных на военном суде, Бандя объясняет свои сношения с Россией тем, что он действовал по инструкциям Кошута, который «направлял всю его политическую деятельность».

Однако, в письме, опубликованном в «Presse d'Orient», и в пометках, сделанных на копии показаний, Бандя категорически утверждает, что его признания подделаны. «Это роман, сфабрикованный частью в Константинополе г. И. [Иорданом. — *В. Т.*] и обработанный г. Лапинским, а частью в Черкессии... Этот документ имеет целью скомпрометировать одну высокую особу [Кошута. — *В. Т.*] и выманить деньги у одной великой державы» [Англии. — *В. Т.*].

Письмо Банди, написанное в тоне оскорбленной добродетели и изобилующее патетическими возгласами («в скором времени вся Черкессия отомстит за меня!»), вызвало резкую полемику между венгерскими и польскими эмигрантами в Стамбуле (см., например, протест польских офицеров, опубликованный в «Free Press», 1858, V, VI, № 16, и письмо венгерских эмигрантов в газете «Star», 28 июня 1858 г.).

Первоначально представители венгерской эмиграции взяли Бандю под защиту, но затем они были вынуждены публично признать его оправдания неубедительными. В настоящее время факт провокаторской деятельности Банди можно считать вполне установленным. Проделанная мною сверка английского перевода перехваченного письма Банди к генералу Филипсону (см. «Free Press», 1858, v. VI) с рус-



ГОРЦЫ ПОКИДАЮТ РАЗОРЕННЫЙ АУЛ

Гравюра из журнала «Illustration», 1855 г.

ским переводом того же письма, сохранившимся в кавказском военном архиве и опубликованным в «Кубанском Сборнике», т. X, неопровержимо доказывает его аутентичность.

На этом была закончена карьера авантюриста и шпиона Банди.

Однако, благодаря поддержке Кошута и многих турецких сановников, он сумел получить пост начальника турецкой полиции в Стамбуле. На этом достойном посту он служил в течение 10 лет до своей смерти.

Умер Мехмед-бей правоверным магометанином 16 февраля 1868 г. в возрасте 51 года, оставив после себя трех дочерей и сына — Мустафу.

Разоблачение и высылка Банди не прекратили раздоров в Черкессии.

В кратком изложении последовательность событий такова: недовольный Лапинским Сефер-паша отрешил его от должности командующего польским отрядом и на место Лапинского был назначен поручик Марецкий.

Тогда Лапинский вместе с прибывшим из Константинополя поручиком Конарцевским задумал бежать из Шапсугура (резиденции Сефера) к наибу Мохаммед-Эмину [59]. Узнав об этом Сефер-паша арестовал Лапинского и посадил его под стражу, но 29 ноября 1858 г. Лапинский был освобожден офицерами Конарцевским, Штохом и Станкевичем при содействии враждебного Сеферу вождя независимых горных шапсугов Хантоху.

В январе 1859 г. Лапинский с частью верных ему солдат и офицеров перешел к Хантоху в горный аул на реке Анчир и вскоре завязал сношения с Мохаммед-Эмином [60].

3 июля 1859 г. Лапинский и Мохаммед-Эмин заключили договор, по которому наиб Шамиля брал на себя обязательство предоставить польским легионерам помещение и снабжать их необходимым продовольствием, лошадьми и фуражем, а Лапинский от имени князя Адама Чарторыйского обещал достать оружие и амуницию для 250 солдат и «содействовать сношениям его сиятельства М. Эмин-Паши с правительствами и народами Европы».

Однако, несмотря на настойчивые письма Лапинского о недостатке оружия и патронов и на хлопоты в Стамбуле Замойского и его агентов — братьев Иордан — английское правительство категорически отказалось помогать черкесам в военных действиях против русских.

16 января 1860 г. умер главный враг наиба Мохаммед-Эмина — старый князь Сефер-паша, но еще раньше, после сдачи Шамиля русским в Дагестане (26 августа 1859 г.) абадзехи склонили наиба присягнуть на верность русскому царю (2 декабря 1859 г.).

Через три дня после этого события Лапинский с большей частью своего отряда покинул Черкессию и на турецкой шхуне возвратился в Константинополь.

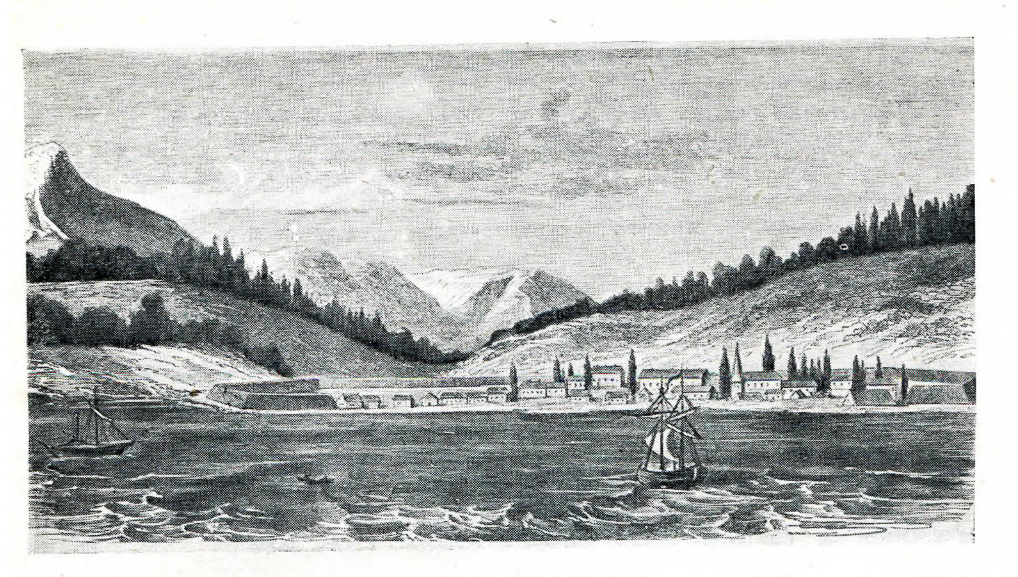
К этому времени относится один из самых темных моментов политической биографии Лапинского.

В мае 1860 г. он подал состоявшему при русской императорской миссии в Константинополе капитану В. А. Франкини обширную докладную записку, заключавшую в себе детальный стратегический план покорения черкесов.

Приведу отрывок из этой записки в переводе, сделанном в канцелярии русского посольства: «Укрепление в Пшаде следовало бы занять примерно 3 т[ысячи] человек, чтобы быть в силах устоять против всякого покушения горцев и иметь самому возможность предпринимать самостоятельные экспедиции для разорения находящихся еще в горах аулов. Укрепление в горах между источниками рек Хабль и Азипс нужно занять гарнизоном в 2 батальона»... и т. д. [61].

Эта «докладная записка» совершенно перестраивает представление о Лапинском, как о честном деятеле революционной эмиграции.

Несомненно, что Лапинский, столь сурово осудивший шпионскую деятельность Банди, сам выступает здесь в роли провокатора, работающего на пользу царской России и предающего дело освобождения черкесов. Таков путь человека, в юности бывшего революционером и через военные авантюры дошедшего до прямого предательства.



УКРЕПЛЕНИЕ ГЕЛЕНДЖИК

Гравюра из журнала «Illustration», 1855 г.

Трудно объяснить только тот факт, как мог Лапинский, при его ненависти к русским, предложить им план покорения черкесов.

В 1860 г. Лапинский вернулся из Турции в Европу и начал работать над своей книгой о Кавказе, а в 1862 г. приехал в Лондон, представлялся Пальмерстону и пытался убедить его в необходимости английской интервенции на Кавказ.

Тогда же Лапинский познакомился со знаменитым туркофилом, агентом английского правительства, Дэвидом Уркартом, который, по словам Маркса, сочувственно отнесся к идее «invasion on the Caucasus» (вторжения на Кавказ).

Нужно отметить, что Дэвид Уркарт был одним из первых европейцев, которые вошли в непосредственные сношения с черкесскими вождями. Еще в 1834 г., находясь на службе в английском посольстве в Константинополе, Уркарт, под именем Дауд-бея, приехал в Черкессию и провел несколько совещаний с вождями шапсугов и натухайцев. Три года спустя в Черкессию прибыли агенты лорда Стрэтфорда де Рэдклиффа Бэлл и Лонгуорт, и начиная с этого времени Уркарт все время поддерживал сношения с черкесами [62].

Уркарт был убежденнейшим туркофилом и столь же непримиримым руссофобом. Вся его публицистическая деятельность в течение 30 лет была посвящена разоблачению политики лорда Пальмерстона, по его мнению подкупленного Россией. Несмотря на односторонность своих политических взглядов, Уркарт был прекрасным знатоком восточного вопроса и Маркс неоднократно советовался с ним и одно время даже сотрудничал в его газете «Free Press». Естественно, что Уркарт должен был обратить внимание на Лапинского. В своих мемуарах Лапинский утверждает даже, что сам Уркарт вызвал его в Лондон, чтобы поставить его во главе черкесской депутации, но это хвастливое преувеличение.

В том же 1862 г. Лапинский выпустил в шеффильдском издательстве Уркарта памфлет на английском языке, направленный против экспансии России на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке «Memoir on the progress of Russia since the peace of Paris» («Заметки об успехах России со времени Парижского мира»). Характерно, что заглавие этой брошюры совпадает с заглавиями ценимого Марксом и Энгельсом памфлета Мэк-Ниля [63] и двух книг самого Уркарта [64].

Однако, из переговоров Лапинского с Уркартом не вышло ничего реального, как свидетельствует рассказ Лапинского Марксу, изложенный Марксом в письме к Энгельсу (от 15 сентября 1863 г.).

«Некоторое время он [Лапинский] здесь возился с Уркартом, но теперь он

не только считает его «шарлатаном», но даже — и совершенно напрасно — сомневается в самой его честности.

«Черкесские» князья, которых Уркарт и Лапинский показывали в Англии, были два раба. Лапинский утверждает, что Уркарта водит за нос Замойский, который в свою очередь является орудием Пальмерстона, следовательно, косвенно орудием русского посольства. Хотя-де он сам католик, но ему [Лапинскому] в высшей степени подозрительны отношения, существующие между Уркартом и католическими епископами в Англии. Когда нужно было «действовать», — например, снарядить польский корпус для вторжения на территорию черкесов, что и Лапинский считает лучшей диверсией, Уркарт под влиянием Замойского отказался содействовать этому предприятию. Он, вообще, только любит «болтать». Он «большой враль» и он [Лапинский] особенно ему не может простить, что он сделал его [Лапинского], без предварительного его согласия, соучастником своей лжи. На территории черкесов никто не знает Уркарта, который без знания языка провел там 24 часа. Как пример уркартовской фантазии он мне привел тот факт, что Уркарт хвастал перед ним, будто он [Уркарт] убил чартизм в Англии»[65].

В 1863 г. снова в издательстве Гоффмана и Кампе вышел первый том книги Лапинского на немецком языке: «Горцы Кавказа и их борьба с русскими за свободу».

Второй том этой книги был издан в том же году со следующим любопытным предисловием издателей: «Автор предлагаемого труда имел намерение включить между последней и предпоследней главой этого тома подробное описание событий на Кавказе в течение 1861 и 1862 гг., для чего ему предоставили богатый материал сообщения посланных черкесского народа, прибывших в Англию осенью прошлого года. Однако, у господина полковника Лапинского не было времени обработать свои заметки для печати, потому что, как нам сообщают из Англии, святой долг любви к отечеству внезапно вызвал его в Польшу. Доблестный автор этой книги, который в 1849 г. в Венгрии и позже в горных теснинах Кавказа противостоял вечному врагу своей отчизны, сегодня снова поднял меч за дело свободы и независимости и, как прежде на чужбине, так ныне на родине, соединился со своими братьями, чтобы побороть варваров Востока.

Пусть же его ценный труд поможет разъяснить населению Средней и Западной Европы ту опасность, которой каждая новая победа России, каждое усиление ее могущества угрожают святым началам свободы и человечности».

IV

Весной 1863 г. полковник Лапинский принял участие в польском восстании. История второй и последней экспедиции Лапинского во главе польских повстанцев затрагивается в целом ряде материалов[66].

Целью экспедиции, организованной по поручению Временного Национального Правительства, был десант польского отряда на берегах Литвы для соединения с находившимися там партизанскими отрядами повстанцев. В составе экспедиции, по словам Лапинского, было 141 человек рядовых: 86 поляков, 22 француза, 16 итальянцев, 3 англичанина, 3 немца, 3 швейцарца, 2 русских, 2 бельгийца, 2 мадьяра, 1 голландец и 1 хорват. Кроме того было 23 человека командного и вспомогательного персонала (в том числе 5 иностранных офицеров).

Познакомившись в Лондоне до начала экспедиции с Герценом и Огаревым, Лапинский договорился с ними об участии в экспедиции Михаила Бакунина, который присоединился к отряду 26 марта в шведском порте Гельсинборге.

Экспедиция была организована недостаточно конспиративно и, в результате, превратилась в трагическую пародию на черкесскую экспедицию Лапинского.

Экспедиционный отряд отправился 23 марта 1863 г. из Лондона на английском пароходе «Уорд Джэксон» под командой капитана Роберта Уоссерли, так же, как первая экспедиция на английском пароходе «Кэнгуру» под командой капитана

Нэггса. Но в отличие от капитана Нэггса, капитан Уоссерли оказался трусом и в страхе перед русскими крейсерами сбежал с парохода в Копенгагене. Отсюда пароход под командой датского капитана направился в шведский порт Мальмэ, где и был задержан 30 марта по приказу шведского правительства.

Из секретной переписки русского посла в Швеции с министерством иностранных дел видно, что русские агенты внимательно следили за каждым действием Бакунина и Лапинского в Скандинавии. Так, в секретной депеше от 26 марта сообщается в Петербург о поездке Бакунина вместе с Лапинским из Мальмэ в Копенгаген, а в депеше от 29 марта о встрече Лапинского с приехавшим в Швецию Владиславом Мицкевичем (сыном поэта).



МОХАММЕД-ЭМИН

Портрет из «Казказского календаря на 1861 го-»

В своих воспоминаниях Владислав Мицкевич дает чрезвычайно резкую характеристику Лапинскому: «Лапинский, экс-агент Чарторыйского на Кавказе, был одним из тех авантюристов, которые вмешивались в разные предприятия эмиграции, чтобы получить если это возможно, деньги, и во-время исчезнуть. Было преступлением доверить столь важное командование этому подозрительному пьянице. Я узнал, что он шатается по кабакам, а друзья-шведы сообщили мне, что если пароход спешно не выйдет в открытое море, то потом будет уже поздно».

По словам Мицкевича он убеждал Бакунина, что нельзя оставлять отряд волонтеров «под командой Лапинского, который сам подает им пример дурного поведения» и является «индивидуумом аморальным и вредным», но Бакунин защищал Лапинского [67].

Свидетельство Мицкевича не может быть беспристрастным, так как он относился к Лапинскому, как к представителю враждебной политической партии. Однако, для характеристики образа жизни Лапинского небезинтересны записи в

дневнике одного из волонтеров, Владислава Марцинковского, совпадающие с отзывом Мицкевича: «Полковник пьет вино бордо, а нас оставляет голодными. Он спаивает женщин и ест изысканные кушанья за деньги несчастных поляков. Как такой человек мог руководить экспедицией, в которой нужно столько внимания к вещам, казалось бы, самым незначительным. Он кутит в то время, когда его подчиненные терпят голод и жажду на корабле, полном насекомых» [68].

Судьба экспедиции осложнялась еще тем, что правительственный комиссар экспедиции, назначенный Жондом Народовым (Временным Национальным Правительством), Юзеф Демонтович не доверял Лапинскому и ссорился с ним. По мнению Герцена экспедиции вредил и секретарь Лапинского, взятый им в Лондоне, Стефан Полес (он же Тугендгольд). Однако, подозрение Герцена, что Полес был русским агентом, пока не подтверждается данными русских архивов [69].

После двухмесячного пребывания в Швеции Лапинский с частью отряда предпринял отчаянную попытку десанта.

На датской шхуне «Эмилия» отряд приблизился к берегам Литвы недалеко от Мемеля и ночью 11 июня 1863 г. была спущена на воду большая шлюпка с волонтерами, которую вела на буксире к берегу лодка с офицерами.

Вот как описывает сам Лапинский этот трагический эпизод в своих воспоминаниях:

«В течение пяти минут первый транспорт был уже в лодках и, попрощавшись с капитаном, мы отшвартовались от корабля. Уже при посадке море не было таким спокойным, как днем, и ветер дул с берега. Едва лишь мы отдалились на двести саженей от корабля, как первая слабая волна ударила по лодкам и словно буря только поджидала нас, вдруг поднялся сильный ветер и с каждым мгновением море становилось все более бурным. Матросы с натугой налегали на весла, а я сам сидел за рулем. Но наши усилия были тщетны, мы видели, что вместо того, чтобы приближаться к берегу, нас относило крепчающим ветром все дальше в море, волны все яростней хлестали шлюпку и наполняли ее водой. Положение стало критическим, нужно было возвращаться на корабль, который, неизвестно по какой причине, вместо того, чтобы держаться поближе к нам, отдалился от нас на добрых полмили. Я дал сигнал тревоги несколькими выстрелами из револьвера, но корабль не приближался. Солдаты с большой шлюпки кричали, что вода им доходит до щиколоток, и вскоре уже до колен. Я приказал им вычерпывать воду манерками, но это очень мало помогло. Едва они успевали вычерпать немного воды, как новая волна наполняла шлюпку.

Я не мог понять, почему корабль не идет к нам на помощь и несколько раз давал тревожные выстрелы. Наконец, там подняты паруса, он приближается к нам — вот-вот он около нас на расстоянии десяти локтей, но вдруг, не спуская парусов, он стрелой проносится мимо и во мгновение ока снова отдаляется от нас на двести саженей. На палубе слышны голоса и шум, на шлюпках царит молчание и спокойствие, хотя уже каждому понятна грозная опасность. Неутомимо продолжается борьба, гребцы делают нечеловеческие усилия, солдаты и офицеры изо всех сил вычерпывают воду, но буря еще усиливается, вал за валом обрушивается на лодку. Большая шлюпка уже полна водой до краев, солдаты сидят по пояс в воде. В маленькой лодке, более крепкой и лучше сделанной, воды еще сравнительно мало.

Так мы боремся минут пятнадцать, тем временем корабль, как одурелый, мечется то в ту, то в другую сторону, но не приближается к нам; наконец, он подходит к нам на расстояние ста саженей, а меж тем огромная волна набегает на нас сбоку, а меньшую лодку удается с помощью весел и руля временно привести в равновесие.

С жалобным протяжным криком, с криком смерти настолько страшным, что задрожал даже я, человек, не отличающийся слабостью нервов и ни на мгновение не утративший хладнокровия в продолжение всей катастрофы, с криком, которого я не забуду до своей смерти, тридцать шесть моих лучших товарищей погрузились в бурные волны. Первая лодка еще держалась на поверхности, но прикрепленный

к большой шлюпке канат тянул ее корму вниз, а нос ее встал на дыбы. Еще секунда и мы погибли. В это мгновение я схватил топор, лежавший у моих ног, и с ловкостью, которой я сам в себе не подозревал, перерубил канат. Лодка выпрямилась, матросы напрягли свои силы и мы отплыли от места катастрофы» [70].

Это описание, сделанное пятнадцать лет спустя, в общих чертах совпадает с тем, которое сделал через несколько дней после катастрофы волонтер француз Анри Ружемон. Однако, в отличие от Лапинского он говорит о том, что шлюпка наполнилась водой не от шторма, а оттого, что дно шлюпки давало течь и вовсе не упоминает о загадочных эволюциях корабля.



ШАМИЛЬ

Портрет из «Кавказского календаря на 1861 год»

«Едва мы вошли в шлюпку, как она стала наполняться водой, проникавшей через дно. Однако, радость не покидала нас, наоборот, многие из молодых храбрецов, которые должны были через несколько минут умереть, находили еще возможным подшучивать над своевременностью устроенной нам ножной ванны. Была глубокая ночь, и в море вода прибыла от ветра с суши. Вода все поднималась в шлюпке, она доходила нам почти до колен, гребцы лодки, извешенные об опасности криками ужаса самых молодых из нас (были шестнадцатилетние), удвоили свои старания, но мы шли против ветра, и шлюпка была почти полна. Это был момент невыразимой тоски: тридцать два человека поднимали к небу умоляющие взоры, и бог принимал их немую и торжественную молитву. Затем волна покрыла все, раздалось несколько криков и в продолжение нескольких минут можно было видеть редких пловцов, храбро, но бесплодно боровшихся с яростью волн. Лодка с нашими офицерами, буксировавшая нас, перерезала свой канат и убегала при помощи весел от этой ужасной сцены» [71].

Сохранилось еще третье воспоминание об этой катастрофе в дневнике Марцинковского, которое дает некоторые ценные подробности:

«Ганкевич и я сели в лодку, которая должна доставить большую шлюпку на берег. Два матроса тоже берутся за весла. Янджеевский правит рулем. Полковник, капитан Пеллегрини и капитан Тышкевич уселись на корме. Отплываем. Шлюпка погружена в море до бортов. Шлюпка эта — новая и вода проникает в нее со всех сторон; впрочем велика и тяжесть всех этих людей, снабженных ранцами, саблями, ружьями, револьверами, подсумками и патронами. И вот уже через несколько минут мы слышим тревожные крики: «Мы тонем!» Полковник приказывает выбросить все ранцы в море. Некоторые солдаты сделали это, другие еще держат свои ранцы за ремни. Кричим им, чтобы бросали. Тревога растет. Изо всех сил мы взываем к кораблю, чтобы он подъехал к нам, потому что противный ветер мешает нам к нему приблизиться. Но корабль далеко. Страшное отчаяние царит на шлюпке, которая уже полна водой. Мы исступленно гребем. Внезапно раздается невероятный крик ужаса и несчастные волонтеры погружаются в бездну. Большинство из них больше не показалось на поверхности, но несколько немного умеющих плавать взывают о помощи. Шутник Тибо в то мгновение, когда тонул, крикнул нам: «Идем к акулам, похлопочем о вас». Лосевич держит портрет женщины, целует его и тонет.

Еще минута и наша лодка будет захвачена потерпевшими крушение.

Молодой матрос перерубил канат, который запутался в ногах капитана Тышкевича. Двумя ударами весел мы добрались до корабля» [72].

Из тридцати двух волонтеров удалось спасти только восемь.

Так закончилась третья и последняя авантюра Тевфик-бея — полковника Лапинского.

Неудача десанта заставила Лапинского отказаться от продолжения экспедиции Шхуна «Эмилия» повернула к шведскому острову Готланду. Здесь остатки отряда были задержаны полицией и на шведском фрегате препровождены в Лондон.

Герцен вспоминает в «Былом и думах»: «Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон. «Остается одно, — говорил он, — составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников... или ехать опять на Восток в Турцию» [73].

Именно в это время Лапинский познакомился с Марксом и беседовал с ним по вопросу об организации немецкого легиона на помощь Польше.

Этой идее не суждено было осуществиться не только из-за отсутствия необходимых средств, но, повидимому, и потому, что польское Временное Национальное Правительство, надеясь на военную поддержку европейских держав (Франции, Англии и Швеции), боялось допустить на территорию Польши национально-революционные отряды. Поэтому, например, не была реализована аналогичная мысль об организации итальянского легиона.

После подавления польского восстания Лапинский переселился в Париж.

По некоторым местам из его мемуаров Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę» можно судить, что Лапинский путешествовал в конце шестидесятых годов по Италии и по Испании, в 1867 г. был в Париже и затем в Швейцарии, где снова встретился с Герценом [74].

Повидимому, в начале 70-х годов Лапинский был амнистирован австрийским правительством и переселился на родину в Галицию.

Умер Лапинский в возрасте 59 лет в 1886 г.

V

Литературная деятельность Лапинского, помимо журнальных статей и памфлетной брошюры, исчерпывается тремя книгами мемуарного характера.

Первая книга Лапинского «Поход главной венгерской армии в 1849 году» построена на основе его дневников и написана чрезвычайно сухо и лаконично.

В предисловии к этой книге Лапинский писал:

«Побуждаемый моими знакомыми обнародовать пережитое мной во время венгерского похода, я выбрал из моего дневника все наиболее значительное и интересное.

Все, что я рассказываю, — это факты; я не пощадил ни одну партию, где она заблуждалась, и не отказывал ей в признании, где она того заслуживала. Мой стиль, может быть, шероховат, но я признаюсь откровенно, что у меня нет гладкости журналистов, я писал так, как я чувствовал и как подсказывало мне внутреннее убеждение. Особенно я стремился рассеять тьму, которая до сих пор скрывает поступки и личность Гергея и которую многие до сих пор стараются сохранить в неприкосновенности».

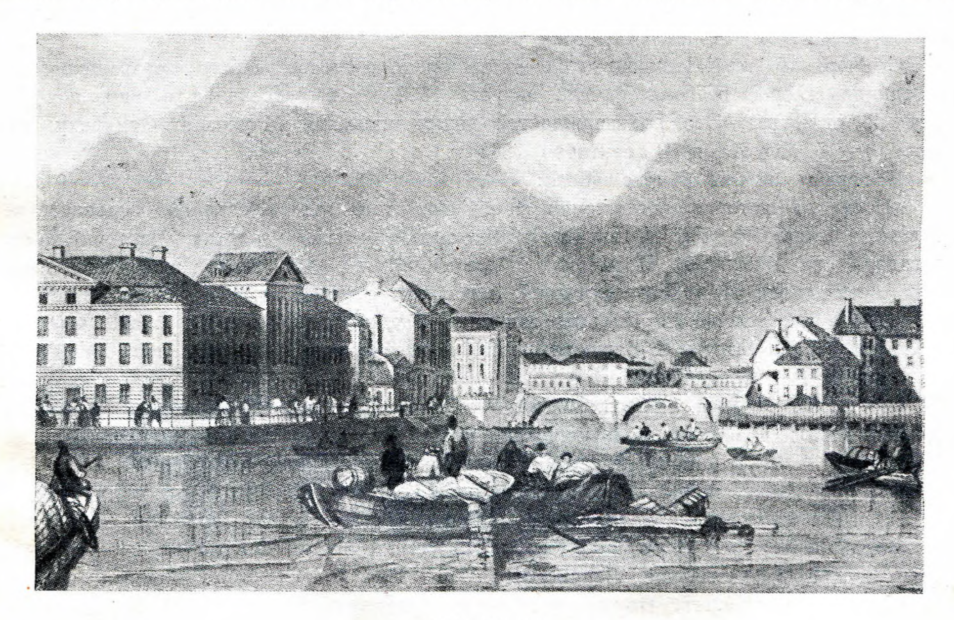
Вторая книга Лапинского «Горцы Кавказа и их борьба с русскими за свободу» значительно отличается от первой сложностью своего построения и обнаруживает явное желание автора по-своему препарировать фактический материал.

В первом томе Лапинский дает подробное описание гражданской организации, быта и нравов черкесов и отводит много места собственным научным (вернее наукообразным) рассуждениям об этнологических и лингвистических связях кавказских горцев. Этот том заканчивается памфлетной главой об экспансии русских на Восток.

Во втором томе Лапинский рассказывает о своей экспедиции к черкесам, причем во многих местах сознательно нарушает историческую достоверность и беллетризирует материал. Прежде всего он совершенно отбрасывает историю интриг и предательства полковника Банди и даже не упоминает о его участии в экспедиции.

События, описываемые в книге в момент ее опубликования (1863 г.), были еще у всех на памяти и разоблачение организационной стороны экспедиции могло бы вызвать дипломатические неприятности. Поэтому Лапинский совершенно замалчивает или упоминает только вскользь причастность многих лиц к экспедиции (лорд Стрэтфорд де Рэдклифф, генерал Замойский, его агенты Калинка и братья Иордан, Фергад-паша и др.).

Зато фигуры главных участников событий: директора оттоманской почты Измаил-паши, черкесского князя Сефер-паши, его сына Ибрагима Карабатыря, наиба



СТОКГОЛЬМ

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

Мохаммед-Эмина, лейтенанта Арановского и др. охарактеризованы с несомненным литературным дарованием. Отдельные черты их характеристики намеренно сгущены и подчеркнуты, описание злоключений польского отряда сделано с явной установкой на героизм, однако сравнение с историческими материалами показывает, что Лапинский в общем правильно излагает основные события и роль отдельных лиц в черкесской эпопее.

И, наконец, третья книга Лапинского «Морская экспедиция повстанцев на Литву», формально принадлежащая к жанру мемуаров, по методу своего построения скорее напоминает авантюрный исторический роман и отличается типичными романными приемами: временными перестановками, диалогами, искусственным сведением главных героев в одном месте и т. д.

Нужно вспомнить, что эта книга вышла через пятнадцать лет после описываемых событий. Сам Лапинский говорит, что дневниковые записи, веденные им во время польского восстания, были им потеряны во время поездки в Швейцарию и некоторые эпизоды и имена изгладились из его памяти [75].

В то время, когда Лапинский писал свои воспоминания, большинства описываемых им лиц уже не было в живых и это дало ему возможность свободно распоряжаться материалом.

В последние годы своей жизни Лапинский, повидимому, совершенно отошел от политической жизни. Только этим можно объяснить его сообщения о том, что Маркс в годы знакомства с ним (т. е. в 1863 г.) «еще только начинал выступать на политической арене» и т. п.

Целью Лапинского является доказать, что он был вовлечен в польскую экспедицию против своего желания и оправдаться в ее неудаче. Поэтому он преувеличивает роль Герцена в подготовке экспедиции и создает эффектную, но совершенно недостоверную сцену свидания знаменитых революционеров, в том числе и Маркса, на квартире Герцена.

Знакомство Лапинского с Марксом на квартире Герцена не могло состояться, прежде всего потому, что Маркс никогда не бывал у Герцена.

В действительности, Лапинский познакомился с Герценом в Лондоне до отправки экспедиции, приблизительно в январе — феврале 1863 г. и несколько раз бывал у него в доме, как видно из цитированных мною писем Герцена и посвященной Лапинскому главы «Былого и дум».

С Марксом же Лапинский познакомился уже после своего возвращения из экспедиции, скорее всего в начале августа 1863 г., и встречался с ним, повидимому, не один раз. Это подтверждается двумя письмами Маркса к Фридриху Энгельсу от 15 августа и 12 сентября 1863 г.

В первом письме Маркс писал:

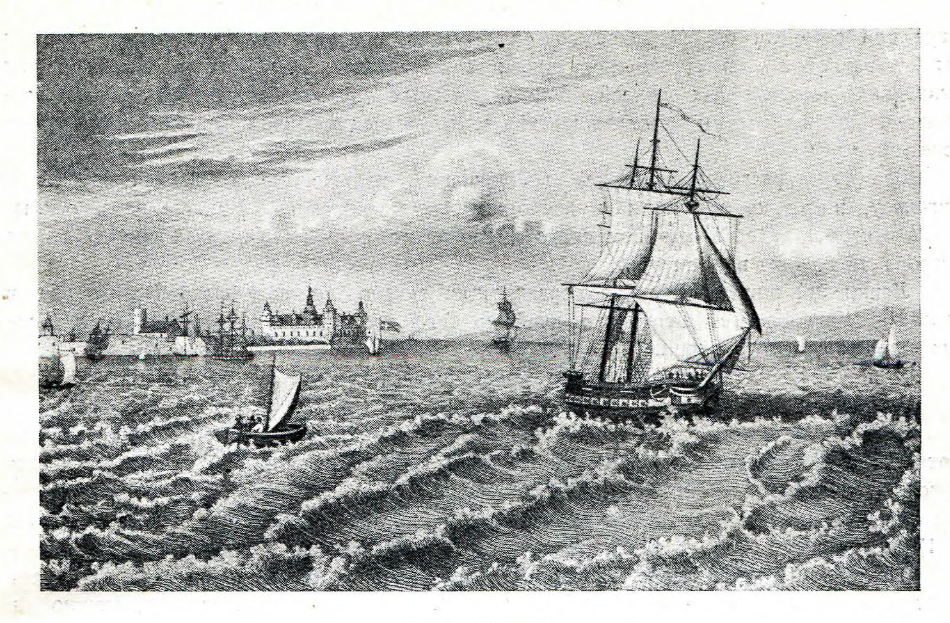
«Польская история совершенно испорчена тем же Бустрапой [ироническое прозвище Наполеона III] и влиянием, которое получила партия Чарторыйского, благодаря его интригам. Полковник Лапинский, который всего несколько дней назад возвратился из своих скитаний, начатых совместно с Бакуниным и столь великолепно прекращенных Пальмерстоном у шведского побережья, очень жалуется на то, что комитеты в Варшаве, Лондоне и Париже находятся под бонапартистско-чарторыйским влиянием» [76].

Сообщение Маркса любопытно тем, что оно характеризует колебания во взглядах Лапинского во время польского восстания. Оно подтверждает мнение Герцена о том, что у Лапинского не было твердых политических убеждений и что ко всякой революции и войне он относился, прежде всего, как «военный по ремеслу».

В своих разговорах с Марксом Лапинский, повидимому, пытался выставить себя радикальным республиканцем и демократом. В этом смысле характерно, например, такое высказывание Лапинского:

«Лапинский говорит, что крестьян — эту «насквозь реакционную сволочь» de prime abord [на первое время] пришлось оставить в покое. Но сейчас они уже созрели и наверное восстанут поголовно по приказу правительства» [77].

Во втором письме к Энгельсу Маркс подробно излагает свой разговор с



ПРОЛИВ ЗУНД

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

Лапинским и, таким образом, мы имеем возможность проверить темы их беседы, указанные в воспоминаниях Лапинского.

Естественно, что большое место заняли в разговоре Дэвид Уркарт и роль венгерских эмигрантов в черкесской истории. Маркс пишет:

«Лапинский заявил мне, что нет ни малейшего сомнения, что не только у Банди, но и у Штейна, Тюрра, Клапки и Кошута существует соглашение с Россией» [78].

Шпионская связь Банди и Штейна с русским правительством подтверждается целым рядом фактов и документов, но о русских связях полковника Тюрра, впоследствии отличившегося в гарибальдийском движении, у нас нет достоверных данных. Что же касается соглашения Кошута и Клапки с Россией, то, повидимому, Лапинский намекал на идею Кошута о сближении Венгрии с Россией, приведенную в показаниях Банди.

В той же беседе Лапинский достаточно иронически отозвался о русских эмигрантах: «Герцен и Бакунин, по словам Лапинского, совершенно chap fallen [приуныли], ибо русские, если их немного поскрести, все-таки оказываются татарами. Бакунин превратился в чудовище, a huge mass of flesh and fat [огромную тушу мяса и жира], он с трудом может передвигаться. Кроме того, он бешено ревнует свою семнадцатилетнюю польку, которая вышла за него замуж в Сибири из-за его мученичества. Сейчас он в Швеции и делает там «революцию» с финнами» [79].

С этим отзывом о Бакунине любопытно сопоставить одно место из мемуаров Лапинского «Powstańcy na morzu», где он рассказывает, что только познакомившись с женой Бакунина — Антосей Квятковской — он понял самопожертвование Бакунина, отправившегося в опаснейшую экспедицию.

Однако, в тех же мемуарах Лапинский не один раз вспоминает о Герцене с большим уважением, как об истинном друге дела освобождения народов.

Вот что, например, говорит Лапинский о Марксе, Огареве и Герцене:

«Имена людей, о которых я здесь вспоминаю, принадлежат истории и известны всему миру. Можно иметь отличные от них политические убеждения, но нельзя отказать им в высокой оценке. Это не были политические спекулянты, гоняющиеся за удовлетворением личных потребностей, каждый из этих людей, как будто вылитый из меди, недоступен был соблазну, всякие сокровища и все блага этого

мира они отвергли бы с гордостью, если бы за них должны были отступить хотя бы от единой буквы своего политического катехизиса. Мы, поляки, имели в них искренних и сердечных друзей, память которых должна остаться для нас священной, потому что, к сожалению, их всех, за исключением Маркса, призвала к себе смерть»[80].

Все темы разговоров Маркса с Лапинским, изложенные в письмах Маркса к Энгельсу, никак не отражены в воспоминаниях Лапинского. Единственное исключение — вопрос о создании немецкого легиона, который должен был выступить на стороне польских повстанцев.

Лапинский пишет, что идею организации такого легиона выдвинул Маркс в беседе с Лапинским за несколько дней до того, как Лапинский принял командование над польским отрядом.

В действительности, дело происходило иначе.

Маркс писал Энгельсу:

«Его [Лапинского] целью в Лондоне является сейчас образование легиона хотя бы в 200 человек, который выступил бы против русских в Польше под черно-красно-золотым знаменем, отчасти для того, чтобы «позлить» французов, отчасти же для того, чтобы попытаться хоть в последний раз «привести в чувство» немцев в Германии.

Нехватает только денег. Предпринимаются попытки использовать для этой цели все здешние немецкие ферейны и т. д. Ты лучше всех знаешь, можно ли сделать что-нибудь в этом line [направлении] в Манчестере. А дело само по себе великолепное»[81].

Итак, разговор между Марксом и Лапинским о создании немецкого легиона действительно происходил, но не до отправления Лапинского в экспедицию, а после его возвращения. Перенос этого разговора во времени потребовался Лапинскому для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть его нежелание командовать морской экспедицией на Литву.

Мысль о легионе возникла не у Маркса, но у самого Лапинского. Здесь и во многих других случаях Лапинский приписывает собственные слова и мысли другому лицу.

Однако, как видно из письма Маркса, идея немецкого легиона действительно показалась ему «великолепной» и он решил мобилизовать все возможности для ее осуществления. Поэтому содержание высказываний Маркса о Польше, передаваемых Лапинским, заслуживает внимания, хотя их приподнятый патетический тон должен быть отнесен всецело за счет автора мемуаров. Точно так же склонный к гиперболизации Лапинский увеличил численность предполагаемого легиона до 1000 человек вместо 200, о которых шла речь в беседе.

В своих воспоминаниях Лапинский сознательно смягчает резкость отрицательной оценки Мадзини, данной Марксом. Маркс не мог говорить о «несравненном политическом уме» Мадзини — он отзывался о нем в своих письмах к Энгельсу гораздо резче и определеннее: «Мадзини разыгрывает из себя в своем кабинете Маккиавели», «нелепо-пошлая речь Мадзини», «высокопарный доминиканский стиль Мадзини» и т. д.

В заключение нужно сказать, что оценка, данная Лапинскому Герценом, подтверждается полностью при анализе его деятельности на протяжении двух революций: венгерской и польской и двух войн: Крымской и Кавказской.

История его жизни — это история превращения офицера революционной армии Лапинского в военного авантюриста Тевфик-бея.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIII — Переписка (1861—1867), М., 1932 г., стр. 164.

[2] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896 г., стр. 117 (письмо от 31 марта 1863 г.).

[3] Там же, стр. 118 (письмо от 9 апреля 1863 г.).

[4] Герцен, т. XVI, П., 1920, стр. 229.

[5] Герцен, Былое и думы, гл. «Lapinski — colonel. Poles — aide-de-camp».

[6] Больше всего сообщений о Лапинском имеется в следующих просмотренных мною газетах: «Le Nord», «L'indépendance Belge», «Augsburger Allgemeine Zeitung», «Nationalzeitung», «The Free Press», «The Illustrated London News», «Journal de Constantinople», «Русский Инвалид», «Кавказ» (1857—1863 гг.).

[7] S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna..., Warszawa, 1901, t. IX, str. 461.

[8] Wielka Encyklopedja Powszechna Ilustrowana, Warszawa, 1910, t. XLIII — XLIV, str. 989.

[9] Ottův Slovník Naučný, Praha, 1900, 15 díl, str. 655.

[10] A Pallas Nagy Lexicona, Budapest, 1897, XVI köt.

[11] Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1900, VII köt., old. 791—792.

[12] Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich..., von Dr. Constant von Wurzbach, Wien, 1865, Th. 14, S. 153—154.

[13] K. M. Kertbeny, Alphabetische Namenliste ungrischer Emigration 1848—1864, Brüssel — Leipzig, 1864, S. 34.

[14] Ilustrowana Encyklopedija Trzaski, Ewerta i Michalskiego..., Warszawa (1927), t. III, str. 231.

[15] Trzaski, Ewerta i Michalskiego Leksykon ilustrowany, Warszawa, 1931, kol. 1222 и Trzaski, Ewerta i Michalskiego Encyklopedja Powszechna w dwu tomach, t. I, A — M., Warszawa, 1933, kol. 1085.

[16] Lapinski Theophil (Tefik-bey), Die Bergvölker des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen die Russen, nach eigener Anschauung geschildert von Theophil Lapinski (Tefik-bey), Oberst und Commandant einer polnischen Truppenabtheilung im Lande der unabhängigen Kaukasier, Hamburg, 1863, Bd. II, S. 184. Мне известны две рецензии на эту книгу Лапинского в русских журналах: А. В. [Висковатова] в «Записках Кавказского отд. Русского географического общества», Тифлис, 1864 г., кн. IV и К. Б.-Р. [Бестужева-Рюмина] «Записки Русского географического общества», СПб., 1863 г., кн. I (с обширными извлечениями из 1-го т.). Обе рецензии отмечают значение книги Лапинского для изучения быта и политического устройства черкесов.

[17] Lapinski Theophil, Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849, Selbsterlebtes von Theophil Lapinski, Hauptmann der ungarischen Artillerie, Hamburg, 1850.

[18] Marx K., Herr Vogt, London, 1860. Здесь и в дальнейших цитатах разрядка принадлежит Марксу. Цитирую по русскому переводу, — Маркс и Энгельс, Сочинения. М., 1933, т. XII, ч. I.

[19] Там же, S. 80. Русский перевод: Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 368—369.

[20] Здесь у Маркса непереводимый каламбур, основанный на том, что Фогт во время германской революции 1848 г. был одним из пяти «имперских регентов». Фамилия «Фогт» по-немецки значит «наместник, смотритель, судья». Следовательно, «Ex-Reichsvogt» — «бывший государственный наместник», «бывший чиновник».

[21] K. Marx. Herr Vogt, London, 1860, S. 124—125. Русский перевод: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 433—434.

[22] Так в тексте Маркса. Повидимому, это опечатка. Надо: Рима-Сомбат.

[23] Там же, S. 128—130. Русский перевод: Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, т. XII, ч. I, М., 1933, стр. 444—445.

[24] См. Aufzeichnungen eines Honvéd, Bd. II, Leipzig, 1850; Görgey und die Capitulation bei Vilagos, Leipzig, 1850; Görgey, Klapka. Vilagos, Komorn. (Authentische Mittheilung bisher noch nicht veröffentlichter Erlebnisse von zwei entlassenen Honvéd-Offizieren), Leipzig-Pesth, 1850; Nedbál F., Kritische Bemerkungen zur Brochüre: «Feldzug der ungarischen Hauptarmee» von Theophil Lapinski, Hamburg, 1850 и другие источники, цитируемые мною ниже. Противоположную оценку событий дают следующие источники: Görgei A., Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849, Bd. II, Leipzig, 1852; Szillanyi, Komorn im Jahre 1849..., Leipzig, 1851, а также русские и австрийские мемуары и исторические очерки «венгерской войны».

[25] Szinnyei József, Komárom 1848—49-ben (Náplo-jegyzetek), Budapest, 1887.

[26] Thaly Sigismund, colonel, The fortress of Komárom (Comorn) during the war of independence in Hungary in 1848—49, London, 1852, p. 200—201.

[27] Th. Lapinski, Feldzug der ungarischen Hauptarmee..., S. 233—235.

[28] Там же, S. 236—237.

[29] Hamary Dániel, Komáromi napok 1849-ben, Pesth, 1869.

[30] Th. Lapinski, Feldzug der ungarischen Hauptarmee..., S. 237.

[31] Pamiętnik jenerała [J.] Wysockiego, dowódcy legionu polskiego na Węgrzech..., wyd. 2, Kraków, 1888, str. 139. Шеститомное издание «Jeneral Władysław Zamoyski (1803—1868), Poznań, 1910—30, к сожалению отсутствует в московских и ленинградских библиотеках (за исключением 2-х первых томов).

[32] Ph. Korn, Die neueste Chronik der Magyaren, Bd. I — Kossuth und die Ungarn in der Türkei, Hamburg — New York, 1851.

[33] Ibid., Bd. II — Die Russen in Ungarn und die Ungarn in Deutschland, Hamburg — New York, 1852 (особенно S. 318—321).

[34] Heinrich Ritter v. Lewitschnigg, Kossuth und seine Bannerschaft (Silhouetten aus dem Nachmärz in Ungarn), Pesth, 1850, Bd. II, S. 271—272.

[35] Биографические сведения о Банде даны мною, главным образом, на основе его собственных показаний. См. «Confessions of Bangya before the council of war» в газете «The Free Press», Special number on Circassia, London, 1858, v. VI, N 16 (12 May) pp. 121—125 и в русском переводе «Копия показаний, данных Мехмед-беем эмигрантскому совету в Черкессии» [с собственноручными пометками Банди], в кн.: «Кавказский сборник», Тифлис, 1887 г., т. XI. Интересные, но не всегда достоверные сведения имеются еще в следующих источниках: Осман-бей, майор, Воспоминания 1855 года, — «Кавказский сборник», Тифлис, 1877, т. II; Pap János, A magyar emigránsok Törökországban 1849—61, Pécsett, 1893; Szilágyi Sándor, A magyar forradalom ferfiai 1848/49 — böl, Pest, 1850; Reményi Károly, Bangya János (Karabatir [?] Mehemed bej), «Hazánk s. a. Külföld», — Pest, 1868, а также в словарях Паллаша, Синьэйя и Вурцбаха.

Документальный материал с венгерской эмиграции в Турции сведен в книге: Hajnal I, A Kossuth emigráció Törökországban, Budapest, 1927.

[36] J. Bangya, Gesetzartikel des ungarischen Reichstages 1847/8. Aus dem Ungarischen nach der Original-Ausgabe übersetzt und mit den nöthigen Citaten versehen, Pressburg, 1848.

[37] «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». М.—Л., 1930, т. V.

[38] K. Marx, Herr Vogt, S. 124—125.

[39] Русский перевод памфлета К. Маркса и Ф. Энгельса, Великие люди эмиграции — напечатан в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса», М.—Л., 1930, т. V.

[40] Маркс и Энгельс, Сочинения, тт. XXI, XXII и XXV. — Переписка, М.—Л., 1929—1934 г. (см. по указателю имен).

[41] Маркс и Энгельс, т. XXII, стр. 183.

[42] См. исчерпывающий очерк жизни и деятельности Сефер-паши, составленный на основе обширных материалов кавказских военных архивов Е. Д. Фелицыным: Князь Сефер-бей Зан, политический деятель и поборник независимости черкесского народа — «Кубанский Сборник», Екатеринодар, 1903 г., т. X, см. также: Oliphant L. The Trans-Caucasian Campaign of the Turkish Army, Edinburgh — London, 1856. Султан-Крым-Гирей, Сифир-паша, князь Шапсугский, — «Кубанские Войсковые Ведомости», Екатеринодар, 1865 г., № 46, «Кавказский Сборник», тт. II—X и «Акты, собранные Кавказской Археографическою Комиссиею», Тифлис, 1881—1904 гг., тт. VIII—XII (по указателю имен).

[43] Во время организации польских легионов в Стамбул приехал Адам Мицкевич, выступавший на стороне Чайковского против Замойского. См. Mickiewicz A., Korespondencja, tt. I—II, Paryż, 1871—1873, а также исследования: Rawita-Gawroński F., Sadyk Pasza i Mickiewicz, «Przewodnik naukowy i literacki», 1898, zesz. IX; его же, Michał Czajkowski, Petersburg, 1901; Szpotański T., Michal Czajkowski w Turcji, «Biblioteka Warszawska», 1911, t. IV; Handelsman M., Mickiewicz w latach 1853—1855, Warszawa, 1933; его же, Czartoryski, Nicolas I et la question du Proche Orient, Paris, 1934; Lewak A., Dzieje emigracji polskiej w Turcji, Warszawa, 1935; Knapowska W., Krytyczne oswietlenie relacyj o smierci Mickiewicza, Poznań, 1935; Pawlicowa M., O formacjach kozackich w czasie wojny krymskiej, Lwów, 1937; Brandstaetter R., Legjon żydowski Adama Mickiewicza, Warszawa, 1932. Существует версия, поддержанная в недавнее время Бой-Желенским, что Мицкевич, скончавшийся в Стамбуле, умер не от холеры, а был отравлен сторонниками партии Чарторыйского (см. Bój-Zeleński, Czy Mickiewicz umarł otruty?, «Wiadomości Literackie», Warszawa, 1932, N 453, его же, Kto «Żąda prawdy», там же, № 455 и ряд писем в дальнейших номерах той же газеты). Однако, гипотеза об отравлении Мицкевича не доказана.

[44] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 53.

[45] Wimpffen A., Erinnerungen aus der Wallachei während der Besetzung durch die oesterreichischen Truppen in den Jahren 1854—1856, Wien 1878, S. 169.

[46] О действиях лейтенанта Гордона [Каракрак-бея] и Зверковского см. «Записки Михаила Чайковского» [Мехмед-Садык-паши], — «Русская Старина», М., 1898—1900. Чайковский рассказывает, между прочим, что агенты князя Чарторыйского организовали в горах костелы и распространяли среди черкесов медали, на которых князь Чарторыйский был изображен в качестве короля Польши Адама I. См. также статью Е. Д. Фелицына, Польские эмиссары Зверковский (Le Noir) и Высоцкий у закубанских горцев в 1845 и 1846 гг., — «Кубанские Областные Ведомости», Екатеринодар, 1883, № 43 и В. Кельсиева, Польские агенты в Цареграде, — «Русский Вестник», М., 1869, тт. 81—84; Miłkowski Z., W Galicji i na Wschodzie, Poznań, 1880. На большом архивном материале построена книга L. Wi-

derszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej, Warszawa, 1934, в которой упоминаются все польские агенты на Кавказе.

[47] Очень субъективное изложение деятельности Замойского, Лапинского и Иордана, см. в тех же «Записках Чайковского»: «Так как большинство солдат распущенной дивизии искренно любили военное дело, то Замойский, желая во что бы то ни стало помешать поступлению поляков в драгуны, выдумал вместе с англичанами и, главным образом, с лордом Рэдклиффом, снарядить экспедицию на Кавказ, послав туда несколько сот [sic!] поляков под командою Липинского [sic!], который был произведен в полковники со званием Тевфик-бея. Организация и снаряжение этой экспедиции были поручены братьям Иордан, Владиславу и Сигизмунду, и для этого дела в Турции и в Англии была собрана довольно большая сумма денег. Экспедиционный отряд высадился на берег в землю шапсугов, в Джубе, где он вел себя самым постыдным образом: пьянство, драки, убийства, своеволие и неповиновение начальству ознаменовали пребывание поляков среди черкес, у которых они сделались посмешищем. Проведя некоторое время [sic!] на Кавказе, в полном бездействии [sic!], они возвратились небольшими партиями в Стамбул». В этом неточном и враждебном описании экспедиции Банди — Лапинского ясно видны отголоски распрей Чайковского с агентами партии Чарторыйского. Интересно только указание на буйное поведение отряда, находящее косвенное подтверждение в русских архивных документах. О пристрастии самого Лапинского к вину упоминают и другие современники, например, Владислав Мицкевич и Владислав Марцинковский. Для дополнения психологической характеристики Банди и Лапинского любопытно следующее место из книги «Венгерские эмигранты в Турции» Яноша Пап: «Бандя и Лапинский были честолюбивыми и гордыми людьми. С высшими они были льстивыми и даже низкопоклонными, но со своими подчиненными грубыми и жестокими» (Pap János, A magyar emigránsok Törökországban 1849—1861, Pécsett, 1893).

[48] См. документы князей Чарторыйских в книге Wydawnictwo materyałów do historji powstania 1863—1864, tt. I—V, Lwów, 1888—1894.

[49] Th. Lapinski, Die Bergvölker des Kaukasus..., Bd. II.

[50] Высадка в 1867 г. на черкесский берег польско-английского десанта, — «Кавказский сборник», т. X, Тифлис, 1887.

[51] См. корреспонденции «Augsburger Allgemeine Zeitung», 1857—1858.

[52] Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, т. XII, ч. 3, Тифлис, 1904 г., стр. 707—708.

[53] См. письмо венгерского офицера Осман-Аги (Кёлера) — адъютанта Мехмед-бея [Банди] в редакцию газеты «Пештер Ллойд». Перепечатано в газете «The Illustrated London News», 1857, № 851, March 28 th, p. 280.

[54] Письмо Лапинского к *** [Измаилу] Паше из Адерби, Черкессия, см. «The Free Press», London, 1858, v. VI, N 20, p. 155.

[55] Абцедарий, Искатели приключений в среде народов Западного Кавказа, — «Кубанские Войсковые Ведомости», Екатеринодар, 1874 г., №№ 17, 22, 23 и 34.

[56] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 337. Русский перевод трех писем Банди к генералу Филипсону см. в статье Е. Д. Фелицына, Сефер-бей-Зан..., — «Кубанский Сборник», 1903 г., т. X. См. также рапорт генерала Филипсона (приложение к статье М. Рукевича, Адагумский отряд, — «Кавказский Сборник», Тифлис, 1896 г., т. XVII).

[57] Статьи Маркса о Банде см. в «The Free Press», London, 1857, v. IV, № 34, № 42, 1858, v. VI, № 16, 17 и 20. Материалы военного суда и письма польских и венгерских эмигрантов там же, v. VI, № 16 и 17.

[58] Russia. A curious piece of history, «The New York Daily Tribune», 1858, June 16 th. и другая статья там же, September 23. (Русский перевод в книге: Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, т. XI, полутом 1, М., 1933 г.).

[59] См. Н. Карлгоф, Магомет-Амин, — «Кавказский календарь на 1861 год», Тифлис, 1860 г.; его же, О политическом устройстве черкесских племен, — «Русский Вестник», М., 1860 г., № 2; Казем-бек М. А., Мохамед-Амин, — «Русское Слово», СПб., 1860 г., № 6; Шпаковский Л., Записки старого казака, — «Военный Сборник», СПб., 1872 г., № 6; А. Д. Г., Очерк горских народов правого крыла кавказской линии, — там же, 1860 г., № 1; Муравьев Н. Н., Война за Кавказом, СПб., 1877 г., т. I, ч. 2. Рыжов, С. Махмед-Амин в Петербурге, — «С.-Петербургские Ведомости», 1860, № 104; Магомет-Амин, — «Иллюстрация», 1860, т. V, № 108.

[60] События излагаются по архивным документам, использованным в книге Л. Видершаля.

[61] Записка Лапинского (доставленная начальнику Главного штаба...), «Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией», Тифлис, 1904 г., т. XII, ч. 3, стр. 913—924.

[62] См. D. Urquhart, Speech in the reply to the toast of «Circassia: the Bulwark of India», «The Free Press», London, 1858, v. VI, N 16, pp. 127—128 и его же, To the chiefs and clans of Circassia (letter, May 8, 1854), там же, p. 128. См. также Bell J. S., Journal of a residence in Circassia during the

years 1837—1839, London, 1840, v. I—II (есть французский и немецкий переводы) и Longworth J. A., A year among the Circassians, London, 1840, v. I—II; о Бэлле см. еще: Филипсон Г. И., Воспоминания, М., 1885 г. и Маркс К., Пальмерстон, раздел VIII, в кн. Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, М., [1924], т. X.

63 [Mc Neill J.], Progress and present position of Russia in the East, London, 1836.

64 D. Urquhart, Progress and present position of Russia in the East, London, 1836; его же, The Progress of Russia in the West, North and South..., 5 ed., London, 1853; Robinson G., David Urquhart, Oxford, 1920.

65 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIII, — Переписка, М.—Л., 1932 г., стр. 164.

66 Воспоминания самого Лапинского «Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę. Z pamiętników pułkownika Łapińskiego», печатались в «Gazeta Narodowa», 1878, №№ 180—227 и вышли затем отдельным изданием: Lwów, 1878. На русском языке «вольный» пересказ части этих воспоминаний сделан Н. Бергом в статье «Морская экспедиция повстанцев 1863 года», — «Исторический Вестник», М., 1881 г., т. IV. Общий очерк подготовки и судьбы экспедиции дал Герцен в «Былом и думах» (Главы: XIII — «М. Бакунин и польское дело» и XIV — «Пароход «Ward Jackson». R. Weatherly and Co.) см. также статью Герцена «День» и «Колокол» и Полное собрание сочинений и писем, П., 1920 г., т. XVI, комментарии М. К. Лемке к т. XVI сочинений и писем А. И. Герцена, П., 1920 г. и публикации архивных материалов: Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863—1864 гг. сост. А. И. Миловидов, Вильна, 1913, ч. I, стр. 45, ч. II, стр. 233, 303, 338; Михаил Бакунин и экспедиция на пароходе «Ward Jackson», — «Красный Архив», М.—Л., 1924 г., т. VII и в кн. «Материалы для биографии Бакунина...», ред. и прим. В. Полонского, т. II, М.—Л., 1933 г., М. А. Бакунин по отчетам III Отделения, — «Красный Архив», М.—Л., 1923 г., т. III. Из иностранных источников главнейшие: Janowski J. K., Pamiętniki o powstanii styczniowem, tt. I—II, Lwów, 1923—25; Wydawnictwo materyałow do historji powstania 1863—1864, т. V. Lwów, 1894; Sokołowski A., Powstanie styczniowe, Wiedeń, s. a.; Historja Ruchu Narodowego od 1861 do 1864 r., Lwów, 1882, t. II; Giller A., Historja powstania narodu polskiego w r. 1863, tt. I—II, Paryż, 1868—1870; Kozmian St., Rok 1863, Warszawa, 1903; La Pologne et la diplomatie, Paris, s. a.; Zieliński St., Bitwy i potyczki 1863—1864, Rapperswil, 1913, str. 298—299; Confidential correspondence of the British Government, respecting the insurrection in Poland 1863, ed. by T. Filipowicz, Paris, 1914, pp. 201—202; Poles S., Polska expeditionen och Stephan Poles. Malmö-Kjøbenhavn. 1863; Władysław Mickiewicz, Pamiętniki, т. II, 1862—1870, Warszawa, 1928, str. 281 и сл. (там же в приложении см. польский текст дневника участника экспедиции Марцинковского, рапорт Демонтовича и воспоминания И. Хелльберга). Из новейшей литературы надо отметить: Wereszycki H., Anglia a Polska 1860—1865, Lwów, 1934; Polska działność diplomaticzna w r. 1863—1864, pod red. A. Lewaka, Warszawa, 1937; Fellenius K. G., Polska frågån år 1863, Stockholm, 1936. Существуют также рукописные воспоминания Марцинковского «Wyprawa morska Łapińskiego», письма Лапинского и др. архивные материалы, хранящиеся в Музее Мицкевича в Париже, Архиве библиотеки кн. Чарторыйских в Кракове и быв. Рапперсвильском музее польской эмиграции в Варшаве (см., например, Lewak A., Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Kraków, 1931, № 1066 и 1105).

67 Władysław Mickiewicz, Pamiętniki, t. II, Warszawa, 1928, str. 281.

68 Там же, str. 283—284. Ср. также опубликованное М. Лемке в комментарии к «Былому и думам» донесение агента русского посланника в Копенгагене о пребывании польского отряда в Швеции: «С судна сошло на берег более 200 чел., между тем, как часть их уже была размещена в отеле, и около 50 человек еще оставались на борту. Большая часть их — люди крепкие, некоторые уже с седою головой, но попадается много и молодых, почти детей. Среди них находятся представители всех национальностей и, как кажется, больше французов, чем поляков, несколько немцев и, как они сами говорят, двое русских. Большинство из них одето à la zouave: ботфорты, красные шаровары, красный жакет или такая же рубашка и серая солдатская шинель. На головах у всех конфедератки, но оружия не носят, за исключением одного молодого человека, большого роста и белокурого, который вооружен саблею. Многие из них жалуются, что они были обмануты, и заявляют, что никогда не приняли бы участия в таком безумном предприятии, если бы знали, что не существует порта, в котором можно было бы их высадить. У них достаточно денег, и они проводят время во всех кабаках за бутылкою. Все живут в городе; некоторые сняли даже квартиры и заявляют, что желают прожить на месте 4 месяца. Между всем этим людом есть много таких, которые по внешности и приемам производят впечатление вполне приличных людей; есть также достаточно и таких, которые, повидимому, принадлежат к категории авантюристов самого низкого пошиба. Они шатаются по улицам в состоянии полного опьянения и сами рассказывают, что два

судна, снаряженных в одинаковых условиях, должны были немедленно отплыть из Англии». (Герцен, т. XIV, стр. 616).

[69] Лапинский в книге «Powstańcy na morzu» отрицает версию о том, что Полес был русским агентом. Бакунин считал ее возможной, но недоказанной (см. письмо Бакунина к И. Демонтовичу от 22 октября 1864 г., в книге «Летописи марксизма», т. VII—VIII, М.—Л., 1928 г., стр. 129—130).

[70] Łapiński, Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę, Lwów, 1878, str. 198—199.

[71] Письмо Анри Ружемона, студента, Эрику Извар (литератору), Вульвич, 29 июня, «Красный Архив», 1925, т. VII, стр. 142.

[72] Dziennik Władysława Marcinkowskiego, in: W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. II, Warszawa, 1927, str. 435—436.

[73] Герцен, Былое и думы, гл. Lapinski — colonel. Poles — aide-de-camp.

[74] См. «Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę», str. 130.

[75] Там же, str. 112.

[76] Маркс и Энгельс, Сочинения т. XXIII — Переписка, М., 1932 г., стр. 162. См. также ст. L. Wasilewski, K. Marx und der Aufstand vom Jahre 1863. Die Idee einer deutschen Legion. Herzog Karl von Braunschweig, «Polen», Wien, 1915, Jahrg. 1, № 27 (основана на книге Лапинского без критической проверки).

[77] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIII, — Переписка, М., 1932 г., стр. 164.

[78] Там же, стр. 165.

[79] Там же, стр. 164.

[80] Łapiński, Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę, Lwów, 1878, str. 57.

[81] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXIII, — Переписка, М., 1932 г., стр. 164.

ГЕРЦЕН-ИЗДАТЕЛЬ И ЕГО СОТРУДНИКИ

Обзор М. Клевенского

В своей статье «Памяти Герцена», написанной по поводу столетия со дня рождения великого публициста, В. И. Ленин говорит об его издательской деятельности: «Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено» [1].

Мысль об основании за границей русской типографии явилась впервые у Герцена очень рано — еще в 1849 г., как только выяснилось, что обратный путь в Россию для него отрезан. «Еще в 1849 г. я думал начать в Париже печатание русских книг; но гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия» [2]. В 1863 г. Герцен так вспоминал об этих своих планах: «В 1849 г. я писал моим друзьям в Россию (у меня были тогда друзья в России), что я остаюсь на Западе исключительно для того, чтоб начать свободную русскую речь, устроить для России бесцензурный орган, и исключительно занимался этим с тех пор» [3].

В 1853 г. явилась возможность осуществить эту давнюю мечту Герцена. С самого начала этого года он отдается делу создания русской типографии в Лондоне. Герцен вполне отдавал себе отчет в исторической важности своего начинания и знал, что если оно ему удастся, то он совершит дело громадного революционного значения. Из многочисленных его высказываний на этот счет приведем некоторые. Их особенно много в письмах Герцена той поры к его другу М. К. Рейхель. «Типография будет, и если я ничего не сделаю больше, эта инициатива русской гласности когда-нибудь будет оценена!» — пишет он 8 апреля 1853 г. «Я, с своей стороны, уверен, что это — лучшее дело моей жизни», говорится в письме от 18 апреля. Через год, 12 февраля 1854 г., Герцен указывает той же корреспондентке, что от заведения типографии за границей начинается новый период русской революционной деятельности.

Одно из первых публичных заявлений Герцена о начинаемой им деятельности издателя — это письмо в редакцию газеты «Польский демократ». В конце этого письма говорится: «Нам, русским эмигрантам, покинувшим родину из-за любви к ней, следует создать свободную трибуну русской речи за пределами России!.. Основание русской типографии в Лондоне является делом наиболее практически революционным, какое только русский может предпринять в ожидании исполнения иных лучших дел. Таково мое глубокое убеждение» [4].

К русскому обществу Герцен обратился с воззванием «Братьям на Руси»; оно было отлитографировано отдельным листком с датой 21 февраля 1853 г. Извещая об основании русского печатания за границей, Герцен приглашал всех свободно мыслящих русских воспользоваться открывающейся возможностью бесцензурной речи и присылать в Лондон для напечатания всё, написанное «в духе свободы» — научные статьи, романы, повести, стихотворения. «Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет? — это останется на вашей совести. Если мы не получим ничего из России, это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи, молчите». В случае неимения ничего готового, Герцен просил при-

сылать ходившие по рукам запрещенные стихотворения — Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Печерина и др.

Типография Герцена начала действовать 22 июня 1853 г. Самую существенную помощь в организации типографии ему оказали польские эмигранты и прежде всего Станислав Ворцель. Первым произведением Вольной русской типографии [5] был листок «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» с датою 20 июля 1853 г. Совершенно естественно, что самые первые страницы, отпечатанные в лондонской типографии, были посвящены вопросу о крепостном праве и освобождении крестьян; Герцен был убежден, что этот вопрос по своему значению для России стоит безусловно впереди всех других. 5 февраля 1853 г. он писал М. К. Рейхель: «Главное теперь — пропаганда об эмансипации мужиков». Вторым выпуском типографии Герцена был его листок «Поляки прощают нас», третьим — «Крещеная собственность».

Нужны были громадная вера в свое дело и упорная настойчивость чтобы продолжать издание русской литературы за границей при тех условиях, в которых оно началось. Русские друзья Герцена, жившие под тягчайшим гнетом последних лет николаевского царствования, были прямо испуганы его предприятием и не только не оказали ему никакой поддержки, но старались убедить его бросить это дело. «Вера в будущее России одна пережила все другое. Но связь моя с вами ослабла в продолжение этих бурных лет; для того, чтобы оживить ее, я завел русскую типографию и приглашал, звал, просил всех, но в продолжение двух лет никто не откликнулся. Я не упал от этого духом и был готов продолжать мой труд, но мне было больно это молчание» [6]. «Весть о том, что мы печатаем по-русски в Лондоне — испугала. Свободное русское слово сконфузило и обдало ужасом не только дальних, но и близких людей, оно было слишком резко для уха, привыкнувшего к шопоту и молчанию; бесцензурная речь производила боль, казалась неосторожностью, чуть не доносом» [7]. Знаменитый актер — М. С. Щепкин, очень близкий к Герцену, в сентябре 1853 г. приехал специально в Лондон, чтобы уговорить Герцена отказаться от своей мысли. Говоря от лица и других московских друзей, Щепкин доказывал Герцену, что своим печатаньем он не принесет никакой пользы и только погубит массу людей в России. Старик говорил даже, что он на коленях готов просить Герцена остановиться... Один из самых дорогих для Герцена в России людей, Грановский, уже в 1855 г., после выхода первой книжки «Полярной Звезды» находил издательскую деятельность Герцена жалкой и ничтожной. За два дня до смерти он писал Кавелину, что у него чешутся руки ответить Герцену в его собственном издании, т. е. в «Полярной Звезде». Весьма вероятно, что если бы не помешала смерть, он привел бы свое желание в исполнение.

Переписка Герцена с Рейхель показывает, как долго и тщетно он добивался присылки из России хотя бы запретных стихотворений Пушкина, Лермонтова и др. Никто ничего не присылал.

В статье, посвященной десятилетию своей типографии, Герцен рассказал, как он печатал три года, не только не продав ни одного экземпляра, но даже не имея возможности почти ни одного экземпляра своих изданий послать в Россию, кроме самых первых воззваний, отправленных поляками в Варшаву. Все напечатанное лежало грудами на складе. Целым событием явилось то, что однажды какой-то книгопродавец прислал купить на 10 шиллингов «Крещеной собственности».

Смерть Николая I в феврале 1855 г. вызвала у Герцена надежды на то, что дело его издательства сойдет с мертвой точки. Он решил, что нельзя ограничиваться выпуском одних брошюр и воззваний, а нужно вступить в более правильное общение с русскими читателями, которых для зарубежной прессы еще не было, но создать которых Герцен стремился. С этой целью он основал периодический сборник, который, для поддержания декабристской традиции, назвал «Полярной Звездой»: «Русское периодическое издание, — писал Герцен в предисловии, — выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтобы показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь

и кровное родство». Первая книжка нового издания вышла 25 июля н. ст. 1855 г., в годовщину казни декабристов (13 июля ст. ст.). Она имела подзаголовок «Третное обозрение освобождающейся Руси». Герцен имел в виду давать в год 3 или 4 таких сборника. Однако, во второй книжке уже нет наименования «Третное обозрение»: «Полярную Звезду» не оказалось возможным издавать так часто, как думал Герцен; пришлось выпускать в среднем по одной книжке в год.

Момент выхода первой книжки «Полярной Звезды» был переломным в отношении русского общества к изданиям Герцена. Прежняя враждебность или безучастие стали сменяться сочувствием. «С половины прошлого [т. е. 1855. — *М. К.*] года все переменилось: слова горячей симпатии, живого участия, дружеского одобрения стали доходить до меня». Накануне нового — 1856 года Герцен получил анонимное письмо из Петербурга, которое тронуло его до слез: писавшие его юноши благодарили Герцена за типографию и за «Полярную Звезду». Письмо это Герцен напечатал во второй книге «Полярной Звезды». На «Полярную Звезду» начался некоторый спрос; в России за книжку давали баснословную цену: 15—20 руб.

Однако, сначала продажа возрастала довольно медленно: первую книжку «Полярной Звезды», по словам Герцена, продавали «десятками экземпляров» — это еще немного. Кроме того, книги, прежде напечатанные, почти не требовались и попрежнему лежали без движения. Кое-как расходились только «Тюрьма и ссылка» и «Крещеная собственность» Герцена.

По-настоящему новая эра для лондонского издательства началась уже в 1856 г. «В мае месяце 1856 г. вышла вторая книжка «Полярной Звезды», она разошлась, увлекая за собой все остальное. Вся масса книг тронулась. В начале 1857 г. не было больше в типографии ничего печатного, и Трюбнер предпринял на свой счет в т о р о е и з д а н и е всего напечатанного нами...[8]. С половины 1857 г. издержки типографии стали покрываться, к концу 1858 г. был небольшой избыток...».

О том, какими быстрыми темпами развивались дела издательства, дает представление переписка Герцена. 10 июня 1856 г. он с торжеством сообщает М. К. Рейхель, что с заключения мира Трюбнер продал герценовских изданий на две тысячи с лишним франков; 16 июня добавляет, что русских книг продано еще на 300 франков. 23 он пишет, что книги идут удивительно. 16 декабря 1856 г.: «Вы знаете, что с апреля продано на 10.000 франков моих книг?! Из них 5000 взял себе Трюбнер, а 5 заплатил мне сполна».

Еще выразительнее говорят об успехах издательства письма Герцена за 1857 год. 9 апреля он пишет Карлу Фогту: «Вы не можете себе вообразить, какие размеры принимает наша лондонская пропаганда. Книги мои чудесно продаются, издержки покрываются. Пример: третий том «Пол[ярной] Звезды» выйдет 15 апреля. Заказано уже 300 экземпляров, и я могу рассчитывать еще на двести к 1 мая. Никогда бы я не поверил ничему подобному во времена славного Николая...». Из письма к И. С. Тургеневу от 29 августа: «Книги русские идут прекрасно, Трюбнер валяет второе издание в 1500 и 2000 экземпляров». Из письма к Мишле от 21 ноября: «Наша пропаганда все разрастается, мы печатаем тысячами экземпляров и все распродаем». И, наконец, 18 декабря Герцен извещает Тургенева: «Успех нашей пропаганды monte... monte... monte. Теперь уже набирают три француза, три англичанина (не зная ни одной русской буквы) и наши поляки. 2-е издание «Пол[ярной] Звезды» в 1500 экз[емпляров] уже расходится. Писем, корреспонденций получаем много».

В 1855 г. Герцен, получив первую русскую статью («Что такое государство?»), «принял ее с тем чувством надежды, с которым в ковчеге была принята весть, принесенная голубем». А это была статья, писанная эмигрантом (Энгельсоном), а не полученная из России. В следующем году в распоряжении Герцена оказалось столько статей из России, что он основал особый сборник «Голоса из России».

В 1857 г. «Полярной Звезды» и «Голосов из России» оказалось уже недостаточно — 1 июля вышел первый номер «Колокола» (со скромным подзаголовком «Прибавочные листы к Полярной Звезде»). Н. А. Тучкова-Огарева оставила рассказ о том происходившем при ней разговоре Герцена и Огарева, когда они решили

издавать этот новый орган. По ее словам, Огарев сказал: «А знаешь, Александр, «Полярная Звезда», «Былое и думы» — все это хорошо, но это не то, что нужно, это не беседа со своими, нам нужно бы издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз: мы бы излагали свои взгляды, желания для России и проч.» Герцен был в восторге от этой мысли: «Да, Огарев, — вскричал он с оживлением, — давай издавать журнал, назовем его «Колокол», ударим в вечевой колокол, только вдвоем, как на Воробьевых горах мы были тоже только двое, — и кто знает, может кто-нибудь и откликнется!» [9].

М. К. Лемке говорит, что этот рассказ Огаревой представляется ему весьма деланным. Это впечатление, конечно, верное, но самую суть дела Огарева передала все-таки правильно. Об инициативной роли Огарева в создании «Колокола» Герцен неоднократно заявлял совершенно определенно в печати,— например: «В начале 1857 г. Огарев предложил издавать «Колокол» [10]. Или: «Колокол основал Огарев» (письмо к Тургеневу от 22 ноября 1862 г.).

С возникновения «Колокола» начался самый блестящий период издательской деятельности Герцена. Дело настолько расширилось, что одной типографии оказывалось уже недостаточно. Первые издания Герцен печатал в своей типографии; выпущенные книги он продавал преимущественно Трюбнеру. Некоторая часть проходила и через книжную лавку Тхоржевского. Вторые издания, обыкновенно, заранее полностью продавались Трюбнеру и печатались последним в русско-польской типографии Зено Свентославского, возникшей в 1858 г.

Если в первые годы существования лондонской типографии самым больным местом являлось полное отсутствие доставки материалов из России, то теперь Герцен был прямо завален такими материалами. Кельсиев, близко стоявший к лондонским издательским делам с мая 1859 г., свидетельствует, что всяких рукописей присылалось в Лондон по почте несметное множество: одних не франкированных писем Герцен получал шиллингов на 10 (т. е. рубля на 3) в день, так что ему положительно не было возможности самому проглядывать всю эту груду бумаг. А ведь, кроме посылок по почте, очень многие материалы доставлялись Герцену и непосредственно его посетителями, которых в эти годы у него перебывал целый поток.

Громадные симпатии к Герцену и его деятельности выражались во многих получавшихся им письмах. «В России все закипает, какие письма приходят иногда, и чорт знает откуда — из Казани, из Оренбурга, — из Казани нам пишут такие симпатии, что чудо», — писал Герцен Тургеневу в январе 1861 г.

В литературе много раз говорилось о причинах охлаждения русского общества к Герцену, и мы не станем касаться здесь этого вопроса. Признаки такого охлаждения начались уже в 1862 г. «Колокол» гораздо менее читается в России с тех пор, как в нем стал первенствовать Огарев» — эта фраза стала в России тем, что в Англии называется «a truism», — писал Тургенев Герцену 3 декабря 1862 г. [11]. В то же самое время в № 152 «Колокола» (от 15 декабря 1862) издатели поместили знаменательную статью Герцена «Пути! Пути!», в которой они жаловались на отсутствие всякой энергии со стороны читателей в деле распространения «Колокола» в России.

В 1863 г. оторванность «Колокола» от России проявилась в катастрофических размерах. В № 197 «Колокола» (июнь 1865 г.) в статье «Нашим читателям» Герцен говорит: «При всех наших усилиях, при всех общих статьях мы не сделаем «Колокола» живым русским органом без корреспонденций из края. В последние два года их было очень мало. Мы заявляем вам это». Очевидно, приток корреспонденций кончился именно в 1863 г.

В 1864 г. в России уже распространялись слухи о полном прекращении «Колокола». Герцен энергично протестовал против этих слухов». В № 190 (от 19 октября 1864 г.) он и Огарев заявляли: «Разнесся слух о прекращении «Колокола»... Сойти со сцены теперь значит окончательно усомниться в России. Такого торжества мы не дадим еще закоснелым врагам свободного слова в России. «Колокол» при нашей жизни только прекратится уничтожением всякой цензуры в России.

И то, если это уничтожение будет не австрийское, не прусское, а действительное. До тех пор, кажется, много воды утечет»[12].

1865 год принес важное изменение в деле Герцена: он перенес свою издательскую деятельность из Лондона в Женеву. Герцен стал чувствовать себя в Лондоне слишком оторванным от европейской жизни вообще и в частности от общения с русскими путешественниками и с русской эмиграцией. «Что «Колокол» издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно»,— писал Герцен Огареву из Швейцарии 4 января 1865 г. «Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.». В мае началась установка перевезенной из Лондона типографии, 25 мая вышел № 197 «Колокола». Начался последний период издательства Герцена.

Перебираясь в Женеву, Герцен имел в виду привлечь к близкому участию в «Колоколе» молодых русских эмигрантов, проживавших в довольно большом количестве в Женеве и Цюрихе. Переговоры с этой эмиграцией он вел еще в январе 1865 г. Результаты получились отрицательные. Представители эмиграции потребовали, чтобы ведение газеты было передано целой корпорации эмигрантов, так, чтобы редакционные вопросы решались по большинству голосов. Этой же корпорации должен был быть передан известный бахметевский фонд, находившийся в распоряжении Герцена. Герцен не согласился выпустить редакцию из своих рук[13]. 8 марта он, таким образом, подвел итоги переговоров в письме к Огареву: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования; один Мечников умеет писать; им хочется играть роль, и они хотят нас употребить пьедесталом». Герцен остался единоличным распорядителем «Колокола». Конечно, отдельные эмигранты (или приезжавшие из России представители молодого революционного поколения) являлись в женевский период сотрудниками Герцена, как в «Колоколе», так и в качестве авторов отдельных изданий,— например, Николадзе, Л. Мечников, Н. Утин, Элпидин, Худяков, Вормс.

На всей издательской деятельности Герцена в Женеве лежит печать борьбы с неизбежным надвигающимся концом. Переезд в Швейцарию вовсе не способствовал оживлению связей с Россией. Ко всему прочему прибавлялось еще и то, что по временам Огарев из-за болезни надолго терял работоспособность, так что Герцен оставался один. Он очень мечтал о том, чтобы передать кому-нибудь всю материальную часть издательства, но подходящих людей не находилось.

Герцен сознавал, что продолжая издавать «Колокол» он лишь поддерживает известное знамя, спустить которое было бы постыдно. Он пишет сыну 9 марта 1866 г.: «Колокол» может выходить раз в месяц, но выходить д о л ж е н: это honneur du drapeau и якорь спасения всего сделанного... Покинуть «Колокол» теперь — значит подать в отставку». Письма Огареву за 1867 г. полны указаний на то, что имеющийся в редакции небольшой литературный материал нужно выпускать крайне бережно. «Из чего нам так роскошествовать? «Колокол» надобно поддерживать как знамя, и потому с некоторой экономией располагать материал» (письмо от 7 января). Или: «Как можно нам (без читателей) бросать материал?» (письмо от 8 января).

Окончательные грустные итоги Герцен подвел в письме от 26 февраля 1867 г. из Венеции: «Русские говорят, что в Петербурге и Москве решительно никто «Колокола» не читает и что его вовсе нет; что прежде разные книгопродавцы sous main хоть продавали, а теперь пожимают плечами и говорят: «Никто не требует».

Наконец, в № 244—245 «Колокола» (от 1 июля 1867 г.) за подписью Герцена и Огарева появилось обращение к читателям под заглавием «1857—1867». Издатели напоминали, что этим номером заканчивается первое десятилетие «Колокола» («Десять лет! Мы их выдержали и, главное, выдержали п я т ь п о с л е д н и х — они были тяжелы...»), и объявляли, что они хотят приостановить издание н а п о л г о д а. Мотивировка этого перерыва давалась такая: «Теперь мы хотим перевести дух, отереть пот, собрать свежие силы... Мы хотим еще раз спокойно, без развлечений срочной работой, вглядеться в то, что делается дома, куда волна идет,

куда ветер тянет; мы хотим проверить, в чем мы были правы и где ошибались». К концу года Герцен и Огарев обещали, если удастся, издать ряд статей в особой книжке под заглавием «Сборник Колокола».

Обещанный сборник не вышел в свет, как не продолжался с января 1868 г. и русский «Колокол». В указанной статье Герцена и Огарева говорилось: «Пауза наша имеет для нас еще то значение, что она нас поставит в возможность вымерить, насколько велик или слаб, жив или мертв интерес к изданию «Колокола» и насколько заметят его временное отсутствие». Опыт этот дал весьма определенные результаты, о чем Герцен писал 7 ноября 1867 г. Огареву: «Заметь, ни одного русского голоса — ни даже частного. «Колокол» умер, как Клейнмихель, «никем не оплакан» — и мы лезли из шкуры для этой милой сволочи...».

С декабря 1867 по декабрь 1868 г. вместо «Колокола» выходил «Kolokol» на французском языке (с русскими прибавлениями), ставивший прежде всего целью информацию западной Европы о России и русских делах. Очень скоро пришлось отказаться и от этого предприятия. В последнем номере в статье «Письмо к Н. Огареву» («Lettre à N. Ogareff») Герцен с горечью говорил: «Ты знаешь, с каким упорством я настаивал с 1864 г. на продолжении «Колокола», но, придя, наконец, к убеждению, что существование его становится деланным, искусственным, я больше не могу настаивать... Год тому назад я думал, что французское издание может заменить русский «Колокол»: это была ошибка. Нашим истинным призванием было звать своих живых и отпевать усопших, а не рассказывать своим соседям историю наших могил и колыбелей. Тем более, что они весьма умеренно интересуются этим» [14].

После долгого перерыва (с 1862 г.) в Женеве снова появилась «Полярная Звезда». В феврале 1867 г. эмигранты Н. Утин, Л. Мечников и Н. Жуковский начали с Огаревым переговоры о возобновлении на счет нескольких почитателей Герцена «Полярной Звезды» по четвертям года. Герцен, находившийся тогда в Италии, охотно согласился на восстановление «квартального надзирателя», как он шутя называл четвертное обозрение. Однако, очень скоро он убедился в несерьезном характере этой затеи: «Revue будут издавать о б щ и м и силами, но так, что деньги и статьи будут наши» [15]. Позже, в конце 1868 г. VIII книга «Полярной Звезды», содержавшая в себе только статьи Герцена и стихотворения Огарева, вышла обычным порядком, т. е. на средства и под редакцией Герцена. Он имел в виду выпустить и 2-ю часть VIII книги, но это намерение не осуществилось.

Помимо «Колокола» и «Полярной Звезды», в Женеве вышло и несколько отдельных изданий — в ничтожном количестве, сравнительно с продукцией лондонской типографии. Это были: «Былое и думы» (4 тома) и «Еще раз» — Герцена, анонимная брошюра «На смерть М. И. Михайлова», «Правительство и молодое поколение» — Никифора Г. [Николадзе], брошюра «Для истинных христиан» — Игнатия [Худякова], «Землеописание для народа» [Мечникова, Огарева и Шевелева], «Письмо к генералу Трепову» — Ф. Вихерского. По поводу всех заграничных изданий последних годов Герцен 17 марта 1863 г. писал Огареву: «Все, что мы печатаем за границей по-русски — филантропия и самообман, ничего не идет».

Издательская деятельность Герцена за границей продолжалась с 1853 по 1869 г. Даже чисто-количественные результаты этой деятельности были очень велики. Из периодических изданий на первом месте, по степени распространенности и силе влияния, стоял «Колокол»: за 1857—1867 гг. вышло 245 номеров (некоторые номера двойные); выходил он обыкновенно два раза в месяц, по временам — каждую неделю, иногда — раз в месяц. Французский «Kolokol» выходил с 15 декабря 1867 г. по 1 декабря 1868 г., сначала два раза в месяц, потом один раз. По временам появлялось «Русское прибавление» к нему — всего 6 номеров (последний номер двойной). 15 февраля 1869 г. «Kolokol» окончил свое существование. В этот день вышел «Supplément du Kolokol» (часть текста в нем была напечатана по-русски). Прибавлениями к «Колоколу» являлись листок «Под суд!» и «Общее Вече». Листок «Под суд!» существовал с 1 октября 1859 г. до 22 апреля 1862 г.; всего вышло 13 номеров. «Общее Вече», имевшее в виду, прежде всего,

раскольников, выходило в неопределенные сроки с 15 июля 1862 г. по 15 июля 1864 г. (всего 29 номеров); главным его работником был Огарев. В 1856—1863 гг. вышло 9 книг «Голосов из России». «Полярная Звезда» выходила, как и «Голоса из России», по мере накопления материала. В Лондоне за 1855—1862 гг. было издано 7 книг (фактически 8, потому что 7-я была в двух выпусках); в конце 1868 г. в Женеве была отпечатана 8-я книга.

Кроме периодических изданий, Герценом было выпущено несколько сборников. «Исторический сборник Вольной русской типографии» в двух книгах дал массу исторических материалов разного рода за время от Петра I до Николая I. Специальный интерес представляли «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (4 выпуска) и «Собрание постановлений по части раскола» (2 выпуска). В деле изучения истории раскола эти сборники сыграли очень большую роль. К сборникам нужно отнести и книгу «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения» (1861 г.). К сборникам, изданным в герценовской типографии, следует также отнести и два малоизвестных стихотворных сборника, рассчитанных на самый широкий круг читателей. Это «Солдатские песни», отпечатанные в ноябре 1862 г., и сборник «Свободные русские песни», вышедший в свет в конце 1863 г. — «первый на Руси свободный песенник», как называют его Герцен и Огарев в предисловии. Последний имел ложное цензурное дозволение («дозволено цензурою. С.-Петербург. 3 мая 1863 г.») и ложное место печатания («Кронштадт. В типографии Главной брандвахты») и очевидно предназначался для широкого обращения в России.

Из отдельных книг, посвященных прошлому России, совершенно исключительный интерес имели записки Екатерины II, вызвавшие настоящую сенсацию. Затем следует назвать записки кн. Дашковой и И. В. Лопухина, книги М. М. Щербатова и Радищева, записки декабристов Якушкина и Трубецкого, книгу «14 декабря 1825 г. и император Николай», стихотворения Рылеева.

В сборниках и отдельных изданиях Герцен пустил в оборот громадное количество ценных исторических материалов, начиная, главным образом, со времен Екатерины II. Им были раскрыты тщательно оберегаемые тайны Зимнего дворца, выявлены движения оппозиционной и революционной общественной мысли. При этом особенно большое внимание уделял Герцен тем, кого он считал своими прямыми учителями, — декабристам, а из поэтов — Пушкину. При условиях работы Герцена, в его публикациях не могло не быть значительного количества погрешностей, но они теряют свое значение сравнительно с тем положительным значением, которое имели печатаемые Герценом материалы для изучения ближайшего прошлого России.

Исторические интересы были очень сильны у Герцена, но, конечно, не они стояли у него на первом плане. Он был, прежде всего, публицистом, стремился больше всего освещать не прошлую, а современную ему Россию. Этому и посвящены, прежде всего, издававшиеся Герценом периодические и полупериодические издания. Из отдельных книг публицистического содержания, выпущенных Вольной русской типографией, на первом месте стояли сочинения самого Герцена и Огарева.

Для того чтобы совершить свое громадное историческое дело создания зарубежной русской прессы, Герцен нуждался в очень многих сотрудниках и пособниках. Как руководителю «Колокола» и других изданий, стремившихся осветить во всей полноте современную ему жизнь и вскрыть все пороки и преступления самодержавной власти, ему нужны были связи с Россией, получение оттуда информаций разного рода. Кто были эти пособники Герцена, доставлявшие ему необходимые сведения? В громадном большинстве случаев их имена нам неизвестны и останутся неизвестными навсегда. Герцену приходили на помощь рядовые обыватели.

Для освещения всех дефектов государственного аппарата, всего того, что тщательно скрывало или искажало правительство Александра II, очень важна была помощь, которую оказывали Герцену чиновники разного рода. «У низших и высших чиновников некоторых канцелярий сидели наилучшие герценовские корреспонденты», — пишет Кельсиев[16]. Об этих чиновниках, доставлявших сведения в

Лондон, говорит в своих воспоминаниях Шелгунов: «Громадный секретный материал министерства внутренних дел о раскольниках весь по частям был списан и выслан Герцену в Лондон. О размере этого материала можно судить по шести томам сборника Кельсиева. А сколько, кроме того, высылалось копий с официальных столичных и провинциальных распоряжений и постановлений, записок, докладов и т. д. и всяких других негласных сведений для напечатания в «Колокол». Чем секретнее была мера или распоряжение, тем было больше вероятия, что о ней уже будет напечатано в „Колоколе"»[17]. Известный реакционер Мещерский вспоминает: «Помню я, как один почтенный друг нашей семьи, старый служака николаевских времен, рассказывал с меланхоличным юмором, как теперь у них во всех министерствах забили тревогу; везде явились корреспонденты Герцена из министерства; то были и столоначальники, и начальники отделений, вследствие этого все начальства, до министра включительно, — с одной стороны, трепетно и злобно доискивались: кто из них Иуда, а с другой стороны — жили в нервном страхе Герцена, ибо знали, что Герцен имеет читателей в Зимнем дворце»[18]. Благодаря таким осведомителям был, например, опубликован в «Колоколе» 1859 г. и 1860 г. государственный бюджет, составлявший тогда большую государственную тайну. Типичный представитель корреспондентов «Колокола» из государственного аппарата — С. Громека, великолепно использовавший свое служебное положение в министерстве внутренних дел для доставления сведений Герцену.

Необходимость борьбы с герценовскими корреспондентами из чиновников вызвала даже специальное правительственное распоряжение: 18 марта 1862 г. всем губернаторам было приказано обратить особое внимание на личный состав своих канцелярий и возложить производство секретных дел только на таких лиц, которые имеют «правильное понятие о служебном долге», иначе неизбежно опубликование в русских заграничных изданиях секретных, не подлежащих оглашению распоряжений правительства[19].

Эти осведомители Герцена в массе своей безыменны и не подлежат никакому учету. Разумеется, очень часто — вероятно, даже в большинстве случаев — чиновники не сами отсылали Герцену добытые ими сведения, а пользовались помощью каких-нибудь посредников.

Помимо этой безыменной массы, ограничивавшейся добыванием сырых материалов из канцелярий и департаментов, и более, так сказать, квалифицированные сотрудники герценовских изданий в каком-то огромном проценте неизвестны нам по именам — и так и останутся неизвестными, раз дело идет об участии в нелегальных заграничных изданиях. Только определенная группа лиц — эмигранты, для которых был закрыт путь в Россию, могли выступать на страницах этих изданий открыто.

Все-таки, значительное количество лиц, помогавших так или иначе Герцену в его издательской деятельности, может быть установлено. Настоящая работа и ставит своей целью учесть возможно полнее сотрудников Герцена в самом широком смысле слова. Мы имеем в виду не только авторов, но также лиц, доставлявших ему материал, переводчиков, корректоров, наборщиков и, вообще, типографских работников (идейных, конечно), организаторов сношений Герцена с Россией и пр. Список всех этих лиц дается дальше в алфавитном порядке. Не внесены в список те, участие которых является только возможным. Так, например, в литературе есть слишком уж глухие указания, что автором стихотворения «Двуглавый орел», помещенного в четвертой книжке «Голосов из России», был поэт В. С. Курочкин. Более точны указания на принадлежность ему же широко распространенной песни «Долго нас помещики душили», напечатанной и в «Русской потаенной литературе» и в сборнике «Свободные русские песни». Мы лично думаем, что очень возможно участие в изданиях Герцена В. Ф. Лугинина и эмигранта П. А. Спиридова — но это только возможность.

Составленный нами список сотрудников Герцена далек от полноты. Мы можем ожидать раскрытия еще значительного числа имен, — как на основании новых архивных изысканий (здесь особенно важен был бы находящийся за границей архив

Герцена), так и в результате более углубленного изучения имеющихся уже в литературе крайне разбросанных материалов, которые, именно вследствие своей дробности, до сих пор остаются неучтенными во всем своем объеме.

Целый ряд статей в герценовских изданиях вызывает интерес к вопросу, кто является их автором. На первом месте нужно назвать статью «Письмо из провинции» с подписью «Русский человек» в № 64 «Колокола». Это — та знаменитая статья, в которой автор, упрекая Герцена за умеренность и излишнюю снисходительность к царской фамилии, советует ему не благовестить к молебну, а звонить в набат и звать Русь к топору. Вопрос об авторе этого интереснейшего письма, конечно, очень важен. На основании заявления А. А. Слепцова, а также по содержанию и стилю этой статьи, М. К. Лемке и другие исследователи считают автором «Письма» Н. Г. Чернышевского. Однако, мы не вносим в свой список Чернышевского: нам кажутся вполне обоснованными соображения, высказанные в недавнее время по этому вопросу Б. П. Козьминым, решительно отрицающим авторство Чернышевского[20]. Вопрос до сих пор окончательно не разрешен.

Многие псевдонимы в «Колоколе» и других изданиях до сих пор еще не раскрыты. Так, мы не знаем, кто такой «А. Спартанский», приславший в редакцию два письма в защиту Чичерина; второе из этих писем было напечатано в № 32—33 («Письмо в защиту г. Ч.»). Кто такой «Фирс Холмогоров», стихотворение которого помещено в 14 номере «Общего Веча»? Огарев ли, что очень вероятно, или кто-нибудь другой? Чье обращение «К русским женщинам» («Колокол», № 158; подписано «Украинка»)? По своим связям с Герценом приходит в голову Марко Вовчок (которая, кстати сказать, привезла для передачи Герцену некоторые материалы — например, о смерти Павла I для «Исторического сборника»), но обосновать это предположение нельзя. Псевдоним «Некрасовец — казак в Турции жительствующий» («О казаках-некрасовцах», — «Колокол», № 124), естественно, заставляет прежде всего подумать об известном Осипе Гончаре, в 1863 г. приезжавшем к Герцену в Лондон. Но тут мешает то соображение, что с Гончаром из лондонских эмигрантов впервые познакомился Кельсиев, приехавший в Константинополь лишь в октябре 1862 г., а письмо «Казака-некрасовца» напечатано в «Колоколе» от 1 марта 1862 г. Все-таки, авторство Гончара не вполне исключено. Укажем еще ряд псевдонимов, не раскрытых (если не ошибаемся) в литературе: «Один из многих» («Братское слово», — «Колокол», № 171); «Семинарист» («Православным от православного», — «Общее вече», № 28); «Летописец» («Из летописи за два последних года», — «Колокол», №№ 172, 173); «Финляндец» («Голос из Финляндии», — «Колокол», № 173); «Аседин» («Современные заметки», — «Колокол», № 205); «Русский» (большая статья «Финансовое положение», — «Колокол», №№ 222—228); «Изменник» («Изменник России», — Русское прибавление к «Kolokol», № 23); «Гражданский самоубийца» («Анонимное письмо», — «Полярная Звезда», книга I) и др. Точно так же многое остается невыясненным и в анонимных публикациях Герцена. Можно надеяться, что в дальнейшем часть этих пока неведомых авторов будет установлена.

Понятно, что в список не внесен Огарев, — его нельзя отделять от Герцена при той роли, которую он играл в издательской работе последнего, на всем ее протяжении.

Не отмечены и иностранцы, участвовавшие в герценовских изданиях (Гарибальди, Мадзини, Виктор Гюго, Прудон, Мишле, Карлейль, Шаландье и др.). Разработка перечня иностранцев — сотрудников герценовских изданий составляет задачу особого порядка, осуществление которой стоит на очереди.

В заключение считаем нужным оговориться, что настоящий список может оказаться не свободным от тех или иных пробелов и неточностей. При той крайней разбросанности и дробности относящегося сюда материала, о которых мы говорили, избежать такого рода пробелов и неточностей было трудно. Полагаем, однако, что как первая, по сути дела, попытка в данном направлении список принесет свою пользу всем работающим в области истории русской литературы и общественной мысли.

СОТРУДНИКИ ГЕРЦЕНОВСКИХ ИЗДАНИЙ

Абихт Генрих — поляк-эмигрант. Не окончив курса гимназии, он был писцом в почтовом ведомстве. После эмиграции был в Лондоне почти год наборщиком в типографии Герцена в 1858—1859 гг.; затем переехал в Париж. Абихт принадлежал к польским социалистам. Принял участие в польском восстании и был повешен в 1863 г. в Варшаве вместе с капуцином Макаром Конарским Имя Абихта встречается в переписке Герцена 1858—1859 гг. О его смерти Герцен рассказал в статье «Подлые» («Колокол», № 166), заимствовав сведения об этом из газеты «Наше Время». В. И. Кельсиев, после возвращения в Россию, напечатал в «Русском Вестнике» (1869 г., № 1) статью «Эмигрант Абихт».

Аксаков Иван Сергеевич. — В конце 50-х годов отношения между Герценом и Аксаковым были очень дружественными. В августе 1857 г. он посетил Герцена в Лондоне, о чем последний сообщал И. С. Тургеневу: «Здесь был Ив. Аксаков, и мы с ним очень, очень сошлись...». Огарева-Тучкова пишет: «В продолжение нескольких дней Герцен и Аксаков много спорили, ни один не считал себя побежденным, но у них было обоюдное уважение, даже больше — какая-то симпатия, какое-то влечение друг к другу; так они и расстались бойцами одного дела, но с разных отдаленных точек»[21]. Аксаков дал Герцену согласие на напечатание своей комедии «Присутственный день уголовной палаты», не пропущенной в России цензурой. Комедия появилась в IV книжке «Полярной Звезды» без имени автора. На этом не окончилось сотрудничество Аксакова у Герцена. В октябре того же 1857 г. он в письме рекомендует Герцену рассказать в «Колоколе» о случае с учителем корпуса Басистовым, о его статье в «Петербургских Ведомостях» и о трениях, возникших по этому поводу между Ростовцевым и Вяземским[22]. Значительно позже, 16 апреля 1860 г., Аксаков пишет Герцену из Мюнхена: «Я получил вчера с оказией очень подробные письма из России и некоторые бумаги. Не знаю, известны ли они вам: 1) записка, которая ходит по рукам в Москве о графе Панине, она интересна, как исторический документ, и не должна пропасть; 2) адрес владимирского дворянства». Дальше он сообщает новости об Унковском, Головачеве, Ник. Милютине, о московской цензуре и пр.[23]. Герцен 28 апреля известил его о получении посылки. «Адрес владимирского дворянства очень хорош, и, что всего забавнее, мы его напечатаем с гнусным петербургским»[24]. Адрес можно найти в № 71 «Колокола» в статье «Провинция и резиденция». Что касается до записки о Панине, то она, повидимому, не была напечатана.

Аксаков Константин Сергеевич. — Его статья по крестьянскому вопросу была доставлена Герцену И. С. Аксаковым. О ней Герцен писал И. С. Аксакову 5 октября 1860 г.: «Не могу понять, куда делась тетрадь Конст[антина] Сергеев[ича]? Трюбнер говорит, что я ему ее не посылал. А мы живем на два дома — у моря и здесь — оттого большой беспорядок. У меня никогда не пропадало клочка бумаги, а это целая тетрадь. Я завтра еду и примусь искать, когда возвращусь». На том же листе пишет и Огарев: «Статью Константина Сергеевича мы отыщем середь домашнего беспорядка, но вот в чем вопрос: не позволит ли он напечатать ее (без имени) в 9-й книжке «Голосов из России»? Она вышла бы рядом с статьей о том же предмете У-го [Унковского. — *М. К.*] и хорошо бы пополнила задачу именно потому, что то, где У-й, по моему мнению, не прав, — там ваш брат прав. Это сделало бы из 8-й и 9-й книги Голосов нечто очень целое о крестьянском вопросе. Как вы думаете? Жду вашего решения, 9-я кн[ига] печатается». В постскриптуме Огарев добавил: «Пересмотрев корректуру статьи У., я вижу, что невозможно в одну книжку поместить статью Кон[стантина] Серг[еевича], слишком выйдет толста, а потому прошу позволения напечатать ее отдельной книжкой, [в] X кн. «Голосов из России»[25]. Как известно, IX выпуск «Голосов из России» был последним, — X выпуск не появлялся. Статья К. С. Аксакова так и не была издана Герценом. И. С. Аксаков напечатал ее в 1861 г. в Лейпциге у Франца Вагнера с именем автора (к тому времени умершего) под заглавием: «Замечания на новое административное устройство крестьян в России».

Бабст Иван Кондратьевич (1823—1881) — либерально-буржуазный экономист, профессор политической экономии казанского, а потом московского университета. 17 ноября 1858 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «В том письме, в котором вы прислали бабстову статейку...» и т. д. Не исключена возможность, что дело идет о какой-то печатной статье Бабста, но гораздо вероятнее, что через Рейхель Герцену была доставлена статья Бабста для «Колокола». В начале 1859 г. Бабст первый подписал сочувственное коллективное письмо Кавелину по поводу его полемики с Чичериным из-за Герцена. Но уже в августе 1859 г. Герцен получил с оказией письмо из Москвы от Кетчера и Бабста: «Ругают наповал бедный „Колокол“». В дальнейшем в «Колоколе» не раз упоминается имя Бабста по поводу разных его выступлений реакционного свойства.

Бакунин Михаил Александрович. — Взаимные отношения Герцена-эмигранта и Бакунина неоднократно выяснялись в литературе во всей полноте. Мы ограничиваемся перечислением того, что напечатал Бакунин в изданиях Герцена. Первая из его статей в «Колоколе» это — «Русским, польским и всем славянским друзьям» (№ 122—123. Напечатана в прибавочном к номеру листе). Статья «Несколько слов южным славянам» появилась в № 128. В № 145 находится статья Бакунина «С.-Петербургская нескромность». В том же 1862 г. отдельным изданием была напечатана в Вольной русской типографии брошюра Бакунина «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель?» Затем, после большого перерыва, уже в 1867 г. в «Колоколе», № 241, появились два письма Бакунина к Герцену. В № 9 французского «Kolokol» напечатана почти целиком статья Бакунина, взятая из пробного номера французской газеты «Democratie». Наконец, его речь на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы имеется в «Kolokol», № 14—15.

Бартенев Петр Иванович — известный впоследствии крайне консервативный издатель «Русского Архива», оказал Герцену ценнейшую услугу, доставив ему текст записок Екатерины II. Появление их вызвало сенсацию не только в России, но и в Западной Европе. Русские правительственные круги рвали и метали и, конечно, всячески стремились узнать, кто передал Герцену этот секретнейший документ, — но тайна была хорошо соблюдена. Вот рассказ Н. А. Огаревой-Тучковой о том, как Герцен получил «Записки». «В это время приехал к Александру Ивановичу один русский, NN. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами. Теперь, когда его уже нет на свете, я могу открыть тайну, которую знаю одна, могу рассказать о причине, которая его привела в Лондон. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: «Я очень рад приезду NN, он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев, — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски; вот и тогдашняя орфография — это верная копия». Когда записки императрицы были напечатаны, NN был уже в Германии, и никто не узнал о его поездке в Лондон. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести записки эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким...» [26]. Как известно, П. И. Бартенев хромал. Из некролога его, написанного его сыном, видно, что в 1858 г. он, оставив службу в архиве министерства иностранных дел, уехал за границу и слушал лекции в берлинском университете. Он долго жил в Берлине и два раза ездил оттуда в Лондон [27]. В одном ошиблась Огарева-Тучкова: когда она писала свои воспоминания, Бартенев был еще жив (он умер в 1912 г.). Осведомленный А. Н. Пыпин заметил по этому поводу: «Автор воспоминаний ошибается» [28]. Записки Екатерины вышли первым изданием в 1859 г. (Императрица Екатерина вторая. Записки. Издание Искандера. Перевод с французского. London, Trübner and C°. 1859. С предисловием переводчика и приложениями). Бартенев не только доставил копию записок, — он же был и переводчиком их на русский язык, и автором предисловия [29].

Бейдеман Михаил Степанович (1840—1887). — По окончании военного училища он эмигрировал и в конце октября 1860 г. явился в Лондон. Работал наборщиком в типографии Герцена. Политическое его миросозерцание целиком сложилось



Г. Н. ВЫРУБОВ
Литография
Литературный музей, Москва

под влиянием Герцена и Огарева. В показании, данном после ареста, он дал прямо восторженную и благоговейную их характеристику. Кельсиев, называвший Бейдемана простодушным и симпатичным мальчиком, говорит о наборщиках типографии: «Иеродиакон Агапий и князь Трубецкой были отличные наборщики и бывали приняты у Герцена, а Дубровин[30] и Эберман были ленивы и у Герцена, который их не взлюбил с первого раза, приняты почти не бывали». В мае 1861 г. Бейдеман уехал из Англии, в июле, при попытке возвратиться в Россию, был арестован в Улеаборге; при нем были найдены клочки рукописного подложного манифеста, возбуждавшего крестьян к восстанию от имени «Константина». На допросах он вел себя очень смело, прямо дерзко. По распоряжению Александра II он был заточен без суда в Алексеевский равелин «впредь до особого распоряжения». Просидев в равелине 20 лет, несчастный впал в психическое расстройство и в июле 1881 г. переведен в казанскую больницу для умалишённых, где через шесть лет и умер.

В № 201 «Колокола» 1865 г. была помещена заметка: «Правда ли, что русский офицер Бейдеман, принимавший участие в итальянской войне и выданный австрийцами в Россию, с тех пор, т. е. третий год, содержится в каземате без суда, следствия и, стало быть, приговора?» М. К. Лемке объяснил эту заметку в том смысле, что Герцен, конечно, знал суть дела, но умышленно воспользовался случаем, чтобы показать непричастность Бейдемана к делу заграничной пропаганды[31]. На той же точке зрения стоял и П. Е. Щеголев: по его мнению, Герцен сообщал неверные сведения о деятельности Бейдемана из осторожности, чтобы не выдать своих отношений с ним. «Осторожностью объясняется и полнейшее отсутствие каких-либо упоминаний о Бейдемане в сочинениях и письмах Герцена»[32]. Нам представляется гораздо более правдоподобным, что до Герцена действительно дошли неверные слухи о причинах заключения Бейдемана. По всем вероятиям, в Лондоне не знали настоящей фамилии Бейдемана. Явившись к Герцену, он назвал себя вымышленной фамилией Дубровина. Герцен в письме к Тургеневу от 4 февраля 1861 г. (т. е. когда Бейдеман проработал в типографии уже месяца три!) просит навести справки об эмигрировавшем офицере Дубровине. Тургенев, естественно, ответил, что о Дубровине никто ничего не знает[33]. Кельсиев в «Исповеди» говорит тоже о Дубровине; в очерке «Из рассказов об эмиграции» он выводит его под измененной фамилией «Буровин»[34]. В «Исповеди» говорится, что Дубровин, отправившийся в Норвегию, чтобы оттуда перебраться в Россию, «пропал без вести».

Почти наверное можно сказать, что это — не конспирация, а действительное незнание дальнейшей судьбы «Дубровина», подлинное имя которого осталось в Лондоне неизвестным.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — известный врач и литератор. Белоголовый — автор статьи «Убийство Неклюдова в Иркутске» во 2 номере «Под суд!». Статья касалась дуэли двух чиновников особых поручений в Иркутске, Беклемишева и Неклюдова, окончившейся смертью Неклюдова. Иркутское общество волновалось, открыто говоря, что это была не дуэль, а простое убийство, так как не были соблюдены различные обычные гарантии. Всесильный генерал-губернатор Муравьев-Амурский поддерживал Беклемишева и применял меры насилия к его противникам (в том числе, например, к Петрашевскому). Сибиряк по происхождению, Белоголовый жил тогда в Париже и был посредством писем с родины хорошо осведомлен о деле. Написав на основании имевшихся материалов статью, он отправил ее Герцену, и она была напечатана. Приближенные Муравьева составили опровержение. М. А. Бакунин, живший тогда в Иркутске и бывший поклонником Муравьева, согласился стать посредником между ним и Герценом и написал последнему письмо с просьбой напечатать упомянутую статью-опровержение. При такой рекомендации, Герцен опубликовал произведение муравьевских сторонников. Белоголовый в июне 1861 г. отправился из Москвы в Лондон со специальной целью уговорить Герцена поместить его ответ защитникам Муравьева. Не застав Герцена в Лондоне, он поехал в Париж, и там свидание состоялось. Выслушав Белоголового, Герцен согласился, что правда не на стороне Муравьева, а на стороне его противников. Но вместе с тем он отказался напечатать статью Белоголового, так как это значило бы выступить против Бакунина, находившегося в ссылке и не имевшего возможности защитить себя в печати. «Правда мне мать, но и Бакунин мне Бакунин», — сказал Герцен. После этого Белоголовый счел невозможным настаивать на помещении своей статьи. Перед отъездом Белоголовый передал Герцену кое-какие материалы по сибирскому управлению для «Колокола» [35].

В том же году небольшая заметка Белоголового в «Колоколе» оказала очень быстро могущественное действие. Он напечатал в № 103 несколько строк под заглавием «А. В. Поджио и его племянники», где указал, что племянники декабриста Поджио, по его возвращении из Сибири, отказались вернуть ему его часть имения. Один из племянников Поджио был так смущен этой заметкой, что немедленно возобновил сношения с дядей и возвратил ему, что полагалось [36]. Об этом Герцен известил читателей «Колокола» в № 135 в заметке под тем же заглавием «А. В. Поджио и его племянники».

Бенардаки Николай Дмитриевич, — сын известного богача-откупщика. Он доставлял Герцену ценные информационные сведения для печати, что показывает следующее место из письма к нему Герцена-сына от 31 мая 1863 г.: «Вместе с отцом и Николаем Платоновичем свидетельствуем вам нашу душевную признательность за горячее участие в нашем общем деле. Записки ваши очень интересны; они доставляют нам обилие материалов для объяснения мистерий петербургского пашалыка. Вы не должны прекращать отношений с теми лицами, которые могут развить общие идеи. Ваше материальное положение откроет вам доступ к тайнам администрации и укажет тех лиц, которые вредят общему делу» [37].

Благосветлов Григорий Евлампиевич — известный публицист. В конце 50-х годов, живя в Лондоне, он был близко знаком с Герценом и одно время состоял учителем его дочерей. Огарева-Тучкова говорит, что он исполнял для Герцена платные переводы. «Вспоминаю теперь, что он изучил в это время английский язык и перевел с английского «Записки Екатерины Романовны Дашковой» [38] (записки эти вышли в свет в Лондоне в начале 1859 г.). О причастности Благосветлова к герценовским изданиям говорит и одно из писем Огарева к Герцену, печатаемых в № 39—40 «Литературного Наследства» (стр. 389). В письме этом, относящемся к 1860 г., Огарев говорит о присланных Благосветловым вещах: о заметке «Правда ли?» (по словам Огарева, «очень глупой»), интересной записке генерала Павловского и каких-то стихах. Вероятно, это была не единственная присылка Благосветлова.

Блюммер Леонид Петрович (1840—1888) — кандидат прав; журналист и беллетрист. В конце 1861 г. он выехал за границу, где сблизился до известной степени с эмигрантами (Герценом, П. В. Долгоруковым). В 1862—1864 гг. издавал журнал «Свободное Слово» и газеты «Весть» и «Европеец» (в Брюсселе, Берлине и Дрездене). В 1869 г. был обвинен П. В. Долгоруковым в том, что он является тайным агентом русского правительства. В настоящее время еще невозможно категорически ответить, насколько это обвинение было верно. В том же году выразил раскаяние и вернулся в Россию; в 1866 г. приговорен к ссылке в Томскую губ. Через два года получил разрешение вернуться в Европейскую Россию. Занимался адвокатурой, литературой и золотопромышленностью. В «Колоколе» № 119—120 помещена статья Блюммера «Защита московских профессоров (письмо в редакцию)»; в № 134 — «Письмо к издателю». В № 141 имеется заявление от издателей, начинающееся словами: «Помещая в нынешнем листе «Колокола» приглашение г. Блюммера, которое мы поддерживаем всеми силами, мы скажем несколько слов о нашем сборе на общее дело». Однако, ни в этом, ни в следующих номерах «Колокола» никакого заявления Блюммера не появилось.

Боткин Василий Петрович. — В конце 50-х годов Боткин, позднее ушедший в самую темную реакцию, относился к изданиям Герцена прямо восторженно и даже оказывал ему содействие. 7 января 1858 г. Тургенев писал об этом Герцену: «Боткин, с которым я вижусь каждый день, совершенно симпатизирует твоей деятельности и велит тебе сказать, что по его мнению ты и твои издания составляют эпоху в жизни России» [39]. Герцен говорит об этом: «Сам В. П. Боткин, постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфелями» [40]. Присылки каких-то материалов от Боткина Герцен ожидал еще в 1857 г. 27 сентября он писал М. К. Рейхель: «...Я получил то письмо, о котором вы писали — от Б. и, наконец, от него же письмо, в котором он пишет, что послал на имя Nosgat книги и рукопись; но вот уже 6-й день, а ни того, ни другого нет». 30 июля 1858 г. он извещает Рейхель: «Б. привез мне пук разных писем старых врем[ен] 1842 — [18]46; бездна любопытного». В письме к Анненкову Герцен опять говорит о «кипе старых бумаг», привезенных Боткиным; в том числе было с десяток писем Белинского [41]. В «Полярной Звезде», кн. V (1859), в виде приложения к «Былому и думам», напечатано 8 писем Белинского — очевидно те, которые были доставлены Боткиным.

Булич Николай Никитич (1824—1895) — профессор истории русской литературы Казанского университета. В мае 1859 г. он посетил Герцена в Лондоне. Повидимому, ему принадлежит в № 100 «Колокола» письмо к издателям об усмирении крестьян в с. Бездне («Граф Апраксин Бездненский». Входит в статью «Мартиролог крестьян») [42].

Буренин Виктор Петрович — впоследствии известный нововременец. Б. Глинский, его бывший сотоварищ по суворинским изданиям, сообщает о нем: «В 1861 г. он посылает на страницы герценовского «Колокола» корреспонденцию из Москвы по поводу адреса, выработанного местными литераторами на квартире у Каткова по инициативе Громеки в связи с известным арестом писателя Михайлова и с общим политическим движением, охватившим русское общество в 1861 г. Конечно, эта корреспонденция была анонимная...» [43]. В «Колоколе» № 113 (от 22 ноября 1861 г.) напечатан «Текст адреса, не подписанного московскими литераторами», — очевидно, это и есть текст, присланный Бурениным.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы. Ю. А. Веселовский в своей статье о Вейнберге (История русской литературы, изд. «Мир», т. V, стр. 295), вероятно со слов самого Вейнберга, впервые сообщил, что ему принадлежит стихотворение «Иакову Ростовцову в день его юбилея 23 декабря 1856 г.», напечатанное в «Колоколе» № 26 от 15 октября 1858 г., стр. 215—216, конечно, без подписи автора. Стихотворение это примыкает к резким нападкам на Я. И. Ростовцева со стороны Герцена в «Колоколе», которые усилились особенно с момента назначения Ростовцева председателем редакционных комиссий по крестьянскому делу. В редакционном примечании к стихотворению Вейнберга Герцен говорит,

что стихотворение это «приобретает уже историческое или, пожалуй, характеристическое значение».

Вендт. — 26 апреля 1858 г. Герцен писал Мальвиде фон Мейзенбург: «Если будете писать к Кампе[44], поблагодарите его за письмо... и просите его выразить хорошенько мою большую благодарность г. Вендту. Его письмо полно интереса и глубокого комизма. Я тотчас бы его напечатал, но не хочу его компрометировать и потому же не пишу ему лично. Из его письма я сделал статейку для «Колокола». Кто такой Вендт, мы не могли установить, но судя по опасению Герцена скомпрометировать его, он был русским, а не германским подданным. Лемке в примечаниях высказывает предположение, что статья, в которой Герцен использовал письмо Вендта, вероятно, — «Материалы для некролога Авраамия Сергеевича Норова» («Колокол», № 15), но не объясняет, на чем основано это предположение, и ничего не говорит о личности Вендта[45]. Можно напомнить, что некий русский доктор Вендт был в начале 80-х годов врачом на курорте в Эмсе. Он поддерживал дружеские отношения с приезжавшими за границу М. Е. Щедриным-Салтыковым и Г. З. Елисеевым[46]. Может быть именно он в молодости был корреспондентом Герцена?

Венюков Михаил Иванович (1832—1901) — известный географ и путешественник. Его сотрудничество в «Колоколе» устанавливается следующими словами Герцена в письме к Огареву от 23 апреля 1868 г.: «А тот корреспондент, бывший в Женеве, — помнится, Венюков, писавший о Кавказе и Сибири». На этом основании Венюкову можно совершенно определенно приписать статью «Примечания к будущей истории наших завоеваний в Азии» («Колокол», прибавочный лист к первому десятилетию — от 1 августа 1867 г.). Статья делится на четыре главы: 1. Восточная Сибирь. 2. Западная Сибирь. 3. Оренбургский край. 4. Кавказ. Редакция называет «Примечания» чрезвычайно занимательными и бойкими, носящими печать истины и наблюдательности. Оценку разных лиц, даваемую в статье, редакция оставляет на ответственности автора.

Ветошников Павел Александрович — участник революционного движения 60-х годов. Летом 1862 г. он был у Герцена и уезжая взял от лондонских эмигрантов некоторые письма для передачи в Россию. Арест Ветошникова, у которого были отобраны упомянутые письма, повлек за собой арест многих других лиц; в результате создалось целое большое дело «о сношениях с лондонскими пропагандистами». 15 января 1864 г. Герцен писал дочери Наталье и Мальвиде фон Мейзенбуг: «...Писемский написал роман «Взбаламученный омут», в котором самым гнусным образом рассказал историю о взятии Ветошникова, о том, что мы ему дали печатные вещи etc. Все догадаются, что это его записка помещена в моей статье». Герцен имел в виду главы XVI—XX шестой части романа Писемского «Взбаламученное море», где описывается посещение его героями Лондона и арест Валерьяна Сабакеева при возвращении в Россию на самой границе. Неизвестно, о какой своей статье говорит здесь Герцен, но из письма можно усмотреть, что Ветошников доставил Герцену для напечатания какие-то материалы.

Вихерский Феликс — поляк. 17 декабря 1868 г. Герцен писал Огареву: «Брошюру поляка непременно печатать. Я ему, пожалуй, напишу или сообщи ты». И дальше: «Польскую книгу, т. е. Вихерского, вели сейчас набирать. Он просит поправить язык, — это уж ты сделай». Брошюра, о которой идет речь, это — «Письмо Ф. Вихерского к генералу Ф. Ф. Трепову», Женева, 1869 г. Она вышла, повидимому, в первых числах января, судя по письму Герцена к Огареву от 6 января 1869 г.: «Нельзя ли брошюру поляка разослать вместе с «Прибавл[ениями]»? Они друг друга двинут». Герцен поддерживал с Вихерским личные сношения. 26 сентября 1869 г. он писал Огареву из Парижа: «Жду Вихерского. Он мне не очень нравится, но человек умный. С ним придет Крамер, действ[ительный] ст[атский] сов[етник] и кавалер».

Вормс Николай Александрович (1845—1870) — поэт. О его личности и жизни имеется очень мало сведений. Сын исправника, он учился в орловской гимназии. Стихи Вормса печатались в «Современнике», «Русском Слове», «Деле», «Женском

Вестнике», «Искре», «Модном Магазине». Во второй половине 60-х годов он был эмигрантом в Женеве (приехал в Швейцарию в 1866 г.). Герцен относился к нему очень отрицательно и весной 1868 г. имел с ним неприятное столкновение. О его гимназических годах см.: «Критико-биографический словарь» Венгерова, т. VI. Некрологическая заметка о нем в три строки помещена в «Иллюстрированной газете», 1870 г., № 10. В литературе[47] имеются указания, что Вормс был автором большой статьи «Белый террор», помещенной в «Колоколе» за 1867 г. в №№ 231—232, 233—234, 235—236 (в 1875 г. вышло отдельное издание в Лейпциге). Некоторым подтверждением этого может служить переписка Герцена. Имеется письмо Герцена к некоему В. от 23 апреля 1867 г. Дело идет о помещенной им в «Колоколе» статье; Лемке в примечании поясняет, что статья эта — «Белый террор»[48]. Точно так же из письма Герцена к Огареву от 13 мая 1867 г. видно, что фамилия автора статьи «Белый террор» начиналась с В.[49]. Однако, остается место для сомнений. Дело в том, что рассказ в «Белом терроре» ведется от лица, пострадавшего по делу Каракозова; в статье имеется даже подзаголовок «Рассказ одного из сосланных под надзор полиции. Мы не знаем, привлекался ли Вормс по какому-нибудь делу, — но можно положительно утверждать, основываясь на архивных данных, что в числе не только понесших какую-нибудь кару по делу Каракозова, но даже в числе подвергшихся кратковременному аресту Вормса не было. Таким образом, вопрос о нем как об авторе «Белого террора», остается до известной степени открытым.

Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913) — известный русский позитивист, проживавший за границей. Был близок к Герцену в конце жизни последнего. В № 14—15 французского «Kolokol» поместил письмо к Герцену по поводу своего выступления на конгрессе мира в Берне. Герцен напечатал ответ на это письмо в «Supplément du «Kolokol» от 15 февраля 1869 г.

Гербель Николай Васильевич (1827—1883) — поэт-переводчик, составитель ряда сборников стихотворений русских и западно-европейских поэтов. Он имел связи с Герценом, Шелгуновым, М. И. Михайловым и др., стоял близко к обществу «Земля и Воля», в 1864 г. сохранял его архив и типографский шрифт. В записке к нему Герцена от конца июля 1861 г. говорится: «Я, propriétaire чернильницы, был у вас с просьбой поправить этот листок и отослать Тхоржевскому. Прощайте»[50]. М. К. Лемке пояснил, что это приписка к записке Огарева; из последней ясно, что Гербель не только привез материал для печатавшегося тогда Огаревым сборника «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый, Стихотворения; часть первая», но и участвовал в его корректуре.

Голицын Юрий Николаевич, кн. (1823—1872) — дирижер и композитор-любитель, колоритнейший представитель русского старого барства. В ноябре 1858 г. стало известно, что писарь канцелярии военного министерства списывает для Голицына статьи из «Колокола» и переписывает его собственные статьи, предназначенные для «Колокола». При расследовании оказалось, что Голицын отправил Герцену несколько статей: 1. О рекрутских квитанциях; 2. О помещике Пензенской губ. Каткове; 3. О сохранении лесов в Пензенской губернии; 4. О винокуренном заводе в имении Обрескова; 5. О взятках, платимых «Московскими Ведомостями» почтамту и 6. О состоянии губернских комитетов, преимущественно тамбовского[51]. Из этих заметок первая, вторая, четвертая и шестая были использованы в смеси № 32—33 «Колокола». Кроме того, Голицын отправил Герцену письмо с горячей просьбой, характерной для либералов того времени, не нападать в «Колоколе» лично на Александра II. За эти свои связи с Герценом Голицын был удален со службы, лишен придворного звания и отправлен на житье под надзор полиции в Козлов. В начале 1860 г. он тайно перешел границу и явился в Лондон. О его концертах в Лондоне, устраивавшихся с большим размахом и пользовавшихся громадным успехом, и о различных злоключениях князя за границей весьма ярко рассказал Герцен в «Былом и думах» (Собр. соч., т. XIV, стр. 385—395). В августе 1862 г. Голицын, не имевший никаких принципиальных побуждений к эмиграции, вернулся в Россию.

Гончаренко Агапий (Андрей) — бывший дьякон русской миссии в Афи-

нах. Род. 19 августа 1832 г. в Киевской губ. Находясь еще в Афинах, Агапий прислал в «Колокол» материал для нескольких заметок; он изобличал русского архимандрита в Афинах в грязных пороках, русского консула в различных неправомерных деяниях. Эти изобличения вовлекли «Колокол» в затянувшуюся полемику с афинским профессором Ромботи, выступившим на защиту архимандрита. В конце 1860 г. Агапий, отказавшись ехать в Россию, явился в Лондон и несколько месяцев был наборщиком Вольной русской типографии. Кельсиев называет его отличным наборщиком, но в то же время характеризует его, как «грязную личность, оклеветавшую в «Колоколе» своего архимандрита, наделавшую пропасть подлостей в Лондоне». В 1860 г. в Вольной русской типографии Гончаренко напечатал «Стоглав» со своим предисловием (подпись: И. А.) по рукописи, подаренной ему князем Долгоруковым. Статья его «Монастырское крепостное право», посвященная Киево-Печерской лавре, с тою же подписью «И. А.» имеется в № 86 «Колокола». В № 95 есть небольшая заметка на украинском языке «От иеродиакона Агапия (Андрея Гончаренко)», посвященная смерти Т. Г. Шевченко. В сентябре 1861 г. Гончаренко уехал из Лондона на Восток, на Афоне был рукоположен в священники. Герцен писал о нем Долгорукову: «...Афонский[52] диакон бросил типографию и наделал здесь разных сплетен и гадостей. Не был ли он у вас? Берегитесь его»[53]. После разных скитаний Гончаренко в октябре 1864 г. уехал в Америку. В 1867 г. устроил в Сан-Франциско русскую типографию, в следующем году основал двухнедельное обозрение «Alasca Herald» с наполовину английским, наполовину русским текстом. С 1872 г. издавал в Сан-Франциско русскую газету «Свобода». Поддерживал письменные сношения с Огаревым, который прислал ему для напечатания в «Свободе» несколько стихотворений. Умер в Калифорнии 5 мая 1916 г. Автобиография его помещена в русском журнале «Прогресс» (Нью-Йорк), № 18 (1893 г.).

Громека Степан Степанович (1823—1877) — бывший жандармский офицер, в конце 50-х — начале 60-х годов либеральный публицист. Был в это время очень усердным осведомителем Герцена. В заграничном «Вольном Слове», 1883 г., № 57 напечатаны 4 письма Громеки к Герцену за 1859—1861 гг. Письма проникнуты прямо подобострастным отношением к Герцену. Громека называет себя рекрутом на той службе, в которой Герцен так давно служил полководцем, и стремится сделать под знаменем Герцена несколько походов и побывать в открытом честном бою. «Если б вы были среди нас, — вы были бы русским Гарибальди, а теперь нам остается читать ваше евангелие и ждать, пока вы расшевелите нас». В марте 1861 г. Громека был определен на службу в министерство внутренних дел на должность начальника отделения департамента общих дел. Он сразу же использовал свое служебное положение в целях информации Герцена. О содержании тех бумаг, которые ему приходилось составлять для докладов, он немедленно сообщал в Лондон. От Громеки шло извещение, что начальником III отделения назначается П. А. Шувалов; отрывки из обращения Шувалова к Долгорукову он привел в письме, но просил Герцена до времени щадить Шувалова, пока он «подает надежды». Эта информация Громеки отразилась в статейке Герцена «Buona notte, buona notte!» («Колокол», № 98—99), кончающейся словами: «Если Шувалов дорожит своим именем, то, приняв, как говорят, à contre coeur место (непростительная слабость!), пусть же он сделает его ненужным». О том, что Шувалов якобы неохотно брался за свою новую должность, Герцену писал именно Громека. Тот же Громека первый известил Герцена о крестьянских волнениях в с. Бездне. Герцен изложил содержание его письма в статье «Русская кровь льется» (тот же № 98—99). В 100 номере статейка «Киевский университет и Н. И. Пирогов» целиком основана на сообщении Громеки: он прислал Герцену доклад Васильчикова о Н. И. Пирогове, с замечаниями, сделанными на полях доклада Александром II. Еще из писем Громеки видно, что он писал Герцену о «подвигах» коломенского предводителя Скорнякова. Без сомнения, это только часть, случайно ставшая нам известной, того, что сообщал Герцену его усердный поклонник из бывших жандармских офицеров.

С 1864 г. в «Колоколе» начинаются иронические упоминания о Громеке, который, став седлецким губернатором, начал делать свою карьеру. Во французском «Колоколе» № 9 (1868 г.) помещена заметка Герцена «Громека преследователь, Громека православный и яростный византиец»; там рассказывается, как Громека энергично вводил православие, — заставлял стрелять из ружей в крестьян-униатов, атаковал деревни и пересылал сотнями узников из Дубно в Седлец.

Данич — поляк. Он был наборщиком в лондонской типографии, принял участие в польском восстании (по словам Кельсиева, «унтер-офицер польского повстания»), был взят в плен и посажен в тюрьму, откуда бежал и опять явился к Герцену. Переехал в Женеву вместе с типографией в 1865 г. и продолжал там работать. В 1868 г., когда типография Чернецкого стояла почти вовсе без работы и пришлось распустить рабочих, Данич оставался единственным наборщиком. Имя Данича нередко встречается в письмах Герцена.

Добролюбов Николай Александрович. В № 23—24 «Колокола» (от 15 сентября 1858 г.) помещена статья Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны», написанная еще во время пребывания автора в Педагогическом институте. Принадлежность Добролюбову этой язвительнейшей характеристики директора Педагогического института — Давыдова была установлена еще в 1912 г. М. К. Лемке на основании рукописных воспоминаний М. И. Шемановского, одного из самых близких товарищей Добролюбова по институту. От времени написания статьи (конец 1856 г. или начало 1857 г.) до ее опубликования в «Колоколе» прошло весьма значительное время. О тех путях, какими статья молодого студента была передана в Лондон, ничего не известно. Также не известно, каким путем попало в руки Герцена другое стихотворение Добролюбова «На смерть помещика Оленина» («Русская потаенная литература», стр. 268—283), написанное им в нач. 1855 г. Огарев в примечании к этому стихотворению указывает, что оно «сделалось известным нам только в Лондоне». Возможно, что и оно было доставлено В. Р. Зотовым (см. ниже).

Долгоруков Петр Владимирович, кн. (1816—1868) — публицист и историк-генеалог. В 1859 г. выехал за границу и, отказавшись вернуться по требованию правительства, остался до конца жизни эмигрантом. В 1860—1864 гг. был издателем нескольких газет и журналов («Будущность», «Правдивый», «Листок»); выпустил несколько книг, преимущественно на французском языке. Долгоруков, чрезвычайно гордившийся своим «рюриковским» происхождением, был сторонником конституционной монархии; в его воззрениях было много сумбурного. В своих писа-



С. С. ГРОМЕКА
Фотография
Литературный музей, Москва

ниях, носивших отчасти сплетнический характер, он много занимался изобличением русского высшего круга в его прошлом и настоящем. К Герцену Долгоруков относился с уважением. Герцен же, нисколько не сочувствуя аристократическому конституционализму Долгорукова и зачастую тяготясь разными тяжелыми сторонами его характера, все-таки поддерживал с ним сношения, несмотря на происходившие размолвки, иногда довольно бурные.

Долгоруков нередко печатался в герценовских изданиях. Уже вскоре после его выезда за границу, в № 73—74 «Колокола» появилась «Переписка князя П. В. Долгорукова с русским правительством». Переписка заключается в четырех письмах Долгорукова и двух записках к нему Ф. Грота, русского консула в Великобритании. В редакционном примечании говорится: «Князь П. В. Долгоруков передал нам лично эту характеристическую переписку; спешим поделиться ею с читателями „Колокола"». Далее, Долгоруков неоднократно помещал в «Колоколе» разные краткие заявления и объявления — по поводу издаваемых им газет и пр. (см. №№ 121, 138, 140, 168, 182, 229). Из них представляет интерес «Письмо к редактору „Современника"» (№ 168; письмо было напечатано и в «Современнике»). Это — опровержение проникших в печать слухов о том, что Долгоруков был автором знаменитого анонимного письма, приведшего в конце концов Пушкина к роковой дуэли [54]. В № 170 Герцен счел небезынтересным перепечатать из «Листка» письмо Долгорукова к Александру II. В № 212 имеется некрологическая заметка Долгорукова о декабристе кн. С. Г. Волконском. Из письма Герцена к Огареву от 6 февраля 1867 г. («Как бы не привязались к слову «мошенничество» в статейке Долгорукова, — я постоянно вымарываю ругательства»), видно, что Долгоруков является автором не подписанной статьи «Процесс г. Чичерина в Париже» в № 233—234 «Колокола».

В №№ 235—236 и 237 напечатана анонимно довольно большая статья Долгорукова «Письмо из Петербурга». Прочтя его первую половину, Герцен 20 февраля 1867 г. написал Огареву: «Корреспонденция из Петербурга превосходна». В № 235—236 «Письмо из Петербурга» сопровождалось следующим редакционным вступлением: «Получив с величайшей благодарностью эту корреспонденцию, помещаем ее без всяких изменений с нашей стороны». Но иметь дело с Долгоруковым, как автором, было не легко. 4 марта, ознакомившись с окончанием статьи Долгорукова, Герцен пишет Огареву: «Посылаю корректуру и прошу принять мой протест против всех вымаранных мною мест. Я решительно не могу допустить — без подписи — все, что вымарал, во-первых, потому, что это противно духу «Колокола»; во-вторых, что я должен буду печатать ответы; в-третьих, могу ждать дерзостей, которые приведут к дуэли; в-четвертых, до частных дел Неклюдова и Соллогуба «Колоколу» дела нет. Отправься на объяснение с Пет[ром] Вл[адимировичем], но в этом от меня уступки не жди. Я кладу полное veto. Даже с подписью я вряд напечатал бы». Статья Долгорукова была напечатана, очевидно, со сделанными Герценом изменениями (например, ни о каких частных делах Неклюдова и Соллогуба в ней не говорится). Наконец, в № 238 за полною подписью Долгорукова имеется статья «Пройдохи в России».

Перечисленными статьями не ограничивается участие Долгорукова в «Колоколе». В некоторые периоды, а именно когда Герцен на время уезжал, Долгоруков стоял довольно близко к редакционным делам. В январе 1865 г. Герцен настойчиво советует Огареву прибегать к помощи Долгорукова. «На «Колокол» надо обратить внимание. Ты не умеешь читать газеты — проси помощи у Долгорукова». Или: «Отчего ты не эксплоатируешь Долгорукова насчет газетных отметок? Он все читает и все отмечает. Нужно повнимательнее устроить часть новостей». Еще: «Да и отчего же ты не отметил прямо для «Смеси» кое-какие резкие вещи, напр[имер], 1) об ограничении права раскладки в земск. соб. и о московском протесте? Такую вещь и Долгоруков сделает». Огарев в объяснение отвечал: «Ведь я, уповая на твой громадный талант, не надеюсь на свой и боюсь «смесей» долгоруковских. Пойми ты это» [55].

Особенно определенно чувствуется участие Долгорукова в редактировании в

самом конце существования «Колокола» — в 1867 г. Герцен, в это время отсутствовавший из Женевы, обращаясь к Огареву, неоднократно говорит: «вы», подразумевая Огарева вместе с Долгоруковым. 3 февраля он пишет Огареву: «Статейку об Аксакове не показывай прежде Долгорукову, он раскричится». Через 4 дня: «Я опять написал статейку против Аксакова и прошу ее непременно поместить и тоже Долгорукова не слушать». 17 марта: «Посылаю... «На площади св. Марка». Это мой манифест о греках (не давай Долгорукову менять, особенно подстрочных замечаний)». Вскоре, впрочем, между Огаревым и Долгоруковым произошли какие-то недоразумения, ибо 2 апреля Герцен пишет: «А я, грешный человек, предвидел, что интрижка с Долгоруковым недолго останется в любвях» [56]. Нет сомнения, что в эти периоды приближения Долгорукова к редакции в «Колоколе» помещалось в разных отделах анонимно значительное количество его произведений.

Домбровский Ярослав (1836—1871) — известный польский революционер, выдающийся военачальник Парижской Коммуны, геройски погибший при ее разгроме. В декабре 1864 г. он бежал из московской тюрьмы, скрывался около полугода в Москве и Петербурге и летом 1865 г. перебрался через границу. В двухсотом номере «Колокола» помещены два его письма, касающиеся его побега, к нижегородскому губернатору Одинцову и к М. Н. Каткову (в Нижегородской губ. жила под надзором полиции его жена, тоже благополучно скрывшаяся за границу). Письма Домбровского, исполненные язвительности, не простое сообщение о благополучном переходе границы, какие иногда помещались в «Колоколе», а настоящие литературные произведения.

Ефремов Петр Александрович (1830—1907) — известный библиограф, снабжал Герцена некоторыми материалами по русской литературе и русскому общественному движению. Близко знавший Ефремова Д. П. Сильчевский в некрологической заметке о нем говорит: «Чего нельзя было напечатать в наших подцензурных изданиях, то Ефремов печатал в заграничных нелегальных изданиях. Так, им было напечатано дело братьев Критских в «Полярной Звезде» Герцена (1862 г., кн. VII, в. I). В той же «Полярной Звезде» были напечатаны и другие доставленные им документы и «запрещенные» стихотворения русских поэтов» [57]. Названная статья о братьях Критских, осужденных по политическому делу в 1827 г., называется «Братья Критские и их товарищи в Москве». Под общим заголовком «Рассказы о временах Николая» — в этой книжке «Полярной Звезды» со статьей о братьях Критских объединены две другие статьи: «Колесников и его товарищи в Оренбурге» и «Братья Раевские». Весьма возможно, что и эти две статьи принадлежат Ефремову.

Жуковский Николай Иванович (1833—1895) — революционер-бакунист. В 1862 г., привлеченный по делу Баллоде, бежал за границу и навсегда остался эмигрантом. В «Колоколе», № 144, он поместил письмо к издателям, в котором благодарил поляков, оказавших ему содействие в его побеге. Жуковский был причастен к литературе: он вместе с Бакуниным издавал в 1868 г. журнал «Народное Дело», в 70-х годах был соредактором «Работника» и «Общины». Казалось бы естественным его участие в герценовских изданиях в первые годы его эмиграции. Однако, никаких следов такого участия, помимо названного письма в редакцию, пока не найдено.

Завалишин Димитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист. В № 36 «Колокола» был помещен рассказ «Из воспоминаний о Лунине» с редакционным примечанием: «Бесконечно благодарим мы приславшего эту статью». С. Штрайх высказался об этом рассказе, что он очень похож по анекдотическому изложению на рассказы Завалишина [58]. Ограничиваемся указанием на это сближение. Завалишин был плодовитым писателем и печатался очень много; среди опубликованных им воспоминаний есть и воспоминание о Лунине, но прямых указаний на его сотрудничество у Герцена не имеется. В известном библиографическом труде Н. М. Ченцова, Воспоминание декабристов, — статья «Из воспоминаний о Лунине» отмечена как принадлежащая неизвестному автору.

Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896) — писатель. В 1850-х гг. было очень распространено ходившее по рукам в списках стихотворение «Шарманка»,

представлявшее злую насмешку над Николаем I с его принципами православия, самодержавия и народности. Это стихотворение было напечатано в «Колоколе», № 5 (от 1 ноября 1857 г.). Сестра Н. А. Некрасова, Буткевич, считала это стихотворение принадлежащим ее брату; убежденность в авторстве Некрасова была довольно широко распространена в 50-е и 60-е годы. «Шарманка» даже помещалась в пореволюционных собраниях стихотворений Некрасова, хотя и в отделе «Dubia»[59]. Однако, «Шарманка» очень мало напоминает стихи Некрасова. Гораздо большего внимания заслуживает заявление С. А. Венгерова, что это стихотворение написано В. Р. Зотовым; как отмечает Корней Чуковский, «Шарманка» по своему стилю примыкает к целому ряду стихотворений Зотова. Гипотеза об авторстве Зотова до известной степени подтверждается тем, что летом 1857 г. Зотов провел несколько дней у Герцена, о чем говорит Герцен в письме к М. К. Рейхель от 17 июля 1857 г. и сам Зотов в своих воспоминаниях[60]. Он в это время мог лично вручить свое стихотворение Герцену. Зотов имел некоторое касательство к революционному движению: в 1849 г. он допрашивался по делу Петрашевского, в конце 70-х годов принял на хранение архив «Земли и Воли», а затем и «Народной Воли»[61].

Кроме стихотворения «Шарманщик», которое могло быть передано Герцену лично В. Р. Зотовым, следует отметить роль последнего в доставлении Герцену стихотворений, ходивших в России в рукописном виде и вошедших в сборник «Русская потаенная литература». Н. А. Морозов, передававший Зотову в конце 1870-х гг. важнейшие землевладельческие документы, говорит в своих воспоминаниях («Повести моей жизни», т. IV, стр. 196), что на вопрос, был ли Зотов знаком с Герценом, Зотов, указав на сборник «Русская потаенная литература», сказал: «Почти все это было собрано мною в России и мною же отвезено Герцену для напечатания».

Здесь не лишнее остановиться на одном ошибочном утверждении относительно стихотворения «Шарманка», сделанном Н. Лернером в «Звезде», 1923 г., № 1 (стр. 200). Лернер категорически заявляет, что автор «Шарманки» — третьестепенный поэт 50-х годов Н. А. Арбузов, авторство которого обосновывается тем местом дневника Я. П. Полонского, где рассказывается, что в декабре 1855 г. Арбузов на вечере у поэта Ф. Н. Глинки читал свое стихотворение «Шарманщик» («Голос минувшего», 1919 г., № 1—4, стр. 110), «т. е. конечно, «Шарманку», пояснил Лернер. Это совершенно неверно: в «Стихотворениях» Николая Арбузова (СПб., 1856) на стр. 129—134 напечатано стихотворение «Шарманщик», по содержанию не имеющее ничего общего с «Шарманкой». Этого «Шарманщика» Арбузов и читал у Глинки.

Кавелин Константин Димитриевич. — Близкий к Герцену еще до отъезда последнего за границу, многим обязанный ему в своем развитии, Кавелин на первых порах отнесся неодобрительно к его заграничной литературной деятельности. В 1856 г. в первой книжке «Голосов из России» появилась статья «Письмо к издателю вместо предисловия» с подписью «Русский либерал», писанная совместно Б. Н. Чичериным и Кавелиным (Кавелину принадлежит первая половина статьи, до 2-й страницы). «Русский либерал» очень критически отнесся к «Полярной Звезде» и др. изданиям. То же строгое отношение проявляется и в первом письме Кавелина, писанном в 1857 г., после десятилетней разлуки с Герценом (с «Колоколом», только что начавшим выходить, Кавелин тогда еще не был знаком). «...Живое, единогласно искреннее сочувствие вызывают, собственно, твои воспоминания из прошлой твоей жизни, где так мастерски рисуются твои Erlebnisse в России, да еще сильное участие возбуждают «Голоса из России». Остальное более отчуждает от твоих изданий, чем привлекает к ним, и вредит тебе во мнении всех»[62]. В 3-й книжке «Голосов из России» (1857 г.) появились, под заглавием «Государственное крепостное право в России», две первые главы известной «Записки об освобождении крестьян в России» Кавелина. В целом записка была напечатана (с купюрами) Чернышевским в 1858 г. в 4-й книге «Современника». В связи с появлением этой статьи Кавелин в том же 1858 г. был уволен от должности преподавателя наследника. В воспоминаниях П. П. Семенова-Тяншанского есть свидетельство, что лица, ведшие против Кавелина интригу, воспользовались,

как решительным оружием против него, тем, что он — сотрудник Герцена. «На ходатайство Ростовцева об оставлении Кавелина в должности преподавателя цесаревича, государь ответил, что имеет на увольнение его другие, более важные причины. В руках государя находились достоверные сведения о том, что материалы для статей Герцена, сильно осуждавших действия по крестьянскому делу и оскорбляющих личности сотрудников государя и в особенности самого Ростовцева, доставлялись в редакцию «Колокола» Кавелиным при участии Милютина. По мнению государя, невозможно было допустить, чтобы лицо, находившееся в таких сношениях с государственным преступником, занимавшимся антиправительственной пропагандой, могло быть преподавателем наследника престола. Доказательства же непосредственного участия Кавелина и даже Милютина в статьях герценовского «Колокола» были секретно препровождены Ростовцеву в подлиннике, по высочайшему повелению, шефом жандармов кн. В. А. Долгоруковым»[63]. Насколько убедительны были эти доказательства — мы, к сожалению, не знаем.

Летом 1859 г. состоялось свидание Кавелина с Герценом. Уже до этого свидания Кавелин в письме выразил Герцену свое восторженное отношение к его деятельности, пришедшее на смену прежнему полуосуждению. «Разошедшись на короткое время не в мыслях, а в образе действий, я опять и давно сошелся с тобою. К любви прибавилось благоговение. Не сердись за это выражение. В нем нет ничего раболепного. Я вижу в тебе не только близкого и друга, но первого человека в целой Европе»[64]. Свидание еще более укрепило это отношение Кавелина к Герцену. «Я не могу любить тебя как совершенно равного, потому что преклоняюсь перед тобой и вижу в тебе великого человека... Время ложного стыда должно пройти, как всего ложного. Пора называть вещи их именами. Не я один так смотрю на тебя, а многие; может быть, из близких тебе я один решаюсь это высказать. Тебе лавровый венок, представителю русской мысли, свободной, чающей свое величие и свою неизмеримую будущность»[65]. При таком отношении Кавелина к Герцену весьма правдоподобно, что он стремился поддержать его деятельность и что вклад его в герценовские издания значительно больше того, что нам известно.

В 1862 г. в № 119—120 «Колокола» была опубликована кавелинская «Записка о беспорядках в С.-Петербургском университете». 1862 год был последним годом близости Кавелина с Герценом. В начале года Кавелин напечатал анонимно в Берлине брошюру «Дворянство и освобождение крестьян». Когда Герцен ознакомился с нею, то вознегодовал на эту защиту дворянских привилегий. Между ним и Кавелиным начался оживленный письменный обмен мнений по принципиальным общественным вопросам. Расхождение оказалось настолько сильным, что Герцен с болью вырвал из своего сердца Кавелина и даже отказался от предлагавшегося последним личного свидания. Разрыв был очень тяжел и для Кавелина, но неизбежен. В 1863 г. переписки между ними уже не было, — они разошлись навсегда.

Касаткин Виктор Иванович (1831—1867) — литератор, в 1861 г. — соредактор «Библиографических Записок». В конце 1860 г. был в Лондоне у Герцена. Доставлял в Лондон сведения о раскольниках. Кельсиев, спрошенный комиссией после своего возвращения, от каких лиц получались эти сведения, сначала отговаривался незнанием, а потом заявил: «Касаткин более всех доставлял, если не ошибаюсь, — но и того не могу сказать наверное: как библиофил он более других был сведущ в этом деле и заодно собирал всякие редкие документы». Касаткин входил в московский революционный кружок; в 1862 г. он в Москве несколько раз виделся с приехавшим нелегально в Россию Кельсиевым. Подлежал в этом же году привлечению к дознанию по делу о приезде Кельсиева, но успел скрыться за границу. В № 200 «Колокола» он поместил «Протест В. Касаткина» по поводу приговора над ним сената (изгнание навсегда из России). В 1863 г. Касаткин был деятельным сотрудником Герцена по распространению изданий Вольной типографии, что видно из писем Герцена к нему: «Тхоржевский отправил вам 280 №№ «Колокола» и 70 экз[емпляров] книг...» или: «Спасибо за усердие. Слава богу, что посылка достигла цели: теперь по вашей милости 700 №№ уже в России, а 400 в

дороге, к пасхе получат»[66]. В 1865 г. Касаткин играл довольно большую роль в делах типографии. 12 января Герцен писал Огареву: «Кто тебе говорил, что Касатк[ин] хочет властвовать и повелевать? При всех своих капризах, он все-таки не мальчишествует, как утята[67], с которыми время пришло покончить раз навсегда. Пожалуйста, ты ему не пиши против типогр[афии]. Заведывать морально буду я, голландской сажей Чернецкий, Кас[аткин] associé». 12 апреля, накануне перевоза типографии в Женеву, Герцен писал: «Если б можно было всю экономич[ескую] часть передать Касаткину, я был бы счастливейший смертный». Позже Герцен разуверился в такой возможности. «Конечно, я отдал бы всю материальную часть кому-нибудь, но где же этот кто-нибудь? Мечников, Утин, Гулевич, Касаткин и tutti quanti совершенно неспособны или способны на другое» (письмо сыну от 9 марта 1866 г.). Статей за подписью Касаткина, кроме упомянутого протеста в «Колоколе», не появлялось (что, конечно, не доказывает того, что он там не участвовал). О какой-то его забракованной статье Герцен писал Огареву 20 октября 1866 г.: «...Статью Касаткина я считаю решительно невозможной — что за сплетни и пустяки».

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — эмигрант с 1859 г. Явившись в Лондон, он был полон литературных планов и надеялся играть в изданиях Герцена видную роль. Эти надежды не осуществились. Кельсиев был слишком неподготовлен политически, и в голове его царил большой сумбур. Герцен рассказал о его неудачном дебюте. «Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать; пуще всего хотел он писать о женском вопросе, о семейном устройстве. — Пишите прежде всего, — говорил я ему, — об освобождении крестьян с землей. Это первый вопрос, стоящий на дороге. — Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он, действительно, принес мне статью о женском вопросе. Она была невозможно плоха. Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя»[68]. Ни одной значительной статьи для «Колокола» Кельсиев не мог дать. Он играл полезную, но чисто подсобную роль: просматривал обширную получавшуюся корреспонденцию, держал корректуру газеты, составлял извлечения из присылаемых писем и пр. В «Исповеди» он говорит: «Изредка я составлял для «Колокола» экстракты из процессов, неправильно решенных в России, и, вообще, разные маленькие извлечения из больших дел, как, напр[имер], из кипы бумаг по делу о выселении в Турцию крымских татар». Из этого ясно, что Кельсиеву принадлежит не подписанная статья «Гонения на крымских татар» в № 117 «Колокола». Точно так же ему было поручено Герценом разобрать массу юридических документов по делу отца Трувеллера и составить записку для «Колокола». Однажды Герцен дал ему просмотреть и привести в порядок различные документы, касающиеся преследования правительством раскольников и сектантов. Это имело значительные последствия для Кельсиева. Он читал неотрывно эти документы чуть не сутки подряд, глубоко взволновался некоторыми сторонами взглядов раскольников и сектантов и весь загорелся мыслью о возможности и необходимости привести на сторону революции раскольников. «Ну, сказал мне Герцен, выслушав мои панегирики расколу, — вам и книги в руки, — я в вероучениях мало понимаю, но, само собой, раскольникам следует помочь, — нельзя же оставаться равнодушными, когда людей гонят за их, хоть и нелепые, верования. Составьте что-нибудь из этих записок и напечатайте. Надо же вывести эти дела на свежую воду». Практически это новое увлечение Кельсиева привело к тому, что в 1860—1862 гг. в Вольной русской типографии был напечатан «Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым». Всего было 4 выпуска; в трех первых были предисловия, составленные Кельсиевым. Выпуск 4 — без предисловия: он вышел в свет, когда Кельсиев был уже в Константинополе, что, между прочим, отразилось на его плохой корректуре. Увлечение Кельсиева этим новым делом было так велико, что чрезвычайно редкую книгу Надеждина о скопцах, доставленную кем-то Герцену на короткое время, он сам лично всю переписал. «Сборник» вызвал большой интерес в России и имел несомненно важное значение для изучения русского раскола. Когда в 1862 г. стало выходить «Общее Вече», специально по-



П. В. ДОЛГОРУКОВ
Литография
Музей революции, Ленинград

священное старообрядцам и гонениям на них, Кельсиев, как «специалист по расколу», мог рассчитывать на руководящую роль в этом журнале. Однако, его постигло новое разочарование. Он сам рассказывает, что в первом номере половина его статей была забракована, статьи самих старообрядцев догматического содержания также «не прошли цензуры» [69]. Во втором номере «Общего Веча» Кельсиев уже не участвовал, — главную роль в нем играл Огарев. В первом номере Кельсиеву, несомненно, принадлежит статья «Донос иже по делам веры фискальствующего купца Сопелкина» (примечание подписано: В. К.); вероятно, там есть и еще его произведения. Из литературных работ Кельсиева лондонского периода следует отметить еще перевод на русский язык первых пяти книг библии (1860, 4 тома). Переводчик подписался псевдонимом «Вадим»; ему же принадлежит предисловие. За этот перевод Кельсиев взялся для заработка, решившись использовать свое знание древнееврейского языка. Переводом сам Кельсиев остался недоволен; переработка, которой потребовал Герцен, по мнению Кельсиева еще испортила дело. Перевод был заказан Трюбнером, Герцен относился к этому предприятию с сомнением, но книга печаталась в Вольной русской типографии и поэтому должна быть отнесена к герценовским изданиям. Осенью 1862 г. Кельсиев уехал из Лондона; начались его странствия и злоключения в Константинополе, Тульче, Галаце, Яссах. Он не работал для Герцена, хотя последний в письмах и побуждал его к этому. Единственное, что им было за это время напечатано у Герцена, это — его прокламация, помещенная в 12-м номере «Общего Веча» (1863) под названием «От старообрядцев народу русскому послание». В мае 1867 г. Кельсиев добровольно явился на русскую границу и назвал себя; в Петербурге, сидя под арестом, написал «Исповедь», в которой заявил о полной перемене своих убеждений, был освобожден и стал совсем не ярким публицистом правого лагеря.

Кельсиева Варвара Тимофеевна — жена В. И. Кельсиева, верный и мужественный его спутник в тяжелых перипетиях его жизни. Когда она умерла в Галаце в октябре 1865 г., Герцен посвятил ей в «Колоколе» (№ 208) несколько теплых слов. С большой симпатией рисует Герцен образ Варвары Тимофеевны в «Былом и думах» (часть VI, глава 2, «В. И. Кельсиев»). Кельсиева была переводчицей сказ-

ки Жорж Санд «Грибуль», напечатанной в 1860 г. в Вольной русской типографии. «Больше она ничего не печатала», говорит В. Кельсиев в «Исповеди».

Комаров Михаил Федорович (1844—1913) — известный украинский фольклорист, лексикограф и историк литературы. Был адвокатом в Киеве, потом нотариусом в Одессе. К украинскому движению примкнул еще в 60-е годы. В русском приложении к «Колоколу» за 1868 г. в №№ 5—6, 7 и 9 помещена статья «Клеветники», оставшаяся неоконченной за прекращением издания, с подписью «Чаплия». Статья представляет собою полемику с Катковым по украинскому вопросу. В № 4 есть заметка «Еще прибавка» с подписью «Ч.». В № 5—6 «Чаплия» поместил заметку «Еще прискорбнее»; по содержанию второй из этих заметок видно, что обе они писаны одним автором. В «Источниках словаря русских писателей» С. Венгерова (т. III, стр. 467) сказано, что «Чаплия» — это псевдоним Т. Комарова. Однако, писатель с таким именем совершенно неизвестен, и сам Венгеров не внес Т. Комарова в свой критико-библиографический словарь («Предварительный список русских писателей»). Надо полагать, что «Т.» в «Источниках» — просто опечатка. Лемке в примечаниях к письмам Герцена говорит лишь, что «Чаплия» — это Комаров, не давая никакого инициала. Совершенно естественно предположить, что под псевдонимом «Чаплия» скрылся именно Михаил Федорович Комаров. В 1868 г. он был еще молодым человеком, но начал печататься еще с 1865 г. Все его литературные интересы сосредоточивались вокруг украинского вопроса в широком смысле слова. См. его некролог в «Украинской жизни» 1913 г., IX и заметку о нем в новом издании энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона.

Костомаров Николай Иванович. — Ему принадлежит статья «Украйна (Письмо к издателю «Колокола»)» в л. 61 (от 15 января 1860 г.). В виду малой доступности этой статьи широким кругам, Лемке перепечатал ее в примечаниях к сочинениям Герцена (т. IX, стр. 474—483).

Кошелев Александр Иванович. — В 1857 г., когда И. С. Аксаков находил точки соприкосновения с Герценом и видел некоторые ценные стороны в его литературной пропаганде, Кошелев, представитель правого крыла славянофилов, только возмущался великим публицистом. 22 июня он писал Аксакову: «Теперь читаю я Герцена и ни в чем не нахожу ни настоящего смысла, ни истинной жизни. Он кривляется, орет, ругает, выстанавливает пышные фразы и пр. Разве это жизнь?.. Нет, дражайший Иван Сергеевич, в речах Филарета несравненно более жизни, чем в произведениях Герцена» [70]. Однако, через два года, когда усиленно шли занятия по подготовке крестьянской реформы, Кошелев посылал Герцену сведения о ходе этих занятий. 5 ноября 1859 г. Герцен пишет М. А. Маркович: «...Ростовцевская комиссия, особенно по хозяйственной части, идет богато. Если вы увидите Кошелева, то попросите, чтобы он нам посылал заседания (у нас есть 50)». Уверенный тон этой просьбы говорит о том, что Герцен уже пользовался услугами Кошелева в этой области. Прямое указание на информацию, присылавшуюся Кошелевым Герцену, можно найти в «Вольном Слове», 1883 г., № 58. Там приводятся два письма к Герцену о крестьянском деле некоего NN от лета 1859 г. Драгоманов, автор публикации, говорит, что этот NN не был допущен в качестве эксперта в Редакционную комиссию, как слишком большой «эмансипатор». Главный комитет еще согласился, не без труда, допустить Черкасского и Самарина, но решительно высказался против автора названных писем. Можно не сомневаться, что дело идет о Кошелеве.

Кушакевич Иван Иванович — студент Московского университета. В архивном деле III отделения 1859 г. «Относительно открытия в Москве частной типографии иждивением студентов» имеется донесение в III отделение из Москвы. Там говорится о студенте Кушакевиче, что он был зачинщиком студенческих протестов против профессора Варнека в 1858 г. и что он посылал статьи для помещения в «Колоколе» — в том числе писанную им самим статью «Факты по поводу дела проф. Варнека со студентами» [71]. Имя студента Кушакевича в литературе нам не встречалось. Статьи с приведенным заглавием в «Колоколе» помещено не было. Но в интересующей нас связи обращает на себя внимание статья Герцена «Син-

хедрион московских университетских фарисеев» в № 55 «Колокола» (от 1 ноября 1859 г.). Герцен говорит, что ему недавно доставили подробности истории с Варнеком; он передает то, что пишет ему его корреспондент, и приводит цитаты из его письма. Возможно, что этим корреспондентом и был Кушакевич.

Лавров Петр Лаврович. — В четвертой книжке «Голосов из России» (1857 г.) помещены без подписи два стихотворения Лаврова — «Пророчество» (январь 1852) и «Русскому народу (декабрь 1854); оба стихотворения объединены общим заголовком «Современные отголоски» и посвящены Виктору Гюго. Там же напечатано «Письмо к издателю». Оно показывает отношения Лаврова к Герцену в середине 50-х годов. «Давно, очень давно, собирался я писать к вам, послать вам мою лепту в сокровищницу свободной русской мысли, сокровищницу, открытую вами, но только теперь нахожу возможным исполнить мое давнишнее желание и посылаю вам несколько листков стихотворений, в которых я старался по мере сил отозваться на некоторые вопросы ближайшей современности. Не мне судить о достоинствах моих произведений. Вам, одному из наших лучших писателей, вам, в сочинениях которого я нашел много своих задушевных мыслей, своих искренних убеждений, вам предоставляю я обнародовать их, если найдете это полезным, или обречь их забвению, так как для них нет другого типографского станка, кроме вашего». Дальше Лавров говорит, что он посылает пять своих стихотворений: «Наиболее современное, наиболее производившее впечатление из пяти поэтических произведений, вам посылаемых, это было второе, то самое, из-за которого я преимущественно вхожу в объяснение, потому, что несколько сомневаюсь, захотите ли вы напечатать стихотворение, наиболее отходящее от ваших убеждений». Редакция сделала к этим словам примечание: «Стихотворение, о котором говорит автор, мы не сочли возможным напечатать по многим причинам». Как сказано, из пяти стихотворений было напечатано только два [72]. Сравнивая тексты обоих стихотворений, напечатанных в «Голосах из России», с автографами П. Л. Лаврова, находящимися в деле Аудиториатского департамента (2 отдел., 1 стол, № 70—1866 г.), видим, что печатный текст, особенно второго стихотворения, сильно отличается от рукописного. Возможно, что Лавров, отправляя их Герцену, сам поправил их, но вероятнее, что они были выправлены Огаревым.

Лафит де ля Пельпор Владимир, кн. — сын пленного маркиза, не вернувшегося во Францию и ставшего смоленским дворянином. Род. в 1818 г. в Вяземском уезде. Много путешествовал по России, потом жил во Франции. Выступал и как русский, и как французский литератор. Оставаясь, повидимому, формально католиком, много писал на религиозные темы в пользу православной церкви. Заграничный протоиерей Васильев писал о нем в 1852 г. своему начальству: «Перо этого писателя очень живо и бойко, и по его ревности к православию может быть полезно церкви и России». Пользовался иногда псевдонимом «вяземский мужичок Петр Артамов». См., например, «Иезуиты красного петуха нам пустили, или развратится ли Россия в латинский католицизм?» в «Русском заграничном сборнике», часть II, тетрадь 4, Париж, 1859 г. Под тем же псевдонимом помещена в 6-й книжке «Голосов из России» (1859 г.) его статья «Слово князю Сергею Павловичу Голицыну, в ответ на его печатную правду, вяземского мужичка Петра Артамова». Во вступительной статье к этой книжке «Голосов» Герцен, между прочим, писал: «Мы вполне понимаем страстную логику, по которой... вяземский крестьянин должен был так отвечать балагуру-князю, с его наивными угрозами «бушке барану» и с его сиятельно-любезным красноречием» [73].

Мазуренко Николай Николаевич. — В 1858 г. он был уволен из Харьковского университета за участие в студенческих волнениях. В 1859 г., проживая временно в Германии, он «очень усердно занялся посылкою корреспонденций о России Герцену в „Колокол“». 17 ноября 1859 г. Герцен писал ему: «С величайшей благодарностью получили мы ваши статьи; они по содержанию не столько идут в «Колокол», как в «Русские голоса», за исключением последней, — из нее отрывок мы помещаем в „Колоколе“». В начале 1860 г. Мазуренко пришла в голову мысль об эмиграции из России, и он запросил на этот счет совета у Герцена. Тот на-

писал ему 3 февраля 1860 г. письмо, в котором со всею энергией отговаривал его от этой мысли. Он указывал на ужасные условия жизни эмигранта и убеждал не оставлять Россию тогда, когда там очень нужна всякая сила. В этом письме говорится и о новых присылках Мазуренко в «Колокол». «Статьи ваши я получил. Разговор на станции несколько фельетонен для «Колокола»; другие места употребим». После этого Мазуренко немедленно вернулся в Россию. В дальнейшем он помещал свои статьи (иногда под псевдонимом «Окнерузам») в «Современнике», «Очерках», «Народном Богатстве», «Заграничном Вестнике» и др. Составлял юридические справочники, был переводчиком. Работал в качестве частного поверенного. О своих отношениях с Герценом рассказал в статье «Первая харьковская университетская история» («Исторический Вестник», 1907 г., IX).

Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865) — крепостной графа А. Д. Гурьева, выкупившийся на волю и занимавшийся хлебной торговлей. Разорился и осенью 1861 г. приехал в Лондон, имея в виду фантастический план — добиваться взыскания убытков со своего бывшего барина. В Лондоне сблизился с Герценом, Огаревым, Кельсиевым. Усиленно занимался самообразованием и стремился печататься в герценовских изданиях, но с малым успехом. Кельсиев говорит об этом: «С первого дня его знакомства с нами его самолюбие пострадало: у него было наготовлено пропасть статей для «Колокола» и «Полярной Звезды» — и Герцен не принял ни одной. Он писал что-то по социальным вопросам, в полной уверенности, что его работа будет принята с восторгом, а Герцен и тут отказал. — «Жалко мне этого Мартьянова, — сказал мне как-то Герцен, — хочется ему работать с нами, помещать статьи у нас, а что же я сделаю, если все, что он пишет, выходит или не ново, или, еще хуже, — слабо». Мартьянов стоял на точке зрения «народной монархии»; его искренний монархизм соединялся с глубокими антидворянскими тенденциями. 15 апреля 1862 г. Мартьянов отправил Александру II письмо с изложением своих заветных общественных убеждений и с требованием созыва Земской думы. Герцен согласился на его просьбу напечатать это письмо, и оно появилось в № 132 «Колокола» (снова было напечатано в № 178, после того, как Мартьянов был арестован). В конце того же 1862 г. Мартьянов напечатал в «Вольной русской типографии» брошюру «Народ и государство», проникнутую теми же монархически-демократическими убеждениями. Мартьянов помещал какие-то заметки в «Общем Вече»; по крайней мере, Герцен 19 июля 1862 г. писал Огареву: «Посылаю... «Вече» с заметками Мартьянова и письмо и ответ Кельсиева. Ссора кипит». Дело идет, очевидно, о № 1 «Общего Веча», вышедшего 15 июля 1862 г. Весною 1863 г. Мартьянов отправился в Россию, не думая, что его выступления в пользу земского царя могут навлечь на него кару. 12 апреля он был арестован на границе и вскоре осужден сенатом на пять лет каторжных работ и вечное поселение в Сибири. В каторге он и умер.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — беллетрист и публицист, занимавший неопределенно-либеральную позицию. В 50-х годах он был в приятельских отношениях с Герценом и очень горячо приветствовал возникновение «Колокола». Так, в декабре 1857 г. он писал ему: «Вообще, я вижу с радостью, что число твоих корреспондентов увеличивается и что ты все более и более находишь сочувствия в России. Давай-то бог! Великое дело — настойчивость». Или в начале 1858 г.: «Посреди такого положения роль твоя, друг, велика и благотворна. Влияние твое безмерно. H. est une puissance, сказал недавно кн. Долгоруков[74] за обедом у себя»[75]. Мельгунов очень активно участвовал в возникшей в начале царствования Александра II рукописной литературе. Эти произведения Мельгунова Герцен печатал в «Голосах из России», подчеркивая при случае, что редакция никоим образом не солидарна со всеми мнениями, излагаемыми в печатаемых в «Голосах» статьях. В первой книжке «Голосов из России» находится статья Мельгунова «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России»; в первом выпуске второй книжки — «Приятельский разговор»; в четвертой книжке — «Россия в войне и мире»[76]. Кроме того, Мельгунов был иногда переводчиком для герценовских изданий. Из письма Герцена к нему от 22 февраля 1859 г. видно, что он перевел

с французского статью «О положении евреев в России» в № 37 «Колокола» и «Взгляд на тайное общество в России» декабриста Лунина в V книжке «Полярной Звезды».

В 60-х годах отношения Герцена и Мельгунова радикально изменились. Герцена возмущали статьи Мельгунова в «Петербургских ведомостях» и его ревностное сотрудничество в рептильной газете Н. Ф. Павлова «Наше Время», резко враждебной Герцену. В «Колоколе» стали встречаться ядовитые замечания относительно Мельгунова. В письмах же своих Герцен выражался еще определеннее. Вот, например, уничтожающий отзыв Герцена о москвичах, вообще, и, в частности, о Мельгунове в письме к Сатину от сентября 1862 г. «Для меня Кетчер, Корш, это — догнивающие трупы чего-то близкого; клевреты Чичерина, приятели Павлова, абсолютисты, они заставляют меня краснеть за былое. Беги Москвы, если не имеешь твердой воли разорвать с ними или дозволить при себе обругивать нас... Пусть благородное сердце твое спасет тебя от этих крикунов, риторов, довольствующихся шумом в кофейной и попойками à propos de bottes. И тут еще всякая гнида à la Stankevitch jun [77] и от природы тупорожденный кривец Мельгунов... Что за скотный двор, в котором Катков боровом, а Леонтьев филологом» [78].

Мечников Лев Ильич (1838—1888) — географ и социолог, эмигрант, бывший гарибальдиец. Познакомился с Герценом в 1863 г. во Флоренции. Поместил в № 170 «Колокола» короткое письмо от лица живущих в Италии русских с протестом против антипольских заявлений русской прессы (под заглавием «Точка поворота»). Повидимому, в это время писал и еще для «Колокола»: 11 ноября 1863 г. Герцен извещал Огарева, что в его письме, отправленном накануне, была вложена статейка Мечникова. В декабре 1863 г. ездил в Ливорно и, по словам Бакунина, наладил «верную и бесплатную доставку всех лондонских изданий из Ливорно в Константинополь и даже в самую Одессу» [79]. Переехав в Швейцарию, сблизился с женевскими эмигрантами. В № 185 «Колокола» напечатал «Письмо к Прудону» (Герцен писал по этому поводу сыну: «Его статья хороша»). В 1868 г., вместе с Н. Я. Николадзе, Мечников издавал в Женеве журнал «Современность». Герцен в своих письмах иногда отзывался о Мечникове отрицательно, на ряду со всей женевской «молодой эмиграцией», но чаще был склонен выделять его в выгодную сторону, например: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования; один Мечников умеет писать» (письмо к Огареву от 8 января 1865 г.). В «Колокол» 1866 г. Мечников дал большую статью «Прудонова новая теория собственности» (№№ 218, 219, 221, 225, 226). В № 230 есть его статья «Весть о Прудоне». В книжке «Землеописание для народа», вышедшей в Женеве в «Вольной русской типографии» в 1868 г., Мечников составил, при участии Н. А. Шевелева, первый отдел, посвященный странам Западной Европы, Азии, Африки и Америки [80]. Мечников участвовал и во французском «Kolokol»: в №№ 8—13 помещена его большая статья «Les antagonistes de l'Etat en Russie».

Милорадович Леонид Александрович (1841—1908) — помещик Черниговской губ. 9 мая 1862 г. Герцен писал И. С. Тургеневу: «„Письмо помещика“ писал юный малороссийский помещик. Я не знаю, за что ты на него очень рассердился; в следующ[ем] листе есть дальнейшее развитие. Нельзя же не допускать всякого рода мысли, когда основа их не противоречит нам». Здесь имеется в виду статья «Голос за народ (Письмо помещика)» в №№ 131, 132 и 133 «Колокола». Весьма возможно, что автором этой статьи был Л. А. Милорадович. Он был секретарем русского посольства в Штутгарте; весною 1863 г. возвратился в имение отца в Черниговскую губ. Перлюстрация его писем показала, что он был в сношениях с членами Гейдельбергской колонии. В начале 1863 г. он, вместе с Н. Л. Владимировым, впоследствии привлекавшимся по делу Гейдельбергской читальни, был в Лондоне и неоднократно виделся с Герценом. По возвращении в Россию, Милорадович в 1863 г., вследствие имевшихся сведений о его «весьма близких отношениях к Герцену», а также и за сочувствие украинофильским идеям, был подвергнут негласному надзору полиции. В 1871 г. надзор был снят; Милорадович в это время носил звание камер-юнкера и исправлял должность киевского уездного предводителя

дворянства. Впоследствии Милорадович был гофмейстером и каменец-подольским губернатором.

Милютин Николай Алексеевич. — По сообщению Семенова-Тяншанского, Александр II заявил Я. Ростовцеву об имевшихся у него достоверных сведениях, что материалы для статей Герцена по крестьянскому вопросу, сильно задевавших Ростовцева и других участников реформы, доставлялись в редакцию «Колокола» Кавелиным при участии Милютина. Доказательства же непосредственного участия Кавелина и даже Милютина в статьях герценовского «Колокола» были секретно препровождены Ростовцеву в подлиннике, по высочайшему повелению, шефом жандармов кн. В. А. Долгоруковым [81]. В «Звеньях», вып. III—IV (стр. 406, высказано предположение, что Милютину принадлежит статья «Программа для занятий губернских комитетов» в №№ 19 и 20 «Колокола». Об этой статье Герцен писал П. В. Анненкову: «Кто писал превосходную статью в 19 Колоколе? Не знаю, хотя и догадываюсь. Довольно тебе сказать, что она пришла в кучке славяноф[илов] посылкою из Москвы, но получил я от Трюбн. Статья эта превосходна во всех отношениях» [82]. Нам кажется мало вероятным, чтобы Герцен подразумевал здесь Милютина: почему бы его статья пришла вместе со статьями московских славянофилов, от которых он стоял далеко? Скорее можно думать, что Герцену приходит на ум, например, Ю. Ф. Самарин.

Михайлов Михаил Илларионович — принимал участие в составлении известной прокламации 1861 г. «К молодому поколению», основным автором которой был Н. В. Шелгунов. Прокламация была отпечатана летом 1861 г. в «Вольной русской типографии», из-за чего Михайлов приезжал в Лондон. «Мы заклинали его не печатать своей прокламации», говорит Герцен о Михайлове в статье «Нашим врагам» [83]. После ареста Михайлов взял всю вину составления прокламации на себя и пошел за это в каторгу. Сидя в Петропавловской крепости в конце 1861 г., Михайлов написал стихотворение «Памяти Добролюбова» («Вечный враг всего живого»...). Стихотворение было очень скоро доставлено в Лондон и напечатано в № 119—120 «Колокола» (от 15 января 1862 г.). В прибавлении к тому же № 119—120, выпущенному специально по поводу гражданской казни М. И. Михайлова, в статье «Михайлов и студентское дело», напечатано второе стихотворение Михайлова «Ответ» («Крепко, дружно вас в объятья...»), написанное им тоже в Петропавловской крепости в ответ на стихотворение Н. И. Утина «Узнику».

Михайловский Федор Егорович — бывший студент Московского университета. В конце 50-х годов был хорошо знаком с Н. М. Сатиным и А. А. Тучковым, заведывал винокуренным заводом и был управляющим в пензенском имении Сатина. В своих рукописных мемуарах, предоставленных нам Н. Ф. Бельчиковым, Михайловский говорит, что он написал письмо «о пензенском пашалыке и о действиях правителей его» (т. е. губернатора А. А. Панчулидзева), помещенное в «Колоколе». Хотя в мемуарах Михайловского замечается значительная хронологическая путаница, однако самый факт отправки им статьи в «Колокол» представляется вполне правдоподобным.

Мордовин Павел — штурманский кондуктор с клипера «Алмаз». 3 марта 1864 г. Герцен писал Огареву: «От Мордовина письмо Тх[оржевскому] пресимпатичное. Вот наши друзья. Я и забыл сказать, что Капп [84] писал мне, что во время празднества с русскими матрос[ами] гардемарины вынули портреты Бакунина и мой и повивакали» [85]. Об этом Павле Мордовине сохранились некоторые сведения в архиве III отделения. В апреле 1864 г. был получен малограмотный анонимный донос по почте из Нью-Йорка. Там говорилось, что Мордовин в Лондоне бывал у Герцена, получает от него литературу, распространяет «зловредные идеи» между товарищами и пр. «Писал Герцену пасквиль на своего капитана, но напечатана только часть письма об г. Хотинском в № 179» [86]. В указанном номере помещена статья Герцена «Графиня Антонина Блудова и Матфий Хотинский». Герцен рассказывает там о провокаторских действиях Хотинского среди моряков клипера «Алмаз» во время пребывания судна в Англии. Рассказ этот Герцен основывает на письме своего корреспондента, которое отчасти пересказывается им, отчасти цитируется. Весьма веро-

ятно, что этим корреспондентом и был Павел Мордовин. Дальнейшая судьба Мордовина не известна.

Налбандьян (Налбандов) Михаил Лазаревич (1830—1866) — армянский писатель, участник русского революционного движения 60-х годов. В 1861 г. вместе с другими лицами принимал некоторое участие в составлении прокламации Огарева «Что нужно народу?» («Колокол», № 102. Тогда же в «Вольной русской типографии» было напечатано и отдельное издание) [87]. В 1862 г. Налбандьян был арестован по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами», в 1865 г. отправлен под строгий надзор полиции в г. Камышин, где вскоре умер.

Некрасов Николай Алексеевич. — В «Полярной Звезде», книжка V (1859 г.) была впервые напечатана анонимно его поэма «В. Г. Белинский», которая не могла увидеть света в России по цензурным условиям и была впервые напечатана легально в полном виде лишь в 1881 г. По этому поводу Некрасов во время последней своей болезни записал 23 августа 1876 г. в дневнике: «Сегодня ночью вспомнил, что у меня есть поэма — В. Г. Белинский. Написал в 1854 или 5-м году — нецензурная была тогда и попала по милости одного приятеля в какое-то герценовское заграничное издание — «Колокол», «Голос из России» или подобный сборник» [88]. Кто был этот приятель — мы не знаем. Другое стихотворение Некрасова, появившееся прежде всего в герценовском издании, это — знаменитые «Размышления у парадного подъезда». Под заглавием «У парадного крыльца» это стихотворение напечатано в № 61 «Колокола» (от 15 января 1860 г.) с таким редакционным примечанием: «...Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворения нет возможности не поместить». Герцен, относившийся к Некрасову, как к человеку, прямо с ненавистью, конечно знал, чье стихотворение он печатает, но понимание общественной значимости данного произведения взяло верх над личными соображениями. В легальной печати «Размышления у парадного подъезда» появились лишь в 1863 г.

Николадзе Николай Яковлевич (1843—1928) — публицист. С 1864 г. жил за границей; в 1868 г. принимал участие в редактировании журнала «Современность». Еще до выезда за границу он корреспондировал в «Колокол» о тифлисских



ЯРОСЛАВ ДОМБРОВСКИЙ
Литография
Музей Революции, Ленинград

делах; в 1865 г., живя в Женеве, сотрудничал у Герцена. Под псевдонимом «Рио Нели» в №№ 198 и 199 «Колокола» напечатана его статья «Освобождение крестьян в Грузии», о которой Герцен писал Огареву 15 июня 1865 г.: «Грузинская статья очень хороша». Этим же псевдонимом, «Рио Нели», подписаны статьи: «Наши будущие адвокаты перед „Московскими ведомостями“» (№ 201) и «Июньские дни в Тифлисе» (№ 204). Весьма возможно, что Николадзе же принадлежат и другие статьи о Грузии, которых в 1865 г. появлялось в «Колоколе» не мало («Из Грузии» — № 196, «Беспорядки в Тифлисе» — № 202). Об активном участии Николадзе в «Колоколе» в 1865 г. говорят следующие строки письма Герцена к Огареву от 12 августа 1865 г.: «Огарев, *помни, что к следующему № у меня ничего* нет. Я вывез все женевские [89], теперь заставь себя и Ник[оладзе]». Кроме того, Николадзе был автором книжки, выпущенной «Вольной русской типографией» в 1866 г. — «Правительство и молодое поколение. По поводу выстрела 4 апреля 1866». Книжка вышла под псевдонимом «Никифор Г.» [90].

Ничипоренко Андрей Иванович (1837—1863) — участник революционного движения 60-х годов. Учился в петербургском коммерческом училище одновременно с В. И. Кельсиевым; по окончании служил чиновником в различных ведомствах. В 1861 г. вместе с Артуром Бенни совершил поездку по России, имевшую некоторые агитационные цели, но совершенно не удавшуюся. Близко стоял к организации «Земля и Воля». В марте 1862 г. имел в Петербурге свидание с приехавшим нелегально в Россию Кельсиевым. Летом того же года был в Лондоне, где виделся с Герценом и Бакуниным. Арестован в конце июля 1862 г. и привлечен к дознанию по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами». На допросе дал откровенные показания. В пасквильном романе «Некуда» Лесков изобразил Ничипоренко под именем Пархоменко. В своей «Исповеди» Кельсиев назвал Ничипоренко постоянным корреспондентом «Колокола». В большой рецензии на книгу Лескова «Загадочный человек» он говорит об этом еще более определенно: «Несколько лет сряду он был постоянным корреспондентом «Колокола» и доставлял всегда верные и замечательные сведения» [91]. Кельсиев мог говорить свободно об участии Ничипоренко в «Колоколе», потому что Ничипоренко умер 7 ноября 1863 г., находясь еще в Петропавловской крепости.

Новицкий Петр Васильевич (1835—1886) — публицист, сотрудник «Голоса» в «Времени». В № 151 «Колокола» помещено его письмо в редакцию (он жил тогда в Гейдельберге) с резким протестом против Л. Блюммера, напечатавшего в № 7—8 «Свободного Слова» за 1862 г. список лиц, подозреваемых в сношениях с тайной полицией и поместившего в этом списке имя некоего Новицкого. Неизвестно, был ли действительно П. В. Новицкий агентом III отделения, но такие слухи о нем носились, и Блюммер в своем списке имел в виду именно его, а не другого какого-нибудь Новицкого [92].

Обручев Николай Николаевич (1830—1904) — участник революционного движения 60-х годов, один из организаторов общества «Земля и Воля», в начале 60-х годов — профессор военной статистики, в дальнейшем — видный военный деятель, генерал от инфантерии, начальник главного штаба, член Государственного совета. Участвовал вместе с другими лицами в составлении прокламации Огарева «Что нужно народу?» («Колокол», № 102) [93]. Вместе с Огаревым, при участии Н. А. Серно-Соловьевича, был автором прокламации «Что надо делать войску?» («Колокол», № 111).

Огрызко Иосафат Петрович (1826—1890) — издатель польской газеты «Slowo» в Петербурге в 1859 г., польский политический деятель. Занимал видное место в министерстве финансов. В 1859 г. после запрещения его газеты был арестован, но вскоре освобожден. В 1863 г. снова арестован и отправлен на каторжные работы. Владел типографией в Петербурге. Известный сотрудник III отделения журналист Аркадий Мальшинский говорит, что Огрызко был постоянным сотрудником Герцена по крестьянской реформе: помимо своего служебного положения, дававшего ему возможность быть в курсе политических новостей, его типография была в числе тех типографий, в которых печатались труды редакционных комиссий и своды постанов-

лений губернских комитетов, так что Огрызко имел возможность уведомлять Герцена из первоисточников[94]. В этом утверждении Мальшинского нет ничего невозможного, но и считать его вполне обоснованным нельзя.

Панаев Валерьян Александрович (1824—1899) — инженер путей сообщения и публицист. В конце августа 1858 г. Панаев, будучи в заграничной командировке, явился к Герцену с просьбой о напечатании своего труда «Об освобождении крестьян». Герцен попросил его прочесть свою статью вслух, выслушал все до конца и пришел в восторг. Подробности этого свидания рассказаны Панаевым в его воспоминаниях[95]. В конце октября статья «Об освобождении крестьян» появилась в «Голосах из России», книжка V, заняв собою всю эту книжку. Герцен в следующей книжке «Голосов из России» отозвался о работе В. Панаева, как о «глубоко обдуманном и очень замечательном проекте освобождения крестьян». Немного позже Панаев дал краткий конспект своего проекта; он рассылался при 44 номере «Колокола» и занял всего $3^1/_2$ страницы («Проект освобождения помещичьих крестьян в России»). Редакцией было предпослано проекту несколько строк. Там говорилось: «Поразительная ясность прилагаемого проекта освобождения помещичьих крестьян, его краткость и дельность навели нас на мысль разослать его при нынешнем листе „Колокола“».

Панаев принял участие в той полемике, которая была вызвана известной статьей Б. Чичерина. Он напечатал в № 30—31 «Колокола» письмо к Герцену по поводу выступления Чичерина. В 32—33 номере «Колокола» появилось новое «Письмо к издателю „Колокола“ (с подписью «Русский») и статья «Автору обвинительного акта г. Ч.».

Еще одна попытка Панаева напечататься в «Колоколе» не увенчалась успехом. Он прислал из Брюсселя «Ответ на статью, напечатанную в №№ 28, 30, 31 «Колокола» — «Реформа сверху или реформа снизу?». Статья Панаева совершенно противоречила всем идеям Герцена: он защищал монархически-самодержавную форму правления, доказывал, что истинная свобода лучше всего осуществляется при монархии, что самодержец является «выразителем господства духа над материей» и пр. Весной 1859 г. при личном свидании с Герценом Панаев спросил его о судьбе своей статьи. По его словам, Герцен ответил ему: «Вы созидатель или строитель, а не разрушитель, «Колокол» же является органом протеста против существующих порядков, т. е. носит в себе характер разрушительный; и потому я не напечатаю вашей статьи в «Колоколе». Но в виду особенной серьезности затрагиваемого вами вопроса, я не считаю себя в праве не допустить его на общий суд и потому напечатаю ее в «Полярной Звезде», которая появится в будущем году». «Полярная Звезда» не появилась более, а потому и статья моя не была тогда же напечатана»[96]. Панаев ошибается, что «Полярная Звезда» больше не выходила: если ее не было в 1860 г., то в течение 1861 и 1862 гг. вышло три выпуска (не касаясь более позднего времени). Очевидно, Герцен просто не захотел печатать статьи Панаева в защиту самодержавия. Гораздо позже, в 1877 г., Панаев сам напечатал в Париже свое произведение под заглавием «Проект политической реформы в России» (под псевдонимом «Патфиндер»).

Перцов Константин Петрович — советник казанского губернского правления, председатель следственной комиссии, командированный казанским губернатором Апраксиным для расследования причин известных волнений крестьян в с. Бездне в 1861 г. Брат Эраста Перцова, о котором см. дальше. Его товарищ по комиссии — адъютант губернатора Ф. А. Половцев в своих воспоминаниях говорит, что «Перцов, бывший студент Казанского университета, имел по тогдашней мере убеждения весьма передовые»[97]. Материалы о волнениях в с. Бездне он присылал своему брату Эрасту в Петербург. Соображения М. В. Нечкиной о том, что К. П. Перцов, на ряду с Половцевым, доставил Герцену материалы для статьи «Сказание о бездненском побоище в Казанской губернии по случаю освобождения крепостных крестьян» («Колокол», №№ 122—123, 124, 125) см. в заметке о Ф. А. Половцеве. Причастность Перцова, как и Половцева, к информированию Герцена по этому делу правдоподобна.

Перцов Эраст Петрович (1804—1873) — помещик Казанской губ., второстепенный литератор, начавший писать еще в пушкинскую эпоху. Лично встречался с Пушкиным. В 1858 г., путешествуя по Европе, виделся с Герценом. В 1860 г. (он жил тогда в Петербурге) на него поступил анонимный донос, в котором он назван «самым ожесточенным корреспондентом Герцена». В августе 1861 г., после того, как на почте было перехвачено несколько толстых пакетов из Казани в Петербург на имя Э. П. Перцова с подробным описанием крестьянских волнений в с. Бездне Казанской губ., он был обыскан в виду возникшего подозрения, что посылка предназначалась для «Колокола». Найдены исторические записки Перцова о 1861 г., написанные в очень резком тоне. В них, между прочим, говорилось: «Мои заметки о России вообще будут напечатаны особо». Напечатать их по их тону было бы возможно только за границей. Были найдены еще черновые наброски двух писем к Герцену с возражениями против его статей в «Колоколе». Материалы о крестьянских волнениях, которые присылались Перцову из Казани братом его Константином, советником губернского правления, предназначались, по всей вероятности, для напечатания в «Колоколе». Отправлял ли уже Перцов что-нибудь Герцену раньше — не известно. Прямых доказательств его сношений с Герценом и участия в «Колоколе» властям найти не удалось. Он был административно подвергнут заключению в крепости на 6 месяцев с последующей высылкой в Вятку. Вятка была заменена Новгородом, откуда Перцов в следующем году вернулся в Петербург. В 1873 г. он покончил с собой вследствие расстроенных денежных обстоятельств [98].

Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — профессор греческой словесности Московского университета, эмигрант с 1836 г., ставший в 1841 г. католическим монахом. В апреле 1853 г. Герцен разыскал его в Лондоне и виделся с ним. В разговоре Герцен спросил, нет ли у него его старых стихотворений, которые он читал еще в России в рукописи. Получив отрицательный ответ, Герцен попросил позволения напечатать их, если он их где-нибудь найдет. Печерин отвечал в том смысле, что ему нет дела до этих ничтожных произведений. На повторный вопрос, можно ли напечатать его стихи, Печерин опять не дал прямого ответа. Герцен счел это уклонение от ответа за позволение. Неоднократно он печатал обращение к читателям с просьбой доставить ему ходившие по рукам стихи Печерина. Когда, наконец, он добился желаемого, то напечатал в VI книжке «Полярной Звезды» (1861 г.), с именем автора, стихотворную фантазию Печерина «Торжество смерти» (под заглавием «Pot-pourri, или чего хочешь, того просишь»). В этой же книжке он описал свое свидание с Печериным; это описание потом составило особую главу «Былого и дум». В том же году «Торжество смерти» было перепечатано в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», изданном с предисловием Огарева. Печерин больше не виделся с Герценом, но имел с ним переписку и читал его произведения. Начиная с 1862 г., он делал пожертвования в «Общий фонд» на нужды эмигрантов. В письме к редактору, напечатанном в № 12 «Листка» кн. П. В. Долгорукова (от 23 сентября 1863 г.), он писал: «До сих пор я поддерживал знание родного языка чтением «Колокола» и других сочинений г. Герцена и, не взирая на различие наших мнений, я обожаю его несравненный талант». В этом же письме он заявлял, что если бы вследствие какого-нибудь переворота ему удалось вернуться в Россию, то он «присоединился бы не к старой России, а к молодой и с пламенным участием простер бы свои объятия русскому юношеству во имя свободы совести и земского собора» [99].

Пикулин Павел Лукич (1822—1885) — врач, член московского кружка Грановского. В августе — сентябре 1855 г. он был у Герцена в Лондоне. Свидание с ним очень взволновало Герцена, так как это был первый посетивший его в Лондоне человек из близкого ему кружка. После свидания с ним Герцен писал М. К. Рейхель: «Это — первый живой и дельный человек из стран гиперборейских... Я очень и очень доволен посещением... Я устал, действительно физически устал от обилия чувств, воспоминаний — это чуть ли не первый светлый луч после 1850 г.» [100]. Вернувшись в Россию, Пикулин кое-что доставлял Герцену для его

изданий. Это видно из следующих строк в письме Герцена к Рейхель от 16 ноября 1857 г. «Ваше письмо с приложениями не только получено, но уже отослано в типографию. Ужасы и гнусности. Так и быть, иду в палачи за народ и постегаю этих мошенников. Я догадываюсь, кто вам писал по имени Венского[101], лишь бы они не писали пустых или неверных фактов».

Победоносцев Константин Петрович. — В дневнике известного сановника А. А. Половцева, председателя исторического общества, записано под 23 февраля 1901 г. о его беседе с Николаем II: «Говоря о предполагаемых на общем собрании чтениях, упоминаю имя Пыпина и говорю, что он в прежнее время был либералом, но что с годами это прошло; а кто же в молодости не был либералом? Ведь сам Победоносцев писал статьи Герцену в «Колокол».

Государь. Вполголоса. Да, я это слышал.

Я. Он сам мне это говорил. Он написал памфлет на гр. Панина»[102].

Как видно, сведения об участии Победоносцева в изданиях Герцена были широко распространены, если они дошли даже до Николая II. Собственные слова Победоносцева Половцеву не оставляют сомнения в том, что будущий вершитель судеб русской церкви и глава русской реакции был в свое время сотрудником Герцена. Можно высказать предположение, что «памфлет на графа Панина», о котором говорит Половцев, это — «Граф В. Н. Панин, министр юстиции». Произведение это заняло весь седьмой выпуск «Голосов из России» (1859 г.). Автор его до сих пор не был известен.

Половцев Федор Александрович — адъютант казанского губернатора Апраксина. Он входил в следственную комиссию, назначенную губернатором для расследования причин известного волнения крестьян в с. Бездне в 1861 г. М. В. Нечкина называет Половцева, как и председателя комиссии К. П. Перцова, «яркими представителями тогдашних либералов, поставщиками материала для «Колокола» Герцена[103] и высказывает предположение, что публикация «Сказание о бездненском побоище в Казанской губернии по случаю освобождения крепостных крестьян» (№№ 122—123, 124, 125) основана на материалах, доставленных в «Колокол» Половцевым и Перцовым. Сопоставляя воспоминания Половцева («Исторический Вестник», 1907 г., т. XI) со «Сказанием», исследовательница находит, что ряд фактов, приведенных в последнем, был известен только Половцеву. «Сказание» представляет собою черновики двух рапортов Апраксина, приведенные в обширных извлечениях, вперемежку с рассуждениями очевидца-корреспондента. М. В. Нечкина указывает, что черновиками апраксинских рапортов, брошенными после отъезда Апраксина в том доме, где он останавливался, могли легче всего завладеть оставшиеся в доме члены следственной комиссии, т. е. в первую голову Перцов и Половцев.

Потебня Андрей Афанасьевич — офицер-революционер. Служил в Польше и был организатором революционной группы среди офицеров, был участником общества «Земля и Воля», имел личные и письменные сношения с Герценом, Огаревым и Бакуниным по польским делам. В мае 1862 г. он писал Герцену от лица группы офицеров в Польше. Отрывки из этого письма Герцен привел в своей статье «Письмо от офицеров» в № 135 «Колокола». Летом 1862 г. Потебня покинул полк и перешел на нелегальное положение. В ноябре 1862 г. был в Лондоне у Герцена и рассказывал ему о растущем недовольстве среди русских солдат в Польше (Герцен, т. XV, стр. 363—364). Вышедший в свет в конце ноября того же года сборник «Солдатские песни» (цена 3 коп. сер.), 1862, Лондон, «Вольная русская типография», по всей вероятности был доставлен Герцену тем же Потебнею. В этот сборник, представляющий собою наиболее яркое и удачное агитационное издание герценовской типографии, предназначенное для широких масс, вошло семь песен, написанных «на голос» известных в то время настоящих солдатских песен. Упоминание в одной из них казни Арнгольда с товарищами, настойчивый призыв к солдатам не стрелять в наших братьев-поляков заставляют предположить, что песни эти вышли из офицерского кружка, руководимого Потебнею. В 1863 г. Потебня принял участие в начавшемся польском восстании и был убит 4 марта 1863 г. в сражении под Песчаной Скалой[104].

Рамлов Иеладин — студент-поляк. В № 143 «Колокола» (1 сентября 1862 г.) есть его «Письмо из Константинополя». Арестованный по политическому делу и приговоренный к отдаче в солдаты в линейные полки в Сибири, он сбежал с сибирской границы. В письме он извещает знающих его об удачном побеге и горячо благодарит тех русских, которые помогли ему.

Рейхель (урожденная Эрн), Марья Каспаровна (1823—1916). — Она познакомилась с Герценом еще двенадцатилетней девочкой в Вятке и оставалась до самой смерти Герцена его верным другом. Она жила в молодости в доме отца Герцена, а по возвращении из ссылки в Москву А. И. Герцена поселилась у последнего и занималась воспитанием его детей. Выехала вместе с Герценом за границу, как близкий друг всей его семьи. В конце 1849 г. вышла замуж за немецкого музыканта и композитора Рейхеля и рассталась с семьей Герценов, поселившись в Париже. С 1857 г. Рейхели жили в Дрездене, с 1867 г. — в Берне. Письма Герцена к Марье Каспаровне, сохранившиеся в громадном количестве, показывают, как велика была ее дружба к нему. На склоне лет Рейхель написала свои воспоминания о Герцене и там впервые опубликовала многие его письма («Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена», М., 1909 г.). Особенно важна была для Герцена дружба с Рейхель в период создания «Вольной русской типографии» и блестящей эпохи «Колокола». Извещая Рейхель о том, что типография начала действовать и что теперь важнее всего получать материал для печатания, Герцен писал: «Ах, боже мой, если бы у меня в России вместо всех друзей была одна Мария Каспаровна — все было бы сделано». Рейхель была главной связью Герцена с Москвой и Россией, через нее поддерживались отношения Герцена с прежними друзьями. Мария Каспаровна играла громадную роль в деле доставки Герцену всевозможных материалов, различных сведений о России. Количество получаемого ею для Герцена материала из России было так велико, что, например, он рекомендует ей в письме от 20 января 1860 г. составить для получаемых вещей каталог. Очень большую помощь оказывала она Герцену и в деле распространения его изданий. Совершенно прав М. К. Лемке, глубоко изучивший их отношения на почве издательской работы Герцена, в таком своем заключении: «Без этого помощника, без этого своего «начальника штаба» ему подчас было бы невозможно обойтись. Русское общество многим обязано М. К. Рейхель» [105].

Розанов Сергей Матвеевич. В 179 номере «Колокола» напечатано от издателей: «Мы получили две замечательные статьи из России: «От детей к отцам» и «Братское слово к учителям семинарий». Последнее мы с большой радостью помещаем в сегодняшнем «Общем Вече» и обращаем внимание читателей «Колокола» на эту статью». Статья «Братское слово к учителям семинарий», вызвавшая такое одобрение Герцена и Огарева, напечатана в 27 номере «Общего Веча» (от 15 февраля 1864 г.). Другая статья «От детей к отцам», повидимому, не появлялась в печати. М. К. Лемке, ссылаясь на архив III отделения, сообщает, что автором этих статей был студент Гейдельбергского университета Сергей Матвеевич Розанов [106]. Он находился в письменных сношениях с Герценом. В 1866 г. Розанов, в числе других гейдельбергских студентов, подписался под адресом царю по поводу выстрела Каракозова. В июле этого года он еще поддерживал переписку с Герценом. В 1868 г. он служил в Петербургском ботаническом саду. Сведения эти очень неполны и несколько расходятся с тем, что можно узнать о Розанове из других источников. С. М. Розанов, родившийся 20/I 1840 г., был ботаник, подававший большие надежды и уже составивший себе имя. По окончании в 1863 г. Петербургского университета он был отправлен за границу и провел там три года, занимаясь в ботанических институтах Германии и Франции. Следовательно, в Гейдельберге он был не в качестве студента, а как начинающий ученый. В 1867 г. Розанов защитил магистерскую диссертацию, с 1868 г. состоял главным ботаником Петербургского ботанического сада. Поместил ряд статей в русских, немецких и французских научных журналах; читал лекции по ботанике в Технологическом и Горном институтах. В 1870 г. отправился для лечения за границу и там по дороге умер 21 ноября. Сведения о нем, помимо энциклопедического словаря Брок-



П. Л. ПИКУЛИН
Фотография
Литературный музей, Москва

гауза-Ефрона, можно найти также в «Русском биографическом словаре». Некролог его был напечатан в «Трудах сибирского общества естествоиспытателей», т. 2, стр. 197—200.

Рошковский — капитан генерального штаба. Его «Письмо» появилось в №№ 171 и 172 «Колокола» (октябрь — ноябрь 1863 г.). Редакция прибавила следующие вступительные строки: «Мы помещаем с весьма небольшими выпусками письмо капитана генерального штаба г. Рошковского. Оно живо представляет печальную картину процесса, которым петербургское правительство поселяет отвращение ко всему русскому». Автор письма, родившийся в 1831 г. в Валахии, рассказывает о себе, что он рос, воспитывался и прожил почти всю жизнь между русскими и исключительно под руссофильскими влияниями; по-польски не умеет даже читать и писать, по религии православный; всегда считал и продолжает считать себя русским. И несмотря на все это, он принужден был в 1863 г. эмигрировать. Рошковский рассказывает о правительственных преследованиях, вследствие которых ему пришлось оставить Россию, и заканчивает свое письмо заявлением, что в дальнейшем он будет сообразоваться только с требованиями и указаниями общества «Земля и Воля». О личности и судьбе Рошковского, кроме того, что он сам о себе сообщает, нам ничего не известно.

Савицкий («Стелла»), Иван Михайлович — эмигрант. Бывший полковник генерального штаба, окончивший в 1854 г. академию; в 1863 г. командовал повстанческим отрядом под именем «Стелла». В Женеве познакомился с Герценом. В 1867 г. поступил на медицинский факультет Страсбургского университета. Находился в переписке с Герценом. В № 235—236 «Колокола» напечатано «Письмо полковника Савицкого» с протестом против клеветы на него «Варшавского дневника».

Сазонов Николай Иванович (1815—1862) — самый близкий к Герцену и Огареву в юности член их студенческого кружка, блестяще одаренный от природы, эмигрант с начала 40-х годов, Сазонов по ряду причин не был сколько-нибудь активным участником издательской деятельности Герцена. Его сотрудничество сводится всего лишь к двум произведениям. В 1855 г. в «Вольной русской типографии» была отпечатана его агитационная брошюра «Родной голос на чужбине. Русским пленным во Франции». Во второй книжке «Полярной Звезды» (1856 г.) по-

мещена статья Сазонова «Место России на всемирной выставке». Обе вещи подписаны полным именем автора.

Салиас де Турнемир Елисавета Васильевна (1815—1892) — известная писательница. Об ее отношениях к Герцену см. публикацию П. Дьяконова в 1-м выпуске настоящего тома «Литературного Наследства», стр. 257 сл.

Ей принадлежит корреспонденция о студенческих волнениях, помещенная в «Колоколе», л. 113 от 22 ноября 1861 г.

Самарин Юрий Федорович — известный славянофил, публицист и общественный деятель. Герцен был близко знаком с ним еще в начале 40-х годов и ценил тогда в нем ум и некоторые свойства его характера. Постепенно они все больше расходились. В 1864 г. за границей состоялось свидание Герцена с Самариным. Самарин убеждал Герцена в том, что он приносит России громадный вред. В «Письмах к противнику» («Колокол», №№ 191, 193, 194) Герцен блестяще показал всю реакционность Самарина, проявленную им в их беседе (не называя его, конечно, по имени). Но, прежде чем произошел этот окончательный разрыв, Самарин тоже стремился быть союзником Герцена в его борьбе. Это было в конце 50-х годов, когда общественная дифференциация еще не достаточно проявилась и когда «за Герцена» был ряд лиц, по существу реакционных. О стремлении Самарина сотрудничать с Герценом говорит его письмо от 9 мая 1858 г. «...Я послал вам слишком год тому назад четыре статьи для «Голосов из России»: 1) большую статью о мерзости крепостного права и об упразднении его, писанную в 1854 г.; 2) статью под заглавием «Чему мы должны научиться?», писанную после Парижского мира; 3) письмо к генералу Людерсу по поводу его приказа, данного армии, о том, чтобы офицеры не поднимали насмех ратников ополчения; 4) статью о влиянии одежды на общественный быт. Отчего вы ничего не напечатали?» Далее Самарин указывает, что Яков Ростовцев — «вреднейшая и опаснейшая скотина», обладающая «страшным иезуитизмом», сильно идет в гору; он дает Герцену совет разобрать его печатную инструкцию о преподавании и воспитании в кадетских корпусах. «В ней, между прочим, буквально сказано, что совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет воля начальства. Разберите подробно это образцовое произведение Лойолы-фельдфебеля. Никто не сделает этого как вы» [107]. Исполнением совета Самарина была статья Герцена «Черный кабинет» в 20 номере «Колокола» (1 августа 1858 г.). Она кончается таким восклицанием: «О, равви Абраамий-бен-Норов! Нам приходится жалеть о нашем библейском министре... Да что Авраамий — Иегова с ним. Как бы бог Иакова и ростовский иезуитизм не заставил нас жалеть о вяземском!» Здесь Герцен использовал эпитет «иезуит», приложенный Самариным к Ростовцеву. Герцен не мог дать разбора указанной ему книжки Ростовцева (у него, конечно, не было ее за границей), но приведенную Самариным цитату из этой книжки он буквально взял эпиграфом к своей статье. Самарин здесь ввел Герцена в заблуждение: приписанной им Ростовцеву фразы о совести в «Руководстве» Ростовцева нет.

Серно-Соловьевич Николай Александрович — видный участник революционного движения 60-х годов. В его разнообразной деятельности имело место и участие в герценовских изданиях. 1 сентября 1861 г. Герцен писал Огареву: «Статьи Серно-Соловьевича я никак бы не напечатал. Напиши Чернецк[ому], чтоб он ее прислал. Смотри, у меня есть инстинкт, и до сих пор всякий раз я, уступая, делал беду». Статья, о которой идет речь, это — «Ответ Великоруссу», напечатанный в № 107 «Колокола» (от 15 сентября 1861 г.) с подписью «Ваш. Один из многих». Автор статьи доказывал, что с призывом к борьбе нужно обращаться не к обществу, а к самому народу. Все лучшее из общества должно соединиться в один союз, объединяющий отдельные тайные общества. Кроме того, Серно-Соловьевич принимал участие, вместе с другими лицами, в составлении прокламации Огарева «Что нужно народу?» («Колокол», № 102. Тогда же была отпечатана отдельным изданием) и помогал Огареву и Н. Н. Обручеву в написании прокламации «Что надо делать войску?» («Колокол», № 111. Вышла и отдельным изданием в нескольких видах) [108]. Надо полагать, что участие Серно-Соловьевича в герценовских

изданиях было больше того, что нам известно. На допросах Кельсиева в 1867 г. следователи интересовались вопросом об участии в «Колоколе» Серно-Соловьевича. Кельсиев ответил: «Обручев и Серно-Соловьевич тоже ничем не выдавались, и только теперь я узнал, что последний был постоянным корреспондентом „Колокола“». Хотя Серно-Соловьевича тогда уже не было в живых, однако, искренность Кельсиева в этом ответе остается под сильным сомнением.

Слепцов Александр Александрович (1835—1906). — Он принимал активное участие в революционном движении 60-х годов, был одним из основателей и членом Центрального комитета общества «Земля и Воля». Находясь за границей, содействовал Огареву в составлении следующих прокламаций: 1) «Что нужно народу?» («Колокол», № 102 и отдельное издание); 2) «Всему народу русскому, крестьянскому от людей ему преданных поклон и грамота»; 3) «Братья солдаты! Одумайтесь — пока время». Две последние прокламации напечатаны в 1863 г. в «Вольной русской типографии» для общества «Земля и Воля»[109]. Возможно участие Слепцова и в составлении прокламации «Офицерам всех войск от общества „Земли и Воли“», вышедшей тогда же. Вскоре Слепцов отошел от революционного движения и отдался государственной службе.

Толбин Василий Васильевич (1821—1869) — поэт, беллетрист, рецензент и фельетонист. В числе прочих изданий сотрудничал в «Искре». В 1849 г. привлекался к допросу по делу Петрашевского и был подвергнут надзору. О нем говорится в энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона: «В начале 60-х годов был фельетонистом «Северной Пчелы», «СПб. Ведомостей», «Русского Инвалида»; к этому времени относятся и несколько стихотворений его, ходивших в рукописи и частью помещенных в «Колоколе» Герцена». Заметка подписана «П. В. Б.», т. е. Петр Васильевич Быков. Быков в 60-х годах был уже взрослым человеком, входил в литературные круги, и его сообщение является поэтому отголоском тех сведений, которые имелись о Толбине в 60-х годах. Стихотворений в «Колоколе», вообще, печаталось очень немного. Если отбросить те из них, авторы которых известны (Огарев, Некрасов, Зотов, Михайлов, Утин, то останется всего 3—4 стихотворения неизвестных авторов: 1) «Современное» («Вот Семен Авдеич...»); 2) «Грустно матушке России»; 3) «Уральская песня» («Как по реченьке...»); 4) «Солдатская песня» («Русская кровь льется...»). Действительно ли среди этих авторов был Толбин и что именно принадлежит ему, мы не можем определить.

Трубецкой Николай Платонович, кн. — штабс-капитан гвардейской артиллерии, бывший адъютант принца Мекленбургского. В конце 1860 г. он явился в Лондон и стал наборщиком в типографии Герцена. Кельсиев говорит, что он скрыл причину, по которой оставил Россию. «Он много настрадался, пока решился обратиться к нам за помощью», добавляет Кельсиев. В типографии он работал около года, и работал очень хорошо, как писал Герцен Тургеневу в своем рекомендательном письме. Это совпадает с отзывом Кельсиева в «Исповеди», который называет его отличным наборщиком. Для VI книжки «Полярной Звезды» Трубецкой перевел с французского письмо декабриста Лунина[110]. Дальнейшая судьба Трубецкого неясна. По письмам Герцена, отзывавшегося о нем с известной симпатией, можно проследить, что до 1867 г. он жил в разных местах за границей. Эмигрантом он не был. Чрезвычайно сомнительны даваемые М. К. Лемке сведения, что в 1862 г. он ездил в Россию и участвовал в организации «Земли и Воли». Ничем не подтверждает Лемке и того, что Трубецкой оказал помощь Гарибальди, обучая его артиллерии[111]. Очень загадочно последнее, что сообщается о Трубецком: в апреле 1872 г. он был прислан по этапу, как бродяга, из Севска в Орел...[112] Биография этого бывшего герценовского наборщика, начавшего свою карьеру блестящим гвардейским офицером[113], а кончившего, как бродяга, заслуживает внимания.

Трувеллер Владимир Васильевич — флотский юнкер. В 1861 г. явился в Лондон к Герцену. Его целью было реабилитировать своего умершего под судом отца, в невинности которого он был уверен. Разобрать привезенную им груду судебных документов и составить записку для «Колокола» было поручено Кельсиеву. В июне 1862 г. Трувеллер был арестован на фрегате «Олег» после возвращения из

заграничного плавания. При нем были найдены лондонские прокламации, и было доказано, что он распространял их среди матросов. Трувеллер был приговорен к каторжным работам, замененным по конфирмации ссылкою в Западную Сибирь. Как видно из рассказа Герцена, Трувеллер давал ему сведения о жестоком обращении с матросами на фрегате «Олег» и, в частности, о капитане Андрееве [114] (на эту тему в «Колоколе» было несколько статей. Герцена осведомляли и другие офицеры).

Тургенев Иван Сергеевич. — Тургенев оказывал Герцену весьма значительное содействие по «Колоколу». 22 декабря 1857 г. он присылает ему для скорейшего помещения в «Колоколе» материалы о князе Л. В. Кочубее, стрелявшем в своего управляющего Зальцмана. Благодаря высокому общественному положению Кочубея, его преступление было замазано. Материалы, присланные Тургеневым, были опубликованы в № 7 «Колокола» [115].

В конце 50-х и самом начале 60-х годов Тургенев был одним из самых ревностных друзей Герцена, обслуживавших его разного рода информацией. Об этом говорит их переписка. 16 сентября 1859 г. Тургенев предупреждает Герцена, что к нему явится декабрист Вегелин. «Он привезет тебе от меня две важных рукописи, которые были мне доставлены для «П. З.» во время моего пребывания в Виши» [116]. О каких рукописях идет речь — сказать трудно, но в пятой книжке «Полярной Звезды» (1859) было напечатано стихотворение Тургенева «Кнут» («Ремянный кнут, не безъуханный...») — подражания стихотворению Пушкина «Цветку» («Цветок засохший, безъуханный, забытый в книге вижу я...»), — без подписи автора. В принадлежности стихотворения Тургеневу — см. «Общее дело», № 71 (март 1885), стр. 11. 22 мая 1860 г. он сообщает, что Н. М. Жемчужникова доставит ему две важные бумаги; Тургенев просит напечатать их и ручается за их несомненность своим словом. 1 января 1861 г. Герцену были отправлены материалы по делам во флоте: статья из «Морского сборника» о взрыве на одном из судов и какое-то письмо А. В. Головнина, касающееся поднятого «Колоколом» вопроса о жестоком обращении с матросами. Тургенев при этом напоминал Герцену, что «эдакого рода наши отношения должны храниться в тайне», подразумевая свое посредничество в передаче Герцену материалов от таких лиц, как Головнин. В № 90 «Колокола» (от 15 января 1861 г.) появилась статья Герцена «Собственное сознание о взрыве „Пластуна“».

Очень оживленный обмен письмами происходил между Герценом и Тургеневым в дни, когда ожидалось объявление манифеста о крестьянском освобождении и сейчас же после его объявления. Герцен пишет: «Вообще, Тургенев, ты уж теперь нас не забывай и, как что, пиши, а если очень важно, то и в телеграф сыграй». Как только в Париже, где жил тогда Тургенев, стало известно об окончательных решениях по крестьянскому вопросу, Тургенев написал об этом Герцену, и последний почти дословно привел некоторые сообщения Тургенева в своей заметке «15 марта. Последние новости» (№ 94).

Получив любопытное письмо Анненкова, писанное сейчас же после объявления «воли», Тургенев копию с него отправил для осведомления Герцена. Герцен просит его немедленно заказать переписчику снять для Лондона копию с «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

Выражая настроения умеренно-либеральной части общества, Тургенев часто просит Герцена не задевать тех или иных высокопоставленных лиц: Александра II, вел. кн. Константина Николаевича, министра Головнина. Вообще говоря, Герцен прислушивался к такого рода просьбам.

С другой стороны, Тургенев иногда указывал на желательность коснуться в «Колоколе» той или иной темы. «Скажи два слова в «Колоколе» о смерти Шевченко», напоминает он в марте 1861 г. 18 сентября 1860 г. Тургенев пишет Герцену о необходимости «отхлестать нашего барина за эти гнусные австрийские обеды, напоминающие самую скверную эпоху Николаевщины» [117]. Герцен ответил на этот вызов двумя статьями: «Последний удар» (№ 82) и «Es reiten drei Ritter» (No. 85).

Тургенев был очень полезен «Колоколу», как усердный поставщик информа-

ции, разных документов и материалов. Как самостоятельный автор он в «Колоколе», повидимому, не выступал — если не считать его «Письма к издателю», подписанного полным именем, в № 134 (здесь Тургенев протестовал против слишком резких эпитетов относительно издателя Основского во 2-м номере долгоруковского «Правдивого»: Основскому ставилась в вину Долгоруковым его денежная неаккуратность относительно Тургенева). Был однажды случай, когда Тургенев хотел выступить в «Колоколе», хотя и строго законспирировавшись. «Я решился тебе отвечать в вашем же журнале, хотя это не совсем легко — во всяческом смысле этого слова, а ты, пожалуйста, сохрани мое имя в тайне и даже, если можно, отведи другим глаза. Я надеюсь через неделю послать тебе ответ — он уже начат» (письмо к Герцену от 27 августа 1862 г.). Отвечать он собирался на статью Герцена «Концы и начала» — по общим принципиальным вопросам. Однако, это выступление не состоялось. 18 октября того же года Тургенев извещал: «Что же касается до моего ответа на «письма», помещенные в «Колоколе», то уже несколько страниц было набросано — я тебе покажу их — но, так как всем известно, что ты пишешь мне, я приостановился, тем более, что получил под рукою официозное предостережение не печататься в „Колоколе“».

Здесь уместно выяснить одно недоразумение, возникшее по вопросу об участии Тургенева в «Колоколе». З. Коган, автор статьи «Тургенев и Герцен» [118] пишет: «В письмах Тургенева мы находим указание даже на непосредственное его участие в «Колоколе», на то, что он написал для журнала несколько статей, хотя установить документально, какие именно, до сих пор не удалось. «Мне очень весело, что моя статейка вам понравилась, а писал ее mit schweren Herzen. Дальнейшее рекомендую себя вашей снисходительности» — пишет он 7 января 1858 г.» Мы не знаем, почему автор говорит о н е с к о л ь к и х статьях: приведенное им место может навести на мысль лишь об одной статье. Но заключение даже и об одной статье, написанной Тургеневым для «Колокола», было бы ошибочно. Под «статейкой» Тургенев здесь подразумевает свой очерк «Поездка в Полесье», напечатанный в октябрьской книжке журнала «Библиотека для чтения». 31 декабря 1857 г. Герцен писал ему: «Читал я твою превосходнейшую вещь в «Библ[иотеке] для чтения»; кроме одного места, где ты уже очень налиризничал, удивительно хорошо». Вот на эту похвалу Герцена Тургенев и отозвался.

1862 год был последним годом, в который, хотя бы и в слабой степени, проявилось сотрудничество Тургенева в изданиях Герцена. Уже в этом году весьма определенно наметились пункты его резкого расхождения с Герценом в общественном миросозерцании. Следующий год был годом польского восстания, когда все консервативное и либеральное общество панически шарахнулось от Герцена, оставшегося почти в одиночестве. В связи с политическим расхождением, испортились и их личные отношения, особенно после того, как Тургеневу в январе 1864 г. пришлось давать в сенатской комиссии ответы относительно своих отношений к Герцену. Не только окончилась помощь Тургенева Герцену в его издательской деятельности, — на время произошел полный перерыв даже в их личной переписке.

Т у р г е н е в Николай Иванович — декабрист-эмигрант. Герцен относился к нему, как к представителю декабристов, с глубоким пиететом. Тургенев в 50-е и 60-е годы очень часто выступал как публицист, но свои произведения он, по большей части, печатал отдельными брошюрами в Лейпциге, а в изданиях Герцена почти не выступал. Только в № 155 «Колокола», за подписью автора, помещено «Письмо к редактору» Тургенева, касающееся записок Якушкина, изданных Герценом. «Письмо» Тургенева в том же 1862 г. было выпущено «Вольной русской типографией» и отдельным изданием. Кроме того существует указание еще на одну статью Н. И. Тургенева в «Колоколе». В № 70 находится анонимная статья «Возражение на 63-й № «Колокола» (Письмо к издателю «Колокола»)». Возражение касается статьи Огарева «Комиссии для составления положений о крестьянах». В. Я. Богучарский говорит, что это возражение принадлежит «по всем признакам» Н. И. Тургеневу. В библиографическом указателе Н. М. Ч е н ц о в а — Восстание декабристов — этой статьи в произведениях Тургенева не значится.

Вообще, Н. И. Тургенев выступал в печати не анонимно, а подписывая свои произведения.

Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913) — жена Огарева, а затем Герцена, в общем, стояла вдалеке от их издательской деятельности. Вот единственное, что она отмечает в своих воспоминаниях: «Когда печатали второе издание номеров «Колокола», я держала корректуру, потому что это было очень легко: набирая с печатного, Чернецкий делал весьма мало ошибок»[119].

Тхоржевский Станислав — польский эмигрант с 1845 г. В начале 50-х годов открыл в Лондоне небольшую книжную лавку, главным образом, для нужд польской эмиграции. Сблизился с Герценом очень скоро по приезде последнего в Лондон. На ряду с Чернецким, был ближайшим техническим помощником Герцена в его издательском деле. Заведывал издательством и распространением русской заграничной литературы, вел деловую переписку, исполнял всевозможные поручения Герцена по издательству. Был преданным другом всей семьи Герцена. В 1865 г. переехал вместе с Герценом в Женеву и поселился в его доме. Умер, повидимому, в 80-х годах.

Унковский Алексей Михайлович — известный либеральный общественный деятель. В 39 номере «Колокола» была впервые напечатана его записка по крестьянскому делу, поданная Александру II в октябре 1857 г. В примечании Герцен указывает, что он не знает Унковского и не во всем с ним согласен, но считает полезным обнародование его проекта, не появлявшегося в печати в России. Далее, IX книжка «Голосов из России» (1860 г.) целиком занята «Соображениями по докладам редакционных комиссий» Унковского. Во вступительной заметке Герцена и Огарева говорится: «Мы с особенной готовностью и уважением издаем эту книжку «Голосов из России». Несмотря на то, что в некоторых частностях мы не совсем согласны с автором, мы убеждены, что ее появление полезно; в ней слышен голос здравого смысла в пользу блага общественного. Эту статью приписывают г. Унковскому. Если это правда, то мы просим прощения у почтенного автора, что печатаем ее без его согласия; мы получили ее в нескольких экземплярах и потому не думаем, чтоб эта статья была тайна; а издаем ее потому, что это полезно». Герцен и Огарев, конечно, знали наверное, что статья принадлежит Унковскому, и все их заявление было сделано для того, чтобы избавить Унковского от ответственности за выступление в нелегальной печати. Как именно редакция «Колокола» получила рукопись Унковского — неизвестно. В своих воспоминаниях Унковский утверждает, что его статьи печатались у Герцена без его, Унковского, ведома.

Утин Николай Исаакович (1845—1883) — участник революционного движения 60-х годов, член Центрального комитета «Земли и Воли», эмигрант с 1863 г. Поселившись в Лондоне, в первое время занялся организацией переправки герценовских изданий в Россию, затем переехал в Швейцарию. Был членом I Интернационала, членом редакции газеты «Народное дело». Разойдясь с Бакуниным, принимал деятельное участие в борьбе Интернационала против него. В половине 70-х годов отошел от революционной деятельности и служил в промышленных предприятиях известного Полякова. В 1877 г. подал прошение о помиловании с выражением раскаяния и в 1880 г. вернулся в Россию. Герцен в письме к Огареву 1868 г. называл его «самым лицемерным из наших заклятых врагов», т. е. из молодой женевской эмиграции. В № 169 «Колокола» появилось заявление Утина Центральному комитету «Земли и Воли». По сообщению Б. П. Козьмина, на основании неопубликованных писем Утина, хранящихся в Литературном музее, можно установить его авторство относительно следующих вещей в «Колоколе»: 1) «Еще об университетской реформе», № 177; 2) «Николай Гаврилович Чернышевский», № 189. Статья подписана «Z». До сих пор она обыкновенно приписывалась В. А. Зайцеву; 3) Коротенькие заметки о книгах «Невский сборник» и «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова в № 238 (в «Смеси»).

В «Колоколе» же, в прибавлении к № 119—120 (15 января 1862 г.), стр. 1001, без подписи автора, напечатано в статье «Михайлов и студентское дело» стихотво-

рение «Узнику» («Из стен тюрьмы, из стен неволи...»). Стихотворение это, со слов Л. Ф. Пантелеева, связывается с Н. И. Утиным.

Хрущов Димитрий Петрович (1816—1864) — товарищ министра государственных имуществ с 1856 г., потом сенатор; участник проведения крестьянской реформы. В 1860—1862 гг. им были выпущены анонимно в Берлине ценные «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II» в трех частях. В «Литературном Наследстве», № 22—24 (стр. 257—275), убедительно высказано предположение, что Хрущев был корреспондентом Герцена. По всей вероятности, им был доставлен Герцену ряд сенатских документов по делу несправедливо осужденного петербургского купца



Н. В. ШЕЛГУНОВ
Фотография
Литературный музей, Москва

Малкова. Дело это очень интересовало Хрущова; он даже подал по этому поводу особое «всеподданнейшее» письмо Александру II, за что получил внушение от министра внутренних дел. Документы по делу Малкова опубликованы Герценом в № 1 «Под суд»; публикация называется «Дело о преступном сообщничестве полицейского майора Попова, генерал-губернатора Игнатьева и министра Панина против свободы и чести купца Малкова». Ход доказательств и самый язык примечания к этой публикации, особенно в определении наказания, следуемого по закону Игнатьеву и др., совершенно аналогичны такому же определению о М. Безобразове и др. в «Материалах» Хрущова. Весьма вероятно, что Хрущовым было переслано в «Колокол» и письмо о Ямбургском деле о насилиях над крестьянами, совершавшихся петербургским губернатором Смирновым. См. заметку «Нарвская революция и рукопашный Каваньяк-Смирнов» в № 91 «Колокола».

Худяков Иван Александрович (1842—1876) — революционер, исследователь-фольклорист, составитель популярных книжек для народа. Во второй половине 1865 г. он прожил 3 месяца за границею, имея сношения с Герценом и рядом других женевских эмигрантов. Напечатал в этом году в «Вольной русской типографии» книжку — «Игнатий. Для истинных христиан» — подбор цитат из библии, на-

правленных, главным образом, против царей и начальства, с пояснениями автора. После покушения Каракозова был арестован в 1866 г. и явился одним из главных обвиняемых по делу Ишутина и др. Приговорен к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Поселен в Верхоянске в ужаснейших условиях; занимался изучением языка и быта якутов. В начале 70-х годов стал обнаруживать признаки душевного расстройства; в 1875 г., уже совершенно больным, переведен в Иркутск, в больницу, где и умер.

Цебриков Николай Романович (1800—1866) — декабрист; был осужден по X разряду, сослан в Сибирь, затем служил на Кавказе, сначала рядовым, с 1837 г. — прапорщиком. В 1840 г. вышел в отставку, состоял на государственной службе, управлял разными фабриками и имениями, сильно нуждался.

В противоположность большинству декабристов, до конца жизни сохранил свои радикальные убеждения. В 1850-х гг. выступает в качестве человека, связанного с студенческим движением тех лет, страстного поклонника Герцена и его идей.

Ему принадлежат «Воспоминания о Кронверкской куртине» и очерк «Анна Федоровна Рылеева», напечатанные в пятой книге «Полярной Звезды» (первая из названных работ перепечатана в «Собрании материалов для истории возрождения России», т. I; вторая — в «Библиотеке русских авторов», т. I). Им была послана Герцену также статья о Ермолове, оставшаяся, однако, ненапечатанной (о ней упоминается в предисловии ко II тому «Исторического сборника Вольной русской типографии») и увидевшая свет лишь в 1931 г. в сборнике «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I, см. здесь посвященную ему публикацию Сергея Гессена, стр. 245 сл.

Чернецкий Людвиг — польский эмигрант. С самого основания «Вольной русской типографии» в Лондоне принял на себя заведывание ею. Вместе с Тхоржевским был незаменимым помощником Герцена в его деле. В статье 1863 г., посвященной десятилетию «Вольной русской типографии», Герцен писал: «И вот с тех пор, любезный Чернецкий, мы десятый год печатаем с вами без устали и отдыха и имеем уже порядочную биографию нашего станка и порядочный ворох книг... Дайте вашу руку на новое десятилетие и не сердитесь, что я повторяю всенародно то, что я вам еще раз говорил наедине. Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд». В 1865 г. Чернецкий вместе с Герценом переехал в Женеву и продолжал работать с ним. В 1866 г. Герцен передал ему в собственность типографию; с 1867 г. она официально стала называться «Типографией Л. Чернецкого». Перед смертью Герцен назначил для Чернецкого 10.000 франков из Бахметевского фонда, но тот пожелал, чтобы эти деньги были обращены на дело пропаганды. После смерти Герцена дела типографии совсем пошатнулись, и Чернецкий в 1872 г. продал ее. Умер от болезни сердца в Женеве 18 июня 1872 г.

Чичерин Борис Николаевич. — Он был одним из наиболее ранних сотрудников Герцена, появившихся в России после начала нового царствования. Был самым плодовитым поставщиком статей в первые книжки «Голосов из России». Но с самого начала у него была настороженность против Герцена и желание подчеркнуть свое расхождение с ним. «...Направление Герцена, выразившееся в «Полярной Звезде» и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим[120] целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем[121] нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами»[122]. Первою вещью, которую Чичерин напечатал в «Голосах из России», было «Письмо к издателю в виде предисловия», с подписью «Русский либерал» (книжка первая, 1856 г.). Статью эту писали совместно Чичерин и Кавелин: первая половина, до стр. 20, принадлежит Кавелину, вторая — Чичерину. В I вып. 2-й части «Голосов» (1856) Чичерину принадлежит статья «О крепостном состоянии», в 3-й книжке (1857) — «Об аристократии, в особенности русской», в 4-й книжке (1857) — «Современные задачи русской жизни»[123].

В своих воспоминаниях Чичерин говорит еще[124], что в «Голосах из России» напечатана его маленькая статья под заглавием «Священный союз и австрийская политика». Несмотря на такое категорическое заявление и на то, что в оглавле-

нии 1-й книжки эта статья, действительно, значится — ее не имеется ни в одной из книжек «Голосов из России».

Единственное выступление Б. Н. Чичерина в «Колоколе» вызвало большое волнение в литературно-общественных кругах. В 29 номере Герцен напечатал большое письмо к нему Чичерина (с подписью «Ч.»), полное тяжелых обвинений против общественной позиции Герцена. Герцен дал этому обращению к нему Чичерина заголовок «Обвинительный акт» и во вступительной заметке писал: «Обвинительное письмо, печатаемое нами сегодня, существенно отличается от прежних писем против «Колокола». В тех был дружеский упрек и тот дружеский гнев, в негодовании которого звучала знакомо и приветливо родная струна. Ничего подобного в этом письме. Те были писаны с нашей стороны, оттого в самих несогласиях и упреках было сочувствие. Это письмо писано с совершенно противной точки зрения, т. е. с точки зрения административного прогресса, гувернаментального доктринаризма». «Обвинительный акт» Чичерина вызвал массу выражений сочувствия Герцену; некоторые из них появились в «Колоколе». Но и у Чичерина в определенных кругах общества оказалось не мало единомышленников, радовавшихся тому, что против Герцена начат открытый поход.

Чичерин Владимир Николаевич — бывший офицер лейб-гвардии кирасирского её величества полка. Его участие в одном из герценовских изданий открывает Б. Н. Чичерин. «Брату Владимиру, который в это время вышел уже в отставку и поселился в деревне, я заказал статью о полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях, которая впоследствии также была напечатана в «Голосах из России» [125]. Статья Владимира Чичерина «О полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях» находится в «Голосах из России», ч. II, вып. 1, стр. 46—109.

Чумиков Александр Александрович (1819—1902) — известный в свое время педагог и литератор, издатель журнала «Воспитание» (в 1860—1863 гг.). Чумиков вступил в письменные сношения с Герценом еще в 1851 г.: он выразил ему свои симпатии по поводу его литературной деятельности и предложил прислать какие-то литературные материалы. То, что было прислано Чумиковым, Герцен пытался через Мишле поместить во французской прессе (повидимому, это были какие-то извлечения из Гакстгаузена) [126]. В 1859 г. Чумиков прислал Герцену большое письмо, написанное в довольно развязном тоне [127], в котором отчасти критиковал герценовские издания по существу, а главное — резко отзывался о неумелом их распространении. Резкости этого письма вызвали даже Герцена на статью «Выговор по службе» («Колокол», № 48). Одновременно с этим письмом Чумиков прислал и какие-то материалы для напечатания. Об этом можно заключить из письма к нему Герцена от 7 июля 1859 г., начинающегося словами: «Благодарю вас за присланное и за письмо. Присланное будет употреблено».

Шевелев Николай Александрович (род. около 1826 г.) — отставной подпоручик. Совершенно не выясненная личность. В 60-е годы подвергался арестам, скрылся за границу. Участвовал в пештской газете «Новины», выпустил сочинение «Русский глас к словакам». Вместе с Л. Мечниковым участвовал в составлении книжки «Землеописание для народа», напечатанной в 1868 г. в «Вольной русской типографии» в Женеве (именно в первом отделе, посвященном странам Западной Европы, Азии, Африки и Америки). Кроме того, есть некоторые основания, предполагать, что он был автором книжки «Вероисповедание духовных христиан, обыкновенно называемых молоканами», напечатанной в женевской «Вольной русской типографии» в 1865 г. В конце 60-х годов Шевелев обвинял Герцена в распространении через венгерца Клопку слухов о том, что он, Шевелев, — русский шпион (слух этот циркулировал тогда за границей и даже проник в печать). Герцен в письмах к Огареву опровергал факт своего разговора с кем-нибудь о Шевелеве. В 1871 г. Шевелев был арестован в Париже по обвинению в принадлежности к Парижской Коммуне и в 1872 г. выдан русским властям. Судился в 1876 г. по ряду обвинений особым присутствием сената и приговорен к 10 годам каторги в крепостях. В виду его «умопомешательства», содержался в больнице для душевнобольных. В 1881 г. отправлен в Сибирь. Жил в Туринске Тобольской губ. [128]

Шелгунов Николай Васильевич. — В 1861 г. написал прокламацию «К молодому поколению», отпечатанную в «Вольной русской типографии». В составлении прокламации принимал некоторое участие М. И. Михайлов, который после ареста взял всю вину на себя и, как автор прокламации «К молодому поколению», пошел на каторгу. Авторство Шелгунова установлено его собственным заявлением в «Воспоминаниях» [129]. Герцен, хотя и позволил напечатать воззвание «К молодому поколению» в своей типографии, не одобрял его содержания, как говорит Шелгунов. «Мы заклинали его не печатать своей прокламации», пишет Герцен о Михайлове в статье «Нашим врагам» («Kolokol», № 14—15). Таким образом, Герцен имел к прокламации только типографское отношение.

Шелкан Виктор. — В № 197 «Колокола» он поместил «Письмо к издателю», в котором рассказал свою историю. Шелкан служил учителем в полтавском кадетском корпусе. Заболев воспалением легких, которое перешло в чахотку, он в мае 1862 г. подал прошение об отставке и в июне получил увольнение. 15 августа ему было объявлено, что по распоряжению высшего правительства он немедленно должен быть отправлен в Астрахань под надзор полиции. Перед отъездом он написал министру внутренних дел письмо (довольно резкое). Из Астрахани обращался письменно к царю, прося назначить над ним следствие. В феврале 1863 г. было получено распоряжение из Петербурга перевести его в Енотаевск, город ужасный в климатическом отношении и не имеющий даже аптеки. По его прошению было произведено официальное освидетельствование его здоровья; врачебная управа нашла, что ему нужно ехать в Каир. В мае 1863 г. эта поездка была разрешена ему, но с тем, чтобы каирский вице-консул имел за ним тщательный надзор и чтобы по возвращении он немедленно был опять отправлен в Астрахань. Когда по дороге он почувствовал себя в Одессе больным и хотел там задержаться, то Валуев приказал одесскому градоначальнику отправить его назад в Астрахань, если он не выедет за границу без малейшего промедления. В конце своего письма, писанного в Александрии в сентябре 1864 г., Шелкан ставит вопрос, для чего у нас издаются законы? «Украшая собою, в виде толстых книжек, полки шкафов в правительственных местах, они нисколько не стесняют русского правительства, и разные Валуевы хозяйничают и будут хозяйничать в нашей матушке России, как им вздумается... до поры, до времени, разумеется. Вследствие различных обстоятельств я предполагаю скоро вернуться в Россию, тем не менее прошу вас, милостивый государь, напечатать это письмо в «Колоколе» с моей подписью». Других сведений о Шелкане у нас нет.

Эберман Владимир Михайлович — уроженец Нижнего-Новгорода, он гимназистом бежал за границу и в 1860 г. был наборщиком в типографии Герцена — по свидетельству Кельсиева, плохим. Предложил русскому посланнику себя в шпионы; когда это стало известно, его выгнали из типографии. Позже был в Тульче учителем в молоканской школе. Принужденный уйти и оттуда, он в июне 1866 г. добровольно вернулся в Россию.

Элпидин Михаил Константинович (1835—1908) — известный эмигрант, владелец русской типографии в Женеве, а потом в Цюрихе, издатель. Осужденный по делу «Казанского заговора», он в июле 1865 г. бежал из казанской тюрьмы и эмигрировал. Перу Элпидина, несомненно, принадлежит статья «Казанский заговор 1863—1865 гг.» в №№ 205 и 206 «Колокола». Указаний на еще какое-нибудь участие Элпидина в герценовских изданиях не имеется, хотя оно вполне возможно.

Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857) — эмигрант с 1850 г. Считал себя представителем «петрашевочно-спешневской» точки зрения в эмиграции, хотя не известно, как он понимал эту точку зрения. В эмиграции сошелся с Герценом; стоял к нему чрезвычайно близко во время его тяжелой семейной драмы. В начале 1853 г. между ними произошел разрыв на почве личных отношений. Занимаясь в этом году устройством типографии, Герцен с большим сожалением вспоминал об Энгельсоне. Он писал М. К. Рейхель 25 августа: «Он большой грех принял на душу, порвав такую связь... Он мне был бы бесконечно полезен по типографии... Жаль, очень жаль» Вскоре Герцен для пользы дела через Рейхель восстановил

отношения с Энгельсоном, и последний стал его сотрудником. В течение 1854 г. появились 4 его прокламации: «Первое видение святого отца Кондратия», «Второе видение святого отца Кондратия», «Емельян Пугачев честнóму казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон», «Емельян Пугачев честнóму казачеству и всему люду русскому вторично шлет низкий поклон». От первой прокламации Герцен пришел в положительный восторг; к следующим относился более критически, но и их считал хорошими. Он находил у Энгельсона положительный талант «языкомерзия антихристового» и предлагал ему написать «катехизис для мужика». Прокламации Энгельсона имеют историческое значение, как почти первая попытка обратиться с революционными призывами к широким народным массам, но объективно они стоят гораздо ниже восторженных оценок Герцена: они написаны в фальшиво-народном духе и многое в их содержании вызывает критику. В течение 1854 г., как по политическим разногласиям, так и, опять-таки, по личным причинам, отношения Герцена и Энгельсона вновь сильно испортились. Несмотря на это, Герцен, печатая в 1-й книжке «Полярной Звезды» на видном месте статью Энгельсона «Что такое государство?», предпослал ей такие строки: «Первый том наш богат. Писатель необыкновенного таланта и резкой диалектики прислал нам, только что разнесся слух о «П. З.», превосходную статью под заглавием: «Что такое государство?» Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора». Эти лестные, — безусловно, слишком лестные, — строки были написаны в апреле 1855 г., а в мае, вследствие болезненной нервозности и ущемленного самолюбия Энгельсона, доведших его до совершенно недопустимых выходок, всякие отношения между ним и Герценом навсегда прервались.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857) — декабрист. Якушкин относился к тем изданиям Герцена, которые ему были известны, в частности к «Полярной Звезде», с горячим интересом и симпатией. Об этом говорят, между прочим, два документа, напечатанные в «Былом», 1906 г., кн. IV. Это черновое письмо к Герцену по поводу 1-й книжки «Полярной Звезды» и рассказ об К. Ивашевой, написанный Якушкиным в исправление того, что говорится о ней в «Былом и думах». По словам В. Якушкина, написавшего предисловие к этим документам, рассказ об Ивашевой отправлен в Лондон не был; не известно, было ли переписано и отправлено первое письмо. В этом письме Якушкин, выказав Герцену свое глубокое уважение, вносит некоторые поправки к публикациям «Полярной Звезды» и сообщает, что он отправляет одновременно с письмом стихотворение Пушкина — «Noël» и «Во глубине сибирских руд», «Гражданин» — Рылеева и «Тень Рылеева» — Кюхельбекера. В. Якушкин говорит, что часть этих стихотворений была напечатана во 2-й книжке «Полярной Звезды»[130], но вместе с другими стихотворениями, — а это заставляет думать, что все они были получены Герценом от другого лица. Так как все-таки не исключена возможность, что Якушкин отправил стихотворения (независимо от того, по чьему списку их напечатал Герцен), то нужно отметить и Якушкина в числе возможных сотрудников Герцена. Во всяком случае, он стремился быть таковым.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 466.

2 Герцен, т. VII, стр. 187.

3 Герцен, т. XVI, стр. 422.

4 Герцен, т. VII, стр. 234.

5 На первых изданиях типографии стоит обозначение: «Вольное Русское Книгопечатание при Польском Демократическом Товариществе».

6 Герцен, т. VIII, стр. 290.

7 Герцен, т. XVI, стр. 129—130.

8 К этому Герцен сделал примечание: «Н. Трюбнер, вообще, принес большую пользу русской пропаганде, и имя его не должно быть забыто в «Сборнике» русской типографии». См. предисловие Герцена к сборнику «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», — Герцен, т. XVI, стр. 134.

9 Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, Л., 1929 г., изд. «Academia», стр. 169—170.

10 Герцен, т. XVI, стр. 134.

11 «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 176.

[12] Герцен, т. XVII, стр. 346.
[13] Герцен, т. XVIII, стр. 6, 8, т. XIX, стр. 300.
[14] Герцен, т. XXI, стр. 184—187.
[15] Герцен, т. XIX, стр. 226.
[16] «Загадочный человек», — «Заря», 1871 г., июнь.
[17] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, 1923 г., стр. 157.
[18] В. П. Мещерский, Мои воспоминания, часть первая, СПб., 1897 г., стр. 70.
[19] Герцен, т. XV, стр. 99 (прим. Лемке).
[20] Б. Козьмин, Кто был автором «Писем русского человека» к Герцену,— «Литературное Наследство», № 25—26.
[21] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, стр. 181.
[22] «Вольное Слово», 1883 г., № 60, стр. 5.
[23] Там же, стр. 6.
[24] Герцен, т. XXII, стр. 126.
[25] «Мурановский Сборник», вып. I, 1928 г., стр. 86—88.
[26] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, стр. 218.
[27] «Русский Архив», 1912 г., кн. XII, стр. 569.
[28] Сочинения Екатерины II, издание Академии Наук, т. XII, вып. II, СПб., 1907 г., стр. 709.
[29] См. еще: М. П. Алексеев, Пушкин и библиотека Воронцова («Пушкин. Статьи и материалы», под ред. М. П. Алексеева, вып. II, Одесса, 1926 г., стр. 96). В «Воспоминаниях» Н. А. Тучковой-Огаревой, изд. «Academia» (1929 г.), С. А. Переселенков в примечании на стр. 220 говорит, что когда он обратился с вопросом о Бартеневе к одному близкому к последнему лицу, то это лицо «категорически ответило мне отрицательно». Мы не придаем значения этому отрицанию: совершенно естественно, что Бартенев, умерший еще при старом режиме, весьма тщательно скрывал свое ближайшее участие в обнародовании «Записок» Екатерины.
[30] т. е. Бейдеман.
[31] Герцен, т. XVIII, стр. 171.
[32] П. Е. Щеголев, Таинственный узник, П., 1920 г., стр. 44.
[33] Герцен, т. XI, стр. 29—30.
[34] «Заря», 1869 г., № 3.
[35] Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, 3-е изд., М., 1898 г., стр. 533—538.
[36] Там же, стр. 104—106.
[37] Герцен, т. XVI, стр. 278—279.
[38] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, стр. 248.
[39] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 116.
[40] Герцен, т. XIV, стр. 374.
[41] «Звенья», кн. III—IV, стр. 405.
[42] «Записки современника о 1861 г.» — «Красный Архив», 1926 г., кн. III (16), стр. 122.
[43] Б. Б. Глинский. Среди литераторов и ученых, СПб., 1914 г., стр. 67. Следует отметить факт сотрудничества В. Буренина в нелегальных изданиях: в № 2-м элпидинского журнала «Подпольное слово» (Женева, 1866) был напечатан его перевод сатирического стихотворения Огюста Барбье на события 1830 г. во Франции «La curée», под заглавием «На добычу»; то же стихотворение под заглавием «Собачий пир» в более резком переводе В. Г. Бенедиктова было напечатано в сборнике «Русская потаенная литература», стр. 350—354.
[44] Известный немецкий издатель.
[45] Герцен, т. IX, стр. 226.
[46] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, стр. 366, 386, 509.
[47] «Каталог русской библиотеки М. Элпидина», Женева, 1889 г.; В. Бурцев, За сто лет, т. II, стр. 69.
[48] Герцен, т. XIX, стр. 273—274.
[49] Там же, стр. 311.
[50] Герцен, т. XXII, стр. 128.
[51] Герцен, т. XIV, стр. 615.
[52] Ошибка, вместо: афинский.
[53] Герцен, т. XI, стр. 240.
[54] В настоящее время можно считать установленным, что автором письма был все-таки Долгоруков.
[55] Герцен, т. XVIII, стр. 16; т. XIX, стр. 194.
[56] Герцен, т. XX, стр. 203, 205, 245, 262.
[57] «Минувшие Годы», 1908 г., кн. I, стр. 291. О принадлежности статьи о Критских Ефремову говорит и Лемке в «Былом», 1906 г., кн. VI, стр. 41.
[58] Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма, т. II, 1923 г., стр. 120.

59 См. Некрасов, Полное собрание стихотворений, под ред. Корнея Чуковского, 1927 г., стр. 442, 565.

60 «Исторический Вестник», 1890 г., кн. IV, стр. 113—115.

61 О «Шарманке» см. еще: В. Евгеньев, Николай Алексеевич Некрасов, М., 1914 г., стр. 216—220. Евгеньев-Максимов, раньше склонявшийся к тому, что бы считать «Шарманку» некрасовской вещью, позже стал приписывать ее Зотову («Звенья», кн. III—IV, стр. 662).

62 «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 7.

63 «Вестник Европы», 1913 г., кн. III, стр. 13.

64 «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 9.

65 Там же, стр. 12.

66 Герцен, т. XVI, стр. 150, 202.

67 Н. И. Утин и другие.

68 Герцен, т. XIV, стр. 404.

69 т. е. были отвергнуты Герценом и Огаревым.

70 «Голос Минувшего», 1918 г., кн. VII—IX, стр. 175. Следует помнить, что это писалось, до возникновения «Колокола».

71 Сообщено нам Б. П. Козьминым.

72 Статья «Письмо к издателю». Перепечатана: П. Л. Лавров, «Избранные сочинения на социально-политические темы», изд. Политкаторжан, М., 1934 г., стр. 108—117.

73 О Лафит де ля Пельпоре см. Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX siècle; «Парижские письма протоиерея Иосифа Васильевича Васильева к обер-прокурорам святейшего синода и другим лицам с 1846 по 1867 год», П., 1915 г., стр. 147—148.

74 Московский генерал-губернатор.

75 «Вольное Слово», 1883 г., № 58.

76 Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, стр. 159—160, 171.

77 Младший Станкевич, т. е. Александр Владимирович.

78 Герцен, т. XV, стр. 473.

79 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», стр. 151.

80 Сообщение Б. П. Козьмина, основанное на архивных данных.

81 «Вестник Европы», 1911 г., кн. III, стр. 13.

82 «Звенья», кн. III—IV, стр. 405.

83 «Kolokol», № 14—15. Герцен, т. XXI, стр. 206.

84 Капп Фридрих — немецкий эмигрант, переселившийся в Америку и оттуда поддерживавший переписку с Герценом.

85 т. е. кричали «виват!»

86 Герцен, т. XVII, стр. 69—70.

87 Герцен, т. XI, стр. 136.

88 В. Евгеньев, Николай Алексеевич Некрасов, М., 1914 г., стр. 218.

89 т. е. все номера «Колокола», начиная с № 197, когда газета стала выходить в Женеве.

90 Авторство Николадзе устанавливается в известной официальной работе: Н. Н. Голицын, История социального движения в России. 1861—1881. Глава десятая, СПб., 1887 г. (в продажу не поступала).

91 «Заря», 1871 г., июнь, стр. 27.

92 «Красный Архив», 1928 г., т. 6 (31), стр. 226.

93 Издана отдельной брошюрой «Вольной русской типографией» в 1861 г.

94 «Русский Вестник», 1889 г., кн. V, стр. 283.

95 «Русская Старина», 1902 г., кн. V, стр. 319—321.

96 «Русская Старина», 1902 г., кн. V, стр. 326—327.

97 Ф. А. П-в. Из воспоминаний 1859—1861 годов. — «Исторический Вестник», 1907 г., XI, стр. 479.

98 «Записки современника о 1861 годе», — «Красный Архив», 1926 г., 3 (16). — «Русский биографический словарь».

99 О Печерине см. М. Гершензон, Жизнь В. С. Печерина, М., 1910 г.

100 Герцен, т. VIII, стр. 228—229. В 1850 г. началась тяжелая семейная драма Герцена.

101 Условное имя Пикулина.

102 «Красный Архив», т. 3, 1923 г., стр. 79.

103 «Красный Архив», 1929 г., т. 4 (35), стр. 179.

104 Герцен, т. XVII, стр. 383.

105 Герцен, т. VII, стр. 292.

106 Герцен, т. XVII, стр. 54.

107 «Вольное Слово», 1883 г., № 59, стр. 11—12.

108 Герцен, т. XI, стр. 136, 314.

109 Герцен, т. XI, стр. 136; XVI, 37, 255—256.

110 Герцен, т. XI, стр. 54.

111 Там же, стр. 30.

[112] Там же, стр. 356—357.

[113] Герцен писал, что его мать была «знаменитая Витгенштейн» (Герцен, т. XIX, стр. 187). Утверждение это неправильно. Мать Н. П. Трубецкого была Баранова. Имя и отчество её в родословных кн. Трубецких не указано.

[114] Герцен, т. XIV, стр. 378—379.

[115] После этого Герцен в своих изданиях («Колокол» и «Под суд!») еще не раз возвращался к делу Кочубея. Его разоблачения вызвали большую сенсацию.

[116] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», стр. 119.

[117] Свидание в Варшаве Александра II с австрийским императором и прусским принцем-регентом.

[118] Сборник «И. С. Тургенев», изд. Института литературы и искусства, Л., 1934 г.

[119] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, стр. 262.

[120] Чичерин говорит о себе и Кавелине.

[121] т. е. при посылке ему своей рукописи.

[122] Воспоминания Б. Н. Чичерина, Москва сороковых годов, М., 1929 г., стр. 172.

[123] Там же, стр. 161, 163.

[124] Там же, стр. 159.

[125] Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, стр. 163—164.

[126] Герцен, т. VI, стр. 427—432, 466, 523, 532—533.

[127] Например: «Повторяю, если вы не признаете в себе редакторского таланта, то вызовите, стоит только клич кликнуть!» («Голос Минувшего», 1913 г., кн. V, стр. 235).

[128] Герцен, т. XXI, стр. 309, 318. Некоторые сведения о Шевелеве имеются в био-библиографическом словаре революционных деятелей Шилова и Карнауховой.

[129] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, 1923 г., стр. 33.

[130] Послание Пушкина «В Сибирь» и «Гражданин» Рылеева.

ГЕРЦЕН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Обзор Н. Анциферова

Все сохранившиеся художественные изображения Герцена можно разбить на две группы. Первая группа охватывает портреты 30-х и 40-х гг., вторая группа — портреты 50-х и 60-х гг. Первый период сравнительно богат, — и количественно и качественно. За второй же период мы имеем всего лишь один портрет, дошедший до нас, если не считать зарисовки Герцена в гробу и скульптурного изображения на могильном памятнике. За эти годы внешность Герцена запечатлена почти исключительно на фотографических снимках.

Отличительная особенность портретов 30-х и 40-х гг. — разнообразие лица Герцена. Эта изменчивость может быть объяснена как особенностями художников, его изображавших, так и свойствами меняющегося облика самого Герцена. Некоторые из этих портретов так отличны один от другого, что трудно в них уловить черты сходства.

В портретах 50-х гг. мы всюду встречаем сочетание знакомых черт вполне установившегося облика Герцена. Объясняется это отчасти и тем, что обилие сохранившихся фотографических снимков определило, в основном, индивидуальность лица Герцена и создавало известную апперцепцию у художников, бравшихся за кисть или резец, чтобы запечатлеть его образ.

До нас не дошло изображений Герцена поры его детских и отроческих лет. Нет портретов и периода ранней юности. Надо думать, что они существовали, так как трудно предположить, что Иван Алексеевич Яковлев, страстно любивший своего сына, не заказал, хотя бы крепостным художникам, его портрета. Однако, даже упоминания о том, что имелись такие ранние воспроизведения Герцена, найти не удалось. В своем письме к Н. А. Захарьиной от 25 декабря 1835 г. Герцен сообщал: «Мой портрет у тебя будет; Витберг снимет с меня для папеньки (заметь, что великий человек нарисует *почти* первый мой портрет), но я уже просил, чтобы тебе доставили хорошую копию»[1].

Интересно это подчеркнутое самим Герценом «*почти*». Очевидно, что до витберговских зарисовок существовали какие-то более ранние его изображения, которые сам Герцен мало ценил, иначе он не назвал бы работу Витберга *почти* первым своим портретом. До 1835 г. имеется лишь один достоверный портрет Герцена. На него, очевидно, и намекает Герцен в цитированном выше письме. Это портрет работы А. А. Збруева. На обратной его стороне сохранилась надпись: «Портрет подарен 24 ноября 1834 г. А. И. Герценом матери моей Ек. Ив. Пассек — Богдан Пассек», и далее: «На память сыну моему Василию Б. Пассек, 30 марта 1879 года». А на фотографическом снимке с этого портрета, на обратной его стороне, пером сделана надпись: «А. И. Герцен, 22 лет, род. 1812 в Москве † 1870 г. в Париже. Снимок с портрета, рисованного в Москве академиком Збруевым в начале 1834 года. Сходство поразительное. В. Пассек»[2] (воспроизведен в «Литературном Наследстве», №№ 39—40, стр. 33—34; при описании дальнейших портретов Герцена, указываем в скобках только страницы этой книги).

Здесь Пассеком допущена ошибка. Среди академиков не было художника по имени Збруев. Видимо, академиком он назвал художника, окончившего Академию в 1824 г., преимущественно гравера — А. А. Збруева. Однако этот художник умер

в Москве от холеры в 1832 г.[3] Таким образом, датировку портрета придется изменить и допустить, что перед нами изображение двадцатилетнего Герцена.

Интересная для нас оценка — «сходство поразительное» не есть непосредственное впечатление автора надписи. Очевидно, это передача слов его отца, Богдана Васильевича. Несколько удивляет и дата, приведенная в первой надписи: 24 ноября 1834 г. В это время Герцен сидел в казематах Крутицких казарм. Казалось бы, что это обстоятельство совершенно подрывает доверие к свидетельству Б. В. Пассека. Однако, именно эта дата служит косвенным подтверждением правильности этого свидетельства. Дело в том, что 23 ноября было разрешено крутицкому узнику свидание с его родными, в связи с его именинами. Герцена посетила его мать Луиза Ивановна и брат Егор Иванович. По всей вероятности, во время свидания Александр Иванович просил передать свой портрет матери дружеской семьи Пассек, с которой у него незадолго перед арестом была долгая беседа. Этот портрет и был передан Екатерине Ивановне на следующий день — 24 ноября. Впоследствии семья Пассек рассталась с этим портретом. В 1925 г. это наиболее раннее изображение Герцена было приобретено от Опочкиных Музеем Революции в Москве, где он и находится в настоящее время.

Портрет работы А. А. Збруева написан масляными красками на холсте. Размер его 21×25 см. На темном ровном фоне, слегка высветленном с левой стороны, выступает выразительное лицо молодого человека с большими, полными мысли глазами и четко очерченным ртом, на котором едва заметна сдержанная улыбка. Тени вокруг рта придают ему особую живость. Слегка приплюснутый нос напоминает здесь своей формой нос на портретах Герцена последнего периода. Недлинные волосы над лбом отброшены набок без пробора, а по сторонам зачесаны на лоб и виски. Узкая полоска поднятого воротничка белеет над высоким воротом сюртука и высоко повязанным галстуком. Надо думать, что Герцен не очень дорожил этим портретом, иначе, не имея другого, он не подарил бы его, готовясь к разлуке со своими родными и в особенности с Натальей Александровной Захарьиной.

«Почти первый» портрет Герцена, как известно, принадлежит А. Л. Витбергу, мастерству которого мы обязаны двумя его замечательными изображениями. Оба эти портрета представляют для нас исключительный интерес не только потому, что они принадлежали великому художнику, которого сам Герцен считал гениальным, — здесь мы видим портреты, написанные любящей рукой художника-друга, близкого по духу тому, кого он изображал. Конечно, только А. Л. Витберг мог *так* передать внутренний облик вятского ссыльного. Конгениальность художника и изображаемого им человека встречается не часто. Вот почему из всей серии портретов работы А. Л. Витберга его зарисовки Герцена, быть может, самые значительные.

Первое упоминание о портрете заключалось в недошедшем до нас письме Герцена к своей матери. 12 декабря 1835 г. Н. А. Захарьина сообщает своему двоюродному брату: «Маменька пишет, что ты посылаешь свой портрет. Жду его с нетерпением». В своем письме от 22 декабря Герцен обещает Н. А. Захарьиной, что у нее будет копия с того портрета, который он посылает отцу. В письме от 2 января 1836 г. Н. А. Захарьина, в свою очередь, обещает Александру Ивановичу свой портрет, также называя его «почти первым»: «потому что еще я питалась грудным молоком, когда снимали с меня портрет у папеньки». Когда портрет был получен в Москве и Наталья Александровна увидела его, она написала со свойственной ей экзальтацией в Вятку (29 января): «Я видала твой портрет. О, в эту минуту я бы расцеловала ту руку, которая изобразила так похоже твое лицо и его выражение. А если бы видела его, на коленях упросила бы списать для меня»[4]. На это письмо Герцен отвечал 12 февраля: «Понимаю, очень понимаю твои чувства при взгляде на мой портрет. *Как же ему и быть не похожим? Витберг смотрел не на одно лицо, он смотрел и на душу, он знает ее и потому мой портрет оживлен*»[5]. Это свидетельство Герцена очень интересно для иконографической оценки работы Витберга. В нем он высказывает совершенно правильную мысль о ценности этого полного понимания художником того, кого он изображает. Однако, полное удовлетворение портретом Витберга как самого Герцена, так и лю-

бящей его девушки еще не может служить полноценным доказательством иконографического сходства. И Александр Иванович и Наталья Александровна оценили в портрете прежде всего передачу того вдохновенного романтизма, который ими обоими в этот период их духовного роста утверждался как высшая ценность. Совершенно справедливо В. Л. Снегирев подчеркивает близость А. Л. Витберга к другому портретисту-романтику первой четверти XIX в. — Кипренскому [6]. Но, конечно, романтизм начала века значительно отличался от романтизма 30-х годов, затронутого идеями социализма в их ранней утопической форме, одним из наиболее ярких выразителей которого и был молодой Герцен. И содержание его образа значительно отличается как от персонажей Кипренского, так и от других персонажей самого А. Л. Витберга. К сожалению, нам не удалось установить, где находится этот первый из двух портретов работы Витберга. В Музее Института литературы Академии Наук СССР имеется фотографический снимок с этого портрета, подаренный Пушкинскому Дому Б. Л. Модзалевским. По мнению Л. Б. Модзалевского, этот снимок хранился у Ф. А. Витберга (сына художника).

Портрет этот сделан итальянским карандашом. Широкими штрихами положены тени, тонкой линией выведены основные контуры. Молодой Герцен представлен в профиль. Легкая улыбка оживляет тонкое, ясное лицо. Длинные волосы с вершины лба отброшены назад, по бокам зачесаны на виски. Нос прямой — его линия едва передана на снимке. Высокий галстук приподнимает мягкий воротничок, намеченный узкой полоской. На рисунке подпись художника и дата: «1835». Виднеется и надпись: «Вятка» (стр. 77).

Еще интереснее второй (по времени) портрет работы Витберга (стр. 85). 29 сентября 1836 г. Герцен писал Наталье Александровне: «Решено: у тебя будет превосходный портрет. Я хотел доставить к твоему рождению, но это вряд возможно ли, ибо сегодня только Алекс[андра] Лавр[ентьевича] я упросил, а тяжелая почта ходит 14 дней» [7]. Таким образом, можно установить, что этот второй портрет начат Витбергом не ранее 29 сентября. Из письма Герцена от 10 октября мы узнаем, что к этому времени портрет уже был окончен: «Наташа! Прежде нежели ты получишь это письмо, у тебя (ежели отдадут) будет мой портрет — мой подарок в день твоего рождения. Сходство разительное; там все видно на лице — и моя душа, и мой характер, и моя любовь. Кроме Витберга, кто мог бы это сделать? Витберг рисовал именно для тебя... Я воображаю твою радость, твои слезы, я радовался, что черты моего лица выражают столько жизни и восторга, ибо это — черты избранного тобою, таковы они должны быть. Это Александр Наташин» [8]. В этих словах отражается именно тот юноша, который изображен на портрете. 11 октября Герцен приписал к письму: «Заметь, мой ангел, что я на портрете в самом том костюме, в котором был 9-го апреля 1834 г. Этот костюм для меня священен, ибо этот день счастливейший в моей жизни» [9]. Герцен имеет в виду свидание с Натальей Александровной в Крутицких казармах. В 12-й главе «Былого и дум» он спустя много лет писал об этом дне: «Долго я святил этот день в моей памяти, это — одно из счастливейших мгновений в моей жизни» [10].

Сопоставляя портреты Герцена работы Витберга с портретом кисти Збруева, мы должны сделать вывод, что в раннем портрете дан более привычный облик Герцена, с его пылким умом и едкой насмешкой, — Герцен изображен более доступным окружающим его. В семье Пассека, как мы видели, этот портрет считался поразительно сходным с оригиналом. Витберг дает более углубленную характеристику, подчеркивая то значительное, что он любил и ценил в своем молодом друге, то, что знал в себе и сам Герцен, знала и его невеста.

Этот лучший портрет молодого Герцена нарисован итальянским карандашом. Размер его 32.6×24 см. Хранится он в Третьяковской галерее, которая приобрела его от С. К. Говорова в 1905 г. В отличие от первого рисунка, Витберг отступает здесь от строгой линии профиля и дает лицу Герцена легкий поворот, благодаря чему полнее определяется форма высокого, выпуклого лба и чуть намечается правый глаз. Однако, из-за этого поворота ослабляется впечатление от строгой линии носа, особенность которого отмечается здесь небольшой тенью на его конце.

Волнистые волосы, как и на первых портретах, зачесаны на виски и откинуты со лба, но здесь прическа более свободная. Свободным узлом повязанный галстук поддерживает отложной широкий воротник. Несколькими штрихами намечен бешмет с чуть приподнятым у плеча рукавом и меховой оторочкой. Широко раскрытые, пристальные и, вместе с тем, такие лучистые глаза, изящно очерченный рот придают всему облику молодого Герцена особую выразительность.

К последующему, владимирскому, периоду жизни Герцена — к периоду, о котором Герцен всегда вспоминал как о лучшей поре своей жизни, относится портрет маслом работы неизвестного художника (стр. 93). Этот портрет достался племяннице Н. А. Герцен — О. П. Захарьиной от ее дяди, Алексея Александровича Яковлева, которого Герцен в «Былом и думах» называет «химиком». В семье Захарьиных этот портрет считался как изображением Александра Алексеевича Яковлева («старшего братца» «Былого и дум»), умершего в 1825 г. Ни эпоха, ни стиль, ни характер лица, здесь изображенного, не позволяют в этом «яковлевском портрете» видеть того самодура, который был в начале XIX в. обер-прокурором Синода. Внимательное сопоставление облика молодого человека с младенцем на руках, изображенного на этом портрете, с портретами работы Витберга дает полное основание утверждать, что перед нами — затерявшийся портрет Герцена. Портрет имеет овальную форму, как родовые портреты Яковлевых. На ровном теплом коричневом фоне изображен молодой человек с темносерыми глазами, с лицом, полным одухотворенности. Одет он, как и Герцен на портрете Витберга, в бешмет. Молодой человек нежно прижимает к себе грудного младенца, написанного художником в несколько другой манере и недоконченного им. Подобное изображение мужчины с младенцем на руках, едва умеющим держать голову, — в ту эпоху явление совершенно исключительное. Летом 1839 г. во Владимире у Герцена родился его первенец — Александр. Записи в дневнике, письма, последующие страницы «Былого и дум», посвященные этому событию, говорят о той силе отеческих чувств Герцена, которые делают понятным этот столь непривычный для эпохи сюжет. По силе раскрытия внутреннего содержания изображенного лица этот портрет может быть сопоставлен с витберговским портретом Герцена. То обстоятельство, что в семье Захарьиных затерялись следы этого портрета, вполне может быть объяснено тем, что старый холостяк, одинокий старик Алексей Александрович Яковлев, скрывал от всех, что в его квартире висит портрет такого крамольника, как Искандер.

В Новгороде в первой половине 1842 г. художником К. Я. Рейхелем сделаны две зарисовки Герцена — одна в фас, другая в профиль. Это скорее наброски карандашом, чем законченные портреты. На профильном изображении намечена лишь линия силуэта лица. Бровь, глаз, губы едва прочерчены. Волосы прямыми прядями спускаются вниз, не закрывая шеи. Линии карандаша тонки и легки. В трактовке одежды — больше небрежности. Зарисованы только грудь и верхняя часть спины. Фон слегка заштрихован (спереди — несколькими штрихами, сзади положены более густые тени). Высокий лоб, нос слегка приплюснутый книзу. Плотно сжаты губы небольшого рта. Маленькие пушистые баки. Во всем этом немного специфически «герценовского», как и в выражении лица — спокойном, немного вялом. И все же в этом наброске нельзя не признать Герцена новгородского периода. На рисунке несколько наискось надпись: «К. Рейхель. 1842». Буква «К» похожа здесь на «А». Внизу в две строки приписка: «Оригинал принадлежит барону Карлу Карловичу Тизенгайзену»[11] (стр. 121).

Портрет в фас (стр. 101) сделан несколько в другой манере. Лицо тщательнее проработано. Тени положены не ясно видимыми отдельными штрихами, а легкими пятнами, и делают лицо более худощавым. Неприглаженные волосы свободными прядями ложатся вокруг овала лица. Они зачернены густо положенными штрихами; из-за чуть закинутой головы лицо передано небольшим ракурсом. Широко раскрытый отложной воротник обнажает тонкую шею. Тени на воротнике положены несколькими штрихами, но жилет и широко раскрытый сюртук мелко и густо заштрихованы, местами в сетку. Портрет поясной. Левая рука приподнята и положена на тумбочку. Кисть руки, с едва вырисовывающимися пальцами, под острым углом спускается вниз.



Н. А. ГЕРЦЕН С СЫНОМ НИКОЛАЕМ
Миниатюра неизвестного художника
Институт литературы, Ленинград

Эта рука придает изящную небрежность позе. Фон отмечен только тенями возле рук. На тумбочке надпись: «Новгород. К. Рейхель, 1842 г.»[12]. В этом изображении, в отличие от профильного, ярко переданы герценовские черты: живой, смелый и умный взгляд пристальных, широко открытых глаз и выразительные губы[13]. О художнике К. А. Рейхеле можно сказать немногое. Он родился в Польше в 1797 г. Его отец, археолог и нумизмат, переселился в Россию, когда мальчику исполнилось пять лет. К. А. Рейхель в качестве военного инженера строил мост через Волхов (в 1831 г.). После окончания стройки он выходит в отставку и поселяется в Новгороде, где с ним в начале 1841 г. знакомится семья ссыльного Герцена.

28 ноября этого же года Наталья Александровна писала во Владимир Ю. Ф. Куруте в связи со своим новым знакомством с семьей Филипповичей: «Одна эта встреча выкупает для меня много новгородского холода и пустоты, а потом сосед наш, Рейхель — неоцененный человек — художник, юноша в 50 лет, неограниченной доброты, путешествовавший лет двадцать и неистощимый в рассказах, с большим образованием и познаниями; он посещает нас почти ежедневно и для бедного Александра это истинный клад»[14]. Обе семьи близко сошлись. В своем дневнике от 26 апреля 1842 г. Герцен записал: «Крестил у Рейхеля»[15]. Видимо, вслед за Герценом переехал в Москву и Рейхель. Во всяком случае, в декабре 1843 г. он находился в Москве. Накануне нового года Герцен писал в Петербург Кетчеру: «Рейхель сделал Грановск[ого] портрет, поразительно похожий»[16]. На зарисовку же самого Герцена ни в переписке, ни в дневниках не удалось найти никаких откликов. Судя по отзыву о портрете Грановского, Герцен ценил Рейхеля как художника; вероятно, и своими изображениями он остался доволен.

Не только с самим Герценом, но и со всем его кругом был связан художник Кирилл Антонович Горбунов[17]. В своих «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненков отмечает этого художника как «постоянного посетителя Соколова». Тут же мемуарист «замечательного десятилетия» сообщает, что Горбунов «сделал литографированную коллекцию портретов со всего кружка»[18].

О литографии, сделанной с самого Герцена, упоминается в его письме к А. А. Краевскому от 23 декабря 1845 г.: «Позвольте Вам поднесть экземпляр моего портрета, который я напишу Горбунову, чтоб доставил Вам»[19]. Очевидно, здесь имеется в виду литография, так как Герцен не был настолько близок с Краевским, чтобы подарить ему один из уникальных портретов. Когда же была создана эта литография? По всей вероятности, зарисовка для нее была сделана в Соколове летом 1845 г. К этому же времени относится шуточный рисунок Горбунова, изображающий дружескую попойку в павильоне соколовского парка «Пандевуй» (Point de vue)[20]. Этот набросок достался одному из участников пирушки — П. В. Анненкову. «Я сохраняю еще карикатурный листок, сделанный карандашом и изображающий: Герцена, Грановского, Корша, Панаева, мою особу и др. в ночной беседке»[21]. Среди не названных здесь лиц на рисунке К. Горбунова изображен Рейхель — повидимому, тот самый художник К. Рейхель, о работах которого было сказано выше. Герцена художник изобразил в клетчатой блузе и шапочке, склонившимся над Панаевым.

Из литографий, сделанных Горбуновым за лето 1845 г., сохранились литографии с изображениями Герцена, Грановского, Корша, Кетчера, Белинского и Щепкина, и, наконец, уцелела замечательная акварель с изображением Натальи Александровны, написанная раньше. Все эти работы очень удачны. Наименее похож на другие свои изображения сам Герцен. Но возможно, что его облик в этот период его жизни передан вполне верно; по крайней мере, можно предполагать, что сам Герцен был доволен этим портретом. Он очень ценил работы Горбунова. Одна из этих литографий сохранилась с его дарственной надписью жене Кетчера, Серафиме Николаевне (стр. 137). На этом портрете Герцен изображен en trois quarts. Гладко зачесаны на пробор недлинные волосы. Бакенбарды спустились до подбородка, над губой слегка темнеют чуть заметные усы. Длинные и густые брови. Короткий, слегка приплюснутый нос. Чуть обозначился двойной подбородок. Совершенно необычный на портретах Герцена рот с нижней губой, несколько втянутой. Высокий, выпуклый лоб и большие внимательные глаза оживлены упорной мыслью. Темный галстук,

широко открытый сюртук завершают это поясное изображение Герцена. Здесь он представлен в расцвете своей молодой тогда еще славы. С Горбуновым Герцен, видимо, сблизился и лично. В его переписке с А. А. Краевским встречаются постоянные упоминания о Горбунове (правда, в деловом плане). Работы этого художника он выписывал через М. К. Рейхель [22]. Литографию Грановского привозил ему в Лондон А. Станкевич [23].

Последующее изображение Герцена — также литография, но сделанная уже не с рисунка, как горбуновская, а с фотографии, относящаяся к 1847 г., работы Ноэля, на которой мы видим автора писем с Avenue Marigny, с бородкой и коротко остриженными волосами (стр. 197). Сделана литография в Париже. О последующих изображениях Герцена известно очень мало. Скульптор Филипп Грасс, который в августе 1858 г. делал медальон с изображением старшей дочери его, Натальи Александровны (Таты) [24], в сентябре был занят работой над бюстом Герцена. «Грасс также привык к дому как Шарик. Детский медальон не готов; мой бюст он проделает года два...» [25]. Этот бюст выполнен по заказу Трюбнера. По крайней мере, в письме к М. К. Рейхель от 18 сентября 1858 г. [26] Герцен сообщает: «Трюбнер делает мой бюст; вот сходство-то! стыдно смотреть — так и хочется поднести абсента с содовой водой. Как только будет готов, я вам пришлю редукцию (как Пушкин), — действительно capo d'opera *; делает рейнский скульптор Грасс et grâce lui soit rendu» **. Из этих слов можно заключить, что Герцен в бюсте усматривал большое сходство. Однако, в этом изображении художник придал облику Герцена черты, которые дали повод к его шутке. Заказчик работы — издатель и распространитель лондонских изданий Герцена, Никола Трюбнер, повидимому, имел в виду, приглашая скульптора делать бюст, распространить (быть может в виде гравюры) этот портрет «лондонского агитатора» в России. По крайней мере, В. А. Кельсиев в своей «Исповеди» записал, что Трюбнер «собирался (и даже совета спрашивал), не будет ли полезно гравировать его [Трюбнера] портрет для распространения в России», — настолько этот предприимчивый коммерсант верил в свою популярность в России; распространение же портрета Герцена, естественно, входило в его расчеты. Однако, изображения этого бюста не сохранилось. Видимо, запечатленный в нем образ Герцена не удовлетворял заказчика, а в конечном счете и самого Герцена. Правда, в письме к сыну от 10 ноября того же года он сообщает: «Наконец Грасс отлил мой бюст 8-го ноября, стало, он проработал больше двух с половиной месяц[ев]. Бюст очень удачен» [27]. Но из дальнейшего мы увидим, что бюст все же не был принят в том виде, как его сделал скульптор. В июне 1860 г. Герцен писал дочери: «Грасс совсем испортил мой бюст: он его поправлял потом» [28]. Где в настоящее время находится этот capo d'opera рейнского скульптора, неизвестно, и мы лишены возможности создать о нем какое-либо представление.

Также не дошло до нас и следующее изображение Герцена, принадлежащее кисти художницы О'Коннель. 21 июня 1862 г. Герцен писал из Orset House к Н. А. Огаревой: «M-me О'Коннель — замечательный талант. Если бы она могла Тате передать свою деятельность... Она толстая à la Tatiana Petrovna [Т. П. Пассек] дама лет 40, и жива и работает 10 часов в день. Вчера был первый сеанс, от ½ 9-го до 12, сегодня — второй и еще два. Когда я вчера взошел, она едва выслушала два слова и отвечала: «Je suis très heureuse de faire votre portrait — veuillez vous asseoir — un peu à droite — c'est celà — commençons» ***. С последним ударом кисти она говорит: «Vous êtes libre» **** — и идет. Рисует со смелостью страшной» [29].

О судьбе этого портрета ничего не известно.

Наиболее прославленным изображением Герцена является портрет работы Н. Н. Ге (стр. 3). Сам художник в своих воспоминаниях писал: «Перед отъездом в Пе-

* Шедевр

** И милость воздастся ему. Игра слов: фамилия художника — Грасс, милость — grace.

*** Я очень счастлива сделать ваш портрет — будьте добры, садитесь чуточку правее — вот так — начинаем.

**** Вы свободны.

тербург приехала во Флоренцию М-llе Мейзенбуг с детьми, двумя дочерьми Герцена, Я пошел познакомиться и предложить свои услуги. Они меня обрадовали тем, что сказали, что отец приедет во Флоренцию, но я не мог дождаться — я должен был ехать в Петербург»[30]. Это воспоминание относится к первым числам января 1863 г. Быть может, радость Н. Н. Ге, пережитая им при известии о приезде Герцена, объясняется не только интересом к исключительной личности, но и возникшим уже тогда желанием художника запечатлеть образ замечательного современника. Герцен получил извещение от дочери о состоявшемся интересном знакомстве. В письме от 10 января он пишет старшей дочери[31]: «Ателье незнакомого Ге разумеется не надо принимать — gai ou triste — mais il faut le connaitre» *.

Знакомство Герцена с Н. Н. Ге состоялось лишь через несколько лет, когда он приезжал из Ниццы во Флоренцию повидаться с детьми. В письме от 7 февраля 1867 г. Александр Иванович сообщает Огареву: «Ге приходил с требованием делать мой портрет «для потомства». Делает он удивительно (пока об этом с посторонними не говори). Завтра начнем, и Тата начала»[32]. Действительно, 8 февраля художник приступил к работе, столь заинтересовавшей его. 9 февраля Герцен писал Н. А. Огаревой: «Известный живописец Ге просил дозволить снять мой портрет «для потомства», как он говорит. Это художник первоклассный, я не должен был отказать. Вчера он начал. Это задержит до 17-го — 18-го; тогда поеду в Венецию»[33]. В письме к Огареву 13 февраля Герцен пишет: «Портрет идет Rembrandtisch»[34]. 16 февраля Александр Иванович подарил Ге экземпляр «Былого и дум» с надписью: «Посылаю вам в знак глубокой благодарности мой экземпляр «Былого и дум», в знак дружественного сочувствия». Работа шла успешно, и Ге закончил портрет до намеченного срока. Уже 17 февраля Герцен уехал в Венецию, сообщив своему другу Огареву «Портрет Ге — chef d'oeuvre. Тата будет его копировать»[35]. Таким образом, этот замечательный портрет был написан между 8 и 17 февраля.

В воспоминаниях своих Ге сообщает интересные детали о написании им этого портрета Герцена. «Я ему тут же сказал: Александр Иванович, не для вас, не для себя, но для всех тех, кому Вы дороги, как человек, как писатель, дайте сеанс. Я напишу Ваш портрет. Он ответил, что готов — когда прикажете. И исполнил эти пять сеансов с немецкой аккуратностью». Как видно из этих слов, Герцен правильно передал мотивировку, сделанную художником для выполнения этой работы. Отсюда же мы узнаем интересную деталь — портрет был написан в пять сеансов. Далее Ге сообщает, с каким чувством он приступал к работе. «Наконец я приготовился к сеансу. Меня всегда начало тревожит. Я боюсь, чтобы что-нибудь не помешало, боюсь за свои силы»[36]. Ге работал с сознанием выполнения какой-то особой миссии. Он уже раньше был знаком с обликом Герцена по фотографическим карточкам. Одну из них доставил ему их общий приятель по просьбе самого Александра Ивановича, очень ценившего талант Ге (во время сеанса, вспоминал Ге, Герцен внимательно осматривал его картины). Впечатление при встрече было новое, полное, живое. В художнике возникло желание восполнить ущербность фотографических изображений и запечатлеть для потомства образ Герцена.

В связи со своей работой над портретом Герцена, художник вспоминал и его внешность. «Небольшого роста, полный, плотный, с прекрасной головою, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью закинутые назад без пробора; живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век, нос широкий, русский, как он сам назвал, с двумя резкими чертами по бокам; рот, скрытый усами и короткой бородой; голос русский, энергичный; речь блестящая, полная остроумия. Я онемел от радости, впиваясь в него глазами и долго не мог освоиться»[37].

Редко удается сопоставить словесную характеристику образа человека, сделанную художником, с изображением его на портрете работы того же мастера. Насколько в данном случае совпадает характеристика, сделанная художником, с характеристикой мемуариста? Образ, переданный кистью, гораздо глубже отразил Гер-

* Весело или печально, но с ним надо познакомиться. Игра слов: Ге — фамилия художника, gai — весело.

цена-мыслителя, предвидевшего великую грядущую грозу, но ощущавшего себя уже «старой почтовой клячей, затянувшейся в гоньбе, из хомута в хомут» [38].

Хорошо знавший Ге, а отчасти и Герцена, В. В. Стасов так оценивает его отношение к этой работе: «Не напиши во Флоренции в декабре 1866 г. Ге этого портрета, так навеки не осталось бы у нас, кроме одной-двух фотографий прежних годов, ни одного изображения одной из величайших в русской истории и литературе личностей в последние годы жизни этого человека. А Ге написал его с любовью, преданностью и верой; такие портреты не могут не удаваться». И в заключение В. В. Стасов добавляет: «Портрет Герцена лучший (даже по краскам) из всех портретов, написанных Н. Н. Ге во всю его жизнь, и один из совершеннейших портретов всей русской школы» [39].

Художник передал свою работу в 1878 г. П. И. Третьякову, и этот портрет и поныне находится в Третьяковской галерее. Написан он масляной краской на холсте. Размер его 78.8×62.6 см Портрет подписной. Дата — 1867. Вписан он в овал. Из темного фона выступает лицо Герцена. Длинные волосы, слегка поредевшие, кое-где с проседью, отброшены назад с высокого, выпуклого лба, на котором резко выделяется несколько морщин. Слегка сдвинутые брови определили две поперечные глубокие морщины на лбу; прямой нос слегка приплюснут. Такие же глубокие морщины у рта, прикрытого нависшими усами. Небольшая, также с проседью, борода прикрывает мягкий воротник на темном сюртуке, сливающемся с густым, теплым фоном — виднеется rembrandtisch цепочка. Портрет Ге темнокоричневыми теплыми тонами, игрою светотени и смелостью мазков, а главное — глубиной характеристики, действительно, несколько напоминает портреты Рембрандта. Черты лица Герцена отяжелели. Следы глубоко пережитого былого и страстно прочувствованных дум отражены и в скорбных, уже усталых глазах, и в отблесках мыслей, пробегающих, как рябь на поверхности воды, по высокому лбу. Нас не должно удивить восхищение Герцена этим портретом. Александр Иванович, как мы могли заметить, был в большей или меньшей степени доволен всеми своими изображениями. Но в этом портрете он не мог не увидеть отражения своего былого и своих дум. И ему страстно захотелось, чтобы тот же художник запечатлел образ спутника всей его жизни, Н. П. Огарева. «Вот ты что еще ему [Ге] скажи, что он бы меня страшно одолжил, сделавши портрет Огарева, когда будет в Женеве», — писал Герцен сыну 19 марта 1860 г. [40]. Однако и этой мечте его не суждено было осуществиться.

В приведенном здесь отрывке из письма Герцена упоминается о работе Натальи Александровны над его портретом. В первом случае сообщается, что «Тата начала» его портрет, во втором — что она будет копировать портрет работы Ге. Очевидно, имеются в виду два портрета. Самостоятельный портрет Натальи Александровны сохранялся у нее до самой смерти в 1936 г. Где он в настоящее время, не известно. Не известна и судьба ее копии портрета Ге. К сожалению, мы не имеем никакого изображения портрета, сделанного старшею и любимою дочерью Герцена, и лишены возможности что-нибудь сказать о нем.

Портрет работы Н. Н. Ге был последним прижизненным художественным изображением Герцена.

В Третьяковской галерее, в отделе рисунков, хранится набросок Н. Н. Ге, сделанный графическим карандашом, входивший в собрание И. С. Остроухова (стр. 239). По всей вероятности, этот рисунок сделан на основании литографии Ноэля. Художник, однако, внес в трактовку лица Герцена большую глубину. Оно смотрит печально и строго. Короткие волосы и ровно подстриженная борода Герцена на литографии Ноэля, сделаны у Ге более длинными и волнистыми. Трудно установить, в какое время и при каких обстоятельствах был сделан этот портрет, принадлежащий художнику, столь увлеченному личностью Герцена.

В заключение остановимся на двух посмертных изображениях Герцена, созданных художниками, видевшими его при жизни. Я имею в виду литографию с натуры Спринка «Герцен на смертном одре» и надгробный памятник скульптора Забелло.

Работа Спринка (стр. 557) сделана первоначально карандашом. На литографии ясно виден каждый штрих этого наброска. Зарисована голова усопшего, покоящаяся на

большой подушке, намеченной несколькими штрихами. Белая полоска мягкого отложного воротника и несколько шрихов, обозначающих складки сюртука, — все это едва намечено. На подушке подпись художника: Sprink. Сделана зарисовка 21 или 22 января 1870 г. Утром 23-го Герцен был временно похоронен в Париже на кладбище Père Lachaise. Прах его был перевезен в Ниццу на кладбище, которое находится на горе, расположенной на морском берегу. Надмогильный памятник сделан по проекту Н. П. Забелло [41]. Этому скульптору Герцен поручал составление проекта надмогильного памятника своей жене, Наталье Александровне [42], однако, сделанный им проект Герцен не одобрил [43]. С Забелло Герцен встретился во Флоренции в январе 1867 г. Между ними установились хорошие отношения. Герцен посылал ему впоследствии «Колокол» и «Полярную Звезду»; обращался также к его помощи для привлечения Н. Н. Ге к работе над портретом Огарева [44].

Скульптура Забелло из бронзы представляет Герцена во весь рост, в характерной позе — со скрещенными руками и слегка склоненной головой (стр. 561). В его фигуре переданы сосредоточенная мысль и скорбь. Лицо, несмотря на сходство, все же не отражает того богатства внутренней жизни, которое было свойственно Герцену. За памятником высятся кипарисы. Рядом могильные плиты Натальи Александровны и близнецов: Лели-boy и Лели-girl. Это уединенный уголок кладбища у каменной стены, за которой лежит парк «Шато». С одной стороны отроги Альп, с другой стороны за горой — море.

Об этом месте писал Герцен Огареву, в связи с мечтами о возвращении на родину: «Осиротеет тогда кладбище в Ницце, а я иногда смотрю с удовольствием на наши места и думаю: вот тут будет Огарев, тут я — все же замкнутая история и даже т о ч к а будет общая» [45].

Но и на этот раз мечта Герцена не осуществилась: могила Огарева далеко — в Гринвиче.

Художественных изображений Герцена до нас дошло немного, и мы не в праве обойти молчанием эту скульптуру, созданную человеком, его знавшим.

Не все охарактеризованные здесь портреты представляют для нас одинаковую ценность, не все они с достаточной полнотой отразили облик Герцена, и все же они все имеют для нас большое значение. Каждый из них так или иначе запечатлел определенный этап в истории облика одного из замечательнейших людей прошлого века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Г е р ц е н, т. I, стр. 212.

2 Хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина.

3 Указание на смерть А. А. Збруева в 1832 г. от холеры также сомнительно: холера была в Москве в 1831 г.

4 Г е р ц е н, Собрание сочинений, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 62.

5 Г е р ц е н, т. I, стр. 225.

6 С н е г и р е в В. Л., Архитектор А. Л. Витберг, М., 1939.

7 Г е р ц е н, т. I, стр. 331.

8 Т а м ж е, стр. 334.

9 Т а м ж е, стр. 336.

10 Г е р ц е н, т. XII, стр. 238.

11 Новгородский знакомый Герцена.

12 Несмотря на то, что на рисунках Рейхеля стоит его подпись, с указанием первой буквы имени: К[азимир], и М. К. Лемке (Герцен, т. II, стр. 469) и Н. М. Мендельсон («А. И. Герцен. Новые материалы», М. 1927, стр. 17) считают автором портретов Александра Казимировича Рейхеля, родившегося в 1824 г.

13 В рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина хранится копия с этого изображения, сделанная, видимо, самим художником. На ней дарственная надпись Кетчеру от Герцена. Здесь слегка изменен характер штриховки. На тумбочке нет подписи художника.

14 «Русская мысль», 1889, кн. VI, стр. 16—17.

15 Г е р ц е н, т. III, стр. 24.

16 Т а м ж е, стр. 294.

17 Вольноопределяющийся ученик Академии Художеств, окончивший ее в 1840 г. С 1851 г. — академик.

18 А н н е н к о в П. В., Литературные воспоминания, Л. 1928, стр. 418 сл.

[19] Герцен, т. V, стр. 390.
[20] Хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина.
[21] Анненков П. В. Цит. соч., стр. 419.
[22] Герцен, т. VII, стр. 183.
[23] Герцен, т. VIII, стр. 195.
[24] Герцен, т. IX, стр. 305.
[25] Там же, стр. 335.
[26] Там же, стр. 338.
[27] Там же, стр. 367.
[28] Герцен, т. X, стр. 364.
[29] Герцен, т. XV, стр. 220.
[30] «Северный Вестник», 1894, кн. III.
[31] Герцен, т. XVI, стр. 16.
[32] Герцен, т. XIX, стр. 205.
[33] Там же, стр. 205.
[34] Там же, стр. 213.
[35] Там же, стр. 215.
[36] «Северный Вестник», 1894, кн. III.
[37] Там же.
[38] Герцен, т. XV, стр. 242.
[39] Стасов В. В., Н. Н. Ге, М. 1904. Дата указана здесь ошибочно. Имеются сведения, что Н. Н. Ге сам сделал копию с этого портрета. Но когда и где он мог его копировать? Во всяком случае, установить местонахождение этой копии нам не удалось.
[40] Герцен, т. XVI, стр. 146.
[41] Род. в 1830 г. Ученик Академии Художеств. С 1869 г. — академик.
[42] Герцен, т. XVI, стр. 107.
[43] Там же, стр. 146.
[44] Герцен, т. XIX, стр. 247.
[45] Герцен, т. XIX, стр. 78.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕРЦЕНУ в 1934—1940 гг.

Обзор Б. Козьмина

В № 7—8 «Литературного Наследства» (1933 г.) покойный Н. М. Мендельсон поместил содержательный обзор «Судьба литературного наследства А. И. Герцена». В этом обзоре он, между прочим, перечислил все найденные и опубликованные после выхода в свет «Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена», под ред. М. К. Лемке, и потому не вошедшие в это издание произведения Герцена. В настоящей заметке мы перечислим герценовские тексты, найденные и опубликованные по напечатании статьи Мендельсона.

Из произведений Герцена, неизвестных ранее, появился в печати (в № 6 «Звеньев», 1936 г.) небольшой набросок «Толпа», написанный Герценом в 1833 г. или 1834 г. В форме диалога двух встретившихся на улице приятелей Герцен набрасывает мысли о толпе, погруженной в будничные, обывательские интересы, и о возможности пробудить эту толпу и воодушевить ее идеей общего блага. Набросок «Толпа» чрезвычайно характерен для романтического, «шиллеровского периода» жизни Герцена и для его настроений тех лет.

Помимо этой статьи, опубликован ряд неизвестных ранее писем Герцена.

В 1934 г. Н. М. Мендельсон опубликовал в № 15 «Литературного Наследства» небольшое письмо Герцена к Прудону от 21 ноября 1861 г. Этим коротеньким и написанным наспех письмом Герцен уведомлял Прудона о бегстве Бакунина из Сибири. Письмо оканчивается словами, характерными для тогдашнего политического настроения Герцена: «В России все идет хорошо. Мы полны надежд».

В № 3—4 «Звеньев» (1934 г.) опубликовано 14 писем Герцена (частью написанных совместно с Огаревым) к П. В. Анненкову. Большая часть этих писем относится к 1858 и 1860 годам и лишь одно к 1864 г. Письма эти представляют значительный интерес, как для истории герценовского «Колокола», так и для освещения взаимоотношений Герцена с Анненковым и Тургеневым. Особенно интересно в этом отношении письмо от 20 ноября 1860 г., устанавливающее, что известная статья Герцена «Лишние люди и желчевики», в которой он брал под защиту «лишних людей» и нападал на представителей русской революционно-демократической интеллигенции (в частности на круг «Современника»), была написана Герценом после и под влиянием разговора его на эту тему с Анненковым.

В 1935 г. Л. П. Гроссман опубликовал в своей книге «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского» (стр. 151) дошедший до нас маленький отрывок из письма Герцена к Достоевскому от 21 августа 1865 г.

В 1936 г. в № 6 «Звеньев» появилось еще несколько неизвестных ранее писем Герцена, а именно: 1) письмо от 1 января 1840 г. А. Ф. Каппелю с отзывом о «Reisebilder» Гейне, 2) письмо художнику А. А. Иванову от 4 декабря 1849 г., когда посетивший Иванова Герцен не застал его дома, 3) письмо М. П. Боткину от 5 марта 1859 г., знакомящее нас со взглядами Герцена на задачи искусства («чем кровнее, чем сильнее вживется художник в скорби и вопросы современности, тем сильнее они выразятся под его кистью»), 4) письмо к большой почитательнице Герцена Эмилии Рив от 19 марта 1859 г. с интересным отзывом о газете Владислава Мицкевича «L'Espérance», 5) письмо неизвестному адресату с биографическими сведениями об авторе письма, 6 и 7) два письма бельгийскому писателю и издателю

Альберу Лакруа (оба письма 1867 г.), которому Герцен предлагал издать на французском языке сборник его статей. Наконец, в том же номере «Звеньев» опубликовано вторично то письмо Герцена к Прудону, которое, как указано выше, было напечатано ранее в № 15 «Литературного Наследства».

В 1937 г. в «Известиях ВЦИК», № 83, было опубликовано, в переводе с французского, письмо Герцена к польскому эмигранту Кристину Островскому от 21 октября 1857 г. В этом письме Герцен отвечал Островскому на его вопрос, какие произведения польских писателей заслуживают, по его мнению, перевода на русский язык, и высказывал свое отношение к мистическо-мессианистическим идеям, пользовавшимся некоторым распространением среди польских эмигрантов.

Перечисленным и ограничиваются публикации новых текстов Герцена за последние годы.

В дополнение же к вышеуказанной статье Мендельсона укажем на письмо Герцена, которое было опубликовано после выхода Полного собрания сочинений Герцена, но осталось не известным Мендельсону. Это письмо написано Герценом совместно с Огаревым 5 октября 1860 г. и адресовано И. С. Аксакову. Оно опубликовано в 1928 г. в I вып. «Мурановского Сборника» по оригиналу, хранящемуся в архиве Ф. И. Тютчева в Муранове. Это письмо представляет значительный интерес для истории взаимоотношений Герцена с славянофилами.

В заключение укажем на письма к Герцену, опубликованные в 1934—1940 гг.

В № 15 «Литературного Наследства» напечатано неизвестное ранее письмо Прудона к Герцену от 11 апреля 1861 г., в котором, между прочим, упоминается о посещении Прудона Л. Н. Толстым и Н. А. Серно-Соловьевичем.

В № 6 «Звеньев» мы находим три письма Т. Н. Грановского к Герцену. Два из них, относящиеся к 1849 г., не являются полной новостью, так как еще в 1859 г. Герцен опубликовал их в V книжке «Полярной Звезды», но далеко не точно, ибо, печатая их, Герцен сделал в них ряд изъятий. В «Звеньях» эти письма воспроизводятся впервые в полном виде по оригиналам. Третье письмо Грановского, относящееся к 1851 г., появляется в печати впервые. Оно крайне интересно для истории разрыва, происшедшего между Герценом и его московскими друзьями. Познакомившись с изданной в 1851 г. на французском языке брошюрой Герцена «О развитии революционных идей в России», Грановский заявляет резкий протест против ее опубликования, полагая, что, опираясь на нее, русское правительство найдет повод для преследования упоминаемых в ней лиц.

В том же номере «Звеньев» опубликовано (стр. 396—397) письмо к Герцену известного деятеля польского восстания 1863 г. и Парижской Коммуны Ярослава Домбровского. В этом письме, написанном 20 сентября 1866 г., Домбровский рекомендовал эмигрировавшего из России бывшего офицера В. Озерова, принимавшего участие в организации побегов из России как самого Домбровского, так и его жены.

В настоящем обзоре мы отмечали лишь те из публикаций материалов по Герцену, которые появились в советской прессе, не касаясь напечатанных за границей, как, например, письмо Герцена В. С. Печерину от 21 мая 1862 г., опубликованное в переводе на немецкий язык в «Jahrbuch für Kultur und Geschichte der Slaven», 1933, Bd. IX, 4.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ГЕРЦЕНОВСКОГО ТОМА

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЯ

ОБЗОРЫ

В ТОМЕ 95 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. К 3-61-80.

Подписано к печати 8/III 1941 г. Рисо № 610. А36505 Объем 40 печ. л. 64,59 уч.-изд. л.
Заказ № 293. Тираж 7000 экз. Цена книги 35 руб.

Набрано в 1-ой Образцовой типографии Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига".
Москва, Валовая, 28.

Отпечатано в типографии „Искра революции". Москва, Филипповский пер., 13.

ОДНОВРЕМЕННО ВЫХОДИТ В СВЕТ
ПЕРВЫЙ ГЕРЦЕНОВСКИЙ ТОМ

(№ 39—40)

«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА:

В томе 153 иллюстрации

Цена 35 руб.